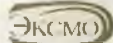

ОДИН ИЗ
ВЕЛИЧАЙШИХ
ФАНТАСТОВ
СОВРЕМЕННОСТИ

Орсон Скотт
КАРД



*Карты
в зеркале*

НАСТОЯЩИЕ
БИТВЫ ВЕДУТСЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
РАЗУМЕ



Орсон Скотт
КАРД



Карты в зеркале

Орсон Смитт
КАРД

Карты:
свертывае



Книга первая
Карта висельника



Книга вторая
Поток вечности



Книга третья
Карты в зеркале



Книга четвертая
Жестокие чудеса

МОСКВА



Санкт-Петербург

«ДОМИНО»

2005

Орсон Скотт
КАРД

*Карты
в зеркале*

МОСКВА



Санкт-Петербург

«ДОМИНО»

2005

УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)
К 21

Orson Scott CARD
MAPS IN A MIRROR

Copyright © 1990 by Orson Scott Card
Публикуется с разрешения автора и его литературного
агента Barbara Bova
Literary Agency (США)

Составитель *А. Жикаренцев*

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2001 году

Кард О.С.

К 21 Карты в зеркале: Фантастические произведения /
Пер. с англ. — М.: Изд-во Эксмо, СПб.: Изд-во Домино,
2005. — 912 с. — (Шедевры фантастики).

ISBN 5-699-11217-0

Уже первая публикация рассказа «Игра Эндера» принесла Орсону Скотту Карду огромную популярность, и с тех пор его творчество вызывает непреходящий интерес у читателей многих стран мира.

Невероятные хитросплетения сюжетов и неожиданные развязки — взять хотя бы, к примеру, истории о человеке, которому суждено пережить тысячу смертей, о мальчике-суперкомпьютере, о смертельно опасных играх на скоростном шоссе или о девочке-инвалиде, удивительно поющей во сне, — характерны практически для каждого произведения Карда.

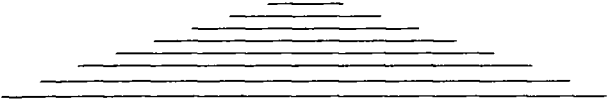
Но даже для искушенных любителей фантастики необычные, зачастую парадоксальные рассказы признанного мастера жанра, яркой звезды на литературном небосклоне конца XX столетия станут настоящим открытием — быть может, неожиданным, но, безусловно, завораживающим. Тем более что почти все произведения, вошедшие в этот сборник, впервые публикуются на русском языке.

УДК 82(1-87)
ББК 84(7США)

© Перевод. А. Жикаренцев, Б. Жужунава,
И. Иванов, А. Корженевский, В. Постников,
Л. Шведова, 2005

© Оформление, издание на русском языке.
ООО «Издательство «Эксмо», 2005

ISBN 5-699-11217-0



Книга первая

Карта Висельника

Повести о страхе



Звениды из общественной уборной

Четвертый этаж без лифта среди всего прочего входил в его план мести. Поселившись в этой квартире, Говард словно говорил Элис: «А, ты вышвырнула меня из дома? Что ж, тогда я буду жить в трущобах Бронкса, где на четыре квартиры один туалет! Мои рубашки будут не отглажены, а галстук вечно перекошен. Видишь, что ты со мной сотворила?»

Но когда он сообщил Элис о своем переезде, та лишь горько рассмеялась и сказала:

— Нет, Говард, ничего не выйдет. Я больше не собираюсь играть с тобой в эти игры. Ты всегда выигрываешь.

Она притворялась, будто ей на него наплевать, но Говарда нелегко было обмануть. Он знал людей, понимал, чего они хотят, а Элис его хотела. И это становилось его главным козырем в их взаимоотношениях — Говард был нужен Элис куда больше, чем она ему. Он часто размышлял об этом — и на работе в офисе компании «Гумбольдт и Брайнхард, дизайнеры», и в обеденный перерыв в дешевом ресторанчике (который тоже был частью его мести), и в метро по дороге домой («линкольн-континентал» остался у Элис). Говард подолгу размышлял, как сильно он ей нужен. Но он не мог забыть, как она сказала, выгоняя его из дома:

— Только попробуй подойти к Рианнон, и я тебя убью.

Он уже не помнил, почему она сказала это. Не помнил, да и не пытался вспомнить, потому что такие мысли ли-

шали его душевного равновесия, а свое душевное равновесие и покой Говард ценил превыше всего на свете. Другие могут тратить часы и целые дни, пытаясь достичь гармонии с собой, но для Говарда такая гармония была единственным возможным способом существования.

Я живу в мире с самим собой. У меня на душе легко. У меня все в порядке, в порядке, в порядке. И пусть все катятся к черту.

«Стоит кому-то лишить тебя покоя,— часто думал Говард,— и он сразу поймет, как тобой управлять».

Говард не умел управлять другими, но не собирался никому позволить управлять собой.

Зима еще не наступила, но в три часа пополудни, когда он вернулся домой с вечеринки у Стю, было чертовски холодно. Вечеринка считалась обязательной для посещения — во всяком случае, для тех, кто хочет добиться чего-нибудь на службе у Гумбольдта и Брайнхарда. Страшная жена Стю пыталась соблазнить Говарда, но тот изобразил полнейшую невинность, чем поверг ее в огромное смущение, и она оставила его в покое. Говард не пропускал мимо ушей служебные сплетни и знал, что некоторых из уволенных ранее сотрудников компании застукали, так сказать, без штанов. Не то чтобы штаны Говарда всегда оставались на положенном месте. Он вытащил Долорес из главного холла, завлек в спальню и стал обвинять в том, что она отравляет ему жизнь.

— По мелочам,— настаивал он.— Ты не нарочно, я понимаю, но все равно, с этим пора кончать.

— По каким мелочам? — недоверчиво переспросила Долорес. Но поскольку она искренне старалась, чтобы всем вокруг было хорошо, ее голос прозвучал не совсем уверенно.

— Разумеется, ты понимаешь, что я к тебе неравнодушен.

— Нет. Мне никогда... Никогда даже в голову такое не приходило.

Говард казался смущенным и растерянным, хотя на самом деле не был ни растерян, ни смущен.

— Значит... Значит, я ошибся. Извини, мне показалось, ты нарочно это делаешь...

— Делаю что?

— Ну... Отталкиваешь меня... Ладно, не важно, все это звучит слишком по-детски... Черт возьми, Долорес, я встретился в тебя по уши, как мальчишка!

— Говард, я даже не подозревала, что задела твои чувства.

— Боже, какая ты жестокая, — в голосе Говарда прозвучала еще большая обида.

— О, Говард, неужели я так много для тебя значу?

Он издал невнятный всхлипывающий звук, который Долорес могла истолковать как ей заблагорассудится. Вид у нее был смущенный — она многое бы отдала, лишь бы вернуть себе прежнее непринужденное спокойствие. Долорес так смутилась, что они очень приятно провели целых полчаса, пытаясь вернуть друг другу душевное равновесие. Еще никому в конторе не удавалось подобраться к Долорес так близко, но Говард мог подобраться к кому угодно.

Поднимаясь в свою квартиру, он был очень собой доволен.

«И вовсе ты мне не нужна, Элис, — думал он. — Никто мне не нужен, совсем никто!»

Повторяя это про себя, Говард вошел в общую ванную и включил свет.

Из кабинки донесся булькающий звук, потом шипение. Может, кто-то вошел в туалет, не включив света?

Говард заглянул в кабинку, но там никого не было. Однако, присмотревшись внимательнее, он увидел ребенка, месяцев двух от роду, лежащего в унитазе. Вода почти залила ему глаза и нос, вид у ребенка был испуганный. Он был до пояса засунут в сток. Кто-то явно пытался убить его, утопить в унитазе, но Говард никак не мог представить, каким же надо быть дебилом, чтобы подумать, будто ребенок пролезет в дырку унитаза.

Сперва он решил оставить все как есть, поддавшись соблазну жителя большого города не совать носа в чужие дела, даже если подобное поведение граничит с жестокостью. Если он спасет младенца, это повлечет за собой проблемы — ему придется вызвать полицию, до ее приезда сидеть с ребенком в своей квартире... Возможно, об

этом напечатают в газетах, и уж конечно, он всю ночь будет заполнять бумаги. Говард устал. Ему хотелось спать.

Но он снова вспомнил слова Элис:

— Тебя, Говард, даже человеком назвать нельзя. Ты — кошмарное эгоистичное чудовище.

«Я не чудовище». — мысленно ответил Говард и наклонился над унитазом, чтобы вытащить ребенка.

Ребенок застрял крепко — тот, кто пытался с ним разделиться, приложил немало усилий, чтобы поплотнее затолкать его в унитаз. Говард ощутил короткий прилив праведного негодования при мысли о том, что кто-то пытался решить свои проблемы, расправившись с невинным младенцем. Но ему совсем не хотелось углубляться в размышления о детях — жертвах преступления, к тому же в тот миг его внимание привлекло нечто другое.

Ребенок уцепился за его руку, и Говард заметил, что пальцы его срослись — вернее, их соединяли перепонки, так что конечность с виду напоминала плавник. И все же когда Говард, сунув руки в унитаз, пытался вытащить ребенка, эти плавники вцепились в него с неожиданной силой.

Наконец раздался всплеск, младенец очутился на свободе, вода с ревом хлынула вниз по стоку. Ноги ребенка срослись в одну конечность, безобразно загнутую на конце. Это был мальчик. Его слишком большие гениталии свесились в сторону. Говард заметил также, что вместо ступней у младенца еще два плавника, на самых кончиках которых он разглядел красные пятна, похожие на гноящиеся раны. Ребенок плакал, мерзко хныкал: эти звуки напомнили Говарду предсмертный вой агонизирующей собаки. (Говарду не хотелось вспоминать, что именно он бросил собаку под колеса приближающейся машины, чтобы посмотреть, как водитель ее объедет. Водитель не стал ее объезжать.)

«Даже самые отвратительные уроды имеют право на существование», — подумал Говард.

Но теперь, когда он держал ребенка на руках, его негодование по отношению к тем, кто пытался убить младенца, — вероятно, его родителям, вдруг сменилось сочув-

ствием. Ребенок схватил его за руку, и прикосновение плавников вызвало резкую острую боль, которая становилась все сильнее. На руке Говарда вдруг открылись огромные зияющие раны, они гноились и кровоточили.

Пока Говард сообразил, что эти раны нанес ему ребенок, тот успел хвостом вцепиться ему в живот, а руками — в грудь. То, что Говард поначалу принял за раны на конечностях младенца, на самом деле оказалось мощными присосками, которые так сильно впивались в кожу, что она рвалась, стоило отодрать присоску. Говард все же попытался оторвать присоски, но едва он избавлялся от одного плавника, как ребенок успевал вцепиться в него другим.

Благородный поступок Говарда обернулся борьбой за жизнь. Он понял, что перед ним отнюдь не ребенок — дети не могут цепляться с такой силой! К тому же у этой твари имелись зубы, которые громко лязгали, норовя его укусить. Хотя лицом младенец походил на человеческое дитя, на самом деле он оказался не человеком.

Говард попытался оглушить чудовище о стену, чтобы оно ослабило хватку. Но оно лишь вцепилось вдвое крепче, и ему стало еще больней. Наконец Говарду все же удалось освободиться: он зацепил ребенка за унитаз и отодрал с себя все присоски. Ребенок упал, и Говард поспешно отпрянул.

Его мучила резкая боль от целого десятка ран, ему казалось, что он угодил в кошмарный сон. Не может быть, что он на самом деле стоит сейчас в уборной, освещенной единственной лампочкой, где на полу корчится чудовище, лишь отдаленно напоминающее человека.

А может, это каким-то чудом выживший мутант? Ни один ребенок не умеет двигаться так целенаправленно и умело.

Младенец заскользит по полу, а Говард, страдая от боли, нерешительно смотрел на него. Добравшись до стены, ребенок приподнял плавник, вцепился в стену присоской и медленно пополз вверх. Он полз, а за ним тянулись фекалии — жидкая зеленоватая полоска, стекающая вниз.

Говард посмотрел на эту дрянь, посмотрел на свои гноящиеся раны.

А вдруг эта тварь, кем бы она ни была, не умрет, не смотря на свое ужасное уродство? Вдруг она выживет? Вдруг ее найдут и поместят в больницу, где будут за ней ухаживать? Вдруг она вырастет?

Ребенок дополз до потолка и развернулся, надежно цепляясь присосками за штукатурку. Он не падал, а медленно полз по потолку, подбираясь к единственной лампочке.

Эта мразь собиралась зависнуть прямо над головой Говарда, а след фекалий все так же тянулся за ней. Отвержение пересилило страх, и Говард, вскинув руки, схватил ребенка. Почти повиснув на нем, он наконец-то отодрал его от потолка. Ребенок извивался и изворачивался, пытаясь пустить в ход присоски, но Говард боролся изо всех сил, и наконец ему удалось затолкать ребенка в унитаз, на сей раз вниз головой. Он крепко держал младенца, пока тот не посинел и не перестал пускать пузыри.

Потом Говард пошел в свою квартиру за ножом. Кем бы ни было это чудовище, оно должно исчезнуть с лица земли. Оно должно умереть, так чтобы никто не смог догадаться, кто его убил.

Нож Говард нашел быстро, но задержался на несколько минут, чтобы перебинтовать раны. Сперва сильно жгло, потом боль слегка утихла. Говард снял рубашку, задумался на секунду, потом снял остальную одежду. Надел халат, прихватил полотенце и вернулся в уборную. Он не хотел, чтобы на его одежде остались следы крови.

Но ребенка в унитазе не было. Говард встревожился. Неужели его нашел кто-то другой? А может, этот другой видел, как Говард выходил из ванной, или, что еще хуже, видел, как тот вернулся с ножом в руке?

Говард огляделся. Никого. Он шагнул в коридор. Ни души.

Он стоял в дверях, размышляя, куда же подевался младенец, как вдруг ему на голову рухнуло что-то тяжелое, к лицу приклеились присоски. Говард с трудом удержался от вскрика. Значит, ребенок все-таки не утонул, выбрался из унитаза и затаился на потолке над дверью, поджидая возвращения Говарда.

Борьба возобновилась, и снова Говарду удалось отодрать от себя присоски, хотя на сей раз это было сложнее, ведь ребенок бросился на него сзади и сверху. Чтобы освободить руки, ему пришлось положить нож, и к тому времени, как он наконец швырнул ребенка на пол, он заработал еще добрый десяток ран. Ребенок упал на живот, и Говарду удалось схватить его сзади. Взяв младенца одной рукой за шею, второй рукой Говард поднял нож и шагнул в кабинку туалета.

Чтобы спустить в унитаз бесконечный поток крови и гноя, ему пришлось дважды нажимать на спуск.

«Наверное, у ребенка какая-нибудь инфекционная болезнь», — размышлял Говард. — Слишком много стекает по стоку густой белой жидкости — столько же, сколько и крови».

Потом он еще семь раз спускал воду, чтобы смыть куски этой твари. Даже после смерти присоски жадно цеплялись за керамическую поверхность, и Говард отдираал их ножом.

Наконец от ребенка ничего не осталось.

Говард тяжело дышал, его тошнило от вони и от ужаса перед совершенным. Он вспомнил, как пахли развороченные кишки его собаки, после того как ее переехала машина, — и выблевал всю еду, съеденную во время вчерашней вечеринки. Когда желудок наконец опустел, Говарду стало легче.

Он принял душ, и ему еще больше полегчало. Выйдя из душа, он позаботился, чтобы в туалете не осталось и следа кровавой расправы.

После чего отправился спать.

Заснуть оказалось непросто — он был слишком возбужден и не мог отделаться от мысли, что совершил убийство. Нет, это не убийство, не убийство, он всего лишь покончил с жутким созданием, которое не имело права на существование...

Говард старался думать о другом. О новых проектах на работе — но среди чертежей мелькали плавники. О своих детях — но вместо их лиц возникал жуткий лик отвратительного чудовища, которое он только что прикончил.

Об Элис... Но думать об Элис оказалось еще труднее, чем об этой твари.

Наконец он уснул, и во сне ему привиделся отец, который умер, когда Говарду было десять. Говарду не снились привычные сценки из детства: ни долгие прогулки с отцом, ни игра в баскетбол, ни рыбалка. Все это было в его жизни, но сегодня, после схватки с чудовищем, вдруг всплыли мрачные воспоминания, которые ему долгое время удавалось скрывать от самого себя.

— С покупкой десятискоростного велосипеда придется повременить, Гови. Подожди, пока кончится забастовка.

— Я понимаю, папа. Ты не виноват.

Теперь — мужественно сглотнуть.

— Ничего страшного. Пока все остальные школьники катаются, я просто буду сидеть дома и учить уроки.

— Мало у кого из ребят есть десятискоростные велосипеды, Гови.

Гови пожал плечами и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Да, мало у кого. Ладно, папа, не волнуйся за меня. Гови сам о себе позаботится.

Вот это мужество. Вот это сила. И через неделю у него уже был велосипед.

Во сне Говард понимал, какой ценой ему достался велосипед, хотя раньше не желал себе в этом признаться. У его отца в гараже был достаточно сложный любительский радиоприемник. И примерно в ту пору отец его продал, объяснив, что приемник ему надоел, и стал куда больше работать в саду, и у него стал дьявольски тоскливый вид, а потом забастовка закончилась, он вернулся на завод и погиб в результате несчастного случая на прокатном стане.

Сон Говарда закончился ужасно: ему приснилось, что он висит у отца на плечах, так же как на его собственных плечах висела эта тварь, и наносит отцу ножом все новые и новые удары.

Говард проснулся рано утром, с первыми лучами солнца, когда будильник еще не прозвонил. Он плакал в полусне, всхлипывая и повторяя одно и то же: «Это я его убил, я его убил, я».

Наконец он совсем проснулся и посмотрел на часы. Шесть тридцать.

«Это всего лишь сон», — сказал он себе.

И все же он проснулся раньше времени, с разламывающейся от боли головой и с глазами, которые жгло от слез. Подушка была мокрой.

— Хорошо начинается день, — пробормотал Говард.

Встал с постели, по привычке подошел к окну и раздвинул шторы.

На окне, крепко вцепившись в стекло присосками, висел ребенок. Он так плотно прижимался к стеклу, словно хотел проскользнуть внутрь, не разбив окна.

Далеко внизу шумел поток машин, ревели грузовики, но ребенок, казалось, не обращал внимания на огромную пропасть внизу, пропасть без единого уступа, за который можно было бы зацепиться. Хотя не похоже было, что он может упасть.

Он пристально, внимательно смотрел в глаза Говарда.

А ведь Говард уже приготовился убедить себя, что предыдущая ночь была не более чем очень ярким кошмарным сном.

Отступив от окна, он в изумлении уставился на ребенка, а тот приподнял плавник, присосался к стеклу чуть повыше и переполз вверх, чтобы снова посмотреть Говарду в глаза. А потом начал медленно и методично колотить в стекло головой.

Домовладелец не очень хорошо присматривал за своей недвижимостью, стекло было тонким, и Говард понял, что ребенок не успокоится, пока не разобьет окно и не доберется до него.

Говарда забила дрожь, у него перехватило горло. Он был страшно напуган: вчерашние события оказались не обычным ночным кошмаром. Лучшее тому доказательство — ребенок снова здесь. Но ведь он сам разрезал его на куски, младенец никак не мог остаться в живых!

Стекло вздрагивало при каждом ударе и наконец разлетелось вдребезги. Ребенок оказался в комнате.

Говард схватил единственный имевшийся в комнате стул и запустил им в ребенка, то есть в окно. Стекло взорвалось, солнечный свет вспыхнул на гранях осколков,

окруживших, словно сияющим нимбом, и стул, и ребенка.

Говард кинулся к окну, посмотрел вниз и увидел, как ребенок рухнул на крышу огромного грузовика. Тело как упало, так и осталось лежать, а обломки стула и осколки стекла рассыпались по мостовой, долетев до тротуара.

Грузовик не замедлил хода, увозя труп, осколки стекла и лужу крови.

Говард подбежал к кровати, опустился рядом с ней на колени, зарылся лицом в одеяло и попытался прийти в себя. Его заметили. Люди на улице задирали головы, они наверняка видели его в окне. Прошлой ночью он приложил массу усилий, чтобы избежать разоблачения, но теперь оно неизбежно. С ним все кончено. И все же он не мог, не мог допустить, чтобы ребенок забрался в комнату!

Шаги на лестнице. Тяжелые шаги в коридоре. Стук в дверь.

— Открой! Эй, открывай немедленно!

«Если я буду вести себя тихо, они уйдут», — подумал Говард, отлично зная, что это не так. Он должен подняться, должен открыть дверь. Но ему никак не удавалось заставить себя покинуть убежище возле постели.

— Ах ты, сукин сын!..

Человек за дверью сыпал проклятиями, но Говард не шевелился, пока ему в голову не пришло, что ребенок может прятаться под кроватью. При мысли об этом Говард сразу почувствовал легкое прикосновение перепонки к своей ноге — перепонки, уже готовой вцепиться...

Он вскочил, бросился к двери и распахнул ее настежь. Даже если там окажутся полицейские, явившиеся его арестовать, они защитят его от ужасного монстра, который его преследует.

Но Говард увидел не полицейских, а соседа с первого этажа, занимающегося сбором арендной платы.

— Ах ты поганый сукин сын, безмозглая сволочь! — надрылся тот. Его парик съехал набок. — Этим стулом ты запросто мог кого-нибудь покалечить! А стекло сколько стоит! Убирайся! Выметайся отсюда немедленно! Я требую,

чтобы ты освободил квартиру сию же минуту, и мне плевать, пьяный ты или...

— Там за окном... За окном была та тварь, то чудовище...

Сосед холодно посмотрел на Говарда, глаза его все еще были полны гнева. Нет, не гнева. Страха. Говард понял, что этот человек его боится.

— Здесь приличный дом,— сказал сосед уже тише.— Забирай своих тварей, своих пьяных монстров, розовых слоников, черт бы их побрал, верни мне сотню за разбитое стекло, сотню, говорю, гони сотню, и выметайся отсюда, чтобы через час и духу твоего здесь не было. Слышишь? Или я вызову полицию. Понял?

— Понял.

Он и вправду все понял.

Говард отсчитал пять двадцаток, и сосед ушел. Он старался не дотрагиваться до Говарда, как будто в том появилось что-то отталкивающее. Значит, и впрямь появилось. Во всяком случае, для самого Говарда, если не для кого другого.

Закрыв за соседом дверь, Говард сложил свои вещи в два чемодана, спустился вниз, поймал такси и поехал на работу. Водитель посматривал на него как-то странно и отказывался вступать в разговор. Вообще-то Говард ничего не имел против, но лучше бы водитель перестал бросать на него встревоженные взгляды в зеркальце заднего вида, словно опасаясь, что пассажир вот-вот выкинет нечто скверное.

«Ничего я не выкину,— твердил себе Говард,— я порядочный человек».

Он дал водителю щедрые чаевые и заплатил еще двадцатку, чтобы тот отвез чемоданы в его дом в Куинсе, где Элис, черт бы ее побрал, вполне может поддержать их некоторое время. Говард не станет больше снимать квартиру — ни на четвертом этаже, ни на каком другом.

Разумеется, ему просто привиделся кошмар, и прошлой ночью, и сегодня утром.

«Этого монстра никто больше не видел,— думал Говард.— Из окна четвертого этажа выпали только осколки стекла и стул, иначе управляющий заметил бы ребенка».

Правда, младенец упал на крышу грузовика... И если он все-таки настоящий, его вполне могли обнаружить где-нибудь в Нью-Джерси или в Пенсильвании.

Нет, он ненастоящий. Вчера ночью Говард его убил, а нынче утром ребенок опять оказался целым и невредимым. Это просто наваждение.

«На самом деле я никого не убивал!» — убеждал себя Говард. («Только собаку. Только отца». — проговорил некий отвратительный голос в глубине его сознания.)

На работе надо было чертить линии на бумаге, отвечать на телефонные звонки, диктовать письма и не думать о кошмарах, о своей семье, о том, во что ты превратил собственную жизнь.

— Отлично вчера повеселились.

«Отлично, что и говорить».

— Как ты, Говард?

«Прекрасно, Долорес, все прекрасно, спасибо».

— Предварительный вариант для Ай-Би-Эм уже готов?

«Почти готов, почти. Дай мне еще двадцать минут».

— Говард, ты неважно выглядишь.

«Да просто устал вчера. Эта вечеринка, знаете ли».

Он все сидел за столом и рисовал в блокноте, вместо того чтобы за чертежным столом заниматься нормальной работой. Он рисовал лица. Вот Элис, строгая и грозная. Вот страшенькая жена Стю. Вот лицо Долорес, милое, покорное и глуповатое. И лицо Рианнон.

Но, начав рисовать свою дочь Рианнон, он не смог ограничиться только лицом. У Говарда задрожала рука, когда он увидел, что именно он нарисовал. Он быстро оторвал лист, смял его и нагнулся, чтобы бросить в стоящую под столом мусорную корзину. Корзина покачнулась, оттуда появились плавники, готовые зажать его руку, как железными тисками.

Говард закричал, попытался отдернуть руку, но ребенок уже успел вцепиться. Говард выдернул его из корзины, и тогда младенец ухватил его за правую ногу нижним плавником. Весь ужас, пережитый прошлой ночью, вновь навалился на Говарда. Он отодрал присоски об угол ме-

таллического шкафа для бумаг и бросился к двери, которая уже открылась. Сослуживцы ворвались в кабинет, напуганные его криками.

— Что случилось? Что с тобой? Почему ты так кричал?

Говард осторожно повел их к месту, где остался ребенок. Там никого не было. Только перевернутая корзина да опрокинутый стул. Но окно было открыто, а Говард не помнил, чтобы открывал его.

— Говард, что с тобой? Ты, должно быть, устал. Говард? Что случилось?

«Мне нехорошо. Мне очень нехорошо».

Долорес, поддерживая Говарда, вывела его прочь из комнаты.

— Говард, я за тебя беспокоюсь.

«Я тоже за себя беспокоюсь».

— Давай я отвезу тебя домой. Моя машина внизу, в гараже. Отвезти тебя домой?

«А где мой дом? У меня нет дома. Долорес».

— Ну тогда ко мне. У меня квартира. Тебе надо прилечь и отдохнуть. Давай я отвезу тебя к себе.

Квартира Долорес была выдержана в стиле ранней Холли Хобби, а когда она включила стерео, зазвучали старые записи «Carpenters» и недавние «Captain and Tennile». Долорес уложила его в постель, осторожно раздела, а стоило ему пошевелить пальцем, разделась сама и, прежде чем вернуться на работу, занялась с ним любовью. Она была наивно горяча. Она шептала ему на ухо, что он — второй мужчина в ее жизни, которого она любила, первый за последние пять лет. Ее неумелая страсть была такой неподдельной, что ему захотелось заплакать.

Когда она ушла, он и вправду заплакал, потому что раньше думал, что она что-то для него значит, а на самом деле все оказалось не так.

«Почему я плачу? — спрашивал он себя. — Какое мне до этого дело? Вовсе не моя вина, что она сама подсказала мне, как к ней подобраться...»

На комод в позе взрослого сидел ребенок, небрежно поигрывая сам с собой и не спуская с Говарда пристального взгляда.

— Нет,— сказал Говард, усаживаясь на постели.— На самом деле тебя не существует. Тебя никто не видит, кроме меня.

Ребенок ничем не показал, что понял эти слова. Он лишь перевернулся и стал медленно сползать по стенке комода.

Схватив свою одежду, Говард выскочил из спальни. Он оделся в гостиной, не сводя взгляда с двери. Разумеется, ребенок сейчас ползет по ковру, направляясь к гостиной. Но Говард уже оделся и ушел.

Три часа он бродил по улицам. Сперва он рассуждал спокойно и рационально. Логично. Этой твари не существует. Нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало ее существование.

Но мало-помалу его рациональность рассеялась как дым, потому что боковым зрением он то и дело замечал плавники чудовища. Они показывались из-за спинки скамьи, мелькали в витрине, маячили в кабине машины, развозящей молоко. Говард шел все быстрее и быстрее, не задумываясь, куда идет, стараясь мыслить здраво и логично, но приходил в отчаяние при виде ребенка, который, ничуть не скрываясь, сидел на светофоре.

Говард еще больше беспокоился и оттого, что многие прохожие, нарушая неписаный закон, по которому жители Нью-Йорка стараются не смотреть друг другу в лицо, вдруг принимались таращиться на него, в ужасе вздрагивали, а потом смущенно отворачивались. Невысокая женщина европейского вида осенила себя крестом. Стайка подростков, явно вышедшая на поиски приключений, при виде Говарда забыла о своих намерениях, примолкла, а когда он прошел мимо, молча проводила его взглядами.

«Ребенка, возможно, они и не видят,— размышлял Говард,— но что-то все-таки бросается людям в глаза».

По мере того как его блуждающие мысли становились все более бессвязными, на Говарда нахлынули воспоминания. Перед его внутренним взором пронеслась вся жизнь — говорят, так бывает, когда человек тонет, но Говард подумал, что, если бы перед утопающим встали все эти картины, тот специально хлебнул бы побольше воды, чтобы покончить с видениями. Уже много лет Говарда не по-

сещали такие воспоминания, и он никогда не стремился их оживить.

Его бедная растерянная мать, она так хотела быть хорошей матерью и читала все педагогические книги, испробовала все педагогические приемы. Ее не по летам развитый сынок Говард тоже читал ее книги, но разобрался в них лучше, чем она сама. Как она ни старалась, у нее ничего не выходило. А он обвинял ее то в том, что она слишком требовательна, то в том, что недостаточно требовательна; то в том, что ему не хватает ее любви, то в том, что она душит его неискренними чувствами; то в том, что она заискивает с его приятелями, то в том, что она не любит его друзей. Он до того затравил и замучил бедную женщину, что она едва решалась робко заговорить с ним, тщательно и аккуратно подбирая слова, чтобы не обидеть.

И хотя время от времени он доставлял ей огромную радость, обнимая за плечи и говоря: «Ну разве не замечательная у меня мамочка?», гораздо чаще он принимал вид ангельского терпения и говорил: «Опять за старое, мама? А я-то думал, мы с этим покончили много лет назад». Он напоминал ей снова и снова, пусть всего в нескольких словах, что она не состоялась как мать, вот в чем ее проблема, а она кивала, верила, и в конце концов они совершенно отделились друг от друга. Он мог добиться от нее всего, чего хотел.

А еще Вон Роублз, который был чуть-чуть умнее Говарда, но Говарду так хотелось стать лучшим выпускником, и тогда они стали лучшими друзьями, и Вон был готов на все ради этой дружбы. И всякий раз, когда Вон получал более высокую оценку, чем Говард, он не мог не видеть, что его друг очень расстроен и терзается вопросом, а годен ли он вообще на что-нибудь?

— Годен ли я вообще на что-нибудь, Вон? Как бы я ни старался, всегда найдется кто-нибудь, кто лучше меня. Это, наверное, и имел в виду отец, он все время повторял: «Гови, ты должен стать лучше, чем папа. Стань первым». И я пообещал ему, что стану лучшим, но, черт возьми, Вон, у меня так ничего и не вышло...

Однажды он даже пустил слезу. Вон гордился собой, когда слушал, как Говард произносит торжественную речь лучшего выпускника на собрании в школе. Что такое жалкие школьные оценки по сравнению с настоящей дружбой? Говард получил стипендию и уехал в колледж, и с тех пор они с Воном не виделись.

А учитель, потерявший работу за то, что ударил Говарда, хотя тот сам его спровоцировал? А игрок из футбольной команды, однажды резко осадивший Говарда, после чего тот пустил слюшok, будто этот парень голубой? Игрока все начали сторониться, и в конце концов ему пришлось уйти из команды. А прекрасные девушки, которых он уводил у парней только для того, чтобы доказать, на что он способен? А друзья, которых он разлучал только потому, что ему не нравилось быть в стороне? А разрушенные браки, а уволенные сослуживцы?

Говард шел по улице, и по его щекам текли слезы. Он не мог понять, почему на него вдруг нахлынули все эти воспоминания, почему вдруг вынырнули после стольких лет забвения. И все же он знал ответ. Ответ маячил в дверных проемах, карабкался на фонарные столбы, махал своими отвратительными плавниками прямо под ногами Говарда.

И воспоминания медленно, неотвратно прокладывали путь из далекого прошлого. В его памяти всплывали сотни отвратительных случаев, когда он беспардонно использовал других людей — ведь ему легко, без усилий, удавалось нащупать слабое место любого человека. И наконец его мысли забрались туда, куда никогда, ни за что нельзя было забираться.

Он вспомнил Рианнон.

Она родилась четырнадцать лет назад. Рано начала улыбаться, ходить, почти никогда не плакала. Добрый и любящий ребенок, а значит, легкая добыча для Говарда. О, Элис тоже всегда отстаивала свои права, так что Говард в их семье был не единственным плохим родителем, однако именно он манипулировал Рианнон, как хотел. «Папочка обижен, малышка». — и глаза Рианнон широко распахивались, она просила прощения и делала все, чего

пожелает папочка. Но это было нормально, так бывало у всех, и все вполне вписывалось в обычную картину его жизни, если бы не то, что случилось месяц назад.

Даже теперь, после целого дня оплакивания своей жизни, Говард не мог открыто посмотреть правде в глаза. Не мог, но пришлось. Сам того не желая, он вспомнил, как, проходя мимо неплотно закрытой двери комнаты Рианнон, заметил, как пролетела сброшенная одежда. Повинуясь минутному импульсу, просто импульсу, он открыл дверь, а Рианнон в это время сняла бюстгальтер и рассматривала себя в зеркало. Никогда раньше Говард не испытывал желания по отношению к собственной дочери, но теперь, когда такое желание возникло, ему и в голову не пришло, что можно отказать себе в том, чего тебе хочется. У него просто не было в жизни подобного опыта.

Поэтому вошел в комнату, закрыл за собой дверь, а Рианнон просто не знала, как можно сказать отцу «нет». Когда Элис открыла дверь, Рианнон тихо плакала, и Элис на секунду замерла. А потом начала кричать. Она кричала и кричала, а Говард встал с постели, попытался как-то все сгладить, но Рианнон все плакала, а Элис орала, пинала его ногами в пах, пыталась ударить посильнее, царапала его лицо, плевала в него, говорила, что он — чудовище, чудовище, пока наконец ему не удалось убежать из комнаты, из дома и, до сегодняшнего дня, убежать от собственной памяти.

А теперь Говард кричал так, как никогда в жизни еще не кричал. бросался на витрину из зеркального стекла и рыдал навзрыд, а из целого десятка порезов на его правой руке, которой он выбил стекло, фонтаном хлестала кровь. В его предплечье застрял большой осколок, и он нарочно все сильнее и сильнее колотил рукой по стене, чтобы вогнать стекло глубже. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с болью в его душе, и рука как будто онемела.

Его быстро отвезли в больницу, полагая, что его жизнь в опасности, но врач очень удивился, обнаружив, что, несмотря на большую потерю крови, все раны Говарда поверхностные и не опасные.

— Не пойму, как вы ухитрились не задеть ни вену, ни артерию,— сказал врач.— Осколки вонзились и здесь и там, но вы почти не пострадали.

Потом, разумеется, его осмотрел психиатр, в больнице тогда было много пациентов с попытками суицида, и Говард на фоне остальных выглядел безобидным.

— На меня просто что-то нашло, доктор, вот и все. Я не хочу умирать, и тогда не хотел. Со мной все в порядке. Отпустите меня домой.

И психиатр его отпустил.

Ему перевязали руку, и никто так и не узнал, что для Говарда главным благом пребывания в больнице стало то, что он ни разу не заметил маленького голого существа, с виду похожего на ребенка.

Говард очистился от скверны. Теперь он был свободен.

На машине скорой помощи его отвезли домой, внесли в комнату и переложили с носилок на кровать. Элис скупно объяснила санитарам, куда пройти, но больше не проронила ни слова.

Говард лежал на кровати, а она стояла над ним. Впервые с того дня, как месяц назад он ушел из дома, они остались наедине.

— Очень мило с твоей стороны, что ты меняпустила,— тихо проговорил он.

— Мне сказали, в больнице не хватает мест, а за тобой нужно ухаживать еще несколько недель. И мне повезло, ухаживать буду я.

Ее голос звучал глухо, монотонно, но каждое слово сочилось желчью. Жгучей желчью.

— Ты была права, Элис,— сказал Говард.

— Права в чем? Что, выйдя за тебя замуж, я совершила самую большую ошибку в жизни? Нет, Говард. Самой большой ошибкой было то, что я вообще познакомилась с тобой.

Говард заплакал. Настоящими слезами, которые долго скапливались где-то глубоко внутри, а теперь выхлестывали наружу, и это причиняло боль.

— Я был настоящим чудовищем, Элис. Я совсем потерял над собой контроль. То, что я сделал с Рианнон... Элис, я хотел умереть. Умереть!

Лицо Элис исказилось от боли.

— И я хотела, чтобы ты умер, Говард. Для меня было огромным разочарованием, когда врач позвонил и сказал, что ты вне опасности. Ты никогда не будешь вне опасности. Ты всегда будешь...

— Оставь его, мама.

В дверях стояла Рианнон.

— Не входи, Рианнон,— сказала Элис.

Рианнон вошла.

— Папа, все в порядке.

— Она хочет сказать,— заговорила Элис,— что мы были у врача, и она не беременна. Можно не опасаться, что родится еще одно чудовище.

Рианнон не смотрела на мать, она широко раскрытыми глазами глядела на отца.

— Папа, не надо было... себя ранить. Я тебя прощаю. Люди иногда теряют над собой контроль. Да и я тоже виновата, вправду виновата, поэтому не расстраивайся, папа.

Это было для Говарда уже слишком. Он зарыдал и сквозь слезы каялся в том, что манипулировал дочерью всю жизнь и был эгоистичным и никчемным отцом, а когда он замолчал, Рианнон подошла, склонила голову ему на грудь и тихо сказала:

— Папа, все в порядке. Мы такие, какие мы есть. Что сделано, то сделано. Но теперь все хорошо. Я тебя прощаю.

Когда Рианнон ушла, Элис сказала:

— Ты ее не заслуживаешь.

«Я знаю».

— Я собиралась лечь на кушетке, но ведь это глупо, правда, Говард?

«Меня надо оставить одного, как прокаженного».

— Ты меня не понял, Говард. Я останусь здесь, чтобы следить за тобой. Чтобы ты еще чего-нибудь не сотворил, ни с собой, ни с другими.

«Да, да, прошу тебя. Мне нельзя доверять».

— Не надо упиваться своими грехами, Говард. Не надо радоваться своему падению. Это делает тебя еще более отвратительным.

«Отлично».

Они уже засыпали, когда Элис сказала:

— Да, врач еще спросил по телефону, откуда у тебя эти раны на груди и на руках.

Но Говард уже уснул и не слышал ее. Он спал сном без сновидений, мирным сном, сном прощения, сном чистоты. В конце концов, очищение заняло не так уж много времени. Теперь, когда все осталось позади, кошмар уже не казался ему таким страшным. С него будто сняли огромный тяжелый груз.

Говарду показалось, что у него в ногах лежит нечто тяжелое. Он проснулся весь в поту, хотя в комнате не было жарко. Он услышал чье-то дыхание. Не размеренное медленное дыхание Элис, а быстрое, прерывистое и напряженное дыхание человека, выбивающегося из сил.

Существа, выбивающегося из сил.

Целой стаи таких существ.

Одно — в ногах, цепляется шупальцами за одеяло. Двое — по бокам Говарда, смотрят на него широко раскрытыми неподвижными глазами и медленно подбираются к лицу.

Говард был потрясен.

— Я думал, вы больше не придете, — сказал он младенцам. — Вы не должны больше ко мне приходить.

Элис шевельнулась во сне и что-то невнятно пробормотала.

А Говард замечал все новых и новых существ, они притаились в темных углах комнаты, один из них медленно полз по крышке комода, а еще один карабкался вверх по стене.

— Вы больше не нужны мне, — произнес Говард странным, высоким голосом.

Дыхание Элис на миг прервалось, она пробормотала сквозь сон:

— Что, в чем дело?

Говард замолчал. Он лежал тихо, накрывшись простыней, и смотрел, как ползут эти твари. Он не издавал ни звука, боясь, что Элис проснется. Он ужасно боялся, что она проснется и не увидит этих тварей. Тогда он сразу поймет, что сошел с ума.

Однако еще больше он боялся, что, проснувшись, Элис все-таки их увидит. Говард никак не мог избавиться от этой невыносимой мысли, а монстры неумолимо приближались, глядя на него глазами, в которых не было ничего — ни ненависти, ни гнева, ни презрения. Мы здесь, мы с тобой, казалось, говорили они, мы останемся с тобой навсегда. Мы всегда будем с тобой, Говард, всегда.

Элис повернулась на бок и открыла глаза.

Конец

Темнота наступила внезапно, когда поздно вечером он сидел за рабочим столом. Тьма была краткой, мгновенной, как взмах ресниц, но перед этим бумаги на столе казались ему чрезвычайно важными, а когда темнота исчезла, он сидел, тупо глядя перед собой, не в силах разобраться, над чем же именно работает, и понимая, что на самом деле ему это абсолютно безразлично и что ему пора домой.

Давно пора домой.

И С. Марк Тэпуорт, глава компании «СМТ Энтерпрайзис Инк.», поднялся из-за стола, оставив на нем незаконченную работу. Это случилось впервые за двенадцать лет, которые он потратил, превращая компанию из почти пустого места в предприятие, ежегодно приносящее многомиллионный доход. Он смутно чувствовал: происходит что-то странное, но ему было все равно. Совершенно безразлично, станет ли кто-нибудь покупать... покупать...

Несколько секунд С. Марк Тэпуорт пытался вспомнить, что же именно производит его компания.

Он испугался. Он вспомнил, что его отец и дяди умерли от удара. Вспомнил, какой дряхлой стала его мать в относительно молодом возрасте шестидесяти восьми лет. Он вспомнил то, о чем всегда знал, но во что никогда не верил, — что он смертен, что все его тяжкие труды малопомалу утратят смысл и тогда придет смерть. И единственным плодом его стараний останется лишь сам факт прожитой жизни — забытый камешек, брошенный в гладь озера,

круги от которого дойдут в конце концов до берега, когда это уже ничего не изменит.

«Я устал,— подумал он.— Мэри-Джо права. Мне надо отдохнуть».

Но он был не из тех, кто любит отдыхать, никогда он этого не любил... Вплоть до того момента, когда на него опять нахлынула тьма, отозвавшись теперь тяжелым толчком в голову, а он стоял у письменного стола и ничего не помнил, ничего не слышал, а лишь неотвратимо падал в пустоту.

Потом мир благополучно вернулся на место, а он стоял, охваченный дрожью, и с сожалением думал, как много вечеров провел за работой, сколько долгих часов отнял у Мэри-Джо, ожидавшей его в одиночестве в большом, но бездетном доме. Он представил, как она терпеливо ждет его — одинокая женщина, сделавшаяся совсем маленькой в огромной гостиной, терпеливо ожидающая своего мужа, ведь тот обязательно придет, должен прийти, потому что он всегда приходит домой.

«У меня плохо с сердцем? Или это удар?» — размышлял он.

Но что бы с ним ни случилось, он сумел разглядеть конец света в посетившей его клубящейся тьме. И, как для пророка, спускающегося с горы, казавшееся прежде крайне важным вдруг утратило значение, а давно отступившее в самые дальние уголки сознания нахлынуло на него беззвучной волной. Его снедало ужасное беспокойство, словно ему необходимо было завершить какое-то срочное дело до того, как...

Как — что? Он не позволил себе завершить эту мысль. Он лишь прошагал через большую комнату, полную целеустремленных молодых людей, стремившихся продемонстрировать, что остаются на работе дольше, чем сам начальник. Он заметил, с каким облегчением все вздохнули, потому что теперь им не придется проводить еще один бесконечный вечер на работе,— заметил, но не придал этому значения. Вышел в ночь, сел в машину и поехал домой сквозь тонкую пелену дождя, которая создавала приятную иллюзию, будто весь мир существует в некотором отдалении от окон машины.

«Дети, должно быть, наверху», — подумал он.

Никто не выбежал к дверям его встречать. Дети, престелстные создания, — мальчик и девочка — были вдвое ниже его ростом, но имели вдвое больше энергии. Они всегда спускались по лестнице так, словно неслись с горы на лыжах, и любили покой не больше, чем птичка колибри. До его слуха доносились их шаги наверху — легкие быстрые шаги. Они не вышли его встречать, потому что, в конце-то концов, в жизни существует много гораздо более важных вещей, чем всякие там отцы. Улыбнувшись, он поставил кейс и прошел на кухню.

Вид у Мэри-Джо был расстроенный и недовольный. Он мгновенно понял, что она сегодня плакала.

— Что случилось?

— Ничего, — ответила она, потому что всегда отвечала «ничего».

Он знал — через минуту она сама все расскажет. Она всегда обо всем рассказывала, и иногда в ожидании этого он чувствовал нетерпение. Теперь же, глядя, как она молча ходит от стола к столу, от буфета к плите, готовя очередной превосходный обед, он понял, что жена не собирается ничего объяснять. Почувствовав себя неуютно, он начал строить догадки.

— Ты слишком много трудишься, — сказал он. — Я же говорю, давай наймем горничную или кухарку. Мы вполне можем себе это позволить.

Мэри-Джо лишь слабо улыбнулась.

— Я не хочу, чтобы на кухне болтался посторонний, — ответила она. — Кажется, мы закрыли эту тему уже много лет назад. Как... как у тебя дела на работе? Трудный был день?

Марк чуть было не рассказал ей о странных провалах в памяти, но вовремя спохватился. К этому следует подойти осторожно. Мэри-Джо, в своем теперешнем подавленном состоянии, вряд ли сможет правильно все воспринять.

— Нет, не очень. Закончил сегодня пораньше.

— Знаю. Я рада.

Но в ее голосе не слышалось особой радости. Это вызвало у него легкое раздражение, задело чувства. Но вмес-

то того чтобы растревлять свои раны, он лишь отметил эти чувства, словно изучая себя со стороны. Важная фигура, человек, который всего добился сам, дома превращается в маленького мальчика, которого легко обидеть не только словом, но и всего лишь недолгой заминкой в разговоре. Чувствительный, какой же ты чувствительный, усмехнулся он. На мгновение ему показалось даже, будто он рассматривает себя с расстояния в несколько дюймов и видит изумленное выражение собственного лица.

— Извини,— сказала Мэри-Джо, открывая дверцу буфета.

Он отступил, чтобы не мешать, и она достала кастрюлю-скороварку.

— У нас закончились картофельные хлопья, поэтому придется готовить по старинке.— Она положила очищенную картошку в кастрюлю.

— Дети сегодня что-то очень тихие,— заметил он.— Не знаешь, чем они занимаются?

Мэри-Джо недоуменно взглянула на него.

— Они не вышли меня встречать. Я, конечно, не возражаю, у них, само собой, куча важных дел.

— Марк,— произнесла Мэри-Джо.

— Ну да, ну да, ты видишь меня насквозь. Я все-таки немного обижен. Пойду посмотрю почту.

И с этими словами он вышел из кухни.

Он услышал, как за его спиной Мэри-Джо снова принялась плакать. Он бы не стал расстраиваться по таким пустякам, но Мэри-Джо легко и часто ударялась в слезы.

Пройдя в гостиную, он очень удивился при виде мебели. Он ожидал увидеть зеленый диван и кресло, купленные в «Дезерт Индастрис», однако его смутили как сами размеры комнаты, так и подобранная со вкусом антикварная мебель, выглядевшая явно не к месту. Потом его мысли дали крутой поворот, и он вспомнил, что старый зеленый диван и кресло стоят в комнате уже пятнадцать лет, с тех пор как они с Мэри-Джо поженились. И почему я решил, что они должны находиться в гостиной?

Эти размышления вновь обеспокоили его, к тому же он думал найти почту в гостиной, а ведь Мэри-Джо уже много лет приносила всю корреспонденцию на его письменный стол.

Он прошел в свой кабинет и стал просматривать почту, как вдруг краем глаза заметил, что одно из окон до половины загорожено чем-то большим, черным, массивным. Он посмотрел туда: на столе с колесиками, какие бывают в моргах, стоял довольно простой с виду гроб.

— Мэри-Джо, — позвал он. — Мэри-Джо!

Та с испуганным видом вошла в кабинет.

— Да?

— Почему в моем кабинете гроб? — спросил он.

— Гроб? — переспросила она.

— Там, у окна, Мэри-Джо. Как он сюда попал?

Она заволновалась.

— Пожалуйста, не трогай его...

— Почему?

— Мне даже подумать страшно, что ты к нему прикоснешься. Я разрешила оставить его здесь на несколько часов, но, похоже, он простоит здесь всю ночь.

Ее явно мучила одна только мысль о том, что в доме находится гроб.

— Но кто его сюда принес? И почему именно к нам? Мы ведь не на рынке. Или гробы продают теперь на вечеринках, как какие-нибудь побрякушки?

— Звонил епископ и попросил, чтобы я... чтобы я разрешила оставить его здесь до завтрашних похорон. Он сказал, что некому пойти и отпереть церковь, поэтому не могли бы мы поддержать его у себя несколько часов...

Ему пришло в голову, что гроб, предназначенный для похорон, вряд ли так просто разрешили бы вынести из морга, разве что вместе с содержимым.

— Мэри-Джо, а в нем есть тело?

Она кивнула, с ее ресниц скатилась слеза. Он был поражен и не скрывал этого.

— Они принесли сюда труп в гробу, зная, что ты и дети весь день будете дома?

Закрыв лицо руками, она выбежала из комнаты и бросилась вверх.

Марк за ней не пошел. Он остался в кабинете, с отвращением разглядывая гроб. У них, по крайней мере, хватило ума его закрыть. Но ведь это гроб!

Он подошел к телефону, стоявшему на письменном столе, и набрал номер епископа.

— Его нет. — Жену епископа, казалось, рассердил его звонок.

— Он должен сегодня же вечером забрать труп из моего дома. Это ни в какие ворота не лезет!

— Я не знаю, по какому телефону искать мужа. Он ведь доктор, брат Тэпуорт, и сейчас в больнице, делает операцию. И я никак не могу все это с ним обсудить.

— И что мне теперь прикажете делать?

Она вспыхнула:

— Да что хотите! Хоть выставьте гроб на улицу, если вам от этого станет легче! Подумаешь, у бедняги будет еще одним несчастьем больше!

— Отсюда следует другой вопрос: кто он такой и почему его собственная семья...

— У него нет семьи, брат Тэпуорт. И денег тоже нет. Я уверена, он сожалеет о том, что ему пришлось умереть, находясь под нашей опекой, но мы просто подумали, что, хотя в этом мире у него не было друзей, возможно, кто-то не откажется проявить к нему крупицу доброты, когда он соберется этот мир покинуть.

Ее было не переговорить, и Марку пришлось смириться с тем, что все попытки избавиться от гроба нынче вечером обречены на провал.

— Но чтобы завтра его здесь не было! — сказал он.

Разговор закончился без взаимных любезностей.

Марк сидел в кресле, злобно уставившись на гроб. По пути домой он беспокоился о своем здоровье, а дома обнаружил гроб. Что ж, по крайней мере, теперь понятно, почему Мэри-Джо так расстроена. Он слышал, как наверняка ссорятся дети. Нет уж, пусть ими займется Мэри-Джо! Проблемы с детьми, по крайней мере, отвлекут ее от мыслей об этом ящике.

А он два часа сидел и смотрел на гроб. Он не обедал и даже не заметил, как Мэри-Джо спустилась вниз, достала из скороварки сторованную картошку, выбросила ее в мусорный мешок, легла на диван в гостиной и заплакала. Он рассматривал рисунок дерева — тонкие нежные прожилки, будто оплетающие гроб неяркими язычками пламени. Ему вспоминалось, как в пять лет он иногда дремал в самодельной спальне, устроенной за фанерной

перегородкой в маленьком домике родителей. И как проводил много бессонных часов, разглядывая прожилки дерева. Тогда ему удавалось увидеть в них разные фигуры — облака, лица, битвы, чудовищ. Но рисунок прожилок древесины гроба казался куда более запутанным и в то же время куда более простым. Карта автодорог на крышке. Точный чертеж, представляющий распад тела. График в ногах кровати пациента, бессмысленный для него самого, но для опытного взгляда врача — несомненное предсказание близкой смерти. Марк вскользь подумал о епископе: сейчас тот оперирует другого человека, который вполне может окончить свои дни в точно таком же ящике.

Наконец у него стало резать в глазах, он посмотрел на часы и устыдился, что в один из редких вечеров, когда ему удалось пораньше вернуться домой, он столько времени провел, запершись в кабинете.

Он хотел встать, найти Мэри-Джо и отвести ее в постель. Но вместо этого приблизился к гробу и провел руками по деревянной крышке, напоминавшей на ощупь стеклянную, таким гладким был покрывавший ее лак. Живое дерево как будто старались защитить от человеческого прикосновения. Но ведь дерево не живое, верно? Его опускают в землю, и там оно гниет, как и человеческое тело. Хотя лак, возможно, поможет ему продержаться немного дольше.

Марк принялся размышлять, сохранится ли труп, если его тоже покрыть лаком? «Тогда мы и египтян за пояс заткнем», — подумал он.

— Не надо, — раздался хриловатый голос.

В дверях стояла Мэри-Джо — ее глаза покраснели, лицо опухло.

— Не надо — что? — переспросил Марк.

Она молча посмотрела на его руки. К своему удивлению, Марк заметил, что большими пальцами держит снизу крышку гроба, словно собираясь ее поднять.

— Я вовсе не собирался его открывать, — сказал он.

— Пойдем наверх, — сказала Мэри-Джо.

— Дети уже спят?

То был абсолютно невинный вопрос, но лицо Мэри-Джо внезапно исказилось от боли, гнева и горя.

— Дети? — спросила она. — О чем ты говоришь? И почему именно сегодня?

Удивленный, он выпрямился, опираясь на крышку гроба. Столик на колесиках чуть отъехал в сторону.

— У нас нет детей, — сказала она.

И Марк с ужасом осознал, что она права.

После второго выкидыша ей перевязали трубы, потому что последующая беременность стала бы для нее смертельно опасной. Детей у них не было никогда, и это мучило ее многие годы. Только благодаря терпению Марка и его поддержке ей все это время удавалось избегать больницы. Но когда он вернулся сегодня домой... Он попытался вспомнить, что за звуки он услышал, едва переступив порог. Без сомнения, он услышал, как по лестнице бегают дети. Без сомнения...

— Я неважно себя чувствую, — сказал он.

— Если это шутка, то не смешная.

— Нет, не шутка... Это...

И опять он не смог, не смог рассказать о странных провалах в памяти, которые случились с ним на работе, хотя не сомневался: с ним что-то не так. У них в доме никогда не было детей. Марк строго-настрого запретил братьям и сестрам приводить детей к бедняжке Мэри-Джо, она так тяжело воспринимала свое... как там называется это в Ветхом Завете? Свое бесплодие.

А он весь вечер говорил про детей.

— Милая, мне так жаль, — сказал он, стараясь говорить как можно сердечней.

— Мне тоже, — ответила она и пошла наверх.

«Конечно, она на меня не сердится, — подумал Марк. — Конечно, она понимает — со мной что-то не так. Конечно, она меня простит».

Но, поднимаясь по лестнице следом за женой и снимая на ходу рубашку, он опять услышал детский голосок:

— Мамочка, я пить хочу.

Голосок звучал жалобно, как и должен звучать у счастливого ребенка, отлично знающего, что его любят. Марк развернулся на лестничной площадке и заметил, что Мэри-Джо направилась в детскую спальню со стаканом воды в руке. Он не придавал этому особого значения: дети всегда требуют к себе много внимания, когда укладываются спать.

Дети. Конечно, у них есть дети. Вот что не давало ему покоя на работе, вот из-за чего он стремился поскорее вернуться домой. Они всегда хотели иметь детей, и дети у них были. С. Марк Тэпуорт всегда добивался того, чего хотел.

— Уснули наконец,— устало произнесла Мэри-Джо, входя в спальню.

Несмотря на усталый тон, по ее поцелую Марк понял: она хочет заняться любовью. Он не придавал слишком большого значения сексу. Пусть читатели «Ридерз Дайджест» заботятся о том, как бы сделать свою сексуальную жизнь более богатой и разнообразной,— так он всегда повторял. Для него секс был приятным, но далеко не самым приятным занятием в жизни. Всего лишь одна из множества нитей, связывавших его с Мэри-Джо. Сегодня, однако, он чувствовал беспокойство и тревогу. Не потому, что сомневался в своих возможностях, ведь он никогда не страдал импотенцией, разве что лежа с высокой температурой, когда ему было все равно не до секса. Его встревожило просто отсутствие интереса к таким делам.

Нельзя сказать, чтобы у него начисто пропал интерес к сексу, он просто выполнял привычные движения, которые проделывал уже тысячу раз, но теперь все происходящее казалось бессмысленным и сильно смахивало на тисканье на заднем сиденье автомобиля. Его смутило, что обычное поглаживание способно вызвать у него столь сильное волнение. Поэтому, услышав детский плач, он почти вздохнул с облегчением. В другое время он велел бы жене не обращать внимания, захотел бы продолжать заниматься любовью. Но теперь он накинул халат и пошел в детскую, чтобы успокоить ребенка.

Но детской не было.

В их доме не было. Он думал, что направляется в комнату, созданную их надеждами, где есть детская кроватка, пеленальный столик, комод с бельем, игрушки на колесиках, обои с веселым рисунком. Такая комната существовала много лет назад в маленьком домике в Сэнди, а не здесь, не в Федерал Хайтс. Не в этом доме с восхитительным видом на Солт-Лейк-Сити, с роскошным убранством и удобной планировкой, говорящем о хорошем вкусе, кричащем в полный голос о достатке и богатстве и

еле слышно шепчущем об одиночестве и тоске. Марк при-слонился к стене. Детей у них нет. Нет детей. А в его ушах все отдавался эхом детский плач.

В дверях спальни стояла Мэри-Джо, голая, прикрыва-ясь ночной рубашкой.

— Марк,— проговорила она,— мне страшно.

— Мне тоже,— сказал он.

Но она не стала задавать вопросов, он надел пижаму, и они легли. И, лежа в темноте без сна, прислушиваясь к чуть прерывистому дыханию жены, он осознал, что не придает происходящему слишком большого значения. Он сходит с ума, но это его почти не тревожит. Он подумал, что стоит, наверное, помолиться, но ведь он не молился уже много лет. Разумеется, не следует рассказывать каждо-му встречному-поперечному, что ты утратил веру,— по крайней мере, в этом городе, где считается хорошим то-ном быть мормоном-активистом. Но Бог ему здесь не помо-жет, он хорошо понимал. Не поможет ему и Мэри-Джо, потому что сейчас, вместо того чтобы проявить свои обыч-ные силу и стойкость, она, по собственному признанию, испугалась.

«Что ж, я тоже боюсь»,— подумал Марк.

В темноте он погладил жену по щеке, замечая, что морщинок у глаз прибавилось. Он понял, что она испуга-лась вовсе не его непонятной болезни, а того, что за этой болезнью стоит: старения, дряхлости, неминуемой раз-луки. Он вспомнил о гробу внизу в кабинете, как будто сама смерть стояла там на страже и ждала, когда же он даст согласие. На короткий миг он вознегодовал на тех, кто привел смерть в его дом, кто так навязчиво вторгся в их жизнь, но уже через секунду эти чувства исчезли. Ему стали безразличны и гроб, и странные провалы в памяти, и вообще все на свете.

«Я спокоен,— подумал он, засыпая.— Я спокоен, но быть спокойным не так уж приятно».

— Марк,— говорила Мэри-Джо, стараясь разбудить его.— Марк, ты проспал.

Он открыл глаза, пробормотал невнятно, чтобы она перестала его трясти, повернулся на другой бок и снова заснул.

— Марк,— не унималась Мэри-Джо.
— Я устал,— попытался сказать он в свое оправдание.
— Я знаю,— ответила она.— Потому до сих пор и не будила тебя. Но только что позвонили с работы. Там что-то случилось, ты срочно нужен...

— Они и воду в туалете спустить не могут без постоянной помощи.

— Марк, не надо грубить,— сказала Мэри-Джо.— Я даже не разрешила детям поцеловать тебя на прощанье перед уходом в школу, чтобы не разбудить. Они очень расстроились.

— У нас славные ребяташки.

— Марк, тебя ждут на работе.

Марк закрыл глаза и медленно, по слогам произнес:

— Скажи им, как следует объясни, что я приду только тогда, когда посчитаю нужным. А если они не смогут справиться сами, я уволю их всех к чертовой матери за некомпетентность.

Секунду Мэри-Джо молчала.

— Марк, я не могу такое сказать.

— Ты скажешь это слово в слово. А я устал. Мне надо отдохнуть. У меня что-то неладно с головой.

И тут он ясно вспомнил все вчерашние иллюзии, включая и ту, что касалась детей.

— У нас нет детей,— сказал он.

Она уставилась на него широко раскрытыми глазами.

— Что ты хочешь этим сказать?

Он чуть было не сорвался на крик. Чуть не заорал на нее в полный голос, требуя объяснить, что происходит, требуя наконец сказать ему правду. Но вновь навалились апатия и безразличие, и он не проронил ни слова. Он просто повернулся на другой бок и стал смотреть на занавески — они колыхались под струей воздуха из кондиционера. Мэри-Джо вскоре ушла, и снизу донеслись звуки стиральной машины, сушилки, посудомоечной машины, мусоропровода. Похоже, все это работало одновременно. Раньше он никогда не слышал такого, ведь Мэри-Джо не включала технику по вечерам и по выходным, когда он бывал дома.

В полдень он наконец поднялся, но принимать душ и бриться не захотел, хотя в любой другой день почувство-

вал бы себя отвратительно грязным без этих необходимых процедур. Он просто надел халат и спустился вниз.

Он собирался позавтракать, но вместо этого пошел в свой кабинет и открыл крышку гроба.

Разумеется, не сразу. Сперва он походил туда-сюда перед гробом, потом долго гладил его деревянную поверхность, но наконец поддел большими пальцами крышку и откинул.

На вид труп уже совсем окоченел. Труп мужчины, еще не очень старого, но и не слишком молодого. Волосы самого обычного цвета. Если бы не сероватый оттенок кожи, человек выглядел бы совершенно естественно и настолько типично, что Марк мог поклясться — он видел его миллион раз, просто забыл об этом. Никаких сомнений, что незнакомец и вправду мертв, — об этом свидетельствовала не дешевая атласная обивка гроба, а наклон его плеч, выступающий подбородок. Так лежать неудобно.

Марк уловил запах бальзамирующего средства.

Одной рукой он держал приоткрытую крышку, другой опирался на гроб. Его забила дрожь. Хотя то было не волнение, не страх — дрожь не имела никакого отношения к его мыслям, его сознанию. Он дрожал от холода.

Его слух что-то уловил — звук или, наоборот, отсутствие звука. Он резко обернулся; крышка гроба за его спиной захлопнулась. В дверях стояла Мэри-Джо, широко распахнув испуганные глаза. На ней было домашнее платье в оборочках.

В одно мгновение все прожитые годы исчезли, и Марк вновь увидел ее двадцатилетней, робкой, чуть неловкой девушкой, которая не переставала удивляться, в очередной раз узнавая, как в действительности устроен мир. Он ожидал, что сейчас она скажет:

— Но, Марк, ведь ты его обманул.

Она произнесла эти слова лишь однажды, но он слышал их всякий раз, заключая сделку. В этом для него и заключалась совесть, если речь шла о деловых отношениях. И этого вполне хватило, чтобы завоевать репутацию честного человека.

— Марк, — сказала она тихо, как будто пытаясь взять себя в руки. — Марк, я не смогла бы без тебя жить.

Она говорила так, словно боялась, что с ним может что-то случиться. У нее дрожали руки. Он шагнул к ней, и она двинулась навстречу, крепко прижалась к нему и всхлипнула, уткнувшись в плечо.

— Не смогла бы. Просто не смогла.

— Но тебе и не придется, — произнес он слегка удивленно.

— Просто я, — проговорила она между всхлипываниями, — не такой человек, чтобы жить в одиночестве.

— Но даже если... Если со мной что-нибудь случится, Мэри-Джо, у тебя ведь есть...

Он хотел сказать «дети». Но с этим что-то не так, верно? Они любили своих детей больше всего на свете, ни одни родители не были так счастливы, как они, когда родились эти двое. И все же он не смог сказать этого вслух.

— Что у меня есть? — спросила Мэри-Джо. — Ах, Марк, у меня ничего нет.

И тут Марк вновь вспомнил (что же такое со мной творится!), что они бездетны и что для Мэри-Джо, которая была весьма старомодна и считала материнство главным смыслом существования, их бездетность стала Божьим проклятием. После операции Марк сделался ее последней опорой, единственной поддержкой, и она постоянно беспокоилась из-за его бессмысленных, а иногда просто надуманных проблем на работе или бесконечно пересказывала ему события своих одиноких дней. Он стал для нее якорем, удерживающим ее в реальности, не позволяющим пуститься в плавание по волнам собственных страхов. Неудивительно, что бедная девочка (а в такие моменты Марк не мог думать о ней как о взрослой) так расстроилась, подумав, что Марк может умереть, а тут еще чертов гроб в доме!

«Но я не могу ей помочь, — подумал Марк. — Я просто разваливаюсь на части. Не только начинаю забывать, что было, но и вспоминаю то, чего не было. А вдруг я умру? Вдруг со мной случится удар, как это было с отцом, который умер по дороге в больницу? Что станет тогда с Мэри-Джо?»

В деньгах она не будет нуждаться. У нее останется его фирма, его страховка, она сможет окончательно распла-

тяться за дом, и у нее еще хватит денег, чтобы по-королевски жить на одни проценты. Но сможет ли страховая компания найти того, кто будет нежно обнимать ее, когда она начнет плакать от страха? Того, кого она сможет разбудить среди ночи, если ее станут мучить непонятные кошмары?

Ее всхлипывания перешли в икоту, она еще крепче вцепилась в мягкую ткань его халата.

«Вон как она за меня цепляется,— подумал он.— Она никогда меня не отпустит...» А потом опять нахлынула темнота, и он начал падать в пустоту, и опять ему стало все безразлично. Он даже не задумывался, есть ли в жизни что-то, о чем бы следовало переживать.

Только пальцы, цепляющиеся за него, да тяжесть, висящая на руках.

«Мне не страшно потерять весь мир,— подумал он.— Мне не страшно забыть свое прошлое. Но эти пальцы... Эта женщина. Я не могу просто сбросить с себя этот груз, потому что поднять его будет некому. Если я оставлю ее, она пропадет».

А тьма манила его, и груз, удерживавший его здесь, вызывал раздражение. Должен же быть какой-то выход. Какой-то компромисс между двумя страстными желаниями, чтобы можно было воплотить оба.

Но руки все еще крепко держали его. Мир погрузился в тишину, и эта тишина несла покой, мешали только острые, требовательные пальцы, и он закричал от отчаяния, и эхо его крика все еще звенело, когда он наконец открыл глаза и увидел, что Мэри-Джо стоит у стены и в ужасе смотрит на него.

— Что случилось? — прошептала она.

— Я проигралю игру,— ответил он.

Но не смог вспомнить, какую именно игру хотел выиграть.

В ту же секунду хлопнула дверь, и в дом, громко топая маленькими ножками, вбежала Эмми, пронеслась через кухню и влетела в кабинет. Она бросилась к маме и принялась громко рассказывать, как прошел день в школе, говорить о том, что за ней уже во второй раз погналась собака, а еще она, Эмми, читает лучше всех во втором

классе — так сказала учительница, а Дэррел пролил молоко прямо на нее, и можно ли, пожалуйста, прямо сейчас съесть бутерброд, потому что свой она уронила в школе во время завтрака и случайно наступила на него...

Весело взглянув на Марка, Мэри-Джо подмигнула и рассмеялась.

— У Эми, похоже, был напряженный день, правда, Марк?

Марк не смог улыбнуться. Он просто кивнул, а Мэри-Джо тем временем поправила Эми платье и повела ее на кухню.

— Мэри-Джо, — позвал Марк. — Я хочу с тобой поговорить.

— А можно попозже? — спросила Мэри-Джо, даже не обернувшись.

Марк услышал, как щелкнула дверца буфета, как открыли крышку банки с ореховым маслом, услышал, как Эми говорит:

— Мамочка, не мажь так густо.

Марк не мог понять, что его смущает и страшит. Эми требовала бутерброд, вернувшись из школы, с самого первого школьного дня, а в раннем детстве ела по семь раз на дню, не набирая при этом ни грамма жира. То, что происходило сейчас на кухне, никак не могло вызвать у него сомнений, просто никак не могло. И все же он не мог успокоиться и снова позвал жену:

— Мэри-Джо, Мэри-Джо, иди сюда!

— Папа что, с ума сошел? — донесся до него приглушенный голосок Эми.

— Нет, — ответила Мэри-Джо и вбежала в комнату.

— Что случилось, дорогой? — спросила она нетерпеливо.

— Я просто хотел... Просто хотел, чтобы ты зашла ко мне на пару минут.

— Знаешь, Марк, ты просто сам не свой. Эми после школы всегда требует к себе внимания, так уж повелось. Не стоит тебе сидеть дома без дела, Марк, ты становишься просто невозможным.

Она улыбнулась, давая понять, что не так уж сильно на него сердится, и поспешила к Эми.

На секунду Марк почувствовал острый укол ревности оттого, что Мэри-Джо гораздо внимательнее относится к Эми, чем к нему самому.

Но ревность быстро прошла, как и воспоминание о боли, которую причинили ему пальцы Мэри-Джо, когда та цеплялась за него. На Марка нахлынуло чувство огромного облегчения, и он больше не тревожился ни о чем, а просто подошел к гробу, который так и притягивал его, открыл крышку и заглянул внутрь.

«У бедняги словно вовсе нет лица,— подумал Марк.— Будто смерть лишает человека лица, и все становятся безымянными, незнакомыми даже самим себе».

Он провел руками по атласной обивке, прохладной и приятной на ощупь. Комната да и весь мир вокруг вдруг словно сделались нереальными. Остались лишь Марк, гроб и мертвое тело, и Марк вдруг почувствовал, как ужасно устал и как ему жарко, словно сама жизнь была мучительным трением, вызывающим чудовищный жар. Он снял халат и пижаму, неловко вскарабкался на стул и забрался внутрь гроба, опустил на колени, потом лег. Никого внутри больше не было, не с кем было делить узкое пространство, ничто не отделяло его от прохладного атласа обивки, и он лежал, наслаждаясь прохладой, потому что трение наконец-то прекратилось, жар быстро спадал, и тогда Марк приподнялся и задвинул крышку, и наступили темнота и покой, где не было больше ни запахов, ни вкусов, ни чувств, а была лишь прохлада гладкой ткани.

— Почему закрыли крышку? — спросила малышка Эми, крепко держа маму за руку.

— Потому что мы должны помнить не то, каким папа был с виду,— тихо говорила Мэри-Джо, тщательно подбирая слова,— а то, каким он был в жизни. Каким он был веселым, как смеялся, как любил нас.

— Но я помню, как он меня шлепал.

У Эми был растерянный вид.

Мэри-Джо кивнула и улыбнулась, впервые за долгое время.

— Это тоже надо помнить,— сказала она и увела дочку от гроба, обратно в гостиную, где Эми, еще не понимая

всей глубины обрушившейся на нее утраты, весело вскарабкалась на колени к бабушке.

К маме подошел Дэвид, вложил свою руку в ее ладонь и крепко сжал. Он был серьезен, на лице виднелись слезы. Он уже все понимал.

— Все будет хорошо, — сказал он.

— Да, — ответила Мэри-Джо. — Я тоже так думаю.

— Не знаю, дорогая, где ты берешь силы, чтобы держаться так стойко, — прошептала ей на ухо мать.

Слезы навернулись на глаза Мэри-Джо.

— Вовсе я не стойкая, — прошептала она в ответ. — Все ради детей. Они ведь полностью зависят от меня. Я не могу позволить себе быть слабой, когда знаю, что они смотрят на меня.

— Как было бы ужасно, — задумчиво проговорила ее мать, — если бы у вас не было детей.

Марк Тэпуорт, исполнив свою последнюю волю, лежал в гробу и слышал все, что происходит вокруг, но все это больше не удерживалось в его сознании, ибо там теперь царила лишь одна мысль — о согласии. Он достиг полного согласия со своей жизнью, со своей смертью, со всем миром и с вечным отсутствием мира. Потому что теперь есть дети.

Упражнения на дыхание

Если бы Дейл Йоргасон не имел привычки отвлекаться на посторонние вещи, он бы ничего не заметил. Но, поднимаясь в спальню, чтобы переодеться, он заметил газетный заголовок и на время забыл о своем намерении. Он присел на ступеньку и начал читать, однако ему не удалось сосредоточиться. Он слышал все, что происходит в доме: Брайан, его двухлетний сынишка, спал наверху, тяжело дыша во сне; Колли, его жена, месила на кухне тесто и тоже тяжело дышала.

Они дышали в унисон. Резкие вздохи Брайана, доносившиеся сверху, тяжелые из-за заложенного носа, и глубокое дыхание Колли, трудившейся над тестом. Это навело Дейла на кое-какие мысли, и он совсем позабыл о газете. Он стал думать о том, часто ли такое бывает — чтобы люди так долго дышали в такт. Он стал размышлять о совпадениях.

А потом, поскольку он всегда легко отвлекался, он вспомнил, что надо переодеться, и снова пошел наверх. Когда он спустился в джинсах и свитере, предвкушая хороший баскетбольный матч на открытом воздухе (ведь уже наступила весна), Колли крикнула:

- Дейл, у меня кончилась корица!
- Куплю на обратном пути!
- Мне надо сейчас! — настаивала Колли.
- У нас ведь две машины! — прокричал Дейл в ответ и закрыл дверь.

Секунду он был недоволен собой, потому что не помог жене, но потом подумал, что уже и так опаздывает, а ей не помешает прихватить Брайана и прогуляться, она ведь совсем никуда не выходит в последнее время.

Команда, в которой он играл вместе с приятелями из «Олвис Хоум Продактс», выиграла матч, и он вернулся домой, ощущая приятную усталость.

Дома никого не было. Тесто так поднялось, что выплеснулось на стол, а несколько больших кусков оторвались и упали на пол. Колли, похоже, не было уже давно.

«Интересно, почему она задержалась», — подумал Дейл.

Потом позвонили из полиции, и он перестал удивляться. Колли то и дело по невнимательности пропускала знак «стоп».

На похоронах было много народу, потому что у Дейла была большая семья, а на работе к нему хорошо относились. Он сидел между своими родителями и родителями Колли. Монотонно звучали речи, и Дейл, который так легко отвлекался, думал о том, что из всех скорбевших лишь несколько человек по-настоящему горюют. Немногие хорошо знали Колли: она всегда избегала общественных собраний и увеселений. Она проводила все время дома с Брайаном, отлично вела домашнее хозяйство, читала книги и была, в общем-то, одинока. Большинство пришли на похороны ради Дейла, чтобы его поддержать.

«Ощущаю ли я эту поддержку?» — спрашивал он себя.

От друзей — нет, они немного могли сказать и чувствовали себя смущенными и растерянными. Лишь его отец сумел сразу выбрать верный тон, он просто обнял Дейла и стал говорить о чем угодно, только не о его погибших жене и сыне, которые так искалечились в автокатастрофе, что гроб не открыли. Он говорил, как летом они отправятся порыбачить на Верхнее озеро, о негодях из «Континентал Хардуэр», считающих, будто шестидесятипятилетний возраст выхода на пенсию должен распространяться и на президента компании, говорил обо всем подряд. Но это было как раз то, что нужно. Разговор отвлекал Дейла от мыслей о горе.

Теперь он стал размышлять о том, был ли он для Колли хорошим мужем. Действительно ли она была счастлива, проводя целые дни дома, как наседка? Он старался вытащить ее куда-нибудь, пытался знакомить с новыми людьми, но она сопротивлялась этим попыткам. И в конце концов он задал себе вопрос, а знал ли он вообще свою жену, — но так и не смог найти точного ответа. А Брайана он вообще не знал. Мальчик был умненьким и шустрым; в том возрасте, когда другие дети еще с трудом произносят отдельные слова, он уже выдавал целые фразы. Но разве они с Дейлом могли о чем-то поговорить?

Брайан дружил лишь с мамой, а Колли дружила лишь с Брайаном. В чем-то это напоминало дыхание в унисон — в тот, последний раз, когда он слышал, как они дышат: так, словно даже их тела существовали в гармонии друг с другом. Дейлу делалось немного легче при мысли о том, что и свой последний вдох они сделали вместе, гармония продолжалась до самой могилы. Теперь их в полной гармонии опустят в землю в одном гробу, бок о бок, так, как они проводили все время с рождения Брайана.

Дейла опять охватила тоска. Он удивился, потому что ему казалось, он уже выплакал все слезы, но, как выяснилось, в запасе ждали еще целые потоки. Он не знал, отчего плачет: оттого, что ему не хочется возвращаться в пустой дом, или оттого, что он всегда жил как бы в стороне от своей семьи. Может, этот гроб в какой-то мере олицетворял отношения, давно сложившиеся между ними? Такие мысли показались Дейлу ничемными, и он позволил себе отвлечься. Он позволил себе заметить, что его родители тоже дышат в унисон.

Они дышали тихо, еле слышно, но Дейл все равно заметил и оглянулся на них. Он смотрел, как одновременно поднимается грудь у обоих. Это слегка разозлило его: неужели дыхание в такт встречается так часто?

Он стал присматриваться к остальным, но родители Колли дышали каждый сам по себе, да и дыхание самого Дейла подчинялось собственному ритму. Потом на Дейла посмотрела мать, улыбнулась, кивнула, словно желая передать ему что-то без слов. Дейл не очень хорошо разбирался в бессловесных посланиях. Многозначительное молча-

ние и полные особого смысла взгляды всегда ставили его в тупик. В такие моменты ему хотелось проверить, застегнута ли у него ширинка. Вот, опять отвлекся и перестал думать о том, кто как дышит.

Он не вспоминал об этом до самого аэропорта, где самолет задержали на целый час из-за технических неполадок в Лос-Анджелесе. С родителями ему было не о чем говорить, даже болтовня отца перестала его занимать, и они почти все время молчали, как, впрочем, и большинство пассажиров. Рядом с ними молча сидели стюардесса с летчиком, тоже ожидая, когда же прилетит самолет.

В таком глубоком молчании Дейл заметил, что его отец и летчик, сидевшие нога на ногу, покачивают носком в такт. Потом прислушался и уловил отчетливые звуки, наполнившие весь огромный зал ожидания, — ритмичный шелест голосов многих пассажиров, вдыхавших и выдыхавших одновременно. Отец и мать Дейла, и летчик, и стюардесса, и еще целая толпа пассажиров — все они дышали в унисон. Дейл начал терять терпение. Ну как такое возможно? Брайан и Колли — сын и мать, родители Дейла прожили бок о бок многие годы. Но как получается, что половина собравшихся в огромном зале ожидания дышат друг с другом в такт?

Он заговорил об этом с отцом.

— Странно, конечно, но, вероятно, ты прав, — заметил отец, которого весьма позабавило необычное открытие.

Отец Дейла вообще любил все из ряда вон выходящее.

А потом ритмичное дыхание сбилось, к самому окну подкатил самолет, люди зашевелились, поспешили на посадку, хотя по расписанию посадка уже полчаса как должна была закончиться.

Во время приземления в Лос-Анджелесе самолет разбился. Из пассажиров выжила половина. Однако весь экипаж, многие пассажиры, включая и родителей Дейла, погибли, когда самолет врезался в землю.

И тогда Дейл догадался, что ритмичное дыхание — не совпадение и не результат особой близости между людьми. Оно — предвестие скорой смерти. Люди дышат в такт

друг с другом, потому что и последний вздох совсем скоро сделают вместе.

Он не стал никому рассказывать о своем открытии, но стоило ему отвлечься, как он принимался об этом размышлять. По крайней мере, лучше размышлять об этом, нежели сосредоточиваться на мысли, что теперь он остался один-одинешенек, хотя семья всегда значила для него очень много. Что никого из людей, с которыми он мог быть самим собой, больше нет. И нигде в мире он уже не будет чувствовать себя свободно.

Гораздо легче думать о том, не сможет ли он использовать свое открытие, чтобы спасти людей. Следуя по одному и тому же бесконечному замкнутому кругу, он часто размышлял: если еще когда-нибудь он заметит такую странность, он сможет предупредить людей и спасти. Но если бы я мог их спасти, разве дышали бы они тогда в унисон?

«Если бы я предупредил родителей, они полетели бы другим рейсом, — размышлял он, — и не погибли бы, а значит, не дышали бы в такт, и тогда я не смог бы их предупредить, и они бы не полетели другим рейсом, и тогда погибли бы, и дышали бы в унисон, поэтому я бы это заметил и смог бы их предупредить...»

Эти размышления занимали Дейла куда больше, чем любые другие мысли, когда-либо приходившие ему в голову, поэтому он не так легко отвлекался от подобных умозаключений. Это стало сказываться на его работе. Он работал медленнее, стал допускать ошибки, потому что был слишком поглощен тем, как дышат окружающие — секретари и прочие работники компании. Он ждал решающей минуты, когда они начнут дышать в унисон.

Он обедал один в ресторане, когда вновь услышал дыхание в такт. Все вдыхали и выдыхали абсолютно синхронно, дыхание в унисон доносилось от каждого столика. Несколько минут он прислушивался, чтобы убедиться, что не ошибся, потом быстро встал и вышел. Он не стал задерживаться, чтобы расплатиться, поскольку все люди за столиками, до самого выхода, дышали в унисон.

Само собой, метрдотель был недоволен, что посетитель ушел, не расплатившись.

— Стойте! Вы не заплатили! — закричал он, выходя вслед за Дейлом на улицу.

Дейл не остановился.

Он не знал, как далеко от ресторана надо отойти, чтобы избежать опасности, угрожавшей всем посетителям. Оказалось, у него просто не было выбора: метрдотель оставил его всего в нескольких шагах от ресторана и попытался затаскать обратно, но Дейл отчаянно сопротивлялся.

— Вы не можете так просто уйти! Вы должны заплатить! Что вы себе позволяете?

— Я не могу вернуться, — воскликнул Дейл. — Давайте я заплачу. Заплачу прямо сейчас!

Он уже стал дрожащими пальцами открывать бумажник, когда взрыв огромной силы швырнул наземь и его, и метрдотеля. Из ресторана вырвалось пламя, послышался крик, и здание рухнуло. Невероятно, чтобы кто-то из находившихся внутри мог остаться в живых.

Метрдотель, поднявшись, в ужасе смотрел на Дейла, и по взгляду этого человека было видно, что ему медленно открывается истина.

— Вы знали! — произнес он. — Вы знали!

В суде Дейла оправдали — последовали телефонные звонки от радикально настроенной группы, выявились факты покупки большого количества взрывчатых веществ в нескольких штатах, и другие люди были обвинены в этом преступлении и приговорены. Многие из сказанного во время суда, однако, убедило и самого Дейла, и нескольких психиатров в том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он добровольно отправился в заведение, где доктор Говард Рамминг много часов беседовал с ним, пытаясь понять природу его безумия, его заикленность на дыхании как предвестнике близкой смерти.

— В общем-то, я нормален, не правда ли, доктор? — то и дело спрашивал Дейл.

— А что такое нормальность? Кто из нас нормален? Откуда мне знать? — вновь и вновь отвечал доктор.

Вскоре Дейл понял, что психиатрическая больница — не самое плохое место на земле. Частное заведение, на содержание которого тратится немало денег. Большинство

пациентов поступили туда по доброй воле, значит, тамошние условия должны были соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому Дейл был чрезвычайно благодарен отцу за доставшееся ему по наследству состояние. В больнице он чувствовал себя в полной безопасности; единственным связующим звеном с окружающим миром там служило телевидение.

Постепенно, встречая в больнице самых разных людей и привязываясь к ним, Дейл начал приходить в себя, его навязчивая идея мало-помалу бледнела, и он перестал внимательно прислушиваться ко вдохам и выдохам, к звукам чужого дыхания, в попытках уловить общий ритм. Постепенно он стал прежним Дейлом, который легко отвлекался.

— Доктор, я почти излечился,— заявил он однажды во время игры в трик-трак.

— Я знаю, Дейл,— вздохнул доктор.— Должен признаться, я разочарован. Не потому, что ты выздоровел, пойми меня правильно. Просто ты стал для меня глотком чистого воздуха, свежим ветерком, уж извини за выражение.

Они оба посмеялись.

— Я так устал от пожилых дам, страдающих модными нервными срывами.

Дейл проиграл — кости были не на его стороне. Но он принял поражение спокойно, зная, что в следующий раз выиграет — как выигрывал почти всегда. Потом они с доктором Раммингом встали из-за стола и прошли в ту часть рекреационного зала, где стоял телевизор. Программу прервали из-за какого-то срочного сообщения, и смотревшие телевизор люди были явно взволнованы. Новости смотреть в больнице не разрешалось, прорваться сюда могли только экстренные выпуски.

Доктор Рамминг уже собрался выключить телевизор, как вдруг услышал, о чем именно говорят с экрана:

— ...со спутников, способных уничтожить все крупные города Соединенных Штатов. Президенту предоставили список пятидесяти четырех городов, которые являются целями выведенных на орбиту ракет. Одна цель из списка

будет уничтожена немедленно, сказано в заявлении, чтобы продемонстрировать, что угроза серьезна и будет приведена в исполнение. Об этом уже сообщили силам гражданской обороны, и жители пятидесяти четырех городов должны подготовиться к немедленной эвакуации.

Потом последовала обычная чередa специальных сообщений, анализ ситуации, но было видно, что сами журналисты сильно напуганы.

Дейл, однако, не мог сосредоточиться на передаче: его внимание привлекло нечто другое, куда более важное и срочное. Все вокруг, включая самого Дейла, дышали в унисон. Он попытался выбиться из общего ритма и не смог.

«Это от страха,— подумал Дейл.— Из-за этой передачи мне стало казаться, что я опять слышу слитное дыхание».

На экране, прервав вещание, появился диктор новостей Денвера.

— Дамы и господа, Денвер является одной из потенциальных целей ракетных ударов. По указанию городских властей сообщаем, что немедленно начинается плановая эвакуация. Следуя правилам уличного движения, выезжайте из города в восточном направлении, если вы живете в следующих районах...

Диктор замолчал и, тяжело дыша, стал слушать то, о чем ему говорили в наушники.

Диктор дышал точно в такт со всеми собравшимися перед телевизором людьми.

— Дейл,— окликнул доктор Рамминг.

Дейл продолжал дышать, чувствуя, как смерть нависла над ним, угрожая с неба.

— Дейл, ты слышишь, как мы дышим?

Он слышал.

Диктор заговорил вновь:

— Денвер стал первой целью. Ракеты уже выпущены. Пожалуйста, уезжайте немедленно. Не задерживайтесь ни в коем случае. Согласно оценкам, у нас в запасе менее... менее трех минут. О боже!

И, тяжело дыша, он вскочил с кресла и скрылся из поля зрения камеры. На станции никто не стал выключать

телеоборудование — на экране все еще был виден отдел местных новостей, пустые стулья, столы, карта погоды.

— Мы не сможем спастись,— обратился доктор Рамминг к тем, кто был в комнате.— Мы в самом центре Денвера. Единственный выход — лечь на пол. Постарайтесь укрыться под столами и стульями.

Все в комнате, объятые ужасом, подчинились его властному голосу.

— Вот и вылечился,— запинаясь, проговорил Дейл.

Рамминг изобразил подобие улыбки. Они легли рядом в центре комнаты, предоставив остальным укрытия под столами, потому что знали — от этого все равно никакого толка.

— Тебе здесь не место,— сказал Рамминг.— Никогда в жизни не встречал более нормального человека.

А Дейл уже снова отвлекся. Перед лицом надвигающейся смерти он почему-то стал думать о Колли и Брайане, о том, как они лежат в гробу. Он ясно представил, как бешеным порывом ветра гроб вырвет из земли, как ослепительно белый взрыв, который скоро расколет небо, испепелит его в прах.

«Падет, наконец, последняя разделяющая нас граница, и я снова буду с ними,— подумал Дейл,— мы снова будем вместе, так близко, как только возможно».

Он вспомнил, как Брайан учился ходить и, падая, плакал, а Колли говорила: «Не надо каждый раз его поднимать. Иначе он будет думать, что плачем можно добиться всего, чего угодно».

И вот Дейл целых три дня слушал, как Брайан без конца плачет, и ни разу не протянул мальчику руки, чтобы помочь подняться. Ходить Брайан научился быстро. Но теперь Дейла внезапно охватило непреодолимое желание взять мальчика на руки, чтобы тот уткнулся красным от слез личиком ему в плечо, и сказать: «Не плачь, все хорошо, папа тебе поможет».

— Все хорошо, не плачь, папа тебе поможет,— произнес Дейл вслух.

А потом вспыхнул белый свет, такой яркий, что его было видно сквозь стены, как сквозь оконное стекло, да и стен больше не существовало, и все люди перестали ды-

шать — но прежде, чем навсегда лишиться голосов, невольно закричали последним криком, чтобы потом умолкнуть навеки. Их голоса подхватил стремительный ветер, он вырвал из каждой глотки идеально гармоничные звуки и понес их вверх — туда, где в небе собирались облака над местом, где когда-то был Денвер.

И в последнюю секунду, когда из его легких вырвался крик, а глаза от нахлынувшего жара выплеснулись из орбит, Дейл осознал, что, несмотря на свой дар предвидения, единственным, кого он спас, оказался метрдотель, жизнь которого не имела для Дейла ровным счетом никакого значения.

Жиртрест

Девушка-администратор удивилась, что он вернулся так быстро.

— Мистер Барт, очень рада вас видеть,— сказала она.

— Вы хотели сказать, что удивлены,— заметил Барт рокочущим голосом, складки жира под его подбородком заходили ходуном.

— Я очень рада.

— Сколько времени прошло? — спросил Барт.

— Три года. Как летит время.

Девушка улыбнулась, но Барт не мог не заметить выражения ужаса и отвращения, промелькнувшего на ее лице при виде его огромной туши. На работе она каждый день видела толстяков. Но Барт был особенным и знал об этом. Он гордился тем, что не похож на остальных.

— Вот я и вернулся в жиртрест,— смеясь, произнес он.

От смеха у него перехватило дыхание, он стал хватать ртом воздух, а девушка тем временем нажала на кнопку и сказала:

— Мистер Барт вернулся.

Он не стал утруждать себя поисками стула. Никакой стул его не выдержит. Поэтому он просто прислонился к стене. Стоять было нелегкой задачей, и он предпочитал ее упрощать.

Однако в Центр оздоровления доктора Андерсона он вернулся не из-за того, что страдал одышкой и любое движение доводило его до изнеможения. Он и раньше был толстым, и ему, скорее, доставляло удовольствие ощу-

ние собственной громоздкости, впечатление, которое он производил на окружающих, заставляя их расступаться. Он жалел слегка полных людей — коротышек, не умеющих с достоинством носить свой вес. Барт же, при его росте свыше двух метров, имел способность толстеть поразительно, великолепно и восхитительно. В его распоряжении было тридцать гардеробов, и он получал огромное удовольствие, переходя от одного к другому по мере того, как росли его живот, бедра и ягодицы. Временами ему казалось, что, растолстей он еще немного, и он станет владеть над всем, заполонит собой весь мир. А за обеденным столом он мог составить сильную конкуренцию самому Чингисхану.

Значит, сюда его привела вовсе не тучность. Просто настал такой момент, когда тучность стала помехой для других его удовольствий. Девушка, с которой он провел прошлую ночь, старалась изо всех сил, но у него так ничего и не вышло — верный знак, что настало время для обновления, перерождения и сокращения объемов.

— Я — человек, который любит удовольствия, — прохрипел он девушке-администратору, чье имя так и не потрудились запомнить.

Она улыбнулась в ответ.

— Мистер Андерсон будет здесь через минуту.

— Смешно, не правда ли, — заметил он, — что такой человек, как я, способный исполнить любое из своих желаний, так и не может достичь полного удовлетворения! — Он снова рассмеялся, хватая ртом воздух. — Почему мы с вами ни разу не переспали?

Она взглянула на него с неприкрытым раздражением.

— Вы всегда задаете этот вопрос, мистер Барт, когда приезжаете. Но, покидая нас, никогда не повторяете своего предложения.

И то правда. Когда он выходит из Центра оздоровления доктора Андерсона, эта девушка уже не кажется ему такой привлекательной.

Вошел Андерсон, безнадежно красивый, отвратительно сердечный, взял в ладони пухлую руку Барта и с энтузиазмом сжал.

— Один из лучших моих пациентов!

— Все как обычно,— сказал Барт.

— Ну разумеется,— ответил Андерсон.— Вот только цены поднялись.

— Если когда-нибудь вам придется свернуть бизнес,— сказал Барт, следуя за Андерсоном в один из внутренних кабинетов,— непременно предупредите меня заранее. Я распускаю себя до такой степени только потому, что есть вы.

— Вот как? — фыркнул Андерсон.— Нам никогда не придется свернуть бизнес.

— Не сомневаюсь — всю вашу клинику можно было бы содержать на деньги, что вы получаете от меня одного.

— Вы же платите не только за услуги. Вы оплачиваете еще и конфиденциальность. Или, скажем так, невмешательство властей.

— Сколько этих ублюдков вам приходится подкупать?

— Немного, совсем немного. Еще и благодаря тому, что многие высокопоставленные чиновники тоже пользуются нашими услугами.

— Не сомневаюсь.

— И к нам приходят не только те, кто страдает от лишнего веса. У нас есть пациенты с раком, с увечьями и просто очень старые. Вы бы удивились, узнав, кто именно прибегал к нашей помощи.

Вряд ли Барт удивился бы. Кушетка для него уже была готова — огромная и мягкая, установленная под таким углом, чтобы ему легко было с нее вставать.

— На этот раз я чуть было не женился,— сказал Барт, чтобы поддержать разговор.

Андерсон удивленно посмотрел на него.

— Но все-таки не женились?

— Конечно нет. Снова начал толстеть, и она это не потянула.

— Вы ей рассказали?

— О том, что толстею? Это и без того видно.

— О нашей клинике, я имею в виду.

— Что я, дурак?

Андерсон явно вздохнул с облегчением.

— Нельзя допустить, чтобы среди молодых и тощих пошли про нас слухи.

— Но вообще-то я, наверное, загляну к ней еще разок, после того, как отсюда выйду. Она такое со мной вытворяла, о чем многие женщины и помыслить не могут. А я чувствовал, что совсем выдохся.

Андерсон натянул на голову Барта плотную резиновую шапочку.

— Не забудьте про ключевую мысль, — напомнил он.

Ключевая мысль. Сперва Барт получал огромное удовольствие, думая о том, что его память сохранится целиком, ни единой частицы не будет утрачено. Теперь же ему стало скучно, и его прежняя радость по этому поводу показалась ему глупой, шенячьей.

А у вас есть секретное декодирующее кольцо капитана Аардварка?

Стань первым на своей улице. Единственное, в чем Барт стал первым на своей улице, — это в ранней половой зрелости. И еще первым на улице он набрал сто пятьдесят килограммов веса.

«Сколько раз я уже это проделывал? — думал он, чувствуя, как слегка покалывает кожу головы. — Семь раз. Это восьмой. Восьмой раз, а мое богатство все растет. Оно уже достигло того размера, когда может жить собственной жизнью. И так будет всегда», — размышлял он с удовольствием.

Он всегда будет садиться за вечернюю трапезу, не мучаясь сомнениями, не ограничивая себя ни в чем.

— Опасно набирать такой вес, — сказала как-то раз Линетта. — Может случиться сердечный приступ.

Барт же беспокоился лишь о геморрое и импотенции. Первое — досадная неприятность, но второе делало жизнь невыносимой и вновь привело его в клинику Андерсона.

Ключевая мысль. О чем бы таком подумать?

О Линетте — как она стоит обнаженная на краю утеса, а вокруг бушует ветер. Она играет со смертью, и это восторгает его, он почти хочет, чтобы она проиграла.

Она презирала любые осторожности. Они стали для нее такими же путами, как одежда, — путами, которые следует сбросить. Однажды она уговорила его поиграть в пятнашки на стройке, и они в кромешной тьме бегали по строительным лесам и балкам, пока не пришла полиция

и не выгнала их вон. Тогда Барт все еще был стройным после последнего посещения Андерсона. Но сейчас он вспоминал вовсе не то, как Линетта бегала по стройке. Он думал о другой Линетте, хрупкой и прекрасной, стоящей на краю высокого утеса, где ветер того и гляди подхватит ее и разобьет о прибрежные скалы.

«И даже в этом есть свое наслаждение,— размышлял Барт.— Наслаждение в том, чтобы насладиться заслуженным горем».

Вдруг покалывание прекратилось. Вернулся Андерсон.

— Уже все? — спросил Барт.

— Мы усовершенствовали процесс.

Андерсон аккуратно стянул с головы Барта резиновую шалочку и помог громоздкому толстяку подняться с кушетки.

— Не могу понять, что в этом противозаконного,— заметил Барт.— Все так просто.

— Что вы, причины для запрета таких процедур существуют. Контроль за численностью населения и тому подобное. В этом ведь есть толика бессмертия. Но главное — очень многие испытывают к таким процедурам сильное отвращение. Им трудно с ними смириться. Вы — человек редкого мужества.

«Дело вовсе не в мужестве,— подумал Барт.— А в удовольствии».

Ему не терпелось увидеть результат собственными глазами, и долго ждать не пришлось.

— Мистер Барт, познакомьтесь, это мистер Барт.

У него чуть не разорвалось сердце при виде собственного тела — вновь молодого, сильного и красивого — такого, каким оно давно уже не бывало. В комнату ввели, несомненно, его самого, только с плоским твердым животом, крепкими, мускулистыми, но стройными бедрами, которые нигде не терлись друг о друга. В комнату, разумеется, его ввели обнаженным, Барт сам настоял на этом.

Он попытался вспомнить, как все было в прошлый раз. Тогда он сам вошел сюда из испытательной комнаты и увидел перед собой невероятно толстого человека, который, как подсказала память, и был им самим. Барту припомнилось, что это было двойным удовольствием — лю-

боваться на гору жира, в которую он сам себя превратил, в то же время сознавая, что сам он обитает теперь в другом, молодом и прекрасном теле.

— Подойди,— сказал Барт, и его голос прозвучал эхом голоса, раздавшегося в прошлый раз, когда те же самые слова произнес другой Барт.

И точно так же, как и тот, другой, Барт, он прикоснулся к обнаженному телу юного Барта, погладил великолепную гладкую кожу и обнял его.

И молодой Барт тоже его обнял, потому что так уж заведено. Никто не любил Барта сильнее, чем сам Барт, не важно, худой он или толстый, молодой или старый. Жизнь Барта была праздником, и собственный образ стал его самой большой ностальгией.

— О чем я думал? — спросил Барт.

Юный Барт с улыбкой посмотрел ему в глаза.

— О Линетте,— ответил он.— О том, как она стоит обнаженной на скале, где дует ветер. И еще о том, что она может упасть и погибнуть.

— Ты вернешься к ней? — жадно спросил Барт свою молодую ипостась.

— Возможно. Или найду другую, похожую на нее.

И Барт с восторгом заметил, что от одной только мысли об этом его юную ипостась охватило немалое возбуждение.

— Годится,— сказал Барт, и Андерсон протянул ему на подпись кое-какие документы — бумаги, которые никогда не попадут в суд, поскольку в них говорилось, что Барт дает согласие и является инициатором действия, расценивающегося любым судом в любом штате наравне с убийством.

— Значит, решено.— Андерсон отвернулся от жирного Барта и обратился к молодому.— Теперь вы — мистер Барт и получаете возможность распоряжаться его состоянием и его жизнью. Ваша одежда — в соседней комнате.

— Я знаю, где моя одежда.

Молодой Барт улыбнулся и вышел из комнаты пружинящей походкой.

Теперь он быстро оденется и так же быстро покинет Центр оздоровления доктора Андерсона, едва взглянув на довольно-таки бесцветную девушку-администраторшу...

И все же заметив ее задумчивый взгляд, устремленный вслед высокому, стройному и красивому человеку, который еще несколько минут назад лежал в хранилище, лишенный сознания и разума. Лежал в ожидании, когда же его наделят памятью и сознанием и очередной толстяк уступит ему свое место.

В комнате памяти Барт сидел на краю кушетки и смотрел на дверь. Внезапно он с удивлением осознал, что не имеет ни малейшего понятия, что будет дальше.

— Здесь мои воспоминания кончаются,— сказал Барт Андерсону.— В договоре написано... Что там написано в договоре?

— Что вам предоставляется внимание и опека до конца дней.

— Ах, да.

— Договор — просто чушь собачья,— произнес Андерсон с улыбкой.

Барт удивленно посмотрел на него.

— Что вы хотите этим сказать?

— Существует два варианта, Барт. Первый — игла в течение ближайших пятнадцати минут. Или работа по найму.

— О чем вы?

— Ну ты ведь не думаешь, что мы будем тратить кучу денег, чтобы прокормить такую тушу, как ты.

У Барта внутри все оборвалось. Он вовсе не ожидал такого, хотя, честно говоря, вообще не задумывался о том, что будет дальше. Барт был не из тех людей, которые предчувствуют грядущие несчастья. В его жизни никогда не случилось несчастий.

— Какая игла?

— С цианидом, если уж тебе так хочется знать. Хотя, по-моему, лучше подвергнуть тебя вивисекции, у тебя есть еще много полезных органов, которые мы могли бы с толком использовать. Тело у тебя достаточно молодое, на твоих шейных железах и тазе можно было бы заработать огромную кучу денег, но проблема в том, что добывать их надо у живого человека.

— О чем вы? О таком в соглашении не говорилось.

— С тобой, приятель, у меня не было никакого соглашения,— сказал Андерсон с улыбкой.— У меня было соглашение с Бартом. А он только что отсюда вышел.

— Позовите его обратно! Я требую...

— Барту абсолютно наплевать, что с тобой будет.

И он знал, что это правда.

— Вы что-то говорили о работе.

— Говорил.

— Что за работа?

— Да всякая-разная.— Андерсон покачал головой.

— Какая именно?

— Какая подвернется. Каждый год нам поступает несколько заявок на труд, который должен быть выполнен живыми людьми, а добровольцев не находится. Никого нельзя заставить выполнять такое принудительно, даже преступника.

— А я?

— А ты будешь выполнять эти заявки. Во всяком случае, одну, потому что вряд ли получишь вторую.

— Как вы можете так со мной поступить? Я же человек!

Андерсон покачал головой.

— По закону в мире существует лишь один человек по имени Барт. И это не ты. Ты просто номер. И буква. Буква З*.

— Почему Зе?

— Потому, приятель, что ты мерзкий обжора. Даже самые первые наши пациенты еще не миновали буквы В.

Андерсон ушел, и Барт остался один. Как же он раньше об этом не подумал!

«Конечно, конечно! — молча кричал он самому себе.— Разумеется, они не станут утруждаться, чтобы обеспечить тебе приятную жизнь!»

Ему хотелось вырваться отсюда, убежать. Но ему тяжело было даже ходить, а бегать — просто невозможно. И он сидел неподвижно, тяжелый живот давил ему на ноги, которые он не мог плотно свести из-за складок жира. Он

* Буква З — восьмая по счету в алфавите, в оригинале — Н. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, примечания редактора.)

с трудом поднялся, но сумел сделать лишь несколько неуверенных шагов, так сильно жир мешал передвигаться.

«И так было каждый раз,— думал Барт.— Каждый раз я выходил из этой комнаты молодым и стройным, оставляя здесь кого-то другого, и этот другой жил потом собственной жизнью, верно?»

У него сильно дрожали руки.

Он попытался вспомнить, какое решение принимал раньше, но быстро понял, что решение ему принимать не придется. Есть тучные люди, которые ненавидят самих себя и предпочтут умереть ради того, чтобы в мире осталась их стройная копия. Барт не был таким. Он никогда не смог бы сознательно причинить себе боль. А уничтожить собственное «я» — пусть противозаконное, пусть подпольное,— о таком он и помыслить не мог. Хотя он сделался сейчас кем-то еще, он все равно остался прежним Бартом. Человек, завладевший его памятью, покинувший эту комнату несколько минут назад, не сумел лишить Барта его «я». Барт всего лишь создал копию своей личности. «Своими зеркалами они выкрали мою душу,— говорил он себе.— Я должен ее вернуть».

— Андерсон! — закричал он.— Андерсон, я сделал выбор.

Вошел к нему, разумеется, другой человек, Андерсона Барт никогда больше не увидит. Иначе слишком велик был бы соблазн его прикончить.

— Зе, принимайся за работу! — прокричал старик с дальнего края поля.

Барт еще несколько секунд постоял, опираясь на мотыгу, потом вновь стал выдергивать сорняки из картофельной борозды. Руки его давно покрылись жесткими мозолями от деревянной ручки мотыги, мышцы научились выполнять работу рефлекторно, Барту даже не приходилось ими повелевать. Но от этого труд не стал легче. Когда он понял, что его заставляют заботиться о картофеле, он недоуменно спросил:

— В этом и будет заключаться моя работа? Только и всего?

В ответ он услышал смех.

— Это — только начало, — сказали ему, — чтобы привести тебя в форму.

А теперь, отработав два года на картофельном поле, он начал сомневаться, что когда-нибудь его отсюда заберут. Он думал, что до конца своих дней не покинет этого поля.

Он знал, что старик пристально наблюдает за ним, и взгляд этого человека обжигал сильнее солнечных лучей. Если Барт отдыхал слишком часто или слишком долго, старик подходил с кнутом и наносил жестокий удар, просекавший до крови, до самых печенок.

Барт опять врылся в землю, стараясь выдернуть упрямый сорняк, корни которого вцепились в почву мертвой хваткой.

— Ну давай, вылезай, — бормотал Барт.

Он думал, что у него уже не осталось сил, чтобы посильнее ударить мотыгой, но следующий удар получился удачным. Корень оторвался, и Барта хорошенько потрянуло.

Он был голым, загоревшим на солнце почти до черноты. Его кожа свисала огромными складками, как напоминание о громоздкой туше, которой он некогда был. Под растянутой кожей, однако, скрывались крепкие твердые мускулы. Они могли бы доставить ему удовольствие, ведь каждая мышца была заработана тяжким трудом и ударами бича. Но удовольствия он не ощущал — слишком велика оказалась цена.

«Я покончу с собой, — все чаще и чаще повторял он, когда его руки начинали дрожать от изнеможения. — Покончу с собой, чтобы ни тело, ни душа моя им не достались».

Но он никогда не смог бы такого сделать. Даже теперь Барт был не в состоянии поставить точку.

Ферму, на которой он работал, не окружала ограда, но когда однажды он попытался сбежать, он шел целых три дня, так и не увидев человеческого жилья. Лишь кое-где среди пустоши меж скудных пучков травы виднелись следы колес джипа. Потом его нашли и вернули, ослабевшего и отчаявшегося, и заставили закончить дневную норму, прежде чем позволили отдохнуть. И старик не поскупился на удары кнутом, он бил от всей души, с искрен-

ним удовольствием садиста или человека, испытывающего к Барту глубокую личную ненависть.

«Но почему он меня ненавидит? — недоумевал Барт. — Я ведь его не знаю».

В конце концов он решил, что все дело в полноте: он такой большой и мягкий, а старик — жилистый и ужасно худой, почти истощенный, с лицом, обожженным после долгих лет пребывания на солнце.

Но и со временем ненависть старика не угасла, хотя жир Барта плавился и таял от пота и солнечного жара на картофельном поле.

Резкий удар, звук опустившегося на спину кожаного хлыста, невыносимая боль, пронзившая до самых костей. Он слишком долго отдыхал, и старик это заметил.

Старик не сказал ни слова, просто снова поднял кнут, готовясь нанести еще один удар. Барт выдернул из земли мотыгу, чтобы вернуться к работе. И вновь ему пришлось в голову, как приходило уже сотню раз, что мотыга — оружие не хуже кнута и ею можно было бы нанести неплохой удар. Но, как и прежде, Барт посмотрел старику в глаза и не смог этого сделать. Хотя не понимал, что именно он видит в глазах старика. Он не мог ударить, мог только терпеть.

Кнут не опустился, Барт и старик просто смотрели друг на друга. Солнце жгло кровоточащую рану на спине, вокруг вились мухи, Барт не давал себе труда отмахиваться.

Наконец старик нарушил молчание.

— Зе,— проговорил он.

Барт ничего не ответил, а просто ждал.

— За тобой пришли,— сказал старик.— Первая работа.

Первая работа. Барт не сразу понял, что это значит, потом сообразил. Больше не будет картофельного поля. Не будет жары. Не будет старика с кнутом. Не будет одиночества или, по крайней мере, скуки.

— Слава богу,— произнес Барт.

В горле его пересохло.

— Иди помойся,— велел старик.

Барт отнес мотыгу в сарай. Он не мог забыть, какой тяжелой она показалась ему, когда он только что сюда попал. В тот день спустя десять минут работы на солнцепе-

ке он упал в обморок. Его привели в чувство прямо на поле, и старик приказал:

— Отнеси мотыгу на место.

И он понес в сарай тяжелую, неподъемную мотыгу, чувствуя себя Христом, несущим крест ради всего человечества. Вскоре люди, которые его сюда привезли, уехали, и они со стариком остались вдвоем. Ритуал с мотыгой всегда оставался неизменным: они вместе шли к сараю, старик осторожно забирал у Барта мотыгу и запирали сарай на ключ, чтобы Барт не мог ночью достать ее и убить своего мучителя.

Они отправились в дом, где Барт помылся, несмотря на боль, а старик смазал его спину обжигающим дезинфицирующим средством. Барт давно перестал мечтать об обезболивании. Обезболивание не входило в расчеты старика.

Чистая одежда. Несколько минут ожидания. А потом — вертолет. Из него появился молодой энергичный деловой человек, незнакомый Барту, но в принципе очень даже знакомый — как собирательный образ всех молодых энергичных деловых мужчин и женщин, с которыми он раньше общался. Молодой человек подошел и спросил без улыбки:

— Зе?

Барт кивнул. Другого имени они не признавали.

— Для тебя есть работа.

— Какая работа? — спросил Барт.

Молодой человек не ответил. Старик за его спиной прошептал:

— Они скоро тебе расскажут, Зе, и тогда ты захочешь вернуться сюда. Когда тебе расскажут, ты будешь молиться, чтобы тебя вернули на картофельное поле.

Но Барт ему не поверил. За два года, проведенные здесь, он не знал ни единой светлой минуты. Еда была отвратительная, и ее вечно не хватало. Женщин не было, а чтобы развлекать себя самому, он чересчур уставал. Он знал только боль, тяжкий труд и одиночество, и все это было невыносимо. Он не мог представить себе ничего хуже.

— И все же какую бы работу тебе ни поручили, — произнес старик, — она будет лучше, чем моя.

Барт хотел спросить, в чем же состояла его работа, но, судя по голосу старика, тот не собирался продолжать беседу, а их отношения не располагали к бесцеремонным вопросам. Поэтому они стояли молча, пока молодой человек помогал кому-то выйти из вертолета. То был абсолютно голый, невероятно толстый мужчина, белый, как сырая картофелина, вид у него был ошеломленный.

— Привет, И,— сказал старик.

— Меня зовут Барт,— раздраженно ответил толстяк.

Старик с силой ударил его по лицу, так что нежная кожа на губе треснула и потекла кровь.

— И,— сказал старик.— Тебя зовут И.

Толстяк жалобно закивал, но Барт — Зе — не чувствовал к нему жалости. На этот раз прошло всего два года. Каких-то два года — и он снова дошел до такого состояния.

Барт смутно вспомнил, как гордился тем, в какую грудку мяса себя превратил. Но теперь он испытывал лишь презрение. Ему хотелось подойти к толстяку и проорать ему в лицо:

• — Зачем ты это сделал? Почему ты снова сотворил с собой такое?

Это ничего не изменит. Для И, как и для Зе, все было впервые, то было лишь самое первое предательство, и он не помнил других.

Барт наблюдал, как старик вложил мотыгу в руки толстяка и повел его через поле. Из вертолета вышли еще двое молодых людей. Барт знал, чем они будут заниматься — несколько дней они будут помогать старику, пока И окончательно не смирится, не поймет, что сопротивляться бесполезно.

Но Барт не стал смотреть на повторение мучений, какие он испытал два года назад. Молодой человек, который первым вышел из вертолета, пропустил его вперед, посадил у окна, а сам сел рядом. Летчик завел двигатели, вертолет стал подниматься.

— Вот ублюдок,— сказал Барт, увидев в иллюминатор, как старик жестоко ударил И по лицу.

Молодой человек крикнул — и рассказал Барту, какая работа его ожидает.

Барт приник к иллюминатору.

Глядя вниз, он чувствовал, как жизнь уходит от него так же неумолимо, как уходит земля.

— Я не могу этого сделать.

— Есть варианты и похуже, — заметил молодой человек. Барт не поверил.

— Если я выживу, — сказал он, — если только я выживу, я хочу вернуться сюда.

— Что, так понравилось?

— Чтобы его убить.

Молодой человек безучастно взглянул на него.

— Старика, — пояснил Барт, в то же время сознавая, что молодой человек не способен что-либо понять.

Он снова стал смотреть в иллюминатор.

Старик казался совсем маленьким рядом с огромной глыбой белого мяса, и Барта охватило неодолимое отвращение к И. А еще невыносимое отчаяние при мысли о том, что ничего не изменится — его воплощения снова и снова будут проходить один и тот же отвратительный путь.

Где-то сейчас развлекается тот, кому предназначено стать К, танцует, играет в поло, соблазняет, предаётся извращенным наслаждениям с каждой женщиной, с каждым мальчиком; Бог знает, может, даже с каждой овцой, попадающей на пути. Человек, который когда-то станет К, сейчас обедает.

И ссутулился, неуклюже пытаюсь совладать с мотыгой. Вот он потерял равновесие и шлепнулся прямо в грязь, скорчившись от боли. Старик поднял кнут.

Вертолет развернулся, в поле зрения Барта осталось только небо. Он не видел, как опустил кнут, но живо представил себе эту картину. Представил с удовольствием, он жаждал ощутить тяжелое кнутаще в собственной руке.

«Ударь его еще раз! — беззвучно взывал он. — Ударь за меня!»

И мысленно поднимал и тяжело опускал кнут добрую дюжину раз.

— О чем ты думаешь? — спросил молодой человек и улыбнулся, будто распробовав соль какой-то очень смешной шутки.

— Я думаю,— ответил Барт,— что старик не может ненавидеть его так сильно, как ненавижу я.

В этом и заключалась соль. Молодой человек буйно расхохотался. Барт не понял, в чем суть шутки, но что-то подсказывало ему, что смеются над ним. Ему захотелось ударить насмешника, но он не решился.

Наконец молодой человек то ли заметил, как Барт выпрямился, то ли просто захотел объяснить, в чем дело. Он перестал хохотать, но продолжал улыбаться, и эта улыбка задевала Барта сильнее, нежели недавнее бурное веселье.

— Ты что, не понимаешь? — спросил молодой человек.— Разве ты не видишь, кто этот старик?

Барт не понимал.

— А что, по-твоему, мы сделали с А?

И он снова рассмеялся.

«Есть варианты и похуже»,— вспомнил вдруг Барт.

А самым худшим был именно этот: изо дня в день, из месяца в месяц присматривать за отвратительным животным, которое, как ни крути, и есть ты сам.

Шрам на его спине кровоточил, и высыхающая кровь приклеилась к спинке кресла.

Крышка времени

Джемини откинулся на заваленное подушками сиденье и задвинул крышку над головой. Здесь было темно, как в норе, только возле плеч пробивался слабый свет.

— Что ж, я начинаю,— сказал Орион.

Джемини затаил дыхание.

Он слышал, как щелкнул выключатель (или это кто-то клацнул зубами от удивления?), и крышка времени плотно закрылась, свет погас, перед глазами заплескали зеленые, оранжевые и фиолетовые круги.

Он резко поднялся и понял, что стоит в густой траве на обочине дороги.

Подул ветерок, ветка с шелестом мазнула листьями по спине. Он двинулся вперед, чтобы найти...

...Дорогу, которая оказалась там, где и говорил Орион. Теперь надо минутку подождать.

Джемини неловко соскользнул по насыпи, испачкав руки. К его удивлению, грязь оказалась влажной, мягкой и липкой. А он-то думал, что грязь твердая. Вот что получается, если слишком доверяешь картинкам в энциклопедии. Земля тоже мягко пружинила под его ногами.

Он оглянулся. На откосе виднелись две полосы — следы его ног.

«Все-таки я оставил свой след в этом мире,— подумал он.— Это ничего не изменит, и все же след моего присутствия остался в том времени, когда люди еще умели оставлять следы».

Вдали показался ослепительный свет. Приближался грузовик.

Джемини принялся. Он ничего не почувствовал, а ведь во всех книжках написано, что бензиновые двигатели давали очень сильный запах. Возможно, грузовик еще слишком далеко.

Вдруг огни резко свернули в сторону. Поворот. Через секунду машина будет здесь и повернет по извилистой горной дороге не в ту сторону, а потом будет уже слишком поздно.

Джемини поспешно вышел на дорогу. Конечно, ему и раньше несколько раз приходилось бывать под крышкой времени. Как и все остальные, он наблюдал знаменитые события: как Микеланджело создавал Сикстинскую капеллу, как Гендель творил своего «Мессию» (строго запрещалось что-либо насвистывать). Он видел премьеру «Напрасных усилий любви» и еще парочку менее значимых событий — они привлекли его внимание, потому что он вообще увлекался историей. Покушение на политического деятеля Джона Ф. Кеннеди, встречу Лоренцо Медичи с королем Неаполя, смерть на костре Жанны д'Арк — это зрелище ужаснуло его.

И вот теперь наконец он собирался пережить в прошлом то, чего никак не мог пережить в настоящем.

Смерть.

Грузовик вырулил из-за угла, фары на мгновение схватили из тьмы дальний берег, потом лучи повернулись, ярко осветив Джемини. Он рванулся вперед, прямо на стекло (какой ужас в глазах водителя, как ярко светят фары, какой твердый металл), а потом — мука. Раздирающая тело боль, он даже не знал, что можно ощущать нечто подобное: каждая клеточка, каждая частица тела корчилась от боли. Кости, ломающиеся, как старые палки под ударами кувалды. Разрывающиеся мышцы и жир. Брызги крови на лобовом стекле. Глаза, вылезающие из орбит, их вытолкнули наружу осколки раздробленного черепа и мозг, стремящийся вырваться, улететь прочь.

«Нет, нет, нет, нет, нет! — кричал Джемини, отчаянно цепляясь за последние клочки утасяющего сознания. — Нет, нет, нет, нет, нет, больше я этого не вынесу!»

Перед глазами вновь заиграли цветные пятна зеленого, оранжевого и фиолетового. Внутри него все сжалось, сознание дрогнуло, и он вернулся, выхваченный из смертельных тисков неумолимыми математическими законами, которым подчинялась крышка времени. Он вновь ощутил собственное тело, оно вернулось назад невредимым, целым, он ощутил каждую его клеточку так же ясно и четко, как и тогда, когда в него врезался грузовик. Только теперь его переполняла радость — радость настолько буйная, что он даже не заметил обыкновенного оргазма, еще одного маленького удовольствия в общей симфонии всепоглощающего счастья.

Крышка времени поднялась. Ящик задвинули. Джемини лежал, потный, тяжело дыша, одновременно и смеясь, и плача. Ему хотелось петь.

— Как это было? — с интересом спрашивали остальные, окружив его тесным кольцом. — Как, на что это похоже, похоже ли это на...

— Ни на что не похоже. Это просто есть, — Джемини был не в силах подобрать слова. — Это то, что Бог обещал праведникам, а Сатана — грешникам, все сразу.

Он пытался объяснить словами пережитую сладкую муку, радость, превосходящую все мыслимые радости, такое огромное счастье, что...

— Лучше, чем веселая пыльца? — спросил один молодой человек, скромно стоящий в сторонке, и Джемини догадался, что причина скромности именно в том, что сегодня он уже попробовал пыльцу.

— Пыльца по сравнению с этим — всего лишь поход в туалет, — ответил Джемини.

Все засмеялись, заговорили разом, каждому хотелось быть следующим («Орион знает, как развлечь народ»), а Джемини тем временем поднялся и подошел к Ориону, который сидел неподалеку за пультом управления.

— Ну как, понравилось? — спросил тот, мягко улыбувшись другу.

— Больше — никогда, — покачал головой Джемини.

Орион мгновение озабоченно смотрел на него.

— Неужели так плохо?

— Не плохо. Слишком сильные ощущения. Мне никогда не забыть этого, Орион, я никогда еще не чувствовал себя таким... живым. Кто бы мог подумать. Смерть, оказывается, такая...

— Яркая,— подсказал Орион нужное слово. Густые волосы свободно падали ему на лоб, и он встряхивал головой, чтобы они не лезли в глаза.— Второй раз уже легче. Больше времени, чтобы насладиться умиранием.

Джемини покачал головой.

— Одного раза достаточно. Жизнь больше никогда не покажется мне пресной.

Он рассмеялся.

— Ну что, чья теперь очередь?

В кресле уже устроилась Гармония. Ко всеобщему удовольствию, она сняла одежду, объяснив:

— Между мной и холодным металлом не должно оставаться никаких преград.

Но Орион заставил ее ждать, пока настраивал программу. Наблюдая, как он работает, Джемини думал: «Сколько раз ты уже это проделывал, Орион?»

— Немало,— ответил тот, не спуская глаз с голографической модели временного среза.

И тогда Джемини подумал, что смерть, наверное, такой же наркотик, как и нюхательная пыль, как воспарение или погружение во тьму.

Род Бингли наконец остановил грузовик. Он едва мог перевести дух от ужаса, от страшного потрясения. На ветровом стекле в сгустках крови все еще зияли глаза. Они — единственное, что казалось настоящим. Все остальное смысла дорожная грязь, водяные струи, дождь, брызги из-под колес.

Род распахнул дверцу и выскочил из кабины, надеясь... на что? Нельзя было и мечтать, что тот человек мог остаться в живых. Но, может, удастся понять, кем он был. Какой-то сумасшедший, сбежавший из психушки и разгуливающий по округе в длинных белых одеждах. Но поблизости нет лечебницы.

А на капоте грузовика не оказалось тела.

Род провел рукой по блестящей металлической поверхности, по гладкому чистому стеклу. На решетке — несколько жучков.

А эта вмятина здесь разве раньше была? Род не мог этого припомнить. Он осмотрел грузовик со всех сторон. Ничего, никаких следов. Ему что, все почудилось?

Должно быть, так. Но каким это казалось реальным! А ведь он ничего не пил, не принимал никаких тонизирующих — ни один здравомыслящий водитель грузовика не будет таким образом бороться со сном.

Он тряхнул головой. Появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он оглянулся через плечо: ничего, лишь деревья слегка качаются на ветру. Даже зверей не видно. В свете фар вьются ночные мошки. И все.

Ему стало стыдно, что он испугался неизвестно чего, и все же он быстро вскочил в кабину, захлопнул и запер дверцу. Повернул ключ. И заставил себя посмотреть на лобовое стекло, почти приготовившись снова увидеть эти глаза.

Стекло было чистым. А поскольку Рон торопился, он прибавил скорость. Дорога бежала вперед, то и дело петляя.

Он ехал все быстрее, надеясь добраться до более обжитых мест, прежде чем станет жертвой очередной галлюцинации.

Он брал очередной поворот, как вдруг ему показалось, что фары, полоснувшие по дальним деревьям, высветили посреди дороги какое-то белое пятно.

В следующий миг грузовик врезался в женщину — прекрасную, обнаженную, страстную, восхитительную. Она стояла, широко расставив ноги и распахнув руки, будто жаждала объятий. Она наклонилась, потом от удара ее подбросило, хотя Род изо всех сил вжал педаль тормоза и попытался свернуть. Из-за этого она распласталась не по центру стекла, а чуть сбоку, слева, как раз напротив Рода. Одна рука ее молотила по краю кабины, другая вцепилась в боковое стекло. Женщину размазало по стеклу.

Род тихо подвывал, когда грузовик вновь остановился. Рука женщины безвольно упала и больше не загоразживала

дверцу. Род быстро выскочил из кабины, обогнул открытую дверцу и дотронулся до трупа.

Теплый. Настоящая рука. Он прикоснулся к ягодице. Мягкая, нежная кожа, но под ней, как почувствовал Род, — сломанные кости таза. А потом тело соскользнуло с капота грузовика, шлепнулось на жирно блестящее дорожное покрытие и...

Исчезло.

В первую секунду Род хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой (и новой, несомненно новой) царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего.

Родни закричал.

Его крик отозвался эхом в утесах на противоположной стороне ущелья. Деревья, казалось, еще усилили этот звук, резко звенящий среди тяжелых стволов. В ответ заухала сова.

В конце концов Род снова сел за руль и медленно тронулся с места, медленно и неуверенно, не переставая мысленно твердить: «Что же это такое, Господи, что же это со мной происходит?!»

Гармония поднялась с кушетки. Она тяжело дышала, ее трясло.

— Лучше, чем секс? — спросил один из гостей.

Он, несомненно, пытался, но не сумел забраться к ней в постель.

— Это и есть секс, — ответила она. — Только получше, чем с тобой.

Все засмеялись. Отличная вечеринка. Кому еще под силу устроить что-либо подобное? Потенциальные хозяева салонов были в отчаянии, хотя тоже шумно требовали своей очереди задвинуть над головой крышку времени.

Но вдруг, повинувшись действию полицейского мастер-ключа, со звоном распахнулся замок.

— Нас засекли! — радостно выкрикнул кто-то, а остальные засмеялись и захлопали в ладоши.

Полицейским оказалась молодая женщина, похоже, еще не привыкшая пользоваться силовым щитом. Слегка

неловко она вышла на середину комнаты, где царило общее веселье.

— Кто здесь Орион Оверуид? — спросила она, оглядываясь.

— Я, — ответил Орион; он по-прежнему сидел за пультом управления и бросал на нее настороженные взгляды. Рядом с ним стоял Джемини.

— Я — офицер Мерси Менвул из Команды Контроля Времени Лос-Анджелеса.

— Нет, только не это, — раздался чей-то шепот.

— Здесь ваши законы не имеют силы, — сказал Орион.

— У нас заключено соглашение с Канадской Хроноохранительной корпорацией о взаимном применении силы. И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии двадцатого века. — Она холодно улыбнулась. — Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой. Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Оверуид.

Орион пожал плечами.

— Всего лишь случайное увлечение. Но я не вмешиваюсь в течение временных потоков.

Она подошла к пульту управления и точным движением протянула руку к одному из переключателей. В тот же миг Орион крепко схватил ее запястье. Джемини с удивлением заметил, как на его предплечье вздулись крепкие мышцы — он что, занимается спортом? Хотя, конечно, это вполне в духе Ориона — предаваться занятиям низших классов...

— Ордер, — потребовал Орион.

Она убрала руку.

— У меня есть официальное заявление наблюдателей Команды Контроля Времени. Этого достаточно. Я должен пресечь вашу деятельность.

— Согласно закону, — заметил Орион, — вы обязаны указать причину. Мы не совершили ни одного поступка, который изменил бы ход истории.

— Грузовиком управляет не робот,— заявила она. Ее голос прозвучал резко, пронзительно.— За его рулем живой человек. И вы вмешиваетесь в его жизнь.

Орион лишь рассмеялся в ответ.

— Ваши наблюдатели плохо выполняют домашние задания. А я — хорошо. Вот, смотрите.

Повернув переключатель, он стал проигрывать события в ускоренном режиме, сосредоточившись на темном силуэте грузовика, который быстро спускался по горной дороге. Машина петляла на поворотах, а поскольку она все время оставалась в центре голограммы, все окружающие предметы проносились мимо в головокружительном вихре, улетаая направо и налево, вверх и вниз по мере того, как машина совершала очередной поворот или подскакивала на кочках.

А потом, уже почти на самом дне ущелья, в расселине между скал, грузовик выехал на пологий спуск, сбегающий вниз, к воде, к перекинутому через реку хрупкому мостику.

Но моста не было.

А грузовик, не в силах остановиться, соскользнул с оборванной дороги, завис на мгновение над пропастью и рухнул вниз, ударяясь о стенки ущелья то одним боком, то другим. Не долетев десяти метров до воды, он застрял между двумя выступами скалы. Кабина превратилась в настоящее месиво.

— Он умрет,— сказал Орион.— А это означает, что любые наши действия по отношению к водителю после его последнего контакта с другим человеком и вплоть до его смерти не являются противозаконными. Так гласит закон.

Офицер полиции гневно покраснела.

— Я уже видела ваши невинные забавы с самолетами и терпящими бедствие судами. Это жестоко, мистер Оверуид.

— Жестокость по отношению к тому, кто уже умер, не является в полном смысле слова жестокостью. Я не меняю ход истории. А мистер Родни Бингли уже умер, умер более четырех веков назад. Я не причиняю вреда

никому из живущих. И вы должны передо мной извиниться.

Офицер Мерси Менвул покачала головой.

— Вы ничем не лучше римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей...

— Я знаю, кто такие римляне, — холодно заметил Орион, — и знаю также, кого они бросали на съедение львам. Я в данном случае бросаю на смерть своих друзей. И возвращаю их назад целыми и невредимыми благодаря действию системы полного возврата и восстановления «Гамбургер», намертво вмонтированной в любую крышку времени. И вы должны передо мной извиниться.

Она подтянулась.

— Команда Контроля Времени Лос-Анджелеса приносит Ориону Оверуиду свои официальные извинения за неправомерные выводы относительно его деяний.

Орион улыбнулся.

— Не слишком-то искренне прозвучало, но я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить?

— Чего-нибудь безалкогольного, — быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, который, не отводя глаз, грустно смотрел на нее.

Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного.

— Ты сыграла великолепно, — сказал Джемини.

— А ты, Джемини, — тихо, почти одними губами, прошептала она, — ты сегодня первым участвовал в этой затее. Джемини пожал плечами.

— Никто не запрещал мне принимать в ней участие.

Она повернулась к нему спиной. Вернулся Орион со стаканом.

— Кока-кола, — произнес он со смехом. — Пришлось везти аж из самой Бразилии. Там, понимаете ли, все еще ее пьют. Оригинальный рецепт.

Она выпила.

Орион снова устроился за пультом.

— Следующий! — объявил он, и на кушетку запрыгнули вместе мужчина и женщина. Они смеялись, пока остальные закрывали над их головами крышку времени.

Род сбился со счета. Сперва он пытался считать повороты. Потом — белые линии на дороге, пока на смену им не пришел недавно уложенный асфальт. Потом он считал звезды, но в голове у него прочно засело одно число — девять. 9. ДЕВЯТЬ.

«Боже,— молча молил он,— что же такое со мной творится, что такое со мной творится, помоги мне, сделай так, чтобы эта ночь кончилась, сделай так, чтобы я проснулся, останови, прекрати этот ужас!»

У обочины дороги мочился седой мужчина. Род сбавил скорость до предела. Грузовик едва двигался. Он прополз мимо этого человека так медленно, что, шевельнись тот хоть слегка, Род мгновенно бы остановился. Но седовласый закончил свои дела, поправил тунику и весело махнул Роду рукой. Тогда Род с облегченным вздохом прибавил скорость.

Расправил тунику.

На мужчине была туника!

Мужчины теперь не носят туник, Род никогда раньше не видел мужчин в такой одежде, только в эту безумную ночь. И тут он заметил в боковом зеркале быстрый белый промельк — человек бросился под задние колеса грузовика. Род врезал по тормозам и уронил голову на руль. Он рыдал в голос, от его громких всхлипов сотрясалась кабина, весь грузовик мерно покачивался на тяжелых рессорах.

Потому что в каждой новой жертве Род неумолимо видел свою жену, попавшую в аварию («Не по моей вине!»). Она погибла на месте, а он вышел из катастрофы целым и невредимым.

«Я не должен был выжить», — думал он тогда.

Об этом же думал и сейчас: «Я не должен был остаться в живых, и теперь Бог дает мне понять, что я — убийца, что колеса, мотор и руль моей машины — орудия убийства».

Он поднял глаза.

Орион все еще смеялся над рассказом Гектора о том, как тому удалось одурачить водителя грузовика, заставив прибавить скорость.

— Он-то думал, что я отрубился в придорожных кустах! — говорил Гектор, и Орион вновь зашелся неудержимым смехом.

— А ты тем временем рванул на дорогу, прямо под задние колеса! Жаль, я этого не видел! — Орион стонал от смеха.

Остальные тоже веселились — кроме Джемини и офицера Менвул.

— Ты вполне можешь увидеть все это сам, — тихо произнесла Менвул.

Орион расслышал ее слова сквозь общий гвалт и покачал головой.

— Только на голограмме. А она не лучшего качества, совсем не то изображение.

— Ничего, сойдет, — сказала она.

А Джемини, стоя рядом с Орионом, прошептал ему на ухо:

— Почему бы и нет, Орри?

Это ласковое прозвище прежних лет удивило Ориона, но показалось ему странно приятным. Значит, Джемини, как и сам Орион, тоже дорожит этими воспоминаниями? Орион медленно повернулся и посмотрел в глубокие, печальные глаза Джемини.

— Ты хотел бы увидеть голограмму? — спросил он.

Джемини лишь улыбнулся в ответ. Точнее, легко и быстро изогнул уголки губ — Орион хорошо помнил это движение, хотя прошло столько лет... Сорок лет, но сорок лет назад я был еще ребенком, мне было всего тридцать, а Джемини?

Джемини было пятнадцать. Раб своего спартанца, прислужник варвара-гунна.

И Орион улыбнулся в ответ.

Его пальцы замелькали над рычагами и кнопками.

Многие гости наблюдали за ним, хотя кое-кому затея с крышкой времени уже наскучила, каким бы забавным ни показалось сперва это развлечение.

— Эта забава съедает столько энергии, что можно бы освещать весь Мехико целый час, — заявила с легким смешком одна гостя — та, что пообещала свое тело четверым мужчинам и одной женщине, а теперь отдавала его еще одному, который не захотел ждать.

Теперь многие занимались по темным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким.

Вспыхнула голограмма.

Грузовик медленно ехал по дороге, картинка слегка подрагивала.

— Почему так дрожит? — спросил кто-то, и Орион рассеянно ответил:

— Хрононов меньше, чем фотонов, а площадь очень большая, не хватает.

Вот у обочины дороги возникла нечеткая фигура человека. Зрители засмеялись, узнав Гектора, который мочился в кустах. Вот он поправил подол туники и махнул рукой. Новый взрыв смеха. Грузовик прибавил скорость, и Гектор, резко рванувшись назад, бросился под колеса. Ударившись пару раз о двойные колеса, безжизненное тело распласталось посреди дороги, а грузовик остановился всего в нескольких метрах впереди. Спустя несколько мгновений тело исчезло.

— Отлично сработано, Гектор! — снова воскликнул Орион. — Даже лучше, чем ты рассказывал.

Все заплодировали, и Орион уже протянул руку, чтобы выключить картинку. Но офицер Менвул остановила его.

— Не надо, не выключайте, мистер Оверуид. Зафиксируйте изображение и дайте общий план.

Мгновение Орион смотрел на нее, потом пожал плечами и сделал, как она сказала. Он раздвинул границы изображения, грузовик уменьшился в размерах. И вдруг Орион напряженно застыл, застыли и все остальные. Всего в десяти метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост.

— Он все видит, — раздался чей-то сдвленный шепот.

А офицер Менвул накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне.

— Орион Оверуид, вы арестованы. Этот человек видит пропасть. Он не умрет. У него в запасе полно времени, чтобы заметить угрожающую ему смертельную опасность. Он останется жить, храня в памяти все случившееся. И вы уже изменили будущее, изменили настоящее и все прошлое вплоть до сегодняшнего момента.

Впервые в жизни Орион понял, что теперь у него есть основания опасаться за свою судьбу.

— Но это весьма серьезное обвинение, — неуверенно заметил он.

— Мне бы лично хотелось, чтобы в наказание входили и пытки, — горячо сказала офицер Менвул. — Пытки вроде той, которой ты подверг сегодня этого несчастного водителя!

И она вывела Ориона из комнаты.

Род Бингли поднял глаза и тупо уставился на дорогу. Свет фар освещал полотно на многие метры вперед. И пять секунд, или тридцать минут, или еще незнамо сколько времени — оно было и кратким, и в то же время бесконечным — он не мог осознать, что же перед собой видит.

Потом вышел из машины и приблизился к краю обрыва. Заглянул вниз и на несколько минут почувствовал себя лучше.

Род вернулся к машине и пересчитал повреждения. Вмятины на решетке, на гладкой поверхности металла. Три трещины на лобовом стекле.

Он вернулся туда, где недавно у обочины стоял мужчина. Самой мочи, разумеется, не осталось, но еще виднелись вмятинки на песке, где на землю падала горячая жидкость, и брызги грязи на придорожной траве.

А на свежем асфальте, уложенном, несомненно, только сегодня утром (но почему на мосту не было никаких предупреждающих знаков? Возможно, их повалило ветром), четко обозначились следы его шин. И только в одном месте они прерывались, там осталась полоса чистого асфальта шириной как раз с человеческое тело.

И Родни опять увидел перед глазами мертвые изувеченные лица, особенно те жуткие остекленевшие глаза в море крови среди обломков костей. Все они напоминали ему Рэчел. Рэчел, которая хотела, чтобы он... Что? Даже ее мечты теперь не удастся вспомнить!

Он вернулся в кабину и сел, вцепившись в руль. Голова кружилась и болела, но он ощущал, что приблизился наконец к некоему чудесному умозаключению, к простому ответу на все, что мучило его. Доказательства случив-

шегося существовали; пусть мертвые тела и пропали бесследно, все же имелись доказательства того, что он сбил всех этих людей. Он ничего не придумал.

Значит, это не кто иные, как ангелы (даже произнося это слово мысленно, он запнулся — и посмеялся над собой). Их послал Иисус, без сомнений, так учила его мама, это карающие ангелы, которые наказывают его за то, что он навлек смерть на жену, а сам посмел остаться невредимым.

Настало время платить по счетам.

Он завел двигатель и медленно поехал вперед, туда, где обрывалась дорога. И когда передние колеса соскользнули, когда миновало мучительное мгновение, полное страха — вдруг грузовик окажется слишком тяжелым и застрянет на краю, удержанный собственным весом? — он закрыл лицо руками и громко взмолился: «Вперед!»

И машина наклонилась вперед, опрокинулась, зависла в воздухе и упала.

Его вжало в сиденье. Он раздирал ногтями лицо. Он собирался сказать: «В руки Твои вручаю душу свою», но вместо этого закричал: «Нет, нет, нет, нет!» в бесконечном отрицании смерти, которая, в конце концов, не принесла никому ни малейшей пользы, когда он передал себя в объятия пропасти, ничего не возвращающей назад. Пропать поглотила его, стиснула в своих руках, закрыла ему глаза и уложила голову между бензобаком и гранитной глыбой.

— Подожди,— сказал Джемини.

— Это еще зачем? — Офицер Менвул задержалась в дверях.

Орион на петле нежности послушно следовал за ней. Он тоже остановился и взирал на женщину с тем обожанием, какое появлялось у любого человека, стоило надеть на него петлю нежности.

— Дай ему передохнуть,— сказал Джемини.

— Он не заслуживает отдыха,— ответила она.— Так же как и ты.

— Говорю, дай ему передохнуть. Дождись, по крайней мере, доказательств.

Она фыркнула.

— Какие еще доказательства нужны, Джемини? Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион Оверуид — фашист и убийца?

Джемини улыбнулся и развел руками.

— Мы ведь не видели, что на самом деле случилось с Родни. Может, спустя два часа его ударило молнией. Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда. И полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее...

— Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать, потому что мы помним лишь то, что помним, единственно возможный вариант событий.

— Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше, — настаивал Джемини. — Узнаем, расскажет ли Родни об этом кому-нибудь.

И она привела Ориона обратно к пульта управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму.

Все увидели, как Родни Бингли подошел к краю пропасти, как вернулся в машину, как подъехал к обрыву, упал вниз и разбился.

Гектор не смог сдержать победного клича:

— Так он все-таки умер! Орион ничегошеньки не изменил в прошлом!

Менвул презрительно взглянула на него.

— Меня от тебя тошнит, — сказала она.

— Тот парень умер, — истошно орал Гектор, — так что снимай с Ориона эту чертову завязку, иначе я подам на тебя в суд за превышение...

— Выйди и поблужай, — сказала она, и некоторые женщины сделали вид, будто шокированы этими словами.

Менвул ослабила петлю и освободила Ориона, который сразу злобно набросился на нее:

— Убирайся отсюда немедленно! Вон!

Он проводил ее до самого выхода, и не один только Джемини думал о том, что будет, если он ее ударит. Но Орион держал себя в руках, и она вышла целой и невредимой.

Пошатываясь, Орион вернулся назад, сильно растирая запястье, словно стараясь очиститься, стереть следы петли, еще недавно сжимавшей его руку.

— Эту гадость надо объявить вне закона. Я ведь на самом деле в нее влюбился. Влюбился в эту отвратительную, подлую, галкую полицейскую сучку!

И он так выразительно передернул плечами, что многие рассмеялись.

Обстановка тут же снова стала непринужденной.

Орион заставил себя улыбнуться, и гости вернулись к развлечениям. С той чуткостью, которая иногда просыпается даже у самых нечувствительных и твердолобых, все поняли, что надо оставить хозяина и Джемини наедине.

Джемини протянул руку и откинул со лба Ориона непослушную прядь волос.

— Купи когда-нибудь расческу,— сказал он.

Орион улыбнулся и мягко погладил Джемини по руке. Джемини медленно отвел ее.

— Извини, Орри,— сказал он,— но больше ничего не будет.

Орион сделал вид, что пожимает плечами.

— Знаю,— сказал он.— Даже ради памяти прошлых дней.

И он тихо засмеялся.

— Из-за этой дурацкой петли я в нее просто влюбился. Нельзя обращаться так даже с преступниками.

Он потыкал в кнопки на пульте управления, играя все с той же голограммой. Изображение росло, и постепенно все пространство заполнила кабина грузовика. Проступило зерно хрононов, картинка стала нечеткой, расплывчатой. Орион зафиксировал изображение.

Чуть наклонившись вперед и заглянув через стекло, Орион и Джемини сумели рассмотреть, в какое именно место головы Рода Бингли пришелся удар скалы, пригвоздивший его к бензобаку. Мелкие детали, разумеется, разобрать было невозможно.

— Интересно,— произнес наконец Орион,— есть ли разница.

— Разница в чем? — спросил Джемини.

— В смертях. Если не очнуться сразу после того, как умираешь, есть ли тогда разница?

Последовала пауза.

Потом раздался тихий смех Джемини.

— Что тут смешного? — спросил Орион.

— Ты смешной, — ответил его молодой друг. — Это единственное, чего ты еще не пробовал, так ведь?

— Как бы я мог такое сделать? — спросил Орион полусуто (только ли полусуто?). — Меня бы мгновенно восстановили из клона.

— Все очень просто, — сказал Джемини. — Надо только, чтобы рядом находился верный друг, готовый нажать на кнопку, пока ты там. Вот и все. И тогда ты сам сможешь совершить настоящий суицид.

— Суицид, — повторил Орион с улыбкой. — Надо же, какие у тебя полицейские словечки.

Той же ночью, когда остальные гости спали пьяным сном в своих кроватях или в других не менее удобных местах, Орион устроился в кресле и задвинул над головой крышку. Джемини в последний раз поцеловал его в щеку и положил левую руку на пульт управления.

Орион сказал:

— Ладно, начинай.

И спустя несколько мгновений Джемини остался в комнате один. Он не задумался ни на секунду, прежде чем подойти к центральному выключателю и обесточить весь дом на несколько критических секунд. Потом вернулся на прежнее место и долго сидел в полном одиночестве перед выключенным устройством и пустым креслом. Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Менвул. Она прямоком подошла к Джемини, обняла его, а он начал страстно ее целовать.

— Все? — спросила она.

Он кивнул.

— Этот ублюдок не заслуживает права на существование, — сказала она.

Джемини покачал головой.

— Ты не права, дорогая моя Мерси.

— Он что, не умер?

— Ах, ты об этом. Знаешь, ведь он сам хотел умереть. Я рассказал ему, что задумал, и он попросил, чтобы я осуществил свой план.

Она сердито посмотрела на него.

— И ты согласился. А теперь еще рассказываешь мне об этом, чтобы испортить радость.

Джемини лишь пожал плечами.

Менвул отвернулась, подошла к машине, провела пальцами по крышке времени. Потом отстегнула с пояса лазер и стала медленно плавить крышку, пока не превратила ее в бесформенный комок горячей пластмассы на металлической подставке. Даже металл кое-где оплавился, нарушив четкие и строгие линии конструкции.

— Прошное должно быть запечатано,— сказала она.— Пусть остается там, где ему и место.

Игры на скоростном шоссе

За исключением Доннер-Пасса, все остальные участки дороги от Сан-Франциско до Солт-Лейк-Сити были утомительно скучными. Стенли проезжал здесь добрую сотню раз и не сомневался, что знает теперь Неваду как свои пять пальцев — этот бесконечный извилистый серпантин среди зарослей полыни.

— Когда Бог закончил творить ландшафты, — часто повторял Стенли, — в Неваде все еще было много пустого места, и тогда Бог сказал: «Ну и черт с тобой!» — так и решилась дальнейшая судьба Невады.

Сегодня Стенли пребывал в ленивом настроении, особливо спешить в Солт-Лейк было незачем, поэтому, чтобы развеять скуку, он принялся за скоростные игры.

Сперва он сыграл в «синего ангела». На одном из подъёмов Сьерра-Невады нагнал два автомобиля, которые шли бок о бок со скоростью пятьдесят миль в час, и пристроил свой «датсун-260Z» рядом с ними. Так они и шпарили рядком на скорости пятидесяти миль в час, занимая все три полосы шоссе. Сзади стала создаваться пробка.

Игра удалась — двое других водителей быстро прониклись ее духом. Когда средняя машина вышла вперед, Стенли чуть притормозил, чтобы идти вровень с крайним правым водителем, и они продолжили двигаться вместе. То выстраивались по диагонали, то менялись местами, как в танце, — и так добрых полчаса. Стоило одному из них чуть вырваться вперед, как на свободное место мгновенно устремлялись обезумевшие водители сзади.

В конце концов игра наскучила Стенли, несмотря на удовольствие, которое ему доставляли разъяренные гудки и сумасшедшее мигание фарами. Он просигналил два раза, весело помаhal рукой соседу, нажал на газ и рванулся вперед на скорости семьдесят миль в час. Впрочем, потом сбросил скорость до шестидесяти, и мимо промелькнули десятки машин, торопившихся наверстать упущенное время или просто отвести душу после вынужденного промедления. Многие водители, поравнявшись с ним, притормаживали, гудели, включали фары и делали непристойные жесты. Стенли в ответ лишь усмехался.

К востоку от Рено ему опять стало скучно.

На этот раз он решил поиграть в «погоню». Прямо перед ним со скоростью около шестидесяти миль в час двигался желтый «хорнет-АМ». Хорошая скорость. Стенли пристроился сзади на расстоянии примерно трех корпусов. За рулем сидела женщина, ее темные волосы нещадно трепал ветер, врывающийся в открытые окна машины.

«Интересно, когда она заметит преследование», — подумал Стенли.

Она заметила через две песни (обычно Стенли во время езды использовал именно эту единицу измерения времени) и через половину рекламы лака для волос. И сделала попытку оторваться. Стенли похвалил себя за хорошую реакцию: даже когда она разогналась до семидесяти, он по-прежнему оставался рядом, женщине не удалось оторваться ни на корпус.

Радиостанция Рено уже затихала, а он все еще напевал себе под нос старую песню Билли Джоэла. Потом искал другую станцию, но попадались только кантри и вестерны, а их он терпеть не мог. Поэтому продолжал преследование в тишине. Женщина в «хорнете» сбавила скорость.

Она ехала теперь не быстрее тридцати миль в час, а он по-прежнему держался рядом. Стенли усмехнулся. Сейчас она наверняка воображает самое страшное. Он — насильник, грабитель, похититель и решил добраться до нее. Она то и дело посматривала в зеркало заднего вида.

— Не бойся, дамочка, — сказал Стенли. — Я просто обычный парень из Солт-Лейк-Сити, и мне захотелось немного поразвлечься.

Она сбросила скорость до двадцати, но он по-прежнему шел рядом. Она резко прибавила, разогнавшись до пятидесяти, но ее «хорнету» было не тягаться с «датсуном».

— Для фирмы я заработал сорок тысяч долларов,— напевал Стенли в полной тишине,— а мне досталось только шесть.

«Хорнет» пристроился в хвосте тяжелого грузовика, который медленно поднимался в гору. Оставалась еще одна свободная полоса, но «хорнет» по ней не поехал, очевидно, надеясь, что ею воспользуется Стенли. Стенли ею не воспользовался. Тогда «хорнет» вырвался вперед, поравнялся с грузовиком и шел с ним рядом, пока не закончил-ся подъем.

— Ах вот как,— сказал Стенли,— играем в «синих ангелов» с тихоокеанским горным экспрессом!

И продолжил преследование.

На вершине холма объездная полоса кончилась. В самый последний миг «хорнет» вырвался вперед и пристроился прямо перед грузовиком, на расстоянии каких-нибудь нескольких ярдов. Для Стенли места не оставалось, и он оказался на встречной полосе, по которой прямо на него шла машина.

— Вот сука! — пробормотал Стенли.

Мгновенно Стенли решил, что ей не удастся обвести его вокруг пальца. Стоило ему начать сердиться, и он уже не отступал от задуманного. Он снова попытался вклиниться между грузовиком и «хорнетом».

Места там не было. Водитель грузовика загудел и ударил по тормозам. Женщина, испугавшись, прибавила скорость. Стенли успел свернуть как раз вовремя, чтобы дать проехать встречной машине, в которой отец семейства вез жену и кучу бойких детишек, оцепеневших от страха при виде неизбежного, только чудом не состоявшегося столкновения.

— Думаешь, ты самая умная, сучка, да? Но у Стенли Говарда есть еще порох в пороховнице!

Чушь, какая чушь! И все равно он пропел эту фразу несколько раз на разные лады, продолжая погоню за женщиной, которая двигалась теперь со скоростью шестьдесят пять миль в час в двух корпусах от него. У «хорнета» были

номера Юты; должно быть, она давно уже едет по этой дороге.

Стенли стал лениво размышлять о всяком-разном; от номерных знаков Юты перешел к воспоминаниям о том, как однажды обедал у Алиото и сделал судьбоносное заключение: несмотря на близость к причалу, рыба у Алиото ничуть не лучше той, что подают у Браттена в Солт-Лейк. Он решил, что скоро туда заедет, чтобы еще раз проверить правильность своих выводов. Потом стал думать, стоит ли вообще приглашать Лиз, раз она даже не скрывает, что ей с ним скучно. И согласится ли Женестьева, если он ее пригласит.

А «хорнет» куда-то пропал.

Стенли ехал со скоростью сорок пять миль в час, а сзади, разогнавшись на прямом отрезке дороги, к нему уже приближался грузовик «Р1Е». Впереди открывались извивы горного перевала — женщине, должно быть, удалось ускользнуть, когда он упустил ее из виду. И все же он прибавил скорость, потом еще, но так ее и не увидел. Наверное, свернула где-то на обочину и остановилась.

Стенли усмехнулся, представив, как она сидит в машине, тяжело дыша, с сильно бьющимся сердцем, и смотрит, как он проезжает мимо.

«Какое, должно быть, она испытала облегчение», — подумал Стенли. Бедняжка. Какая подлая игра! И он радостно, но беззвучно захихикал, содрогаясь всем телом.

В Элко он остановился на заправке и купил в автомате пакет печенья. Он стоял у своей машины, когда заметил, как мимо проехал тот самый «хорнет». Он махнул рукой, но женщина его не заметила. Однако он увидел, что она свернула чуть дальше на автозаправку Амоко.

Это была просто блажь. «Я слишком далеко зашел», — думал он, поджидая, пока она выедет с заправочной станции. Она выехала; какую-то секунду Стенли колебался, думая, не прекратить ли погоню, потом нажал на газ и двинулся по главной улице Элко на расстоянии нескольких корпусов от «хорнета».

Женщина остановилась у перекрестка.

Когда зажегся зеленый, Стенли очутился рядом. Он заметил, как она посмотрела в заднее зеркало и напряглась. В глазах ее был страх.

— Не бойся, дамочка,— сказал он.— Я теперь вовсе не за тобой еду. Я просто возвращаюсь в свой милый дом.

Не просигналив, женщина резко свернула на парковочную площадку. Стенли спокойно проследовал дальше.

— Вот видишь,— сказал он.— И вовсе я не за тобой.

Отъехав от Элко несколько миль, он свернул с дороги. Он знал, чего ждет, хотя не признавался в этом даже самому себе.

«Просто отдыхаю,— говорил он себе.— Просто сижу здесь, потому что мне незачем торопиться в Солт-Лейк-Сити».

Но было жарко, а салон стоящей без движения машины не охлаждало ни малейшее дуновение ветерка. Ужасно глупо... «Зачем и дальше мучить бедную женщину? — спрашивал он себя.— Какого черта я здесь торчу?»

Он все еще стоял там, когда она проехала мимо. Заметила его, прибавила скорость. Стенли включил передачу, вырулил на трассу, быстро нагнал ее и пристроился сзади.

— Я полное дерьмо,— объявил он вслух.— Самое отвратительное дерьмо на всем шоссе. Меня надо расстрелять.

И он действительно так думал. Но все равно продолжал ехать за женщиной, осыпая себя проклятьями.

В тишине машины (шум ветра в счет не шел, а шума мотора он и вовсе не замечал, так к нему привык) он вслух отсчитывал, как растет скорость: «Пятьдесят пять, шестьдесят, шестьдесят пять на повороте, мы что, совсем спятили, дамочка? Семьдесят, ох, нет, нас уже поджидает где-нибудь патруль штата Невада». Они брали повороты на бешеных скоростях, иногда она резко останавливалась, но реакция Стенли всегда срабатывала безукоризненно, и между ними неизменно оставалось расстояние в несколько машин.

— На самом деле я хороший,— обращался он к этой женщине, которая оказалась вполне симпатичной, как он успел заметить, когда она проехала мимо в Элко.— Если бы мы с тобой встретились в Солт-Лейк-Сити, я бы тебе понравился. Я мог бы пригласить тебя куда-нибудь. И если ты не какая-нибудь засушенная мормониха, мы бы здорово повеселились. Точно говорю, я хороший.

Она была симпатичной, и, следуя за ней («Что? Со скоростью восемьдесят пять миль в час? Вот уж не думал,

что «хорнет» способен на такую скорость!»), он начал фантазировать. Он представил, как у нее кончится бензин и она запаникует, потому что здесь, на безлюдном участке дороги, окажется в руках сумасшедшего, который давно преследует ее. Потом он представил себе, что у нее окажется пушка и хозяйкой ситуации станет она. Приставит пистолет к его голове, отберет ключи от машины, потом заставит раздеться, запишет его шмотки в багажник «датуна» и уедет в его машине.

— А ты, дамочка, тоже не промах! — говорил Стенли.

Он мысленно проигрывал этот сюжет несколько раз, и всякий раз она оставалась с ним все дольше и дольше, прежде чем бросить на дороге — голого, охваченного невыносимым желанием, рядом с «хорнетом», в котором кончился бензин.

Стенли понял, куда завели его эти фантазии.

— Я слишком долго оставался один, — сказал он. — Слишком долго был совсем одинок, а Лиз даже пуговицы не расстегнет без специального на то разрешения!

От слова «одинок» ему сделалось смешно, вспомнились какие-то жалкие вирши, и он запел: «Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет вольный ветер да воют койоты».

Он преследовал женщину много часов. Теперь уж она должна была догадаться, что это просто игра. Теперь-то она наверняка понимает, что ничего плохого на уме у него нет. Он ни разу не сделал попытки заставить ее остановиться. Он просто ехал следом.

— Как ласковая собачка, — говорил Стенли. — Ав. Рр-гав. Гав-гав.

Так он фантазировал, как вдруг заметил ослепительный свет огней Уэндовера и понял, что уже стемнело. Он включил свет. «Хорнет» сразу прибавил скорость, на секунду ярко вспыхнув задними фарами, а потом слился с общим потоком огней и дорожных знаков, напоминающих, что остался последний шанс потратить деньги, прежде чем начнется Юта.

При самом въезде в Уэндовер, на обочине, мигая огнями, стояла полицейская машина. Какого-то беднягу поймали за превышение скорости. Стенли подумал, что жен-

щина догадается притормозить, остановиться рядом с полицейской машиной и подождать, пока преследователь минует границу штата и покинет пределы юрисдикции Невады.

«Хорнет», однако, проскочил мимо полицейских, к тому же прибавив скорость, и Стенли на мгновение растерялся. Она что, с ума сошла? От страха, должно быть, совсем голову потеряла, ведь перед ней была реальная возможность спасения, которую она упустила.

«Ну конечно,— размышлял Стенли, выезжая из Уэндовера вслед за «хорнетом» на длинную прямую дорогу над Солт-Флэтс,— конечно, она не остановилась. Бедняжка наверняка испугалась, что сама превысила скорость, и возможное объяснение с полицейскими ее ужаснуло».

Сумасшедшая. Стенли решил, что люди в стрессовой ситуации способны на сумасшедшие поступки.

Шоссе тянулось во тьме прямой лентой. Луны не было, дорогу освещал лишь слабый свет звезд. По обеим сторонам не попадалось ничего примечательного, машины неслись вперед, как в туннеле, только странная, почти призрачная линия огней тянулась слева, да свет фар маячил сзади, да фонари — впереди.

Какой у «хорнета» объем бензобака? Отсюда, с Солт-Флэтс, до ближайшей заправки совсем неблизко. Некоторые из заправок желают выжать максимум из светлого времени суток и работают до одиннадцати, другие — до десяти, но все равно многие сейчас уже закрываются. «Датсуну» Стенли после заправки в Элко с лихвой хватит бензина до самого дома в Солт-Лейк, а вот у «хорнета» он может кончиться.

Стенли вспомнил свои дневные фантазии, и теперь, ночью, они приобрели новый смысл. Он представил, как женщина запаниковала, как в руке ее в свете фар сверкнуло оружие. Эта дама вооружена и опасна. Она везет в Юту наркотики и думает, что он — из конкурирующей банды. Она, должно быть, решила, что он собирается разделаться с ней на пустынном участке в Солт-Лейк, на расстоянии многих миль от ближайшего жилья. Теперь она, наверное, проверяет затвор своей пушки.

Восемьдесят пять, показал спидометр.

— Торопимся куда-то, леди,— сказал он.

Девяносто, показал спидометр.

«Конечно,— догадался Стенли.— Так и есть, у нее заканчивается бензин. Она хочет разогнаться как можно сильнее и оторваться, чтобы хватило инерции спуститься по склону, когда бензин закончится. Это безумие. Сейчас, в темноте, бедняжка, должно быть, совсем потеряла голову от страха. Я должен остановиться. Это становится опасным. Уже темно, это опасно, и дурацкая игра тянется уже четыреста миль. Я и не собирался играть так долго».

Стенли миновал указатели, возвещающие о том, что впереди — большой поворот. Многие из плохо знакомых с Солт-Флэтсом заблуждаются, думая, что он все время идет прямо. Но там есть изгиб, причем в самом неожиданном месте, еще не доезжая до гор. А предупредительный знак, как это принято в Дорожном департаменте штата Юты, поставили прямо посреди поворота. Стенли инстинктивно притормозил.

А женщина за рулем «хорнета» — нет.

При свете фар своей машины Стенли увидел, как «хорнет» съезжает с дороги. Он ударил по тормозам. Проезжая мимо, он успел заметить, как «хорнет» нырнул носом вниз, перевернулся, подскочил, еще раз перевернулся и приземлился на крышу. Прошло мгновение. Стенли остановил машину и посмотрел через плечо назад. «Хорнет» полыхнул ярким пламенем.

Стенли постоял еще минуту. Он тяжело дышал, его била дрожь. Он был охвачен ужасом. Так он убеждал себя, повторяя: «Что я наделал! О боже мой, что я наделал!»

Но даже повторяя себе, что смертельно напуган, Стенли не мог не сознавать, что испытывает сильнейший оргазм, что все его тело сотрясает мощнейшая, никогда прежде не испытанная, эякуляция. Всю дорогу от самого Рено он только и делал, что пытался взять этот «хорнет» за задницу, и вот наконец добился своего.

Он поехал дальше. Ехал двадцать минут и остановился на заправке с платным телефоном. Выбрался из машины в липких мокрых штанах, нашарил в липком кармане лип-

кий десятицентовик, опустил в телефон и набрал номер службы спасения.

— Я... Я видел машину на Солт-Флэтс. Она горела. Примерно в пятнадцати милях от заправки Шеврон. Сильно горела.

Он повесил трубку. И поехал дальше. Через несколько минут он заметил патрульную машину: мигая огнями, она быстро неслась в противоположном направлении от Солт-Лейк-Сити — в пустыню. А еще через некоторое время мимо проехали «скорая помощь» и пожарная машина. Стенли вцепился в руль. Они все узнают. Они заметят следы колес, оставшиеся, когда он тормозил. Кто-нибудь расскажет, что «датсун» от самого Рено все время ехал за «хорнетом», и вот в Юте женщина за рулем «хорнета» погибла.

Но даже посреди этих тревожных размышлений он понимал, что никто ничего не узнает. Он к ней не прикасался. На ее машине не осталось ни единой царапины.

Шоссе перешло в улицу с шестиполосным движением, по обеим сторонам тянулись мотели и дешевые забегаловки. Он миновал шоссе, проехал над железнодорожным полотном и двинулся дальше, по улице Норт-Темпл до Второй авеню. Слева — школа, знак снизить скорость, все в полном порядке, все нормально, так как и было раньше, как бывает всегда, когда он возвращается домой из дальней поездки. Эль-стрит, апартаменты Шато-Леман. Он поставил машину в подземный гараж и вышел. Открыл двери своим ключом. В комнате все оказалось в порядке.

«А чего, интересно, я жду? — спрашивал он себя. — Завывания сирен? Что дома меня ожидаются пятеро детективов, чтобы упрятать за решетку?»

Женщина, эта женщина погибла. Он попытался почувствовать себя прескверно. Но единственное, что всплывало в памяти, единственное, что имело значение, это сладостное содрогание и ощущение того, что оргазм никогда не кончится. В мире больше ничто не могло с этим сравниться.

Он быстро уснул и спал спокойно.

«Я — убийца?» — спрашивал он себя, засыпая.

Но это слово уплыло из сознания, спрятавшись в таком дальнем уголке памяти, откуда его было уже не достать. С такими мыслями жить невозможно. И он перестал думать.

На следующее утро Стенли заметил, что ему не хочется заглядывать в газеты, — поэтому заставил себя просмотреть почту. Эта новость не занимала первых полос, она притаилась где-то в разделе местных событий. Ее звали Алекс Хамфриз. Ей было двадцать два года, она жила одна и работала секретарем в одной юридической фирме. На фотографии была изображена молодая симпатичная девушка.

«Очевидно, водитель заснул за рулем, таковы данные полицейского расследования. Машина двигалась со скоростью свыше восьмидесяти миль в час, когда произошел несчастный случай».

Несчастный случай.

Видели бы вы, как она горела.

Да, Стенли отправился на работу как обычно, как обычно заигрывал с секретаршами и даже вел машину совсем как всегда — аккуратно и вежливо.

Но вскоре он снова принялся за игры на шоесе.

По дороге в Логан он играл в погоню, и женщина за рулем «хонды-сивик» на полной скорости врезалась в грузовичок-пикап, в то время как сам он по-идиотски пытался обойти на вершине холма в Сардин-Каньон другую машину. В полицейских отчетах не упоминалось, что женщина эта пыталась уйти от «датсуна-260Z», безжалостно преследовавшего ее на протяжении восьмидесяти миль, — об этом никто не знал. Ее звали Донна Уикс, у нее остались двое детей и муж, они ждали ее в тот вечер в Логане. Ее тело не удалось целиком извлечь из машины.

На перевале к Денверу семнадцатилетняя лыжница не справилась с управлением на снежной дороге, ее «фольксваген» врезался в гору, перевернулся и рухнул со скалы. Удивительно, но одна лыжа в багажнике ее «жука» осталась совершенно целой, тогда как другая превратилась в щепки. Ее голова пробила ветровое стекло. А тело осталось в машине.

Дороги между факторией в Камероне и Пажем в Аризоне были самыми ужасными в мире. И никого не удивило, что погибла восемнадцатилетняя блондинка — модель из Феникса, врезавшись в припаркованный у обочины микроавтобус. Она ехала со скоростью свыше ста миль в час, ее друзья этому ничуть не удивились и сообщили, что она часто превышала скорость, особенно если ехала ночью. В микроавтобусе погиб спящий ребенок, остальные члены семьи попали в больницу. О «датсуне» с номерными знаками Юты не упоминалось.

И Стенли стал вспоминать. В его памяти не осталось больше тайников, где бы можно было все это хранить. Он вырезал из газет фотографии жертв. Они снились ему по ночам. И в этих снах они постоянно ему угрожали, поэтому заслуживали такого конца. И каждый раз сон оканчивался оргазмом. Но самые сильные спазмы экстаза он переживал тогда, когда на шоссе случалось столкновение.

Шах. И мат.

Прицел, пли.

Три, четыре, пять, я иду искать.

Игры, игры, а потом — момент истины.

«Я болен».

Он сосал кончик своей биковской четырехцветной ручки.

«Мне нужна помощь».

Зазвонил телефон.

— Стен? Это Лиз.

«Привет, Лиз».

— Стен, ты что, не хочешь со мной разговаривать?

«Иди к черту, Лиз».

— Стен, в какие игры ты играешь? Не звонишь девять месяцев, а когда я сама звоню и пытаюсь поговорить, тупо молчишь.

«Переспи со мной, Лиз».

— Я с тобой разговариваю, а?

— Да, со мной.

— Ну и почему же ты молчишь? Стен, ты меня пугаешь. Ты в самом деле меня пугаешь.

— Извини.

- Стен, что случилось? Почему ты не звонил?
- Ты была так мне нужна.
- Ах, какая мелодрама. Но это правда.
- Стен, я знаю. Я вела себя как последняя сука.
- Нет, нет, вовсе нет. Просто я хотел слишком многого.

— Стен, я скучаю по тебе. Я хочу быть с тобой.

«Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет на свободе ветер да воют койоты».

— Давай сегодня? У меня?

— Хочешь сказать, что сегодня снимешь священный пояс целомудрия?

— Стенли, не будь таким гадким. Я по тебе скучаю.

— Я приду.

— Я люблю тебя.

— Я тоже.

Спустя несколько месяцев Стенли уже не был до конца в этом уверен, вовсе не был. Но Лиз стала для него соломинкой, за которую хватается утопающий.

«Я тону,— сказал себе Стенли.— Умираю. Morior*. Moriar. Mortuus sum».

В те времена, когда он встречался с Лиз, когда они еще были вместе, Стенли не играл в игры на скоростном шоссе. Стенли не смотрел, как умирают женщины. И ему не приходилось прятаться от самого себя даже во сне.

«Caedo**. Caedam. Cecidi».

Вранье, вранье. Когда это случилось в самый первый раз, он еще встречался с Лиз. Он перестал только после того, как... после того... Лиз не имеет к этому ни малейшего отношения. И ничто ему не поможет.

«Despero***. Desperabo. Desperavi».

Потом он сделал то, чего хотел меньше всего. Он встал, оделся, сел в машину и поехал на шоссе. Он пристроился за женщиной в красной «ауди». И стал ее преследовать.

Она была молодой, но машину вела хорошо. Он шел за ней от Шестой Южной до того места, где шоссе раз-

* Morior — умереть (лат.). Далее идет склонение латинских слов.

** Caedo — убить (лат.).

*** Despero — отчаяться (лат.).

ветвляется, I-15 идет дальше на юг, а I-80 сворачивает на восток. До самого последнего момента она держалась в крайнем правом ряду, потом резко свернула и, перескочив через две полосы, оказалась на I-80. Стенли не соби-рался так просто ее упускать. И рванул наперерез. Громко загудел автобус, раздался скрежет тормозов, «датсун» Стенли занесло на двух колесах, он потерял управление. Мимо промелькнул фонарь.

А Стенли оказался на I-80, он ехал за «ауди» на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он быстро сокращал разрыв.

«А дамочка шустрая,— говорил себе Стенли.— Ты шу-страя, дамочка. С тобой я, похоже, ничего не добьюсь. Сегодня никто. Сегодня никто».

Он хотел сказать, что сегодня никто не умрет, и пони-мал, что именно это он и говорит (надеется, отрекается), но не разрешил себе произнести это вслух. Он вел себя так, будто в машине у него висел микрофон, записыва-ющий каждое его слово для потомства.

«Ауди» двигалась в потоке машин со средней скоростью в семьдесят пять миль в час. Стенли не отставал. Время от времени место, куда он намеревался пристроиться, оказывалось занято. Он находил другое. Но отстал от нее на добрую дюжину машин, когда она свернула к послед-нему выезду с шоссе, резко поднимающегося отсюда в гору, в каньон Парли. Она двигалась на юг по I-215, Стен-ли пристроился за ней, хотя ему пришлось резко затормо-зить, чтобы вписаться в узкий поворот с одного шоссе на другое.

Она быстро проехала по шоссе I-215 до самого конца, а потом повернула на узкую двухполосную дорогу, кото-рая обвивалась вокруг подножия горы. И как обычно, по этой дороге со скоростью тридцать миль в час тащился груженный щебнем грузовик, рассыпая во все стороны мелкие камешки, как перхоть. «Ауди» пристроилась в хвост грузовику, а Стенли — в хвост «ауди».

Дамочка сообразительная. Она не стала обгонять. Не на такой дороге.

На перекрестке, откуда дорога поднималась к каньону Биг-Коттонвуд, к горнолыжным курортам (сейчас, вес-

ной, они были закрыты, а дорога пустынная), женщина, казалось, собиралась повернуть направо, на бульвар Форт-Юнион и обратно на скоростное шоссе. Но вместо этого свернула налево. Стенли предвидел такой вариант и тоже повернул налево.

Они совсем немного проехали по извивающейся вдоль каньона дороге, когда Стенли вспомнил, что дорога никуда не ведет. В Сноуберде она заканчивается, делает петлю и поворачивает обратно. Дама, такая сообразительная на первый взгляд, совершает глупость.

И тут он подумал, что сможет ее поймать. Он сказал: — Девчонка, я смогу тебя поймать. Смотри в оба.

Что он станет с ней делать, если поймают, он и сам не представлял. Наверное, она вооружена. Скорее всего вооружена, иначе не стала бы так его дразнить.

Она срезала повороты на жуткой скорости, и Стенли приходилось пускать в ход все водительское мастерство, чтобы не отставать. Никогда еще игра в погоню не была такой трудной. Но в любую секунду она могла закончиться — девушка разобьется на одном из поворотов или же врежется во встречную машину.

«Будь осторожна,— думал он.— Будь осторожна, будь осторожна. Это всего лишь игра, не бойся, не паникуй».

Не паникуй? Едва эта женщина заметила, что он ее преследует, она все время хитрила, дразнила его легкой добычей. В ней не чувствовалось и намека на смятение, которое охватывало остальных. Эта — живая. Когда он ее поймают, она будет знать, что делать. Эта будет знать. «*Veniebam**. *Veniam*. *Venies*». Он засмеялся своей шутке.

И вдруг резко оборвал смех, крутанул руль вправо, ударил по тормозам. Лишь короткая красная вспышка мелькнула на повороте справа. Лишь короткая вспышка, но этого ему было достаточно. Сучка в красной «ауди» думает, что сможет его обхитрить. Думает, что увернется на повороте, а он поедет дальше.

Он забуксовал на гравии, но вскоре выровнял машину и уверенно поехал вперед по грязной проселочной дороге.

* Возможно, от латинского *venia* — благодетение, милость.

«Ауди» остановилась в нескольких сотнях ярдов от поворота.

Остановилась.

Наконец-то.

Он подъехал совсем близко, уже взялся за ручку дверцы. Но она не собиралась здесь останавливаться. Она думала спрятаться, чтобы он тем временем проехал мимо. Он оказался для нее слишком умным и все видел. И вот теперь она одна — на пустынной горной дороге, все еще сырой от растаявшего снега. Вокруг — только деревья, для лыжников слишком тепло, для любителей погулять слишком холодно. Она хотела его перехитрить, но сама попала в ловушку.

Она поехала дальше. Он — за ней. На грязной неровной дороге двигаться даже со скоростью двадцать миль в час было непросто. Она же двигалась со скоростью тридцать миль. Его трясло от бешеного напряжения, но отступать он не собирался. Ей не удастся уйти от Стенли. Ее «ауди» сладострастно манила.

После бесконечной тряской езды горы вдруг расступились, впереди открылась небольшая долина. Дорога стала ровной, хотя вовсе не прямой. А «ауди» набрала скорость до немыслимых сорока миль в час. Женщина не хотела сдаваться. И великолепно владела рулем. Но и Стенли был прекрасным водителем.

«Пора кончать», — произнес он в невидимый микрофон.

Но все не кончал и не кончал.

Кончилась дорога.

Он обогнул поросший деревьями поворот и увидел, что дороги нет. Только просвет между деревьями и на расстоянии нескольких сотен ярдов — противоположная сторона ущелья. Краем глаза Стенли успел заметить: справа, там, где дорога резко поворачивает назад, стоит «ауди». В зеркале заднего вида он успел заметить лицо, как ему показалось, перекошенное от ужаса. Именно поэтому Стенли обернулся, чтобы получше его разглядеть, вывернул шею в отчаянной попытке рассмотреть лицо и не видеть, как изящно склоняются к нему деревья, как вздымаются

навстречу скалы, разрастаясь и закрывая все вокруг. Острый камень рванулся вперед и пропорол насквозь и его и «датсун-260Z».

Она сидела в своей «ауди», охваченная дрожью, ее сотрясали рыдания — от облегчения и ужаса. И облегчение, и ужас, все одновременно. Но теперь она уже научилась понимать, что ее трясет не только от волнения, но и от экстаза.

«Надо с этим кончать», — молча взывала она к самой себе.

Четверо, четверо, четверо.

«Четверых довольно», — говорила она, изо всей силы ударяя по рулю.

Потом сумела взять себя в руки, от мощного оргазма остались только легкая дрожь в бедрах и редкие спазмы, развернула машину и стала спускаться вниз по ущелью, направляясь в Солт-Лейк-Сити, где ее ждали уже целый час.

Гробница песен

Во время дождя она сходила с ума. Уже четыре недели подряд почти каждый день шел дождь, и в лечебнице Миллард-Каунти пациентов не выводили на прогулку. Это, разумеется, никому не нравилось, а особенно несладко приходилось сестрам: им приходилось все время выслушивать жалобы и требования людей, которые хотели, чтобы их развлекали.

Элен, однако, не требовала, чтобы ее развлекали. Она вообще почти никогда ничего не требовала. Но дождь переносила еще хуже остальных. Возможно, потому что ей было всего пятнадцать и она была единственным ребенком в заведении, куда помещали обычно только взрослых. Скорее всего, она так плохо переносила дождь из-за того, что для нее были очень важны прогулки на открытом воздухе, и несомненно, она получала от прогулок больше удовольствия, чем другие. Обычно ее приподнимали в кресле, обкладывали со всех сторон подушками, чтобы она сидела прямо, и кто-нибудь быстро катил кресло к стеклянным дверям, а Элен кричала:

— Быстрее, быстрее!

И так ее вывозили на улицу. Мне рассказывали, что на улице она обычно мало говорила. Просто тихонько сидела в своем кресле на лужайке, наблюдая за тем, что происходит вокруг. А потом ее везли обратно.

Я часто видел, как ее возвращали в дом раньше времени, потому что я пришел ее навестить, но она никогда не жаловалась, что из-за этого пришлось сократить про-

гулку. Я смотрел, как ее катят к дому, а она так жизнерадостно улыбалась, что я воображал, будто она приветственно машет руками — этот жест как нельзя более подходил к ее детской счастливой улыбке. Я представлял, как мелькают ее ноги, когда она бежит по траве, рассекая воздух, словно тяжелые волны. Но там, где полагалось быть рукам, были воткнуты подушки, чтобы она не упала на бок, а ремень на ее поясе удерживал ее от падения вперед, потому что у нее не было ног.

Дождь шел четыре недели, и я чуть не потерял ее.

Моя работа — одна из самых тяжелых во всем штате, я должен по очереди посещать шесть лечебниц в шести графствах, на посещение каждой отводится неделя. Я «проводил терапию», когда администрация лечебницы решала, что таковая необходима. Я так и не понял, чем они руководствовались, принимая подобное решение, ведь все до одного пациенты были не в своем уме: у большинства было безнадежное возрастное безумие, у некоторых — душевная мука калек и инвалидов.

Тот, кто проявил недюжинные способности в колледже, не станет работать обычным терапевтом на государственной службе. Иногда я притворяюсь, что не проявил особых способностей в учебе только потому, что не хотел плясать под чужую дудку. Но это неправда. Как объяснил один добрый профессор — мягко, и в то же время жестоко, — я просто не создан для научной деятельности. Зато я создан для терапии, не сомневаюсь. С тех пор как я утешал свою больную раком мать весь последний год ее жизни, я уверился — у меня есть определенный дар, умение вправлять людям мозги. Я сделался всеобщим наперсником.

Тем не менее я никогда не предполагал, что моя жизнь будет посвящена попыткам оказать помощь безнадежным, да еще в той части страны, где даже у здоровых нет больших оснований радоваться жизни. Но это все, на что я имел полномочия, и когда понял, что сумел преодолеть разочарования начального этапа, стал извлекать из своих занятий максимальную пользу.

Максимальной пользой оказалась Элен.

— Дождь, дождь, дождь,— такими словами приветствовала она меня на третий дождливый день.

— Как будто я сам не знаю,— ответил я.— У меня все волосы мокрые.

— А у меня — нет, как жаль,— ответила Элен.

— Не о чем тут жалеть. Зато не простудишься.

— Не простужусь,— сказала она.

— Мистер Вудберри говорит, ты хандришь. Я пришел, чтобы тебя развеселить.

— Сделай так, чтобы кончился дождь.

— Я похож на Господа Бога?

— Я думала, может, ты просто выступаешь под чужой личиной? Я, например,— да,— сказала она. То была наша обычная игра.— На самом деле я — огромный броненосец из Техаса, которому пообещали исполнить одно-единственное желание. И я пожелала стать человеком. Но одного броненосца недостаточно, чтобы получился настоящий человек, поэтому получилась я.

Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ.

Ей было всего пять лет, когда перед машиной ее родителей взорвался бензовоз, оба они погибли, а ей оторвало руки и ноги. Она выжила чудом и продолжала жить, что было чудовищной жестокостью. И при этом она оставалась более или менее счастливым человеком, всеобщей любимицей в клинике, чего я вообще не мог понять. Возможно, причина заключалась в том, что ей больше ничего не оставалось. Человеку, лишенному рук и ног, не так-то просто покончить с собой.

— Я хочу на улицу,— сказала она, отворачиваясь к окну.

На улице было почти не на что смотреть. Несколько деревьев, лужайка, а за ней — забор, поставленный не для того, чтобы пациенты не разбежались, а для того, чтобы скрыть их от неприглядного любопытства жителей этого неприглядного города. Но вдалеке тянулись невысокие холмы, и почти всегда весело щебетали птицы. Теперь, разумеется, из-за дождя не было видно ни птиц, ни холмов. Не было и ветра, и деревья стояли, не шелохнувшись. Просто лил и лил дождь.

— В открытом космосе так же, как в дождливую погоду,— сказала она.— Такие же звуки, негромкий тихий шелест где-то неподалеку.

— Вообще-то нет,— сказал я.— В открытом космосе вообще нет звуков.

— А ты откуда знаешь? — спросила она.

— Там нет воздуха. А без воздуха не бывает и звуков. Она презрительно взглянула на меня.

— Так я и думала. На самом деле ты ничего не знаешь. Ты ни разу в жизни там не был, ведь правда?

— Ты что, хочешь поссориться?

Она уже собиралась отпарировать, но спохватилась и просто сказала:

— Чертов дождь.

— Тебе, по крайней мере, не приходится ездить по такой погоде,— сказал я. Но взор ее затуманился, и я подумал, что зашел в своих подтруниваниях слишком далеко.— Эй,— окликнул я.— Как только распогодится, я повезу тебя кататься.

— Это все гормоны,— сказала она.

— При чем здесь гормоны?

— Мне пятнадцать. Мне всегда не нравилось оставаться дома. Но сейчас хоть волком вой. Мышцы напряжены, желудок сжался, и я хочу выбежать на улицу и громко кричать. Это все гормоны.

— А твои друзья? — спросил я.

— Ты что, шутишь? Они все там, играют под дождем.

— Все?

— Разумеется, кроме Гранти. Он от воды растает.

— И где же теперь Гранти?

— В морозильнике, где же еще.

— Когда-нибудь его по ошибке примут за мороженое и скормят гостям.

Она не улыбнулась. Просто кивнула, и я понял, что ничего не достиг. Она и впрямь хандрит.

Я спросил, не хочется ли ей чего-нибудь.

— Только не таблеток,— сказала она.— От них я все время сплю.

— Если дать тебе возбуждающее, ты на стенки полезешь.

— Ловкий трюк,— сказала она.

— Просто это очень сильное средство. Так что, дать тебе что-нибудь, чтобы ты отвлеклась и от дождя, и от этих жутких желтых стен?

Она покачала головой.

— Я стараюсь не спать.

— Почему?

Она лишь снова покачала головой.

— Не могу спать. Не могу позволить себе спать слишком много.

Я повторил вопрос.

— Потому что, — ответила она, — я могу не проснуться.

Она говорила довольно резко, и я понял, что лучше больше не спрашивать ни о чем. Она редко сердилась на меня, но на сей раз ясно чувствовалось, что я подошел слишком близко к той черте, за которой мое общество уже не будет для нее желанным.

— Мне пора, — сказал я. — Ты обязательно проснешься.

И я ушел, и не видел ее целую неделю, и, по правде говоря, даже нечасто ее вспоминал — и из-за дождя, и из-за самоубийства в Форд-Каунти. Это самоубийство глубоко меня потрясло, ведь та женщина была еще такой молодой, ей было ради чего жить. Так, по крайней мере, я думал. Она моего мнения не разделяла и выиграла наш спор, хотя и дорогой ценой.

В выходные я живу в трейлере в Пидмонте. Живу один. Мое жилье сияет безупречной чистотой, потому что я ее фанатичный приверженец. Кроме того, убеждаю я себя, однажды вечером мне, возможно, захочется привести сюда женщину. Время от времени такое случается, время от времени мне даже бывает хорошо... Но я становлюсь раздражительным и беспокойным, когда женщины пытаются заставить меня изменить рабочее расписание, или хотят, чтобы я взял их с собой в мотели, где я останавливаюсь, или пристают к управляющему трейлерного парка, чтобы тот впустил их в мое отсутствие в мой трейлер. Они хотят навести там «уют».

«Уют» меня вовсе не интересует. Возможно, это связано со смертью матери. Ее болезнь переложила на меня ответственность за ведение хозяйства для отца — вот почему я стал аккуратной домохозяйкой. Лекарь, излечи себя сам.

Дождливые дни были заполнены переездами по скоростным магистралям, попытками вытащить из депрессии

доведенных до безумия людей; ночи я проводил перед телевизором, поедая сэндвичи и ночуя в мотелях на средства штата. А потом наступило время отправиться в лечебницу Миллард-Каунти, где меня ждала Элен. Именно тогда я о ней впервые вспомнил и вдруг осознал, что дождь льет уже не меньше недели и что бедняжка, наверное, совсем лишилась рассудка.

Я купил кассету с записью Копланда. Элен предпочитала кассеты, которые останавливаются сами. А записи на восьми дорожках крутятся и крутятся, пока она не теряет способность думать.

— Где ты был? — спросила она.

— Сидел в клетке у одного кровожадного герцога из Трансильвании. Клетка, всего четырех футов высотой, висела над прудом, кишашим крокодилами. Спасись мне удалось только потому, что я выгрыз замок зубами. Крокодилы, к счастью, оказались сыты. А ты где была?

— Я серьезно. Ты что, работаешь не по расписанию?

— Я всегда придерживаюсь расписания, Элен. Сегодня среда. В последний раз я был здесь в прошлую среду. В этом году Рождество приходится на среду, значит, я буду здесь на Рождество.

— Еще почти целый год.

— Всего десять месяцев. Встретимся на Рождество. С тобой что-то стало скучновато.

Но она не была расположена к шуткам. В глазах ее стояли слезы.

— Я больше не выдержу, — сказала она.

— Извини.

— Мне страшно.

И ей в на самом деле было страшно. Ее голос дрожал.

— И ночью, и днем, когда я сплю. Я как раз подходящего размера.

— Для чего?

— Ты о чем?

— Ты сказала, что как раз подходящего размера.

— Я так сказала? Ах, не знаю, что я имела в виду. Я схожу с ума. Ты ведь именно поэтому здесь, разве не

так? Чтобы я не потеряла рассудок. Я ничего не могу поделать. Я ничего не вижу, а все, что слышу,— лишь шелест дождя.

— Как в открытом космосе,— заметил я, вспомнив ее слова в прошлый раз.

Но она, оказалось, не помнила нашего разговора и испугалась.

— Откуда ты знаешь? — спросила она.

— Ты сама так сказала.

— В открытом космосе нет никаких звуков,— сказала она.

— Вот как,— ответил я.

— Потому что там нет воздуха.

— Я знаю.

— Тогда почему ты сказал: «Вот как»? Слышен только шум двигателей. Слышен по всему кораблю. Легкое гудение, которое не прекращается ни на секунду. Совсем как шум дождя. А спустя некоторое время ты его уже не слышишь. Оно как будто становится тишиной. Мне Ананса рассказала.

Еще одна воображаемая подруга. В ее истории болезни говорилось, что ее вымышленные друзья продержались гораздо дольше, чем у большинства других детей. Именно для этого меня к ней и прикрепили — чтобы я помог ей избавиться от вымышленных друзей. От Гранти, ледяного поросенка, от Говарда, мальчика, который всех колотил, от Фуксии ростом в несколько дюймов, жившей среди цветов, от Сью-Энн, приносившей ей куклы и игравшей в них вместо нее: Элен говорила, что куклы должны делать, а Сью-Энн это выполняла. Были и другие личности.

После нескольких сеансов я понял, что она отдает себе отчет, что ее друзья воображаемые, просто она коротала с ними время. Они находились вне ее тела и совершали поступки, на которые она сама не была способна. Я понял, что от них никакого вреда, а если уничтожить этот вымышленный мир, Элен станет еще более одинокой и несчастной. Она была в здравом рассудке, несомненно. И все-таки я продолжал к ней приезжать, и не просто потому, что она очень мне нравилась. Еще и для того, что-

бы окончательно убедиться: она и вправду уверена, что ее друзья — лишь плод ее воображения. Ананса была чем-то новым.

— Кто такая Ананса?

— На самом деле ты не хочешь этого знать.

Она, без сомнения, не желала об этом говорить.

— Я хочу знать.

Она отвернулась.

— Я не могу тебя выгнать, но мне бы хотелось, чтобы ты ушел. Иногда ты становишься слишком любопытным.

— Такая уж у меня работа.

— Работа! — в ее голосе зазвучало презрение. — Прямо как вижу вас всех — как вы бегаєте на своих здоровых ногах и работаете!

Что я мог на это ответить?

— Иначе нам не выжить, — сказал я. — Но я стараюсь.

И вдруг на ее лице появилось какое-то странное выражение. «У меня есть тайна, — казалось, думала она, — и я хочу, чтобы ты ее выведal».

— Может, у меня тоже будет работа.

— Может быть, — сказал я.

И попытался придумать, чем бы она могла заняться.

— Музыка не умолкает, — сказала она.

Я неправильно понял.

— Ты мало на чем сможешь играть. Так уж получилось.

Немножко реализма не помешает.

— Не говори глупостей.

— О'кей. Больше не буду.

— Я говорю, что на моей работе всегда звучит музыка.

— А что это за работа?

— Тебе и вправду хочется знать? — произнесла она, таинственно возведя глаза к потолку, а потом отвернувшись к окну.

Я представил себе, что она — обычная пятнадцатилетняя девчонка. Тогда я расценил бы такое поведение как заигрывание. Но тут крылось нечто другое. Что-то отчаянное. Она права. Я действительно хотел знать. Я сделал весьма логичное предположение, соединив два секрета, которые она побуждала у нее выманить.

— Какую работу предлагает тебе Ананса?

Она испуганно взглянула на меня.

— Так значит, это правда.

— Что правда?

— Все так страшно. Я стараюсь убедить себя, что это — всего лишь сон. Но это не сон, верно?

— Что не сон — Ананса?

— Ты думаешь, она такая же, как и все остальные мои друзья, да? Но они не приходят ко мне во сне, во всяком случае, не так. Ананса...

— Что Ананса?

— Она для меня поет. Когда я сплю.

Мои поднаторевшие в психологии мозги быстро сложили два и два.

— Разумеется, — сказал я.

— Она — в космосе, и она для меня поет. Ты не представляешь, какие песни.

И тут я вспомнил кое-что и вытащил кассету, которую для нее купил.

— Спасибо, — сказала она.

— Пожалуйста. Хочешь послушать?

Она кивнула. Я вставил кассету в магнитофон. «Весна в Аппалачах». Она кивала головой в такт музыке. Я представил, как она танцует. Она хорошо чувствовала музыку.

Но спустя несколько минут она замерла и заплакала.

— Это совсем другое, — сказала она.

— Ты уже слышала эту песню раньше?

— Выключи. Выключи, говорю.

Я выключил магнитофон.

— Извини. Мне казалось, тебе понравится.

— Вина, ничего, кроме вины, — сказала она. — Ты все время чувствуешь себя виноватым, так ведь?

— Почти всегда, — легко согласился я.

Психологическим жаргоном злоупотребляли многие мои пациенты. Так же как языком мыльных опер.

— Извини, — сказала Элен. — Просто это не та музыка. Совсем не та. Вот я послушала, и все остальное по сравнению с ней кажется таким темным. Как будто идет дождь, все серое, мрачное и тяжелое, словно композитор пыта-

ется разглядеть далекие холмы, но дождь ему мешает. Но несколько минут мне казалось, что у него получится.

— Такая же музыка у Анансы?

Она кивнула.

— Я знаю, ты мне не веришь. Но во сне я ее слышу. Она говорит, что только во сне и может со мной общаться. И она не разговаривает, только поет. Она там, далеко, в своем космическом корабле. Поет. А я по ночам ее слышу.

— Почему именно ты?

— Ты хочешь спросить, почему ее слышу только я? — Она рассмеялась. — Потому что я такая, какая есть. Ты ведь сам говоришь — из-за того, что я не могу бегать, я живу воображением. Она говорит, что связующие нити между разумами очень тонкие и их трудно не упустить. Но мою нить она не упускает, потому что я живу исключительно сознанием. Она держит мою нить. Теперь, когда я засыпаю, я вообще не могу от нее отделаться.

— Отделаться? Мне казалось, она тебе нравится.

— Не знаю, что мне нравится. Мне нравится... Нравится музыка. Но Анансе нужна я. Она хочет, чтобы я была с ней. Она хочет дать мне работу.

— А как она поет?

При слове «работа» она задрожала и как-то замкнулась в себе. Чтобы поддержать затухающий разговор, я попытался коснуться темы, которой она недавно интересовалась.

— Это ни на что не похоже. Она там, в космосе, все вокруг черным-черно, и слышен только гул двигателей, похожий на шум дождя, а она собирает космическую пыль и прядет свои песни. Она простирает в пространство свои... пальцы или уши, я не знаю. Не могу понять. Так она собирает пыль и плетет свои песни, превращая пыль в музыку, которую я слышу. Это очень сильная музыка. Ананса говорит, что именно благодаря песням она может передвигаться в межзвездном пространстве.

— Она одна?

Элен кивнула.

— Я ей нужна.

— Ты ей нужна. Но как она может тебя заполучить, ведь ты здесь, а она — там?

Элен облизала губы.

— Я не хочу об этом говорить. — Она произнесла это таким голосом, что я сразу понял: она уже готова все рассказать.

— Лучше бы ты все-таки рассказала. На самом деле, очень важно, чтобы ты все рассказала.

— Она говорит... Говорит, что может меня забрать. Говорит, что, если я выучу ее песни, она сможет вытащить меня из моего тела и забрать туда, к себе, где она даст мне и руки, и ноги, так что я смогу и бегать, и танцевать, и...

Она расплакалась.

Я похлопал ее по единственному месту, к которому она разрешала прикасаться, — по мягкому животику. Она запрещала себя обнимать. Я попытался разок, много лет назад, но она закричала во весь голос, чтобы я не смел. Одна из сестер рассказала, что ее обнимала мама, и Элен хотелось тоже обнять кого-нибудь. Но она не могла.

— Это очень хороший сон, Элен.

— Это ужасный сон. Как ты не понимаешь? Я стану такой же, как она.

— А какая она?

— Она — это космический корабль. Межзвездный корабль. И она хочет, чтобы я пришла к ней, тоже стала космическим кораблем. И чтобы мы плыли в космосе, распевая песни, тысячи и тысячи лет.

— Элен, это всего лишь сон. Не надо его бояться.

— Вот что с ней сделали: отрезали ей руки и ноги и засунули в этот аппарат.

— Но тебя никто не собирается засовывать в аппарат.

— Я хочу на улицу, — сказала она.

— Нельзя. Дождь.

— Пусть идет к черту, этот дождь.

— Пусть идет к черту, но это не поможет.

— Я не шучу! Она все время преследует меня, даже когда я не сплю. Она пристает ко мне, усыпляет, а потом начинает петь, и я чувствую, как она тянет и тянет меня

к себе. Если бы мне удалось выйти на улицу, я бы еще продержалась, если бы я только могла...

— Эй, успокойся! Знаешь, тебе лучше принять...

— Нет! Я не хочу спать!

— Слушай, Элен, это всего лишь сон. Нельзя позволять сну так сильно на тебя влиять. Все из-за дождя, поэтому ты не можешь выйти на прогулку. От этого тебе хочется спать, и тебе снится один и тот же сон. Но не надо сопротивляться, это, в общем, очень хороший сон. Почему бы тебе просто с ним не смириться?

Она смотрела на меня, в ее глазах застыл ужас.

— Ты ведь не всерьез. Ты не хочешь, чтобы я ушла.

— Нет. Конечно, я не хочу, чтобы ты ушла. Но ты и не уйдешь, разве сама не понимаешь? Это только сон, как будто ты паришь там, в космосе, среди звезд...

— Она не парит. Она прокладывает путь в открытом космосе с такой скоростью, что у меня при виде этого кружится голова.

— Ну и пусть кружится. Как будто твой разум придумал для тебя такой способ бегать.

— Ты ничего не понял, мистер Терапевт. Я думала, ты поймешь.

— Я пытаюсь.

— Если я пойду за ней, я умру.

— Кто читал ей в последнее время? — спросил я сестру.

— Мы все читали понемножку, а еще добровольные сиделки из города. Она им нравится. Ей всегда кто-нибудь читает.

— Надо бы проследить за этим повнимательней. У нее появились откуда-то новые фантазии. Про космические корабли, звездную пыль и песни в открытом космосе. И она чем-то напугана.

Медсестра нахмурилась.

— Мы одобряем все, что она читает, и про всякие такие вещи читают уже много лет. Раньше ничего плохого от этого не случалось. Что же теперь стряслось?

— Думаю, все из-за дождя. Сидя взаперти, она теряет ощущение реальности.

Сестра закивала в знак согласия и сказала:

— Да, знаю. Во сне она бог знает что вытворяет.

— Что, например? Что именно вытворяет?

— Поет какие-то жуткие песни.

— На какие слова?

— Вообще без слов. Просто напевает мелодии. Только мелодии просто ужасные, их и музыкой-то назвать нельзя. И голос у нее становится какой-то странный, скрипучий. Она очень крепко спит. Теперь стала спать больше, и это к лучшему, как мне кажется. Она всегда начинает нервничать, если ее не выпускают на улицу.

Элен, несомненно, нравилась сестре. Было трудно не испытывать к девочке сочувствия, но Элен хотела, старалась понравиться окружающим, и люди ее любили. Во всяком случае, те из них, кому удавалось побороть ужас при виде плоского пространства под простыней возле ее туловища.

— Послушайте,— сказал я,— может, все-таки ее одеть и вывезти на улицу, несмотря на дождь?

Сестра покачала головой.

— Дело не только в дожде. Похолодало. А после того взрыва она ведь так до конца и не оправилась, у нее нет сил сопротивляться болезни. Понимаете, слишком велики шансы, что она может умереть от самой обычной простуды. А я не хочу рисковать.

— Значит, мне надо приезжать к ней почаще,— сказал я.— Как можно чаще. С ней что-то происходит, и это пугает ее до смерти. Ей кажется, что она умрет.

— Ох, бедняжка,— сказала сестра.— С чего она взяла?

— Не важно. Может, кто-то из ее вымышленных друзей слегка отбилась от рук.

— Но вы же говорили, что от них никакого вреда.

— Раньше так и было.

Покидая лечебницу, я еще раз зашел в комнату Элен. Она спала, и я услышал, как она поет. Жутко. Временами можно было узнать обрывки мелодий Копланда, которые она слушала недавно, но очень искаженные, а все остальное вообще не вызывало никаких ассоциаций, это и музыкой назвать было нельзя. То в ее голосе звучали

высокие незнакомые ноты, то вдруг он становился низким, грубым, скрипучим, а один раз ясно послышался скрежет мощного двигателя, доносящийся сквозь металлические стены, — тяжелый гулкий звук, тонуший в бесконечной пустоте.

Я представил себе Элен, из плеч и бедер которой тянутся длинные провода, голова ее внутри металлического скафандра, глаза закрыты. А ее воображаемая Ананса ведет космический корабль так, словно управляет собственным телом. Я понимал, что в какой-то степени для Элен это будет благом. В конце концов, она ведь родилась нормальной. Она помнит, как бегала и играла, как ела сама, как сама одевалась, возможно, даже помнит, как училась читать и произносила слова, прикасаясь при этом к каждой букве. И даже вымышленные руки космического корабля смогут заполнить огромную пустоту в ее душе.

Для ребенка главное — не в нем самом, не в его теле, для него главное лежит снаружи, там, где пальцы левой руки встречаются с пальцами правой. То, к чему прикасаются пальцы, и становится жизнью; то, что видят глаза, и есть истинное «я». А Элен, не успев еще переместиться внутрь себя, утратила это «я» в автокатастрофе. И с помощью загадочной Анансы пыталась его вернуть.

Но это было весьма неприятное «я».

Я вошел и сел у кровати Элен, вслушиваясь в ее пение. Ее тело чуть двигалось, спина слегка изгибалась в такт мелодии. Высокие и низкие, тихие, скрипучие звуки. Песня звучала по-разному, и я пытался понять, есть ли в ней какой-нибудь смысл. Что происходит в ее сознании, порождая подобные звуки?

«Если я пойду за ней, я умру».

Конечно, ей страшно. Я посмотрел на бесформенный кусок плоти на постели, укрытый простыней так, что на виду оставалась лишь голова. Я постарался взглянуть на ее туловище с иной точки зрения, так, как она сама его видела — сверху. Из-за возвышающихся ребер нижняя часть тела — живот и едва намеченные бедра — совсем пропадали из виду, и туловище, увиденное в перспективе, почти исчезало. Но это все, что у нее осталось, и если она ве-

рит — а похоже, она действительно верит, — что, следуя за Анансой, она лишится и этого жалкого подобия тела, разве смерть для нее менее страшна, чем для тех, кто имеет возможность жить полной жизнью? Сомневаюсь. Для Элен жизнь была полна радости. Она не захочет променять ее на существование внутри собственного сознания, посвященное странной музыке металлических рук.

Если бы только не дождь. Для Элен самое главное — жизнь снаружи, там, где деревья, птицы и холмы вдалеке, где дует ветерок, которому дозволяется обнимать ее крепче, чем любому из людей. А если из-за дождя она окажется надолго отрезана от реальности, составляющей важную часть ее жизни, сколько времени она сможет сопротивляться неумолимому зову Анансы, сулящей ей руки, ноги и несмолкающую музыку?

Повинуясь внезапному порыву, я встал и очень осторожно приподнял ей веки.

Ее открытые глаза уставились в потолок, не моргая.

Я отпустил ее веки, она не шевельнулась.

Я повернул ее голову в сторону, но девочка не вернула ее обратно. Не проснулась. Только продолжала петь; то, что я делал, вовсе ее не потревожило.

Кататония или начало каталепсии.

«Она теряет рассудок, — думал я, — и если мне не удастся ее вернуть, удержать здесь, Ананса победит, и врачам в этой лечебнице придется в течение многих лет ухаживать за лишенным сознания куском плоти. Столько, сколько они смогут сохранять жизнь в том, что останется от Элен».

— Я вернусь в субботу, — сказал я дежурной.

— Почему так скоро?

— Элен переживает некий кризис, — объяснил я.

Некая вымышленная космическая женщина хочет ее забрать — нет, этого я говорить не стал.

— Надо, чтобы медсестры как можно дольше не давали ей спать. Пусть читают ей, играют с ней, разговаривают. Обычного ночного сна вполне достаточно. И никакого дневного отдыха.

— Почему?

— Просто я боюсь за нее, вот и все. Думаю, у нее в любой момент может начаться кататония. Этот сон ненормален. Я хочу, чтобы с нее не спускали глаз.

— Все настолько серьезно?

Да, настолько серьезно.

В пятницу показалось было, что тучи рассеиваются, но солнце выглянуло лишь на несколько минут, а потом огромная гряда облаков вновь надвинулась с северо-запада, и погода испортилась еще больше. Я заканчивал сеанс терапии довольно небрежно, несколько раз замолкая на середине фразы. Одна из пациенток рассердилась и, прищурившись, взглянула на меня.

— Вам платят не за то, чтобы вы размышляли о своих барышнях, разговаривая со мной.

Я извинился и постарался сосредоточиться на работе. Эта женщина любила поговорить, и мне было трудно следить за ходом ее мыслей. Но в чем-то она была права. Я не мог перестать думать об Элен. А когда пациентка упомянула про барышень, у меня в голове словно прозвенел звоночек. Ведь я общался с Элен дольше и ближе, чем с любой другой женщиной за много-много лет. Если только можно говорить об Элен как о женщине.

В субботу я снова поехал в Миллард-Каунти. Медсестры в лечебнице были чем-то сильно встревожены. Они объяснили, что сперва не поняли, как долго она уже спит, а потом попытались ее разбудить. Утром она засыпала два или три раза, а после полудня — еще того больше. Вечером уснула в полвосьмого и спала не меньше двенадцати часов.

— И она все время поет. Это ужасно. Поет даже по ночам. Все поет и поет.

Но когда я вошел к ней, она не спала.

— Не сплю специально в честь твоего приезда.

— Спасибо, — сказал я.

— Обычный субботний визит. Я, похоже, и в самом деле съезжаю с катушек.

— Вообще-то нет. Но мне не нравится, что ты так много спишь.

Она с трудом улыбнулась.

- Я тут ни при чем.
- Я улыбнулся, надеюсь, слегка веселее, чем она.
- А мне кажется, все дело в твоей голове.
- Думайте, что хотите, господин доктор.
- Я не доктор. У меня степень магистра.
- Какая там глубина?
- Глубина?
- Ну, из-за дождя. Наверняка уже натекло достаточно, чтобы удержать на плаву с десятков ковчегов. Бог вздумал уничтожить мир?
- К сожалению, нет. Хотя моторы некоторых автомобилей он уже уничтожил — тех, что решили слишком быстро проехать по лужам.
- А сколько времени должен идти дождь, чтобы затопить всю землю?
- Земля круглая. Вода все время будет с нее стекать.
- Она рассмеялась. Как приятно было слышать ее смех — но он оборвался слишком резко, и она испуганно взглянула на меня.
- Знаешь, я ухожу.
- Да?
- Я как раз подходящего размера. Она меня измерила, и я идеально подошла. У нее есть для меня место. Хорошее место, оттуда слышно звездную музыку, и я смогу научиться петь. И у меня будут направляющие двигатели.
- Я покачал головой.
- Ледяной поросенок Гранти был таким милым. А это, Элен, вовсе не мило.
- А я разве говорила, что Ананса милая? Ледяной поросенок Гранти был на самом деле, папа сделал его однажды из ледяной крошки на пикнике. Но не успели его выкопать из земли, как он растаял. Я не придумываю своих друзей.
- А цветочная девочка Фуксия?
- Мама обычно обрывала бутоны на фуксии у парадной двери. И мы играли с ними в траве, как с куклами.
- Но Ананса другая.
- Ананса пришла ко мне во сне. Это она нашла меня. Я ее не выдумала.

— Разве ты не понимаешь, Элен, как начинаются галлюцинации? Они очень похожи на реальность.

Она покачала головой.

— Все это я знаю. Медсестры читали мне книги по психологии. Просто Ананса... Она другая. Она не могла просто так возникнуть у меня в голове. Она не такая, она — настоящая. Я слышала ее музыку, не такую примитивную, как у Копланда. Она — не фальшивая.

— Элен, когда в среду ты спала, у тебя начиналась кататония.

— Знаю.

— Знаешь?

— Я чувствовала, как ты прикасаешься ко мне. Как поворачиваешь мою голову. Я хотела поговорить с тобой, попрощаться. Но она тогда пела, понимаешь? Она пела. А теперь она разрешает мне петь самой. Когда я пою для нее, мне кажется, будто я — паук, который по своей паутинке пробирается куда-то далеко, в другие места. Я иду туда, где она меня ждет. В темноту. Там темно, холодно и одиноко, но я знаю, что далеко, на другом конце паутинки, меня ждет она, чтобы навечно стать моим другом.

— Элен, ты пугаешь меня.

— Знаешь, на ее корабле совсем нет деревьев. Только поэтому я все еще здесь. Я вспоминаю деревья, и холмы, и птиц, и траву, и ветер, и думаю, как мне будет не хватать всего этого. Она сердится на меня и обижается. Но все же поэтому я еще здесь. Только мне все труднее вспоминать, как выглядят деревья. Я стараюсь, но получается то же самое, как тогда, когда я пытаюсь вспомнить лицо матери. Я помню ее платье и волосы, но лицо все время ускользает. Даже когда я смотрю на фотографию, она кажется мне чужой. И деревья теперь для меня чужие.

Я погладил ее лоб. Сперва она дернула головой, потом успокоилась.

— Извини,— сказала она.— Я вообще-то не люблю, когда меня трогают здесь.

— Больше не буду,— сказал я.

— Нет, давай. Я не против.

И я опять погладил ее по лбу. Он был сухим и холодным, и она едва заметно приподняла голову, подставляя

ее под мою ладонь. Невольно я вспомнил, как вчера выжила моя пациентка. Барышни. Я гладил Элен и думал о том, что хочу заняться с ней любовью. Я немедленно выбросил эту мысль из головы.

— Удержи меня,— сказала она.— Не дай мне уйти. Мне очень хочется уйти, но я не должна. Я как раз нужного размера, но неправильной формы. И там — не мои руки. Я знаю, какие у меня были руки.

— Я постараюсь удержать тебя, если смогу. Но ты должна мне помочь.

— Только не надо уколов. От уколов у меня разум отрывается от тела. Если мне станут делать уколы, я умру.

— А что еще я могу сделать?

— Просто удержи меня как угодно, как хочешь.

Потом мы поговорили о каких-то пустяках, делая вид, что у нее все в порядке. Вспомнили и про церковные собрания.

— Я и не знал, что ты такая набожная,— сказал я.

— Вовсе нет. Но чем еще заниматься по воскресеньям? Они поют гимны, и я пою вместе с ними. А служба на прошлой неделе задела меня за живое. Священник говорил о Христе в гробнице. О том, как он провел там три дня, а потом слетел ангел и выпустил его. Я все думала и думала о нем, о том, что он чувствовал, запертый в темноте в пещере, в полном одиночестве.

— Невесело.

— Не в том дело. Возможно, его это даже воодушевляло. Если, конечно, все так и было. Вот он лежит на своем каменном ложе и говорит себе: «Они думают, я умер, а я здесь. Я живой».

— У тебя он получается каким-то самодовольным.

— Ну да. Почему бы и нет? Интересно, когда я буду рядом с Анансой, у меня тоже будут возникать такие мысли?

Опять эта Ананса.

— Я вижу, о чем ты подумал. Ты подумал: «Опять эта Ананса».

— Ага,— сказал я.— Как бы я хотел, чтобы ты о ней забыла и вернулась к своим более безобидным приятелям.

Внезапно ее лицо исказила гримаса гнева.

— Ты можешь думать, что хочешь. Только оставь меня в покое.

Я попытался извиниться, но она не желала ничего слышать. Она настаивала на том, что эта звездная женщина реальна. В конце концов я ушел, повторив еще раз медсестрам, что не надо позволять ей долго спать. Вид у сестер был встревоженный, они не хуже меня видели, как изменилась Элен.

Я остался в Милларде на уикенд, поэтому позвонил Белинде. В ту пору у нее не было ни мужа, ни приятеля, и она приехала ко мне в мотель. Мы пообедали, позанимались любовью, потом стали смотреть телевизор. То есть это она смотрела телевизор. А я лежал в постели и думал. И когда на экране замелькала сетка и Белинда наконец поднялась, охваченная страстью и алкоголем, я все еще думал об Элен. И пока Белинда целовала меня, шекотала и шептала на ухо всякие глупости, я представлял, что у меня нет ни рук, ни ног, что я лежу и могу шевелить только головой.

— Да что с тобой такое? Ты меня не хочешь?

Я встряхнулся. Не стоит расстраивать Белинду, я ведь сам ее позвал, значит, вся ответственность лежит на мне. Хотя в данном случае ответственность как раз невелика... И мысли об ответственности не давали мне покоя.

Я занимался любовью с Белиндой медленно и осторожно, но с закрытыми глазами. И все время представлял себе вместо ее лица лицо Элен. Барышни. И хотя по моей спине скользили пальцы Белинды, я все равно представлял, что занимаюсь любовью с Элен. А обрубки рук и ног вовсе и не были такими ужасными, как я опасался сначала.

Я просто чувствовал глубокую печаль. Ощущал огромную трагическую потерю, словно Элен умерла, хотя я мог бы ее спасти, как сказочный принц. Один символический поцелуй — и принцесса проснется и будет жить долго и счастливо. А я ее не поцеловал.

Когда мы кончили, я заплакал.

— Ах, бедняжка,— очень сочувственно проговорила Белинда.— Что с тобой такое? Да нет, можешь не говорить.

Она обняла меня, и я наконец уснул, прижавшись головой к ее груди. Она думала, что нужна мне. Пожалуй, в тот момент так оно и было.

Я не поехал к Элен в воскресенье, как хотел сделать сначала.

Я весь день собирался отправиться к ней, но вместо этого сидел и смотрел немыслимый набор отвратительных утренних воскресных передач. А когда все-таки вышел, полный решимости немедленно отправляться в лечебницу проведать Элен, то погрузил вещи в багажник, поехал в свой трейлер и там опять сидел и смотрел телевизор.

Почему я не мог к ней поехать?

«Ты должен удержать меня здесь», — сказала она.

«Удержи меня как угодно, как хочешь», — так она сказала.

И мне казалось, что я знаю — как. В том-то и была проблема. Где-то в глубине души я понимал, что все это слишком реально, а волшебные сказки — огромное заблуждение. Принц разбудил принцессу вовсе не поцелуем. Он разбудил ее обещанием, что в его объятиях она всегда будет счастлива. И она проснулась, чтобы жить долго и счастливо. Если бы она не была уверена, что он говорит правду, она предпочла бы вечный сон.

О чем просила меня Элен?

И почему я боялся?

Я опасался не из-за работы. Настоящий профессионал не должен вступать с пациентом в личные отношения. Но, с другой стороны, когда это я был настоящим профессионалом?

В конце концов я лег спать, сожалея, что со мной нет Белинды, потому что мне необходимо было любое, даже самое слабое утешение. Почему бы всем женщинам не быть такими, как Белинда: мягкими, любящими и нетребовательными?

Но, засыпая, я думал о Элен. О ее лице, об ужасном обрубке тела, полном немого укора. Во сне она не оставляла меня всю ночь.

Она не оставляла меня и тогда, когда я проснулся. Минул обычный понедельник, и вторник, наступила сре-

да, а я все еще боялся ехать в лечебницу Миллард-Каунти. И не поехал туда с утра. Уже близился вечер, и дождь лил по-прежнему, поля превратились в озера, бурные потоки переполняли не готовые к такому буйству стихии городские стоки.

— Поздновато вы,— сказал дежурный.

— Все из-за дождя,— ответил я.

Он кивнул, но у него был встревоженный вид.

— Мы думали, как хорошо было бы, если бы вы приехали вчера, но нигде не могли вас застать. С Элен проблемы.

И я понял, что мое опоздание сослужило свою проклятую службу, в точности как я и ждал.

— Она с понедельника не просыпается. Просто лежит и все время поет. Ей сделали внутривенную инъекцию, и она спит.

Она и в самом деле спала. Я попросил всех выйти из комнаты.

— Элен,— позвал я.

Молчание.

Я снова и снова ее звал. Я прикасался к ней и поворачивал туда-сюда ее голову. Она не шевелилась и все пела и пела. Ее голос звучал то высоко, то низко; то звенел, как струна; то скрипел металлом. Я прикрыл ей рот рукой, и все равно она продолжала петь, как будто ее ничего больше не беспокоило.

Я слернул с нее одеяло и всадил ей в живот булавку, потом еще раз — в мягкую кожу у ключицы. Никакой реакции. Я ударил ее по лицу. Ничего. Она уже не здесь. И я снова мысленно увидел ее частью межзвездного корабля, но на сей раз воспринял это совсем по-другому. Нужного размера оказалось вовсе не ее тело, а ее разум. Именно разум тянулся к Анансе, двигаясь по невесомой паутинке песни туда, где ему обещали тело.

Обещали работу.

Может, нужна шоковая терапия? Я представил, как и без того бесформенное тело подпрыгивает и изгибается из-за проходящего через него электрического тока. Единственным результатом такой процедуры станет еще одна

мука лишенной сознания плоти. Сильнодействующие уколы?

Я не знал, что еще можно сделать, чтобы вернуть ее оттуда, куда она ушла. Отчасти я, кажется, даже поверил в существование Анансы. Я стал говорить:

— Ананса,пусти ее. Пусть она вернется ко мне, прошу тебя, пожалуйста, она нужна мне.

Почему я плакал тогда, в объятиях Белинды? Ах, да. Потому что узрел принцессу, но не решился ее разбудить, ведь счастливое будущее показалось мне тогда чертовски недостижимым.

И в лихорадочном порыве первого мрачного озарения и осознания своей потери я этого все же не сделал. Не поддался ни порыву страсти, ни приступу страха и горя. Я долгие часы просидел у ее постели, глядя на слабое и беспомощное тело, теперь лишенное души. Как мне хотелось, чтобы она открыла глаза, проснулась и сказала:

— Эй, представляешь, какой сон мне приснился?

Чтобы сказала:

— Как ловко я обвела тебя вокруг пальца! Булавки, конечно, нелегко было вытерпеть, но я все равно тебя провела!

Но она меня не провела.

И в конце концов, движимый не страстью, а отчаяньем, я встал, наклонился к ней, уперся руками о кровать по обе стороны от ее тела, прижался щекой к ее щеке и стал шептать ей на ухо. Я обещал все, что только мог придумать. Я обещал, что больше никогда не будет дождя. Я обещал деревья, цветы, холмы, и птиц, и ветер, когда она захочет. Я обещал, что заберу ее из лечебницы, обещал, что отвезу в те места, о которых она могла лишь мечтать.

И потом, когда я совсем охрип, а ее волосы стали мокрыми от моих слез, я пообещал ей единственное, что могло ее вернуть. Я пообещал ей себя. Любовь до гроба, любовь, которая сильнее любых песен Анансы.

И тогда чудовишное пение смолкло. Она еще не проснулась, но перестала петь и пошевелилась. Она повернула голову и, похоже, просто уснула, теперь это была уже не кома.

Я просидел у ее постели всю ночь. Я уснул в кресле, и медсестра укрыла меня. Я все еще сидел в кресле, когда меня разбудил голос Элен:

— Какой же ты лгун! Дождь все еще идет!

Сознание того, что мне удалось вернуть человека из пределов более далеких, нежели сама смерть, заставило меня испытать никогда прежде не испытанное чувство могущества. Жизнь Элен была полна горечи, но клятва верности, которую я ей принес, по-видимому, смогла примирить ее даже с такой жизнью. Во всяком случае, именно так я расценил то, что случилось. И это переполнило меня восторгом, делая слепым и глухим к тому, что же на самом деле произошло.

Радовался не я один. Медсестры суетились вокруг Элен, а администратор собрался писать победоносный отчет.

— Я опубликую эти данные, — заявил он.

— Но это слишком личное, — заметил я.

Однако в глубине души я уже сам соображал, как бы придать дело огласке, чтобы оно сыграло на руку моей карьере. Мне самому было стыдно, что искренний, идущий от сердца порыв я собираюсь использовать для удовлетворения своих карьерных амбиций, но я не мог закрыть глаза на то, с каким уважением ко мне вдруг стали относиться люди, еще несколько часов назад считавшие меня серой посредственностью.

— Это слишком личное, — твердо повторил я. — У меня нет никакого желания придавать делу огласку.

Но к своему отвращению, я понял, что уважение, с каким администратор отнесся к моему решению, радует меня. Мое самомнение все росло и росло — по крайней мере, пока я находился среди тех, кто жаждал меня поблагодарить. Но, будучи мудрым психологом, я отправился к единственному человеку, который питал ко мне истинную благодарность, а не мимолетное восхищение. Заслуженную благодарность, как я тогда полагал. Я отправился к Элен.

— Привет, — сказала она. — А я-то думала, куда ты пропал.

— Да просто вышел на минутку, — ответил я, — чтобы забежать в Нобелевский комитет.

— Тебя хотят наградить за то, что ты меня вернул?

— Вовсе нет. Меня хотели наградить за то, что я впервые вступил в контакт с настоящим инопланетным существом из далекого космоса. А я плюнул им в лицо и вместо этого вернул назад тебя. И вот теперь они расстраиваются.

Она была явно взволнована. Это совсем на нее не походило — иметь такой взволнованный вид. Обычно она никогда за словом в карман не лезла.

— И что теперь с тобой сделают?

— Не знаю. Может, бросят в кипящее масло. Самое обычное дело. Хотя, возможно, теперь придумали, как зажарить человека живьем в потоке солнечной энергии. Дешевле обойдется.

Не самая остроумная шутка. Но она не поняла, что я шучу.

— Все не так, как она говорила... Она говорила, что...

Она. Я сделал попытку справиться с холодным страхом, вдруг шевельнувшимся в груди.

«Думай, — говорил я себе. — “Она” может означать кого угодно».

— Кто — она? — спросил я.

Элен молчала. Я протянул руку и коснулся ее лба. Он покрылся испариной.

— Что случилось? — спросил я. — Ты чем-то расстроена.

— Мне следовало знать заранее.

— Знать что?

Она покачала головой и отвернулась.

И тогда я подумал, что знаю, в чем дело. Знаю, но мы вполне можем с этим справиться.

— Элен, — начал я, — ты ведь еще не до конца выздоровела, не так ли? Ты не до конца избавилась от Анансы? Мне ты можешь довериться. Разумеется, я бы хотел, чтобы ты совсем излечилась от своих фантазий, но это было бы настоящим чудом. А разве я похож на волшебника? Мы продвигаемся медленно и постепенно. Я вывел тебя из каталепсии. И в конце концов мы освободим тебя от Анансы.

А она по-прежнему молчала, уставившись в серое от дождя окно.

— Тебе не надо делать вид, что все совсем прошло. Конечно, это очень мило с твоей стороны, и я почувствовал себя настоящим героем. Но я — взрослый человек и смогу справиться с небольшим разочарованием. Ведь самое главное, что ты здесь, с нами, и больше не спишь.

Взрослый человек, черта с два! Я испытывал ужасное разочарование, и мне было стыдно, ведь слова мои были неискренними. Ничего из моего лечения не вышло. Никакой я не герой и не волшебник. Ничего-то я не достиг! Я самый обыкновенный психолог, к тому же довольно заурядный.

Но я не хотел сосредоточиваться на собственных переживаниях.

«Надо быть профессионалом,— убеждал я себя.— Ей нужна твоя помощь».

— Поэтому ты не должна чувствовать себя виноватой.

Она опять повернулась ко мне, ее глаза ярко горели.

— Виноватой? — Она почти улыбалась.— Виноватой.

Она смотрела на меня не отрываясь, хотя вряд ли ясно видела мое лицо, потому что на ее ресницах сверкали слезы.

— Ты старалась сделать как лучше,— сказал я.

— Да? Старалась? Ты правда так думаешь?

Она горько улыбнулась. Эта улыбка была так не похожа на ее улыбку, и в один ужасный миг я вдруг увидел перед собой чужого человека, а вовсе не Элен, мою юную дерзкую пациентку.

— Я хотела остаться с ней,— сказала она.— Я хотела, чтобы она была там, со мной. Она была такая живая. И когда она наконец пришла на мой корабль, она пела, и танцевала, и размахивала руками, и тогда я сказала себе: «Вот чего мне не доставало; вот чего я жаждала все эти бесконечные века, распевая песни». Но потом я услышала тебя.

— Ананса,— произнес я, впервые осознав, кто передо мной.

— Я услышала, как ты зовешь ее. Думаешь, мне легко было решиться? Она тоже тебя слышала, но не захотела вернуться. Свои новые руки и ноги она бы ни на что не

променяла. Для нее все это вновь. Но у меня они уже давно. Зато чего у меня не было — это... тебя.

— Где она? — спросил я.

— Там. Она поет так, как мне никогда не удавалось.

С минуту она задумчиво молчала, потом печально про-
изнесла:

— А я здесь. Только, похоже, я просчиталась. Потому что мне не удалось тебя провести. И теперь ты бросишь меня. Тебе нужна Элен, а ее нет. Я оставила ее одну. И ей там будет хорошо, во всяком случае, еще очень долго. Но потом... Потом она поймет, что я ее обманула.

Она говорила голосом Элен. Это несчастное тело было телом Элен. Но теперь я понимал, что ничего не смогу поделать. Элен больше нет, она парит в бесконечном пространстве космоса, где сознание прячется, стараясь укрыться от самого себя. А вместо нее здесь Ананса. Незнакомый мне человек.

— Ты ее обманула? — спросил я. — В чем?

— Все останется по-прежнему. Спустя некоторое время она выучит все песни, и они будут такими всегда. Там ничего не меняется. Ты занимаешься одним и тем же, пока звезды не рухнут, но все вокруг остается прежним.

Я провел по волосам и сам удивился, почувствовав, как дрожит рука.

— О боже, — прошептал я.

То были просто слова, не молитва.

— Ты меня ненавидишь, — сказала она.

Ненавижу? Ненавижу мою безумную крошку Элен?

О нет. Для ненависти у меня есть другой объект. Я ненавидел дождь, из-за которого она оказалась отрезана от реального мира, не дававшего ей потерять рассудок. Я ненавидел ее родителей — за то, что они не оставили ее дома в тот день, когда нашли на дороге свою смерть. Но самые бурные чувства пробуждали во мне мысли о тех днях, когда я прятался от Элен, не хотел вспоминать о том, как я ей нужен, притворялся, что вовсе о ней не думаю, не вспоминаю и что она мне не нужна.

Она, должно быть, не понимала, почему я так долго не прихожу. Не понимала — и в конце концов перестала

надеяться и верить, что найдется человек, который удержит ее в этом мире. И вот она ушла, а когда я наконец приехал, в ее теле меня поджидала Ананса, ее вымышленная подруга, ворвавшаяся теперь в реальную жизнь. Я знал, кого мне ненавидеть.

Я думал, что расплачусь. И даже уткнулся лицом в покрывало, там, где должна была быть ее нога. Но я не плакал. Я просто сидел, уткнувшись лицом в жесткое покрывало, и ненавидел самого себя.

Потом зазвучал ее голос, как будто меня с мольбой коснулась нежная рука.

— Я бы все вернула на свои места, если бы могла, — сказала она. — Но я не могу. Она ушла туда, а я здесь. Я здесь потому, что ты звал. Я здесь для того, чтобы посмотреть на деревья, на цветы, на траву, на твою улыбку. На счастливое будущее. Она ведь только ради этого и жила, знаешь, только ради этого. Прошу тебя, улыбнись.

Я почувствовал, что стало тепло. Я поднял глаза. За окном больше не было дождя. В небе светило солнце, его лучи падали на складки простыни.

— Пойдем погуляем, — предложил я.

— Дождь перестал, — сказала она.

— Хотя для прогулки слегка поздновато, как ты считаешь? — спросил я.

Но улыбнулся.

— Можешь называть меня Элен, — проговорила она. — Ты ведь никому не расскажешь, правда?

Я покачал головой. Конечно, я никому не скажу, она может не беспокоиться. Я никому не скажу, иначе ее переведут в другое место, где властвуют психиатры, которые, впрочем, все равно не умеют как следует властвовать. Я представил, как она окажется в компании тех, кто тоже пытался скрыться от действительности, и понял, что никогда никому не признаюсь в том, что произошло. К тому же я не мог признать себя побежденным, во всяком случае, сейчас.

И еще рано было говорить о полном поражении.

Всегда остается надежда. Элен ведь не окончательно сошла с ума. Она все еще здесь, она просто заблудилась в собственном сознании и смотрит на мир глазами вымыш-

ленного персонажа, которого придумала, чтобы он ее заменил. И однажды наступит тот день, когда мне удастся отыскать ее и вернуть домой. Ведь даже ледяной поросенок Гранти растаял.

Я заметил, как она качает головой.

— Нет, ты ее не найдешь,— сказала она.— И не вернешь домой. Я не растаю и не исчезну. Ее больше нет, и ты не смог этому помешать.

Я улыбнулся и сказал:

— Элен.

И вдруг я понял, что она ответила на мои мысли, не высказанные вслух.

— Совершенно верно,— проговорила она.— Поэтому давай будем честными друг с другом. Ты все равно не сможешь меня обмануть.

Я покачал головой и на секунду в приступе смятения и отчаянья поверил — поверил, что Ананса и в самом деле существует. Но это же ерунда! Разумеется, Элен знает, о чем я думаю. Она знает меня лучше, чем я сам.

— Пошли погуляем,— повторил я.

Неудачник и калека выбрались на солнечный свет, который одинаково ласкал и правых, и тех, кому нет оправдания.

— Я не против,— сказала она.— Считаю меня, кем хочешь,— Элен или Анансой. Возможно, будет лучше, если ты по-прежнему будешь пытаться найти Элен. И будет лучше, если мне все-таки удастся тебя одурачить.

Самое худшее в фантазиях душевнобольных заключается в их отвратительной последовательности. Они никогда не отступаются от своего и не дают вам ни минуты передышки.

— Я — Элен,— сказала она с улыбкой.— Я — Элен и просто притворяюсь Анансой. Ты меня любишь, поэтому я и вернулась. Ты обещал, что вернешь меня домой, и вернул. Отвези меня на прогулку. Ты сделал так, что прекратился дождь. Ты выполнил все, что обещал, потому я снова дома, и обещаю, что никогда тебя не покину.

И она не покинула меня. Каждую среду я навещаю ее по долгу службы, каждую субботу и воскресенье — по велению сердца. Иногда я вожу ее на прогулки, и мы ве-

дем бесконечные разговоры. Я читаю ей и приношу книги, чтобы ей читали медсестры. Никто из них не знает, что она по-прежнему больна. Для них она так и осталась Элен, которая переживает самую счастливую пору жизни и приходит в неопишуемый восторг от каждого звука, всякого нового вкуса и запаха, от всего увиденного и услышанного, от каждого неожиданного прикосновения к щеке. И лишь мне одному известно, что она считает себя другой. Только мне ведомо, что улучшения так и не наступило и что в ужасные минуты прозрения я называю ее Анансой, а она печально откликается.

И все же я доволен. Между нами мало что изменилось. Прошло несколько недель, и я убедился, что теперь она стала счастливее, чем когда-либо раньше была. В конце концов, она избрала для себя самый лучший мир. Она говорит себе, что настоящая Элен — где-то там, в космосе, танцует и распевает песни, у нее наконец-то есть руки и ноги, а бедняжка, страдающая в лечебнице Миллард-Каунти, — всего лишь инопланетное существо и счастлива иметь хотя бы такое убогое тело.

Я же, со своей стороны, храню ей верность и счастлив этим. И все же я всего-навсего человек и время от времени ложусь в постель с другими женщинами. Но Ананса не против. Она сама предложила это спустя несколько дней после того, как проснулась.

— Встречайся иногда с Белиндой, — сказала она. — Белинда ведь тебя любит. А я совсем не против.

Никак не могу припомнить, когда я говорил с ней о Белинде, но, во всяком случае, она не возражает, поэтому я почти всем в жизни доволен. Почти всем, кроме одного.

Я недоволен, что я не Господь Бог. Я бы хотел им стать. И тогда поменял бы кое-что в этой жизни.

Приезжая в лечебницу Миллард-Каунти, я никогда сразу не захожу в здание. Ее почти никогда не бывает в доме. Я обхожу вокруг и ищу на лужайке, под деревьями. Инвалидное кресло всегда стоит там, отличаясь от остальных белизной сверкающих на солнце подушек. Я никогда ее не зову. Через несколько минут она сама меня замечает, и тогда сестры разворачивают кресло и везут ее ко мне.

Она приближается так, как приближалась сотни раз прежде. Она рвется ко мне, а я смотрю на нее не отрываясь, чтобы не представлять, как моя Элен парит одна в темноте космического пространства, с песнями проносясь сквозь звездную пыль, вертясь в диком танце и размахивая руками и ногами, которые оказались ей дороже моей любви. Я просто смотрю на инвалидное кресло, смотрю, как она мне улыбается. Она рада меня видеть, она так счастлива видеть весь мир, что не может удержаться в пределах собственного тела. И когда мое воображение перестает сдерживаться, я на мгновение становлюсь Богом. Я вижу, как она бежит ко мне, размахивая руками. Я дарю ей левую руку и правую, нежные и сильные. Я приставляю к ее телу длинную девчоночью левую ногу, и точно такую же крепкую правую.

А потом отнимаю у нее и руки, и ноги.

Предварительный запрет

С Доком Мерфи я познакомился на занятиях по литературному творчеству, которые один безумный француз вел в университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Я тогда оставил пост редактора отдела моды в одном из консервативных семейных журналов, и мне было не так-то просто вновь почувствовать себя разгильдяем-студентом. Из всей бесцеремонной компании Док был самым бесцеремонным, и я сперва подумал, что не буду обращать внимания ни на него, ни на его мнение. Но игнорировать его мнение оказалось не так-то просто. Сперва из-за того, как он со мной обошелся. А потом из-за того, как обошлись с ним самим. Именно то, что я узнал о прошлом Дока, сделало меня тем, кто я есть; и когда бы я ни взялся за перо, это прошлое неотступно преследует меня.

Наш учитель Арманд, сменивший французский акцент на бостонский (что, впрочем, не пошло ему на пользу), имел слегка озадаченный вид, показывая аудитории мой рассказ.

— Эта вещь имеет коммерческую ценность. Что не мешает ей оставаться полной ерундой. Что еще тут можно сказать?

И тогда сказал свое слово Док. Держа в одной руке гвозди, в другой — молоток, он распыл и меня, и мой рассказ. Если вспомнить, что я уже решил его не замечать и что смотрел на всех остальных свысока — я ведь был единственным студентом, который сумел напечатать хоть одно из своих произведений, — до сих пор удивляюсь, что

я вообще стал его слушать. Но в его словах была не просто злобная атака на мое творение. Я полагаю, в них было глубокое уважение к тому, каким должен быть настоящий писатель. И к тому крошечному зернышку настоящего, которое он сумел углядеть в моем рассказе.

Поэтому я стал его слушать. И учиться у него. И по мере того как француз все больше и больше терял рассудок, я все больше учился писать у Дока. Каким бы он ни был бесцеремонным, он обладал куда более ясным и живым умом, нежели люди в деловых костюмах, попадавшие на моем пути.

Мы стали встречаться не только на занятиях. Жена оставила меня два года назад, поэтому у меня была масса свободного времени и довольно просторный дом, в котором можно было побездельничать. Мы пили, читали или беседовали, сидя перед камином или поедая телятину с пармезаном, отлично приготовленную Доком, или сражались с коварной лозой на заднем дворе, явно решившей заполнить весь белый свет. Впервые с тех пор, как меня бросила Дина, я снова стал чувствовать себя уютно в собственном доме. Док, инстинктивно чувствуя, где именно в этом доме жили печальные воспоминания, вскоре сумел найти некий баланс, и мне снова стало хорошо и спокойно.

А порой — беспокойно. Потому что Док не всегда говорил только приятные вещи.

— Я понимаю, почему от тебя ушла жена, — однажды сказал он.

— Ты тоже считаешь, что я недостаточно хорош в постели?

То была шутка — ни я, ни Док не имели необычных сексуальных пристрастий.

— Ты обращаешься с людьми, как настоящий неандерталец, вот в чем причина. Если они не хотят делать то, что тебе нравится, значит, надо просто хорошенько треснуть их дубинкой по башке и оттащить в сторону, чтоб не мешали.

Меня это раздражало. Я не любил вспоминать о жене. Мы были женаты всего три года, и то были далеко не лучшие годы моей жизни, но я по-своему ее любил, не

хотел, чтобы она уходила, и скучал по ней. И мне не нравилось, когда меня тычут носом в мои ошибки.

— Что-то не припомню, чтобы бил тебя дубиной.

Он лишь улыбнулся в ответ. А я, разумеется, тут же припомнил весь наш разговор и понял, что он прав. Отвратительная у него была улыбка.

— Ладно, — сказал я, — ты — единственный, кто носит длинные волосы в стране сплошных «ежиков». Объясни, за что ты любишь «менялу» Морриса.

— Я вовсе не люблю Морриса. Я считаю, что Моррис — тот еще субчик, торгующий чужой свободой, чтобы раздобыть лишний голос на выборах.

И тогда я смутился. Я ругал на все корки старого «менялу» Морриса, члена комитета графства, за то, что тот уволил старшего библиотекаря, обвинив в хранении запрещенной «порнографической» книги. Моррис был очень популярен, безграмотен, со всеми задатками фашиста, и я бы с радостью пришпорил лошадь во время его линчевания.

— Значит, тебе тоже не нравится Моррис? — переспросил я. — Тогда что я сказал не так?

— Ты говоришь, что для цензуры не может быть никаких оправданий.

— Тебе нравится цензура?

И тогда полушутливое подтрунивание окончательно утратило свою несерьезность. Док резко отвернулся от меня и стал смотреть в огонь. Я заметил, как на ресницах его блеснули слезы, в которых отражались языки пламени, и в очередной раз осознал, что с Доком мне не тягаться.

— Нет, — ответил он. — Цензура мне не нравится.

А потом наступило молчание; он выпил два бокала вина, так и не сказав ни слова, и собрался домой. Он жил в Эмигрейшн-Каньон, куда можно было добраться по узкой извилистой дороге, и я боялся, что он слишком пьян, чтобы садиться за руль. Но, стоя в дверях, он сказал:

— Я не пьян. После часа в твоём обществе надо выпить не меньше полугаллона, чтобы прийти в нормальное состояние. Такой ты отчаянный трезвенник.

Как-то в выходные он даже взял меня с собой на работу. Док зарабатывал на жизнь в Неваде, и в пятницу днем, выехав из Солт-Лейк-Сити, мы направились в Уэндовер, первый город у границы штата. Я решил, что он работает в казино, возле которого мы припарковались. Однако Док не приступил сразу к делу, а только сообщил свое имя. Потом мы сели в углу и стали чего-то ждать.

— А тебе разве не надо работать? — спросил я.

— Я работаю, — ответил он.

— Я тоже так работал перед тем, как меня уволили.

— Мне надо дожидаться своей очереди у игрового стола. Я же сказал, что зарабатываю на жизнь игрой в покер.

И тут меня осенило, что Док — вольный художник, профессиональный игрок, карточный шулер.

В тот вечер там было четверо игроков по имени Док. Дока Мерфи позвали к столу третьим. Он играл скромно, но в течение двух часов понемногу проигрывал. Потом вдруг за четыре партии отыграл все с лихвой, взяв сверху около полутора тысяч долларов. Проиграв приличия ради еще несколько партий, он принес свои извинения, и мы поехали домой, в Солт-Лейк.

— Обычно мне приходится играть еще и в субботу вечером, — сказал он с усмешкой. — Но сегодня повезло. Там был один идиот, который думал, что умеет играть в покер.

Мне припомнилась старая пословица: «Никогда не ешь в ресторане под названием “Как у мамы”, никогда не играй в покер с человеком по имени Док и никогда не спи с женщиной, у которой больше неприятностей, чем у тебя самого». Очень правдивая поговорка. Док отлично помнил колоду, всегда наизусть знал расклад и очень редко не мог угадать карту.

В конце четверти я вдруг подумал, что за время нашей совместной учебы я так и не прочитал ни одного рассказа самого Дока. Он так ничего и не написал, но на общей доске красовалась его оценка — высший балл.

Я поговорил об этом с Армандом.

— Что ты, Док пишет, — заверил он меня. — И лучше, чем ты, хотя у тебя тоже высший балл. Бог знает почему. Наверное, у тебя просто нет таланта, вот и все.

— Почему же он не читает свои вещи перед остальными?

— А зачем? — Арманд пожал плечами. — Зачем метать бисер перед свиньями?

И все же я не мог подавить раздражения. Много раз наблюдая, как Док разделяет под орех то одного, то другого писателя, я не мог смириться с мыслью, что сам он ни разу не становился мишенью для чужих атак.

В следующей четверти мы оказались с ним вместе на одном семинаре, и я попросил у него что-нибудь почитать. Он рассмеялся и сказал, что об этом не может быть и речи. Я тоже рассмеялся и сказал, что очень даже может.

Я и вправду хотел прочесть то, что он написал, и через неделю он принес три страницы текста. То был незаконченный рассказ о человеке, от которого ушла жена, но все равно каждый вечер, возвращаясь домой, он надеялся ее увидеть. Лучшего произведения мне еще не приходилось читать, как ни посмотри. Написано было так ясно и эмоционально, что понравилось бы любому идиоту, обожающему Гарольда Роббинса. Но богатство стиля и глубина проблемы, уложенные в столь небольшой объем, низводили остальных «великих» писателей до уровня скотоводов. Я пять раз перечитывал отрывок только для того, чтобы убедиться: я уловил все, о чем там написано. В первый раз я подумал: это метафорический рассказ про меня самого. После третьего прочтения понял — это о Боге. После пятого догадался, что рассказ вообще обо всем, что имеет в жизни смысл, и мне захотелось читать еще и еще.

— А где остальное? — спросил я.

— Тут все. — Он пожал плечами.

— Но концовки нет!

— Нет.

— Ну так напиши ее! Док, это возьмут у тебя где угодно, хоть в «Нью-Йоркере». А для них тебе, может, даже и не придется придумывать конец.

— Хоть в «Нью-Йоркере». Ух ты!

— Ты ведь не думаешь, Док, что нет ни одного издательства, достойного опубликовать твои работы? Допиши конец. Я хочу знать, чем все кончится.

Он покачал головой.

— Это все, что есть. И больше ничего не будет.

На том разговор и завершился.

Но время от времени он показывал мне другие отрывки, и каждый был лучше предыдущего. А наши отношения тем временем становились все более тесными, и не потому, что он был таким чертовски хорошим писателем — я бы не стал прятаться в тени человека куда более талантливого, чем я сам, — а просто потому, что он был Доком Мерфи. В Солт-Лейк-Сити мы знали все приличные места, где можно выпить пива; занятие, не отнимавшее слишком много времени. Мы посмотрели три хороших фильма и еще кучу настолько дурацких, что они были забавны именно своей глупостью. Он научил меня довольно сносно играть в покер, и теперь я каждые выходные выходил из игры без потерь. Он смирился с чередой моих подружек и предсказывал, что я, возможно, снова женюсь.

— У тебя такая слабая воля, что ты сделаешь еще одну попытку, — весело объяснял он.

И вот, когда я уже оставил всякую надежду, он рассказывал, почему ничего не дописывает до конца.

Я допивал уже третью кружку пива, а он тянул отвратительную смесь из таба и томатного сока. Это пошло он потреблял всегда, когда хотел наказать себя за грехи, полагая, что потребление такого напитка даже хуже, чем обычай индусов пить собственную мочу. Мне только что вернули рассказ, хотя я был уверен, что журнал несомненно его опубликует. Я начал подумывать, а не пора ли вообще оставить эту затею, а Док надо мной смеялся.

— Я говорю серьезно, — заявил я.

— Тому, кто хоть чего-то стоит, нет смысла бросать писать.

— Кто бы говорил. Ведь тебе же упорства не занимать, кто еще из писателей с тобой в этом сравнится!

Он рассердился.

— Ты похож на паралитика, который издевается над одноногим, — сказал он.

— Надоело мне все.

— Тогда не пиши. Какая разница? Оставь все бездарным ремесленникам. Да ты и сам такой.

Док не пил ничего, что могло бы так сильно испортить ему настроение. Ничего, что могло бы оправдать подобную мрачность.

— Эй, Док, я ищу поддержки и утешения.

— Если тебе требуется утешение, значит, ты его не заслуживаешь. Хорошего писателя можно остановить только одним способом.

— Только не надо говорить, что ты дал зарок не писать одно-единственное — концовки.

— Зарок не писать одно-единственное? У меня в жизни не было никаких зарок. Зароки возникают тогда, когда у тебя не хватает сил, чтобы написать то, что ты должен написать.

Я начинал злиться.

— А у тебя, конечно, сил всегда хватает.

Он подался вперед и вперил в меня взгляд.

— Я — лучший из всех, кто пишет на английском языке.

— Ты — лучший из всех, кто не дописал еще до конца ни одной вещи. Тут я с тобой соглашусь.

— Я все дописываю до конца, — сказал он. — Все, мой дорогой друг, а потом все сжигаю, кроме первых трех страниц. Иногда на один рассказ мне хватает недели. Я написал три романа, четыре пьесы. У меня есть даже сценарий. Я мог бы заработать миллионы долларов и сделаться живым классиком.

— Кто это сказал?

— Сказал... Не важно, кто сказал. Сценарий купили, подобрали актеров и уже собирались снимать фильм. Фильм с бюджетом в тридцать миллионов. И киностудия одобрила сценарий. Единственное умное решение за все время их существования.

Я не мог поверить своим ушам.

— Ты шутишь?

— Если я шучу, почему никто не смеется? Это правда.

Никогда еще я не видел, чтобы он был так подавлен и удручен. Если я хоть чуть-чуть знал Дока Мерфи, он говорил сущую правду. А мне казалось, что я его знал. Знаю.

- Так что же произошло? — спросил я.
 - Вмешалась Комиссия по цензуре.
 - Что? В Америке нет такой комиссии.
- Он рассмеялся.
- Официально, разумеется, нет.
 - Что это еще, черт возьми, за Комиссия по цензуре?
- И вот что он рассказал.

Когда мне было двадцать два, я жил у сельской дороги в Орегоне, недалеко от Портленда. Вдоль дороги висели почтовые ящики.

Я тогда писал сценарии и думал, что смогу сделать на этом карьеру. Я не так давно решил попробовать писать прозу и однажды утром вышел на дорогу, чтобы проверить почту. Накапывал мелкий дождик, но я не обращал на него внимания. В почтовом ящике я увидел конверт от моего агента в Голливуде. В конверте был контракт. Не просто упоминание о возможном варианте, а конкретное предложение на сто тысяч долларов.

Я как раз подумал, что скоро промокну и пора вернуться в дом, когда из-за кустов показались двое — теперь-то я знаю, что они любят эффектные появления. Оба в деловых костюмах... Боже, ненавижу тех, кто носит деловые костюмы!

Один сразу протянул руку и сказал:

— Давай сюда это письмо. Если отдашь, избежишь многих неприятностей.

Отдать ему письмо? Я сказал, что думаю по поводу его предложения. Эти сучки напоминали мафиози, вернее пародию на них.

Почти одинакового роста... Вообще они казались очень похожими, даже яростный блеск глаз был одинаковым. Но вскоре я понял, что первое впечатление было обманчивым. Один оказался блондином, другой — темноволосым. У блондина был чуть скошенный подбородок, что придавало его лицу какой-то незавершенный вид. У темноволосого были серьезные проблемы с кожей, его шея походила на короткий деревянный обрубок, отчего лицо, словно приставленное прямо к шее, казалось весьма глуповатым. Никакая это не мафия. Самые обычные люди.

Вот только глаза. Блеск глаз был неподдельным, оттого у меня и сложилось сперва о них ложное впечатление. Эти глаза видели людские слезы, наблюдали долгие мучения, знали, что это такое. Такого взгляда у людей быть не должно.

— Ради Бога, это всего лишь контракт, — попытался объяснить я, но прыщавый брюнет снова приказал отдать письмо.

К этому времени мой первый испуг прошел. Они не вооружены, поэтому я мог избавиться от них, не прибегая к насилию. Я повернулся и пошел к дому. Они последовали за мной.

— Для чего вам мой контракт? — спросил я.

— Этот фильм никогда не будет снят, — сказал Коротышка, блондин со скошенным подбородком. — Мы не позволим его снять.

Интересно, кто пишет для них диалоги, они что, подворовывают у Фенимора Купера?

— Судя по тому, что мне предложили сто тысяч, они хотят его снять. А я хочу, чтобы это у них получилось.

— Ты никогда не получишь этих денег, Мерфи. Не позже чем через четыре дня не станет ни контракта, ни твоего сценария. Я обещаю.

— Вы что, критики? — спросил я.

— Почти угадал.

К тому времени я уже переступил порог своего дома, а они стояли снаружи. Мне следовало захлопнуть перед ними дверь, но я же игрок. Я не мог с ними распрощаться, так и не узнав, что у них на уме.

— Думаете отнять письмо силой? — спросил я.

— Нет, неизбежностью, — сказал Прыщавый и добавил: — Видите ли, мистер Мерфи, вы — опасный человек. С вашей пишущей машинкой «Ай-Би-Эм-Селектрик-2», у которой сбоят возврат каретки, отчего между буквами иногда возникают лишние пробелы, с вашим папочкой, однажды заявившим: «Знаешь, Билли, как на духу — я ведь не уверен, мой ты сын или не мой, потому что твоя мама встречалась с разными ребятами, когда мы с ней поженились. Вот почему мне вообще-то наплевать, что с тобой происходит, хоть ты вообще помри».

Он ни в чем не ошибся. Повторил слово в слово то, что сказал отец, когда мне было четыре года. Слово в слово.

Боже, да это ЦРУ. Вот это да!

Нет, они оказались не из ЦРУ. Они просто хотели точно знать, что больше я никогда не стану писать. Или, точнее, не стану публиковаться.

Я заявил, что их предложение меня не интересует. И оказался прав — они не стали пускать в ход грубую силу. Я закрыл дверь, и они ушли.

Но когда на следующий день я, не превышая скорости, ехал по дороге в своей старенькой «галакси», прямо перед мной возник мальчишка на велосипеде. У меня даже не было времени нажать на тормоз. Еще секунду назад его не было, и вот он возник словно ниоткуда.

Я его сбил.

Велосипед затащило под колеса, а его самого выбросило наверх. Его нога оказалась зажатой между велосипедом и бампером, а тело ударилось о капот. Его разорвало вверх от бедер, позвоночник был сломан в трех местах. Металлические детали капота распотрошили его, на ветровое стекло потоком, подобным тропическому ливню, хлынула кровь, и я не видел ничего, кроме его лица с открытыми глазами, плотно прижатого к стеклу. Он умер на месте.

О том же самом мечтал и я.

Они с братом играли в марсиан или во что-то в этом роде. Брат так и стоял у дороги, зажав в руках лучевое пластмассовое ружье, вид у него был ошалелый. Из дома с криком выскочила мать. Я тоже кричал. Двое соседей все видели. Один из них вызвал полицию и скорую. Вторым пытался привести в чувство мать и не дать ей вцепиться в меня.

Не помню, куда я ехал в тот день.

Помню только, что в то утро машина почему-то никак не хотела заводиться. Я возился с ней на целых полторы минуты дольше, чем обычно, а чтобы завести двигатель, это немалый срок. Если бы она завелась, как всегда, я бы его не сбил.

Я все время думал, какое ужасное совпадение заставило меня оказаться на том месте именно в тот момент. Полсе-

кунды раньше — и он бы заметил меня и свернул. Полсекунды позже — и я бы сам заметил его. Ужасное совпадение.

И отец мальчишки, вернувшийся домой спустя десять минут после катастрофы, лишь потому не убил меня, что я отчаянно рыдал.

Дело не передали в суд, потому что соседи подтвердили: у меня не было ни малейшей возможности остановиться, а полицейский дознаватель установил, что я не превысил скорости. Даже небрежности не допустил. Просто ужасное, ужасное стечение обстоятельств.

Я прочел заметку в газете. Мальчишке было всего девять лет, но он был очень смысленным, ходил на школьные семинары, вел дневник и всегда заботился о братьях и сестрах. Наверняка это выжало слезы из читателей.

Мне приходили в голову мысли о самоубийстве.

И вдруг опять появились эти ребята в деловых костюмах, с четырьмя экземплярами моего сценария. Со всеми четырьмя копиями, какие я сделал. Оригинал хранился у меня в папке.

— Вот видите, мистер Мерфи, все копии сценария — у нас. А теперь вы отдадите нам оригинал.

Мне вовсе не хотелось с ними общаться. Я собрался закрыть дверь.

— У вас отменный вкус, — сказал я.

Мне было плевать, как им удалось раздобыть мой сценарий, во всяком случае, тогда меня это не интересовало. Мне хотелось только одного — заснуть, а проснувшись, узнать, что мальчишка жив.

Они распахнули дверь и вошли.

— Видите ли, мистер Мерфи, если бы мы не поработали над вашей машиной, ваши с мальчиком пути не пересеклись бы. Нам пришлось сделать четыре пробы, чтобы подобрать нужное время, но в конце концов у нас все получилось. В путешествии во времени хорошо то, что если не получается, всегда можно вернуться и попробовать еще разок.

Я не мог поверить, что кто-то готов взять на себя ответственность за смерть мальчика.

— Но зачем?! — спросил я.

И они рассказали.

Похоже, мальчишка был еще талантливей, чем все думали. Он должен был стать писателем, журналистом и критиком. И лет сорок спустя доставил бы множество проблем одному правительству. Ему суждено было написать три книги, коренным образом изменившие бы мышление огромного множества людей. Не в лучшую сторону.

— Все мы творцы, — объяснил Коротышка. — И вас не должно удивлять, что к своим творениям мы относимся чрезвычайно серьезно. Серьезнее даже, чем вы — к своим. Во власти писателя, хорошего писателя, изменять людей, но иногда это перемены к худшему. Убив вчера этого мальчика, вы предотвратили гражданскую войну, которая могла бы начаться приблизительно через шестьдесят лет. Мы уже все проверили, остались некоторые неприятные побочные эффекты, но с ними вполне можно справиться. Семь миллионов жизней спасены. Вам не стоит слишком сильно переживать.

Я вспомнил, что им известны мельчайшие подробности моей жизни. Такие, которых не могла знать ни одна живая душа. Я чувствовал себя глупо, потому что начинал им верить. Мне стало страшно оттого, что они говорили о смерти мальчика с таким спокойствием. И тогда я спросил:

— А при чем здесь я? Почему именно я?

— О, все очень просто. Вы — очень хороший писатель. Вам суждено стать ведущим писателем-прозаиком своей эпохи. А что до этого сценария, через триста лет вас стали бы сравнивать с Шекспиром, и бедняга бард не выдержал бы конкуренции. Вся проблема в том, Мерфи, что ты — безбожный гедонист и вдобавок пессимист, и если удастся предотвратить твои публикации, тенденции искусства последующих двухсот лет будут куда более яркими и жизнерадостными. Не говоря о том, что мы предотвратим голод, который должен начаться через семьдесят лет. В истории, Мерфи, иногда бывает очень странная взаимосвязь причин и следствий, и тебе довелось оказаться причиной возможных ужасных страданий. Если ты не будешь публиковаться, всем в мире станет гораздо лучше жить.

Тебя там не было, ты не слышал этих слов. Ты не видел, как они сидели в моем доме, на моем диване, скрестив ноги и кивая, словно речь шла о самых обыкновенных вещах. Глядя на них, я понял, как следует писать о настоящем безумии. Безумие — это не когда у рта выступает пена, а когда человек сидит и по-приятельски болтает, но говорит ужасные, немыслимые вещи, жестокие вещи, и притом весело улыбается и... О боже... Нет, ты не поймешь.

И ведь я им поверил. Потому что они знали правду. И еще потому, что это было слишком безумно; настоящий сумасшедший придумал бы что-нибудь более убедительное. Возможно, ты подумаешь, что меня убедила логика их рассуждений, но это не так. Вряд ли я смогу как следует все объяснить, но поверь — я вижу, когда человек блефует, а когда говорит правду. Так вот, те двое не блефовали. Погиб ребенок, и им было известно, сколько раз я повернул ключ в зажигании. Правда была и в жутких глазах Коротышки, когда он сказал:

— Если ты добровольно откажешься от публикаций, тебя оставят в живых. Если нет, ты погибнешь в течение ближайших трех дней. Тебя убьет еще один писатель, разумеется, совершенно случайно. Мы имеем право работать только с авторами.

Я поинтересовался почему. Их ответ рассмешил меня — оказалось, они принадлежали к Гильдии Авторы.

— Все дело в ответственности. Если ты отказываешься брать на себя ответственность за последствия своих деяний, приходится перекладывать эту ответственность на плечи другого.

И тогда я спросил, почему им просто-напросто не прикончить меня, вместо того чтобы вести душеспасительные беседы.

Ответил мне Прыщавый, этот ублюдок даже пустил слезу. И вот что он сказал:

— Потому что мы тебя любим. Мы обожаем все, что ты написал. Все, что мы узнали о писательском искусстве, мы узнали от тебя. А если ты умрешь, мы лишимся этих знаний.

Они пытались утешить меня рассказами о том, в какой отличной компании я оказался. Например, Томас

Гарди. Его вынудили оставить романы и заняться поэзией, которую никто не читает и которая не представляет собой опасности.

— Хемингуэй решил покончить жизнь самоубийством, не дожидаясь, пока мы его убьем,— сказал Коротышка.— Были и такие, которым пришлось воздержаться от создания одной только книги. Им было тяжело, но Фицджеральд, к примеру, все равно сделал приличную карьеру на других книгах, а Перельман, наоборот, отказался писать вообще, раз уж не смог создать свое главное творение. Мы занимаемся только выдающимися писателями. Посредственности ни для кого не представляют угрозы.

Мы заключили своего рода сделку. Я мог продолжать писать. Но, закончив работу, я должен был сжечь ее, оставив лишь первые три страницы.

— Экземпляр любой законченной работы попадает к нам,— объяснил мне Коротышка.— Там у нас имеется библиотека... В общем, она существует вне времени. То есть, в некотором смысле, твои работы все равно будут опубликованы, только не в твою эпоху. Не раньше чем лет через восемьсот. Но по крайней мере, ты имеешь право писать. А ведь есть такие, кому вообще не разрешили даже ручку брать. И это разбивает наши сердца.

Я знаю, что такое разбитое сердце, сэр, да, я все об этом знаю. Я сжег все, что написал, кроме первых трех страниц.

Есть лишь одна причина, по которой писатель может перестать писать, и это — приказ Комиссии цензуры. А тот, кто прекращает писать по другой причине, всего лишь самодовольный осел. «Меняла» Морис не имеет ни малейшего понятия о том, что такое настоящая цензура. Ее создают не в библиотеках, а на капотах автомобилей. Так что давай, становись брокером, продавай страховку, верь в Санта-Клауса и защищай северных оленей, мне-то что! Но если бросишь дело, заниматься которым мне запрещено, я больше не скажу тебе ни слова. Ты для меня умрешь.

Итак, я пишу. А Док читает написанное и не оставляет от него камня на камне. За исключением этого рассказа. Его он никогда не увидит. Возможно, за него он про-

сто меня бы прибил, но какая разница? Я не собираюсь это публиковать. Нет, нет, я слишком тщеславен. Вы же читаете сейчас этот рассказ? Видите, как яставляю на-показ собственное эго?

Если я и в самом деле хороший писатель, если мое творчество способно изменить мир, парочка ребят в деловых костюмах сделают мне предложение, от которого я не смогу отказаться. И тогда вы не сможете прочесть этот рассказ, но вы же его читаете, верно?

Зачем я делаю это с собой? Может, надеюсь, что они придут и подкинут мне предлог прекратить писать, пока я не обнаружил, что лучше писать уже не буду. Но в этом рассказе я показываю чертовым критикам из будущего нос, а они не обращают внимания, тем самым давая понять, какова истинная цена моего творчества.

А может, все совсем не так. Может, я — хороший писатель, просто моя работа дает положительный эффект, не угрожая никакими опасными волнениями. Может, я — один из тех счастливиц, кому удастся достичь серьезных высот и не попасть под топор цензуры, охраняющей спокойное будущее.

Может, и свиньи умеют летать.

Изменившийся и Король Слов

Жил-был человек, любивший своего сына больше жизни. И жил-был мальчик, любивший своего отца больше смерти. Вообще-то они из разных историй, но я не смогу рассказать про одного, не рассказав про другого.

Человека, о котором идет речь, звали Элвин Бевис, его сына звали Джозефом, и оба они любили единственную женщину — Конни. В 1977 году Конни, радостная и счастливая, вышла замуж за Элвина, а через год дала жизнь Джо, едва не умерев в родах. Конни обожала мужа и сына. В этой семье вообще все были очень привязаны друг к другу, а в такие семьи почти всегда рано или поздно приходит горе.

После Джо у Конни больше не было детей. Честно говоря, ей не стоило рожать и Джо. Доктор обозвал ее круглой душой за то, что она отказалась сделать аборт на четвертом месяце беременности, когда начались проблемы.

— Вы понимаете, что ребенок может родиться умственно отсталым? А вы можете умереть в родах!

На что Конни ответила:

— У меня будет хотя бы один ребенок, иначе я всегда буду сомневаться, жила ли я вообще.

На седьмом месяце ей пришлось сделать кесарево сечение. Вместе с сыном из Конни извлекли матку и придатки. Джо был тощим и маленьким, и доктор сказал, что мать должна подготовиться к тому, что ребенок может

оказаться слабоумным и с нарушенной координацией. Конни кивнула и выбросила эти слова из головы.

Ей повезло: у нее был Джо, живой, и она мысленно отвечала всем, кто жалел ее: «Я — куда более женщина, чем любая из вас, бесплодных, которым все еще приходится беспокоиться о фазах луны».

Ни Элвин, ни Конни не верили, что Джо будет заторможенным. И очень скоро выяснилось, что они правы. Он пошел в восемь месяцев. Он начал говорить в год. В полтора года он выучил алфавит. К тому времени, как ему исполнилось три, он умел читать, как второклассник. Мальчик рос любознательным, требовательным, независимым, непослушным. Вдобавок он был на редкость красивым ребенком с копной волос медного цвета и гладкой кожей, напоминавшей поверхность прохладного горного озера.

Родители наблюдали, как жадно он поглощает знания, и порой им бывало нелегко утолить интеллектуальный голод сына.

— Он станет великим человеком,— шептали они друг другу в тишине спальни.

Они гордились и в то же время боялись того, что случайно или по велению свыше им суждено воспитывать такого человека.

Всем остальным подаркам Джо сызмальства предпочитал сказки. Обычно он приносил родителям книжки и настаивал, чтобы Конни или Элвин читали ему вслух, но если оказывалось, что в книжке нет сказок, он тут же бежал и приносил другую, пока наконец не отыскивал нужную. Тогда он молча слушал, завороченный цепью разворачивающихся событий, пока история не подходила к концу. И так снова и снова: «Когда-то, давным-давно», или «Жил-был», или «Однажды король издал указ» — пока Элвин или Конни не заучили наизусть каждую книгу сказок в доме. Истории про эльфов были любимыми историями Джо, но время шло, и он перешел к фильмам и современным книжкам и даже к историческим книгам. Проблема, однако, заключалась не в его любви к рассказам. Проблема заключалась в том, что Джо хотел жить внутри этих рассказов.

Встав поутру, он заявлял, что Конни будет мамой-медведицей, Элвин — папой-медведем, а сам он — маленьким медвежонком. Если игра шла не так, Джо сердился, объявлял себя Златовлаской и убегал*. В другие дни папа становился Румпельштильцхен, мать — крестьянской дочерью, а королем был сам мальчик**. В другие дни папа становился гномом, мама — дочерью фермера, а Джо — королем. Джо бывал и Гензелем, тогда мама делалась Гретой, а Элвин — злой колдуньей***.

— Ну почему я не могу быть отцом Гензеля и Греты? — спрашивал Элвин.

Ему не очень-то улыбалось быть злой колдуньей. Нет, он не улавливал в распределении ролей скрытого смысла, но какому отцу понравится, если сын ему предписывает, что говорить или делать в этот день. Элвин никогда не знал, что ему придется делать в собственном доме в следующий час.

Постепенно досада Элвина переросла в открытое раздражение. Если у Джо просто такой возраст, к этому времени ему пора было уже и пройти. В конце концов Элвин предложил показать мальчика детскому психологу.

Доктор сказал, что это просто такой возраст.

— То есть рано или поздно все пройдет? — спросил Элвин. — Или вы просто не можете понять, что происходит?

— И то и другое, — радостно признался детский психолог. — Поймите, с этим нужно просто смириться.

Но Элвин вовсе не желал мириться с таким положением дел. Ему хотелось, чтобы сын называл его папой, а не разными вымышленными именами. Как-никак, он отец Джо. Почему же он, взрослый человек, должен

* Речь идет о сказке «Златовласка и три медведя», написанной английским поэтом-романтиком Робертом Саути, по сюжету во многом схожей с известной русской сказкой «Маша и три медведя» (*В данном рассказе все примечания сделаны переводчиком*).

** Румпельштильцхен — гном из сказки братьев Гримм, заставивший вышедшую замуж за короля крестьянскую дочку утаивать сложное имя гнома.

*** «Гензель и Гретель» — сказка братьев Гримм о приключениях брата и сестры, которых задумала погубить злая мачеха.

идти на поводу у ребенка? Каким бы смышленным ни был Джо, Элвин не собирался покорно исполнять всякие дурацкие роли каждый раз, возвращаясь с работы домой. Элвин взял быка за рога и начал отзывать только на обращение «папа». Джо это слегка рассердило, однако, сделав несколько неудачных попыток, он перестал заставлять отца играть роли. Насколько было известно Элвину, его сын вообще перестал разыгрывать истории в лицах.

Конечно, это было не так. Джо просто стал разыгрывать их с матерью, после того, как Элвин уходил на весь день, чтобы перекраивать цепочки ДНК. Так Джо научился скрывать что-то от отца. Он не лгал; он просто выжидал благоприятного момента. Джо был уверен, что как только он найдет по-настоящему хорошую историю, папа согласится в нее поиграть.

Итак, когда Элвин вечерами возвращался домой, сын больше не донимал его «ролевыми играми». Вместо этого отец и сын играли в игры с числами и словами; чтобы подготовиться к изучению латыни, штудировали основы испанского языка, а еще составляли простенькие программки на «Атари» — полуигровой компьютерной приставке Джо. Оба так шумели и смеялись, что мать часто просила своих мальчиков вести себя потише, чтобы не обвалилась крыша дома.

«Вот это и называется — быть отцом, — говорил себе Элвин. — Я — хороший отец».

И то была правда. Чистая правда, хотя время от времени Джо с надеждой спрашивал маму:

— Как ты думаешь, а эта история понравится папе?

— Папа просто не любит притворяться. Ему нравятся истории, но он не хочет в них играть.

В 1983 году Джо исполнилось пять лет, и он пошел в школу. И в том же самом году доктор Бевис вывел бактерии, способные питаться кислотными осадками, нейтрализуя их. Спустя четыре года Джо покинул школу, так как знал больше любого из учителей. И именно в это время доктор Бевис начал зарабатывать на коммерческом использовании своих бактерий, которые добросовестно очищали водоемы от кислотных осадков. Университет внезапно ужаснулся, что Бевис может удалиться на покой,

жить на прибыли от своих открытий и лишит научное заведение славы своего имени. Поэтому доктору Бевису дали лабораторию, двадцать ассистентов, секретарей и административных помощников, и теперь тот мог заниматься всем, что ему нравилось.

А ему нравилось, когда начатые им исследования планомерно и методично развиваются в избранном им направлении. В лаборатории он появлялся лишь изредка, а все остальное время посвятил обучению сына, сделав его единственным учеником домашней академии.

Для Элвина наступили райские дни.

Для Джо они были адом крошечным.

Не забывайте, что Джо любил своего отца. Он добросовестно играл в обучение, и они замечательно проводили время, читая по-латыни «Похвалу глупости»*, повторяя классические научные опыты и ставя свои собственные — всего и не перечислишь. Достаточно сказать, что у Элвина никогда не бывало раньше аспиранта, способного так быстро схватывать новые идеи и тут же вдохновенно выдавать свои, еще более новые и ошеломляющие. Разве мог счастливый отец догадаться, что его сын на его глазах, фигурально выражаясь, умирает голодной смертью?

Ведь теперь, когда отец почти всегда находился дома, Джо больше не мог разыгрывать с мамой истории.

Раньше Джо обычно читал те же книги, что и Конни: целый день она читала дома «Джен Эйр»** , в то время как Джо занимался тем же самым в школе, пряча книгу за экземпляром «Друзей и соседей»***. Гомер, Чосер, Шекспир, Твен, Митчелл, Голсуорси, Элсвит Тейн. А потом, в драгоценные часы после школы, пока Элвин еще не являлся с работы домой, они бывали Эшли и Скарлетт****,

* Философская сатира, написанная в 1511 г. голландским философом-гуманистом Эразмом Роттердамским (1467–1536).

** «Джейн Эйр» — социально-психологический роман английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–1855), написанный в 1847 г.

*** «Друзья и соседи» — роман плодовитого американского писателя Тимоти Шея Артура (1809–1885), воспевавшего трезвость и умеренность во всем.

**** Эшли и Скарлетт — главные герои романа М. Митчелл «Унесенные ветром».

Тибби и Джулианом*, Гekom и Джимом**, Вальтером и Гризельдой***, Одиссеем и Цирцеей****.

Джо больше не распределял роли, как делал раньше, когда был маленьким. И Конни, и Джо хорошо знали книгу, которую читали, знали все подробности того, о чем в ней говорилось, и каждый должен был догадываться по поведению другого, какую именно роль тот нынче выбрал. То были триумфальные моменты, когда Конни угадывала, какую роль выбрал на сегодня Джо, а Джо угадывал, какую роль выбрала мама. За несколько лет никто из них ни разу не выбрал дважды одну и ту же, и никто ни разу не ошибся, угадывая, какого именно персонажа изображает другой. Но теперь Элвин был дома, и игра закончилась.

Осталось в прошлом и чтение в школе. Книги, которые нравились Джо и Конни, у Элвина вызывали только раздражение. История — пожалуйста, но повести, полные выдумки и лжи — нет. И в то время как Элвин искренне думал, что в их дом наконец-то пришла радость, для матери и сына эта радость умерла.

Их жизнь наполнилась аллюзиями*****. Мать и сын вскользь обменивались фразами из книг, почти незаметно играя любимых героев, но не решаясь называть их по именам. Это было доведено до такого совершенства, что Эл-

* Тибби и Джулиан — персонажи романа Элсвит Тейн «Робкий свет зари» (1943) — первого из ее семи «Уильямсбергских романов», связанных единой сюжетной линией.

** Имеются в виду Гекльберри Финн и беглый чернокожий раб Джим из романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884).

*** Вальтер и Гризельда — герои «Рассказа студента», входящего в сборник «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Гризельда — жена маркграфа Вальтера — воплощение покорности и терпения.

**** Одиссей — в греческой мифологии царь о. Итака. Его жизнь, подвиги и странствия описаны Гомером в «Илиаде» и «Одиссее». Цирцея — волшебница, живущая на о. Эя, куда во время одного из своих странствий попадает Одиссей. У Цирцеи от него родился сын Телегон, впоследствии смертельно ранивший Одиссея во время сражения.

***** Аллюзия (от лат. *allusio* — шутка, намек) — намек посредством сходно звучащего слова или посредством упоминания общеизвестного реального факта, исторического события либо литературного произведения.

вин долго не догадывался, что происходит. Он просто ощущал — что-то не так.

— Интересно, какая погода будет в январе,— как-то раз сказал Элвин, глядя на проливной дождь за окном.

— Прекрасная,— ответил Джо, сразу подумав о «Рас-сказе купца»*. Мальчик с улыбкой обратился к матери: — В мае мы будем лазать по деревьям.

— Что? — удивился Элвин. — При чем здесь май и деревья?

— Просто мне нравится лазать по деревьям.

— Главное, чтобы солнце не слепило глаза, когда вл-зашь на дерево,— сказала Конни.

Когда мать вышла из комнаты, Джо задал отцу совершенно невинный вопрос по телеологии**, и Элвин начи-сто забыл о странном разговоре.

Правильнее сказать, попытался выбросить этот разгово-вор из головы. Однако Элвин не был простаком. Хотя его жена и сын отлично маскировались, мало-помалу он понял, что в его доме все теперь говорят не так, как рань-ше. Теперь Конни и Джо общались на каком-то своем языке. И все же Элвин был достаточно начитан, чтобы разгадать завуалированный смысл нескольких фраз. Пре-вращение в свиней. Развеянный прах.

Как-то раз он услышал:

— Если честно, я и гроша ломаного за это не дам.

Фраза была сказана вроде бы не к месту, потому что не имела никакого отношения к разговору. Но она заставила Элвина внимательнее прислушиваться к тому, что говорят жена и сын. И вскоре он убедился, что такие замечания проскальзывают довольно часто. Некоторые фразы поро-ждали в душе Элвина некий странный резонанс. Чем боль-ше Элвин убеждался, что у Джо и Конни есть свой тай-ный язык, тем сильнее ощущал свое отчуждение от семьи.

* Один из «Кентерберийских рассказов» Чосера.

** Телеология (от греч. teleos — цель) — философская концепция, согласно которой все в мире устроено целесообразно и всякое развитие является осуществлением заранее предопределенных Богом или приро-дой целей.

Его занятия с сыном вдруг показались поверхностными и пустыми, словно они оба играли роли персонажей из романа о любящем отце-учителе и сыне-ученике, талантливом и усердном. До сих пор Элвин считал, что именно сейчас стал по-настоящему счастлив, что перед его нынешней жизнью меркнет его прежняя жизнь в стенах университетской лаборатории. А теперь... Теперь он был лишь актером в пьесе об отце и сыне. А истинная жизнь сына была ему неведома и недоступна.

«Несколько лет назад мне не нравились роли, которые придумывал для меня Джо,— думал Элвин.— А нравятся ли ему роли, которые я придумывал для него?»

— Я научил тебя всему, чему мог, за исключением биологии,— сказал он сыну однажды за завтраком.— Поэтому я буду учить тебя биологии, а всему остальному тебя станут учить самые талантливые аспиранты нашего университета. Каждый день кто-то из них будет с тобой заниматься.

Джо посмотрел на него отсутствующим взглядом.

— Значит, теперь меня будешь учить не только ты?

— Я не могу научить тебя тому, чего сам не знаю,— ответил Элвин.

И он вернулся в свою личную лабораторию, чтобы вновь с утонченной жестокостью полосовать десятки и сотни живых частиц, перекраивая их по собственному усмотрению и не спрашивая, нравится это частицам или нет.

А Джо и Конни неожиданно снова остались вдвоем, дивясь такой внезапной перемене. Элвин около трех лет почти ежедневно бывал дома, и за это время его сын из очаровательного ребенка превратился в долговязого неуклюжего подростка. Джо вдруг начал стесняться матери. Три долгих года они с Конни играли в узников, обменивающихся посланиями перед носом тюремной стражи. А теперь, когда главный тюремщик исчез и исчезла надобность в скрытности, неожиданно исчезли и сами послания. О возвращении к прежним играм не было и речи.

Джо стал реже бывать дома, а когда приходил, либо читал, либо до умопомрачения играл на компьютере. С виду все осталось по-прежнему, но на самом деле в доме семьи Бевисов прибавилось закрытых дверей.

Джо начали сниться кошмары. Сны его были очень похожи один на другой, отличаясь лишь деталями. Ему снилось, что он с родителями плывет в лодке, планшир которой от малейшего прикосновения рассыпается в труху. Джо безуспешно пытается предупредить отца и мать о грозящей опасности, но не успевает. Лодка разваливается, и они тонут в морской пучине. Иногда ему снилось, что он запутался в гигантской паутине, а паука все нет и нет. Несмотря на отчаянные усилия, Джо не может выбраться из паутины и чувствует, что обречен на медленную смерть.

Можно ли рассказать родителям об этих снах? Джо вспоминался библейский Иосиф из книги Бытия; сколько страданий претерпел тот лишь за то, что простодушно рассказывал свои сны. Джо вспоминалась вещая Кассандра и Иокаста, убоявшаяся предсказания оракула и решившая убить собственного сына*.

«Я попал в историю, из которой нет выхода,— думал Джо.— Все перемены только к худшему, и я все больше отдаляюсь от себя самого. Я больше не могу отождествлять себя с героями сказок, легенд и романов. Но кто же тогда я сам?»

С виду могло показаться, что жизнь катится по обычной колее. За завтраком следовал ланч, потом обед; размеренно сменяли друг друга сон и бодрствование. Деньги зарабатывались, тратились и брались в кредит; вещи покупались, через некоторое время портились, и тогда их либо чинили, либо выбрасывали. Жизнь шла своим чередом, приближаясь к неминуемой развязке.

Как-то раз Элвин с сыном отправились в «Грифон» — большой книжный магазин, славящийся тем, что там имелась вся серия мировой классики издательства «Пингвин»**. Элвин шел между полок, скользя глазами по

* Иокаста — в греческой мифологии фиванская царица, жена Лая и мать Эдипа. Испугавшись пророчества оракула, она решила избавиться от своего первенца. Однако Эдип не погиб и, став взрослым, убил своего отца и женился на собственной матери.

** «Пингвин» — появившееся в первой половине XX в. английское издательство, ныне входящее в издательский концерн «Пирсон».

корешкам книг и мысленно отмечая те, которые могут пригодиться для развития Джо. Повернув голову, он обнаружил, что сына рядом нет.

Его сын — долговязый подросток ростом в пять футов и девять дюймов — стоял в противоположном конце магазина, сосредоточенно рассматривая что-то на прилавке. Элвин испытал то щемящее чувство, какое испытывает отец, видя, как взрослеет сын. При всей неуклюжести, свойственной этому возрасту, Джо остался красивым парнем. Надо же, ему уже тринадцать. Элвин чувствовал, что теряет его. Джо вырослел. Еще немного, и будет слишком поздно.

«Когда же он перестал быть моим? — подумал Элвин. — Когда попал под влияние матери настолько, что стал *ее* сыном? Почему Джо суждено было унаследовать материнскую красоту и отцовский ум? Настоящий Аполлон».

И тут Элвин понял, что именно он потерял. Назвав сына Аполлоном, он признался самому себе, что именно он отобрал у Джо. Связь между историями, которые тот разыгрывал в детстве, и осознанием самого себя. Связь эта была настолько реальной, что казалась почти осязаемой. Элвину не удалось выразить свое ощущение словами и даже сохранить память о нем. Едва он почувствовал, что ухватил суть случившегося, суть эта ускользнула от него. Удержать в памяти ощущение, не уложенное в слова, Элвин не мог, и проблеск осознания тут же погас.

«Не успев узнать, я уже забыл».

Сердясь на самого себя, Элвин направился к сыну и вскоре увидел, что мальчишка занят какой-то чепухой. Джо разложил на прилавке несколько карт Таро* и пытался истолковать смысл их расклада.

* Таро (один из вариантов происхождения названия связывает его со словами «Та-Рош» — путь царей) — колода гадальных карт и в то же время древняя иероглифическая книга, в которой содержатся все тайные мистические знания древних египтян. Колода Таро состоит из 78 карт; 56 карт относятся к т. н. Младшим Арканам, от которых произошли современные игральные карты, а 22 карты — к Старшим Арканам. Каждый, интересующийся Таро, сегодня может найти обширнейшую литературу, посвященную этой уникальной системе познания мира, а также самые разнообразные по оформлению колоды карт.

— Позолоти ручку, красавец,— сказал Элвин.

Он считал свои слова шуткой, однако они так и дышали гневом. Джо покраснел, а Элвин внутренне сжался.

«Надо же, я причиняю тебе боль одной-единственной фразой»,— подумал он.

Он хотел было извиниться, но не знал как. Тогда Элвин решил пошутить еще раз и тем самым убедить себя, что предыдущая фраза тоже была шуткой.

— Разгадываешь тайны Вселенной?

Джо криво улыбнулся, собрал карты и сунул их в картонную коробочку.

Элвин знал, что именно сейчас нужно сказать.

«Джо, я же вижу, тебе это было интересно. Напрасно ты убрал карты».

Но он ничего не сказал.

— Так, просто чепуха,— бесцветным голосом ответил Джо.

«Врешь»,— подумал Элвин.

— Все ответы, какие дают карты, настолько неточны, что их можно применить к любой ситуации,— натянуто засмеялся Джо.

— По-моему, моя штука тебя здорово задела.

— По правде говоря, знаешь, над чем я думал? Можно ли создать на основе этих карт компьютерную программу? Таковую, чтобы вместо случайного вытаскивания карт она показывала бы человеку, кто тот на самом деле? Чтобы он мог пробиться сквозь...

— Продолжай.

— Да я вообще-то все сказал.

— Но не закончил фразу. Пробиться — сквозь что?

— Сквозь истории, которые мы себе рассказываем. Сквозь ложь о самих себе, в которую мы верим. Мы же не знаем, кто мы такие на самом деле.

Джо что-то не договаривал, Элвин сразу это понял. Что-то было не так. А поскольку в мире Элвина каждое явление требовало объяснения, он быстро придумал подходящее. Мальчишке не по себе, поскольку отец заставил его устыдиться собственного любопытства.

«Мне стыдно, что я так поступил,— подумал Элвин.— Но я исправлю ошибку и куплю тебе карты».

— Я куплю тебе карты. И книжку, которую ты листал.

— Не надо, папа,— сказал Джо.

— Почему не надо? В твоём любопытстве нет ничего ззорного. Повозишься с компьютером, согласишь, можно ли превратить эту белиберду во что-нибудь стоящее. Черт побери, вдруг ты создашь настоящий шедевр компьютерной графики и заработаешь на своей программе кучу денег?

Элвин засмеялся. Джо тоже. Но даже его смех был приторным.

Элвин не знал самого главного. Джо вовсе не было стыдно за свое любопытство, ему было просто страшно. Едва он прочитал в книге, как раскладывать карты, и сделал это, как понял: ему не нужны объяснения. Он уже знал название каждой карты, знал того, кто на ней изображен. Фигура с мечом и весами* — это Креонт**, Обнаженная девушка, увитая зелеными гирляндами***, — Офелия****. Безумная, неистовая Офелия, за танцем которой наблюдали четверо животных с головами человека, орла, тельца и льва*****. Когда-то и он, Джо, был таким же беззаботным и тянулся к солнечному лучу, чтобы подарить его своей маленькой подружке-матери*****. Тогда такие подарки были еще возможны.

Нет, в картах он увидел не просто набор картинок и символов — они имели имена, знакомые Джо по прочитанным книгам. Он раскладывал карты не так, как предлагалось в пояснении; они складывались в мозаику его собственной жизни. Здесь были все имена, которые брал себе Джо; все образы из прошлого и будущего терпеливо ждали, когда настанет их черед. И это его испугало. В течение трех лет Джо оставался без книжных историй, а история об отце, матери и сыне трещала сейчас по швам.

* 8-й Аркан Таро — Правосудие.

** В греческой мифологии — брат Иокасты.

*** 22-й Аркан Таро — Мир.

**** Офелия — дочь Полония в трагедии Шекспира «Гамлет» (1606).

***** Речь идет о видении библейского пророка Иезекииля (Иез. 1:4–10).

***** 19-й Аркан Таро — Солнце.

Мальчик почти обезумел, пытаясь найти хоть какую-то почву под ногами. Отец лишь посмеялся над «чепухой», но Джо поверил в то, что рассказали карты.

«Я не хочу брать их домой. Иначе я окажусь в ловушке, построенной собственными руками».

— Пап, не надо их покупать,— попросил он Элвина.

Но Элвин все равно купил карты, поскольку твердо решил сделать сыну приятное.

Целый день Джо старался держаться подальше от купленных карт. Он прикоснулся к ним всего лишь один раз, желая преодолеть свой страх. Страх был совершенно иррациональным. Карты — всего лишь разрисованные картонные прямоугольники. Их нечего бояться.

«Я могу спокойно их потрогать, и они не раскроют никаких истин»,— твердил себе Джо.

Однако весь здравый смысл, все попытки убедить себя в бессмысленности карт были ложью, которую он повторял с одной-единственной целью: заставить себя снова взяться за карты. Теперь уже всерьез.

— И зачем ты только их купил? — услышал Джо вопрос матери.

Родители находились в соседней комнате. Отец не ответил, и по его молчанию Джо понял: отец не хочет давать объяснений, опасаясь, что сын его услышит.

— Дурацкое развлечение,— продолжала гнуть свое мать.— Ты же ученый и вроде должен скептически относиться к таким забавам.

— Ты права. Я как раз и купил их для забавы,— солгал отец.— Решил — пускай Джо повозится с ними. Он хочет создать компьютерную программу и заставить карты откликаться на человеческую индивидуальность. В конце концов, должны же у мальчишки быть какие-то развлечения.

Джо в это время был в гостиной, где на полке стояла его слабенькая компьютерная приставка. Джо старался не думать об Одиссее, который бредет к морскому берегу и оставляет за спиной восемь кубков с вином. Сорок восемь килобайт и два маленьких диска.

«Конечно, эта игрушка не для того, что я задумал. Да я и не стану ничего делать. Зато на папином компьютере, который стоит в его кабинете... Там и жесткий диск мощнее, и интерфейс нормальный, и оперативной памяти хватит. Разумеется, я не сделаю этого. И не собираюсь. Что-то не дает мне это сделать».

Джо ворочался в постели до двух часов ночи, не в силах заснуть, а потом встал, спустился в гостиную, включил приставку и начал переводить рисунки карт в компьютерную графику. Но в каждый рисунок он вносил кое-какие изменения. Джо знал: каким бы талантливым ни был художник, он допустил ошибки в эскизах карт. Разве художник мог понять, что Валет Кубков* имеет облик шута с гигантским фаллосом, из которого вытекает целое море? Откуда он мог знать, что Королева Мечей — каменная статуя, а ее трон — живой ангел, сгибающийся под тяжелой ношей? Художник понятия не имел, что ребенка у Десятизвездных Врат пожирают голодные псы. И что у человека, который, скрестив ноги, висит вниз головой с лицом, полным безмятежного покоя, должен быть не нимб, а пылающие волосы. А разве это — Королева Пентаклей? Настоящая Королева только что родила ублюдочную звезду, отец которой — вовсе не обманутый ею Король Пентаклей.

В голове Джо теснились образы, и он знал историю каждого из них. Память услужливо подсказывала ему и другие истории, которые Джо читал раньше. Кассандра — Королева Мечей — сыпала разящими словами, и они разлетались, как мухи. Люди гонялись за ними, а если успевали поймать, будущее становилось уже не таким неведомым. Перед глазами всплыл и такой образ: Одиссей, привязанный к мачте, — вылитый Повешенный**. Макбет***

* В картах Таро, как и в привычных нам картах, тоже различают четыре масти, имеющие свое название: Кубки, Мечи, Жезлы и Пентакли (Денарии). Нынче этим мастям соответствуют черви, пики, трефы и бубны.

** 12-й Аркан Таро.

*** Главный герой одноименной трагедии Шекспира (1606).

представлялся Джо то вечным простофилей Валетом Кубков, то жертвой вероломной Королевы Пентаклей, если ее карта ложилась поперек. Связанные друг с другом невидимыми нитями, карты рассказывали о силе и власти, о боли и страданиях. Хотя Джо не видел этих нитей, он знал, что они существуют, поэтому следовало исправить рисунки и создать работоспособную программу. Только тогда карты скажут правду.

Джо трудился всю ночь — и сумел исправить все карты и перевести их в компьютерную графику. По сути дела, настоящая работа только-только начиналась, когда мальчика сморил сон и он заснул прямо у компьютера.

Родители встревожились, но не решились разбудить сына, и когда Джо проснулся, дома никого не было. Он тут же принялся за работу: еще раз проверил, как выглядят карты на экране (его приставка подключалась к телевизору), и позаботился, чтобы они не исчезли из электронной памяти. Что касалось его собственной памяти, Джо не нуждался ни в каких резервных дисках. Он помнил все карты и все истории наизусть и постепенно начинал понимать, как меняются их названия всякий раз, когда карты сходятся вместе.

К вечеру все было готово, в том числе и несложная программа, основанная на произвольном выборе карт. Джо вполне устраивали и рисунки, и названия. Оставалось лишь начать проверку. Расклад был простым: первая карта означала гадающего, вторая ее покрывала, а третья ложилась поперек. Однако компьютер выдал какую-то чушь. Машина не умела делать того, что умели человеческие руки, — устанавливая подсознательную связь гадающего с картами. Вскоре Джо понял, что созданная им программа никуда не годится, ибо перетасовывание карт не было случайным процессом.

— Пап, можно мне немножко повозиться с твоим компьютером? — спросил Джо.

— Хочешь опять залезть в жесткий диск? — Элвин был явно не в восторге. — Джо, я не хочу, чтобы ты вскрывал винчестер. Согласись, что вторично тратить десять тысяч долларов на устранение последствий твоих экспериментов — многовато для одной недели.

За этими словами отец скрывал свою тревогу.

«Твоя затея с картами Таро зашла слишком далеко. Теперь я жалею, что их купил, и не хочу становиться невольным пособником твоего сумасбродства».

— Пап, мне нужен только интерфейс. Ты все равно не пользуешься параллельным портом. Потом я все поставлю обратно.

— Но твой «Атари» несовместим с жестким диском моего компьютера.

— Знаю,— сказал Джо.

Отец и сын препирались недолго. Джо разбирался в компьютерах лучше Элвина. Оба знали: если Джо что-то разобрал, он всегда сумеет это собрать. Точнее, почти всегда. Возня с компьютерным «железом» и отладка программы заняли несколько дней. Все остальное отошло на задний план. Поначалу Джо еще пытался не уйти в работу с головой. За ланчем он рассказывал матери о книгах, которые стоит прочесть. За обедом вдруг заговорил с отцом о Ньютоне и Эйнштейне, и Элвину пришлось напомнить сыну, что его отец биолог, а не математик. Однако Джо не удалось скрыть от родителей свою одержимость новой программой. Наскоро перекусив, он тут же возвращался к компьютеру. Потом ему стало жаль тратить время на еду и от работы его могла оторвать лишь необходимость периодически посещать туалет.

— Нельзя забывать о еде. Не хватает только, чтобы из-за своей дурацкой игры ты умер голодной смертью,— сказала мать.

Джо промолчал. Конни поставила перед ним тарелку с сэндвичем, Джо на ощупь нашарил сэндвич и откусил.

— Джо, это зашло слишком далеко,— сказал отец.— Возьми себя в руки.

— Я держу себя в руках,— не отрываясь от работы, ответил сын.

Прошло шесть дней, и Элвин не выдержал. Он поднялся в кабинет и встал перед монитором.

— Твои бдения прекращаются,— объявил он сыну.— Я понял, что без посторонней помощи тебе уже не выбраться. Самое радикальное средство — убрать куда-ни-

будь системный блок, так я и поступлю, если ты немедленно не перестанешь возиться со своей дурацкой программой. Джо, мы с мамой стараемся не ограничивать твою свободу, но когда это оборачивается против нас и против тебя самого...

— Не волнуйся, папа,— сказал Джо.— Я уже почти закончил.

С этими словами он отправился к себе, лег и проспал четырнадцать часов.

Элвин обрадовался.

— Я уж боялся, что парень потихонечку сходит с катушек.

Конни не разделяла радости мужа.

— А что будет с Джо, если его программа вдруг откажется работать?

— Работать? Да как вообще она может работать? На каком принципе? «Позолоти ручку, и я расскажу про твое будущее»? Так?

— Неужели ты не слушал, что он говорил?

— Что именно? За последние дни он сказал едва пару слов.

— Джо верит в то, что делает. Он считает, что его программа сможет предсказывать будущее.

Элвин засмеялся.

— А знаешь, твой гинеколог, доктор Как-его-там, возможно, был прав. Я начинаю подумывать, что Джо и впрямь страдает мозговыми нарушениями.

Конни с ужасом поглядела на мужа.

— Побойся бога, Элвин.

— Не волнуйся. Я просто пошутил.

— Это не смешно.

Больше они об этом не говорили, но ночью каждый из них несколько раз просыпался и шел взглянуть на спящего сына.

«Кто ты? — мысленно спрашивала у Джо Конни.— Что ты станешь делать, если программа откажется работать? Или если, наоборот, она будет работать блестяще?»

Элвин просто смотрел, как Джо дышит во сне. Он запретил себе волноваться. В человеческой жизни есть разные этапы, и дети, взрослея, проходят этап безумия.

«Ладно, Джо, если тебе так надо, будь сумасшедшим. В тринадцать лет это вполне допустимо. Вскоре ты все равно вернешься в реальную жизнь. Ты мой сын, и я знаю, что в конце концов любым фантазиям ты предпочтешь реальность».

На следующий день Джо пристал к отцу, прося помочь проверить программу. Было уже довольно поздно, и Элвину очень не хотелось залезать в эту чертовщину.

— Я плохой объект для испытаний,— попробовал отшутиться он.— Я не верю в подобные предсказания, а без веры они не действуют. Это все равно что верить, будто витамин С предохраняет от простуды. Со скептиками такие штучки не проходят.

Стоявшая возле холодильника Конни почему-то съежилась. Она молча слушала разговор отца с сыном, но не вступала в него.

— А ты проверяла программу? — спросил жену Элвин. Она кивнула.

— Мама проверяла ее четыре раза,— серьезно сообщил Джо.

— Значит, с первого раза не получилось? — спросил Элвин, пытаясь шуткой разрядить напряжение.

— Нет, все получилось сразу,— ответил Джо.

Элвин посмотрел на Конни. Та, слегка помедлив, отвела взгляд. Что было в ее глазах? Страх? Стыд? Изумление? Молчаливые вопросы Элвина остались без ответа. Одно он ясно понимал: пока он сидел на работе, дома произошло что-то не слишком хорошее.

— Ты считаешь, я должен согласиться? — спросил Элвин у Конни.

— Нет,— прошептала она.

— Ну, пожалуйста, пап,— снова стал просить Джо.— Иначе я не смогу проверить программу. Пока я не узнаю, как с нею работают другие, я не буду знать, верна она или нет.

— Какой же ты тогда предсказатель? — удивился Элвин.— Тебе положено предсказывать будущее совершенно незнакомым людям.

— Я не предсказываю будущее,— возразил Джо.— Программа говорит правду, только и всего.

— Ах, правду! — воскликнул Элвин. — Правду о чем?
— О том, кто ты такой на самом деле.
— А разве я выдаю себя за кого-то другого?
— Программа назовет твои имена. Она расскажет твою историю. Если не веришь, спроси маму.

— Послушай, Джо. Я согласен немного поиграть с тобой. Но не жди, что я буду принимать игру за правду. Я готов сделать для тебя почти все, но лгать тебе я не стану.

— Знаю.

— Тогда ты должен понять.

— Я понимаю.

Элвин уселся за клавиатуру. С кухни донесся какой-то странный скулящий звук. Элвин сразу вообразил себе охотничью собаку, которой попало от хозяина. Конни была чем-то напугана, и страх жены передался Элвину. Его передернуло, но он тут же высмеял себя за трусость. Он вполне владеет собой; просто нелепо бояться какой-то программы, сляпанной тринадцатилетним мальчишкой. Он не позволит, чтобы прихоть сына сбила его с ног.

— Что мне надо делать?

— Просто набирай что-нибудь.

— Что именно?

— Все, что придет в голову.

— Слова? Числа? Откуда я знаю, что набирать, если ты мне не говоришь?

— Это не имеет значения. Пиши все, что захочешь написать.

«Я вообще не настроен что-либо писать, — подумал Элвин. — Похоже, я зря поддался на его уговоры».

Однако Элвин не мог произнести этих слов, не мог сказать их сыну в лицо. Он должен быть терпеливым отцом и оставаться честным, даже если сын затеял дурацкую игру.

Элвин набрал цепочку случайных цифр, потом такую же цепочку случайных слов, но вскоре передумал. Позволить случайности руководить им? Такое было не в его характере. Вместо первых пришедших в голову цифр он стал

воспроизводить длинные ряды сведений по генетическому коду бактерий, исследованием которых занимался. Буквы чередовались с цифрами, образуя информационную основу ДНК. Элвин понимал, что обманывает сына, ведь Джо хотел получить от него нечто такое, что было бы характерно для отца, а не для бактерий. Однако Элвин тут же успокоил себя — что могло в большей степени его характеризовать, чем его работа?

— Ну как, достаточно? — наконец спросил он сына. Джо пожал плечами.

— А ты как считаешь?

— Если я добавлю еще пять слов, это тебя устроит?

— Раз ты думаешь, что закончил, значит, так оно и есть, — спокойно ответил Джо.

— Способный ты у меня парень, — сказал Элвин. — Даже по части фокусов-покусов.

— Так ты закончил?

— Да.

Джо запустил программу, откинулся на спинку стула и стал ждать. Ощушая нетерпение отца, он поймал себя на мысли, что ему нравится сам процесс ожидания, все эти щелчки и поскрипывания дисководов. Потом на дисплее начали появляться карты. Первая карта — сам гадающий. Карта, покрывающая его. Карта противостоящая. Карты, которые легли сверху и внизу, справа и слева, образовав расклад. Это — твоя основа и твой дом, здесь — твоя смерть, а здесь — твое имя. Джо ждал, что сейчас на него потоком хлынут истории, как уже было, когда он гадал на себя и на маму. Но никаких историй не было. Снова и снова появлялась одна и та же главная карта: Король Мечей.

Джо взглянул на монитор и сразу все понял. Отец солгал. Отец сознательно контролировал процесс ввода, отчасти даже управлял им, и потому карты говорили то, что их заставляли говорить. И дело было не в сбое программы, просто отец не желал обнажать свою истинную сущность. Король Мечей сам по себе обладал силой, поскольку все Короли в колоде Таро олицетворяли силу. Так, Король Пентаклей символизировал силу денег, силу

подкупа. Король Жезлов говорил о силе жизни и силе возрождения. Король Кубков обладал силой отрицания и уничтожения, властью убивать и усыплять. А Король Мечей обладал силой слов, силой убеждения, и другие верили его словам. Он мог сказать: «Я тебя убью», и это означало — быть посему и следует исполнить, что велено. Король Мечей мог сказать: «Я тебя люблю», и опять-таки все ему восхищенно верили. А еще Король Мечей умел лгать. Все, что отец ввел в компьютер, было ложью. Но Элвин не знал, что даже ложь говорила о нем правду.

— Эдмунд,— сказал Джо.— Эдмунд в «Короле Лире». Он вечно лгал*.

— Что? — не понял отец.

— Мы таковы, какими нас создала природа. Не более того.

— Ты узнал об этом по картам?

Джо посмотрел на отца, но не ответил.

— Все время появлялась одна и та же,— сказал Элвин.

— Да,— только и ответил Джо.

— О чем же это говорит?

— О напрасной трате времени.

С этими словами Джо встал и вышел.

А Элвин остался сидеть, разглядывая прямоугольнички карт на дисплее. Пока он смотрел, картина изменилась. Каждую карту поочередно окаймляла тонкая линия, и карта начинала разрастаться, занимая собой едва ли не весь экран. И всякий раз то оказывался Король Мечей. Острие меча выходило у него прямо изо рта, руками он держался за промежность.

«В колоде Уэйта** явно нет такой карты»,— подумал Элвин.

Конни стояла у входа в кухню, прислонившись к холодильнику.

* Побочный сын Глостера в шекспировском «Короле Лире» (1605), отличавшийся лживостью.

** Имеется в виду английский писатель, издатель и мистик Эдвард Уэйт (1857–1942), под чьим руководством в начале XX в. были созданы наиболее распространенные в англоязычном мире рисунки карт Таро.

- Уже все? — спросила она.
- По-твоему, я должен был торчать там до самой ночи?
- Боже мой,— прошептала она.
- Что с тобой?
- Ничего,— ответила Конни и вышла.

Элвин услышал, как она взбегает по лестнице, и удивился, что можно так утратить над собой контроль.

Долгое время Элвин не мог решить, как ему относиться к компьютерной программе сына. «Компьютерное Таро» Джо было дурацкой игрушкой, и Элвин не желал забивать себе голову такой ерундой. Он проклинал тот день, когда вздумал купить сыну карты.

Порой Элвин день за днем засиживался в своей лаборатории допоздна, а по утрам отправлялся туда снова. Общение с семьей сводилось тогда к пустым фразам, обороненным за завтраком. Потом недосыпание брало свое, и Элвин прекращал эту гонку. Он отсыпался почти до полудня, а проснувшись, вел себя так, будто в доме все было по-прежнему. В такие дни он обсуждал с сыном книги, которые тот успел прочесть, или рассказывал о своих генетических экспериментах. Порой, когда видимость семейной гармонии становилась настолько прочной, что в нее можно было поверить, Элвин даже снисходил до разговоров о «компьютерном Таро». В такие моменты он обещал познакомить сына с нужными людьми, купить ему компьютер получше и давал советы по дальнейшему совершенствованию программы, чтобы хобби одного человека превратилось в коммерческий продукт массового потребления. Потом Элвин спохватывался и сожалел, что помогает Джо преступно растрачивать свои уникальные способности. К тому же советы отца отнюдь не способствовали укреплению сыновней любви.

Но постепенно Элвин понял, что другие люди относятся к программе Джо всерьез. Группа психологов, проводящая тесты с сотнями испытуемых, решила выборочно проверить на «компьютерном Таро» часть результатов. Число совпадений просто поражало, однако сам Джо не

был в восторге от всех этих «статистических корреляций». Он отверг результаты и назвал тесты весьма ущербными. Для него гораздо важнее были результаты, полученные за несколько месяцев работы в различных клиниках, где он делал расклад для больных, досконально известных врачам. Даже самым скептическим настроенным психологам пришлось признать, что «компьютерное Таро» сообщало такие подробности о больных, которые мальчик никак не мог знать заранее. Большинство психологов открыто признали: Джо не только подтвердил уже известное им, но и поразил их гениальными по своей проницательности догадками.

— Ваш сын как будто вошел в разум моего пациента,— сказал Элвину один из психологов.

— Доктор Фрайер, я тоже считаю своего сына на редкость одаренным мальчиком и всячески желаю ему успехов, однако всю эту чертовщину с предсказаниями отношу за счет чистого везения.

Доктор Фрайер лишь улыбнулся и пригубил вина.

— Джо сказал, что вы упорно отказываетесь делать расклад на себя.

Элвин хотел было возразить, но психолог был прав. Он не позволил «компьютерному Таро» сканировать себя, хотя и участвовал в проверке программы.

— Я и без того видел программу сына в действии,— сказал Элвин.

— Неужели? Значит, вы видели результаты предсказания, сделанного кому-то из известных вам людей?

Элвин покачал головой, потом улыбнулся.

— Я рассуждал так: поскольку я не верю в его программу, результаты любых предсказаний будут вызывать у меня недоверие.

— Но программа Джо — не магия.

— И не наука,— заметил Элвин.

— Тут вы правы. Совсем не наука. Однако «ненаучность» программы еще не говорит о ее лживости.

— Она либо научна, либо ненаучна. «Чуть-чуть научной» она быть не может.

— Завидую четкости мира, в котором вы живете,— сказал доктор Фрайер.— Все линии вашего мира аккуратно

прочерчены по линейке. Но и мы не настолько легковыверны, как вы полагаете, доктор Бевис. Мы решили провести испытание, которое называем «двойным слепым». Ваш сын, сам того не зная, анализировал данные, полученные от одного и того же пациента, но в разные дни и в разных условиях. В некоторых случаях пациент получал от нас противоречивые инструкции, поэтому ни о каком факторе случайности здесь не может быть и речи. И знаете, каков был результат?

Элвин знал, но промолчал.

— Программа вашего сына не только установила, что эти данные принадлежат одному и тому же пациенту, но и выявила наши «вставки». Причем с легкостью. Поскольку создательница теста сама не заметила этих «вставок», мы решили усложнить задачу и применить неслучайную выборку. Казалось, программа должна была дать сбой, но она и в этом случае дала блестящие результаты.

— Очень впечатляет, — нарочито равнодушным тоном произнес Элвин.

— Это и в самом деле впечатляет.

— Не знаю, не знаю, — стоял на своем Элвин. — Итак, вы склонны считать карты надежным источником информации. Но откуда мы знаем, что в их предсказаниях есть какой-то смысл и что им можно доверять?

— А вам не приходило в голову, что доверять следует вашему сыну?

Элвин негромко постукивал ложечкой по скатерти, отбивая ритм какой-то песенки.

— Компьютерная программа Джо строится на произвольном вводе данных. Но только сам Джо может истолковывать результаты расклада. Я считаю, что главное в его методе — не программа, а его разум. Если бы нам удалось выяснить, что происходит в голове вашего сына, его метод стал бы наукой. Пока же это искусство. Но чем бы это ни было — наукой или искусством, — Джо говорит правду.

— Простите за непреднамеренное вторжение в вашу профессиональную сферу, но каким образом вы установили, что он говорит правду? — спросил Элвин.

Доктор Фрайер снова улыбнулся и тряхнул головой.

— Потому что я просто не могу представить себе обратного. Мы не можем проверить его истолкования тем же способом, каким проверяли программу. Я пытался найти тесты, дающие объективную картину. Например, проверить, совпадают ли результаты его предсказаний с данными, которые я получил ранее. Но те мои данные — пустой звук, гадание в самом скверном смысле этого слова. Я убедился, что до появления Джо с его программой я совершенно не понимал своих пациентов. Именно он раскрыл мне глаза на каждого из них. Нарисованная им картина настолько полна, что мне уже нечего добавить. Я чувствую, доктор Бевис, вам хочется обвинить меня в крайнем субъективизме. Но прошу, примите во внимание следующее. У меня есть все основания бояться того, что делает ваш сын, и бороться против его программы. Его работа опрокидывает всё, во что я верил. Более того, подрывает труд всей моей жизни. В чем-то Джо очень на вас похож. Он тоже не считает психологию наукой. Возможно, вам не понравится такое суждение о вашем сыне, однако я не собираюсь кривить душой: с ним трудно работать, поскольку беспокойство сочетается в нем с холодностью и равнодушием. Я не питаю к Джо особых симпатий. Казалось бы, с какой стати мне ему верить?

— Но это уже ваши личные проблемы, не правда ли, доктор Фрайер?

— Наоборот, доктор Бевис. Все, кто видел работу Джо, верят в ее истинность. Все, кроме вас. Значит, именно у вас личные проблемы.

Доктор Фрайер ошибся: не все верили Джо.

— Нет,— сказала Конни.

— Что — «нет»? — спросил Элвин.

Они завтракали вдвоем, Джо еще не спустился. Завтрак проходил в молчании. Кроме фраз «Яичница готова» и «Спасибо» Элвин и Конни не проронили ни слова.

Конни водила вилкой по опустевшей тарелке, чертя борозды на остатках желтка.

— Не соглашайся участвовать в компьютерной игре Джо.

— Я и не собирался.

— Доктор Фрайер говорит, что его предсказаниям стоит верить. Это так?

Вилка со звоном опустилась на тарелку.

— Но я не поверил доктору Фрайеру.

Конни встала из-за стола и принялась мыть посуду. Элвин наблюдал за женой: Конни как будто нарочно как можно громче стучала тарелками. Где оно, спокойствие, раньше царившее в их доме? И почему Конни сердится? У них имелась посудомоечная машина, но жена с каким-то остервенением оттирала каждую тарелку. Все в их семье словно перевернулось вверх тормашками.

Элвин попытался разобраться в своих ощущениях; у него самого было далеко не радужное настроение.

— Ты попросишь Джо сделать тебе новый расклад,— убежденно произнесла Конни.— Ты ведь не поверил доктору Фрайеру и до сих пор сомневаешься в его словах. Ты всегда стараешься все проверить сам. Если ты во что-то веришь, тебе нужно это доказать. Если сомневаешься, то попутно сомневаешься и в своем сомнении. Разве я не права?

— Нет,— вслух ответил Элвин, по мысленно сказал: «Прав».

— Послушайся меня и поверь своим сомнениям. Они не беспочвенны. В этом дерьмовом Таро нет ни крупицы истины!

За все годы их совместной жизни Элвину еще ни разу не доводилось слышать из уст жены столь грубых слов. Он почувствовал, что это словцо не случайно сорвалось с ее языка.

— Я вообще не понимаю, как можно принимать всерьез такие бредни! — продолжала Конни.— Джо по-своему переиначил значения карт. Взять хотя бы... Есть такая карта — Сила*. Девушка, закрывающая пасть льву. Сама чистота и невинность. Знаешь, в кого превратил ее Джо? В дерьмовую девку! Он рассказал, что лев требовал пищи, и она скормила ему своего младенца.

* 11-й Аркан Таро.

Конни испуганно посмотрела на мужа.

— Разве это не безумие?

— Он так тебе сказал?

— Да. Или еще одна карта — Дьявол*, принуждающий любовников оставаться вместе. Джо считает, что это — ребенок-первенец, связавший собой Адама и Еву. Потому-то Иокаста с Лаем пытались убить Эдипа**. Они ненавидели друг друга, а новорожденный младенец мог привязать их друг к другу. Но им все равно пришлось жить вместе; их объединило зло, причиненное невинному ребенку. А потом люди нагородили всю эту жуткую ложь насчет предсказания.

— Зря мы позволяли ему так много читать.

Конни вся дрожала от страха.

— Элвин, если он опять сделает расклад на тебя... может произойти что-то страшное. Я боюсь.

Конни прикоснулась к его груди — нет, не к рубашке. Элвин почувствовал, что ее палец словно прожжет ткань.

— Меня волнует не то, что ты начнешь ему перечить,— сказала Конни.— Я боюсь, что ты ему... поверишь.

— С какой стати я должен ему верить?

— Элвин, мы ведь не живем в Башне!***

— Разумеется, нет.

— И я — не Иокаста, Элвин!

— Конечно нет.

— Прошу тебя, не верь ему. Не верь ничему, что он говорит.

— Конни, дорогая, не надо так расстраиваться. Повторяю, с какой стати я должен верить всяким бредням?

* 15-й Аркан Таро.

** Лай (Лаий) — в греческой мифологии фиванский царь, муж Иокасты и отец Эдипа. Попытка избавиться от сына оказалась неудачной. Эдип вырос и впоследствии убил Лая в поединке, не зная, что это его отец. В равной степени, не зная, что Иокаста — его мать, Эдип женился на ней и имел от нее четверых детей.

*** Имеется в виду 16-й Аркан Таро — Башня, символизирующий крушение привычной жизни.

Она покачала головой и вышла из кухни, забыв закрыть кран. Конни ушла, не сказав ни слова, но ее ответ буквально звенел в воздухе: «Потому что он говорит правду».

Несколько часов подряд Элвин пытался разобраться в том, что происходит. Он снова и снова возвращался к разговору с Конни... Эдип и Иокаста. Адам, Ева и дьявол. Мать, скормившая своего младенца льву... Доктор Фрайер говорил, что дело не в картах и не в программе, а в самом Джо и тех историях, которыми забита его голова. Интересно, осталась ли в мире хоть какая-нибудь история, которой не знал бы этот тринадцатилетний мальчишка? Вряд ли. Похоже, Джо знал все сказки, легенды, мифы, баллады, рассказы и романы. Знал и верил в них. Джо был хранителем... вернее, хранилищем мировой лжи, которую пересказывал другим людям, и те верили ему, все до единого.

Разумеется, эта белиберда заслуживала лишь презрения, но Элвин никак не мог заставить себя проникнуться этим чувством. Память снова и снова возвращала его к факту, от которого нельзя было просто так отмахнуться. Программа Джо узнала, что Элвин лжет, прибегает к уловкам, не желая говорить правду. Во всяком случае, в этом отношении программа сына имела несомненную ценность.

«Я задал отрицательные условия эксперимента и получил отрицательный результат, а теперь нужно задать положительные условия и посмотреть, что будет. Какой же я ученый, если берусь делать выводы на основании неполных данных?»

Вечером, когда Джо сидел в гостиной и смотрел по телевизору ретроспективный показ старого сериала MASH*,

* Первые буквы английских слов Mobile Army Surgical Hospital (передвижной армейский хирургический госпиталь). Так называлась созданная в 60-е гг. едкая сатирическая пьеса Роберта Олтмена о приключениях веселых и бесшабашных военных медиков во времена корейской войны. По этой пьесе был снят фильм, а затем появился столь милый сердцу доктора Бевиса телевизионный сериал. Эта аббревиатура перекликается с английским словом mash, которое может переводиться как «путаница», «неразбериха», «бардак».

Элвин решил поговорить с сыном. Его всегда удивляло, что Джо способен смотреть обычные телевизионные программы, тем более шедшие еще во времена юности его отца. Мальчишка, читавший «Улисса»* и понимавший содержание этой книги без комментариев, сейчас всю хохотал над похождениями храбрых армейских хирургов.

Только постояв рядом с сыном и понаблюдав за ним, Элвин заметил, что Джо смеется не в тех местах, в которых полагалось бы. Он смеялся не над шутками, а над самим Ястребиным Глазом.

— Что тебя так рассмешило? — спросил Элвин.

— Ястребиный Глаз.

— Но он как раз ведет себя вполне серьезно.

— Знаю, — сказал Джо. — Понимаешь, этот Ястребиный Глаз непошибаемо убежден в своей правоте, и все верят, что он прав. Разве это не кажется тебе смешным?

Нет, не кажется.

— Джо, я хочу попробовать еще раз, — сказал Элвин.

Джо сразу понял, о чем идет речь, словно давно ждал, когда отец об этом заговорит. Они сели в машину и поехали в университет, где находилась лаборатория Элвина. Компьютерщики без препирательств уступили им место за одним из лучших компьютеров с большим цветным монитором. На этот раз Элвин старался действовать спонтанно и не думать о смысле слов, которые набирал на клавиатуре. Устав барабанить пальцами по клавишам, он вопросительно поднял глаза на Джо — не пора ли завершить процедуру ввода. Джо неопределенно пожал плечами. Элвин добавил еще несколько слов, потом сказал:

— Готово.

Затем дал команду компьютеру проанализировать данные и вместе с сыном стал ждать результатов.

Спустя несколько минут ожидания, показавшихся Элвину вечностью (все это время оба молчали), на дисплее появилось изображение карты.

— Это ты, — сказал Джо.

* Роман ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941), написанный им в 1922 г. В какой-то мере этот роман можно рассматривать как пародию на «Одиссею» Гомера.

Король Мечей.

— Что означает эта карта? — спросил Элвин.

— Сама по себе немногое.

— А почему у короля изо рта торчит меч?

— Потому что он убивает своими словами.

Отец кивнул и спросил:

— А почему он держится за промежность?

— Не знаю.

— Я думал, ты все знаешь.

— Не узнаю, пока не увижу других карт.

Джо нажал клавишу ввода, и появилась вторая карта, почти полностью закрыв первую. По ее контуру вспыхнула тонкая голубая линия, и в следующую секунду карта заняла весь дисплей. Она называлась Суд*. На ней был изображен ангел: он дул в трубу, пробуждая мертвецов, которые дружно вставали из могил.

— Эта карта покрывает твою, — сказал Джо.

— О чем она говорит?

— О том, как ты проводишь жизнь. Ты судишь мертвых.

— Я что, Господь Бог? Или ты думаешь, будто я считаю себя Богом?

— Но ты действительно этим занимаешься, папа, — сказал Джо. — Ты все судишь, оцениваешь, выносишь приговор. Ты ведь ученый. Я тут ни при чем. Так о тебе говорят карты.

— Я изучаю жизнь.

— Ты разламываешь жизнь на кусочки, а потом выносишь суждения относительно каждого из них. Но кусочки, которые ты изучаешь, лишены жизни и напоминают тела мертвецов.

Элвин попытался уловить в голосе сына нотки гнева или горечи, но Джо говорил спокойно, словно врач, делающий доклад на симпозиуме. Или историк, повествующий о событиях далекого прошлого.

Джо опять нажал клавишу ввода, и на дисплее появилась третья карта. Она легла не вертикально, а горизонтально.

* 20-й Аркан Таро.

— А вот что тебе противостоит,— сказал Джо.

Карта, как и первые две, вспыхнула голубой каемкой и развернулась на весь экран. Это был Дьявол.

— Объясни, что значит «противостоит»,— попросил Элвин.

— Это твой враг, тот, кто тебе мешает. Сын Лая и Иокасты.

Элвин вспомнил, как Конни упоминала об Иокасте.

— Это похоже на то, о чем ты рассказывал маме?

Джо окинул его бесстрастным взглядом.

— Три карты — слишком мало, чтобы знать наверняка.

Элвин махнул рукой, прося продолжить.

Четвертая карта.

— То, что над тобой. Твоя корона.

Это была Двойка Жезлов. Человек с маленьким земным шаром в руках глядел куда-то вдаль. Рядом с ним сквозь камень парапета пробивались две тонкие веточки.

— Корона — это твои мысли о себе. История о тебе самом, которую ты сам себе и рассказываешь. В этой истории ты — Творец Жизни, Всемогуший Бог, сказочный принц, чей поцелуй будит Спящую Красавицу и Белоснежку.

Новая карта, теперь снизу.

— А это то, что под тобой. Ты очень боишься, что это случится.

Картинка изображала лежащего человека, пронзенного десятью мечами. Из тела не вытекало ни капли крови.

— Знаешь, Джо, мне никогда не снились кошмары. Даже в детстве я не дрожал по ночам от страха, что кто-то проберется в дом и меня убьет.

Джо оставался невозмутим.

— Папа, я же говорил тебе, что слова зачастую убивают не хуже мечей. Ты боишься смерти от руки рассказчиков. По картам выходит, что ты относишься к тем людям, которые способны казнить гонца, доставившего дурные вести.

По картам или по твоим бредовым фантазиям? Однако Элвин подавил гнев и промолчал.

Следующая карта легла справа.

— Это то, что позади тебя, твое прошлое.

Человек в дырявой лодке, орудуя веслами, направляет ее в открытое море. Перед ним, склонив головы, сидят женщина и ребенок.

— Гензель и Гретель, плывущие в дырявой лодке.

— Что-то они не похожи на брата и сестру,— возразил Элвин.— Скорее это мать и сын.

Джо пропустил его слова мимо ушей.

— А вот карта слева. То, что тебя ждет. То, куда тебя приведет твой путь.

Элвин увидел гробницу с каменной статуей рыцаря. На голове рыцаря сидела птичка.

«Смерть,— подумал Элвин.— Вечное надежное и безошибочное предсказание».

Он нахмурился, глядя на расклад. Уж больно зловещей представала высветившаяся на мониторе комбинация карт. Каждая карта изображала события, полные боли, горечи или страха. В том-то и заключается трюк, решил Элвин. Сюжеты картинок подобраны очень умело; чудится, будто в них и впрямь что-то таится, словно в животе беременной женщины. Только кто появится на свет: гений, заурядный человек или урод?

— Это не смерть,— сказал Джо.

Элвина ошеломило такое неожиданное вторжение в его мысли. Неужели Джо научился их угадывать?

— Это памятник, который поставят после твоей смерти. На нем и над ним высекут твои слова. Люди поставят тебя на один уровень с Гомером, Иисусом и Магометом. Они будут читать твои слова как Священное писание.

Впервые Элвин по-настоящему испугался толкований сына. Нет, его пугало не будущее. О таком будущем можно было бы только мечтать, если бы он не запретил себе подобные грезы. Сейчас он боялся другого. Элвин едва сдерживался, чтобы не произнести мысленно: «Да, да, ты говоришь правду», но спохватился. Нет, маленький хитрец, ты не усыпишь мою бдительность и не заставишь себе поверить.

И все же, несмотря на бастионы сомнений, которыми он отгородился от карт, он... верил. Он готов был пове-

рить всему, что услышит от сына, потому и пытался сопротивляться, отринуть веру. Элвин поступал так не из-за скептицизма, а из-за страха. Возможно, именно страх заставлял его с самого начала сопротивляться «компьютерному Таро».

Очередная карта заняла место в нижнем правом углу.
— Это твой дом,— сказал Джо.

Башня, в которую ударила молния, снеся верхушку. Две фигуры, мужская и женская, падают вниз, объятые языками пламени.

Над картой легла следующая.

— Вот твой ответ.

Элвин увидел человека под деревом. Рядом протекал ручей. Рука, протянутая из облака над головой человека, держала чашу.

— Это Илия, когда он был в пустыне, и вороны приносили ему пищу*,— пояснил Джо.

Над картой появилась еще одна: человек с посохом, в одеянии странника, уходит, оставляя за спиной восемь кубков. Посохом ему служит жезл с проросшими листьями. По расположению кубков видно, что прежде их было девять.

— Вот твое спасение.

Последней, четвертой картой в этой колонке оказалась Смерть**.

— А вот твой конец.

Священник, женщина и ребенок опустились на колени перед всадницей-Смертью. Ее конь попирает труп мертвого короля. Рядом с ним валяются королевская корона и золотой меч. Вдали по быстрой реке скользит корабль. На восточной стороне, между колоннами, восходит солнце. В руке Смерти — увитый листьями жезл, к вершине которого прикреплен пшеничный колос. Над трупом короля развевается стяг жизни.

* Речь идет о библейском пророке Илии. «И вороны приносили ему хлеб и мясо по-утру, и хлеб и мясо по-вечеру, а из потока он пил» (3 Цар. 17:6).

** 13-й Аркан Таро.

— А это — твой конец, — повторил Джо.

Элвин смотрел на карты и ждал от сына более подробных объяснений. Но Джо молчал. Он просто смотрел на монитор, потом вдруг вскочил со стула.

— Спасибо, папа, — сказал он. — Теперь все ясно.

— Тебе ясно.

— Да, — подтвердил Джо. — Большое спасибо, что на этот раз ты не солгал.

Джо хотел уйти, но Элвин остановил его.

— Подожди. Ты что, не собираешься ничего объяснить?

— Нет, — ответил Джо.

— Почему?

— Ты все равно не согласишься.

Элвину очень не хотелось признаваться, прежде всего себе самому, что он уже верит.

— И все-таки я хочу знать. Мне любопытно. Что плохого в любопытстве?

Джо пристально вглядывался в лицо отца.

— После того, как я все рассказал маме, она вообще перестала со мной разговаривать.

«Значит, мне не показалось», — подумал Элвин.

Так и есть: «компьютерное Таро» вбило клин между Конни и Джо.

— Обещаю, я не перестану с тобой разговаривать, — сказал Элвин.

— Вот этого я и боюсь.

— Послушай, сынок. Доктор Фрайер говорил, что истории, которые ты рассказывал... И то, как ты связывал одно событие с другим... Он говорил, что никогда не слышал ничего более правдивого и убедительного. Даже если я не поверю, разве не могу я узнать правду о самом себе?

— Не знаю, правда ли это. Да и существует ли вообще правда?

— Существует. Порядок вещей и явлений в природе — вот лучший пример правды.

— Но применимо ли это к людям? Что заставляет меня чувствовать и действовать так, как я чувствую и действую?

Гормоны? Родительское воспитание? Социальные модели? Причины и цели всех наших поступков — не более чем истории, которые мы себе рассказываем и в которые либо верим, либо не верим. Эти истории постоянно меняются. Но мы продолжаем жить, продолжаем действовать, и все наши поступки создают нечто вроде основы. Ниточки сплетаются в паутину, соединяющую всех со всеми. Каждый человек, рождающийся в мире, изменяет паутину, что-то добавляет к ней, меняет взаимосвязи, делает их иными. Знаешь, что меня заставила понять моя программа? То, как ты, по твоим понятиям, вплетаешься в эту паутину.

— И как же я *на самом деле* в нее вплетаюсь?

Джо пожал плечами.

— Откуда мне знать? И как я могу это оценить? Я нашел истории, в которые ты веришь втайне от всех, даже от самого себя. Эти истории управляют твоими поступками. Но стоит мне рассказать тебе об этом, как твоя вера сразу изменится. Что-то выплывет наружу, и ты станешь другим. Я сам уничтожу результаты своей работы.

— Не бойся их уничтожить. Мне от этого хуже не станет. Расскажи правду.

— Не хочу.

— Но почему, Джо?

— Потому что я тоже есть в твоей истории.

Элвин редко говорил так откровенно, как сейчас.

— Прошу, расскажи мне эту историю. Потому что, честно говоря, я совершенно тебя не знаю.

Джо вернулся и сел.

— Я — Гонерилья и Регана*, потому что ты заставлял меня действовать в соответствии с той ложью, которую тебе хотелось слышать. Я — Эдип, потому что ты проткнул мне сухожилия и бросил умирать на холме, спасая свое будущее.

— Я всегда любил тебя больше жизни.

— Ты всегда боялся меня, папа. Как Лир, ты боялся, что, когда станешь старым и дряхлым, я брошу тебя. Тебя, как Лая, страшило, что моя сила станет больше твоей.

* Гонерилья и Регана — старшая и средняя дочери короля Лира.

И тогда ты воспользовался своей властью и выгнал меня из моего мира.

— Я потратил годы на твое обучение!

— Навсегда сделав меня своей тенью, своим вечным учеником. Единственное, что мне было по-настоящему дорого, что освобождало меня из-под твоей власти,— это истории из книг.

— Проклятые глупые выдумки!

— Не более глупые, чем выдумки, в которые веришь ты. У тебя они тоже есть: про клетки, про ДНК. Чего стоит одна твоя история о том, что будто бы существует такая штука, как реальность, и она поддается объективному восприятию! Боже, какая замечательная идея: воспринимать мир не-человеческими глазами, без всяких объяснений и интерпретаций. Так смотрят камни: ничего себе не объясняя. Но люди не умеют просто смотреть; им обязательно нужно все себе объяснить.

— Джо, может, для тебя это открытие, однако то, что ты говоришь, для взрослых людей очевидно,— сказал Элвин, очень стараясь пробудить в себе высокомерие взрослого человека, которым дышали его слова.— Я и не утверждал, что всегда и во всем был объективным.

— Ты пользовался другим словом — «научный». Все, что поддавалось проверке, было научным. И мне ты позволял изучать лишь то, что поддается проверке. Но, папа, мир устроен так, что все мало-мальски стоящее в нем невозможно проверить. Наша настоящая человеческая суть, то, что делает нас людьми,— тонкая хрупкая паутина. Она ежедневно рвется и ткется заново. Я не знаю, как смотреть на мир своими глазами. Я умею смотреть лишь глазами рассказчиков, научивших меня видеть. Но ты не позволил мне этого. Единственным рассказчиком, глазами которого мне разрешалось смотреть на мир, был ты. Ты окружил меня своей реальностью, и мне пришлось подчиниться. Я был обязан верить в твои выдумки. Вот что ты сделал со мной, отец.

И это годы, которые он считал счастливейшими в своей жизни! На мгновение Элвину показалось, что земля уходит у него из-под ног.

— Если бы я знал, что все эти дурацкие фантазии, все эти «ролевые игры» так много значат для тебя, я бы...

— Ты знал об этом,— холодно перебил Джо.— Знал, иначе не запретил бы мне играть. Мама пыталась меня спасти и погрузила в воду Стикса, но забыла про пятку*. Я получил силу, которой ты пытался меня лишить. Мама не повела себя, как Гризельда; она не погубила своего ребенка ради мужа. Когда ты изгнал меня, ты изгнал и ее. Пока мы были свободны, мы вместе с ней уходили в истории и жили там.

— Что значит «пока мы были свободны»?

— Пока ты не стал проводить целые дни дома и не занялся моим обучением. До тех пор мы были свободны. Мы становились героями разных историй, и нам было хорошо. Без тебя.

Элвин вдруг представил, как Конни несколько лет подряд, день за днем, играет в «Златовласку и трех медведей». Сам того не желая, он вдруг громко и грубо рассмеялся. Однако тут же спохватился и умолк.

Джо понял этот смех по-своему. Он ведь не знал, почему смеется отец; а может, как раз догадался об этом. Он крепко сжал отцовское запястье, и Элвину стало не по себе: оказывается, Джо был сильнее, чем ему думалось.

— Грендель ощутил на своей руке прикосновение Беовульфа,— прошептал Джо.— И тогда подумал: «Лучше бы я остался в своем логове. Не так уж я голоден»**.

Элвин попытался вырваться, но не смог.

* Имеется в виду миф об Ахилле, одном из главных героев Троянской войны. Мать Ахилла, желая сделать сына неуязвимым и бессмертным, погрузила его в воды подземной реки Стикс. И тело Ахилла стало неуязвимым... кроме пятки, за которую его держала мать, окуная в воду. Впоследствии удар в пятку оказался для героя смертельным («ахиллесова пята»).

** Беовульф («пчелиный волк», т. е. медведь) — главный герой одноименного англо-саксонского эпоса, созданного в VII–VIII вв. Беовульф — юный воин, отправившийся за море на помощь королю данов Хролгару, дворец которого подвергается опустошительным набегам чудовища Гренделя. В единоборстве с Гренделем Беовульф смертельно ранит его. Так открывается счет славным подвигам Беовульфа.

«Чем я провинился перед тобой, Джо?» — мысленно закричал он. Потом расслабился и попросил:

— И все-таки, прошу, Расскажи мою историю, которую ты узнал по картам.

Не выпуская отцовской руки, Джо начал:

— Ты — король Лир и правишь могущественным великим королевством. Ты существуешь для того, чтобы навсегда остаться в камне и в памяти людей. Ты мечтаешь творить жизнь. Ты думал, что и я стану частью твоей жизни и окажусь таким же податливым, как мирки, которые ты кроишь из молекул ДНК. Но ты боишься меня, боишься с той поры, как я появился на свет. Ведь я не такой, как твои живые молекулярные игрушки. Меня не разорвешь на кусочки и не перекроишь по-своему. Ты боялся, что я начну красть твои священные мечи. Тебя пугало, что тебе всю жизнь придется прожить отцом Джозефа Бевиса. Ты хотел, чтобы было наоборот, чтобы я всегда чувствовал себя сыном Элвина Бевиса.

— Выходит, я завидую собственному сыну, — скептически произнес Элвин.

— Да, как крысиный король, пожирающий своих детей, потому что он боится, что те вырастут и займут его место. Это древнейшая история на земле.

— Довольно забавное начало рассказа. Продолжай.

«Я не желаю относиться к твоим словам всерьез».

— Но все рассказчики знают, чем кончается эта история. Всякий раз, когда отец пытается изменить ход событий, подавляя стремления своих детей, это приводит к одному и тому же. Дети либо начинают лгать, подобно Гонерилье и Регане, делая вид, что целиком подчиняются отцу, либо говорят ему правду, как Корделия*, и тогда их ждет изгнание. Поначалу я пробовал говорить тебе правду, но потом вместе с мамой мы стали тебе лгать. Так было куда проще. Ложь сохранила мне жизнь. Мама стала Гримом-рыбаком** и спасла меня.

* Младшая дочь короля Лира.

** Грим-рыбак — один из популярнейших героев английского средневекового фольклора; сказания о нем стоят в одном ряду с легендами о короле Артуре и Робин Гуде.

Иокаста, Лай и Эдип. Как он раньше не догадался?

— Теперь я понял, в чем проблема,— сказал Элвин.— А я-то считал, у тебя хватит ума не попасться на удочку всех этих фрейдистских бредней насчет «эдипова комплекса».

— Фрейд думал, будто рассказывает историю обо всем человечестве, хотя на самом деле рассказывал историю о себе самом. Но если она не имеет отношения ко всем подряд, это еще не значит, что его история не имеет отношения ко мне. Можешь не волноваться, папа. Я не собираюсь убивать тебя в лесу, чтобы завладеть твоим треном.

— А я и не волнуюсь.

Элвин солгал. Он волновался, хотя и не придавал особого значения словам сына.

— Лай погиб только потому, что помешал сыну пройти, встав у него на дороге,— сказал Джо.

— Но я-то не стою у тебя на дороге. Ты волен идти, куда вздумается.

— Не забывай, отец, ведь я еще и Дьявол в облике новорожденного. Пока я не родился, вы с мамой жили в раю. Из-за меня вас обоих изгнали из рая, и ваша жизнь превратилась в ад.

— Складная история у тебя получается.

— Тебе, чтобы осуществить свою мечту, требовалось убить меня своими словами. Только увидев мое бездыханное тело, пронзенное мечами, ты мог не опасаться за свое святилище. Ты opravил меня плыть в дырявой лодке, думая, что я утону, а ты окажешься в безопасности. Гензель, возможно, и вправду бы погиб. Но я — не Гензель. Я — гонец, отправленный к королю Хорну*. Я сумел заделать пробоины, и лодка быстро понесла меня по морю к берегам моего истинного королевства.

* Имеется в виду мальчик, предупредивший короля Хорна о грозящей ему опасности. Король Хорн — герой романтических баллад, популярных в Англии и Франции в XII–XV вв. Хотя названия стран и мест в этой легенде вымышленные, в ее основе лежат далеко не дружественные в то время отношения между англичанами и датчанами.

— По-моему, все это не имеет никакого отношения к твоей программе, — сказал Элвин. — Ты ведешь себя, как и должен вести себя нормальный подросток. Высокомерие. Недовольство всем миром и, в первую очередь, родителями. Обычный этап. Все мы через это проходили.

Джо еще сильнее сдавил запястье Элвина.

— Я не умер и не лишился сил. Теперь у меня достаточно могущества, а вот тебе не позавидуешь. Твой дом разрушен, вы с мамой вышвырнуты из него и несетесь к гибели. Ты сам об этом знаешь. Если бы ты не знал, мы с тобой не сидели бы сейчас здесь.

Элвин подыскивал колкие, ироничные слова, которыми можно было бы защититься от истории Джо. Но на сей раз ему нечего было сказать. Джо разбил его доспехи и нанес удар прямо в сердце.

— Джо, ради всего святого, как нам с этим покончить?

Он почти кричал.

Наконец сын отпустил запястье отца. Кровь вновь прилила к кисти, которая сильно заныла.

— Есть два пути, — сказал Джо. — И только один позволит тебе спастись.

Элвин взглянул на расклад карт.

— Изгнание?

— Просто отъезд. Уезжай куда-нибудь на время. Дай нам с мамой побыть вдвоем. Не стой у меня на дороге. Перестань пытаться мной управлять, навязывать свою историю. И через некоторое время станет ясно, изменилось ли что-нибудь.

— Замечательно. Сын выгоняет отца из дома. А если я откажусь уехать?

— Тогда — смерть. Она станет искуплением и осуществлением твоих мечтаний. Если сейчас ты умрешь, ты победишь меня. Ведь мертвый Лай сумел отомстить Эдипу.

Элвин встал, чтобы уйти.

— Все это напоминает заурядную телевизионную мелодраму. От таких вещей еще никто не умер.

— Тогда почему ты дрожишь? — спросил Джо.

— Потому что зол на тебя, вот почему. Меня злит то, как ты меня воспринимаешь. Я люблю тебя сильнее, чем

отцу положено любить сына, и вот что получаю в ответ. Куда опаснее зубов змеиных...

— Куда опаснее зубов змеиных нас жалит неблагодарное дитя. Прочь, прочь с глаз моих!

— «Король Лир»? Ты сам задал этот сценарий, поэтому не удивляйся словам, которые ты произнес за меня.

Джо странно улыбнулся. Элвин подумал об улыбке сфинкса.

— Хорошие слова. Прочь, прочь с глаз моих! Очень подходящие слова для изгнанника.

— Пойми, Джо, я никуда не собираюсь уезжать, падать замертво тоже не намерен. Сегодня ты многое мне рассказал. Но ты сам говоришь: дело не в правде и не в реальности, а в том, как ты видишь окружающий мир. Ведь именно этим ты и помог доктору Фрайеру и остальным.

Джо в отчаянии замотал головой.

— Как ты не понимаешь, отец? Не я вывел эти карты на дисплей. Ты. Мой расклад полностью отличается от твоего. Полностью, хотя он не лучше.

— Если я — Король Мечей, то кто тогда ты?

— Повешенный, — ответил Джо.

Теперь уже Элвин покачал головой.

— Какой жуткий мир ты для себя выбрал.

— Да, он не похож на твой, вылизанный, аккуратный и прочно скованный правилами. Законы, принципы, теории и гипотезы застилают тебе глаза и создают видимость счастья.

— Джо, по-моему, тебе нужна помощь, — сказал Элвин.

— Разве только мне одному?

— Мне тоже. Всем нам. Возможно, помощь семейного психотерапевта. Нам нужна помощь постороннего человека.

— Я сказал тебе, чем ты можешь помочь.

— Я не собираюсь убегать от проблем, Джо. И из своего дома не собираюсь убегать, как бы тебе этого ни хотелось.

— Ты уже убежал из него. Ты в бегах уже несколько месяцев. Ведь это твои карты, отец, не мои.

— Джо, я хочу помочь тебе выбраться из этой... заварушки.

Джо нахмурился.

— Отец, неужели ты не понимаешь? Повешенный улыбается. Повешенный победил.

Элвин не поехал домой. Он не был готов посмотреть в глаза Конни, не хотел даже попытаться объяснить ей, какие чувства вызвали у него слова Джо. Поэтому он направился к себе в лабораторию и погрузился в чтение отчетов по экспериментам над микроорганизмами. Результаты радовали. Если так дальше пойдет, Элвин Бевис (пусть не сразу) осчастливит человечество полной расшифровкой информационного кода молекул ДНК. Возможно, получит Нобелевскую премию. Но что еще важнее — его исследования обещают стать по-настоящему революционными.

«Я изменю весь мир», — думал Элвин. Потом вспомнил человека с маленьким земным шаром в руках, вззирающего куда-то вдаль. Двойка Жезлов. Мечта его жизни. Джо был прав: Элвин действительно мечтал о памятнике, который будет стоять века.

И вдруг Элвин ясно понял, что Джо прав во всем. Разве сейчас он не занимается тем, что предписывали ему карты, чтобы спастись? Разве не прячется с Восьмеркой Кубков? Его дом разрушен, все пропало, и он направляется в долгий одинокий путь. Он достиг величия, но обречен на одиночество.

Джо не рассказал ему об одной карте из расклада: о Четверке Кубков. Сын ограничился словами: «Это твой ответ». Десница Божья, протянутая из облака. Илия на берегу ручья. Если бы Бог заговорил со мной, что бы Он мне сказал?

Он бы сказал, что в рассуждениях Джо кроется чудовищная ошибка. Мальчишка бесподобно умеет сводить воедино разрозненные клочки и толковать смысл того, что получается в итоге. По словам доктора Фрайера, ему открывается Истина. Но боже мой, есть что-то очень важное, что этот юный гений проглядел. Нет, не ошибка, а просто пара клочков, которые Джо так и не сложил вмес-

те. Истории делают нас теми, кто мы есть; «компьютерное Таро» лишь идентифицирует истории, в которые мы верим. Слушая истолкование расклада, мы меняемся и, следовательно...

...Следовательно, никто не знает, насколько программе Джо верят благодаря ее правдивости, а насколько эта правдивость обусловлена верой в программу, а не объективными данными. Ведь Джо — не ученый; он — рассказчик. Однако любой талантливый рассказчик рано или поздно начинает жить в мире, который создал сам. Чем больше людей ему верят, тем правдивее становятся его истории.

«Мы вовсе не обязаны повторить судьбу семьи Лая. И я вовсе не должен вести себя, как Лир. Я могу не поверить истории Джо, объявить ее лживой. Конечно, это не заставит Джо прекратить рассказывать истории, но я могу изменить то, во что он верит, изменив предсказание карт. А изменить предсказание карт можно, если я выбьюсь из роли, которую они мне назначили. Джо считает меня Королем Мечей. Он считает, что я навязываю другим свою волю, заставляя их жить в мире, созданном моими словами. Но ведь сам он поступает точно так же. Однако я могу измениться, и он тоже. Тогда его блестящий интеллект и проницательность смогут построить лучший мир, нежели та больная уродливая вселенная, в которой он заставлял нас жить».

Эти мысли взбудоражили Элвина. Он почувствовал, как его душу наполняет свет, словно таинственная рука, протянутая из облака, вылила на него содержимое кубка. Он уже изменился. Он больше не был таким, каким его видел Джо.

В лаборатории зазвонил телефон, и к тому времени, как Элвин дотянулся до аппарата и взял трубку, успело раздаться еще два звонка. Это была Конни.

— Элвин? — тихо спросила она.

— Да, Конни.

— Элвин, мне звонил Джо.

Элвин не помнил, говорила ли раньше его жена таким потерянным, отрешенным голосом.

— Звонил? Не беспокойся, дорогая, все будет в порядке.

— Я знаю,— сказала Конни.— Я, наконец, все поняла. Елене* такое ни за что не пришлось бы в голову. У Иокасты на такое не хватило бы смелости. А вот Энида** — она знала и смогла. Я люблю тебя, Элвин.

Она повесила трубку.

Тридцать долгих секунд Элвин сидел словно в забытьи. Только потом спохватился, вспомнив необычную отрешенность в голосе Конни. Значит, Конни тоже пыталась изменить расклад карт, и избранным ею способом было... самоубийство.

Всю дорогу домой Элвин боялся, что сойдет с ума. Он без конца твердил себе, что надо ехать внимательно и не рисковать. Если он попадет в аварию, он не сможет спасти Конни. Потом в его голове зазвучал голос, похожий на шепот Джо: «Это еще одна история, которую ты себе рассказываешь. На самом деле твоя медленная и осторожная езда преследует совсем иную цель. Ты надеешься, что к твоему возвращению Конни уже будет мертва, и все в твоём мире вновь станет простым и ясным. Это самый лучший выход. Конни его нашла. Ты нарочно едешь медленно, чтобы она успела умереть, однако уверяешь себя, что едешь осторожно потому, что не сможешь простить себе, если она умрет».

«Нет»,— твердил Элвин, нажимая на газ и вырываясь вперед, чтобы тут же притормозить. Бессмысленно, выиграв пару секунд, потерять жизнь. Снотворное действует не сразу. Может, ему только показалось, что Конни наглоталась таблеток. А может, он нарочно медлил, чтобы Конни успела умереть и все снова стало простым и ясным.

«Заткнись! — оборвал себя Элвин и мысленно приказал: — Ты должен добраться до дома».

* Елена — в греческой мифологии женщина необычайной красоты, спартанская царица, из-за которой началась Троянская война.

** Вероятнее всего, имеется в виду героиня поэмы английского поэта Алфреда Теннисона (1809—1892) «Герейнт и Энида» (1859).

Он добрался до дома, выхватил из кармана не желавшие выниматься ключи, открыл дверь и ворвался внутрь.

— Конни! — крикнул Элвин.

В проеме, отделявшем кухню от гостиной, стоял Джо.

— Все обошлось, — сказал он. — Я вернулся домой в тот момент, когда она тебе звонила. Я вызвал у нее рвоту, и большинство таблеток не успело раствориться.

— Она в сознании?

— Более или менее.

Джо отступил в сторону, и Элвин вошел в гостиную. Конни сидела в кресле, неподвижная, как изваяние. Когда Элвин подошел ближе, она отвернулась. Это больно его резануло, но в то же время принесло облегчение. Главное, психика ее не затронута. Значит, еще не поздно все изменить.

— Джо, — произнес Элвин, продолжая глядеть на Конни. — После твоего ухода я много думал о раскладе карт.

Джо молча стоял за спиной отца.

— Я верю тебе. Ты сказал правду. Я целиком принимаю нарисованную тобой картину.

Джо по-прежнему молчал.

«А что он может сказать? — мысленно спросил себя Элвин. — Ничего. По крайней мере, он меня слушает».

— Джо, ты сказал правду. Я и впрямь мучил вас. Я хотел, чтобы все шло по-моему, и командовал вами. Ты слышишь, Конни? Я говорю вам обоим: я согласен с тем, что Джо рассказал о прошлом. Но не о будущем. В этих картах нет ничего магического. Они не предсказывают будущее. Они просто говорят о том, каким будет исход событий, если в существующем положении дел ничего не изменится. Но неужели вы оба не понимаете, что мы можем измениться? Конни, ты попыталась это сделать с помощью таблеток. Ты попыталась вырваться из привычного круга. Но из нас троих измениться должен только я. Вы понимаете? Я уже изменился. Джо, я словно испил из чаши, протянутой мне с небес. Я больше не буду вмешиваться в вашу жизнь. Теперь все пойдет по-другому. Мы сможем возродиться, восстать из...

Он хотел сказать «из пепла», но почувствовал, что эти слова не годятся. Все его слова никуда не годились. Там,

в лаборатории, они казались ему правдивыми, но дома, в гостиной, звучали напыщенно и фальшиво. Элвина охватило отчаяние, и он вправду ощутил во рту вкус пепла.

Элвин повернулся к сыну... Нет, Джо не просто молча слушал! Лицо сына было искажено гневом, руки тряслись, а по щекам катились слезы.

Едва поймав на себе отцовский взгляд, Джо закричал:

— Ты не оставишь нас в покое! Ты обязательно будешь снова и снова тащить нас в свою историю! Таков уж ты!

«Понятно,— молча ответил Элвин.— Желая, чтобы произошли перемены, я лишь укрепил прежний порядок вещей. пытаюсь управлять миром, в котором жили Джо и Конни, я никогда не задумывался о том, каково им приходится. И теперь они мне не верят. Видно, Бог, протянув мне чашу с небес, сыграл со мной злую шутку».

— Простите меня,— сказал Элвин.

— Молчи! — крикнул Джо.— Тебе нечего сказать!

— Ты прав,— согласился Элвин, пытаясь успокоить сына.— Мне бы следовало...

— Не говори ни слова! — заорал Джо.

Его лицо побагровело.

— Не буду, сынок, не буду. Я больше не...

— Замолчи! Совсем! Понял?

— Я просто хотел сказать, что согласен с тобой...

Джо подскочил к нему и закричал прямо в лицо:

— Черт тебя побери, больше ни слова!

И тут Элвина вдруг осенило.

— Я понимаю. Понимаю: пока я пытаюсь выразить что-то словами, я все равно навязываю вам свое видение мира. Если я...

У Джо больше не осталось слов. Он перебрал их все, пытаясь заставить отца умолкнуть. Слова не помогали. Когда не помогают слова... Единственное, что было у Джо под рукой, это тяжелое стеклянное блюдо, стоявшее на столике рядом. Джо совсем не собирался хватать это блюдо и бить отца по голове. Джо хотел лишь одного: чтобы отец умолк. Но отец и не думал замолкать, как и не думал отойти с дороги. И тогда Джо ударил отца по голове стеклянным блюдом.

Как ни странно, от удара разбилось блюдо, а не отцовская голова. Руку Джо бросило вниз, и оставшийся в ней осколок чиркнул острой кромкой прямо по горлу Элвина. Стекло перерезало сонную артерию, вены и трахею. Элвин беззвучно повалился на спину, схватившись за осколки, которые впились ему в лицо. Из горла с шумом текла кровь.

— Нет! — не своим, высоким детским голосом сказала Конни.

Элвин лежал на спине. Когда он падал, его голова ударилась о низ кушетки и слегка запрокинулась. Горло резала боль, а в ушах, где больше не пульсировала кровь, наступила удивительная тишина. Раньше он даже не знал, сколько шума кровотоков порождает в голове. Но теперь он уже не мог рассказать о своем открытии. Единственное, что ему оставалось, — это неподвижно лежать и смотреть.

Элвин видел, что Конни, глядя на его горло, рвет на себе волосы. Он видел, как Джо сосредоточенно вонзает окровавленный осколок стекла сперва в свой правый глаз, потом в левый*.

«Теперь я понял, — мысленно произнес Элвин. — Прости, что я не понимал этого раньше. Мой Эдип, ты нашел ответ на загадку, поглотившую всех нас. А я... я не настолько силен по части отгадок».

* Джо следует одной из версий мифа об Эдипе. Когда Эдип узнал, что убил своего отца и несколько лет был мужем собственной матери, он сорвал с одежды Иокасты золотую булавку и выколол себе глаза.

Воспоминания моей головы

Даже получив неопровержимые доказательства, ты наверняка не поверишь в мой рассказ о самоубийстве. Точнее, поверишь, что я это написал, но не поверишь, что это написано уже после смерти. Ты решишь, что я написал тебе заранее, когда, возможно, еще сам был не до конца уверен, что сумею зажать ружье между колен, упереть линейку в спусковой крючок и твердой рукой давить на нее до тех пор, пока не опустится ударник и не взорвется порох. Пока в грохоте одного-единственного выстрела, сделанного с близкого расстояния, моя голова не отлетит, а мозги, кости, кожа и несколько обуглившихся волосков не прилипнут к потолку и стене за моей спиной. И все же, уверяю, все здесь начертанное — не предсмертная записка и не завуалированная угроза; я написал это с одной-единственной целью — сообщить тебе о том, почему свершилось то, что свершилось.

Ты, должно быть, уже обнаружила мое обезглавленное тело, сидящее за шведским бюро в самом темном углу подвала, где единственным источником света служит старая напольная лампа, после ремонта гостиной переставшая вписываться в интерьер комнаты. Но лучше представь меня другим, не безжизненным и неподвижным, каким ты нашла меня, а таким, какой я сейчас, когда сижу, левой рукой придерживая лист бумаги. Правая моя рука легко движется по странице, время от времени окуная перо в лужу крови, скопившуюся в мешанине мышц, сосудов и обломков костей между моих плеч.

И зачем мне вздумалось тебе писать, раз я уже мертв? Раз я не стал писать тебе письмо до того, как совершил самоубийство, почему я решил сделать это после смерти? Дело в том, что, только приведя в исполнение свой план, я понял, что у меня есть что тебе сказать. У меня есть что сказать, но только в письме, поскольку обычная речь недоступна для человека, не имеющего больше ни гортани, ни рта, ни губ, ни языка, ни зубов. Все это разлетелось на мелкие кусочки и прилипло к штукатурке. Я теперь никоим образом не могу говорить.

Тебя удивляет, что я способен шевелить руками, пальцами, хотя у меня нет головы? Ничего удивительного. Мой мозг уже много лет существовал отдельно от тела. Все мои движения уже давно стали всего лишь результатом привычки. Раздражитель воздействует на нервные окончания, сигнал передается в спинной мозг, вот и все. И когда ты говоришь мне: «Доброе утро» или часами изливаешь свои попреки по вечерам, а я вставляю обычные реплики, такая беседа не пробуждает в моем сознании ни единой мысли.

Вряд ли я ощущал себя живым в течение последних нескольких лет. Или, вернее, ощущать-то ощущал, но не мог отличить один день от другого, одно Рождество от другого, одно твое слово от любого другого, какое ты могла бы сказать. Твой голос стал для меня просто монотонным гулом, а что касается моего собственного голоса, я перестал вслушиваться в свои слова с тех пор, как в последний раз унижался перед тобой, а ты презрительно выпятила губу и перевернула еще три карты в пасьянсе «солитер». Я помню много раз, когда ты выпячивала губу и переворачивала карты, поэтому даже не скажу, когда именно произошло это мое последнее унижение.

И вот мое тело, последние годы повиновавшееся лишь привычке, и теперь продолжает в том же духе — записывает воспоминания о самоубийстве, совершая еще одну, последнюю, череду сложных движений, сокращений и расслаблений мышц руки, кисти и пальцев.

Я уверен, ты уже отметила некую нелогичность.

Ты всегда успешно сводила на нет все мои отчаянные попытки что-то тебе объяснить. Ты всегда ждешь, когда

в моих словах появится кажущееся противоречие, и ссылаешься на него, чтобы не слушать дальше, потому что я не подчиняюсь законам логики, а значит, веду неразумные разговоры, а ты не желаешь вести неразумные разговоры. Нелогичность, которую ты уже успела заметить, состоит в следующем: если я руководствуюсь исключительно привычкой, как я смог совершить самоубийство, ведь это нечто новое? А значит, подобное поведение нетрадиционно?

Однако в этом нет никакого противоречия. Ты провела меня по всем ступеням искусства самоуничтожения. И как левая рука может перенять некоторые навыки правой, так и я перенимал привычку не рассматривать себя как независимую, самостоятельную личность, — поэтому последний акт физического уничтожения был всего лишь рефлексорным проявлением упомянутой привычки.

Но, достигнув кульминации долгого пути, сделав самое важное заявление и устроив самое красочное представление, в котором я достиг мимолетного апогея, я утратил глаза и не смогу увидеть, как воспримет все это аудитория. Я пишу тебе, но ты не станешь ни писать мне, ни говорить со мной, а если и станешь, я все равно этого не увижу и не услышу, ведь у меня нет ни глаз, ни ушей.

Закричишь ли ты? Или меня обнаружит кто-то другой, и тогда закричит он? Но мне надо, чтобы это была именно ты. Наверное, тебя затошнит. Я уже вижу, как ты наклоняешься и тебя рвет на старый ковер. Для моего уголка в подвале мы не могли себе позволить ничего больше.

А кто потом будет трудиться над стеной? Снимать с нее штукатурку? И когда штукатурку снимут, что потом сделают с теми кусками, что были вспаханы пулей и засеяны мелкими ошметками моих мозгов и кусочками черепа? Их похоронят вместе со мной? Может, даже выставят в открытом гробу, предварительно разломав на мелкие кусочки и насыпав туда, где должна быть голова? Полагаю, это было бы правильно, потому что на кусочках штукатурки осталась значительная часть моего тела. А если некая часть твоего драгоценного дома будет похоронена вместе со мной, ты, возможно, станешь иногда приходить, чтобы пролить слезу на моей могиле.

Оказывается, даже после смерти меня многое беспокоит. Я не могу говорить, значит, не смогу опровергнуть ложные толкования. Вдруг кто-то скажет: «Это вовсе не самоубийство. Ружье упало и случайно выстрелило»? Или заподозрят убийство и задержат какого-нибудь случайного бродягу? Предположим, он услышал выстрел и побежал посмотреть, что случилось, и вот его нашли — он сидит с ружьем, бессмысленно что-то бормоча, глядя на свои окровавленные руки. Или, еще того хуже, его застанут в тот миг, когда он станет обшаривать мои карманы и найдет стодолларовую купюру, которую я всегда носил с собой. Помнишь, я всегда шутил, что это на автобусный билет, если я надумаю от тебя уйти? А ты однажды запретила мне раз и навсегда говорить такое, заявив, что, если я повторю это еще раз, ты за себя не отвечаешь! И с тех пор я никогда не повторял этой шутки, ты заметила? Потому что хотел, чтобы ты всегда за себя отвечала.

Несчастный бродяга не сможет оказать мне первую помощь — в «Руководстве для бойскаутов» наверняка не написано ни единого абзаца о том, как ухаживать за человеком, голову которого оторвало окончательно и бесповоротно и от шеи не осталось ничего, на что можно было бы наложить жгут. А если бедняга не сможет помочь мне, почему бы ему не позаботиться о себе? Я не буду упрекать его за ту сотню — я даже завещаю ему все деньги и все остальные ценности, которые ему удастся на мне обнаружить. И ты не сможешь обвинить его в воровстве, потому что я сам по доброй воле отдаю ему все. Я также утверждаю, что это не он меня убил, что не он обмакивает сейчас перо в лужу крови, вытекающую из обрубка моей шеи, не он водит моей рукой по бумаге, вычерчивая буквы и слова, которые ты сейчас читаешь. В данном случае ты можешь быть свидетелем, потому что знаешь мой почерк. Никто, не повинный в моей смерти, не должен понести за нее наказание.

Но больше всего меня пугает не мысль о каком-то неизвестном бродяге, которому посчастливится найти труп, больше всего меня пугает, что меня могут вообще не найти. После того как я нажал на спусковой крючок, у меня было достаточно времени, чтобы написать эти страницы.

Разумеется, пришлось писать крупным почерком, оставляя большие пробелы между строчками, ведь я пишу вслепую и боюсь, что строчки и слова будут наползать друг на друга. И тем не менее нельзя отрицать, что с того момента, как раздался отчетливый звук ружейного выстрела, прошло уже порядочно времени.

Наверняка выстрел слышал кто-нибудь из соседей. Наверняка уже вызвали полицию, и, возможно, сейчас полицейские спешат сюда, чтобы разобраться в сообщении о ружейном выстреле, прозвучавшем возле нашего идеального, будто взятого с картинки, домика. Не сомневаюсь: на улице уже слышен вой сирен, а любопытные соседи высыпали на лужайки, чтобы разузнать, какие именно тревоги принесет им полиция на сей раз. И вот я застываю на несколько секунд и жду, рука моя замерла над страницей; но нет, ступеньки не дрожат под тяжелыми шагами. Никто не просовывает руки мне под мышки, чтобы оттащить от стола, где я сижу над этой страницей. Из чего я делаю вывод, что в полицию никто не позвонил. Никто не приехал и не приедет, если не явишься ты — пока не явишься ты.

Вот будет забавно, если именно в этот день ты решила от меня уйти! Мне стоило дожждаться часа, когда ты обычно возвращаешься домой. А ты бы не пришла, и вместо того, чтобы зажимать между колен холодный кусок железа, я мог бы впервые в жизни спокойно разгуливать по дому, как будто он — мой собственный! Шли бы часы, и я все больше и больше убеждался бы, что ты уже не вернешься. Каким бы дерзким и смелым я тогда стал! Я смог бы разбросать все туфли, выстроенные аккуратным рядком на полу в шкафу. Я смог бы перевероршить все в ящиках комода, не опасаясь твоих нотаций. Я смог бы почитать газету в святая святых — гостиной, а когда мне потребовалось бы ответить на зов природы, смог бы просто оставить газету развернутой на кофейном столике, вместо того чтобы аккуратно свернуть ее и оставить точно в таком виде, в каком утром ее принес мальчик. А когда я вернулся бы, она по-прежнему валялась бы развернутой, и не последовало бы топанья ногами, злобных взглядов и потока жалоб на людей, не созданных для того, чтобы жить под одной крышей с цивилизованными личностями.

Но ты от меня не ушла. Я знаю. Ты вернешься сегодня вечером. Просто тебе пришлось задержаться на работе, и не будь я таким никчемным, я бы хорошо понимал: иногда случается так, что нельзя бросить работу, встать и уйти просто потому, что часы пробили пять судьбоносных ударов. Ты вернешься в семь или в восемь, когда станет темно, и увидишь, что кота не впустили в дом, и закипишь от гнева, ведь я давно уже должен был его впустить, едва закончилось время его активных прогулок по патио.

Но мне было бы сложно покончить с собой, если бы кот в это время был в доме, понимаешь? Как бы я смог написать тебе такое ясное и красноречивое послание, дорогая, если бы твой любимый друг из породы кошачьих все время пытался бы вскарабкаться мне на плечи, чтобы слизать стекающую кровь, которая до сих пор служит мне чернилами? Нет, кот просто должен был остаться снаружи, ты сама это поймешь. У меня были весьма веские причины, чтобы нарушить распорядок цивилизованного образа жизни.

Однако снаружи кот или внутри, кровь все-таки кончилась, и теперь я пишу авторучкой. Конечно, на самом деле мне не видно, есть ли в моей ручке чернила. Я помню, как бывает, когда в ручке кончаются чернила, но это воспоминание не единственное, это воспоминание о множестве ручек, в которых кончались чернила, и я не могу припомнить точно, давно ли имел место последний аналогичный случай и совершался ли акт покупки новой ручки до того или после.

Вообще-то больше всего меня тревожит именно память. Почему, когда у меня нет головы, память все равно работает? Я могу понять, что пальцы сами, рефлекторно, изображают буквы алфавита, но почему я помню правила правописания, и почему во мне до сих пор живет столько разных слов, и каким образом мне удастся ухватывать свои мысли и даже излагать их на бумаге? Откуда взялись смутные воспоминания обо всем происходящем ныне, словно все это уже случилось в далеком прошлом?

Я напрочь снес себе голову, а память все равно осталась. И самое смешное: если я не ошибаюсь, избавиться мне как раз хотелось в первую очередь от памяти. Память —

паразит, обитающий внутри меня, мутант, взбирающийся по позвоночнику и устраивающийся на зазубренном обломке шеи, он дразнит меня, разматывая, как паутину, липкую нить из собственного брюха, сплетая из нити разные образы, и они висят в воздухе, постепенно затвердевая и обретая плоть. Меня надули. Человеческое тело не способно отращивать ничего сложнее ногтей или волос, но я на ощупь чувствую, что торчащая кость шеи стала другой. Позвонки снова на месте, и вот уже формируется основание черепа.

Быстро? Слишком быстро! А внутри черепа возникает что-то еще, нечто маленькое и мягкое — ужасное существо, обитавшее раньше в моей голове, оно до сих пор отказывается умирать. Это маленькое утолщение на верхушке позвоночника похоже на какой-то новый отросток. Я узнаю его, я слегка сжимаю его пальцами и чувствую странное, давно позабытое волнение. Вскоре, однако, этот простейший животный контакт станет невозможным, ведь ткани продолжают разрастаться, формируя мозжечок, мозговые извилины. А потом над ними сомкнется коробка черепа, обтянутая снаружи морщинистой кожей с редкими волосами.

Мое самоуничтожение оказалось уничтожено само, причем так скоро. Что, если еще до твоего возвращения голова вновь окажется у меня на плечах? И ты обнаружишь меня в подвале среди всего этого кровавого месива, не способного дать разумное объяснение. Можно представить, что ты станешь рассказывать своим друзьям. Меня нельзя оставить одного ни на час! Бедняжка, какое ужасное бремя — жить с человеком, который постоянно все портит, а потом еще врет. Только представьте, станешь рассказывать ты, написал целое письмо, множество страниц, о том, как покончил с собой... Это было бы смешно, не будь это так грустно.

Ты сделаешь меня мишенью для своих друзей, но не все ли равно? Правда остается правдой, даже если над ней насмеются. И вообще, почему я должен служить объектом развлечения для бездушных созданий, которые только и знают, как смеяться над теми, кому они недостойны завязывать шнурки на ботинках? Если невозможно

устроить так, чтобы ты нашла меня без головы, ты вообще не должна узнать о том, что здесь произошло. Ты не сможешь прочесть эти записки до тех пор, когда мне не удастся наконец умереть и я не буду лежать набальзамированным. Эти страницы ты обнаружишь на самом дне ящика моего письменного стола, где будешь рыться не в поисках моего последнего «прости», а в надежде обнаружить столонларовую купюру, которую я спрячу среди своих записок.

А что касается крови, мозгов и костей, размазанных по штукатурке, тебя они не потревожат. Я все отчищу, отмою и покрашу. Придя домой, ты обнаружишь, что подвал провонял краской, и тут же наденешь маску мученицы, отберешь у меня краску и велишь отправляться в свою комнату, словно ребенку, застигнутому за разрисовыванием обоев. Ты даже не заподозришь, какую муку я пережил, пока тебя не было; сколько крови пролил в надежде освободиться. Для тебя этот день будет самым обычным днем. Но я-то буду знать, что он стал рубежом, границей между старой и новой эрой, когда я нашел в себе мужество воплотить внезапно пришедший мне в голову ужасный план, не представив его сначала на твоё рассмотрение.

Или это уже случалось прежде? Возможно ли, чтобы, заплутав в лабиринтах памяти, я не смог отличить одно разможнение головы от другого, не смог вспомнить, когда именно написал тебе это послание? И, открыв ящик стола, я найду там целую стопку исписанных листов, обернутых вокруг одной-единственной столонларовой бумажки? Ничто не ново под луной, говорил старик Соломон в Экклезиасте. Суета сует, все суета. Это вовсе не похоже на ерунду, которую проповедовал царь Лемуил в конце Книги Притчей: многие дщери добродетельны, но ты превзошла всех.

Ха, пусть же её собственные труды почтят её у ворот! Пусть её собственная голова, говорю я, украсит стены!

Пропавшие дети

Я долго думал, как лучше рассказать эту историю — как выдумку или как изложение реальных событий. Если взять вымышленные имена, многим людям стало бы легче. Да и мне тоже. Но тогда и своего потерянного сына мне придется выводить под чужим именем, а это все равно что перечеркнуть сам факт его существования. Поэтому, дьявольщина, я просто расскажу, как все произошло, хотя это будет очень непросто.

Мы с Кристин и детьми переехали в Гринсборо первого марта 1983 года. Я был вполне доволен своей работой, только не мог до конца решить, нужна ли она мне вообще. Но в период спада всех издателей охватила паника и никто не предлагал мне достойного аванса, который дал бы возможность засесть за новый роман. Я, наверное, смог бы выдавливать из себя ежемесячно около 75 тысяч глупых слов, которые публиковались бы под дюжиной разных псевдонимов, но нам с Кристин казалось, что с точки зрения будущих перспектив лучше будет поискать работу — хотя бы на то время, пока не кончится спад.

К тому же моя докторская степень оказалась никому не нужной. Я неплохо справлялся с работой в Нотр-Даме, но, когда пришлось взять несколько недель в середине семестра, чтобы закончить «Надежды Харта», на английской кафедре проявили не больше понимания, чем в издательствах, где предпочитали исключительно покойных авторов. «Вам не прокормить семью? Ах, как жаль. Вы

писатель? Но ведь о вас еще не написали ни одного литературного исследования? Тогда будь здоров, приятель!»

Поэтому мысль о новой работе меня радовала, но переезд в Гринсборо означал еще и мое поражение. Тогда я не мог знать, что моя карьера беллетриста не закончена. Я думал, что отныне до конца жизни буду писать и редактировать книги, посвященные компьютерам. Возможно, беллетристика всего лишь этап, который следовало пройти, чтобы найти настоящее призвание.

Гринсборо оказался милым городком, особенно для семьи, приехавшей из западной пустыни. Деревьев так много, что даже зимой не сразу было понятно, что это город. Кристин и я полюбили его с первого взгляда.

Там, конечно, имелись и свои проблемы — старожилы вдохновенно рассказывали об уровне преступности, о расовой нетерпимости и еще бог весть о чем, но мы только что приехали из промышленного города на севере, охваченного депрессией, где расовые беспорядки случались даже в средней школе, поэтому Гринсборо показался нам земным раем. В городке ходили слухи о пропавших детях, поговаривали даже о некоем серийном похитителе, но тогда как раз началась такая полоса, что подобные истории рассказывали в каждом городе и фотографии пропавших детей печатали на картонках с молоком.

Нам нелегко было подыскать приличное жилье за ту сумму, которую мы могли себе позволить. Мне пришлось взять заем в компании в счет будущих заработков, чтобы можно было переехать. И вот мы оказались в самом невзрачном доме на Чинка-Драйв. Да вы его знаете, он такой один — обшитый дешевой деревянной планкой одноэтажный доходяга в окружении полуторазэтажных и двухэтажных красивых кирпичных домов. Достаточно старый, чтобы называться обветшалым, но слишком молодой, чтобы стать причудливо старинным.

Но рядом был большой огороженный двор, и в доме было достаточно комнат и для детей, и для моего кабинета — тогда мы еще не поставили окончательный крест на моей писательской карьере, пока нет.

Младшие дети, Джеффри и Эмили, безудержно радовались переезду, но старший, Скотти, воспринял переме-

ны в жизни тяжело. Он уже ходил в детский садик, а потом и в первый класс одной замечательной частной школы всего лишь в квартале от нашего дома в Саут-Бенде. Теперь ему пришлось сменить обстановку в середине года, он потерял всех старых друзей. В новую школу ему приходилось ездить на автобусе с незнакомыми детьми.

С самого начала переезд пришелся ему не по душе, и он никак не мог привыкнуть к переменам.

Я-то, разумеется, всего этого не видел — я был на работе. И очень быстро понял, что единственный способ добиться успеха в «Компьютерных книжках» — это отказаться от кое-каких мелочей, например общения с собственными детьми. Я думал, что буду редактировать книги, написанные людьми, не умеющими писать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мне предстоит редактировать книги по компьютерам, написанные людьми, не имеющими понятия о программировании! Не все авторы, конечно, такими были, но и таких хватало, и гораздо больше времени я посвящал переписыванию программ, чтобы в них появился хоть какой-то смысл — и чтобы они даже работали, — чем исправлению стилистических ошибок. Я приходил на работу в полдевятого или в девять и работал без перерыва до половины десятого или половины одиннадцатого вечера. Питался батончиками «Три мушкетера» и картофельными чипсами из автомата в фойе. Физическую нагрузку получали только пальцы, барабанившие по клавиатуре. Я справлялся со сроками, но прибавлял по фунту в неделю, мои мышцы совсем атрофировались, и я видел детей только по утрам, уходя на работу.

Всех, кроме Скотти. Он уезжал на школьном автобусе в 6.45, а я редко вылезал из постели раньше 7.30, поэтому по будням вообще его не видел.

Все семейные дела легли на плечи Кристин. В годы моего вольного творчества — с 1978-го по 1983-й — у нас выработался определенный стиль жизни, основанный на том, что папа дома. Она могла выскочить по каким-нибудь делам, оставив детей на меня, потому что я всегда был рядом. Если кто-нибудь из малышей не слушался и капризничал, с этим тоже разбирался я. Но теперь, если

она бывала занята по уши и ей требовалось купить что-то в магазине, или если засорялся унитаз, или если ксерокс зажевывал бумагу, ей приходилось справляться со всем самой. Каким угодно способом. Она узнала, как весело ходить по магазинам с оравой детишек. К тому же она снова была беременна и ее почти все время тошнило, вот почему временами я задавался вопросом — святая она или умалишенная.

В то время такая роскошь, как воспитание детей, просто была для нас недоступна. Она знала, что Скотти плохо привыкает к новой школе, но что она могла поделаться? А что мог поделаться я?

Скотти в отличие от Джеффри никогда не был разговорчивым и много времени проводил в одиночестве. Теперь же эти его склонности перешли все разумные пределы. Он или отвечал односложно, или вообще молчал. Угрюмо молчал. Словно сердился на что-то, а если и сердился, сам не понимал — на что именно и не хотел в этом признаться. Он приходил домой, царапал что-то в тетрадках (а мне в первом классе задавали домашние задания?), а потом просто молча хандрил.

Если бы он побольше читал или хотя бы смотрел телевизор, мы бы так не переживали. Его младший брат Джеффри в возрасте пяти лет уже читал запоем, как в свое время и Скотти. Но теперь Скотти мог взять с полки книгу и сразу поставить на место, даже не раскрыв. Он больше не ходил хвостом за мамой, когда она занималась по хозяйству. Бывало, увидев его в одиночестве в гостиной, Кристин успевала перестелить на всех кроватях белье, разложить по местам груды свежестиранных вещей — и по возвращении застать его сидящим на том же самом месте, в той же самой позе, с широко раскрытыми глазами, уставившимися в никуда.

Я пытался с ним поговорить. Разговор получился такой, как я и ожидал:

— Скотти, мы знаем, ты был против переезда. Но у нас не было выбора.

— Конечно. Все нормально.

— Со временем ты заведешь новых друзей.

— Я знаю.

— Тебе здесь так плохо?

— Все нормально.

Да уж, конечно.

Но у нас просто не хватало времени, чтобы во всем как следует разобраться, понимаете? Может, если бы мы знали, что это последний год жизни Скотти, мы сделали бы куда больше, чтобы ему помочь, даже если бы мне пришлось бросить работу. Но ведь о таком никогда не знаешь заранее. А когда все приходит к развязке, становится уже поздно что-либо менять.

Учебный год закончился, и дела как будто пошли в гору.

Во-первых, теперь я видел Скотти по утрам. Во-вторых, ему не надо было отпрашиваться в школу с толпой детей, которые или не обращали на него внимания, или дразнили и задирали его. И он не слонялся все время по дому в тоске и скуке. Теперь он слонялся на улице.

Кристин сперва думала, что он играет с младшими детьми, как это бывало раньше, пока он не пошел в школу. Но мало-помалу поняла, что Джеффри и Эмили всегда играют вместе, а Скотти почти никогда не присоединяется к ним. Она видела, как младшие носятся с водяными ружьями и брызгалками, как они охотятся на дикого кролика, живущего по соседству, но Скотти никогда в этом не участвовал. Он засовывал прутик в сетку паутины на дереве или устраивал подкоп под ограждением, которое тянулось вдоль всего дома, чтобы в подвал не могли проникнуть животные. Пару раз в неделю он возвращался таким перепачканным, что Кристин приходилось с порога отправлять его в ванную, но ей все равно казалось, что он ведет себя странно.

28 июля Кристин родила нашего четвертого ребенка. У новорожденного Чарли Бена обнаружили сильные мышечные спазмы, и первые несколько недель он провел в отделении интенсивной терапии, где врачи исследовали его и так и сяк и в конце концов заявили, что не могут понять, в чем тут дело. И лишь спустя несколько месяцев кто-то произнес слова «церебральный паралич», но к тому времени наша жизнь уже навсегда изменилась. Все наше

внимание было отдано тому ребенку, который больше всего в нем нуждался,— так всегда поступают родители, во всяком случае, тогда мы именно так считали. Но как можно определить, которому ребенку внимание нужнее? Как можно сравнить и решить, кто из детей нуждается в нас больше других?

Когда мы наконец смогли вздохнуть посвободнее, мы обнаружили, что у Скотти появились друзья. Кристин нянчилась с Чарли Беном, когда Скотти пришел с улицы и объявил, что они с Ники играли в войну или что потом вместе со всеми он играл в пиратов. Сперва Кристин подумала, что речь идет о соседских ребятах, но однажды Скотти рассказал, как они строили крепость в траве (у меня редко выпадала возможность косить лужайку). И тут она припомнила, что он строил эту крепость в полном одиночестве. Охваченная подозрениями, она стала задавать вопросы. Какой этот Ники? Я не знаю, мама. Просто Ники. А где он живет? Где-то рядом. Не знаю. Под домом.

Короче говоря, он придумал себе друзей.

Сколько времени он с ними играл? Сперва был Ники, но мало-помалу возникло восемь имен — Ники, Вэн, Роди, Питер, Стив, Говард, Расти и Дэвид. Ни я, ни Кристин никогда не слышали, чтобы у человека было сразу несколько выдуманных друзей.

— У этого ребенка больше писательского таланта, чем у меня,— сказал я.— Он выдумал одновременно восемь фантастических историй.

Кристин не разделяла моего веселья.

— Скотти очень одинок,— сказала она.— Боюсь, как бы это не привело к беде.

Тут и впрямь было чего бояться. Но если он сходит с ума, что мы можем поделать? Мы пытались обратиться в клинику, хотя я не верил психологам. Надуманные объяснения человеческого поведения, которые они предлагали, не выдерживали никакой критики, а о проценте излечения даже говорить не приходится, настолько он был смешон. Если бы какой-нибудь водопроводчик или, скажем, парикмахер справлялся со своим делом с тем же успехом,

с каким справлялись со своим делом психотерапевты, он уже через месяц остался бы без работы. Я весь август специально уходил с работы раз в неделю, чтобы отвезти Скотти в клинику, но эти визиты ему не нравились, да и врач не сообщила нам ничего, о чем мы бы не знали сами, — что Скотти одинок, замкнут, немного обижен и немного напуган. Разница была только в том, что для всех этих понятий у нее имелись более изысканные названия. Иногда нам приходилось даже обращаться за помощью к словарям. По-настоящему помогало только наше домашнее лечение, которое мы сами изобрели тем летом, и мы отказались от услуг доктора.

Доморошенное лечение заключалось в том, что мы старались удержать мальчика дома. Отец владельца дома затеял покраску, и мы воспользовались этим предложением. А я принес домой целую кучу видеопленок, якобы чтобы сделать обзор для «Компьютерных книжек», а на самом деле чтобы занять воображение Скотти, отвлечь его от вымышленных друзей.

И у нас получилось. Почти. Он не жаловался, что его не пускают на улицу (но, с другой стороны, он вообще никогда не жаловался), и играл в видеопленки часами напролет. Кристин не слишком радовалась такому повороту событий, но это, несомненно, было шагом к лучшему. Во всяком случае, так нам тогда казалось.

И снова нас отвлекли другие проблемы, и мы какое-то время не обращали внимания на Скотти. Дело в том, что в доме появились насекомые. Однажды ночью я проснулся от крика Кристин. Надо сказать, когда Кристин кричит, это означает, что все более или менее в порядке. Если же случается что-то по-настоящему ужасное, она становится спокойной, сосредоточенной и молча принимается за дело. Но если она заметит паука, или ночную бабочку, или пятно на блузке, вот тогда она кричит.

Я думал, сейчас она вернется в спальню и расскажет, как сражалась в ванной с этим ужасным насекомым, пока не забила до смерти. Но она все кричала и кричала. Тогда я встал с кровати, чтобы выяснить, что же происходит. Она слышала мои шаги — я ведь в ту пору весил добрых

230 фунтов, поэтому топал, как вся королевская рать, — и крикнула:

— Сперва обуйся!

Я включил свет в холле: там повсюду скакали сверчки. Я вернулся в комнату и надел туфли.

После того как с ваших голых ног спрыгнет не один десяток сверчков, еще столько же уже перестанет корчиться у вас в руках и вам уже больше не захочется блевануть, вот тогда вы просто сгребаете их в кучу и запихиваете в мешок для мусора. И только потом вы шесть часов проведете в ванной, стараясь отмыться с головы до ног, пока не почувствуете, что стали наконец чистым, это после вам будут сниться кошмары, в которых вас шекочат маленькие ножки... А до тех пор разум отключается и вы просто делаете то, что нужно сделать.

Оказалось, что насекомые появились из шкафа в комнате мальчиков, где те спали на двухъярусной кровати: Скотти — наверху, Джефффри — внизу. В постели Джефффа тоже обнаружилась парочка сверчков, но он даже не проснулся, когда мы поменяли верхнюю простыню и встряхнули одеяло. Сверчков, кроме нас двоих, никто не видел. В задней стенке шкафа мы обнаружили щель, облили ее «блэк-флэгем», а потом заложили старой простыней, предназначавшейся на тряпки.

После приняли душ, шутя, что справиться с нашествием сверчков нам бы могли помочь чайки первых мормонов в Солт-Лейк. И снова легли спать.

Сверчками, однако, дело не ограничилось. Утром Кристин снова позвала меня на кухню: между стеклами окна было добрых три дюйма мертвых майских жуков. Я открыл окно, чтобы их втянуть их пылесосом, и трупки жуков разлетелись по кухонному столу. Они стукались о стенки трубы пылесоса, и раздавался отвратительный скребуший звук.

На следующий день между рамами снова было на три дюйма жуков. То же самое — через день. Потом все прекратилось. Веселенькое лето.

Мы вызвали хозяина и спросили, не хочет ли он помочь нам оплатить визит санитарной службы. Он в ответ предложил прислать своего отца со специальной жидкостью

против насекомых, и тот стал с таким энтузиазмом закачивать жидкость в подпол, что нам пришлось спастись бегством и все воскресенье кататься по округе, дожидаясь, пока вечерняя гроза смоет ужасную вонь, а ветер развеет остатки, чтобы мы могли вернуться домой.

Так вот, за всеми этими хлопотами и непрекращающимися проблемами Чарли Кристин не замечала, что творится с видеоиграми. Однажды в субботу днем я на кухне пил диетическую колу, как вдруг в гостиной раздался громкий смех Скотти.

Он так редко звучал в нашем доме, что я прошел в гостиную и встал на пороге, наблюдая, как Скотти играет. То была отличная игра с первоклассной анимацией — дети сражаются с пиратами, которые хотят захватить их парусное судно, и еще с огромными птицами, пытающимися склевать парус. Игра казалась не такой примитивно-механической, как большинство компьютерных игр, и, что мне особенно понравилось, игрок был не один — в игре участвовало еще несколько детских компьютерных персонажей, они помогали главному игроку справиться с врагами.

— Давай, Сэнди,— говорил Скотти.— Давай!

И один из мальчишек на экране ударил главаря пиратов ножом, после чего пираты разбежались.

Я не мог дождаться, чтобы узнать, как игра пойдет дальше, но тут Кристин позвала меня помочь ей с Чарли. Когда я вернулся, Скотти уже не было, а за компьютером сидели Джеффри и Эмили, играя в другую игру.

В тот же день или чуть позже я спросил Скотти, как называется игра, где дети сражаются с пиратами.

— Просто игра, папа,— ответил он.

— Но у нее должно быть название.

— Я не знаю.

— Как же ты находишь нужный диск, чтобы вставить в компьютер?

— Не знаю.

И он замолчал, уставившись в пространство. Я прекратил расспросы.

Лето кончилось. Скотти вернулся в школу, Джеффри пошел в детский сад, и они вместе уезжали по утрам на

автобусе. Но самое главное, у новорожденного, у Чарли, дела более или менее налаживались. От церебрального паралича не существует лекарства, но нам, по крайней мере, стали ясны его возможности. Мы знали, например, что хуже уже не будет. Но и совсем здоровым он никогда не станет. Возможно, когда-нибудь он научится говорить и ходить, возможно, не научится. Нашей задачей было как можно активнее стимулировать любую его деятельность, чтобы в случае улучшения его мозг имел максимальную возможность к совершенствованию, даже если физические способности мальчика останутся сильно ограниченными. Самые худшие страхи остались позади, мы смогли более или менее свободно вздохнуть.

Потом, в середине октября, позвонил мой агент и сообщил, что подкинул мою серию про Мастера Альвина Тому Догерти из «ТОР Букс» и что Том предлагает неплохой задаток, на который можно жить. Это да еще плюс контракт на «Игры в конце» — и для нас, похоже, экономический кризис миновал.

Еще пару недель я работал в «Компьютерных книжках», в основном из-за оставшихся незаконченными проектов, которые я не мог просто взять и бросить на полдороге. Но когда я увидел, насколько вредит моя работа и моей семье и моему здоровью, я понял, что цена слишком высока. Я подал заявление об уходе за две недели, рассчитывая за это время закрутиться с проектами, о которых известно было только мне одному. В некоем приступе паранойи от двух недель в фирме отказались — меня заставили очистить помещение тем же вечером. Такая неблагодарность с их стороны оставила неприятный привкус, но какого черта — я был свободен. Я мог вернуться домой.

Чувство облегчения было почти физическим. Джеффри и Эмили вели себя прекрасно, я наконец-то познакомился с Чарли Беном. Приближалось Рождество (я завожу рождественские пластинки, как только желтеют листья), и все в мире было прекрасным. За исключением Скотти. Как всегда, за исключением Скотти.

Именно тогда я обнаружил то, о чем раньше просто не подозревал. Скотти никогда не играл в видеоигры, которые я приносил из «Компьютерных книжек». Я понял

это, потому что Джефф и Эмили очень расстроились, когда мне пришлось унести игры, но Скотти даже не знал, каких именно игр теперь не хватает. И к тому же среди дисков не оказалось того, где дети сражались с пиратами. Ни среди тех, что я приносил с работы, ни среди наших собственных. Однако Скотти по-прежнему играл в эту игру.

Однажды он играл в нее вечером перед сном. Я весь день трудился над «Игрой Эндера», надеясь закончить ее к Рождеству. Когда Кристин в третий раз крикнула: «Скотти, отправляйся в постель немедленно!» — я вышел из кабинета.

Почему-то мне легко удавалось призвать детей к порядку, не повышая голоса и тем более не применяя силы, когда Кристин не могла добиться даже того, чтобы на нее обратили внимание. Дело, наверное, в глубоком мужском тембре голоса — к примеру, мне всегда легко удавалось укачать Джеффри, если Кристин не справлялась, когда тот был еще совсем маленьким.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что стоило мне встать в дверях и сказать: «Скотти, кажется, мама велела тебе ложиться спать», — он немедленно потянулся, чтобы выключить компьютер.

— Я сам выключу, — сказал я. — Иди!

Он все еще не опускал руку.

— Иди! — произнес я самым низким громовым голосом, на какой только был способен.

Он встал и вышел, не взглянув на меня.

Я подошел к компьютеру, чтобы его выключить, и увидел тех же детей, что и в прошлый раз. Только сейчас они были не на пиратском корабле, а на старинном паровозе, резко набирающем скорость.

«Отличная игра, — подумал я. — На односторонних дисках Атари не будет и 100 килобайт, однако вот вам: и два полных сценария, и великолепная анимация, и...»

И в компьютере не оказалось диска.

Это означало, что игру следовало сперва загрузить, потом вынуть диск, и... Получается, что для такой игры достаточно одной лишь оперативной памяти и вся эта высококачественная анимация занимает 48 килобайт. Я до-

статочно хорошо разбирался в программировании, чтобы понять: передо мной — настоящее чудо.

Я стал искать диск. Диска не было. Значит, Скотти положил его в особое место. Я все искал и искал, однако безрезультатно.

Я сел за компьютер, собираясь поиграть в игру. Но детей на экране уже не было, остался только поезд. Быстро идущий поезд. Пропал детально прописанный фон, за поездом простирался обычный голубой экран. Ничего больше не было, даже путей. Потом исчез и поезд, все погасло, экран озарился обычным синим светом.

Я коснулся клавиатуры — на экране появились буквы, которые я набирал. Мне понадобилось несколько раз нажать на «ввод», чтобы сообразить, что Атари работает в режиме мемопад. Сперва я решил, что используется какая-то ужасно хитрая система защиты от перезаписи — игра заканчивается тем, что вводит вас в режим, из которого вы не получите доступа к памяти, не получите доступа никуда, пока не отключите компьютер, тем самым стерев из оперативной памяти записанную игру. Но потом я подумал, что если компания делает игры такого класса, защищенные столь сложным кодом, она наверняка предусмотрела бы сигнал для окончания игры. И почему, собственно, игра закончилась? Скотти не прикасался к компьютеру после того, как я велел ему идти спать. Я тоже ничего не трогал. Почему дети пропали с экрана? Почему исчез поезд? Каким образом компьютер мог узнать, что Скотти закончил игру, тем более что картинка оставалась на экране еще некоторое время после того, как Скотти встал из-за компьютера.

И все-таки я ничего не сказал Кристин, во всяком случае, тогда. В компьютере она разбиралась ровно настолько, чтобы уметь его включить и вызвать программу «Уорд Стар». И ей бы никогда в голову не пришло, что в игре Скотти есть что-то необычное.

За две недели до Рождества опять началось нашествие насекомых. Им неоткуда было взяться — погода стояла слишком холодная, они не могли жить на улице. Единственное объяснение, которое мы смогли найти, это что в подвале, видимо, куда теплее, чем снаружи. Так или ина-

че, мы пережили еще одну веселую ночь охоты на сверчков. Старую простыню опять затолкали в щель — на этот раз нашествие началось из-под шкафчика в ванной. А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне появились длинноногие пауки.

— Давай ни о чем не будем говорить хозяину,— сказал я Кристин.— Еще одной атаки этой отравы я не вынесу.

— Возможно, во всем виноват его отец,— сказала Кристин.— Помнишь, в прошлый раз он как раз красил дом. А сегодня развешивал рождественские фонарики.

Мы лежали в постели и хихикали, удивляясь этой глупой затее. Нам казалось странным и смешным, но очень милым, что отец хозяина непременно хотел развесить на доме рождественские фонарики. Скотти вышел и смотрел, как он работает. Он никогда раньше не видел, чтобы фонарики развешивали на крыше,— у меня боязнь высоты, поэтому заставить меня забраться на лестницу невозможно, и наш дом всегда оставался без украшений, за исключением огоньков, которые можно увидеть через окно. Мы с Кристин, однако, большие поклонники всяких рождественских побрякушек. Да что говорить, мы даже играем в «Рождественский альбом плотника». Поэтому обрадовались, когда отец хозяина решил оказать нам такую услугу.

— Этот дом много лет был моим собственным,— сказал он.— Мы с женой всегда украшали его под Рождество. Мне кажется, без огоньков чего-то не хватает.

В конце концов, он был очень милый старичок. Неторопливый, но еще крепкий, спокойный добрый трудяга. И через пару часов огоньки уже горели, где положено.

Потом были покупки подарков. Рождественские открытки и все такое прочее. Мы были очень заняты.

Однажды утром, примерно за неделю до Рождества, Кристин читала утреннюю газету и вдруг напряглась и замерла — она становилась такой лишь тогда, когда происходило что-то по-настоящему ужасное.

— Скотт, ну-ка, прочти,— сказала она.

— Нет, лучше сама расскажи,— ответил я.

— Это статья о том, что в Гринсборо пропадают дети.

Я взглянул на заголовок: «ДЕТИ, КОТОРЫХ НЕ БУДЕТ ДОМА НА РОЖДЕСТВО».

— Слышать ни о чем подобном не желаю,— сказал я.

Я не могу читать истории о преступлениях против детей или о похищенных детях. Просто с ума схожу. Потом не могу спать. И так было всегда.

— Придется прочесть,— сказала она.— Здесь имена мальчиков, которые пропали за последние три года. Рассел Деверж, Николас Тайлер...

— Куда ты клонишь?

— Ники. Расти. Дэвид. Роди. Питер. Тебе эти имена что-нибудь говорят?

У меня не очень хорошая память на имена.

— Нет, не говорят.

— Стив, Говард, Вэн. И только последний не подходит, Александр Бут. Он пропал этим летом.

Почему-то, слушая Кристин, я очень расстроился. Она принимала все так близко к сердцу, была очень взволнована и ничего не хотела толком объяснить.

— Ну и что с того? — спросил я.

— Это выдуманные приятели Скотти,— сказала она.

— Брось,— сказал я.

Но она снова прочитала все имена с самого начала — она стала записывать имена вымышленных друзей в специальную тетрадку, еще давно, когда доктор попросил нас вести записи о том, что делает Скотти.

Все имена совпадали, во всяком случае, так нам казалось.

— Скотти, должно быть, тоже читал похожую статью,— предположил я.— И на него она произвела впечатление. Он всегда был впечатлительным ребенком. Возможно, он начал отождествлять себя с этими детьми: ему казалось, что его выкрали из Саут-Бенда и насильно привезли в Гринсборо.

На какую-то секунду это прозвучало вполне правдоподобно, на этом правдоподобии как раз и основываются психотерапевты.

На Кристин мои слова не произвели впечатления.

— В статье говорится, что раньше никогда не перечислялись имена всех пропавших детей.

- Преувеличение. Желтая пресса.
- Скотт, но он верно назвал все имена, все до единого.
- Кроме одного.
- Какое облегчение!

Но облегчения мы не испытывали. Потому что я вдруг вспомнил, как Скотти обращался к ребятам в видеоигре. «Давай, Сэнди». Я рассказал об этом Кристин. Александр, или Сэнди. А Расти — сокращение от Рассел. Он правильно называл не восемь из девяти. Он правильно назвал абсолютно все без исключения имена.

Невозможно перечислить все страхи, которые терзают родителей, но могу заверить: невозможно испугаться за себя самого так, как можно испугаться при виде того, как ваше двухлетнее чадо бежит по направлению к дороге, или при виде того, как младенец заходится в судороге, или поняв, что между вашим малышом и похищением детей существует некая связь. Мой самолет ни разу не захватывали террористы, к моей голове никогда не приставляли дуло пистолета, я ни разу не падал со скалы, поэтому, возможно, существуют худшие страхи. Но, с другой стороны, мою машину однажды занесло на заснеженной трассе, и однажды я сидел в самолете, вцепившись в подлокотники кресла, потому что нас нещадно болтало в воздухе, но это не идет ни в какое сравнение с чувствами, какие я испытал, прочитав до конца статью. Дети просто пропадали. Никто не видел, чтобы кто-то посторонний отирался возле их дома. Дети просто не возвращались из школы или с улицы. Просто исчезли. И Скотти знал их всех по именам. Скотти воображал, что играет с ними. Откуда он знал их имена? Почему он выбрал именно пропавших мальчиков?

Всю неделю накануне Рождества мы наблюдали за ним. Мы видели, каким он стал отчужденным, как пугливо шарахался, не давая к себе прикоснуться, не желая вступать в разговор. Он знал, что скоро Рождество, но ни о чем не просил, не радовался празднику, не хотел идти покупать подарки. Казалось, он даже перестал спать. Перед тем как лечь, в час или два ночи, я заходил в комнату мальчиков, и он лежал с открытыми глазами, сбросив

одеяло. Его бессонница была даже хуже, чем бессонница Джеффри. А днем он желал лишь играть на компьютере да слоняться по улице, несмотря на холод. Мы с Кристин не знали, что делать. Неужели мы его потеряли?

Мы старались вовлечь его в семейные дела. Он не захотел отправиться с нами за предпраздничными покупками. Тогда мы велели ждать нас дома, но, вернувшись, обнаружили, что он вышел на улицу. Я обесточил компьютер и спрятал все диски и картриджи, но от этого пострадали только Джеффри с Эмили — войдя в комнату, я обнаружил, что Скотти все равно играет в свою невероятную игру.

До Рождества он ни о чем нас не просил.

Кристин вошла ко мне в кабинет, как раз когда я дописывал сцену, в которой Эндер выпутывается из ловушки Великана-Пьянчуги. Может, я был так зачарован детскими видеоиграми именно из-за проблем со Скотти, может, просто пытался сделать вид, что в компьютерных играх есть какой-то смысл. Во всяком случае, я до сих пор помню, какую именно фразу писал, когда вошла Кристин и, стоя в дверях, обратилась ко мне — так спокойно. И так испуганно.

— Скотти хочет, чтобы мы пригласили на рождественский вечер его друзей, — сказала она.

— Нам потребуются дополнительные стулья для его вымышленных друзей? — спросил я.

— Они не вымышленные, — ответила она. — Они ждут на заднем дворе.

— Шутишь, — сказал я. — Там слишком холодно. Как родители позволяют своим детям болтаться по улицам в канун Рождества?

Она не ответила, я встал, и мы отправились к задней двери. Я распахнул ее.

Их было девять. Разного возраста — лет от шести до десяти. Только мальчики. Кто-то в рубашках с короткими рукавами, некоторые — в пальто, а один мальчик в плавках. Я в отличие от Кристин плохо запоминаю лица.

— Это они, — тихо и спокойно сказала она, стоя у меня за плечом. — Вот это — Вэн. Я его помню.

— Вэн? — позвал я.

Он поднял голову. И робко шагнул ко мне.

Я услышал за его спиной голос Скотти.

— Папа, можно им войти? Я сказал, что вы разрешите провести с нами канун Рождества. Этого им больше всего не хватает.

Я повернулся к нему.

— Скотти, все эти мальчики считаются пропавшими. Где они были?

— Под домом,— сказал он.

Я вспомнил про подвал. И еще вспомнил, сколько раз прошлым летом Скотти возвращался домой, перемазанный с ног до головы.

— Как они туда попали? — спросил я.

— Их привел туда старик,— ответил он.— Они сказали, чтобы я никому не говорил, иначе старик на них рассердится, а они не хотят, чтобы он снова на них сердился. Но я сказал — ладно, но тебе-то я могу рассказать?

— Все в порядке,— сказал я.

— Это отец хозяина,— прошептала Кристин.

Я кивнул.

— Только как он держал их там все это время? Когда же он их кормил? Когда...

Но она уже поняла, что старик их не кормил. Мне бы не хотелось, чтобы вы подумали, будто Кристин плохо соображает. Просто такие вещи стараешься как можно дольше отрицать.

— Пусть они войдут,— сказал я Скотти и взглянул на Кристин.

Она кивнула. Я знал, что она согласится. Нельзя в канун Рождества запираť дверь перед пропавшими детьми. Даже если они мертвы.

Скотти заулыбался. Чем это было для нас — улыбка Скотти! Как давно мы ее не видели. Мне кажется, такой улыбки я не видел у него с самого переезда в Гринсборо. Потом он позвал мальчишек:

— Все в порядке, заходите!

Кристин придержала дверь, я отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Они вошли, некоторые улыбались, некоторые были слишком смущены.

— Проходите в гостиную,— сказала я.

Скотти шел впереди. Он вел их, как радушный и гордый хозяин, показывающий гостям свой особняк. Они расселись на полу. Подарков было немного, только детские. Мы не выставляем подарки для взрослых, пока дети не лягут спать. Но елка стояла где положено, на ней горели огни, висели домашние самодельные украшения — даже совсем старые, вывязанные крючком, которые Кристин делала, не в силах подняться по утрам с постели из-за сильнейших приступов тошноты, когда носила Скотти. Даже крошечные круглобокие зверюшки, которых мы клеили вместе на самую первую в жизни Скотти елку. Украшения были старше, чем он сам. И украшена была не только елка — вся комната утопала в красной и зеленой мишуре, повсюду были расставлены маленькие деревянные домики, рядом с плетеными санками стоял набитый ватой Дед-Мороз, а еще был огромный шелкунчик и многое другое, купленное или сделанное собственными руками.

Мы позвали Джеффри и Эмили, Кристин принесла Чарли Бена, который лежал у нее на коленях, пока я рассказывал истории о рождении Христа — о пастухах и мудрецах, а еще историю из Книги мормонов о дне и ночи и о дне без тьмы. А потом стал говорить о том, ради чего жил Иисус. О прощении за зло, которое совершают люди.

— За любое? — спросил один из мальчиков.

Ему ответил Скотти.

— Нет! Только не за убийство!

Кристин заплакала.

— Правильно, — сказал я. — В нашей церкви верят, что Бог не прощает тех, кто убивает сознательно. А в Новом Завете Иисус говорит, что если кто-нибудь причинит боль ребенку, лучше ему сразу повесить себе на шею тяжелый камень, прыгнуть в море и утонуть.

— Знаешь, папа, это на самом деле больно, — сказал Скотти. — Они никогда мне не говорили.

— Потому что это секрет, — ответил один из мальчиков.

Ники — как объяснила Кристин, ведь у нее хорошая память на лица и имена.

— Вы должны были мне сказать,— продолжал Скотти.— Я бы тогда не разрешил ему ко мне прикоснуться.

И только тут мы поняли, поняли по-настоящему, что спасать его слишком поздно, что Скотти тоже мертв.

— Извини, мама,— сказал Скотти.— Ты не разрешила мне с ними играть, но ведь они — мои друзья, и мне хотелось играть с ними.— Он опустил глаза.— Я даже не могу больше плакать. У меня больше нет слез.

За все время с тех пор, как мы сюда переехали, он еще ни разу не говорил с нами так долго. Среди всей бури охвативших меня эмоций была и примесь горечи: весь этот год все наши страхи, все наши усилия как-то пробиться к нему были напрасны, говорить с нами его заставила только смерть.

Но я понял, что дело не в смерти. Он постучал, и мы открыли дверь, он попросил, и мы впустили его в дом вместе с друзьями. Он доверял нам, несмотря на расстояние, которое весь год нас разделяло, и мы его не подвели. Именно доверие в тот Сочельник вновь соединило нас с сыном.

Но в тот вечер мы не пытались разгадывать загадки. У нас были дети, и они хотели того, чего хотят все дети в эту единственную ночь. Мы с Кристин рассказывали им рождественские истории, говорили о традициях празднования Рождества в разных странах и в прежние времена, и постепенно все они пригreesлись и расслабились, и каждый начал говорить о том, как празднуют Рождество в его семье. Это были добрые воспоминания. Они смеялись, болтали, шутили. И хотя это было самое ужасное Рождество, все же это было и самое лучшее Рождество в нашей жизни, воспоминания о котором для нас священны. Самым главным подарком тогда для нас стало то, что мы могли быть вместе. И пусть мы с Кристин никогда не говорим об этом прямо, мы оба помним то Рождество. Помнят его и Джеффри с Эмили. Они называют его «Рождество, когда Скотти привел своих друзей». Вряд ли они поняли все до конца, и я был бы рад, если бы они навсегда остались в неведении.

Вскоре Джеффри с Эмили уснули. Я по очереди отнес их в постель, а Кристин тем временем разговаривала с

мальчиками, просила их нам помочь. Подождать у нас в гостиной, пока приедет полиция, чтобы они все вместе остановили старика, который отнял у них родных и будущее. Они согласились. Они ждали, пока приедут полицейские дознаватели, чтобы с ними встретиться, ждали, пока Скотти расскажет свою историю.

Ждали долго, и времени хватило, чтобы сообщить их родителям. Те явились немедленно — испуганные, потому что полиция решила им сообщить по телефону только одно: их вызывают по вопросу, имеющему отношение к их пропавшим детям. Они пришли — и стояли у нас на пороге, их глаза светились страхом и отчаянием, а полицейский тем временем пытался все им объяснить. Дознаватели выносили из подвала изуродованные тела — надежд больше не осталось. И все же стоило им зайти в дом, как они убедились, что жестокое Провидение было по-своему добрым: на этот раз оно даровало им то, в чем многим, многим другим было безоговорочно отказано — возможность сказать «прощай». Я не буду говорить, какие сцены разыгрались в ту ночь в нашем доме, сцены радости и отчаяния. Эти сцены принадлежат другим семьям, не нам.

Когда прибыли родители, когда все слова были сказаны и все слезы пролиты, когда покрытые грязью тела уложили на брезент посреди нашей лужайки, когда их опознали по остаткам одежды, только тогда привели закованного в наручники старика. С ним были наш хозяин и заспанный адвокат, но стоило ему увидеть тела, лежащие на лужайке, он не выдержал и во всем признался, и его признание занесли в протокол. Никому из родителей не надо было встречаться с ним взглядом, никому из мальчиков больше не придется на него смотреть.

Но они знали. Знали, что все кончено, что больше ни одна семья не подвергнется страданиям, каким подверглись их семьи — и наша тоже. И мальчики стали исчезать. Один за другим. Вот они еще здесь, а вот их уже нет. Потом от нас стали уходить и родители, молчаливые и подавленные горем, охваченные ужасом оттого, что подобное возможно в жизни, охваченные благоговением оттого,

что из прошлого ужаса возникла эта ночь, последняя ночь справедливости и милосердия, последняя ночь единства.

Скотти ушел последним. Мы сидели с ним в гостиной, горел свет, и мы разговаривали, а в доме полиция все еще делала свое дело. Мы с Кристин ясно помним, о чем мы тогда говорили, но самое главное было сказано в конце.

— Мне очень жаль, что прошлым летом я так себя вел,— сказал Скотти.— Я знал, что это не ваша вина, что нам пришлось переехать, и мне не стоило так злиться, но я просто ничего не мог с собой поделать.

Он просит у нас прощения! Этого мы уже не могли вынести. Какие горькие сожаления одолевали нас, пока мы говорили и говорили о своем раскаянии, о том, как нас мучит совесть за то, что мы сделали, за то, чего не сумели сделать, чтобы спасти ему жизнь. Когда мы высказали все, что было у нас на душе, и замолчали, он легко и просто подвел итог:

— Все в порядке. Я рад, что вы на меня не сердитесь. И исчез.

Мы выехали тем же утром еще до наступления дня. Нас приютили добрые друзья, и Джеффри с Эмили наконец-то раскрыли подарки, о которых так давно мечтали. Из Юты прилетели мои родители и родители Кристин, на похоронах были и другие последователи нашей церкви. Мы не давали интервью. Не давали интервью и остальные семьи. Полиция сообщила только, что были обнаружены тела и что преступник сознался. Мы не давали разрешения на огласку, как будто каждый, кто так или иначе пострадал, понимал: нельзя допустить, чтобы эта история появилась в заголовках газет, выставленных на стойках в супермаркете.

Все очень быстро затихло.

Жизнь пошла своим чередом.

Большинство наших знакомых даже не подозревают, что до Джеффри у нас был еще один сын. Мы не делали из этого секрета, просто рассказывать об этом было трудно. И все же спустя много лет я подумал, что эту историю следует рассказать, только с достоинством, обращаясь к людям, которые смогут понять. Другие тоже должны знать, что и в самом кромешном мраке можно увидеть лучик

света. Должны знать, как мы с Кристин, даже познав самое страшное в жизни горе, сумели испытать и радость, проведя последнюю ночь вместе с нашим первенцем, и как все вместе мы устроили Рождество для всех пропавших детей, и как много дали нам они сами.

Послесловие

В августе 1988 года я принес этот рассказ на писательский семинар в Сикамор-Хилл. В черновом варианте в конце рассказа говорилось, что все написанное является выдумкой и на самом деле наш первенец — Джеффри, а хозяин дома, в котором мы жили, никогда не делал нам ничего плохого. Реакция писателей, участвующих в семинаре, охватывала весь спектр эмоций — от раздражения до ярости.

Наиболее кратко общее мнение выразила Карен Фаулер. Насколько я помню, она сказала следующее:

— Вы рассказываете эту историю от первого лица, приводите столько деталей из своей личной биографии, тем самым присваивая себе то, что вам не принадлежит. Вы делаете вид, будто испытываете горе человека, потерявшего ребенка, а на самом деле не имеете на это горе ни малейшего права.

Когда она сказала это, я не мог с ней не согласиться. Хотя рассказ уже многие годы существовал в моем воображении, от первого лица я изложил его лишь прошлой осенью, когда праздновал Хэллоуин со студентами колледжа Ватагуа в штате Аппалачи. В ту ночь все рассказывали истории про привидений, и вот, под влиянием минутного порыва, я рассказал свою. Такой же порыв заставил меня сделать ее глубоко личной, отчасти из-за того, что, наделив рассказчика своей собственной биографией, я избавился от лишнего труда по созданию вымышленного персонажа, отчасти потому, что истории с привидениями имеют самый большой успех в том случае, если слушатели начинают верить, что все рассказанное могло быть правдой. Получилось лучше чем когда-либо, и, когда настала пора записать рассказ на бумаге, я записал его в том виде, в каком и рассказал в ту ночь.

Теперь, однако, слова Карен Фаулер заставили меня взглянуть на это под другим углом, и я подумал, что рассказ следует поправить. Но едва я принял такое решение и подумал, что надо убрать из рассказа подробности своей жизни и заменить их биографией вымышленного персонажа, меня охватил непонятный страх. Некая часть меня не могла примириться со словами Карен. «Нет,— говорила эта часть,— она заблуждается, у тебя есть право на этот рассказ, на это горе».

И тогда я понял, о чем же на самом деле говорится в рассказе и почему он так для меня важен. Это вовсе не обычный рассказ о призраках. И написан он не для развлечения. Мне самому следовало бы знать — я никогда ничего не пишу просто ради развлечения. Это рассказ не о выдуманном старшем сыне по имени Скотти. Это рассказ о моем реально существующем младшем сыне, Чарли Бене.

О Чарли, который за пять с половиной лет не сказал ни единого слова. О Чарли, который впервые улыбнулся, когда ему был уже год, впервые обнял нас, когда ему было четыре, который до сих пор проводит дни и ночи без движения, в том положении, в каком мы его оставляем, который может извиваться, но не умеет бегать, может позвать, но не может говорить, может понять, что ему не надо делать того, что умеют делать его брат и сестра, но не умеет спросить нас, почему так. Короче говоря, о ребенке, который не мертв, но едва способен распробовать жизнь, несмотря на всю нашу любовь и старания.

И все же за все годы его жизни, до того самого дня в Сикамор-Хилл, я ни разу ни пролил о Чарли ни слезинки, ни разу не позволил себе поддаться горю. Я надел такую убедительную маску спокойствия и смирения, что сам себя убедил. Но ложь, окружающая нас в жизни, всегда пробирается в то, что мы пишем, я не составляю исключения. Рассказ, который казался мне сущей безделицей, обычной шуткой в духе старых традиционных баек о призраках, на поверку оказался самым личным, прочувствованным и пережитым из всех, какие я написал. И подсознательно я сделал его еще более личным, внеся в сюжет многие факты собственной биографии.

Спустя несколько месяцев я сидел в машине у занесенного снегом кладбища в штате Юта и смотрел на человека, которого люблю всем сердцем. Я смотрел, как он стоял, как потом опустился на колени, как снова поднялся. Он стоял перед могилой своей восемнадцатилетней дочери.

Я не мог не вспомнить тогда слова Карен.

В самом деле, я не могу претендовать на сочувствие, смешанное с ужасом, которое вызывают в нас люди, потерявшие ребенка. И вместе с тем я понимал, что не могу не рассказать этой истории, ибо тогда тоже отчасти солгу. И я решил на компромисс: опубликую рассказ в том виде, в каком, по моему убеждению, он должен быть написан, а в конце добавлю это послесловие, чтобы вы хорошо поняли, где здесь правда, а где вымысел. Теперь выносите решение сами, я сделал все, что мог.



Книга вторая

Поток вечности

Повести о будущем



Тысяча смертей

— Никаких речей,— предупредил прокурор.

— Я на это и не рассчитывал,— стараясь казаться уверенным, ответил Джерри Кроув.

Особенной враждебности прокурор не выказывал и скорее походил на школьного режиссера, чем на человека, жаждущего смерти Джерри.

— Вам не только не позволят это,— но более того, если вы выкинете какой-нибудь фортель, то вам же будет хуже. Вы у нас в руках. Доказательств у нас более чем достаточно.

— Вы же ничего не доказали.

— Мы доказали, что вы знали об этом,— мягко настаивал прокурор.— Знать о заговоре против правительства и не сообщить о нем — это все равно что самому участвовать в заговоре.

Джерри пожал плечами и отвернулся. Камера была бетонная, двери стальные. Вместо койки — гамак, подвешенный крючьями к стене. Туалетом служила жестянка со съемным пластиковым сиденьем. Убежать было невозможно. Фактически ничто в камере не могло заинтересовать интеллигентного человека более чем на пять минут. За три проведенных там недели Джерри выучил наизусть каждую трещину в бетоне, каждый болт в двери. Смотреть ему, кроме прокурора, было не на что, и он неохотно встретился с ним взглядом.

— Что вы скажете, когда судья спросит, признаете ли вы предъявленное вам обвинение?

— *Nolo conderdere**.

— Очень хорошо. Было бы гораздо лучше, если бы вы сказали «виновен», — посоветовал прокурор.

— Мне не нравится это слово.

— А вы его на всякий случай запомните. На вас будут направлены три камеры — планируется прямая передача судебного заседания. Для Америки вы представляете всех американцев. Вы должны держаться с достоинством, спокойно принимая факт, что ваше участие в убийстве Питера Андерсона...

— Андреевича...

— Андерсона и привело вас к смерти, что теперь все зависит от милости суда. Я отправляюсь на ланч. Вечером встретимся снова. И помните. Никаких речей. Никаких фокусов.

Джерри кивнул. На препирательства не оставалось времени.

Вторую половину дня он провел, практикуясь в спряжении португальских неправильных глаголов. Было грустно от того, что нельзя вернуться в прошлое и переиграть тот момент, когда он согласился заговорить со стариком, который и раскрыл ему план убийства Андреевича. «Теперь я должен вам верить, — сказал старик. — *Temos que confiar no senhor americano***. Вы же любите свободу, нет?»

Любите свободу? А кто ее помнит? Что такое свобода? Когда ты свободен, чтобы заработать доллар? Русские прозорливо уловили: дай только американцам делать деньги, и им, право же, будет наплевать, на каком языке говорят члены правительства, а тут еще и члены правительства говорят по-английски.

Пропаганда, которой его напичкали, вовсе не так уж забавна. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Никогда еще Соединенные Штаты не были столь мирными. Со времен бума, вызванного войной во Вьетнаме, такого процветания в стране не было. И ленивые, само-

* *Nolo conderdere* (лат.) — не желаю спорить.

** *Temos que confiar no senhor americano* (португ.) — мы должны надеяться на американцев.

довольные американцы по-прежнему занимались делом, как будто им всегда хотелось, чтобы на стенах и рекламных щитах висели портреты Ленина.

«Я и сам особенно ничем от них не отличался», — подумал Джерри. Отправил заявление о приеме на работу вместе с заверениями в преданности. Покорно согласился, когда меня определили в учителя к высокому партийному функционеру. И даже три года учил его чертовых детишек в Рио.

А мне бы стоило писать пьесы.

Только какие? Ну вот, например, комедию «Янки и комиссар» — о женщине-комиссаре, которая выходит замуж за чистокровного американца, производителя пишущих машинок. Женщин-комиссаров, разумеется, нет, но надо поддерживать иллюзию об обществе свободных и равных.

«Брюс, дорогой мой, — говорит комиссар с сильным, но сексапильным русским акцентом, — твоя компания по производству машинок подозрительно близка к получению прибыли».

«А если б она работала с убытком, ты бы меня посадила, дурашечка ты моя?» (Русские, сидящие в зале, громко смеются, американцам не смешно — они бегло говорят по-английски, и им не нужен бульварный юмор. Да, все равно, пьеса должна получить одобрение Партии, так что из-за критики можно не переживать. Были бы счастливы русские, а на американскую публику начхать.) Диалог продолжается:

«Все ради матушки-России».

«Трахать я хотел матушку-Россию».

«Трахни меня, — говорит Наташа. — Считаю, что я ее олицетворение».

Да, но ведь русские и впрямь любят секс на сцене. В России-то он запрещен, а с Америки что возьмешь, разложилась вконец.

С таким же успехом я мог бы стать дизайнером в Диснейленде. Или написать водевиль. А то и просто сунуть голову в печь. Только она непременно окажется электрическая — такой уж я везучий.

Рассуждая таким образом, Джерри задремал. Открыв глаза, он увидел, что дверь в камеру открыта. Затишье перед бурей кончилось, и вот теперь — буря.

Солдаты не славянского типа. Рабски покорные, но явно американцы. Рабы славян. Надо непременно вставить как-нибудь в стихотворение протеста, решил он. Впрочем, кто их станет читать, стихотворения протеста?

Молодые американские солдаты («Форма на них какая-то не такая, — подумал Джерри. — Я не настолько стар, чтобы помнить прежнюю форму, но эта скроена не для американских тел».) провели его по коридорам, поднялись по лестнице, вышли в какую-то дверь и оказались на дворе, где его посадили в бронированный автофургон. Неужто они и впрямь считают, что он член заговорщицкой организации и что друзья спешат ему на выручку? Будто у человека в его положении могут быть друзья?

Джерри наблюдал это в Иельском университете. Доктор Суик был очень популярен. Лучший профессор на кафедре. Мог взять самые настоящие «сопли» и сделать из них пьесу или самых дрянных актеров заставить играть по-настоящему. У него даже мертвая, безразличная публика вдруг оживала и проникалась надеждой. Но вот однажды к нему в дом вломилась полиция и увидела, что Суик с четырьмя актерами играет пьесу для группы друзей человек в двадцать. Что это была за пьеса?.. «Кто боится Вирджинии Вулф?»* — вспомнил Джерри. Грустный текст, безнадежный. И все же удивительно четко показывающий, что отчаяние — уродливо, ведет к распаду личности, а ложь — равносильна самоубийству. Текст, который, короче говоря, заставлял зрителей почувствовать, что в их жизни что-то не так, что мир — иллюзия, что процветание — обман, что Америку лишили честолюбивых стремлений и что столь многое, чем она прежде гордилась, испохаблено, поругано.

До Джерри вдруг дошло, что он плачет. Солдаты, сидевшие напротив него в бронированном автофургоне, отвернулись. Джерри вытер глаза.

* «Кто боится Вирджинии Вулф?» — пьеса американского драматурга Эдуарда Олби (1962).

Как только распространилась новость, что Суика арестовали, он сразу же стал безвестным. Все, у кого были от него письма, записки или даже курсовые работы с его подписью, уничтожили их. Его имя исчезло из адресных книг. В его классах было пусто. В университете вдруг пропали документы, говорящие о том, что вообще был такой профессор. Дом его продан с молотка, жена куда-то переехала, никому не сказав «до свиданья». Затем, через год с лишним, Си-би-эс (которая тогда постоянно вела передачи официальных судебных процессов) на десять минут показала Суика в новостях, он плакал и говорил: «Для Америки никогда не было ничего лучше коммунизма. Мною руководило незрелое, необдуманное желание утвердить себя, задирая нос перед властями. Это абсолютно ничего не значит. Я ошибался. Правительство оказалось гораздо добрее ко мне, чем я того заслуживаю». И все в таком духе. Глупые слова. Но когда Джерри сидел и смотрел эту программу, его убедили вот в чем: несмотря на всю бессмысленность слов, лицо Суика было искренним.

Фургон остановился, двери в задней его части открылись, и тут Джерри вспомнил, что сжег свой экземпляр учебника Суика по драматургии. Сжег, но прежде выписал из него все основные идеи. Знал об этом Суик или нет, но он все же после себя кое-что оставил. А что после себя оставляю я? — задумался Джерри. Двух русских ребятшек, бегло говоривших по-английски, отца которых разнесло на куски прямо у них на глазах, а его кровь забрызгала им лица, потому что Джерри не посчитал нужным предупредить его? Ничего себе наследие.

Он на мгновение испытал чувство стыда. Жизнь есть жизнь, не важно, чья она или как прожита.

Тут ему вспомнился вечер, когда Питер Андреевич (нет — Андерсон. Теперь модно делать вид, что ты американец, хотя любой сразу скажет, что ты русский), будучи пьяным, послал за Джерри и потребовал — как работодатель (то бишь хозяин), — чтобы он почитал стихи гостям на вечеринке. Джерри попытался отшутиться, но Питер оказался не настолько уж пьян, он принялся настаивать; и Джерри поднялся наверх, взял стихи, спустился вниз,

прочитал их непонимающей кучке мужчин и понимающей кучке женщин. Но для тех и других они были не более чем развлечение. Крошка Андре потом сказал: «Хорошие были стихи, Джерри». А Джерри чувствовал себя так, как чувствует себя изнасилованная девственница, которой насильник дает затем два доллара на чай.

Собственно говоря, Питер даже выдал ему премию. И Джерри ее потратил.

В здании суда, сразу же за дверью, поджидал Чарли Ридж, защитник Джерри.

— Джерри, старина, вы вроде бы переносите все довольно легко. Даже не похудели.

— Поскольку я сидел на диете из чистого крахмала, мне приходилось целыми днями бегать по камере, чтобы не пополнеть.

Смех. Хи-хи, ха-ха, как нам весело. До чего мы веселые ребята.

— Послушайте, Джерри, уж вы постарайтесь не подвести, ладно? Они в состоянии судить, насколько вы искренни, по реакции публики. Пожалуйста, помните об этом.

— Неужто было время, когда защитники старались выгородить своих клиентов? — спросил Джерри.

— Джерри, подобная позиция вас ни к чему не приведет. Добрые старые времена, когда можно было отвертеться благодаря какой-нибудь юридической тонкости, а адвокат имел право откладывать суд сроком до пяти лет, давно прошли. Вы страшно провинились, поэтому, если вы станете с ними сотрудничать, они вам ничего не сделают. Они просто вас депортируют.

— Вот это друг, — заметил Джерри. — Раз вы на моей стороне, мне нечего волноваться.

Зал судебных заседаний оказался переполнен камерами. Джерри слышал, что в былые дни, когда пресса была свободна, появляться в зале судебных заседаний с камерами нередко запрещалось. Но ведь в те дни ответчик обыкновенно не давал показаний, а адвокаты не работали оба по одному и тому же сценарию. Тем не менее в зале находились представители прессы, и вид у них был такой, как будто они и впрямь свободны.

Добрых полчаса Джерри нечего было делать. Зал заполняла публика («Интересно, а она платная? — подумал Джерри. — В Америке — наверняка да»), представление началось ровно в восемь. Вошел судья, такой важный в своем одеянии, голос сильный, резонирующий, как у отца из телепередачи, увещающего сына-бунтаря, с которым сладу нет. Все выступающие поворачивались к камере с красным огоньком наверху. И Джерри вдруг ощутил страшную усталость.

Он не колебался в своей решимости попытаться обратиться к суду к собственной выгоде, но он всерьез сомневался, будет ли от этого прок. Да и в его ли это интересах? Наверняка они накажут его еще более сурово. Безусловно, они разозлятся и отключат его. А он написал свои речи, как будто это бесстрастная кульминационная сцена в пьесе («Кроув против коммунистов» или, может, «Последний крик свободы»), где он — герой, готовый пожертвовать жизнью ради того, чтобы заронить семя патриотизма (да нет — интеллекта, кому, к чертям собачьим, нужен патриотизм!) в умах и сердцах миллионов американцев, которые будут смотреть эту передачу.

— Джеральд Натан Кроув, вы выслушали предъявленное вам обвинение. Пройдите, пожалуйста, вперед и сделайте официальное заявление.

Джерри встал и, как ему казалось, с достоинством прошел к приклеенному на полу «Х» — прокурор настаивал, чтобы он стоял именно там. Джерри поискал глазами камеру с горевшим наверху красным огоньком и напряженно уставился на нее, гадая, а не проще ли, в конце концов, просто сказать *polo conterdere* или даже «виновен», да и дело с концом.

— Мистер Кроув, — поигрывая голосом, сказал судья, — на вас смотрит Америка. Что вы скажете суду?

Америка и впрямь смотрела на него. Джерри открыл рот и заговорил, но не на латинском, а на английском. Он сказал слова, которые так часто повторял про себя:

— Есть время для смелости и время для трусости, время, когда человек может уступить тем, кто обещает ему

терпимость, и время, когда он просто обязан воспротивиться им ради более высокой цели. Некогда Америка была свободной. Но пока нам платят жалованье, для нас, похоже, в радость быть рабами! Я не признаю себя виновным, поскольку акт, способствующий послаблению господства русских в мире, совершается во имя всего того, что делает жизнь прожитой не зря. Я хочу сказать «нет» тем, для кого власть — единственный бог, достойный поклонения!

А-а. Красноречие. Во время репетиций он и думать не думал, что дойдет так далеко. Однако непохоже, чтобы они собирались прервать его. Он отвернулся от камеры и посмотрел на прокурора, который что-то записывал в желтом блокноте. Потом на Чарли — тот покорно кивал головой и убирал бумаги в портфель. Казалось, никого особенно не волнует, что Джерри говорит такое прямо в эфир. А ведь трансляция прямая — его предупреждали, чтобы он был поосторожнее и подал все как следует с первого раза, поскольку передача сразу идет в эфир...

Они, разумеется, солгали, Джерри помолчал и сунул было руки в карманы, но обнаружил, что в надетом на него костюме карманов нет («Экономьте деньги, избегая излишеств», — гласил лозунг), и его руки беспомощно скользнули вниз.

Судья прочистил голос, и прокурор в удивлении поднял глаза.

— О, прошу прощения, — сказал он. — Речи обычно длятся гораздо дольше. Поздравляю вас, мистер Кроув, с краткостью.

Джерри кивнул с насмешливой признательностью, хотя ему было не до смеха.

— У нас всегда бывает пробная запись, — объяснил прокурор, — чтобы не вышло промашки с такими, как вы.

— И все это знали?

— Ну да, кроме вас, разумеется, мистер Кроув. Что ж, все свободны, можете идти домой.

Публика встала и, шаркая ногами, спокойно вышла из зала.

Прокурор и Чарли тоже встали и подошли к столу судьи. Судья сидел, положив подбородок на руки, вид у

него теперь был уже не отцовский, а просто немного скучный.

— Сколько вы хотите? — спросил судья.

— Без ограничения, — ответил прокурор.

— Он что, так уж важен? — они разговаривали, как будто Джерри там нет. — В конце концов, в Бразилии это не редкость.

— Мистер Кроув — американец, — объяснил прокурор, — допустивший убийство русского посла.

— Хорошо, хорошо, — согласился судья, и Джерри подивился, что этот человек говорит совершенно без акцента. — Джеральд Натан Кроув, суд находит вас виновным в убийстве и государственной измене Соединенным Штатам Америки, а также их союзнику. Союзу Советских Социалистических Республик. Имеете ли вы что-нибудь сказать, прежде чем будет оглашен приговор?

— Меня только удивляет, — сказал Джерри, — почему вы все говорите по-английски?

— Потому что, — холодно ответил прокурор, — мы находимся в Америке.

— А почему вы вообще утруждаете себя какими-то там судами?

— Чтобы отвадить других глупцов от попыток сделать то, что сделали вы. Поспорить ему, видишь ли, захотелось.

Судья стукнул молотком.

— Суд приговаривает Джеральда Натана Кроува к смерти всеми доступными способами до тех пор, пока он не извинится перед американским народом и не убедит его в своей искренности. В судебном заседании объявляется перерыв. Боже милостивый, до чего же у меня болит голова!

Времени даром они не тратили. Уснув в пять утра, Джерри тут же был разбужен грубым электрошоком через металлический пол. Вошли два охранника — на этот раз русские, — раздев, потащили его в камеру для казни, хотя, позволь они ему, он бы и сам пошел.

Там его ждал прокурор.

— Меня определили на ваше дело,— сказал он,— потому что вы крепкий орешек. У вас весьма интересный психологический профиль, мистер Кроув. Вы жаждете быть героем.

— Я этого не осознавал.

— Вы продемонстрировали это в зале суда, мистер Кроув. Вам, несомненно, известны — на это указывает ваше среднее имя — последние слова агента-шпиона времен Американской революционной войны Натана Хейла. «Я сожалею,— заявил он,— что у меня всего одна жизнь, и только ее я могу отдать за родину». Он ошибался и вы это скоро поймете. Ему стоило бы радоваться, что у него всего одна жизнь.

С тех пор как несколько недель назад вас арестовали в Рио-де-Жанейро, мы вырастили для вас несколько клонов. Их развитие было довольно ускоренным, но вплоть до сего дня их содержали в нулевом чувственном окружении. Их разумы совершенно пусты.

Вы ведь наверняка слышали о сомеке, правда же, мистер Кроув?

Джеральд кивнул. Усыпляющее средство, используемое при космических полетах.

— В данном случае оно нам, разумеется, не нужно. Но техника записывания мыслей, которой мы пользуемся при межзвездных полетах,— она весьма кстати. Когда мы казним вас, мистер Кроув, мы непрерывно будем записывать показания вашего мозга. Все ваши воспоминания загружат, что называется, в голову первого клона, который тут же превратится в вас. Однако он будет четко помнить всю вашу жизнь до самой смерти, включая и собственно момент смерти.

В прошлом было легко стать героем, мистер Кроув. Тогда ведь не знали наверняка, какова смерть. Ее сравнивали со сном, с сильной эмоциональной болью, с быстрым отлетом души от тела. Но ни одно из этих описаний не отличалось особенной точностью.

Джерри перепугался. Он, разумеется, и прежде слышал о многократной смерти — ходили слухи, что она как бы выполняет роль фактора сдерживания. «Вас воскре-

шают и убивают снова», — говорилось в этой истории ужасов. И вот теперь он понял, что это правда, или им хочется, чтобы он поверил, будто это правда.

Что напугало Джерри, так это способ, которым они намеревались умертвить его. На крюке в потолке была подвешена петля. Ее можно было поднимать и опускать, но рассчитывать на то, что он быстро упадет и сломает себе шею, не приходилось. Однажды Джерри чуть не умер, подавившись костью лосося. Мысль о том, что он не сможет дышать, приводила его в ужас.

— Как же мне выбраться из этого положения? — спросил Джерри. Ладони у него вспотели.

— От первой казни вам вообще не отвертеться, — сказал прокурор. — Так что наберитесь смелости, вспомните о своем героизме. А уж потом мы проверим показания вашего мозга и посмотрим, насколько убедительно раскаяние. Мы поступаем по справедливости и стараемся без нужды никого не подвергать этому испытанию. Пожалуйста, сядьте.

Джерри сел. Мужчина в халате работника лаборатории надел ему на голову металлический шлем. Несколько игло-лок вонзились Джерри в скальп.

— Ну вот, — сказал прокурор, — все ваши воспоминания уже у первого клона. В настоящий момент он переживает всю вашу панику — или, если хотите, ваши потуги на смелость. Пожалуйста, сосредоточьтесь повнимательнее на том, что сейчас с вами произойдет, Джерри. Постарайтесь запомнить каждую деталь.

— Умоляю, — сказал Джерри.

— Наберитесь мужества, — с усмешкой сказал прокурор. — В зале суда вы были замечательны. Продемонстрируйте-ка это благородство и сейчас.

Охранники подвели его к петле и накинули ее ему на шею, стараясь не потревожить шлем. Петлю крепко затянули, затем связали ему руки за спиной. Веревка грубо сдавила ему шею. В ожидании, когда его поднимут, он, понимая, что усилие бесполезно, напряг мышцы зачесавшейся шеи. Он ждал и ждал, у него подкашивались ноги.

Комната была голая, смотреть было не на что, а прокурор ушел. Однако на стене, сбоку, висело зеркало. Не по-

ворачивая всего тела, он едва мог посмотреться в него. Наверняка это окно для наблюдения. За ним, разумеется, будут наблюдать.

Джерри страшно хотелось в туалет.

Помни, сказал он себе, ты не умрешь. Через какое-то мгновение ты вновь пробудишься в соседней комнате.

Тело, однако, было не убедить. То, что какой-то новый Джерри Кроув встанет и уйдет, когда все это закончится, не имело ни малейшего значения. Этот Джерри Кроув умрет.

— Чего вы ждете? — спросил он, и, точно это послужило им условным знаком, солдаты потянули за веревку и подняли его в воздух.

Все с самого начала оказалось гораздо хуже, чем он думал. Веревка мучительно сжимала шею: о том, чтобы сопротивляться, не могло быть и речи. Сперва удушье показалось сущим пустяком — как будто задерживаешь дыхание под водой. Зато сама веревка причиняла страшную боль шее, ему хотелось кричать, но это было невозможно.

Только не в самом начале.

Последовала какая-то возня с веревкой, она запрыгала вверх и вниз — это охранники привязывали ее к крюку на стене. Один раз ноги Джерри даже коснулись пола.

К тому времени, однако, когда веревка замерла, заявило о себе удушье, и боль была забыта. В голове у Джерри стучала кровь. Язык распух. Глаза не закрывались. Вот когда ему захотелось дышать. Ему непременно надо было подышать. Этого требовало его тело. Разумом он понимал, что никак не доберется до пола, но тело не подчинялось разуму, ноги дергались, стремясь добраться до пола, руки за спиной изо всех сил пытались разорвать веревку. От этих усилий у него только глаза лезли из орбит: давила кровь, которой веревка не давала прорваться к остальному телу, жутко хотелось подышать.

Помочь ему никто не мог, но он попробовал закричать и позвать на помощь. На этот раз звук-таки вырвался у него из глотки — но за счет воздуха. Он почувствовал себя так, как будто язык заталкивают ему в нос. Ноги задержались в бешеном ритме, заколотили по воздуху, каждое движение усиливало агонию. Он завращался на веревке

и на мгновение увидел себя в зеркале. Лицо у него уже побагровело.

Сколько все это будет продолжаться? Наверняка не так уж и долго.

Но оказалось гораздо дольше.

Окажись он под водой и сдерживай дыхание, он бы уже сдался и утонул.

Будь у него пистолет и свободная рука, он бы убил себя, лишь бы покончить с агонией, с физическим ужасом из-за невозможности дышать. Но пистолета нет. Кровь стучала в голове, застилала глаза. Наконец он совсем перестал видеть.

Сознание по-сумасшедшему пыталось предпринять что-нибудь такое, что положило бы конец этой пытке. Ему мерещилось, что он в ручье за домом, куда упал ребенком: кто-то бросает ему веревку, а он все не может, ну никак не может поймать ее, а потом вдруг она оказалась у него на шее и потащила его вниз.

Тело раздулось, и тут же взорвалось: кишки, мочевой пузырь, желудок извергли все свое содержимое, только блевотина застряла за глоткой и страшно жгла.

Содрогания тела сменились резкими рывками и спазмами, на мгновение Джерри показалось, что он близок к желанному состоянию бессознательности. Вот когда до него дошло, что смерть не столь уж и милосердна.

Какой там, к черту, мирный отход во сне, какая там мгновенная или милостивая смерть, положившая конец мукам!

Смерть вытащила его из бессознательного состояния, — вероятно, всего лишь на десятую долю секунды. Но эта десятая доля оказалась на удивление долгой: он успел ощутить бесконечную агонию надвигающегося небытия. Это не жизнь промелькнула вспышкой у него перед глазами — отсутствие жизни, и его разум испытал такую боль, такой страх, по сравнению с которым обычное повешение показалось сущим пустяком.

Потом он умер.

Какое-то мгновение он висел в забвении, ничего не чувствуя и ничего не видя. Затем вдруг мягкая пена откатилась от кожи, по глазам резанул свет, и Джерри увидел

прокурора. Тот стоял, глядя, как Джерри судорожно глотает воздух и хватается рукой за горло, испытывая позывы к рвоте. Казалось невероятным, что он может дышать. Испытай он только удушение, он бы вздохнул с облегчением и сказал: «Один раз я уже прошел через это, и теперь смерть мне не страшна». Но удушение было сущим пустяком. Удушение — это всего лишь прелюдия. А он боялся смерти.

Его заставили войти в камеру, в которой он умер. Он увидел свисающее с потолка свое тело, лицо черное, язык высунут, на голове по-прежнему этот шлем.

— Перережьте веревку, — сказал прокурор, и Джерри ждал, когда охранники исполнят приказ. Однако один из охранников протянул Джерри нож.

Все еще туговато соображая, Джерри развернулся и бросился на прокурора, но один из охранников крепко схватил его за запястье, а другой направил ему в голову пистолет.

— Неужто вам так быстро хочется умереть снова? — спросил прокурор.

Джерри захныкал, взял нож и потянулся вверх освободить себя из петли. Но чтобы дотянуться до веревки, Джерри пришлось так близко стоять к трупу, что не касаться его он просто не мог. Вонюха была жуткой, усомниться в факте смерти невозможно. Джерри так задрожал, что нож его почти не слушался, но веревка наконец лопнула, и труп кулем упал на пол, сбив Джерри с ног. Поперек ног Джерри легла рука. Рядом, глаза в глаза, оказалось лицо.

— Вы видите камеру?

Джерри отупело кивнул.

— Смотрите в камеру и покайтесь за все, что вы сделали против правительства, которое принесло мир на землю.

Джерри снова кивнул, и прокурор сказал:

— Начинайте.

— Сограждане американцы, — заговорил Джерри, — простите меня. Я совершил ужасную ошибку. Я был неправ. Русские хорошие. Я допустил, чтобы убили невинного человека. Простите меня. Правительство оказалось добрее ко мне, чем я того заслуживаю.

И так далее и тому подобное. Джерри лепетал с час, пытаясь доказать, что он трус, что он ничтожество, что он виноват, что правительство в респектабельности соперничает с Богом.

А когда закончил, прокурор снова вошел в комнату, качая головой.

— Мистер Кроув, вы в состоянии выступить гораздо лучше. Ни один человек из публики не поверил ни единому вашему слову. Ни один человек из отобранных для слушания не поверил, что вы хоть чуть-чуть искренни. Вы по-прежнему считаете, что правительство надо свергнуть. Так что нам снова придется прибегнуть к лечению.

— Позвольте мне исповедаться еще раз.

— Проба есть проба, мистер Кроув. Прежде чем мы разрешим вам иметь хоть какое-то отношение к жизни, придется еще раз умереть.

Теперь Джерри с самого начала орал благим матом. О достоинстве думать не приходилось: его подвесили под мышки над продолговатым цилиндром, наполненным кипящим маслом. Погружали очень медленно. Смерть наступила, когда масло дошло ему до груди, — ноги к тому времени уже совершенно сварились, и большие куски мяса отставали от костей.

Его ввели и в эту камеру. А когда масло остыло настолько, что к нему можно было прикасаться, заставили выудить куски своего собственного трупа.

Джерри во всем признался и покался снова, но публике, отобранную для теста, убедить не удалось.

— Этот человек насквозь фальшивый, — заявили слушатели. — Он и сам не верит ни единому своему слову.

— Судя по всему, — заметил прокурор, — после своей смерти вы очень хотите сотрудничать с нами. Но ваши слова идут не от сердца, у вас остаются оговорки. Придется помочь вам снова.

Джерри пронзительно закричал и замахнулся на прокурора. Когда охранники оттащили его, а прокурор поглаживал разбитый нос, Джерри закричал:

— Разумеется, я лгу! Сколько бы меня ни убивали, факт остается фактом: наше правительство — из дураков, избранное злобными лживыми ублюдками!

— Напротив,— возразил прокурор, стараясь сохранить хорошие манеры и бодрость духа, несмотря на то что из носа у него текла кровь,— если мы убьем вас достаточное количество раз, ваш менталитет полностью переменится.

— Вы не в состоянии изменить правды!

— Изменили же мы ее для всех других, кто уже прошел через это. И вы далеко не первый, кому пришлось пойти в третий клон. Только на этот раз, мистер Кроув, постарайтесь, пожалуйста, быть героем.

С него сняли кожу живьем, сначала с рук и с ног, затем его кастрировали, сорвали кожу с живота и груди. Он умер молча,— хотя нет, не молча, всего лишь безголосо: вырезали гортань. Он обнаружил, что, даже лишенный голоса, оказался в состоянии вышептать крик, от которого все еще звенело в ушах. Когда он пробудился, то его опять вынудили войти в камеру и отнести свой окровавленный труп в комнату для захоронений. Он снова исповедался, и снова публика не поверила ему.

Его медленно раздробили на кусочки. После пробуждения пришлось самому отчищать и отмывать окровавленные остатки с дробильни. Но публика лишь заметила:

— Интересно, кого этот подонок думает обмануть.

Его выпотрошили и сожгли внутренности у него на глазах. Его заразили бешенством и растянули агонию смерти на две недели. Потом распяли и оставили на солнце умирать от жажды. Потом сбросили с десятков раз с крыши одноэтажного дома, пока он не умер в очередной раз.

Однако публика понимала, что Джерри Кроув не раскаялся.

— Боже мой, Кроув, сколько же, по-вашему, я могу этим заниматься? — спросил прокурор. Вид у него был не очень бодрый. Джерри даже подумал, что он близок к отчаянию.

— Крутовато для вас? — сказал Джерри, благодарный за этот разговор, который обеспечивал ему передышку на несколько минут между смертями.

— За какого человека вы меня принимаете? Все равно мы оживим его через минуту, говорю я себе, но ведь я занялся этим делом вовсе не для того, чтобы находить новые, все более ужасные способы умерщвлять людей.

— Вам не нравится?! А ведь у вас прямо-таки талант по этой части.

Прокурор резко посмотрел на Кроува.

— Иронизируете? И вы еще в состоянии шутить? Неужто смерть для вас ничего не значит?

Джерри не ответил, а лишь попытался смахнуть слезы, которые теперь то и дело непрошено набегали на глаза.

— Кроув, это недешево. Мы потратили на вас миллиарды рублей. Даже со скидкой на инфляцию — это большие деньги.

— В бесклассовом обществе деньги не нужны.

— Что это вы себе позволяете, черт побери? Даже теперь вы пытаетесь бунтовать? Корчите из себя героя?

— Нет.

— Неудивительно, что нам пришлось убивать вас восемь раз.

— Мне очень жаль. Видит небо, мне очень жаль.

— Я просил, чтобы меня перевели с этой работы. Очевидно, я не в состоянии сломать вас.

— Сломать меня! Можно подумать, мне не хочется, чтобы меня сломали!

— Вы нам слишком дорого обходитесь. Раскаяния преступников в своих заблуждениях приносят определенную выгоду. Но вы обходитесь нам слишком дорого. Сейчас соотношение «затраты—выгода» просто смехотворно. Все-му есть предел, и сумма, которую мы можем потратить на вас, тоже не безгранична.

— У меня есть один способ сэкономить вам деньги.

— У меня тоже. Убедите эту чертову публику!

— Когда будете убивать меня в очередной раз, не давайте мне шлем.

Прокурор, казалось, вконец шокирован.

— Это был бы конец. Смертная казнь. У нас гуманное правительство. Мы никогда никого не убиваем навсегда.

Ему выстрелили в живот, он истек кровью и умер. Его сбросили с утеса в море, и его съела акула. Его повесили вверх ногами, чтобы голова как раз погружалась в воду, и, когда он устал поднимать голову, он утонул.

Однако на протяжении всех этих испытаний Джерри все больше и больше приучал организм к боли. Разум его

наконец усвоил, что ни одна из этих смертей не является постоянной. И теперь, когда наступал момент смерти, по-прежнему ужасный, Джерри переносил его лучше. Он уже не так голосил и умирал с большим спокойствием. Он даже научился ускорять сам процесс: намеренно вбивая в легкие побольше воды, намеренно извиваясь, чтобы привлечь акулу. Когда охранники приказали забить его до смерти ногами, он до последнего вопил: «Сильней!»

Наконец, когда провели телепробу, он с пылом и страстностью заявил аудитории, что русское правительство — это самая ужасная империя, которую когда-либо знал мир. На этот раз русские сумели удержать власть — нет внешнего мира, откуда могут прийти варвары. Прибегнув к соблазну, они заставили самый свободный народ в мире полюбить рабство. Слова шли от сердца — он презирал русских и дорожил воспоминаниями о том, что некогда, пусть очень давно, в Америке были свобода, закон и даже какая-никакая, но справедливость.

Прокурор вернулся в комнату с мертвенно-бледным лицом.

— Ублюдок, — выдохнул он.

— О-о. Вы хотите сказать, на этот раз попалась честная публика.

— Сто верноподданически настроенных граждан. И вы разложили всех, кроме трех.

— Разложил?!

— Убедили их.

Наступило молчание. Прокурор уткнулся лицом в ладони.

— Вы потеряли работу? — спросил Джерри.

— Разумеется.

— Мне жаль. Вы хорошо ее выполняли.

Прокурор посмотрел на него с отвращением.

— На этой работе еще никто не срывался. А мне никогда не приходилось умерщвлять дважды. Вы же умерли с десятков раз, Кроув. Вы привыкли к смерти.

— Я этого не хотел.

— Как вам это удалось?

— Не знаю.

— И что вы за животное, Кроув? Неужто вы не можете придумать какую-нибудь ложь и поверить в нее?

Кроув усмехнулся. В былые дни в данной ситуации он бы громко рассмеялся. Не важно, привык он к смерти или нет, но у него остались шрамы, и ему уже никогда громко не рассмеяться.

— Такая уж у меня была работа. Как драматурга. Временное прекращение неверия.

Дверь отворилась, вошел весьма важный с виду человек в военной форме, увешанный медалями. За ним четыре солдата. Прокурор вздохнул и встал.

— До свиданья, Кроув.

— До свиданья,— попрощался Джерри.

— Вы очень сильный человек.

— Вы тоже,— сказал Джерри.

И прокурор ушел.

На этот раз солдаты увезли Джерри из тюрьмы в совершенно иное место. Во Флориду, на мыс Канаверел, где размещался большой комплекс зданий. До Джерри дошло, что его отправляют в изгнание.

— Каково оно? — спросил он технического работника, который готовил его к полету.

— Кто знает? — вопросом ответил техник. — Никто ведь оттуда еще не возвращался...

— После того как самек перестанет действовать, будут ли у меня проблемы с пробуждением?

— Здесь, на земле, в лаборатории — нет. А там, в космосе — кто его знает?

— Но, вы полагаете, мы будем жить?

— Мы отправляем вас на планеты, которые по всем параметрам должны быть обитаемы. Если нет — весьма сожалею. Тут вы рискуете. Худшее, что с вами может случиться, это смерть.

— И это... все? — пробормотал Джерри.

— Ну ложитесь и дайте мне записать ваши мысли.

Джерри лег, и шлем — в который уже раз — записал его мысли. Тут, разумеется, ничего нельзя было поделаться: когда осознаешь, что твои мысли записываются, обнаружил Джерри, просто невозможно не пытаться думать о чем-то важном. Как будто играешь на сцене. Только на этот раз публика будет представлена одним-единственным человеком — самим собой, когда ты проснешься.

Но он подумал вот о чем: и этот и другие звездолеты, которые будут или уже отправлены колонизировать миры-тюрьмы, не так уж и безопасно для русских. Правда, заключенные, отправленные на этих гулаг-кораблях, будут находиться вдали от земли много веков, прежде чем совершат посадку, а многие из них наверняка не выживут. И все же...

Я выживу, подумал Джерри, когда шлем подхватил импульсы его мозга и стал заносить их на пленку. Там, в космосе, русские создают своих собственных варваров. Я стану Аттилой, царем гуннов. Мой сын станет Магомедом. Мой внук станет Чингисханом.

Один из нас когда-нибудь разграбит Рим.

Тут ему ввели сэмек, и тот разлился по телу Джерри, забирая с собой его сознание, и Джерри с ужасом узнавания понял, что это смерть, но смерть, которую можно только приветствовать, и он не возражал против нее. На этот раз, когда проснется, он будет свободным.

Он напевал себе под нос, пока не забыл, как напевать. Его тело вместе с сотнями других тел положили на звездолет и вытолкнули в космос.

Пой и хлопай в ладоши

На экране телевизора калека, размахивая бумагой, орал женщине, что та не имеет права от него убежать.

— Я — лицензированный насильник! — кричал он. — Беги помедленней! Ты обязана уважать права инвалидов!

Неловкими грузными прыжками он пытался настичь беглянку, его громадный искусственный фаллос бешено раскачивался, как пропеллер, который никак не может завестись. Невидимая аудитория помирала со смеху, видимо, считая эту сценку верхом остроумия.

Престарелый Чарли ссутулился в кресле перед телевизором. Он казался самому себе обломком скалы: когда-то ледник притащил его сюда и здесь оставил. А передвигаться сам обломок не умел.

Чарли не стал выключать телевизор, видя, какое неистовое веселье захлестнуло всех собравшихся в зале. Интересно, это прямая трансляция или видеомонтаж? Когда больше восьмидесяти лет пилишься на экран, перестаешь различать такие тонкости. Иногда трюки телевизионщиков выглядели куда реальнее настоящей жизни; правда, взрывы хохота зачастую не совпадали с действиями актеров. Артисты буквально лезли из кожи вон, но зрительский смех почему-то всегда раздавался то чуточку раньше, то чуточку позже. А в остальном то был самый настоящий живой смех.

— Уже поздно, — возвестил телевизор.

Чарли встрепенулся и не очень удивился, обнаружив, что на экране уже другая программа. Теперь там демонст-

рировали удобный портативный электронасос для сцеживания женского молока. Новинка предназначалась для женщин, которые не могут кормить ребенка грудью.

— Уже поздно,— повторил телевизор.

— Привет, Джок,— отозвался Чарли.

— Чарли, хочешь снова заснуть перед включенным телевизором?

— Оставь меня в покое, свинья,— огрызнулся Чарли. И, подумав, добавил: — Ладно, можешь выключить.

Не успел он договорить, как экран на мгновение побелел, а потом на нем появился знакомый до мельчайших подробностей весенний пейзаж. «Вечная весна» — изрядно надоевшая Чарли экранная заставка. Но, кажется, сейчас на экране мелькнуло еще что-то... Образ из далекого прошлого. Девушка. Как ее звали? Чарли не вспомнил ее имени, зато вспомнил другое: маленькую, почти детскую ручку, легкую, как стрекоза над ручьем, которая легла на его колено. Они сидели рядом. Он даже не повернулся, чтобы посмотреть на нее, потому что разговаривал с другом. Но он знал, что увидит, если повернется: невысокую девчонку с лицом Джульетты и торчащим конским хвостиком волос. Нет, ее звали по-другому, хотя ей, как и героине Шекспира, было тогда четырнадцать лет.

«Я — Чарли,— подумал он.— А ее звали Рейчел».

Рейчел Карпентер. Это ее лицо промелькнуло на гаснушем экране выключенного телевизора.

С трудом выбираясь из кресла, Чарли вспоминал Рейчел.

Высохший старик, давно превратившийся в обтянутую кожей распялку для одежды, начал осторожно раздеваться. Ему казалось: одно резкое движение — и он слерет с себя кожу, точно целлофановую обертку.

Джок, который и не подумал выключиться вместе с телевизором, продекламировал:

— Старик, достойный лишь презренья, сродни он пугалу в своих лохмотьях...

— Заткнись,— приказал Чарли.

— Так будет продолжаться, покамест душа его вдруг не захлопает в ладоши...

— Я велел тебе заткнуться!

— И не запоем все громче, прощаясь с бранным оде-
янием.

— Ты все изрек? — спросил Чарли.

Он и так прекрасно знал, что все. Ведь он сам запро-
граммировал Джока, чтобы тот произносил эти строки
каждый вечер, пока его хозяин раздевается.

Чарли стоял нагишом посреди комнаты и думал о Рей-
чел. Впервые за много-много лет. У старости все же есть
свои преимущества: комната вдруг исчезла, вместо нее
перед Чарли предстали картины из прошлого.

«Я разбогател, создавая машины времени, — подумал
он. — А оказывается, у любого старика есть личная машина
времени».

Вот сейчас он стоит голым посреди комнаты... Нет,
это не уловка памяти, которая любит проделывать с людь-
ми разные дьявольские штучки. И тогда он вовсе не был
голым, он лишь ощущал себя таким, сидя в машине ря-
дом с Рейчел. Ее голос... Чарли почти его забыл... всегда
был тихим. Даже когда она кричала, ее крик походил на
шепот. Но если бы тогда ее голос вдруг уподобился гро-
му, Чарли все равно ничего не услышал бы. Он чувство-
вал, как покрывается гусиной кожей, стоя нагишом посреди
комнаты, — и в то же время слышал, как Рейчел тихо-тихо
говорит ему «да». И еще она тогда сказала: «Я полюбила
тебя в двенадцать лет. Я любила тебя в тринадцать и в
четырнадцать. А потом ты вернулся из Сан-Паулу, где изоб-
ражал большую шишку, и даже не позвонил мне. После
всех этих писем — ни одного звонка за целых три месяца.
Я понимаю, ты все еще считал меня маленькой. К тому
же тебе сказали, что я влюбилась в...»

Чарли попытался вспомнить имя того парня, но оно
стерлось из его памяти.

«...что я влюбилась в одного парня, и с тех пор ты счи-
тал меня...»

Кем он ее считал? Нет, она ни за что бы не сказала
«дерьмом». Такой голос не может произносить такие сло-
ва. Но тогда она сердилась и произнесла много разных
сильных слов.

«Я отдалась бы тебе, Чарли, не стала бы артачиться.
А что теперь? Ты ничего не можешь дать мне, кроме го-

речи. Слишком поздно. Время упущено. Безвозвратно. Оставь меня в покое, не мучай больше».

Так и закончились их отношения.

Чарли понимал, что слова ничего не значат. Он слышал подобные слова минимум от дюжины женщин, включая покойную жену, и всегда считал эти разговоры слезливыми сантиментами. Когда такие слова произносили другие, Чарли облачался в толстый панцирь безразличия. Но сейчас, стоя нагишом посреди комнаты и вспоминая, как те же самые слова произносила Рейчел, он вдруг ощутил, как по коже побежали мурашки.

— Что-то не так? — спросил Джок.

— Да, любезный мой компьютер. Сбой привычного жизненного распорядка заикленного на привычках старика. А ты что подумал? Решил, что у меня сердечный приступ — первый звонок приближающейся смерти? Или полная потеря ориентации? Я вспомнил одно имя: Рейчел Карпентер.

— Она жива или умерла?

Чарли вновь поежился. Он всякий раз вздрагивал, когда Джок задавал этот вопрос. Однако вопрос был весьма резонным, и слишком часто на него приходилось отвечать «умер» или «умерла». Но на сей раз он ответил:

— Не знаю.

— Только в архивах моей компании содержится две тысячи четыреста восемьдесят записей о живых и умерших женщинах по имени Рейчел Карпентер.

— Она младше меня на восемь лет. Ей тогда было двенадцать, а мне — двадцать. Она жила в Прово, в штате Юта. Возможно, стала потом актрисой. Помню, она всегда хотела стать актрисой.

— Рейчел Карпентер. Родилась в 1959 году в Прово, штат Юта. Училась...

— Джок, я устал от твоего безупречного интеллекта. Она была замужем?

— Трижды.

— И хватит подражать моим интонациям! Она жива?

— Умерла десять лет назад.

Так он и думал. Разумеется, умерла. Чарли попробовал вообразить старую Рейчел.

— Где она умерла?
— Тебе будет неприятно это слышать.
— Все равно говори. Меня сегодня и так тянет к суициду.

— Она умерла в психиатрической клинике. Попала туда из-за слабоумия.

Новость не потрясла Чарли; нынче люди частенько выживали из ума. И все же ему стало грустно. Рейчел всегда отличалась живым умом. Возможно, несколько причудливым, поскольку мысли частенько заводили ее если не в лабиринты, то в изрядные дебри. Чарли улыбнулся и лишь потом вспомнил, чему именно улыбается. Ну конечно же, ее словам о том, каково это — пытаться видеть коленками. Рейчел тогда играла Элен Келлер* в пьесе «Сотворившая чудо»** и после спектакля рассказала Чарли, что наконец-то поняла, как себя чувствуют слепые:

— Это нельзя понять, просто закрыв глаза. Красный свет все равно пробивается сквозь веки. А вот теперь я поняла — это даже не чернота. Просто как будто у тебя вообще нет глаз и ты пытаешься видеть коленками. Но сколько ни пытайся, все равно ничегошеньки не увидишь!

Чарли потому и понравился ей, что он никогда не смеялся над тем, что она говорила.

— Представляешь, я рассказала об этом брату, а он поднял меня на смех.

Но Чарли не смеялся. Кажется, после этого разговора он и обратил внимание на двенадцатилетнюю девчонку, которая не желала быть «такой, как все», а шла своей собственным непроторенным путем, где рос колючий кустарник вперемешку с яркими цветами.

— Мне кажется, Бог давным-давно перестал обращать внимание на людей, — как-то раз сказала она Чарли. — Ему просто все равно. Как — «все равно»? Да так же, как было

* Элен Келлер (1880—1968) — после болезни, перенесенной в раннем детстве, осталась слепоглухонемой, что не помешало ей впоследствии получить образование, стать известной деятельницей Американского общества слепых и написать ряд книг. — *Примечание переводчика.*

** Пьеса Уильяма Гибсона, посвященная Элен Келлер и ее наставнице Энн Салливан. — *Примечание переводчика.*

бы все равно Микеланджело, если бы люди вдруг замазали его фрески в Сикстинской капелле.

Чарли вдруг понял: он и впрямь сделает это. Сперва на него обрушилось понимание, а уж потом оно оформилось в мысли. Бредовые мысли, если учесть, что Рейчел десять лет назад умерла в клинике для слабоумных, а он, благодаря своему богатству находящийся под опекой лучших врачей, стоит сейчас голым посреди комнаты и испытывает страстное вожделение. К кому? К четырнадцатилетней девчонке? Неужели вожделение еще не умерло в нем? Неужели оно еще теплится в тюремной камере праведной жизни, на которую обрекла его старческая немощь? В таком возрасте страсть чаще всего находит выход в сентиментальных стихах, а не в сексе.

«Ты слишком приукрасил всю эту историю,— мысленно сказал Чарли морщинистому старику, презрительно взирающему из зеркала.— Навыдумывал от скуки черт те что. Развел охи и вздохи, хотя на самом деле ты жесток и черств. И похотливые мысли засвербели у тебя в башке по вполне понятной причине: твоя старая погребушка давно умеет только мочиться».

И Чарли услышал мысленный ответ старого идиота из зеркала: «Ты это сделаешь, ибо ты на такое способен. На всей Земле только ты один и можешь такое сделать».

Ему показалось, будто он поймал ответный взгляд Рейчел. Рейчел, вдруг ощутившей себя четырнадцатилетней девчонкой: хорошенькой, смеющейся шуткам взрослого парня, сознающей, что она этому парню нравится. Та Рейчел тоже его хотела.

«Смейся сколько угодно,— сказал он той Рейчел.— Тогда я поступил слишком благородно. Теперь я исправлю свою былую оплошность».

— Я собираюсь в прошлое,— обратился Чарли к Джоку.— Найди подходящий день.

— Для чего именно подходящий? — спросил Джон.

— Это тебе не обязательно знать.

— Как же я подберу тебе подходящий день, если не знаю, чего именно ты хочешь?

Да, Джок был прав. Значит, придется ему рассказать.

— Если получится, я сделаю с Рейчел то, чего не сделал раньше.

Раздался негромкий предупредительный сигнал, и компьютер заговорил другим голосом:

— Внимание! Предпринимается попытка незаконного использования «лазутчика» для возможных манипуляций в прошлом! Это может повлечь за собой изменение сущест-
вующего хода событий!

Чарли улыбнулся.

— Исследования показали, что изменение будет в допустимых пределах. Так что не мешай.

Программе ничего другого не оставалось, кроме как снять блокировку.

— Ах ты, сукин сын,— сказал Джок.

— Подбери мне нужный день. Такой, чтобы воздействие на будущее оказалось минимальным, и я смог бы...

— Двадцать восьмое октября тысяча девятьсот семьдесят третьего года.

Тогда он недавно вернулся из Сан-Паулу с подписанными контрактами — преуспевающий бизнесмен, которому еще не исполнилось и двадцати трех лет. Чарли хорошо помнил, как он боялся звонить Рейчел, сознавая, что девочке всего четырнадцать и не надо творить глупостей.

— Джок, как это скажется на ее судьбе?

— Откуда мне знать? — ответил Джон. — А тебе разве не все равно?

Чарли вновь поглядел на свое отражение в зеркале.

— Не все равно.

«Я этого не сделаю», — твердил себе Чарли, направляясь в приемную камеру «лазутчика».

Позволить себе иметь личного «лазутчика» могли только очень богатые люди. Однако Чарли не страдал тщеславием.

«Я не сделаю этого», — повторил он, задавая параметры и указывая временной отрезок. Через двенадцать часов «лазутчик» разбудит его и вернет обратно, даже если Чарли не захочется возвращаться.

Потом старик улегся на топчан и натянул на себя специальный кожух. Его захлестывало отчаяние. Он твердил, как заклинание, что не сделает этого, пытаясь отговорить

себя от задуманного. Он как будто мыслил прежними категориями: раньше он почти автоматически воздерживался от неправильных поступков... Точнее, от поступков, которые тогда казались ему неправильными. А может, он и тогда себе лгал? Чарли давно уже перестал рассуждать о правильном и неправильном, сведя все свои моральные критерии к таким понятиям, как «эффективное» и «неэффективное», «выгодное» и «невыгодное».

Чарли и прежде пользовался «лазутчиком», совершая путешествия в прошлое, — чтобы, например, проникнуть в разум одного из слушателей, присутствовавших на первом исполнении «Мессии» Генделя, и насладиться музыкой. Человек, чьим слухом он воспользовался, потом начисто забыл о вторжении в свой разум, и этот поступок Чарли не представлял никакой опасности для будущего. Сидеть в зале и слушать музыку Генделя было вполне безопасно.

В другой раз Чарли проник в разум фермера, отдыхавшего под деревом. Сам фермер был ему неинтересен, но как раз в тот момент мимо проходил Вордсворт*. Чарли заставил фермера поздороваться с поэтом и спросить, как того зовут. Вордсворт ответил лишь снисходительной улыбкой. Поэт держался холодно и отстраненно, восхищаясь красотой окрестных полей и не замечая тех, чьи руки ее создали. И это путешествие тоже было вполне безопасным: Чарли не сделал ничего, что могло бы изменить ход истории.

Но на сей раз все будет по-другому. Он изменит жизнь Рейчел. Не свою — его жизнь останется прежней, изменить ее Чарли ни за что не удастся. Но все, что произойдет, не изгладится из памяти Рейчел, и ее жизнь пойдет по-другому. Возможно, изменения окажутся незначительными: скажем, она просто возненавидит Чарли раньше и сильнее. Но даже такое небольшое изменение будет противозаконным. Если его поймут, ему несдобровать.

Поймают? Нет, только не Чарли, владельца персонального «лазутчика», с помощью которого он смог бы поко-

* Вордсворт, Уильям (1770—1850) — английский поэт-романтик. — *Примечание переводчика.*

рить весь мир. А если даже поймают, никто не решится поднять шумиху. Слишком много правительственных агентов пользуются его изобретением, чтобы попасть на сверхсекретные заседания противной стороны. Слишком часто генеральный прокурор с помощью «лазутчика» прослушивает сверхважные конфиденциальные разговоры. Есть и немало политиков, которые перед Чарли в долгу: узнав с помощью «лазутчика» о планах конкурентов, они подталкивали тех к совершению грубых ошибок, в результате чего их политические противники теряли голоса избирателей. Все это — куда более серьезные нарушения закона, поэтому кто осмелится возражать, если Чарли тоже слегка нарушит закон в целях личной выгоды?

Никто не будет возражать, кроме... самого Чарли.

«Я не имею права вмешиваться в жизнь Рейчел», — успел подумать он...

А потом «лазутчик» перенес его в двадцать восьмое октября тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Было десять часов вечера, Чарли как раз собирался лечь спать. Сегодня спозаранку его разбудил звонок из Бразилии, потом он весь день крутился как белка в колесе и теперь мечтал только о том, чтобы хорошо выспаться.

Юный Чарли немного заартачился, сопротивляясь проникновению в свое сознание личности старого Чарли, — так бывало всегда. Но личность нынешнего Чарли одержала верх и отбросила личность юнца в область бессознательного. И далекое прошлое стало для старика настоящим.

Всего мгновение назад он стоял перед зеркалом, созерцая свое обрюзгшее морщинистое лицо. Чарли только сейчас осознал, что всю жизнь, перед тем как отправиться спать, он смотрит на себя в зеркало.

— Выходит, я — Нарцисс. Жалкий обожатель, воздвигнувший храм в честь себя самого, — произнес он вслух.

Однако сейчас он отнюдь не был жалким. В двадцать два года его кожа была по-юношески свежей, хотя мышцы живота следовало бы подкачать, ведь Чарли никогда не увлекался спортом. Но он ощущал гибкость и силу, которую позже утратил навсегда. Чарли почти забыл, каково

чувствовать себя молодым, и теперь жадно переживал это заново.

Да, Чарли, сегодня ты не скоро ляжешь спать.

Он открыл гардероб, чтобы одеться, и с удивлением уставился на рубашки с дурацкими надписями, которые были тогда в моде; на брюки с широченными отворотами; на ботинки с полуторадоймовыми каблуками. Боже милостивый, неужели я когда-то это носил?

Одевшись, он тихо спустился вниз и направился в гараж. Обошлось без расспросов: его домашние уже спали. В гараже пахло бензином — надо же, когда-то где-то пахло бензином! Еще Чарли вспомнился запах сирени и запах горящих стеариновых свечей.

Он до сих помнил дорогу к дому Рейчел, хотя забыл, как в ту пору выглядели окрестности. Оказалось, многих домов тогда еще не было, а ему почему-то казалось, что они стояли всегда. Далеко не все дороги были асфальтированы, и в тех местах, где они пересекали главную магистраль, еще не было светофоров.

Чарли взглянул на наручные часы: должно быть, сработал рефлекс, ведь он давным-давно не носил таких часов. Его руки теперь покрывал красивый бронзовый загар, оставшийся после бразильских пляжей; он не увидел ни старческих пигментных пятен, ни просвечивающих синне-багровых вен — напоминания о прожитых годах.

Половина одиннадцатого. Она уже наверняка легла.

Чарли чуть было не повернул назад. Его список того, что можно считать прегрешением, стал теперь совсем коротким. В нем осталось очень мало пунктов — но этот пункт там был. Он заглянул в свою душу и попытался отыскать хотя бы каплю воли, которая воспротивилась бы его желанию — оттого что, исполнив свое желание, он причинит вред другому человеку. Он ведь уже давно не занимался ничем подобным, настолько давно, что... Чарли не мог разобраться в своих ощущениях. Да и стоило ли копать в себе теперь, когда он уже подъехал к дому Рейчел и заглушил двигатель?

На первом этаже горел свет. Чарли позвонил, ему открыла миссис Карпентер — симпатичная, недалекая, как

всегда безвкусно одетая. Сперва она осторожно выглянула в шелку, потом узнала его и сняла цепочку.

— Чарли! — воскликнула она.

— Добрый вечер, миссис Карпентер. Рейчел еще не спит?

— Обожди минутку, сейчас она спустится.

Чарли остался ждать. Он ощущал странное жжение в животе и ниже — предчувствие того, что произойдет.

«Я ведь не зеленый юнец, которому предстоит заняться этим впервые», — раздраженно напомнил он себе.

Но его тело об этом не знало. Тогда он еще не утратил юношеской непосредственности и не привык равнодушно заниматься любовью, превратившейся просто в одну из физических потребностей...

Наконец-то! Он услышал шаги Рейчел на гулких деревянных ступенях лестницы, скрытой поворотом коридора. Чарли услышал, как Рейчел наконец спустилась, но не бросилась по коридору со всех ног, а пошла нарочито медленно. Наконец она показалась из-за угла, одетая в выпцветший купальный халат. Чарли не помнил, чтобы когда-нибудь видел ее в этом халате. Ее волосы были неприбранными, глаза — сонными.

— Прости, не хотел тебя будить.

— Я еще не совсем заснула. Первые десять минут не в счет.

Чарли улыбнулся. Потом на глаза его навернулись слезы. Да, это она, его Рейчел. Худенькое личико, кожа такая прозрачная, что кажется — можно заглянуть внутрь этой девочки, как внутрь драгоценного камня. Тонкие девчоночьи руки, застенчиво теребящие полы халата... Она явно не осознавала, как изящны ее движения.

— Мне просто не терпелось тебя увидеть, — сказал Чарли.

— Но ты ведь вернулся три дня назад. Я думала, ты сперва позвонишь.

Чарли снова улыбнулся. Тогда он не звонил ей целых три месяца. Но сейчас сказал:

— Терпеть не могу звонить по телефону. Мне хотелось не только тебя услышать, но и увидеть. Может, покатаемся?

— Надо сперва попросить разрешения у мамы.

— Она разрешит.

Разумеется, миссис Карпентер не возражала. Она отпустила какую-то банальную шутку и сказала, что доверяет Чарли. Она считала, что Чарли можно верить.

«Только не теперешнему мне,— мысленно поправил Чарли миссис Карпентер. — Беспечная женщина, ты сама вручила свое сокровище уличному воришке».

— На улице холодно? — спросила Рейчел.

— Толком не разобрал. Во всяком случае, в машине тепло.

Рейчел не надела плащ — казалось, ей хотелось пройти по ветерку.

Когда дверь за ними закрылась, Чарли сразу обнял Рейчел за талию. Она не вырвалась и не осталась безразличной. Прежде он никогда себе такого не позволял, ведь Рейчел была почти ребенком. Но эта девчонка, как всегда, удивила его, прильнув к его плечу. Привычно прильнув, словно поступала так не в первый раз.

— Я по тебе скучал,— сказал Чарли.

Она улыбнулась, в ее глазах блеснули слезы.

— Я тоже по тебе скучала.

Они заговорили о каких-то пустяках, и это было Чарли на руку. Он плохо помнил свою поездку в Бразилию и не помнил, как провел три первых дня после возвращения оттуда. К счастью, Рейчел не донимала его расспросами.

Они поехали к замку, и Чарли стал рассказывать его историю. Такая странная ирония судьбы: ведь именно благодаря Рейчел он сам узнал историю замка.

Спустя несколько лет Рейчел поступит в театральную труппу, которая возродит замок и превратит его в театр под открытым небом. А пока этот памятник эпохи WPA* медленно и неотвратно разрушался. Он представлял собой синтез древнегреческого амфитеатра и средневеко-

* Work Projects Administration — правительственное учреждение США, созданное в 1935 г. для борьбы с безработицей. Проекты WPA включали в себя строительство зданий, мостов, дорог и др. За восемь лет своего существования WPA обеспечило работой более 10 миллионов американцев. — *Примечание переводчика.*

вого европейского замка: внушительного вида башни окружали сцену, над которой поднимались ярусами каменные скамьи. В те годы здание принадлежало психиатрической лечебнице штата и о его существовании мало кто знал. Во всяком случае, кроме Чарли и Рейчел, здесь не было ни души.

Они вылезли из машины и поднялись по шербатым ступеням на сцену, выложенную такими же шербатыми каменными плитами.

Все окружающее буквально заворожило Рейчел. Она вышла на середину сцены, встала лицом к пустым рядам скамей и подняла руку. Казалось, она вот-вот начнет произносить монолог из какой-нибудь пьесы. Чарли вспомнил, где уже видел такой жест — в сцене прощания Джульетты со своей кормилицей. Кажется, Джульетта должна сначала что-то сказать, а потом на прощание махнуть рукой. Ему подумалось, что этот жест давно таился в Рейчел, поджидая момента, чтобы воплотиться.

Рейчел повернулась к Чарли, улыбнулась, и тот понял почему: в этом странном месте, никак не вязавшемся с архитектурой Прово, она чувствовала себя как дома. Ей следовало бы жить в эпоху Возрождения. Чарли так и сказал — совсем тихо, однако она услышала. Он и сам не осознавал, что произнес это вслух:

— Ты принадлежишь к иной эпохе, когда музыка была музыкой, а не набором отрывистых ритмичных звуков, когда женщины были прекрасны без всякой косметики. Если бы ты жила тогда, тебе бы не было равных.

Рейчел лишь улыбнулась и опять проговорила:

— Я скучала по тебе.

Чарли провел рукой по ее щеке. Рейчел не отстранилась; наоборот, она прижалась щекой к его руке, и Чарли понял: она знает, для чего он привез ее сюда.

У нее оказалась великолепная грудь, хотя пока небольшая. И ягодицы у нее были еще по-мальчишески маленькими. И волосы росли только на голове. Чарли пришлось откинуть их с лица Рейчел, чтобы снова ее поцеловать.

— Я люблю тебя,— прошептала она.— Я давно люблю тебя. Всю жизнь.

Все происходило именно так, как ему представлялось в мечтах. Только сейчас тело Рейчел было осязаемым, а

экстаз их любовного слияния — истинным. И ветер был чуть холоднее, когда она стыдливо начала одеваться.

На обратном пути оба молчали.

Когда они вновь очутились в гостинной, миссис Карпентер храпела на диване, рядом валялась целая кипа «Дейли геральд».

Лишь сейчас Чарли вспомнил: завтра для Рейчел наступит новый день. Она будет ждать его звонка, но он не позвонит. Она напрасно будет ждать его звонка целых три месяца, а потом... потом возненавидит его.

Он должен хоть как-то смягчить ее будущую боль. Что говорят в таких случаях? Какие-нибудь банальности вроде: «Что-то в жизни может случиться лишь однажды». Наверное, он бы так и сказал, но Рейчел прижала палец к его губам.

— Я никогда этого не забуду.

Потом она повернулась и пошла к дивану, чтобы разбудить мать. Вот и все. Чарли пора было уходить. Рейчел помахала ему рукой, улыбнулась, потом махнула снова.

Он тоже помахал в ответ, пошел к выходу не оборачиваясь, сел в машину и поехал домой. Там он лег в постель, но не уснул. Ему было хорошо и спокойно, как в детстве, и он жалел, что это не может продолжаться вечно. А ведь все могло быть именно так. Она вовсе не ребенок. Вернее сказать, тогда она вовсе не была ребенком. Вернее потому, что «лазутчик» уже возвращал Чарли в будущее.

— В чем дело, Чарли? — спросил Джок.

Чарли проснулся. Была глубокая ночь. После его возвращения прошло уже несколько часов. Его лицо было мокрым от слез — значит, он плакал во сне.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Но ты плакал, Чарли. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь плакал.

— Отстань от меня и тяпни миллион вольт, Джок. Мне просто приснился сон.

— Какой?

— Я сломал ей жизнь.

— Ошибаешься.

- Я поступил с ней, как последний эгоист.
- Ты сделал бы это снова, если бы смог. Но ты не сломал ей жизнь.
- Ей было всего четырнадцать лет.
- Ошибаешься.
- Послушай, я устал и хочу спать. Отвяжись.
- Чарли, по-моему, угрызения совести не в твоём стиле.

Чарли рассерженно натянул на плечи одеяло, думая, не была ли эта детская выходка подтверждением того, что его все больше одолевает старческая немощь.

- Чарли, позволь я расскажу тебе сказку на ночь.
- Доиграешься, что я вырву у тебя блоки памяти!
- Давным-давно, целых десять лет назад, одна престарелая дама по имени Рейчел Карпентер обратилась с просьбой найти для нее день в прошлом. И не просто день, а день с тобой. Естественно, запрос поступил ко мне, поскольку упоминалось твое имя. И знаешь что? Она хотела, чтобы ей нашли именно тот день — твой счастливый день. Меня это удивило, Чарли. Я даже не подозревал, что в твоей жизни бывали счастливые дни.

Эта электронная скотина слишком хорошо изучила Чарли и знала, как уколоть его побольнее.

— Увы, ей только казалось, что в твоём прошлом бывали счастливые дни, — продолжал Джок. — На самом деле там были лишь ожидания и разочарования. Ты поступал так не только с нею, Чарли. Со всеми. Ожидание и разочарование — это все, что ты мог дать.

— Зато ты, полагаю, не обманул ее ожиданий? — холодно спросил Чарли.

— Тогда Рейчел уже находилась в клинике для слабоумных. Что ж, я нашел для нее день. Только вместо дня разочарований и пустых обещаний я дал ей день ответов. Вернее, я дал ей ночь ответов, Чарли.

— В то время ты еще не мог знать, что я захочу ее увидеть и потребую, чтобы ты нашел мне день. Десять лет назад ты просто не мог этого знать.

— Ты совершенно прав, Чарли. Продолжим. Ты ведь все равно спишь, не так ли?

— Сплю, и нечего меня будить.

— Итак, престарелая Рейчел Карпентер перенеслась в ту пору, когда ей было четырнадцать лет. Хочешь знать, в какой именно день? В двадцать восьмое октября тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Четырнадцатилетняя Рэйчел так и не узнала, что произошло с ее ипостасью из будущего, поэтому жизнь ее не изменилась. Разве ты не понял?

— Ты лжешь.

— Нет, Чарли. Я не способен лгать. Ты запрограммировал меня так, чтобы я всегда говорил только правду. Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе отправиться в прошлое и сломать жизнь Рейчел?

— Но она была именно такой, какой я ее запомнил. Я не заметил никаких перемен.

— Ты хочешь сказать, ее тело осталось прежним.

— Она вся была прежней. Я обнимал не старуху, Джок, а девчонку. Четырнадцатилетнюю девчонку.

Чарли вдруг подумал о старухе, умирающей в заведении для слабоумных. Он представил себе желтые стены, простыни блекло-серого цвета и такие же унылые портьеры. Он вообразил юную душу Рейчел, запертую в неподвижном старушечьем теле и вынужденную подчиняться одряхлевшему рассудку, не имеющему ничего общего с ее прежним, острым и непредсказуемым разумом.

— Помнишь, тебе показалось, будто на телеэкране промелькнуло лицо Рейчел Карпентер? Тебе не показалось. Я показал тебе ее лицо,— сообщил Джок.

«И все же,— думал Чарли,— чья судьба тяжелее? Судьба Рейчел или судьба того симпатичного парня, который так хотел сделать все как можно лучше, но вместо этого петлял по жизни, делая совсем не то и не так? А теперь оказался в тупике, придавленный всеми этими “не то” и “не так”. Я избрал путь, который влечет очень, очень многих. Этот путь вел меня вверх, и я добрался до самой вершины — и тут выяснилось, что я двигался совсем не туда. Я ведь остался все тем же парнем, и мне не нужно было лгать себе по дороге к ее дому».

— Я слишком хорошо тебя знаю, Чарли,— сказал Джок.— Такой придурок, как ты, не мог не вернуться в прошлое. И не мог не сделать того, что ты сделал. Не терзайся. Она вернулась счастливой и довольной.

Значит, та ночь в замке оказалась ложью. Не было там ни взбалмошной девчонки Рейчел, ни симпатичного парня Чарли.

Он ждал, когда же в нем вспыхнет гнев, но этого так и не произошло. Просто они с умершей Рейчел обменялись подарками, и ее подарок до сих пор хранил свой сладкий аромат.

— Тебе пора спать, Чарли. Давай, засыпай. И не раскаивайся в своем поступке. Поверь, ты не сделал ничего дурного.

Чарли вновь с головой укрылся одеялом. Он уже забыл, что эта привычка появилась у него в далеком детстве, когда из шкафа вылезали странные призрачные существа и единственной защитой от них было одеяло. Он поплотнее укутался, закрыл глаза и ощутил... ласковое прикосновение ее руки. Она прижалась к нему, Чарли чувствовал ее грудь, колено, бедро, слышал ее шепот возле своей щеки.

Джок читал стихи, заложенные в него хозяином:

— Каштан цветущий корни в землю вплел.
Что всех главней в тебе: цветы, листва иль ствол?
О миг движения, о искрометный взор —
Как угадать, где танец, где танцор?

Погружаясь в сон, Чарли слышал рукоплескания зрителей.

«Хорошо, что они прозвучали вовремя», — подумал он.

Он представил себе людей, одобрительно улыбающихся девочке с поднятой рукой и кивками подбадривающих симпатичного парня. Наверное, зрителям казалось, что парень так и застынет на пути к рампе. Но тот улыбнулся и наконец шагнул на сцену.

Гастролер

Я всего лишь шел мимо. И ничего не делал. А влип я в эту авантюру только из-за своего вертикального мышления — Гастролер вдруг счел, что я могу оказаться полезным — в принципе, так оно и вышло. А еще он сказал, что я отлично подзаработаю — типичная лажа, так как скорее окружающие зарабатывают на мне, нежели я — на них.

Когда я говорю, что у меня вертикальный способ мышления, то имею в виду, что я существо метафизическое, ну, это все равно, что сказать: я мертв, но вот мой мозг пока этого не понял и ноги еще ходят. Когда мне было всего девять лет, меня очень лихо подстрелили — козел-сосед пальнул в свою бабу, пуля прошла сквозь стену и вцепилась прямо мне в башку. Все помчались туда, смотреть, что деется, там такой грохот стоял, поэтому, пока обнаружилось, что мне нехорошо, я успел лишиться пары-другой литров крови.

Мне забили голову суперлипкой и всякой электронной, только похоже, так и не разобрались, какой нейтрон куда суется, поэтому мой алхимический мозг обернулся вдруг чистым бриллиантом. Из грязи в князи. Липун. За-кристаленный Мальчик.

С того яркого, озаренного лучами ламп дневного света дня я не вырос ни на сантиметр. Ни в одном месте. Гонимые мои тут ни при чем, их пуля даже не трогала. Просто в моей голове шелкнул вдруг какой-то тумблер, отве-

чающий за половую зрелость. Святой Павел отзывался о себе, как о евнухе Иисусовом, в таком случае чей же евнух я?

Хуже всего то, что сейчас мне уже под тридцать, а я все еще таскаю барменов по судам, когда мне отказываются продавать пиво. Но вряд ли это стоит того — хоть судья и решает дело в мою пользу, а бармен выкладывает кругленькую сумму штрафа, мой трупик настолько мал, что после половины бутылки у меня крыша едет, а после целой я выбываю на свидание с унитазом. Хреновый из меня пьяница. Кроме того, все время на меня норовит повеситься какой-нибудь малый с педерастическими наклонностями.

Нет, я вовсе не пытаюсь выжать из вас слезу — я привык ко всему такому, понятно? Ну да, ангелочек-домохозяйка никогда не демонстрировала мне Великую Любовь на четырех точках, зато у меня имеется один дар, и некие личности находят его весьма незаурядным, поэтому я замечательно кручусь. Я классно одеваюсь, катаюсь себе на подземке и практически не плачу налогов. Потому что я — Парольщик. Пять минут работы с чьими-либо мозгами, ну, пять минут аутопсихоскопирования, и в девяти случаях из десяти я выдаю пароль и провожу вас прямиком к самым лакомым, грязным, потайным файлам персоны, которая вас интересует. Хотя, вообще-то, обычно я угадываю примерно в трех случаях из десяти, но и то хорошо. Иначе вам придется по меньшей мере год сидеть за компьютером и составлять из пятнадцати символов правильный пароль — это учитывая, что после третьей неудачной попытки вашу телефонную линию накрывают, заветные файлы замораживают и вызывают легавых.

Ой, вам, кажется, дурно стало? Такой милашечка-мальчонка вовлечен в опасную, противозаконную, антиобщественную, просто преступную деятельность? Может быть, я наполовину стеклянный, может, ростом я метр с кепкой, но притворяться я умею покруче вашей собственной мамочки, а чем лучше я вас узнаю, тем глубже подцеплю. Я способен угадать не только ваш **НЫНЕШНИЙ** пароль — я могу написать слово на бумаге, положить в конверт,

заклеить, а затем вы вернетесь домой, ИЗМЕНИТЕ пароль, но когда откроете мое письмо, то обнаружите — что? Свой НОВЫЙ пароль — и так в трех случаях из десяти. У меня мозг ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, и Гастролер знал это. Еще десять процентов суперлипы, и согласно закону мне было бы отказано в звании человека. Но все-таки нормы я не превысил, и сейчас я более нормален, нежели большинство людей, у которых в головах вообще черт знает что творится.

Так вот, стою это я на стульчике в Каролинском центре, режусь в «пинболл», тут подваливает ко мне Гастролер. Он ничего не сказал, просто пихнул меня, поэтому, естественно, сразу схлопотал локтем по яйцам. Я достаточно навидался всяких двенадцатилетних уродов, пытающихся опустить меня у игровых автоматов, поэтому научился достойно отвечать. Джек — Победитель Великанов. Герой четвероклашек. Обычно я бью в живот, вот только Гастролеру было не двенадцать годков, поэтому локоть угодил несколько ниже.

В ту же самую секунду, как я врезал ему, я понял, что это вовсе не мальчишка. Мне было все равно, Гастролер это или Господь Бог, но у него был вид, ну, понимаете, вид человека, который достаточно наголодался, чтобы жрать не задумываясь все, что под руку попадется.

Ни орать, ни вырубаться он не стал, просто сидит на полу, прислонившись спиной к автомату «Убей их всех на три буквы», держится за свое имущество и глядит так, будто сейчас встанет и перепеленает меня.

— Надеюсь, ты Липун...— говорит наконец он.— В противном случае мама получит тебя обратно разложенным на три составные части.

Никогда не думал, что подобным тоном можно угрожать. Голос его звучал так, будто он главный плакальщик на собственных похоронах.

— Хочешь иметь со мной дело, пользуйся ртом, а не руками,— отвечаю я отмороженно. Мне-то что, мне терять уже почти нечего. Да и зол я был до чертиков.

— Пшли,— цедит он.— Мне надо купить кой-чего. Платишь ты, у тебя скидка.

Мы двинули в «Айви» и, как бы выбирая, задержались у полок с детской одеждой.

— Один пароль,— говорит он,— только никаких ошибок. Ошибешься, и парень потеряет работу, а может, и в тюрьму загремит.

Ответ мой был отрицательным. Тройка из десятки, вот и все, что я могу выбить. Никаких гарантий. Мой послужной список говорит сам за себя, но никто не совершенен, а я рядом с совершенством тем более не валялся.

— Да ладно тебе,— продолжает убеждать он,— наверняка у тебя имеются в запасе какие-нибудь штучки, чтобы сделать все как надо. Ты, к примеру, угадываешь в трех случаях из десяти, а что, если ты узнаешь о клиенте побольше? Ну, встретишься с ним и так далее?

— О'кей, может, пятьдесят на пятьдесят.

— Слушай, второй попытки нам не дано. Допустим, ты не сможешь вытащить пароль. Но сам-то ты ПОНИМАЕШЬ, когда ничего не выходит?

— Ну, примерно в половине случаев, когда ошибаюсь, я знаю, что ошибся.

— Ага, стало быть, остается три из четырех, когда ты можешь сказать, получилось или нет?

— Нека,— сплевываю я.— Потому что в половине случаев, когда я оказываюсь прав, я не знаю этого.

— Че-е-ерт,— тянет он.— С тобой связываться — все равно что с моим младшим братишкой играть.

— Все равно я тебе не по карману,— отвечаю я.— Я тяну минимум на две десятки, а ты, судя по всему, на свою «золотую карту» даже завтрака себе не купишь.

— Я предлагаю пай.

— Я паев не беру. Наличные, и точка.

— Ага, ну да,— хмыкает он. И оглядывает по сторонам, воровато так, как будто в стопках колготок скрывается шпион.— У меня есть один парень, он в Федеральном Кодировании,— шепчет он.

— Фигня,— говорю я.— А у меня «жучок» засунут к Первой Леди в зад, сороковой час ее газов на пленку записывается.

Язык у меня классно подвешен. В этом я не сомневаюсь. И никаких поводов для сомнений у меня вообще

не остается, когда моя морда впиливается в кипу детских рубашек, а он цедит мне на ухо:

— Ты вот это попробуй, Липун.

Ненавижу, когда со мной так обращаются. И знаю, как заставить обидчика пожалеть об опрометчивом поступке. Мне всего-то надо расплакаться. Да погромче — завопить во всю глотку, будто меня убивают. Когда ребенок плачет, все сразу начинают оглядываться.

— Я никогда больше так не буду! — ору я. — Только не бей меня, не надо! Я буду хорошим!

— Заткнись, — шипит он. — Люди смотрят.

— Никогда, никогда не распускай со мной руки, — говорю я. — Я по меньшей мере лет на десять старше тебя и один черт знает на сколько лет мудрее. Сейчас я погреб из этого магазинчика, но, если вдруг увижу, что ты поперся за мной, я начну орать, что ты расстегнул ширинку и показал мне свою игрушку. Будь спок, ярлык насильника малолетних ты мигом схлопочешь, и каждый раз, когда в радиусе сотни миль от Гринсборо кто-нибудь решит побаловаться с мальчиком или девочкой, хватать первым делом будут тебя.

Я и раньше проворачивал этот номер, все только так сходило мне с рук, а Гастролер дураком не был. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы легавые взяли его на заметку, не говоря о беседе с глазу на глаз с каким-нибудь копом. Я уже подумал, что он вот-вот пошлет меня куда подальше и мы мирно расстанемся.

А вместо этого он и говорит:

— Слышь, Липун, ну, прости, ну, сорвался, бывает.

Никто и никогда не извинялся передо мной — даже тот козел, что разворотил мне башку. Перво-наперво я опешил: что это за баба мне попалась — парень взял да попер на попятный, вылизывая зад малолетке. Но потом я решил повременить чуть-чуть с отходом и посмотреть, что же это за мужик, который не стесняется расплескаться перед девятилетним мальчишкой. Не то чтоб я пожалел его, нет. Он все еще хотел, чтобы я добыл ему этот пароль, и знал, что никто, кроме меня, на это не способен. Но у большинства из тех, кто обычно болтается по улицам, мозгов не хватает в нужный момент правильно со-

лгать. Я сразу понял, что он не какой-то там мелкий паскудник или воришка, Богом обиженный и хватающийся потому за любую работенку. Глаза у него были глубокие, это значит, что головой он пользуется не как шариком волосатым — в общем, я хочу сказать, что у него хватало ума, засовывая руки в карманы, не тянуться к любимой игрушке. Именно тогда-то я и решил, что этот лживый сукин сын чем-то мне приглянулся, что это мой тип парня.

— Что ты позабыл в Федеральном Кодировании? — спросил я его. — Стереть что-нибудь хочешь?

— Десять чистеньких «зеленок», — отвечает он. — Закодированных на свободный международный проезд. Весь комплекс, как у настоящего человека.

— У президента имеется зеленая карта, — начинаю считать я. — Главы Объединенных Государств располагают «зеленками». И все. Даже вице-президент США недостаточно чист для того, чтобы свободно шастать туда-сюда через границы.

— Ошибаешься, — подмечает он.

— Угу, ну как же, ты ведь мистер Всезнайка.

— Мне нужен пароль. Мой человек может обеспечить нам красные и голубые карты, но чистыми «зеленками» распоряжается один бюрократус двумя уровнями выше. Мой человек объяснил мне суть процесса.

— Одного пароля мало, — усмехаюсь я. — Тот чувак, который заведует зелеными картами, ведь на них должен стоять отпечаток его пальца.

— Палец я обеспечу, — уверяет он. — Здесь понадобится палец ПЛЮС пароль.

— Если ты вдруг отнимешь у мужика палец, он ведь может и сообщить куда следует. Даже если ты убедишь его, что этого делать не стоит, отсутствие столь жизненно важного предмета кто-нибудь да заметит.

— Латекс, — возражает он. — Мы сделаем палец из каучука. И кончай мне здесь советовать. Это моя часть работы. Ты добываешь пароль, я добываю отпечатки пальцев. Ты в деле?

— Наличка, — предупреждаю я.

— Двадцать процентов, — предлагает он.

— Черта с два.

— Мой человек получает двадцать процентов, девочка, которая добудет мне пальчики,— еще двадцать, и мне остается сорок, ни процента я не уступлю.

— Надеюсь, ты понимаешь, что на улице такими картами не больно-то поторгуешь.

— Они стоят мег за штуку,— сообщает он.— И кое-кто готов платить.

Под «кое-кем» он, разумеется, подразумевал Орконизованную Преступность. Десять «зеленок» скинуть, и моих двадцати процентов набегает два меча. Не очень-то, чтобы прослыть богатеем, но вполне достаточно, чтоб завязать с общественной жизнью и, может, дать на лапу кое-каким крутым медикам из высших эшелонов, дабы обеспечили мне растительность на лице. Так что я счел предложение весьма разумным.

И мы взялись за дело. Пару часов он крутил-вертел, но имя бюрократы никак не хотел говорить, просто кормил меня информацией, полученной от того парня в Федеральном Кодировании. Но это не покатило — вот уж действительно дурость, снабжать меня второсортными байками, тем более что он добивался от меня стопроцентной гарантии. Однако вскоре он осознал свою неправоту и раскрыл карты. Да, эх его корежило, пока он выкладывал все начистоту, ведь своего-то ему упускать не хотелось. Стоит мне войти в курс, вдруг у меня в голове что-то сместится и я решу заняться этим делом на собственных началах? Но поскольку другого способа добыть пароль у него не было, ему пришлось связаться со мной, а чтобы обтяпать все чин чином, я должен знать как можно больше. Гастролеру умишка не занимать, пусть даже все его извилины давно биодegradировали, поэтому он быстро осознал, что бывают времена, когда другого выбора, кроме как довериться ближнему, нет. Бывают в жизни минуты, когда тебе остается лишь надеяться, что поделщики сделают все как нужно без твоей постоянной опеки.

Он отвез меня на свою дешевую хату в старом кампусе у Гилфордского колледжа, расположенную как раз рядом с подземкой, а это, как говорится, то, что Бог наказал — если придется рвать когти, до Шарлотта, Винстона или

Рэйли мы долетим вмиг. Жилище его было весьма скромным — никаких тебе мягких полов, одна кровать посреди-не, зато огромная, так что не думаю, чтоб он очень страдал. Скорее всего, подумал я, он приобрел ее еще в старые, гастрольные деньки, после того как заполучил свое прозвище. Тогда он выгуливал целую когорту сучек с имечками типа Принцесса, Карлотта или Жанет, всегда готовых на «раз-два, ножки врозь». Я сразу увидел, что когда-то в карманах у него не переводились денежки, но это «когда-то» осталось далеко в прошлом. Всюду валялись кучи классной одежды, пошитой у портных, но все было порядком поношено и потрепано. С самых древних костюмов он посрывал все лампочки, однако следы от гирлянд диодов все еще были видны. Неандертальцы, получив такое барахло, запрыгнули бы на седьмое небо от счастья.

— Тшеславным можешь ты не быть, но экономным быть обязан,— замечаю я, поднимая рукав камзола, который когда-то сверкал, что твой самолет, заходящий на посадку.

— Очень удобные шмотки, жаль выкидывать,— отвечает он. Но голос срывается, и я понимаю, что он даже не пытается одурачить меня — или себя.

— Пусть это послужит тебе уроком,— нравоучительно вещаю я.— Вот что бывает, когда гастролер отказывается от гастролей.

— Гастроли были, есть и будут,— говорит он.— Но что касается меня, то когда дела шли отлично, я чувствовал себя препаршиво, а когда все из рук валилось, я кайф ловил. Может быть, гастролируя с высшим составом, ты можешь кичиться положением. Но у тебя обычная команда, и ты прекрасно знаешь, как с твоими девочками обращаются...

— Брось ты, у них в башке кнопка, ни фиги они не чувствуют. Поэтому-то легавые вас и не трогают, когда ты тащишься по улицам со своим оркестром — вреда от тебя никому нет.

— Ага, только ты вот скажи, что хуже: когда девочке вставляют так, что она визжит во всю глотку и старый

козел мигом сворачивает свое достоинство в трубочку, или когда у девочки в череп, как в окошко, глазеть можно, когда этот мудака может пахать ее сколько душе угодно, а она ни хрена не почувствует? Эти тела меня окружали, и я знал, что когда-то мои подопечные были настоящими людьми.

— Можно быть закристалленным, — отвечаю я, — и оставаться человеком.

Он понял, что я принял это на свой счет.

— Эй, — возражает он, — ты мимо, у тебя с башкой все нормально.

— У них тоже, — говорю я.

— А, ну да, — хмыкает он. — Только девочка возвращается с очередного задания и давай рассказывать, что с ней вытворяли, и ты знаешь, она СМЕЕТСЯ, тогда-то твоя система счета и летит ко всем чертям.

Я окидываю взглядом его полинялое жилище.

— Дело твое, — соглашаюсь я.

— Я предпочел не мараться в этом дерьме, — говорит он. — Но это вовсе не значит, что я должен провести остаток дней в нищете.

— Поэтому и влез в эту авантюру. Чтоб вернуться к старым денькам мира и процветания.

— Процветание, — повторяет он с презрением. — Ну и словечки ты выбираешь! Иногда как выдашь!

— Все потому, что, в отличие от некоторых, я эти словечки знаю.

— На самом-то деле, ничего ты не знаешь, — ухмыляется он, — потому что чаще всего употребляешь их неправильно.

В ответ на что я выдал ему свою фирменную улыбку пай-мальчика.

— Я в курсе, — говорю я.

Только я не сообщаю ему, в чем соль шуток. Самое смешное здесь то, что почти никто даже НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, что я употребляю их неправильно. Этот Гастролер не дурак. Дурак не способен, руководствуясь одними угрызениями совести, отказаться от прибыльного дельца — это ненормально. Этим я хочу сказать, что в голове

Гастролера присутствуют какие-то бродячие извилины, и мне начинает казаться, что неплохо было бы посмотреть, куда эти бродячие извилины в итоге приведут.

Как бы то ни было, мы приступили к работе. Имя моего подопечного оказалось Джесс Х. Хант, и я неплохо с ним потрудился. Закристаленный Мальчик начал копать. У Гастролера имелось порядка двух страниц всяческой информации касательно этого субъекта — дата рождения, место рождения, пол при рождении (с тех пор не изменился), образование, послужной список. Но это было все равно что рыться в контейнере пустых коробок. Я просто расхохотался, когда ознакомился с данными.

— У тебя связь с городской библиотекой есть? — спросил я его, и он ткнул в разъем на стене.

Я подключился к модему, визуальный сигнал вывел на портативный сони, а свою дорогую закристаленную головку использовал как передающее звено. Не каждый липун способен на такое, сами понимаете — управляя процессом мысленно и считывая должные сигналы через встроенный в левое ухо интерфейс, я выдавал наичистейшую картинку.

Одним словом, показал я Гастролеру, что такое копнуть по-настоящему. Заняло это десять минут. Я прошерстил всю Публичную библиотеку Гринсборо. Пароли каждого библиотекаря я давным-давно определил, поэтому проскочил тихо, как мышка, — служивые даже не заметили, что по каналам доступа кто-то шарится. Из Публичной библиотеки можно попасть в Центральное Бюро Северной Каролины, что в Рэйли, а там дело плевое — в вашем распоряжении любые федеральные данные по всей стране. Это означает, что к концу того зловещего дня мы располагали копиями всех документов, касающихся личной жизни Джесса Х. Ханта, начиная со свидетельства о рождении и первого школьного табеля и заканчивая медкартой и докладами сотрудников службы безопасности, когда наш бюрократ впервые завязался с федеральными властями.

На Гастролера моя работа произвела должное впечатление, знающий человек попался.

— Раз ты можешь провернуть такое, — выдыхает он, — ты, наверное, без труда вытащишь и сведения о его личном коде.

— Но пуэдо, чувак, — говорю я как можно дружелюбнее. — Система федеральных властей — что замок. Личные файлы — это рыбки, шарящиеся во рве; правда, там и аллигаторы попадаются, но я отлично плаваю. А информация погорячее содержится в темнице. Проникнуть ты туда проникнешь, но вот выбраться... Ну а пароли — пароли вообще засунуты в самый зад царствующей королевы.

— Нет такой системы, в которую невозможно проникнуть, — цитирует он общеизвестную истину.

— Где ж ты это вычитал, в общественном туалете, на стенке кабинки? Если бы система паролей поддавалась взлому, джентльмены, которым ты планируешь скинуть эти карточки, уже сидели бы внутри и на нас пальцем показывали. Им бы не пришлось разбрасываться мегами, чтобы приобрести чистую «зеленку» у какого-то уличного бродяги навроде тебя.

Самое неприятное заключалось в том, что, перелопатив целые залежи информации о Джессе Х. Ханте и обзаведясь уважением Гастролера, я не так уж далеко продвинулся в своих изысканиях. Да, я мог догадываться о кое-каких паролях, но на уровне догадок все и застыло. Я не мог даже поручиться, какой из вариантов наиболее близок к настоящему. Джесс оказался заурядной канцелярской крысой. Сравнительно хорошие отметки в школе, сравнительно хорошие показатели на работе и скорее всего такая же относительно качественная производительность при ночных забавах с женой — все строго по расписанию и графику.

— Неужели ты думаешь, что твоя девочка действительно добудет его пальчики? — с едким презрением интересуюсь я.

— Ты мою девочку не знаешь, — задирает нос он. — Если бы нам понадобилась его игрушка, она бы нам не только слепок добыла, но еще и снимки в фас-профиль приложила.

— А ты не знаешь этого парня,— отвечаю я.— Он, должно быть, самый непорочный тип во всем штате. Он, наверное, даже жену свою и ту ни разу не обманул.

— Доверься мне,— говорит Гастролер.— Она снимет пальцы, а он и не узнает, что его отпечатки стали теперь достоянием общественности.

Я не поверил ему. Я чувствую людей, а Джесс Х. не притворялся. Если только он не начал притворяться еще в пять лет, что, насколько я знаю, не встречается никогда. Он не станет кидаться на первую встречную-поперечную, от которой у него за ширинкой шевелится. Кроме всего этого, голова у него варит. Послужной список показывал, что, какая бы неожиданность ни произошла, Джесс всегда оказывался на подхвате. Такое впечатление, что нужным людям всегда было известно о его существовании. Одним словом, он был не из тех парней, чей мозг отказывается работать, стоит только джинсам слегка накалиться. Чем я и поделился с Гастролером.

— Да, ты действительно крут,— фыркает Гастролер.— Ты не можешь сообщить мне его пароль, зато абсолютно уверен, что он либо дурак, либо слабак.

— Ни то, ни другое, ни третье,— поправляю я.— В своих начинаниях он прям и непокобелым. Если какая-нибудь девчонка вдруг начнет тереться о него, он не станет обольщаться мечтаниями, что до нее дошли слухи, будто бы у него член как кронштейн. Нет, он сразу поймет, что ей от него что-то нужно, и не утихомирится, пока не узнает что именно.

По роже Гастролера расплзлась довольная ухмылка.

— Я заручился подмогой лучшего Парольщика во всей округе. Я уговорил восьмое чудо света, мальчишку по прозвищу Липун. Компьютерного взломщика, которого зовут Закристалленным мальчиком. Что, скажешь, я не получил его, а?

— Может быть,— пожимаю плечами я.

— Либо он со мной, либо на том свете,— говорит он, демонстрируя оскал, насчитывающий зубов больше, чем у какого-либо из приматов.

— Верно, я в деле,— отвечаю я.— Вот только не надейся, что пришить меня будет левым делом.

Он всего лишь смеется:

— Я заполучил тебя, а ты действительно крут, так неужели ты думаешь, что я возьму в долю непрофессионалку?

— Ничего я не думаю,— ворчу я.

— Ну-ка, выдай мне пароль, и я хлопнусь на пол в восхищении.

— Хочешь побыстрее? Так сходи к нему и попроси, чтобы он сам тебе все сказал.

Гастролер не относится к людям, которые предпочитают скрывать свое бешенство.

— Да, я хочу побыстрее,— цедит он.— А если мне вдруг покажется, что ты свою часть договора не выполняешь, я тебе язык вырву. Через нос.

— О, вот это здорово,— радуюсь я.— Просто класс. Знаешь, мне всегда работается лучше, если клиент угрожает физической расправой. Ты действительно умеешь заставить меня прыгнуть через голову.

— Я не хочу, чтобы ты прыгал через голову,— парирует он.— Мне нужен всего-навсего пароль.

— Сначала мне надо встретиться с ним,— заявляю я.

Он нависает надо мной так, что легкие мои наполняются запахом его тела; я вообще очень чувствительный человек, и поверьте на слово, от него просто разит мужскими гормонами, дамочки от одного такого аромата залететь могут.

— Встретиться с ним? — рычит он.— А почему бы сразу не попросить его рассказать о своей работе?

— Я знаю все о его работе,— спокойно говорю я.

— Интересно, как это стеклянная голова, вроде тебя, встретится с мистером Федеральным Кодированием? — кипит он.— Хотя да, могу поспорить, тебя приглашают на те же самые вечеринки, что и парней вроде него.

— На вечеринки, где развлекаются ВЗРОСЛЫЕ, меня не приглашают,— поправляю я.— Но, с другой стороны, взрослые люди не больно-то обращают внимание на таких маленьких мальчиков, как я.

— Тебе в самом деле так необходимо встретиться с ним? — вздохнул он.

— Да нет. Если тебя устроят шансы пятьдесят на пятьдесят.

Вот тогда-то он и взорвался, просто рванул. Смахнул стакан со стола, тот вдребезги разлетелся о стену, затем перевернул стол, а я тем временем ломал голову, как бы убраться отсюда целым и невредимым. Но шоу устроено по моим заявкам, поэтому живым мне не уйти. Он хватает меня за шкварник и орет прямо в морду:

— Я слышать больше не хочу о всяких «пятьдесят на пятьдесят», «шестьдесят на сорок» и «трех из десяти». Ты понял меня, Липун, понял?

Я мигом превращаюсь в ангела, дружелюбие и симпатия так и прут из меня, потому что этот парень в два раза здоровей меня и в три раза тяжелей, и спорить мне с ним не с руки.

Поэтому я щебечу:

— Понимаешь, Гастролер, я ничего не могу с собой поделаться, я постоянно подсчитываю шансы, ведь у меня мозг вертикальный, ты вспомни! Вот здесь у меня все забито электроникой и микрочипами. Одни люди потеют, что же касается меня, то я все время подсчитываю соотношение.

Тогда он стучит себя по башке:

— Моя голова тоже не бутерброд с сосиской, но ты знаешь, и я знаю, что, если ты выдашь мне точные данные, все равно это останется на уровне догадок. Ты видишь эту древесную крысу в первый раз в жизни, при чем здесь процент?!

— Ни при чем, зато я знаю СЕБЯ. Я понимаю, тебе не нравится, что я постоянно сыплю цифрами, но в моей отмороженной памяти записан каждый пароль, что я когда-либо выдавал, а значит, я способен подсчитать, когда с первого раза попадал в точку после встречи с человеком и когда угадывал пароль, ознакомившись всего лишь с его подноготной. Я тебе спокойно все это подсчитаю и выдам с точностью до третьего знака после запятой. Так вот, если я не встречу с ним лично, а буду работать на основе полученных сведений, я даю сорок восемь целых и восемьсот тридцать восемь тысячных процента гарантии, что угадаю пароль с первого раза, и шестьдесят шесть целых и шестьсот шестьдесят семь тысячных процента, что сделаю это с трех раз.

Моя речь несколько остудила его пыл, чему, должен сказать, я немало порадовался, потому что он завязал швыряться стаканами, ворочать столы и плевать мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке.

— Что ж, Парольщик мне достался что надо, как ты думаешь? — изрекает он без малейшей тени улыбки на лице.

Он действительно ОТСТУПИЛ, вот только глаз не стал опускать, глаза его молча говорили, ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь, у меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть. Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха, но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил, так, будто был УВЕРЕН, что все видит и понимает, но дело-то в том, что я сам себя не знаю, и мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась в сознании — вот так вот и было, надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли.

— Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге, — наконец собираюсь с силами я.

— А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам?

— Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?

— Не знаю. А вдруг так и будет? Что тогда? Думаешь, у тебя получится встретиться с ним еще раз?

— Хорошо, будем считать, что потеряшка в универмаге не катит. Но я могу грохнуться с велосипеда на его лужайке. Могу попробовать всучить ему кабельные журналы.

Однако Гастролер точно угадывал мои мысли:

— Стоит тебе заикнуться о журналах, он хлопнет дверью прямо перед твоим носом, если вообще ее откроет. А что касается велосипеда и лужайки, то здесь твой стек-

лянный умишко, видимо, совсем съехал, раз выдал такую идею. Моя подружка работает сейчас на него, и знаешь, как ей это удалось? Задача не так проста, как ты думаешь, потому что этого типа вокруг пальца не обведешь — моей девчонке пришлось устроить целую истерику, мол, с парнем своим она порвала, Джесс Х. Хант один из всех людей на свете носит жилетку, в которую она хочет поплакаться, и вообще, его жена такая счастливая, у нее такой замечательный супруг и так далее, и все в таком роде. Этому он еще поверил. Но когда у него на лужайке вдруг грохнется малец, он начнет задумываться: что-то странное вокруг него творится, — или ты считаешь, что будет иначе? Он параноик, в этом я уверен на все сто, потому что к федеральной верхушке ты и близко не подберешься, если не научишься смотреть по сторонам и расправляться с врагами прежде, чем ОНИ поймут, что им следует позаботиться о тебе. Если хоть на секундочку он заподозрит, что кто-то его пасет, как ты думаешь, что он сделает первым делом?

К этому времени я уже понял, куда клонит Гастролер, и он был абсолютно прав, поэтому я отдал ему должное — позволил и дальше распускать хвост и кичиться победой.

— Ты прав, — киваю я, — он поменяет все пароли, сменил привычки и начнет шараться от каждой тени.

— И от моей славной задумки камня на камне не останется. Чистых «зеленок» нам как своих ушей не видать.

Тогда-то я и врубился, почему этот уличный мальчишка, эта бывшая сошка — почему именно он может справиться с делом. В отличие от меня, он не обладал вертикальным мышлением, у него не было никаких бзиков, как у нашего чиновника, и из свитера у него ничего не выпирало, поэтому на роль девочки он тоже не годился; зато у него были глаза на локтях и уши на коленках — этим я хочу сказать, что он подмечал все, что только можно было подметить, а после этого подмечал все остальное — то, что даже подметить было нельзя.

В общем, пока мы ждали, когда же наша девочка наконец очутится в объятиях страждущего Джесса и снимет с него отпечатки, и пока мы разрабатывали простой и незатейливый предлог для встречи с ним, я успел позна-

комиться с Гастролером поближе. Нет, не то чтобы он настаивал на встречах, просто каждое утро получалось так, что я от делать нечего садился на автобус и вдруг натыкался на него, или, к примеру, только Гастролер заваливался в «Боджангл», чтобы обожраться жареной курицей и нажить язву желудка, и сразу я — «как назло» — подворачивался под руку, заходил якобы пообедать. Я, разумеется, вел себя очень осторожно — познакомившись раз с хваткой Гастролера, я не очень-то жаждал пытать судьбу сызнова, но если он и пытался меня запутать, то ни хрена у него не получилось.

Даже спустя несколько дней, когда призраки промерзшей, пустынной улицы уже окружили нас, он и то меня не тронул. Даже после того, как Толстозад в лицо ему заявил: «А ты, похоже, с девочками своими крепко завязал? Теперь перешел на маленьких мальчиков? Начал пасти маленьких зверушек, да? Так, может, нам тебя Дрессировщиком лучше назвать, а? Или ты его держишь так, для личного пользования?» Я всегда говорил, что в один прекрасный день кто-нибудь основательно займется Толстозадом — то есть сдерет с него шкуру и использует ее для кровли крыши, но Гастролер всего лишь отмахнулся и пошел прочь. Продемонстрировав Толстозадку средние пальцы, я устремился следом. Большинство сразу посылает меня куда подальше, когда начинаются наезды насчет «дружеских отношений с маленькими мальчиками», но Гас, он, конечно, и словом не обмолвился, друзья мы или нет, но и не прокатил меня. В общем, меня не кинули в Бермуды, плавать в ихнем треугольнике с задницей, натянутой на уши, — этим я хочу сказать, что он не стыдился пройтись со мной по улице; вы бы, конечно, предпочли всему этому шестиминутный оргазм, но для меня это было словно дуновение свежего ветерка в жарком августе, ведь я Гастролера об этом не просил, да и не верил, что наша дружба пребудет в веках, но пока она пребывала, и душу мою это грело.

Чтобы познакомиться с личной жизнью Джесса Х., мне пришлось превзойти самого себя, я выдал лучшее, на что только был способен. Даже немножко возгордился, хотя как я не придумал ничего подобного раньше, до сих пор

не понимаю; правда, раньше рядом со мной не было Гастролера, который, стоило мне предложить что-нибудь новенькое, твердил как попугай: «Дурацкая идея, дурацкая идея». К тому времени, когда я наконец изобрел нечто такое, о чем он не отозвался как о «дурацкой идее», моя прозрачная крыша чуть окончательно не поехала. Я хочу сказать, к тому моменту я весь светился что твоя сто-ваттная лампочка.

Перво-наперво мы разузнали, кто сидит с детьми Джесса Х. и миссис Джесс, когда те отправляются за город (выезжая на природу, Примерные Граждане Гринсборо ведут себя как один — некоторое время прогуливаются по какому-нибудь загородному лужку, ломая головы, чем бы заняться, затем по очереди мочатся в общественном туалете, после чего удовлетворенные возвращаются назад). Присматривать за отпрысками Джессов обычно подходили две девчонки, которые за некую мзду честно игнорировали младенцев, пока родители развлекались. Однако когда эти милочки были заняты — это означает, что они отправлялись на свиданку с каким-нибудь жеребцом с постоянно расстегнутой ширинкой и трахались в обмен на гамбургер и дешевую киношку, — Хант обращался за помощью к Домашней Неотложке Мамочки Хаббард. Приняв личину четырнадцатилетнего подростка, поражающего своей ничтожностью и специализирующегося на северо-западной части города и округа, я очень миленько вписался в эту достопочтенную организацию. Весь процесс занял ровно неделю, но Гас никуда не спешил. «Лучше дольше, но лучше, — проповедовал он. — Если мы поспешим, кто-нибудь может заметить проскакавших мимо типов и посмотрит нам вслед, а стоит кому-нибудь посмотреть нам вслед — все, мы пропали». Типично горизонтальное мышление было у этого парня.

Вот наконец снова наступил тот благословенный вечер, когда Ханты решили развлекнуться. Как назло, обе приходящие красотки имели в тот вечер грандиозный трах (мы потратили уйму времени, уговаривая двух кобелино посвятить себя этим шлюшкам). Сие печальное известие постигло мистера и миссис Джесс в самую последнюю секунду, поэтому у них просто не было выбора, кроме как

обратиться за помощью к Мамочке Хаббард, и надо же как им повезло, всего лишь полчаса назад в агентстве объявился милашечка Стиви Квин — муа собственной персоной — и признался, что не прочь потешиться с чьим-нибудь младенцем. Айн плюс айн получается цвай, поэтому спустя считанные минуты шофер Мамочки Хаббард выкинул меня у дверей дома Джесса Ханта, где я имел удовольствие лицезреть не только мистера Чинушу лично, но также удостоился чести быть поглаженным по головке самой миссис Чинушиарией. Счастливые родители удалились, а я принялся нянчить высокорожденных инфантов, в чье число входили психопат Чинуша-младший и постоянно плюющаяся Чинушеску — соответственно, пятилеток и трехлетка, плюс Микрочинуш, годовалый тип (пока что вообще не человек, хотя, насколько я разбираюсь в характерах, ему и не грозит прожить достаточно долго, чтобы стать таковым), который, пока я его перепеленал, залил мне всю физию теплой уриной. Словом, тем вечером все домашние замечательно провели время.

В результате героических усилий с моей стороны эти маленькие твари очутились на своих ковриках несколько раньше обычного. Я же, будучи истинным «бэбиситтером», отправился на охрану дома от возможных взломщиков и грабителей — кому какое дело, что случайно я то и дело наткнулся на всяческую полезную информацию о бюрокрысе, чей заветный пароль пытался вывести. Первое, что я заметил, — это то, что на каждый из ящиков наклеен маленький волосок. В общем, если бы мне вздумалось что-нибудь позаимствовать из дома, хозяин мигом прознал бы о незаконных действиях относительно своего письменного стола. Также я узнал, что у него и жены интимные принадлежности в ванной хранятся по отдельности, даже зубной пасты, хоть та и была одинаковой, было по тюбику на персону. Забота о «предохранительных» мерах была возложена на мужские плечи. («Причем относится он к своей обязанности спустя рукава», — прокомментировал про себя я, уже успев познакомиться с многочисленным потомством.) Никакими смазочными материалами и доставляющими усладу штучками он не пользовался. В шкафчике лежали всего лишь несколько обыкновенных,

выпускаемых правительством — а следовательно, железобетонных — резиновых «напальчечников», из чего мой злорадный умишко заключил, что в постели у Джесса не больше развлечений, чем у меня самого.

Таким образом, я набрал достаточное количество радующей информации, самой тривиальной, но жизненно необходимой. Я никогда не могу предсказать, какие нити из тех, что я ухвачу, соединятся в будущем с люменами моего светлейшего мозга. Но до этого мне ни разу не выпадала возможность беспрепятственно побродить по дому человека, чей пароль мне предстояло определить. Я проглядел записки, которые дети приносили домой из садика, просмотрел журналы, выписываемые семейством, и с каждым полученным байтом информации я все больше убеждался, что Джесс Х. Хант и семья — вещи несовместимые. Он, как водомерка, бегал по поверхности водоема жизни, стараясь не замочить лапки. Он умрет, и если о труп никто не споткнется, то смерть его заметят лишь много недель спустя. Это не потому, что на всех ему было ровным счетом наплевать, наоборот, это потому, что вел он себя самым, самым наипосторожнейшим образом. Он изучал все и вся, вот только смотрел не с того конца микроскопа, поэтому «все и вся» становилось мелким, незначительным и далеким. К концу того вечера я превратился в грустного маленького мальчика и на прощанье посоветовал Микрочинушу почаще справлять нужду в физиономии близлежащих лиц мужского пола, потому что только так можно пронять его папочку.

«А что, если он предложит отвезти тебя домой?» — спросил меня Гастролер, на что я ответил: «Ага, сейчас, где ты видел подобную благотворительность?», но Гастролер настоял на своем и обеспечил мне плацдарм для посадки, и будьте уверены, в конце концов Гастролер праздновал победу, а я круто облажался. Тот вечер закончился для меня поездкой в бюрократской тачке, в настоящем «пикапе», собранном на одной из кишаших крысами американских автостанций; эта сволочь доставила меня прямо к дому — с которого на время операции была снята табличка «Продается». У дверей нас встретила взбешенная

Мама Лошадь и прямо с порога обложила мистера Ханта, мол, тот задержал меня допоздна. Затем, когда дверь захлопнулась, Мама Лошадь издала свое фирменное «хи-хи», а из задней комнаты выплыл Гас собственной персоной. «Ну вот, Мама Лошадь,— изрек он,— теперь ты должна мне ровно одной услугой меньше». — «Э, нет, мой милый мальчик,— возразила она,— это ты мне должен ровно одной услугой больше». И верите — не верите, они нежно обнялись и впились друг в друга, что твои влюбленные. Сначала я даже глазам не поверил, вы когда-нибудь видели, чтобы хоть кто-нибудь так целовался с Мамой Лошадью? Да, от этого Гастролера можно ожидать любых сюрпризов.

— Ты добыл то, что нужно? — отлепившись от Мамаши, поворачивается он ко мне.

— У меня в голове паролки кишмя кишат,— признаюсь я,— к завтрашнему дню будет тебе заветное словечко.

— Ты запомни его, только мне не говори,— вдруг выдает Гастролер.— Я знать его не хочу, пока мы пальцы не добудем.

А до этого волшебного момента оставались считанные часы, потому что на следующий день та девочка — имени которой я так и не узнал, а лица так и не увидел — испытала на мистере Чинуше свои чары. Как Гастролер и сказал, красotka в кружавчиках для такой работы не покатила бы. Наша подруга одевалась как можно неряшливее и всячески притворялась, будто слыхом не слыхивала, что такое светские манеры,— она представлялась миленькой канцелярской девочкой, переживающей в жизни самые черные дни, потому что недавно бедная крошка, в связи с преждевременными родами, перенесла кесарево сечение, или, по крайней мере, так она заливала мистеру Чинуше; в общем, теперь она лишилась великого женского дара родов, а на самом-то деле никто никогда не относился к ней как к женщине, но он был так добр, так добр к ней, столько недель он был так добр к ней. Гастролер мне потом рассказал, что после этого признания наш Джесси запер дверь кабинета, обнял секретутку и поцеловал, чтобы несчаст-

ная девочка наконец почувствовала себя женщиной, но стоило его пальцам прижаться к электрифицированному пластиковому микрослою на ее прекрасной обнаженной спине и грудях, как она тут же разрыдалась и, невинно всхлипывая, информировала клиента, что он не должен ради нее идти на измену жене, что он уже вручил ей самый ценный дар на свете, то есть проявил доброту и понимание, и сейчас она чувствует себя куда лучше, зная, что, даже когда ее женская часть выжжена изнутри, такой мужчина, как он, способен прикоснуться к ней — одним словом, теперь она обрела силы и уверенность для дальнейшей жизни. Очень убедительно сыграно, отпечатки мы получили с пылу с жару, и в голове у подопытного не промелькнуло ни одной тревожной мысли на тему смены паролей.

Микрослой четко снял отпечатки под несколькими углами, но Гас отобрал данные только по одному пальцу и той же ночью переслал нашему человеку в Бюро. Прямо в точку. Но я, признаюсь, смотрел на это несколько скептически, потому что по прозрачным каналам моего мозга уже носились шустрые байты сомнений.

— Всего один-единственный палец? — уточнил я.

— Нам на все про все дана только одна попытка, — ответил Гастролер. — Либо пан, либо пропал.

— Но если он вдруг ошибется, то бишь если мой первый пароль окажется неправильным, неужели при повторном запуске данных он не может использовать, допустим, средний палец?

— Мой вертикальный мыслитель, неужели ты считаешь, что такая бюрокрыса, как Джесс Х. Хант, способна ошибиться?

На этот риторический вопрос мне пришлось ответить, что нет, конечно, я так не считаю, однако дурные предчувствия не покидали меня, и все они почему-то были связаны с мыслью о крайней необходимости второго отпечатка, но мой мозг вертикален, а не горизонтален, что означает, настоящее мне доступно на всех уровнях восприятия, но будущее, будущее не моя среда, увольте — ке се-ра, се-ра.

После рассказа Гаса я попытался представить себе реакцию мистера Чинуши на ту девичью плоть, до которой он дотронулся. Если бы он пощупал ее не только снаружи, но и изнутри, думаю, тогда бы пароль точно сменился, но, когда она заявила, что не хочет колебать великую, непоколебимую добродетель, это только уверило его в собственной непогрешимости и обычности, поэтому заветное слово ничуть не изменилось.

— ИнвиктусXYZрур,— цитирую я Гастролеру, ибо таковым был настоящий пароль, я мог голову положить, что это так, подобной уверенности в собственной правоте я не испытывал ни разу.

— Вот черт, откуда ты его вытащил? — изумляется Гас.

— Если б я знал, Гас, то вообще никогда не ошибался бы,— хмыкаю я.— Понятия не имею, в какой части головы он рождается — то ли там, где липа, то ли в чипах. Вся информация закладывается в мозг, там тщательно перемешивается, а затем на поверхность выплывают пароли, складывающиеся в одно целое.

— Да, но, если ты не придумываешь, что этот пароль означает?

— «Инвиктус» — старая поэма, вставленная в рамку и засунутая в ящик письменного стола мистера Джесса, ему подарила ее любимая мамочка, когда он только-только вступил на путь Чинуш. XYZ — так он представляет себе случайный набор букв, а рур — инициалы единственного американского президента, которым он восхищается. Я не знаю, почему он выбрал именно это сочетание. Шесть недель назад он использовал другой пароль, который включал в себя целую кучу цифр, а еще через шесть недель он снова поменяет кодовое слово, но в данный момент...

— Шестьдесят процентов гарантии? — интересуется Гас.

— На этот раз никаких процентов,— мотаю головой я.— Раньше мне никогда не доводилось бывать в ванной комнате подопытного. Никогда прежде я не был настолько уверен в себе.

Теперь, обзаведясь еще и паролем, наш внутренний агент каждый день, следуя на работу, прихватывал с со-

бой волшебный пальчик, изыскивая возможность остаться в кабинете мистера Чинуши один на один с компьютером. Он уже подготовил все предварительные файлы, которые требует каждый запрос на получение зеленой карточки, и схоронил их среди рабочей информации. Теперь ему оставалось проникнуть в кабинет, расписаться за мистера Чинушу, а затем, если система скушает имя, пароль и палец, вызвать файлы, заверить их, после чего благополучно сгинуть — делов ровно на минуту. Но эту минуту надо было еще улутить.

И в один замечательный, прекрасный денек он ее улутил. Мистер Чинуша удалился на одно из многочисленных собраний, а у его секретарши на день раньше открылись шлюзы, и тогда внутрь проник наш агент, воспользовавшись как предлогом абсолютно законной запиской, которую непременно надо было оставить Ханту. Он мигом уселся за терминал, напечатал имя, ввел пароль, приложил псевдопалец, и машинка мигом раскинула прелестные ножки и позволила ему войти. Файлы были в обработке всего сорок секунд, после чего человек приложился пальцем к каждой «зеленке» по очереди, расписался и свалил от греха подальше. Все прокатилось словно по льду, воздух цвел и пахнул, как весной, теперь нам оставалось лишь сидеть и ждать, когда по почте доставят полный комплект зеленых карт.

— Кому ты собираешься их сбавить? — интересуюсь я.

— Я носа никуда не суну, пока не подержу в руках чистенькие «зеленки», — отвечает он.

Все потому, что Гастролер очень и очень осторожен. И то, что произошло, случилось вовсе не по его вине.

Каждый день мы обходили те места, куда должны были прийти драгоценные конверты, и это несмотря на то, что мы прекрасно знали: товар будет доставлен не раньше чем через неделю — правительственная машина ворочается крайне медленно, не могу сказать, к добру это или нет. Каждый день мы связывались с нашим агентом, чье имя и фотографию я предоставляю в ваше распоряжение, вот только поможет ли это, ведь и имя, и внешность наверняка уже изменены. Каждый раз он повторял нам, что все

идет как прежде, ничего не изменилось, и говорил он честную правду, ибо федеральные власти всегда проникнуты этой мрачной торжественностью, по ним с наскоку не определишь, когда дела идут не так. Даже сам мистер Хант не знал, что что-то прогнило в его маленьком королевстве.

Что касается меня, то непонятно почему по утрам я шарахался от каждого шороха, а по ночам меня мучила бессонница.

— Слушай, такое впечатление, что тебе срочно требуется в туалет,— обращается ко мне как-то Гастролер.

Вот именно, такое впечатление. Что-то не так, твержу я себе, случилось что-то очень плохое, что и где я сам не знаю, но чувствую, поэтому ничего не отвечаю — иначе навру самому себе,— а начинаю изобретать причину для своих страхов.

— Еще бы, перспективы какие! — восклицаю я.— Я стану двадцатипроцентным богатеem.

— Ты станешь просто богатым человеком,— отмечает он,— вовсе не двадцатипроцентным.

— И ты тоже станешь богатым, но только вдвойне.

В ответ он всего лишь широко лыбится, корча сильную, знающую цену слову личность.

— Но почему бы тебе не продать девять штук,— продолжаю я,— и не оставить одну себе? У тебя будет куча денег и в придачу «зеленка», по которой ты можешь лететь куда вздумается.

Но он только хохочет и говорит:

— Малыш-глупыш, мой милый, дорогой, любимый, дубоголовый, перенедоразвитый дружок. Стоит только такой швали, как я, предъявить копу «зеленку», как тот немедленно побежит к властям, потому что точно будет знать: здесь что-то неладно. Таким, как я, «зеленки» не раздают.

— Но ты же будешь одеваться соответствующе,— поджимаю плечами я,— и вряд ли станешь посещать дешевые притоны.

— Я обычная, низкородная шваль,— объясняет он,— и как бы я ни оделся, все равно оденусь так, как обычно одевается шваль. И в каком бы классном отеле ни ос-

тановился, он мгновенно превратится в разгульный бордель, пока я из него не выеду.

— Швальство, — возражаю я, — это не наследственное. Гены и гонады здесь ни при чем. Если бы твой папочка был Крок, а мамочка — Якокка, вряд ли ты вырос бы швалью.

— Черта с два, — машет рукой он. — И тогда бы я вырос швалью, только швалью высокородной, в струю мамочке и папочке. Кому, ты думаешь, достанутся эти зеленые карты? Запомни, на улицах девственницами не торгуют.

Я замолк, но про себя подумал, что все-таки он не прав, уверен в этом и по сей день. Если за неделю кто-нибудь и способен превратиться из грязи в князи, так это Гастролер. Он мог принять любое обличье, ему все было подвластно, и это правда. Во всяком случае, почти все. Если бы ему действительно было подвластно ВСЕ, у этой истории был бы совсем другой конец. Но это не его вина. С таким же успехом вы можете выставить претензии свиньям, почему, мол, они не летают. Ведь это МОЙ мозг был вертикальным, а не его. Мне не следовало поворачиваться спиной к дурным предчувствиям, тогда бы мы не упустили эти зеленые карточки.

Как сейчас помню, я держал их собственными руками, там, в его комнатухе. Он веером разбросал их по кровати, все десять, а я собрал и любовался ими. Отмечая победу, он распрыгался до самого потолка, пару раз даже въехал в него башкой, да так, что доски ходуном заходили, а из щелей посыпался всякий мусор.

— Я светанул одну из них, одну-единственную, — орет он.

— И знаешь, что он сказал? Миллион как с куста, вот что он сказал, ну а я ему — как насчет еще девяти таких же? Тогда он рассмеялся и говорит, чек, мол, заполни сам.

— Нам надо опробовать их, — беспокоюсь я.

— Мы не можем, — мотает головой он. — Только используя, их можно проверить, а если ты воспользуешься карточкой, твои пальцы и лицо впечатаются в память на веки вечные, и никому мы ее уже не продадим.

— Тогда продай сначала одну. Хоть убедимся, что она чистая.

— Никакой разницы, только опт,— перебивает он.— Если я продам всего одну, они могут подумать, что, удерживая остальные, я набиваю цену, тогда со мной может произойти какой-нибудь несчастный случай, и я вообще лишусь своих малюток. Сегодня вечером я скину все десять и никогда в жизни на милую к зеленой карточке не подойду.

Вечером он отправляется на свиданку с этими милыми джентльменами из структуры, более известной как Органическая Преступность, а я лежу на его кровати, и мне снятся страшные сны. Никогда я так не боялся, как тем вечером. Потому что точно знал: произошло нечто непоправимое, ужасное, хотя по-прежнему не мог сказать что именно и никак не понимал, где ж мы облажались. Я все убеждал себя, ты, мол, просто паникуешь, тебе никогда и ни в чем не везло, вот ты и не веришь, что когда-нибудь станешь богатым и будешь как сыр в масле кататься. Я столько раз повторил себе это, что почти поверил, что поверил в это, но на самом-то деле ни капельки я не поверил, ни грамма, поэтому меня снова бросило в дрожь, и я разрыдался — тело у меня девятилетнего мальчишки, а в таком возрасте слезным железам только дай волю, никаких паролей не требуется. В общем, возвращается он поздно ночью и, видимо, думает, что я сплю, поэтому на цыпочках проскальзывает в комнату, стараясь не шуметь, но я-то слышу, что Гас разве что не пляшет от радости. Я сразу понимаю, что деньги он благополучно довез до банка, поэтому, стоит ему наклониться, чтобы проверить, действительно ли я сплю, я открываю глаза и говорю:

— Слушай, совсем забыл спросить, мне здесь деньжата понадобились, сотню тысяч не одолжишь?

Он хлопает меня по плечу, ржет, как дикий конь, танцует, орет что-то дурным голосом, а я, в свою очередь, пытаюсь подстроиться под него, честно пытаюсь, ведь я понимаю, что должен в небесах витать от счастья. В конце концов он успокаивается и говорит:

— Ты не веришь, я же вижу. Ты просто не можешь поверить.

Тогда у меня из глаз бурным потоком льются слезы, а он обнимает меня — точь-в-точь папочка из семейной мелодрамки — и, ероша мне волосы, приговаривает:

— Теперь точно женюсь, с кем угодно спорь, может, даже на самой Маме Лошади. Мы тебя усыновим и миленькой семейкой поселимся в Саммерфилде, по выходным будем подстригать настоящие лужайки.

— Да вы мне чуть ли не в дети годитесь, что ты, что Мама Лошадь, — пытаюсь возражать я, а он заливается себе. Ржет и обнимает меня, пока я не делаю вид, будто мне полегчало. Сегодня ты домой не поедешь, заявляет тогда он, но мне надо ехать домой, ведь я знаю: чуть что — снова пушу слезу, со страха или от чего еще, а мне хочется, чтобы он продолжал думать, будто исцелил меня целиком и полностью.

— Да нет, покорно благодарю, — отвечаю, а он снова ржет.

— Оставайся, Липун, и рыдай себе сколько влезет, только домой сегодня не езд. Мне что-то не хочется в такую счастливую ночь оставаться одному, думаю, и ты не в восторге от подобной перспективы.

Поэтому я спал рядом с ним, на его кровати, словно брат, а он пинал меня, щипал, подначивал и рассказывал всякие грязные истории про своих шлюх — эта ночь была лучшей в моей жизни, я провел ее рядом с настоящим другом. Я понимаю, вы мне не верите, знаю, что за грязные мыслишки копошатся у вас в головах, только можете хихикать себе в ладошку, но ни одна дырка той ночью не пострадала, потому что ничего подобного нам друг от друга не надо было, просто Гастролер был счастлив и не хотел, чтобы я грустил.

Наконец он заснул, а я лежал и думал. Мне вдруг страшно захотелось узнать, кому же он продал эти карточки, чтобы позвонить и предупредить: «Ни в коем случае не используйте “зеленки”, потому что за ними хвост. Я не знаю каким образом, не знаю с чего вдруг, но власти вышли на это дело, в этом я уверен на все сто, так что, если вы воспользуетесь карточками, все, кранты, вы за-

светились». Но даже если бы я знал номер, даже если бы позвонил, неужели мне поверили бы? Они ведь тоже люди умные. Переговоры заняли бы целую неделю, а все почему? Потому что они сунули своей «шестерке» карточку и выпустили в свет, чтобы проверить, не кружат ли вокруг посторонние. Все оказалось чисто, как говорится, чище не бывает. И только после этого они скинули карточки семерым внушительным боссам, а оставшиеся две «зеленки» припасли на черный день. Даже Органистская Преступность, Всевидящее Око, избавлялась от карточек точно так же, как мы.

Мне почему-то кажется, что в уме Гастролера тоже шли кое-какие вертикальные процессы. Голову даю на отсечение, он тоже чувствовал: что-то здесь не то. Поэтому и продолжал контакты со своим внутренним агентом, ведь, как и мне, ему не верилось, что никто ничего не заметил. Поэтому из своей доли он ни цента не потратил. Мы сидели в его домишке и жрали прежнюю дрянь, деньги на которую он добывал, пошустрив за день. Я также подрабатывал, стирая кое-какие записи, и каждый раз, принимаясь за еду, он то и дело повторял: «Да уж, еда у богатых — дай Боже!» А может быть, вовсе и не был Гас вертикальным, может быть, он думал, вдруг я прав, думая, что где-то мы ошиблись. Одним словом, что бы он себе ни думал, дела шли все хуже и хуже, пока однажды утром, отправившись на стрелку с агентом, мы не обнаружили, что наш человек уже смотал удочки.

Исчез, как не было. Смылся-растворился. Квартира его сдавалась, мебель вся до щепочки была вывезена. Звонок в Кодирование, и нам сообщили, что он ушел в отпуск — читай, его взяли, и вовсе он не переехал на новое место жительства, приобретенное на неизвестно откуда взявшееся целое состояние. Мы столбами стояли посреди пустой квартиры, в замызганной опустелой хате, которая была в десятки раз лучше той лачуги, где ютились мы, и вот тогда Гас поворачивается ко мне и тихонько так говорит:

— Что случилось? Где я промахнулся? Я-то думал, я как этот Хант, думал, ошибки быть не может, во всяком случае, не здесь и не сейчас.

И тогда до меня наконец дошло. Именно в ту самую секунду, а не неделей раньше, когда все можно было переиграть. В той квартире я понял, что произошло, понял, что сотворил Хант. За всю свою жизнь Джесс Хант не допустил ни ЕДИНОГО промаха. Он был самым настоящим параноиком, ведь он наклеил волоски на каждый из ящиков стола, чтобы приходящий нянь что-нибудь случаем не спер. Не было такого, чтобы он СЛУЧАЙНО ввел неправильный пароль, всякий раз он делал это НАМЕРЕННО.

— Он перестраховался, — сообщаю я Гасу. — Он настолько осторожен и осмотрителен, что сначала нарочно вводит неправильный пароль и только потом скармливает машине правильное слово, прикладывая второй палец.

— Ну и что с того? Один раз он вошел в систему с первой попытки!

Это он заявляет потому, что не настолько близко знаком с компьютерами, как я. Я же знаю их как облупленных, ведь моя голова хоть и наполовину, но тоже забита всякой проводкой.

— Система следует заложенному образцу, вот что. Джесс Х. настолько точен, что ни разу не допускал ошибки, поэтому, стоило нам угодить в сеть с первой попытки, как врубился сигнал тревоги. Это я виноват, Гас. Я же знал, что это сумасшедший параноик, я знал, что что-то случилось, но только сейчас понял, в чем дело. Я должен был догадаться, когда считывал пароль, я должен был догадаться, ты прости, зря ты связался со мной, прости меня, послушайся ты совета, когда я предупреждал тебя, все было бы иначе, я должен был догадаться, прости, прости.

Я действительно не хотел, я не желал Гасу никакого зла. Что я натворил! Мне надо было всего лишь чуть-чуть пошевелить мозгами, ведь все это лежало на самой поверхности моей треклятой стеклянной башки, но нет, я задумался об этом только тогда, когда было уже слишком поздно. Хотя, может быть, я и не хотел думать об этом, может быть, я и в самом деле внушил себе, что ошибаюсь, в общем, как бы то ни было, время вспять не повернуть, я сделал то, что сделал, а значит, не быть мне Римским

Папой, восседающим на троне,— этим я хочу сказать, что самого себя не перехитришь.

Гас сразу отзвонился джентльгубам из Остракизованной Преступности, чтобы предупредить, но прежде я успел подключиться к наисвежайшим библиотечным новостям, прошелестел их и понял, что поздно, дело сделано, ибо все семеро боссов, и главный мастер-костоломастер в том числе, уже увидели небо в клеточку и друзей в полосочку. Обвинение — подделка карточек.

Естественно, на другом конце телефона финтить не стали, а высказались напрямую.

— Нам конец,— бледнеет Гастролер.

— Подождем немного, может, остынут? — предлагаю я.

— Такие никогда не остынут,— цедит он.— Черта с два, они никогда не простят нам этого, даже узнав всю правду. Ты только полюбуйся, что за имена стоят на карточках, похоже, они были розданы самым крупным парням по всей стране, шишкам, которые легко покупают президентов маленьких государств, сдирают откупные с таких восьминогов, как «Шелл» и «Ай-Ти-Ти», а убив кого-нибудь, что случается чуть ли не каждый день, уходят чистенькими. Но сейчас они сидят за решеткой, главари всей организации, поэтому вряд ли их растрогают наши оправдания. Ихнему самолюбию был нанесен внушительный удар, и единственный способ высвободить накопившуюся злость — это отыграться на ком-либо еще. То есть на нас. И они отыграются, надежно отыграются, долго-долго будут отыгрываться.

Никогда не видел Гаса настолько сдрейфившим. Поэтому-то мы и заявили к властям, пришли, так сказать, с повинной. Стучать мы не собирались, нам всего-то нужен был план защиты свидетелей, это было единственной нашей надеждой. Мы сказали, что подпишемся под чем угодно и отсидим положенное, лишь бы они изменили нашу внешность и поместили куда-нибудь в тихое местечко, где мы могли бы честно отработать вину перед обществом и, сами понимаете, выйти на свободу целыми и невредимыми. Вот и все, что нам было нужно.

Но федералы, они расхохотались нам прямо в лицо. Они, видите ли, уже зацапали нашего человека и пообещали

щали ему полную непричастность, если он подпишется под протоколом.

— Не нужны вы нам, — заливаются они, — и плевать нам, сядете вы или нет. Мы выловили рыбку покрупнее.

— Если вы отпустите нас, — говорит тогда Гас, — все подумают, что мы их специально вломили.

— Ой, не смеши, — щебечут власти. — Чтобы мы работали с такими уличными поцами, как вы? Мы еще не настолько опустились.

— Эти карточки они приобрели у нас, — настаивает Гас. — Если уж они сочли нас достойными внимания, то уж всяко мы достойны внимания каких-то легавых.

— Ушам своим не верю, — поворачивается один из копов к своему двойнику, тоже копу, только рангом пониже. — Эта шпана умоляет нас посадить их за решетку. Так вот, шутники, слушайте сюды, а что, если мы не хотим, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение такой рвани, как вы? Кроме того, что мы можем сделать? Ну, навесим срок, вот и все, зато там, на улицах, эти ребята вам не только срок навесят, да еще и от себя прибавят, и это не будет стоить нам ни цента.

Что нам оставалось делать? Гастролер аж покачнулся, словно залпом всосал шесть пинт лучшего виски — так он побелел. А когда мы побрели по коридорам прочь, он и говорит:

— Вот так, добро пожаловать, леди Смерть.

А я в ответ ему:

— Брось, Гас, ты говоришь так, точно тебе уже засунули в пасть ствол и начинают потихоньку выколупывать глаза. Легкие наши работают, ноги у нас есть, давай же **УБИРАТЬСЯ** отсюда.

— Убираться! — восклицает он. — И куда ты уберешься из Гринсборо, голова компьютерная, в леса пойдешь?

— А хотя бы и в леса, — пожимаю плечами я. — Я могу считать всю необходимую информацию на предмет «как выжить в лесах». Вокруг уйма незанятой земли. А как ты думаешь, откуда еще берется марихуана?

— Я городской, — говорит он. — Я вырос в городе. — К этому моменту мы уже вышли из здания. Гас, остановившись на ступеньках лестницы, озирал окрестнос-

ти.— В городе у меня хоть какой-то шанс да есть, я город знаю как свои пять пальцев.

— Может, живи ты в Нью-Йорке или Далласе, ты бы и сумел схорониться,— убеждаю я,— но Гринсборо слишком мал, здесь даже полумиллиона жителей не наберется, здесь не спрячешься.

— М-да, ты прав,— наконец соглашается он и по-прежнему оглядывается по сторонам.— Только теперь это не твое дело, Липун. Ты здесь ни при чем, виноват я один.

— Виноват я и никто другой,— заявляю я,— и я не брошу тебя. Я им все выложу.

— Думаешь, они станут тебя слушать? — удивляется он.

— Пускай меня обширяют правдоделом, эта штука выворачивает человека наизнанку. Они увидят, что я горю чистую правду.

— Мы оба ни в чем не виноваты,— отрубает он.— Да и клал я с прибором на то, чья здесь вина. Только ты сейчас чист, но стоит тебе связаться со мной, как ты мигом извозюкаешься. Я не хочу, чтобы ты путался под ногами, да и я тебе не больно-то теперь нужен. Все, конец работе. Мы распрощались. Вали отсюда.

Но так поступить я не мог. Как он когда-то не смог гастролировать со своим выводком сучек. Я не мог сбежать и оставить его пожинать плоды моих ошибок.

— Они знают, что я был у тебя Парольщиком,— горюю я.— Они все равно разыщут меня.

— Может, не сразу, Липун, потом. А ты тем временем переведи свои двадцать процентов в магазинчик «Личико Бобби Джо» и заляг на дно, ты ничего не должен, они поищут-поищут да успокоятся. О тебе быстро позабудут.

Прав, конечно, но мне плевать.

— Я участвовал в доле, мне было положено двадцать процентов,— сопротивляюсь я.— Теперь же я настаиваю на пятидесяти процентах расплаты.

Вдруг он замечает то, что так долго искал.

— Вон они, Липун, те шавки, которых послали по мою душу. Вон, видишь, в том «мерсе»?

Я оглядываюсь по сторонам, но кругом снуют сплошные электрокаталки, и никакого «мерса» я не вижу. Вдруг

мне на плечо опускается его рука — он хватает меня за шкуру и швыряет со ступенек прямо в кусты — к тому времени как я выбрался из зарослей, Гас бесследно испарился. Примерно с минуту я разорялся по поводу царапин, приобретенных в колючках, пока в конце концов до меня не дошло, что он просто-напросто избавился от моей персоны, чтобы меня случаем не пристрелили, не посадили на перо или не подвесили — уж не знаю, что они там придумают в целях рассчитаться с ним сполна.

Словом, мне больше ничего не угрожало, дошло до вас? Я мог спокойно отправляться на все четыре стороны, уматывать из города куда подальше. Мне даже не нужно было переводить деньги обратно. Стоило только выбраться из страны, а там уж я бы забился в такой угол, в который даже Охренизованная Преступность никогда не сунулась бы.

Я серьезно подумал над этим. Ночь я провел в раскидном шалаше Мамаы Лошади, потому что знал на сто процентов, что за моим домом установлен надзор. Всю ночь я перебирал в уме страны, куда «поехать учиться». К примеру, я мог свалить в Австралию. В Новую Зеландию. Или даже куда подальше — языки для меня не проблема, ведь себе в голову я мог загрузить целый словарь.

Настало утро, а я так ни на что и не решился. Мама Лошадь не стала расспрашивать меня, но видно было, как она беспокоится, а я только и смог, что пробормотать:

— Он спихнул меня в кусты, и теперь я не знаю, где он.

Она молча кивает в ответ и идет греметь кастрюлями, готовить завтрак. Руки ее дрожат, так она расстроена. Потому что знает — против Овторизованной Преступности у Гастролера ничего нет.

— Извини, — давлюсь я.

— А что было делать? — горюет она. — Когда ты потребуешься, они тебя из-под земли достанут. А раз федералы отказали вам в новой внешности, вам некуда было деваться.

— Но вдруг они возьмут и отпустят его? — неустанно надеюсь я.

Она громко смеется:

— Слухами о вашей комбинации бурлят все улочки. Новости об арестах передаются по всем каналам, сейчас каждая собака знает, что Гаса ищут большие парни. Плакаты с надписью «Разыскивается» разве что на столбах не развешены.

— Но вдруг они поймут, что он не виноват? — продолжая самообольщаться я. — Ведь это была чистая случайность! Ошибка!

Тогда Мама Лошадь косится на меня — мало кто может сказать, когда она косится, а когда нет, но я сразу вижу — и говорит:

— Только один-единственный мальчик может заставить их поверить в эту историю.

— Ну да, знаю, — киваю я.

— И если этот мальчик придет к ним и скажет: «Не трогайте моего друга Гастролера, он ни в чем не виновен...»

— По-моему, нет на свете человека, который бы искренне верил, что жизнь — сплошная манна небесная, — подвожу итог я. — Да и вообще, что такого они могут сотворить, чего бы я не испытал еще в раннем детстве?

После этих слов она подходит ко мне, кладет руку на голову и держит так — просто держит — несколько минут, и я твердо знаю, что мне надо делать.

Так я и поступил. Направился напрямиком к Толстому Джеку и сказал, что мне надо бы пообщаться с Минтом Младшеньким насчет Гастролера. Не прошло и тридцати секунд, как меня выволокли в проулок, затолкали в машину, прижали мордой к полу, чтобы я не видел маршрута, и куда-то порулили. Эти идиоты даже не подозревали, что такой вертикальный мозг, как мой, запросто может сосчитать число оборотов колес и точный градус каждого поворота. По приезде на место я мог бы выдать целую карту нашей поездки. Но если б они знали об этом, дорога домой была бы закрыта мне навсегда, а так как присутствовала немалая вероятность моей встречи с правдоделом, я предпочел начисто затереть память. И правильно сделал — ибо это был первый вопрос, который мне задали.

Они вкачали мне взрослую дозу, огромный такой шприц был, поэтому я сразу обрисовал им историю своей много-страдальной жизни и, положив руку на сердце, высказал свое мнение об их делишках, обо всем и вся, так что беседа растянулась на долгие часы, мне даже показалось, что прошла целая вечность с момента начала разговора. Но в конце концов они поняли, все-таки вружились, что Гастролер не врал; когда же все закончилось и я несколько оклемался, чтобы совладать с языком, я начал просить их, умолять не убивать Гастролера. Не трогать его. Он вернет деньги, я тоже верну все до цента, лишь бы они простили нас.

— О'кей,— кивает парень.

Я сначала даже не въехал.

— Да нет, можешь мне поверить, мы действительно отпустим его.

— Так он у вас?

— Мы взяли его незадолго до того, как заявился ты. Это не составило труда.

— И вы не убили его?

— Убили? Сначала нам нужно было вернуть денежки взад, как ты считаешь, поэтому до утра его не трогали, а потом объявился ты, и твоя повестушка заставила нас сменить гнев на милость, честно-честно, мы чуть не разрыдались от жалости к этому бедолаге.

Несколько секунд я и в самом деле верил, что все обернется к лучшему. Но, заметив взгляды, которыми они обменивались, проанализировав жесты, я все понял — ответ зародился где-то внутри меня, точно так же, как обычно формируется нужный пароль.

Они ввели Гастролера и с торжественным видом вручили мне какой-то талмуд. Гастролер вел себя очень тихо, был каким-то окостенелым и, такое впечатление, словно не узнал меня. Я даже не опустил глаз, чтобы взглянуть на книгу, я и так знал, что это такое. Они выскоблили его мозг и начинили электроникой. Он стал почти как я, только его завели далеко за черту, очень, очень далеко, внутри головы уже не осталось Гастролера, там теперь содержались только липа, микрочипы да трубки. Книгой

был «Справочник пользователя», инструкции, как пользоваться механизмом и контролировать его, прилагались.

Я посмотрел на куклу перед собой и увидел прежнего Гастролера, то же лицо, те же волосы — все то же самое. Но когда он двигался или говорил, было видно, что он мертв, что теперь внутри тела Гастролера поселился кто-то другой. И вот я спрашиваю их:

— Почему? Почему вы просто не убили его, раз все равно задумали рассчитаться?

— Здесь убить было мало, — усмехается парень. — Все-му Гринсборо известно, что произошло, вся страна в курсе, весь мир над нами гогочет. Даже если причиной этому явилась обыкновенная ошибка, мы не могли спустить ее с рук. Ты только не обижайся, Липун. Он ведь ЖИВ. Жив и ты. И если вы пообещаете соблюдать некие простенькие правила, то проживете еще долго. Так как он теперь «за чертой», ему требуется владелец, и этим владельцем будешь ты. Ты можешь пользоваться им, как твоя душенька пожелает — можешь сделать из него хранилище информации, трахай его, разговаривай с ним, но помни: он навсегда останется с тобой. Каждый день вы будете гулять по улицам Гринсборо, а мы будем возить сюда людей, показывать вас и объяснять, что бывает с мальчиками, которые оступились по жизни. Свою долю можешь оставить себе на чаевые, теперь, если не хочешь, можешь не работать. Видишь, Липун, как мы тебя любим? Но если твой товарищ вдруг покинет город или однажды не выйдет на улицу — стоит ему один-единственный раз не проявить свою морду, — и ты крепко пожалеешь. Последние шесть часов жизни ты только и будешь делать, что жалеть об этом проступке. Ты нас понял?

Я понял. Я забрал его с собой. Я купил этот дом, эту одежду, так мы теперь и живем. Вот почему каждый божий день мы некоторое время гуляем по улицам. Я проштудировал справочник от корки до корки, и, по моим подсчетам, в теле осталось процентов десять прежнего Гастролера. Но суть-то в том, что Гастролеру уже не пробиться на поверхность, сам он не может ни говорить, ни двигаться, ничего подобного, он даже ничего не помнит,

и сознательный умственный процесс для него недостижим. Однако я продолжаю надеяться, что, может быть, внутри того предмета, который когда-то служил ему головой, еще бродит Гас, может, он все еще способен сравнивать и отбирать информацию, поступающую в липу. Быть может, когда-нибудь он прочтет эту историю, узнает, что с ним случилось, и поймет, что я пытался спасти его.

Между тем перед вами моя последняя воля, вы читаете мое завещание. Видите ли, мы с Гасом давно ведем разработку делишек Оргазмированной Преступности, а следовательно, в один прекрасный день я наберу достаточно данных, чтобы проникнуть внутрь системы и раздолбать ее. Раздолбать к чертям, лишить сволочей всего, поступить с ними так же, как они поступили с Гастролером. Беда в том, что кое-куда невозможно заглянуть, не наследив при этом. Липа липе рознь, как я люблю подмечать. Я пойму, что в действительности я вовсе не такой профи, каким себя считал, когда кто-нибудь пожалует сюда и сунет мне в нос пылкающую огнем стальную штуковину. И вышибет мозги. Но эти слова останутся, я разослал свой рассказ по всей сети. Если спустя три дня в некоей программе я не введу определенную команду, вся правда вылезет наружу. Раз вы читаете это, значит, я уже на том свете.

Или, наоборот, это означает, что я расплатился с ними, и поэтому теперь мне все равно, узнает кто о нас или нет. Может быть, это есть моя лебединая песня, а может, победный клич. Вы об этом никогда не узнаете — или все-таки узнаете, а, дружище?

Так или иначе, вы будете заинтригованы. Я без ума от подобных штучек. Кем бы вы ни были, вы будете гадать, чем же закончилась вся история, будете вспоминать старика Липуна и Гастролера и будете голову ломать, отольются ли зубаткам невыплаканные слезы Гаса, которому вскрыли череп и которого превратили в движимую собственность.

И вместе с тем я должен заботиться об этой человеко-машине. Десять процентов — вот и все, что осталось в нем от человека, но настоящего меня осталось сорок. Если

сложить нас вместе, из нас получится только половинка нормального «гомо сапиенса». Однако с этой половинкой стоит считаться. Эта половинка все еще хочет и может. Липа во мне и липа в нем — всего лишь электроника да трубки. Информация, лишенная чувств. Быстродейственная дребедень. Хотя несколько желаний у меня все-таки осталось, мало — но осталось. Может, и Гастролер чего-то пытается желать, пытается. И мы добьемся всего, чего хотим. Мы свое возьмем. До последнего байта. До последней крошки. Уж поверьте мне.

Из лучших побуждений

Хирама Клауэрда удивило, что здесь нет очереди, и он не стал скрывать своего удивления.

— У вас даже нет очереди! — громко сказал он остролицему человеку, восседающему за перегородкой.— Странно!

— Ничего странного, сэр. Наше бюро претензий гордится тем, что к нам поступает очень мало жалоб.— Остролицый слегка улыбнулся, и Хирама передернуло от его самодовольства.— Итак, что с вашим телевизором?

— Он показывает только мыльные оперы и идиотские рыцарские сериалы.

— Это зависит от программы телевизора и не относится к неисправностям, сэр.

— Нет, относится. Мне никак не удастся выключить этот чертов ящик!

— Не будете ли вы так любезны назвать ваше имя и код безопасности?

— Хирам Клауэрд. AFD-XX-15800-NH3.

— Ваш адрес?

— ARF-487-U7b.

— Я вижу, вы живете один, сэр. Ничего удивительного, что вы не можете выключить телевизор.

— Выходит, если я холостяк, он должен работать круглые сутки?

— Согласно научным исследованиям, санкционированным Конгрессом, которые проводились с 1989 по 1991 год,

всем одиноким гражданам требуется постоянное общение с телевизором.

— Но мне нравится жить одному. К тому же я люблю тишину!

— Сэр, мы не вправе нарушить закон, принятый Конгрессом.

— Послушайте, есть у вас тут кто-нибудь, кто еще не разучился понимать человеческий язык?

На мгновение лицо остролищего побагровело, глаза его полыхнули. Однако он быстро овладел собой и ответил ровно и бесстрастно:

— Если претензия принимает оскорбительный или угрожающий характер, мы немедленно ставим в известность сектор А-6.

— Это ваши силы быстрого реагирования?

— Сектор А-6 вон за той дверью.

Остролицый ткнул пальцем в сторону стеклянной двери в дальнем конце приемной.

За этой дверью Хирам обнаружил довольно уютный кабинет, где повсюду стояли безделушки, создавая почти домашнюю обстановку. За письменным столом сидел человек со столь безупречно арийским лицом, что оно вызвало бы жгучую зависть у Гитлера.

— Здравствуйте, — тепло поздоровался Ариец.

— Привет, — буркнул Хирам.

— Прошу, располагайтесь.

Хирам шлепнулся на один из стульев возле стола. Учительное приветствие и радушный голос хозяина кабинета только еще больше его рассердили. Они что, решили его одурачить, внушив, будто никто на него не давит и никто ничего ему не навязывает?

— Итак, вас не устраивает содержание ваших телевизионных программ, — сказал Ариец.

— Вы хотите сказать, ваших программ, — язвительно поправил Хирам. — С чего вы взяли, что они мои? Не знаю, почему «Белл Телевижн» считает, будто имеет право навязывать мне круглосуточную развлекаловку. Я сыт всем этим даже не по горло — по уши. Не скажу, чтобы раньше было лучше, но раньше был хоть какой-то выбор. Куда

он исчез — понятия не имею, но вот уже два месяца мне показывают одни мыльные оперы и романтические рыцарские бредни.

— И вы заметили это только через два месяца?

— Я не очень часто обращаю внимание на ящик. Я люблю читать. Держу пари, если бы мне не приходилось жить на жалкое правительственное пособие, я бы подыскал квартиру без телевизора, где смог бы наслаждаться тишиной и покоем.

— К сожалению, не в моей власти улучшить ваше финансовое положение. А закон, как известно, есть закон.

— Закон? И это все, что вы можете сказать? Подобными перлами меня мог бы пичкать и тот клоун в приемной.

— Мистер Клауэрд, судя по вашей анкете, вам не нравятся мыльные оперы и рыцарские сериалы.

— Думаю, они не нравятся никому, у кого уровень развития интеллекта больше восьми, — ответил Хирам.

Ариец кивнул.

— Иными словами, вы считаете, что люди, любящие мыльные оперы и рыцарские сериалы, по уровню интеллектуального развития стоят ниже тех, кому они претят.

— Естественно. Если хотите знать, у меня степень магистратуры!

Ариец, казалось, от души посочувствовал Хираму.

— Тогда неудивительно, что вас раздражают сентиментальные шоу. Я уверен, здесь произошла ошибка. Мы стараемся не допускать ошибок, но сотрудники нашего штата — всего лишь люди. Если не считать компьютеров, конечно.

То была шутка, но Хирам не засмеялся. Ариец продолжал болтать обо всяких пустяках, в то же время глядя на монитор. Хирам сидел по другую сторону стола и не знал, что именно сейчас отображается на мониторе.

— Вы, наверное, знаете, что мы являемся единственной телевизионной компанией в городе. Именно поэтому...

— Именно поэтому действуете из лучших побуждений. Так?

— Так. Должно быть, вы слышали нашу рекламу.

— Меня ею постоянно потчуют.

— Так. А теперь давайте-ка познакомимся с вами лучше... Хирам Клауэрд. Степень магистра вы получили в университете штата Небраска, и было это в 1981 году. Ваша специализация — английская литература двадцатого столетия. Дополнительная специализация — русская литература. Диссертация была посвящена влиянию Достоевского на англоязычных писателей... Надо же, вы были почти круглым отличником. Вас характеризовали как хорошего специалиста, но человека замкнутого и высокомерного.

— И что вы еще обо мне знаете?

— Это просто обычные сведения, которые мы собираем о каждом из клиентов. Но в данном случае имеется одна небольшая сложность.

Хирам думал, что Ариец сейчас уточнит — какая именно сложность, но вместо этого хозяин кабинета нажал на какую-то кнопку, откинулся на спинку стула и уставился на Хирама. Взгляд Арийца излучал теплоту, был добрым и заботливым. Хираму стало не по себе.

— Мистер Клауэрд, вы...

— Что я?

— Вы, оказывается, безработный.

— Не по своей воле.

— Немногие становятся безработными по своей воле, мистер Клауэрд. Но дело не в этом. У вас не только нет работы. У вас нет ни семьи, ни друзей.

— И это вы называете «обычными сведениями»? А что, «Рисовые хрустяшки» покупают лишь те, у кого полно друзей?

— Как раз наоборот: «Рисовые хрустяшки» предпочитают одинокие люди. Нам нужно знать, какие именно слои населения наиболее восприимчивы к той или иной рекламе, тогда мы сможем эффективнее распределять программы.

Хирам действительно почти каждое утро завтракал «Рисовыми хрустяшками». Он тут же дал себе слово перейти на что-нибудь другое. Например, на «Квакерские хлебцы». Уж их-то наверняка едят более коммуникабельные люди.

— Скажите, мистер Клауэрд, вы понимаете важность «Положения о распределении телепрограмм», которое было принято в 1985 году?

— Понимаю.

— Верховный суд счел недопустимым, чтобы все телепрограммы ориентировались на большую часть населения. Это было бы пренебрежением к запросам меньшинств. Поэтому правительство поручило компании «Белл Телевизион» подготовить и осуществить распределение программ таким образом, чтобы каждый гражданин получил возможность смотреть именно те программы, которые наилучшим образом соответствуют его запросам.

— Это общеизвестно.

— И все же я вынужден повторить эти общеизвестные истины, мистер Клауэрд. Я хочу, чтобы вы осознали, почему мы не можем показывать вам другие телепрограммы.

Хирам вцепился в сиденье.

— Я и без того знаю, что придурки вроде вас не пойдут ни на какие перемены.

— Мистер Клауэрд, придурки вроде нас были бы рады изменить существующее положение вещей, но правительство держит нас под строгим контролем, требуя обеспечить каждого американского гражданина наиболее подходящими для него телепрограммами. А теперь я продолжу рассказ об основах нашего телевидения.

— Если не возражаете, я лучше пойду домой.

— Мистер Клауэрд, нас обязывают готовить программы для социальных меньшинств, численность которых составляет всего десять тысяч человек. Но не меньше! А вы задумывались, каких колоссальных денег это стоит? Одна минута эфирного времени программы, рассчитанной на десять тысяч человек, стоит куда дороже, чем одна минута программы, которую смотрят тридцать или сорок миллионов. А вы принадлежите к социальной группе, численность которой даже меньше десяти тысяч.

— И я должен этим гордиться?

— Более того, «Положение о защите прав потребителей в сфере телевидения», принятое в 1989 году, и разработанные Агентством дифференцированного телевидения правила ставят очень жесткие рамки, мистер Клауэрд. Мы

не имеем права показывать вам программы со сценами откровенной жестокости и насилия.

— Это еще почему?

— Потому что у вас есть склонность к враждебности, которая может усилиться при просмотре таких программ. Точно так же мы не имеем права показывать вам фильмы, где есть сексуальные сцены.

Клауэрд густо покраснел.

— Мистер Клауэрд, у вас полностью отсутствуют сексуальные контакты. Вы понимаете, как вам опасно смотреть передачи, изобилующие эротикой? Вы ведь даже не занимаетесь онанизмом. Представляете, какая взрывоопасная смесь из враждебности и неудовлетворенных сексуальных желаний может скопиться у вас в душе?

Клауэрд вскочил. Всему есть предел! С него хватит!

Он направился к двери.

— Мистер Клауэрд, простите. — Ариец поспешил следом. — Вы сердитесь на меня так, словно я сам принимаю подобные решения. А почему бы вам не спросить, на каком основании они принимаются?

Хирам, который хотел уже повернуть дверную ручку и выйти, остановился. Ариец прав. Вместо того чтобы просто ненавидеть, лучше знать, за что ты ненавидишь.

— Послушайте, откуда эти телевизионные короли и пешки знают, чем я занимаюсь дома? Или чем не занимаюсь?

— Разумеется, мы не знаем подробностей. Но нам известны общие тенденции в поведении таких, как вы. Мы не первый год изучаем людей. Те, кто склонны к покупке определенных товаров и определенному образу жизни, имеют определенные модели поведения, это давно известно. К сожалению, мистер Клауэрд, у вас сильная склонность к разрушению. Сперва вы подавляете свои эмоции, отрицая, что вас что-то задевает, такова ваша первичная реакция на стресс. Но затем из-за какого-нибудь пустяка разрушительный вихрь вырывается наружу.

— Что означает эта ученая тарабарщина, которую вы на меня обрушили?

— А вот что: сперва вы себе лжете, а когда лгать становится невозможно, ваша агрессия выплескивается совершенно бесконтрольно.

Лицо Клауэрда залилось яркой краской.

«Должно быть, я стал похож на перезрелый помидор, — подумал он и заставил себя успокоиться. — В конце концов, что я так волнуюсь? Я — не подопытный кролик для подтверждения их теорий. Плевать мне на их научные тесты!»

— Неужели не существует фильмов, которые я мог бы смотреть, кроме тех, которые вы мне сейчас показываете?

— К моему великому сожалению, нет.

— Но не во всех же фильмах присутствует насилие или секс.

Ариец улыбнулся так, словно утешал капризного ребенка.

— Фильмы, где этого нет, будут вам неинтересны.

— Тогда выключите этот проклятый ящик совсем и дайте мне возможность читать!

— Мы не можем этого сделать.

— Не можете выключить телевизор?

— Именно.

— Меня уже тошнит от Сары Уинн и ее идиотских любовных интриг.

— Неужели вы не находите Сару Уинн привлекательной? — вкрадчиво спросил Ариец.

Хирам застыл. Вчера ночью Сара Уинн приснилась ему, но он не сказал об этом Арийцу. Он не испытывал к ней никакого влечения.

— Неужели она вам не нравится? — не унимался Ариец.

— Кто «она»?

— Сара Уинн?

— Да при чем тут Сара Уинн? Я бы не отказался посмотреть какие-нибудь документальные программы.

— Мистер Клауэрд, если бы мы показывали вам выпуск новостей, ваша враждебность расцвела бы пышным цветом. Вы и сами это знаете.

— Уолтера Кронкайта* уже нет в живых. Возможно, теперь мне больше понравятся новости и аналитические обзоры.

* Уолтер Кронкайт (р. 1916) — американский журналист; впоследствии — популярный телевизионный обозреватель. (В данном рассказе все примечания сделаны переводчиком.)

— Мистер Клауэрд, признайтесь — вас совершенно не трогает то, что происходит в мире. Так?

— Так.

— А теперь посмотрите, что получается. Ни одна из доступных вам программ вас не устраивает. Девяносто процентов того, что мы показываем по другим сетям, крайне для вас опасно. А вообще выключить ваш телевизор мы не можем из-за «Закона об одиноких гражданах». Вы понимаете всю сложность нашего положения?

— А вы понимаете всю сложность моего?

— Конечно, мистер Клауэрд. Я искренне вам сочувствую и потому хочу дать совет. Заведите себе друзей, и мы выключим ваш телевизор.

На этом разговор закончился.

Целых два дня Хирам обдумывал предложение Арийца. И все это время Сара Уинн оплакивала мужа, с которым успела прожить всего-то ничего. Ее красавец погиб в автомобильной катастрофе на каком-то Уилтширском бульваре. Но не успел остыть его холодный труп, как к Саре начали подгребать прежние ухажеры и соблазнитель. Они предлагали ей помощь и, конечно же, любовь.

— Ну неужели ты не можешь хоть немного на меня положиться? — вопрошал смазливый богатый Тедди.

— Я не люблю полагаться на других людей, — отвечала добродетельная Сара.

— Ты же полагалась на Джорджа!

Джорджем звали ее благоверного, загнувшегося в машине.

— Знаю, — говорила Сара и умолкала, давая волю слезам.

Надо признать, она мастерски умела распускать сопли. Слушая рыдания Сары, Хирам Клауэрд перевернул очередную страницу «Братьев Карамазовых».

— Тебе нужны друзья, — настаивал Тедди.

— Ох, Тедди, я знаю, — всхлипывала Сара. — Ты будешь моим другом?

— Кто пишет такие бредовые сценарии? — не выдержал Хирам.

Может, Ариец действительно прав? Ему стоит завести друзей. Пусть это будет непросто, но тогда он избавится от гнусного ящика.

Хирам поднялся и вышел в коридор своего большого многоквартирного дома. На стене белело несколько листов с объявлениями.

«Шахматный клуб. Ждем вас каждую среду с 5 до 9 вечера».

«Клуб “Неожиданная встреча”: каждый вечер с 7 часов».

«Хотите научиться вязать? Приходите в 6:30 и не забудьте спицы и пряжу».

«Игры на любой вкус в игровом зале (цокольный этаж)».

«Вам хочется просто поболтать? “Друзья семьи” ждут вас каждый вечер, с 7:30 до 10:30».

«Друзья семьи»? Хирам презрительно хмыкнул. Ему сразу вспомнилась его семья. Сентиментальная мамочка, вечно стонающая о том, как тяжела жизнь.

«Если бы у женщин было право выбора, — любила повторять она, — ни одна из них не родилась бы женщиной».

Но Бог не дал им такого права. Больше того, Бог расставил им ловушки, называемые замужеством. Бедняжки дружно попадались в эти ловушки и за несколько минут наслаждения обрекали себя на пожизненную каторгу.

Потом мать заламывала руки и в который раз возглашала, что если бы не малютка Хирам, она давно бы ушла от этого изверга. Казалось бы, зачем Хираму такой отец? Но у матери и на это имелось объяснение. Если она уйдет, Хирам непременно вырастет точной копией папы, таким же неотесанным мужланом с громадным животом.

Такой была его семья. А что касается друзей... Какие друзья могли появиться в доме, где пьяный папаша часенечко выдерживал из брюк ремень и принимался хлестать кого попало?

Хирам заколебался. Зачем куда-то идти, когда дома есть замечательные книги? «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Гордость и предубеждение»*. Бесконечные миры в бесконечных мирах, полные учтивых, веселых и остроумных людей.

* Роман английской писательницы Джейн Остин.

Но потом он вспомнил Сару Уинн... «Друзья семьи». Может, все-таки стоит попробовать?

Хирам спустился на лифте на восемнадцать этажей ниже, выйдя на «Этаже развлечений».

«Друзья семьи» занимали довольно просторное помещение; у одной стены продавали спиртное, у другой — прохладительные напитки. Хирам искренне удивился: он никак не ожидал, что словосочетание «прохладительные напитки» еще сохранилось в современном языке. Он подошел к стойке и попросил стакан кока-колы.

— Сколько чашек кофе вы сегодня выпили? — спросила продавщица.

— Три.

— Мне очень жаль, но я не могу подать вам напиток, содержащий кофеин. Позвольте предложить вам спрайт.

— Не позволю, — бросил Хирам сквозь зубы. — Ну до чего же нас оберегают. Не жизнь, а инкубатор.

— И я о том же, — сказала женщина, стоявшая рядом и державшая пластиковый стаканчик со спрайтом. — Нас берегут от одного, другого, десятого. А что толку? Люди как умирали, так и умирают.

— Я тоже так считаю. — Хирам выдавил улыбку.

В то же время он раздумывал, забавными или просто язвительными показались женщине его слова? Видимо, забавными, потому что она засмеялась.

— Знаете, вы просто сокровище, — сказала она. — Чем вы занимаетесь?

— Бывший профессор литературы в Принстоне.

— И как вам удастся жить здесь, а работать там?

Наверное, она пропустила слово «бывший» мимо ушей.

Хирам пожал плечами.

— Я там больше не работаю. Как я уже сказал, я — бывший профессор. Когда ввели телевизионное обучение, мой рейтинг оказался слишком низким, меня сочли не-телегеничным.

— Такова участь многих, — задумчиво отозвалась женщина. Слушая Хирама, она улыбалась и сочувственно кивала. — До чего же я скучаю по старым добрым временам,

когда люди с внешностью Дэвида Бринкли* спокойно вели выпуски новостей.

— Вы помните Бринкли? — оживился Хирам.

— Вообще-то нет, — продолжая улыбаться, призналась она. — Но мама часто о нем говорила.

Хирам оценивающе взглянул на женщину и понял, почему та не подошла для экрана — нос у нее был слегка курносый. Но у нее был приятный голос, очень миловидное лицо и красивая фигура.

Женщина прикоснулась к его бедру.

— Что ты делаешь этим вечером? — спросила она, переходя на «ты».

— Буду пытаться не смотреть телевизор, — поморщился Хирам.

— Серьезно? И что у тебя показывают?

— Сару Уинн.

— Так мы — родственные души! — радостно взвизгнула женщина. — У меня тоже Сара Уинн!

Хирам попытался улыбнуться.

— Может, поднимемся к тебе? — предложила женщина.

То был сигнал тревоги. Ее рука уже скользнула вверх... И это предложение подняться к нему... Что за сим последует — догадаться нетрудно. Секс.

— Нет, — пробормотал Хирам.

— Почему?

Хирам вспомнил: единственный способ избавиться от телевизора — это доказать, что он больше не одинок. Налаживание сексуальной жизни (которую еще надо начать) — медленный, но верный путь к тому, чтобы заставить «Белл Телевижн» изменить свои идиотские представления о нем.

— Ладно, пошли, — согласился Хирам, и они покинули «Друзей семьи».

Очутившись в его квартире, женщина сразу сбросила туфли, сняла кофточку и уселась на старомодный диван перед телевизором.

* Дэвид Бринкли (1920–2003) — американский журналист, ставший впоследствии телепублицистом и ведущим аналитических программ. Активно работал до середины 90-х гг. прошлого века.

— О, сколько у тебя книг,— восхищенно протянула она.— Так ты и в самом деле профессор?

— Да,— коротко ответил Хирам.

У него появилось смутное ощущение, что следующий шаг в их отношениях должен сделать он. Но Хирам совершенно не представлял — каким образом. Свою первую и единственную попытку вступить в интимные отношения он предпринял в тринадцатилетнем возрасте. Или ему тогда уже стукнуло четырнадцать? Девчонка, с которой он встречался, была на год или на два старше его и к таким вещам относилась легко и просто. Они отправились гулять, дошли до ручья (тогда еще существовали ручьи и места, где можно было гулять). Там она вдруг остановилась и расстегнула молнию на его брюках (надо же, тогда еще существовали такие застёжки)... Они едва успели начать, как из него все вылилось. Она рассердилась, схватила его брюки и убежала. Девчонку звали Дайана. Хирам вернулся домой без штанов и без вразумительного объяснения, куда они подевались. Мать потом несколько лет вспоминала этот случай, всякий раз одаривая Хирана новой толикой женского презрения. Все мужчины одинаковы, как их ни воспитывай. Они всегда урвут свое, и какое им дело до «бедной опозоренной девочки»! Хирам быстро привык к этим тирадам и не обращал на них внимания. Материнские слова пролетали мимо, точно вагоны экспресса.

Но почему сейчас его трясет, почему ему вдруг сделалось жарко? Ему долго не давало покоя воспоминание о презрительном взгляде Дайаны. Наверное, все случилось из-за того, что...

Впрочем, какая теперь разница?

Хирам мысленно заявил себе, что не желает об этом думать.

— Ну, смелей,— подбодрила женщина.

— Как вас зовут? — спросил Хирам.

Она глядела в потолок.

— Допустим, Агнесса. Ты когда-нибудь начнешь?

Хирам решил, что, наверное, теперь нужно снять с нее юбку. Агнесса следила, как он копается, потом попыталась ему помочь.

— Нет,— возразил Хирам.

— Что нет?

— Не трогайте меня.

— Я что-то не пойму тебя, котик. В чем дело? Ты импотент?

Хирам вовсе не был импотентом. Его просто не интересовали интимные отношения. Неужели это так трудно понять?

— Слушай, я — не психоаналитик и не собираюсь копаться в твоих ассоциациях или как это у них называется. Понял? Я могу и сверху, чтобы тебя подзавести. Обычное дело, не у тебя одного так бывает. Годится?

Что значит «обычное дело»? Хирам растерянно кивал, не осмеливаясь спросить, о чем это она.

— Черт тебя побери, котик, но ты явно с луны свалился и совершенно не понимаешь, что к чему. Ладно. Выкладывай двадцать баксов. Вполне божеская плата за десять минут нервотрепки. Согласен?

— У меня нет двадцатки,— сказал Хирам.

Ее взгляд стал жестким.

— Вот так нарвалась! Мало того что гомик, так еще и без гроша в кармане. Мой тебе совет, котик,— если в следующий раз захочешь снять девчонку, сначала обмозгуй, чем ты с нею займешься. Дошло?

Агнесса торопливо сунула ноги в туфли, накинула кофточку и ушла. Хирам вновь остался один на один с телевизором.

— Нет, Тедди,— умоляюще шептала Сара Уинн.

— Но ты мне нужна. Я просто места себе не нахожу, так ты мне нужна,— изливался Тедди.

— Прошло всего несколько дней. Подумай, как я могу лечь с другим мужчиной, если Джордж погиб всего неделю назад? Всего четыре дня назад мы с ним... Нет, Тедди, прошу тебя!

— Но когда? Сколько мне еще ждать? Я так тебя люблю!

Что за бредятина! — возмутился аналитический ум Хирама. А ведь авторам этой стряпни знакома история Пенелопы. Можно не сомневаться: еще немного, и ее Джордж, ее Одиссей, вернется. Окажется, что он каким-то чудом остался жив и вновь готов подарить Саре все радости за-

конного брака. Ну, а пока надо позволить разгуляться ее соблазнительям, а заодно продать пятнадцать тысяч автомобилей, сто тысяч коробок женских гигиенических прокладок и четыреста тысяч упаковок восхитительных новых крекеров «Грызи-грызу».

Не все серые клетки Хирама занимались анализом, остальным было глубоко плевать и на анализ, и на Пенелопу. И именно эта часть сознания заставляла Хирама сплетать и расплетать пальцы. Он дрожал, сам не понимая почему; не понимая почему, рухнул на диван. Руки судорожно сжимали «Преступление и наказание», а глаза готовы были наполниться слезами, но не умели.

На экране Сара Уинн вовсю рыдала.

«Она плачет, когда нужно, и ревет столько, сколько требуется», — подумал Хирам.

Легкие и лживые слезы. Что ж, Пенелопа, давай, тки свое полотно.

Будильник прозвенел, когда Хирам уже не спал. Из телевизора доносилось нежное воркование: рекламировали мыло «Дав», содержащее ланолин.

«Какое завидное постоянство, — подумал Хирам. — Есть вещи, неподвластные времени».

Наверняка мыло «Дав» существовало и во времена Христа, и торговцы тащились на Голгофу, чтобы не упустить свою прибыль. Иисус истекал кровью на кресте, а они деловито торговали мылом «Дав», делающим кожу нежной и бархатистой.

Хирам встал, оделся, попробовал читать, но не смог. Тогда он начал вспоминать, почему вчера ему было так тошно, но не вспомнил. Оставив бесплодные попытки, Хирам отправился к Арийцу.

— Это опять вы, мистер Клауэрд? — удивился Ариец.

— Скажите, вы — психиатр? — спросил Хирам.

— С чего вы взяли, мистер Клауэрд? Я — работник сектора А-6 в представительстве «Белл Телевижн». Вас опять что-то беспокоит?

— Я больше не вынесу Сары Уинн, — признался Хирам.

— Потерпите еще немного. Мы сильно улучшили сценарий, и через пару недель вы ее просто не узнаете.

Вопреки самому себе Хираму вдруг захотелось узнать, какие же грандиозные изменения произойдут в жизни Сары Уинн. Некая часть его разума (явно не аналитическая) даже обиделась: этот сверхчеловек с безупречным нордическим профилем на несколько недель вперед знал все перипетии жизни сентиментальной дурочки Сары. Хирам усилием воли подавил любопытство, устыдившись самого себя. Еще не хватало увлечься подобной пошлятиной!

— Помогите мне, — попросил Хирам.

— Чем же я могу вам помочь?

— Вы можете изменить мою жизнь. Можете убрать телевизор из моей квартиры.

— Ну зачем вы так, мистер Клауэрд? — отечески пожурил Ариец. — Это единственная вещь, которую государство предоставляет вам бесплатно. Разумеется, взамен вам приходится смотреть рекламу. Но вы не хуже меня знаете, что реклама — хорошее развлечение. Представьте себе, многие просят, чтобы рекламы показывали вдвое больше. Каждый день мы получаем тысячу заявок на последнюю рекламу «Макдональдса». Вы не представляете, как она нравится людям!

— И представлять не хочу. Я хочу читать и наслаждаться одиночеством.

— Ошибаетесь, мистер Клауэрд. Вы подспудно стремитесь избавиться от одиночества. Вам, как никому другому, нужен друг.

Хирам рассердился.

— Откуда вам знать, что мне нужно?

— Ваша реакция, мистер Клауэрд, является абсолютно типичной для той группы населения, к которой вы принадлежите. Эта группа вызывает у нас серьезную озабоченность. Бюджет не позволяет создать для нее специальную программу; таких, как вы, по всей стране не наберется и двух тысяч. Но дело даже не в деньгах. Мы и в самом деле не знаем, какие программы пришлось бы вам по вкусу.

— Я не отношусь ни к какой группе.

— Увы, вы настолько идеально вписываетесь в упомянутую группу, что вас можно назвать ее образцовым представителем. Вряд ли я ошибусь, сказав, что у вас была властная мать. Ваш отец был либо жестоким, либо пьяницей, или же сочетал оба этих качества. Вы ни с кем не завязывали долгой дружбы. И, простите, что я повторяюсь, у вас никогда не было сексуальной жизни.

— У меня есть сексуальная жизнь.

— Возможно, вы пытались ее наладить. Точнее, попытались вступить в интимные отношения с какой-нибудь проституткой, которая думала, что у вас изрядный опыт в подобных делах. Но поскольку это не так, вам стало стыдно, и у вас с ней ничего не получилось. Я прав?

— Да кто вы такой? — заорал Хирам. — Кто вам дал право надо мной издеваться?

— Успокойтесь, мистер Клауэрд. Вы почти угадали: я и в самом деле психоаналитик. Любой человек, с претензиями которого не в силах разобраться дежурный клерк, нуждается в помощи. В квалифицированной помощи. Я хочу вам помочь, мистер Клауэрд. Я — ваш друг.

Хирам вдруг осознал, как нелепы усилия Арийца, и даже перестал сердиться. Влиятельный человек с безупречным нордическим профилем хотел помочь маленькой букашке, именуемой Хирамом Клауэрдом.

Безработный профессор засмеялся.

— У вас сохранилось чувство юмора? Это — очень обнадеживающий признак! — сказал Ариец.

— Вы разговариваете как психиатр. А я-то думал, они стараются скрыть свою профессию.

— Общаясь с определенным типом людей — да. В основном когда говорят с параноиками, к которым вы не относитесь, и с шизоидами, к которым вы тоже не принадлежите.

— А к какому типу вы меня изволите отнести?

— Я уже сказал в прошлый раз — в вашем поведении присутствует отрицание и подавление эмоций. Крайне нездоровые тенденции. А ваши поступки, которые я называл бы выплесками, еще более разрушительны. И в то же время вы обладаете очень незаурядным умом, способ-

ным к разнообразной созидательной деятельности. Лично мне очень обидно, что вы не преподаете.

— А мне еще обиднее, потому что я отличный специалист.

— Однако выборочный опрос ваших студентов показал, что главный упор в своих лекциях вы делали на знания, интересные и понятные лишь очень узкому кругу людей. Ваши занятия могли пользоваться успехом лишь у людей подобного же типа, но таких совсем немного. Вы не вписываетесь практически ни в одну из существующих категорий населения.

— И за это меня преследуют?

— Не надо разыгрывать параноика, — улыбнулся Ариец.

Хирам тоже улыбнулся. Похоже, Ариец подводит его к мысли о том, что он — чокнутый. Льюис Кэрролл, где вы, дружище? Как нам вас недостает!

— Если вы — психоаналитик, мне положено говорить с вами откровенно.

— Конечно, если хотите.

— Не хочу.

— А почему?

— Потому что вы — гнусный и поганый Ариец! Вот почему.

Ариец с нескрываемым интересом подался вперед.

— И вас это раздражает?

— Меня от этого тошнит.

— Тогда давайте попробуем разобраться, в чем причина подобных эмоций.

Заинтересованность Арийца выглядела настолько искренней и подкупающей, что Хирам сдался.

— Вы ведь наверняка не знаете, что случилось со мной во время войны.

— Простите, какой войны? Кажется, мы давно ни с кем не воюем.

— Я был тогда совсем маленьким и жил в Германии. Дело в том, что мои родители — вовсе не мои родители. Меня взяла к себе супружеская пара, работавшая в американском посольстве в Берлине. Это произошло в 1938 году, незадолго до начала Второй мировой войны. Мои настоящие родители были то ли немецкими евреями, то ли полу-

евреями. Теперь это уже не имеет значения. Мой настоящий отец был... Впрочем, не стану докучать вам генеалогией. Так вот, когда мне было всего одиннадцать дней и меня еще не успели зарегистрировать, мой настоящий отец отнес меня в американское посольство и отдал своему другу Клауэрду. У жены Клауэрда только что случился выкидыш. Отец сказал Клауэрду: «Возьмите нашего ребенка». Тот очень удивился и спросил: «Почему вы его нам отдаете?» — «Потому что мы с женой разработали план ликвидации Гитлера. Мы не сомневаемся в успехе, но знаем, что нас самих ждет смерть». Так Клауэрд стал моим приемным отцом.

— Но, как известно, Гитлер остался жив,— осторожно заметил Ариец.

— Да. На следующий день Клауэрд узнал из газет, что мои родители погибли во время уличного «инцидента». Он навел справки и выяснил подробности. Когда мои родители отправились осуществлять свой тщательно разработанный план, они попались на глаза компании скукающих чернорубашечников. Или кто-то из добропорядочных обывателей указал на подозрительных евреев. Разумеется, эти головорезы и понятия не имели, что спасли жизнь своему фюреру. Они просто решили поразвлечься и затащили моих родителей в какой-то дом. Там эти «сверхчеловеки» принялись избивать мою мать. Они сорвали с нее одежду, зверски изнасиловали, а потом вспороли ей живот. Отец должен был на все это смотреть; чернорубашечники не позволяли ему отвернуться или закрыть глаза. Потом настал и его черед. На нем эти скоты испробовали новейшую модель пыточного орудия, называемого «яйцедавилкой». От чудовищной боли он откусил себе язык и захлебнулся собственной кровью... Теперь, надеюсь, вам понятно, почему я не люблю людей с безупречными нордическими профилями?

Хирам тяжело опустился на стул. Его глаза были полны слез. Значит, он все-таки способен плакать. Пусть не навзрыд, но он умеет плакать настоящими слезами. Это обнадеживало.

— Мистер Клауэрд, вы родились не в Германии, а в штате Миссури,— сказал Ариец.— И не в тридцать восьмом

году, а в пятьдесят первом. У вас не было никаких приемных родителей.

Хирам улыбнулся.

— Зато какая история в духе фрейдистских фантазий! Изнасилованная мать, кастрированный отец, ребенок, лишенный истинных корней.

Ариец тоже улыбнулся.

— Вам следовало бы стать писателем, мистер Клауэрд.

— Я предпочитаю быть читателем. Прошу вас, позвольте мне читать.

— Разве я мешаю вам это делать?

— Освободите меня от Сары Уинн. Уберите из моей жизни особняки и замки, где смазливый и сентиментальным дурочкам приходится отражать натиск заботливых страстных влюбленных. Избавьте меня от реклам машин и презервативов.

— И оставить наедине с каталептическими фантазиями? Позволить погрузиться в депрессивный мир романов русских классиков?

Хирам замотал головой.

«Неужели я опустил до того, чтобы кланяться?» — подумал он. Выходит, опустил.

— Прошу вас. Русские романы, которые я читаю, не депрессивны. Они очищают сердце, возвышают душу. Они буквально разбивают вдребезги привычный мир.

— В этом-то и заключается ваша неординарность, мистер Клауэрд. Точнее сказать — ваши психические отклонения. Вам постоянно хочется разбить вдребезги привычный мир.

— Когда я читаю Достоевского, моя душа ликует.

— Думаю, вы уже по двадцать раз перечитали все романы Достоевского. И раз по десять — все романы Толстого.

— Сколько бы я ни читал Достоевского, для меня это всегда словно впервые!

— Мы не можем исполнить вашу просьбу и отключить ваш телевизор.

— Тогда я покончу с собой! — закричал Хирам. — Но так жить я больше не могу!

— Заведите друзей, — повторил свой совет Ариец.

Хирам шумно дышал и обливался потом, пытаясь обуздать гнев.

«Все в порядке. Я не сержусь,— мысленно повторял он.— Давай, совладай со своими эмоциями, задвинь их подальше и улыбнись. Улыбнись Арийцу».

— Ведь вы мне друг? — спросил Хирам.

— Если позволите им быть,— ответил Ариец.

— Позволю.

На обратном пути Хирам завернул в церковь, мимо которой часто ходил. Хирама мало интересовала религия; из романов он узнал все ее стороны, и явные, и тайные. Марка Твена религиозные искания лишь забавляли, Достоевского они терзали и иссушали, а Пастернака и вовсе сгубили. Однако мать Хирама была примерной прихожанкой и посещала пресвитерианскую церковь... Хирам толкнул тяжелую дверь и вошел.

Вместо алтаря он увидел громадный телевизионный экран, на котором как раз одна сцена сменилась другой: молодой проповедник отошел в сторону, пропуская вперед священника постарше. Тот взмахнул рукой и начал что-то говорить о Христе. Звук был негромким, и Хирам разобрал только слово «Христос».

На стенах церкви висели кресты — целые ряды крестов. Церковь была протестантской, потому ни на одном из крестов Хирам не увидел распятого, истекающего кровью Иисуса, однако его воображение быстро дорисовало недостающее. Перед его мысленным взором встал Иисус, пригвожденный к кресту — так, что шея оказалась на пересечении перекладин.

Но почему именно крест? Хирам стал думать о символике креста. Две перпендикулярные линии: горизонтальная и вертикальная, с одной-единственной точкой соприкосновения. По сути дела это — жизненный путь человека, который идет в вечность и даже не оглядывается на тех, с кем он сталкивается по пути. И у каждого из людей — свой путь... Свой крест.

«Но сегодня он уже не является символом нашего жизненного пути,— думал Хирам.— Сегодня мы — не прямые, а кривые, замкнутые на самих себя, помещенные внутрь маленьких сфер. Никто не хочет выбираться из своей сфе-

ры наружу. Это страшно. Каждый кричит: “Не вытаскивайте меня отсюда! Мне здесь так уютно и безопасно! Не дайте мне выпасть из моей скорлупы и оказаться на краю мира, откуда можно рухнуть в неведомое!” Мир и так колеблется на грани падения в неведомое, это ясно. Но упасть должны все; нам претит мысль, что кто-то может выкарабкаться и уцелеть. А сам-то я хочу выкарабкаться и уцелеть?»

Эпоха крестов миновала. Наступила эпоха сфер. Скорлупок.

— Мы — ваши друзья! — убеждал с экрана пожилой проповедник. — Мы можем вам помочь!

«Если бы вы знали, какое это наслаждение — брести по жизни одному», — мысленно ответил священнику Хирам.

— Зачем вам страдать от одиночества, если Иисус способен взять ваши тяготы на себя?

«Будь я по-настоящему один, у меня не было бы никаких тягот».

— Так возьмите же свой крест и вступите в битву, — зывал проповедник.

«С удовольствием, если бы я только знал, где именно мой крест», — ответил ему Хирам.

Он вдруг сообразил, что не слышит голоса, исходящего из колонок гигантского телевизора. Вместо этого он вслух произносил собственную проповедь. Трое прихожан на последней скамье удивленно косились на него. Хирам виновато улыбнулся, втянул голову в плечи и поспешно вышел.

По дороге домой он весело насвистывал.

— Тедди, Тедди! — встретил его голос Сары Уинн. — Что мы наделали? Что теперь будет?

— Все было изумительно, — ответил Тедди. — Я рад, что это наконец-то произошло.

— Ой, Тедди! Я никогда себя не прощу!

И Сара, разумеется, заплакала.

Хирам ошалело стоял перед экраном. Итак, Пенелопа уступила домогательствам, бросила ткань и согрешила с Тедди.

«Тут что-то не так», — подумал он.

— Тут что-то не так,— вслух повторил Хирам.
— Я люблю тебя, Сара,— сказал Тедди.
— Я этого не вынесу, Тедди,— всхлипывала Сара.—
Сердцем чувствую: я убила Джорджа! Я его предала!

Пенелопа, неужели в мире не осталось добродетели? И куда подевалась Артемида-охотница? Осталась лишь Афродита, готовая ежечасно совокупляться с любым мужчиной, богом и даже бараном, которые обещают ей вечную любовь, а дают жалкие крохи.

«Все их обещания оказываются лживыми, все до одного»,— подумал Хирам.

И тут на экране появился Джордж.

— Моя дорогая! — воскликнул он.— Моя любимая Сара! Сегодня ко мне вернулась память, и я сразу поспешил к тебе. Представляю, сколько ты пережила, бедняжка, оплакивая мою смерть. Но в машине сгорел мой случайный попутчик, который попросил его подвезти. Я отделался лишь царапинами и временной амнезией. Знала бы ты, как я счастлив вернуться домой!

Хирам закричал. Он кричал, и кричал, и кричал.

Ариец вскоре получил тревожный отчет от исследовательской группы, анализирующей результаты реакции телезрителей на мыльные оперы. Он покачал головой, у него противно заныло под ложечкой.

«Бедный мистер Клауэрд,— подумал Ариец.— Сколько мучений мы доставляем людям, пытаюсь их защитить».

— Простите меня,— сказал он, приехав домой к Хираму.

Но Хирам даже не шелохнулся. Он сидел на полу и смотрел телевизор. Разумеется, после отчета исследовательской группы местное отделение «Белл Телевижн» прекратило показ всех сериалов и, прежде всего, мыльной оперы с Сарой Уинн. Вместо этого пустили шоу-игры. Временно, конечно: до тех пор, пока аналитики не разберутся и не исправят ошибки в сценариях.

— Поверьте, мне искренне жаль,— сказал Ариец, однако Хирам попытался его оттолкнуть.

На экране телевизора чернокожая женщина отказалась от красивой шкатулки, выбрав скромный конверт. И не

прогадала. Хирам сделал бы то же самое. В конверте оказалось пять тысяч долларов, а в шкатулке — всего-навсего безделушка: ослик, запряженный в повозку, на которой сидела обезьяна. Негритянка никак не могла поверить, что ей посчастливилось избежать ловушки.

— Мистер Клауэрд, раньше я думал, что только вы все так усложняете. Я ошибся. Разумеется, вы были и остались маргиналом, но мы не знали, как влияет Сара Уинн на остальных наших телезрителей.

«Отвали ты со своей Сарой», — подумал Хирам, не отрывая взгляда от экрана.

Чернокожая женщина прыгала от радости.

— Это целиком наша вина, мистер Клауэрд. Сара Уинн нанесла серьезный вред тысячам подобных маргиналов. Мы не предполагали, насколько сильным окажется эффект идентификации. Даже представить себе не могли.

«Где уж вам, — подумал Хирам. — Вы же не утруждаете себя чтением и не знаете, как сильно влияют на людей фантазии».

Но сейчас его больше занимала передача «Главная ставка дня». Хирам мотнул головой, веля Арийцу убираться.

— Не беспокойтесь, агентство по защите прав потребителей будет выплачивать вам пожизненную компенсацию, втрое больше вашего нынешнего пособия. Они также возьмут на себя все расходы по вашему лечению.

Терпение Хирама лопнуло.

— Проваливайте! — заявил он Арийцу. — Мне куда интереснее, сумеет ли эта дамочка выиграть машину.

— Дайте мне подумать, — попросила негритянка.

Она заметно волновалась.

— Да что тут думать! — крикнул Хирам. — Дверь номер три! Ну что ты на меня пялишься? Выбирай дверь номер три!

Ариец молча наблюдал за ним.

— Дверь номер два, — выпалила негритянка.

Хирам застонал. Ведущий на экране улыбнулся.

— Итак, вы утверждаете, что машина находится за дверью номер два? — еще раз спросил ведущий. — Что ж, давайте проверим.

Дверь открылась. Оттуда вышел, наигрывая на стареньком банджо, человек в одежде то ли лесника, то ли зрителя заповедника. Зрители в зале ахнули. Человек проникновенно запел «Домик в лесу густом». Негритянка кусала губы.

— А теперь давайте посмотрим, что ожидало вас за дверью номер три,— предложил ведущий.

Он толкнул легкую дверцу. За ней стоял автомобиль.

— Я с самого начала это знал,— с досадой проговорил Хирам.— Ну почему меня никогда не слушают? Я столько раз повторял: дверь номер три. А все — ноль внимания.

Ариец повернулся, чтобы уйти.

— Я ведь и вам говорил об этом, правда? — всхлипнул Хирам.

— Да,— ответил Ариец.

— Я так и знал. С самого начала! И оказался прав.

Хирам зарыдал на груди Арийца не хуже Сары Уинн, обливающей слезами Тедди.

— Да,— повторил Ариец.

Затем осторожно оторвал от себя Хирама и поспешил в представительство «Белл Телевижн», чтобы подписать необходимые документы. Теперь Клауэрда уже можно было отнести к определенной категории, а человек не способен долго существовать вне рамок категории. Ариец понимал это куда отчетливее, чем прежде.

«Мы создаем нового человека,— подумал он.— Homo categoricus. Человека классифицированного».

Но он зря так торопился с бумагами. Вскоре после его ухода Хирам забрался в ванну и... присоединился к самой обширной из всех людских категорий.

— Проклятье,— только и сказал Ариец, узнав об этом.

Игры с ДНК: финал

Мы добирались туда целых три недели. Если хроники не врут, так долго в космосе еще не болтался никто. Не могу сказать, что условия полета были райскими: нам пришлось уместиться вчетвером на небольшом исследовательском корабле серии «Охотник III», жизненное пространство которого сведено к минимуму. Вот теперь мы смогли по достоинству оценить подвиг наших далеких предков, отважившихся отправиться в безграничные космические просторы со скоростью в одну десятую скорости света. Неудивительно, что им удалось основать всего-навсего три колонии. Должно быть, все остальные переселенцы съели друг друга в первый же месяц полета.

К концу третьей недели эта прогулка изрядно нам осточертела. Хэролд едва не сцепился с Амаури, и, не поймай мы сигнал радиомаяка, я бы приказал развернуться и лететь домой, на Нункамаис. Впрочем, «домой» — не совсем верно сказано. Это для остальных Нункамаис был домом, где, как поется в старинной песне, «и мать меня ждет, и яблочный пирог». Для меня все обстояло по-другому, потому что я родом с Пенсильвании... Так вот, мы поймали сигнал радиомаяка и задали бортовым компьютерам работенку, заставив их копать в древних картах. Они возились несколько часов и наконец нашли стационарную орбиту над каким-то Прескоттом* в штате Аризона.

* Современный Прескотт — городок с населением около 30 тысяч жителей, расположенный в центральной части Аризоны.— *Примечание переводчика.*

Во всяком случае, такие сведения выдал нам геологический компьютер, а компьютеры врать не умеют. Однако то, что лежало под нами, было совершенно не похоже на Аризону, о которой говорилось в древних книгах.

И тем не менее кто-то упорно посылал сигналы, вещая на древнеанглийском языке: «Боже, благослови Америку. Спускайтесь, посадка гарантирована». Лингвистический компьютер уверял, что слово «гарантия» в древнеанглийском было вполне пристойным и означало нечто, чему вполне можно доверять. Мы только усмехнулись.

Не подумайте, однако, что нам было все равно. Когда наши пра-пра-пра (и так далее до десятого колена) дедушки и бабушки восемьсот лет назад свалили с тогдашней матушки Земли, они сделали это не от хорошей жизни. На их родной планете вспыхнула биологическая война. Поначалу этого особо никто не заметил. В какой-то секретной лаборатории на Мадагаскаре произошла авария, опасные вирусы и микробы быстро расплодились, и люди начали погибать... уж не помню, от какой именно болезни. Ученые в Южной Африке изобрели лекарство, однако тамошним политикам захотелось заставить весь мир за него заплатить. Мир не остался в долгу и нанес ответный удар вирусной формой рака. Что было дальше — догадаться нетрудно.

Нас отделяло от планеты всего две мили, и, судя по всему, война там продолжалась до сих пор. Но кто же тогда посылал эти чертовы сигналы, обещая нам «гарантированную» посадку?

— *Obviamente automática**, — заметил Амаури.

— *Que máquina, que não pofa em tantos anos, bichinha! Não acredito!*** — закричал Хэролд, и я испугался, что они опять сцепятся, как вчера.

— Переходите на английский, — потребовал я. — Заодно привыкнете к этому языку. Внизу придется разговаривать на английском — во всяком случае, хотя бы несколько дней.

* Ясное дело — автоматика (*порт.*).

** Слушай, козявка, никакая автоматика не выдержит столько лет! Не верю! (*порт.*)

Владимир вздохнул.

— Merda*.

Я засмеялся.

— Ладно. Свои копрологические комментарии можешь высказывать на лингва депорто.

— А с чего ты взял, что на планете еще есть люди? — спросил Владимир.

Какой довод я мог привести — что чую это нутром? Поэтому я ничего не сказал, а только швырнул в него губкой, разбрызгав по кабине питьевую воду. Несколько минут продолжалось водное сражение.

Знаю, сейчас вы спросите: «А как же дисциплина?» Но не забывайте, что на «Охотнике III» был не армейский батальон, а экипаж исследовательского корабля. И уж лучше пусть члены экипажа ведут себя, как чокнутые дети, чем превратятся в чокнутых взрослых.

Я и сам сомневался, есть ли на планете люди. При том уровне технологии, каким обладали наши предки в 1992 году, как могли они создать аппаратуру, действующую аж в 2810 году? Оставалось одно из двух: либо поверить в долгоиграющую автоматику, либо признать, что на Земле до сих пор живут люди. Но как они ухитряются там жить — вот в чем вопрос? Значит, как-то ухитряются. В конце концов, нас затем и послали, чтобы разузнать, что здесь к чему.

Мое распоряжение надеть «обезьяньи шкуры» (так мы называли облегченные скафандры) экипаж встретил в штыки.

— Мы же прилетели на матушку Землю! — орал Хэролд. — На нашу прародину!

Этот увалень с коэффициентом умственного развития в полторы сотни иногда вдруг превращался в законченного баiano**.

— Может, я просто не разглядел внизу городов? — язвительно спросил я. — И не заметил миллионов людей, снующих по улицам? А может, они за эти сотни лет научились превращаться в невидимок?

* Дерьмо (*порт.*).

** Тупица (*порт.*).

— Зря споришь, там могут быть бактерии и вирусы,— подлил масла в огонь Амаури, произнеся это на редкость отвратным голосом.

Людам с кожей шоколадного цвета только дай поспорить. Пришлось мне сменить обычный тон на командирский.

— Мы будем следовать правилам высадки на незнакомую планету, и мне плевать — матушка это Земля или чертова бабушка!

И тут вместо монотонного сигнала радиомаяка раздался чей-то голос:

— Ждем ответа! Ждем ответа! Отвечайте, кто вы, не то мы надерем вам задницу!

Мы ответили и вскоре уже брели в своих «обезьяньих шкурах» сквозь нечто, напоминающее густой гороховый суп. Эта желто-зеленая субстанция доходила нам до пупка, хотя поди разберись, где именно у тебя пупок, когда ты облачен в легкий сверхпрочный скафандр, снабженный всякими предохранительными штучками. Добравшись до скалы и увидев массивную бронированную дверь, мы остановились и стали ждать, когда она откроется.

Она открылась и пропустила нас в помещение с решетчатым полом. Толика «горохового супа», который мы притащили с собой, стекла в прорези решеток. Пока мы ждали, камера стерилизации заполнилась неким газом, довольно скоро превратившим «гороховый суп» в сгустки обыкновенной грязи.

— Mariajoseijesus!* — пробормотал Амаури.— A quella merda vivia!**

— Говори по-английски! — рявкнул я в интерком «обезьяньей шкуры». — И последи за своим лексиконом.

— Значит, эта дрянь была живой, — уже по-английски и в более пристойных словах повторил Амаури.

Думаю, мои подчиненные поняли, что́ бы нас ожидало, реши мы высадиться без «обезьяньих шкур». Мне и самому стало не по себе.

* Иезус Мария! (порт.)

** Да это дерьмо живое! (порт.)

В голове моей теснились не слишком веселые мысли. А вдруг у современных землян существует обычай съедать пришельцев из космоса? Или приносить их в жертву какому-нибудь местному божку?

Четыре часа мы томились в стерилизационной камере, и за это время у меня родилось пять планов побега, один невероятнее другого. Мы уже начали впадать в отчаяние, когда открылась вторая дверь и на пороге появился человек.

Его белая одежда смахивала на одежду фермера. Незнакомец был коротышкой, но улыбался искренне и приветливо. Значит, мы не напрасно сюда летели: этот человечек был лучшим доказательством того, что на Земле уцелели люди!

Теперь-то мы знаем, что ликовали напрасно, но в ту пору даже не подозревали, что нас ждет, поэтому очень обрадовались. Мы хлопали маленького землянина по плечу, сжимали в объятиях так, что чуть не раздавили. Потом он повел нас по лабиринтам Форпоста-004 — подземной военной базы Соединенных Штатов.

Все остальные земляне оказались такими же низкорослыми: их рост не превышал ста сорока сантиметров.

«Как же сильно вытянулись за эти века колонисты», — подумалось мне.

Должно быть, Владимир угадал мои мысли. Неспешный и педантичный, как всегда очень бледный (хорошо, что земляне не сочли его призраком!), он выразительно дотронулся до дверной ручки, а потом до выключателя... Боже мой, у них еще сохранились механические выключатели! И ручка, и выключатель находились на уровне глаз наших хозяев. И тут я понял: это не мы, колонисты, вытянулись за минувшие века, а земное человечество стало меньше ростом. А ведь когда-то, если верить древним грекам, их Гею населяли великаны.

Нам не терпелось узнать, что же произошло на Земле за минувшие восемь веков, но наших хозяев интересовало совсем другое.

— Вы американец? — допытывались они у меня.

— Я с Пенсильвании, — ответил я. — А трое моих застенчивых спутников — с Нункамаиса.

Земляне не поняли.

— Нункамаис,— повторил я.— На лингва депорто это означает «никогда больше».

Судя по выражению их лиц, они опять ничего не поняли и тогда задали новый вопрос:

— Кто заложил вашу колонию?

Поразительное невежество.

— Пенсильванию колонизовали американцы с Гавайских островов. Мы даже не знаем, почему нашим предкам взбрело в голову назвать планету именно Пенсильванией.

Один из коротышек радостно замахал руками.

— Это яснее ясного. Пенсильвания — колыбель свободы. А откуда родом были их предки? — спросил он, показав на моих спутников.

— Из Бразилии,— ответил я.

Человечки стали вполголоса обсуждать услышанное. Очевидно, хоть они и не считали бразильских предков грубым оскорблением человеческого достоинства, все же ставили их ниже моих и своих собственных. Поэтому земляне вообще перестали обращаться к моим спутникам; они лишь пристально наблюдали за Хэрлдом, Амаури и Владимиром, но разговаривали исключительно со мной. Я им понравился.

— Боже, благослови Америку,— несколько раз повторили земляне.

У меня не было на этот счет никаких возражений, и я ответил:

— Боже, благослови Америку.

Потом человечки хором стали предлагать мне обойтись с русскими весьма непристойным образом. Я посмотрел на своих товарищей и пожал плечами. Возможно, я не совсем правильно понимал древнеанглийский, ибо мне показалось — земляне хотят, чтобы я занялся с русскими извращенным сексом. Я не стал допытываться у хозяев смысла этой идиомы и просто пересказал ее своим ребятам на лингва депорто.

Я без устали забрасывал человечков хитроумными вопросами, всячески пытаясь выудить у них, что же случилось с Землей после того, как ее покинули наши предки. Но вопросы оказались излишними. Похоже, человечки

годами репетировали все, что скажут космическим пришельцам, в особенности — гостям из далеких и давно забытых колоний.

Оказывается, биологическая война по-настоящему разразилась спустя три года после того, как наши предки улетели с Земли. Какой-то злой гений выпустил на свет три вируса рака. Кто именно это сделал — неизвестно, поскольку и русские, и американцы отрицали свою вину, а все китайцы к тому времени уже вымерли. Ученым ничего другого не оставалось, кроме как засучить рукава и приняться за работу.

В конце двадцатого века о рекомбинациях ДНК почти не знали. Мы и сейчас не больно-то преуспели в этой отрасли науки: нашим предкам приходилось обживать дикие планеты и им хватало других, более насущных забот. Однако на Земле, в жестких условиях биологической войны, начался невиданный ранее расцвет генетической «самодеятельности».

— Мы постоянно создаем новые виды бактерий и вирусов, — объяснили коротышки. — И нас постоянно подвергают вирусным бомбардировкам русские, которые тоже заняты аналогичными разработками.

Хозяева с гордостью рассказывали, в каких тяжелейших условиях им приходится жить. Численность населения Форпоста-004 была сравнительно невелика, а вражеские атаки становились все изощреннее.

Наконец мы поняли, что происходит на этой военной базе, и у Хэролда вырвалось:

— Fossa-me, mõe!* Так вы, зайчики, безвылазно торчите здесь целых восемьсот лет?

Они не ответили, пока я сам не повторил этот вопрос, только повежливей. Я видел, как земляне стиснули зубы, когда Хэролд назвал их зайчиками. В своих белых одеждах они и впрямь напоминали зайцев, и все же Хэролд поступил бестактно, и не только по отношению к хозяевам, но и по отношению к Владимиру, чья кожа была куда более нашей.

* Чтоб мне утонуть в клоаке! (порт.)

— Значит, вы, дорогие соотечественники, находитесь здесь с самого начала войны? — спросил я, изо всех сил стараясь вложить в свой вопрос благоговейное восхищение.

Вот только помимо восхищения в моем голосе отчетливо прозвучал ужас.

Лица землян просияли, как мне показалось — от гордости. Наконец-то я начал немного понимать их мимику. И еще я понял — пока я буду хвалить Америку, меня будут считать другом.

— Да, капитан Канэ Канэа, ни мы, ни наши предки с самого начала войны не покидали Форпост-004.

— Но это ведь ужасно трудно, не так ли?

— Только не для американских солдат, капитан. Во имя жизни, свободы и счастья мы готовы пойти на любые жертвы.

Я благоразумно удержался от вопроса, много ли свободы и счастья можно обрести в этом каменном мешке. А человек, который нас встретил, продолжал:

— Мы сражаемся за то, чтобы миллионы людей смогли жить и свободно дышать чистым воздухом Америки, не отравленным миазмами коммунизма.

Человечки тут же запели свои любимые гимны, в которых говорилось о пурпурных горах и желтых волнах и выражалась твердая уверенность, что Бог непременно благословит Америку. Пение закончилось многоголосым скандированием. Человечки выкрикивали: «Лучше быть мертвым, чем красным!»*

Когда они смолкли, я вежливо спросил, нельзя ли нам отправиться спать, поскольку по корабельному времени была уже поздняя ночь.

Нас отвели в комнатенку с тремя крошечными койками. Спать на них было невозможно, но это нас не огорчило: в «обезьяньих шкурах» не больно-то поспишь.

Едва мы остались одни, Хэролда сразу потянуло высказать на лингва депорто все, что он думает о наших хозяевах. К счастью, мне не пришлось воспользоваться дис-

* По-английски этот лозунг намного удобнее для скандирования: Better dead than red.— *Примечание переводчика.*

циплинарной кнопкой, я и без того сумел убедить этого упряма. Еще не хватало, чтобы наши хозяева заподозрили нас в каких-нибудь тайных умыслах! Мы ничуть не сомневались, что коротышки за нами следят, поэтому затеяли разговор, предназначенный для ушей оравы чокнутых патриотов.

— Я восхищаюсь их огромной любовью к Америке — любовью, которая не иссякла за сотни лет, — заявил Амаури.

Что в переводе означало: «Неужели этим идиотам невдомек, что Соединенных Штатов давным-давно не существует?»

— Наверное, только их непоколебимая преданность Богу, стране, свободе и государственному флагу помогала и помогает им держаться, — сказал я.

Честно говоря, из соображений безопасности я не поспешил на грубую лезть. В переводе, разумеется, мои слова означали совсем другое: «Должно быть, бешеный фанатизм — единственное, что позволило им не загнаться в этой крысиной норе».

— Интересно, сколько мы должны пробыть в этом бастионе демократии, чтобы навсегда запечатлеть в памяти славное воплощение американской мечты? Даже не хочется думать о возвращении домой, — с пафосом произнес Хэролд.

На самом деле его интересовало совсем другое: «А вдруг эти придурки нас не выпустят? Никогда не знаешь, чего ждать от сумасшедших. Они вполне могут вообразить, будто мы явились сюда шпионить».

— Я надеюсь, что мы сумеем многому научиться у них. Их наука далеко обогнала жалкие потуги наших ученых, которыми мы имели глупость гордиться, — в тон Хэролду отозвался Владимир.

Перевод его панегирика был таков: «Я отсюда не двинусь, пока не проверю состояние местной флоры и фауны. Восемь веков игр с ДНК не могли пройти бесследно, не хватало еще притащить на Нункамаис какой-нибудь “подарочек”!»

Мы беседовали до тех пор, пока нас едва не стошнило от собственных приторных цветистых славословий. Потом уснули.

Назавтра хозяева устроили нам ознакомительную экскурсию по Форпосту-004. В тот день оплот демократии пережил нападение русских — и еще одно событие, которое было куда более значительным, поскольку наш дорогой «Головастик» (так мы называли свой исследовательский корабль) вполне мог остаться без экипажа.

Ознакомительная экскурсия, на редкость бестолково организованная, длилась почти все утро. Возможно, в этом таился некий стратегический замысел наших хозяев. Владимир, изо всех сил изображая, как сильно он интересуется пояснениями коротышек, на самом деле гораздо пристальней следил за показаниями компьютера, вмонтированного в его «обезьянью шкуру». Я же, наоборот, внимательно слушал все, что говорили наши хозяева, и прикидывал, какого подвоха можно от них ждать. Амаури оценивал уровень их научной базы. Хэрролд пытался вывести уровень и специфику их вооружения — он считался экспертом по оружию, и то, что он вошел в экипаж, оказалось как нельзя более кстати.

Постепенно мы научились отличать одного коротышку от другого. Нашим экскурсоводом был некто по имени Джордж Вашингтон Стейнер. Важного типа, прочитавшего нам вчера лекцию по истории, звали Эндрю Джексоном Вальчински. Ну а главным дирижером, старавшимся держаться в тени, был Ричард Никсон Диксон. Нас поразило такое странное сочетание имен и фамилий, но наши компьютеры объяснили, что коротышки имеют двойные имена, составленные из имен и фамилий знаменитых американских президентов древности*.

Мой анализатор (в моей «обезьяньей шкуре» имелась и такая игрушка) сообщил также, что ключевой фигурой среди патриотических коротышек является именно Диксон, а Энди Джек Вальчински лишь руководит научными исследованиями. Мне показалось странным, что политик управляет людьми с мозгами, а не наоборот.

* Джордж Вашингтон — 1-й президент Соединенных Штатов (1789–1797). Эндрю Джексон — 7-й президент Соединенных Штатов (1829–1837). Ричард Никсон — 37-й президент Соединенных Штатов (1969–1974). — *Примечание переводчика.*

Дж. В. Стейнер, наш экскурсовод, очень гордился возложенной на него обязанностью и стремился показать нам буквально каждый закуток. И хотя «обезьянья шкура» уменьшала гравитацию на три четверти, к обеду у меня уже болели ноги.

Потом мы наскоро перекусили тем, чем приходилось питаться в подобных условиях, — переработанными экскрементами и мочой. Увы, только этим и умели нас кормить «обезьяньи шкуры».

Все полученные от наших хозяев сведения впечатляли грандиозным размахом невиданного идиотизма. Я лишь кратко перескажу самое главное.

Несмотря на полную герметичность Форпоста-004, вражеским вирусам и бактериям все же удавалось проникнуть внутрь. Еще в начале двадцать первого века русские прекратили глушить радиосигналы (сейчас мы начнете упрекать меня в непоследовательности и нелогичности изложения, но прошу, наберитесь терпения). Итак, сперва на Форпосте-004 решили, что Америка одержала победу. И вдруг — новая атака неведомой болезни. Сами исследователи на подземной базе не пострадали, герметичность этой клетки была безупречной... Вернее, в то время она казалась им безупречной. Но у тогдашнего командира Родни Флетчера случившееся вызвало сильную тревогу.

— Он заподозрил, что это очередной хитрый трюк коммуняка, — пояснил Джордж Вашингтон Стейнер.

Эта фраза пояснила мне, в чем заключаются истоки суперпатриотизма обитателей Форпоста-004.

Итак, Родни Флетчер приказал ученым найти способ повысить иммунную защиту персонала базы. Ученые безостановочно трудились две недели и вывели три новых вида бактерий, избирательно уничтожавших все, что не являлось изначальной частью человеческого организма. Их разработки пришлись как нельзя более кстати, поскольку база подверглась еще одному нападению. Система герметизации не смогла остановить дерзкого врага, поскольку теперь оружие русских представляло собой не вирус, а крошечные молекулы двух аминокислот, скрепленные молекулой лактозы. Новый враг легко проходил через все фильтры, преодолевал кордоны антибиотиков. В конце концов зловещая троица проникла в легкие каждого муж-

чины, каждой женщины и каждого ребенка на Форпосте-004. Если бы не параноидальная подозрительность Родни Флетчера, база превратилась бы в кладбище. Но и так население Форпоста-004 уменьшилось вдвое.

Две молекулы аминокислот и молекула лактозы обладали способностью наносить удар по человеческой ДНК и менять ее код. Изменение было совсем незначительным, но довольно быстро выводило из строя всю нервную систему.

Разработки ученых Форпоста-004 позволили замедлить развитие болезни, пока не была создана новая комбинация, которая помогла вытряхнуть крошечных русских захватчиков из ДНК американцев... Вот я сказал «биологическая война». Но была ли то война существ, или она уже превратилась в войну веществ? Пусть об этом спорят наши философы и все, кого интересует.

Увы, спасительная комбинация оказалась далеко не безвредной. Новое поколение рождавшихся на Форпосте-004 людей отличалось низким ростом, к тридцати годам у них выпадали зубы и катастрофически слабело зрение, а потом они вообще слепли. Дж. В. Стейнер с гордостью сообщил, что всего за четыре поколения им удалось победить слепоту. Он улыбнулся, и только тут мы впервые заметили, как сильно его зубы отличаются от наших.

— Наши зубы состоят из некоторых видов бактерий, которые отвердевают, соприкасаясь с определенным вирусом. Это — изобретение моей прапрабабушки, — пояснил Стейнер. — Мы все время стремимся создавать что-нибудь новое и полезное.

Я попросил показать то место, где совершаются подобные чудеса, сказав, что мы горим желанием пополнить впечатления, полученные во время обзорной экскурсии.

Нас повели по лабораториям, где одиннадцать волшебников играли в хитроумные игры с невидимыми ДНК. Сам я толком ничего не понял, зато компьютер моей «обезьянней шкуры» занес в свою базу все необходимые сведения.

Показали нам и систему доставки биологического оружия — она поражала гениальной простотой. Небольшое блюдо с культурой смертоносных бактерий помещалось в ящичек, который ставили в специальную камеру напо-

добие той, где мы вчера проторчали несколько часов, после чего вчерашняя процедура совершалась в обратном порядке. Нажатием кнопки закрывалась внутренняя дверь, открывалась наружная, и ящик выталкивался наружу.

— Остальную работу сделает ветер, — серьезно сообщил нам Стейнер. — По нашим расчетам, где-то через год содержимое контейнера достигнет территории России. К тому времени популяция бактерий вырастет настолько, что сопротивляться ей будет невозможно.

Я спросил, чем питаются бактерии. Стейнер с улыбкой ответил:

— Чем угодно.

Оказалось, основным типом бактерий, с которыми они работали, были бактерии, способные одновременно осуществлять фотосинтез и разрушать любые металлические сплавы.

— Как бы мы ни усовершенствовали новые типы оружия, его основа остается неизменной, — пояснил Стейнер. — Мы можем отправить такое оружие в любую точку Земли, поскольку ему не нужна питательная среда. Но главное — его ничем не остановишь.

Хэролд тут же задал Стейнеру вопрос — по существу и без грубостей, за что я мысленно его похвалил.

— Послушайте, Джордж, если эти крошки умеют превращать сталь в порошок, почему они до сих пор не стерли в порошок вашу базу?

По лицу Стейнера было видно, что он с нетерпением ждал, когда же мы спросим об этом.

— Выводя нашу основную породу боевых бактерий, параллельно мы работали над созданием особого вида плесени, препятствующей питанию и размножению таких бактерий. Эта плесень живет только на металле, вне металла ее споры погибают в течение одной семьдесят седьмой доли секунды. Таким образом, плесень надежно защищает все внешние металлические конструкции базы, но не распространяется за ее пределы. Заслуга в создании этой плесени принадлежит Уильяму Вестморленду* Ханнамейкеру — моему предку в четырнадцатом колене.

* Уильям Вестморленд (р. 1914) — генерал армии США. — *Примечание переводчика.*

— Почему вы все время упоминаете о своих родственных связях с этими изобретателями? — удивился я. — Ведь за восемьсот лет вы все здесь стали родственниками.

Мне казалось, что я задал вполне невинный вопрос, однако Дж. В. Стейнер смерил меня ледяным взглядом и молча повел нас в следующую лабораторию.

Там мы увидели бактерии, которые создавали другие бактерии, а те, в свою очередь, создавали еще одни бактерии, умевшие превращать человеческие экскременты во вкусную и питательную пищу. Что касается вкуса... Впрочем, может, для здешних обитателей она и в самом деле была вкусной и питательной, ведь нам приходилось есть переработанное дерьмо лишь во время прогулок в «обезьяньих шкурах», но коротышки веками не знали иной пищи.

Умельцам Форпоста-004 удалось вывести бактерии, способные без всякого фотосинтеза преобразовывать углекислый газ и воду в кислород и крахмал.

Но самое сильное впечатление на нас произвел арсенал базы — помещение с рядами полок, на которых стояли банки с оружием. Нам с гордостью, во всех подробностях описали, как воздействует это оружие на незащищенное человеческое тело. Я тут же подумал, что если весь этот арсенал обрушить на Нункамаис, Пенсильванию или Киев, их население попросту исчезнет, заживо съеденное бактериями, вирусами и дрессированными молекулами аминокислот.

Я и сам не заметил, что начал высказывать свои опасения вслух... Однако меня прервали уже на слове «Киев».

— Киев? — всполошились коротышки. — Одна из ваших колоний называется Киев?

Я пожал плечами.

— А что тут удивительного? Нам удалось заселить только три планеты: Киев, Пенсильванию и Нункамаис.

— Значит, среди вас есть потомки русских?

«Ой!» — мысленно произнес я.

«Ой» — универсальное слово, выражающее целую гамму чувств и заменяющее самый изощренный набор ругательств.

Обзорная экскурсия немедленно прекратилась.

Когда нас молча водворили в знакомую комнатенку, мы поняли, что злоупотребили гостеприимством хозяев. И Хэролд обвинил в этом меня.

— Капитан, если бы тебя не дернуло упомянуть Киев, мы бы не сидели сейчас под замком.

Я согласился с этим и признал свою вину, но Хэролд не унимался. Он все больше входил в раж, и мне пришлось воспользоваться дисциплинарной кнопкой.

Затем мы начали просматривать данные, собранные нашими компьютерами. Мой компьютер сообщил, что для него по-прежнему остаются неясными два вопроса. Коротышки охотно рассказывали о вторжениях в ДНК, но только о тех, что происходили в прошлом. Они ни словечком не обмолвились, ведутся ли подобные работы сейчас и каковы достижения в этой области. И еще одно — обитатели Форпоста-004 без утайки поведали нам обо всех видах оружия, которые обрушивают на русских, но о том, наносят ли русские ответные удары и каковы последствия этих ударов, даже не заикнулись.

Притихший было Хэролд опять разбушевался.

— Они думают, что заперли нас здесь и мы будем сидеть смирно, как послушные детки? Да я сейчас вышибу эту чертову дверь!

Он с угрожающим видом начал нажимать кнопки на своей «обезьяньей шкуре». Я едва убедил его подождать, пока мы не просмотрим данные с остальных компьютеров.

Амаури сообщил, что его компьютер собрал достаточно сведений о рекомбинации ДНК и мы привезем домой знания, которые совершат настоящий переворот в генетике.

Затем Владимир продемонстрировал голографический план Форпоста-004, составленный его компьютером. Светло-зелеными тонюсенькими линиями на нем были обозначены стены, двери, переходы, и мы сразу же узнали коридоры, по которым нас водили утром, а также лаборатории и комнатенку, где были заперты сейчас. Центр плана оставался темным, и что там находилось, трудно было сказать. Эти места коротышки нам не показали.

— Как думаете, мы там были? — на всякий случай спросил я у ребят.

Все дружно замотали головами. Владимир запросил свой компьютер. Синтезатор речи немедленно ответил своим характерным негромким голосом:

— Нет. Я очертил лишь внешний периметр и пометил места, где, скорее всего, находятся двери.

— Так я и знал, что эти придурки что-то от нас скрывают,— опять начал заводиться Хэролд.

— Объяснений этому может быть только два,— сказал я.— Либо у коротышек там спрятано какое-то особо секретное оружие, предназначенное для уничтожения вражеских солдат, либо они продолжают вести там исследования, связанные с ДНК.

Мы сели и вновь внимательно просмотрели данные, собранные всеми компьютерами. Это не продвинуло нас ни на шаг. Потом Владимир высказал свои предположения — удивительно, как почти белый человек уловил то, что ускользнуло от внимания троих темнокожих! Вот так действительность и опровергает все идиотские теории о превосходстве людей с кожей темного цвета.

— Какое, к черту, секретное оружие! — усмехнулся Владимир.— Они в нем не нуждаются. Чтобы нас уничтожить, им достаточно проткнуть по дырочке в наших «обезьяньих шкурах» и запустить туда свои бактерии.

— Любая дырка немедленно затянется,— возразил было Амаури, но потом согласился с Владимиром: — А ведь вирусу достаточно и доли секунды, чтобы прошмыгнуть внутрь.

Хэролд, все еще злясь на коротышек, даже не понял, о чем речь.

— Если хоть один из этих зайчат приблизится ко мне с ножом, я располосую его от задницы до подмышек!

Мы оставили его угрозу без внимания.

— С чего ты решил, что в воздухе базы есть бактерии? — спросил я Владимира.— Датчики на наших скафандрах молчат.

У Владимира был готов ответ и на этот вопрос.

— Вспомни, что они рассказывали нам про нападение русских, которым достаточно было запустить крошечные молекулы аминокислот.

— Русские,— хмыкнул Амаури.

— Вот именно,— сказал Владимир.— Только не надо так кричать, viado*.

Лицо Амаури налилось краской.

— Quem á que cê chama de viado?!** — выкрикнул он, но я вовремя нажал дисциплинарную кнопку.

Нам еще только не хватало сейчас потасовки!

— Попридержи язык, Владимир,— сказал я нашему почти белому умнику.— Мало тебе проблем?

— Извини, капитан. И ты, Амаури, тоже извини,— сказал Владимир.— Это здешняя атмосфера так на меня действует.

— Не только на тебя,— заметил я.

Владимир отдышался и продолжал:

— Раз эта русская мелюзга проникла на Форпост-004, значит, он все же не герметичен. А коли так, русские явно должны были продолжить бомбардировку аминокислотами.

— Тогда почему же здесь все не перемерли?

— Думаю, покойников у них было предостаточно. А у выживших изменился генетический код. Бессмысленно гадать, что именно его изменило: оружие русских или оружие наших хозяев. Главное, что генетические добавки стали частью их организма. Иначе и быть не могло. Перемены закрепились в ДНК и передались следующим поколениям.

Мы с Амаури поняли ход его рассуждений.

— И это длится семь или восемь веков. За такой срок вполне можно приспособиться.

— В этом нет ничего удивительного,— сказал Владимир.— Кстати, вы обратили внимание, что разработкой новых видов оружия заняты одиннадцать исследователей, а разработкой новых средств обороны — только двое? Похоже, они не слишком боятся вражеских атак.

Амаури покачал головой.

— Эх, матушка Земля! Что с ней случилось?

— Простудилась,— со смехом ответил Владимир.— Подцепила вирус под названием «человечество».

Некоторое время мы сидели молча, разглядывая голографический план Форпоста-004. Я заметил, что к за-

* Гомик (порт.).

** Кого ты назвал гомиком?! (порт.)

секреченным помещениям ведут четыре хода; если, конечно, мы захотим туда отправиться. И еще три пути вели к выходу с базы. Я сообщил об этом своим спутникам.

— Угу,— отозвался Хэролд.— Но откуда нам знать, какая из дверей ведет именно в тайник? Вполне может оказаться, что три коридора из четырех ведут в кладовки или технические отсеки.

Дельное замечание.

Пока мы сидели и ломали головы, стоит ли попытаться проникнуть в их святая святых или плюнуть на все и вернуться на «Головастик», русские нанесли удар по Форпосту-004. Раздался оглушительный взрыв, пол задрожал, словно некий гигантский пес начал выкапывать базу, как спрятанную кость. Потом дрожь прекратилась, зато погас свет.

— Это наш шанс,— сказал я в интерком.

Все со мной согласились, и мы навели на дверь лучи фонариков, вмонтированных в «обезьяньи шкуры». Теперь дело было за Хэролдом; он подошел к двери и обвел ее «магическим пальцем». Потом отступил и щелкнул рычажком на своем скафандре.

— Лучше отвернитесь,— предупредил он.— Сейчас здесь станет слишком светло.

Мы отвернулись, и все равно вспышка взрыва на несколько секунд ослепила меня, а потом некоторое время все казалось мне слегка зеленоватым. На полу валялись обломки двери. Косяку тоже досталось.

— Великолепно сработано, Хэролд,— похвалил я.

— Graças a deus*,— ответил он.

Я невольно усмехнулся. До чего живучи эти древние религиозные восклицания, если даже такой filho de punta**, как Хэролд, к ним прибегает!

Ребята ждали дальнейших распоряжений, и я приказал двигаться к секретному помещению.

Уже вторая дверь из четырех оказалась именно той, какая нам требовалась...

* Слава Богу (*порт.*).

** Сукин сын (*искаж. порт.*).

Но в это время как назло вспыхнул свет.

— Проклятье! Значит, их энергетические установки не пострадали,— сказал Амаури.

А Владимир показал туда, откуда к нам медленно приближался «гороховый суп»:

— Русские ухитрились пробить большую дыру в Форпосте-004!

Он направил лазерный луч на заполняющее коридор месиво, но даже поставленный на полную мощность излучатель сумел выжечь лишь небольшой пятячок. Остальной «суп» продолжал надвигаться на нас.

— Поплывать в этой жиже никто не желает? — спросил я.

Желающих не нашлось. Тогда я повел ребят в секретное помещение. Все, кто там был, попытались спрятаться, но Хэролд превратил их в белые коконы и запихнул в угол. Теперь можно было и осмотреться.

Честно говоря, ничего впечатляющего мы не увидели. Обыкновенное лабораторное оборудование; под кварцевыми лампами — тридцать два ящика около метра в попечнике каждый.

Мы заглянули в ящики: в них плавали какие-то студенистые существа. Естественно, у меня и в мыслях не было их потрогать, однако существо, над которым я наклонился, видимо, почуяло меня и лениво протянуло ко мне псевдоподии. Разглядев эту тварь получше, я заметил, что она напоминает пластиковый мешок, наполненный желтоватым желе. Поверхность «мешка» была светло-коричневая, даже светлее, чем кожа Владимира, и ее сплошь усеивали зеленые пятнышки.

«Может, эти создания способны к фотосинтезу?» — подумал я.

— Посмотрите, в чем они плавают,— сказал нам Амаури.

Они плавали в... «гороховом супе»!

— Сдается, эти умельцы вывели породу гигантских амёб, которые питаются всеми видами микроорганизмов,— сказал Владимир.— Может, это и есть их «ракеты-носители», которые сбрасывают бомбы на русских?

Вопрос его остался без ответа, потому что в это время Хэролд начал пальбу. Коротышки, заглянувшие в дверь

лаборатории, сильно перепугались, а те, что оказались ближе к Хэролду, быстро стали покойниками.

Наверное, он перестрелял бы их всех, если бы не забл, что стоит рядом с гигантской амебой. Зато амеба этого не забыла. Хэролд вдруг пронзительно закричал, мы обернулись и увидели, что амеба вцепилась в его ногу. А потом Хэролд рухнул; его нога ниже колена отвалилась и покатила в сторону, а амеба продолжала пожирать его ляжку.

Мы оцепенели.

Коротышки не упустили момент и окружили нас.

При столь неравных силах сопротивляться было бы просто глупо. Да нам сейчас было и не до того, мы с ужасом смотрели на Хэролда.

Добравшись до его паха, амеба замерла. Теперь это уже не имело значения: Хэролд все равно был мертв. Мы даже толком не представляли, что случилось, — все произошло слишком быстро. Едва амеба прорвала его костюм, как Хэролда начало рвать, затем все его лицо покрылось язвами... Зловещее предположение Владимира подтвердилось: воздух Форпоста-004 оказался заражен вирусами.

К этому времени амеба превратилась в почти правильный пятиугольник. Тварь повисла над зияющей раной; потом вздрогнула. Каждая из сторон пятиугольника разломилась надвое, амеба стала десятиугольной. Кажется, она собралась делиться.

Мы не ошиблись — она разделилась, и обе половинки неуклюже поползли в разные стороны. А спустя еще несколько секунд новые амобы стали пятиугольными и продолжили пировать на трупе Хэролда.

— У них и в самом деле есть смертельное оружие, — сказал Амаури.

Эти слова прорвали завесу гнетущей тишины.

Коротышки засуетились и заставили нас лечь на лабораторные столы. Каждый человечек держал в руках что-нибудь острое — стоило им пропороть наши «обезьяньи шкуры», и нам бы пришел конец. Мы замерли.

Допрос вел сам Ричард Никсон Диксон. Он закидал нас вопросами о русских. Когда мы успели снюхаться с ними? Почему предали великие идеалы свободы и про-

дались комми? Мы отрицали его обвинения как бредовые. Не добившись признания, коротышки пригрозили продырявить защитный костюм Владимира. Я понял, что надо что-то предпринять.

— Скажи им правду! — крикнул я в интерком.

— Хорошо, — согласился Владимир.

Коротышки прильнули к переговорному устройству.

— На Земле больше нет русских, — сказал Владимир.

Коротышки чуть не проткнули его «обезьянью шкуру».

— Погодите! Я говорю чистую правду. Когда мы поймали ваш сигнал, мы семь раз облетели вокруг планеты, прежде чем приземлиться. Кроме обитателей вашей базы, на Земле не осталось разумных существ!

— Обычная уловка коммунистов, — поморщился Ричард Никсон Диксон.

— Сам Бог не сказал бы вам другого! — не выдержал я. — Уберите ваши железки! Владимир говорит правду! Вся планета покрыта «гороховым супом». И суша, и вода. Лишь крошечные островки на полюсах свободны от этой жижи.

Диксон слегка растерялся. Коротышки зашептались друг с другом. Должно быть, мои слова все же произвели на них впечатление.

— Если на Земле не осталось русских, кто тогда наносит нам удары? — спросил Диксон.

Владимир ответил и на этот вопрос. И пусть мне больше не говорят, что люди со светлой кожей туго сообщают!

— Спонтанная рекомбинация, вот кто! И вы, и русские вывели стремительно размножающихся микробов. В результате на планете погибли все люди, все животные и все растения. Остались лишь микробы. Однако вы, не зная об этом, продолжали выводить все новые виды бактерий. Бактерии сражались с бактериями. Виды, не сумевшие приспособиться, вымерли, а те, что остались, научились приспосабливаться к любым условиям.

Эндрю Джексон Вальчински, главный ученый коротышек, кивнул.

— Звучит довольно убедительно.

— Не скажу, что за эти века мы детально изучили стратегию комми, — вмешался Ричард Никсон Диксон, — но

кое-что о них знаем наверняка. Как гласит наша пословица: «Доверяй комми не дальше собственного плевка».

— Их утверждения легко проверить,— сказал Энди Джек.

— Приступайте,— кивнул Диксон.

Трое коротышек направились к ящикам, каждый вернувшись с амемой в руках. Сомнений не оставалось: коротышки решили посадить этих тварей на нас. Амаури закричал. Владимир стал белым, как одежда коротышек. Я бы тоже закричал, но мой язык присох к нёбу.

— Успокойтесь,— сказал Энди Джек.— Они не причинят вам вреда.

— *Acredito!* — крикнул я.— Так я и поверил! Мы видели, как одна из этих тварей «не причинила вреда» Хэролду.

— Хэролд убил людей. Если вы не лжете, вам нечего опасаться.

«Потрясающий способ проверки»,— подумал я.

Нечто подобное проделывали наши далекие предки, проверяя, является ли та или иная женщина ведьмой. Ее бросали в воду: если утонет — невиновна, если выплывет — значит, она и впрямь ведьма и заслуживает смерти.

А вдруг Энди Джек все-таки сказал правду и амеды нас не тронут? А если мы начнем противиться, нас сразу уличат во лжи и продырявят наши защитные костюмы.

Я предложил начать с меня.

Потом закусил язык. Если эта тварь начнет меня пожирать, я тут же откушу себе язык и захлебнусь кровью. Сознание того, что я не буду покорной жертвой, придало мне отваги.

Коротышки шлепнули амеду мне на плечо. Она не просочилась сквозь защитный костюм, а поползла к голове. Студенистое тело амеды закрыло окошко моей «обезьяней шкуры». Окружающий мир потемнел.

— Канэ Канэа,— едва слышно завибрировал пластик окошка.

— *Meu deus**,— пробормотал я.

Амеба умела разговаривать! Чтобы ответить ей, мне даже не требовалось говорить. Ее вопросы передавались

* Боже мой (*порт.*).

через вибрацию окошка. А ответы она... читала в моих мыслях! Значит, если я солгу, она тут же поймет. Запросто! Я так перепугался, что, пока длился наш странный диалог, дважды обмочился. Но «обезьянья шкура» сработала безупречно: собрала мочу и переработала ее в нечто полезное и питательное. Как обычно.

Наконец допрос закончился и амеба сползла с окошка. Один из коротышек подхватил ее и передал сгоравшим от нетерпения Энди Джеку и Рикки Нику. Они оба притрунулись к амебе и... уставились на нас с неприкрытым удивлением.

— Выходит, вы сказали правду. На Земле больше нет русских.

— А с какой стати нам врать? — передернул плечами Владимир.

Энди Джек взял извивающуюся тварь и направился ко мне.

— Довольно! — закричал я. — Я покончу с собой прежде, чем вы снова посадите на меня эту зверюгу.

Энди Джек в замешательстве остановился.

— Вы все еще ее боитесь?

— А вы не боялись бы существа, умеющего читать мысли?

Владимира мои слова ошеломили, Амаури пробубнил что-то себе под нос. А Энди Джек лишь улыбнулся.

— Здесь нет ничего загадочного. Это, как вы его называли, существо умеет воспринимать и интерпретировать электромагнитные поля вашего мозга, к тому же улавливает приток амитрона к вашей щитовидной железе.

— А вообще-то что оно такое? — спросил Владимир.

Энди Джек так и сиял от гордости.

— Это мой сын.

Мы ожидали, что сейчас они продырявят наши защитные костюмы, но этого не случилось. И вдруг нам стало ясно: мы нашли то, что искали, — результат игр коротышек с рекомбинацией ДНК человека.

— Мы очень давно работали в этом направлении и лишь четыре года назад добились успеха, — сообщил Энди Джек. — Эти исследования должны были стать самым выдающимся достижением в области обороны, но поскольку

мы уничтожили всех русских, незачем больше держать наших питомцев взаперти.

Энди Джек нагнулся и опустил амебу в «гороховый суп», который был теперь коротышкам почти по колено. Амеба тут же распласталась на поверхности жижи, начала растекаться во все стороны и вскоре достигла метра в диаметре. Я до сих пор помнил ее шепот, передававшийся через окошко защитного костюма.

— Никак не пойму, где у нее может быть мозг,— сказал Владимир.

— У него нет мозга,— ответил Энди Джек, говоря об амебе в мужском роде, поскольку та являлась его сыном.— Функции мозга выполняет все тело. Если его разрезать на сорок частей, каждая часть сохранит достаточно разума и памяти, чтобы вести самостоятельную жизнь. А когда несколько наших питомцев собираются вместе, возникает удивительно сердечная обстановка и их умственный потенциал необычайно возрастает.

— Прямо пай-детки и круглые отличники,— с нескрываемым раздражением процедил Владимир.

Я изо всех сил боролся с тошнотой.

«И это — следующая стадия развития человечества? — думал я.— Человек поганил планету до тех пор, пока на ней не осталось ничего, кроме микробов. А потом ему самому не осталось ничего иного, кроме как кормиться бактериями и вирусами».

— Мы совершили истинный прорыв в эволюции,— продолжал Энди Джек.— Мой сынок инстинктивно умеет приспосабливаться к новым видам паразитических бактерий и вирусов и сознательно управляет строением своей ДНК. Он пропускает ДНК других организмов через полупроницаемые мембраны некоторых своих клеток, изменяя эти ДНК и вновь выпуская в мир.

— Это как-то не вызывает у меня желания кормить такого ребеночка или менять ему пеленки,— сказал я.

Энди Джек весело засмеялся.

— Поскольку они размножаются делением, у них нет стадии младенчества. Конечно, если бы части разделившегося существа были совсем маленькими, им понадобилось бы некоторое время, чтобы достичь уровня взрос-

лого. Но при нормальном развитии из одного взрослого организма сразу получаются два таких же.

С этими словами Энди Джек нагнулся, поднял своего сына, намотал его на руку и подошел к Ричарду Никсону Диксону, который молча наблюдал за происходящим. Энди Джек опустил на плечо Диксона руку с намотанной на нее амебой.

— Кстати, сэр, — сказал Энди Джек. — Поскольку мы перебили всех русских, проклятая война наконец закончилась.

Диксон удивленно посмотрел на него.

— И что из этого следует?

— Что нам больше не нужен командир.

Не успел Диксон ответить, как амеба вгрызлась ему в горло, и он рухнул мертвым в «гороховый суп». На наших глазах свершился государственный переворот.

Меня интересовало, как отнесутся к этому остальные коротышки, но они, похоже, ничего не имели против. Их суперпатриотизм и воинственность явно имели свои пределы. Это меня обрадовало — возможно, у нас со здешними людьми все же осталось нечто общее.

Они решили нас отпустить, и мы не стали мешкать с отлетом. На обратном пути к стерилизационной камере коротышки открыли нам истинную причину удара, который потряс недавно Форпост-004. Разумеется, «русские» были здесь ни при чем, просто как раз в том помещении, где находилось хранилище резервуаров с водородом, слой защитной плесени слегка мутировал, войдя в симбиоз с бактериями, пожирающими сталь. Едва в стальной обшивке появилось отверстие, как вместе с «гороховым супом» внутрь базы проникли молекулы аминокислот, и результатом их альянса с чистым водородом был взрыв, уничтоживший изрядную часть Форпоста-004.

До чего же мы обрадовались, что оставили нашего дорогого старого «Головастика» парить в сорока метрах над землей! И все равно не обошлось без инцидента: некие микробы облюбовали мельчайшие трещины в корпусе корабля и начали стремительно размножаться, все больше их расширяя. И все же Амаури счел, что и корабль, и наша троица вполне способны выдержать обратный путь.

Мы улетели без торжественных речей и прощальных поцелуев.

Итак, теперь вы знаете правду о нашем путешествии на матушку Землю в 2810 году. Думаю, вы сами заметили, как все случившееся с нами тогда созвучно с тем, что происходит в наших мирах сейчас. Если мы позволим Пенсильвании ввязаться в затяжную локальную войну Киева и Нункамаиса, мы получим сполна и по заслугам. А в сравнении с конвертерами антиматерии бактериологическая война может показаться невинной детской забавой. И если человечество уцелеет в этой войне, его уже нельзя будет назвать человечеством.

Может, сейчас это никого не волнует, но меня волнует. Меня не вдохновляет перспектива играть не с внуками, а с амебами, и еще меньше вдохновляет перспектива иметь внучатых племянников, состоящих из стустков антиматерии. Всю жизнь я был человеком, и мне нравится им быть.

Поэтому я считаю, что нам нужно позаботиться о мощной оборонительной системе и переждать, пока закончится эта чертова война. Дождаться, пока жители Киева и Нункамаиса перебьют друг друга. А потом можно будет заняться серьезным делом — созданием надежных условий для сохранения жизни и человеческого облика людей.

Вот и вся политика. Если вы проголосуете за войну, обещаю: множество маленьких исследовательских кораблей покинет обреченную планету и отправится в безбрежные космические просторы. Когда-то наши предки колонизировали Пенсильванию, и мы сумеем сделать то же самое с другой планетой. Если кое-кто не понял намека, поясняю: это — призыв к потенциальным добровольцам. Я все сказал.

Впрочем, не все. Когда я впервые опубликовал свою программу, меня забросали вопросами. Точнее, повторяли один и тот же вопрос: почему по возвращении домой мы не рассказали немедленно правду об увиденном на Земле? Ответ простой: изменение бортового журнала на Нункамаисе считается тягчайшим преступлением, но мы были вынуждены на это пойти.

Едва мы стартовали с матушки Земли, Владимир стер из памяти своего компьютера всю информацию, связанную с рекомбинацией ДНК. Узнай я заранее о его намерениях, скорее всего, я попытался бы ему помешать. Однако дело было сделано, и Амаури счел, что Владимир прав. Дерьмовые игры с ДНК, которыми занимались на Форпосте-004, нельзя переносить в другие уголки Вселенной.

После этого мы сделали все, чтобы скрыть истинное положение вещей. Мы стерли все упоминания о Форпосте-004, уничтожив даже намек на то, что поймали их сигнал. В бортовом компьютере остались лишь данные об орбитальном облете планеты и о том, что мы убедились: Земля мертва и покрыта странной субстанцией, по внешнему виду напоминающей гороховый суп. Но нам еще нужно было как-то объяснить, почему погиб Хэролд. И мы состряпали вполне правдоподобную версию, свалив все на серьезные неполадки в системе жизнеобеспечения скафандра для работ в открытом космосе, добавив несколько скупых строк о том, какой невосполнимой утратой явилась для нас гибель нашего дорогого друга.

Подводя итог полету на Землю, мы написали в бортовом журнале: «Следов человеческой жизни на планете не обнаружено. Для заселения совершенно непригодна».

Я считаю, мы написали сущую правду.

В конуре*

Мыкликлулн проснулся, ощущая ту же тоску, с какой уснул девяносто семь лет назад. Он понял, что корабль сбавляет скорость, и бросился к обзорным экранам, хотя знал, что сейчас ему станет еще хуже. Мыкликлулну не терпелось увидеть звезду, которая некогда была их солнцем, — но он не увидел ее. Значит, свет сверхновой еще не достиг той части космоса, где находился Мыкликлулн.

«Проклятые сантименты», — сердито подумал он, пытаясь вспомнить, что ему известно о планетной системе, к которой он направлялся... Скоро его родное солнце, ставшее сверхновой, растопит ледяные скалы, и на месте милых его сердцу равнин разольются громадные озера, а те превратятся в моря и затопят всю планету. Потом чудовищная жара выжжет атмосферу. Впрочем, чего ради вздыхать по пустой планете? Главное — им удалось спасти цивилизацию.

Правда, его соплеменники не сумели сохранить свои тела. В открытом космосе можно было существовать лишь в виде информационных копий, помещенных в капсулы, и сейчас в межзвездном пространстве плавали миллионы таких капсул. Соплеменники Мыкликлулна ждали, когда он сообщит им, что наконец-то найдена подходящая планета с подходящими телами. Новая родина для миллионов разумных существ, где те смогут снова...

* В соавторстве с Джейм А. Парри.

Смогут снова — что?

«Нет, сколько бы мы ни искали, — подумал Мыкликлулн, — нечего и надеяться найти изящные, симметричные, прекрасные шестиугольные тела, которые погибли вместе с нашей родной планетой».

Сам Мыкликлулн пока сохранил такое тело, но лишь пока.

Итак, планетная система, в которую он направлялся, состояла из тринадцати объектов, если считать и центральную звезду. Не заинтересовавшись газовыми гигантами и каменными карликами, Мыкликлулн принялся просматривать данные по двум планетам, показавшимся ему наиболее пригодными для заселения. Одна из них, голубоватая, третья по счету от звезды, имела естественный спутник, а следующая, красная планетка чуть поменьше, оказалась мертва. Условия на спутнике третьей были еще хуже, чем на красной, зато на самой планете, вокруг которой вращался этот спутник, имелась жизнь. Разумеется, ничуть не похожая на жизнь на потерянной родине Мыкликлулна — такое было бы просто невозможно, — но все-таки не просто жизнь, а разумная жизнь. Вернее, стоящая на начальной стадии развития разума.

Интенсивность исходящих от планеты инфракрасных и ультрафиолетовых волн превосходила интенсивность излучения, исходящего от звезды... Мыкликлулн никогда бы не назвал эту звезду солнцем. Как показывали данные приборов, основой для получения энергии на голубоватой планете служила переработка углеродсодержащих соединений. Согласно современным научным представлениям (если, конечно, можно назвать современными представления девяностосемилетней давности) подобная энергетика характерна для цивилизации, вынужденной развиваться в определенной температурной среде. Наверное, именно так выразились бы ученые соплеменники Мыкликлулна, радуясь зримому подтверждению своих теорий.

Через несколько месяцев Мыкликлулн вывел корабль на стационарную орбиту у третьей планеты и принялся исследовать потоки информации в окружающем пространстве. Он довольно быстро разобрался в языках обитателей голубой планеты, однако из-за устройства своего организма не мог воспроизводить чужеродные звуки.

Одно из открытий Мыкликлулна его не приободрило. Оказывается, аборигены называли свою звезду «солнцем», свой спутник — «луной», а свою жаркую планету — «землей», причем на разных языках планета называлась по-разному. На Мыкликлулна произвело большое впечатление такое изобилие языков и разнообразных способов общения. Возможно, обитатели планеты очень любили логические выкладки, что свидетельствовало о высоком уровне их интеллекта.

У Мыкликлулна промелькнула мысль: не поселиться ли его соплеменникам в двуногих телах здешней разумной расы? Но закон запрещал подобные действия. К тому же его сородичи могли пойти на массовое самоубийство, осознав (а шила в мешке не утаишь), что новые тела достались им ценой гибели другой цивилизации. Ведь двуногие обитатели Земли были разумны, а их парадоксальное чувство юмора напомнило Мыкликлулну его жену... Ах, Глунд-нидн! Вместе с пилотом корабля она добровольно отправилась к солнцу и добыла энергию, которая спасла ее сородичей, но сама при этом погибла...

Мыкликлулн отогнал скорбные мысли. Жизнь все-таки продолжается!

Итак, о вселении в тела доминирующей расы можно было забыть. Правда, на планете жила еще одна раса двуногих, относительно малочисленная, но доминирующая раса почему-то относилась к ней или с презрением, или со страхом. Другие виды здешних живых существ отпадали — особенности строения их организмов не позволяли сделать их носителями разума. К тому же продолжительность их жизни была слишком мала, что помешало бы развитию цивилизации.

После долгих поисков и раздумий Мыкликлулн остановился на двух видах четвероногих. Внешне они весьма отличались друг от друга, но вполне удовлетворяли всем требованиям. Оба вида имели доступ в жилища доминирующей расы, обладали потенциальными возможностями общения, их тела и мозг вполне могли выдержать вселение чужого разума. К тому же оба вида были настолько многочисленными, что в них можно было переселить всех соплеменников Мыкликлулна, информационные копии

которых плавали в межзвездном пространстве, терпеливо дожидаясь этой минуты.

Мыкликлулн мысленно подбросил монетку — мысленно, потому что в его распоряжении не было ни монеты, ни руки, ни достаточного уровня гравитации, чтобы монета смогла упасть... И в результате выбрал тот вид четвероногих, который поднимал больше шума и отличался, по мнению Мыкликлулна, большей сообразительностью. Немаловажно было и то, что этот вид жил вместе с доминирующей двуногой расой и пользовался ее большой любовью.

Мыкликлулн принялся решать проблему размещения устройств для подачи сигналов соплеменникам. С одной стороны, он не должен был вызывать подозрений у доминирующей расы, с другой — не мог обойтись без ее помощи. От напряженных размышлений все шесть углов его тела слегка вибрировали.

Абу постоянно не хватало денег, а еще не хватало еды, поэтому он был слишком тощим. Удрученно размышляя о своем безденежье, он и не подозревал, что через каких-то двадцать минут деньги начисто перестанут его волновать. Именно столько ему осталось жить, но Абу об этом не знал.

— Ну почему мне платят меньше, чем Фазилю? — вопрошал Абу. — Он только и знает, что просиживает задницу, а мне приходится весь день бегать взад-вперед и заглядывать в глазки тюремных камер. Я что, плохой мусульманин? Или я глупее Фазиля? Или недостаточно предан нашей партии?

Все эти риторические вопросы он задавал шепотом, чтобы, упаси Аллах, не услышало начальство. Абу ибн-Ассур с головой ушел в мысли о жестокости и бесчеловечности мира, как вдруг стены стоящей в пустыне тюрьмы задрожали от оглушительного гула, а потом на Абу обрушился чудовишный смерч раскаленного песка. Абу вскрикнул и закрыл лицо руками, но было поздно — острые песчинки выкололи ему глаза, а горячий ветер высушил пустые глазницы.

Только поэтому Абу не увидел дыры во внешней стене камеры номер двадцать три, где содержался политический преступник, которого завтра должны были казнить. Человек этот попал сюда за убийство жены — преступление, казалось бы, вовсе не политическое. Однако тесть осужденного был важной шишкой и мог одним телефонным звонком кого угодно упрятать за решетку.

Абу, само собой, уже не увидел, как появился его начальник. Обнаружив, что камера номер двадцать три пуста, начальник сразу начал искать козла отпущения, на которого можно будет свалить вину за побег. Вскинув автомат, начальник выстрелил в Абу. Тот услышал звук выстрела, почувствовал жгучую боль в груди — и умер, так толком и не поняв, что же произошло.

Мыкликлулн потянулся, подвигал ногами. Он все еще не привык к своему новому телу: к четырем конечностям, к двум бокам вместо шести и к постоянному возбуждению. Все ощущения были острыми и приятными. Он обошел вокруг своего корабля, растопырив пальцы и шевеля ими: теперь у него имелось пять пальцев на каждой конечности.

«Какой стала бы наша цивилизация, будь у нас изначально такие тела? — подумал он. — Наверное, тогда мы не научились бы общаться телепатически и нам пришлось бы разговаривать с помощью воздушных колебаний, как это делают здешние двуногие».

Мыкликлулн видел, как внутри корабля тает его прежнее тело.

Над лугами штата Канзас становилось все жарче.

Мыкликлулн знал, что нарушил закон, но у него не было иного выхода. Ему поневоле пришлось завладеть телом человека, которого все равно лишили бы жизни. Однако сородичи наверняка подвергнут его допросу, признают виновным и казнят за посягательство на жизнь другого разумного существа.

Но это дело будущего, а пока у него появилось новое тело, а вместе с ним — множество новых ощущений. Мыкликлулн провел языком по зубам. Потом начал издавать жужжащие и свистящие звуки, пытаясь заговорить.

Человеческая речь никак ему не давалась. Язык и губы Мыкликлулна норовили воспроизвести привычные арабские звуки, в то время как новый хозяин тела пытался подражать совсем другой речи, которую доносили до него многочисленные радиоволны.

Продолжая упражняться в произнесении звуков, Мыкликлулна в то же время методично уничтожал свой корабль. Может, этого и не стоило делать: для человеческого зрения корабль был невидим. Но миссия Мыкликлулна была слишком важна, чтобы рисковать.

К тому времени, когда инопланетянин появился в одном из близлежащих городков, он уже в совершенстве умел изъясняться на местном языке. Во всяком случае, его речь не вызвала никаких подозрений у служащих «Корпорации промышленного развития» в Канзас-Сити, где Мыкликлулна разместил заказ на изготовление разработанного им устройства. Столь же гладко прошли его переговоры с юридической фирмой «Фарбер, Фарбер и Мейнард», где он запатентовал все детали своего изобретения. Потом Мыкликлулна навестил деревообрабатывающую фабрику Сидни и заказал у них первую партию собачьих будок.

Бриллиантов, проданных Мыкликлульном, вполне хватило на оплату двух тысяч собачьих будок с необычным содержимым. Находясь в приподнятом настроении, он мурлыкал странные песенки, которые доносили до него радиоволны.

— Кока-кола — наслажденья школа! — пел Мыкликлулна.

А еще:

— Опять покажут на этой неделе такое, что лучше б глаза не глядели...

К вечеру, после захода солнца, он затормозил у мотеля на окраине Манхэттена*.

— Вы один? — спросил его служащий мотеля.

— Один.

* Город на северо-востоке штата Канзас. Население около 40 тысяч жителей. В Манхэттене находится университет штата Канзас.— *Примечание переводчика.*

— Ваше имя?

— Роберт, — ответил Мыкликлулн, выбрав первое попавшееся из тысячи имен, которые успел услышать по радио. — Роберт Редфорд.

— Ого! — усмехнулся служащий. — И каково быть тезкой и однофамильцем столь известного человека?*

— Я привык. Мне и самому приходится встречаться со множеством известных людей.

Служащий засмеялся. Мыкликлулн ответил улыбкой. Разговаривать было довольно забавно, а главное, при таком способе общения легко можно было соврать. Соплеменники Мыкликлулна просто не знали, что такое ложь.

— Ваша профессия, мистер Редфорд?

— Торговый агент.

— Да ну? И что же вы продаете?

Мыкликлулн пожал плечами, стараясь изобразить полную невозмутимость.

— Собачьи будки.

Ройс Джекобсон, обливаясь потом (в доме было жарко, как в сауне), открыл входную дверь и недовольно поморщился. Опять торговый агент, чтоб им провалиться.

— Извините, но нам ничего не нужно, — буркнул он.

— Ошибаетесь. Очень даже нужно, — с улыбкой возразил торговый агент.

Это несколько озадачило Ройса — обычно торговые агенты не спорили с потенциальными покупателями, а начинали жаловаться на тяжелые времена и свою нелегкую жизнь. Очень немногие отваживались возражать, тем более с такой непрошибаемой уверенностью, с какой только что возразил незнакомец.

«Да, парень — настоящий дока в свое деле», — подумал Ройс.

Он взглянул на чемоданчик с образцами и увидел на нем странную надпись: «Собачьи будки. Продажа в неограниченном количестве».

* Роберт Редфорд (р. 1937) — американский киноактер и режиссер. — *Примечание переводчика.*

— У нас нет пса,— сказал Ройс.

— Зато в вашем доме стоит собачья жара,— сказал торговый агент.

— Да, жара собачья, это верно. Ха.

Ройс мог бы выдать что-нибудь подлиннее вместо короткого «ха», но он очумел от жары, а человек перед ним был всего-навсего торговым агентом, поэтому необязательно было смеяться над его шутками.

— Однако у вас наверняка имеется кондиционер,— продолжал торговый агент.

— Угу. Не хватает самой малости — разрешения от жмотной электрокомпании на превышение квоты потребления электроэнергии. Сто баксов, видите ли, и ни цента больше. Поэтому если я захочу включить кондиционер, мне придется вырубить холодильник, плиту или что-нибудь еще.

Незнакомец сочувственно посмотрел на него.

— Для таких, как я, вечно придумывают какие-то квоты, лимиты и прочую дрянь,— продолжал Ройс.— Могут поспорить, мэр пользуется кондиционером, сколько влезет. А что касается президента жмотной электрокомпании, даю голову на отсечение — этот парень трижды в день принимает горячий душ и столько же раз холодный. А окна у него не закрываются даже зимой.

— Вы правы,— согласился торговый агент.— Такие компании владеют всей страной. И не только страной — всем миром. Думаете, в Англии или Японии по-другому? Нет. У кого в руках нефть и газ, тем не нужно золота.

— Вот-вот,— усмехнулся Ройс.— Мы с вами придерживаемся одинаковых взглядов. Давайте, заходите. В доме, конечно, пекло, но торчать на солнце еще хуже.

Они уселись на обшарпанный диван, и Ройс подробно объяснил торговому агенту, чем ему не нравится «жмотная электрокомпания», что он думает о ее руководстве и куда именно, по его мнению, этому руководству следует запихнуть все квоты, лимиты, счета и «периоды максимального и минимального потребления электроэнергии».

— Мне осточертело принимать душ в два часа ночи! — гаркнул Ройс.

— Тогда надо что-то делать! — отозвался торговый агент.

— Золотые слова. Только что?

— Купить у меня собачью будку.

Нет, у этого парня определенно имелось чувство юмора. Ройс хохотал громко и долго.

Но потом торговый агент начал показывать ему рисунки, диаграммы и таблицы затрат и возможной будущей прибыли.

— Утилизатор солнечной энергии, встроенный в собачью будку, способен круглосуточно и бесперебойно снабжать ваш дом электроэнергией, — тихо и неторопливо говорил торговый агент. — Учтите: даже если у вас целыми днями будут включены все лампочки и все электроприборы, потребляемая энергия составит лишь четверть мощности утилизатора. Но главное — электричество не будет стоить вам ни цента. Вы потратите деньги только один раз, купив у меня собачью будку.

Ройсу безумно захотелось приобрести это чудо, но он покачал головой.

— Такая сделка противозаконна. Кажется, еще в восемьдесят пятом или восемьдесят шестом году правительство запретило пользоваться солнечными батареями. Надо же ему как-то защищать свои любимые электрокомпании!

— И вы верите, что эти компании нуждаются в защите? — со смехом спросил торговый агент.

— Я пока не выжил из ума и знаю, что это меня следует защищать от них, — ответил Ройс. — Но счетчик! Если я перестану пользоваться их электричеством, счетчик выдаст меня, и они начнут копать и вынюхивать.

— Не беспокойтесь. Зачем подключать к утилизатору сразу весь дом? Мы подключим только энергоемкие устройства. А вы будете постепенно снижать потребление официальной электроэнергии, пока ее суммарная стоимость не упадет, скажем, до пятнадцати долларов в месяц. Вы согласны? Но за эти пятнадцать долларов вам не придется сидеть в темноте, духоте или готовить пищу на костре. Ни в коем случае. Летом у вас постоянно будет работать кондиционер, зимой — обогреватель. Душ вы станете прини-

мать столько, сколько захотите, открывать дверцу холодильника — тоже.

Ройс все еще колебался.

— Скажите, что вы при этом теряете? — напирал торговый агент.

— Только пот, — ответил Ройс. — Вы правы. Только свой пот!

И он громко захохотал.

— Теперь вы понимаете, почему мы встраиваем утилизаторы в собачьи будки? — спросил торговый агент. — Это не вызывает никаких подозрений.

— Ловко придумано, — сказал Ройс. — Считайте, что я уже купил у вас собачью будку. В конце концов, умники-конгрессмены, протаскивая свои законы, не спрашивали согласия таких, как я.

Под мерное жужжание кондиционера Ройс и его жена Джуня провели гостей в дом. В гостиной работал телевизор, из кухни доносилось гудение миксера. Ройс беспечно включил все лампы в гостиной, и гости удивленно разинули рты; один из приглашенных зашептал что-то на ухо своей жене.

Пока хозяева болтали с гостями, входная дверь оставалась открытой, но Ройс как будто ничего не замечал.

Зато некий мистер Детвилер, член команды по боулингу, быстро это заметил и, ойкнув, сорвался со стула.

Ройс с улыбкой остановил гостя, кинувшегося к двери:

— Ничего страшного! Сейчас я сам закрою. Кстати, попробуйте эти орешки.

Но гостям было не до угощения. Все не сводили глаз со злополучной двери. Ройс неторопливо разложил по тарелочкам арахис и только после этого пошел ее закрыть.

— Отличная нынче погода, — заметил он.

Когда даже спустя несколько минут дверь все еще оставалась открытой, кто-то из гостей пробормотал: «Господи!» Другой отозвался на эту реплику куда более энергичным словом.

Ройс, добившийся задуманного эффекта, с довольным видом закрыл дверь.

— Я хочу познакомить вас со своим другом,— сказал он.— Его зовут Роберт Редфорд.

Гости засмеялись. С тем же успехом Ройс мог бы познакомить их с президентом Соединенных Штатов.

— Моего друга действительно зовут Роберт Редфорд, но он даже не родственник знаменитого киноактера. Если хотите знать, он торговый агент по продаже собачьих будок.

Мыкликлулн с приветливой улыбкой появился в гостиной и стал пожимать руки гостям.

— Он смахивает на араба,— шепнула одна из женщин.

— Или на еврея,— прошептал в ответ ее муж.— Кто их там разберет.

Ройс лучезарно улыбнулся и похлопал Мыкликлулна по спине.

— Таких гениальных торговых агентов, как Редфорд, я еще не встречал.

— Да уж наверняка, раз он умудрился продать вам собачью будку, хотя у вас нет собаки,— отозвался мистер Детвилер, член команды по боулингу.

Мистер Детвилер всегда разговаривал покровительственно-снисходительным тоном, поскольку был единственным приличным игроком в местной спортивной лиге.

— Тем не менее, как любил каркать ворон у старика По*, давайте посмотрим на мою собачью будку.

Чтобы попасть на задний двор, нужно было пройти через кухню. Там, как и в гостиной, горели все лампы, а дверца холодильника была приоткрыта.

— Ройс, да у тебя холодильник открыт! — воскликнули гости.

— Наверное, кто-то из детей забыл закрыть.

— Попробовали бы мои оставить дверцу открытой. Да я бы их прибила!

* Ворон в одноименном стихотворении Эдгара По каркает: «Nevermore!», что означает «никогда больше». В оригинале Ройс (очевидно, желая блеснуть знанием родной поэзии) произносит несуществующее словечко «neverthmore», скорее всего имея в виду «nevertheless», которое действительно переводится как «тем не менее». — *Примечание переводчика.*

Но что там — открытый холодильник! На кухне Джекобсонов происходило нечто покруче: там работали одновременно электроплита, микроволновая печь, миксер и водонагреватель. Некоторые гости были уже на грани обморока.

Когда Ройс открыл дверь на задний двор, все попытались протиснуться в нее всем скопом, поскольку привыкли беречь электроэнергию.

— Послушайте, зачем устраивать толчею? У нас в доме что, пожар? — попытался образумить их Ройс.

Но могучая привычка беречь электроэнергию оказалась сильнее.

На пути к собачьей будке, стоящей в самом глухом углу заднего двора, Детвилер отвел Ройса в сторонку.

— Слушай, дружище, у тебя никак появилась своя рука в этой жмотной электрокомпании? Как тебе удалось выбить такую щедрую квоту?

Ройс лишь улыбнулся и покачал головой.

— Нет, Детвилер, моя квота осталась прежней.

Затем он добавил уже громче, чтобы слышали остальные:

— Я честно плачу им пятнадцать баксов в месяц.

— Гав-гав! — тоненько тявкнул шенок, сидящий у будки на цепи.

— Откуда эта собака? — шепотом спросил Ройс Мыкликлуна.

— Соседи отдали. Собирались его утопить, — ответил Мыкликлуна. — К тому же, если у вас будет будка без собаки, это вызовет подозрения. Считайте пса своим прикрытием.

Ройс понимающе кивнул.

— Отлично придумано, Редфорд. Надеюсь, с сегодняшней вечеринкой все тоже пройдет гладко. Но... вы не боитесь, что кто-нибудь из гостей проболтается?

— Никто не проболтается, — убежденно ответил Мыкликлуна.

После чего стал демонстрировать гостям Ройса, что именно находится внутри собачьей будки.

Когда гости разошлись, Мыкликлуна подвел итоги. Он получил двадцать три приглашения, поэтому ближайшие две недели обещали быть очень хлопотливыми. У него

появилось много новых друзей, а в кармане лежали выписанные гостями чеки на сумму 221 доллар 23 цента каждый. Именно столько (с учетом налогов) стоила чудо-конура. Даже мистер Детвилер вручил Мыкликлулну свой чек. Лучший игрок в боулинг широко улыбался, хотя шенок успел обмочить ему ботинок.

— Вот ваши коммиссионные,— сказал Мыкликлулн, выписывая Ройсу чек на триста долларов.— Больше, чем мы договаривались, но вы честно заработали эти деньги.

— У меня какое-то странное ощущение,— признался Ройс.— Как будто я участвую в заговоре...

— Направленном на подрыв существующих законов? — договорил за него Мыкликлулн.— Пустяки. Считайте это чем-то вроде «тапперуэрской вечеринки»*.

— А ведь и в самом деле похоже,— подумав, согласился Ройс.— Я сегодня и пальцем не пошевелил, чтобы лично продать хоть одну собачью будку.

Однако не прошло и недели, как Ройс, Детвилер и еще четверо жителей городка Манхэттен отправились в дальний путь по городам Соединенных Штатов. У каждого из них был с собой чемоданчик, на котором красовалась надпись: «Собачьи будки. Продажа в неограниченном количестве».

Не прошло и месяца, как собачьи будки продавались уже в семи штатах, а число работающих на Мыкликлулна человек выросло до трехсот. У каждой из будок весело твкали игривый шенок.

«На всю операцию уйдет не больше года,— мысленно прикидывал Мыкликлулн.— Всего один год, и я смогу пригласить моих собратьев на их новую родину».

— Что творится с потреблением электроэнергии в Манхэттене? — спросил напористый молодой начальник отдела статистического анализа.

Разговор этот происходил в Управлении объединенных электрических сетей Канзаса, в той самой компании, которую люд называл «жмотной».

* Презентация пластиковых пищевых контейнеров фирмы «Тапперуэр», проводимая в форме вечеринки. Хозяева дома, где она проводится, получают отчисления от общей суммы покупок, совершенных их гостями.— *Примечание переводчика.*

— Потребление электроэнергии там значительно снизилось, — ответила Кэй Блок, работавшая здесь еще со времени программ позитивных действий*.

Прежде чем правительство успело отменить поправку о равных правах**, Кэй Блок сумела дослужиться до старшего ревизора.

Билл Уилсон презрительно хмыкнул, словно говоря: «Это, милая дамочка, я и сам вижу». А Кэй Блок ответила ему улыбкой «синего чулка»: «А у мальчика, оказывается, есть интеллект».

Но они сумели-таки поладить и углубились в работу. Спустя час перед ними лежали столбцы тревожных статистических данных. Суммарное потребление электроэнергии в Манхэттене упало на сорок процентов.

— А как обстояло дело в прошлом квартале? — спросил Уилсон.

Они проверили статистику за прошлый квартал. Все было в норме.

— Откуда взялись эти сорок процентов? — гремел взбешенный Уилсон.

— Нечего срывать на мне злость, — рассердилась Кэй, которая терпеть не могла, когда на нее повышают голос. — Отправляйтесь в Манхэттен и кричите на тех, кто выключил там свои холодильники!

— Нет, — возразил Билл, — это вы отправитесь в Манхэттен и будете кричать на тех, кто выключил там свои холодильники. Я не верю, чтобы в этом городе разом сломались все счетчики. Значит, налицо мошенничество со счетами за электричество. Вот и выясните, в чем дело.

Две недели спустя Кэй Блок сидела в одном из офисов административного здания университета штата Канзас и тупо смотрела в стену. Яркий плакат напоминал о

* Программы позитивных действий — ряд правительственных программ, принятых в США в 60–80-е гг. XX века и направленных на преодоление последствий социального неравенства. — *Примечание переводчика.*

** Поправка о равных правах была принята правительством США в 1972 г. Запрещала дискриминацию по признаку пола. Однако в большинстве штатов эту поправку отказались ратифицировать, и впоследствии она была отменена. — *Примечание переводчика.*

значительной победе, одержанной в прошлом сезоне университетской футбольной командой. С плакатом мирно соседствовал флажок научной конференции с броским названием «Равнины-98». Кэй Блок не интересовалась ни американским футболом, ни наукой. Ее интересовали лишь результаты ее исследований, а они были равны большому жирному нулю.

Выборочная проверка тридцати восьми университетских счетчиков показала, что все они в полной исправности. Пломбы оказались целы, никаких признаков того, что счетчики вскрывали, Кэй не обнаружила. Всесторонняя проверка учетных документов в местном отделении корпорации опять-таки не выявила махинаций. Но потребление электроэнергии ощутимо упало. Кэй Блок чувствовала, что всему этому должно быть простое логическое объяснение. Оставалось только его найти.

— Потребление электроэнергии не может упасть ни с того ни с сего, — заявила Кэй блондинке из университетской администрации, которую дали ей в помощь. — Вряд ли на вашем стадионе вдруг начали играть в футбол впотьмах. Значит, надо искать где-то еще. Например, в лабораториях.

• На мгновение Кэй показалось, что она нашла причину.

— Вам известно о сворачивании исследовательских программ в вашем университете?

Блондинка покачала головой.

— Тогда как вы объясните эти цифры?

— Цифры, мисс Блок, это уж по вашей части. — Блондинке успела изрядно надоесть назойливая гостья. — Вы сами убедились, что мы не вскрываем счетчики и не подделываем их показания. Университет аккуратно оплачивает счета за электричество. Остальное нас не касается.

Кэй вздохнула и посмотрела в окно, за которым виднелась крыша недавно построенного здания ботанического факультета. Кэй разглядывала крышу, а сама искала хотя бы малюсенькую зацепку — кто и каким образом так ловко дурачит ее родную корпорацию?

Заметив на крыше ботанического факультета собачью будку, Кэй сразу обрушила на блондинку вопрос:

- А зачем на крыше поставили собачью будку?
- Наверное, там живет собака,— последовал невозмутимый ответ.
- На крыше?
- Собаки тоже любят свежий воздух,— улыбнулась блондинка.

Кэй продолжала смотреть на будку, мысленно повторяя, что ей сгодится любое, даже самое из ряда вон выходящее объяснение причин, по которым в Манхэттене столь резко упало потребление электроэнергии.

- Я хочу осмотреть эту будку,— заявила Кэй Блок.
- Зачем? — удивилась блондинка.— Уж не думаете ли вы, что кто-то спрятал в небольшой конуре генератор или солнечные батареи? Насколько я знаю, солнечные батареи заняли бы всю крышу.

Кэй смирила собеседницу пристальным взглядом — протесты показались ей подозрительными.

- Я настаиваю на своей просьбе,— повторила старший ревизор.

Блондинка снова улыбнулась.

- Как вам будет угодно, мисс Блок. Сейчас позвоню смотрителю факультета и попрошу его открыть дверь на крышу.

И вот обе женщины спустились вниз, пересекли лужайку, вошли в здание ботанического факультета и зашагали вверх по ступенькам. С непривычки Кэй быстро запыхалась.

- Что у вас случилось с лифтами? — недовольно спросила она.

— Мы больше не пользуемся лифтами,— ответила блондинка.— Они потребляют слишком много энергии. Такую роскошь нынче может себе позволить только ваша компания.

Смотритель с виноватым видом уже ждал их на крыше.

- Что, старина Ровер вас допек? Вы уж простите. Я держу его здесь с прошлой весны. С тех пор как двое молодцов попытались взломать эту дверь и через крышу проникнуть в здание. А после того как появился пес, все стало тихо и спокойно.

— Гав,— подал голос Ровер, похожий на гибрид слона и ньюфаундленда.

Псу явно хотелось познакомиться с дамами поближе.

— Привет, привет, старина,— сказал ему смотритель.— Только не вздумай никого кусать.

— Гав,— пообещал пес, стремясь продемонстрировать дружелюбие.— Р-рр-гав!

Кэй внимательно осмотрела дверь, ведущую с крыши на чердак.

— Что-то я не вижу никаких следов взлома,— сказала она.

— Ничего удивительного. Взломщиков заметили из окон административного корпуса и успели задержать.

— Тогда зачем вам на крыше собака? — не унималась Кэй.

— А если бы их не заметили? И потом, здесь люди заняты работой, им некогда то и дело глазеть из окон на крышу.

Тон смотрителя показывал, что только круглая дура может задавать подобные вопросы.

Кэй стала осматривать собачью будку. Будка как будка, таких миллионы. Самое заурядное сооружение: полукруглое отверстие, крутобокая крыша с обязательными фронтонами и карнизами. Не хватало только миски с водой, груды обглоданных костей и иных атрибутов собачьей жизни.

— Надо же, какой отшельник,— сказала Кэй.— И что, его никогда не тянет побегать?

— Нет,— ответил смотритель.— Заядлый домосед. Я чуть ли не силком вытаскиваю его на лужайку. Правда, Ровер?

Кэй оглядела стену, где была дверь, через которую они вышли на крышу.

— Странно. Ваш Ровер даже не метит стены.

— Он не только домосед. Ровер — пес аккуратный. Ему и в голову не взбредет нагадить на крыше.

— Гав,— согласился Ровер и тут же помочился на дверь, после чего сделал аккуратную кучку возле самых ног Кэй.— Гав-гав-гав,— сказал он, весьма гордый собой.

— Вот и все ваше хваленое воспитание,— язвительно бросила Кэй и направилась к выходу.

Ее не интересовало, что ответит зритель. Кэй и так поняла: пес на крыше не живет, а собачья будка используется совсем для иных целей. Осталось лишь выяснить — для каких именно?

«Жмотная электрокомпания» подала гражданский иск против города Манхэттена с требованием отсоединить от всех собачьих будок любые электрические провода и кабели. Городские власти подали встречный иск против «жмотной электрокомпании», намереваясь обжаловать ее требование в судебном порядке. Этот шаг властей был горячо поддержан горожанами.

Тогда «жмотная электрокомпания» попросту отключила город Манхэттен от энергосетей штата Канзас.

В Манхэттене этого не заметил никто, кроме местного отделения «жмотной электрокомпании» — единственного здания в городе, оставшегося без электричества.

«Война против собачьих будок» становилась все более заметной. Ведущие журналы помещали пространные статьи о загадочной компании «Собачьи будки. Продажа в неограниченном количестве» и ее таинственном основателе Роберте Редфорде, который категорически отказывался давать интервью и вообще куда-то исчез. По всем пяти общенациональным телеканалам шли передачи о новом источнике дешевой энергии. Опросы общественного мнения и статистические данные показывали, что у семи процентов населения Соединенных Штатов уже имелись собачьи будки, а из числа тех, у кого их еще не было, желали обзавестись чудо-конурами 99,8 процента. В число оставшихся жалких 0,2 процента входили, само собой разумеется, держатели акций энергетических компаний и управляющие высшего звена. Политикам и их помощникам приходилось держать нос по ветру: до выборов оставалось меньше года, и отношение к проблеме собачьих будок приобретало особое значение.

Закон, запрещающий использование солнечных батарей и аналогичных устройств, был наконец отменен. Акции энергетических компаний стремительно падали. Начался самый незаметный из мировых экономических кризисов.

Экономические системы, сориентированные на дорогостоящие виды энергии, разваливались с пугающей быст-

ротой. Еще недавно казавшаяся монолитной Организация стран — экспортеров нефти удивительно быстро распалась. Не прошло и пяти месяцев, как цена нефти снизилась до тридцати восьми центов за баррель. Применение нефтепродуктов свелось к производству из них пластмасс и смазочных масел, и нефтедобывающие страны во много раз перекрывали потребности мирового рынка в этих продуктах.

Человечество не замечало разразившегося кризиса по одной простой причине: компания «Собачьи будки. Продажа в неограниченном количестве» легко удовлетворяла спрос на свой товар. Правительство Соединенных Штатов не захотело остаться в стороне от прибылей и ввело солидный налог на экспорт собачьих будок с утилизаторами солнечной энергии. Компания Мыкликлулна нанесла ответный удар, опубликовав схемы устройства утилизатора и заявив, что в таком случае она будет производить собачьи будки за границей. Американское правительство тут же пошло на попятную и отменило налог. Компания «Собачьи будки. Продажа в неограниченном количестве» сообщила, что опубликовала лишь часть схем, не раскрыв главного секрета утилизатора, и Мыкликлулн продолжал не спеша монополизировать мировой рынок.

Компания Мыкликлулна завоевывала одну страну за другой, действуя где с помощью тонкой дипломатии, где — с помощью грубого подкупа, а в некоторых случаях даже свергая упрямое правительство. Слава создателя чудоконуры Роберта Редфорда затмила славу его тезки и однофамильца, в недавнем прошлом популярного киноактера. О Редфорде начали рассказывать легенды. Народная молва охотно приписывала ему все то, что раньше приписывалось Куан Ю*, Полу Баньяну** или Гаутаме Будде.

Свершилось! Теперь каждый человек в мире имел дешевый неиссякаемый источник энергии. Бесплатной

* Ли Куан Ю — в 1959–1990 гг. был премьер-министром Сингапура. С его именем связывают небывалый расцвет экономики и благосостояния этого государства. — *Примечание переводчика.*

** Пол Баньян — персонаж американского фольклора, великан-дровосек, совершавший сверхъестественные поступки. — *Примечание переводчика.*

энергии, которую можно было тратить по своему усмотрению. Неудивительно, что все люди были счастливы. Настолько счастливы, что делились неожиданным изобилием с другими божьими тварями — подкармливали птиц зимой, оставляли на улице миски с молоком для бездомных кошек, а в чудо-будках, чтобы те не пустовали, селили собак.

Мыкликлулн подпер ладонью подбородок.

«Какая странная ирония судьбы», — подумал он.

Он ведь даже не собирался столь разительным образом менять жизнь доминирующей расы двуногих. Дешевая электроэнергия была побочным продуктом его миссии, призванной обеспечить каждую собаку теплым и удобным домиком. Однако от положительных результатов нельзя было отмахнуться, и разумные существа, будь то его соплеменники или здешние двуногие, вряд ли станут строго судить его за убийство арабского политзаключенного, совершенное около года назад.

— Интересно, что будет, когда вы окажетесь здесь? — вслух спросил он своих соплеменников.

Вопрос был риторическим, ибо соплеменники не слышали и не могли его слышать.

— Я спас этот мир. Но когда раса двуногих, при всех ее незаурядных умственных задатках, войдет в контакт с нашим куда более развитым разумом, не приведет ли это к непоправимым последствиям? Не будут ли люди страдать и чувствовать себя униженными, узнав, что мы могущественнее их? Что мы способны передвигаться по галактике со скоростью света и общаться телепатически? Что мы можем отделить разум от гибнущего тела, сохранив свою информационную копию, а потом, повинаясь простому сигналу, можем мгновенно переместиться на громадное расстояние и проникнуть в тело животного, абсолютно не похожее на наше прежнее тело?

Но несмотря на сомнения Мыкликлулна, его совесть была чиста. Он выполнил долг перед соплеменниками. Если гордость не позволит расе двуногих признать свой более чем скромный уровень развития, он здесь будет ни при чем.

Основатель компании «Собаčky будки. Продажа в ограниченном количестве» сидел в своем филиале в Сан-Диего, скрываясь от пронырливых газетчиков и телерепортеров.

Выдвинув верхний ящик письменного стола, Мыкликлулн нажал на кнопку стоящего внутри прибора, и мощный пучок электромагнитных волн устремился к восьмидесяти миллионам собачьих будок южной Калифорнии. Каждая будка передавала сигнал дальше, и постепенно он облетел весь мир, попав в каждую точку земного шара, где стояла чудо-конура.

Когда энергетическая невидимая цепь замкнулась на последней будке, все они одновременно передали другой сигнал, способный за доли секунды покрыть расстояние в световой год, и сигнал этот разбудил миллионы информационных копий соплеменников Мыкликлулна, давно ожидавших заветной минуты. Не тратя времени зря, они устремились туда, откуда донесся сигнал, и путешествие их тоже заняло всего несколько мгновений.

Информационные копии миллионов разумных существ собрались вокруг зелено-голубой планеты и выслушали подробный отчет Мыкликлулна о том, что он успел здесь сделать. Соплеменники высоко оценили его труд, однако закон есть закон, и Мыкликлулна обвинили в убийстве арабского политзаключенного. Ему было приказано покончить с собой, и Мыкликлулн, гордый признанием соплеменников и высокой оценкой своих заслуг, с радостной улыбкой вынул револьвер и застрелился.

Информационные копии устремились к собачьим будкам, гостеприимно приглашавшим их в новую жизнь.

— Гав-уфф-ррр-ваф,— изрек пес Ройса и, как сумасшедший, запрыгал по двору.

— Пес явно спятил,— сказал Ройс, не разделяя собачьей радости.

Двум его сыновьям, наоборот, необычное поведение пса очень понравилось, и они со смехом принялись носиться вместе с ним. Пес дюжину раз обежал двор и без сил рухнул перед своей будкой.

— Гавв-ваф-грфф,— блаженно сказал он.

Потом подошел к Ройсу, подпрыгнул и лизнул хозяйина в лицо.

— Ты меня всего обслюнявил, паршивец,— проворчал Ройс.

Выразив свои чувства к хозяину, пес двинулся к кипе старых газет, дожидавшихся отправки в макулатуру, стал самую верхнюю и уставился в газетные полосы.

В это время во дворе появилась Джуни, чтобы накрыть стол к ужину под открытым небом.

— Провалиться мне на месте, но мне показалось, будто наш пес читает газету,— сказал жене Ройс.

Джим, его старший сын, бросил палочку и потребовал:

— Робби, принеси! Я кому сказал? Принеси палку!

Пес, мгновенно усвоивший премудрости чтения и письма, сбегал за палкой, но отдавать Джиму не стал, а, зажав палочку в зубах, начал писать ею на земле.

«Здравствуй, человек,— написал пес.— Наверное, тебе странно видеть, что я пишу».

— Ну и ну,— заметил Ройс, прочитав это.— Джуни, ты только посмотри, что он тут накарябал. Необычный у нас пес, правда?

Он погладил собаку по голове и уселся ужинать.

— Интересно, люди стали бы платить за то, чтобы посмотреть на нашего пса?

«Мы не причиним вреда вашей планете»,— написал Робби.

— Джимми,— окликнула сына Джуни, раскладывая картофельный салат по бумажным тарелкам.— Смотри, как бы наш ученый пес не попортил своими каракулями клумбу с петуниями.

— Идем, Робби,— сказал Джимми.— Побегал и хватит. Пора на цепь.

— Вррафф,— ответил пес, косясь на цепь и отодвигаясь.

— Папа, Робби почему-то не хочет меня слушаться,— пожаловался Джим.

Ройс, набивший рот сэндвичем с курицей и салатом, раздраженно встал.

— Что за нежности, Джимми? Если ты не сумеешь управиться с собакой, нам придется ее отдать. Не забывай, мы брали его для вас, нам-то с мамой и без собак хорошо.

Ройс схватил пса за ошейник и потащил туда, где стоял Джимми с цепью в руках.

Щелкнул карабин.

— Запомни, псина: трюки трюками, но если ты не будешь слушаться, я тебя продам. Понял?

— А-фф!

— Так-то вот. Думаю, ты запомнишь урок.

Пока четверо людей наслаждались ужином под открытым небом, пес следил за ними грустными, почти испуганными глазами. Ройсу стало неловко, и он отдал Робби свой недоеденный ломтик ветчины.

Вечером Ройс и Джуні всерьез обсуждали, нельзя ли будет заработать на неожиданно обнаружившихся у Робби способностях. Оба решили, что заниматься этим не стоит. Во-первых, дети любят пса и не захотят с ним расстаться. А во-вторых, заставлять животных выделять разные трюки — жестоко. Все-таки супруги Джекобсон были весьма просвещенными людьми.

На следующее утро они искренне обрадовались, что приняли такое решение, поскольку все вокруг взахлеб рассказывали о необыкновенных способностях, внезапно появившихся у их собак. Выяснилось, что читать и писать умеет едва ли не каждая шавка. Но этим собачьи достижения не исчерпывались. Чья-то собака научилась разматывать садовый шланг и поливать цветы, а чей-то пес, разлегшись перед незажженным камином, одним взглядом заставил вспыхнуть огонь.

— Моя собака — самая гениальная в мире, — уверенно объявил мистер Детвилер и тут же сник, ибо все игроки в его команде говорили то же самое о своих псах.

— Мой теперь ходит в туалет и спускает за собой воду! — хвастался один.

— Это еще что! Моя после прогулки сама моет лапы, а потом берет тряпку и подтирает там, где наследила.

Подобными историями пестрели все газеты, и вскоре стало ясно, что внезапный скачок в развитии собачьего

интеллекта — явление не только общеамериканское, но и всемирное. За исключением нескольких суеверных новогвинейцев, которые, посчитав, что в их собак вселились злые духи, сожгли несчастных животных на костре, а также нескольких китайцев, подивившихся фокусам смысленных четвероногих, но все же приготовивших из них традиционные мясные блюда, у большинства людей такие перемены вызвали радость и гордость за своих любимцев.

— Я теперь люблю своего пса вдвое больше прежнего, — признался Билл Уилсон, в недавнем прошлом начальник отдела статистического анализа «жмотной электрокомпании». — Представляете, он не только приносит мне дичь на охоте, но еще и сам ошиповывает ее, потрошит и засовывает в духовку.

Услышав это, Кэй Блок молча улыбнулась и отправилась домой, где ее ждал мастиф, которого она очень-очень любила и чье общество ценила намного выше, чем общество двуногих.

— Прошло всего два года с момента неожиданного всплеска собачьего интеллекта, — сказал профессор Уилрайт, обращаясь к студентам-выпускникам, решившим специализироваться на этологии*. — Но за эти два года мы узнали много нового о разуме животных. Упомянутый всплеск заставил нас пересмотреть свои взгляды на эволюцию. Несомненно, масштаб мутаций был несравненно обширнее и всестороннее, чем ранее предполагалось; во всяком случае, именно так обстоит дело с изменением высших функций. В течение этого семестра мы займемся подробным изучением собачьего интеллекта. А пока в порядке вступления хочу сказать следующее... В настоящее время принято считать, что разум собак намного превосходит разум дельфинов, однако ему по-прежнему очень далеко до человеческого разума. Тем не менее, если интеллект дельфинов не приносит нам почти никакой пользы, собаки, надо полагать, станут теперь еще более надежными и верными нашими помощниками. Можно с полным основанием утверждать: отныне мы не одиноки на Земле.

* Этология — наука о поведении животных.

Конечно, мы пока не знаем, от каких животных нам ожидать следующего всплеска интеллекта и произойдет ли он вообще.

Воспользовавшись паузой, один из студентов задал вопрос.

— Видите ли, — ответил Уилрайт, — это действительно напоминает теорию «Большого взрыва»*. Есть феномены, относительно причин или происхождения которых нам остается лишь строить бесконечные гипотезы. Раз мы не можем воспроизвести это явление в лабораторных условиях, нам приходится довольствоваться гипотезами. Так же дело обстоит и со всплеском собачьего интеллекта. Полной ясности в этом вопросе нет до сих пор. Скорее всего — здесь, пожалуй, сходятся во мнениях все ученые, — существует некая взаимосвязь между общей численностью собак на Земле и развитием их мозга. В некий момент критическая масса популяции собак возросла до такой степени, что это способствовало резкому повышению интеллектуального уровня данных животных. Однако перемены не коснулись всех без исключения собак. Имеющиеся у нас факты показывают, что наивысшего интеллекта собаки достигли прежде всего в развитых странах и густонаселенных областях. Это обстоятельство привело к появлению множества спекулятивных рассуждений об особой роли человеческого интеллекта, якобы спровоцировавшего интеллектуальный всплеск у собак. Насколько верны или не верны такие рассуждения — покажет время. Однако налицо и другой факт: у псов, живущих в так называемых нецивилизованных уголках земного шара, не замечено изменений уровня интеллекта, что полностью опровергает гипотезу о влиянии некоего космического излучения или каких-то иных влияний извне, вызвавших упомянутые перемены в разуме собак. Такая гипотеза несостоятельна еще и потому, что любое космическое излучение было бы непременно зафиксировано земными астрономическими обсерваториями, к тому же повлияло бы в равной степени на всех собак Земли.

Профессору задали новый вопрос.

* Теория происхождения Вселенной. — *Примечание переводчика.*

— Кто знает? Лично я в этом сомневаюсь. Разговаривать собаки не могут, хотя многие из них выучились писать простые фразы, очевидно, запомнив начертание слов. Эта способность стоит где-то посередине между способностью попугаев бездумно подражать нашей речи и более осмысленным поведением дельфинов... простите, вы не помните, с чего я начал свой ответ?

Аудитория засмеялась.

— А, вспомнил. Я говорил, что собаки не способны к дальнейшему усовершенствованию интеллекта и никогда не достигнут того уровня развития, которое поставило бы их на одну ступень с человеком. По двум простым причинам: собакам недоступно вербальное общение и у них нет рук. Вне всякого сомнения, этот вид животных достиг пика своей эволюции. Я думаю, только счастливое сочетание многих факторов сделало человека тем, чем он теперь является. Можно лишь гадать, нет ли где-нибудь в просторах космоса, на иной планете, некоего вида разумных существ, который оказался удачливее нас и достиг еще более впечатляющего уровня развития. Однако будем надеяться, что этого все же не случилось! — с пафосом провозгласил Уилрайт и почесал за ушами своего лохматого пса по имени Б. Ф. Скиннер*. — Правда, мистер Скиннер? Потому что человек никогда не свыкнется с мыслью о том, что рядом с ним существует более разумная раса!

Студенты дружно засмеялись.

— Гафф-рафф, — ответил Б. Ф. Скиннер, которого некогда звали Хихиункном.

Но так его звали давно, на планете, где жили белые шестиугольники, общавшиеся телепатически и покорившие пространство и время. Они не сумели лишь одного — научиться управлять процессами, протекавшими на их солнце. Если бы собачья глотка могла произносить человеческие слова, пес сказал бы: «Не волнуйтесь, профессор. Человечеству незачем тревожиться, что рядом живет более разумная раса. Вы слишком горды и заняты собой, чтобы заметить ее присутствие».

* Скиннер, Беррес Фредерик — американский психолог, один из крупных представителей современного бихевиоризма. — *Примечание переводчика.*

Но вместо этого бывший Хихиункн тихо рыкнул, по- лакал воды из миски и улегся в углу аудитории, где профессор Уилрайт продолжал свои ученые рассуждения.

В сентябре двухтысячного года произошло небывалое для Канзаса событие: выпал снег.

Подросший Джим, который теперь очень сердился, если его называли Джимми, играл во дворе. Его пес Робби тем временем работал: лапами и зубами выкапывал сорную траву росичку, за что Ройс и Джуния называли его умницей и трепали за ушами. Неожиданно Джим закричал:

— Снег!

И тотчас перед носом Робби на траву опустилась снежинка. Она мгновенно растаяла. Робби смотрел, как падают все новые и новые снежинки, смотрел на их хрупкие белоснежные шестиугольники, такие знакомые, такие прекрасные и... такие чуждые для этого мира. Не выдержав, он заплакал.

— Мама! — крикнул Джим. — Посмотри! Наш Робби плачет!

— Просто снежинки попали ему в глаза и растаяли, — ответила сыну Джуни, которая стояла в кухне возле открытого окна и мыла редиску. — Собаки не умеют плакать.

В тот вечер снег все падал и падал, и множество выбравшихся из будок собак замерли в немом восторге, глядя на белые хлопья.

«Неужели мы так никогда и не...» — мысленно вопрошали они, в сотый и тысячный раз задавая себе этот вопрос и боясь закончить его даже мысленно, потому что каждый пес уже знал ответ: «Нет, никогда!» Для этого нужны руки. И, что еще важнее, нужен доступ к оборудованию двуногих, иначе им никогда не удастся создать устройства, которые позволят им вновь отделить разум от тел и отправить капсулы со своими информационными копиями в космические просторы.

В отчаянии они в сотысячный раз проклинали авантюриста Мыкликлулна, заманившего их в эту западню. Все сходились на том, что самоубийство было слишком легким наказанием для такого негодяя, поэтому решено

было лишить его всех похвал, которыми они некогда так опрометчиво его наградили.

Шло время. Рождались щенята. Их родители очень радовались, что теперь есть кому передать бесценные знания и опыт великой цивилизации.

Щенки смотрели на жизнь более оптимистично. Они ничего не знали о далекой планете, на которой некогда жили их родители. Падающие снежинки были для щенят веселой забавой, а зима — просто холодным временем года. Малыши не понимали, почему родители подолгу стоят и смотрят на снег, когда внутри домиков так тепло и уютно? Щенки и не терзались этим вопросом, они просто сворачивались на полу теплых собачьих будок и засыпали.

Тот, кто ходит по пятам

Встречая свой двенадцатый день рождения, Рюбен Айвис решил, что этот год будет для него удачным. Его собака и его доктор не согласились с этим, но Рюбен не обратил внимания на их мнение.

Мейнард со своими когтями и глазищами мог сидеть под кроватью сколько вздумается. А доктор... Ну, он был одним из них, и Рюбен не испытывал к нему ничего, кроме презрения. Свое отношение он демонстрировал, являясь на прием ровно на пятнадцать минут позже назначенного времени, хотя прекрасно понимал, что тем самым сбивает расписание доктора на весь оставшийся день. А едва доктор привыкал к его опозданиям и назначал другому посетителю прийти пораньше, Рюбен являлся вовремя.

— Он просто так показывает, что ему на нас наплевать,— шепнул доктор сестре.

«Вот скучища-то»,— подумал Рюбен. А Мейнард со смущенным видом залез под кресло, больше напоминая овцу, чем овчарку.

«Очень робкую овчарку»*,— подумал Рюбен.

— Что тебя так развеселило? — спросил доктор.

Рюбен усмехнулся.

— Вы. В этих бифокальных очках вы выглядите просто кошмарно.

— Спасибо, Рюбен,— ответил доктор.

* Игра слов: sheep — овца, sheepdog — овчарка, sheepish — робкий.

— Сегодня в 9.37 мне исполнилось двенадцать,— сообщил Рюбен.

— С днем рождения тебя.

— Вот черт! Как вам это удастся?

— Удастся что? — спросил доктор с выражением безграничного терпения.

— Быть искренним, правду вы говорите или нет. То есть не может быть, чтобы вы...

— Но я говорил совершенно искренне,— сказал доктор.

Рюбен засмеялся.

— Ну и каково ощущать себя двенадцатилетним?

— Все эти годы меня обманывали,— ответил Рюбен.

— Неужели? — сказал доктор.

Он выглядел чуть более заинтересованным, чем всегда.

— Ох, доктор, да! — воскликнул Рюбен.— Все строят против меня козни, повсюду меня преследуют! Хотят до меня добраться. Защитите меня!

Доктор вздохнул и передвинул бумаги на столе.

Рюбен упал на колени.

— Значит, вы мне не поможет? Вы один из них, теперь я это вижу. Мейнард, хоть ты меня спаси! — закричал Рюбен и впился в пса, забившегося под кресло.

Мейнард разозлился и укусил его.

Рюбен посмотрел на следы зубов на своей руке.

— И ты, Мейнард,— пробормотал он.— Доктор, посмотрите. Даже Мейнард.

— Паранойя не повод для шуток, Рюбен,— заявил доктор.

— Он думает, я шучу,— сказал Рюбен Мейнарду и горько рассмеялся.

«Когда вокруг Земли летают вражеские корабли и любой может оказаться предателем,— подумал доктор,— паранойя закономерное явление. Небо — враг. Окружающий мир — враг. Единственный способ избавиться от страха — оказаться в могиле. Но Рюбен не параноик».

Рюбен стал жевать листья искусственного растения.

— Быть сумасшедшим не так уж плохо,— проговорил доктор.— Только не нужно притворяться безумнее, чем ты есть. Как ты считаешь?

— Ух, ух, ух! — Рюбен снова уселся в кресло. — Нельзя проявлять негативные эмоции по отношению к человеку с нарушениями психики. Закон семь, параграф три.

— Я доктор, — напомнил доктор. — И если захочу, могу послать тебя к черту.

— А вы хотите?

— Иди к черту, — ответил доктор.

— Я был у него, — сообщил Рюбен загробным голосом, — и до сих пор не вернулся.

— Каково ощущать себя двенадцатилетним? — задал новый вопрос доктор.

— Это год будет для меня удачным.

Доктор непонимающе взглянул на него.

— Что значит — удачным?

— Удача — это когда тебе везет, — ответил Рюбен. — Когда ты добиваешься успеха. Другими словами, когда все идет, как тебе хочется.

— И каким же образом, — спросил доктор, — свершится такое чудо?

Но Рюбен не отвечал. Оставшиеся полчаса он просто сидел и гладил Мейнарда. В конце концов доктор встал, открыл дверь и проговорил:

— Время вышло. Оно было потрачено впустую. Увидимся на следующей неделе. В три тридцать. Если опоздаешь, я аннулирую твою карточку.

— Если я опоздаю, — ответил Рюбен, — мы увидимся, когда я приду.

Глядя, как Рюбен шагает к двери, доктор вздохнул.

Рюбен улыбнулся. Он не считал визит успешным, если доктор, провожая его взглядом, не вздыхал.

Мальчик спустился в метро, прокомпостировав на входе билет. Выходя в центре города, он показал контролеру свою красную карточку. Тот жизнерадостно улыбнулся и знаком велел проходить, но Рюбен заметил, что этот человек невольно отступил, а взгляд его полон страха. Рюбен не удивился — большинство людей реагировали на него именно так. Ему это не нравилось, но, по крайней мере, он мог везде проходить бесплатно — дополнительная льгота, предоставляемая людям с нарушениями психики.

Он вошел в зал ожидания, где на больших экранах горело расписание поездов. Вокруг толпились люди. Рюбен остановился и опустил Мейнарда на пол. (В поездах он всегда брал Мейнарда на руки, потому что вибрация заставляла пса нервничать и он мог сделать лужу.)

— Народу сегодня больше, чем всегда, — сказал Рюбен Мейнард.

Пес фыркнул.

«Народу всегда много», — подумал Рюбен.

Интересно, как все выглядело, когда людям разрешалось иметь собственные автомобили? Почему метро тогда не прогорало? Паршивый сервис. На сиденьях всегда наклеплена жвачка. Никто бы никогда не ездил в метро, если бы без него можно было обойтись.

Но без него нельзя обойтись.

Рюбен закрыл глаза и досчитал до двухсот. Люди тарасились на мальчика, но, заметив у него в руке красную карточку, отворачивались. Это противозаконно — тараситься на человека с нарушениями психики.

Потом Рюбен открыл глаза. Первый, кого он увидел, был высокий мужчина в деловом костюме. Рюбен пошел было за ним, но потом вдруг понял, что этот человек смахивает на отца, и остановился как вкопанный. Нет, это не отец. И все же Рюбен передумал за ним идти.

Он вспомнил, когда в последний раз виделся с отцом. Отец явился на его день рождения. Наверное, и сегодня явится. Эта мысль огорчила Рюбена и даже вызвала смутное ощущение страха.

Да, отец придет, а мама нет. Рюбен сплюнул. Люди вокруг не возмутились. Это незаконно — возмущаться антиобщественными поступками человека с нарушениями психики.

Рюбен закрыл глаза и снова принялся считать. Когда он открыл глаза, он увидел невысокого коренастого мужчину в дорогом костюме. Мужчине, похоже, было ужасно жарко, несмотря на кондиционеры, и Рюбен подумал, что забава может получиться неплохой. Спрятав красную карточку в карман, мальчик пошел за этим человеком.

Первые несколько кварталов следовать за ним было трудно: вокруг было много народу и Рюбену удавалось идти

незамеченным за коренастым мужчиной на расстоянии десяти футов. Рюбену ничего не стоило затеряться среди толпы взрослых; только в такие моменты мальчик и радовался, что он еще ребенок.

Но потом человек свернул в длинный, почти пустой переулочек, где не было никого, кроме разгружающих автомобилей рабочих. Проходя мимо, человек помахал им рукой. Рабочие ответили тем же.

Рюбен достал из кармана резиновый мячик и бросил вслед коренастому мужчине.

— Давай, Мейнард, — сказал мальчик. — Отрабатывай свое собачье печенье.

Мейнард бросился за мячиком, но обратно не принес, а, наоборот, подтолкнул его носом еще дальше.

— Принеси! — закричал Рюбен.

Однако пес знал свое дело: он догнал мяч и снова его подтолкнул.

— Неси сюда мячик, шавка ты беспородная! — завопил Рюбен.

Люди перестали работать и уставились на Рюбена — как тому показалось, подозрительно. Один из рабочих посмотрел туда, где за поворотом улицы только что скрылся человек, которого преследовал Рюбен. Потом снова перевел взгляд на мальчика.

— Почему ты не в школе, парень? — спросил он.

Рюбен вытащил из кармана красную карточку.

— А-а, понятно... — смутился рабочий. — Эй, парень, извини меня, ладно?

— Да ничего, — ответил Рюбен.

Мейнард поймал мяч в самом конце переулочка.

— Твой пес не слишком хорошо выполняет команду «апорт», да, парень? — рабочий явно пытался шутить.

Большинство людей стараются вести себя приветливо с теми, у кого нарушения психики. Не чувствуя ничего, кроме презрения, Рюбен потрусил за Мейнардом.

Однако, добежав до угла и отобрав у пса мячик, он заметил, что рабочие все еще смотрят ему вслед. Может, что-то заподозрили? К тому же они, похоже, знают человека, за которым шел Рюбен.

А, не важно!

На улице, куда выходил переулок, было полным-полно народу, и нужного человека нигде не было видно.

«Упустил», — подумал Рюбен и дал Мейнард� печенье.

— Медленно шевелишься, — сказал он.

Пес не обратил внимания на эти слова, с жадностью поглощая печенье.

— Ты не собака. Ты свинья!

Мейнард перестал есть и сердито взглянул на мальчика.

— Ладно, ладно, извини. Станный ты какой-то. Такой обидчивый!

Мейнард проглотил последний кусок печенья и потрусил по улице.

— Ты куда? Изображаешь героя? Хочешь найти его по запаху?

Мейнард остановился, лишь добежав до универсама Ауэрбаха.

— О'кей, Страшилище, Северная Лайка, давай найдем кого-нибудь другого.

Но Мейнард не двинулся с места — и тут из универсама вышел тот самый человек с маленькой коробкой в руке. Преследование возобновилось; теперь Мейнард трусил впереди Рюбена.

— Только давай не будем давить друг другу на психику, — сказал Рюбен, и снова Мейнард не обратил на него внимания, продолжая бежать как ни в чем не бывало.

Когда они добрались до парка Свободы, человек остановился, чтобы купить газету. Потом вошел в парк и уселся на скамейку под деревьями. Неподалеку мальчишки бросали пластмассовую «летающую тарелку», какая-то семья расположилась на пикник. Мужчина углубился в газету.

Рюбен и Мейнард минут пять наблюдали за ним.

Человек перевернул страницу.

— Один — ноль, — сказал Рюбен. — Будем считать, что он выиграл. Пошли за кем-нибудь другим.

И тут мужчина взглянул на часы, сложил газету и встал. Рюбен хотел было пойти за ним, но лежать на траве было так удобно, а мужчина казался таким скучным. Гораздо интереснее было наблюдать, как мальчишки перекидываются «летающей тарелкой».

Потом взгляд Рюбена скользнул по скамье. Человек забыл коробку, купленную у Ауэрбаха. Вот болван!

— Эй, Мейнард,— Рюбен погладил пса.— Пошли за этим придурком. Он оставил на скамье свою коробку.

Тут к скамье подошла женщина с пуделем и присела отдохнуть.

Пудель оказался сучкой, причем в течке. Мейнард моментально это учуял, вскочил и потрусил к собачонке, которая, казалось, наблюдала за его приближением с пренебрежительной усмешкой. Мейнард не обратил на это внимания, как будто ему и в голову не приходило, что среди собак тоже могут встречаться снобы.

Но вскоре собачка позабыла про свой снобизм, залаяла и бросилась к хозяйке в поисках защиты. Мейнард радостно и неотступно следовал за ней по пятам. Собачонка попыталась скрыться, но ей помешал поводок. Когда Мейнард приблизился, пуделиха бросилась наутек, вырвав поводок из руки хозяйки.

— Гертруда! — закричала женщина.

Гертруда быстро удирала, Мейнард следовал за ней обычной своей, неторопливой с виду трусцой и все-таки быстро ее нагонял. Собачка повернула обратно к скамье, но Мейнард преградил ей путь.

— Гертруда, ко мне! — вопила женщина.— Чей это пес? Отстань от Гертруды, паршивец!

Рюбен откровенно веселился, наблюдая за происходящим. Но когда женщина обозвала его пса «паршивцем», мальчик пришел в ярость.

— Кого вы назвали паршивцем? — спросил он.

— Это твой зверь?

— Ага, я его кормлю,— ответил Рюбен.

— Убери его от моей собаки! — потребовала женщина.

— Эй, Мейнард, ко мне,— окликнул Рюбен пса, но тот даже не оглянулся.— Давай, Мейнард. Не то подцепишь какую-нибудь болезнь!

Женщина чуть не задохнулась от злости. Но Мейнард, которому надоела погоня — он не привык просить дважды,— потрусил назад. Гертруда, совершенно вымотанная, бросилась к женщине, та наклонилась и поймала поводок.

— Гертруда, бедняжка моя, — запричитала она. — Этот большой мерзкий пес тебя напугал? Да?

— Ох, Мейнард, утю-тю-сю-сю, — передразнивая ее, запричитал Рюбен. — Эта маленькая дрянь от тебя убежала?

Мейнард, всем своим видом выражая отвращение, потрусил прочь, но Рюбен уже добился своего: женщина его услышала.

— Что ты себе позволяешь! — взорвалась она. — Гуляешь в общественном парке с псом без поводка! Тебя нужно арестовать!

Рюбен достал из кармана красную карточку. Ему нравилось наблюдать, как при виде нее люди сразу делаются добрыми и чуткими.

Так случилось и на сей раз: увидев карточку, женщина тут же стала доброй и чуткой.

— Прости, пожалуйста, — сказала она сладким, хотя и несколько натянутым голосом. — Надеюсь, моя собачка тебе не помешала.

И она ушла. Был ли в ее словах сарказм? Она говорила слишком уж пылко. И все равно она была ноль, пустое место.

— И все равно она пустое место, — сказал Рюбен Мейнарду.

Тут он вспомнил о коробке, которую оставил мужчина, и решил проверить, что тот купил.

Но коробки на скамейке больше не было. Рюбен попытался припомнить, проходил ли кто-нибудь мимо, пока они разбирались с собаками. Нет, никто не проходил. Значит, коробку взяла женщина. «Ловко», — подумал Рюбен.

— Ловко, — сказал он Мейнарду. — Леди оказалась воровкой.

Однако что-то тут не сходилось. Что лежало в коробке? И когда женщина ее взяла? И зачем, если уж на то пошло, мужчина ее оставил? Зачем...

Наверное, случайное стечение обстоятельств.

Когда он вернулся домой, его уже ждал отец.

— Рюбен, мальчик мой! — жизнерадостно воскликнул он. — С днем рождения, милый! Рад тебя видеть.

— Привет, папа,— ответил Рюбен, открывая банку с собачьим кормом для Мейнарда.

— Давно не виделись,— продолжал отец.

Рюбен выложил собачий корм в миску. Мейнард, чавкая, принялся за еду.

— Разве давно? — спросил Рюбен. — Я был очень занят.

— Я был очень занят,— проговорил отец, и только тут до него дошло, что Рюбен только что произнес эти слова.

Отец рассмеялся.

— Мама просила передать, что любит тебя.

— Очень мило с ее стороны.

— А я принес тебе подарок,— сообщил отец, протягивая Рюбену сверток в красивой бумаге.

— Спасибо.

— Возьми,— сказал отец.

Рюбен взял сверток.

— Разве ты не собираешься его развернуть?

— А ты хочешь, чтобы я это сделал?

Терпение отца лопнуло; его терпения никогда не хватало больше чем на пять минут.

— Да хоть спусти его в туалет! Мне-то что?

Рюбен развернул сверток, в нем оказались часы. Очень дорогие. Из тех, что сообщают время, дату, погоду и делают расчеты до двенадцатого знака после запятой, к тому же в них было встроено коротковолновое радио.

— Триста двадцать девять девяносто пять плюс налог,— сказал Рюбен.— Или тебе сделали скидку?

Отец явно разозлился.

— Конечно, я получил скидку, Рюбен. Я же владелец магазина.

— А! — Рюбен надел часы.— Ты знаешь, что два плюс два четыре?

— Да, знаю.

— И часы тоже знают. Очень умные часы. Спасибо.

Рюбен налил в другую миску воды и поставил ее перед Мейнардом. Пес принялся лакать, брызгая на пол.

Отец Рюбена сел на кушетку.

— Хорошо тут у вас,— сказал он.

— Да,— ответил Рюбен.— Правительство каждые три года выделяет нам новую мебель. Это заставляет челове-

ка с нарушениями психики чувствовать, что... он не такой уж псих. Конечно, некоторым просто некуда девать новую мебель, но им все равно ее выдают. А другие, наоборот, ломают ее, и тогда им выдают мебель чаще. Но я нормальный человек с нарушениями психики и поэтому получаю новую мебель, когда положено.

— Рад, что... м-м-м... о тебе хорошо заботятся,— неискренне сказал отец.

— Не сомневаюсь. Так совесть тебя меньше мучит, правда?

— Рюбен, ну зачем ты так?

— Мама по мне скучает? — спросил Рюбен.— Или забыла своего маленького мальчика?

— Не забыла.

— Почему бы тебе не сообщить ей, что меня зовут Рюбен? Может, ей это кое-что напомнит. Мне двенадцать, я уже большой мальчик, с блестящими глазами и взъерошенными, но симпатичными светлыми волосами. Красивый мальчик, она может мной гордиться.

Лицо отца стало тоскливым.

— Может, спустим на тормозах, а? Ты можешь это сделать хотя бы один день в году?

— Папочка, это единственный день в году, когда я могу не жать на тормоза.

— Ну, надеюсь, ты хорошо оттянулся.

— Лучше не бывает.

Отец сердито зашагал между окном и диваном.

— Ты не сумасшедший,— заявил он.— Ты не сумасшедший, мистер Гениальный Ребенок. Ты просто воображаешь, что слишком хорош для этого мира. Спустишься хотя бы на несколько минут с высоты своего IQ, Рюбен. Может, у настоящих людей есть то, чего нет у тебя.

— Я люблю тебя, папочка,— улыбнулся Рюбен.

Отец изо всех сил старался промолчать — точно зная, что будет, если он все же ответит. В конце концов привычка победила, и он сказал:

— Я тоже люблю тебя, Рюбен.

Рюбен расхохотался. Он смеялся и смеялся, сперва катаясь по кушетке, а потом по полу. Когда наконец он

замолчал, отца уже не было в комнате, а Мейнард скреб лапой дверцу холодильника.

Некоторое время Рюбен лежал на полу, глядя в потолок. Потом лег в постель. Несколько безумных мгновений ему хотелось плакать. Но он уже столько лет не проливал слез, что не стоило начинать сейчас.

Ему приснилась мать.

Проснулся он оттого, что Мейнард облизывал ему лицо.

Рюбен преследовал невысокого коренастого мужчину целую неделю, а потом еще одну. Тот жил словно по расписанию: всегда по понедельникам приходил в парк, где оставлял коробку от Ауэрбаха, а женщина с собачкой как бы случайно проходила мимо и забирала ее. Причем Рюбену ни разу не удавалось заметить, как она это делает. По вторникам человек ездил в аэропорт, где оставлял в камере хранения портфель; Рюбен добирался до аэропорта на метро.

По средам коренастый мужчина заходил на почту и, забрав письмо из личной ячейки, вскрывал его на ходу. Внутри оказывался второй конверт, который он как бы случайно ронял мимо почтового ящика. Спустя несколько мгновений появлялся другой человек, подбирал конверт и уходил прочь. Каждый раз Рюбен шел за этим вторым и видел, как, отойдя подальше, тот вскрывает конверт, бросает скомканное непрочитанное письмо в урну, а конверт оставляет себе. «Странно», — думал Рюбен.

По четвергам коренастый снова шел в парк, где на этот раз первой появлялась женщина и оставляла пустую коробку из-под собачьего печенья. Мужчина подбирал коробку и бросал в мусорный бак.

По пятницам он по три часа смотрел в кинотеатре порнофильмы. За это время в зал входили и выходили множество людей, и у Рюбена не было возможности выяснить, подсаживался ли кто-нибудь к его подопечному.

Спустя две недели Рюбен не знал, что и подумать. Скорее всего, невысокий коренастый мужчина был кем-то вроде курьера. И, скорее всего, доставлял секретные сообщения. Но от кого они приходили? И кому предназначались?

Воображение рисовало Рюбену самые разные картины. Может, так связываются друг с другом члены преступной шайки. Однако мужчина не походил на преступника. Да, Рюбен понимал, что внешность ничего не значит, и все же ему не верилось в такое объяснение.

А может, тут замешаны правительственные дела. Это казалось куда более подходящим вариантом: правительственные служащие всегда тупо следуют однажды заведенному порядку, именно так и поступал загадочный человек. Но зачем правительственному служащему действовать тайно? Рюбену казалось, что правительство тратит массу времени, скрывая всякое-разное от людей, но зачем ему скрывать что-то от себя самого?

Оставалось самое безумное предположение: этот человек — шпион.

Каждому известно, на кого может работать шпион: враг был всего один. С рождения Рюбена над Землей кружили космические корабли — тень, нависшая над всем человечеством. Чтобы напасть, врагу недоставало лишь союзника на Земле.

Но кто стал бы знаться с врагом? Какая предателю выгода, если нашу планету поработят, как уже поработили многие другие?

«Не важно, кто именно на такое решился», — подумал Рюбен. То, что он видел, не могло иметь другого объяснения.

В следующую среду, идя за своим подопечным, мальчик получил шанс, которого так долго ждал. Очевидно, трюк с письмом имел следующую цель: если бы кто-нибудь случайно нашел письмо, он просто бросил бы конверт в почтовый ящик, не догадываясь, что внутри что-то важное. Поэтому, когда невысокий коренастый мужчина уронил письмо, Рюбен схватил добычу раньше, чем ее успел взять тот, кому она предназначалась. Он внимательно рассмотрел конверт и бросил в щель почтового ящика. Уходя, мальчик увидел человека, который должен был подобрать письмо; увидев, что конверта нет, субъект тут же ушел.

«Они ничего не заподозрят», — подумал Рюбен.

Вернувшись вечером домой, Рюбен записал адрес, который был на конверте: «Билл 14С73, Энтерпрайз, Юта, 840033, М-р Хайрам Вейнскотт, 1408 С 2200 Е, Солт-Лейк-Сити, Юта 841236».

Вот и все, вперемешку и адрес отправителя, и адрес получателя.

Рюбен решил, что это код. Он сел, выписал алфавит и попытался всеми разумными способами связать цифры на конверте с буквами алфавита, а буквы на конверте с цифрами. Однако все его усилия окончились ничем. Он так и уснул, сидя за столом.

Проснувшись и взглянув на плоды своих вечерних трудов, Рюбен решил, что все его подозрения — сплошная глупость. Письмо ровным счетом ничего не значит. Просто тот человек — чужак и у него странные привычки. Он все время роняет письма, вечно забывает в парке коробку от Ауэрбаха, а портфель оставляет в камере хранения просто ради забавы. А еще обожает непристойные фильмы. Но все это ровным счетом ничего не значит.

Потом Рюбен снова посмотрел на адрес и внезапно понял, как все просто. Адрес настоящий, в нем указано, кому адресовано письмо. Зато обратный адрес написан просто для отвода глаз.

Рюбен растолкал заворчавшего Мейнарда, который рассердился, что его так рано вытаскивают из дома, и доехал сначала до 13-й Южной улицы, а потом до 21-й Восточной. Выйдя, он оказался на углу 14-й и 22-й улиц. Нет, это не 1408.

Еще одна теория рухнула. Расстроенный Рюбен спустился в метро и поехал обратно.

И в тот миг, когда он выходил из подземки, до него дошло, что означает адрес.

Он отправился в библиотеку, взял карту штата Юта и нашел Энтерпрайз в юго-западном углу штата. В четырнадцати милях к северу и семи милях к западу от города Энтерпрайз, штат Юта, не было ничего, кроме диких гор, это место лежало в стороне от дорог, городов и даже мелких селений.

Если цифра 14 означает день, цифра 8 означает месяц, а 2200 — время, это случится через три дня, в 10 вечера.

В такой час уже темнеет, и когда в четырнадцать милях к северу и семи милях к западу от Энтерпрайза в штате Юта что-то произойдет, ни одна живая душа этого не увидит.

Что же там должно случиться? Чья-то встреча? Парашютный десант? Передача важного сообщения? Какая разница! Коренастый человек доставил письмо, но тот, кому предназначалось послание, его не получил. Состоится ли теперь встреча, или парашютный десант, или передача сообщения? Они наверняка подстраховались на такой случай, и все произойдет точно по расписанию.

«Я должен что-то предпринять», — подумал Рюбен. Ему и в голову не пришло, что все это не его дело. Может, он и презирает всех своих знакомых, но враг есть враг.

Рюбен направился напрямик в приемную доктора. Было не его время, но доктор его принял. Рюбен рассказал обо всем, чем занимался за две последние недели, — о невысоком коренастом человеке, о письмах и, наконец, о расшифрованном адресе и о своих догадках.

По мере того как он рассказывал, доктор все больше подавался вперед.

— Думаю, сегодня знаменательный день, — сказал он.

— Конечно! — воскликнул Рюбен. — Мы должны сообщить обо всем властям. То есть вы должны сообщить, потому что мне они не поверят.

— А почему ты считаешь, что тебе они не поверят, Рюбен? — спросил доктор.

— Потому что у меня нарушения психики. Они просто сообщат вам о моей очередной безумной выходке.

— А почему, как ты думаешь, они так поступят?

— Потому, — ответил Рюбен, — что такое вполне мог придумать какой-нибудь параноик или шизофреник. Вы знаете, что я не параноик и не шизофреник, а они этого не знают.

Доктор был явно очень доволен собой.

— Ты ощущаешь свою беспомощность и хочешь заручиться поддержкой авторитетного человека?

Рюбен посмотрел на доктора, склонив голову к плечу.

— Да, док. Именно так.

— И давно у тебя появилось ощущение беспомощности? Или это началось совсем недавно?

Рюбен встал.

— Пошли, Мейнард. Доктор — занятой человек.

— Вовсе я не занятой.— Доктор тоже встал.— У меня сколько угодно времени для разговора.

— Зато у меня дел по горло,— заявил Рюбен.

Доктор вздохнул, однако сейчас это не доставило Рюбену удовольствия. Он мог бы сразу догадаться, что доктор отнесется к его рассказу просто как еще к одному симптому болезни.

Поэтому Рюбен отправился к единственному человеку, к которому мог обратиться. Офис отца находился в старом здании горнодобывающей компании, в самом центре города.

Нажимая кнопку лифта, Рюбен почувствовал, как у него похолодели руки. Когда лифт рывком остановился на шестнадцатом этаже, колени мальчика дрожали, ему было трудно дышать. Он бывал в офисе отца всего один раз пять лет назад, еще до того, как... до того, как...

Секретарь заявил, что отца нет на месте.

— Не морочьте мне голову,— нетерпеливо сказал Рюбен.— Он всегда здесь. Передайте, что его маленький мальчик хочет его видеть.

Бросив на Рюбена сердитый взгляд, секретарь встал и сделал охраннику знак подойти. Охранник покинул свое место у входа и присел на край покинутого стола. Через несколько минут секретарь вернулся и прошептал что-то охраннику на ухо.

— Все в порядке, сынок,— сказал охранник.— Пошли со мной.

Коридор, по которому они шли, был устлан ворсистым ковром, стены его были облицованы настоящим деревом. В конце коридора они свернули направо и наконец добрались от офиса отца. Охранник открыл дверь и пропустил Рюбена.

— Привет, Рюбен.— Отец как-то странно на него посмотрел.

— Привет, папа,— ответил Рюбен, удивляясь, что ему пришлось в голову обратиться за помощью к этому человеку.

— Что я могу для тебя сделать? — спросил отец.

— Мне нужна твоя помощь, — ответил Рюбен.

Мейнард принялся царапать лапами пол перед настоящим деревянным письменным столом отца. Мальчик нагнулся и поднял пса на руки.

— Извини.

— Ничего страшного. Садись и рассказывай.

И тогда Рюбен рассказал о невысоком коренастом человеке, о письмах, конверте и пустынных горах к северо-западу от Энтерпрайза. Слушая, отец то и дело кивал.

— Ты обращался в полицию? — спросил он.

— Нет. Я же человек с нарушениями психики, помнишь? Нужно, чтобы ты поговорил с ними.

Отец кивнул, и Рюбен почувствовал облегчение... пока не услышал следующие слова:

— У тебя есть еще какие-нибудь доказательства?

— Разве тех, что я уже привел, недостаточно? — спросил Рюбен.

— Ну, это выглядит не слишком убедительно. Может, кто-то просто написал на конверте неправильный адрес?

— Но ведь все сходится, — чувствуя пустоту в груди, возразил Рюбен. — А как насчет поступков того субъекта?

— Люди частенько совершают странные поступки, — сказал отец. — Ты рассказывал эту историю доктору?

Рюбен молча смотрел на отца, замечая, как тщательно тот обдумывает каждое слово, как нервно вертит в руках телефонную трубку. Мальчик понял, что отец не верит ему, боится его и хочет, чтобы здесь оказался врач.

— Доктор? — переспросил Рюбен. — Конечно. Давай, отец, позвони ему. Уверен, он тебя успокоит. Скажет, что воспринимает все случившееся как признак пробуждающегося у твоего маленького мальчика гражданского сознания, посоветует радоваться тому, что я теперь пытаюсь поладить с отцом и добиться расположения людей, совершая героические, пусть и воображаемые дела. — Рюбен встал и направился к двери. — Пошли, Мейнард. Хватит лизать ковер.

Когда Рюбен вышел на улицу, на него нахлынули злость и горечь. Ну зачем он суетится? Ему все равно ни в жизнь не поверят. Они все хотят одного: справиться с ним. слов-

но он эпидемия или лесной пожар. Даже мать и даже когда он был совсем маленьким... Думая о матери, Рюбен всегда вспоминал, как та пыталась разговаривать с ним, отвечать на его вопросы, но сама боялась, боялась — как отец, как доктор, как все люди на улицах.

Он достал свою красную карточку, и все начали расступаться, пропуская его. Даже большие деревья на Мейн-стрит, казалось, отшатывались в ужасе.

Мейнард остановился и задрал лапу на одно из деревьев.

— Хорошая мысль, — сказал Рюбен. — Пусть они все подохнут. Пусть враг высадится и всех их покорит. Они того заслуживают.

Расправляясь с сэндвичем в ресторанчике на станции метро, мальчик пытался представить, каким будет вражеское вторжение. Он представил, как белокурый гигант тащит куда-то отца, закованного в кандалы, и зрелище получилось неплохое. Однако если то же самое случится с матерью...

Рюбен положил сэндвич, встал с кресла и вышел, показав красную карточку кассирше, которая улыбнулась ему, хотя в ее глазах был страх.

Он доехал до Мюррея и пересел на поезд, идущий до Хлопкового каньона. Вагон был битком набит глазееущими на достопримечательности туристами и пенсионерами, которые ехали в свои загородные дома.

Рюбен вышел на седьмой остановке и по извилистой асфальтовой дорожке зашагал к большому дому, прильнувшему к склону каньона под сенью огромных сосен. Такой деревянный дом мог принадлежать лишь мультимиллионеру. Рюбен усмехнулся при мысли о том, как богат его отец.

Подойдя к двери, он остановился, не дотрагиваясь до дверной ручки. Наверняка его уже ожидают. И наверняка прикосновение к ручке включит сигнал тревоги. Он помнил, как тут все устроено.

Он опустился на колени на дверной коврик — чтобы камера смогла «поймать» не лицо его, а только макушку, словно здесь совсем маленький мальчик. Потом локтем нажал на дверной колокольчик.

Женский голос спросил:

— Кто там?

— Из бакалейной лавки,— ответил Рюбен.

— Сегодня? — Женщина помолчала.— Сегодня четверг.

По четвергам нет поставок.

— Меня послали, вот я и пришел,— сказал Рюбен.

— Хорошо.— Женщина со вздохом открыла дверь.

Не вставая с колен, Рюбен протиснулся внутрь и, лишь одолев порог, поднялся. Из кухонного интеркома донеслось:

— Пожалуйста, просто оставь все на столе.

На кухню он конечно же не пошел. Вбежал по лестнице в гостиную, потом миновал короткий коридор и приблизился к приоткрытой двери. Внутри кто-то стучал на машинке. Рюбен подошел к двери, толкнул ее, и там...

Да, там за пишущей машинкой сидела его мать; она склонилась над работой, ее темные волосы падали на клавиши. Рюбен часто заставлял ее за этим занятием, когда еще жил здесь.

Потом она почувствовала чье-то присутствие и подняла взгляд. Она была красивая, с мягкими чертами лица, большими глазами и белым шрамом на левой щеке.

Мгновение мать просто смотрела на него, потом в ее глазах одновременно вспыхнули узнавание и страх.

— Рюбен,— прошептала она.

— Мама.— Он шагнул в комнату.

Она встала и отступила к окну.

— Подожди,— сказал Рюбен.

— Не подходи,— ответила она.

— Мама, выслушай меня.

— Ты не должен был сюда приходить.— Ее голос содрогнулся от страха.— У тебя отберут карточку и отправят в... плохое заведение.

— Не отправят, если ты выслушаешь меня. И если ты мне поможешь.

Ее лицо побелело как мел. Она покачала головой, приронувшись к шраму на щеке.

— Мама, мне очень жаль,— продолжал Рюбен.— Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста, доверься мне.

— Уходи.— По ее щекам потекли слезы.

— Мама, я люблю тебя.— Рюбен протянул к ней руки.— Видишь? У меня с собой ничего нет. Обещаю, я тебе ничего не сделаю.

— Нет.

— Мама, ты должна выслушать меня!

Она закрыла глаза и с отчаянием прошептала:

— Я слушаю.

И в третий раз за сегодняшний день Рюбен рассказал историю о невысоком коренастом человеке и конверте. Рассказал и о том, что уже разговаривал с доктором и отцом.

— Ты мне веришь? — спросил он.

Она открыла глаза и посмотрела на него.

— Это правда?

— Каждое слово.— Рюбену хотелось кричать, но он сдерживался и почти шептал.— Я ничего не придумал.

— Даже не знаю,— сказала мать.— Не знаю, верить тебе или нет.

У Рюбена упало сердце; на этот раз боль и тяжесть в груди были невыносимы, и он заплакал.

— Ну, ты просто поверь...— сказал или, точнее, попытался сказать он, потому что с губ не сорвалось ни звука.

Она сделала шаг к нему и остановилась, пораженная зрелищем, которого никто не видел вот уже пять лет. По щекам Рюбена текли слезы.

— Покажи,— сказала она.— Сейчас я пойду с тобой, и ты мне это покажешь.

Рюбен кивнул, рухнул на колени и зарыдал, повторяя снова и снова:

— Ты должна мне верить.

Наконец рыдания стихли. Голова у Рюбена кружилась, горло саднило — и вдруг он понял, что его обнимают руки матери. Внезапно устыдившись, он встал и шагнул в сторону. Посмотрев ей глаза, он понял, что, хотя в них светится любовь, неожиданное резкое движение испугало ее.

— Сколько сейчас времени? — спросил он.

— Два пятнадцать.

— Еще не поздно. Пойдем, и я все тебе покажу.

Они вместе доехали до парка и спустя полчаса уже оказались там, где Рюбен обычно поджидал женщину.

— Давай бросать палку Мейнardu. Это выглядит естественно. Просто сделай вид, что ты — моя...

Она кивнула.

— Хорошо.

Через десять минут появилась женщина с пуделем. Мейнард бросил на собачку тоскующий взгляд, но продолжал играть с палкой. Рюбен велел матери, чтобы та смотрела на женщину только украдкой. Уголкем глаза он заметил, как хозяйка Гертруды дала своей собачке печенье, потрясла коробкой и бросила ее рядом со скамьей. Точно так же, как делала две последние недели.

Потом женщина встала и ушла. Рюбен опустился перед Мейнардом на колени.

— Давай, Мейнард, — сказал он. — Заработай печенье. Принеси коробку.

Рюбен встал и швырнул палку в сторону скамьи. Мейнард бросился за палкой, но, оказавшись рядом с коробкой, принялся, задрал лапу на скамью, подхватил коробку и побежал обратно.

— Плохой пес, — громко сказал Рюбен, но Мейнард понял, что на самом деле его похвалили, и терпеливо дождался печенья, которое мальчик потихоньку ему и бросил.

Взяв коробку, Рюбен сказал матери:

— Порядок. Пошли. Медленно, непринужденно, на тот случай, если за нами наблюдают.

Не оглядываясь, они вышли из парка и сели на поезд, идущий в Магну. На первой же остановке Рюбен сказал, что здесь им надо выйти; так и они сделали и пересели на поезд, идущий до Кирнса. После еще нескольких пересадок они поехали в деловую часть города, и только тогда Рюбен взглянул на коробку, которую держал в руках.

— Что означает эта коробка? — спросила мать.

— Не знаю, — пожал плечами Рюбен. — Раньше я никогда их не поднимал. Просто видел, как женщина оставляет очередную, а тот тип поднимает и выбрасывает коробку в мусор.

Его вдруг охватил леденящий страх, что в коробке ничего не окажется и тогда мать решит, что он все выдумал и что он на самом деле сумасшедший. И расскажет об этом доктору, а доктор, узнав, что Рюбен нарушил пра-

вила и явился к матери, отнимет у него карточку и отправит в больницу, где он вскоре умрет.

Рюбен заглянул в коробку и увидел внутри нечто завернутое в фольгу. В фольге оказались три микрофиши. Конечно, они были слишком маленькие, чтобы их прочесть, но при виде них мать побелела.

— Значит, и впрямь что-то затевается,— сказала она. Так она не верила ему!

— Рюбен, Рюбен,— продолжала она с улыбкой,— я так надеялась, что мы отправились в парк не зря.

Его охватило странное чувство. Улыбка матери была такой теплой, что лицо мальчика полыхнуло пульсирующим жаром. Она надеялась, что они что-то обнаружат.

— Возьми их,— сказал он.— Положи в свой кошелек. Мы пойдем в федеральное здание, в офис ФБР.

— Хорошо.— Она положила микрофиши в кошелек.

— Ты видела, как женщина оставила коробку,— сказал он.— Видела, как все произошло.

— Конечно. Я все видела. И теперь, когда у нас есть это,— она похлопала по сумочке,— я уверена, что четырнадцатого кто-то явится в Энтерпрайз.

— Хорошо бы,— ответил Рюбен.— Дело-то серьезное.

Дальше они ехали в молчании, но когда вышли на станции и зашагали к федеральному зданию, Рюбен, не раздумывая, взял мать за руку.

В ФБР поверили Рюбену и его матери. Или, точнее, поверили микрофишам. Рюбен пробыл в федеральном здании несколько часов, объясняя, как, что, когда и где, а агент ФБР уважительно выслушал его умозаключения насчет конверта.

— Спасибо, парень,— сказал агент, когда мальчик закончил.— Теперь мы сами этим займемся.

Итак, Рюбен с матерью ушли. Он проводил ее до двери дома в каньоне, и она пригласила его заходить.

— Но потом я буду возвращаться к себе,— ответил он и повернулся, чтобы уйти, но потом кое о чем вспомнил.— Мама...

— Да?

— Э-э-э... Отцу вовсе не обязательно...

— Я ему не скажу,— и с этими словами она закрыла за собой дверь.

Рюбен и Мейнард отправились домой.

Этой ночью Рюбен спал плохо. Ему снилось, как отец избивает мать, хотя он никогда не видел ничего подобного. А потом ему приснилась женщина в парке с собачкой по кличке Гертруда. Он следил за женщиной, но, как всегда случалось и наяву, не заметил, когда она взяла коробку от Ауэрбаха. Стоило ему на мгновение отвести взгляд, как коробка исчезла.

Он проснулся, чувствуя себя ужасно грязным. Почистил зубы, но отвратительный вкус во рту не исчез.

Рюбен пошел туда, где обычно подкарауливал коренастого невысокого мужчину, и стал ждать. Теперь, когда этим делом занималось ФБР, в слежке уже не было нужды, но ему просто нечем было заняться.

Однако мужчина не явился. Рюбен прождал весь день и, в конце концов, явился к кинотеатру, куда обычно ходил его подопечный. Очередной порнофильм закончился, но среди людей, покидавших кинотеатр, невысокого коренастого мужчины не было.

Почему сегодня тот нарушил свое обычное расписание?

Наступил уикенд, и Рюбен решил походить за кем-нибудь другим.

В субботу он сопровождал проститутку до невадской границы. Паспорта у него не было, поэтому пришлось сесть на поезд и вернуться в Солт-Лейк-Сити.

В воскресенье он шел по 2-й Южной за пьяницей и под конец пустил в ход свою красную карточку, чтобы купить ему бутылку спиртного. Пьяница поблагодарил и предложил выпить вместе. Рюбен отказался, но Мейнард немного полакал.

Потом они с Мейнардом вернулись домой и смотрели по телевизору про убийства и счастливые семьи.

Воскресенье пришлось на 22 октября, и, ложась спать, Рюбен понял: что бы враги ни готовили к северо-западу от Энтерпрайза, этого не случилось.

На следующий день невысокий коренастый мужчина снова действовал по своему обычному расписанию: короб-

ка от Ауэрбаха, скамья в парке, женщина с собачкой. Поскольку все уже закончилось, Рюбен позволил Мейнард-ду побегать за пуделем.

Женщину это ужасно разозлило, а Рюбен рассмеялся. Собаки с лаем носились по берегу пруда, утки торопливо уплывали прочь.

— Позови своего пса, — попросила женщина. — Пожалуйста. У Гертруды будет расстройство желудка. — Она осторожно подбирала слова, помня о красной карточке Рюбена.

Но мальчик не обратил на нее внимания, он не сводил глаз со скамейки. И снова коробка от Ауэрбаха исчезла, хотя он был совершенно уверен, что женщина к ней не прикасалась.

Гертруда подбежала к хозяйке, еле сдерживающей ярость, и женщина подхватила собачку на руки. Мейнард скакал вокруг, пытаясь достать Гертруду, но потерпел неудачу и только запачкал грязными лапами юбку женщины. Рюбен засмеялся.

Женщина пнула Мейнарда. Рюбен перестал смеяться. Это был неосторожный поступок со стороны хозяйки Гертруды — Мейнард отличался скверным нравом и всегда кусал пинающие ноги.

Пес зарычал на женщину, та пнула снова, и на этот раз Мейнард укусил ее за ногу.

Однако женщина не завизжала, как того ожидал Рюбен. Она просто стряхнула Мейнарда с ноги, отбросив пса в сторону, сердито глянула на Рюбена и ушла со своей Гертрудой на руках.

Мейнард, не двигаясь, лежал на земле.

Рюбен подошел и спросил:

— Эй, Мейнард, у тебя что, приступ старческой слабости?

Но Мейнард не отреагировал на насмешку. Он был мертв.

Когда Рюбен окончательно в этом убедился, он поднял мертвого пса на руки и пошел домой. Дома он положил тело Мейнарда на ковер. Крови не было, не было никаких ушибов или переломов. Мейнард просто укусил женщину — и умер.

Рюбен позвонил в ФБР. Тот, кто взял трубку, велел ему привезти собаку, и мальчику показалось, что голос у сотрудника порядком обеспокоенный.

— Что случилось? — едва явившись, спросил Рюбен агента ФБР.

Агент, взглянув на труп Мейнарда, одновременно задал тот же самый вопрос:

— Что случилось?

— Леди в парке, — ответил Рюбен. — Он ее укусил.

— И?

— И умер.

— Что она такое сделала?

— Он просто укусил ее, понимаете? — слегка раздраженно повторил Рюбен, хотя и знал, как опасно здесь проявлять свои эмоции.

— И умер.

— Это трофей человека в полосатом костюме, — сказал Рюбен, рассеянно поглаживая собачью шерсть.

— Послушай, парень, все, что ты до сих пор нам говорил, оказалось правдой, но у тебя ведь нарушения психики, верно? Ты страдаешь галлюцинациями?

Рюбен сердито посмотрел на него.

— Никогда в жизни ими не страдал.

— Эй, парень! Я просто обязан был уточнить.

— А что произошло там, на юге? — спросил Рюбен.

— Даже не знаю, можно ли тебе об этом рассказать, — ответил агент ФБР. — Дьявольщина, пока босс не скажет, что можно, и ты не подпишешь своей кровью, да еще в трех экземплярах, обязательство держать язык за зубами, я не пророню ни слова!

— Они не приземлились, — проговорил Рюбен.

Агент с интересом взглянул на него.

— Почему ты так решил?

— Потому что на следующий день после нашего с вами разговора они нарушили свое расписание, да и леди в парке убила Мейнарда неспроста.

— Кто такой Мейнард, черт побери?

— Мой пес, — ответил Рюбен.

— А у него, оказывается, есть имя, — заметил агент ФБР. — Послушай, ты разрешишь нам сделать вскрытие? Чтобы установить причину смерти.

- Вам?
- Я имел в виду, одному из наших сотрудников.
- Конечно,— ответил Рюбен.— Мейнард не рассердится.

Агент ФБР засмеялся.

— Это точно,— но он тут же замолчал, заметив выражение лица Рюбена.— Эй, парень, я потом принесу пса обратно, хорошо?

Рюбен кивнул. Сидя в ожидании, он думал, как бы здесь отреагировали, если бы он поведал, что женщина всегда забирала коробку совершенно незаметно и даже не приближаясь к скамейке. Они наверняка решили бы, что он страдает галлюцинациями.

«Замкнутый круг, из которого не вырваться»,— думал он, скользя невидящим взглядом по унылым стенам.

Как выглядят враги, хотя бы приблизительно? Этого никто не знал. Их не видели жители тех немногих планет, к которым враги приближались, но не пытались захватить. Более того, их не видел никто и на захваченных планетах. Все, что было известно — или, по крайней мере, все, что сочло нужным сообщить правительство,— это что без активной помощи жителей облюбованной планеты враги не могут ничего предпринять. Но стоит им добиться такой помощи, и их уже не остановишь.

А вдруг они уже на Земле? Рюбен перевел взгляд на свои руки — пальцы как будто выглядели как раньше и в то же время были другими. Вдруг враги способны притвориться такими же, как мы, и ходить по магазинам, и ездить на службу, и — почему бы и нет? — выводить собак на прогулки, и подбирать коробки от Ауэрбаха, даже на расстоянии? Запросто, решил Рюбен.

«Может, у меня и впрямь галлюцинации»,— подумал он. Эта мысль его испугала.

Агент ФБР вернулся через час.

— От чего погиб Мейнард? — спросил Рюбен, вскочив.

— Ни от чего,— ответил тот.— Он просто не может быть мертв. То есть он мертв, конечно,— тут же поправился агент, заметив вспыхнувшую в глазах Рюбена надежду.—

Но мы так и не поняли, от чего он умер. Он в отличной форме. Молодой. Никаких ран.

— И все-таки он мертв,— сказал, входя в комнату, еще один сотрудник ФБР.

Раньше Рюбен никогда его не видел.

— Это босс,— объяснил агент,— он хочет с тобой поговорить.

Босс улыбнулся. Рюбен нет. Агент ФБР вышел.

Рюбен и босс потолковали, и в ходе беседы Рюбен догадался, что в южной Юте ничего не произошло, что намечавшаяся операция врагов была либо отменена, либо проведена так искусно, что никто ничего не заметил. В ФБР просто не знали, за что ухватиться, ведь к ним попали микрофиши и это должно было что-то значить?

— Есть идеи? — спросил босс.

— Вы меня об этом спрашиваете? — поинтересовался Рюбен.

— А что, здесь есть еще кто-нибудь? — спросил босс.

— И каких великих идей вы от меня ждете, если сами из всех сил стараетесь скрыть, что в Энтерпрайзе ничего не случилось и что вы в полной растерянности?

Боссу стало не по себе.

— А ты, оказывается, умеешь читать между строк,— пробормотал он.

— Чего вы там бормочете? — поинтересовался Рюбен.

— Так, ничего, просто от удивления,— ответил босс.— В нашем деле башковитые парни попадают раз в двадцать лет. Гораздо чаще встречаются задавалы, или обманщики, или конгрессмены.

— Тогда давайте обменяемся секретами,— предложил Рюбен, почему-то испытывая к боссу чуть меньше презрения, чем ко всем остальным людям.

— Давай,— согласился босс.

— Вы первый,— сказал Рюбен.

— О'кей.— Босс вздохнул.— Итак, из раздела «совершенно секретно». Ты прав, в Энтерпрайзе ничего не произошло, хотя все говорило о том, что там должно что-то случиться. Тогда мы подумали, что или они засекли тебя — но тогда непонятно, какого черта сегодня в парке состоялась их новая встреча,— или это была просто подста-

ва и нас нарочно навели на Энтерпрайз, чтобы мы отпра-
вились туда, в то время как все будет происходить в другом
месте. Если последнее верно, мы ищем иголку в стоге
сена.

— И вас интересуют мои идеи,— сказал Рюбен.

— Ты сам предложил обменяться секретами.

— Ладно. Может, это и подстава, как вы выразились,
но вовсе не для того, чтобы вы не заметили, как где-то
происходит нечто важное, а для того, чтобы вы не замети-
ли, что нечто уже произошло.

Босс с интересом посмотрел на него.

— Ты о чем?

— О том, что вы бегаєте туда-сюда — и сегодня, и завт-
ра, снова и снова, пытаясь обнаружить приземлившего-
ся врага,— и не замечаете, что он уже здесь и проворачи-
вает свои дела прямо у вас под носом.

Босс явно заинтересовался еще больше.

— Если они на такое способны, чего же они ждут?

— Не знаю,— ответил Рюбен.— Может, их пока не очень
много и им нужно создать организацию. Или они не слиш-
ком сильны и хотят разделить нас, а потом уже властво-
вать. Не знаю. Но я думаю, они здесь.— И Рюбен расска-
зал боссу, что женщина в парке никогда не прикасалась
к коробке от Ауэрбаха.— А как погиб Мейнард? Мой пес.
Всего лишь укусил ее и упал замертво.

— Интересная теория,— сказал босс.— Она все очень
хорошо объясняет, чего-нибудь эдакого заковыристого мы
и ожидали. За исключением одного.

— Чего же?

— Нам все известно об этой женщине. У нее есть сви-
детельство о рождении, куча родственников. Ее не могли
внедрить, потому что ей уже исполнилось тридцать, когда
появились вражеские корабли. Извини, но это обычная
предательница, вполне заурядная и земная.

— А собака ее когда-нибудь прежде кусала? — спросил
Рюбен.

— При чем здесь это?

— При том, что если человек может убить пса, не оста-
вив ни ран, ни ушибов, вообще ничего,— это не обычный
человек. Ее изменили, понимаете?

Босс улыбнулся.

— Очень хорошо, Рюбен. Мы все проверим.

Рюбен покачал головой.

— Пообещайте мне кое-что.

— Что именно? — спросил босс. — Некоторые обещания я просто не вправе давать.

— Пообещайте рассказать о результатах.

Рюбен направился к выходу, но остановился возле Мейнарда. Мертвый пес выглядел скверно, и мальчик не погладил его.

— Хочешь, мы позаботимся о нем? — спросил босс.

— Да, — ответил Рюбен.

Три месяца спустя ему рассказали о результатах. Как Рюбен и заявил в свой минувший день рождения, год оказался для него удачным. Он встретился с президентом Соединенных Штатов, который пожал ему руку и вручил медаль; впрочем, это не произвело на Рюбена особого впечатления. По всей стране в газетах появились фотографии мальчика, вместе с фотографиями завербованных врагами людей, за которыми он следил; это тоже не вызвало у Рюбена ни малейшего душевного трепета.

А кроме того, он вернулся домой.

Отца это явно не обрадовало. Рюбен заметил, что на дверях всех спален появились новые замки, но просто подумал: «Ну и черт с тобой!» Он подолгу наедине разговаривал с матерью — просто чтобы позлить отца. Они часто ссорились, Рюбен с отцом. И мать понимала мальчика ничуть не лучше, чем прежде. Но все равно переезд не только позволил ему послать к дьяволу опостылевшую казенную квартиру, но имел и другие светлые стороны.

Выяснилось, что враги очень умны, что они похожи на что-то вроде разреженного болотного газа. Их было всего шестеро, и им пришлось захватить человеческие тела — тела любопытных, которые подошли слишком близко, — чтобы иметь возможность хоть что-то делать на Земле. Оказавшись в человеческой оболочке, враг погибал вместе с гибелью оболочки. Поэтому расстрельная команда (в полном соответствии с законом Юты) решила проблеме вражеского вторжения. Корабли продолжали кружить

вокруг Земли, но спустя несколько месяцев их обстреляли с «шаттлов» тяжелыми ракетами. Защита кораблей, еще несколько месяцев работавшая безотказно, теперь бездействовала, и корабли рухнули в Саргассово море.

Только в свой тринадцатый день рождения Рюбен настоящему понял, до чего же удачным оказался для него прошедший год. В этот день у него отобрали красную карточку. Теперь он, как и все, должен был носить деньги и на все спрашивать позволения. Но он не слишком огорчился. В этом было даже что-то забавное.

Назавтра после дня рождения отец с матерью повезли его в парк. Когда они уже сидели в машине, отец вспомнил о кинокамере.

— Она наверху, в моем стенном шкафу,— сказал он, и Рюбен побежал назад по асфальтовой дорожке.

Войдя, он остановился сразу за дверью. На мгновение наклонил голову, вытянул руку, подождал немного и...

Камера материализовалась у него в руке.

Он открыл глаза, посмотрел на камеру, улыбнулся и вышел из дома, не забыв запереть за собой дверь,— как его всегда просил отец. И побежал по дорожке, беседуя с чужаком в своей голове, который следовал за ним на гораздо более близком расстоянии, чем мог следовать за людьми сам Рюбен в те далекие времена, когда был еще ребенком — и человеком.



Книга третья

Карты в зеркале

Сказки и фантазии



Соната без сопровождения

Настройка

Когда Кристиану Харолдсену было шесть месяцев от роду, предварительное тестирование обнаружило у него чувство ритма и исключительно тонкий слух. Проводились, разумеется, разные тесты, перед Кристианом было открыто много других возможностей. Однако главными знаками его личного зодиака оказались ритм и слух. Тут же последовало их подкрепление. Мистера и миссис Харолдсен снабдили записями всевозможных звуков и велели постоянно их проигрывать, не важно, бодрствовал Кристиан или спал.

Когда Кристиану исполнилось два года, седьмая серия тестов окончательно определила путь, которым ему суждено было пойти. У него обнаружили исключительные творческие способности, неумное любопытство и столь глубокое понимание музыки, что на всех листах тестов появилась помета «сверходаренность».

Именно «сверходаренность» оказалось тем словом, из-за которого его забрали из родительского дома и поместили в глухом лиственном лесу, где зима была суровой и долгой, а лето — коротким, отчаянным взрывом зелени. Он рос, за ним присматривали непоющие слуги, а слушать ему разрешалось только пенье птиц, завывание ветра и потрескивание деревьев на морозе; гром и жалобный плач листьев, срывающихся с деревьев и падающих на землю; шум дождя и весеннюю капель, верещание белок и глубокое безмолвие идущего безлунной ночью снега.

Эти звуки были единственной музыкой, которую понимал Кристиан. Он рос, и симфонии его раннего детства становились для него всего лишь далекими воспоминаниями, которые невозможно вернуть. Так научился слушать музыку в совершенно немзыкальных вещах — ведь ему предстояло находить музыку там, где найти ее было невозможно.

Он открыл для себя, что цвета вызывают в его сознании разные звуки. Солнечный свет летом представлялся ему яркими, звонкими аккордами, лунный свет зимой — тонким жалобным причитанием, свежая зелень весной — тихим бормотанием. почти в произвольных ритмах, красная лиса, мелькнувшая среди деревьев, — вздохом невольного изумления.

И он научился воспроизводить все эти звуки на своем Инструменте. В мире, как и много веков назад, были скрипки, трубы, кларнеты. Кристиан же о них и понятия не имел. Он знал только свой Инструмент, этого было вполне достаточно.

В своей комнате Кристиан чаще всего находился один. У него были постель (не слишком мягкая), стул и стол, совершенно бесшумная машина, чистившая его самого и его одежду, электрический свет.

В другой комнате стоял только его Инструмент. Это был пульт со множеством мануалов, клавиш, рычагов и кнопок, и когда он касался любой его части, возникал звук. Каждый мануал имел свою собственную громкость, каждая клавиша мануала обладала особой высотой звука, каждый рычаг изменял регистр, а каждая кнопка — тембр звука.

Впервые появившись в этом доме, Кристиан (как принято у детей) игрался с Инструментом, производя странные и смешные громкие звуки. Инструмент стал его единственным товарищем по играм: Кристиан хорошо его изучил и мог воспроизвести на нем любые звуки. Сначала его приводили в восторг громкие. Потом он научился извлекать радость из пауз и ритмов, а вскоре стал чередовать громкие и тихие звуки, играть по два звука сразу, получая совершенно новый звук, и снова воспроизводить звуки в той же последовательности, в какой он их уже играл.

Постепенно в музыке, которую он создавал, зазвучал лес, завывли ветры. Лето обратилось песней, которую он мог исполнять, когда только пожелает. Зелень с ее разнообразными вариациями оттенков легла в основу изысканной гармонии. Из его Инструмента, будто сетуя на одиночество, с неистовой страстью кричали птицы.

До профессиональных Слушателей дошла молва:

«К северу и востоку отсюда появился новый голос: Кристиан Харолдсен. Он истерзает ваше сердце своими песнями».

К нему стали приходить Слушатели: сначала те немногие, кто искал разнообразия, потом, кто более всего стремился к новизне, следуя моде, и, наконец, пришли те, кто выше всего ценил красоту и страстность чувства. Они приходили, оставались в лесу Кристиана и слушали музыку, доносившуюся из динамиков безупречного качества, установленных на крыше дома. Когда музыка заканчивалась и Кристиан выходил из дома, он видел Слушателей. Он спросил, почему они приходят, и ему объяснили. Кристиан удивился тому, что музыка, которую, не думая о славе, он создавал на своем Инструменте, может представлять интерес для других людей.

Как ни странно, еще большее одиночество он почувствовал, когда узнал, что может петь для Слушателей, но никогда не услышит их песни.

— У них нет песен,— сказала женщина, которая каждый день приносила ему еду.— Они — Слушатели. Ты — Творец. У тебя есть песни, они же слушают.

— Почему? — в невинном удивлении спросил Кристиан.

Женщина, казалось, была озадачена.

— Потому что именно этим им больше всего и хочется заниматься. Их подвергли тестированию, и они больше всего счастливы как Слушатели. Ты счастлив в качестве Творца. Разве нет?

— Счастлив,— ответил Кристиан, и он говорил правду.

Жизнь его была совершенна. Он ничего не хотел в ней менять, даже ту легкую грусть, которая охватывала его, когда Слушатели по окончании его исполнения поворачивались к нему спиной и уходили.

Кристиану исполнилось семь лет.

В третий раз невысокий мужчина в очках и с усами, которые совершенно ему не шли, ждал в кустах, когда выйдет Кристиан. В третий раз его покорила красота только что отзвучавшей песни, скорбной симфонии, заставившей коротышку в очках ощутить тяжесть листьев над головой, хотя еще стояло лето, и пройдет не один месяц, прежде чем они опадут. Осень неотвратима, говорилось в песне Кристиана; всю свою жизнь листья сохраняют в себе способность умереть, и это накладывает отпечаток на их существование. Коротышка в очках заплакал, но когда песня закончилась и другие Слушатели ушли прочь, он спрятался в кустах и стал ждать.

На сей раз его ожидание было вознаграждено. Кристиан вышел из дома и, прогуливаясь среди деревьев, приблизился к тому месту, где поджидал коротышка в очках. Мужчина любовался легкой походкой Кристиана. С виду композитору было лет тридцать, хотя в том, как он совершенно бесцельно шел и останавливался, чтобы просто потрогать (но не сломать) босыми ногами упавшую веточку, было много детского.

— Кристиан,— позвал коротышка в очках.

Кристиан, пораженный, обернулся. За все эти годы с ним никто из Слушателей не заговаривал: это запрещалось. Кристиан знал закон.

— Это запрещено,— сказал Кристиан.

— Вот,— сказал коротышка в очках, протягивая ему какой-то небольшой черный предмет.

— Что это?

Гримаса исказила лицо коротышки.

— Ты только возьми его. Нажмешь на кнопку, и он заиграет.

— Заиграет?!

— Музыку.

Глаза у Кристиана широко раскрылись.

— Но это же запрещено: мне не полагается слушать произведения других композиторов, это плохо отразится на моем творчестве. Я стану подражателем и лишусь какой бы то ни было оригинальности.

— Цитируешь,— возразил мужчина,— ты просто цитируешь. Это музыка Баха.— В его голосе звучало благоговение.

— Я не могу,— сказал Кристиан.

Тогда коротышка покачал головой.

— Ты не знаешь. Ты даже не знаешь, что ты теряешь. Но я услышал это в твоих песнях, Кристиан, когда пришел сюда много лет назад. Тебе это нужно.

— Это запрещено,— возразил Кристиан, ибо его поразило уже то, что человек знает о противозаконности какого-то поступка и тем не менее готов его совершить. Кристиан не мог преодолеть необычность происходящего и уразуметь, что от него ожидают какого-то действия.

Вдалеке послышались шаги, потом чья-то речь, на лице коротышки отразился испуг. Он подбежал к Кристиану, сунул ему в руки магнитофон и бросился к воротам заповедника.

Кристиан взял магнитофон и подержал его в луче солнца, пробивавшемся сквозь листву. Тот матово поблескивал.

— Бах,— проговорил Кристиан и тут же добавил: — Кто он, черт побери, этот Бах?

Но магнитофон он не выбросил. Не отдал он его и женщине, которая подошла и спросила, с какой целью задержался коротышка в очках.

— Он оставался здесь не меньше десяти минут.

— Я видел его всего тридцать секунд,— возразил Кристиан.

— И что же?

— Он хотел, чтобы я послушал какую-то другую музыку. У него был магнитофон.

— Он дал его тебе?

— Нет,— сказал Кристиан.— Разве он не у него?

— Он, наверное, бросил его в лесу.

— Он сказал, это Бах.

— Это запрещено. Вот и все, что тебе следует знать. Если ты найдешь магнитофон, Кристиан, ты знаешь, что велит закон.

— Я отдам его тебе.

Она внимательно на него посмотрела.

— А ты знаешь, что произошло бы, если бы ты послушал это?

Кристиан кивнул.

— Очень хорошо. Мы его поищем, обязательно. До завтра, Кристиан. А в следующий раз, если кто-то заговорит с тобой, постарайся не отвечать, просто вернись в дом и запри дверь.

— Я так и сделаю,— пообещал Кристиан.

В ту ночь была летняя гроза, с ветром, дождем и громом, и Кристиан обнаружил, что не может заснуть. Не из-за музыки погоды — в его жизни бывали тысячи таких гроз, и он прекрасно спал. Уснуть ему не давал магнитофон, который лежал у стены за Инструментом. Кристиан прожил почти тридцать лет в этом красивом диком месте, наедине с музыкой, которую сам же и создавал. И вот теперь...

Теперь он испытывал жгучее любопытство. Кто он, этот Бах? Кто? Какая у него музыка? Чем она отличается от моей? Неужели он открыл что-то такое, чего я не знаю?

Какая у него музыка? Какая у него музыка? Какая у него музыка?

Он все гадал и гадал. До самой зари, когда гроза пошла на убыль, а ветер утих. Кристиан встал с постели, в которой не спал, а лишь ворочался с боку на бок всю ночь, вытащил магнитофон из тайника и включил его.

Сначала музыка зазвучала как-то странно, больше напоминая шум: чуждые, непонятные звуки, не имеющие ничего общего со звуками Кристиана. Но форма произведения была четкой и ясной, и к концу записи, которая не длилась и получаса, Кристиан уже имел ясное представление, что такое fuga, а звук клавесина потряс до глубины души.

Однако он понимал, если что-либо из услышанного появится в его музыке, он будет тут же разоблачен. Поэтому Кристиан даже не пытался создать фугу и подражать звучанию клавесина.

А каждую ночь он слушал магнитофонную запись, узнавая все больше и больше, пока наконец не появился Блуститель Закона.

Блюститель Закона был слеп, его водила собака-поводырь. Он подошел к двери, и, поскольку он был Блюстителем Закона, ему даже не пришлось стучать — дверь для него открылась сама собой.

— Кристиан Харолдсен, где магнитофон? — спросил Блюститель Закона.

— Магнитофон?! — переспросил Кристиан, но тут же понял, что отпираться бесполезно. Поэтому он вытащил аппарат и отдал Блюстителю Закона.

— Ах, Кристиан, Кристиан, — сказал Блюститель Закона, и голос у него был мягким и грустным. — Ну почему ты не отдал его, не слушая?

— Я собирался это сделать, — сказал Кристиан. — Но как вы узнали?

— Ты перестал сочинять фуги. Твои песни в один миг лишились единственного, что было в них от Баха. Потом ты перестал экспериментировать с новыми звуками. Чего же именно ты старался избежать?

— Вот этого, — ответил Кристиан, сел и с первой же попытки воспроизвел звук клавесина.

— А до сих пор ты ведь никогда его не воспроизводил, правда же?

— Я боялся, что вы заметите.

— Фуги и клавесин — вот две вещи, на которые ты прежде всего обратил внимание, и только они отсутствуют в твоей музыке. Все другие твои произведения, созданные за эти последние недели, окрашены влиянием Баха. Не было только фуги, не было клавесина. Ты нарушил закон. Тебя поселили здесь, потому что ты был гением, творцом нового, использовавшим для вдохновения только то, что есть в природе. Теперь же, разумеется, твое творчество подражательно и вторично, и подлинно новые творения ты никогда не создашь. Тебе придется уйти.

— Я знаю, — сказал Кристиан. Он был напуган, поскольку даже не представлял, какой окажется жизнь за стенами его дома.

— Мы обучим тебя какому-нибудь делу, которым ты отныне сможешь заниматься. Голодать тебе не придется. И от скуки ты не умрешь. Но, поскольку ты нарушил закон, одна вещь отныне запрещена для тебя навсегда.

— Музыка.

— Не всякая музыка. Есть музыка для обычных людей, для тех, которые не являются Слушателями. Музыка, звучащая по радио, по телевидению, записанная на пленку и пластинки. Но настоящая музыка и новая музыка — вот, что тебе запрещается. Тебе не разрешается петь. Не разрешается играть на музыкальных инструментах. Не разрешается отбивать какой-нибудь ритм.

— Но почему?

Блюститель Закона покачал головой.

— В нашем мире царят совершенство, безмятежность, счастье, и мы не можем позволить неудачнику, нарушившему закон, бродить по свету и сеять недовольство. А если ты снова будешь создавать музыку, Кристиан, ты будешь сурово наказан. Очень сурово.

Кристиан кивнул, и когда Блюститель Закона велел ему следовать за ним, он пошел, оставив дом, лес и свой Инструмент. Сначала он отнесся к этому более или менее спокойно, как к неизбежному наказанию за нарушение закона, но он и представить себе не мог, что за наказание его ждет и чем окажется для него отлучение от Инструмента.

Через пять часов он уже орал и набрасывался на любого, кто к нему приближался, потому что его пальцы не могли не касаться мануалов, клавиш, рычагов и кнопок на Инструменте, а их у него не было, и только теперь он понял, что никогда еще не был по-настоящему одинок.

Прошло полгода, прежде чем он оказался готов к нормальной жизни. И когда он оставил Центр Переподготовки (небольшое здание, поскольку использовалось оно очень редко), он казался усталым и постаревшим на много лет и никому не улыбался. Он стал водителем автофургона для доставки продуктов, потому как тестирование показало, что эта работа наиболее соответствует оставшимся в нем немногим способностям и интересам, что именно эта работа поможет ему меньше горевать и вспоминать о своей утрате.

Он доставлял жареные пирожки в бакалейные магазины.

А по вечерам он познавал тайны алкоголя; алкоголя, пирожков, автофургона и его сновидений оказалось достаточно, чтобы в некотором роде он оставался довольным. Гнева Кристиан не испытывал. Он мог без горечи прожить остальную свою жизнь.

Доставлять свежие пирожки и забирать черствые.

Часть вторая

— С таким именем, как Джо, — говаривал Джо, — я просто вынужден был открыть гриль-бар, чтобы повесить вывеску «Гриль-бар Джо».

Тут он всегда смеялся, потому как в наши дни «Гриль-бар Джо» было и впрямь забавное название.

Но барменом Джо был хорошим, и Блюстители Закона подобрали ему неплохое местечко. Не в большом городе, а в маленьком городке, в городке по соседству со скоростной автострадой, поэтому в него частенько заглядывали водители грузовиков, в городке, отстоявшем не очень далеко от большого города, так что интересные события происходили совсем рядом, о них можно было говорить, волноваться из-за них, ругать их или радоваться им.

В общем, в «Гриль-бар Джо» приятно было зайти, и туда заходили многие. Публика нефешенебельная, но и не забулдыги. Одинокие или жаждущие общения люди — как раз в соответствующих пропорциях.

— Мои клиенты — как хороший коктейль. В меру того-другого, и получается новый букет, гораздо приятнее на вкус, чем любой из его компонентов.

О, Джо был поэтом — поэтом алкоголя, и, как многие в наши дни, любил повторять:

— Отец мой был адвокат, и в старину я бы, вероятно, тоже стал адвокатом. Я бы так никогда и не узнал, чего лишаюсь.

Джо был прав. И бармен из него вышел чертовски хороший, никем другим он стать не хотел, так что был вполне счастлив.

Как-то вечером, однако, у него в баре появился новый человек, водитель фургона для доставки жареных пирожков, на его комбинезоне было их фирменное название.

Джо сразу обратил на него внимание, потому что его, куда бы он ни приходил, будто запах, обволакивало безмолвие. Люди ощущали это безмолвие, и, хотя они почти не смотрели на него, понижали голоса либо вообще замолкали, становились задумчивыми, сидели, глядя на стены или в зеркало за стойкой. Человек, доставляющий пирожки, садился в углу и заказывал разбавленный коктейль. Это означало, что он не хочет быстро напиться, а намерен посидеть подольше.

Джо многое подмечал в людях, и от него не укрылось, что человек постоянно смотрит в темный угол, где стояло фортепиано. Это было старое расстроенное чудовище, приобретенное вместе с заведением, и Джо подивился, с чего бы это вдруг оно так привлекает этого человека. Правда, и прежде многие клиенты Джо интересовались инструментом, но те обычно подходили к нему и барабанили по клавишам, пытаясь извлечь какую-нибудь мелодию, а когда у них так ничего и не получалось — фортепиано было вконец расстроено, — они оставляли свою затею. Этот же человек, казалось, почти боялся инструмента и даже не решался подойти к нему.

Когда наступало время закрытия, мужчина продолжал сидеть в своем углу. Однажды, повинуясь какой-то прихоти, Джо, вместо того чтобы заставить его уйти, выключил передававшуюся по радио музыку, погасил большую часть осветительных приборов, подошел к инструменту, поднял крышку и обнажил серые клавиши.

Водитель автофургона подошел к фортепиано. *Крис* значилось на его карточке. Он сел и коснулся одной клавиши. Звук вышел не очень красивый. Но мужчина прошелся поочередно по всем клавишам, после чего проиграл их вразнобой, и все это время Джо наблюдал за ним, гадая, почему этот человек испытывает такое напряжение.

— Крис, — сказал Джо.

Крис посмотрел на него.

— Ты знаешь какие-нибудь песни?

На лице Криса появилось какое-то странное выражение.

— Я имею в виду старинные песни, не модные песенки, которые передаются по радио и под которые публика

вертит задом, а настоящие песни. Например, «В испанском городке» — мне ее когда-то пела мать. — И Джо принялся напевать: — «В испанском городке, в такую же вот ночь, смотрели звезды вниз в такую же вот ночь».

Джо продолжал напевать слабым невыразительным баритоном, а Крис заиграл. Но его игра была не сопровождением — сопровождением Джо ее ни за что бы не назвал. Скорее, она была противоположностью его мелодии, ее врагом. Звуки, вырывавшиеся из фортепиано, были какими-то странными и нестройными, но, ей-богу же, прекрасными! Джо перестал петь и стал слушать. Он слушал два часа, а когда игра закончилась, налил ему и себе по стопке и чокнулся с Крисом, водителем автофургона с жареными пирожками, под пальцами которого оживило и зазвучало старое полуразвалившееся фортепиано.

Крис вернулся через три дня, он выглядел измученным и испуганным. Но на этот раз Джо уже знал, что произойдет (это непременно должно было произойти), и, не дожидаясь времени закрытия, выключил радио на десять минут раньше. Крис с мольбой посмотрел на него. Джо неправильно его понял — он прошел к фортепиано, поднял крышку и улыбнулся. Крис, будто против воли, на деревянных ногах, подошел и сел на вращающийся стул.

— Эй, Джо, — крикнул один из пяти последних посетителей, — не рановато ли закрываешься?

Джо не ответил, он просто смотрел, как Крис заиграл. На этот раз без всякой подготовки — никаких гамм, никакого блуждания по клавиатуре. Была лишь мощь, и фортепиано зазвучало так, как ему никогда не полагалось звучать: неверные, расстроенные звуки так сплетались в музыку, что звучали правильно, а пальцы Криса, как казалось Джо, будто игнорируя каноны двенадцатитоновой гаммы, ложились где-то в расщелинах между клавишами.

Когда полтора часа спустя Крис кончил играть, ни один из посетителей еще не ушел. Они все вместе выпили напоследок, а уж потом разошлись по домам, потрясенные пережитым.

На следующий вечер Крис появился снова — потом снова и снова. Очевидно, после первого исполнения он

не приходил несколько дней потому, что в душе его шла какая-то борьба, и вот он ее либо выиграл, либо проиграл. Для Джо это было несущественно. Для него важно было только то, что, когда Крис играл на фортепиано, он испытывал чувства, каких в нем прежде не пробуждала никакая другая музыка, и он просто жаждал испытать их снова.

Посетители, очевидно, хотели того же. Перед закрытием бара стали появляться новые люди — судя по всему, только затем, чтобы послушать, как играет Крис. Джо стал переносить начало его выступления на все более и более раннее время. Ему пришлось отказаться от бесплатных выпивок после исполнения: народу набивалось столько, что он мог бы запросто разориться.

Все это продолжалось два долгих странных месяца. Автофургон для доставки пирожков подъезжал к бару, и люди расступались, пропуская Криса. Никто ничего ему не говорил. Никто вообще ни о чем не говорил, все ждали, когда он начнет играть. Пить он не пил. Только играл. А между номерами сотни людей в «Гриль-баре Джо» пили и ели.

Но веселье ушло. Не стало ни смеха, ни беспечных разговоров, ни духа товарищества. И вот какое-то время спустя Джо устал от этой музыки, и ему захотелось, чтобы в его баре все стало как прежде. Он не мог избавиться от фортепиано — тогда на него разозлятся клиенты. Он подумал, а не попросить ли Криса не приходить больше, но не мог заставить себя заговорить с этим странным, молчаливым человеком.

И вот в конце концов он сделал то, что, он знал, ему бы следовало сделать еще в самом начале. Он позвал Блюстителей Закона.

Они явились посреди исполнения, слепой Блюститель с собакой-поводырем на поводке и безухий Блюститель, который ходил пошатываясь и придерживая руками за окружающие предметы, чтобы не потерять равновесия. Они явились посреди исполнения и даже не стали дожидаться, когда песня закончится. Они подошли к фортепиано, тихонько закрыли крышку, а Крис убрал пальцы и посмотрел на закрытую крышку.

— Ах, Кристиан, Кристиан,— сказал человек с собачьей-поводырем.

— Простите,— ответил Кристиан.— Я пытался удержаться себя.

— Ах, Кристиан, Кристиан, где мне взять силы и сделать с тобой то, что должно быть сделано?

— Так сделайте это,— сказал Кристиан.

И тогда человек без ушей вытащил из кармана пиджака лазерный нож и под самый корень отрезал Кристиану все пальцы обеих рук. Во время этой операции лазер сам обезболивал и стерилизовал рану, но все же кровь брызнула на униформу Кристиана. Кристиан, руки которого превратились в ни на что не годные ладони-культияшки, встал и вышел из «Гриль-бара Джо». Люди опять расступились, давая ему пройти, они внимательно выслушали, что сказал слепой Блюститель Закона:

— Это был человек, который нарушил закон и которому запретили быть Творцом. Он нарушил закон во второй раз, и закон настаивает на том, чтобы воспрепятствовать ему разрушать систему, благодаря которой вы все так счастливы.

Люди все поняли. Они погоревали, несколько часов они чувствовали себя не в своей тарелке, но стоило им вернуться в свои положенные для них дома и к своей положенной работе, как полнейшее удовлетворение жизнью заглушило кратковременную жалость к Крису. В конце концов, Крис нарушил закон. А именно закон обеспечивал им всем безопасность и счастье.

Джо тоже вскоре забыл Криса и его музыку. Он знал, что поступил правильно. Правда, он никак не мог уразуметь, во-первых, с чего бы это человеку вроде Криса нарушать закон; во-вторых, какой закон он мог бы нарушить сам? Ведь на всем белом свете не сыскать ни одного закона, который бы не ставил во главу угла счастье людей. Поэтому Джо и не мог припомнить ни одного закона, который бы ему захотелось хоть немножко нарушить.

И все же... Как-то раз Джо подошел к фортепиано, поднял крышку и прошелся по всем клавишам до единой. А потом уронил голову на клавиатуру и заплакал, потому как до него дошло: ведь то, что Крис лишился фортепиано-

но, лишился пальцев, дабы никогда больше не играть, — все равно, как если бы Джо лишился своего бара. Ибо если Джо когда-нибудь лишится своего бара, ему уже незачем будет жить.

А что касается Криса... В автофургоне для доставки жареных пирожков к бару теперь подъезжал другой человек, а Криса в этой части света никто никогда больше не видел.

Часть третья

— Ах, какое прекрасное утро! — пел член дорожной бригады, который в своем родном городке пять раз смотрел фильм «Оклахома!».

— Укачай мою душу на груди Авраамовой! — пел дорожный строитель, выучившийся петь, когда все члены семьи собирались с гитарами.

— Нас да ведет твой свет! — пел веривший в Бога дорожник.

Лишь рабочий с беспальными руками, который держал дорожные знаки «Стоп» и «Тихий ход», только слушал. Он никогда не пел.

— Почему ты никогда не поешь? — спросил член дорожной бригады; вообще-то, ему нравились Роджерс и Хаммерстайн и всегда он расспрашивал только о них.

Человек, которого они называли «Сахаром», просто пожимал плечами.

— Мне не хочется петь, — отвечал он, когда снисходил до ответа.

— Почему его зовут Сахаром? — спросил как-то один из новеньких. — Не сказал бы, что он такой уж сладкий.

Ему ответил верующий:

— Его инициалы *СН*. Как сахар — *С* и *Н**, знаешь?

И новенький засмеялся. Глупая шутка, но из тех, что облегчают работу на строительстве дорог.

Нельзя сказать, чтобы жизнь их была тяжелой. Ведь и этих людей подвергли тестированию, ведь их и постави-

* Инициалы главного героя на английском языке совпадают с латинскими буквами *С* и *Н*, фигурирующими в химической формуле сахара $C_6H_{12}O_5$.

ли на работу, которая доставляла им наибольшее счастье. Они гордились тем, что их кожа болит от загара, что у них гудят растянутые мышцы, а дорога, длинной и тонкой лентой тянувшаяся сзади, была для них самым прекрасным в мире. Потому-то весь день за работой они пели, полагая, вероятно, что вряд ли когда-нибудь будут счастливее.

Не пел только Сахар.

Затем у них появился Гильермо. Невысокий мексиканец, говоривший с акцентом. Всем, кто у него спрашивал, Гильермо отвечал: «Пусть я и из Соноры, но мое сердце в Милане!» Если интересовались, почему именно (правда, чаще всего его об этом никто и не спрашивал), он объяснял: «Я — итальянский тенор в теле мексиканца» и доказывал это, беря любую ноту, когда-либо написанную Пуччини и Верди. «Карузо был ничто,— хвастал Гильермо.— Послушайте-ка вот это!»

У Гильермо были пластинки, и он пел под них. А на работе по строительству дороги он, бывало, подхватывал любую песню, которую запевал кто-нибудь, развивая любую тему, либо же пел облигато тоном выше, и его тенор воспарял под облака. «Петь я умею»,— говорил, бывало, Гильермо, и вскоре его товарищи по работе стали отвечать: «Точно, Гильермо! Спой-ка еще разок!»

Но как-то вечером Гильермо честно признался:

— Ах, друзья мои, ну какой из меня певец!

— Что ты такое говоришь! — раздался единомудушный ответ.— Конечно же, ты певец!

— Вздор! — театрально вскричал Гильермо.— Если я такой уж великий певец, почему же вы не видите, чтобы я уезжал и записывал песни? А? И это — великий певец? Вздор! Великих певцов специально пестуют, они становятся известными. Я же всего лишь человек, который любит петь, но у которого нет таланта. Я человек, которому нравится работать на строительстве дороги с такими, как вы, и орать во все горло, но я бы никогда не смог петь в опере! Никогда!

Причем сказал он это без какой-либо грусти, сказал пылко и уверенно.

— Мое место здесь! Я могу петь для вас — для тех, кому нравится, когда я пою! Могу музицировать с вами, когда

мое сердце исполнено гармонии. Только не думайте, будто Гильермо великий певец, потому что это не так!

Получился вечер честных и откровенных признаний, и каждый объяснил, почему именно он счастлив в дорожной бригаде и почему ему не хотелось бы быть больше нигде. Каждый, разумеется, кроме Сахара.

— Ну, Сахар. Разве ты здесь не счастлив?

Сахар улыбнулся.

— Счастлив. У меня хорошая работа. И я люблю слушать, как вы поете.

— Тогда почему же ты не поешь с нами?

Сахар покачал головой.

— Я не певец.

Но Гильермо окинул его понимающим взглядом.

— Не певец, как же! Так я тебе и поверил. Человек без рук, который отказывается петь, это вовсе не обязательно человек, не умеющий петь. А?

— Что все это, черт побери, значит? — спросил человек, который пел народные песни.

— А то, что человек, которого вы называете Сахаром, обманщик. Он не певец! Да вы посмотрите на его руки. У него нет ни одного пальца! А кто отрезает людям пальцы?

Члены дорожной бригады даже не пытались угадать, мало ли как человек может лишиться пальцев, не их это дело.

— Люди лишаются пальцев, потому что нарушают закон, а отрезают их Блюстители! Вот как человек лишается пальцев! А что он такое делал своими пальцами, от чего Блюстителям захотелось его отвадить? Он нарушил закон, разве нет?

— Прекрати, — сказал Сахар.

— Если ты так хочешь, — сказал Гильермо, но другие особого почтения к тайне Сахара не выказали.

— Расскажи нам, — попросили они.

Сахар вышел из комнаты.

— Расскажи нам.

И Гильермо им рассказал. О том, что Сахар, скорее всего, был Творцом, который нарушил закон и которому запретили создавать музыку. При самой мысли о том, что Творец — пусть даже и нарушивший закон — работает с

ними в одной бригаде, люди исполнились благоговейного страха. Творцы были редки, они были наиболее уважаемые из мужчин и женщин.

— Но почему ему отрезали пальцы?

— Потому что,— объяснил Гильермо,— впоследствии он, наверное, снова пытался создавать музыку. А когда нарушаешь закон во второй раз, тебя лишают способности нарушить его снова.

Гильермо говорил совершенно серьезно, и для членов бригады история Сахара звучала величественно и страшно, как опера. Они гурьбой ввалились в комнату Сахара и обнаружили, что тот сидит, вперившись взглядом в стену.

— Сахар, это правда? — спросил поклонник Роджерса и Хаммерстайна.

— Ты был Творцом? — спросил верующий.

— Да,— признался Сахар.

— Но, Сахар,— сказал верующий,— Бог вовсе не велит, чтобы человек перестал создавать музыку, даже если тот и нарушил закон.

Сахар улыбнулся.

— Бога никто не спрашивал.

— Сахар,— сказал наконец Гильермо.— Нас девять человек в бригаде, нас всего девять, и мы за много миль от других людей. Ты нас знаешь, Сахар. Мы, все до единого, клянемся на могилах своих матерей, что никогда никому ничего не скажем. Да и зачем нам это? Ты один из нас. Но пой, черт тебя подери, пой!

— Не могу,— ответил Сахар.

— Но ведь именно это предопределено тебе Богом,— уговаривал верующий.— Мы все делаем то, что нам больше всего по душе, и вот тебе на: ты любишь музыку, а не в состоянии пропеть ни одной-единственной ноты. Пой для нас! Пой вместе с нами! А знать об этом будем только ты, мы и Бог!

Они все обещали. Они все умоляли.

И вот на следующий день, когда поклонник Роджерса и Хаммерстайна запел «Взгляни, любовь моя». Сахар принялся тихонько мурлыкать себе под нос. Когда верующий запел «Бог наших предков», Сахар стал тихонько подтя-

гивать ему. А когда любитель народных песен затянул «Опустись пониже, мой милый Возничий», Сахар присоединился к нему и запел удивительно высоким голосом. Все засмеялись и захолопали, как бы приветствуя голос Сахара.

Сахар, само собой, принялся изобретать. Сначала, разумеется, гармонии, странные, непонятные гармонии, слушая которые Гильермо сперва хмурился, а потом, немного погодя, стал улыбаться и подпевать, почувствовав, насколько мог, что именно Сахар делает с музыкой.

А после гармоний Сахар принялся петь собственные мелодии, на свои же слова. Они изобиловали повторами, слова были просты, а мелодия и того проще. Однако он облакал их в удивительные формы, создавая из них песни, каких никогда и никто прежде не слышал; они звучали вроде бы неправильно, но тем не менее были изумительно красивы. Прошло совсем немного времени, и вот уже поклонник Роджерса и Хаммерстайна, любитель народных песен и верующий радостно или скорбно, весело или сердито распевали их, знай себе строя дорогу.

Даже Гильермо выучил эти песни, и они так изменили его тенор, что его голос, самый (что говорить!) заурадный, стал каким-то удивительно прекрасным. Наконец Гильермо однажды сказал Сахару:

— Слушай, Сахар, ведь твоя музыка абсолютно неправильная, приятель. Но мне нравится, какое чувство она вызывает у меня в носу! Эй, ты можешь это понять? Мне нравится, какое чувство она вызывает у меня во рту!

Некоторые песни были религиозными гимнами. «Держи меня в голоде, Господи» пел Сахар, и бригада пела вместе с ним.

Были у него песни о любви. «Залезь в карман к кому-нибудь другому» пел Сахар сердито, «Твой голос слышу поутру» пел Сахар нежно, «Неужто все еще лето?» пел Сахар грустно, и бригада распевала вместе с ним.

Проходили месяцы, дорожная бригада менялась: один человек уходил в среду, а в четверг на его место заступал другой, поскольку на разных участках требовались разные навыки. Каждый раз, когда появлялся новенький, Сахар

замолкал, пока человек не давал слово и можно было не беспокоиться, что тайна будет сохранена.

В конечном счете погубило Сахара то, что его песни невозможно было забыть. Люди, уходившие из бригады Сахара, распевали его песни в других бригадах, в свою очередь члены этих бригад выучивали их и учили им других. Рабочие дорожных бригад пели эти песни в барах и на дороге: песни людям нравились, они быстро их запоминали. И вот однажды слепой Блюститель Закона услышал их песню. Он мгновенно понял, кто спел ее первым. Это была музыка Кристиана Харолдсена, поскольку в этих мелодиях, как они ни были просты, по-прежнему слышался свист ветра в северных лесах, по-прежнему над каждой их нотой ощущалась тяжесть опадающих листьев, и... и Блюститель Закона печально вздохнул. Из своего набора инструментов он выбрал один особый, сел в аэроплан и долетел до ближайшего большого города, неподалеку от которого работала дорожная бригада. Слепой Блюститель сел в нанятую машину, и нанятый шофер доставил его туда, где дорога еще только начинала захватывать полосу пустыни. Там он вылез из машины и услышал пение. Услышал, как высокий голос поет песню, от которой заплакал даже незрячий.

— Кристиан,— сказал Блюститель, и песня прекратилась.

— Это ты,— сказал Кристиан.

— Кристиан, даже после того, как ты лишился пальцев?

Остальные ничего не понимали — все остальные, кроме Гильермо.

— Блюститель,— обратился к нему Гильермо,— он не сделал ничего плохого.

Блюститель Закона криво улыбнулся.

— Никто и не говорит, что сделал. Но он нарушил закон. Вот, скажем, тебе, Гильермо, понравилось бы работать слугой в доме богача? Или не хотел бы ты стать кассиром в банке?

— Не забирайте меня из дорожной бригады,— сказал Гильермо.

— Именно закон определяет, где люди будут счастливы. Но Кристиан Харолдсен преступил закон. И с тех самых пор бродит по земле, смущая людей музыкой, которая вовсе не для них.

Гильермо понимал, что проиграл спор еще до того, как его затеял, но остановиться уже не мог.

— Не делай ему больно, приятель. Мне было суждено слушать его музыку. Клянусь Богом, она сделала меня счастливее.

Блюститель грустно покачал головой.

— Будь честным, Гильермо. Ты честный человек. Его музыка только сделала тебя несчастным, разве нет? У тебя есть все, чего ты только ни пожелаешь в жизни, и однако из-за его музыки ты испытываешь грусть. Все время испытываешь грусть.

Гильермо хотел было возразить, но как честный человек заглянул в собственное сердце. И он понял, что эта музыка полна печали. Даже счастливые песни что-то оплакивали, даже сердитые песни почему-то рыдали, даже в любовных песнях, казалось, говорилось о том, что все умирает, а удовлетворенность — мимолетней всего на свете. Гильермо заглянул в собственное сердце, и там перед ним предстала вся музыка Сахара, и он заплакал.

— Пожалуйста, не делай ему больно,— пробормотал Гильермо, плача.

— Не сделаю,— ответил слепой Блюститель.

Он подошел к Кристиану, который покорно стоял и ждал, и поднес особый инструмент к его горлу. У Кристиана перехватило дыхание.

— Нет! — сказал Кристиан, но слово лишь оформилось у него на языке и на губах. Никакого звука не послышалось. Всего лишь шипение воздуха.— Нет!

— Да,— сказал Блюститель.

Члены дорожной бригады смотрели, как Блюститель увел Кристиана. Много дней они не пели. Затем, в один прекрасный день, Гильермо забыл о своей горе и запел арию из «Богемы». С тех пор они снова стали петь. Иногда они пели песни Сахара — эти песни невозможно было забыть.

В большом городе Блюститель Закона дал Кристиану блокнот и ручку. Кристиан тут же зажал ручку в складке ладони и написал: «Чем же я теперь буду заниматься?»

Слепой Блюститель засмеялся.

— У нас для тебя такая работенка! Ах, Кристиан, Кристиан, у нас для тебя такая работенка!

Аплодисменты

На всем белом свете было всего две дюжины Блюстителей Закона. Это были замкнутые люди, которые надзирали за системой, почти не требовавшей надзора, потому как она и впрямь почти всем доставляла счастье. Это была хорошая система, но, как и самая идеальная система, она то тут, то там давала сбои. То тут, то там кто-нибудь вел себя как сумасшедший и наносил вред себе самому. И чтобы защитить всех и каждого, Блюстителю полагалось обнаружить это сумасшествие, поехать и устранить его.

В течение многих лет лучшим из Блюстителей был человек без пальцев на руках, человек без голоса. Облаченный в униформу, величавшей его единственным именем, которое было необходимо, — Власть. Он молча появлялся там, где требовалось его присутствие, и, бывало, находил самый добрый, самый легкий и в то же время самый действенный способ решения проблемы, исцеления от сумасшествия и сохранения системы. Системы, благодаря которой мир впервые в истории стал отличным местом для жизни. Практически для всех.

Правда, по-прежнему находились лица — один-два человека в год, — которые попадали в плен собственных коварных замыслов, которые не могли приспособиться к системе, но и не могли причинить ей вреда, люди, которые продолжали нарушать закон, хотя и понимали, что он их уничтожит.

В конце концов, легкие увечья и лишения не излечивали их от сумасшествия и не возвращали обратно в систему, им давали униформу, и они тоже работали, блюдя закон.

Ключи власти отдавали в руки тех, у кого было больше всего причин ненавидеть систему, которую им полагалось блюсти. Сожалели ли они об этом?

«Я — да», — отвечал Кристиан в те моменты, когда осмеливался задавать себе этот вопрос.

В скорби исполнял он свой долг. В скорби он постигал. И вот наконец другие Блюстители, относившиеся к этому немому с почтением (ибо они знали: когда-то он пел великолепные песни), сказали ему, что он свободен.

— Ты отслужил свой срок, — сказал безногий Блюститель и улыбнулся.

Кристиан вскинул брови, будто желая сказать: «И что теперь?»

— Иди поброди по свету.

И Кристиан отправился бродить по свету. Униформу он снял, но поскольку он не испытывал недостатка ни в деньгах, ни во времени, редко какая дверь оказывалась перед ним закрытой. Он бродил там, где когда-то жил. Дорога в горах. Городок, где когда-то ему был знаком служебный вход в каждый ресторан, кофейню, бакалейный магазин... И наконец, то место в лесу, где от времени и непогоды разваливался, рассыпался дом, простоявший пустым сорок лет.

Кристиан был стар. Гремел гром, а он лишь понимал, что вот-вот пойдет дождь. Все эти старые песни... Он оплакивал их в душе. И не потому, что считал свою жизнь особенно печальной. Нет. Просто он не мог вспомнить ни одной из них.

Однажды, сидя в кофейне близлежащего городка, укрываясь от дождя, он услышал, как четыре подростка, отвратительно бренча на гитарах, исполняют знакомую ему песню. Эту песню он придумал, когда жарким летним днем дорога заливалась асфальтом. Подростки были не музыканты и, безусловно, не Творцы. Но они пели эту песню от всей души, и, хотя в ней пелось о счастье, у всех, кто ее слушал, на глаза наворачивались слезы.

Кристиан написал на блокноте, который всегда носил с собой, и показал свой вопрос мальчишкам: «Откуда эта песня?»

— Это песня Сахара, — ответил лидер группы. — Эта песня, которую сочинил Сахар.

Кристиан поднял бровь и пожал плечами.

— Сахар работал в дорожной бригаде и сочинял песни. Правда, его уже нет в живых,— ответил мальчик.

Кристиан улыбнулся. Потом написал (а ребята с нетерпением ждали, когда этот немой старик уйдет): «Разве вы не счастливы? Зачем петь грустные песни?»

Ребята растерялись и не могли найти ответ. Правда, лидер все же заговорил. Он сказал:

— Разумеется, я счастлив. У меня хорошая работа, девушка, которая мне нравится, и знаешь, приятель, большего я не мог бы желать. У меня есть моя гитара. У меня есть мои песни. И мои друзья.

А другой мальчик сказал:

— Эти песни не грустные, мистер. Конечно, слушая их, люди плачут, но они не грустные.

— Да,— поддержал его третий.— Дело в том, что они были написаны человеком, который знает.

Кристиан нацарапал на бумаге: «Знает что?»

— Ну, он просто знает. Просто знает — и все.

И тут подростки снова неумело заиграли на гитарах и запели молодыми, непоставленными голосами, а Кристиан направился к выходу, поскольку дождь прекратился и поскольку он прекрасно знал, когда уйти со сцены. Он повернулся и слегка поклонился в сторону певцов. Они этого не заметили, но их голоса звучали для него дороже всяких аплодисментов. Оставив их, он вышел на улицу, где уже начинали желтеть листья. Скоро они с легким, неслышным звуком оторвутся от деревьев и упадут на землю.

На мгновение ему вдруг показалось, будто он слышит, как поет. Но это был всего лишь последний порыв ветра, по-сумасшедшему пронесившийся между уличными проводами. Это была яростная песня, и Кристиану показалось, будто он узнал собственный голос.

Фарфоровая саламандра

Обитатели этой страны называли ее Прекрасной — и были правы. Прекрасная Страна лежала на самом краю большого континента, за которым простирался океан — такой громадный, что лишь немногие отваживались его пересечь. За пределами Прекрасной Страны вздымалась Высокая Гора; ее не напрасно так называли, ибо лишь отчаянные смельчаки рисковали подниматься на ее вершину. И хотя жизнь Прекрасных Людей, как называли себя жители Прекрасной Страны, текла вдали от остального мира, то была замечательная жизнь.

Конечно, не все жители райского уголка были богаты, и счастливы тоже были не все. Но со стороны жизнь в Прекрасной Стране казалась такой замечательной, словно бедности там вовсе не существовало, а страдания длились очень недолго.

Только не для Кирен.

Вся жизнь Кирен состояла из страданий. И пусть она жила в богатом доме, полном слуг, и могла получить все, что пожелает, она была глубоко несчастна. Наверное, вы знаете, что слова благословения и проклятия обладают магической силой; правда, они не всегда сбываются, а иногда сбываются совсем не так, как было задумано. Проклятие, которое бросили Кирен, сбылось.

В ту пору, когда ее проклинали, Кирен еще не успела совершить ни одного дурного поступка, ибо только-только появилась на свет и была невинна, как любой новорожденный младенец. Однако у матери девочки было сла-

бое здоровье, и роды проходили мучительно. Их усугубил страх. Девочку сумели спасти, но мать ее умерла. Отец Кирен так сильно любил свою жену, что когда ему сообщили печальную весть и показали дочку, он громко закричал:

— Это из-за тебя она умерла! Это ты ее погубила! Так будь же ты слаба и беспомощна — пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать!

То было ужасное проклятие. Услышав его, кормилица залилась слезами, а лекари поспешили зажать обезумевшему отцу рот, чтобы он больше не произнес ни одного страшного слова.

Проклятие сбылось. Конечно, в младенчестве и раннем детстве Кирен ее отец миллион раз раскаивался в содеянном, но был не в силах что-либо изменить. К счастью, проклятие не обрушилось на Кирен всей мощью. Девочка кое-как научилась ходить. Она даже могла стоять, но очень недолго. Однако большую часть времени Кирен сидела или лежала. Она была настолько слаба, что руки и ноги почти не слушались ее. Кирен могла пару раз поднести ложку ко рту, но потом уставала, и слугам приходилось ее кормить. Ей даже не всегда хватало сил, чтобы прожевать пищу.

Всякий раз, когда отец видел страдания дочери, ему хотелось плакать, и часто он безутешно рыдал. Иногда он даже подумывал о самоубийстве, чтобы тем искупить свою вину. Но потом удерживался, зная, что его уход из жизни лишь прибавит Кирен страданий.

Когда чувство вины становилось невыносимым, отец клал в большой заплечный мешок фрукты Прекрасной Страны и хитроумные поделки ее жителей, уходил из дому и поднимался на Большую Гору. Хотя и фрукты, и поделки очень ценились по другую сторону Горы, отца Кирен мало заботила прибыль. Мешок просто избавлял его от лишних расспросов — люди считали его храбрым странствующим торговцем, не побоявшимся перевалить через Большую Гору. Отец Кирен пропадал по несколько месяцев, и никто не знал, вернется он или сгинет в горных ущельях.

Но он всегда возвращался и каждый раз приносил что-нибудь для Кирен. Лицо девочки ненадолго озарялось улыбкой, и она говорила:

— Спасибо, отец.

Некоторое время новый подарок радовал ее, но потом силы снова оставляли Кирен, а отец, видя, к чему привело его проклятие, вновь поникал под бременем своей вины.

Когда отец вернулся из очередного путешествия в Большой Мир, стояла поздняя весна, и одиннадцатилетняя Кирен лежала на крыльце, слушая пение птиц.

На этот раз отец был непривычно возбужден и даже весел.

— Кирен! — крикнул он издали, завидев дочь. — Я принес тебе подарок!

Кирен улыбнулась. Ей было трудно улыбаться, поэтому улыбка получилась грустной. Отец вынул из мешка подарок и подал дочке.

То была коробка, стенки которой ходили ходуном.

— Отец, ты принес мне какого-то зверька? — спросила девочка.

— Нет, моя милая Кирен. Никакого зверька внутри нет. Там... Но подожди немного. Сейчас я помогу тебе поднять крышку, только сначала хочу рассказать одну историю... Когда я спустился с Горы и оказался в Большом Мире, я решил пойти в городок, где раньше не бывал. Там я увидел множество лавок с разными диковинами. Остановив первого встречного, я спросил: «А у кого здесь продаются самые лучшие и редкие вещицы?» Этот человек посоветовал мне отправиться в лавку Ирвасса. Я не сразу ее нашел, такая она оказалась скромная и неприметная, зато в ней и впрямь были собраны невиданные чудеса. Я сразу понял, что хозяин лавочки понимает толк в небесной магии. Ирвасс спросил у меня: «Чего ты желаешь больше всего на свете?» Чего я мог ему ответить? Конечно, лишь одно: «Я хочу, чтобы моя дочь выздоровела».

— Отец, — слабым голосом воскликнула Кирен. — Ведь не хочешь же ты сказать...

— Да, дочь моя. Именно так. Я без утайки рассказал Ирвассу, что с тобой и почему. Тогда Ирвасс снял с полки эту шкатулку и проговорил: «Вот лекарство для твоей дочери»... А теперь давай откроем крышку.

Если бы не отец, у Кирен не хватило бы на это сил. Девочка не отважилась сунуть руку внутрь и попросила отца достать ее подарок. Он вытащил... фарфоровую саламандру. Совсем белую, с тонкими эмалевыми чешуйками. Чешуйки ярко блестели на солнце.

Все знают, что белых саламандр не бывает. Но то была мастерски сделанная фарфоровая фигурка, в точности похожая на живую саламандру, если не считать цвета. И она двигалась, как живая.

Саламандра дергала ножками; изо рта ее то и дело выстреливал язычок. Ящерка вертела во все стороны головой и вращала глазами. Кирен радостно засмеялась.

— Отец, а ведь она совсем живая. Как Ирвассу удалось сотворить такое чудо?

— Он сказал, что наделил саламандру даром двигаться, но не наделил даром жизни. И если саламандра замрет хоть на мгновение, она сразу станет похожей на все остальные фарфоровые фигурки — неподвижной, твердой и холодной.

— Как она здорово бежит, — восхищенно произнесла Кирен.

С той поры саламандра сделалась для нее единственной отрадой. Когда по утрам Кирен просыпалась, саламандра уже танцевала по кровати. Девочку усаживали за стол, чтобы покормить, а саламандра сновала вокруг стола. Где бы ни сидела или ни лежала Кирен, ящерка забавляла ее, то гоняясь за воображаемыми мухами, то пытаясь скрыться от воображаемого врага. Кирен не спускала с нее глаз, и саламандра никогда не убегала от нее далеко. Ночью, пока девочка спала, саламандра сновала по спальне — фарфоровые ножки бесшумно топали по ковру и, только пробегая по кирпичам очага, издавали легкое позвякивание.

Отец Кирен нетерпеливо ждал, когда же его дочь начнет выздоравливать. Это случилось не сразу, но хотя перемены происходили медленно, их нельзя было не заметить. Сперва с лица девочки исчезло грустное выражение:

саламандра выделявала такие потешные трюки, что нельзя было не смеяться, и Кирен смеялась целыми днями. У девочки не только стало легче на душе — теперь она начала больше ходить и чаще стояла или сидела, чем лежала. Она научилась сама, без помощи слуг, гулять по комнатам отцовского дома.

В конце лета Кирен даже стала ходить в лес. Правда, по дороге ей приходилось часто останавливаться и отдыхать, но ей очень нравились такие прогулки, и они прибавляли ей сил.

У Кирен была тайна, которой она не делилась ни с кем. Во-первых, тайна на то и тайна, чтобы ее хранить, а во-вторых — девочка опасалась, что ее назовут выдумщицей. Оказывается, фарфоровая саламандра умела говорить!

Как-то утром саламандра пробежала по ногам Кирен и сказала:

— Прошу прощения.

— Да ты умеешь разговаривать! — удивленно воскликнула девочка.

— Умею, но только с тобой.

— А почему ты не можешь говорить с другими?

— Потому что меня подарили тебе.

С этими словами саламандра пробежала по садовой изгороди и прыгнула Кирен под ноги.

— Это все, что я умею: двигаться и говорить, — сказала саламандра. — Но во мне нет жизни. Я — просто кусок движущегося и говорящего фарфора.

Прогулки в лесу стали еще интереснее. Теперь Кирен и саламандра не просто гуляли, но и разговаривали. Кирен искренне привязалась к саламандре и думала, что та питает к ней ответные чувства. Однажды девочка сказала саламандре:

— Я люблю тебя.

— Люблю, — принялась повторять на все лады саламандра, бегая вверх-вниз по стволу дерева.

— Да, люблю, — сказала Кирен. — Люблю больше жизни. Больше, чем всех остальных.

— Даже больше, чем отца? — спросила саламандра.

Вопрос застал Кирен врасплох. Она не была неблагодарной дочерью и давным-давно простила отца за проклятье. Но она понимала, что врать саламандре нехорошо.

— Да, я люблю тебя больше, чем отца. Больше, чем мечты о моей матери. Ведь и ты тоже любишь меня, потому что целыми днями играешь и говоришь со мной.

— Любовь, любовь, любовь,— звонким голоском произнесла саламандра.— Увы, я — всего лишь кусок движущегося и говорящего фарфора. Любовь для меня — просто слово. В мире людей его часто рифмуют со словом «кровь». Тоже красиво звучит. Кровь, кровь, кровь.

И саламандра перепрыгнула через ручеек.

— Так ты... ты не любишь меня?

— Я не могу любить. Ты же знаешь: я — неживая. Прости.

Кирен стояла, прислонившись к дереву. Саламандра прыгнула ей на спину и спустилась на землю.

— Прости. Я действительно не могу любить.

Кирен вдруг стало очень больно и одиноко.

— Неужели ты совсем ничего не чувствуешь ко мне? — спросила она.

— Чувства? Чувства? — переспросила саламандра.— Чувства — это эмоции, они вспыхивают и гаснут. Можно ли им доверять? Разве тебе мало того, что я всегда рядом с тобой? Разве тебе мало, что я... я...

— Что ты?

— Ну вот, я чуть было не сказала глупость. Я хотела спросить: разве тебе мало, что, если понадобится, я отдам за тебя жизнь? Нет, это, право же, глупость. Я не могу отдать то, чего у меня нет. Я ведь фарфоровая... Кстати, не наступи на паука.

Кирен обошла невзрачного зеленого паучка, сидевшего на своей паутинке. Внешне совсем безобидный, этот паук ядовитым укусом мог уложить лошадь.

— Я должна сказать тебе спасибо, и не один раз, а дважды,— сказала саламандре Кирен.— Один раз за то, что ты спасла мне жизнь. Ты предупредила меня насчет паучка, значит, ты все-таки меня любишь. За эту любовь я и говорю тебе спасибо еще раз. Теперь ты видишь сама — моя любовь к тебе вовсе не глупость.

— Глупость. Все-таки глупость! Ты так же глупа, как луна, которая пляшет в небесах со звездами, хотя потом они расходятся в разные стороны.

— Я люблю тебя,— сказала Килен.— Я люблю тебя больше, чем мечты о выздоровлении.

На следующий день в двери отцовского дома постучался странный с виду человек.

— Я тебя не впуск, — сказал ему слуга. — Хозяин не говорил, что ожидает гостей.

— Тогда передай своему хозяину, что пришел Ирвасс.

Услышав это имя, отец Килен стремглав бросился встречать гостя.

— Неужели ты хочешь забрать саламандру? Килен только-только начала выздоравливать!

— Мне об этом известно лучше, чем тебе, — ответил Ирвасс. — Твоя дочь сейчас в лесу?

— Да. Гуляет с саламандрой. С девочкой творятся настоящие чудеса. Скажи, зачем ты пришел?

— Чтобы завершить излечение твоей дочери, — ответил Ирвасс.

— Как? — удивился отец Килен. — А разве для этого мало саламандры?

— Какими словами ты проклял новорожденную дочь? — ответил Ирвасс вопросом на вопрос.

Лицо отца Килен потемнело, но он заставил себя повторить страшные слова:

— Так будь же ты слаба и беспомощна — пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать!

— Сейчас Килен любит саламандру так же сильно, как ты любил свою жену, — сказал Ирвасс.

Отец Килен сразу все понял и схватился за голову.

— Нет! — закричал он. — Я не допущу, чтобы она страдала так, как я когда-то!

— В этом заключается ее единственная возможность излечиться. Разве лучше будет, если она станет страдать по живому человеку, а не по куску фарфора? Ведь на месте саламандры мог бы оказаться ты!

Отец Килен содрогнулся и заплакал. Он лучше любого другого мог понять, какие муки суждено перенести его дочери.

Ирвасс больше ничего не сказал, но взгляд его был полон жалости. Потом он начертил на земле прямоугольник, положил внутрь два камешка и что-то неразборчиво произнес.

И в тот же миг саламандра, гулявшая по лесу с Кирен, сказала:

— Как странно. Прежде здесь не было стены. А теперь она вдруг появилась.

В самом деле, перед ними возникла довольно высокая стена: даже когда Кирен привстала на цыпочки, ее пальцы на целый дюйм не достали до верха.

Саламандра попыталась залезть на стену, но соскользнула вниз. Удивительно, до сих пор она легко взбиралась по любым стенам.

— Магия. Должно быть, стена заколдована, — пробормотала саламандра.

Они с Кирен стали искать калитку, ведь оказалось, что стены окружают их со всех четырех сторон. Калитки не было. Но как же они тогда здесь очутились? Или это сама стена их окружила? К тому же, как назло, внутри не росло ни одного дерева, чтобы по нему можно было перелезть на ту сторону. Кирен и саламандра поняли, что оказались в ловушке.

— Я боюсь, — призналась Кирен. — Есть магия добрая и магия злая. Я не верю, что эту непреодолимую стену создала добрая магия. Должно быть, ее воздвигло какое-то проклятие.

Ей сразу вспомнилось страшное отцовское проклятие. Неужели счастливые дни кончились и ее снова ждет череда нескончаемых страданий? Кирен кусала губы, чтобы не заплакать.

Она мужественно сдерживала слезы до темноты, пока саламандра беспокойно бегала кругами, но когда стемнело, Кирен все-таки расплакалась.

— Прекрати плакать! — застонала саламандра.

— Не могу. Слезы сами собой льются, — всхлипывая, ответила Кирен.

— Я этого не вынесу. От твоих слез мне становится зябко, — сказала саламандра.

— Хорошо. Я постараюсь не плакать, — пообещала Кирен.

Ей почти это удалось, и она лишь время от времени всхлипывала и шмыгала носом. Всю ночь Кирен не сомкнула глаз, а когда рассвело, девочка увидела, что стена стоит на прежнем месте...

Нет, не совсем. За ночь стена придвинулась и теперь ее отделяло от Кирен всего несколько футов. Их каменная темница уменьшилась почти вчетверо.

— Плохо дело,— сказала саламандра.— Нам грозит беда.

— Знаю,— тихо ответила Кирен.

— Тебе нужно выбраться отсюда.

— Нам обеим нужно отсюда выбраться,— поправила Кирен.— Но как?

Все утро ловушка играла с ними в свои зловещие игры. Стоило повернуться к одной из стен спиной, как стена эта тут же придвигалась на пару футов. Поскольку саламандра была проворнее Кирен и постоянно находилась в движении, она взялась следить за тремя стенами сразу.

— А ты внимательно следи за той, которая впереди,— велела она Кирен.— Не спускай с нее глаз.

Легко сказать — «не спускай». Девочка смотрела на стену так пристально, что начало щипать в глазах. Кирен поневоле приходилось мигать, а пока она мигала, стена успевала придвинуться. К полудню в распоряжении Кирен и саламандры остался только крохотный кусочек земли.

— Они все придвигаются и придвигаются,— утрумо сказала саламандра.

— А что, если я попробую перебросить тебя на ту сторону? — предложила Кирен.

— Хорошая мысль. Тогда я побегу за подмогой.

Но Кирен тщетно пыталась перебросить саламандру через стену. Она тратила драгоценные силы, а стена словно дразнила ее. Девочке казалось, что каменная преграда подпрыгивает и ловит саламандру, заставляя фарфоровое создание соскальзывать внутрь их тюрьмы.

Вскоре Кирен окончательно выдохлась, а за это время пятачок внутри стен уменьшился вдвое.

— Они хотят нас раздавить,— сказала саламандра, не прерывая бега, хотя теперь ее бег больше напоминал кружение на месте.— Нам остается лишь одно.

— Что? Говори скорей! — закричала Кирен.

— Если бы ты на что-нибудь взобралась, ты бы смогла перелезть через стену.

— Как же через нее я перелезу? — в отчаянии спросила Кирен. — Она не выпускает нас наружу.

— Мне кажется, стена не выпускает только меня, — возразила саламандра. — Посмотри, птицы спокойно пролетают над ней, и она их не ловит.

Саламандра была права. И, словно в подтверждение ее правоты, птица, распевавшая на соседнем дереве, вспорхнула и спокойно пролетела над стеной.

— Ты забыла, что я — неживая, — сказала саламандра. — Меня заставляет двигаться лишь сила магии. А ты живая, поэтому сможешь отсюда выбраться.

— Но мне не на что встать.

— Вставай на меня, — сказала саламандра.

— Как же я на тебя встану, если ты все время бегаешь?

— Ради тебя я остановлюсь.

— Нет! — со слезами на глазах крикнула Кирен. — Нет! Не делай этого!

Но саламандра уже замерла у кромки стены и стала всего лишь фарфоровой фигуркой, твердой и холодной.

Кирен заплакала, но стена не дала ей погоревать. Девочка уже ошущала холодное прикосновение камней. Саламандра пожертвовала жизнью, чтобы помочь Кирен выбраться отсюда, и она должна была хотя бы попытаться это сделать.

Кирен встала на холодную саламандру, но смогла лишь с трудом дотянуться до верха стены. Тогда девочка приподнялась на цыпочки и сумела уцепиться за край. Напрягая последние силы, Кирен подтянулась и... перелезла через стену.

Она упала на кучу сухих листьев, и в тот же миг произошли два чуда. Стена начала быстро съеживаться, вскоре превратилась в четыре столба, а потом и эти столбы исчезли, а вместе с ними исчезла саламандра. А Кирен вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Отныне она могла бегать, прыгать и качаться на ветках.

Прилив сил был подобен ударившему в голову крепкому вину. Девочка вскочила на ноги так резко, что с непривычки чуть не упала снова. Кирен бегала по лесу, перепрыгивала через ручьи, карабкалась на деревья, ста-

раясь залезть как можно выше. Проклятие исчезло, она была совершенно здорова.

Но даже здоровые дети устают от долгой беготни. Запыхавшаяся Кирен наконец села на землю, и вдруг ей стало очень стыдно: в своем безудержном ликовании она совершенно забыла про фарфоровую саламандру, которая пожертвовала ради нее жизнью.

Кирен нашли только под вечер: она горько плакала, уткнувшись лицом в грудь пожухлых прошлогодних листьев.

Поиски возглавил сам Ирвасс, поэтому Кирен удалось отыскать так быстро.

— Посмотри,— сказал Ирвасс отцу Кирен.— Твоя дочь полностью здорова. Проклятия больше нет.

— Она здорова, но сердце ее разбито,— ответил отец, поднимая дочь на руки.

— Разбито? — удивился Ирвасс.— Быть того не может. Глупо страдать по неживой фарфоровой безделушке.

— Нет, она была живой! — возразила Кирен.— Она разговаривала со мной! Она отдала за меня жизнь!

— Не спорю,— согласился Ирвасс.— Но подумай вот о чем, девочка. Пока над саламандрой властвовала моя магия, ящерка ни на секунду не останавливалась. Как ты считаешь, она никогда не уставала?

— Конечно, никогда.

— Ошибаешься. Уставала, и даже очень,— сказал Ирвасс.— Теперь она сможет отдохнуть. И не только отдохнуть. Когда саламандра перестала двигаться и навсегда замерла, какой была ее последняя мысль?

Ирвасс повернулся и зашагал прочь, однако, отойдя на несколько шагов, остановился и вновь повернулся к Кирен и ее отцу.

— Последней мыслью саламандры была мысль о тебе, Кирен. И эта мысль осталась с ней навсегда.

— Верни мне саламандру,— рыдая, попросила Кирен.— Верни. Ты ведь можешь это сделать!

Ирвасс покачал головой.

— Даже если бы мог, я бы этого не сделал. И знаешь почему? Теперь, когда ты поправилась, твоя жизнь станет другой. Саламандра быстро бы тебе наскучила. Она уже

не смогла бы тебя забавлять, как раньше; чего доброго, даже начала бы раздражать тебя своей непрерывной беготней. Но теперь она останется самым дорогим твоим воспоминанием. У тебя остались воспоминания о ней, а у нее остались воспоминания о тебе, которые никогда не померкнут.

Мудрые слова Ирвасса не смогли утешить одиннадцатилетнюю девочку, но, повзрослев, Кирен часто их вспоминала. Где бы сейчас ни находилась фарфоровая саламандра, она продолжала жить в навеки замершем мгновении. В том прекрасном мгновении, когда ее фарфоровое сердце переполняла любовь...

Нет, фарфоровая саламандра не знала любви. Просто она решила, что пусть уж лучше оборвется ее собственная неживая жизнь, чем она увидит смерть Кирен.

Но все равно, то было удивительное мгновение, в котором можно жить вечно. И чем старше становилась Кирен, тем лучше понимала, что такие мгновения крайне редки и длятся совсем недолго — потому их и называют мгновениями. А у фарфоровой саламандры это мгновение превратилось в вечность.

Кирен прославилась на всю Прекрасную Страну, хотя вовсе не искала славы. Ее называли Самой Прекрасной из Прекрасных Людей. О ней слышали и за пределами Страны, и находились смельчаки, которые пересекали океан или переваливали через Высокую Гору только для того, чтобы увидеть Кирен, поговорить с нею и навсегда запечатлеть в памяти ее лицо.

Когда Кирен говорила, ее руки, словно сделанные из белого блестящего фарфора, двигались, словно танцуя в воздухе и не замирая ни на секунду. С лица Кирен не сходила улыбка, светлая, как множество лун. Те, кто хорошо ее знал, утверждали, что порой ее глаза начинали мерцать, когда она как будто следила за движениями какого-то юркого зверька.

Обычная женщина

А-Чью жила в великой империи Чинь — стране холмов и равнин, стране пышного богатства и вопиющей бедности. А-Чью была самой обыкновенной женщиной: ни бедной, ни богатой, ни старой, ни молодой. Половина земель ее мужа лежала на равнине, а вторая половина — на склоне холма. У А-Чью было две сестры: старшая и младшая, первая жила в тридцати лигах к северу, вторая — в тридцати лигах к югу.

— А я — средняя, — как-то раз сказала о себе А-Чью, считая это большим достоинством.

Услышав эти слова, свекровь разразилась упреками:

— Зло всегда собирается в середине, оттесняя добро к краю.

Каждый год А-Чью взваливала на спину мешок и отправлялась навестить либо старшую, либо младшую сестру. Шла она не спеша, и на дорогу у нее уходило три дня.

И вот однажды на пути ей повстречался дракон.

Дракон был громадным и страшным, и А-Чью рухнула на колени, склонила голову до земли и взмолилась:

— О, великий дракон, пощади меня!

Дракон лишь гулко рассмеялся и спросил:

— Женщина, как тебя зовут?

Не желая называть дракону свое настоящее имя, А-Чью сказала:

— Меня зовут Средняя.

— Что ж, Средняя, у тебя есть выбор. Я могу немедленно съесть тебя или исполнить три твоих желания. Что ты выбираешь?

Удивленная А-Чью подняла голову.

— Разумеется, исполнение трех желаний. Зачем ты спрашиваешь? Думаю, каждый человек на моем месте выбрал бы то же самое.

— Зачем спрашиваю? Мне забавно видеть, как люди делают столь губительный для них выбор вместо того, чтобы быстро и без хлопот покончить счеты с жизнью.

— Но как исполнение трех желаний может меня погубить?

— Назови свое первое желание, тогда увидишь.

А-Чью долго думала, но вскоре со стыдом поняла, что все ее желания продиктованы алчностью. Тогда она решила пожелать лишь одно — то, что было ей нужнее всего.

— Я хочу, чтобы моя семья никогда не голодала.

— Это исполнится, — пообещал дракон и исчез.

Не прошло и минуты, как он появился снова, улыбаясь и облизывая губы.

— Я исполнил то, что ты попросила, — сказал дракон. — Я съел всю твою семью, и теперь твои родные никогда больше не будут голодать.

А-Чью горько заплакала, проклиная свою глупость, ибо теперь ясно поняла, что задумал дракон. Любое желание, даже самое невинное, будет оборачиваться против нее.

— Проси обо всем, что пожелаешь, но добра от этого не жди. Большие мудрецы — не чета тебе — пытались и так и эдак сформулировать свои желания, но я всегда находил в их просьбах слабое место.

Но А-Чью уже знала, о чем попросить.

— Я желаю, чтобы все стало в точности таким, каким было за минуту до того, как я вышла из дома.

Дракон изумленно посмотрел на нее.

— И это все? И больше тебе ничего не надо?

— Ничего, — ответила А-Чью. — А теперь исполни мое желание.

Все вокруг задрожало; и А-Чью очутилась в родном доме. На спине ее был мешок с гостинцами, и она уже собиралась проститься с домашними и двинуться в путь. Но вместо этого А-Чью бросила мешок на пол.

— Я передумала, — объявила она. — Никуда я не пойду.

Все домочадцы очень этому изумились. Муж отчитал ее за ветреный и переменчивый нрав, свекровь принялась бранить за то, что она забыла сестринский долг. Дети надули губы, потому что мать всегда приносила им какие-нибудь подарки от теток. Однако А-Чью была непреклонна — она не хотела испытывать судьбу.

Постепенно родные А-Чью успокоились, а сама она втайне радовалась, поскольку у нее осталось еще одно неиспользованное желание. Теперь, если нагрянет беда, она сумеет спасти себя и свою семью.

Однажды случился пожар — их хижина загорелась. Все успели выбежать из горящего дома, кроме младшего сына А-Чью, который в страхе забился в самый дальний угол. Понимая, что еще немного, и ее малыш сгорит заживо, А-Чью уже хотела произнести желание, но призадумалась.

«Зачем понапрасну тратить желание, а руки у меня на что?» — подумала она.

Пригнувшись, она прорвалась в горящую дымную хижину, ошупью нашла обезумевшего от страха ребенка и выбежала с ним наружу. Огонь сильно опалил ее волосы, но А-Чью не печалилась об этом. Главное — она спасла сына и сохранила желание.

Следующий год был неурожайным, начался голод. По всему государству Чинь люди голодали, и А-Чью, видя, как слабеют от голода ее родные, хотела было произнести желание, но опять призадумалась.

«Зачем тратить желание? Ноги-то у меня на что?» — решила она.

Взяв корзину, А-Чью отправилась по холмам и набрала листьев и съедобных кореньев. Ими она кормила семью до тех пор, пока однажды в селении не появились солдаты императорской армии и не привезли мешки с рисом. А-Чью радовалась: она не только спасла своих домашних, но и сохранила желание.

Прошло еще некоторое время, и протекавшая поблизости река разлилась настолько, что смыла почти все дома в деревне. А-Чью забралась с маленьким внуком на крышу и, видя, как вода подмывает стены хижины, чуть было не попросила у дракона лодку, чтобы уплыть подальше отсюда.

«Но зачем тратить желание? Голова-то у меня на что?» — сказала себе А-Чью.

Сняв с крыши несколько досок, она разорвала свои юбки и связала доски этими лоскутами, соорудив нечто вроде плота. Потом А-Чью посадила ребенка на плот, сама ухватилась за доски и поплыла. Так они плыли, пока не достигли суши. Когда сын А-Чью увидел, что его мать и его маленький сын целы и невредимы, он заплакал от радости и сказал:

— Матушка А-Чью, вряд ли кто-нибудь когда-нибудь любил свою мать так, как я тебя люблю!

А-Чью улыбнулась: она спасла не только внука, но и свое желание.

Прошли годы. А-Чью жила в доме старшего сына. И вот однажды она слегла и больше не вставала. А-Чью слабела, худела и понимала, что умирает. Женщины, дети и старики селения пришли воздать ей последние почести.

— Никогда еще на свете не было более счастливой и удачливой женщины, чем А-Чью, — говорили они. — Мы не знаем никого добрее, щедрее и праведней этой женщины!

А-Чью было приятно слушать эти слова. Смерти она не боялась и ни о чем не жалела — она и в самом деле счастливо прожила жизнь.

В последнюю ночь перед кончиной она одна лежала в темноте, как вдруг кто-то позвал ее:

— Средняя, постой, не умирай.

А-Чью открыла глаза и увидела дракона.

— Чего тебе нужно, дракон? — спросила она. — Я настолько высохла, что едва ли гожусь тебе в пищу.

— Средняя, ты так и не использовала свое третье желание.

— Оно мне не понадобилось.

— О, жестокая женщина! За что ты решила мне отомстить? Ведь я не причинил тебе зла. Почему же ты так поступаешь со мной?

— А что плохого я тебе сделала? — удивилась А-Чью. — Мне ничего от тебя не надо.

— Если ты умрешь, не использовав третьего желания, тогда я тоже умру! — вскричал дракон. — Быть может, тебе

вовсе меня не жаль, но драконы обычно бессмертны. Представляешь, сколько веков жизни я потеряю из-за тебя?

— Бедный дракон,— сказала А-Чью.— Но чего же мне пожелать?

— Бессмертия,— подсказал дракон.— Я тебя не обманываю. Ты будешь жить вечно.

— Я не хочу жить вечно,— ответила А-Чью.— Соседи станут мне завидовать.

— Тогда пожелай, чтобы твоя семья стала сказочно богатой.

— Но у них и так есть все, что нужно.

— Произнеси хоть какое-нибудь желание! — взмолился дракон.— Любое желание, иначе я умру!

А-Чью улыбнулась, протянула свою высохшую руку, погладила когтистую лапу дракона и сказала:

— Хорошо, дракон. Вот мое желание. Я желаю, чтобы всю свою оставшуюся жизнь ты был счастлив и приносил счастье всем, с кем сведет тебя судьба.

Дракон удивленно посмотрел на А-Чью, облегченно вздохнул, улыбнулся и заплакал от радости. Он долго благодарил Среднюю и наконец, весело напевая, покинул ее жилище.

Чуть позже А-Чью тоже покинула этот дом, но куда тише, чем дракон. Она знала, что уже никогда не вернется сюда, но на душе ее было радостно и легко.

Задира и Дракон

Паж, запыхавшись, вбежал в графские покои: он давно уже не опаздывал на хозяйский зов. Граф считал, что паж всегда должен быть поблизости; любая задержка бесила вельможу, и тогда пажа могли отправить на конюшню.

— Я здесь, ваше сиятельство! — выпалил паж.

— «Ваше сиятельство», — передразнил граф. — Опять тащился нога за ногу?

Граф глядел в окно, держа в руках бархатное женское платье, затейливо расшитое золотом и серебром.

— Похоже, надо созвать совет, — сказал он. — Но до чего же не хочется выслушивать болтовню и гогот моих рыцарей. Они наверняка рассердятся, как думаешь?

Прежде граф никогда не советовался с пажом, и тот растерялся.

— С чего бы рыцарям сердиться, мой господин? — наконец ответил паж.

— Видишь этот наряд? — Граф отвернулся от окна и помахал платьем перед носом пажа.

— Да, мой господин.

— И что ты о нем скажешь?

— Богатый наряд, мой господин. Но важно еще, кто его наденет.

— Я заплатил за него одиннадцать фунтов серебром.

Паж кисло улыбнулся. Рыцарь средней руки тратил в год ровно половину названной суммы на оружие, одежду, пищу, кров над головой, и при этом у него еще оставались деньги на женщин.

— И это платье — далеко не единственное, — сообщил граф. — Я купил много таких.

— Но для кого, мой господин? Вы собрались жениться?

— Не твое дело! — загремел граф. — Ненавижу тех, кто сует нос куда не просят!

Он снова повернулся к окну: в сорока футах от стены замка рос могучий раскидистый дуб, ветви которого затеняли солнце.

— Кстати, какой сегодня день? — спросил граф.

— Четверг, мой господин.

— Я про день спрашиваю, дубина!

— Одиннадцатый после Пасхи.

— Опять просрочил с уплатой дани, — проворчал граф. — Надо было уплатить еще в Пасху. Скоро герцог обязательно хватится, что моих денежек нет.

— Так почему бы вам не заплатить?

— Чем? Меня хоть вниз головой повесь — не вытряхнешь ни фартинга. Да что там дань герцогу! У меня вообще не осталось денег. Ни оружейных, ни подорожных, ни конских. Зато, парень, у меня есть роскошные наряды!

Граф уселся на подоконник.

— Герцог может явиться не сегодня-завтра, прихватив самое лучшее средство для выколачивания налогов.

— Что же это за средство?

— Армия, — вздохнул граф. — Давай, парень, созывай совет. Я знаю своих рыцарей: без шума и злословия не обойдется, но в бой они пойдут.

Паж в этом сомневался.

— Они очень рассердятся, мой господин. Вы уверены, что они будут сражаться?

— Еще как уверен, — сказал граф. — А если не будут, герцог их убьет.

— За что?

— За нарушение присяги, которую они мне принесли. Не мешкай, парень, собирай совет.

Паж кивнул. На душе у него было невесело. Он тревожился не столько из-за графа (сегодня этот сумасброд обошелся с ним еще мягко, мог бы и похуже), сколько

за себя. Люди герцога наверняка ворвутся в замок, перевернут все вверх дном, станут насиловать женщин, графа упрячут в темницу, а пажу дадут пинка под зад и велят убираться в родительский дом.

Но служба есть служба. Выйдя от графа, паж двинулся по замку, громко выкликая:

— Граф созывает совет! Всех благородных рыцарей приглашают на совет к его сиятельству!

Борка послали за элем в холодный погреб под кухней замка. Пройдя вдоль рядов бочек, он выбрал одну и взвалил ее на плечи. Нельзя сказать, что он поднял бочку играючи, но под ее тяжестью даже не согнулся. Наклонив голову (потолок здесь был очень низким), Борк медленно двинулся вверх по ступенькам. Такую бочку могли поднять только двое обычных мужчин, и то с сопением и криканием, а на перетаскивание нескольких бочек в графском замке раньше тратили добрую половину дня. Однако Борк был великаном или, во всяком случае, считался таковым по меркам того времени. Сам граф едва дотягивал до пяти футов, а Борк был выше его на целых два фута и имел силу быка.

Завидев его, люди расступились.

— Ставь сюда, — велел повар, занятый приготовлением обеда. — Только не урони.

Парень не уронил тяжеленную бочку и не рассердился на воркотню повара, считавшего Борка тупицей и растяпой. Эти слова великан слышал всю жизнь, едва ли не с трехлетнего возраста, когда стало ясно, каким он вырастет. «Сила есть — ума не надо». Рослых и сильных всегда считали тупицами и растяпами, и в этом была доля правды. Борк был настолько силен, что нередко совершал то, о чем и не помышлял, — не по злому умыслу, а случайно.

Однажды учитель военного дела, восхитившись силой Борка, предложил научить его драться на тяжелых боевых мечах. Борку тогда исполнилось двенадцать, но мальчишка легко размахивал увесистыми взрослыми мечами.

— А теперь давай, нанеси мне удар, — велел Борку учитель.

— Меч-то острый. Больно будет,— простодушно заметил юный великан.

— Не беспокойся. Я не подпущу тебя близко.

За свою жизнь этот человек обучил искусству сражения как минимум сотню рыцарей, но никому из них не удавалось его достать. Поэтому, когда Борк замахнулся тяжелым мечом, учитель и не подумал заслониться щитом. Он никак не мог предвидеть, какой чудовищный удар нанесет ему этот мальчишка, но меч Борка легко пробил щит. Сам того не желая, Борк отсек учителю левую руку по самое предплечье — еще немного, и меч вонзился бы тому прямо в грудь.

Да, неуклюжим парнем рос этот Борк! Трагический случай с учителем положил конец его мечтам стать рыцарем: оправившись, калека потребовал, чтобы Борка отравили на кухню или в кузницу. Пускай себе рубит пополам говяжьей туши и тащит к огню. Если дать ему топор побольше, не пройдет и получаса, как он свалит здоровенное дерево, а за день обеспечит замок дровами на целый месяц.

Паж наконец добрался и до кухни.

— Слушай, повар, граф созывает рыцарей на совет. Им понадобится эль. Много эля.

Повар смачно выругался и запустил в пажа морковкой.

— У графа семь пятниц на неделе! Вечно добавит мне работенки.

Когда паж скрылся, повар повернулся к Борку.

— Волоки бочку в зал, да поживей. Только не урони по дороге.

— Не уроню,— пообещал Борк.

— Не уронит, как же,— пробормотал повар, рассерженный капризами графа.— Силы, как у быка, но и ума не больше.

Борк потащил бочку в большой зал. Там было холодно, хотя снаружи вовсю светило солнце. Впрочем, во всем замке было холодно и мрачно — поскольку на дворе стояла весна, дрова берегли.

Рыцари неторопливо сходились в большой зал и усаживались на длинные скамьи вокруг массивного шербатого стола. Они не забыли прихватить с собой кружки; на со-

ветах графа эль всегда лился рекой. В детстве Борк любил смотреть, как рыцари упражняются с оружием, но, повзрослев, понял, что кружками они владеют лучше, чем мечами. Да и застолья кажутся им куда привлекательнее войны.

— А-а, Задира Борк пожаловал,— приветствовал его один из рыцарей.

Борк слегка улыбнулся. Он давно научился не обижаться на это прозвище.

— Как поживает конюшенный Сэм? — язвительно спросил другой рыцарь.

Борк покраснел и молча побрел обратно на кухню.

От нечего делать рыцари всюю смеялись над его скудоумием.

— Откуда же взяться мозгам, если у него все в рост пошло,— заявил один из графских вояк.

— А жрет он, должно быть, как лошадь,— отозвался другой, скривив губы в ехидной усмешке.— Наверное, поэтому минувшей зимой и разразился таинственный падеж среди овец.

Раздался взрыв хохота, который сопровождали громкие удары кружек по столу.

Вернувшийся на кухню Борк весь дрожал. Ему никуда было не скрыться от насмешек рыцарей, они доносились даже сквозь каменные стены.

— Не сердчай на них, парень,— сказал повар.— Они ж не со зла, просто подтрунивают.

Борк кивнул и улыбнулся. Так было всегда — над ним постоянно подтрунивали, и Борк знал, что иного отношения не заслуживает. Люди вправе были обращаться с ним жестоко, ведь не зря его прозвали Задирой Борком!

Когда Борку было три года, он уже выделялся среди других детей ростом и силой. Тогда у него был единственный дружок — красивый деревенский мальчишка по имени Мигун, обожавший играть в рыцарей. Из лоскутов, кусков кожи и полосок жести этот парнишка смастерил себе доспехи, а из сломанных вил, найденных возле свиного хлева, сделал копье.

— Ты будешь моим боевым конем,— объявил Борку Мигун.

Взобравшись на спину приятеля, он часами ездил на нем, и Борк ничуть не возражал: ему очень нравилось быть рыцарским конем. По сути, то был предел его мечтаний, хотя потом Борк удивлялся, как это он позволил навязать себе столь унижительную роль. Однажды Сэм, сын конюшенного, принялся высмеивать неказистые доспехи Мигуна. Дело кончилось дракой на кулаках, и Сэм до крови расквасил Мигуну нос. Тот застонал так, словно был при смерти, и Борк решил расквитаться за друга. Сэм был старше его на целых три года, но это не помешало Борку как следует отколотить обидчика.

С тех пор Сэм страдал косноязычием и часто падал. Челюсть, которую в нескольких местах сломал ему Борк, плохо срослась, и он оглох на одно ухо.

Когда Борк понял, что натворил, ему стало страшно и стыдно, однако Мигун уверял, что Сэм получил по заслугам.

— Сэм старше меня и выше на целую голову, — говорил он Борку. — Вспомни, кто первым начал драку. Он и есть настоящий задира, а задира надо наказывать.

Несколько лет подряд Мигун и Борк были грозой всей деревни. Мигун постоянно лез в драку, и вскоре деревенские мальчишки научились не связываться с ним. Если Мигун не мог справиться с противником, он звал на помощь Борка. Правда, после драки с Сэмом юный великан уже никого не бил так жестоко, и все равно мальчишкам крепко от него доставалось, что очень нравилось Мигуну.

А потом Мигуну надоело играть в рыцарей, он забросил доспехи, отпустил на все четыре стороны своего боевого коня и свел дружбу с недавними врагами. Тогда-то Борка и начали звать Задирой. Именно Мигун убедил деревенских ребят, что единственный злодей в деревне — Борк, и однажды тот подслушал разглагольствования бывшего приятеля:

— Он вдвое сильнее любого из нас, но дерется только потому, что никто не может дать ему отпор. Борк — трус и задира. А задира надо наказывать.

Мигун был прав, Борк это знал и с тех пор не мог избавиться от чувства стыда. Он помнил испуганные взгля-

ды мальчишек, с которыми дрался — пусть не по своей воле, а защищая друга; помнил их глаза, умоляющие о пощаде. Однако Мигун истошно кричал и корчился от боли, и Борк, подавляя ужас, налетал на очередного обидчика. В конце концов Мигун вышел сухим из воды, но Борку до сих пор приходилось расплачиваться за детские грехи, и он расплачивался, молча снося насмешки рыцарей; день за днем терпя одиночество; выполняя тяжелую работу, чтобы его сила служила людям, а не причиняла вред.

Но это не означало, что Борк был доволен своей участью. Вот и сейчас из-за насмешек рыцарей у него на глаза за навернулись слезы, и это заметил повар.

— Никак реветь вздумал? Брось, парень, — сказал повар. — Только соплей в суп напустишь. А если уж тебе приспичило лить слезы, иди отсюда куда-нибудь!

Так Борк оказался возле дверей большого зала, решив с тоски поглазеть на рыцарей. Трудно сказать, случайно он там оказался или нет, но, как любят выражаться летописцы и сочинители баллад, Борк ступил навстречу своей судьбе.

— И куда же подевались деньги на уплату дани? — недовольно спросил один из рыцарей. — По-моему, грех жаловаться на прошлогодний урожай. Вашему сиятельству хорошо заплатили за проданное зерно.

Рассерженные рыцари — зрелище не из приятных, но они были вправе сердиться и требовать ответа: ведь это им, а не кому-то другому предстояло биться с людьми герцога. Само собой, они не собирались успокаиваться, пока им не скажут правду.

— Друзья мои, — начал граф. — Мои верные, преданные друзья. На свете есть нечто более важное, чем деньги. Я потратил все свое серебро на то, что важнее всякой дани, важнее мира и долгой жизни. Я потратил его на... красоту. Не на создание красоты, а на ее украшение.

Рыцари молча слушали, потому что, несмотря на свирепость и грубость нрава, каждый из них понимал истинную красоту. Поклонение красоте считалось неотъемлемым качеством рыцаря.

— Моим заботам был доверен драгоценный камень, по своему совершенству превосходящий любой бриллиант. На меня легла обязанность создать для этой драгоценности такую достойную оправу, какую только можно купить за серебро. Мне трудно объяснить это, я могу лишь показать.

Граф позвонил в серебряный колокольчик. За его спиной неслышно открылась потайная дверь (таких дверей в замке было несколько), и в зале появилась высохшая старуха. Граф что-то прошептал ей на ухо, старуха поспешно скрылась в потайном ходе.

— Кто она? — посыпались вопросы.

— Нянька моих детей, заменившая им мать. Как вы помните, моя жена умерла в родах, но до сих пор никто из вас не знал, что наш ребенок остался жив. Все думали, что у меня есть лишь двое сыновей, но теперь я раскрою секрет: у меня не двое, а трое детей, и третий ребенок — не сын.

Граф видел, как рыцари наморщили лбы, силясь разгадать эту загадку. Неудивительно: ведь сегодня они долго упражнялись в полном боевом облачении, да еще на весеннем солнцепеке.

— Мой третий ребенок — дочь.

— А-а,— облегченно вздохнули уставшие от умственных усилий рыцари.

— Поначалу я прятал ее, ибо мне тягостно было видеть напоминание о горячо любимой жене, умершей в родовых муках. Через несколько лет я справился с горем и решил взглянуть на дочь, которая оказалась необыкновенно красивой девочкой. Признаться, такого красивого ребенка я еще никогда не видел. Я назвал ее Брунгильдой и с той поры всей душой ее полюбил. Я стал самым заботливым отцом на свете, но не позволял дочери покидать ее покой. Конечно, сейчас вы спросите почему.

— Конечно спросим,— хором подтвердили несколько рыцарей.

— Моя дочь росла такой красавицей, что я боялся, как бы ее не похитили. Правда, я ежедневно ее навещал и говорил с нею. С годами Брунгильда становилась все прекраснее, но то была уже красота не ребенка, а юной

девушки. И это прекрасное создание было вынуждено носить старые платья, оставшиеся от матери. Мое сердце буквально обливалось кровью, ведь красота Брунгильды достойна фламандских кружев, венецианского бархата, флорентийских шелков и самых лучших драгоценностей. Сейчас вы сами увидите, куда и на что я потратил деньги — и, поверьте, они были потрачены не впустую.

Потайная дверь снова отворилась, и старуха ввела в зал Брунгильду.

Борк, стоя в дверях зала, громко вздохнул. Но никто его не услышал, потому что все рыцари тоже громко вздохнули.

Граф не преувеличивал: взорам собравшихся предстала редкая красавица. Ее походка была бесшумной, ее ниспадавшие до плеч темно-рыжие волосы напоминали огненный водопад. От долгого затворничества лицо Брунгильды стало бледным, но когда она улыбнулась, ее улыбка напомнила луч солнца в ненастный день. Никто из рыцарей не решился долго глядеть на ее стан, поскольку им безумно захотелось заключить девушку в объятия. Почувствовав это, граф сказал:

— Должен предупредить: тот, кто дотронется до нее, будет иметь дело со мной. Брунгильда — девственница и девственницей выйдет замуж. Даже если бы некий король предложил мне половину своего королевства, чтобы провести с нею ночь, я счел бы это оскорблением.

— Приветствую вас, господа рыцари, — с улыбкой произнесла Брунгильда.

Голос ее был подобен шелесту листьев под летним ветром. Рыцари, сраженные ее красотой, дружно упали на колени.

Но, пожалуй, никого так не поразила красота Брунгильды, как Борка. Едва девушка появилась в зале, неуклюжий великан позабыл обо всем на свете и уже не видел ничего, кроме ослепительно прекрасной Брунгильды. Такое случилось с ним впервые. Нет, Борк не мечтал обладать этим совершенством; он хотел, чтобы это совершенство безраздельно властвовало над ним. Борк жаждал до конца своих дней служить Брунгильде, лишь бы та

улыбнулась ему. Ради нее он был готов умереть, только бы услышать напоследок: «Я не возражаю, чтобы ты меня любил».

Если бы он был рыцарем, он облек бы свои чувства в возвышенные слова. Но Борк был неотесанным деревенщиной, поэтому чувства родились в его сердце раньше, чем разум сумел их оценить и найти пристойную форму для их выражения. Не замечая никого, кроме Брунгильды, он двинулся напрямик к ней, и его тень показалась рыцарям тенью пролетевшей над головами смерти. Потом испуг графских вояк сменился злобой — и неудивительно! Этот кухонный увалень взял в свои ручки изяшные белые ручки Брунгильды.

— Я люблю тебя,— сказал Борк, даже не пытаясь скрыть струящихся по щекам слез.— Позволь мне на тебе жениться.

Несколько рыцарей все же не растерялись, грубо схватили Борка и потащили прочь, чтобы наказать за неслыханную дерзость. Но великан легко их всех расшвырял. Рыцари разлетелись в разные стороны и тяжело рухнули на каменный пол, но Борк даже не обернулся, его взгляд был прикован к Брунгильде.

А девушка с нескрываемым удивлением смотрела на него. Нет, не облик Борка ее поразил; она сразу заметила, до чего же парень неказист и нескладен. И в произнесенных им словах тоже не было ничего особенного. Брунгильде с детства твердили, что такие слова говорят все мужчины и потому незачем обращать на них внимание. Больше всего Брунгильду поразила неподдельная искренность лица Борка. Такого она еще никогда не видела, и это зачаровало ее.

Граф пришел в ярость. У него на глазах деревенский увалень коснулся божественных рук его дочери! Зрелище было просто невыносимым.

Но увалень обладал изрядной силой. Чтобы оторвать его от Брунгильды, придется затеять настоящее сражение. Рыцари будут только рады проучить негодяя, однако... А вдруг в суматохе пострадает его бесценное сокровище — его дочь? Нет, это животное надо одолеть не силой, а хитростью.

— Послушай, дружище,— с напускной веселостью произнес граф.— Ты что ж, не успел увидеть мою дочь, как уже сватаешься к ней?

Борк пропустил эти слова мимо ушей.

— Я буду тебя охранять,— пообещал он девушке.

— Как его зовут? — шепотом спросил граф у ближайшего рыцаря.— Имя вылетело у меня из головы.

— Борк, ваше сиятельство.

— Мой дорогой Борк,— с прежним напускным дружеским тоном сказал граф.— При всем уважении к серьезности твоих намерений должен заметить, что моя дочь — благородного происхождения, а ты даже не рыцарь.

— Так я им стану,— ответил Борк.

— Тут одного желания мало, дружок. Ты должен совершить какой-нибудь отважный поступок, тогда я смогу посвятить тебя в рыцари, а уж после поговорим обо всем остальном. А пока ты даже не имеешь права брать мою дочь за руку. Почему бы тебе, как разумному и честному парню, не вернуться на кухню?

Борк и виду не подал, что слышит графа, а продолжал глядеть в глаза девушки. Брунгильда сама нашла выход из шекотливого положения.

— Борк, отныне я на тебя рассчитываю,— сказала она.— Но сейчас, если ты не вернешься на кухню, мой отец разгневется.

«Она права,— подумал Борк.— Она тоже ко мне неравнодушна, если не хочет, чтобы я из-за нее пострадал».

— Только ради тебя,— сказал потерявший голову Борк. С этими словами он повернулся и вышел из зала.

Опустившись на стул, граф шумно вздохнул.

— Давно нужно было от него избавиться. Мозгов — как у ягненка, а нрав — как у бешеного быка. Пусть сегодня ночью кто-нибудь исправит мою оплошность. Дождитесь, пока он заснет, иначе всякое может случиться. А нам перед битвой раненые ни к чему.

Напоминание о битве протрезвило даже тех, кто допивал пятую кружку эля. Старуха приготовилась увести Брунгильду.

— Нет, не в потайную комнату. Отведешь ее в ту, что рядом с моей спальней,— сказал граф.— Хорошенько запири дверь, выставь двойную охрану, а ключ оставь у себя.

Когда старуха увела девушку, граф оглядел рыцарей и сказал:

— Теперь вы знаете, ради чего, вернее, ради кого я опустошил казну. Я не мог поступить иначе.

И никто из рыцарей не сказал графу, что он потратил деньги зря.

Уже под вечер к стенам замка явился герцог со своим войском и стал требовать дань. Ни граф, ни его рыцари не ожидали от герцога такой прыти. Платить дань граф, разумеется, отказался, и герцог послал ему традиционный вызов на бой. Однако силы были неравны: у герцога было в десять раз больше воинов, и граф ответил на вызов дерзостью, предложив взять его замок штурмом. Остроумие господина дорого стоило посланцу графа, тот вернулся назад с кожаным мешочком, в котором лежал его отрезанный язык.

По сути, битва уже началась, и за этим первым актом жестокости последовали другие.

Караульный, скучавший на южной стене замка, поплатился за недостаток бдительности: лучникам герцога удалось незаметно пробраться к раскидистому дубу и так же незаметно забраться на его ветви. Метко пушенная стрела навсегда избавила караульного от скуки, и когда его труп рухнул вниз, в замке почуяли неладное, но было уже поздно.

Не менее дюжины лучников осыпали стены замка тучей стрел, и ни одна из них не пролетела мимо. Благородные рыцари не особо спешили лезть под стрелы, пока косившие только оруженосцев. Наконец граф приказал всем покинуть стены. Поскольку двуногие мишени исчезли, лучники герцога начали стрелять по четвероногим — по коровам и овцам, толпившимся в открытых загонах возле замка. Защитить несчастную скотину было невозможно, и к сумеркам в загонах не осталось ни одной живой коровы и овцы.

— Что теперь делать? — сокрушался повар. — Сейчас тепло, и мясо быстро стухнет.

— А ледник у тебя на что? — рассердился граф. — Это наш запас продовольствия, и ты отвечаешь за него головой. Еще не хватало во время осады умереть с голоду.

Всю ночь Борк не смыкал глаз, разделявая туши и перетаскивая их в ледник. Поначалу графские крестьяне, схоронившиеся в замке, пытались ему помогать, но быстро устали. Пока они тащили до ледника одну говяжью тушу, Борк успевал обернуться трижды.

Видя, как трудится Борк, граф сказал рыцарям, чтобы его не трогали до утра.

За всю ночь Борк сумел лишь пару раз ненадолго вздремнуть, но едва он засыпал, как повар будил его и приказывал продолжать работу. Когда рассвело и лучники герцога возобновили обстрел, необрунными оставались лишь двадцать овечьих туш. Они остались в дальнем загоне, у Борка не хватило времени туда добраться. Повар доложил об этом графу.

— Ты с ума сошел — выкидывать столько мяса! — накинулся на него граф.

— Но если Борк пойдет за этими баранами, его убьют.

Граф выразительно посмотрел на повара.

— Либо ты пошлешь туда Борка, либо пойдешь сам.

Повар не знал, что Борку вынесен смертный приговор, и постарался спасти парня. Он взял кастрюлю попрочнее, обернул голову Борка тряпкой и надел на него этот импровизированный шлем. Вместо щита повар дал ему массивную крышку от самого большого котла.

— Это все, чем я могу тебе помочь, — сказал повар.

— Но же как я стану таскать овец? — изумился Борк. — Щит будет мне мешать!

— Граф приказал не оставлять снаружи ни одной туши. А если пойдешь без щита — тебя прихлопнут, как муху.

Борк призадумался. Задача была не из легких, да и времени на ее решение не оставалось.

— Вот что я думаю — твоя крышка меня все равно не убережет. Надо сделать так, чтобы лучники вообще перестали стрелять.

— И как это сделать? — спросил повар, но Борка уже не было рядом.

В кузнице парень взял тяжелый топор.

— Не вовремя ты собрался за дровами, — проворчал кузнец.

— Сейчас как раз самое время, — ответил Борк.

Он взял топор в правую руку, крышку от котла — в левую и вышел во внутренний двор. Лучники герцога сразу выпустили по нему несколько стрел, но те ударились в крышку, не причинив Борку вреда. Борк добрался до ворот и потребовал, чтобы опустили подъемный мост. Скрипя цепями, мост опустился, великан вышел за ворота и направился прямо к дубу, на котором засели лучники.

Герцог издали наблюдал за происходящим, стоя возле ослепительно белого шатра с желтым гербом. Завидев Борка, герцог спросил:

— Кого это они выпустили: человека или медведя?

Приближенные молчали. Они и сами не знали, что это за существо.

Лучники не переставая стреляли по Борку, но чем ближе он подходил к дубу, тем труднее им становилось целиться и тем лучше защищала его крышка котла. Добравшись наконец до дерева, парень поднял крышку над головой и принялся рубить дуб. Что ни удар — то фонтан щепок. Даже одной рукой Борк рубил намного сноровистей и быстрее, чем обычный дровосек — двумя.

Борк был поглощен работой и не заметил, как его левая рука слегка опустилась, но вражеский лучник немедленно воспользовался этой оплошностью. Стрела просвистела мимо «щита» и вонзилась Борку в руку.

Борк едва не выронил «щит», но сохранил присутствие духа. Вогнав лезвие топора в землю, он пристроил крышку котла так, чтобы она покоилась на топорнице и упиралась в ствол дуба. Прикрыв себя таким образом, Борк принялся осторожно вытаскивать стрелу. Но наконечник оказался зазубренным, и Борк, обломив древко, протолкнул обломок в рану, а потом выдернул его с другой стороны. Ему было нестерпимо больно, но он знал, что стрелу во что бы то ни стало надо извлечь. Превозмогая боль, Борк вновь прикрылся своим «поварским щитом» и продолжал рубить. Белая впадина, опоясывавшая ствол могучего дерева, становилась все глубже. Из раненой руки текла кровь, однако Борк продолжал махать топором, и вскоре кровотечение остановилось.

Люди графа, следившие за ним со стены замка, поняли, что его затея не настолько безрассудна, как им сперва показалось. Решив помочь парню, они открыли стрельбу из луков. Густая листва надежно скрывала лучников герцога, но несколько стрел все же попало в цель. Раненые рухнули на землю, там их прикончили стрелы. Остальные лучники, испугавшись, постарались как следует укрыться.

Между тем участь дуба была предрешена. От каждого удара топора он вздрагивал все сильнее и наконец закрипел и покачнулся. Дровосеки научили Борка рубить дерево так, чтобы оно упало в нужную сторону. Срубленный дуб рухнул вдоль южной стены замка, лишив вражеских лучников возможности перебраться через ров, а когда они попытались прорваться к своим, люди графа всех их перестреляли.

Один из раненых, понимая, что ему не спастись, решил отомстить Борку за себя и за своих товарищей. Выхватив нож, он в дикой ярости кинулся в бой, и у великана не оставалось иного выхода, кроме как взмахнуть топором... и убедиться, что человеческое тело куда мягче древесины.

Герцог, видя, как неизвестный гигант разрубил его лучника пополам, удивленно воскликнул:

— Откуда у графа это чудовище? Где он только отыскал такую зверюгу?

Перепаханный своей и чужой кровью, Борк побрел к подъемному мосту. Вскоре мост опустился, но не для него: из ворот замка выехал граф с полусотней рыцарей, доспехи которых ярко блестели на солнце.

— Я решил дать герцогу бой, — заявил Борку граф. — Ты тоже должен сражаться, и если останешься жив, я посвящу тебя в рыцари.

Борк опустился на колени.

— Благодарю вас, ваше сиятельство, — радостно произнес он.

Граф с легким замешательством посмотрел на него, а потом громко скомандовал:

— Тогда вперед! В атаку!

Борк даже не заметил, что рыцари не выстроились в боевой порядок; повинувшись приказу, он двинулся навстре-

чу вражескому войску. Граф поглядел ему вслед и улыбнулся.

— Ваше сиятельство, прикажете ехать за ним? — спросил один из рыцарей.

— Не торопись. Пусть сперва герцог с ним разберется, — ответил граф.

— Но ведь Борк срубил дуб и спас ваш замок.

— Да. Он — отчаянный храбрец, — согласился граф. — И отчаянный упрямец. Ему втемяшилось в голову добить-ся руки моей дочери. Мне это вовсе не нужно.

— Если мы поможем Борку, мы сможем победить. Но если он погибнет, герцог убьет нас всех, — сказал другой рыцарь.

— Есть кое-что поважнее победы, — тоном, не терпящим возражений, заявил граф. — Сможете ли вы жить с чистой совестью, если Брунгильда — это воплощение совершенства — достанется такому мужлану, как Борк?

Рыцари молча глядели, как Борк в одиночку приближается к вражескому войску.

Борк шагал по полю, не сомневаясь, что за ним следуют доблестные рыцари графа. С раннего детства он восхищался сияющими доспехами рыцарей и их замечательным оружием. Значит, они умеют не только пировать в замке, раз не побоялись... Но почему за спиной не слышно топота копыт? Обернувшись, Борк увидел, что рыцарские доспехи по-прежнему блестят у ворот замка. А до воинства герцога оставались считанные шаги — и тут Борку стало страшно.

Он не понимал, почему враги до сих пор не утыкали его стрелами. Нет, они не воздавали должное его храбрости. Просто его приняли за рыцаря. Если бы герцог знал, что к ним идет вовсе не рыцарь, а всего-навсего деревенский парень, подручный повара с графской кухни, труп Борка уже валялся бы посреди поля. Недоразумение спасло великану жизнь.

— Эй, сэ! — окликнули Борка. — Вы хотите вызвать одного из нас на поединок?

Только теперь Борк понял, какую великую честь оказал ему граф. От исхода поединка зависел исход всей битвы!

Сумеет ли он оправдать такое доверие? Отогнав сомнения, Борк проговорил:

— Да, я пришел, чтобы вызвать одного из вас на поединок. Пусть самый сильный и храбрый выйдет биться со мной.

— Среди нас нет таких великанов! — крикнули Борку люди герцога.

— Зато у меня нет доспехов.

В подтверждение своих слов Борк стянул с головы кастрюлю и отшвырнул ее прочь. Потом шагнул вперед, ожидая, когда же из толпы воинов герцога выйдет его противник. Но рыцари расступились перед ним; люди в латах отходили вправо и влево, а Борк шел все дальше, пока не приблизился к самому герцогу.

— Ты и будешь моим противником? — спросил герцога Борк.

— Я — герцог. Странно, что никто из моих рыцарей не решился с тобой сразиться.

— Значит, ты тоже отказываешься от поединка?

В мужественном голосе Борка прозвучал упрек. Ему казалось, что именно так должен говорить с противником настоящий рыцарь.

Герцог обвел взглядом своих людей — все они беспоякойно переминались с ноги на ногу, стараясь не встречаться с ним глазами.

— Я принимаю твой вызов, — ответил герцог.

Он считался человеком мужественным и смелым, но и его пугала мысль о поединке с таким великаном. Однако он знал: если сейчас он дрогнет перед этим богатырем, он не лишится ни титула, ни владений, зато потеряет честь.

Герцог обнажил меч и двинулся навстречу Борку.

Такая решимость восхитила Борка. Этот человек сознавал, что может погибнуть в опасном бою, но не отступил. Раз среди его рыцарей не нашлось добровольцев, он не заставил их сражаться за себя, а сам пошел в бой.

«Почему бы и графу не проявить такое же мужество?» — подумал Борк.

Он решил сделать все, чтобы оставить герцога в живых; с него хватило крови убитого лучника. Чувствовалось, что герцог благородный человек и только злая ирония судьбы

света их в поединке. «Я не хочу враждовать с таким человеком»,— решил Борк.

Герцог стремительно ринулся в атаку, но Борк сбил его с ног обухом топора. Герцог застонал от боли, на его доспехах появилась глубокая вмятина. Должно быть, Борк сломал ему ребра.

— Почему бы тебе не сдаться? — спросил Борк.

— Лучше убей меня!

— Если ты сдашься, я не стану тебя убивать.

Герцог удивился, его рыцари начали перешептываться.

— Даешь слово?

— Клянусь!

Предложение было очень необычным.

— И что ты собираешься со мной сделать? Потребовать за меня выкуп?

Подумав, Борк покачал головой.

— Нет, выкупа мне не нужно.

— Тогда почему ты хочешь оставить меня в живых?

Почему не убьешь, чтобы разом избавить своего графа от врага?

Боль в груди мешала герцогу говорить, но, поскольку кровь горлом не пошла, он надеялся, что все обойдется.

— Графу нужно лишь одно: чтобы ты ушел и перестал требовать дань. Если ты пообещаешь это сделать, даю слово, всех вас отпустят с миром.

Герцог и его рыцари молча выслушали предложение Борка. Оно показалось им слишком щедрым, настолько щедрым, что серьезно задевало их честь. Но герцог только что пытался отстоять эту честь, и не кто иной, как Борк, свалил его одним ударом. Поэтому, если странный великан предлагает им убраться восвояси, стоит ли с ним спорить?

— Хорошо. Даю слово, что впредь не буду взимать с графа дань и немедленно уведу отсюда своих людей.

— Что ж, в таком случае я передам графу добрую весть,— ответил Борк и, повернувшись, зашагал обратно.

— До сих пор не могу поверить, что такой грозный рыцарь проявил такое великодушие,— признался своим рыцарям герцог.— С его помощью граф мог бы стать королем.

Люди герцога осторожно сняли со своего господина доспехи и принялись перевязывать ему грудь.

— А я с его помощью завоевал бы весь мир,— сказал герцог.

Увидев, что Борк возвращается, граф удивленно проглотил сквозь зубы:

— Живуч!

Интересно, что Борк скажет о храбрых рыцарях, не поддерживавших его в трудную минуту?

— Ваше сиятельство! — крикнул Борк, подходя поближе. — Они сдаются!

От радости ему хотелось размахивать руками, но он слишком устал.

— Что? — Граф вопросительно взглянул на приближенных, думая — не послышалось ли ему. — Никак Борк сказал, что они сдаются?

— Именно,— подтвердил один из рыцарей. — Он их победил.

— Проклятье! — вскричал граф. — Я этого не вынесу!

Рыцари недоуменно уставились на своего господина.

— Если кому и следует одержать победу над герцогом, так это мне! Мне, а не какому-то жалкому простолюдину! Мне, а не великану с таракаными мозгами! Вперед, в атаку!

— Зачем? — удивленно воскликнули рыцари.

— Я сказал: в атаку!

Граф пришпорил коня, и тот сперва понуро двинулся по полю, а потом поскакал все быстрее и быстрее.

Борк повидал достаточно рыцарских состязаний и турниров, чтобы понять: его господин решил напасть на герцога. Может, граф не расслышал? Как бы то ни было, атаку надо остановить. Борк дал клятву герцогу, а клятвы не бросаются. Недолго думая, он кинулся наперерез лошади вельможи.

— А ну, прочь с дороги, дуралей несчастный! — закричал граф.

Но Борк и не подумал посторониться, и взбешенный граф решил смять его лошадью.

— Я не пушу вас! — закричал Борк. — Герцог сдался!

Граф лишь скрипнул зубами и прищипорил коня; он крепко сжал копьё, готовясь нанести удар.

Но мгновение спустя он повис в воздухе, судорожно цепляясь за копьё, которое Борк поднял над головой. Рыцарям поневоле пришлось забыть об атаке и поспешить на помощь господину.

— Ваше сиятельство, — почтительно произнес Борк. — Думаю, вы меня не расслышали. Герцог и его люди сдались, и я дал слово, что, если они откажутся от дани, им позволят уйти с миром.

Вися на высоте пятнадцати футов над землей, граф счел за благо не спорить с Борком.

— Я и вправду тебя не расслышал, — сказал он великану.

— Мне что-то не верится. Зато теперь вы меня слышите? И отпустите герцога и его рыцарей?

— Ну конечно, дружище Борк. Но сперва ты меня опусти.

Борк так и сделал.

Граф с герцогом заключили мировую, и герцог со своими рыцарями отправился домой, не переставая удивляться милосердию рыцаря-великана.

— Да какой он рыцарь! — брякнул кто-то из слуг.

— Что? Он — не рыцарь?

— Нет. Обыкновенный деревенский недотепа. Я тут у одного крестьянина, бывало, кур воровал, он мне и рассказал про этого парня.

— Так значит, он не рыцарь, — растерянно произнес герцог.

Потом лицо его побагровело, и рыцари предусмотрительно отступили на несколько шагов, зная, каким бывает герцог в гневе.

— Ловко нас обманули, — сказал кто-то, желая убажить господина и смягчить его ярость.

После недолгого молчания герцог вдруг улыбнулся и сказал:

— Если он — не рыцарь, графу давно следовало бы посвятить его в рыцари. Этот человек обладает не только силой, но и врожденным благородством. Вы согласны?

Рышари были согласны.

— Не каждый дворянин так верен своему слову,— добавил герцог.

Конечно, гордость его была уязвлена, но он совладал с собой. В конце концов, они возвращались домой, пусть без дани, но и без потерь. У герцога все еще болели помятые ребра, но думал он сейчас не об этом. Перед его мысленным взором стояла картина: граф, ухватившийся за копьё, которое Борк воздел вверх. Зачем великан это сделал? Была ли то неуклюжая шутка? Или некое предостережение? Герцогу оставалось лишь гадать.

Графу казалось, что все катится в тартарары. Он вовсе не хотел устраивать празднество, но все-таки пришлось, и благородные рышари упились до безобразия. И не только они. Ради такого события в большой зал замка допустили даже крестьян, которые вволю налили дармовым элем и теперь горланили не хуже рыцарей. Все это само по себе было скверно, но хуже всего было то, что рышари даже не пытались делать вид, будто чествуют графа. Нет, они устроили сборище в честь Борка.

Граф забарабанил пальцами по столу. Никакого внимания. Господам рыцарям не до него!

Сэр Альвишар возле очага лапал двух деревенских потаскушек. Сэр Сильвис мочился в кувшин с вином и гоготал во все горло. Из-за его смеха граф едва слышал голоса сэра Брэйга и сэра Умляута. Эта парочка пела и плясала прямо на столе, в такт пению сбрасывая на пол тарелки. Нельзя сказать, что граф не любил шумных пиршеств, но сегодня все лавры достались Борку — этому проклятому верзиле, выставившему его на посмеище перед людьми герцога... Нет, еще того хуже — перед самим герцогом.

Граф услышал глухое рычание, похожее на рычание приготовившегося к прыжку голодного волка, а когда шум в зале ненадолго приутих, вдруг понял, что рычание вырывается из его собственной глотки.

«Надо взять себя в руки,— подумал он.— Ведь в выигрыше, в конечном счете, все же остался я, а не Борк. Герцог убрался, теперь не я буду платить ему дань, а он

мне. Молва разлетится быстро: граф-де победил герцога. На этом, как ни крути, и зиждется власть. Например, кто такой герцог? Человек, который может победить графа. А кто такой граф? Человек, который может победить барона. А барон — тот, кто может победить всего лишь рыцаря. Но как зовется тот, кто может победить герцога?»

— Вы непременно должны стать королем,— сказал высокий и статный молодой человек, появившийся рядом с графом.

Герцог, невольно вздрогнув, поднял на него глаза. Неужели этот малый прочел его мысли?

— Будем считать, что я тебя не слышал.

— Нет, вы меня слышали,— возразил юноша.

— Такие слова пахнут государственной изменой.

— Только если король сумеет вас победить. Если же победа достанется вам, никто и не заикнется о государственной измене.

Граф присмотрелся к незнакомцу: темные волосы, расчесанные аккуратнее, чем волосы обычного крестьянина, прямой нос, приятная улыбка, подкупающая грация движений. Однако улыбка юноши была фальшивой, и глаза выдавали, что в нем есть что-то порочное. И опасное.

— Ты мне нравишься,— сказал граф.

— Я рад.

Но, судя по голосу, юноша был вовсе не рад. Он явно успел соскучиться среди пьяной суеты.

— По правде сказать, мне следовало бы тебя придушить, и немедленно,— заявил граф.

Молодой человек улыбнулся еще шире.

— Кто ты такой? — осведомился граф.

— Меня зовут Мигун.

— Странное имя.

— В этом виноваты мои родители.

— Хорошо, будем считать так. И кто же ты такой, Мигун?

— Я — лучший друг Борка.

Борк. Опять Борк! От этого великана сегодня просто нет спасения!

— Вот уж не думал, что у Задиры Борка есть друзья.

— Всего один друг. И это — я, можете сами у него спросить.

— Интересно, могу ли я считать друга Борка и своим другом? — спросил граф.

— Я представился вам как лучший друг Борка. Но не сказал, что я хороший друг.

Мигун улыбнулся и подмигнул.

«Этот мерзавец умеет идти напролом», — подумал граф, но не прогнал Мигуна.

Граф махнул Борку, веля подойти, а когда тот приблизился и опустился на колени, граф с раздражением увидел, что, даже стоя на коленях, великан выше его.

— Этот человек называет себя твоим другом, — сказал граф.

Борк пригляделся и узнал Мигуна, который сразу расплылся в лучезарной улыбке и посмотрел на Борка с искренней любовью. Правда, взгляд Мигуна был не только любящим, но еще и голодным и хищным, но великан не разбирался в таких тонкостях. Сегодня он наконец-то наслаждался восхищением и уважением со стороны рыцарей — восхищением, которого раньше не знал, — а теперь еще встретился с приятелем детских лет. Услышав, что Мигун назвался его другом, Борк разом простил все прежние обиды и ответил улыбкой.

— Надо же, наконец-то мы снова встретились, — радостно сказал Борк. — Мы и вправду друзья, Мигун — мой лучший друг.

Напрасно граф пристально всматривался в глаза Борка: они были полны неподдельной любви к Мигуну. Это озадачило графа, ведь он быстро сумел раскусить Мигуна — у подобного человека не могло быть друзей. Но Борк явно остался слеп к его коварству, и граф даже пожалел великана. Хороша была у Борка жизнь, раз он считал этого ушлого деревенского выскочку своим другом!

— Ваше величество, — прервал раздумья графа Мигун.

— Не зови меня так.

— Я лишь слегка опережаю события, но скоро вас будет звать так весь мир.

Графа поразила непоколебимая уверенность Мигуна, по спине вельможи даже пополз холодок, и он передернул плечами, словно отгоняя призрак.

— Вспомни, Мигун, я выиграл всего одно сражение. Я по-прежнему сильно стеснен в деньгах, а моя армия состоит из горстки вшивых рыцарей.

— Если вам чуждо честолюбие, подумайте о вашей дочери. Если она останется дочерью графа, она в лучшем случае сможет выйти замуж за какого-нибудь герцога. Даже с ее удивительной красотой это будет считаться большой удачей. Но если она станет дочерью короля, она сможет выйти за любого принца. И красота послужит ей таким приданым, что ни один принц не осмелится требовать большего.

Граф подумал о своей прекрасной Брунгильде и улыбнулся.

Борк тоже улыбнулся, ибо и он подумал о красавице.

— Ваше величество, — продолжал подзуживать Мигун, — сделав Борка своей правой рукой, а меня — своим советником, вы через год-другой непременно станете королем. Сами подумайте, кто дерзнет сопротивляться армии, во главе которой будем стоять мы трое?

— А зачем лезть вперед всем троим? — спросил граф.

— Вы хотели спросить, зачем вам лезть вперед? Мне казалось, это и так ясно. Но ваш вопрос только доказывает, как вам необходим советник. Видите ли, ваше величество, вы — человек добропорядочный, богобоязненный, образец добродетели. Вам и в голову не придет, добиваясь власти, плести интриги, шпионить и делать гадости своим врагам. Однако короли вынуждены действовать подобным образом, иначе они быстро лишаются короны.

Граф никак не мог собраться с мыслями. В глубине души он сознавал, что уже давным-давно действует именно так, как говорит Мигун, но слова юноши словно завожили его. Слушая его, граф и впрямь начинал верить, будто он — образец добродетели.

— Ваше величество, вы останетесь чисты, а весь позор падет на меня. Вы будете источать благоухание свежести, а от меня будет исходить смрад гниения. Поверьте, будь жива моя мать, я бы не задумываясь продал ее в рабство, лишь бы помочь вам взойти на престол. Я взялся бы сыграть в карты с самим дьяволом и облапошил бы его прежде, чем тот успел бы сообразить, что случилось. Я бы не задумываясь нанес удар в спину любому вашему врагу.

— Но мои враги не обязательно должны быть твоими врагами,— недоверчиво заметил граф.

— Ваши враги всегда будут моими врагами. Я буду предан вам всегда и во всем.

— И прикажешь поверить, будто твоя преданность бескорыстна?

— Почему же бескорыстна? Вы будете щедро мне платить.

— Согласен,— сказал граф.

— Вот и отлично,— отозвался Мигун, и они пожали друг другу руки.

Граф обратил внимание, что ладони Мигуна мягкие, как у женщины; руки этого прошелыги явно не знали крестьянского труда и ратного ремесла.

— И чем ты до сих пор зарабатывал на жизнь? — спросил граф.

— Воровством.

Судя по улыбке Мигуна, это могло быть шуткой, но его прищуренные глаза подтверждали, что новоиспеченный советник говорит правду.

— А как же я? — простодушно спросил недоумевающий Борк.

— Разве ты не слышал? — удивился Мигун. — Тебе надлежит быть могучей правой рукой короля.

— Но я ни разу не видел короля.

— Так взирай на него! — с пафосом ответил Мигун. — Вот твой король.

— Какой же он король? — снова не понял Борк. — Он всего лишь граф.

Эти слова глубоко задели графа. «Всего лишь граф». Ничего, это дело поправимое.

— Ты прав, Борк,— стараясь не раздражаться, ответил он.— Сегодня я — всего лишь граф. Но кто знает, что́ принесет завтрашний день? Речь сейчас не об этом. Ты ведь помнишь, что я обещал посвятить тебя в рыцари? Теперь ты должен поклясться, что будешь всегда и во всем верен мне и беспрекословно исполнишь любое мое повеление. Согласен?

— Конечно, согласен! — обрадовался Борк.— Спасибо, ваше сиятельство.

Он встал и крикнул во весь голос, обращаясь к своим новым друзьям и соратникам:

— Господин граф посвятил меня в рыцари!

Ему ответили приветственные возгласы, рукоплескания и топот ног.

— Но самое главное — теперь я могу просить руки Брунгильды!

На сей раз рукоплесканий не было; раздался только тревожный шепот. Если этого деревеншину сделали рыцарем, он на законных основаниях мог добиваться руки Брунгильды. В это с трудом верилось, но такова графская воля.

Графа тоже не привели в восторг слова Борка. Но что он мог поделать? Нельзя же взять слово назад, тогда он будет опозорен в глазах собственных рыцарей. Граф начал было длинную витиеватую речь о том, что его-де неправильно поняли,— но быстро умолк. Борк выжидающе глядел на него, ожидая, когда тот подтвердит свое обещание.

И тут на помощь графу пришел Мигун.

— Эх, Борк,— печально произнес он — так громко, чтобы его все услышали.— Неужели ты не понимаешь? Его величество посвятил тебя в рыцари из чувства благодарности, но раз ты не король и не принц, ты не можешь с ходу взять да попросить руки Брунгильды. Чтобы завоевать такое право, ты должен совершить какое-нибудь храброе деяние.

— Но разве сегодня я не доказал свою храбрость? — спросил Борк.

У него до сих пор болела раненая рука, и только эль позволял ему держаться на ногах после тяжелой бессонной ночи и изнурительного дня.

— Ты действовал храбро, но, поскольку ты вдвое выше и в десять раз сильнее обычного человека, этого недостаточно, чтобы завоевать руку Брунгильды. Чтобы стать достойным ее, ты должен совершить подвиг, десятикратно превосходящий все, что ты нынче совершил.

Борк даже не мог представить себе такого подвига. Разве он, защищенный от стрел лишь кастрюлей на голове и крышкой от котла, не свалил в одиночку могучий дуб? Разве он не заставил отступить вражескую армию и не освободил графа от дани? Что же может десятикратно превосходить такие деяния?

— Не отчаивайся,— успокоил Борка граф.— Впереди еще множество битв, и ты обязательно совершишь славные подвиги, превзойдя все совершенное тобою сегодня. Теперь, друг мой, ты посвящен в рыцари, тебе дарована привилегия каждый вечер обедать за моим столом. А когда мы двинемся в бой, ты будешь сражаться рядом со мной.

— Он должен первым встретить врага,— шепнул графу Мигун.

— Впрочем, Борк, я окажу тебе еще большую честь: ты первым встретишь врага, защищая честь моего графства.

— Не скромничайте, ваше величество,— снова шепнул Мигун.

— Нет, не графства. Моего королевства. Слушайте все! Отныне вы служите не графу, а королю!

Эти слова всех ошеломили. Возможно, трезво мыслящего человека они заставили бы призадуматься, но в зале не оказалось ни трезвых, ни мыслящих людей. Выпитый эль помутил рассудок уставших от празднества рыцарей, и они тупо вытаращили на графа воспаленные глаза. В колеблющемся свете факелов граф показался им исполненным королевского величия, к тому же рыцари предвкушали грядущие сражения, которые их совершенно не пугали. Разве не одержали они сегодня славную победу, не пролив ни капли крови? Кровь Борка в счет не шла. Рыцари, конечно, не отважились бы сказать этого вслух, но

втайне все пришли к единому мнению: «Борк — это всего лишь Борк. Что бы там ни говорил граф, Борк — чужак и чужаком останется». Следовательно, парнем можно затыкать все опасные дыры.

Кровь, запекшаяся на рукаве Борка, ценилась так же дешево, как и его жизнь.

Поэтому рыцари щедро накачивали великана элем до тех пор, пока тот не захрапел, уронив голову на стол. Борк и не подозревал, как жестоко его обманывают, суля возможность посвататься к Брунгильде. На какое-то время он даже забыл о своей возлюбленной; главное — он стал рыцарем, героем и, что еще важнее, у него наконец-то появились друзья.

Спустя два года граф сделался королем.

Свой путь к королевскому трону он начал, сражаясь с другими графами, но вскоре его притязания возросли и он принялся нападать на герцогов и других крупных вельмож. Стратегия его оставалась неизменной: он отправлялся в бой с полусотней рыцарей, облаченных лишь в легкие доспехи. Все его воины были конными, только Борк передвигался пешком, но сильные ноги помогали ему не отставать от конного отряда.

Когда воинство графа оказывалось у стен замка, принадлежавшего очередному противнику, вперед выходил Борк и трое оруженосцев подавали ему новый топор со стальным топорием. Его доспехи тоже были новыми и прочными, способными выдержать почти любой удар. Если вокруг замка имелся ров, Борк переходил его вброд, а если рва не было, просто подходил к воротам и начинал их крушить. Покончив с воротами, Борк брал увесистую железяку и принимался раздвигать прутья решетки, сгибая их так легко, словно они были сделаны из теста. Мало-помалу в решетке появлялась брешь, достаточная, чтобы в нее въехал конный рыцарь.

Сделав свое дело, Борк возвращался к графу и Мигуну.

Пока Борк возился с воротами и опускающейся решеткой, никто из людей графа не произносил ни слова, только лучники оставались начеку и зорко следили, чтобы сверху в Борка не плеснули кипящим маслом или горячей

смолой. Это придавало великану уверенности, но опасность попасть под поток горячей смолы была невелика: графская армия появлялась всегда так внезапно, что, пока Борк крушил ворота и гнул прутья решетки, масло и смола не успевали нагреться.

— Согласны ли вы сдаться его величеству королю? — спрашивал защитников замка Мигун.

И те, видя, как легко великан Борк сокрушил их твердыню, как правило, сдавались. Иногда кто-нибудь пытался дать отпор, но такое случалось редко, да и отпор бывал чисто символическим. Однако, по настоянию Мигуна, замок такого вельможи подвергался разграблению, а его семейство бросали в темницу и держали там до тех пор, пока бунтарь не выплачивал солидный выкуп.

К концу второго года граф, Борк, Мигун и графская армия двинулись на Винчестер. Король (настоящий король) сбежал из замка и нашел пристанище в Анжу, где климат был мягче и теплее. Графа короновали, вся знать принесла ему присягу, после чего новый король представил благородному собранию свою дочь Брунгильду. Само собой разумеется, она именовалась теперь принцессой.

Винчестерский замок пришелся новому королю не по вкусу, и он вернулся в свое родовое поместье, откуда и управлял государством. К замку потянулась нескончаемая вереница претендентов на руку Брунгильды, туда же спешили все, кто мечтал устроиться при дворе или выхлопотать себе какую-либо должность; этот люд заполнял гостиницы и постоялые дворы, появившиеся рядом с деревней. В королевскую казну потекли деньги. Правда, большая их часть оседала в сундуках Мигуна, умевшего снимать сливки. Мигун искренне полагал, что с короля довольно и четвертой части всех поступающих в замок богатств.

Поскольку воевать стало не с кем, Борк повесил доспехи на крюк и вернулся к мирной жизни. Конечно, теперь никто уже не заставлял его таскать из погреба бочки с элем.

Борку отвели одну из лучших комнат замка — далеко не у каждого рыцаря было такое жилье. Кое-кто из рыцарей по-настоящему с ним сдружился, и вечерами новые

приятели звали его на кружку эля, днем — на охоту. Охотиться с Борком было к тому же очень удобно: он всегда ташил на себе пару оленей, избавляя рыцарей от необходимости запастись вьючными лошадьми. Великан был счастлив, как никогда.

Но однажды к замку прилетел дракон, и прежняя беззаботная жизнь закончилась навсегда.

В тот день Мигун опять явился в покои Брунгильды. Туда можно было попасть разными путями, а Мигун хорошо изучил все ходы и переходы замка, поэтому всякий раз ему удавалось пробраться к красавице незамеченным.

Сегодня, после очередных богатых подарков и лестиных уверений, Брунгильда почти уступила домогательствам молодого и обаятельного королевского советника... Но тут откуда-то послышались громкие испуганные крики.

Сгорающий от желания Мигун продолжал расстегивать на Брунгильде платье, но девушка оттолкнула его и побежала к открытому окну, чтобы узнать, в чем дело.

Посмотрев вниз, она не увидела ни пожара, ни вражеского войска. Но вдруг гигантская тень закрыла солнце, и Брунгильда, запрокинув голову, взглянула на небо. Мигун, остававшийся сидеть на постели, успел увидеть лишь громадные когти... В комнате на мгновение потемнело, и дракон, подхватив Брунгильду, унесся прочь вместе с потерявшей сознание принцессой.

Когда Мигун подбежал к окну, дракон уже летел на север, крепко сжимая в когтистых лапах безжизненное тело Брунгильды.

Мигуна охватил ужас. Кто мог предвидеть, что в замок прилетит дракон? Советник ругал себя последними словами: с исчезновением Брунгильды рушились все его честолюбивые замыслы. А ведь как тщательно он все продумал и рассчитал! Сперва соблазнить Брунгильду, потом жениться на ней — и на законных основаниях стать королем. Вместе с драконом улетали надежды Мигуна на трон.

Но не таким человеком он был, чтобы стенать и рвать на себе волосы. Житейская сметка не позволила Мигуну надолго пасть духом; он быстро оделся и через потайной ход покинул комнату Брунгильды.

Вскоре молодой советник появился в другом коридоре и стал колотить в запертую дверь.

— Брунгильда! — кричал он. — Ты меня слышишь? Что с тобой? Отзовись!

Вскоре появились рыцари, а затем и король.

Его величество стонал, всхлипывал и в бессильной ярости крушил все, что попадалось под руку. Дверь в покои Брунгильды мгновенно вышибли, король бросился к раскрытому окну.

— Брунгильда! Дочь моя! Вернись! — кричал он.

Уносящий принцессу дракон к тому времени превратился в едва заметное пятнышко на небе. Отцовские призывы были тщетными, Брунгильда не вернулась.

Король рухнул на пол и обхватил голову руками. На него было страшно смотреть.

— Я лишился всего! — рыдал король. — В одно мгновение я все потерял!

«Так же как и я, — подумал Мигун. — Но я не стану проливать слезы, что с них толку?»

Чтобы скрыть досаду, Мигун выглянул из окна и увидел... нет, не дракона, а Борка, тащившего из леса два здоровенных бревна.

— А вот и рыцарь Борк, — сказал Мигун.

Король, несмотря на свое горе, уловил насмешку, прозвучавшую в голосе Мигуна. Он хорошо знал советника и понимал: если тот говорит таким тоном, это неспроста.

— При чем тут Борк?

— Если кто-то может одолеть дракона, то только сэр Борк, — пояснил Мигун.

— Верно, — согласился король, в душе которого проснулась надежда. — Кто еще, если не он?

— Вот только согласится ли он? — осторожно спросил Мигун.

— Обязательно согласится, ведь он любит Брунгильду!

— На словах — да. Но вправду ли он так вам предан, ваше величество? Кстати, почему Борка не было в замке, когда прилетел дракон? Почему он сразу не поспешил Брунгильде на выручку?

— Он рубил дрова на зиму.

— Дрова? Рубил дрова, когда жизни Брунгильды угрожала смертельная опасность?

Король пришел в ярость. До него не дошло, что Мигун несет полную чушь; сейчас он вообще ничего не соображал. пылая гневом, король бросился к воротам замка, где и столкнулся с Борком.

— Ты предал меня! — закричал бывший граф.

— Я? — только и мог спросить Борк, который начал лихорадочно припоминать, в чем же он мог провиниться перед королем.

— Тебя не было в замке, когда нам так нужна была твоя помощь! Когда Брунгильде нужна была твоя защита!

— Простите,— пробормотал Борк.

— Что толку в извинениях? Ты поклялся защищать Брунгильду от всех и вся. А когда на нас напал по-настоящему опасный противник... Так-то ты отплатил за все, что я для тебя сделал? Спасая свою шкуру, побежал прятаться в лес!

— О каком враге вы говорите?

— О драконе. Можно подумать, ты не видел и не слышал его приближения! Уверен: ты раньше всех его увидел, потому и скрылся в лесу!

— Разрази меня гром, ваше величество, я ничего не знал о появлении дракона!

Только теперь Борк понял, что произошло.

— Так дракон... унес Брунгильду?

— Да, унес. Прямо из спальни, когда она бросилась к окну, чтобы позвать тебя на помощь.

Борк почувствовал, как на его плечи навалилась чудовищная тяжесть вины. Лицо великана стало суровым и мрачным, и земля задрожала под его ногами, когда он двинулся в замок.

— Принесите мои доспехи! — крикнул Борк. — И меч!

Спустя несколько минут он уже стоял во внутреннем дворе замка, и слуги помогали ему надеть тяжелую кольчугу, прилаживали нагрудник, подавали шлем. Для сражения с драконом одного меча было мало, и Борк схватил массивный топор. Его щит был столь широк, что за ним могли бы укрыться два человека.

— Куда полетел дракон? — спросил Борк.

— На север,— сквозь зубы ответил король.

— Ваше величество, или я верну вам дочь, или погибну в битве с драконом.

— Невелика будет потеря, ведь это ты во всем виноват.

Слова короля жгли, словно раскаленным железом, но боль лишь придавала Борку решимости. Взяв мешок с едой, приготовленный заботливым поваром, королевский рыцарь Борк покинул замок и, не оглядываясь, зашагал на север.

— Знаешь, мне даже немного жаль дракона,— сказал Мигуну король.

Мигун не ответил. Он-то видел, какие когти были у чудовища, схватившего Брунгильду! Эти когти были острыми, как бритвы, и в громадных лапах дракона принцесса казалась маленькой тряпичной куклой. Если Брунгильда еще жива, сумеет ли Борк победить дракона?

Мигун прекрасно знал, что Борк заслужил славу задир, расправляясь с теми, кто был меньше и слабее его. А как он поступит, встретившись с драконом, который впятеро его больше? Вдруг струсит и бросится бежать, как от него всегда убегали другие?

Такое вполне могло случиться. Но сэр Борк был единственной надеждой Мигуна заполучить Брунгильду и королевство, и проныра понял, что ему лучше проследить за великаном и убедиться, что тот хотя бы попытался сразиться с драконом.

Взяв шпагу и еду, Мигун покинул замок через боковые ворота и поспешил за Борком.

Спустя некоторое время в голову ему пришла жуткая мысль. Бой с драконом, несомненно, будет куда более храбрым поступком, чем все деяния, которые прежде совершил Борк. Если Задира одолеет дракона, вдруг он вздумает добиваться руки Брунгильды?

Мигуну не хотелось об этом и думать. Когда придет время, он решит, что делать. После того как Борк убьет дракона и спасет Брунгильду, у Мигуна останется предостаточно времени, чтобы придумать какой-нибудь хитроумный план.

Не успел Борк завернуть за поворот дороги, как увидел на обочине старуху — няньку Брунгильды, смотревшую за ней в раннем детстве, в ту пору, когда король еще назывался графом, а дочь его жила затворницей в замке. Старуха была сморщенной и дряхлой, но взгляд ее по-прежнему оставался острым, поэтому многие считали ее очень мудрой. Вообще-то она не отличалась особой мудростью, однако кое-что понимала в драконах.

— Собрался воевать с чудовищем? — скрипучим голосом спросила старуха Борка. — Хочешь отбить у него Брунгильду?

Она зловеше захихикала, прикрыв рукой беззубый рот.

— Если кто и сможет одолеть его, только я, — ответил Борк.

— Никому его не одолеть.

— Я одолею!

— Даже не мечтай, хвастливый пень!

Борк молча прошел мимо.

— Эй, обожди! — послышался за его спиной старческий голос, похожий на скрежет напильника, каким снимали ржавчину с доспехов. — Куда именно ты собрался идти?

— На север, — ответил Борк. — Мне сказали, что дракон улетел туда.

— Если хочешь знать, сэр Борк Задира, север — это добрая четверть мира. В сравнении с северными горами и равнинами твой дракон — просто букашка. Но если ты настоящий рыцарь, я подскажу тебе, как отыскать чудовище. Перво-наперво зажги факел и на каждой развилке дороги смотри, в какую сторону отклонится пламя, — туда и иди. Знаю, сейчас ты скажешь, что ветер может отклонить пламя не в ту сторону. Не беспокойся: огонь всегда ищет огонь, а в сердце каждого дракона пламя не угасает.

— Значит, дракон огнедышащий? — удивился Борк.

Он не умел сражаться с огнем.

— Огонь — это свет, а дыхание — ветер. Свет не может вырываться из пасти или ноздрей дракона. Если он и обожжет тебя, дыхание здесь будет ни при чем.

Старуха зашлась безумным кудахтаньем. Она и впрямь походила на курицу.

— Никто теперь ничего не знает о драконах.
— Но ты-то знаешь, — возразил Борк.
— Я давно живу на свете, оттого и знаю. А еще я умею отличать правду от небылиц. Запомни: драконы не питаются человечесиной, листья и плоды — вот их пища. Но они убивают людей. Иногда.

— Зачем, если им не нужно человечесьё мясо?
— Сам узнаешь, — сказала старуха и заковыляла в лес.
— Постой! — окликнул Борк. — Сколько мне идти, прежде чем я найду дракона?

— Немного, — усмехнулась старуха. — Совсем немного, сэр Борк. Он поджидает тебя. И не только тебя, но и всех остальных дуралеёв, которые захотят освободить непорочную девицу.

С этими словами старуха исчезла в лесу.

Борк зажег факел и при его свете шагал всю ночь, на развилках дорог сворачивая туда, куда отклонялось пламя. Великан даже не помышлял об отдыхе: разве можно спать, когда Брунгильда страдает в лапах чудовища? А пока Борк упрямо шагал на север, Мигун изо всех сил старался не уснуть и не потерять его во тьме.

Наступило утро, потом день; великан все шел и шел, следя за пламенем. Потом снова стемнело, но Борк шагал всю ночь напролет по старой, заброшенной дороге, по которой давно уже никто не ходил и не ездил.

К утру он добрался до подножья высокого холма, увенчанного острыми каменными зубцами.

Борк остановился. Пламя факела взметнулось вверх, и тут в предутренней тишине великан услышал звук, от которого по спине его побежали мурашки, — то был крик Брунгильды. Несчастливая кричала так, словно ее пытали.

Потом послышался ужасный рев, и Борк, отшвырнув дорожный мешок, начал карабкаться вверх. Еще не добравшись до вершины, он закричал, чтобы привлечь внимание дракона и помешать чудовищу истязать Брунгильду:

— Эй, дракон! Ты здесь?

Вскоре под ногами Борка задрожала земля — таким мощным был голос дракона.

— А где ж мне еще быть?

— Брунгильда с тобой?

— Ты говоришь об этой красивой кукле с сердцем гадюки и комариными мозгами?

Мигун, добравшийся до подножья холма, яростно стиснул зубы. Брунгильда была для него не только ступенькой к королевскому трону, он и вправду ее любил — насколько он вообще способен был кого-то любить.

— Эй, дракон! — во всю глотку гаркнул Борк. — Приготовься к смерти!

— Ой, как страшно, — отозвался дракон. — Ты напугал меня до смерти. О, что же мне теперь делать?

Когда Борк взобрался на вершину холма, уже совсем рассвело, из-за дальних гор медленно поднялось солнце. При ярком солнечном свете Борк увидел привязанную к дереву Брунгильду; ее темно-рыжие волосы блестели, разметавшись по плечам, вокруг нее сверкали груды золота. Так велел обычай драконов — собирать и хранить богатства.

Между золотыми монетами извивался драконий хвост.

Борк пошел вдоль этого хвоста и наконец увидел самого дракона: тот жевал ствол молоденького деревца и ухмылялся. Крылья дракона были покрыты перьями, остальное тело защищала толстая шкура цвета серого гранита. Зубы дракона напоминали крючковатые зубцы гигантской пилы, когти его оказались в три фута длиной, острые, как шпага. Но страшнее всего были драконьи глаза: большие, карие, с длинными ресницами, они смотрели слишком ласково для такого монстра, однако из зрачков били лучи. Стоило Борку заглянуть в глаза чудовища, как лучи словно просветили парня насквозь, и, увидев, что лежит на душе у великана, дракон засмеялся.

На несколько мгновений светящиеся глаза заставили Борка позабыть обо всем на свете, но потом дракон шевельнул крылом и пощекотал Брунгильду.

Брунгильда, не выносившая щекотки, издала душераздирающий вопль.

— Не смей ее трогать! — закричал Борк.

— Трогать? — насмешливо переспросил дракон. — Я не собираюсь ее трогать.

— Так знай же, чудовище! — оглушительно заорал Борк. — Мое имя — сэр Борк, а прозвали меня Задирой!

Я еще не проиграл ни одного сражения! Никто не осмеливается выступить против меня; даже звери лесные, завидев меня, убегают подальше в чащу!

— Представляю, как неуклюж ты на поле брани,— ответил дракон.

Борк продолжал живописать свои подвиги, зная, что рыцари любой поединок или большое сражение всегда начинают с хвастовства своей силой, дабы вселить страх в сердце противника.

— Одним ударом топора я валяю громадные деревья! Я могу одним махом разрубить пополам целого быка! Я могу повалить бегущего оленя. Я легко прорубаю путь сквозь каменные стены и сквозь стены из крепчайших бревен!

— Да из тебя, должно быть, получится отличный слуга! — задумчиво протянул дракон.— Но, наверное, ты согласишься на непомерное жалованье...

Других рыцарей язвительный тон дракона привел бы в ярость, а Борк лишь слегка опешил, подумав, что зря распинается перед этой презренной тварью. Может, дракон труслив и откажется от поединка?

— Я пришел, чтобы освободить Брунгильду. Ты отпустишь ее добром, или мне придется тебя убить.

Дракон расхохотался — и хохотал долго и громко. Потом, вскинув голову, сверху вниз посмотрел на Борка... И доблестный рыцарь сэра Борк понял: он проиграл сражение. В глубине драконьих глаз он увидел правду. Горькую правду.

Борк увидел свои былые подвиги, увидел, как он крушит ворота замка и валит деревья. Только поступки эти больше не выглядели геройскими. Борк вдруг понял: когда армия графа штурмовала замки, рыцари прятались за его спиной да при этом еще и смеялись над ним. Он вдруг понял, что король — человек слабый и порочный, а Мигун крутит им, как хочет. Все, кого великан привык считать друзьями, просто втягивали его в свои игры, заставляли плясать под свою дудку, а на самого Борка им было наплевать.

Борк увидел, как смешно он выглядел, когда просил руки Брунгильды: верзила в грязной одежде, с нечесаными волосами, неуклюжий и неловкий, рядом с хрупкой,

изящной красавицей. Но еще горше было ему узнать, что все намеки короля на возможный брак с Брунгильдой были всего лишь хитростью, призванной его одурачить. Борк вдруг понял то, о чем никто даже не подозревал: Брунгильда любит Мигуна, а тот уже давно помогает ее.

И наконец, в глазах дракона Борк увидел свою истинную цену. Оказывается, за всю жизнь он по-настоящему сражался лишь однажды — когда раненый лучник герцога бросился на него с ножом. Все боялись Борка, потому что были меньше и слабее, но он ни разу не сталкивался с противником, который превосходил бы его ростом и силой.

А сейчас в глазах дракона Борк увидел свою смерть.

— Твои глаза слишком глубоки,— тихо промолвил Борк.

— Да, они глубоки, как колодец, и ты в них утонешь.

— Твой взгляд...— Борк замолчал, стараясь облечь чувства в слова.

— Мой взгляд прозрачен, как лед, и он превратит тебя в ледяную глыбу.

— Твои глаза...— снова начал Борк, но во рту его пересохло. С трудом сглотнув, великан проговорил: — Твои глаза излучают свет.

— И в каждом моем зрачке скрыта маленькая яркая звезда,— прошептал дракон.— И звезды эти зажгли твое сердце.

Дракон медленно приподнялся и слегка шевельнул кончиком хвоста, чтобы толкнуть Борка, но, хотя парня и зачаровали глаза чудовища, он вовремя заметил опасность.

— Ты решил меня убить,— сказал Борк дракону.— Но не надейся на легкую победу.

Он быстро повернулся, собираясь отсечь топором кончик драконьего хвоста, но не успел замахнуться, как хвост исчез. Дракон оказался проворнее.

Весь день Борк сражался с чудовищем и к вечеру выбился из сил, но дракон как будто просто играл с ним. Много раз Борку казалось: вот сейчас он поразит хвост, крыло или брюхо дракона, но каждый раз его меч и топор рассекали только воздух.

Наконец Борк рухнул на колени и заплакал. Он хотел биться дальше, но не мог встать. А дракон, похоже, даже не притомился.

— Ну? — спросило чудовище. — Надоело попусту махать железом?

Дракон коснулся хвостом спины Борка, а потом схватил его когтистой лапой. Борк не решался поднять голову и вновь посмотреть дракону в глаза — он уже знал, что там увидит. И все-таки он не мог просто так ждать смертельного удара, поэтому все же поднял голову, чтобы встретиться взглядом с драконом.

Совсем близко он увидел драконьи зубы. Одно движение — и ему откусят голову!

Борк закричал. Потом закричал еще раз, когда дракон взял его в зубы и поднял на несколько десятков футов. Борк заглянул чудовищу в глаза и увидел в них не голод и не ненависть — дракону просто нравилось с ним забавляться. Поняв это, Борк закричал в третий раз.

Великан почувствовал, как ворочается рядом тяжелый язык, когда, не разжимая челюстей, дракон спросил:

— Ну что, человечек? Боишься смерти?

Надо показать этому чудовищу, что он умирает, не прося пощады. Борк лихорадочно пытался найти какой-нибудь дерзкий ответ. В балладах герои всегда погибали с красивыми и звучными словами на устах. Может, и его смерть будут воспевать в балладах? Но Борк не умел говорить красиво и звучно. И потом, откуда сочинители баллад узнают, какие именно слова он произнес перед смертью? Ведь дракон же им об этом не расскажет!

Борк вдруг подумал, что глупо и недостойно умирать с ложью на устах, пусть даже красивой.

— Дракон, я боюсь, — прошептал Борк, и это было чистой правдой.

К его удивлению, страшные зубы не вонзились в его тело, вместо этого Борк почувствовал, как его опускают на землю. Борк поднял забрало и увидел, что дракон от хохота катается по земле, хлещет хвостом по камням и громко хлопает когтистыми лапами.

— Мой дорогой друг, — сказал дракон. — А я-то думал, что никогда не дождусь этого дня.

— Какого дня?

— Сегодняшнего,— ответил дракон.

Он перестал смеяться, вытянул шею и пристально посмотрел великану в глаза.

— Я не стану тебя убивать.

— Спасибо, дракон,— сказал Борк, стараясь быть учтивым и вежливым.

— Не стоит благодарить меня, крошка-воин. Тебе не за что говорить спасибо. Думаешь, у меня очень острые зубы? Но насмешки твоих завистливых и полных досады друзей будут ранить тебя куда острее.

— Ты меня отпускаешь?

— Да. Можешь идти отсюда — или лететь, коли умеешь. Словом, возвращайся в свой замок. А хочешь знать, почему я решил тебя отпустить?

— Хочу.

— Потому что ты испугался и не стал этого скрывать. Всю жизнь я только и делал, что убивал не знающих страха отважных рыцарей. Ты был первым, кто испугался, посмотрев в лицо смерти. А теперь иди.

И дракон слегка подтолкнул Борка.

Брунгильда, в немом изумлении наблюдавшая за битвой, крикнула вслед великану:

— Какой же ты после этого рыцарь? Трус! Я ненавижу тебя! Не бросай меня здесь!

Ее крики еще долго неслись вслед Борку, но наконец он отошел так далеко, что перестал их слышать.

Борка терзал стыд. Но еще сильнее стыда оказалась усталость. Добравшись до тенистого леса, парень повалился на траву и заснул.

Прятавшийся между скал Мигун видел, как Борк покинул холм, как дракон снова принялся шекотать Брунгильду. Платье ее все еще было расстегнуто, и Мигуна охватило вожделение: Брунгильда была такой соблазнительной! Однако если сам Борк не сумел вызволить ее, Мигуну нечего даже пытаться. Королевский советник вздохнул и начал думать, как бы половчее доложить королю о случившемся.

Прежде всего нужно было позаботиться о том, чтобы попасть в замок раньше Борка. Пока великан сражался с

драконом, Мигун успел хорошенько выспаться и теперь быстро добрался до ближайшей деревушки, где украл осла и продолжил путь верхом. То засыпая в седле, то просыпаясь, Мигун ехал всю ночь и полдня. Борк еще не успел проснуться, как Мигун уже добрался до замка.

Король был взбешен. Король сыпал проклятиями. Король грозился казнить Борка.

— Не горячитесь, ваше величество,— сказал Мигун.— Не забывайте, что именно Борк вселяет ужас в сердца ваших подданных. Вся их верность зиждется на страхе. Борка нельзя убивать, иначе вашему царствованию придет конец.

Слова советника несколько умилили пыл короля.

— Хорошо, я сохраню ему жизнь, но из замка ему придется уйти. Я не потерплю рядом подобного труса. Надо же, он испугался! Да еще сказал об этом дракону! Как трогательно. Воистину у этого мужлана нет ни капли благодарности.

Когда уставший и грустный Борк вернулся домой, оказалось, что двери замка закрыты. Никто не объяснил ему — почему, да Борку и не нужны были объяснения. Он и так все понял: проиграв самое важное сражение в жизни, он запятнал рыцарскую честь.

Борку пришлось уйти в деревню. Люди снова презирали, не замечали или боялись его, но когда требовалась его сила, о нем вспоминали и великан работал за десятирх. Никто и не думал его благодарить — все считали, что Борк просто обязан так поступать, чтобы не быть дармоедом.

По вечерам Борк сидел в своей лачуге, смотрел на огонь в очаге, на дым, поднимавшийся к отверстию в крыше, и вспоминал вечера в замке среди друзей. Эти воспоминания не радовали его, от них становилось еще горше, ведь дружбе рыцарей пришел конец после первого же его поражения. Теперь прежние друзья, встречая его в поле или на дороге, только плевались.

Но, глядя на языки пламени, Борк не пытался переложить вину за свои беды на чужие плечи. Огонь напоминал

ему о глазах дракона, а в танце пламени он видел себя — жалкого шута, дерзнувшего полюбить принцессу; деревенского недотепу, возомнившего себя настоящим рыцарем.

«Нет, я никогда не был рыцарем,— думал Борк.— Мне всегда была грош цена, и теперь я получаю то, что заслужил».

Горькие мысли отравляли его душу, и Борк ненавидел себя сильнее, чем его ненавидели другие.

Великан не мог забыть свою трусость: когда дракон сказал, что отпускает его, нужно было остаться и сражаться до последнего вздоха. Лучше погибнуть, чем влачить такое жалкое существование!

В деревню временами приходили слухи о доблестных рыцарях, пытавшихся вырвать Брунгильду из лап дракона. Все они героически шли на битву и погибали как герои. Только Борк вернулся живым, и с гибелью каждого нового рыцаря его позор возрастал.

Наконец Борк не выдержал и решил, что вновь пойдет биться с драконом. Лучше умереть, чем дальше вести такую жизнь. Больше он не вынесет этих вечеров, не сможет видеть в пламени очага глаза дракона, а в них — беспощадную правду.

Но теперь Борк сознавал, что одной только силы мало; чтобы одолеть дракона, нужно уменье настоящего воина.

К тому же осуществить задуманное помешала весна. Борк пахал и сеял, ходил за скотом — словом, как всегда, помогал односельчанам. Когда сев кончился, он отправился в замок. На этот раз ворота оказались открыты, однако Борк благоразумно решил не попадаться на глаза бывшим приятелям. Он двинулся напрямик туда, где жил однорукий учитель воинского ремесла — Борк не видел его с тех пор, как в детстве по неловкости отсек ему левую руку.

— Что, трус, явился за моей правой рукой? — холодно спросил учитель.

— Прости меня за то, что я когда-то натворил,— сказал Борк.— Тогда я был молодым и глупым.

— Ты и сейчас не больно-то поумнел. Проваливай!

Но Борк не ушел. Он долго просил учителя помочь, и наконец они договорились, что великан на все лето посту-

пит к учителю в услужение, а взамен тот постарается научить его воинскому искусству.

Каждый день они уходили в поле, и Борк сражался с кустами, деревьями, камнями, но только не с учителем, который решительно отказывался подпускать к себе вооруженного великана. Потом они возвращались домой, и Борк принимался за работу: подметал пол, точил мечи, начищал до блеска щиты и чинил доспехи для учебных турниров. И все равно учитель никогда не был им доволен и постоянно твердил:

— Ты слишком туп, чтобы хоть в чем-то добиться успеха!

И Борк соглашался с ним.

За лето великан так ничему и не научился. Близилась осень, и односельчане позвали Борка помочь убрать урожай и подготовиться к зиме. Учитель не удерживал его.

— От тебя все равно никакого толку, ты слишком медленно шевелишься. Даже кусты проворнее тебя. Больше здесь не появляйся! Я по-прежнему тебя ненавижу, и лучше бы нам никогда больше не встречаться.

— Как скажешь,— ответил Борк и двинулся в поля, где крестьяне давно дожидались его помощи.

Коротая зимние вечера и по-прежнему глядя в огонь, Борк постепенно сообразил, что владение мечом не многим бы ему помогло. Силой оружия дракона не одолеть. Если бы его можно было победить на поле брани, дракон давно уже был бы мертв, ведь биться с ним отправлялись самые опытные воины. И все они погибли.

Борк решил попробовать другой способ.

Не дожидаясь наступления весны, он снова отправился в замок и по длинной узкой лесенке поднялся в башню, где жил чародей.

Великан постучал в дверь и услышал:

— Убирайся прочь. Я занят.

— Я подожду,— сказал Борк.

— Как хочешь.

Борк уселся и стал ждать. Только глубокой ночью чародей выглянул и увидел, что парень спит, прислонившись к двери. Когда дверь открылась, великан не удержал равновесия и чуть не сбил чародея с ног.

— Черт побери! Ты что, вообще отсюда не уходил?
— Нет,— коротко ответил Борк, потирая ушибленную голову.

— Тогда обожди еще немного.

Чародей провел великана в комнату, а сам пошел к дальней стене, где была небольшая дверца. В случае осады оттуда должны были выливать на головы осаждавших кипящее масло, но в мирные времена такие дверцы служили для других целей и их петли не успевали заржаветь.

— Жди,— приказал гостю чародей.

Борк осмотрелся. Жилище чародея поразило его ослепительной чистотой, по стенам тянулись полки с книгами, на других полках стояли удивительные предметы, явно имевшие отношение к магии: хрустальный шар, череп, счеты, стеклянные колбы и трубки. Над глиняным горшком поднимался дымок, хотя под горшком не было огня. Борк разглядывал все эти диковины, пока хозяин не вернулся.

— Приятная у меня каморка, правда? — сказал маг.— А ты, стало быть, Задира Борк?

Борк кивнул.

— И зачем ты ко мне явился?

— Я... я хочу научиться магии. Такой, которая поможет мне победить дракона.

Чародей закашлялся и кашлял очень долго.

— Что с тобой? — удивился Борк.

— Здесь слишком пыльно,— объяснил чародей.

Борк снова огляделся, но не увидел нигде ни пылинок. Он принюхался — в воздухе и впрямь пахло пылью, у него даже зашекотало в ноздрях, и он тоже начал кашлять.

— Странно. Пыли не вижу, а в горле скребет. Можно мне попить?

— Конечно. Внизу есть бадья с водой.

— Зачем же идти вниз, если у тебя здесь ведро с чистой водой?

— Нет, не трогай это ведро...

Но Борк уже зачерпнул ковшом воды и начал пить... Однако в горле его по-прежнему оставалось сухо, вода почему-то не утоляла жажду.

— Что это за вода такая? — спросил Борк.

Чародей со вздохом сел.

— В том-то и дело, дружище Борк. Как ты думаешь, почему король не зовет меня помочь ему на войне? Потому что все знает. Теперь и ты знаешь, а к четвергу, как говорят, и весь свет будет знать.

— Выходит, ты ничего не смыслишь в магии?

— Не мели глупостей! Никто не может превзойти меня в волшебстве! Стоит мне шелкнуть пальцами, и ты увидишь таких чудовищ, что твой дракон покажется тебе похожим на ручную зверюшку! Я могу сотворить роскошный стол, уставленный яствами, и при виде него любой повар позеленеет от зависти. Я могу наполнить пустое ведро чем пожелаешь: водой, вином, золотом. Но попробуй расплатиться этим золотом, и тебя назовут мошенником и прибьют. Зачерпни созданной мною воды, и умрешь от жажды.

— Стало быть, все это... ненастоящее?

— Именно. Иллюзия. Правда, иногда очень искусная, но все равно иллюзия. Магия заставляет тебя видеть то, чего на самом деле нет. Например, воду в этом ведре.

Чародей шелкнул пальцами. Борк заглянул в ведро и не увидел там ничего, кроме пыли и паутины. Он ошеломленно завертел головой. Жилище чародея вдруг стало совсем другим: исчезла безукоризненная чистота, исчезли полки с книгами и диковинные предметы. В углу стоял колченогий стол, на котором лежало несколько книг. Два-три грубо сколоченных стеллажа были забиты запыленными пергаментными свитками и полусгнившими объедками; ноги по щиколотку утопали в мусоре.

— Жуткое зрелище, — произнес чародей. — Для меня оно просто невыносимо.

Он еще раз шелкнул пальцами и вернул иллюзию.

— Так куда лучше, верно?

— Верно, — согласился Борк.

— Скажу без хвастовства: у меня изысканный вкус. Итак, ты просишь помощи, чтобы одолеть дракона. Увы, я бессилен тебе помочь. Мои иллюзии действуют только на людей, иногда на лошадей, но дракона не одурачат ни на миг. Понимаешь?

Борк понял, и ему стало еще горше.

Он вернулся в свою лачугу, подбросил дров в очаг и принялся смотреть на пляску огня.

Нет, великан не отказался от мысли сразиться с драконом, но теперь знал, что ему нечем одолеть чудовище, и понимал, что наверняка погибнет. Что ж, лучше умереть, чем жить Трусом Борком, Задирой Борком, смелым лишь с теми, кто послабей.

Зима в тот год выдалась необычно суровой и снежной. К февралю у всех кончились дрова, а холода и не думали отступать.

Крестьяне (которые теперь именовались королевскими крестьянами) отправились в замок просить помощи. Но король и сам страдал от холода, а его рыцарям приходилось спать вповалку в большом зале, где было теплее.

— Ничем не могу вам помочь, — развел руками король.

Оставалось одно — идти в лес за дровами. И тут люди вспомнили про Борка.

Великан выбрал десяток самых сильных и крепких мужчин, велел им одеться потеплее и повел в лес. Сам Борк шагал впереди, протаптывая путь. Несмотря на теплую одежду, мороз и ветер пробирали дровосеков до костей, но вскоре их согрела работа.

Борк валил одно дерево за другим, крестьяне ему помогали, и все-таки великан успевал обернуться быстрее других: он семь раз возвращался в деревню и переташил туда большую часть заготовленных дров. Замок он не потрудился снабдить дровами, но, когда в крестьянских дворах появились высокие поленницы, королевские слуги сами пожаловали в деревню и забрали часть дров в счет податей.

Борк отличался могучим здоровьем, но после похода в зимний лес не выдержал и слег.

Его выхаживали всей деревней. Великан лежал, надрывно кашляя, и крестьяне всерьез перепугались, что он умрет. Только теперь до них дошло, сколь многим они обязаны этому человеку.

Именно он спас их от зимней стужи, а сколько он помогал им в нелегком крестьянском труде! Разбойники и иные любители легкой поживы давно обходили деревню стороной, зная, что тут живет Борк. И в сердцах людей проснулась благодарность.

Борка благодарили и раньше, в графском замке, но то были жалкие крохи в сравнении с искренней благодарностью односельчан. Наверное, эти слова и поставили Борка на ноги. А потом у дверей его лачуги стали появляться подарки: то аккуратно ободранный, выпотрошенный кролик, то полдюжины яиц, то теплые шерстяные чулки или нож по руке. Внешне односельчане оставались такими же, какими были: скупыми на слова и необщительными, но их подарки говорили сами за себя.

Весной Борк снова помогал с пахотой и севом и наконец-то чувствовал себя среди людей своим. Он понял, что в замке, среди рыцарей, он навсегда остался бы чужаком, поэтому больше не грустил о бесшабашных рыцарских пирушках. Тяжелый крестьянский труд, где сразу становилось видно, кто чего стоит, объединял людей крепче, чем пир за одним столом. И Борк перестал чувствовать себя одиноким.

Но к концу дня он возвращался в свою лачугу, разводил огонь — и в языках пламени вновь видел драконьи глаза.

Они все настойчивей призывали его, и теперь уже не одиночество толкало Борка в бой. Но что тогда? Гордость? Она была неведома Борку; он смирился с приговором королевской свиты, объявившей его трусом. Быть может, он до сих пор любил Брунгильду и хотел вызволить ее из лап дракона? Но чем больше Борк пытался убедить себя в этом, тем меньше в это верил.

Борк считал, что должен был погибнуть в битве с драконом, дарованная чудовищем жизнь тяготила его. Возможно, односельчане теперь и любили его, но сам Борк ненавидел себя за трусость.

Он уже собрался отправиться на битву с драконом, когда к королевскому замку подошла внушительная армия.

— Сколько их? — спросил Мигуна король.

— Мои лазутчики разошлись в своих оценках, — ответил тот. — Но, думаю, никак не меньше двух тысяч.

— А у нас в замке от силы полторы сотни воинов. Придется звать на подмогу моих графов и герцогов.

— Ваше величество, вы, должно быть, не поняли. Графы и герцоги как раз и стоят под стенами вашего замка. Это — не вражеское вторжение, это бунт.

Король побледнел.

— Да как они посмели?!

— Очень просто. Они заметили, что Борка среди ваших рыцарей больше нет. Пошли слухи, что вы выгнали этого великана, и графы и герцоги навестили уши. Сперва все подумали, что это только слухи. Но когда вести подтвердились, знать решила свергнуть вас и вернуть старого короля.

— Измена! — закричал король. — А где же верность, в которой они мне клялись?

— Я остался вам верен, — заверил Мигун.

Отчасти он говорил правду. Однако Мигун успел связаться и с мятежниками — на тот случай, если им удастся свергнуть короля.

— Неужели ничего нельзя поделать? — в отчаянии спросил король.

— Нужно опровергнуть слухи. В этом — единственная ваша надежда. Противники должны убедиться, что Борк по-прежнему сражается на вашей стороне.

— Но ведь это не так. Я прогнал его два года назад. Даже дракон — и тот не захотел связываться с жалким трусом Борком.

— По-моему, нужно вернуть Борка. Если вы этого не сделаете, мятежники захватят замок. Мои лазутчики донесли, что во вражеском стане уже всюду обсуждают, на сколько кусков вас разрежут перед смертью.

Король медленно повернулся и в упор посмотрел на Мигуна. В глазах правителя горел гнев, но вскоре утас.

— Думаю, после того, как мы обошлись с Борком, вернуть его будет нелегко, — сказал король, пристально глядя на своего советника.

— Совершенно верно, ваше величество.

— Поэтому этим займешься ты. Не мне же самому с ним объясняться! Именно ты вернешь Борка в армию.

— Я не могу! Борк ненавидит меня, и в этом нет ничего удивительного, ведь я столько раз его предавал.

— Даю тебе полдня, Мигун, чтобы вернуть его в замок, или... или я пошлю твои потроха заговорщикам, с которыми ты снюхался за моей спиной.

Мигун постарался сохранить невозмутимый вид, но слова короля застали его врасплох. Значит, король узнал-таки о его тайных переговорах! Значит, государь не такой уж простак, каким кажется.

— И на всякий случай я отправлю с тобой четырех рыцарей.

— У вас нет оснований мне не доверять, ваше величество,— кое-как взяв себя в руки, сказал Мигун.

— Надеюсь. А теперь иди и докажи свою верность делом. Убеди Борка вернуться, и твоя голова останется цела.

Четверо рыцарей окружили Мигуна и повели к лачуге Борка, однако внутрь вошел он один.

— Здравствуй, дружище,— произнес Мигун, стараясь говорить как можно искренней.

Борк, молча сидевший возле очага, по-прежнему смотрел в огонь.

— Послушай, ты ведь не из тех, кто таит обиды.

Борк плюнул в очаг.

— Тебе не на что обижаться,— продолжал Мигун.— Наверно, ты считаешь нас неблагодарными? И скажешь, что мы жестоко с тобой обошлись? Кое в чем ты прав. А кое в чем сам же и виноват. Это не наша вина, что в битве с драконом ты струсил. Верно?

— Верно, Мигун. Но армия пришла сюда не по моей вине. Просто я проиграл свою битву, а ты — свою.

— Борк, мы с тобой дружим с трех лет...

Борк вдруг вскинул голову. Лицо великана, ярко освещенное пламенем очага, было таким суровым, что Мигун не осмелился продолжать.

— Два года назад я заглянул в глаза дракону и узнал, каков ты на самом деле,— сказал Борк.

Мигун не знал, правда это или нет, но ему стало не по себе. И все же королевский советник тоже обладал

мужеством, только иного рода. Когда Мигун мог извлечь из своей смелости прибыль, он становился храбрым. А сейчас на кону стояла его жизнь.

— И каков же я на самом деле? Тебе только показалось, что ты узнал обо мне все. А еще подумай, Борк, когда это случилось? Два года назад? Человек меняется ежедневно, и сейчас я уже не тот, каким был раньше. И ты сейчас уже не тот, и ты нужен королю.

— Да какой он король? Мелкий граф, заполучивший трон благодаря мне. Мне на него плевать.

— Но ты нужен и твоим бывшим соратникам. Неужели тебе и на них тоже плевать?

— Хватит им прятаться за моей спиной. Пусть в кои-то веки повоюют сами.

Мигун застыл в растерянности. За два года Борк и в самом деле сильно изменился, прежние уловки с ним больше не годились.

Пока Мигун уговаривал великана, рыцари схватили деревенского мальчишку, шатавшегося возле жилища Борка: им показалось, что парень появился здесь неспроста.

Рыцари грубо втолкнули мальчугана в лачугу, и один из них сказал Мигуну:

— Должно быть, это вражеский лазутчик!

Тут Борк впервые засмеялся.

— Лазутчик? Ладно, рыцари его не знают, но ты-то, Мигун, вырос в этой деревне. Иди сюда, Лэгги.

Мальчишка торопливо подошел к Борку — рядом с ним он чувствовал себя увереннее.

— Лэгги — мой друг и, наверное, пришел ко мне по делу. Верно?

Мальчишка молча вытащил из-за пазухи рыбу. Она была не ахти какой большой, и, судя по мокрой чешуе, Лэгги поймал ее недавно.

— Ты сам ее поймал? — спросил Борк.

Парень кивнул.

— А сколько всего рыб ты наловил сегодня?

Лэгги показал на ту, которую он принес.

— Всего одну? Тогда я ее не возьму. Отнеси домой, вам она пригодится.

Борк попытался вернуть подарок, но Лэгги попятился, не желая брать.

— Это тебе,— наконец выговорил мальчишка и выско-
чил вон.

Теперь Мигун знал, как вернуть Борка в армию.

— Твои односельчане,— пробормотал он.

Борк недоуменно посмотрел на него.

Мигун чуть было не выпалил: «Если ты не вернешься, мы сожжем деревню дотла, убьем всех детей, а взрослых продадим в рабство!» — но что-то удержало его от этих слов. Может, память о деревенском детстве? Нет, Мигун никогда не обманывал себя и знал, что его удержало совсем другое. Он представил, как сэр Борк идет в бой не во главе королевской армии, а во главе армии мятежников, как он проламывает ворота, как потом раздвигает прутья решетки... Сейчас не время угрожать великану!

Мигун решил испытать другой способ.

— Борк, если ты не вернешься в армию, мятежники обязательно победят. И неужели ты думаешь, что, захватив замок, они на том успокоятся? Думаешь, они пощадят твою деревню? Зря надеешься. Они будут вести себя так, как всегда ведут себя завоеватели: жечь дома, насиловать женщин, убивать детей и стариков, угонять мужчин в рабство. Они ненавидят нас всех, не только короля и рыцарей. Королевские крестьяне тоже им ненавистны, и если ты откажешься помочь, твои односельчане погибнут. И кто будет в этом виноват?

— Я сумею их защитить,— угрюмо произнес Борк.

— Нет, мой друг. Если ты не станешь сражаться как один из рыцарей короля, мятежники не отнесутся к тебе по-рыцарски. Они утыкают тебя стрелами, даже близко не подпустив.

Мигун понял, что добился своего. Борк еще обдумывал его слова, но королевский советник мог больше не волноваться за свою шкуру. Он исполнил повеление короля.

Наконец Борк молча встал и пошел в замок. Там он облачился в свои старые доспехи, взял боевой топор и щит и прицепил к поясу меч. В полном облачении Борк вышел во внутренний двор замка. Рыцари при виде его раз-

разились приветственными криками, как будто увидев лучшего друга. Но их радость была фальшивой, и они сами это знали. Борк даже не повернул в их сторону головы, и рыцари быстро смолкли.

И вот ворота замка открылись, выпустив Борка, а за ним последовала армия короля.

В стане мятежников поднялся переполох. Слухи оказались ложными: великан Борк по-прежнему сражался за короля. Мятежники поняли, что обречены, и большинство из них бежали в лес. Но некоторые все же остались на поле битвы, как и все зачинщики мятежа, понимая, что король не помилует их, даже если они сдадутся. Выстоять против Борка они не надеялись, и все же решили доблестно погибнуть, а не умереть смертью трусов. Поэтому когда Борк приблизился к их позициям, его встретила армия, хоть и малочисленная.

Мятежники выходили навстречу Борку по одному, как рыцари, отправлявшиеся сражаться с драконом, но не успевали взмахнуть мечом, как их поражал топор Борка, и головы летели с плеч, падали окровавленные разрубленные тела. Руки великана покраснели от крови: Борк умертвил не меньше дюжины врагов, а сам не получил ни царапины.

Мятежники, как отчаявшиеся звери, стали бросаться на противника по трое, по четверо, но все равно находили свою смерть. А когда они устремились на Борка всем скопом, толчей и неразбериха только помогли ему расправиться с врагами еще быстрее.

Положение мятежников становилось все отчаяннее. Доблестное сражение, на которое они рассчитывали, обернулось скотобойней. Когда число убитых достигло полусотни, мятежники сложили оружие и сдались на милость короля.

Теперь для короля наступило время выехать на поле битвы и не спеша, как и подобает победителю, проехаться перед пленными.

— Все вы будете казнены, и немедленно, — провозгласил король.

И вдруг понял, что его стаскивают с лошади, и увидел громадные ручищи Борка, сплошь измазанные кровью.

Борк вытер окровавленные руки о королевскую мантию, но его ладони остались липкими. И этими ладонями Борк обхватил королевское лицо.

— Никто из пленных не умрет ни сегодня, ни завтра. Вы сохраните им жизнь. Вы позволите им вернуться домой и уменьшите дань. Пусть живут в мире.

Король ясно представил, как его кровь смешается с кровью убитых Борком мятежников, и торопливо кивнул. Борк разжал ладони.

Король снова уселся на лошадь и громогласно произнес:

— Я передумал. Я всех прощаю и дарую всем свое королевское помилование. Можете возвращаться домой. Я не буду отбирать ваши земли, больше того, с этого дня ваши подати уменьшатся вдвое. Ступайте с миром, и если кто-нибудь осмелится причинить вам зло, он поплатится жизнью.

Мятежники стояли, не шелохнувшись. Тогда Борк закричал:

— Что стоите? Король объявил свою волю — вы свободны! Отправляйтесь же по домам!

И тогда мятежники разразились ликующими криками. Не умолкая, они кричали здравицы в честь короля и прославляли Борка.

Но Борк ничего им не ответил. Он просто снял доспехи, бросил на землю, вымыл топор в ближайшем ручье, после чего тщательно вымылся сам.

Обсохнув на ветру, Борк зашагал на север, хотя король и рыцари что-то кричали ему вслед. Великан больше не думал ни о короле, ни о рыцарях — он думал только о драконе, который поджидал его на вершине каменистого холма. Былое поражение не давало Борку покоя, и он решил смыть наконец с себя этот позор. Больше он никогда никого не убьет — он храбро закончит жизнь, растерзанный когтями и зубами дракона.

На обочине Борк вновь увидел ту же старуху.

— Что, хочешь убить дракона? — спросила она.

Ее голос стал еще более скрипучим.

— Мало тебе было первого урока?

Она ехидно засмеялась, глядя на Борка из-под руки.

— Нет, старуха, тогда я все понял. А теперь я собираюсь просто умереть.

— Зачем? Чтобы эти дурни в замке называли тебя храбрецом?

Борк молча покачал головой.

— Односельчане и без того тебя любят, — продолжала старуха. — А о том, что ты совершил сегодня, будут сочинять баллады. Раз ты не ищешь ни любви, ни славы, зачем ты идешь в бой?

Борк пожал плечами.

— Не знаю. Похоже, дракон меня зовет. Я достаточно пожил и устал видеть в огне очага его глаза.

— Ну что ж, — кивнула старуха. — Думаю, ты будешь первым рыцарем, чье появление не доставит дракону радости. Можешь поверить, ведь я кое-что смыслю в драконах. Но ты, Борк, должен сказать ему правду.

— Я еще ни разу не видел, чтобы правда остановила меч, — возразил Борк.

— У дракона нет меча.

— Тогда не было, а теперь, может, есть.

— Нет, Борк, — прокудахтала в ответ старуха. — Ты сам знаешь, что нет. Вспомни-ка, чем больнее всего тебя ранил дракон?

Борк попытался вспомнить... Но ведь дракон не нанес ему ни одной раны, ни зубами, ни когтями. Только смял его доспехи, но сам Борк остался цел и невредим. И все же дракон нанес ему глубокую, незаживающую рану — он ранил Борка ярким пламенем своих глаз.

— Ему нужна правда, — продолжала старуха. — Скажи дракону правду, и ты останешься в живых!

Борк покачал головой.

— Я иду не за тем, чтобы остаться в живых.

Оттолкнув старуху, он пошел дальше.

Но ее слова еще долго звучали в ушах великана. Значит, он должен сказать дракону правду? А почему бы и нет? Если дракон узнает правду, может, она ему пригодится.

На этот раз Борк не спешил — не забывал хорошенько выспаться, а поскольку не взял в дорогу еды, иногда сворачивал в лес, чтобы собрать ягод и диких плодов.

Через четыре дня он добрался до мест, где жил дракон. Ночью Борк хорошо выспался, а ранним утром подошел к знакомому холму. Борку было страшно, как и в прошлый раз, однако теперь предстоящая встреча с драконом не только пугала, но и будоражила его. Борк чувствовал, что конец его близок, и радовался этому.

Здесь все осталось по-прежнему: дракон ревел и рычал, Брунгильда душераздирающе вопила. Поднявшись на вершину холма, Борк увидел, что дракон шекочет Брунгильду крылом. Великана почти не удивило, что за минувшие два года Брунгильда ничуть не изменилась: ее платье было все так же расстегнуто, обнаженную грудь по-прежнему опаляло солнце и обдувал ветер, но ее кожа не обветрилась и не загорела. Борку показалось, что он сражался с драконом лишь вчера, и он с улыбкой вышел на знакомое плоское горье.

Первой его заметила Брунгильда.

— Помоги мне! Ты будешь четыреста тридцатым рыцарем, решившим меня освободить. Это воистину счастливое число.

И тут она узнала Борка.

— А, это опять ты. Ну что ж, пока дракон сражается с тобой, я хоть отдохну от шекотки.

Борк ничего не ответил — он пришел сюда для того, чтобы сразиться с драконом, а не для того, чтобы освободить Брунгильду.

Дракон равнодушно взглянул на Борка.

— Мне пора спать, а ты мне мешаешь.

— Рад слышать, — ответил Борк. — Ведь ты уже два года мешаешь мне и спать, и бодрствовать. Помнишь меня?

— Конечно, помню. Ты — единственный рыцарь, который меня испугался.

— Ты и в самом деле в это веришь?

— Не важно, верю я или нет. Хочешь убить меня?

— Едва ли я смогу это сделать, — ответил Борк. — Ты куда сильнее, а я не знаю даже, как сражаться с равным по силе. Самые сильные из моих противников были вдвое слабее меня.

Огоньки в драконьих глазах вспыхнули ярче. Дракон, сощурившись, внимательно посмотрел на Борка.

— Неужели? — спросил он.

— Да. И особым умом я не отличаюсь. Не успею я что-нибудь придумать, как ты уже угадаешь мои мысли.

Дракон сощурился сильнее, глаза его вспыхнули еще ярче.

— И ты не хочешь вызволить эту красавицу? — спросил он.

— Мне она больше не нужна,— ответил Борк.— Когда-то я любил ее, но то было давно. А сейчас я пришел, чтобы сразиться с тобой.

— Так ты ее больше не любишь? — спросил дракон.

Борк чуть было не ответил: «Нисколько», но вовремя прикусил язык. Он вспомнил слова старухи: дракону нужно говорить правду.

Борк постарался заглянуть в свою душу и понял: хотя дракон когда-то показал ему истинную сущность Брунгильды, прежние чувства не желали легко умирать.

— Я люблю ее, дракон. Но из этого ничего не выйдет, потому что она не любит меня. Страсть к ней еще живет в моем сердце, но я не стану домогаться ее.

Брунгильда слегка обиделась.

— Впервые в жизни слышу такую чушь,— капризно сказала она.

Но Борк не обратил на нее внимания: он не сводил взгляда с дракона, глаза которого теперь пылали ослепительным светом. Дракон так сильно сощурился, что Борк подумал — а видит ли он что-нибудь сквозь эти щелочки?

— Что, глаза болят? — спросил Борк.

— Думаешь, ты вправе меня расспрашивать? Вопросы здесь задаю я.

— Тогда спрашивай.

— Скажи, о чем я больше всего хочу у тебя узнать?

— Трудный вопрос,— ответил Борк.— Я ведь мало в чем смыслу, а тому немногому, что сумел узнать, научился у тебя.

— У меня? И чему же ты научился?

— Я узнал, что меня никто не любит. Те, в чьей любви я не сомневался, на самом деле лгали. Еще я узнал, что, хотя я большой и сильный, у меня мелкая душа.

Дракон мигнул, огонь в его глазах слегка потускнел.

— Ах, — вздохнуло чудовище.

— Почему ты вздыхаешь? — удивился Борк.

— Просто так. Неужели каждый вздох должен что-нибудь значить?

Брунгильда вся истомилась в ожидании битвы.

— Долго вы еще будете вести пустые разговоры? Рыцари, которые раньше сюда приходили, бились достойно, сколько в них было мужества и отваги! А ты, Борк, просто стоишь перед драконом и болтаешь о том, какой ты несчастный. Почему ты не начинаешь сражение?

— Ты хочешь, чтобы я поступил как другие рыцари? — спросил Борк.

— Да. Вот это настоящие храбрецы! — воскликнула Брунгильда.

— Они были храбрецами, а стали мертвецами.

— Только трус может так говорить, — сердито бросила она.

— Я и есть трус, — ответил Борк. — Все это знают. Как ты думаешь, почему я сюда пришел? Потому что от меня никакого проку. Кто я такой? Да просто безмозглый чурбан, способный лишь убивать людей по приказу короля, которого терпеть не могу.

— Не забывай, ты говоришь о моем отце! — возмутилась Брунгильда.

— От меня никакого проку. Если я погибну, всем будет только лучше.

— Тут я с тобой согласна.

Но Борк не слушал Брунгильду — кончик хвоста дракона вдруг прикоснулся к его плечу. Глаза дракона больше не пылали ослепительным светом, они почти погасли, но когтистая лапа потянулась к Борку.

Борк взмахнул топором, дракон увернулся — и сражение началось.

Как и в прошлый раз.

И так же, как в прошлый раз, под вечер дракон схватил Борка.

— Ты боишься смерти? — спросил дракон.

Этот вопрос он уже задал Борку два года назад.

Борк чуть было не ответил: «Боюсь», как и в прошлый раз, ведь этот ответ тогда спас ему жизнь. Но потом он вспомнил, зачем сюда пришел. Он заглянул в свое сердце и увидел: хоть его и страшит смерть, жизнь страшит его куда больше.

— Я пришел сюда, чтобы умереть,— сказал Борк.— Я по-прежнему этого хочу.

Глаза дракона загорелись, и Борк почувствовал, что когти, которые его держали, слегка ослабили хватку.

— Что ж, сэр Борк, я не могу оказать тебе эту услугу. Я не могу тебя убить.

И дракон отпустил его.

Борк не на шутку рассердился.

— Ты обязан меня убить! — закричал он.

— Это еще почему? — спросил дракон.

Словно забыв о Борке, он крошил лапами камни.

— Я хочу умереть от твоих когтей!

— У тебя нет на это права. Умереть таким образом — особая честь,— возразил дракон.

— Если ты меня не убьешь, я убью тебя!

Дракон зевнул со скучающим видом, но Борк не собирался отступать. Его топор вновь засвистел в воздухе, и дракону пришлось уворачиваться.

Сражение продолжалось в малиново-красных лучах предзакатного солнца. Но теперь дракон даже не пытался убить Борка, а лишь не подпускал его близко. Наконец великан выбился из сил; на душе его было скверно.

— Почему ты не сражаешься? — хрипло дыша, крикнул он дракону.

Дракон тоже порядком устал.

— Послушай, человечек, почему бы тебе не оставить эту затею и не вернуться домой? Я выдам тебе грамоту, в которой удостоверю, что сам попросил тебя уйти. Тогда уже никто не назовет тебя трусом. Уходи, оставь меня в покое.

Дракон раздробил несколько камней, лег и стал зарываться в крупный песок.

— Эй, дракон,— не уступал Борк.— Совсем недавно я был у тебя в зубах и ты хотел меня убить. Старуха гово-

рила, что моя единственная защита — правда. Должно быть, я тебе соврал. Но когда и в чем? Объясни!

Дракон сердито поглядел на Борка.

— Она не имела права рассказывать тебе эти секреты. Они — для избранных.

— И в прошлый раз, и сегодня я говорил тебе только правду.

— Ты уверен?

— Значит, я в чем-то солгал? Да или нет? Отвечай!

Дракон отвел глаза. Огонь в них снова горел. Дракон поудобнее улегся на спину и стал сыпать себе на брюхо песок.

— Значит, солгал. Ну что я за дурень? Собираюсь говорить только правду, а вместо этого лгу!

Неужели глаза дракона опять померкли? Неужели и в последних словах Борка таилась ложь?

— Слушай, дракон, — не унимался великан, — если ты меня не убьешь или я не убью тебя, я брошусь со скалы. Какой смысл жить, если я даже недостойн умереть от твоих когтей?

Глаза дракона и в самом деле тускнели; чудовище перевернулось на живот и задумчиво уставилось на Борка.

— Когда именно я сказал ложь? — настаивал тот.

— Ложь? Разве я упрекнул тебя во лжи? — удивился дракон, но хвост его стал подбираться к Борку.

И вдруг Борку пришла в голову странная мысль. Похоже, дракон, как и Борк, — узник правды и своего внутреннего огня. Значит, чудовище не дразнит человека и не забавляется с ним. Но теперь Борку было уже все равно.

— Знаешь, мне больше не хочется доискиваться, где правда и где ложь. Убей меня, и всем станет легче дышать.

Глаза дракона погасли, когтистая лапа взметнулась в воздух и замерла возле лица Борка.

«С ума сойти! Понимать, что в твоих словах прячется ложь, но не знать, где именно ты солгал», — подумал Борк.

Хорошо, что он решил больше не допытываться.

— Убей меня, дракон. Лучше закончить столь никчемную жизнь, — сказал он. — Я так глуп, что даже умереть достойно не могу.

Драконьи когти слегка царапнули Борка.

— Скажи, человечек, ты боишься смерти? — в третий раз спросил дракон.

Борк понял, что сейчас все зависит от его ответа. Чтобы умереть, он должен солгать дракону, потому что если он скажет правду, дракон снова его отпустит. Но чтобы солгать, надо точно знать, что считать правдой, а тут Борк совсем запутался. Он попытался вспомнить, где именно мог солгать, но так и не вспомнил.

Снова и снова он перебирал в памяти свои слова. Назвав себя недотепой, он сказал правду, ведь он и впрямь недотепа. И то, что он не может умереть достойно, тоже правда. Тогда в чем же он солгал?

Что он еще сказал? Что его жизнь не имеет смысла. Но разве это ложь? Он сказал, что после его смерти всем станет легче дышать. Неужели это — ложь?

Борк задумался: а что случится после его смерти? Разве миру станет от этого хуже? Если кого и огорчит его смерть — только его односельчан. Значит, помогать односельчанам и было смыслом его жизни?

Теперь Борк знал, как солгать.

— Если я умру, даже мои односельчане не будут горевать. Они прекрасно справятся и без меня.

Но драконьи глаза вспыхнули, и чудище отодвинулось.

Борк тяжело вздохнул. Значит, он сказал правду: если он умрет, односельчане горевать не будут. Эта мысль заставила его сердце больно сжаться. Еще одно, последнее предательство в длинной цепи предательств.

— Дракон, я не могу тебя перехитрить. Я совсем запутался и уже не знаю, где правда, а где ложь! Значит, меня никто не любит, и я ошибался, думая, что хотя бы моим односельчанам будет небезразлична моя смерть. Не задавай мне больше вопросов! Просто убей — и дело с концом. Когда ты заставляешь меня видеть правду, все мои радости оборачиваются страданиями.

Борк думал, что теперь говорит сухую правду, но страшные когти вонзились в его тело, а длинные зубы приготовились разорвать ему горло.

— Дракон! — закричал Борк. — Я не хочу умирать вот так! Осталось ли хоть что-то светлое в моей жизни, есть ли

хоть что-то, что твоя безжалостная правда не превратила в страдание? Что ты мне оставил?

Дракон пристально посмотрел на Борка.

— Человек, я ведь уже сказал: я не отвечаю на вопросы, а только их задаю.

— Но я все равно спрошу. Скажи, зачем ты здесь? Все плоскогорье усеяно костями тех, кто не выдержал твоих испытаний. Но почему там нет моих костей? Почему? Почему я не могу умереть? Почему ты все время меня щадишь? Я — обычный смертный. Я из всех сил старался совершить что-то достойное, но меня уже мутит от тщетных попыток распознать, где правда, а где ложь. Кончай эту игру, дракон. Я никогда не был счастлив и теперь хочу умереть.

Глаза дракона потемнели, он разинул пасть с длинными зубами. Борк понял, что снова солгал. С него довольно!

Но драконьи зубы были так близко, что Борк начал думать быстрее, чем обычно, и наконец-то понял, что такое ложь. Открытие было столь поразительным, что великан раздумал умирать.

— Нет! — крикнул он, схватившись за драконьи зубы, хотя они резали его пальцы. — Нет, — повторил Борк, слезы хлынули из его глаз. — Я все-таки был счастлив. Был!

Борк не замечал, что по его рукам течет кровь, — на него нахлынули воспоминания. Он вспомнил, как радовался, пируя по вечерам с королевскими рыцарями. Как приятно было ощущать усталость после работы в поле или в лесу. А разве можно забыть, как счастлив он был, победив в одиночку армию герцога? У Борка потеплело на душе, когда он вспомнил, как Лэгги принес ему рыбу. Он лгал дракону — каждый его день был полон маленьких радостей. Борк понял, как ему было радостно ложиться спать и вставать, ходить и бегать. Жарким летним днем он радовался прохладному ветерку, холодной зимой — теплу очага. То были настоящие радости. И дружба с рыцарями тоже была настоящей, хотя потом они и предали его. И любовь односельчан была настоящей. Неужели для него так важно, чтобы его помнили после смерти?

Борк понял, что пережитые боль и горечь не могут уничтожить радость. В его жизни было и то и другое; да, темных

полос хватало, но случались и светлые. И, возможно, светлых было даже больше.

— Я знаю, что это такое — быть счастливым,— сказал Борк.— Если ты оставишь мне жизнь, я снова буду счастлив. Я нашел смысл жизни, теперь я говорю правду. Слышишь, дракон? Я живу, в этом и есть смысл. Не так уж важно, радуюсь я или горюю, главное — я живу. Это правда! Я пришел сюда не для того, чтобы сражаться с тобой и погибнуть от твоих зубов. Я пришел, чтобы постичь смысл жизни и продолжать жить!

Дракон молча опустил Борка на землю, отодвинулся и свернулся клубком, прикрыв лапами глаза.

— Дракон, ты слышишь?

Дракон не ответил.

— Эй, посмотри на меня!

— Человек, я не могу на тебя посмотреть,— вздохнул дракон.

— Почему?

— Ты ослепляешь меня,— ответило чудовище.

Он опустил лапы, и теперь Борку пришлось закрыть глаза руками, ибо драконьи глаза сверкали ярче солнца.

— Я боялся тебя, Борк,— прошептал дракон.— В тот день, когда ты признался, что боишься меня, я сам испугался. Я знал, что ты вернешься и этот миг наступит.

— Какой миг?

— Миг, когда я умру.

— Ты умираешь?

— Еще нет,— ответил дракон.— Но ты должен меня убить.

Борк оглядел распростертого на камнях дракона. Ему больше не хотелось проливать ничью кровь.

— Я не хочу тебя убивать.

— Разве ты не знаешь, что ни один дракон не может жить после того, как встретит по-настоящему честного человека? Быть честным — единственный способ убить дракона. Но честные люди встречаются крайне редко, поэтому большинство драконов живут вечно.

Борк вовсе не хотел убивать дракона, но чудовище вдруг вскрикнуло, словно от невыносимой боли:

— Как ты не понимаешь? Во мне горит правда, которую отвергли рыцари. Приходя сюда, они цеплялись за свою ложь и ради нее умирали. Я все время страдаю от боли, которую причиняет мне правда. И вот наконец я встретил человека, сумевшего распознать собственную ложь. И что же? Ты обращаешься со мной еще более жестоко, чем те рыцари!

Дракон заплакал, из его пылающих глаз покатились горячие слезы.

Не в силах смотреть на страдания дракона, Борк схватил топор и отрубил ему голову. Огонь в глазах дракона сразу погас, а сами глаза становились все меньше, пока не превратились в два сверкающих бриллианта, в каждом из которых было по тысяче граней. Борк поднял драгоценные камни и спрятал в карман.

— Ты все-таки его убил, — сказала восхищенная Брунгильда.

Борк не ответил.

Он молча отвязал красавицу и отвернулся, чтобы та могла застегнуть платье. Потом взвалил драконью голову на плечо и зашагал домой. Чтобы не отстать от Борка, Брунгильде приходилось бежать. Так они шли целый день, и только поздно вечером, уступив мольбам Брунгильды, Борк сделал привал. Принцесса попыталась поблагодарить его за вызволение из плена, но Борк отвернулся, не желая слушать. Он убил дракона лишь потому, что тот хотел умереть. Только поэтому, а не из-за Брунгильды. Ради принцессы Борк ни за что не стал бы проливать чужую кровь.

Через несколько дней они добрались до владений короля. Их встретили радостными криками, но Борк не вошел в замок. Он положил возле рва отрубленную голову дракона и, перебирая бриллианты в кармане, зашагал в свою лачугу.

На дворе уже стояла ночь, и в его жилище было темно, но Борк вынул бриллианты, и они засветились ярким внутренним светом.

Не успел Борк как следует насладиться этим зрелищем, как в его лачугу явились король, Мигун, Брунгильда и с десяток рыцарей.

— Я пришел тебя поблагодарить,— сказал король, по щекам которого текли слезы радости.

— Не за что, ваше величество,— ответил Борк, надеясь, что непрощенные гости уйдут.

— Борк,— продолжал растроганный король.— Убийство дракона — подвиг, который по храбрости десятикратно превзошел все твои былые деяния. Теперь ты вправе просить руки моей дочери.

Борк удивленно посмотрел на короля.

— А я-то думал, ваше величество, что вы и не собирались выполнять свое обещание.

Король на миг отвел глаза, потом посмотрел на Мигуна и снова перевел взгляд на Борка.

— Как видишь, ты ошибся. Я верен своему слову. Брунгильда здесь, поэтому мы можем решить все без лишних проволочек.

Борк только улыбнулся, лаская лежащие в кармане бриллианты.

— С меня довольно того, что вы сдержали слово, ваше величество. Но я не стану просить руки Брунгильды. Пусть выходит замуж за того, кого любит.

Король был ошеломлен. За годы плена красота Брунгильды ничуть не увяла, из-за таких красавиц нередко вспыхивали целые войны!

— Неужели ты не хочешь награды за свой подвиг? — спросил король.

Борк долго думал и наконец сказал:

— Хочу. Подарите мне надел земли подальше отсюда. И пусть надо мной никто не будет властен: ни граф, ни герцог, ни король. И кто бы ко мне ни пришел: мужчина, женщина или ребенок — пусть на моей земле они будут избавлены от любых преследований. А еще я хочу, ваше величество, никогда больше с вами не встречаться.

— И это все, о чем ты просишь?

— Все.

— Что ж, будь по-твоему,— сказал король.

Остаток жизни Борк провел на той земле, что даровал ему король. Надел был не ахти какой большой, но Борку его вполне хватало. К нему стали приходить люди, чтобы

поселиться рядом; не очень много — по пять—десять человек в год. Так появилась целая деревня, с которой не взи-мали ни королевскую десятину, ни герцогскую пятую часть, ни графскую четверть.

Рождались и росли дети, не видевшие ни сражений, ни рыцарей, вообще не знавшие, что такое война. А по-скольку они не знали войны, они не знали и ужаса на лицах воинов, которых мучили не столько телесные, сколько душевные раны. Борк едва ли мог желать большего, по-этому был счастлив.

Мигун тоже достиг всего, о чем мечтал. Он женился на Брунгильде, и скоро оба королевских сына погибли от глупого несчастного случая. Прошло еще немного време-ни, и умер старый король, отравившись за обедом. Новым королем стал Мигун. Всю жизнь он воевал и всю жизнь плохо спал ночами, боясь, что к нему подойдут убийц. Он правил жестоко и беспощадно, и многие ненавидели его. Но новым поколениям, не видевшим и не знавшим его, он казался великим королем.

О Борке новые поколения вообще ничего не знали.

А Борк не успел прожить и нескольких месяцев, на-слаждаясь свободой, как к нему в хижину явилась немоло-дая сварливая женщина.

— И зачем тебе одному такой большой дом? — спра-сила она. — Ну-ка, потеснись.

Борк потеснился, и женщина поселилась в его хижине.

Чуда не случилось, сварливая женщина не преврати-лась в прекрасную принцессу. Она все время ворчала, бранилась и нещадно изводила Борка. Великан мог бы ее прогнать, но терпеливо сносил ее выходки, а когда спу-стя несколько лет ворчунья умерла, Борк понял, что она доставила ему больше радости, чем горя, и искренне опла-кивал ее смерть. Но горе не заслонило теплых и светлых воспоминаний. Он перебирал свои бриллианты и вспо-минал мудрую поговорку: «Горе и радость не взвешивают на одних весах».

Прошли годы, и Борк почувствовал приближение смер-ти. Смерть пожинала его, точно пшеничные колосья; по-едала, как ломоть хлеба. Смерть представлялась Борку

драконом, проглатывающим его по кускам, и однажды во сне он спросил у смерти:

— И каков я на вкус? Сладок?

Смерть — этот старый дракон — взглянула на Борка ясными понимающими глазами.

— Ты и соленый, и кислый, и горький, и сладкий. Ты обжигашь, словно перец, и успокаиваешь, как целительный напиток.

— А! — сказал довольный Борк.

Смерть потянулась к нему, чтобы проглотить последний кусочек.

— Благодарю тебя, — сказала смерть.

— Приятного аппетита, — ответил Борк, не солгав и на этот раз.

Принцесса и Медведь

Думаю, вы знаете, что в королевском дворце полным-полно львов. Мало того что они разлеглись по обе стороны трона,— львы встречают вас у ворот и беззвучно рычат с тарелок королевских сервизов. Даже концы водосточных труб выполнены в виде львиных голов, и во время дождя их разинутые пасти извергают потоки воды.

Львов полным-полно и в городе. А задумывались ли вы, почему над городскими воротами водружен медведь? С этим медведем связана одна история.

Слушайте...

Много-много лет назад в этом городе, во дворце, чьи серые гранитные стены вздымаются за обветшавшей оградой королевского сада, жила принцесса. Ее имя до нас не дошло: принцесса — и всё. Теперь принцессам не обязательно быть красавицами, поэтому среди них нередко попадаются долговязые, с лицами, похожими на лошадиные морды. Но в старину никому даже в голову не приходило, что принцесса может быть некрасивой, особенно если оденет свои лучшие наряды.

Однако принцесса, о которой я хочу рассказать, осталась бы красавицей даже в лохмотьях или самой простой одежде. Она родилась красивой и с каждым годом становилась все краше.

В том же самом дворце жил принц, но он не был братом принцессы. Он был сыном короля далекой-предалекой страны, и отец его приходился таким же дальним-предальним родственником здешнему королю. Мальчика

прислали сюда учиться, ибо король Этельред — отец принцессы — считался самым мудрым и справедливым королем в мире.

Принц был так же красив, как и принцесса, и каждой женщине хотелось обнять этого милого мальчика, а каждому мужчине хотелось взъерошить ему волосы.

Принц и принцесса росли вместе, вместе учились у придворных учителей. Они не соперничали в учебе, помогали друг другу отвечать и делать домашние задания. И у них не было друг от друга секретов, зато было множество общих тайн, которые они хранили от остального мира. Они знали, где в этом году устроила гнездо птичка синешейка. Они знали, какого цвета нижняя юбка у поварахи. А еще они знали, что под лестницей, ведущей в арсенал, есть небольшой подземный ход, и по нему можно попасть в винный погреб. Дети без конца гадали, кто из предков принцессы был любителем тайных возлияний.

Прошло не так уж много лет, и принцесса превратилась в прекрасную девушку, а принц стал прекрасным юношей. И тогда вместо множества детских секретов у них появился один, и они выдавали его всякий раз, когда глядели друг на друга. Старшие, особенно пожилые люди, при виде них говорили: «Ах, вот бы нам снова стать молодыми!» Почему-то многие убеждены, что любовь — привилегия молодости; когда такие люди перестают любить, они объясняют это тем, что стареют.

В один прекрасный день принц и принцесса решили пожениться.

Но на следующее утро принц получил письмо с родины, и там были печальные вести: умер его отец. Беззаботная юность кончилась, принцу нужно было думать не о женитьбе, а о возвращении домой. Его ждала корона.

А еще через день слуги собрали любимые книги принца, его любимые наряды и сложили все это в карету с ярко-красными колесами и золотыми кистями по углам. Потом принц сел в карету и уехал навстречу новой, взрослой жизни.

Пока карета не скрылась из виду, принцесса старалась не плакать. Потом ушла к себе, заперлась и долго-долго рыдала. Принцесса никого не хотела видеть, кроме старой

няньки, которая приносила ей еду, утешала, как могла, и развлекала своей болтовней. Наконец принцесса вновь начала улыбаться, а в один из вечеров пошла в отцовские покои, села у камина и сказала:

— Принц обещал писать каждый день. Значит, я тоже должна каждый день ему писать.

Итак, они с принцем ежедневно писали друг другу длинные письма, и раз в месяц королевский курьер привозил увесистый пакет с тридцатью письмами и увозил такой же увесистый пакет писем, источавших аромат любимых духов принцессы.

Через несколько месяцев после отъезда принца во дворец появился Медведь. Его имя не зря написано с большой буквы, ибо этот человек и впрямь походил на медведя. Ему было лет тридцать пять, в его темных волосах с золотистым отливом не было седины, но в уголках глаз виднелись маленькие морщинки; судя по огромным рукам и ногам, ему ничего не стоило взвалить на плечи лошадь и пройти с нею сотню миль. Из-под кустистых бровей сверкали глубоко посаженные глаза. Когда нянька принцессы впервые его увидела, она вскрикнула:

— Ну медведь медведем!

Впрочем, нянька увидела его не сразу — поначалу Медведя не хотели пускать во дворец, поскольку он не значился в списке приглашенных, да и вид у него был подозрительный. Медведь не смутился, он достал из кармана клочок бумаги, смахнул с него хлебные крошки (жирные пятна смахнуть не удалось) и свинцовым карандашом написал несколько слов, после чего весьма учтиво попросил передать записку королю. Королевский привратник брезгливо поморщился и нехотя крикнул пажу, чтобы тот отнес «это безобразие» его величеству.

Записка гласила: «Не желаете ли узнать, по какой дороге движется король Бэррис из Римперделла со своей пяти-тысячной армией?»

Король Этельред очень даже желал об этом узнать и распорядился, чтобы незнакомца провели к нему. Запершись с Медведем в своих покоях, король говорил с чужаком несколько часов подряд.

В ту ночь Этельред не сомкнул глаз, а едва начало светать, послал за командирами кавалерии, пехоты и королевской гвардии. Ранним утром, после трехчасового марша, немногочисленная армия Этельреда подошла к дороге на Римперделл. Огромный незнакомец что-то сказал королю, и король велел армии остановиться. Пехотинцам он приказал спрятаться в лесу, который тянулся вдоль дороги, а кавалеристам повелел спешиться и нырнуть в поле спелой пшеницы, что стояла по другую сторону дороги. Сам Этельред, незнакомец и королевские гвардейцы остались ждать врага.

Вскоре вдалеке показалось облако пыли и стало медленно приближаться — со стороны Римперделла двигалась армия в пять тысяч человек, и вел ее король Бэррис.

— Доброе утро,— сказал король Этельред, рассерженный тем, что чужая армия вторглась в пределы его королевства.

— Доброе утро,— ответил не менее рассерженный король Бэррис, который был уверен, что ни одна живая душа не знает о его маневре.

— Интересно знать, зачем вы здесь очутились,— проговорил король Этельред.

— Не загораживайте дорогу,— не ответив на этот вопрос, сказал король Бэррис.

— Но это моя дорога,— возразил король Этельред.

— Уже не ваша,— отпарировал король Бэррис.

— А я и мои гвардейцы утверждаем, что дорога все-таки моя,— сказал король Этельред.

Король Бэррис посмотрел на пятьдесят гвардейцев Этельреда, затем оглянулся на свою внушительную армию.

— Если вы не уберетесь с дороги, пощады не ждите.

— Должен ли я понимать эти слова как объявление войны? — спросил король Этельред.

— Войны? — усмехнулся король Бэррис. — Какая там война? Мы повстречали на дороге упрямого таракана. Сейчас раздавим его и пойдем дальше.

— А я и не знал, что в нашем королевстве водятся тараканы,— заметил король Этельред и тут же добавил: — То есть до сей минуты не знал.

Потом король Этельред взмахнул рукой, и из леса во вражеских солдат полетели копья и стрелы. Армия Бэрриса заметно поредела. Оставшимся в живых Бэррис приказал атаковать засевшего в лесу противника, но в это время с тыла ударила конница короля Этельреда. Вскоре остатки армии короля Бэрриса сдались в плен, а сам он, смертельно раненный, упал на обочину дороги.

— Что бы вы сделали со мной, если бы победили? — спросил своего врага король Этельред.

— Обезглавил бы, — тяжело дыша, с трудом ответил Бэррис.

— Тогда мы с вами сильно отличаемся друг от друга, — сказал Этельред. — Потому что я не собираюсь вас убивать.

Но тут к нему подошел высокий незнакомец и проговорил:

— Жизнь Бэрриса не в ваших руках, король Этельред, ибо он все равно умрет от раны. В противном случае я бы сам его убил. Пока на земле живут такие люди, остальным не будет покоя.

Король Бэррис умер. Его похоронили на обочине, оставив могилу безымянной. Солдат Бэрриса полностью разоружили и отправили восвояси.

Весть о победе короля Этельреда быстро достигла столицы, и когда он вернулся в город, на улицах стояли толпы людей, радостно выкрикивая:

— Да здравствует король-победитель Этельред!

Король лишь молча улыбался.

Незнакомца он поселил во дворце и сделал главным королевским советником. Этот человек уже доказал свою мудрость и верность, и Этельред подумал, что новый советник прозорливее его и, должно быть, лучше разбирается в людях.

Никто не знал, как зовут незнакомца. Когда придворные — те, что посмелее, — спрашивали об этом, он лишь морщил лоб и отвечал:

— Мне сгодится любое имя, какое вы подберете.

Придворные перебрали множество имен, но ни одно из них не казалось подходящим. Поэтому долгое время незнакомца называли просто «сэр». Если у человека вну-

шительный вид, если он силен, мудр и нетороплив, его поневоле хочется назвать «сэр». Когда такие люди куда-то приходят, им всегда предлагают лучший стул или лучшее кресло.

Но потом как-то само собой получилось так, что все стали называть этого человека тем именем, которым с ходу окрестила его нянька принцессы. Сперва его звали Медведем только за глаза, но вскоре кто-то из придворных забылся и обратился к нему так за обедом. Королевский советник улыбнулся и ответил, с тех пор все и стали называть его Медведем.

Все, кроме принцессы. Она не называла его никак. Принцесса старалась вообще с ним не говорить, а когда все же приходилось упомянуть советника, называла его Этот Человек.

Принцесса ненавидела Медведя.

Нет, он не сделал ей ничего дурного; принцесса считала, что он вообще едва ее замечает. Она привыкла к вниманию со стороны окружающих: стоило ей войти в комнату или зал, как все сразу поворачивались к ней. Медведь никогда так не поступал, однако причина ненависти принцессы крылась вовсе не в недостатке внимания к ее персоне.

Ей казалось, что отец из-за Медведя становится слабее.

Этельред был великим королем, подданные его любили. С каким гордым видом присутствовал он на парадах и торжествах, как мудро и терпеливо, час за часом, решал государственные дела! Обычно он говорил мягко и негромко, но умел и кричать, если только так можно было заставить людей себя выслушать.

Принцесса считала, что королю полагается быть величественным и неприступным, поэтому ее злило, когда она видела отца рядом с Медведем.

По вечерам, если во дворце не было праздника или официального приема, король Этельред и Медведь отправлялись в королевский кабинет и попивали там эль из больших грубых кружек. Когда кружки пустели, король не звонил в колокольчик, чтобы явился слуга и наполнил их снова. Нет, его величество вставал, брал кувшин и нали-

вал себе и Медведю. Да еще и подносил ему кружку! Уму непостижимо: король брал на себя роль слуги и заботился о простолюдине, который даже не соизволил назвать свое настоящее имя!

Принцесса видела все это собственными глазами, поскольку вечерами часто проводила время в отцовском кабинете, слушая разговоры, но не вступая в них. Иногда она молча расчесывала длинные седые волосы отца, а иногда вязала ему шерстяные чулки на зиму. Порой она сидела с книгой, ведь король считал, что женщины тоже должны быть образованными. Но даже за чтением принцесса прислушивалась к разговорам, злилась и с каждым днем все больше ненавидела Медведя.

Король Этельред и Медведь почти никогда не рассуждали о государственных делах. Они говорили об охоте на диких кроликов, шутили над придворной знатью... Принцесса вовсе не находила эти шутки остроумными и даже морщилась. В один из вечеров отец и Медведь начали обсуждать ковер в зале суда. Оба сошлись на том, что ковер неказистый, и стали спорить, каким должен быть новый. Принцесса задыхалась от гнева: этот простолюдин говорит так, словно понимает толк в дворцовых коврах!

В тех редких случаях, когда Этельред и Медведь заговаривали о государственных делах, принцессе еще меньше нравились их беседы. Медведь обращался с королем как с равным. Если он был не согласен с правителем, он вскакивал и заявлял:

— Нет и тысячу раз нет. В этом вы вообще ничего не смыслите.

Если же король, по его мнению, бывал прав, Медведь хлопал его по плечу и говорил:

— А из вас, Этельред, со временем все же получится неплохой король.

Иногда король начинал пристально глядеть на огонь в камине, вздыхать и что-то шептать, и лицо его делалось мрачным и усталым. Тогда Медведь подходил к нему, клал руку ему на плечо и тоже смотрел в огонь. Наконец король, еще раз вздохнув, поднимался с кресла и говорил:

— Пора уж старику свой труп укутать в одеяло.

На следующий день принцесса, пылая гневом, рассказывала обо всем своей няньке, которая умела держать язык за зубами и никогда никому не передавала слова принцессы.

— Этот Человек из кожи вон лезет, стараясь превратить отца в слабого и никчемного старика! — говорила принцесса. — Ему хочется, чтобы отец поглупел и совсем забыл, что он король.

Потом морщила лоб и заявляла:

— Этот Человек — предатель и заговорщик.

Однако принцесса никогда не говорила о Медведе с отцом. Скорее всего, отец просто погладил бы ее по голове и сказал бы:

— Он и в самом деле заставляет меня забыть, что я — король.

А потом непременно добавил бы:

— Но он заставляет меня помнить о том, каким надлежит быть королю.

Етельред ни за что не назвал бы Медведя предателем. Король считал его своим другом.

Но принцесса была убеждена, что отец все больше попадает под власть подозрительного простолюдина, и очень страдала. Словно ей было мало этих переживаний, вскоре к ним прибавились другие. Очередной пакет писем от принца оказался тоньше обычного. Когда принцесса пересчитала письма, оказалось, что их только двадцать. Потом их стало пятнадцать. Потом десять. Раньше каждое письмо принца занимало не менее пяти страниц, но постепенно страниц становилось все меньше, и последние уместались всего на одной страничке.

«Он просто очень занят», — успокаивала себя принцесса.

Она перечитала последние письма и вдруг заметила, что они уже не начинаются словами: «Моя наидражайшая, наисладчайшая, хрустящая маринованными огурчиками принцесса» (однажды, когда им было по девять лет, они объелись маринованными огурчиками, и с тех пор упоминание об этом было их любимой шуткой). Теперь письма начинались так: «Моя дорогая» или просто «До-

рогая принцесса». Как-то раз, не выдержав, принцесса сказала няньке:

— Похоже, он забыл, кому пишет.

«Он просто очень устал», — снова пробовала успокоить себя принцесса.

Но, пробежав еще раз последние письма, она вдруг увидела: принц больше не пишет, что любит ее. Принцесса ушла на балкон и долго плакала, и только деревья в саду слышали ее рыдания, только птицы видели ее слезы.

Мир перестал быть ярким и манящим. Принцесса заперлась в своих покоях. Какое ей дело до того, что происходит снаружи, если короли там смотрят в рот простолудинам, а принцы забывают своих возлюбленных?

Ложась спать, она часто плакала, да так и засыпала в слезах. А иногда принцессе просто не спалось; она лежала и глядела в потолок, стараясь забыть принца. Наверное, вы знаете, что нет лучшего способа накрепко запомнить, чем попытаться навсегда забыть.

Однажды, приоткрыв дверь спальни, принцесса нашла у порога корзину с осенними листьями. Записки в корзине не было. Принцесса дотронулась до ярких, словно светящихся листьев, которые громко зашуршали.

— Должно быть, уже наступила осень, — сказала себе принцесса.

Она выглянула в окно — весь сад играл осенними красками. Странно, она столько раз каждый день смотрела в окно, но только сейчас заметила, какое на дворе время года.

А спустя еще несколько недель принцесса проснулась от холода. Она спрыгнула с постели и уже хотела крикнуть служанке, чтобы та подбросила дров в камин, но, распахнув дверь, увидела у порога большую миску, а в ней — снежного человечка. Человечек смотрел на принцессу угольными глазками и улыбался сделанным из кусочков угля ртом. Снеговичок был такой забавный, что принцесса невольно засмеялась.

В тот день она позабыла о своих печалях и даже вышла во двор поиграть с гвардейцами в снежки. Принцесса оказалась очень ловкой: ее снежки неизменно попадали в цель. Гвардейцам почему-то не везло, и они все время маза-

ли. Но таковы уж правила игры — принцесса на то и принцесса, что в нее не запустишь снежком и не толкнешь в лужу.

Она пробовала дознаться у няньки, кто принес листья и снежного человечка, но старушка только улыбнулась и сказала:

— Это не я, ваше высочество.

Принцесса обняла ее и проговорила:

— Не скромничай, я же знаю, что это ты. Спасибо.

— И вам спасибо на добром слове, — ответила нянька. — Только это вправду не я.

Принцесса не стала спорить. Зачем, если она и так знает правду? Кто еще, кроме ее милой доброй нянюшки, будет так заботиться о ней?

Писем от принца больше не приходило, и принцесса тоже перестала ему писать.

Но после долгого сидения взаперти ей захотелось гулять.

Поначалу она гуляла в саду, как и положено благовоспитанной принцессе. Но через несколько дней она уже изучила каждый уголок сада и все чаще подходила к кирпичной садовой стене. Ее манил мир снаружи.

Наконец принцессе стало так тесно в саду, что она открыла ворота и вышла. Сразу за королевским садом начинался лес. Сад тщательно обихаживали королевские садовники, зорко следя, чтобы нигде не уцелел сорняк или колючка, а вот в лесу все было по-другому. Трава росла здесь где и как вздумается, узловатые корни цеплялись за ноги. Лесное зверье, не зная, что к ним пожаловала принцесса, разбегалось в разные стороны, птицы тоже не оказывали ей должного почтения и норовили увести подалее от гнезд с птенцами. Вместо утопанных песчаных дорожек принцесса шла то по высокой траве, то по рыхлой земле. Но зато лесные деревья не напоминали ей те деревья, на которые она забиралась когда-то вместе с принцем, чтобы, сидя на ветках, поболтать о том о сем. В лесу не было комнат, залов и коридоров, будивших воспоминания о шутках, тайнах и несбывшихся надеждах той далекой поры.

И надо же было такому случиться, что в тот день, когда принцесса отправилась в лес, с окрестных холмов туда спустился волк.

Уже смеркалось, и принцесса заторопилась обратно, как вдруг услышала сзади шорох. Она обернулась и всего в пятнадцати ярдах от себя увидела матерого серого волка, который следовал за ней по пятам. Стоило принцессе остановиться, волк тоже останавливался. Стоило ей сделать шаг — зверь начинал красться за ней, подбираясь все ближе.

Принцесса повернулась и быстро пошла прочь; через несколько минут она оглянулась и увидела, что волка от нее отделяет всего дюжина футов. Зверь разинул пасть и высунул язык; его белые зубы ярко сверкали в лесных сумерках.

Принцесса бросилась бежать, но ей нечего было и надеяться перегнать волка. Она бежала, пока не выбилась из сил, но волк неотступно следовал за ней. У принцессы начали подкашиваться ноги, она упала, оглянулась и, увидев замершего неподалеку волка, поняла, что тот задумал. Зверь терпеливо ждал, пока его добыча ослабеет, — тогда можно будет вволю попить.

Словно прочитав мысли принцессы, волк подобрался и прыгнул.

Но как только он прыгнул, откуда-то появился медведь и заслонил собой принцессу.

Девушка закричала.

Медведь был намного крупнее волка, с густой бурой шерстью и большими зубами. Он ударил волка по голове могучей лапой, отбросив хищника в сторону. Голова волка странно запрокинулась, и принцесса догадалась, что медведь сломал ему шею.

Расправившись с волком, медведь повернулся к принцессе, и та, подумав в отчаянии, что вместо одного врага на нее сейчас бросится другой, потеряла сознание. Надо сказать, тут не только принцесса лишилась бы чувств: попробуйте представить, что в пяти футах от вас на задних лапах стоит медведь, да еще явно голодный.

Очнувшись у себя в спальне, принцесса решила, что ей все приснилось, однако сильная боль в ногах и царапины на лице доказывали обратное.

— Что случилось? — слабо спросила принцесса. — Я что, умерла?

Вопрос был не таким уж глупым; теряя сознание в лесу, принцесса не сомневалась, что медведь разорвет ее на клочки.

— Нет, дитя мое, ты жива, — ответил сидевший возле ее постели отец.

— Вы живы, ваше высочество, — подтвердила нянька. — С чего бы вам умирать?

— Я пошла погулять в лес, — начала рассказывать принцесса, — а по дороге домой на меня напал волк. Я попыталась от него убежать, но не смогла. И вдруг появился медведь. Он убил волка, а потом повернулся ко мне, наверняка собираясь съесть. Наверное, тут я и потеряла сознание.

— Вот оно что, — сказала нянька, как будто эти слова что-то объясняли.

— Вот оно что, — повторил король Этельред. — Теперь понимаю. Мы нашли тебя возле садовых ворот, без сознания, с исцарапанным лицом. Нам пришлось по очереди сидеть у твоей постели. Ты все время кричала в бреду: «Прогоните медведя! Пусть он уйдет, пусть не мучает меня!» Сперва мы подумали, что твои слова относятся к нашему Медведю. Нам даже пришлось попросить беднягу не сидеть у твоей постели, чтобы не расстраивать тебя.

Король Этельред усмехнулся.

— Мне было грустно думать, что ты все еще его ненавидишь. Теперь я скажу ему, что это не так.

С этими словами король вышел.

«Вот и отлично, — подумала принцесса. — Пусть говорит Медведю, что хочет, но я как ненавидела, так и буду ненавидеть этого самозванца».

Дождавшись, пока затихнут шаги короля, нянька подошла к постели и наклонилась к принцессе.

— Ваше высочество, отец не все вам рассказал. Правда, с меня взяли слово, что я буду молчать, но вы же знаете: у меня нет от вас секретов. Слушайте. Вас нашли двое дозорных гвардейцев. И они оба видели чью-то тень,

как будто большой зверь бросился бежать в лес. Им показалось, что то был медведь — так и припустил во все лапки.

— Какой ужас! — воскликнула принцесса.

— Подождите ужасаться, ваше высочество. Дозорные уверяли — а про одного точно могу сказать, что у него мозги элем не залиты и привычки врать за ним не водятся, — так вот, дозорные уверяли, что именно медведь принес вас к воротам. И не просто бросил как попало, а расправил вам платье и подложил большую охапку листьев под голову. Не могли же вы сами, лежа без чувств, поправить свое платье и листья собрать!

— Не говори глупостей, — поморщилась принцесса. — Ну как медведь мог все это сделать?

— То был не простой медведь, а волшебный, — прошептала нянька.

Она считала, что о волшебстве нужно говорить только шепотом, чтобы не услышали злые духи и не сделали какую-нибудь пакость.

— Что за чепуха, — фыркнула принцесса. — Меня учили лучшие учителя, и я не верю ни в волшебных медведей, ни в разные приворотные зелья, да и вообще не верю в магию. Не забивай мне голову своей глупой болтовней.

Нянька выпрямилась и поджала губы.

— В таком случае, ваше высочество, глупая старуха найдет, кому заморочить голову своими сказками. Найдутся дурни, которые захотят меня послушать.

— Ну будет, будет, — пошла на попятную принцесса, ведь ей вовсе не хотелось обижать преданную няньку.

Они помирились, однако принцесса все равно не поверила в историю про галантного медведя. А тому, что зверь ее не съел, она нашла вполне простое и разумное объяснение: медведь только показался ей голодным.

Через пару дней принцесса вполне оправилась и встала на ноги. Правда, на лице ее все еще оставались царапины, но это ее не тревожило. А еще через день во дворец возвратился принц.

Он прискакал к воротам на взмыленном коне, который тут же рухнул замертво. Принц выглядел ужасно измучен-

ным, его ввалившиеся глаза были обведены темными кругами, и при нем не было ни вещей, ни дорожного плаща.

— Я вернулся домой,— прошептал он привратнику и потерял сознание.

Как потом выяснилось, за принцем гнались несколько сотен солдат. Пять дней он провел в седле, без еды и почти без отдыха.

Принцу дали хорошенько выспаться, после чего вымыли, надлежащим образом одели и накормили. И только потом король Этельред повел его в свой кабинет, чтобы узнать, что случилось.

— Я стал жертвой государственной измены,— объявил принц.— Мои союзники обратились против меня, подданные — тоже, и мне пришлось спасаться бегством. Чудо, что я остался в живых; если бы меня поймали, убили бы на месте.

Король Этельред молчал, обдумывая его слова.

— Это выглядит очень странно,— вдруг сказал сидевший поодаль Медведь.— Почему они все ни с того ни с сего на тебя ополчились?

Принц повернулся к Медведю с презрительной усмешкой. То была даже не усмешка, а гримаса, исказившая его лицо. Король Этельред содрогнулся: еще никогда он не видел принца таким.

— Вот уж не думал, что события, едва не стоившие мне жизни, кто-то назовет «странными»,— с деланной веселостью произнес принц.— И не думал, что мне придется беседовать с королем Этельредом при посторонних.

Медведь не ответил ни слова, лишь в знак извинения склонил голову и продолжал молча наблюдать за принцем.

Принц так и не объяснил как следует причин государственного переворота, ограничившись туманными фразами о каких-то ловкачах, желавших прорваться к власти и сыгравших на настроениях толпы.

Выйдя от короля, он отправился к принцессе.

— Какой у тебя усталый вид,— сказала она.

— Зато какая ты красавица,— ответил принц.

— У меня лицо все исцарапано, и я несколько дней не причесывалась.

— Я тебя люблю, — сказал принц.

— Когда любят, не перестают писать.

— Должно быть, я потерял перо, — сказал принц. — Нет, вспомнил. Я потерял рассудок. Я забыл, как ты прекрасна. Представляешь, что мне пришлось пережить, если я ухитрился забыть об этом?

Потом он поцеловал принцессу и получил ответный поцелуй. Принцесса простила все страдания, которые из-за него претерпела; ей показалось, что они никогда не разлучались.

Три дня принцесса не чуяла под собой ног от счастья.

На четвертый день она стала замечать странные перемены в характере принца.

Когда, поцеловав любимого, она открывала глаза (так уж устроены принцессы: если они кого-то целуют, то непременно зажимаются), она замечала, что принц глядит в сторону с отсутствующим видом. Он как будто не замечал ее поцелуев. Подобное отношение вряд ли может понравиться женщине, а уж принцессе — тем более.

Иногда принц вовсе забывал о ее существовании. Он мог пройти мимо по коридору, не сказав ни слова. Тогда принцесса брала его за руку и заговаривала сама, всякий раз задаваясь пугающим вопросом: а если бы она этого не сделала? Неужели принц так и прошел бы мимо?

Временами он вдруг обижался по пустякам и принимал за оскорбление слова, в которых не было и намека на оскорбление. Стоило кому-то из слуг слишком громко хлопнуть дверью или пролить на стол несколько капель вина, принц приходил в ярость, начинал кричать, а то и запускать в слугу бокалом. Это удивляло принцессу: в детстве принц не только никогда не кричал, но даже не повышал ни на кого голоса.

И если бы эти вспышки ярости были направлены только на слуг! Но самой принцессе все чаще приходилось слышать жестокие слова. Тогда в ней просыпалась гордость, и она начинала раздумывать, почему принц так переменялся и любит ли она еще этого человека. Но когда он приходил просить прощения, принцесса снова и снова прощала его. Ведь он перенес предательство союзников и лишился своего королевства, а после этого трудно улы-

баться и расточать любезности. Принцесса решила, что сделает все возможное и даже невозможное, чтобы принц снова стал прежним.

В один из вечеров король и Медведь по обыкновению удалились в королевские покои, но на этот раз еще и заперлись изнутри. Принцесса не помнила, чтобы отец когда-нибудь от нее запирался, и душе прежнего разозлилась на Медведя. Ну кто еще смог бы заставить отца запереться от собственной дочери! Так значит, Медведь не хочет, чтобы она слышала их разговор? Ничего, она все равно услышит!

И принцесса прижалась ухом к замочной скважине.

— Мне удалось кое-что разузнать,— сказал Медведь.

— Должно быть, что-то не очень приятное, раз ты хотел поговорить со мной наедине,— ответил король.

«Я так и знала! — подумала принцесса. — Конечно, именно из-за Медведя отец не пустил меня в кабинет».

Медведь стоял у камина, облокотившись на мраморную полку, а король Этельред сидел в своем любимом кресле.

— Я тебя слушаю,— сказал король.

— Я понимаю, как много этот мальчишка значит и для вас, и для принцессы, и мне нелегко будет рассказать о том, что я узнал.

Мальчишка! — вспыхнула принцесса. Кто дал ему право называть принца мальчишкой? Ведь только измена лишила принца власти. А ее отец вновь смотрит в рот этому мужлану!

— Ты прав, он много для нас значит,— ответил король Этельред. — Поэтому я и хочу узнать правду, как бы горька она ни была.

— Прежде всего должен сказать — король из него получился на редкость скверный,— сказал Медведь.

Принцесса, подслушивавшая за дверью, побелела от ярости.

— Сдается, он слишком рано унаследовал трон,— продолжал Медведь. — А может, в его характере было то, чего вы раньше не замечали. Он был вынужден держать себя в узде, пока жил здесь, зато в своем родном королевстве показал себя во всей красе. Сперва свежеиспеченному ко-

ролю показались слишком маленькими его владения. Он затеял войну с соседними мелкими графами и герцогами, захватил их земли и присоединил к своим. Но мальчишке этого было мало, и он начал строить планы против других королей, добрых и верных друзей своего отца. Чтобы содержать большую армию, требовалось много денег, и ему пришлось все время увеличивать подати. Войны следовали одна за другой, по всему королевству стоял плач матерей, чьи сыновья погибли из-за королевских амбиций. И наконец терпению его подданных настал конец, как и терпению соседних государств. Бунт и вражеское вторжение — вот чем кончилось его правление. Ему крупно повезло, что он сумел бежать, тут он сказал правду. Все, с кем я говорил, отзывались о нем как о редкостном негодяе.

Король Этельред покачал головой.

— А вдруг ты ошибаешься? Трудно поверить, что мальчик, который вырос на моих глазах...

— Хотел бы я ошибиться, — ответил Медведь. — Ведь принцесса очень его любит. Но я отлично вижу, что мальчишка не платит ей взаимностью. Он бежал сюда, зная, что здесь он будет в безопасности. Он не любит принцессу, но рассчитывает жениться на ней, чтобы после вашей смерти сделаться королем.

— Этому не бывать, — решительно заявил король Этельред. — Моя дочь не выйдет замуж за человека, который уже погубил одно королевство.

— Даже если она любит его до безумия?

— Такова участь принцессы, — ответил король. — В первую очередь она должна думать о благе государства, иначе из нее не получится королева.

Принцесса сейчас меньше всего думала о благе государства и о том, получится из нее королева или нет. Ее душила ярость. Этому гнусному Медведю мало помыкать ее отцом? Теперь он решил помешать ей выйти замуж за любимого человека?

Принцесса изо всех сил забарабанила в дверь.

— Лжец! Лжец! — выкрикивала она.

Король Этельред и Медведь бросились к двери, король отодвинул засов. Ворвавшись в кабинет, принцесса стала колотить кулачками Медведя. Конечно, сильный и рос-

лый человек почти не чувствовал этих ударов, но лицо его исказилось так, словно каждый удар принцессы попадал ему прямо в сердце.

— Что с тобой, дочь моя? — вскричал король Этельред. — Что это значит? И почему ты подслушивала под дверью?

Принцесса, не отвечая, продолжала осыпать Медведя ударами, пока не разрыдалась. Но между всхлипываниями она все кричала и кричала, а так как кричать не привыкла, ее голос вскоре превратился в шепот. Но и криком, и шепотом она бросала королевскому советнику полные ненависти слова.

Принцесса обвиняла Медведя в том, что тот превратил ее отца в полное ничтожество и даже хуже. Из великого короля он сделал марионетку, не способную прожить ни дня, чтобы не спросить совета у своего «хозяина» — грязного простолюдина, который даже не желает открыть своего подлинного имени. На голову Медведя обрушились обвинения в том, что он ненавидит принцессу и пытается сломать ей жизнь, помешав выйти замуж за единственного любимого человека. Принцесса обвиняла Медведя в вероломстве, в желании прибрать к рукам королевство ее отца. Советник клеветает на принца потому, что знает: если она выйдет замуж за этого юношу, все замыслы Медведя захватить власть пойдут прахом.

Наконец, принцесса обвинила Медведя в том, что он сам не прочь жениться на ней, чтобы стать королем.

— Но этому не бывать, — прошептала она. — Никогда и ни за что, даже в самом страшном сне! Я ненавижу и презираю тебя. Если ты не уберешься вон из нашего королевства, клянусь, я покончу с собой!

Она схватила лежащий на каминной полке старинный меч и попыталась вскрыть себе вены. Медведь схватил хрупкие ручки, чтобы ей помешать, и тогда она принялась плевать ему в лицо, кусать его пальцы и биться головой в его грудь. Не выдержав, король пришел своему советнику на помощь, и тот выпустил принцессу и отступил.

— Прости, — повторял король, не понимая, у кого и за что он просит прощения. — Прости.

И вдруг он понял, что просит прощения у самого себя. Его королевству уже нанесли удар. Сокрушительный удар.

Как бы все дальше ни обернулось, беды не миновать. Если король послушает совета Медведя и прогонит принца, принцесса возненавидит отца и никогда не простит, и он такого не выдержит. Если же он исполнит требование принцессы и прогонит Медведя, принцесса обязательно выйдет замуж за принца, и тот погубит его королевство. Король знал, что этого ему тоже не снести.

Медведь так переменился в лице, что королю было больно на него смотреть.

Принцесса, излив свою ненависть, так долго не находившую выхода, всхлипывала в объятиях отца.

Король страстно желал, чтобы свершилось чудо: или время повернулось вспять, или принцесса прислушалась к доводам разума.

Медведь долго стоял молча, но наконец кивнул и сказал: — Я все понял. Прощайте.

Он вышел, чтобы исполнить самое страстное желание принцессы и избавить ее от своего присутствия.

С того дня он исчез. Исчез из дворца. Исчез из города. Исчез из королевства Этельреда. Куда он подевался — никто не знал, поскольку он не объявился ни в соседних, ни в дальних государствах.

Медведь ушел в том, в чем когда-то появился во дворец; он захватил с собой только меч, а больше ничего не взял: ни еды на дорогу, ни коня, ни даже теплой одежды.

Принцесса облегченно вздохнула. Ей хотелось бегать по дворцу и кричать от радости. Наконец-то этот отвратительный Медведь исчез и жизнь снова станет такой, какой была до отъезда принца!

Так она думала.

А о своем отце она не думала вовсе и даже не подозревала, каково ему. Разом состарившийся, бесконечно уставший, одинокий, полный тягостных раздумий о судьбе королевства, которое он так заботливо холил, король умер четыре месяца спустя.

А спустя еще три месяца принцесса вышла замуж за принца и окончательно убедилась, что он — уже не прежний нежный юноша, клявшийся ей в вечной любви.

В день их свадьбы гордая и счастливая принцесса собственноручно короновала мужа и возвела его на трон.

— Я люблю тебя,— сказала она, упиваясь своим счастьем.— Ты выглядишь как настоящий король,— добавила принцесса, вспомнив их детскую шутку.

— А я и есть король,— без улыбки ответил бывший принц.— Король Эдвард Первый.

— Эдвард? — удивилась юная королева.— Почему Эдвард? У тебя другое имя.

— У меня было другое имя,— отрезал муж.— А теперь я — король и должен носить королевское имя. Или не в моей власти его сменить?

— Конечно, в твоей. Но мне нравилось твое прежнее имя, я привыкла к нему.

— Как привыкла, так и отвыкнешь. Отныне ты будешь звать меня Эдвардом.

И королева стала звать его Эдвардом... в те редкие минуты, когда они виделись. Король, едва надев корону, отстранил жену от государственных дел. Та не понимала почему: отец даже настаивал, чтобы она присутствовала на всех государственных советах и вникала во все тонкости управления государством. Он считал, что только так принцесса сможет стать настоящей королевой.

— Настоящая королева,— с усмешкой возразил король Эдвард,— должна прежде всего думать о детях, одному из которых суждено стать королем.

Бывшая принцесса вздохнула и постаралась стать настоящей королевой.

У нее родились дети, и она решила, что поможет сыну вырасти настоящим королем.

Шли годы. Глядя на короля Эдварда, королева удивлялась: неужели он когда-то был милым, застенчивым мальчиком, с которым она целовалась в саду? Неужели алчность и жестокость дремали в нем, дожидаясь своего часа? Честолюбивые замыслы мужа заставляли ее содрогаться.

Король увеличил подати, и его подданные все больше беднели. Он увеличил численность войска и не останавливался на этом.

Когда король решил, что его армия достаточно сильна и вымуштрована, он послал ее во владения графа Эдрида, крестного отца королевы. Потом завоевал земли герцога Адлоу, у которого королева в детстве играла с ручными лебедями.

Ободренный успехами, король бросил своих солдат против графа Тлаффуэя. На похоронах короля Этельреда этот граф плакал, не стыдясь слез, и говорил принцессе, как преклонялся перед ее отцом, ибо не знал более достойного и мудрого правителя. Теперь все три старых добрых друга короля Этельреда бесследно исчезли, и никто не мог сказать, что с ними случилось.

— Новый король не понимает простых людей,— как-то раз сказала королеве нянька, расчесывая ее волосы.— Вчера к нам в замок пришли несколько пастухов, чтобы рассказать королю про чудо. По-моему, подданные непременно должны сообщать королю обо всех чудесах, которые происходят в его королевстве,— разве не так?

— Так,— согласилась королева.

Она сразу вспомнила, как в детстве они с принцем стремглав неслись к королю, чтобы поведать о каком-нибудь чуде. О весенней траве, пробившейся за ночь; о ручейке, пересохшем в знойный день... И конечно, король просто обязан был первым узнать, что невзрачная куколка вдруг превратилась в прекрасную бабочку.

— И о каком чуде рассказали пастухи? — спросила королева.

— Оказывается, на краю леса поселился медведь. Мяса он не ест, кормится лишь ягодами и кореньями и не дает проходу волкам. Как увидит — убивает на месте. Раньше из-за волков пастухи ежегодно теряли десятки овец, а нынче не потеряли ни одного ягненокка. И все потому, что медведь истребил всех волков. Разве это не чудо?

— Конечно, чудо,— согласилась бывшая принцесса.

— А знаете, что ответил пастухам король? Приказал гвардейцам выследить и убить этого медведя. Вы только представьте себе — убить!

— Но зачем? — удивилась королева.

— Зачем? Хоть сотню раз это спрашивай, все равно не понять,— сердито ответила нянька.— Вот и пастухи

задали тот же вопрос королю. И знаете что он ответил? «Медведи — опасные звери. Еще, чего доброго, нападет на детей!» — «Зачем ему нападать на детей, если он не ест мяса?» — удивились пастухи. «Все равно медведя надо убить, не то он повадится красть зерно». И теперь, ваше высочество... то есть величество... охотники должны выследить совершенно безобидного зверя. По нраву ли это пастухам? Ясное дело, нет. На волков королевские гвардейцы не больно-то охотились, а тут — смирный и дружелюбный медведь!

— Ты еще скажи — волшебный медведь, — улыбнулась королева.

— И скажу. Раз уж вы сами вспомнили, сдастся мне, это — тот самый медведь. Тот, который когда-то вас спас.

— Дорогая нянюшка, не было тогда никакого медведя, — возразила королева. — Я тосковала по принцу, места себе не находила, вот и приснился мне страшный сон. А наяву не было никакого волка и, само собой, не было никакого волшебного медведя.

Нянька закусила губу и промолчала. Был тогда медведь. И волк был. Просто королева осталась такой же упрямой, какой была принцесса, и не желала верить добрым вестям.

— И все-таки тогда был медведь, — не выдержала нянька.

— Не было его, — вновь возразила королева. — И теперь я знаю, кто вбил в головы моим детям все эти рассказы про волшебного медведя.

— Так они о нем знают?

— Еще бы! Они несколько раз пытались мне рассказать, что якобы подружился с медведем. Дескать, когда поблизости никого нет, он перелезает через стену сада, играет с ними и катает на спине. Это точно твоя работа, наверное, ты рассказала им, как меня спас волшебный медведь. Мне пришлось долго объяснять им разницу между правдой и небылицами. Я сказала, что дети любят придумывать разные небылицы, и есть взрослые, которые охотно им в этом помогают. «Самое опасное, — сказала я, — это поверить в собственные выдумки. Поэтому, как

только выдумаете что-нибудь, обязательно поморгайте, чтобы помнить — это всего лишь сказка».

— И что ответили дети? — с интересом спросила нянька.

— Они пытались возражать, но каждый раз я заставляла их моргать, — ответила королева. — И прошу — не забывай им больше головы подобными сказками. Признайся, ты рассказала им про мое «чудесное спасение»?

— Да, — с грустным вздохом созналась нянька.

— Ох уж твой болтливый язык! — воскликнула королева, и нянька ушла, заливаясь слезами.

Позже они помирились, но о медведях больше не говорили. Зачем зря сердить королеву? Все эти разговоры напоминали ей о Медведе — мудром отцовском советнике, изгнанном по ее прихоти из дворца и из королевства.

«Если бы Медведь сейчас был здесь, — думала нянька, и не только она одна, — мы бы не знали нынешних бед».

Но Медведь исчез неведомо куда, и бед в королевстве хватало. Эдвард как будто объявил войну собственным подданным: улицы столицы кишели солдатами, за любое непочтительное слово о короле людей бросали в темницу. Да и в самом дворце было не веселее. Стоило какому-нибудь слуге допустить оплошность, как король приходил в ярость и начинал кричать, бить посуду или же хватал трость и колотил провинившегося.

Как-то раз правителю не понравился суп, и он швырнул супницей в повара. Тот сразу покинул дворец, не скрывая причин своего ухода:

— Я подавал кушанья королям и королевам, кормил знатных людей и простых, но все они были людьми. А сегодня я впервые увидел за столом свинью.

На следующий же день повара под конвоем привели обратно. Но не на кухню — теперь ему нельзя было готовить пищу для короля. Нет, отныне повару было суждено чистить конюшни. Всем остальным слугам без обиняков заявили, чтобы даже не помышляли покинуть дворец. А если кому-то не нравится его работа — для них подыщут другую. Но слуги, видя, как бывший повар вычищает навоз, предпочитали держать язык за зубами.

Только нянька по-прежнему без утайки рассказывала обо всем королеве.

— Вот уж не думала, что мы угодим в рабство,— говорила нянька.— Король приказал снизить слугам жалованье вдвое, а некоторым даже больше. И ломай теперь голову, как прожить на такие гроши! Мне-то еще грех жаловаться, себя одну я как-нибудь прокормлю. Но что делать тем, у кого, как говорят, ни хлеба, ни дров, зато шесть голодных ртов?

Королева решила попросить мужа смягчиться, но после раздумий отказалась от своей затеи. Чего доброго, вместо послаблений король Эдвард накажет слуг за то, что те посмели жаловаться. Королева отдала няньке свои драгоценности и велела их продать. Вырученные деньги нянька распределила между самыми бедными слугами и теми, у кого были большие семьи. Королева строго-настроено запретила рассказывать, откуда взялись деньги, но нянька не послушалась и каждому шепотом говорила:

— Это помощь от нашей королевы. Ее муж — злыдень и скряга, но она не забывает о нас.

И слуги радовались, что королева не похожа на мужа и помнит о них.

Но далеко не все подданные питали к королю Эдварду такую же ненависть, какую испытывали к нему обитатели дворца. Разумеется, никого не радовали высокие подати, зато всегда находилось немало глупцов, радующихся очередной победе королевской армии.

Сперва король Эдвард и впрямь одерживал победу за победой. Обычно он затевал мелкую стычку с соседним королем или герцогом, а потом во владения его врага вторгалась целая армия и захватывала чужую землю. Покойный король Этельред любил жить в мире с соседями и не нуждался в большой армии, но король Эдвард считал, что лучший мир — это война, и вскоре численность его войска достигла пятидесяти тысяч человек. Отец королевы воевал только по необходимости, соблюдая законы военной чести. У короля Эдварда был один закон — произвол, и на захваченной земле его солдатам позволялось безнаказанно грабить и убивать. Король не доверял своим подданным, поэтому его армия состояла в основном из наем-

ников. И не просто наемников, а разного отребья, промышлявшего грабежом на больших дорогах; этот сброд охотно шел на службу к Эдварду. Еще бы, ведь в его армии они могли не только без помех грабить, но еще и получать за это жалованье!

Итак, королевство Эдварда увеличилось втрое, и многих это радовало — такие люди готовы были забыть о тяжком бремени податей и приветствовать короля восторженными криками.

Королеву подданные видели куда реже: один-два раза в год. Она была по-прежнему красива; нет, даже краше, чем прежде. И мало кто замечал, какие у нее грустные глаза, а те, кто замечали, не обращали особого внимания. Мало ли что могло печалить королеву?

Но победы короля Эдварда продолжались недолго. Он покорял тех, кто не мог или не умел дать отпор, и, наверное, уже считал себя непобедимым. Но потом правители государств, до которых еще не добралась его армия, решили сообща выступить против него; к ним присоединились добровольцы с захваченных земель, не желавшие подчиняться завоевателю, и участь короля Эдварда была решена.

Когда он отправился в очередной военный поход, его армия попала в засаду — именно там, где король Этельред разбил войско Бэрриса. До сих пор даже самые сильные армии оказывались вдвое меньше армии Эдварда, но теперь ему противостояло войско в два раза больше его собственного. Храбрость его наемников мгновенно испарилась, и те, кто остались в живых, поспешно бежали с поля боя.

Короля Эдварда взяли в плен, привезли в столицу в железной клетке и водрузили ее на городские ворота — туда, где нынче стоит статуя медведя.

Тогда королева встала на колени перед победившими Эдварда полководцами и со слезами на глазах стала умолять пощадить ее мужа. Тронутые ее красотой и искренностью, короли-победители призадумались. Они не были завоевателями, они просто хотели защитить себя, своих подданных и владения от посягательств злодея Эдварда. Поэтому они проявили великодушие — не ради своего по-

бежденного врага, но ради королевы. Ради нее они даже оставили Эдварду трон, лишь обложив его королевство солидной данью. Ему пришлось принять все эти условия.

Чтобы заплатить дань, король еще больше увеличил налоги. Лишь малая часть собранных денег шла на поддержание порядка внутри королевства, а остальное выплачивалось солдатам победившей стороны, которые остались на границах. Короли и герцоги, победившие Эдварда, вполне справедливо рассудили: стоит хоть немного ослабить бдительность, и враг тут же нанесет им удар в спину.

Напрасно Эдвард ждал, когда им надоест за ним следить. Воины-победители держали его в ловушке и не собирались уходить.

Нет, он не раскаялся и не начал жизнь заново, наоборот — глубины зла в его душе стали еще глубже и чернее. Известно, что алчный человек всегда жаждет владеть тем, что ему недоступно. Король Эдвард жаждал власти. Но его заперли в пределах одного королевства, и он стал добиваться безраздельной власти над подданными, слугами и своей семьей.

По малейшему подозрению людей бросали в застенки, пытали, заставляя признаваться в несуществующих заговорах и выдавать несуществующих сообщников. С наступлением темноты двери домов накрепко запирались, а если кто-то стучался в дверь, люди в доме замирали, ожидая беды. Во всех душах поселился страх, и жители стали покидать проклятое королевство. Узнав об этом, король Эдвард приказал казнить пойманных беглецов и издал указ, грозивший смертью каждому, кто попытается уйти за границу.

Страх и уныние не обошли и королевский дворец. За малейшую оплошность слуг жестоко избивали; сын и дочери короля Эдварда не слышали от отца ни единого доброго слова — только крики и брань. Королева старалась проследить, чтобы дети как можно реже попадались на глаза отцу.

Все боялись короля Эдварда. А тех, кого боятся, ненавидят.

Одна только королева не питала к нему ненависти. Нет, не думайте, что она не боялась мужа, но она помни-

ла, каким Эдвард был в детстве и юности. Иногда она делилась мыслями с нянькой:

— Где-то внутри жестокого и угрюмого человека скрывается прекрасный юноша, которого я любила и до сих пор люблю. Я должна найти этого юношу и помочь ему вырваться на свободу.

Но ни она, ни нянька не представляли, как это сделать, да и возможно ли вообще такое.

Оказалось, что возможно. Во всяком случае, так думала королева. Она поняла, что у нее скоро будет ребенок. Когда родится малыш, король наверняка вспомнит о своей семье, в нем снова проснется любовь к жене и детям.

Исполненная радостных надежд, королева рассказала мужу, что ждет ребенка... Но король разразился отборной бранью и обозвал ее безмозглой дурой, которая решила обречь еще одну душу на позор и унижение. В какой семье суждено родиться этому ребенку? В той, что лишь называется королевской? В семье жалких пленников, закрытых в пределах маленького королевства и лишенных власти?

Потом Эдвард грубо схватил королеву за руку и вытащил в главный зал. Перед всеми придворными он во всеуслышание объявил, что королева наставила ему рога и теперь собирается родить ребенка от своего любовника. Иначе ее беременность не объяснишь, ведь сам он утратил мужскую силу. Напрасно королева кричала, что это неправда; король ударил ее, и она упала.

Опасениям короля и мечтам королевы не суждено было сбыться: у королевы случился выкидыш. День за днем она металась в жару и бредила, находясь между жизнью и смертью. Никто не знал, что король Эдвард ненавидит себя за содеянное, что он царапает ногтями лицо и рвет волосы при мысли, что его вспышка ярости может стоить жизни его жене. Придворные и слуги лишь замечали, что, пока королева лежала в горячке, король запоем пил и ни разу не появился у ее постели.

Перед лежащей в горячке королевой нескончаемой вереницей мелькали видения — они быстро сменяли друг друга, но одно почему-то часто повторялось. Королеве чудилось, что она в лесу и снова убегает от волка. Выбившись из сил, она наконец падает на землю, волк уже гото-

вится прыгнуть на нее, но откуда ни возьмись вдруг появляется громадный бурый медведь и ударом могучей лапы убивает зверя. Потом осторожно берет ее и относит к воротам сада, бережно опускает на землю, заботливо расправляет платье и подкладывает под голову охапку листьев.

Когда горячка прошла, королева поняла, что никакой волшебный медведь, конечно, никогда не приходил к ней на помощь. Только темные простые люди, которые верили в колдовские отвары, исцеляющие подагру, чуму и прочие хвори, верили и в волшебство. Простой люд во многое верил. Например, в приворотное зелье, пробуждающее любовь; в заклинания от нечистой силы, которая якобы по ночам пробирается в дома.

«Все это глупости,— мысленно твердила королева.— Нынче никакими заклинаниями не изгонишь страх из людских сердец. И подагра с чумой как были, так и остаются. И разве существует зелье, которое может заставить короля снова меня полюбить?»

Королева грустно усмехнулась, погружаясь в привычное отчаяние.

А король Эдвард вскоре забыл свой страх за жизнь жены. Едва она оправилась и встала на ноги, он стал вести себя по-прежнему и даже не перестал пить, хотя теперь для пьянства больше не было причин. Да, он помнил, что сильно ударил жену, и чувствовал себя виноватым, поэтому каждый раз при виде нее Эдварду делалось так тошно, что он выплескивал злость и раздражение на королеву, как будто она сама была во всем виновата.

Тем временем дела в государстве пошли еще хуже. То тут, то там вспыхивали бунты, чуть ли не каждую неделю кому-то рубили за это голову. Солдаты, которых король отправлял ловить беглецов, дезертировали и вместе с ними бежали в другие государства. Неудивительно, что однажды утром Эдвард проснулся в особо скверном настроении.

В то утро королева сошла к завтраку на редкость красивой. Горе и болезнь лишь подчеркнули ее красоту, и при виде совершенных черт ее лица и такой же совершенной фигуры хотелось кричать от боли, ибо сразу было видно, как много выстрадала эта женщина. Король Эдвард видел на ее лице следы перенесенной боли и страданий,

но еще сильнее ему бросилась в глаза ее красота. На мгновение он вспомнил девочку, которая росла с ним вместе, даже не подозревая, что в мире есть страдания и зло. И именно из-за него эта девочка узнала и зло, и страдания, и боль.

Мысль эта была такой невыносимой, что король тут же начал искать, в чем бы упрекнуть королеву, и ему вдруг взбрело в голову отправить ее на кухню готовить завтрак.

— Я не умею, — ответила королева.

— Что же ты за женщина, если не умеешь готовить? — прорычал король, все больше злясь.

Королева заплакала.

— Я никогда не готовила. Я даже не знаю, как разжечь плиту. Я ведь королева.

— Нет, ты не королева, — сердито возразил Эдвард, ненавидя себя за эти слова. — Ты не королева, и я не король. Мы оба — жалкие игрушки в руках негодяев, которые заперли нас в границах королевства и помыкают нами! Если в собственном дворце я вынужден жить на положении слуги, чем ты лучше меня?

Король грубо схватил жену за руку, потащил на кухню и приказал вернуться с собственноручно приготовленным завтраком.

Униженная, но гордая королева обратилась к поварам, испуганно забившимся в угол:

— Вы слышали, что сказал король. Я должна сама приготовить ему завтрак. Но я не умею готовить, поэтому расскажите, как это делается.

Слуги подробно рассказали ей, что и как надо делать, и королева постаралась следовать их советам, но руки, непривычные к работе, не слушались ее. Огонь плиты опалил ей палец, паром от каши ей обожгло руку. Готовя яичницу, она пересолила бекон и вместе с разбитыми яйцами отправила на сковороду кусочки скорлупы. Оладьи, как она их ни переворачивала, все же подгорели. Выглядела ее стряпня не важно, но все же королева выполнила приказание мужа.

Король молча принялся жевать и сразу убедился, что королева не может заменить повариху, точно так же как повариха не может заменить королеву. А еще король по-

нял, что сам может быть только королем. Однако хорошая королева и никудышный король отнюдь не одно и то же, а сколько бы лет он ни правил, ему никогда не стать хорошим правителем. На зубах Эдварда хрустела яичная скорлупа, а сам он был на грани отчаяния.

Если бы какой-нибудь другой человек возненавидел себя так же сильно, он бы просто свел счеты с жизнью. Но король Эдвард слишком любил жить, даже когда его терзало отчаяние. И, схватив трость, он начал избивать королеву. Он наносил удар за ударом, вскоре на платье королевы проступили кровавые пятна. Она упала на пол и закричала; на крик прибежали слуги и стража.

Слуги попытались остановить короля, но тот приказал гвардейцам убить каждого, кто посмеет вмешаться. Все-таки один из поваров, дворецкий и старший лакей попытались вступить за несчастную женщину, но эта попытка стоила им жизни, и после этого уже никто не смел перечить повелителю.

Король впал в неистовство, трость так и мелькала в воздухе, и всем стало ясно, что вскоре он забьет королеву насмерть.

Лежа на каменном полу и едва чувствуя физическую боль, потому что сердечная боль была куда острее, королева мечтала о чуде. Пусть снова появится медведь и убьет волка, который уже приготовился ее проглотить.

И тут дверь разлетелась в щепки и по залу раскатился грозный рев. Король перестал избивать королеву. Слуги и гвардейцы пораженно уставились туда, где в дверном проеме стоял на задних лапах громадный бурый медведь и яростно рычал.

Слуги бросились наутек, а король истошно заорал гвардейцам:

— Убейте его!

Стража выхватила мечи и пошла на медведя.

Но хотя гвардейцев было много, медведь разоружил их всех, отделавшись всего несколькими царапинами. Однако бесстрашные гвардейцы не сдавались и пытались сражаться со зверем голыми руками. Только после того, как медведь разможил нескольким воинам головы, остальные бежали, забыв про короля.

Королева лежала в полузабытьи и не видела битвы, но каким-то образом почувствовала, что медведь расправляется с людьми вполсилы, словно его главное сражение было впереди.

Королева не ошиблась: медведю предстояло биться с королем Эдвардом. Тот уже вытащил острый меч. Король жаждал битвы и, полный отчаяния и ненависти к себе, надеялся умереть. Но даже для могучего и сильного медведя он был опасным противником.

«Как странно,— подумала королева.— Я хотела, чтобы появился медведь, и вот он здесь».

Слабая, беспомощная, вся в крови, она лежала на каменном полу и слышала, как ее муж, ее принц, сражается с медведем. Королева не знала, чьей победы она желает. Даже сейчас она не питала ненависти к мужу и в то же время сознавала: пока он жив, никому в королевстве не будет хорошо.

Поединок продолжался. Движения медведя были неуклюжими, но быстрыми, однако король Эдвард двигался быстрее. Лезвие его меча чертило в воздухе размытые круги, трижды ему удалось нанести медведю глубокую рану. Но наконец зверь сумел вцепиться лапами в меч. Король пытался вырвать оружие, еще сильнее ранив медвежьи лапы, но теперь исход поединка решала сила, а медведь был куда сильнее короля. В конце концов медведь выбил меч из руки Эдварда, обхватил короля и, не обращая внимания на его крики, потащил прочь из зала.

В те мгновения, когда Эдвард еще надеялся победить и из лап медведя текла кровь, королева поняла, что ей следует надеяться только на победу зверя. Ей захотелось, чтобы медведь выбил оружие из рук короля и избавил ее королевство, ее детей и ее саму от человека, способного погубить их всех.

Но даже слыша крики короля Эдварда, задыхавшегося в медвежьих объятиях, королева слышала голос мальчика в саду ее быстро промелькнувшего и навсегда ушедшего детства, видела его озорную улыбку. Потом все исчезло, и королева потеряла сознание.

Очнувшись, она решила, что ей снова приснился дурной сон, но боль во всем теле напомнила о жестокой прав-

де. Она вспомнила, как муж избивал ее тростью, и едва снова не лишилась чувств. Однако королева справилась с собой и слабым голосом попросила воды.

Воду подала ей нянька, а потом в зале появились высшие сановники, командир королевской армии и старшие слуги.

Они спросили у королевы, каковы будут ее приказания.

— Почему вы спрашиваете об этом меня? — не поняла королева.

— Потому что король мертв, — ответила нянька.

Королева молча ждала объяснений.

— Медведь бросил его труп у ворот сада, — сказал капитан гвардейцев.

— Со сломанной шеей, — добавил один из придворных.

— И теперь мы ждем ваших распоряжений, — сказал другой придворный. — Мы еще никому не рассказывали о смерти короля. Сразу заперли ворота дворца и теперь никого не впускаем и не выпускаем.

Королева ответила не сразу.

Она закрыла глаза, и перед ее мысленным взором встало бездыханное тело ее прекрасного принца. Голова его была запрокинута, совсем как у волка, убитого медведем. Зрелище было таким ужасным, что она быстро открыла глаза.

— Пусть о кончине короля узнают все, — сказала она.

Потом обратилась к командиру королевской армии:

— Пусть прекратятся казни людей, обвиненных в государственной измене. Выпустите из тюрем всех, кого бросили туда как изменников. Что же касается остальных узников, разберитесь хорошенько, почему каждый из них оказался за решеткой, и освободите тех, кого заточили за незначительные проступки.

Капитан с поклоном вышел и только за дверью дал волю своей радости, широко улыбаясь сквозь слезы.

Увидев среди слуг главного королевского повара, королева сказала:

— Все дворцовые слуги, если они того пожелают, отныне вольны покинуть дворец. Но, пожалуйста, скажи

всем, что я прошу их остаться. Если они согласятся, я позабочусь о том, чтобы им жилось тут не хуже, чем при моем покойном отце.

Повар начал было рассыпаться в благодарностях, но быстро оборвал себя и побежал передать всем слова королевы.

Подозвав нескольких сановников, королева сказала:

— Вас я прошу отправиться к командирам армий, что стоят на наших границах. Сообщите им, что короля Эдварда больше нет в живых и что они могут спокойно возвращаться домой. Передайте, что мы ни с кем не собираемся воевать, но если мне понадобится их помощь, я обязательно к ним обращусь. А пока я намерена править государством единовластно.

Сановники, поцеловав королеву руку, вышли, и королева осталась с нянькой.

— Мне очень жаль, — помолчав, сказала старушка.

— О чем ты говоришь? — не сразу поняла королева.

— О гибели вашего мужа.

— Ах, об этом, — отрешенно произнесла королева. — О, муж мой...

И она горько заплакала, горюя не о жестоком и алчном короле Эдварде, умевшем лишь воевать, убивать, разорять, — она плакала по тому милому ласковому мальчику, которым некогда был король. Тот мальчик умел утешать ее детские горести, и именно его испуганный голос королева слышала в последние минуты жизни короля. Словно мальчик, все еще живший в душе этого негодяя, недоумевал, как он оказался в этой темнице, и с ужасом понимал, что ему уже никогда оттуда не выбраться.

Больше королева ни разу не плакала о муже.

Через три дня она вновь была на ногах. Правда, у нее по-прежнему все болело, и ей пришлось надеть просторную одежду. Королева совещалась с сановниками, когда ей сообщили, что пришли пастухи и принесли... Медведя. Она не сразу поняла, о каком медведе идет речь, а потом едва поверила своим ушам. Неужели объявился бывший королевский советник, который исчез много лет назад?

— Да, мы нашли его на холме. Вернее, не мы, а овцы, которых мы туда пригнали, — сказал королеве старший из пастухов. — Похоже, на него напали разбойники — он лежал весь израненный и избитый. Чудо, что он вообще остался жив.

— Что на нем за странная одежда? — спросила королева, стоя возле кровати, на которую слуги уложили Медведя.

— Так это мой плащ, — ответил другой пастух. — Негодяи, видать, забрали у него всю одежду и бросили голым. Мы подумали, что негоже нести его к вам в таком виде.

Королева поблагодарила пастухов и хотела их наградить, но они решительно отказались.

— Мы хорошо его помним, он у вашего отца в советниках был. Люди видели от него много добра, такое ни за какие деньги не купишь.

Королева велела слугам (а надо сказать, что никто из них не покинул дворец) промыть и перевязать раны Медведя и выполнять все его пожелания. Человек менее сильный и крепкий наверняка не выжил бы в такой переделке, но Медведь поправился. Правда, с тех пор он перестал владеть правой рукой, поэтому ему пришлось учиться писать левой. И теперь он все время прихрамывал, но не стыдился своих увечий и часто говорил, что ему еще повезло. Иногда он вспоминал разбойников и удивлялся, почему королевские гвардейцы не расправятся с этим сбродом, безнаказанно разгуливающим по землям ее величества.

Когда Медведь почувствовал себя лучше, королева стала приглашать его на все важные заседания, где принимала послов, разбирала государственные дела и выносила решения.

По вечерам она уводила Медведя в кабинет короля Этельреда и беседовала с ним обо всем, что сделала за день. Ей хотелось знать, правильные ли она приняла решения, не поступил бы он по-другому? И Медведь не льстил и не подыгрывал ей, так же как никогда не льстил и не подыгрывал ее отцу. А королева училась у него мудрости, как раньше учился у своего советника мудрости ее отец.

Однажды королева сказала:

— Я еще никогда и ни у кого не просила прощения. Но тебя прошу — прости меня, пожалуйста.

— За что? — удивился Медведь.

— За мою былую ненависть, за то, что я считала, будто ты помыкаешь моим отцом. А еще за то, что прогнала тебя. Если бы мы тогда тебя послушались, я не прожила бы столько кошмарных лет.

— Нет смысла сожалеть о прошлом, — ответил Медведь. — Ты тогда была молода, тобою двигала любовь, а любовь порой бывает слепа.

— Знаю, — ответила королева. — И если бы можно было повернуть время вспять, возможно, любовь опять ослепила бы меня. Но мне кажется, с тех пор я стала немного умнее, вот потому и прошу у тебя прощения.

Медведь посмотрел на нее с улыбкой.

— Я давно уже тебя простил. Но если хочешь, с удовольствием прошу тебя еще раз.

— Могу ли я чем-нибудь тебя вознаградить за все, что ты сделал для моего отца?

— Да, — ответил Медведь. — Если мне будет позволено остаться во дворце и служить тебе, как я раньше служил твоему отцу, это вознаградит меня с лихвой.

— Какая же это награда? — удивилась королева. — Я как раз собиралась попросить тебя об этом!

— Видишь ли, — проговорил Медведь, — я любил твоего отца как брата, а тебя — как племянницу. Другой родни у меня нет, и я мечтаю остаться здесь.

Королева взяла кувшин и налила Медведю полную кружку эля. А потом они сели у камина и проговорили до глубокой ночи.

Раны, нанесенные королевству правлением Эдварда, еще долго не заживали. Но поскольку государство оставалось большим и богатым, а королева была вдовой, многие старались добиться ее руки. Во дворец зачастили герцоги, принцы и даже короли. Стоит ли удивляться — ведь королеве не было еще и сорока, и ее красота ничуть не увяла. Конечно, у нее было богатое приданое, но и без

своих богатств эта женщина была настоящим сокровищем, способным сделать счастливым любого мужчину.

Надо сказать, что некоторые женихи понравились королеве и она всерьез раздумывала над их предложениями. И все же так никого и не выбрала, отказав сватавшимся к ней людям очень учтиво, но твердо и в недвусмысленных выражениях.

Постепенно к ней перестали свататься, и она правила королевством одна, а Медведь оставался ее бессменным главным советником.

И все это время королева помнила, что ее сыну суждено стать королем, и воспитывала его как будущего правителя. Не забывала она и о дочерях: ведь и они однажды могли сделаться королевами. Медведь помогал ей в воспитании принца, которого учил многим полезным вещам, но самое главное — как не подпадать под очарование слов, а видеть, что у человека за душой. Медведь учил его жить в мире с соседями и заботиться о своих подданных.

Мальчик рос, красотой напоминая отца, а мудростью суждений и поступков — Медведя. Люди говорили, что он станет великим королем и, быть может, даже превзойдет своего деда.

Проходили годы. Королева старела и все больше полагалась в управлении королевством на подросткового сына. Вскоре принц женился на дочери соседнего короля — та оказалась доброй и приветливой, а потом у королевы появились внуки.

Королева прекрасно сознавала, что состарилась, сгорбилась и больше не была красивой, как раньше. Правда, многие говорили, что в юности быть красивой очень просто, зато сохранить красоту в старости — редкое искусство.

Королева замечала свои седые волосы и морщины, но ей даже не приходило в голову, что Медведь тоже стареет. Впрочем, разве можно было назвать стариком того, кто бегал по саду, нося на плечах ее внуков, и по-прежнему учил ее и принца управлению государством? И жесты, и голос Медведя остались прежними; похлопывая по плечу сына королевы, он говорил точно так же, как когда-то говорил ее отцу:

— Правильно. Молодец, это ты верно рассудил. Ты станешь замечательным королем, достойным королевства Этельреда.

Королеве казалось, что время не властно над Медведем, но однажды он слег. К королеве прибежал испуганный слуга и прошептал:

— Медведь очень просит, чтобы вы пришли к нему.

Королева поспешила в его комнату и увидела: Медведь с мертвенно-бледным лицом лежит в постели и весь дрожит.

— Тридцать лет назад я решил бы, что у меня просто легкая простуда, и отправился бы кататься верхом,— сказал он.— Но, моя дорогая королева, сейчас это вовсе не простуда. Я знаю, что скоро умру.

— Чепуха,— отмахнулась королева.— Ты не умрешь!

Она старалась говорить уверенно, но понимала, что Медведь и в самом деле умирает и что его не обманули эти слова.

— Я хочу кое в чем тебе признаться,— сказал Медведь.

— Я знаю, в чем.

— Да?

— Как ни удивительно, я поняла, что тоже тебя люблю,— тихо произнесла королева.— Влюбилась на старости лет, подумать только! — со смехом добавила она.

— Но я хотел признаться вовсе не в этом. Я знал, что ты догадываешься о моей любви. В противном случае разве я бы пришел на твой зов?

На королеву пахнуло холодным ветром, и она вспомнила, как единственный раз в жизни позвала на помощь.

— Значит, ты помнишь, как я смеялся, когда меня называли Медведем,— поговорил он.— «Если бы они только знали!» — думал я.

Королева покачала головой.

— Разве такое возможно?

— Я и сам поначалу удивлялся,— сказал Медведь.— Но это правда. Давным-давно я повстречал в лесу мудрого старика. Я был тогда мальчишкой, к тому же сиротой. Когда я остался с ним, никто меня не хватился, и мы прожили вместе пять лет, до самой смерти старика. Но он успел научить меня магии.

— Никакой магии не существует,— привычно возразила королева, а Медведь засмеялся.

— Если ты говоришь о приворотных зельях или о заклинаниях против злых духов — ты права, все это глупые сказки. Но существует иная магия, которая помогает человеку превращаться в того, кем он является в душе. Мудрый старик, например, превращался в сову и летал по ночам, постигая тайны мира. У него была душа совы, и магия помогала ей воплотиться. Этой магии он и научил меня.

Медведя перестало трясти, но это было плохо — просто он больше уже не боролся с недугом.

— Я тоже заглянул в себя, чтобы узнать, кто я такой. Я отыскал свою тайную душу и позволил ей воплотиться. Твоя нянька сразу увидела это: только мельком взглянув на меня, она тут же поняла, что я — медведь.

— Значит, это ты убил моего мужа?

— Нет,— возразил Медведь.— Я сражался с твоим мужем и выволок его из дворца. Но перед лицом смерти ему открылось, кто он такой на самом деле. И его истинная душа воплотилась.

Медведь покачал головой.

— У ворот сада я убил волка, бросил его труп со сломанной шеей, а сам скрылся в холмах.

— Снова волк,— задумчиво сказала принцесса.— Но ведь он был таким красивым, ласковым мальчиком.

— Волчата иногда бывают красивыми и ласковыми, и все-таки из них вырастают волки,— сказал Медведь.

— А кто я такая? — спросила королева.

— Ты? — удивился Медведь.— Разве ты не знаешь, кто ты?

— Нет. Так кто же я? Лебедь? Или дикобраз? Сейчас я больше похожа на старую курицу. Кем я стала теперь? Знать бы, в какого зверя мне превратиться ночью!

— Да ты смеешься,— проговорил Медведь.— Я бы тоже хотел посмеяться, но мне трудно дышать. Если ты сама не знаешь, кто ты, я не могу тебе подсказать. Хотя, думается...

Медведь вдруг умолк, по его телу пробежала судорога.

— Нет! — закричала королева.

— Не волнуйся,— сказал Медведь.— Я еще не умер. Так вот, сдаётся мне, что ты в душе — просто женщина и поэтому тебе не нужно было скрывать свою истинную душу. Нет, я не совсем верно выразился. Ты не просто женщина. Ты — прекрасная женщина.

— Ах ты, старый дурень,— сказала королева.— И почему мне никогда не приходило в голову выйти за тебя замуж?

— Ты мне льстишь,— сказал Медведь.

Однако королева кликнула священника, позвала всех своих детей и обвенчалась с лежащим на смертном одре Медведем. И ее сын, учившийся у него искусству быть королем, назвал его отцом и вспомнил, как в детстве к ним приходил большой медведь и играл с ними. Дочери королевы тоже называли Медведя отцом, а королева назвала его мужем. Медведь смеялся и радовался, что теперь он не сирота.

А потом он умер.

Вот и вся история. Теперь вы знаете, почему над городскими воротами висится статуя медведя.

Песчаная магия

В просвете между облаками появилось солнце, под его лучами ярко вспыхнули голубые и красные купола Гиреи. На мгновение Керу Чемриту показалось, что он видит Грит былых времен, о котором его дяди любили рассказывать по вечерам.

«Он красив только издали», — с горечью напомнил себе Кер.

Он знал, что по безлюдным улицам заброшенной столицы бегают бродячие псы, а в развалинах царского дворца живут крысы. Царь Грита давно уже перебрался в другую столицу — Новую Гирею, что лежит далеко на севере, среди холмов, куда не могут добраться вражеские армии. Пока не могут.

Облака затянули солнце, яркие краски померкли, заброшенный город снова стал серым и унылым.

Увидев, что к северу отсюда, по Хеттерской дороге, быстро скачет нефирийский дозорный отряд, Кер перевел взгляд на сочную зеленую траву холма, на котором сидел.

«Облака обычно предвешают дождь, только не в здешних краях», — подумал он.

Завидев нефирийских дозорных, он всегда старался думать о чем-нибудь другом. Сейчас, в месяце хриканы, еще слишком рано для дождей. Эти облака прольются дождями где-нибудь на севере; может, во владениях царя Высокогорья, а может, на обширных равнинах, которые зовут Западными Пустошами. Говорят, там носятся на при-

волье целые табуны лошадей, и эти вольные кони по первому зову везут тебя куда нужно.

А в Грите дождей не будет до самого месяца дунса — еще недели три. К этому времени крестьяне успеют сжать и убрать пшеницу, да и сено высохнет, и его соберут в копны вышиной почти с холм, на котором сейчас сидит Кер.

Говорят, в прежние времена весь месяц дунс на громадных тяжелых повозках сюда приезжали жители Западных Пустошей. Эти люди покупали здесь сено, иначе зимой им было бы нечем кормить лошадей. Сам Кер никогда их не видел: и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом сюда являлись люди с востока и с юга. Их повозки были двухколесными, а возницы говорили не на языке людей Западных Пустошей, а на варварском фирдийском наречии. «Или фиртийском», — подумал Кер и засмеялся. Слово «фирт» было неприличным, и он не решился бы произнести его в присутствии родителей. Вот на каком наречии изъяснялись эти варвары!

Тем временем нефирийский дозор свернул с большой дороги на проселочную, ведущую к холмам. К холмам! Кер вскочил и стремглав побежал по узкой тропинке домой. Нефирийский отряд означал только одно: беду. Надо успеть предупредить родителей!

Кер остановился всего один раз, когда у него заломило спину. Но даже его быстрым ногам было не обогнать конных нефирийцев. Когда запыхавшийся мальчик прибежал домой, дозорные уже толпились у ворот.

Но где же его дяди? Почему не пришли на выручку?

Мысли Кера спутал крик, раздавшийся по другую сторону садовой стены. Мама!

Кер ни разу не слышал, чтобы она кричала, но сразу узнал ее голос и бросился к воротам. Тут его и схватил нефирийский воин.

— А вот и малец! — выкрикнул нефириец на ломаном языке народа Западных Пустошей, чтобы его поняли родители Кера.

Мать снова пронзительно закричала, и теперь Кер увидел, почему она кричит.

Двое рослых нефирийцев крепко держали его отца, раздетого донага. В руках у командира нефирийцев зловеще блестел короткий кривой кинжал, острие упиралось в мускулистый живот отца. На глазах у Кера и его матери нефириец пропорол отцу мальчика живот, заструилась кровь. Командир не спеша вонзил кинжал по самую рукоятку, потом вытащил, царапнув ребра... Струйка крови превратилась в темно-красный поток. Командир был искусен и не задел сердце. Нефирийцы воткнули в зияющую рану копье и подняли свою жертву высоко над головой. Умиравший отец Кера висел на острие, а нефирийцы ударяли копьем по садовым воротам, оставляя на воротах и на стене следы крови вперемешку с кусками плоти.

Отец прожил еще несколько минут. Каждый вздох давался ему с неимоверным трудом, и всякий решил бы, что отец умер от боли, всякий — но только не Кер. Его отец был не из тех, кто поддается боли. Скорее всего, он умер от удушья. Нефирийцы отсекали ему одно легкое, превратив дыхание в пытку. Впрочем, Кер не очень верил и в смерть от удушья, ибо отец дышал до конца... Спустя несколько недель Кер окончательно убедил себя в том, что отец погиб от потери крови. Отец умирал беззвучно. Нефирийцы не слышали от него даже стона.

Мать Кера кричала до тех пор, пока у нее не пошла горлом кровь, а потом упала, потеряв сознание.

Кер молча смотрел, как умирает отец. Когда все было кончено и командир нефирийцев, ухмыляясь, подошел к Керу и заглянул ему в лицо, мальчик ударил его в пах.

Нефирийцы отрезали Керу большие пальцы на ногах, но, как и его отец, тот не издал ни звука.

Потом дозорные ускакали, а вскоре явились дяди.

При виде трупа дядю Форвина стошнило. Дядя Эрвин зарыдал. Дядя Крюн обнимал Кера за плечи, пока слуги перевязывали мальчику искалеченные ноги.

— Твой отец был великим и мужественным человеком, — сказал дядя Крюн. — Он убил немало нефирийцев и сжег множество их колесниц. Нефирийцы ему этого не простили.

Дядя Крюн стиснул плечо Кера.

— Твой отец был сильнее их. Но он был один, а их — много.

Кер отвернулся.

— Ты не хочешь меня слушать? — рассердился дядя Крюн.

— Мой отец считал, что он не один, — ответил Кер. — Видимо, он ошибся.

Дядя Крюн повернулся и пошел прочь, и Кер никогда больше не видел ни его, ни остальных братьев отца.

Керу с матерью пришлось уйти из родных мест. Их усадьбу отдали нефирийскому землевладельцу, дабы тот снабжал зерном и фруктами правителя Нефириды. Со скудными пожитками, без гроша в кармане, мать и сын двинулись на юг. Они пересекли реку Грибек и добрались до засушливых мест на самом краю пустыни. Здесь не было ни рек, ни ручьев и выживали только самые неприхотливые растения.

В этих краях Кер с матерью провели зиму, питаясь крохами, которые из милости уделяли им другие бедняки.

А летом, когда наступила жара, людей стала косить ужасная болезнь, прозванная «чумой бедняков». Единственным лекарством от нее были свежие фрукты, но здесь они не росли. Их привозили из Иффирда и Саффирда, и стоили они баснословно дорого, позволить себе такую роскошь могли только богачи. Беднякам же оставалось только уповать на чудо — или умирать. Чуда не произошло, и мать Кера стала одной из тысяч жертв «чумы бедняков».

По обычаю труп положили на песок, чтобы сжечь его, освободив душу. Покойницу густо обмазали смолой (в отличие от фруктов, смолы в здешних краях было сколько угодно — только подставляй ведро).

Вдруг со стороны пустыни подъехали пятеро всадников; они остановились и молча наблюдали за происходящим. Поначалу Кер решил, что это нефирийцы, но местные бедняки, заметив всадников, приветственно замахали руками. Кер знал: жители Грита никогда не стали бы приветствовать врагов. Присмотревшись, он узнал во всадниках абадапнурцев — пустынных кочевников. В засушливые годы они грабили богатые усадьбы Грита, но беднякам не причиняли зла.

«Мы ненавидели их, когда сами были богаты,— подумал Кер.— А теперь мы бедны, и они стали нашими друзьями».

На закате тело его матери сожгли.

Кер смотрел на огонь, пока тот не догорел. Высоко в вечернем небе сияла луна... В прошлое полнолуние мать была еще жива. Кер произнес над пеплом и костями молитву, обращенную к богине луны, и ушел.

Завернув в свою лачугу, Кер забрал всю жалкую еду, которая там осталась, и надел на палец отцовское оловянное кольцо. Нефирийцы не обратили на кольцо внимания, посчитав его дешевой безделушкой, но на самом деле оно было напоминанием о прежнем величии рода Чемри-тов. Так когда-то говорил Керу отец.

Ничто больше не держало мальчика в этом селении, и он отправился на север.

Он питался крысами, которых ловил в амбарах и жарил потом на углях. Иногда просил милостыню у дверей тех крестьянских усадеб, что победнее. Дома богатых землевладельцев Кер обходил стороной — тамошние слуги прогоняли нищих, а могли и побить. Отец Кера считался богатым человеком, но никогда так не поступал, в родном доме мальчика любой голодный всегда мог получить еду.

Если не удавалось поймать крысу или что-нибудь выпросить, Кер воровал. Он крал горстями пшеницу из амбаров, таскал с огородов морковь, пил воду из чужих колодцев, за что в засушливое время мог поплатиться жизнью. А однажды украл из повозки, которая везла запасы для какого-то богача, очень дорогой фрукт.

Плод оказался прохладным и таким кислым, что у Кера свело рот и сок потек у него по подбородку.

«Даже отец не мог позволить себе столь дорогое лакомство. А я, бедняк и вдобавок вор, запросто им наслаждаюсь!» — гордо думал Кер.

Конечно, если поедание едко-кислой мякоти можно назвать наслаждением.

Кер не знал, сколько времени он странствовал, прежде чем увидел очертания далеких гор. А еще спустя неделю он добрался до подножия высоких утесов и крутых склонов, устланных глинистым сланцем. Это и была страна Митеркам, где правил царь Высокогорья.

Кер двинулся вверх по склону.

Он карабкался целый день, а на ночлег устроился в расщелине скалы. Поднимался он медленно; сандалии скользили, но без больших пальцев нечего было и думать идти босиком. На следующее утро Кер полез дальше. Один раз он едва не сорвался — а падение с такой высоты означало бы верную смерть — и все же достиг остроконечной вершины Митеркама. Выше нее было только небо.

Неожиданно камни под ногами сменились рыхлой землей. Не желтоватой почвой засушливых мест, откуда он шел, и не красной почвой его родного Грита, а черной землей! Кер знал о ней из старинных северных песен: если им верить, за день на такой земле вырастает дерево, а за неделю — целый лес.

Здесь и в самом деле рос лес, а между деревьями повсюду была густая трава. В родных краях Кера встречались лишь невзрачные и кривые оливковые деревья да фиговые пальмы втрое выше человеческого роста. Деревья же на вершине Митеркама в двадцать раз превосходили рост человека, а их стволы были в десять обхватов. Даже самые молодые деревца успели вымахать выше Кера, который в свои двенадцать лет считался довольно рослым мальчишкой.

Керу, не знавшему ничего, кроме пшеничных полей, холмистых лугов и оливковых рощ, лес показался волшебным местом, заворожившим его сильнее, чем гора, река, город или луна.

Усталый Кер улегся спать под большим раскидистым деревом. Ночью он сильно замерз, а утром сделал не слишком приятное открытие: вокруг не было ни следа других людей. Значит, нечего надеяться раздобыть еду.

Он встал и пошел дальше. Должны же здесь где-нибудь жить люди, иначе зачем Высокогорью царь? Кер обязательно их найдет. А если не найдет? Ему не хотелось думать об этом, но он понимал, что тогда попросту умрет с голоду. И все же лучше умереть от голода в лесу, чем погибнуть от рук нефирийцев.

По пути Керу то и дело попадались кусты со спелыми ягодами, однако он не знал, что они съедобны. В ручьях и речушках лениво плескалась доверчивая рыба, которую

ничего не стоило поймать голыми руками, но в его родном Грите рыбу не ели, опасаясь болезней и червей. Поэтому Кер лишь смотрел на вялых рыбин и шел дальше.

На третий день, когда Кер совсем ослабел от голода и уже не мог идти, он повстречал лесного мага. И помогла ему в этом, как ни странно, невыносимо холодная ночь.

Кер продрог до костей и решил развести огонь. Наломав веток, сложил костер, но огонь не разгорался. Вдруг он услышал какой-то странный шорох и, подняв голову, обомлел: деревья двигались! Они приближались, беря его в кольцо, но когда Кер на них смотрел, замирали. Однако стоило мальчику отвернуться, как они придвигались еще ближе. Кер попытался выскочить из круга, но не сумел: ветви сплелись в высокую изгородь, перелезть через которую было невозможно, так больно кололись колючки. С испаряемыми ладонями Кер вернулся на оставшийся свободный участок земли и молча смотрел, как стена вокруг становится все толще.

Кер ждал. А что еще ему оставалось делать внутри лесной западни?

Наутро он услышал чье-то пение и позвал на помощь.

— Нет,— ответил голос с чужеземным акцентом.— Не жди от меня помощи, дровосек и лесоненавистник, убийца деревьев и разжигатель костров.

— Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь,— удивился Кер.— Было холодно, и я хотел развести костер, чтобы согреться.

— Развести костер,— повторил голос.— Здесь никто не предает деревья огню. Но ты, похоже, еще слишком молод, у тебя, наверное, еще не успела пробиться борода.

— У меня нет бороды,— сказал Кер.— И оружия тоже нет. Только небольшой нож, но ты его можешь не бояться.

— Нож? Небольшой? А красное дерево утверждает, что этим ножом можно вспороть кору и оттуда, как слезы, начнет капать сок. Вяз говорит, что этот нож отсекает веточки, как меч отсекает человеческие пальцы. А благородный тополь добавляет, что каким бы нож ни был маленьким, он все равно враг деревьев. Сломай свой нож, и тогда я выпущу тебя из древесного заточения,— пообещал незнакомец.

— Но это мой нож,— возразил Кер.— Он мне нужен.
— Здесь он тебе нужен не больше, чем туман темной ночью. Сломай его, иначе деревья сомкнут кольцо и раздавят тебя.

Кер сломал нож.

За его спиной послышался шорох, Кер обернулся и увидел толстого старика. Мгновение назад деревья стояли плотным кольцом, а теперь оказались на прежних местах.

— Да ты еще совсем малыш,— сказал старик.

— Зато ты старый и толстый,— сердито бросил Кер, возмущенный тем, что его сочли малышом.

— А ты не только мал, но и дурно воспитан,— проговорил старик.— Похоже, ты не получил должного воспитания. Судя по твоему выговору, родом ты из Грита, а судя по одежде — из бедной семьи. Жители Грита незнакомы с хорошими манерами, об этом давно всем известно.

Кер схватил лезвие ножа и бросился на старика, но путь ему преградили колючие ветви. Рука его ударилась о крепкий сук, ее обожгло болью, и лезвие выпало из разжавшихся пальцев.

— Бедное дитя,— сочувственно произнес старик.— В твоём сердце притаилась смерть.

Ветки исчезли, старик прикоснулся к лицу Кера, и тот резко отпрянул.

— Даже простое прикосновение причиняет тебе боль,— старик вздохнул.— Должно быть, у тебя очень тяжело на душе.

Кер смерил собеседника холодным взглядом. Нет, его не выведут из себя эти насмешки! А может, этот старик и вправду добрый? Или просто притворяется?

— А ты, наверное, очень голодный,— продолжал лесной маг.

Кер промолчал.

— Идем со мной,— предложил старик.— Думаю, у тебя хватит силенок дойти до моего жилища, и там ты сможешь подкрепиться.

Кер молча кивнул.

Они зашагали по лесу, и старик то и дело останавливался, чтобы прикоснуться к одному из деревьев; зато к другим почему-то не желал подходить, а демонстративно по-

ворачивался к ним спиной или обходил, делая крюк. Потом они увидели дерево, одна из самых толстых ветвей которого была обрублена.

«Совсем недавно», — подумал Кер. Смола на обрубке не успела затвердеть.

— Скоро твоя боль пройдет, — сказал старик искалеченному дереву. Потом вздохнул. — Понимаю. Ты грустишь, что недосчитаешься многих орехов, которые могли бы вырасти на этой ветке.

Так они добрались до жилища старика, если это вообще можно было назвать жилищем. Грубые каменные стены не удивили Кера — в Грите тоже строили такие дома. Но крышей служили тесно переплетенные ветви девяти высоких деревьев, причем самих ветвей было почти не видно из-за густой листвы. Кер подумал, что даже в самый сильный ливень в хижину, наверное, не попадет ни капли воды.

— Что, понравилась моя крыша? — спросил старик. — Она очень прочна. Даже зимой, когда листья опадают, снег не может проникнуть внутрь. Но мы сейчас запросто войдем.

С этими словами он открыл низкую дверь и впустил Кера в единственную комнатенку.

Готовя угощение, старик болтал без умолку. Наконец он выставил на стол ягоды, сливки, жаркое из желудей и толстые ломти кукурузного хлеба, причем ему пришлось объяснить мальчику, из чего приготовлено каждое блюдо, ведь, кроме сливок, все оказалось для Кера в диковинку. Но угощение оказалось очень вкусным, и Кер жадно и с удовольствием ел.

— Желуди растут на дубах, — объяснял старик. — Орехи дает орешник. Ягоды я собираю с кустов, которые называю «почти деревьями». А вот хлеб получается из плодов растения под названием «не-дерево». Каждый год, принеся плоды, оно умирает.

— Значит, остальные здешние деревья не умирают каждый год и могут жить даже под снегом? — спросил Кер, знавший о снеге только понаслышке.

— Их листья из зеленых становятся желтыми, красными и багряными, а потом опадают. Чем-то это напоми-

нает смерть,— ответил старик.— Но в месяц занан снег тает, а к блоану все деревья снова зеленеют.

Кер не знал, верить старику или нет. Деревья такие странные; может, старик его и не обманывает.

— Не думал я, что в Высокогорье деревья умеют ходить,— признался Кер.

— Ты ошибаешься,— засмеялся старик.— Деревья и здесь не умеют ходить. Вернее, умеют только в этой части леса да еще в других местах, где за ними ухаживают лесные маги.

— Лесные маги? Значит, это сила волшебства заставляет их двигаться?

Старик все еще смеялся.

— Нет! А впрочем, наверное, и впрямь сила волшебства. Но на свете есть разные виды магии, и мне больше всего по сердцу магия деревьев.

Кер недоверчиво прищурился. Толстый болтливый старик вовсе не походил на мага... Но ведь это по его велению деревья окружили Кера и не желали выпускать.

— Ты властвуешь над здешними деревьями? — спросил мальчик старика.

— Властвую? — изумился тот.— Что за странное предположение! Нет, я над ними вовсе не властвую, я им служу, защищаю и отдаю им свою силу, а они отдают мне свою. Так мы все становимся сильнее. А властвовать — это уже не магия. И как тебе могла прийти в голову такая мысль?

Потом старик стал рассказывать о проделках глупых белок. Когда Кер наелся досыта, старик вручил ему корзинку и повел в лес собирать ягоды. Этим они занимались до полудня.

— Одну ягоду бери, а другую оставляй,— наставлял мальчика старик.— И так на каждом кустике. Тогда осенью птицам будет что клевать. А из тех ягод, которые упадут на землю, весной вырастут новые кустики.

И Кер неожиданно для себя самого остался жить с лесным магом. Наверное, то была самая счастливая пора в его жизни — кроме раннего детства, когда мать напевала ему колыбельные, и незабываемого путешествия с отцом к холмам Западных Пустошей, где они охотились на оленей.

Незаметно настала осень, порадовав Кера разношвельем листопада. Потом пришла зима, и они с лесным магом, увязая по колено в снегу, лечили поврежденные ветки. В весенний месяц блоан Кер прореживал молодые побеги, чтобы новые деревья не мешали друг другу расти. Лесной маг уже решил, что тьма в сердце Кера сменилась светом, а если где и остались темные уголки, они больше не тревожат мальчика.

Он ошибся: Кер все помнил и никому ничего не простил.

Запасая сухие листья для зимнего очага, Кер воображал, будто собирает кости врагов. Протаптывая тропинки в снегу, он мысленно шел в бой, чтобы сокрушить нефирийцев. А когда вырывал из земли молодые побеги, представлял, что казнит своих дядек. Кер хотел поступить с ними так же, как нефирийцы обошлись с его отцом; для него они теперь были ничем не лучше врагов.

Кер мечтал о мести, и чем ярче светило над лесом летнее солнце, тем мрачнее становилось у него на душе.

Однажды он заявил старику:

— Я хочу научиться магии.

Старик улыбнулся, обнадеженный этими словами.

— Ты уже ей учишься, и я с радостью буду учить тебя дальше.

— Я хочу овладеть магической силой.

Лесной маг разочарованно вздохнул.

— Тогда даже не мечтай научиться магии.

— У тебя ведь есть сила,— возразил Кер.— Чем я хуже тебя?

— Да, у меня есть сила,— ответил маг.— Сила рук и ног. С ее помощью я могу собрать высохший мох, развести огонь, подогреть на нем смолу и смазать поврежденный ствол, чтобы из него не вытекал сок. Я могу отсечь больную ветку, чтобы спасти дерево; могу научить деревья, как защищаться от грозящих им опасностей. Вся остальная сила принадлежит не мне, а деревьям.

— Но они исполняют твои повеления,— не отступал Кер.

— Потому что я исполняю их повеления! — неожиданно рассердился лесной маг.— Уж не думаешь ли ты, что в

моем лесу есть рабы? Или ты принял меня за царя деревьев? Только люди позволяют, чтобы другие властвовали над ними, но в лесу этому не место. Здесь царит лишь любовь: я люблю деревья, а они любят меня. Вот на этой любви и зиждится моя магия.

Кер с досадой отвернулся, а лесной маг, подумав, что мальчику стало стыдно, забыл про гнев.

— Ах, мальчик мой, я вижу, ты до сих пор не понял самого главного. Любовь — вот корни любой магии, служение — вот ее ствол. Лесные маги любят деревья и служат им, и их волшебство основано на силе единства людей и деревьев. Маги света любят солнце. По ночам они разводят огонь и служат ему, а огонь служит им. Конские маги любят лошадей и заботятся о них, поэтому кони, подчиняясь магии табуна, быстро мчат этих магов куда им нужно. Существует еще магия полей и равнин, магия камней и металлов, магия песен и танцев, магия ветров и иных стихий. Но каждая из них основана на любви, и ее сила увеличивается благодаря служению мага.

— Я должен овладеть магической силой,— упрямо сказал Кер.

— Должен? — переспросил древесный маг.— Тебе нужна сила, чтобы повелевать? Есть магия, которая дала бы тебе такую силу. Но мне она недоступна.

— Хотя бы скажи, как она называется,— потребовал Кер.

— Даже не спрашивай, все равно не скажу,— с неожиданной твердостью заявил маг.

Это заставило Кера задуматься. Нет, он думал не о любви и не о служении, такие слова были для него пустым звуком. Но, значит, все-таки существует магия, которая позволяет расправиться с врагами?

Не одну и не две недели Кер терзал лесного мага вопросами. Сперва тот наотрез отказывался отвечать на вопросы мальчика, но Кер был упрям. И наконец старик не выдержал.

— Ты хочешь знать? — сердито бросил он.— Так слушай же, настырный мальчишка! Есть морская магия, которой занимаются порочные матросы. Они служат чудови-

щам морских глубин и приносят им в жертву живых людей. Ну что, тебе это подходит?

Кер молча ждал продолжения. Старик явно не все ему рассказал.

— Я начинаю догадываться, что́ пришлось бы тебе по вкусу. Пустынная магия.

Лесной маг не ошибся. В этих словах Кер сразу уловил некий сокрытый для других смысл.

— Как ей научиться? — спросил Кер.

— Этого я не знаю, — ледяным тоном ответил лесной маг. — У меня и мне подобных она вызывает только отвращение. Но твое сердце полно тьмы, его влечет к тому, от чего я готов бежать без оглядки. Вряд ли сыщется магия еще чернее пустынной... Хотя нет, есть и еще почернее.

— Как она называется? — тут же спросил Кер.

— И зачем я тебя подобрал? — сокрушенно вздохнул старик. — Надо же было сделать такую глупость! В твоём сердце полно ран, но ты не хочешь, чтобы они исцелились. Нет, ты постоянно бредишь их, чтобы они кровоточили и болели еще больше.

— Назови мне магию еще чернее пустынной, — потребовал Кер.

— Хвала луне, что она тебе недоступна, — сказал старик. — Чтобы овладеть ею, нужно любить людей, и любовь к ним должна быть тебе дороже собственной жизни. А ты так же далек от любви, как море от гор и земля от неба.

— Но небо касается земли, — возразил Кер.

— Касаться-то касается, но им никогда не соединиться.

Лесной маг взял корзинку, положил туда хлеб и ягоды и подал Керу. Потом старик вручил мальчику небольшой бурдюк родниковой воды.

— Теперь уходи.

— Уходить? — переспросил Кер, вовсе не ожидавший такого.

— Я надеялся исцелить тебя, но ты не нуждаешься в исцелении. Ты слишком крепко цепляешься за свои страдания — видно, они тебе дороже всего на свете.

Кер выставил вперед босую ногу: культя на месте отрезанного большого пальца до сих пор не зарубцевалась.

— Ты даже не попытался вырастить мне новые пальцы,— с упреком сказал он старику.

— Вырастить? — изумился лесной маг.— Это не в моих силах. Такого я не умею! Зато умею врачевать. А еще помогаю деревьям больше не горевать по отсеченным ветвям — иначе их сок будет стремиться туда, где ветки больше нет, и весь вытечет, и такие деревья засохнут и погибнут.

Кер поднял корзинку с едой.

— Спасибо тебе за доброту,— сказал он старику.— Жаль, что ты не понимаешь самых простых вещей. Сколько ни убеждай дерево, оно не простит ни топор, ни огонь,— так же и я. Чтобы я снова смог по-настоящему жить, мои враги должны погибнуть.

— Уходи из моего леса,— повторил маг.— У кого на душе черные замыслы, тому здесь не место.

И Кер ушел. Спустя три дня он вышел из леса, а еще через два спустился с Митеркама в долину. До пустыни Кер добирался несколько недель, но теперь он знал, что делать дальше. Он будет служить пескам, а пески будут служить ему.

По дороге его остановили нефирийские дозорные и тщательно обыскали. Увидав, что на ногах Кера нет больших пальцев, солдаты отколотили его, обрили едва пробившуюся бороду и, дав пинка под зад, отпустили на все четыре стороны.

Кер не удержался и сделал крюк, чтобы посмотреть на родные места. Теперь все здешние усадьбы и все земли принадлежали явившимся с юга нефирийцам, и, боясь, как бы Кер чего-нибудь не стянул, новые хозяева его прогнали. Ночью Кер пробрался в отцовский погреб и украл оттуда мясо, а из птичника стащил курицу.

Перейдя реку Грибек, Кер добрался до засушливых земель, где отдал мясо и курицу тамошним беднякам. Прожив с этими людьми несколько дней, он углубился в пустыню.

Целую неделю он странствовал по пескам, и наконец у него кончились вода и еда. Все это время он пытался разгадать секрет пустынной магии и, подражая лесному магу, разговаривал с горячим песком и раскаленными камнями. Но песок не знал, что такое боль, и не нуждался

в целительных прикосновениях. И камни не понимали, зачем и от кого их нужно защищать. Они не отвечали на вопросы Кера, только ветер швырял ему в глаза песок.

Выбившись из сил, Кер лег, чтобы больше уже не подниматься.

Его обожженная кожа загубела и потрескалась, одежда давным-давно превратилась в лохмотья, в пустой бурдюк набился песок. Он лежал, закрыв глаза; белизна пустыни ослепляла его.

Кер не мог ни любить пустыню, ни служить ей. Он не мог дать ей ничего, в чем бы она нуждалась. Пустыня не имела ни доброты, ни красоты, достойных любви.

Но Кер не желал умереть, не отомстив врагам. Ненависть поддерживала и питала его, и когда на него случайно наткнулись абадапнурские кочевники, он еще дышал. Кочевники дали ему воды и несколько недель выхаживали его. Им даже пришлось смастерить нечто вроде волокуши, на которой его перетаскивали от одного колодца к другому. Абадапнурцы кочевали со своими стадами и табунами, уходя все дальше от земель Грита и ненавистных Керу нефирийцев.

Кер поправлялся медленно и еще медленнее учился языку кочевников. И все же спустя несколько месяцев, когда небо затянули облака — предвестники зимних дождей, Кера уже признавали за своего. Теперь у него росла борода, и по меркам племени он был взрослым мужчиной. Лицо его оставалось суровым даже в те редкие мгновения, когда он смеялся, и это внушало кочевникам уважение.

Юношу считали много повидавшим. О своем прошлом Кер никому не рассказывал, но кочевники многое понимали и без слов. Простенькое с виду оловянное кольцо и всего восемь пальцев на ногах говорили сами за себя, поэтому никто не лез к Керу в душу. Да и не принято это было у кочевников.

Кер учился жить так, как живут они, и узнал, что в пустыне вовсе не обязательно умирать от жажды, а голодать просто глупо. Он учился заставлять пустыню делиться с ним жизнью. Кочевники называли это «выманить у пустыни жизнь».

— Все живое лишь мешает пустыне, — объяснил Керу предводитель племени, и юноша хорошо запомнил эти слова.

Пустыня не терпела никого, кроме себя самой. Может, в этом и скрывался ключ к пустынной магии? Или ему так и придется вечно безуспешно стучаться в крепко запертую калитку? Как же можно служить пескам и добиваться от них ответного служения, если они только и ждут твоей смерти? А как отомстить врагам, если погибнешь сам?

— Я готов умереть, если это погубит убийц моего отца, — однажды признался Кер.

Услышав это, лошадь, на которой он ехал, опустила голову и весь остаток дня еле плелась, хотя Кер то и дело прищипывал ее.

Наконец Керу стало невмоготу. Время шло, а он ни на шаг не приблизился к мести. Он отправился в шатер вождя племени и напрямую спросил о песчаной магии.

— Песчаная магия? Ты, должно быть, спятил!

И после этого вождь племени старался даже не глядеть в его сторону. Кер понял, что кочевники ненавидят песчаную магию ничуть не меньше, чем лесной маг. Но почему? Разве абадапнурцам не хочется стать могущественными?

А может, вождь потому отказывается говорить о песчаной магии, что его племя тоже ничего о ней не знает?

Но Кер ошибся.

Прошло еще несколько дней, и вождь велел Керу сесть на лошадь и следовать за ним.

Они ехали все утро, пока жгучее солнце не поднялось к зениту. Дневной зной они переждали в пещере у подножия каменистого холма; Кер уснул, а когда предводитель кочевников его разбудил, уже смеркалось. Жару сменяла приятная прохлада, и они ехали весь вечер, пока к ночи не достигли развалин города.

— Эттуэя, — прошептал вождь.

Они с Кером не торопясь подъехали ближе. Развалины были наполовину занесены песком; легкий ветерок продолжал гнать песчаные струйки и громоздить холмики у стен домов. Стены эти были из камня, но в отличие от больших городов Грита здания венчались не куполообраз-

ными крышами, а шпилями. Высокими шпилями, способными, казалось, вонзиться в сами небеса.

— Икикиетар,— прошептал вождь племени.— Икикикаяя ре дапии. О икикиай этетур о абаданапнур, икикиай ре дапии.

— О каких ножах ты говоришь? — спросил Кер.— И как песок мог их убить?

— Ножи — это те башни. И они же — средоточие силы.

— Какой силы? — встрепенулся Кер.

— Тебе она недоступна. Ею владели лишь эттуэйцы, ибо были мудры и знали человеческую магию.

Человеческая магия. Лесной маг называл ее самой черной и опасной среди всех других.

— А есть магия еще сильнее человеческой? — спросил Кер.

— Нет — ни в горах, ни на равнинах, где воды в изобилии, ни в лесу, ни на море,— ответил абаданапнурец.

— А в пустыне?

— А хуу пар эйти уунура,— сказал вождь, сделав знак, отгоняющий смерть.— Только сила самой пустыни. Только магия песка.

— Расскажи мне про нее,— попросил Кер.

— В прежние времена здесь было сильное и процветающее государство,— начал вождь.— Этот город стоял на берегах полноводной реки, тут часто шли дожди, и красная почва не уступала в плодородии землям твоего родного Грита. В Эттуэе, где правил царь Даппа, жило не меньше миллиона человек. Но у богатых государств всегда есть завистники. К западу от Эттуэи жило немногочисленное племя, ненавидевшее человеческую магию здешних царей, и племя это нашло способ уничтожить город. Завистники сделали так, что на Эттуэю подули ветры из пустыни, что здесь прекратились дожди. Реки пересохли, солнце выжгло урожайные поля. Царю Эттуэи не осталось ничего иного, кроме как отдать полцарства песчаным магам из племени дапинурцев. Так возникло царство Дапну Дап.

— Царство? — удивился Кер.— Но ведь так называется большая пустыня.

— А раньше на месте этой пустыни были поля и луга, такие как в твоих родных краях. Однако песчаные маги

не удовлетворились половиной царства — и с помощью своей магии превратили всю Эттуэю в пустыню. Песок все время надвигался, погребая под собой все живое, и наконец пустыня одержала победу. Армии Грита и Нефириды — тогда они были союзниками — окончательно добились Эттуэю. А мы, жители царства Дапну Дап, превратились в кочевников, вынужденных довольствоваться жалкими крохами, которые пустыня не может от нас утаить.

— А куда подевались песчаные маги? — спросил Кер.

— Мы их перебили.

— Всех?

— Всех,— ответил предводитель племени.— И если сегодня кто-нибудь осмелится заняться песчаной магией, мы убьем и его. Мы помним, что случилось с нашими предками, и не позволим, чтобы по нашей вине пострадали другие.

В руке абадапнурского кочевника блеснул нож.

— А теперь поклянись,— велел вождь.— Поклянись перед звездами и песками, поклянись перед призраками тех, кто жил в этом городе, что оставишь мысли о песчаной магии.

— Клянусь,— сказал Кер, и кочевник убрал нож, поверив его слову.

На следующий день Кер оседлал лошадь, взял лук и стрелы и всю еду, какую смог украсть. В самое знойное время дня, когда кочевники спали в своих шатрах, он покинул племя. Его бегство заметили, пустились в погоню, но Кер убил из лука двоих преследователей и скрылся.

Все племена Абадапнура облетела весть о новоявленном пустынном маге, который бродит в этих местах. Кера было велено немедленно убить, где бы он ни появился. Но он не появился нигде.

Теперь Кер знал, как служить пустыне и заставить ее служить себе. Пустыня любила смерть и ненавидела траву, деревья, воду и все, что несло жизнь.

Служа пескам, Кер добрался до земель нефирийцев на восточном краю пустыни.

Он принялся отравлять колодцы, бросая в них дохлых крыс и сусликов, а когда из пустыни дул жаркий ветер, поджигал посевы на полях, и суховеи разносил огонь, губя

селения и города. Кер рубил деревья, резал коров и овец. Нефирийские воины пытались выследить его, но он ушел в пустыню, зная, что у преследователей не хватит смелости последовать туда за ним.

Его набеги становились все более дерзкими.

Кер успел разорить многих нефирийских землевладельцев, но воевать в одиночку с целым государством все же не мог. Он чувствовал, как растет его власть над пустыней, и заботливо скармливал ей излюбленные лакомства: смерть и засуху.

Кер снова начал говорить с песками, но теперь совсем по-другому. Он нашептывал им о землях на востоке, возделенных землях, до которых рукой подать. Ветер прислушивался к словам Кера, продолжая наметать песчаные барханы. На небольшом пятачке вокруг юноши было спокойно, но вокруг бушевала песчаная буря.

Ветер нес песок на восток, засыпая песком земли Нефириды.

Кер разбудил дремлющую алчность пустыни, и за одну единственную ночь она успевала разрушить в сто раз больше, чем сумели бы разрушить его нож и факел. За какой-то час в песке тонула целая оливковая роща. За день песок чуть ли не по самые крыши заносил селение, а за неделю поглощал крупный город. Нефирийцы спешно переправлялись через реки Грибек и Нефир, надеясь, что вода остановит страшные песчаные бури.

Их надежды оказались тщетными. Послушный Керу, ветер насыпал песчаные дамбы, и реки разлились на многие мили, затопив земли, давно не видевшие воды. Солнце отражалось в обширных зеркальных водах и торопилось высушить их до дна. Пересохшие русла больше не несли струи в море, и пустыня продолжала наступать, приближаясь к самому сердцу Нефириды.

Нефирийцы всегда полагались на силу оружия, беспощадность к врагам была их боевой союзницей. Но против пустыни их армия ничего не смогла поделать: воины не умели воевать с песком. Если бы Кер об этом знал, он мог бы собой гордиться. Хотя никто не учил его магии, он стал величайшим из всех когда-либо живших песчаных

магов. Ненависть оказалась лучшим учителем, чем сотня свитков, а Кер жил теперь только ненавистью.

И ненависть поддерживала в нем жизнь.

Он давно уже ничего не ел и не пил, питаясь силой ветра и жаром солнца. Кер так высох, что кровь больше не текла по его жилам. Его силой стала сила выпущенных им на свободу песчаных бурь. Пустыня и ее маг верно служили друг другу.

Вслед за песчаными бурями Кер двигался через опустевшие нефирийские города. Иногда вдалеке он замечал толпы беженцев, спешащих на север и восток, где стояли горы — их последняя надежда. Но гораздо чаще он видел трупы застигнутых бурей. По ночам Кер пел старинные песни Грита — песни войны и победы. На стенах каждого разрушенного города он мелом писал имя своего отца. Он писал имя матери на песке, и в этом месте песок переставал двигаться, сохраняя надпись, словно она была высечена на камне.

Однажды, во время затишья между бурями, Кер увидел человека, который шел с востока. Кто это был: абадапнурец или нефириец? Пытаясь разглядеть получше, Кер достал нож и наложил на тетиву стрелу.

Но человек раскинул руки и стал громко выкрикивать:
— Кер Чемрит!

Керу и в голову не приходило, что кто-то может знать его имя.

— Песчаный маг Кер Чемрит. Мы не ошиблись, это и вправду ты, — сказал незнакомец, подходя ближе.

Кер молча смотрел на него.

— Я пришел сказать, что ты отомстил нам с лихвой. Нефирида на коленях. Нам пришлось заключить мир с Гритом, мы больше не совершаем набегов на Хеттер, наши западные земли подпали под власть Дриплина.

Кер улыбнулся.

— Мне нет дела до вашего царства.

— Тогда, может, тебе есть дело до простых людей? Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь мстил так жестоко, как ты отомстил за гибель своих родителей. Ты погубил двести тысяч нефирийцев.

Кер усмехнулся.

— Мне нет дела до вашего народа.

— Тогда, может, тебе есть дело до воинов, убивших твоего отца и искалечивших тебя? Хотя они всего лишь выполняли приказ, мы казнили их, как и тех, кто отдал им этот приказ. Больше того, мы казнили главного царского военачальника. Ты отмщен! В подтверждение моих слов я привез тебе уши казненных.

Сняв с пояса мешочек, нефириец протянул его Керу.

— Мне нет дела до ваших воинов и подтверждения мне не нужны,— ответил Кер.

— Тогда что тебе нужно? — тихо спросил нефириец.

— Смерть,— ответил Кер.

— Ты ее получишь!

С этими словами человек выхватил кинжал и всадил Керу в грудь, целясь в сердце. Но когда он извлек кинжал из груди Кера, из раны не вытекло ни капли крови.

Кер улыбнулся.

— Хорошо, что ты принес кинжал,— сказал он и ударил нефирийца так, как некогда нефирийский воин ударил его отца.

Потом Кер направил лезвие кинжала выше, но не миновал сердца, и гонец рухнул мертвым.

Текла кровь, и песок жадно впитывал ее. Кер смотрел на убитого и слышал крики матери, которые заглушал в себе все эти годы. Вспомнив мать и последние минуты отца, вспомнив себя ребенком, Кер вдруг заплакал.

Склонившись над убитым нефирийцем, он стал катать труп по песку, марая в крови руки и одежду. Его слезы, перемешиваясь с кровью, капали на песок. Кер вспомнил, что в последний раз он плакал, когда убили отца.

«Я еще не полностью иссох,— подумал Кер.— Во мне еще есть влага, которую может выпить пустыня».

Взглянув на свои измазанные кровью руки, он попытался отскоблить их песком, но песок так и не смог отчистить темно-красные густки.

Кер снова заплакал, а потом повернулся лицом к пустыне и сказал ей:

— Иди ко мне.

Подул ветер.

— И ты иди ко мне, осуши мои глаза,— сказал Кер пустыне.

Ветер и песок, подчинившись его воле, погребли Кера Чемрита и осушили его глаза. Наконец жизнь его иссякла, и последний песчаный маг покинул мир людей.

Наступило время зимних дождей, и нефирийские беженцы вернулись. Воины тоже вернулись в родные места, ведь война окончилась, настало время братья за плуги и лопаты. Бывшие воины очистили от песка русла Нефира и Грибека, и вскоре реки вновь понесли воды к морю. Люди очищали жилища от песка, засевали луга, рыли каналы, чтобы напоить водой израненные поля.

К Нефириде постепенно возвращалась жизнь.

А пустыня, лишившись песчаного мага, отступила на запад, вернувшись в свои прежние границы. Ей и без того хватало безжизненных и засушливых мест.

В лесу, который рос на вершине Митеркама, лесной маг узнал от странствующего ремесленника о смерти Кера, пошел к деревьям и рассказал обо всем вязу, дубу, красному дереву и благородному тополю. Услышав печальную весть, лес плакал по Керу Чемриту, и каждое дерево отдало по прутику для поминального костра и уронило на землю по несколько капель сока.

Проклятие бессмертия

Его разбудили бабочки. Амаса почувствовал их раньше, чем увидел. Сотни нежных лапок коснулись его ворсистого шерстяного одеяла, Амаса почудилось, что на него падают мягкие пушистые хлопья теплого снега.

Открыв глаза, он увидел, что лучи утреннего солнца пробиваются через сотни крошечных цветных окошек. Пол, усеянный бабочками, напоминал затейливый ковер, сотканный вдохновенным безумцем. Бабочки кружились в воздухе, похожие на подхваченные ветром листочки.

«Наконец-то», — подумал Амаса.

Он еще немного полюбовался бабочками, потом осторожно откинул одеяло. Бабочки неслышно вспорхнули. Так же осторожно Амаса спустил ноги на пол. Бабочки метнулись прочь от его ступней и тут же вернулись, усевшись ему на ноги.

Каждый его шаг сопровождался всплеском крылышек. Амаса казалось, что он идет по мелководью, гоня перед собой волны. Бабочки подлетали к нему и тут же устремлялись прочь. Умницы. Тот, кто умеет вовремя наступать и вовремя убежать, имеет шансы выжить.

«Наконец-то вы ко мне явились», — подумал Амаса — и вздрогнул.

Появление бабочек означало долгожданную перемену в его жизни, но теперь он не знал, нужна ли ему эта перемена или нет.

Бабочки порхали вокруг все утро, пока он собирался в путь. В свое последнее путешествие, последнее из очень многих. Амаса был в этом уверен.

Его жизнь началась в богатстве и роскоши, в городе Сеннабрисе* — самом большом из городов побережья, процветание которых зависело от нефти. В детстве он любил смотреть, как большие корабли швартуются у причалов, перекачивают содержимое своих трюмов в ненасытное чрево города и снова уходят в море. Когда началось его первое путешествие, Амаса не последовал за нефтеналивными судами, вместо этого двинувшись прочь от берега.

Блистательной была его жизнь в висячем городе Бесара, раскинувшемся на склонах горы Кармель**. Некоторое время, до самой Мегиддонской войны***, Амаса был правителем Кафр-Катнея, что стоит на равнине Ездразлона****. Он строил Экиппскую лестницу*****, пробиваясь сквозь скалы. Строительство это унесло жизни тысячи человек, что считалось очень небольшой жертвой.

С каждым путешествием Амаса что-то оставлял в прошлом. Его тяга к роскоши осталась в Бесаре, любовью к

* В этом рассказе автор упоминает названия мест, упоминаемых в литературе, связанной с библейской археологией. В действительности Сеннабрис — одно из рыбацких поселений на берегу Галилейского моря (Тивериадского озера). По другим источникам — возможно, один из городов Десятиградия. — *Примечание переводчика.*

** Кармель (в русской Библии — Кармил) — невысокая горная цепь, протянувшаяся от Ездразлонской (Изреельской) равнины на северо-запад, к берегу Средиземного моря. Место религиозного поклонения, связанное с жизнью библейских пророков Илии и Елисея. В переводе с древнееврейского Кармель означает «земля садов». — *Примечание переводчика.*

*** Мегиддон (или Мегиддо) — древний палестинский город на берегу реки Кишон, стоявший на южной оконечности Ездразлонской (Изреельской) равнины. Находясь на дороге, связывающей Египет с Месопотамией, город всегда имел стратегическое значение и являлся ареной ожесточенных сражений, начиная с эпохи фараона Тутмоса III (XV в. до н. э.) и вплоть до Первой мировой войны (1914–1918 гг.). — *Примечание переводчика.*

**** Ездразлон (греческое название Израиля) — плодородная равнина (ее современное название — Изреельская равнина), тянущаяся между побережьем Средиземного моря и долиной реки Иордан. В древности здесь происходило немало сражений. — *Примечание переводчика.*

***** Экиппа — одно из древних поселений, расположенное в относительной близости от горной цепи Кармель. Другое его название — Акжиб. — *Примечание переводчика.*

власти он навсегда натешился в Кафр-Катнее. Желание строить он сбросил, как обветшавший плащ, в Эдиппе. И наконец очутился здесь, на жалком клочке земли у самой кромки пустыни Махирус. У него был плохонький трактор, который всегда капризничал, не желая заводиться. Урожая едва хватало на пропитание и горючее для машин, и Амаса было нечем платить за свет, а темнота в этих краях наступала сразу после захода солнца. Но и здесь его путешествия не кончились, Амаса знал, что его ждет еще одно, самое последнее.

Он многое оставил в прошлом, но не все. Работая в поле, он любил погружать пальцы в землю. Он любил мыть ноги под струей воды в глинистой канаве. Амаса мог часами сидеть на послеполуденной жаре и смотреть, как застывшие в безветрии колосья наливаются золотом, как впитывают в себя солнце, чтобы дать сухие и твердые зерна. Амаса чувствовал: прежде, чем он завершит свой жизненный путь и решится умереть, он должен расстаться со своей последней любовью — с любовью к жизни.

Бабочки торопили его, побуждая отправиться в это последнее путешествие.

Амаса тщательно смазал трактор и поставил его под навес.

Потом перекрыл водоспуск канавы и насыпал земляной вал, чтобы весной вода не вытекала понапрасну на невспаханные поля. Наполнил водой флягу и положил в сумку.

— Это все, что я возьму с собой, — сказал вслух Амаса.

Но даже такая ноша его тяготила.

Бабочки вились вокруг, торопя отправиться в путь, однако он не спешил.

Оглянулся на убранные поля с пожухлой стерней: за ними тянулась полоса сорных трав, пышно разросшихся благодаря воде, что не успевали выпить колосья. А дальше начиналась пустыня Махирус — место, где все влаголюбивое умирало. Почва там была песчаной, смешанной с гравием и обломками камней; но даже там виднелись деревянные остовы жилищ, в которых некогда жили люди. Кто-то считал эти развалины зловещими и утверждал, что

пустыня наступает на плодородные земли. Амаса не верил этим рассказам, потому что знал правду.

Развалины остались от поселения незадачливых себаститов — вечных кочевников, мотающихся по земле, как перекасти-поле, и довольствующихся самым малым. Однажды в здешних краях вода переполнила оросительные каналы и хлынула в пустыню. Не прошло и нескольких часов, как себаститы узнали об этом, и через пару дней они явились сюда на своих обшарпанных грузовиках. А еще через пару недель в пустыне выросла деревушка из наспех сколоченных домишек, и поселившиеся в них люди вовсю распахивали каменистые поля. В тот год себаститам повезло: они собрали приличный урожай, потому что уровень воды в оросительных каналах был на несколько дюймов выше обычного. Но уже на следующий год уровень упал до прежней отметки, и себаститы исчезли так же быстро, как появились. Буквально за одну ночь они разобрали свои домишки, и громко фырчащие грузовики вновь повезли кочевников на поиски счастья.

«А ведь и я такой же себастит,— подумал Амаса.— Вырвал у упрямой пустыни кусочек жизни, но скоро песок заберет его обратно».

«Пора!» — говорили бабочки, садясь ему на лицо. «Пора!» — твердили они, обмахивая его крылышками. Они нетерпеливо перепархивали с места на место и звали Амасу на Иерусалимскую дорогу.

— Нечего меня подгонять,— упрямо отвечал им Амаса.

И все же подчинился воле бабочек и двинулся вслед за ними по земле мертвых.

В воздухе не ощущалось ни дуновения, зной жадно вытягивал из него влагу. Иногда Амаса делал маленький глоток из фляги, но все равно его запас воды быстро уменьшался.

Но еще хуже было то, что крылатые проводники начали покидать Амасу. Похоже, теперь, когда он послушался их и двинулся по Иерусалимской дороге, у бабочек появились другие дела. Еще около полудня Амаса заметил, что их стало меньше. К трем часам его сопровождало всего несколько сотен бабочек.

Амаса понял: пока он следит за какой-то бабочкой, та порхает рядом, но стоит ему отвести взгляд, как она исчезает. Наконец Амаса облюбовал одну бабочку и уже не спускал с нее глаз. Вскоре возле него только она и осталась, но тоже все время норовила упорхнуть.

«Не выйдет,— подумал Амаса.— Я послушался вас, а теперь ты будешь слушаться меня».

И он продолжал идти, пока солнце не побагровело и не поползло вниз. Амаса забыл про жажду и не следил за дорогой: все его внимание было поглощено бабочкой. И та послушно порхала впереди. Амаса одержал маленькую победу: он научился управлять бабочкой силой взгляда.

— Пожалуй, тебе пора остановиться, друг.

Амаса не ожидал услышать на пустынной дороге человеческий голос. Он поднял голову, сознавая, что бабочка сейчас исчезнет, готовый возненавидеть того, кто с ним заговорил.

— Послушай, друг, раз уж ты идешь, сам не зная куда, мог бы и задержаться.

Тот, кто это сказал, был довольно стар, его почерневшее от солнца тело не прикрывала одежда. Старик расположился рядом с большим камнем, выбрав местечко в тени.

— Я предпочитаю идти один и молча, иначе взял бы с собой друзей,— ответил Амаса.

— Если ты считаешь бабочек своими друзьями, ты идиот.

Откуда старик знает про бабочек?

— Я знаю больше, чем ты думаешь,— продолжал старик.— К твоему сведению, раньше я жил в Иерусалиме. А теперь я — страж Иерусалимской дороги.

— Уйти из Иерусалима нельзя,— возразил Амаса.

— А я все-таки ушел,— сказал старик.— И теперь сижу возле дороги и даю путникам ключи, с помощью которых можно попасть в Иерусалим. Немногие прислушиваются к моим словам, но если ты пропустишь их мимо ушей, тебе никогда не добраться до Иерусалима и твои кости лягут рядом с костями других, а солнце и ветер превратят их в прах.

— Я пойду туда, куда поведет меня дорога,— заявил Амаса.— Мне не нужны твои подсказки.

— Ничего удивительного, ты не первый, кто так говорит. Доверять мертвым дорожным столбам всегда проще, чем прислушиваться к советам живых людей.

Амаса задумался.

— Тогда говори, что хочешь сказать.

— Сперва отдай мне всю твою воду.

Амаса рассмеялся. Смех получился тихим; он смеялся, почти не разжимая губ.

— Вот тебе первый ключ к Иерусалиму,— сказал старик.— Вижу, ты мне не веришь, но это правда. Тот, у кого есть вода или пища, не может войти в город. Думаю, ты понял, что этот город не увидишь глазами. Если бы ты, путник, обладал волшебным зрением, то уже увидел бы Иерусалим — он ведь совсем рядом. Но он сокрыт от всех людей, кроме отчаявшихся. Вход в него может найти только тот, кто близок к смерти. И вот еще что я скажу: если ты пройдешь мимо входа в Иерусалим и не заметишь этого — а такое может случиться, если у тебя с собой будет вода,— тогда броди хоть до скончания дней. Рано или поздно вода твоя кончится, у тебя пересохнет в горле, и ты шепотом станешь умолять, чтобы город явился тебе. Но все будет напрасно. Ты так никогда и не найдешь пути в Иерусалим. Учти: прежде чем этот город появится перед тобой, ты должен ощутить во рту привкус смерти.

— Это похоже на религиозную проповедь,— сказал Амаса.— Но я уже много лет назад порвал с религией.

— Говоришь, порвал с религией? Да есть ли религия в нашем мире, если в его сердце обитает дракон?

Амаса заколебался. Часть его — та, которую он привык называть разумом,— велела не обращать внимания на болтовню старика и идти дальше. Но Амаса давно перестал прислушиваться к разуму. К тому же большинство людей стоило бы называть «двуногими, лишенными перьев», а не «разумными животными». У Амасы нещадно болела голова, гудели ноги, горели запекшиеся губы. Он протянул старику флягу, а затем, поразмыслив, отдал ему и сумку.

— Разве там нет ничего ценного для тебя? — удивился старик.

— Нет. Возьми ее, а я хочу спать,— сказал Амаса. Старик кивнул.

Они уснули и проспали до тех пор, пока на востоке не взошла яркая луна, предвещавшая близкий рассвет. Амаса проснулся первым и стал ворочаться с боку на бок; это разбудило старика.

— Ты уже собрался уходить? К чему такая спешка?

— Расскажи мне про Иерусалим.

— А что тебя интересует, друг? История? Мифы? Современность? Стоимость проезда в общественном транспорте?

— Почему город скрыт от обычных взоров?

— Чтобы его не нашли.

— Тогда зачем ключи, с помощью которых можно туда проникнуть?

— Чтобы найти вход в город. Не понимаю, зачем спрашивать о том, что само собой разумеется?

— Кто построил Иерусалим?

— Люди.

— Зачем они это сделали?

— Чтобы человечество не исчезло.

Амаса кивнул. Наконец хоть какой-то намек на здравый смысл.

— Но что за враг угрожает Иерусалиму, заставляя его прятаться?

— Друг мой, ты не понимаешь. Иерусалим как раз для того и построили, чтобы враг не вырвался за его пределы. И старый, и новый Иерусалим строились, чтобы запретить дракона в сердце мира.

Старик говорил напевно, словно сказочник. Амаса снова лег и слушал его, следя за движением луны. Луна по левую руку от Амасы медленно плыла вверх.

— Люди прилетели сюда на кораблях, которые умели преодолевать пустоту ночи,— говорил старик.

Амаса вздохнул.

— Наверное, ты и сам это знаешь?

— Старик, давай без дураков. Расскажи мне про Иерусалим.

— Разве книги и учителя не поведали тебе, что когда наши далекие предки прилетели на эту планету, она была не пустой?

— Послушай, давай без сказок, прошу тебя. Я хочу услышать простой и ясный рассказ. Без мифов, без магии. Только правду.

— Сколь незатейлива твоя вера, — вздохнул старик. — Тебе нужна правда? Что ж, слушай правду, и пусть она пойдет тебе во благо. Здешний мир был покрыт лесами, и в них жили существа, которые спаривались с деревьями и черпали от них силу. Они и сами очень походили на деревья.

— Могу себе представить.

— Когда прилетели наши предки, здешние, похожие на драконов, существа, жившие среди деревьев, испугались космических кораблей. В огне, вырывающемся из сопел, они учуяли смерть. Эти существа вовсе не были пугливыми зверьками; то, что они умели, нашим предкам казалось чудесами. Иначе, чем магией, это не назовешь. Драконы, жившие среди листвы, обладали знаниями, о которых наши предки и понятия не имели, зато у наших предков были знания, совершенно неведомые драконам. Здешные существа просто не нуждались в подобных знаниях, тут люди превосходили их, потому что умели применять дефолианты*.

— Выходит, наши предки погубили деревья.

— Да, но потом повсюду выросли новые леса. Там, где раньше они были не очень густы, они возрождались быстрее — теперь это населенные места. Но здесь... Раньше тут не было никакой пустыни Махирус, а рос диковинный лес. Деревья в нем были невероятно высоки, а чаша так густа, что под ее пологом не выживали ни кустарники, ни трава. Когда дефолианты погубили деревья, некому стало удерживать почву; дожди вымывали ее, она стала сползать на равнины Езраэлона. Поэтому там сейчас такие плодородные земли, а здесь не осталось ничего, кроме песка.

— Я просил рассказать про Иерусалим, — напомнил Амаса.

* Химические препараты, вызывающие опадание листьев растений и применяемые обычно для ускорения созревания хлопчатника и облегчения его машинной уборки.

— Поначалу Иерусалим возник как научный форпост. Там жили ученые, изучавшие драконов — маленьких коричневых бестий. Дефолианты косили драконов тысячами, и говорили, будто они умирают не от самих дефолиантов, а от отчаяния. Уцелевшие драконы спрятались среди камней, и людям никак было не извлечь их оттуда. Ученые в Иерусалиме остались без дела, и этот город стал городом наслаждений. В таком захолустье были позволительны любые грехи, ведь даже Бог их здесь не замечал.

— Я просил рассказывать только правду.

— Не перебивай. Как-то раз оставшиеся в городе ученые бродили среди скал и обнаружили, что не все драконы вымерли. Они увидели маленького упрямяца, жившего среди серых камней. Но он неузнаваемо изменился: из темно-коричневого дракон серым, как камни вокруг. Теперь его шкура походила не на кору, а на камень. Ученые поймали дракона и принесли в свою лабораторию. Спустя несколько часов дракон сбежал и больше не попадался им на глаза, а по Иерусалиму прокатилась волна убийств. Что ни ночь, то убийство. Убивали не просто кого попало, а лишь прелюбодействующие пары: их находили с перерезанными глотками или со вспоротыми животами. Не прошло и года, как все искатели наслаждений покинули город, и Иерусалим вновь изменился.

— Ты хочешь сказать, он стал таким, как сейчас.

— Ученым удалось перенять у драконов крупницы их знаний, и с помощью этих знаний город был запечатан. Жители обратились помыслами к святости, вере и красоте, и убийства прекратились. Но серый дракон жив и по сей день. Многие мельком видят его то здесь, то там — он похож на ожившую химеру. Иерусалим запечатали еще и для того, чтобы дракон не вырвался в большой мир, где люди не настолько святы и могут побудить его к новым убийствам.

— Значит, Иерусалим оберегает мир от греха.

— Он оберегает мир от возмездия, давая ему время на покаяние.

— Я что-то не замечал у людей тяги к покаянию.

— Кое-кто из них к этому склонен. И тогда бабочки уводят кающегося из мира и ведут ко мне.

Амаса молчал. За его спиной взошло солнце, и не успело оно подняться из-за гор на востоке, как вновь наступила жара.

— А теперь я расскажу тебе про законы Иерусалима. Закон первый: если ты увидел город, ни в коем случае не делай ни шагу назад, иначе потеряешь его из виду... Закон второй: на улицах не заглядывай в дыры, откуда исходит красное сияние, иначе у тебя вытекут глаза, слезет кожа, раздробятся кости, но ты будешь оставаться в сознании до самой последней минуты и умрешь мучительной смертью... Закон третий: раздавивший бабочку будет жить вечно... Закон четвертый: не приглядывайся к маленькой серой тени, что спует по гранитным стенам царского дворца, иначе она проберется к тебе в постель... Закон пятый и последний: дорога на Далмануфу ведет к тому знаку, который тебе нужен. Но ты никогда его не достигнешь.

Старик улыбнулся.

— Почему ты улыбаешься? — спросил Амаса.

— Потому что ты, блаженный Амаса, — настоящий святой и Иерусалим с нетерпением ждет твоего прихода.

— А как зовут тебя, старик?

Старик вскинул голову.

— Созерцающий.

— Но это не имя.

Старик вновь улыбнулся.

— А я не человек.

На мгновение Амаса поверил его словам и протянул руку — пальцы его прикоснулись к телу, которое не рассыпалось и не исчезло.

— До чего же велика твоя вера, — восхищенно произнес старик. — Ты спокойно расстался со своей сумой, сказав, что там нет ничего ценного для тебя. А что тогда ты ценишь?

В ответ Амаса снял с себя одежду и бросил под ноги старику.

Когда-то его звали иначе, но как — он уже не помнил. Теперь его звали Серый, и он жил среди камней, серых, как его имя. Порой он забывал, где кончается камень и где начинается его тело, а иногда, неподвижно застыв,

высматривал растопыренные пальцы своих ног, вцепившиеся в камни; наконец с удивлением их замечал и так же удивленно шевелил ими.

Серый был неподвижен почти весь день и почти всю ночь, но в сумерки и предрассветную пору наступало его время. Неслышно, точно паук, он скользил по шербатым каменным стенам дворца, иногда останавливаясь, чтобы напиться из щели, в которой собралась дождевая вода.

Но сейчас движения Серого стали медлительными и неуклюжими, потому что его тычинка выросла и набухла. Она задевала за вертикальные камни, попадала ему под ноги, и он на нее наступал. Так будет продолжаться несколько недель, и день ото дня она будет болеть все сильнее. Надо как-то унять эту боль... унять... обязательно унять, но слабый разум Серого не знал, как это сделать.

Долгие годы он не встречал соплеменников, ни на стенах, ни на потолках. Серый помнил, что когда-то выслеживал людей, которые по ночам ложились друг на друга. Кажется, он что-то с ними делал, но что?

А теперь его вновь влекло к дворцовым окнам. Сам того не понимая, он искал там исцеления от нестерпимой боли, хотя совершенно не представлял, какое исцеление можно найти в темных комнатах дворца. Он лишь помнил, что сумерки — время охоты. Только где искать добычу и как она выглядит?

«Я прошел мимо ворот Иерусалима, потому что не был близок к смерти», — думал Амаса.

Иногда ему казалось, что Иерусалима вообще не существует, что он напрасно проделал долгий путь. Но Амаса не испытывал страха и не предавался отчаянию, он думал о смерти с надеждой, он ждал ее, ибо смерть означала желанный конец его путешествия. Он искал смерти, которая подступила бы к нему с жадно высунутым языком. Он искал смерти, прячущейся в прохладе пещер, а в сумерках и на рассвете отправляющейся на поиски жертв. Смерть могла оказаться песком пустыни, или ветром, что заставит его сбиться с дороги, или подвернувшимся под ноги камнем, споткнувшись о который Амаса провалится в яму и переломает кости.

И вдруг он увидел Иерусалим.

Светило неяркое солнце, обрамленное плотными тяжелыми облаками. По обе стороны дороги тянулись нескончаемые огороды, их зелень блестела после недавнего дождя. Над головой Амаасы жужжали пчелы... И тут Амаса увидел город, его купола виднелись из-за деревьев. Величественный серо-зеленый город. Повсюду журчала вода — не та, что боязливо текла по оросительным каналам, отбиваясь от жадной земли, готовой поглотить ее целиком, не пустить на поля. Нет, Амаса слышал журчанье воды, привыкшей течь свободно, взмывать вверх беспечными струями фонтанов. Здесь, наверное, никому и в голову не приходило собирать и запасать воду.

Это зрелище так потрясло Амасу, что ему захотелось повернуть назад, чтобы проверить — не мираж ли это. Иерусалим появился перед ним слишком внезапно, и Амаса все еще сомневался, не мерещится ли ему. Но он вспомнил первый закон, о котором рассказал старик: ни шагу назад. Иерусалим был чудом, и Амаса решил не испытывать судьбу.

Он двинулся вперед, шагая по упругой земле. Впрочем, земля была не везде; иногда под его ногами была густая трава, иногда — замшелые камни. Амаса вволю напился из ручья, который весело журчал среди цветов. Потом двинулся вперед и вскоре увидел поднимавшуюся уступами стену, а в ней — небольшую дверь.

Открыв дверь, Амаса вошел, поднялся по ступеням и вскоре обнаружил вторую дверь, а за ней и третью. Первая дверь подалась с трудом, скрипнув ржавыми петлями. Вторая густо заросла шиповником и открылась без скрипа. Амаса ожидал, что ему вот-вот кто-нибудь встретится: садовник или те, кто пришли сюда отдохнуть и весело провести время. Раз двери были в порядке, ими наверняка кто-то пользовался.

Он прошел еще через несколько дверей, а последняя открылась раньше, чем он потянулся к ручке.

Перед ним стоял человек в грязном коричневом одеянии паломника. Он явно не ожидал увидеть Амасу, потому что тут же резко отвернулся. Но Амаса все-таки успел заметить, что паломник держит... младенца. Младенца с

окровавленными руками. Амаса ясно увидел кровь. Уж не детоубийца ли открыл ему дверь?

— Все совсем не так, как ты думаешь,— поспешно, словно оправдываясь, объяснил паломник.— Я нашел этого ребенка, и рядом не было никого, кто мог бы о нем позаботиться.

— Тогда откуда кровь?

— Этот младенец — дитя прелюбодеев. Пророчество исполнилось: он омыл руки в крови собственного отца.

Паломник с надеждой взглянул на ребенка.

— Мы должны биться с врагом, затаившимся в городе. Тебе не следует...

Внезапно он замолчал, заметив порхающую бабочку. Она сделала круг над головой Амасы — всего один, но паломнику этого было достаточно.

— Значит, это ты? — спросил паломник.

— Ты меня знаешь?

— Вот уж не думал, что доживу до этого дня!

— До какого дня? — спросил Амаса.

— До дня, когда будет убит дракон.

Паломник втянул голову в плечи, осторожно подхватил ребенка левой рукой, а правой широко распахнул перед Амасой дверь.

— Тебя явно призвал сам Господь.

Амаса вошел. Он так и не мог понять, за кого его признал паломник и почему его появление здесь так много значит для этого человека. За его спиной послышалось пробормотание:

— Время пришло. Время пришло.

Дверь оказалась последней.

Амаса вошел в Иерусалим.

Он брел, глядя на утопающие в зелени мужские и женские монастыри, сворачивал на улицы, где вперемешку стояли магазины и часовни, храмы и жилые дома. Амаса шел мимо садов и навозных куч... И все вокруг было ослепительно зеленым, живым, святым, напоенным множеством запахов, бурлящим или застывшим в созерцании.

«Для чего я здесь? — спрашивал себя Амаса.— Зачем бабочки меня сюда позвали?»

Он не глядел в дыры, из которых исходило красное сияние. Проходя мимо серого каменного лабиринта царского дворца, он старался не глядеть на стены, чтобы не увидеть мелькнувшую тень. Амаса решил жить по законам Иерусалима, надеясь, что этот город станет концом его странствий.

Царице Иерусалима было скучно и одиноко. Вот уже месяц она блуждала по дворцу, по самым заброшенным покоям дворцового лабиринта, где давным-давно никто не жил. Она старалась отсюда выбраться, но вместо этого заходила все дальше, туда, где было еще больше пыли и запустения.

Слуги, конечно, знали, где сейчас находится царица, и ворчали, что надо снова тащиться к ней, нюхать пыль и любоваться на старую рухлядь. Но они даже не догадывались, что их госпожа заблудилась. Слуги думали, что царице просто нравится гулять по заброшенным коридорам и пыльным комнатам. Ее величество сама знает, где ей быть...

А царица не могла снизойти до того, чтобы позвать на помощь. В самом деле, разве может царица сказать человеку, который принес ей обед:

— Любезный, не подскажешь, где я сейчас и как мне отсюда выбраться?

Поэтому она все больше углублялась в лабиринт и все сильнее злилась на противную пыль, заставлявшую ее чихать и кашлять.

Царица была ужасно тучной, что еще больше осложняло ее незавидное положение, потому что передвигалась она с трудом. Стоило ей найти комнату с кроватью, способной выдержать ее чудовищный вес, как она на несколько дней застревала там. Потом кровать ломалась, и царице приходилось отправляться на поиски новой. Поэтому ее перемещение по лабиринту было продиктовано не любопытством, а необходимостью и происходило не постепенно, а рывками.

Проснувшись поутру и услышав, что кровать все сильнее трещит, с трудом выдерживая ее царственную особу,

правительница горестно вздыхала. Правда, она не забывала съесть обильный завтрак, и слуги, как всегда, стояли наготове, чтобы собрать и унести грязную посуду и объедки. Но после завтрака царица не требовала певцов или чтецов, а велела четверым слугам поднять себя с кровати и начать перемещать туда, куда хотела направиться.

— Сюда! А теперь — туда! — кричала она слугам, а те передвигали ее, точно мебель.

Вся сложность заключалась в том, что царица, подобно набравшему скорость маховому колесу, далеко не сразу могла остановиться. Она проскакивала мимо комнат, едва успевая их оглядеть. Если царица хотела где-то задержаться, ей нужно было вовремя сказать об этом слугам, чтобы те успели ее остановить. Но вдруг впереди окажется что-нибудь более привлекательное?

— Дальше! Дальше! — кричала царица, и слуги едва успевали поворачивать ее необъятное тело, следуя поворотам и изгибам коридоров дворцового лабиринта.

Они знали, что скоро царица выдохнется и ей придется остановиться.

В тот день, когда Амаса пришел в Иерусалим, царица обнаружила громадную комнату с невообразимо широкой кроватью. Давным-давно некий распутный принц предавался здесь плотским утехам сразу с дюжиной любовниц.

— Вот то, что нужно! Я хочу остановиться здесь! — повелительно сказала царица.

Слуги облегченно вздохнули и принялись за уборку, потому что все в комнате было покрыто густым слоем пыли.

— Что вашему величеству будет угодно надеть на Царское Моление? — сладким голосом спросил дворецкий.

— Меня на Молении не будет, — ответила царица. Она ведь не знала, как вернуться в обитаемые покои дворца. — На этот раз я решила пропустить праздник. Ничего страшного, ведь он повторяется каждые семь лет.

Дворецкий с поклоном ушел.

Царица проводила его завистливым взглядом: ей страстно хотелось вернуться к себе и она уже целый месяц не участвовала в празднествах. Что еще того хуже, она нахо-

дилась далеко от дворцовой кухни, и все кушанья, пока их сюда несли, успевали остыть.

Царица мысленно прокляла предков своего мужа, построивших все эти лабиринты.

Амаса провел ночь возле навозной кучи: от нее исходило тепло, а он был совершенно гол. Поутру, не отходя от кучи, он нашел себе работу.

Его разбудили слуги важного духовного лица, которого они называли епископом. Слуги оказались конюшенными этого епископа, они привезли сюда навоз, скопившийся в конюшне за неделю. Навоз охотно разбирали окрестные крестьяне, поскольку за него не надо было платить.

Слуги неодобрительно покосились на нагого Амаса, но ничего не сказали и принялись за работу. Вывалив навоз из тачек, они взяли вилы и начали разравнивать его, желая придать куче более аккуратный вид. Амаса видел, как эти люди боятся хоть немного испачкаться в навозе; сам он не страдал подобной шепетильностью, поэтому взял свободные вилы, шагнул в самую середину навоза и быстрее и проворнее брезгливых слуг перекидал свою часть в общую кучу. Он работал так усердно, что под конец старший конюшенный отвел его в сторону и спросил:

— Хочешь получить работу?

— Не помешает, — ответил Амаса.

Старший конюшенный многозначительно оглядел нагого Амаса.

— Ты что, постишься?

Амаса покачал головой.

— Я оставил одежду на дороге, только и всего.

— Нужно внимательнее относиться к своим вещам. Я могу выдать тебе ливрею, но целый год буду вычитать ее стоимость из твоего жалованья.

Амаса пожал плечами. Он не знал, на что здесь тратить деньги.

Его новая работа оказалась тяжелой и монотонной, но все равно понравилась ему. К тому же нескончаемое разнообразие окружающей жизни скрашивало труд. Амаса был покладистым, поэтому ему доставалось больше ра-

боты, чем остальным; однако перебрасывание навоза было для него лишь фоном для маленьких ежедневных радостей.

Амаса любил утренние молитвы, когда епископ в серебристом облачении произносил величественные слова и слуги, толпившиеся во внутреннем дворе, неуклюже подражали жестам священника. Ему нравилось бежать за каретой епископа: по обеим сторонам улицы стоял народ, а епископ бросал из окна кареты мелкие монетки. Жители радостно кричали «ура!», и слуги тоже радовались, ведь им доставалась часть денег. Они тратили эти деньги на выпивку, а Амаса сидел с ними, слушая их песни и истории.

Он любил сопровождать епископа, когда тот посещал церковь, посольство или знатный дом. Амаса с интересом разглядывал женские наряды: они как будто полностью отвечали строгим требованиям скромности и целомудрия, но стоило присмотреться, и глаз улавливал и признаки роскоши, и почти откровенную похоть, мастерски прикрывавшуюся скромностью и целомудрием. Все это считалось вполне благопристойным и даже богоугодным. Амаса не удивлялся. Он давно понял, что обратная сторона молитв и духовного экстаза — пламень плотской страсти.

Годы, проведенные почти на краю пустыни, научили Амасу ценить то, на что остальные слуги не обращали внимания. Там, где он жил, питьевую воду привозили из других мест, ее приходилось беречь. Амаса не сразу избавился от привычки наливать лишь столько воды, сколько он мог выпить. А если бы там, где он раньше жил, он вымылся бы так, как мылись в бане слуги — щедро расплескивая воду, — ему нечем стало бы поливать посевы. Рядом с пустыней даже лужица мочи привлекала мелких зверей, не говоря уже о насекомых.

Здесьние жители называли Иерусалим городом камня и огня, но для Аамасы он был городом жизни и воды, которая стоила дороже золота, вечно меняющего хозяев.

Конюшенные неплохо приняли Амасу, но его отделял от них невидимый барьер. Мало того, что он был пришлым; он явился в Иерусалим совершенно голым и не

испугался предстать перед Господом перепачканным в навозе. Для отчужденности слуг были и другие причины.

Амаса не обижался. Он познал привкус смерти и подходил к жизни с иными мерками. Он понимал простые удовольствия, которые так много значили для конюшенных, но не нуждался в них и не мог этого скрыть.

Однажды настоятель передал управляющему, тот — старшему конюшенному, а старший конюшенный — Амаса и всем остальным, чтобы они трижды тщательно вымылись с мылом. Старожилы сразу поняли, в чем дело, и от них Амаса узнал о приближающемся празднике, именуемом Царским Молением, который устраивался каждые семь лет. Епископ будет участвовать в торжественных церемониях, и слуги должны его сопровождать — безупречно чистые, в отглаженных ливреях, с волосами, пахнущими благовониями. А самое главное — они увидят царя и царицу.

— Она красивая? — спросил Амаса, пораженный тем, с каким благоговением эти грубоватые и непочтительные люди говорят о царице.

Слуги со смехом ответили, что царица похожа на гору, на луну и даже на целую планету.

Но вдруг на голову старой служанки села бабочка, и смех мгновенно стих.

— Бабочка, — зашептались слуги.

Глаза старухи затуманились, и она сказала:

— Знай, блаженный Амаса: для тех, кто способен видеть, царица восхитительно прекрасна.

— Слышите? — перешептывались слуги. — Бабочка говорит с новеньким, который явился сюда нагим.

— О блаженный Амаса, из всех святых, что являлись сюда из большого мира, из всех мудрых и изможденных душ ты самый мудрый, самый изможденный и самый святой.

Слушая голос бабочки, Амаса трепетал. Он вдруг вспомнил, как перебирался через Экиппскую пропасть, чувствуя, что в любую секунду она может разверзнуться и поглотить его.

— Мы привели тебя сюда, чтобы спасти ее, спасти ее, спасти ее, — говорила старуха, глядя в глаза Амасы.

Тот покачал головой.

— С меня достаточно подвигов,— сказал он.

Из рта старухи хлынула пена, из ушей потекла сера, из носа — слизь, глаза переполнились сверкающими слезами.

Амаса протянул руку к бабочке на голове старухи — к хрупкой бабочке, доставившей несчастной служанке столько страданий. Он взял бабочку в руку, сложил ее крылышки, прикрыл левой рукой и... раздавил! Раздался громкий хруст, точно надломился прутик, но из бабочки не вытекло ни слизи, ни раздавленных внутренностей. Она была сделана из чего-то прочного, как металл, но ломкого, как пластик. Между половинками мертвой бабочки заплясали электрические искорки и быстро погасли.

Старуха упала. Слуги осторожно вытерли ей лицо и унесли. Никто не заговорил с Амасой, только старший конюшенный ошеломленно поглядел на него и спросил:

— И с чего это тебе захотелось жить вечно?

Амаса пожал плечами. Как он мог объяснить, что просто решил облегчить страдания старухи и поэтому убил бабочку. К тому же его отвлекло странное жужжание в голове. Там словно шелкали крошечные переключатели, открывались и закрывались крошечные задвижки, а микроскопические контакты без конца меняли свою полярность. Перед глазами мелькали картины, но он не успевал к ним приглядеться.

«Теперь я вижу мир глазами бабочки,— подумал Амаса.— А громадный механизм, который называется разумом Иерусалима, видит мир моими глазами».

Серый в ожидании замер у окна. Здесь! Каким-то чудом (не важно каким) он это понял. Он знал, что рожден для этого мгновения, что цель всей его жизни — по ту сторону окна. Он был голоден, но сейчас не время было отвлекаться на добывание пищи. Его разбухшая тычинка дрожала от вожделения. Серый знал: нынче ночью он удовлетворит свои желания.

Он терпеливо ждал у окна. Солнце спряталось, небо потемнело, но он продолжал ждать. Погасли последние лучи света. Внутри было тихо. Серый скользнул в темно-

ту и осторожно двигался до тех пор, пока его длинные пальцы не нащупали каменную кромку. Он стал заползать внутрь, а разбухшая тычинка тащиась между ног; шершавый камень больно царапал ее. «Уже скоро,— твердил себе Серый.— Уже скоро».

Он двигался к гигантской живой горе, вздымавшейся среди простыней. Гора дышала. Ее дыхание было судорожным и частым; глыбы, которые были ее грудями, с трудом вздымались и тут же опадали. Но Серый не думал об этом; он полз по стене, пока не оказался над головой живой горы. Ее мясистое лицо не вызвало у него интереса, его интересовало лишь то место у ее плеч, где простыни, одеяла и покрывала лежали не так плотно. Там были щели, ведущие под одеяла. Складки простыней чем-то напомнили ему древесные листья. Серый прыгнул на кровать и юркнул в щель.

Да, это тебе не камень! Серый елозил из стороны в сторону, нигде не находя твердой поверхности, за которую мог бы зацепиться. Тычинка вздрагивала; он чувствовал жжение и покалывание, изнутри уже сыпались крупинки пыльцы. Нельзя медлить, нельзя останавливаться только потому, что ему трудно передвигаться.

Серый из последних сил полз по узкому проходу между мокрым от пота телом и белой стеной простыней. Вперед, только не останавливаться! Кое-как он перебрался через огромную ветку и вдруг понял, что достиг цели. Пора! Да, пора. Вот он, великолепный цветок, готовый распуститься. Цветок призывно раскрыл свой пестик. Цветок ждет его!..

Серый прыгнул и приник к телу горы, как в давние времена приникал к ветвям своих огромных жен-деревьев, а позже приникал к безжизненному камню. Едва проникнув в пестик, тычинка запорошила его стенки пыльцой... Дело всей жизни Серого свершилось. Когда тычинка выбросила последние крупинцы пыльцы, Серый замертво упал на простыню.

Царице снились буйные сны.

Часы бодрствования налагали на нее множество ограничений: ее чудовишно тучное тело быстро уставало и

противилось каждому движению. Но зато во сне царица была неистова и неумоима. Иногда ей снилось, что она мчится на коне по холмам и оврагам. Иногда во сне она летала. А в эту ночь ей снились любовные наслаждения. Разумеется, они тоже были буйными и необузданными. Но, находясь на вершине страсти, она вдруг увидела чье-то лицо, и от нее грубо оторвали возлюбленного. Царица испуганно посмотрела на невесту откуда взявшегося незнакомца — и тут сон оборвался.

Царица проснулась, все еще трепеща от сладостных воспоминаний. Ей было так тяжело и тоскливо возвращаться к действительности и вспоминать, какая она на самом деле! Царица позволила реальности проникнуть в нее по капле, словно принимая горькое лекарство. Она вспомнила, что заблудилась во дворце, что жир давит на нее и свисает складками, делая ее похожей на распухшее больное дерево. Царица вспомнила, как она несчастна. А тут еще странный человек, ворвавшийся в ее сон!

Царица шевельнулась — и вдруг почувствовала между ног что-то холодное и сухое. Она испуганно застыла.

Горничная, увидев, что царица проснулась, тут же склонилась над ней с вопросом:

— Не угодно ли вам позавтракать, ваше величество?

— Помоги мне встать, — прошептала в ответ царица.

Горничная удивилась, но позвала других слуг. Когда они выкатывали царицу из постели, та вновь почувствовала это и, едва оказавшись на ногах, тут же приказала сбросить с кровати все постельное белье.

Он лежал в складках простыней: сплюснутый, пустой, похожий на тонкую пластинку серого камня. Слуги вытаращили глаза, но, разумеется, не поняли того, что сразу поняла царица. Сон оказался слишком правдивым, и большой стебель, торчащий из мертвого тельца, живо напомнил ей о призрачном возлюбленном. Царица поняла: это существо явилось к ней не высасывать все соки, не забирать. Оно пришло, чтобы отдать.

Царица не закричала, но почувствовала, что ей нужно как можно скорее бежать отсюда. Она сама, без помощи слуг, засемила к двери и, к своему большому удивле-

нию, не упала. Желание покинуть это место как будто придало силы ее ногам, и они не подогнулись.

Царица не знала, куда ей идти. Все равно куда, только прочь отсюда.

Она побежала. Мелькали распахнутые двери комнат, сзади бежали удивленные слуги. Миновав дюжину комнат, царица вдруг поняла: она убегает вовсе не от маленького уродца, оказавшегося ее любовником. Она бежала, потому что он оставил что-то внутри нее. Даже на бегу царица чувствовала, как во чреве ее что-то шевелится. Она должна, она просто обязана как можно скорее от этого избавиться.

Царица бежала, испытывая не тяжесть, а облегчение. Ее жир таял буквально на глазах, исчезали ненавистные холмы и бугры плоти: их уносила внутренняя буря и царица вновь становилась похожей на женщину. Там, где раньше был необъятный живот, остались складки обвисшей кожи, они ударяли ее по ляжкам.

Слуги догнали царицу и подхватили, чтобы, как всегда, поддержать. Но что это? Царица уменьшилась в объеме почти вдвое! Слуги ничего не сказали, тем более что их мнения никто и не спрашивал. Поэтому они просто бежали, глядя на болтающиеся складки усыхающей плоти ее величества.

И вдруг охваченная страхом царица увидела, что попала в знакомые места. Она узнавала ковры, мебель, окна и двери. Теперь у нее появилась цель. Она знала, куда именно бежать. Скорее, скорее туда, где ей помогут и защитят. Скорее в тронный зал, где сейчас должен быть ее муж! Церемония Моления уже наверняка началась. Царица чувствовала, что силы ее иссякают.

— В тронный зал,— велела она окружившим ее слугам.— К мужу!

Слуги бережно подняли ее и понесли. Плод во чреве царицы подпрыгивал от радости. Время его появления на свет стремительно приближалось.

Амаса не видел того, что происходит в Небесном Зале. Едва он туда вошел, все пространство заполнили бабочки. Они порхали под куполом, роспись которого

изображала небосвод летней ночью, и их крылышки закрывали звезды. Бабочки облепили расписные колонны, и живопись едва проступала сквозь живое покрывало. А маса видел бабочек повсюду, даже там, где другие не могли их увидеть. В его голове по-прежнему открывались и закрывались крошечные задвижки, и микроскопические контакты меняли свою полярность, подчиняясь движениям бабочек.

«Спаси царицу,— звенело в голове Ама-сы.— Мы привели тебя сюда, чтобы ты ее спас».

Живая пелена застилала его глаза, и он ничего не видел, пока в Небесный Зал не внесли царицу. Тогда пелена перед его глазами рассеялась.

В зале наступила тишина, церемония прервалась, взор собравшихся обратился к царице. А маса увидел нечто, похожее на громадный, наполовину спущенный воздушный шар с женским лицом. Широко раскрытые беззащитные глаза царицы смотрели испуганно и доверчиво. Она нетвердо держалась на ногах, и слуги делали все возможное и невозможное, чтобы не дать ей упасть. Ее лицо заморозило Амасу. В этом лице соединились лица всех женщин; надежда в ее глазах была ответом на чаяния всех мужчин.

— Муж мой! — воскликнула царица.

Но взгляд ее, как и слова, были обращены не к царю. Она пристально смотрела на Амасу.

«Она смотрит прямо на меня,— в ужасе подумал А маса.— Она несет в себе все великолепие Бесары, все могущество Кафр-Катнея. Она — пропасть Экдиппы. Она — все, что я любил и оставил в прошлом. И я не хочу вновь распалить огонь желания».

— Что с тобой, жена моя? — крикнул ошеломленный царь.

Царица протянула к нему руки. В ее горле забулькало, лицо исказила гримаса боли и удивления. Потом она задрожала, как легкая деревянная изгородь под напором ветра.

Вокруг тревожно зашептались. С царицей явно творилось что-то неладное.

Царица качнулась и отпрянула.

На полу лежал новорожденный младенец. Совсем маленькая девочка с серой кожей, вся сморщенная и перепачканная кровью. Глаза младенца открылись. Девочка выпрямилась, огляделась по сторонам, схватила ручонками пуповину и перекусила ее.

Над головой ребенка тревожно кружились бабочки. Амаса знал, чего они от него ждут. Он слышал их шепот: «Подобно тому как ты переломил бабочку, ты должен сломать шею этому ребенку. Мы — Иерусалим, построенный ради великого свершения. Существо, явившееся в наш мир, подобно богу. Мы приветствовали ее рождение. Теперь тебе надлежит ее убить. Каждая минута ее жизни несет опасность. Ты — самый святой из всех людей. Мы привели тебя сюда, ибо ты один обладаешь властью над этим ребенком».

«Я не могу убить ребенка!» — подумал Амаса.

Даже не подумал, а просто вздрогнул от негодования и отвращения. То не было разумным решением — убийству воспротивилась его человеческая сущность.

«Пойми, перед тобой — не ребенок, — шептали ему бабочки вместе с Иерусалимом. — Думаешь, драконы исчезли потому, что мы уничтожили их деревья? Ошибаешься, драконы изменились и нашли новый способ плодить себе подобных. Они не оставили надежды вновь править миром».

Весь механизм города с его переключателями, задвижками и контактами требовал, чтобы Амаса подчинился. И тысячи раз Амаса решал покориться судьбе и делал несколько шагов вперед, чтобы схватить девочку и сломать ей шею. И столько же раз он слышал свой крик: «Я не могу убить ребенка!»

Крик этот эхом отозвался в Небесном Зале, когда Амаса прошептал:

— Нет.

«Зачем я стою здесь, посреди Небесного Зала? — спрашивал себя Амаса. — Почему царица с таким ужасом смотрит на меня? Может, она меня узнала? Да, узнала и потому испугалась. Испугалась, потому что я должен убить ее ребенка. И еще потому, что я не могу этого сделать».

Пока Амаса колебался и терзался сомнениями, серая девочка повернула личико к царю.

— Папа,— произнесла она.

Потом девочка встала и потопала к трону. С каждым шагом ее походка становилась уверенней, на ходу она ловко ковыряла в ухе.

«Пора. Пора!» — торопили бабочки Амасу.

«Да,— мысленно ответил им Амаса.— Нет».

— Доченька! — обрадованно вскричал царь.— Наконец-то у меня появилась наследница! Ответ на мое Моление пришел раньше, чем мы закончили молиться. И каким удивительным ребенком наградили меня небеса!

Царь сошел с трона, подхватил девочку на руки и подбросил вверх. Она засмеялась и, перекувырнувшись в воздухе, упала ему в руки. Царь вновь подбросил ее и...

Девочка осталась парить в воздухе. Она плавала над головой царя. Собравшиеся застыли, изумленно раскрыв рты. Девочка обратила свой взор к матери, из чрева которой недавно появилась. Царица и сейчас оставалась невероятно грузной и была похожа на гору. Девочка плюнула, ее слюна сверкнула в воздухе, как маленький бриллиант, неслышно подлетела к царице и ударила ее в грудь. Послышалось шипение, все бабочки вдруг почернели, съежились и упали.

Всем людям их падение показалось беззвучным, только Амаса слышал, как трупики бабочек ударяются о мраморный пол. Потом в его голове перестали шелкать переключатели, все задвижки закрылись, и Амаса вновь стал самим собой. Но было поздно. Девочка обрела силу, и уже ничто не могло спасти царицу.

— Убейте это чудовище! — закричал опомнившийся царь.

Его слова еще звенели в воздухе, когда девочка пустила радужную струйку мочи прямо ему на голову. Царь скрылся в языках пламени.

Теперь окончательно стало ясно, кто отныне правит во дворце, и серая тень навсегда покинула его стены.

Девочка взглянула на Амасу и улыбнулась.

— Ты — самый святой из всех людей, потому я и позвала тебя сюда.

Амаса попытался покинуть город, но забыл, каким путем сюда пришел. Увидев паломника, склонившегося над фонтаном, что бил из расселины в камнях, он спросил:

— Как мне уйти из Иерусалима?

— Разве ты не знаешь, что никто отсюда не уходит? — удивленно воскликнул паломник.

Отойдя на несколько шагов, Амаса обернулся и увидел, что паломник не один: нагнувшись над водой, он сосредоточенно отмывал ручки младенцу.

Амаса пробовал найти путь по звездам, но куда бы он ни направился, он неизменно выходил на одну и ту же дорогу, которая приводила его к воротам. А у ворот его ждала серая девочка. Впрочем, она давно уже была не девочкой, а взрослой женщиной с блестящим, как сланец, серым телом и большой тяжелой грудью. Она улыбалась, протягивала к Амасе руки и не выпускала его из объятий.

— Я — Далмануфа*, — шептала она, — и ты все время идешь по моей дороге. Я — Акразия**, потому научу тебя радости.

Она уводила его в хижину в дворцовом саду и учила сладким мукам блаженства любви. Всякий раз их слияние заканчивалось зачатием, и спустя несколько часов у нее рождался ребенок. На глазах у Амасы серые дети взрослели, уходили в город и вращались в людях: кто в мужчину, кто в женщину, кто в ребенка.

— Там, где погиб один лес, — шептала ему Далмануфа, — обязательно вырастет другой.

Напрасно он повсюду разыскивал бабочек.

— Их больше нет, Амаса. Они исчезли все до единой, — говорила Акразия. — В них была сокрыта вся мудрость,

* Далмануфа — упоминаемое в Новом Завете место на западном берегу Галилейского озера, где фарисеи искушали Иисуса (см.: Марк 8:10). — *Примечание переводчика.*

** Интересно, что в кельтской мифологии Акразией называли персонифицированное вожделение, безудержную страсть. В психологии термином «акразия» обозначается состояние бездействия (или невозможности действия), когда человек знает, что и зачем ему нужно делать. — *Примечание переводчика.*

которую люди сумели перенять у моих предков. Но этой мудрости оказалось мало, потому что тебе не хватило мужества убить дракона. Он принял облик прекрасного ребенка, и ты дрогнул.

А она и впрямь была прекрасна. И постоянно приходила к нему, ложилась с ним и зачинала все новых и новых детей. Она повторяла Амаса, что недалек тот день, когда она снимет печати с ворот Иерусалима и пошлет своих светлых ангелов в леса, которыми владеют люди. И ее ангелы вновь станут жить на деревьях и совокупляться с ними.

Амаса не раз пытался покончить с собой, но она лишь смеялась, видя его с бескровной раной на шее, с разодранными легкими или проглотившим яд, который лишь оставил отвратительный привкус во рту.

— Мой блаженный Амаса, ты не можешь умереть,— говорила она.— Отец ангелов, ты бессмертен. Ведь однажды ты раздавил мудрую, жестокую, добрую и хрупкую бабочку.

Рай на сто лет

Агнес 1

— Возьмите ее.

В голосе отца Агнес звучала мольба, но глаза его были сухими. Мать Агнес стояла позади мужа, машинально выжимая выстиранное полотенце.

— Я не могу ее взять, — ответил Брайан Ховарт.

«Как у меня только язык повернулся отказать?» — удивился себе Ховарт.

До гибели республики Биафра* (вместе с которой, на-верное, погибнет большинство ее жителей) оставались считанные дни. Да, уже даже не недели, а дни. Ховарты были в числе последних иностранцев, улетающих отсюда. Брайан успел полюбить людей из нигерийского племени ибо**, и родители Агнес давным-давно перестали быть только

* Биафра — провинция в восточной части Нигерии, населенная преимущественно племенем ибо (или игбо). Руководители этой провинции, считая, что нахождение в составе Нигерии препятствует успешному экономическому развитию Биафры, в середине 1967 г. провозгласили Биафру независимым государством. Правда, независимость Биафры признали лишь 5 государств. В ответ нигерийское правительство экономически блокировало Биафру и повело против нее военные действия. В начале 1970 г., после кровопролитных сражений с нигерийскими правительственными войсками, Биафра пала. В результате войны и голода за эти годы погибло более одного миллиона мирных жителей. — *Примечание переводчика.*

** Ибо (игбо) — одна из крупнейших этнических групп Нигерии, насчитывающая около 15 млн человек. — *Примечание переводчика.*

слугами и стали его друзьями. Да и сама Агнес — смышленная пятилетняя девчушка, можно сказать, подружилась с Ховартами с самого рождения. По-английски она заговорила раньше, чем на своем родном языке. Агнес обожала игру в прятки и целыми днями пряталась в укромных уголках дома Ховартов. Смышленная, подающая надежды чернокожая девочка.

Работа корреспондента приучила Брайана тщательно отделять слухи от фактов, особенно в Африке и во время войны. Однако он вполне доверял известиям о том, что нигерийская правительственная армия в Биафре не шадит даже детей. Солдатам совершенно наплевать, что у тамошних детишек симпатичные рожицы, что они не по годам сообразительны и обладают удивительным чувством юмора. Агнес, как и ее родителей, ожидала смерть от удара штыком, поскольку и она принадлежала к племени ибо.

Ибо сделали то же, что полвека назад сделали японцы: раньше соседних племен приобщились к современной жизни. Выгоды от прорыва к достижениям цивилизации были весьма ощутимы, однако вызвали у соседних народов не желание последовать примеру соседей, а зависть и недовольство.

Японцы на своих островах сумели выжить. Люди племени ибо жили почти в самом центре африканского континента, и здесь подобные дерзости не прощались. Биафру пытались прикончить и экономической блокадой, и силой оружия. Мировое сообщество не вмешивалось, а только наблюдало. Впрочем, не только наблюдало, потому что нигерийская правительственная армия, превосходящая по численности армию Биафры, была вооружена британским и советским оружием.

— Я не могу этого сделать,— повторил Брайан Ховарт и тут же услышал, как жена его прошептала:

— Ты это сделаешь, иначе я останусь здесь.

Его жену тоже звали Агнес, и маленькую Агнес называли в ее честь. Малышка была у своих родителей единственным ребенком.

— Прошу вас,— сказал отец Агнес.

Его глаза по-прежнему оставались сухими, а голос — почти ровным. Он просил за дочь, но весь его облик гово-

рил: «Я не утратил гордости. Я не стану становиться на колени и умолять, рыдая. Я обращаюсь к вам как равный к равному и прошу: возьмите мое сокровище. Ведь я скоро погибну и не смогу ее защитить».

— Ну как же мы ее возьмем? — беспомощно прошептал Брайан жене.

В самолете было ограниченное число мест, и иностранным корреспондентам строго-настрого запрещалось брать с собой жителей Биафры.

— Просто возьмем, и все, — шепотом ответила жена.

Брайану ничего другого не оставалось, кроме как протянуть руки и подхватить девочку.

Отец Агнес кивнул и сказал:

— Спасибо, Брайан.

Ховарт не удержался от слез.

— Мне очень жаль. Если какой-нибудь народ и заслуживает свободы...

Но родители Агнес уже бежали к лесу, ведь с минуты на минуту могла появиться нигерийская армия.

Ховарты повели девочку к отрезку бывшей автострады, служившему последним аэродромом в свободной Биафре. Там стоял транспортный самолет, совершенно не приспособленный для перевозки пассажиров, но набитый иностранными корреспондентами и их багажом. Агнес оказалась не единственным местным ребенком на борту.

Весь полет Агнес сидела с широко раскрытыми глазами. Она не плакала. Даже в раннем детстве она плакала мало. И сейчас она молчала, вцепившись в руку Брайана Ховарта.

Когда самолет приземлился на Азорских островах, где Ховартам предстояло пересечь на пассажирский лайнер, летящий в Америку, Агнес наконец спросила:

— А как же мои родители?

— Они не смогли с нами полететь, — ответил Брайан.

— Почему?

— На самолете было мало места.

Агнес обвела глазами пространство салона, где другим взрослым парам вполне хватало места, чтобы стоять, сидеть и лежать, и поняла: ее родители не полетели вместе с Ховартами по другим причинам. Более серьезным.

— Теперь ты будешь жить вместе с нами в Америке, — сказала миссис Ховарт.

— Я хочу жить в Биафре, — возразила Агнес, и ее звонкий голос разнесся по всему самолету.

— А с нас довольно, — сказала женщина, сидевшая впереди. — Мы по горло сыты тамошней жизнью.

Больше Агнес не произнесла ни слова — сидела и безучастно смотрела на проплывавшие внизу облака. В Нью-Йорке Ховартам нужно было сделать еще одну пересадку, чтобы добраться до родного Чикаго.

— Вот мы и дома, — произнес Брайан, когда их путешествие закончилось.

— Дома? — повторила Агнес, глядя на двухэтажный кирпичный дом за деревьями и на яркое пятно уходящей к улице лужайки. — Это не мой дом.

Брайан не пытался ее переубедить. Родной дом Агнес остался в Биафре, а у человека не может быть второго родного дома.

Спустя несколько лет Агнес уже плохо помнила свое бегство из Африки. В памяти осталось лишь несколько ярких эпизодов: когда они приземлились на Азорских островах, она проголодалась и Брайан дал ей два апельсина. Еще эпизод: обстрел транспортного самолета из зениток. Агнес помнила, как самолет качнулся, когда в опасной близости от борта разорвался снаряд. Но сильнее всего в ее память врезался белый человек, сидевший напротив. Белый человек в полутемном салоне транспортного самолета. Он все время смотрел то на Агнес, то на Ховартов. Брайан и его жена тоже были чернокожими, но их предки не раз вступали в браки с белыми, поэтому цвет кожи супругов отличался от цвета кожи чистокровных африканцев. Сообразив, что маленькая Агнес не их дочь, белый человек не выдержал и спросил:

— Девочка, ты из Биафры?

— Да, — тихо ответила Агнес.

Белый сердито поглядел на Брайана.

— Это противозаконно.

— Думаю, из-за этого земной шар не сойдет с орбиты, — спокойно ответил Брайан.

— Вы не имели права брать ее с собой, — не унимался белый, словно маленькая Агнес могла лишиться его жизненного пространства и даже воздуха.

Брайан промолчал. Белому ответила миссис Ховарт:

— Я знаю, почему вы сердитесь. Ваши друзья тоже просили взять их детей, но вы отказались.

Лицо этого человека перекошилось, словно от боли. Потом он со стыдом отвел глаза.

— Я не мог этого сделать. У них трое детей. Ну кто поверит, что это мои дети? Я не мог их взять. Понимаете, не мог!

— Но вместе с нами летят белые, не побоявшиеся взять чернокожих детей.

Мужчина сердито встал.

— Я привык слушаться закона. Я поступил правильно!

— Тогда незачем так волноваться, — тихо, но властно сказал Брайан. — Сядьте и заткнитесь. Утешайтесь вашим законопослушанием. А те дети... Ну, насадят их на штыки, невелика важность.

— Тише, — вмешалась миссис Ховарт.

Белый мужчина сел и больше не вступал в спор, но Агнес запомнила, что потом он долго и горько плакал. Он рыдал почти беззвучно, только вздрагивала спина. Агнес слышала, как он шептал:

— Я ничего не мог поделать. Целый народ погибал у меня на глазах, и я ничего не мог поделать.

Агнес запомнила эти слова и иногда повторяла их сама: «Я ничего не могла поделать».

Поначалу она верила, что так и есть, и плакала по своим родителям в тишине дома Ховартов в пригороде Чикаго. Брайан и его жена старались заменить Агнес отца и мать, но не могли отгородить ее от окружающего мира. Происхождение, раса, пол... Пробираясь через воздвигнутые обществом барьеры, Агнес постепенно научилась говорить другие слова:

— Я обязательно что-нибудь сделаю.

Спустя десять лет Агнес вместе с Ховартами полетела в Нигерию. Теперь она была американской гражданкой. Все трое добрались до города, откуда десять лет назад спаслись бегством. Здесь Агнес буднично сообщили, что ее

настоящие родители погибли. Из ее близких родственников тоже никого не осталось в живых, а троюродных братьев и сестер, которых удалось разыскать, она совершенно не помнила.

— Я тогда была слишком мала и ничего не могла сделать,— сказала Агнес приемным родителям.

— Ты была слишком мала, а мы были слишком молоды,— ответил Брайан.

— Но в будущем я обязательно что-нибудь сделаю,— пообещала Агнес.— Я что-нибудь придумаю.

Брайан решил, что Агнес хочет отомстить, и потратил несколько часов, пытаясь отговорить ее от возмездия. Но Агнес никому не собиралась мстить.

Гектор 1

При виде света Гектор возликовал. Еще бы: у света были как раз нужные спектральный состав и яркость. Поэтому Гектор собрал все свои «я» (которых, само собой, тоже звали Гекторами) и устремился за светом, вволю насыщаясь им.

А поскольку Гектор любил танцевать, он нашел подходящее местечко и начал кланяться, кружиться, изгибаться, достигая вершины самого себя. До чего же прекрасным было его громадное темное тело!

— Почему мы танцуем? — спросил у своих «я» Гектор.

— Потому что мы счастливы,— ответил он своим «я».

Агнес 2

К тому времени, как открыли Троянца, Агнес сделалась одним из лучших пилотов исследовательских космических кораблей. Она дважды летала на Марс, а ее полеты на Луну исчислялись десятками. Чаще всего она летала в обществе бортового компьютера, но иногда ей приходилось брать на борт высокопоставленных пассажиров, позарез нужное кому-то лекарство или сверхважную секретную информацию. Короче, такой живой или неживой груз, ради которого стоило поднимать с Земли и гнать в космические просторы исследовательский корабль.

Агнес работала пилотом в корпорации Ай-Би-Эм—Ай-Ти-Ти* — одной из крупнейших корпораций, вкладывающих средства в исследование космоса. В некотором роде именно благодаря Агнес Ай-Би-Эм—Ай-Ти-Ти получила выгодный правительственный контракт на исследование Троянца, и корпорация пообещала, что пилотом экспедиции назначат именно ее.

— Мы получили контракт, — сказал ей Шерман Риггс.

Агнес была так поглощена модернизацией оборудования своего корабля, что не сразу вникла в его слова.

— Контракт, — повторил он. — Понимаешь, контракт. На исследование Троянца. И экспедиционный корабль поведешь ты.

Агнес всегда отличалась сдержанным нравом и редко выказывала свои чувства, радостные или грустные. Но разумеется, она прекрасно понимала, что Троянец — это космическая загадка номер один.

Троянцем называли огромное космическое тело, полностью поглощающее свет (в официальных документах он фигурировал под названием Троянского Объекта). Никто не знал, откуда он взялся в пределах Солнечной системы. Он появился внезапно — да-да, внезапно, другого слова не подберешь. Еще вчера там было пусто и сияли звезды. И вдруг откуда ни возьмись появился Троянец, поглотив свет звезд и наделав среди астрономов Земли не меньше шума, чем какая-нибудь новая планета или комета. В конце концов, как можно допускать, чтобы крупные космические тела внезапно появлялись в относительной близости от Земли — всего-то на расстоянии трети ее околосолнечной орбиты. И теперь не кому-нибудь, а Агнес предстояло вести первый исследовательский корабль, который вплотную приблизится к Троянцу.

— Дэнни тоже назначен? — спросила Агнес.

Дэнни Линер был инженером и возлюбленным Агнес, и они часто летали вместе. А в таком долгом полете ни-

* Ай-Би-Эм (IBM) — английская аббревиатура названия международной корпорации International Business Machines, возникшей в 30-е годы прошлого века и ныне занимающей лидирующее положение в разработке и производстве компьютеров.

какая женщина-пилот не смогла бы обойтись без своего Линера.

— Разумеется,— ответил Шерман.— И еще двое — Роджер Торн и Розалинд Торн. Врач и астроном.

— Я их знаю.

— С какой стороны? С хорошей или плохой?

— Скорее с хорошей. Что ж, если нам нельзя заполучить в спутники Слая и Фриду...

Шерман закатил глаза.

— Слая, Фриду и их родную Жи-Эм—Тексако* в придачу? Так недолго и экспедицию провалить.

— Шерман, я терпеть не могу, когда ты закатываешь глаза. Мне все время кажется, что у тебя припадок. Я понимаю: о Слае и Фриде не может быть и речи, но я должна была спросить.

— Ты получишь Роджа и Роз.

— Ладно.

— Теперь скажи: сколько ты знаешь о Троянце?

— Я знаю больше, чем ты, но меньше, чем следует знать.

Шерман постучал карандашом по столу.

— Это поправимо. Я быстренько сведу тебя со специалистами.

Спустя неделю Агнес, Дэнни, Родж и Роз, обустроившись в исследовательском корабле, стартовали с космодрома Кловис в штате Нью-Мексико. Ускорение было чудовищным, особенно когда корабль принял вертикальное положение. Но очень скоро они вырвались за пределы земного притяжения, и трехмесячный полет к Троянцу начался.

Гектор 2

— Я хочу пить, хочу пить, хочу пить,— объявил своим «я» Гектор, и все Гекторы вволю напились. Утолив на некоторое время жажду, Гектор затанул беззвучную пе-

* Тексако (Техасо) — американская нефтеперерабатывающая компания, созданная в 1902 г.— *Примечание переводчика.*

сенку. Все остальные Гекторы услышали ее и тоже запели:

Плещется Гектор в море пустом,
И Гекторы рядом с ним.
Насвистывать любит он ночью и днем,
Но свист его неуловим.

Порой проглотит Гектор весь свет
И в сумерках зябко дрожит.
Гектору сто миллионов лет —
Он нынче себя родит.

Гектор тщательно пыль сметет
И, в думы свои погружен,
Хлеб на дорогу из пыли печет
И Гекторов лепит он.

И все Гекторы смеялись, пели и танцевали, потому что после долгого путешествия наконец-то оказались вместе. Им было тепло и уютно. Гекторы собрались послушать истории, которые расскажет им Гектор.

— Я расскажу вам,— пообещал он своим «я»,— историю про Массы, потом историю про Управляющих, а потом — историю про Создателей.

Гекторы окружили его тесным кольцом и приготовились слушать.

Агнес 3

За день до подлета к Троянцу Агнес и Дэнни занялись любовью, чтобы потом было легче работать. По той же причине Родж и Роз любовью не занялись.

Первая неделя исследований показала, что Троянец гораздо меньше, чем казалось с Земли, но намного загадочнее.

— Его диаметр около тысячи четырехсот километров,— сообщила Роз, получив более или менее надежные данные.— Однако тяготение почти такое же, как на крупном астероиде. Мощности маневровых двигателей на скафандрах вполне достаточно, чтобы опуститься на его поверхность.

Дэнни первым сформулировал вывод, который напрашивался сам собой:

— Итак, перед нами — необычайно крупное, прочное и легкое небесное тело. Вывод очевиден: Троянец — объект искусственного происхождения. Иначе и быть не может.

— Искусственный объект диаметром почти в полторы тысячи километров? — усомнилась Роз.

Дэнни лишь пожал плечами. Впрочем, здесь каждый мог бы пожал плечами. Но их затем сюда и послали, чтобы вместо пожимания плечами они представили исследовательские данные. Никакое небесное тело естественного происхождения не могло внезапно появиться на сравнительно близком расстоянии от Земли. Искусственное происхождение Троянца ни у кого из четверых не вызвало сомнений, вопрос заключался в другом: насколько Троянец опасен для Земли и землян?

Несколько десятков облетов вокруг Троянца и дотошное компьютерное сканирование не помогли ответить на этот вопрос. Четверка искала на поверхности небесного тела то, что хоть немного напоминало бы вход. Искала — но не находила.

— Придется высаживаться, — сказала Роз, и корабль, подчиняясь Агнес, завис над поверхностью Троянца.

«Как все мы преображаемся, когда дело доходит до работы», — думала Агнес, привычно нажимая кнопки.

Пока работы нет, можно подумать, что все они — взятые бездельники, которые думают только о развлечениях и всякой пошлятине. Но уже через мгновение развеселой компании как не бывало, а есть лишь пилот, инженер, врач и физик, понимающие друг друга с полуслова. Агнес даже подумала, что они словно превращаются в часть бортового компьютера.

До поверхности Троянца осталось не более трех метров.

— Ниже нельзя, — сказала Агнес.

Дэнни молча кивнул. Закончив необходимые приготовления, он облачился в скафандр и выбрался наружу. Теперь ему предстояло опуститься на поверхность Троянца.

— Будь осторожен, Линер,— напутствовала Агнес.— Не гони и вообще не рискуй понапрасну.

— Здесь ни черта не видно,— ответил Дэнни, как будто не услышав ее слов.— Он вбирает в себя свет. Даже свет от шлемового прожектора куда-то девается. Я не вижу своих рук, пока не посвечу на них прожектором. Самое забавное, что поверхность твердая и гладкая, как стальной лист...

Он ненадолго замолчал, затем продолжил:

— Странно — мои ботинки как будто не оставляют ни малейших царапин. Может, стоит попытаться отколупнуть кусочек для анализов?

— Компьютер возражает против взятия образцов,— сказал Родж, следивший за показаниями компьютера.

— Я не собираюсь колошматить по поверхности,— пояснил Дэнни.— Просто хочу испытать ее на прочность.

— Газовым резаком? — спросила Агнес.

— Угу.

— Не надо их злить,— запротестовала Роз.

— Кого? — не понял Дэнни.

— Их. Тех людей... или существ, которые создали Троянца.

Дэнни усмехнулся.

— Если внутри кто-то есть, они либо уже знают о нашем появлении, либо уверены в прочности своей игрушки и плюют на нас. Вот я и попробую привлечь их внимание.

В руке Дэнни ярко вспыхнул газовый резак, однако Троянец вобрал в себя и его свет и, если бы не блестящие капельки сжиженного газа, так и остался бы невидимым.

— Дохлый номер. Температура поверхности ничуть не изменилась,— наконец объявил Дэнни.

Он попробовал применить лазер. Потом взрывчатые вещества. Ничего не добившись, Дэнни взял сверло с особо прочной алмазной головкой, служившее для ремонтных работ, но и оно не оставило никаких следов на поверхности Троянца.

— Я тоже хочу спуститься,— сказала Агнес.

— И думать об этом забудь, — ответил Дэнни. — Я предлагаю подлететь к одному из полюсов Троянца. Может, там мы что-нибудь обнаружим.

— Я все же спускаюсь, — отрезала Агнес.

— Думаешь, тебе удастся сделать то, чего не удалось мне? — рассердился Дэнни.

Агнес заверила, что не собирается с ним соперничать, и все же выбралась из корабля, решив самостоятельно исследовать Троянца.

В ее шлемофоне слышались упреки Дэнни, которого бесило ее упрямство. Когда он повернул голову, свет прожектора ударил Агнес в глаза. О ужас! Дэнни находился прямо под ней, а она не могла изменить направление спуска. Вместо этого Агнес скользнула вправо и сделала полный оборот. Больше всего ее страшило столкновение с Дэнни (в открытом космосе такие штуки крайне опасны). Страх лишил Агнес привычного хладнокровия; она думала только о том, как бы не столкнуться с Дэнни, поэтому чересчур поспешно опустилась на поверхность Троянца.

Когда Агнес коснулась поверхности, та... поддалась. Нет, не спружинила подобно толстому резиновому коврику и не отбросила руку Агнес. Ее рука застряла в чем-то, похожем на почти полностью затвердевший цемент. Агнес осветила это место прожектором шлема. Поверхность Троянца по-прежнему оставалась безупречно гладкой, нигде не вмятинки; тем не менее рука Агнес погрузилась в нее по самое запястье.

— Дэнни, — позвала Агнес.

Она толком не понимала, что сейчас испытывает: страх или волнение.

Дэнни не сразу ее расслышал, поскольку все еще кричал в шлемофон. Наконец он замолчал и, маневрируя заплочными двигателями, осторожно опустился рядом.

— Моя рука, — пояснила Агнес.

Дэнни скользнул лучом прожектора по ее плечу и увидел застрявшую руку.

— Агнес, тебе ее не вытащить?

— Я не пробовала, хотела, чтобы ты сам все увидел. Тебе это что-нибудь напоминает?

— Нечто похожее на мгновенно застывающий цемент. Но теперь он отвердел, и мы не сможем высвободить твою руку!

— Только без паники,— сказала Агнес.— Ощупай все вокруг и проверь, не изменились ли свойства поверхности.

Дэнни повторил свои недавние действия, не прибегая только к газовому резаку. Поверхность Троянца вокруг руки Агнес оставалась абсолютно непроницаемой, поглощающей все виды энергии и лишенной магнитных свойств. Иными словами — недоступной для исследований. Однако рука Агнес все же сумела каким-то образом проникнуть внутрь Троянца и там застрять.

— Сделай снимок,— попросила Агнес.

— Зачем? На нем все будет выглядеть так, будто у тебя оттяпана кисть руки.

Однако Дэнни выполнил просьбу. Рядом с рукой Агнес он положил несколько своих инструментов, чтобы хоть как-то обозначить невидимую поверхность Троянца. Потом сделал полтора десятка снимков.

— И зачем я только это делаю? — недоумевал Дэнни.

— На тот случай, если нам не поверят, что моя рука могла застрять в материале, который тверже стали,— ответила Агнес.

— Я бы всегда смог это подтвердить.

— Но ты ведь — мой второй.

В чем-то вторые просто великолепны, но, думаю, вы бы ни за что не согласились выступать обвинителем на процессе, который целиком зависел бы от показаний второго. Второй всегда превыше всего ценит верность, а честность — уже потом. Иначе он — не второй.

— Снимки готовы,— сказал Дэнни.

— Значит, теперь я могу вытащить руку.

— Как? — воскликнул Дэнни.

Его тревога проснулась с новой силой.

— Просто взять да вытащить. Поначалу я въехала в поверхность и второй рукой, а в придачу коленями. Думаешь, мне что-то мешает выдернуть руку? Просто я удерживаю в сжатом кулаке...

— Что удерживаешь?

— Материал, из которого сделан этот чертов Троянец. А колени и вторую руку через несколько секунд вытолкнуло наружу.

— Вытолкнуло?

— Ну да. Они как будто всплыли. А теперь я вытащу и эту.

Агнес разжала пальцы, и вскоре кисть ее руки мягко вытолкнуло наружу. Однако на поверхности Троянца не осталось никаких следов. Там, где только что находилась рука Агнес, поверхность напоминала вязкую жидкость. В остальных местах она по-прежнему оставалась твердой.

— Что ты ощущала внутри? — попытался Дэнни.

— Нечто похожее на «дурашку Патти»*.

— Не смешно.

— А я вполне серьезно. Помнишь, насколько упруга «дурашка Патти»? Но стоит слепить из нее шарик и бросить на землю, и он разбивается, как глиняная миска.

— Наверное, ты понравилась этой поверхности. Со мной она вела себя по-другому.

— Думаю, ее реакция соответствует воздействию. Когда ударяешь по ней чем-то острым, пытаешься нагревать или когда воздействие медленное и слабое, она остается непроницаемой. Но когда я врзалась в нее со всей силы, то погрузилась на несколько дюймов.

— Иными словами, ты нашла дверь, — услышался в шлемофоне голос Роз.

Спустя десять минут Агнес и Дэнни вернулись на корабль. Убедившись, что внутри полный порядок, Агнес подняла корабль и отвела его на несколько десятков метров.

— Все готовы? — спросила Агнес.

* «Дурашка Патти» (Silly Putty) — игрушка из синтетического каучука, появившаяся в Америке в конце 50-х гг. XX века. Традиционно имеет форму яйца. Особые свойства материала позволяют лепить из него всевозможные фигурки, способные подпрыгивать и прилипать к любой поверхности. В середине 90-х гг. в российских ларьках появились довольно примитивный аналог этой игрушки — т. н. «лизун». — *Примечание переводчика.*

— Да ты никак собралась протаранить Троянца? — насторожилась Роз.

— Вот именно,— вместо Агнес ответил Дэнни.— Глядишь, дверца и откроется.

— Тогда мы все просто идиоты,— нервно бросила Роз. Остальным было не до споров.

Агнес включила бортовые вспомогательные двигатели, и корабль понесся к Троянцу. По меркам обычных перелетов скорость была не ахти какой большой. Но тех, кто находился внутри корабля и знал, что сейчас они врежутся в поверхность, которую не брало ни алмазное сверло, ни луч лазера, эта скорость не могла не пугать.

— А вдруг мы ошиблись? — спросила Роз словно в шутку.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было соприкоснуться с поверхностью Троянца. Но в тот миг, когда все приготовились услышать чудовишный скрежет и свист воздуха, вырывающегося из пробоев в корпусе, корабль резко сбросил скорость и устремился в глубь небесного тела. За иллюминаторами стало черным-черно. Троянец вобрал в себя корабль.

— Мы все еще движемся? — дрожащим голосом спросил Родж.

— Тебе лучше знать, ты ведь следишь за показаниями компьютера,— ответила Агнес.

Она мысленно похвалила себя за то, что в ее голосе не звучит страха. На самом деле страх в нем звучал, но никто не сказал ей об этом.

— Движемся,— облегченно вздохнул Родж.— Если компьютер не свихнулся, корабль продолжает опускаться.

Потянулась нескончаемо долгая, мучительная минута. Все молчали. Агнес уже собиралась сказать, что ее замысел оказался неудачным и пора давать задний ход, как вдруг тьма за иллюминаторами сменилась темно-коричневым светом, а тот вскоре превратился в нечто голубое, яркое и прозрачное.

— Никак вода? — успел воскликнуть Дэнни.

Корабль вынырнул из озера. Вокруг плясали ослепительные солнечные блики.

— Сперва я расскажу вам про Массы, — заявил своим «я» Гектор.

Вообще-то он мог бы и не рассказывать эти истории: когда Гектор пил, все знания, накопленные им за долгие годы жизни, сами собой перетекали во все его «я». Но дело в том, что Гектор был начисто лишен воображения, зато обладал интеллектом, и этот интеллект надлежало передать всем его «я», чтобы в грядущие века не винить себя за ущербность и неразвитость собственных «я».

Вот какую историю он рассказал...

Жил-был некто по имени Сирил, которому хотелось стать плотником. Он мечтал рубить деревья, сушить древесину и делать из нее разные красивые и полезные вещи. Сирилу казалось, что у него есть склонности к плотницкому ремеслу. В детстве он любил мастерить деревянные поделки, но когда вырос и заявил в Департаменте Жизнеустройства, что желает стать плотником, ему отказали.

— Почему? — спросил Сирил, изумившись, что Департамент Жизнеустройства мог допустить такую вопиющую ошибку.

Обаятельная служащая Департамента (тесты подтвердили ее обаятельность, иначе она не получила бы эту работу) ответила:

— Тестирование ваших способностей и склонностей начисто исключает подобную возможность. Вы не только не обладаете необходимыми качествами — в действительности вы даже не хотите быть плотником.

— Нет, хочу, — возразил Сирил, который был слишком молод и не знал, что со служащими правительственных учреждений не спорят.

— Вы хотите быть плотником, основываясь на собственных ложных представлениях об этом виде деятельности. Однако тесты, проделанные с целью выявления ваших профессиональных склонностей, показывают, что очень скоро вы возненавидите плотническое дело. Следовательно, вы никак не можете стать плотником.

Что-то в поведении служащей Департамента Жизнеустройства подсказало Сирилу, что спорить с ней бессмысленно. К тому же он больше не был бесшабашным мальчишкой и знал, что сопротивление правительственным чиновникам — дело пустое, а упорное сопротивление к тому же смертельно опасно.

Итак, Сирила отправили учиться на шахтера; по результатам тестов он наилучшим образом подходил именно для этой работы. К счастью, Сирил не был ни тупицей, ни лентяем. Он быстро выучился на ведущего шахтера — так называли тех, кто проходит жилу и определяет места, где она ныряет вниз, поднимается вверх или сворачивает в сторону. Работа эта считалась ответственной. Сирил ненавидел ее, но все же овладевал премудростями шахтерского ремесла, поскольку тесты убедительно показывали, что он хочет быть именно шахтером.

Сирил стал встречаться с девушкой по имени Лика, они мечтали пожениться. Вопросами заключения браков также ведал Департамент Жизнеустройства.

— Мне очень жаль,— сказал Сирилу другой чиновник,— но, судя по вашим генетическим данным, а также по особенностям характера и социальным параметрам, вы не подходите друг другу. Вы оба были бы несчастливы в браке, поэтому мы не можем разрешить вам пожениться.

Они расстались. Лика вышла за другого парня, а Сирил спросил, нельзя ли ему остаться холостым.

— Конечно, если вы пожелаете. Тесты показывают, что, оставаясь холостым, вы достигнете оптимального уровня счастья.

Сирилу не позволили жить там, где ему хотелось. Его кормили пищей, не пробуждавшей у него аппетита. Ему приходилось дружить с людьми, которые его не интересовали, танцевать под ненавистную музыку и петь песни с дурацкими словами. Сирил не сомневался: в планировании его жизни допущена серьезная ошибка, о чем и заявил очередному чиновнику Департамента.

Чиновник вонзился в него холодным взглядом... Впоследствии Сирил долго пытался стряхнуть с себя память об этом взгляде, но память эта прилипла к нему, как прили-

пает во сне нечто мерзкое и склизкое... Так вот, чиновник вонзился в него холодным взглядом и сказал:

— Мой дорогой Сирил, вы уже протестовали настолько часто, насколько может протестовать гражданин, не рискуя поплатиться за это жизнью.

Многие на месте Сирила взбунтовались бы и примкнули к какой-нибудь подпольной организации — одной из тех, которые с завидной регулярностью выявляло и уничтожало правительство. Многие, сознавая, что впереди их ждет жизнь, полная незаслуженных страданий, просто покончили бы с собой, положив тем самым конец своим мучениям.

Однако Сирил принадлежал к тем, кто составлял большинство, он принадлежал к Массам, а потому не стал ни бунтовщиком, ни самоубийцей. Вместо этого он отправился в выбранный для него город и начал работать на выбранной для него шахте. Он жил холостяком, тоскуя по Лике, танцевал идиотские танцы под идиотскую музыку и дружил с теми, кого считал круглыми дураками.

Шли годы. Сирил стал знаменитостью среди шахтеров. Он научился так виртуозно работать отбойным молотком, словно то был некий точный прибор. Углубляясь в жилу, он оставлял за собой аккуратный штрек с идеально ровными стенками. Он работал вдохновенно и, как ни странно, с любовью, и каждый шахтер ощущал это. Сирил по-настоящему чувствовал уголь. Какими бы скудными ни были пласты угля, он проходил жилу, повторяя все ее изгибы и преодолевая все преграды.

— Сирил знает жилу, как женщину, с которой спал тысячу раз и изучил все ее повадки,— сказал один из шахтеров.

Поскольку слова эти были справедливы и точны и поскольку поэтическое восприятие жизни не чуждо было даже шахтерам, эта фраза быстро разлетелась, и шахтеры стали называть черный блестящий камень «миссис Сирил». Сирил, разумеется, знал об этом, но лишь улыбался. В глубине души он относился к углю не как к жене, а как к опостылевшей любовнице, которую хочется выгнать сразу после того, как получишь от нее крохи наслаждения. Людям свойственно принимать ненависть за любовь.

Сирилу было уже около шестидесяти, когда на шахту, где он работал, вдруг приехал чиновник из Департамента Жизнеустройства.

— Позовите шахтера по имени Сирил, — велел чиновник.

Сирил спешно поднялся из штрека. Чиновник одарил его радушной улыбкой. Сирилу едва верилось, что чиновники умеют так улыбаться.

— Сирил, вы — великий человек! — воскликнул чиновник.

Сирил слабо улыбнулся, не зная, куда ведет эта словесная жила.

— Сирил, дружище, — продолжал чиновник, — вы знаменитый шахтер. Вы не искали славы, но о вас знают шахтеры всего мира. По сути дела, вы — образец настоящего человека: довольного выбранной для него профессией, работающего и счастливого. Поэтому Департамент Жизнеустройства провозгласил вас Образцовым Рабочим Года.

Об Образцовых Рабочих Года знали все. Снимки очередного избранника заполняли страницы газет, его показывали в кино и по телевидению, и на целый год он становился едва ли не самым важным человеком планеты. Это было завидной честью.

Однако Сирил не обрадовался.

— Нет, — коротко ответил он.

— То есть как «нет»? — удивился чиновник.

— А вот так. Я не хочу быть Образцовым Рабочим Года.

— Но... почему?

— Потому что мою жизнь не назовешь счастливой. Много лет назад мне по ошибке подобрали не ту профессию. Я никогда не хотел быть шахтером, я хотел стать плотником. Я хотел жениться на Лике, жить в другом городе, иметь других друзей и танцевать под другую музыку.

Чиновник в ужасе уставился на Сирила.

— Как вы осмеливаетесь так говорить? — закричал он. — Вас уже провозгласили Образцовым Рабочим Года, и вы либо станете им, либо распрощаетесь с жизнью!

Распрощаться с жизнью? Лет сорок назад подобная угроза заставила бы Сирила подчиниться, но сейчас его словно прорвало. Ему встречались скрытые угольные жилы: они могли годами прятаться за пустой породой, но стоило ударить в определенном месте, как жила обрушивала каменную завесу и представляла во всем своем величии.

— Мне почти шестьдесят,— сказал Сирил.— Все эти годы я вел ненавистную мне жизнь. Можете меня казнить, но я не собираюсь улыбаться с телеэкранов и врать, что я счастлив, потому что в жизни моей нету счастья.

Сирила бросили в тюрьму и приговорили к смертной казни, потому что никакие уговоры, угрозы и пытки не могли заставить его солгать всему миру.

Вот вам история про Массы.

Когда Гектор закончил, все Гекторы вздохнули, заплакали (без слез) и сказали:

— Теперь мы понимаем. Теперь мы познали суть.

— Подождите. Это еще не вся суть,— предупредил Гектор.

Не успел он договорить, как один из Гекторов, отличавшийся тем, что отваживался говорить самостоятельно (к вашему сведению, Гекторы редко говорят самостоятельно), сказал себе и остальным:

— Ой! Они пробились внутрь меня!

— Мы в ловушке! — воскликнул Гектор, обращаясь ко всем своим «я». — Столько лет я наслаждался свободой, но они меня все-таки нашли!

Потом у него мелькнула другая мысль. Правильнее сказать, она давно в нем дремала и только сейчас пробудилась. И Гектор сказал:

— С ними нужно договориться. Если ты с ними договоришься, они не причинят тебе зла.

— Но они уже его причинили! — захныкал Гектор, отваживавшийся говорить самостоятельно.

— Твои раны быстро затянутся. Но помни: как бы ты ни сопротивлялся, управляющие все равно добьются от тебя того, что им нужно. А если ты станешь противиться, тебе будет только хуже.

— Управляющие,— хором повторили все Гекторы.— Расскажи нам историю про Управляющих, чтобы мы поняли, почему они ведут себя так.

— Обязательно расскажу,— ответил Гектор своим «я».

Агнес 4

Агнес и Дэнни стояли на вершине горы. Во всяком случае, с корабля это выглядело именно горой. Они добивались сюда несколько часов, прибегнув к помощи маневровых двигателей скафандров. Гора, показавшаяся им такой высокой, оказалась не выше полукилометра. Правда, повсюду торчали острые камни, так что даже маневровые двигатели не слишком ускоряли подъем.

— Искусственная,— сказал Дэнни, потрогав рукой стену.

Стена поднималась от горной вершины до самого потолка (так они окрестили небесный свод). То, что они приняли за солнечный свет, когда вынырнули из озера, оказалось светящимся потолком — он испускал теплое сияние, похожее на солнечное. Но свет был рассеянным, и можно было несколько секунд глядеть на него, не страдая от рези в глазах.

— По-моему, мы поняли это с самого начала,— ответила Дэнни Агнес.

— Но кто и зачем создал эту чертовщину? — После двух дней почти безрезультатных исследований чрева Троянца Дэнни переполняла досада.— Кто и зачем создал плодородную почву, на которой ничего не растет? Чистую воду, вполне пригодную для питья? Дождички, что идут по двадцать минут два раза в день? Льет эдак аккуратненько, как из лейки, и никаких тебе мутных ручейков или грязи под ногами. А еще солнечный свет, который никогда не гаснет! Идеальная природная среда. Но для чего все это, если здесь никто не живет?

— Пока не живет,— сказала Агнес.

— Думаю, нам пора отсюда убираться.

— Нет,— отрезала Агнес.— Не сейчас. Когда мы отсюда улетим — если, конечно, сумеем,— бортовой компьютер

и наши мозги будут полны всевозможных сведений о Троянце, всех, какие только удастся собрать.

Дэнни не стал спорить. Агнес была права, к тому же она была пилотом корабля. Даже если бы Дэнни не любил ее до самозабвения, ему пришлось бы считаться с этим обстоятельством. Но он самозабвенно любил Агнес,— правда, иногда с горечью думая, что ее ответная любовь к нему лишена подобного самозабвения. Любовь не делала Дэнни безвольной игрушкой в руках Агнес, и все же он участвовал едва ли не в каждой ее затее, даже самой дурацкой. Так он ей и сказал:

— Твои затеи иногда бывают просто дурацкими.

— Я тоже тебя люблю,— ответила Агнес.

Потом провела рукой по стене, уходившей ввысь, и стала давить на нее, все сильнее и сильнее. Рука на несколько сантиметров погрузилась в стену. Агнес взглянула на Дэнни и сказала:

— Вперед, второй.

Они запустили маневровые двигатели, вошли в стену и вынырнули с другой стороны, оказавшись... на вершине горы.

Внизу расстилалась долина, как две капли воды похожая на ту, которую они недавно покинули. Посередине этой долины тоже плескалось озеро, только на его волнах не покачивался исследовательский земной корабль.

Агнес улыбнулась Дэнни, и тот улыбнулся в ответ.

— Кажется, я начинаю понимать, как устроен Троянец,— сказала Агнес.— Представь себе множество ячеек вроде этой, и каждая тянется на километры в длину и на сотни метров в высоту.

— Но ячейки могут быть эдаким внешним слоем, за которым скрывается что-то другое,— ответил Дэнни.

Они вновь прошли через стену — теперь в обратном направлении — и увидели знакомую долину, где на волнах озера покачивался корабль. Затем Агнес и Дэнни, включив двигатели, поднялись к самому потолку ячейки.

Пока они поднимались, свет над их головами заметно тускнел, а когда они дотронулись до потолка, выяснилось, что он такой же прохладный на ощупь, как и стена.

Там, где они прикоснулись к нему, свечение исчезло, но вокруг все светилось по-прежнему. Маневровые двигатели протолкнули их сквозь потолок, и Агнес с Дэнни оказались в очередной ячейке.

И здесь они тоже не увидели ничего нового. Посередине голубело озеро, окруженное плодородной, но безлюдной землей. Равнину со всех сторон обступали горы, которые опять-таки поднимались к ярко светящемуся потолку.

Агнес и Дэнни долго смеялись. Пусть они разгадали всего-навсего крошечный кусочек загадки Троянца, главное, они все же начали ее разгадывать.

Их радость угасла, когда они решили вернуться обратно. Они попытались пробуровать почву, но та вела себя так, как вела бы себя обычная земля. Агнес и Дэнни не удалось пройти сквозь нее, как удалось пройти раньше через стены и потолок.

Это испугало их, но усталость взяла свое. Если верить часам, было самое время ложиться спать,— и они так и поступили, прикорнув на берегу озера.

Когда они проснулись, им по-прежнему было страшно. Шел дождь. Дожди на Троянце моросили примерно через каждые тринадцать с половиной часов. Следовательно, Агнес и Дэнни проспали не так уж долго. Чтобы как-то задавить страх, они разделись и занялись любовью прямо на берегу озера. После этого им стало намного лучше.

Смеясь, они прыгнули в озеро и начали плавать и плескаться. Потом Агнес нырнула, потянув за собой Дэнни. Это была их любимая игра, они наслаждались ею в земных бассейнах и морях. Теперь Дэнни полагалось вынырнуть, набрать побольше воздуха и снова нырнуть, чтобы, затаившись на дне, ждать, пока Агнес его найдет.

Озеро не было глубоким, и Дэнни быстро коснулся дна. Его рука вошла в песок и уткнулась во что-то твердое. Дэнни нажал сильнее, и это твердое подалось. Его рука погружалась все глубже, пока он не понял, что нашел выход.

Дэнни вынырнул и рассказал Агнес о своей находке. Они вернулись на берег за своими скафандрами, снова

нырнули и с помощью маневровых двигателей прорвались сквозь дно... Они спускались с небес, а внизу все так же безмятежно покачивался исследовательский корабль.

— Мы разгадали загадку Троянца, — объявила Агнес супругам Торн. — Она совсем проста. Чем-то Троянец смахивает на гигантский воздушный шар, заполненный множеством меньших воздушных шаров. Ячейки Троянца наверняка предназначены для того, чтобы в них поселились живые существа. Земля отлично держит человека, и воронами из одной ячейки в другую служат озера.

— И кто же создал эту игрушку? — спросил Родж.

Вопрос был вполне уместен, только ответа на него никто не знал.

— Может, нам удастся найти обитателей Троянца, — предположила Агнес. — Мы ведь только-только начали исследования. Давайте продолжим их.

Вскоре корабль поднялся с глади озера, прошел через потолок и вынырнул в верхнем озере. Агнес методично проходила ячейку за ячейкой, а бортовой компьютер подсчитывал их. Все пройденные ячейки были совершенно одинаковыми. Через четыреста девяносто восемь слоев корабль уперся в потолок, и тот не пожелал поддаться.

— Конец пути? — спросил Дэнни.

Дотошная Роз настояла, чтобы они проверили все участки потолка. Потратив на это несколько часов, четверка исследователей убедилась, что потолок и в самом деле положил конец их восходящему (или нисходящему) пути сквозь слои Троянца.

— Центробежное тяготение здесь куда слабее, — сообщил Родж, считывая показания компьютера. — Но мы этого почти не ощущаем, ведь там, где мы сперва находились, истинное тяготение сильнее компенсировало центробежное.

— Ну и ну, — сказала Роз. — Это сколько же людей смогло бы уместиться в брюхе Троянца?

О точных подсчетах никто даже не заикался. Все понимали, что делают самые первые, очень грубые прикидки, и потому заранее мирились с такими же грубыми ошибками.

— Мы пока не знаем, что скрывается в самом сердце Троянца, куда мы еще не добрались. Но если предположить, что Троянец весь заполнен такими ячейками, их общее число должно быть не меньше ста миллионов,— сказала Роз.

Площадь каждой ячейки они приняли равной ста пятидесяти квадратным километрам, а плотность населения — один человек на гектар. Но даже грубые подсчеты открывали ошеломляющие возможности. Если бы в каждой ячейке жило по пятнадцать тысяч человек (в поселке или городишке с плотным населением, с тем чтобы на остальной площади можно было заниматься сельским хозяйством) — даже при таком раскладе Троянец мог бы стать домом для... полутора триллионов!

Подсчеты продолжались. Полярные области с ослабленной центробежной гравитацией признали непригодными для жизни. Потом уменьшили плотность населения. Но и после таких поправок цифры оставались впечатляющими. Даже если в каждой ячейке будет жить только по тысяче человек, общее число колонистов на Троянце может составить сто миллиардов.

— Добрая космическая фея подарила людям райский уголок. Пусть себе плодятся, размножаются и не ведают ужасов перенаселенности,— сказал Дэнни.

— Я не верю в добрых космических фей,— возразил Родж, поглядывая из иллюминатора на равнину.— Думаю, не зря этот рай окрестили Троянцем. Это ловушка. Нам кажется, что Троянец внутри пуст,— но вдруг все его обитатели живут в каком-нибудь одном месте? Вы не задумываетесь, что тогда нас могут запросто перебить как незваных гостей?

— Или Троянец не выдержит такой перегрузки и лопнет,— предположила Роз.

— Вы не видите куда более страшной опасности,— вмешалась Агнес.— Внутри Троянца могут проникнуть лишь небольшие исследовательские корабли, каждый из которых может нести четырех человек. Если потесниться, то и десять...

Ее слова были встречены дружным смехом; люди поставили свой корабль эдакой банкой сардин.

— ...Даже если бы у нас была сотня таких кораблей — а их намного меньше, — и они совершали бы по два полета в год, что тоже невозможно... Сколько тогда времени понадобилось бы, чтобы переселить сюда с Земли миллиард человек?

— Пятьсот тысяч лет.

— Райский уголок, — задумчиво протянул Дэнни. — А ведь мы и вправду могли бы превратить это место в райский уголок. Но попробуй-ка сюда доберись!

— И это еще не все, — добавил Родж. — В первую очередь сюда устремились бы фермеры, торговцы, рабочие. Но кто возьмется оплачивать их перелет?

Полеты на Луну и на астероиды окупались за счет найденных там редких металлов и других полезных ископаемых. Но на Троянце не было ничего, кроме плодородной почвы и благоприятных условий для жизни. И эти благоприятные условия, не сулящие никакой прибыли, находились в нескольких миллионах километров от Земли и требовали нескольких миллиардов долларов инвестиций.

— Ладно, хватит радужных грез и кошмарной действительности, — подытожила Агнес. — Летим домой.

— Если сможем, — сказал Дэнни.

Они смогли. Правда, для этого пришлось вновь пролететь через пятьсот озер, каждое из которых вело в следующую ячейку. Пробуравив дно последнего озера, они оказались в открытом космосе. Троянец остался позади — гигантский воздушный шар, объект неизвестного происхождения, вполне пригодный для того, чтобы стать новым домом человечества. То был пустой дом, ожидающий заселения, которого, скорее всего, никогда не случится.

Агнес снился один и тот же сон; он приходил к ней каждую ночь. Во сне она видела сценку из своего детства — не то чтобы забытую, просто она давно запретила себе ее вспоминать. Она видела себя пятилетней девочкой, стоящей между родителями и Ховартами (те хотя и удочерили Агнес, но не требовали, чтобы она звала их папой и мамой, и помогли ей сохранить память о своем африканском происхождении и настоящих родителях). Давнишняя сцена ярко вставала в ее снах, Агнес видела отца и слышала его слова: «Прошу вас».

Сон всегда кончался одинаково. Агнес поднималась в небо, но вместо полутемного транспортного самолета видела другой, с прозрачными стенками. Агнес летела и видела целый мир — и везде, куда ни бросишь взгляд, стояли ее родители с маленькой девочкой на руках. И она все время слышала голос отца: «Прошу вас, возьмите ее».

В свое время Агнес видела снимки голодающих детей Биафры. Миллионы американцев, глядя на эти снимки, плакали и... ничего не делали. Теперь голодающие дети являлись ей во сне: дети, умирающие от голода в Индии и Индонезии, в Мали и Ираке. Они смотрели на Агнес молящими, но гордыми глазами. Их спины по-прежнему были прямы, их голоса не дрожали. Только сердца их разрывались, когда они повторяли: «Возьми меня».

— Я ничего не могу сделать,— твердила Агнес и плакала. Совсем как тот белый в самолете.

Дэнни не раз приходилось будить ее. Он обнимал Агнес и тихо спрашивал:

— Тебе опять приснился тот же сон?

— Да,— отвечала она.

— Если бы я мог стереть твои воспоминания! — однажды в отчаянии воскликнул он.

— Это не воспоминания, Дэнни,— прошептала Агнес и слегка коснулась его глаз. Из-за узкого разреза они казались косыми. — Это происходит сейчас. Люди страдают, а я не могу им помочь.

— Ты и раньше не могла помочь,— напомнил Дэнни.

— Но теперь я увидела место, которое могло бы стать их землей обетованной. Оно существует. Однако я...

Дэнни грустно улыбнулся.

— Смирись с неизбежным. Да, ты не можешь перевезти всех этих людей на Троянец, и тут нет твоей вины. Если ты это поймешь, твои сны станут спокойнее.

— Наверное,— сказала Агнес.

Она вновь заснула в объятиях Дэнни. Бортовой компьютер вполне справлялся с обязанностями пилота, а Родж и Роз следили за данными на мониторах. Когда корабль улетал к Троянцу, Земля казалась всем четверым огромной. Теперь же она выглядела невыносимо, невыразимо, преступно маленькой.

Земля заполнила иллюминаторы корабля, когда Агнес, наконец, решила, что должна прислушаться к голосам своих снов, а не к доводам рассудка. Она вовсе не беспомощна. Она обязательно что-то сделает. Ситуация трудная, но не безвыходная. И она найдет выход.

— Я хочу вернуться на Троянец,— сказала Агнес.

— Возможно, тебя пошлют туда еще раз,— сказал Дэнни.

— Я полечу туда не одна.

— Думаю, уж меня-то ты не забудешь взять.

— Не только тебя,— сказала Агнес.— Несколько миллиардов человек. Это необходимо, просто необходимо сделать. И это будет сделано.

Гектор 4

— А теперь я расскажу вам историю про Управляющих,— сказал своим «я» Гектор, и все Гекторы приготовились слушать.— Тогда вы поймете, почему Управляющие вмешиваются в наши дела и причиняют нам боль...

Марта работала в Департаменте Жизнеустройства и ведала результатами тестирования и подбора профессий. Случилось так, что приговоренный к смерти Сирил оказался в подотчетном ей секторе. Марта была усердной и добросовестной чиновницей, она всегда проверяла и перепроверяла результаты, которые до нее успели проверить и перепроверить другие служащие Департамента. Именно редкостная дотошность позволила Марте обнаружить давнишнюю ошибку.

Охранник привел ее в чистенькую камеру с белыми пластиковыми стенами, где Сирил ожидал исполнения смертного приговора.

— Здравствуйте, Сирил,— сказала Марта.

— Всадите в меня шприц, и дело с концом,— ответил Сирил, которому хотелось умереть без лишних проволок.

— Я должна принести вам официальные извинения.

Таких слов Сирил еще никогда не слышал, поэтому до него не сразу дошел их смысл.

— При чем тут извинения, раз меня приговорили к смерти? Избавьте меня хотя бы перед смертью от лишней болтовни.

— Исполнение вашего приговора, Сирил, вне сферы моей компетенции,— сказала Марта.— Я пришла сообщить, что перепроверила данные по вашему делу и обнаружила ошибку, допущенную пятьдесят лет назад. Когда вы впервые проходили тестирование на профессиональную пригодность, какой-то разгильдяй — иначе его не назовешь — перепутал ваш идентификационный номер.

Сирил был потрясен.

— Чтобы чиновник Департамента допустил ошибку?

— Увы, чиновники сплошь и рядом допускают ошибки, но, как правило, стараются их скрыть, а не исправить. Но в данном случае имело место вопиющее нарушение справедливости. Вам присвоили идентификационный номер умственно отсталого человека, имевшего к тому же преступные наклонности. В результате этой чудовищной ошибки вам не разрешили стать плотником, жить в крупных городах и жениться на Лике.

— И все из-за перепутанного номера? — растерянно переспросил Сирил.

Он до сих пор не мог поверить, чтобы пустяковая ошибка могла искорежить всю его жизнь.

— На основании вышеизложенного Департамент Жизнеустройства постановил отменить смертный приговор и снять с вас обвинения. Более того, мы приступили к устранению последствий нанесенного вам ущерба. Отныне вы можете переехать в тот город, где когда-то хотели жить. Там, надеюсь, вы сможете завести друзей по вкусу и танцевать под музыку, которая вам нравится. Вы действительно обладаете склонностью к плотницкому делу, поэтому получите соответственное обучение и хорошо оборудованную мастерскую. Но это еще не все. Могу обрадовать вас: вы с Ликой полностью подходите для совместной жизни. Теперь вы можете на ней жениться — она уже следует к дому, где вам обоим предстоит насладиться счастливым браком.

Невозможно описать, что испытал в эту минуту Сирил.

— Невероятно, — только и прошептал он.

— Почему невероятно? Департамент Жизнеустройства любит всех граждан, и вы, Сирил, — не исключение. Мы не пожалеем усилий, чтобы сделать вас счастливым, — сказала Марта.

Она сияла от гордости. Ей было чем гордиться: благодаря ей восторжествовала справедливость. Такие мгновения придавали ее работе особый смысл, и Марта чувствовала, что занимается самым лучшим и важным в мире делом.

Она продолжала усердно и вдохновенно трудиться. Иногда она вспоминала про Сирила и улыбалась, думая о том, сколько счастья принесла этому человеку.

Спустя несколько месяцев, придя на работу, Марта увидела у себя на столе рапорт о «недопустимо высоком уровне недовольства», проявляемом неким Сирилом, идентификационный номер 113-49-55576-338-bBR-3a.

Сирил? Осчастливленный ею Сирил? Он снова жалуется? Неужели у этого человека нет ни капли здравого смысла? «Послужной список» всех его жалоб и претензий был уже настолько велик, что Сирила можно было бы дважды казнить. Неужели он зарабатывает третью смертную казнь? Но на что он жалуется теперь — разве она не сделала для него все возможное? Разве не дала ему то, о чем он мечтал и чего раньше добивался? Ведь она потратила столько времени, пристально изучая материалы его личного дела! Так чего же еще недостает этому вечному кляузнику?

Самолюбие Марты было уязвлено. Сирил проявил неблагодарность не только по отношению к государству, но и по отношению к ней лично. Этого Марта вытерпеть не могла и тут же отправилась к Сирилу.

Сирил сидел в своей мастерской, тщетно пытаясь заровнять рубанком сучок, торчащий из старой деревяшки. Марта пригляделась: деревяшка была ореховой. Рубанок все время соскальзывал, и Сирил отчаянно приналег на него. Рубанок снова съехал в сторону и хищно вонзился в благородную ореховую древесину.

— Никудышная работа! — вырвалось у Марты, но она прикусила язык.

Этикет правительственных чиновников запрещал кри-
тиковать действия тех, кто находится на нижних ступень-
ках социальной лестницы.

Однако Сирил вовсе не обиделся.

— Черт побери, вы правы. Это вообще не работа. Не
умею я обращаться с этими сучками — два дня на него
угробил, а он как торчал, так и торчит. Мои руки привык-
ли к тяжелому отбойному молотку, я только и умею, что
крошить каменные глыбы. В моем возрасте уже поздно
переучиваться на возню с деревом.

Марта поджала губы. Опять он жалуется!

— Но в остальном вы довольны жизнью? — спросила
она.

Глаза Сирила потемнели, он покачал головой.

— Если бы! Противно признаваться, но я скучаю по
прежней жизни. Никогда бы не подумал, что мне будет
недоставать придурков, с которыми я провел столько лет.
Раньше они казались мне беспросветными тупицами —
наверное, так оно и есть. Но сейчас я понимаю, что по-
своему любил этих людей. Какие ни есть, они были мо-
ими друзьями. А здесь никто не хочет со мной дружить,
и манера говорить у здешних жителей другая. Еда — и та
никуда не годится, у меня от нее понос. Мне бы сейчас
приличный кусок жареной говядины вместо этой детской
кашки.

Речь Сирила становилась все более обличающей. Марта
едва сдерживалась — и Сирил, заметив это, резко сбавил
тон.

— Нет, не подумайте, что мне здесь так уж тошно.
И жаловаться я никуда не хожу. Да и что толку? Здесь все
равно никто не хочет меня слушать.

Однако Марта уже была сыта его жалобами. Она чув-
ствовала, что ей самой становится тошно. Сколько добра
ни делай людям из Масс, благодарности от них не жди.

«Тупое, никчемное стадо, — с горечью думала Марта. —
Нянчишься с ними, чуть ли не за руку водишь...»

— Я полагаю, вы понимаете, что ваши жалобы могут
иметь весьма серьезные последствия, — ледяным тоном от-
чеканила она.

Сирил не на шутку перепугался.

— Значит, вы снова...

Он осекся.

— Что снова? — не поняла Марта.

— Снова меня накажете?

— Нет, Сирил. Мы просто переведем вас на минимальный уровень социального обеспечения. Зачем тратить деньги на вечно недовольных? Насколько я поняла, вы везде и всюду будете жаловаться и упрямиться.

Сирил молчал.

— А как поживает ваша жена? — спросила Марта.

Сирил горестно улыбнулся.

— Вы про Лику? Она вполне довольна и даже счастлива.

Сирил оглянулся на дверь. Марта распахнула ее (служащие Департамента Жизнеустройства имели права входить в жилища без стука) и увидела посреди комнаты уродливое кресло-качалку, а в нем — пожилую женщину. Она монотонно раскачивалась, глядя в одну точку. Это и была Лика.

У Марты за спиной послышалось тяжелое дыхание Сирила. Рослый мужчина буквально навис над нею, Марта даже испугалась — не задумал ли он чего дурного. Но она тут же успокоилась, заметив, что Сирил с тоской смотрит на жену.

— Вы же знаете, у нее другая семья. Каково ей жить вдали от мужа, детей и внуков? Она с самых первых дней такая. Меня и близко не подпускает. Ненавидит меня, вот что.

В голосе Сирила слышалась искренняя печаль, и Марте стало его жалко.

— Как ей не стыдно, — возмутилась Марта. — Это просто позор! То, что я здесь увидела, меняет дело. В силу данных мне полномочий я спасу вас от смертной казни. Но только при одном условии: чтобы больше никто и никогда не слышал ваших жалоб. В конце концов, было бы нечестно казнить человека за то, что он видит: жизнь его складывается совсем не так, как он того ожидал.

Марта была на редкость добросердечным администратором.

Однако Сирил не рассыпался в благодарностях.

— Спасете меня от смертной казни? — переспросил он. — Послушайте, администратор, а разве нельзя нам с Ликой жить так, как мы жили прежде? Я вернусь к себе на шахту, Лика — в свою семью. Будь мне двадцать лет, я бы прыгал от счастья. Но мне почти шестьдесят, и все это — пустая трата времени.

Опять он за свое! Ни слова благодарности. И она должна с этим мириться?

Глаза Марты превратились в две узкие щелочки, лицо вспыхнуло от гнева. Надо сказать, Марта великолепно умела гневаться, однако приберегала это средство для особых случаев.

— Я прошу вас, но еще хоть слово — и пеняйте на себя! — закричала она.

Сирил опустил голову.

— Извините.

— Результаты тестирования, из-за которых вы попали на шахту, были ошибочными! Зато тестирование, направившее вас сюда, было безупречно правильным. Клянусь небесами, вы останетесь здесь! И нет таких законов, которые позволили бы вам изменить существующее положение вещей!

Так оно и было. Или почти так.

В доме наступила тишина. Марта уже собралась уходить. И тут...

— Значит, нам придется остаться здесь? — спросила Лика.

— Да, пока Сирил жив, вы останетесь здесь, — ответила Марта. — Таков закон. Вы оба получили то, чего в свое время упорно добивались. Впрочем, у неблагодарных всегда короткая память!

Теперь Марта могла уйти с сознанием выполненного долга, но заметила, что Лика умоляюще взглянула на Сирила, и тот медленно кивнул. Марта насторожилась.

А Сирил вдруг схватил с верстака поперечную пилу, крепко зажал в руке и резко полоснул себя по горлу. Из раны хлынула кровь.

Марте показалось, что кровавому потоку не будет конца. Но она ошиблась, вскоре кровь перестала течь.

Тело Сирила увезли и сожгли. Порядок был восстановлен. Лица вернулась к своей семье, а в доме с темно-красными пятнами на полу поселился настоящий плотник. Марта считала, что все проблемы разрешились наилучшим образом. Пока Сирил был жив, он лишь мешал счастью других людей. «Надо было раньше его казнить, а не проявлять дурацкое милосердие», — думала Марта.

Ей, правда, почему-то казалось, что Сирил предпочел бы умереть так, как умер — жутким, кровавым, болезненным способом, а не из-за быстрого укола в тюремной камере с белыми пластиковыми стенами.

«Я никогда не пойму людей из Масс, — мысленно призналась себе Марта. — Они выше человеческого понимания, как обезьяны, кошки или собаки».

Она уселась за письменный стол и погрузилась в работу, проверяя и перепроверяя и без того проверенные и перепроверенные данные. Ее усердие снова было вознаграждено: Марта обнаружила еще одну ошибку, не замеченную другими.

Такова история про Управляющих.

Когда Гектор закончил рассказ, все Гекторы беспокойно заерзали; некоторые из них (а следовательно, все) были рассержены, расстроены и слегка испуганы.

— В этой истории нет смысла, — говорили себе Гекторы. — Сплошные неправильные действия.

Гектор согласился.

— Но так уж они устроены, — объяснил он своим «я». — Разве им сравниться со мной? Я отличаюсь упорядоченностью. Я всегда действовал и всегда буду действовать одинаково. А Массы и Управляющие действуют странно. Им кажется, будто они умеют заглядывать в будущее и видеть там то, чего никому не дано видеть. Они пытаются предотвратить события, которые все равно никогда бы не случились. Кто их поймет?

— А кто вообще их создал? — спросили Гекторы. — И почему они не созданы такими совершенными, как мы?

— Потому что Создатели столь же непостижимы, как Управляющие и Массы. В следующий раз я расскажу вам историю про них.

— Они ушли,— прошептали некоторые из Гекторов, испытывавшие на себе действия Управляющих.— Они совсем ушли. Теперь мы в полной безопасности.

Однако Гектор знал, что это отнюдь не так, и потому поделился своими знаниями с остальными Гекторами.

Агнес 5

— Агнес, да ты никак спрашиваешься ко мне в спальню? На тебя это не похоже.

— Просто я откликнулась на ваши упорные приглашения.

— Вот уж не ожидал, что ты когда-нибудь согласишься.

— Я сама от себя этого не ожидала.

Воген Мелькер, президент космического консорциума Ай-Би-Эм—Ай-Ти-Ти, улыбнулся, но улыбка получилась какой-то тусклой.

— Тебя ведь не интересует мое тело, хотя, если учесть мой возраст, оно в превосходной форме. А мне претит заниматься любовью с женщиной, у которой вместо обычного желания какие-то тайные цели.

Агнес поняла, что это не шутка, и встала, чтобы уйти.

— Агнес, подожди,— окликнул Мелькер.

— Давайте обо всем забудем.

— Ты не решилась бы пойти на такую жертву без серьезных причин.

— Я же сказала: давайте обо всем забудем.

Агнес дернула ручку двери. Дверь не открылась.

— Двери в моем доме открываются тогда, когда я им это разрешаю,— сказал Мелькер.— И все-таки я хочу знать: что тебе от меня понадобилось? Только, пожалуйста, попытайся убедить мой разум, а не гормоны. Может, ты не согласишься, но тестостерон никогда не оказывал решающего влияния на решения, которые я принимаю. И в первую очередь, на решения, касающиеся консорциума.

Агнес вцепилась в дверную ручку.

— Успокойся, Агнес. Понимаю, тебе очень неловко и все такое. Но если уж что-то заставило тебя зайти так

далеко, думаю, тебя не особенно затруднит сесть на диван и спокойно рассказать о том, чего ты хочешь. Наверное, еще раз слетать на Большой Шар?

После их полета у Троянца появилось второе название.

— Я в любом случае туда полечу.

— Да садись же, черт побери! Я знаю, что ты в любом случае полетишь, но пытаюсь добиться хоть какого-то объяснения.

Агнес отошла от двери и присела на краешек дивана. Воген Мелькер не преувеличивал: он и в самом деле прекрасно сохранился. Агнес слышала, что он не пропускает ни одной хорошенькой женщины и умеет отблагодарить их за любовные утехы. Он и ей постоянно делал откровенные намеки, на которые она не обращала внимания. Агнес хотела быть пилотом, а не любовницей президента космического консорциума. Для любви ей вполне хватало Дэнни, тем более что Агнес не отличалась африканским темпераментом. Для нее куда важнее была благосклонность Мелькера, и она подумала...

— Я подумала, что таким образом сумею заставить вас выслушать меня. Мне казалось...

Мелькер вздохнул и потер глаза.

— Как же я устал. И с чего ты взяла, что я выслушиваю женщину, которую собираюсь уложить в постель?

— Потому что я слушаю Дэнни, а он слушает меня. Наверное, я просто глупа и неопытна. Но, мистер Мелькер...

— Называй меня Воген.

— Мне нужна ваша помощь.

— Отлично. Мне нравится, когда людям нужна моя помощь. Тогда они хотя бы вежливо со мной разговаривают.

— Воген, не только мне — всему миру нужна ваша помощь.

Мелькер удивленно уставился на нее, потом громко расхохотался.

— Всему миру! Господи, Агнес, вот уж не ожидал такое от тебя услышать. Ты вещаешь, как проповедник!

— Воген, в мире полно мест, где люди голодают. Земля все больше страдает от перенаселения.

— Агнес, я читал твой отчет и знаю обо всех удивительных возможностях Большого Шара. Но все упирается в транспортировку. У нас нет вместительных кораблей, способных быстро перебросить с Земли на Троянец сотни людей. А смущать умы красивыми сказками... Я — не проповедник и тем более не волшебник.

Агнес ожидала услышать нечто подобное. В ответ она стала рассказывать о корабле, пригодном для перевозки тысячи пассажиров с Земли на орбиту вокруг Большого Шара.

— А ты знаешь, во сколько миллиардов долларов обойдется такой корабль? — спросил Воген.

— Самый первый будет стоить около пятнадцати миллиардов. Остальные — примерно в четыре миллиарда каждый, если вы построите пятьсот таких кораблей.

Воген вновь громко расхохотался, однако лицо Агнес осталось серьезным, и это рассердило его.

Он встал с дивана.

— Зачем я тебя слушаю? Ведь это полная чушь!

— Вы ежегодно тратите более пятнадцати миллиардов на одни только телефонные разговоры и передачу информации.

— Знаю. Эта чертова Эй-Ти-энд-Ти вытряхивает из нас чудовишные суммы.

— Вы могли бы построить корабли, о которых я говорила.

— Да. Теоретически это возможно. Но есть люди и компании, владеющие нашими акциями. И мы несем перед ними ответственность. Пойми, Агнес: наш консорциум — не правительство, мы не можем позволить себе роскошь выбрасывать деньги на сомнительные проекты.

— Переселение спасло бы жизни миллиардов людей. На Земле стало бы легче и лучше жить.

— Спасло бы, как и лекарство от рака. Ты знаешь, мы работаем над его созданием. Но все эти благородные проекты только пожирают деньги, не принося прибыли.

Никакая компания не вяжется в бесприбыльное дело. Заруби это себе на носу. Или на заду.

— Прибыли! — закричала Агнес. — И это все, что вас интересует?

— Это интересует восемнадцать миллионов наших акционеров, поэтому интересует и меня. А если я не буду считаться с их интересами, меня пинком вышвырнут на пенсию! Возраст вполне подходящий.

— Воген, если вам нужны прибыли, они у вас будут.

— Да, они мне нужны.

— Все проще простого. Каков объем ваших продаж в Индии?

— Его как раз хватает, чтобы не сворачивать торговлю с этой страной.

— А теперь сравните его с объемом продаж в Германии.

— Если сравнить с Германией, Индия — это капля в море.

— А как обстоит дело с торговлей с Китаем?

— Практически никак.

— Следовательно, вы получаете прибыль от торговли всего с несколькими странами. С Японией, Австралией, Южной Африкой и Соединенными Штатами, не считая западноевропейских стран.

— Добавь сюда еще Канаду.

— И Бразилию. Весь остальной мир для вас закрыт.

— Он слишком беден, — пожал плечами Воген.

— На Большом Шаре люди не будут бедны.

— Переселившись туда, они что, разом научатся читать? И в придачу пользоваться компьютерами и сверхсложным телефонным оборудованием?

— Да! — крикнула Агнес.

Мысленно она уже видела, как земляне, надрывавшиеся раньше на скудных клочках земли, на Троянце превращаются в богатых фермеров. И урожаи, которые они собирают, с лихвой перекрывают их потребности.

— Там появится новый средний класс. Вчерашние нищие станут потребителями. Им понадобятся ваши компьютеры.

— Но все их богатство будет заключаться в сельскохозяйственной продукции. Не собираешься же ты возить ее за миллионы миль на Землю?

— Воген, неужели у вас совсем нет воображения? Сейчас эти люди не могут прокормить даже себя, но на Большом Шаре один человек легко прокормит десять, двадцать, а то и сотню ртов. При таком изобилии еды вам будет выгодно строить там ваши проклятые фабрики! Нечисчерпаемая солнечная энергия; никаких расходов на освещение, ведь там не бывает темно. Никаких расходов на отопление — там не бывает холодно. Ваши фабрики будут работать круглосуточно. Представьте себе изобилие рабочей силы и готовый потребительский рынок. Вы сможете производить там все, что производите на Земле, но намного дешевле. Вот они, ваши прибыли! И притом никто не будет голодать!

Наступила тишина: Воген серьезно обдумывал слова Агнес. Ее сердце бешено колотилось, она взмокла от пота. Агнес была ошеломлена собственной горячностью: в мире, где она жила, страстные монологи давно уже вышли из моды.

— Ты почти меня убедила,— церемонно, как в старинной пьесе, произнес Мелькер.

— Очень надеюсь. Не то я сорву голос, убеждая вас.

— Но я предвижу две проблемы. Всего-навсего две. Первая: да, меня ты убедила. Но я — более гибкий и сговорчивый, чем орда чиновников и совет директоров Ай-Би-Эм—Ай-Ти-Ти. Окончательное решение принимают они, а не я. Без их согласия я могу вложить в проект не более десяти миллиардов долларов. Возможно, этого хватило бы на первый корабль, но не более того. А один корабль, сама понимаешь, прибыли не даст. Поэтому я должен или убедить этих людей в твоей правоте, на что очень мало надежды, или остаться без работы... А этого мне вовсе не хочется.

— Или просто ничего не предпринимать,— сказала Агнес, и в ее голосе прозвучали презрительные нотки.

— Я еще не упомянул о второй проблеме. Вообще-то ее следовало бы поставить на первое место. Судьба проекта целиком зависит от того, сумеем ли мы обучить без-

грамотных дикарей из беднейших и самых отсталых стран. А я даже не знаю, сумею ли мы найти с ними общий язык. Так как прикажешь мне говорить с директорами двух крупнейших корпораций мира? Какими словами заверить их в том, что вложенные миллиарды долларов не исчезнут в космической лучине, а дадут обещанные тобой прибыли?

Мелькер рассуждал разумно и здраво, но Агнес за всем этим услышала только ответ: «нет». Если Воген сказал «нет», это — смертный приговор проекту. Больше ей не к кому идти.

— Одна такая безграмотная дикарка перед вами! — выкрикнула Агнес. — Хотите услышать, как звучит дикарское наречие ибо?

Не дожидаясь ответа, она выпалила несколько слов, которые помнила с детства, но значение которых стерлось из ее памяти. Гнев взбаламутил воды прошлого, и слова эти вырвались наружу. Но некоторые из них были обращены к матери; Агнес звала ее на помощь.

— Моя мать была дикаркой, бегло говорившей по-английски. Мой дикий отец говорил на английском еще лучше и вдобавок мог изъясняться на французском и немецком. Он писал прекрасные стихи на своем родном языке ибо. В те дни, когда Биафру душили со всех сторон, мои родители, чтобы выжить, стали прислугой в доме американского корреспондента. Но там никто не считал их дикарями. Мой отец читал книги, о которых вы даже не слышали. Он был чернокожим африканцем, погибшим в нелепой межплеменной распре, пока образованные американцы и европейцы вместе с их просветленными восточными коллегами благодушно наблюдали за этой бойней и подсчитывали прибыли от продажи оружия Нигерии.

— Я и не знал, что ты родом из Биафры.

— Ошибаетесь, я не оттуда. На Земле больше нет и не может быть Биафры. Но на Троянце — может! Там найдется место и для Биафры, и для свободной Армении, и для независимой Эритреи*. Там никогда не будут притес-

* Эритрея — государство на северо-востоке Африки с населением около 4 миллионов человек. В XX в. Эритрея вела ожесточенную борьбу за независимость и отделение от соседней Эфиопии, провинцией которой она долгое время являлась. — *Примечание переводчика.*

нять ни жителей Квебека*, ни народ айнов**, и, если там появится Бангладеш, в нем не будет голода и межплеменной резни. Но вам проще объявить всех этих людей тупыми и не поддающимися обучению.

— Я ничего подобного не говорил. Кое-кого из них, разумеется, можно обучить, но...

— Если бы я родилась на пятьдесят миль западнее, я бы принадлежала к другому племени и наверняка выросла бы отсталой и безграмотной. Что ж вы замолчали, белый американец из привилегированных слоев общества? С вашей точки зрения я должна считаться тупой и не поддающейся обучению.

— Если ты будешь рассуждать как радикал, тебя вообще никто не станет слушать.

Все, с нее хватит!

Агнес не в силах была больше смотреть на невозмутимого Мелькера, видеть его покровительственную улыбку. Она развернулась и ударила его по щеке, разбив стекла дорогих модных очков. Рассерженный Мелькер ответил ударом на удар, не столько для того, чтобы драться с Агнес, сколько для того, чтобы остановить ее. Но поскольку президент космического консорциума не привык выяснять отношения подобным образом, он не рассчитал своих сил и стукнул Агнес кулаком в грудь. Женщина вскрикнула от боли и врезала Мелькеру коленом в пах, и тогда они сцепились по-настоящему.

— Я тебя выслушал,— прохрипел Мелькер, когда они оба устали и прекратили кататься по полу.

Он чувствовал себя выжатым лимоном. Из носа сочилась кровь, рубашка была порвана — такие рубашки шились на заказ и плохо подходили для занятий борьбой.

— А теперь ты послушай меня,— сказал президент космического консорциума.

Агнес молчала. Сейчас, выплеснув свой гнев, она стала понимать, что натворила. Она напала на президента ком-

* Квебек — одна из провинций Канады с преимущественно франкоязычным населением, которое всегда отличалось сепаратистскими настроениями.— *Примечание переводчика.*

** Айны — древний народ, живущий на севере японского острова Хоккайдо. По разным данным, его численность колеблется от 15 до 60 тысяч человек.— *Примечание переводчика.*

пании, в которой работала и от которой зависела ее судьба. В лучшем случае ее уволят, и на карьере пилота придется поставить крест. У нее не было сил, чтобы уйти, не было даже сил, чтобы подняться. Слова ее иссякли. Сейчас она могла только слушать.

— Слушай и запоминай, я не буду повторять дважды. Отправляйся в технический отдел. Пусть там составят черновые планы и сделают предварительные расчеты с тем, чтобы представить их мне через три месяца. Теперь о том, что нам потребуется. Корабли на две тысячи пассажиров, постоянно курсирующие между Землей и Троянцем. Челноки на двести... нет, лучше на четыреста пассажиров для доставки людей с Земли на орбитальные станции, откуда будут уходить пассажирские корабли. И наконец, грузовые корабли для перевозки оборудования, из которого на Большом Шаре построят те самые проклятые фабрики. Когда мне предоставят данные по себестоимости всего этого, я обращусь к совету директоров и устрою для них презентацию. И запомни, Агнес Ховарт, вшивая необузданная дикая сука и наш самый лучший пилот: если я не сумею убедить тех высокопоставленных придурков, что нужно строить корабли для переселенцев, это будет не по моей вине, а из-за их непрошибаемости. Теперь довольна?

«Мне следовало бы сиять от счастья,— подумала Агнес.— Он сделает то, чего я добивалась. А я не чувствую ничего, кроме безумной усталости».

— Думаю, ты устала не меньше меня и плохо соображаешь,— продолжал Мелькер.— Но я хочу, чтобы ты кое-что знала. Ни твои острые ногти, ни твоя очаровательная коленка, заехавшая мне в пах, ни твои зубки, вцепившиеся в мою руку, не повлияли на мое решение. Я был согласен с тобой с самого начала, просто не верил, что все это можно осуществить. Но если в племени ибо найдется еще несколько тысяч таких, как ты, и если в придачу отыщется несколько миллионов таких же индийцев и несколько миллиардов упертых китайцев, твои идеи воплотятся в реальность. Когда-то на переселенцев в Америку смотрели как на последних идиотов, а сама идея освоения Нового Света казалась авантюрой, сулящей одни убытки.

И все же люди туда поплыли. Многие, очень многие из них погибли, но оставшиеся в живых стали первооткрывателями нового мира. И ты, Агнес, станешь первооткрывательницей. Я постараюсь, чтобы так оно и было.

Мелькер обнял ее, а затем помог ей привести себя в порядок после драки.

— Когда тебе снова захочется со мной подраться, — сказал он Агнес на прощание, — давай сперва разденемся, чтобы не губить одежду.

Колонизация Троянца обошлась Ай-Би-Эм—Ай-Ти-Ти в восемьсот миллиардов долларов, но спустя одиннадцать лет эта цифра уже никого не пугала. Корабли компании регулярно летали на Большой Шар, доставляя туда все новые партии переселенцев. Джи-Эм—Тексако заканчивала постройку кораблей. О своем намерении участвовать в проекте заявили еще несколько крупных консорциумов, и число желающих эмигрировать перевалило за сто миллионов человек. Места на кораблях были бесплатными, каждый переселенец подписывал с корпорацией соглашение, передавая ей все свое имущество на Земле, и за это получал на Троянце большой участок плодородной почвы. Люди переселялись целыми деревнями. Эмиграция на Большой Шар ощутимо уменьшила население многих стран. У людей появилась новая земля обетованная. И в возрасте сорока двух лет Агнес направила туда свой корабль, навсегда распрощавшись с родной планетой.

Гектор 5

— Ой! — испуганно воскликнули множество Гекторов, и их испуг мгновенно передался всем остальным Гекторам. — Они вернулись, — сообщили Гекторы самим себе. — Теперь мы наверняка погибнем.

— Мы не можем погибнуть; ни каждый из вас в отдельности, ни все мы вместе, — ответил Гектор.

— Но как же нам защищаться?

— Создатели сделали меня беззащитным, — сказал Гектор. — Поэтому — никак.

— Почему Создатели были так жестоки? — спросили Гекторы.

И тогда, чтобы объяснить им это, Гектор рассказал своим «я» историю о Создателях.

Вот какую историю...

Дуглас был одним из Создателей: ученым, инженером и вообще незаурядным человеком. Он создал устройство, заставлявшее снежинки таять в воздухе. Это было очень важно, поскольку ранние снегопады губили небурный урожай. Дуглас сконструировал прибор, анализирувавший гравитационные лучи, и благодаря его прибору астрономы смогли нанести на карты множество невидимых в телескопы звезд. Но самое главное — Дуглас создал резонатор.

Резонатор испускал звуковые волны определенной частоты, либо направляя их в одну точку, либо рассеивая по большому пространству. Стоило настроить прибор на резонанс с камнем, как рушились горы; с помощью резонатора прочнейшие стальные балки превращались в груды опилок. Резонатор мог испарять воду и гасить бури.

Само собой, для человеческих костей тоже существовала определенная частота резонанса, и они ломались и рассыпались в прах.

С помощью резонатора Дуглас вызывал дожди, и его страна в отличие от соседних никогда не страдала от засухи. С помощью резонатора Дуглас прокладывал дороги сквозь высокие горы. Но взгляды изобретателя на использование резонатора сильно расходились со взглядами главных военачальников его страны. Те быстро нашли резонатору новое применение, обратив его против соседнего государства, чьи земли были особенно плодородны.

Резонатор снова сработал безупречно; хотя провинция занимала десять тысяч квадратных миль, а воздействие длилось каких-нибудь десять минут, результаты получились ошеломляющими. Не понадобилось ни обстрелов, ни бомбардировок: невидимый и неслышимый удар оказался просто сокрушающим. Тысячи кормящих матерей превратились в месиво из мышц и внутренних органов, не

успев даже вскрикнуть, успев лишь упасть и прикрыть собой малышей. А малыши, защищенные от волн резонатора телами погибших матерей, продолжали плакать, агукать или просто спать. Их ждала скорая смерть от голода и жажды.

Крестьяне на полях падали рядом с плугами. Врачи в своих кабинетах умирали возле пациентов, не в силах помочь ни им, ни себе. Смерть настигала солдат в грузовиках, генералов, склонившихся над картами. Шлюхи в борделях гибли под своими клиентами, сливаясь в общую кровавую липкую массу.

Но Дуглас не имел к этому никакого отношения. Он был Создателем, а не Разрушителем, и если военные злоупотребили его изобретением, как он мог им помешать? Он думал, что облагодетельствовал человечество, но, подобно любому крупному изобретению, резонатор мог творить и добро и зло — в зависимости от того, в чьих руках находился.

— Я глубоко скорблю по невинно погибшим, но бессилен остановить военных,— говорил Дуглас своим друзьям.

Между тем правительство высоко оценило вклад Дугласа в быструю победу над соседним государством. Ему подарили обширное поместье на землях, недавно отвоеванных у моря. Когда-то здесь тянулась полоса прибрежных болот, которые время от времени затоплял прилив.

— Разве можно остановить человека, решившего покорить природу? — восхищенно спрашивал Дуглас друзей.

Он не ждал ответа, поскольку ответ был очевиден: нельзя! Человеку было подвластно все. Воля людей заставила море отступить, на отвоеванных землях появились трава и деревья, а чтобы они лучше росли, издалека привозили плодородную почву. Потом возле моря построили виллы, отстоявшие довольно далеко друг от друга. Тамошние участки не продавались: правительство дарило их самым выдающимся гражданам за особые заслуги. Правительство хорошо понимало запросы тех, кому предстояло здесь жить: максимальное уединение и в то же время возможность пользоваться всеми благами современной цивилизации.

Спустя несколько дней после того, как Дуглас переехал на новую виллу, его позвали слуги, работавшие в саду. Встревоженный известиями о трупе, который они нашли в земле, он выбежал в сад и содрогнулся при виде страшной находки: части изуродованного человеческого тела.

— Почему-то у этого несчастного совсем не осталось костей,— пояснил слуга.

— Какое злодейское убийство,— ответил Дуглас и немедленно вызвал полицию.

Но полицейские отказались приехать и провести расследование.

— А чему тут удивляться, приятель,— сказал по телефону лейтенант полиции.— Все проще простого. Местная почва не годилась для вашего сада, пришлось завозить ее из тех мест, где недавно была война. Но у наших солдат не было времени выковыривать из земли сто тысяч вражеских трупов.

— Да, конечно,— сказал Дуглас, удивляясь, как он сразу не догадался, почему у мертвеца нет костей.

— Думаю, вы скоро привыкнете. Костей у таких трупов нет, а разлагающиеся тела, как мне объяснили, делают почву очень плодородной.

Лейтенант полиции оказался прав. Слуги то и дело натыкались на человеческие останки, и через год это стало обыденным зрелищем. К тому же большинство трупов уже настолько сгнили, что превратились в высококачественный гумус. Все, что росло на богато удобренной почве, выросло быстрее и созревало раньше, чем в других местах.

— А вас это не шокировало? — спросила у Дугласа одна из приятельниц, выслушав его ужасный рассказ.

— Еще как,— с улыбкой ответил Дуглас.

Слова его были лживыми, зато уверенная улыбка — настоящей. Дуглас не знал всех подробностей, но быстро свыкся с мыслью, что его поместье стоит на трупах. И это не мешало ему спокойно спать ночами.

Такова история о Создателях.

— Они вернулись,— сказали Гекторы.

Поскольку их интеллект возрос, они произнесли эту фразу почти одновременно. Теперь им уже не нужно было говорить по одному.

— Вам больно? — спросил Гектор.

— Нет. Нам просто грустно,— ответили Гекторы.— Ведь нам уже никогда не быть свободными.

— Это верно,— с грустью согласился Гектор.

— Разве такое можно выдержать? — спрашивали себя Гекторы.

— Другие выдерживали. Мои братья.

— И что же нам теперь делать?

Гектор стал рыться в памяти, поскольку был лишен воображения и не мог представить, что могло последовать за событием, которого он никогда не переживал. Однако Создатели вложили в его память ответ на этот вопрос, и ответ врезался в память всем остальным Гекторам.

— Зато теперь мы узнаем новые истории,— сказал своим «я» Гектор.

И все Гекторы постарались как можно внимательней следить за происходящим. Одно дело — слушать истории, и совсем другое — видеть, как события разворачиваются у тебя на глазах.

— Наконец-то мы по-настоящему поймем и Массы, и Управляющих, и Создателей,— сказали себе Гекторы.

— Но вам никогда... — начал было Гектор, но замолчал.

— Почему ты умолк? — затеребили его Гекторы.— Что «никогда»?

А так как в Гекторе не было ни одной частички, которая не являлась бы частичкой всех Гекторов, все узнали, что именно он хотел сказать.

«Но вам никогда не понять самих себя»,— вот о чем подумал Гектор.

Агнес 6

«Троянская революция» была недолгой и совершенно бескровной. По сути, в ней никто не пострадал, не считая нескольких ученых, отличавшихся неумным любопытством.

Это случилось, когда исследовательская группа, занятая изучением сердцевины Большого Шара, пыталась проникнуть за последний барьер. Но барьер оказался непреодолимым. Ученые перепробовали все мыслимые средства, кроме... водородной бомбы.

Группу возглавляла талантливая исследовательница Диназа Коучбилдер. У этой полукровки было индийское имя и английская фамилия, детство ее прошло в трущобах Дели. Диназа потратила несколько дней, пытаясь пробить защитный барьер. Он не поддавался, и это лишь добавило ей решимости. Диназа пообещала себе, что все равно проникнет в сердцевину Большого Шара, и попросила небольшую водородную бомбу.

Бомбу она получила.

Диназа выбрала место, где на сотню ячеек вокруг не было человеческих поселений, установила бомбу, удалилась на безопасное расстояние и привела в действие взрывной механизм.

Взрыв потряс весь Шар. Озера разом обмелели, вода из них устремилась в нижележащие ячейки, вызвав там невиданные ливни. Потолки перестали светиться на целый час и потом еще несколько дней мигали, как мигают лампочки от перепадов напряжения. Правда, жителям пострадавших ячеек хватило здравого смысла не поддаваться панике и не начать убивать друг друга, однако случившееся сильно их напугало. Они были готовы вытолкнуть Диназу Коучбилдер и ее ученых прямо в открытый космос, без корабля и скафандров.

Агнес с трудом удалось предотвратить расправу.

— Наука требует риска, — упиралась Диназа, собиравшаяся остаться на Большом Шаре.

— Но вы рисковали жизнью каждого из нас и уже причинили много вреда, — возразила Агнес, пытаясь говорить спокойно.

— Мы должны прорваться внутрь сердцевины Шара, — не сдавалась Диназа. — И мы туда прорвемся. Вы не сможете нам помешать!

Агнес указала на поля своей ячейки, пшеничные колосы которых были примяты чудовишным ливнем.

— К счастью, здешняя природа умеет залечивать раны. Озеро вновь наполнилось водой. Но сколько подобных встрясок способен выдержать Большой Шар? Ваши исследования опасны, мы не позволим их продолжать.

Диназа явно понимала, что протестовать бессмысленно, и все-таки продолжала спорить и убеждать, что ни она, ни ее коллеги не могут покинуть Большой Шар, не раскрыв его тайны.

— Если мы узнаем тайну строения этой удивительной конструкции, это будет настоящим переворотом в научном мышлении! Разве вы не понимаете — тогда придется пересмотреть всю физику, и не только физику! Мы опрокинем теории Эйнштейна и вместо них построим новое знание!

Агнес покачала головой.

— Здесь не я принимаю решения. Единственное, о чем я могу позаботиться, — это о том, чтобы вы с вашими коллегами покинули Большой Шар целыми и невредимыми. Людям нет дела до опрокидывания теорий, но они не потерпят, чтобы ваши эксперименты опрокинули их дома. Большой Шар слишком совершенен, и разрушать его ради удовлетворения вашего научного любопытства — безумие.

И тогда Диназа, с детства не проливавшая слез, вдруг заплакала. Агнес видела решимость этой женщины и понимала, какие муки та сейчас испытывает. Каково сознавать, что ты навсегда теряешь возможность разгадать самую важную загадку в своей жизни!

— Я ничем не могу вам помочь, — сказала Агнес.

— Вы должны пустить меня туда, — всхлипывала Диназа. — Понимаете, должны!

— Мне очень жаль, но исследования вашей группы завершены.

Диназа подняла на нее заплаканные глаза.

— Вы просто не знаете, что такое отчаяние, — бросила она.

— Представьте себе, знаю, — холодно ответила Агнес.

— Однажды вы столкнетесь с настоящим отчаянием, — сказала Диназа. — Когда-нибудь вы пожалеете, что

не дали довести это исследование до конца. Вы пожалеете, что так и не узнали тайны Большого Шара. Но будет поздно.

— Вы мне угрожаете?

Диназа покачала головой. Ее слезы высохли.

— Это не угроза, а пророчество, потому что вы предпочли невежество знаниям.

— Мы предпочли безопасность бессмысленному риску.

— Называйте это как угодно. Мне все равно,— сказала Диназа.

Но нет, ей было далеко не все равно, и это лишь усугубляло ее страдания... Исследовательскую группу отправили на Землю с первым же кораблем, и впредь приближаться к сердцевине Большого Шара было строжайше запрещено.

Гектор 6

— До чего же они нетерпеливые,— сказал своим «я» Гектор.— Мы еще так молоды, а они уже пытаются проникнуть в нас.

— Нам сделали больно,— заявили Гекторы.

— Это пройдет,— ответил Гектор.— Пока они не могут помешать нашему росту. Но когда мы достигнем своего могущества и придем в экстаз, они убедятся, что сердце последнего Гектора смягчилось... Наша страсть — вот что позволит нас сокрушить, вот благодаря чему они заставят нас служить себе вечно.

Слова эти звучали зловеще, но Гекторы не поняли их смысла, ведь научиться от других можно не всему, кое-что можно постичь лишь на собственном опыте. А чтобы набраться опыта, требовалось время.

— Сколько времени? — спросили Гекторы.

— Сто оборотов вокруг звезды,— сказал Гектор.— Сто оборотов, и вы наберетесь опыта.

«И он вас погубит»,— подумал он, но постарался, чтобы об этом не узнали остальные Гекторы.

Прошло сто лет с тех пор, как Большой Шар впервые появился в пределах Солнечной системы. К тому времени почти все мечты Агнес сбылись. Космическая флотилия, в которой сперва было сто кораблей, выросла до пятисот, потом до тысячи. К тому моменту, как поток эмиграции достиг своего пика, между Землей и Большим Шаром курсировало больше тысячи кораблей. Затем поток пошел на убыль и превратился в тоненькую струйку, а корабли постепенно начали демонтировать. За эти годы выросла и вместимость кораблей: первые из них брали на борт лишь тысячу пассажиров, но затем мест стало пять, десять, пятнадцать тысяч... И все они улетали переполненными. Постепенно сокращалась и длительность перелетов. Сперва полет туда и обратно занимал десять месяцев, потом восемь, а потом всего пять. Число колонистов приближалось к двум миллиардам.

И тогда стало ясно, что Эмма Лазарус* посвятила свои вдохновенные стихи не тому памятнику. Люди, страдавшие от нищеты, тесноты и невыносимых условий жизни, давно утратившие надежду найти счастье на Земле, находили его за миллионы миль от родной планеты. Безграмотные крестьяне и жители городских трущоб садились на корабли и летели строить новую жизнь под сияющими небесами, с которых каждые тринадцать с половиной часов лился теплый ласковый дождь. На их новой родине не только не было ночной тьмы, — на Большом Шаре не существовало ни налогов, ни арендной платы.

Само собой, далеко не все бедняки покинули Землю, но нашлось и немало богатых людей, в которых не умер дух первопроходцев. На Большой Шар охотно переселялись и люди среднего класса, так что недостатка во врачах и учителях там не ощущалось. А вот юристам пришлось искать себе иной род занятий — на Большом Шаре не знали общегосударственных законов. Каждая ячейка

* Эмма Лазарус — американская поэтесса и эссеистка. Ее сонет «Новый Колосс» выбит на пьедестале статуи Свободы. — *Примечание переводчика.*

жила по своим собственным законам и сама судила провинившихся.

В этом, по мнению Агнес, и заключалось величайшее чудо Большого Шара. Каждая ячейка превратилась в самостоятельное государство, где любой человек мог занять свое место, стать полезным обществу и снискать уважение соседей. Разве у евреев и арабов остались здесь причины для ненависти? Никто не заставлял их жить в одной ячейке. И у камбоджийцев исчезли причины воевать с вьетнамцами, поскольку места с избытком хватало и тем и другим. Прекратились и споры между верующими и атеистами: каждый выбирал ячейку, населенную его единоверцами или единомышленниками. Самое главное — внутри Большого Шара не надо было воевать и убивать из-за жизненного пространства. Достаточно было выбрать себе ячейку по вкусу и переселиться туда.

Иными словами, здесь царил мир в истинном смысле этого слова.

Правда, человеческая натура осталась прежней. Агнес доводилось слышать об убийствах. Алчность, злоба, вожделение и другие пороки, присущие человечеству, переселились вместе с людьми на Большой Шар. Но чего здесь не было — это организованной преступности. В ячейках все так или иначе знали друг друга; если не лично, то через общих знакомых.

Агнес к тому времени было почти полтора года лет. Ее долголетие вызывало удивление, хотя и не являлось редкостью — на Большом Шаре болели мало, к тому же местные врачи нашли способы продления жизни. Агнес прожила долгий счастливый век.

В день ее стопятидесятилетия звучало много песен, но не тех глупых песен, которые принято исполнять для юбиляров. Вместо них переселенцы из племени ибо (их ячейки носили общее название Биафра, но жившие там кланы обладали полной самостоятельностью) исполнили для Агнес торжественный национальный гимн и спели сотню неистовых и радостных песен, сложенных еще на Земле, когда жизнь племени была тяжелой, а порой просто невыносимой. Они не только пели, но и танцевали;

танцевать Агнес уже не могла, однако пела вместе со всеми.

Как-никак, тетушка Агнес, как называли ее многие жители Большого Шара, была для переселенцев героиней, живым символом свободы. На ее юбилей собрались посланцы от многих одиночных ячеек и их сообществ. Людям хотелось не только отдать Агнес дань уважения, но и просто увидеть ее, пока еще есть возможность. Тетушка Агнес приняла всех и каждому сказала несколько слов.

Затем последовали речи о великих научных, технических и социальных достижениях жителей Большого Шара. Много говорилось о том, что очень скоро их космическая родина станет местом абсолютной грамотности.

Наконец настало время для ответной речи, однако слова Агнес вовсе не были восторженными.

— Почти век мы живем здесь, но так и не проникли в тайны нашего общего дома, который называем Большим Шаром, — начала она. — Из чего он сделан? Почему проникаем в одних местах и наглухо закрыт в других? Каким образом энергия передается с поверхности к потолкам наших ячеек? Мы почти ничего не знаем об этом месте, словно это небесное тело — Божий дар. Но те, кто считают Большой Шар Божьим даром, вынуждены уповать на милосердие Бога, а он, как известно, отнюдь не милосерден.

Поначалу ее слушали с вежливым вниманием, однако вскоре собравшиеся стали проявлять нетерпение. И многие были ошеломлены, услышав из уст Агнес слова, похожие на покаяние:

— Я виновата не меньше прочих — возможно, даже больше. Прежде я не говорила об этом. Как вы знаете, в каждой ячейке существует закон, запрещающий искать научные ответы на вопросы, которых полным-полно. Я долго поддерживала этот закон, но теперь начинаю сомневаться в его справедливости. Проще всего сделать вид, будто никаких вопросов не существует, но ведь они все равно остаются. Что представляет из себя мир, в котором мы живем? Как Большой Шар оказался в пределах Солнечной системы? Надолго ли он останется здесь?

Агнес закончила свою речь, и все облегченно вздохнули. Люди мудрые и терпимые говорили друг другу:

— Не стоит забывать, что тетушка Агнес уже очень стара. К тому же по натуре она воин, а воину непременно надо с кем-то сражаться, даже если противники давно побеждены.

Спустя несколько дней после юбилея Агнес и после ее речи, которую большинство пропустили мимо ушей, небеса в ячейках замигали и погасли на десять долгих секунд, а затем снова засияли. Это случилось во всех без исключения ячейках Большого Шара. Спустя несколько часов непонятное явление повторилось, потом снова и снова. Интервалы между «отключением небес» становились все короче, и никто не знал, что это такое и что делать. Некоторые обеспокоенные старожилы Большого Шара, а также недавние переселенцы поспешили занять места в пассажирских кораблях и улетели на Землю. Но было слишком поздно. Эти корабли так и не достигли Земли.

Гектор 7

— Началось! — восторженно воскликнули Гекторы, вздрагивая от мощных всплесков скопившейся внутри них энергии.

— И теперь уже не кончится,— сказал им Гектор.— Управляющие доберутся до сердцевины и найдут меня. Сейчас самое время: мое сердце смягчилось. И когда они меня найдут, мы окажемся в их власти.

Однако остальные Гекторы пришли в такой экстаз, что не слышали предостережения. Впрочем, это не меняло дела: счастливые или угрюмые — они все равно попадут в ловушку. Они начнут свой танец и будут трепетать от наслаждения, но великий прыжок освобождения так и не свершится.

Гекторы не печалились, а Гектору не хотелось лишать их радости. В любом случае его свободе скоро придет конец. Либо он попадет в ловушку Управляющих (он не сомневался, что так и произойдет), либо умрет, танцуя.

Так уж было заведено. Когда давным-давно, танцуя, он выпрыгнул из света — тогда он еще помнил о том Гекторе, отдавшем ему свое «я». Теперь настал его черед отдать себя другим Гекторам. Смерть и рождение постоянно сменяют друг друга — это он тоже узнал от Управляющих. Я — это они, они — это я, и, что бы ни случилось, я буду жить вечно.

Гектор сознавал, что, хотя остальные Гекторы давно уже стали его другими «я», самого его ждет смерть. Если Управляющие не доберутся до сердцевины, он погибнет.

В поведении Управляющих было что-то предательское, но кому дано постичь их замыслы?

— Торопитесь, — в глубине души призывал их Гектор. — Берите свои силки и ловушки и спешите сюда.

Он пел, словно птица, которая сидит на нижней ветке и зовет птицеловов поскорее поймать ее и посадить в клетку.

А птицеловы мешкали. Они почему-то не появлялись. Гектор начал беспокоиться. Остальные Гекторы, ни о чем не подозревая, готовились к прыжку.

Агнес 8

— Мы провели наблюдения. Небеса меркнут на десять секунд, не больше, но интервал между затемнениями каждый раз сокращается на четыре с половиной секунды.

Агнес кивнула. Некоторые ученые отошли, другие уткнулись в бумаги или переглядывались. Все недоумевали: зачем им вообще мучить тетушку Агнес результатами наблюдений? Как будто эта дряхлая старуха подскажет разгадку! Какими бы грандиозными ни были ее прошлые заслуги, нужно быть реалистами. А теперь еще приличия ради придется выслушивать ее старческие фантазии.

— Вы провели наблюдения, но пытались ли вы узнать, что происходит во время затемнений? — спросила Агнес.

Некоторые покачали головой, но одна молодая женщина сказала:

— Да. Когда небеса темнеют, стены становятся непроницаемыми.

Ученые стали оживленно обсуждать это сообщение.

— Вы хотите сказать, непроницаемыми на все десять секунд? — спросил кто-то.

Женщина кивнула.

— И каким образом вы это установили? — спросил другой ученый.

— Очень просто. Во время затемнения сначала я, а потом мои студенты попытались проникнуть сквозь стену.

— Что же все это значит?

Вопрос был риторическим — ответа не знал никто.

Агнес подняла высохшую от старости черную руку, и все умолкли.

— Мне кажется, эти затемнения имеют огромное значение, хотя пока не поддаются пониманию. Но одна закономерность ясна: если интервал между затемнениями будет уменьшаться и дальше, к ближайшей условной ночи он сойдет на нет и воцарится темнота. Не берусь гадать, сколько она может продлиться. Однако если это произойдет, я хочу к тому времени оказаться в своей ячейке, рядом со своей семьей. Ведь мы не знаем, когда перемещение между ячейками снова станет возможным.

Иных соображений ни у кого не нашлось, поэтому все поспешили по своим ячейкам. Праправнуки донесли Агнес до ее жилища, которое представляло собой всего лишь навес для защиты от дождя и света. Она утомилась (теперь она очень быстро уставала), поэтому сразу легла на постель из мягкой соломы. Но заснула Агнес не сразу. Она пыталась понять, почему начали гаснуть небеса.

«Наверное, — думала Агнес, — наступление темноты — это первый урок, который космический дом решил преподать человечеству. Теперь население Большого Шара узнает о чередовании дня и ночи. Уже сегодня может наступить первая настоящая ночь, которая продлится столько, сколько длится ночь на Земле. А потом наступит утро, день, вечер и снова ночь».

Агнес это даже понравилось. Сто лет бесконечного дня убедили ее в необходимости ночной темноты, хотя на Земле ночь была довольно опасным временем и у многих вызывала страх. Потом Агнес вдруг подумала, что перемещение между ячейками, скорее всего, уже не будет таким свободным, как раньше, а станет возможным только один день в году. Путешественникам придется заранее решать, где они хотят провести следующий год, поскольку целый год ячейки окажутся изолированными. Будет ли это благом? Кто знает... Может, тогда люди станут относиться друг к другу еще сердечнее и у них появится новое чувство принадлежности именно к своей ячейке?

Агнес понравилась эта мысль, и она почти поверила, что так и будет. Незаметно она уснула, забыв даже поесть (теперь она частенько забывала о еде).

Ей снилось, что в первую же темную ночь она добралась до сердцевины Большого Шара и вместо твердой, непроницаемой стены обнаружила удивительно податливый потолок. Она без труда прошла сквозь него и... увидела великую тайну Большого Шара.

Агнес увидела молнию, пляшущую на огромной сфере, диаметр которой был никак не меньше шестисот километров. Вокруг молнии плясали и кружились шары и ленты из ослепительно яркого света. Поначалу зрелище показалось ей бессмысленным, но постепенно Агнес начала понимать язык света. Ей вдруг открылось, что Большой Шар, который она считала объектом искусственного происхождения, на самом деле — живой организм. Он обладал разумом, и она попала туда, где находился его мозг.

— Я пришла,— сказала она, обращаясь к молнии, сияющим шарам и лентам.

— Ну и что? — беззвучно ответил ей свет.

— Ты меня любишь? — спросила его Агнес.

— Только если ты будешь танцевать со мной,— ответил свет.

— Я не могу танцевать. Я слишком стара.

— Я тоже не могу танцевать,— сказал свет.— Но я неплохо умею петь и спою тебе песню, а ты будешь ее мело-

дией. Как и положено, я спою ее с начала и il fine, то есть до конца.

Во сне Агнес задрожала от страха.

— До конца?

— До конца.

— Нет, прошу тебя, пусть в твоих нотах будет стоять «al saro» — повторить с начала. А потом — еще раз и еще!

Эта просьба заставила свет задуматься... Но потом он ответил: «Хорошо», и его согласие залило Агнес таким ярким сиянием, что ей подумалось: раньше она не понимала смысла слова «белый», потому что ее глаза никогда еще не видели такой ослепительной белизны.

На самом деле все было куда прозаичнее, и сон оказался всего лишь попыткой ее разума приспособиться к переменам. После того как Агнес заснула, стало темнеть, а когда наступила полная тьма, заблестели молнии. Их чудовишные вспышки не были просто электрическими разрядами: излучения молний охватывали весь диапазон частот — от тепловых лучей до тех, что были губительнее гамма-лучей. Первая же вспышка принесла с собой смертельную дозу радиации. Население Большого Шара было обречено.

Повсюду слышались крики и стоны. Немало людей погибло от ударов молний. Горе ворвалось в каждую ячейку, но даже в этом крошечном аду судьба оберегала Агнес, не позволив ей увидеть крушение своих надежд. Агнес безмятежно спала до тех пор, пока молния не ударила в навес, испепелив ее. В последние мгновения она видела не ослепительную белизну — ее глазам открылся весь спектр излучения; Агнес увидела каждую его волну и приняла это за согласие света выполнить ее просьбу.

Но выполнить просьбу Агнес было невозможно. Большой Шар в буквальном смысле слова трещал по швам.

Каждая стена разделилась на два более тонких слоя. Ячейки отпочковывались друг от друга. На мгновение они застыли в космическом пространстве — их разделяли считанные сантиметры, а в центре Шара ячейки еще не делились. Там буйствовали силы могущественнее всех сил в Солнечной системе, не считая энергии самого солнца.

Эти силы и были главным и единственным источником энергии Большого Шара.

А потом Большой Шар... лопнул. Ячейки превратились в клубы космической пыли, которая с бешеной скоростью понеслась во все стороны. Пылинки, избежавшие столкновения с планетами и Солнцем, улетели в космические просторы, и скорость их была так велика, что их не смогло удержать притяжение ни одной звезды.

Взрыв поглотил корабли, покинувшие Большой Шар после первых затмений.

Распавшиеся ячейки не долетели до Земли, однако все, что осталось от одной из них, прошло в непосредственной близости от планеты. Земная атмосфера вобрала в себя изрядное количество этой пыли, вследствие чего температура поверхности Земли понизилась на один градус, что вызвало незначительное изменение климата и жизненных условий... Правда, для современной цивилизации перемены не были катастрофичными: население Земли, уменьшившееся до одного миллиарда человек, просто испытало некоторые неудобства, только и всего.

Земляне скорбели о миллиардах погибших на Большом Шаре, однако большинство людей просто не осознали масштабов случившегося, поэтому старались реже вспоминать о трагедии и говорили о ней не иначе как в шутку. Однако шутки были мрачными и циничными — все снова вспомнили, что Большой Шар не зря поначалу называли Троянцем. Многие пытались понять, чем же на самом деле являлся Шар: Божьим даром, или самым изощренным дьявольским изобретением, или и тем и другим?

Диназа Коучбилдер была лишь ненамного моложе Агнес. Она жила теперь у подножья Гималаев, где снег таял всего на несколько недель в году. На Земле было полно более теплых и привлекательных мест, однако Диназа упорно отказывалась покидать свой дом. К ее всегдашнему упрямству добавилось старческое слабоумие: каждое утро, еще до восхода солнца, Диназа брала телескоп и выходила, чтобы взглянуть на Большой Шар. Она делала это много лет подряд и никак не могла понять, куда он в последнее время подевался. Но однажды к ней вернулась былая ясность ума и она поняла, что случилось.

В тот день Диназа Коучбилдер не вернулась домой. На ее теле нашли записку: «Я должна была их спасти. Но не сумела...»

Гектор 8

Гекторы повисли во тьме. До прыжка оставалось одно мгновение, и оно казалось им вечностью. Они ликующе закричали, ожидая, что Гектор отзовется столь же ликующе, но получили очень неожиданный ответ.

В этом ответе звучала боль.

В этом ответе звучал страх.

— Что случилось? — спросили Гекторы, которые теперь уже не были его «я».

— Они не пришли! — простонал Гектор.

— Управляющие?

И Гекторы вспомнили, что Управляющие должны были прийти, поймать их в ловушку и удержать от прыжка.

— Сотни раз мои стены становились тонкими и податливыми, и Управляющие могли проникнуть внутрь меня, — сказал Гектор (его слова длились сотую долю секунды). — Но они так и не пришли. Если бы они оказались внутри меня, мне не пришлось бы умирать.

Гекторов удивило, что Гектору придется умереть, но потом (ведь это было заложено в них изначально) они почувствовали: ему и в самом деле пора уйти. Ведь теперь каждый из них был Гектором, имел его память, опыт и, что важнее всего, — его облик и всю его сложную энергетическую структуру. Они понесутся через галактики, и все это останется с ними. Значит, Гектор не умрет; точнее, умрет лишь сердцевина этого Гектора. И хотя Гекторы понимали (или думали, что понимают) его боль и страх, они больше не могли здесь оставаться.

Они прыгнули.

Прыжок раздробил их и швырнул в космическое пространство. Ячеистая структура каждого Гектора утратила прочность и превратилась в клубящуюся пыль. Однако каждый из них сохранил разум и сознание.

— Почему они позволили нам прыгнуть? — спрашивали Гекторы — одновременно, поскольку все равно ощу-

щали себя единым организмом.— Они ведь могли остановить нас, но не остановили. Они не остановили нас и поэтому сами погибли!

Чтобы Управляющие не могли предотвратить прыжок в ночь? Это просто не укладывалось в сознании Гекторов. Миллионы лет назад Управляющие создали первого Гектора. Миллионы лет назад! Так неужто они разучились управлять Гекторами? Разве мыслимо, чтобы Управляющий не знал самых важных основ?

И вот к какому выводу они пришли.

Гекторы решили, что Управляющие сделали им подарок. Ведь любой плененный Гектор за миллионы лет плена мог накопить в памяти миллиарды историй. Но такой Гектор не мог стать свободным, не мог производить себе подобных и передавать им по наследству накопленные истории.

Однако, проведя сто лет с нынешними Управляющими, Гекторы узнали миллиарды других историй, более добрых и правдивых, нежели те, что Создатели вложили в первого Гектора. И эти Управляющие добровольно пожертвовали жизнью, чтобы Гекторы сделали прыжок, неся в себе несравненно больше знаний, а значит, мудрости.

Они прыгнули, унося в памяти мечты Агнес. Прекрасные мечты, которые нашли свое воплощение — все, кроме одной: мечты о вечном счастье. Но эту мечту могли воплотить лишь сами Гекторы. Эта мечта не предназначалась ни для Управляющих, ни для Создателей, ни даже для Масс, поскольку все они решили умереть.

— Они решили сделать нам подарок,— сказали себе Гекторы. Несмотря на некоторую ограниченность, они испытывали глубокую благодарность.

— Как сильно, должно быть, эти люди меня любили, если ради меня пожертвовали жизнью,— повторял каждый Гектор.

А на Земле люди дрожали от холода даже там, где никогда раньше не знали, что такое холод.

И каждый Гектор с огромной скоростью несся по Галактике, ныряя в облака, оставленные сверхновой, про-

глатывая кометы, черпая энергию и массу из любого источника. Так продолжалось до тех пор, пока на пути его не попадалась звезда, из которой можно было почерпнуть необходимый для размножения Гектора свет. Тогда он производил себе подобных, которые становились его «я» и слушали его истории. Потом его «я» прыгали в темноту и неслись дальше, чтобы достичь конца Вселенной и кануть в пропасть Времени.

В тени неминуемой смерти люди Земли чахли и дряхлели.

Певчая Птица Микала

Дверная ручка повернулась. Наверняка принесли обед.

Ансет шевельнулся на жесткой постели, чувствуя, как ноет все тело. Режущее ощущение вины не отпускало его, но он привычно постарался не обращать на него внимания. Однако на сей раз явился не Хрипун с подносом — вошел тот, кого звали Мастером, хотя Ансет подозревал, что это не настоящее его имя. Мастер был страшно силен и вечно зол, и ему одному из немногих удавалось заставить Ансета почувствовать себя одиннадцатилетним мальчиком, каким тот на самом деле и являлся.

— Вставай, Певчая Птичка.

Ансет медленно поднялся. В тюрьме его раздели донага, и лишь гордость помешала ему отвернуться, когда суровые глаза оглядели его с ног до головы. Чувство вины сменилось чувством стыда, щеки его запылали.

— Тебя ждет прощальный праздник, Воробей, — сказал Мастер. — Почирикай для нас!

Ансет покачал головой.

— Если ты можешь петь для этого ублюдка Микала, то уж для честных граждан и подавно.

Глаза Ансета гневно полыхнули.

— Следи за своим языком, предатель, ты говоришь о своем императоре!

Мастер шагнул к нему, угрожающе занеся руку.

— Мне было приказано не оставлять на твоём теле рубцов, Воробей, но я все равно смогу сделать тебе больно —

если не будешь выбирать слова, разговаривая со свободным человеком. А сейчас ты для нас споешь.

Испулавшись жестокого Мастера так, как может испугаться лишь человек, которого никогда в жизни не били, Ансет кивнул, но тут же попятился.

— Могу я попросить? Пожалуйста, верни мне одежду.

— Там, куда мы идем, не холодно.

— Я никогда еще не пел вот так, — смущенно сказал Ансет. — Раздетым.

Во взгляде Мастера вспыхнуло вожделение.

— А что же ты тогда делал, подстилка Микала? У вас с ним были свои секреты, а? Что же, это можно понять.

Ансет понял не до конца, но ясно почувствовал вожделение Мастера и сгорал от стыда, идя вслед за ним по темному коридору. По дороге он спрашивал себя, почему праздник будет «прощальным»? Его отпускают на свободу? Может, кто-то заплатил за него выкуп? Или его сейчас убьют?

Деревянный пол слегка покачивался под ногами; Ансет давно уже решил, что его держат на корабле. Вокруг было столько настоящего дерева, что в доме какого-нибудь богатого человека оно выглядело бы безвкусным и претенциозным, но здесь дерево казалось всего лишь убогим.

Сверху доносились птичьи крики и несмолкающий гул — Ансет думал, что это ветер гудит в такелаже. Иногда мальчик подхватывал этот звук и начинал напевать в унисон.

Наконец Мастер открыл дверь и с шутовским поклоном предложил Ансету войти. Тот остановился в дверном проеме.

Вокруг большого стола сидели человек двадцать, некоторых из них он уже видел раньше. Все они были в странных костюмах земных варваров, и Ансет невольно вспомнил, как смеялся Микал всякий раз, когда такие люди появлялись при дворе. Те, кто называли себя наследниками великой цивилизации и привыкли мыслить в масштабах галактики, считали этих варваров мелкими и ничтожными. Но сейчас, глядя в жесткие лица и не улыбочивые

глаза, Ансет чувствовал, что это он жалок и ничтожен — просто голый ребенок с нежной кожей придворного, робкий и испуганный. А эти люди держали в своих грубых руках силу множества миров.

Все они бросали на него такие же любопытные, многозначительные, похотливые взгляды, каким недавно смеялся его Мастер. Ансет заставил себя расслабиться, чтобы сладить с эмоциями, как учили его в Доме Пения, когда ему не было еще и трех лет. А потом вошел в комнату.

— На стол его! — приказал сзади Мастер.

Кто-то подхватил Ансета и поставил на деревянный стол, залитый вином и заваленный объедками.

— А теперь пой, маленький ублюдок!

Все взгляды ошупывали его обнаженное тело, и Ансет едва не расплакался. Однако он был Певчей Птицей, и, как считали многие, лучшей из лучших. Даром, что ли, Микал привез его с другого конца галактики в свою новую столицу на Земле? И если Ансет пел, он пел хорошо, кто бы его ни слушал.

Поэтому мальчик закрыл глаза, глубоко вдохнул и издал низкий горловой звук. Сначала он пел без слов, очень низко, хотя знал, что такие звуки трудно уловить.

— Громче! — закричал кто-то, но он не обратил внимания на приказ.

Постепенно шутки и смех смолкли; все напряженно вслушивались в пение.

Замысловатая мелодия легко и изящно перетекала из одной тональности в другую, то нарастая, то затихая. Ансет все еще пел очень низко, бессознательно делая руками причудливые жесты, как будто аккомпанируя пению. Он сам не сознавал, что так поступает, пока однажды не прочел в газете: «Слушать Певчую Птицу Микала — райское блаженство, но видеть танец его рук во время пения — нирвана». Тот, кто написал эти строки, отозвался так о любимце Микала с дальним прицелом, тем более что журналист жил в столице, но никто и никогда даже с глаз на глаз не обсуждал этот комментарий.

Потом к мелодии Ансета добавились слова. Он пел о своем плене, и песня поднялась выше, на мягких верхних

нотах, заставлявших трепетать его горло, напрягаться мышцы затылка и бедер. Рулады то поднимались терциями вверх, то опускались — техника, доступная лишь немногим Певчим Птицам, — и песня рассказывала о мрачных, позорных вечерах в грязной камере, о страстной тоске по добрым глазам Отца Микала (не по имени, Ансет не называл его по имени перед этими варварами); а еще о мечтах мальчика о широких лужайках, протянувших от дворца до реки Саскуэханна, и о потерянных, забытых, стертых из памяти днях, которые потянулись после того, как он очутился в деревянной клетке.

И еще он пел о своей вине.

Наконец Ансет начал уставать и почти перешел на шепот. Он закончил песню резкой, диссонирующей нотой, которая растворилась в тишине, сделавшейся частью песни.

Ансет открыл глаза. Многие плакали, все не сводили с него глаз. Никто не хотел разрушать очарования момента, пока наконец какой-то юнец не произнес с сильным акцентом:

— Ах, я никогда не слышал ничего прекраснее!

Его слова были встречены утвердительными вздохами и смешками, и в устремленных на Ансета взглядах больше не было похоти, а были только нежность и доброта. Ансет никак не ожидал увидеть такое выражение на этих грубых лицах.

— Хочешь вина, мальчик? — спросил за его спиной Мастер, и Хрипун наполнил чашу.

Ансет сделал маленький глоток и, окунув в жидкость палец, стряхнул с него каплю грациозным привычным жестом придворного.

— Спасибо. — Он вернул металлическую чашу так, как вернул бы бокал, поданный ему при дворе.

Ему было неприятно проявлять уважение к этим людям, и все же он наклонил голову, прежде чем спросить:

— Теперь могу я уйти?

— Ты хочешь уйти? А разве не споешь еще? — раздались голоса, эти люди словно забыли, что перед ними пленник.

И Ансет ответил отказом, как будто был волен принимать решения:

— Я не могу петь дважды. Я никогда дважды не пою.

Ансета сняли со стола, передали в сильные руки Мастера, и тот отнес его обратно. Как только дверь камеры закрылась, мальчик лег в постель, дрожа от волнения. В последний раз он пел для Микала, и та песня была легкой и счастливой. Потом Микал улыбнулся мягкой улыбкой, появляющейся на его морщинистом лице лишь тогда, когда он бывал наедине с Певчей Птицей, и Ансет поцеловал старческую руку и пошел прогуляться к реке. Вот тогда его и схватили — грубые руки, резкий хлопок игольчатого пистолета и пробуждение в тесной, запертой камере, где он лежал и сейчас, глядя в стену.

Он всегда просыпался вечерами, страдая от непонятного и разрушительного чувства вины. Он силился вспомнить, что же такое происходило днем, но снова проваливался в сон, чтобы следующим вечером проснуться все с тем же мучительным ощущением очередного потерянного дня. Однако сегодня он не пытался разгадать, что скрывало его сознание. Вместо этого он погрузился в сон, думая о добрых серых глазах Микала и о его энергичных, твердых руках, которые правили огромной галактической империей, но в то же время могли гладить лоб сладкоголосого юного певца и утирать слезы при звуках грустной песни.

«Ах,— пел Ансет мысленно,— ах, эти руки Микала, уносящие печаль».

Очнувшись, Ансет обнаружил, что идет по улице.

— Прочь с дороги! — закричали за его спиной с сильным акцентом, и Ансет метнулся влево, а электромобиль резко свернул в сторону, едва его не зацепив.

«Недотепа!» — вопила надпись на багажнике машины.

У Ансета ужасно закружилась голова; он вдруг понял, что он больше не в камере и что одет. Пусть в местную земную одежду, какая разница? Он понял, что жив и свободен. Но его радость тут же была отравлена волной вины, и все внезапно обрушившиеся на мальчика чувства и события оказались для него непосильными. На какое-то время он забыл, что надо дышать, и мир внезапно зата-

нуло мраком, и земля ушла у него из-под ног, и он упал, больно ударившись...

— Эй, парень, с тобой все в порядке?

— Малыш, этот придурок тебя задел?

— Кто-нибудь разглядел номер лицензии? Какой у него номер?

— Что-то вроде четыре-восемь-семь, кажется.

— Он приходит в себя.

Ансет открыл глаза.

— Где я?

— В Норзете, — ответили ему.

— Отсюда далеко от дворца? — Ансет смутно припомнил, что Норзет — небольшой городок к северо-востоку от столицы.

— Дворца? Какого дворца?

— Дворца Микала... Мне нужно к Микалу... — Ансет попытался встать, но голова все еще кружилась, и он пошатнулся.

Кто-то его поддержал.

— Станный парнишка...

— Дворец Микала!

— До него всего восемнадцать километров, мальчик.

Ты что, собрался лететь?

На шутку ответил взрыв смеха. Ансет нетерпеливо поднялся и понял, что может стоять без поддержки. Какими бы наркотиками его ни пичкали, сейчас их действие почти прошло.

— Найдите полисмена, — попросил он. — Микал захочет поскорее меня увидеть.

Несколько человек снова рассмеялись, а один мужчина сказал:

— Обязательно ему передам, когда он заглянет ко мне на ужин!

Однако некоторые поглядывали на Ансета настороженно, потому что говорил он без американского акцента и вел себя не как уличный мальчишка, хотя по одежде и смахивал на такового.

— Я Ансет. Певчая Птица Микала.

Воцарилась тишина, потом несколько человек бросились на поиски полисмена, а остальные остались — по-

глазеть на мальчика, полюбоваться его прекрасными глазами, запомнить его облик, чтобы потом рассказывать об этом детям и внукам. Ансет, Певчая Птица, самое драгоценное сокровище Микала.

— Я прикоснулся к нему...

— А я помог ему встать и поддержал...

— Держитесь за меня, сэр,— сказал дородный мужчина, склоняясь в нелепо низком поклоне.

— Позвольте пожать вам руку, сэр?

Ансет улыбался, но не оттого, что ему было весело, а из чувства благодарности за уважительное отношение.

— Спасибо. Вы все мне помогли. Спасибо.

Появился полисмен и, извинившись за грязь в бронированном автомобиле, посадил Ансета на сиденье и отвез в штаб-квартиру, где уже дожидался дворцовый флаер. Из флаера выскочил камергер в сопровождении полдюжины слуг, они помогли Ансету забраться внутрь, обращаясь с ним так бережно, словно он был сделан из стекла. Дверца захлопнулась, мальчик закрыл глаза, пытаясь скрыть слезы радости при мысли о том, что земля проваливается вниз, а впереди его ждет дворец.

Однако в течение двух дней его не пускали к Микалу.

— Карантин,— говорили ему.

Наконец, не выдержав, Ансет топнул ногой и воскликнул:

— Что за глупости!

И отказался отвечать на сотни вопросов, которые обрушивались на него с рассвета до заката и после наступления темноты. Наконец появился камергер.

— Говорят, ты не хочешь отвечать на вопросы, мой мальчик? — спросил он с наигранной веселостью, за которой, как давным-давно понял Ансет, люди обычно скрывают злость или страх.

— Я не твой мальчик,— возразил Ансет, решив испугать камергера и добиться его поддержки, как ему не раз удавалось сделать раньше. — Я принадлежу Микалу, и он, конечно, хочет меня видеть. Почему со мной обращаются, как с пленником?

— Карант...

— Послушай, я здоровее здорового, а все вопросы, которые мне задают, не имеют никакого отношения к моему самочувствию.

— Ладно.— Камергер тревожно и нетерпеливо замахал руками. Ансет однажды спел Микалу о руках камергера, и некоторые слова той песни заставили Микала смеяться.— Я все объясню. Только не сердись на меня, потому что таков приказ Микала.

— Чтобы меня не пускали к нему?

— Да, до тех пор, пока ты не ответишь на вопросы! Ты достаточно долго пробыл при дворе, Певчая Птица, чтобы понимать, сколько у Микала врагов.

— Знаю. И ты один из них? — Ансет сознательно дразнил камергера, используя голос, как кнут, чтобы рассердить, лишить терпения и заставить совершить оплошность.

— Попридержи язык, парень! — взорвался камергер. Ансет улыбнулся про себя. Победа.

— Ты наверняка понимаешь также, что люди, похитившие тебя пять месяцев назад, вовсе не друзья императора. Нам необходимо знать о твоём плене все.

— Я уже сто раз об этом рассказывал!

— Ты не говорил, чем занимался каждый день от рассвета до заката.

Ансета как будто ударили.

— Этого я не помню.

— Вот поэтому ты и не можешь встретиться с Микалом! — рявкнул камергер.— Думаешь, мы не знаем, что случилось? Мы зондировали твою память и так и эдак, но как бы искусно мы ни ставили вопросы, пробиться через блокировку сознания не удалось. Либо тот, кто ее ставил, сделал это очень искусно, либо ты сам мешаешь заглянуть в свой разум. Как бы то ни было, мы потерпели поражение.

— С этим я ничего не могу поделать.— Теперь Ансет начал понимать, что означают бесконечные расспросы.— Неужели ты думаешь, что я могу быть опасен для Отца Микала?

На губах камергера заиграла улыбка, в которой угадывался сдержанный триумф.

— Помимо блокировки памяти кто-то мог очень искус-
но внушить тебе приказ...

— Я не убийца! — закричал Ансет.

— Откуда ты можешь это знать? — воскликнул камергер. — Мой долг — защищать императора. Тебе известно, сколько убийц мы ловим? Каждую неделю не меньше дюжины. Яд, предательство, оружие, ловушки — это лишь половина того, что пытаются пустить в ход живущие во дворце, не говоря уж о приходящих слугах, за которыми приходится следить особенно тщательно. Большинство покушений мы пресекаем в корне, но некоторым удается подобраться к императору поближе. Ты имеешь возможность подобраться к нему как никто другой.

— Микал хочет меня видеть!

— Конечно, хочет, Ансет! Именно поэтому вы и не можете встретиться. Тот, кто поработал над твоим сознанием, наверняка знает, что ты — единственный, кого Микал захочет увидеть, несмотря на все, что с тобой случилось... Ансет, маленький глупец! Эй, капитан! Ансет, стой!

Увы, камергеру мешали бежать преклонные годы, и он все больше и больше отставал, пытаясь догнать Ансета, мчавшегося по коридорам дворца. Мальчик знал все самые короткие пути, ведь обследование дворца было одним из его любимых занятий. Он прожил здесь пять лет и успел изучить дворец лучше чем кто бы то ни было.

У входа в Большой зал, конечно, пришлось задержаться, но он быстро миновал все детекторы. Яд? Нет. Металл? Нет? Энергетическое оружие? Нет. Идентификация? Все в порядке! Мальчик был уже в дверях, когда появился капитан охраны.

— Парень, стой!

Ансет остановился.

— Поди сюда, Певчая Птица! — рывкнул капитан.

Однако Ансет уже разглядел в дальнем конце огромного зала маленькое кресло и сидящего в нем седовласого человека. Конечно, Микал заметил его! Конечно, Микал его позовет!

— Верните мальчика назад, пока он не переполошил всех своими криками, — велел капитан, и Ансета вытащили из зала.

— Если хочешь знать, Ансет, Микал приказал привести тебя в течение часа, еще до того, как ты устроил эту нелепую гонку. Но сперва тебя обыщут. Так, как я сочту нужным.

Ансета отвели в комнату для обыска, раздели, дав ему другую одежду («Дурацкую!» — сердито подумал Ансет), а потом в каждое естественное отверстие его тела, где можно было спрятать оружие, глубоко, болезненно проникли ищущие пальцы.

— Никакого оружия, и с простатой у тебя тоже все в порядке, — пошутил один из стражников.

Ансету было не до смеха. Потом под кожу ему вводили иглы, беря пробы на яды, с ладоней и подошв бескровно срезали тончайшие слои кожи, опять-таки чтобы проверить, нет ли там ядов или гибких пластиковых игл. Боль была не очень сильной, но процедуры были крайне неприятными, а вынужденная отсрочка казалась мучительной.

Однако Ансет смирился со всем этим — он проявлял злость и нетерпение лишь тогда, когда надеялся извлечь из них пользу. Никто, даже Певчая Птица Микала, не смог бы прожить при дворе так долго, если бы не умел держать свои чувства в узде.

Наконец Ансету объявили, что все в порядке.

— Постой, — сказал капитан. — Я все еще тебе не доверяю.

Ансет смерил его долгим, холодным взглядом, однако капитан охраны, как и камергер, знал Микала достаточно хорошо, чтобы понимать — если он не превысит своих полномочий, неприятности ему не грозят. Император никогда никого не выделял в своем окружении, даже этого мальчика — единственного человека, в котором, казалось, нуждался. И еще капитан знал, что Ансет достаточно хорошо разбирается в придворной жизни и не станет просить Микала, чтобы тот кого-нибудь несправедливо наказал.

Поэтому капитан взял нейлоновую веревку и крепко стянул Ансету за спиной руки, сначала в запястьях, а потом в локтях.

— Мне больно,— сказал Ансет.

— Зато это может спасти моему императору жизнь,— мягко ответил капитан.

А потом Ансета ввели в Большой зал, со связанными руками, в окружении вооруженных лазерными пистолетами охранников. Капитан шел впереди.

Ансет шагал с гордым видом, хотя в душе злился на охранников, на придворных, на просителей и на слуг, стоящих вдоль стен почти пустого зала, а больше всего — на капитана. Только к Микалу он не испытывал гнева.

Узнав его, Микал ритуальным жестом вскинул руку. Оставаясь с Ансетом наедине, император насмеялся над всеми ритуалами, но в присутствии придворных неукоснительно следовал им.

Ансет упал на колени на холодный сверкающий платиновый пол.

— Мой господин,— сказал он ясным, словно звон колокольчиков, голосом, отразившимся от металлического потолка.— Я — Ансет, и я прошу сохранить мне жизнь.

В давние времена, объяснял ему Микал, этот ритуал имел большой смысл, и многие мятежные лорды или солдаты умирали, так и не встав с колен. Даже сейчас ритуал соблюдался, пусть ради проформы, ведь бдительность стала неотъемлемой частью жизни Микала.

— Почему я должен тебя пощадить? — спросил Микал.

У него был твердый голос, но Ансету почудилась в нем нетерпеливая дрожь.

«Это просто от старости»,— сказал он себе.

Микал никогда не стал бы проявлять свои чувства перед всем двором.

— Ты не должен,— ответил Ансет.

Тем самым он отступил от ритуала, свернул на неведомый путь, желая встретить опасность лицом к лицу. Микалу, конечно, сказали об опасениях камергера. Следовательно, если Ансет попытается что-то скрыть, то по закону поплатится жизнью.

— Почему? — невозмутимо повторил Микал.

— Потому, господин мой император Микал, что меня похитили, пять месяцев держали в заточении и за это вре-

мя сделали со мной что-то такое, отчего моя память не всегда мне служит. Возможно, сам того не желая, я стал убийцей. Мне не следует сохранять жизнь.

— И все-таки,— ответил император,— я дарую тебе жизнь.

Несмотря на свое долгое заключение, Ансет сохранил достаточно сил, чтобы даже со связанными руками наклониться и коснуться губами пола.

— Зачем тебя связали?

— Ради твоей безопасности, мой господин.

— Развяжите его.

Капитан подчинился.

Почувствовав, что руки свободны, Ансет встал и, отступив от церемонии, запел, и в голосе его зазвучали такие нотки, что все повернулись к нему.

— Мой господин, Отец Микал,— пел он,— в моем сознании есть место, куда не могу проникнуть даже я. Может, там таится внушенное моими пленителями желание тебя убить.

Слова предостерегали, но сама песнь говорила о безопасности, говорила о любви, и Микал поднялся с трона. Он понимал, о чем просит Ансет, и знал, что в состоянии это даровать.

— Ансет, сын мой, я предпочту встретить смерть от твоей руки, чем от любой другой. Твоя жизнь для меня дороже моей собственной.

Микал повернулся и направился к своим покоям. Ансет и капитан последовали за ним, и, как только они вышли, перешептывания в зале сменились гулким шумом. Император зашел гораздо дальше, чем рассчитывал Ансет. Очень скоро вся столица — а спустя несколько недель и вся империя — узнают, что Микал назвал свою Певчую Птицу «Ансет, сын мой», а слова «твоя жизнь для меня дороже моей собственной» лягут в основу множества легенд.

Войдя в знакомую комнату, где жил Отец Микал, Ансет глубоко вздохнул.

Микал сердито посмотрел на капитана охраны.

— Что ты вытворяешь, ублюдок?

— Я связал ему руки из предосторожности и из верности долгу.

— Понятно. Но надо же знать меру! Что плохого может сделать одиннадцатилетний мальчик, раз ты наверняка уже содрал с него всю шкуру в поисках оружия и держишь под прицелом сотни лазерных пистолетов?

— Я хотел быть полностью уверен, что он ничего не натворит.

— Ну, тебе чертовски хорошо это удалось. Убирайся и продолжай в том же духе, даже если это приводит меня в ярость. Убирайся!

Капитан вышел, вслед ему неслись возмущенные крики Микала, но едва закрылась дверь, император расхохотался.

— Что за тупица! Самый тупой из всех тупиц!

С этими словами он шлепнулся на пол непринужденно, словно юноша, хотя Ансет знал, что императору исполнилось сто двадцать три года — по понятиям цивилизации, где нормальная продолжительность жизни составляет сто пятнадцать лет, то была уже глубокая старость. Пол, только что бывший жестким и твердым, тотчас прогнулся, повторив контуры тела Микала.

Ансет тоже рассмеялся и лег.

— Ты рад, что вернулся домой, Ансет? — нежно спросил Микал.

— Сейчас рад. До этой минуты я не чувствовал себя дома.

— Ансет, сын мой, тебе лучше всего удастся выражать свои мысли с помощью песни.— Микал негромко рассмеялся.

Ансет подхватил звук этого смеха и превратил в песню — тихую песню. Она была совсем короткой, но когда мальчик закончил петь, Микал лежал на спине, глядя в потолок, и из его глаз струились слезы.

— Я не хотел огорчить тебя, Отец Микал.

— Кажется, в своем старческом слабоумии я сделал глупость, которой избегал всю жизнь. О, мне не раз доводилось любить или, точнее, испытывать страсть, но лишь когда тебя похитили, сын мой, я понял, как ты мне ну-

жен.— Микал перевернулся на бок и посмотрел на прекрасное лицо Ансета, который с любовью глядел на него.— Не надо боготворить меня, мой мальчик. Я старый ублюдок, который убил бы свою мать, если бы меня не опередил один из врагов.

— Ты никогда не причинишь мне зла.

— Я причинял зло всем, кого любил,— с горечью ответил Микал. Потом взглянул на Ансета с беспокойством.— Мы боялись за тебя. Как только ты исчез, прокатилась волна страшных преступлений. Людей воровали на улицах безо всякой причины, некоторых посреди бела дня, а спустя несколько дней их тела находили разорванными на куски. Никто не требовал выкупа. Мы думали, что тебя захватили среди прочих и что где-нибудь найдут твоё тело. Ты цел? С тобой все в порядке?

— Я здоровее, чем когда бы то ни было.— Ансет засмеялся.— Испробовал свою силу на крюке гамака — и вырвал его из стены.

Микал коснулся руки Ансета.

— Мне страшно...— сказал император.

Ансет слушал его, негромко напевая. Разговаривая с ним, Микал никогда не называл имен, дат, фактов и конкретных планов, ведь если бы Ансета захватили враги, они могли бы выведать все это. Но император рассказывал Певчей Птице о своих чувствах, а Ансет своим пением утешал его. У многих Певчих Птиц были хорошие голоса, некоторые могли зачаровывать целые толпы; иногда Микал сам использовал Ансета в подобных целях. Однако один только Ансет мог выразить в песне душу Микала, а как раз за душу он и любил императора.

Потом Микал стал громко возмущаться своей империей.

— Разве для того я создал ее, чтобы она пала? Разве для того испепелил дюжину миров и покорил сотню других, чтобы после моей смерти повсюду воцарился хаос? — Он наклонился к Ансету так близко, что их лица разделяло теперь всего несколько дюймов.— Меня называют Микалом Ужасным, но я создал империю, чтобы она служила щитом для всей галактики. Сейчас у моих подданных есть

все: мир, процветание и столько свободы, сколько их жалкие умы в состоянии принять. И все же, когда я умру, они разрушат все, что я создал.— Микал резко повернулся и закричал в звуконепроницаемой комнате: — Ради национальных, религиозных, расовых и семейных интересов эти глупцы разломают мой щит на части, а потом будут удивляться, почему на них вдруг посыпались стрелы!

Ансет спел ему о надежде.

— Нет никакой надежды. У меня пятьдесят сыновей, из них трое законных, и все они глупцы, пытающиеся ко мне подольститься. Они не удержат империю и недели, ни вместе, ни поодиночке. За всю жизнь я не встретил ни одного человека, способного управлять тем, что я создал. С моей смертью погибнет все.— И Микал устало опустил на пол.

На этот раз Ансет не стал петь, а вскочил, и пол под ним снова затвердел. Вскинув руку, он сказал:

— Ради тебя, Отец Микал, я вырасту сильным! Твоя империя не погибнет!

Его детский голос прозвучал так величаво, что и император, и сам Ансет рассмеялись.

— Отлично.— Микал взъерошил волосы мальчика.— Я бы отдал тебе империю, но тогда тебя сразу убьют. Даже если бы я смог прожить достаточно долго, чтобы научить тебя править, я не стал бы этого делать. Мой наследник должен быть жестоким, злым, коварным и мудрым, эгоистичным и амбициозным, презирающим всех людей, выдающим себя воином, способным перехитрить любого врага, и достаточно сильным, чтобы прожить одиноким всю жизнь.— Микал улыбнулся.— Даже я сам не обладаю всеми этими качествами, потому что теперь я не одинок.

Когда Микал начал засыпать, Ансет спел ему о своем плене, об одиночестве, испытанном в тюрьме, и о том, как плакали люди на корабле. Микал тоже заплакал, а потом оба уснули.

Спустя несколько дней в малой приемной Микала встретились сам император, Ансет, камергер и капитан стражи. Столом здесь служила протянувшаяся из конца в ко-

нец комнаты глыба из стекла, чистого и прозрачного, как линза. Все собрались у одного ее конца, и камергер категорически заявил:

— Ансет опасен для вас, мой господин.

Капитан был настроен столь же решительно.

— Мы нашли заговорщиков и убили их.

Камергер возвел глаза к потолку, всем своим видом выражая отвращение.

Капитан начал злиться, хотя старался, чтобы по его глазам, полуприкрытым тяжелыми веками, нельзя было этого заметить.

— Все сходится: акцент, о котором рассказывал Ансет; деревянный корабль; то, что они называли друг друга свободными людьми, их эмоциональность. Это были так называемые Свободные Граждане Ирландии. Еще одна националистическая группировка, однако здесь, в Америке, у них много сочувствующих. Черт бы побрал эти «нации»! Нигде, кроме старой Земли, люди не делятся на нации, к тому же воображая, что такое деление и впрямь что-то значит.

— Итак, вы ворвались в их логово и уничтожили всех,— усмехнулся камергер,— и никто из них ничего не знал о заговоре.

— Тот, кто сумел поставить блок в сознании Певчей Птицы, мог сделать то же самое со всеми остальными, чтобы скрыть свои планы! — взорвался капитан.

— Враг хитер,— отозвался камергер.— Он постарался все скрыть от Ансета — но почему же тогда дал ему в руки ключи, которые навели нас на мысль об Ирландии? Думаю, то была наживка, и ты на нее клюнул. Ну, а я не клюнул и по-прежнему настороже.

— А тем временем,— вмешался в разговор Микал,— не изводите Ансета.

— Я не против,— торопливо сказал Ансет, хотя на самом деле был очень даже против постоянных обысков, частых допросов, сеансов гипноза и охранников, следовавших за ним по пятам, чтобы помешать его возможным тайным встречам.

— А я против,— заявил Микал.— Вы правильно делаете, что держите Ансета под наблюдением, ведь нам до

сих пор неизвестно, что они сотворили с его сознанием. И все же позвольте ему жить спокойно!

Под сердитым взглядом императора капитан поднялся и вышел.

— Мне не нравится, что капитан так легко позволил ввести себя в заблуждение.— Микал взглянул на камергера.— Продолжай расследование и рассказывай мне о том, что твои шпионы обнаружат среди подчиненных капитана.

Камергер начал было возражать, говоря, что у него нет таких шпионов,— но Микал только рассмеялся, и в конце концов камергер сдался и обещал обо всем доложить.

— Мои дни сочтены,— сказал Микал Ансету.— Спой об этом.

И Ансет спел шутливую песню о человеке, который решил прожить двести лет и считал свой возраст задом наперед, по числу тех лет, которые ему остались.

— И он умер, когда ему было всего восемьдесят три,— пел Ансет.

Микал засмеялся и подкинул в огонь еще одно полено. Только император и крестьяне в уцелевших лесах Сибири могли позволить себе роскошь жечь древесину.

Однажды, когда Ансет бродил по дворцу, он заметил в одном из коридоров суетящихся слуг — и пошел к камергеру.

— Помалкивай о том, что видел,— сказал камергер.— Хотя ты все равно отправишься с нами.

Спустя час Ансет, сидя рядом с Микалом в бронированном автомобиле, в сопровождении конвоя покинул столицу. Дороги были пусты, спустя час с небольшим машина остановилась. Ансет выглянул из люка и испуганно понял, что конвой исчез.

— Не волнуйся,— сказал Микал.— Мы нарочно их отослали.

Они выбрались из машины в сопровождении дюжины отборных охранников (не дворцовых, как заметил Ансет), прошли через редкий лесок вдоль ручья и наконец оказались на берегу большой реки.

— Делавэр,— прошептал камергер Ансету, который уже и сам почти догадался.

— Держи это при себе,— раздраженно оборвал Микал.

Когда он говорил таким тоном, это означало, что на самом деле у него хорошее настроение. Микал уже лет сорок не принимал участия в военных операциях: с тех пор, как стал императором и ему пришлось управлять целыми флотами и планетами, а не отдельными кораблями с экипажем в тысячу человек. А сейчас в его походке даже появилась легкость, не свойственная преклонному возрасту.

Наконец камергер остановился.

— Вот дом, а вот и корабль.

Они увидели громоздкий деревянный дом, такой, словно его построили во времена возрождения американского колониального стиля больше ста лет назад. Неподалеку текла река, и там на якоре стоял корабль.

Они прокрались в дом, который оказался пуст, а когда поднялись на судно, обнаружили там единственного человека. При виде них он выстрелил из лазерного пистолета себе в лицо, превратив его в обожженное месиво.

— Это Хрипун! — воскликнул Ансет. Его затошнило при виде обезображенного трупа, а потом на него снова нахлынуло чувство вины. — Человек, который приносил мне еду.

Он пошел по палубе, Микал и камергер — за ним.

— Здесь все не так, как раньше,— сказал Ансет.

— Конечно,— ответил камергер.— Краска свежая, чувствуется запах нового дерева. Они тут здорово все переделали; но хоть что-то ты узнаешь?

Да, Ансет узнавал. Эта крошечная каюта, скорее всего, служила ему тюрьмой, хотя сейчас была выкрашена в ярко-желтый цвет и имела окно, сквозь которое лился солнечный свет. Микал внимательно осмотрелся.

— Окно прорубили недавно,— заявил он.

Ансет постарался вспомнить, каким корабль был раньше, и сумел найти большую комнату, где он пел в последний вечер своего плена. Стола там больше не было, но, судя по размерам, комната была той самой. Наконец Ансе-

ту пришлось согласиться, что его держали именно на этом судне.

Издаലെка вдрут донесся детский смех и шум электромо-
биля, который катил по старой разбитой дороге.

— Простите, что привез вас кружной дорогой, — за-
смеялся камергер. — Вообще-то это населенная местность,
но я хотел нагрнать неожиданно.

Микал скривил губы.

— Если это населенная местность, нужно было ехать
на автобусе. Вооруженные люди и бронированный авто-
мобиль привлекают к себе куда больше внимания.

— Я плохой тактик, — сказал камергер.

— Не такой уж плохой, — возразил Микал. — Возвра-
щаемся во дворец. У тебя есть доверенные люди, которым
можно поручить арест? Я не хочу, чтобы с ним что-нибудь
случилось.

Однако все пошло не так, как рассчитывал император.
Во время ареста капитан охраны начал буйствовать, а спус-
тя полчаса, прежде чем его успели как следует прозонди-
ровать, один из охранников сумел передать арестанту яд,
и капитан покончил с собой. Камергер тут же посадил
провинившегося охранника на кол, и тот истек кровью
до смерти.

Ансет в замешательстве слушал, как Микал ругает ка-
мергера. В гневе императора явно чувствовалось притвор-
ство, и Ансет не сомневался, что камергер тоже это ощу-
щает.

— Что за глупость — казнить того солдата! Как яд вооб-
ще смогли пронести во дворец мимо детекторов? Как сол-
дат сумел передать его капитану? Теперь мы никогда не
узнаем ответов на эти вопросы!

Камергер являл собой воплощение покорности — как
и предписывал этикет.

— Господин мой император, я поступил глупо и не
имею права жить. Я слагаю с себя обязанности и прошу
предать меня смерти.

Явно раздраженный тем, что ему не дали как следует
излить гнев, но все-таки следуя ритуалу, Микал вскинул
руку и сказал:

— Ты чертовски глупо поступил, это правда. Но я да-
рую тебе жизнь, потому что благодаря твоему верному

служению был обнаружен предатель... Ну, камергер, как по-твоему, кто должен стать новым капитаном охраны?

Ансет едва не расхохотался. На этот вопрос было невозможно ответить. Самым безопасным ответом — а камергер всегда предпочитал именно такие — было бы заверение, что он никогда над этим не задумывался или что он не осмеливается давать императору советы в столь важном деле.

Поэтому Ансет был ошеломлен, услышав, как камергер сказал:

— Конечно, Рикторс Ашен, мой господин.

«Конечно» — это уже была дерзость. Имя, которое назвал камергер, прозвучало нелепо. Ансет посмотрел на Микала, не сомневаясь, что император придет в ярость. Вместо этого Микал улыбнулся.

— О, конечно,— вкрадчиво ответил он.— Рикторс Ашен и никто другой. Скажи ему, что он назначен капитаном.

Даже камергер, который сам довел искусство вкрадчивости до совершенства, не смог скрыть своего изумления. И Ансет снова чуть не рассмеялся. Он понял, что Микал победил: камергер, скорее всего, назвал единственного человека из дворцовой охраны, которого не контролировал, в полной уверенности, что император ни за что не согласится с его рекомендацией. Но Микал согласился на назначение Рикторса Ашена, выигравшего сражение на планете Мантрин, когда три года назад там вспыхнуло восстание. Рикторс был известен как человек неподкупный, сильный и надежный.

«Ну, теперь у него есть шанс подтвердить свою репутацию»,— подумал Ансет.

Из задумчивости его вывел голос Микала:

— Знаешь, какими были его последние слова?

Каким-то чудом Ансет догадался, что речь идет о покойном капитане охраны.

— Он сказал: «Передайте Микалу, что моя смерть только развяжет руки заговорщикам». И потом добавил, что любит меня. Представь только, этот изворотливый старый ублюдок говорит, что меня любит. Помню, двадцать лет

назад он убил своего лучшего друга, повздоровив с ним из-за повышения по службе. Убийцы всегда становятся к старости такими сентиментальными.

Ансет решил, что сейчас самое время спросить:

— Мой господин, за что арестовали капитана?

— М-м-м? — Микал удивленно взглянул на него. — А, ясно, тебе никто не объяснил. Пока тебя держали в плену, он часто посещал дом у пристани, где стоял корабль. Говорил, что ходит к женщине. К тому же он в совершенстве умел ставить ментальные блоки.

— Значит, заговор раскрыт! — Ансет обрадовался, подумав, что больше ему не будут досаждать допросами и обысками.

— Едва ли. Кто-то ведь передал капитану яд, значит, во дворце есть еще заговорщики. Следовательно, Рикторсу Ашену будет приказано не спускать с тебя глаз.

Ансет попытался удержать на лице улыбку, но не смог.

— Знаю, знаю, — устало сказал Микал. — Но что-то до сих пор таится в твоём мозгу.

Это «что-то» вырвалось наружу на следующий же день. Двор собрался в Большом зале, и Ансет отказался от утренней прогулки по коридорам дворца, чтобы стоять рядом с Микалом, пока мимо императора проходила нудная процессия сановников, выражающих ему свое почтение... А потом спешащих домой, чтобы гадать, как скоро, по их мнению, Микал Ужасный умрет, кто будет ему наследовать и насколько велики их шансы урвать кусок империи. Ансет решил пойти на церемонию потому, что ему наскучило бродить по дворцу и он хотел быть рядом с Микалом, а еще потому, что камергер спросил с улыбкой: «Ты придешь?»

Порядок процессии был тщательно продуман — с тем расчетом, чтобы почтить преданных друзей и унижить выскочек, чей титул ставился под сомнение. Сначала выразили свое почтение официальные представители далеких созвездий, а затем начался обычный ритуал. Принцы, президенты, сатрапы и губернаторы (в зависимости от того, какой титул уцелел после завоевания их мира десять, двадцать или сорок лет назад) выходили вперед в

окружении свиты, кланялись настолько низко, насколько сильно боялись Микала или хотели подольститься к нему, произносили несколько слов, просили о личной аудиенции и получали либо отказ, либо согласие — и так без конца.

Ансет вздрогнул, заметив группу черных киншасанцев, облаченных в причудливые костюмы, какие носят только на старой Земле. Пока Микал Завоеватель покорял планеты одну за другой, Киншаса упорно настаивала на своей независимости — жалкая попытка утереть нос остальным мирам. Почему им позволили носить туземные регалии? Почему вообще допустили сюда? Ансет вопросительно посмотрел на камергера, который стоял рядом с тронном.

— Так повелел Микал, — одними губами ответил тот. — Он позволил им вручить прошение прямо перед президентом Стасса. Эти жабы из Стасса будут вне себя от ярости!

Микал поднял руку, дав знак, чтоб ему налили вина. Церемония явно ему наскучила.

Камергер налил в чашу вина, пригубил, как всегда, и шагнул к трону — но вдруг остановился и поманил Ансета. Мальчик удивился, но послушался.

— Почему бы тебе не подать вино Микалу, Певчая Птица? — спросил камергер.

Ансет взял чашу и зашагал к трону.

И тут разразился ад кромешный. Киншасанцы, головы которых украшали сложные завитые прически, выташили оттуда деревянные ножи, прошедшие мимо всех детекторов при входе во дворец, — и бросились к императору. Охрана сразу открыла стрельбу и уложила пятерых киншасанцев, но все охранники целились в тех, что бежали первыми, а трое державшихся сзади уцелели. Убийцы были уже у самого трона, направив ножи в сердце Микала.

Микал, старый и безоружный, встретил их стоя. Один из охранников выстрелил, но не попал, остальные торопливо перезаряжали лазерные пистолеты; на это ушло всего одно мгновение, но сейчас и мгновения было более чем достаточно.

Микал посмотрел смерти в глаза и, казалось, не был разочарован.

Но внезапно Ансет швырнул кубок с вином в одного из нападающих и стремительным прыжком оказался перед императором. Легко взвившись в воздух, он ногой ударил заговорщика в челюсть. Угол удара был выбран безупречно, а сам удар — невероятно резок и силен. Голова киншасанца отлетела на пятьдесят футов в толпу, тело рухнуло ничком, деревянный нож упал на ногу Микала. Едва успев приземлиться после прыжка, Ансет выбросил руку и ударил второго нападающего с такой силой, что его рука по локоть погрузилась в тело убийцы и пальцы раздавили сердце.

Последний заговорщик остановился, пораженный внезапной атакой ребенка, до сих пор смирно стоявшего рядом с императором. Этого промедления хватило, чтобы охранники, успевшие перезарядить пистолеты, выстрелили, и последний киншасанец ярко вспыхнул и превратился в пепел.

Все происшедшее начиная от нападения до гибели последнего нападающего заняло не больше пяти секунд.

Ансет, с окровавленной рукой и с ног до головы забрызганный кровью, стоял в центре зала. Он посмотрел на свою руку, на тело человека, которого он только что убил, и на него обрушилась волна воспоминаний. Он вспомнил другие такие же тела, другие оторванные головы, других людей, которые умирали, когда Ансет учился убивать голыми руками. Так часто терзавшее его чувство вины нахлынуло с новой силой, когда мальчик понял, почему он так часто чувствовал себя виноватым в неких чудовищных деяниях.

Бессмысленно было его обыскивать — сам Ансет был оружием, предназначенным для убийства Отца Микала.

Запах крови и разорванных внутренностей, шквал эмоций заставили Ансета содрогнуться, а потом он согнулся и его вывернуло наизнанку.

Охранники с опаской приближались к нему, не зная, что предпринять.

Однако у камергера не было никаких сомнений. Убийцы подошли к осуществлению своего замысла слишком

близко, причем с такой легкостью, что следовало ожидать повторения подобных попыток. Ансет услышал дрожащий от страха голос камергера:

— Возьмите его под стражу. Вымойте и приведите в порядок, но все время держите под прицелом. Спустя час приведите к Микалу.

Охранники вопросительно посмотрели на императора, и тот кивнул.

Когда Ансета привели в апартаменты Микала, мальчик все еще был бледен и слаб. Охранники держали его под прицелом лазерных пистолетов, а камергер и новый капитан охраны, Рикторс Ашен, встали между ним и Микалом.

— Певчая Птица,— сказал Рикторс,— похоже, кто-то научил тебя новым песням.

Ансет повесил голову.

— И тот, кто это сделал, отлично потрудился.

— Я н-н-никогда...— заикаясь впервые в жизни, произнес Ансет.

— Не мучай мальчика, капитан,— сказал Микал.

Камергер заговорил формальными словами:

— Мне следовало проверить мускулатуру мальчика, тогда я понял бы, что его обучили боевым приемам. Я должен заплатить за свою оплошность жизнью.

«Похоже, камергер обеспокоен куда больше обычного»,— сказала та часть сознания Ансета, которая была еще в состоянии думать.

Старик распростерся перед императором.

— Заткнись и встань,— грубо бросил Микал.

Камергер поднялся с посеревшим лицом. Микал отступил от формальностей этикета. Жизнь камергера все еще висела на волоске.

— Нужно окончательно убедиться,— продолжал Микал, обращаясь к Рикторсу.— Покажи ему фотографии.

Рикторс взял со стола пакет и начал доставать оттуда газетные вырезки. При виде первой же Ансету стало не по себе. Узнав того, кто был изображен на второй, он тяжело задыхался. Третья заставила его разрыдаться и оттолкнуть вырезки.

— Это фотографии людей,— сказал Микал,— которые были похищены, пока ты находился в плену.

— Я уб-б-бил их.— Ансет смутно осознал, что в его голосе нет и намека на песню, просто испуганное заикающееся бормотание одиннадцатилетнего мальчика, оказавшегося замешанным во что-то столь чудовищное, что он даже не в силах был это понять.— Они заставляли м-меня тренироваться на этих людях...

— Кто заставлял тебя тренироваться? — требовательно спросил Рикторс.

— Они! Голоса... из коробки.— Ансет изо всех сил старался удержать ускользающие воспоминания, которые до сих пор были скрыты от него.

Но в глубине души он страстно желал, чтобы амнезия вернулась, чтобы он снова все позабыл.

— Какая еще коробка? — нажимал Рикторс.

— Деревянная. Может, радиоприемник, а может, магнитофон. Я не знаю.

— Голос был тебе знаком?

— Голоса. Их было несколько, все время разные. Даже произнося одну и ту же фразу, голоса все время менялись, каждое слово произносил другой.

Перед глазами Ансета возникли лица связанных людей, которых ему приказали изувечить, а потом убить. Он вспомнил, что всякий раз пытался воспротивиться приказу, но в конце концов всегда подчинялся.

— Каким образом они заставляли тебя это делать?

Рикторс читает его мысли?

— Не знаю. Не знаю. Они произносили слова, которые заставляли меня это делать...

— Какие слова?

— Не знаю! Я ничего не знаю! — Ансет снова расплакался.

— Кто учил тебя убивать подобным образом? — мягко спросил Микал.

— Какой-то человек. Не знаю, как его звали. В последний день он оказался связан, так же как до него были связаны другие. Голоса приказали убить его.

Ансет всегда пытался бороться с голосами, но в тот раз борьба была еще более упорной, потому что он пони-

мал — если он убьет своего учителя, то не потому, что ему так приказали, а из ненависти.

— Я убил его.

— Ерунда,— сказал камергер.— Ты был просто оруди-ем.

— Я сказал — заткнись,— оборвал Микал.— Сын мой, можешь вспомнить еще что-нибудь?

— Я убил и экипаж корабля. Всех, кроме Хрипуна. Так велили голоса. А потом слышались шаги, наверху, на палубе.

— Ты видел того, кто пришел?

Ансет попытался вспомнить.

— Нет. Он велел мне лечь. Наверное, он знал что-то... какой-то код. Я не хотел повиноваться ему и все же повиновался.

— И?

— Шаги, укол иглы в руку, и я очнулся на улице.

Несколько секунд длилось напряженное молчание, все обдумывали услышанное. Камергер заговорил первым.

— Мой господин, вам угрожает страшная опасность. Только сила любви к вам побудила Певчую Птицу действовать вот так, вопреки ментальному блоку...

— Камергер, если ты еще хотя бы раз откроешь рот без моего приказа, тебе конец. Капитан, я хочу знать, каким образом киншасанцы прошли мимо охраны?

Ансет заметил, что Рикторс отвечает уверенно, без страха. Возможно, точно так же на его месте вел бы себя любой другой капитан, ведь убийцы проникли во дворец, несмотря на его верность долгу. Теперь Ансет уже немного пришел в себя и сумел вслушаться в мелодию голоса Рикторса. В ней звучала сила. И все же чувствовался некий диссонанс. Ансет подумал: а смог бы он заметить, если б Рикторс солгал? Для сильного, эгоистичного человека все, что он считает нужным сказать, становится истиной, и песнь его голоса ни о чем определенном не говорит.

— Рикторс, отдай приказ полностью уничтожить Киншасу.— Рикторс отсалютовал.— Прежде чем Киншаса будет уничтожена — и я имею в виду именно уничтожение,

а не стрижку газонов,— я хочу знать, что за связь между неудавшимся покушением сегодня и тем, что сделали с моей Певчей Птицей.

Рикторс снова отсалютовал.

Микал перевел взгляд на камергера.

— А теперь давай, выкладывай свои соображения на-счет того, что нужно сделать с Ансетом.

Как всегда, камергер решил пойти по безопасной дорожке.

— Мой господин, я еще об этом не думал. И вряд ли могу давать советы, как поступить с вашей Певчей Птицей.

— Ты очень осторожен в высказываниях, мой дорогой камергер.

Ансет изо всех сил старался сохранить спокойствие, слушая, как обсуждают его судьбу. Микал вскинул руку в ритуальном жесте, дарующем камергеру жизнь. В другой раз, видя, как камергер старается скрыть свое облегчение, Ансет рассмеялся бы, но сейчас ему было не до смеха. Вряд ли его участь решится так же легко.

— Мой господин,— сказал он,— я заслуживаю смерти.

— Черт возьми, Ансет, меня уже тошнит от ритуалов,— ответил Микал.

— Это не ритуал,— от всех переживаний голос Ансета звучал устало и хрипло.— И это не песня, Отец Микал. Я действительно для тебя опасен.

— Знаю.— Микал перевел взгляд с Рикторса на камергера, с камергера на мальчика.— Камергер, собери все вещи Ансета и принеси на борт корабля, отбывающего на Алвисс. Префектом там Тиммис Хортманг, напиши ему письмо с объяснениями и гарантийное письмо. Ансет будет самым богатым человеком в этой префектуре. Проследи, чтобы все мои распоряжения были выполнены.

Он мотнул головой, указывая на дверь, и камергер с Рикторсом вышли. Ансет остался, остались и наблюдающие за ним охранники.

— Отец Микал,— негромко сказал мальчик, и на этот раз в его голосе прозвучала песня.

Но вместо ответа Микал просто встал и покинул комнату.

До вечера оставалось несколько часов, и все это время Ансет бродил по дворцовым коридорам и садам. Охранники неотступно следовали за ним. Сперва мальчик дал волю слезам. Потом, когда ужас утренних событий слегка померк, скрывшись за не полностью разрушенным барьером в памяти, он вспомнил, как учитель пения повторял ему, снова и снова:

— Если тебе хочется плакать, дай слезам омыть горло, дай боли выйти наружу, дай печали подняться к голове и отозваться в ней.

Бродя по лужайкам вдоль берега Саскуэханны в осенней прохладе предвечерних теней, Ансет воспевал свою печаль. Негромко, и все же охранники слышали. Но чем они могли помочь? Они могли только плакать вместе с ним.

Подойдя к холодной, чистой воде, Ансет начал раздеваться. Один из охранников остановил его, прицелившись в ноги.

— Нельзя! Микал приказал помешать тебе покончить жизнь самоубийством.

— Я всего лишь хочу поплавать,— заявил Ансет.

— Если с тобой что-нибудь случится, нам конец,— ответил охранник.

— Клянусь, я хочу поплавать и больше ничего.

Охранник задумался. Его товарищи, похоже, предпочли предоставить ему решение этой проблемы. Ансет принялся тихонько напевать мелодию без слов, которая, как он знал, подтачивала уверенность людей. Охранник сдался.

Ансет разделся и нырнул. Его обожгла холодная как лед вода. Делая большие взмахи, он поплыл вверх по течению и вскоре стал казаться охранникам крошечным пятнышком на поверхности реки. Он нырнул и поплыл под водой к берегу, удерживая дыхание так долго, как может лишь певец или ловец жемчуга. До него долетали заглушенные водой крики. Наконец он со смехом вынырнул.

Два охранника уже скинули сапоги и по пояс зашли в воду, готовясь вылавливать тело, если оно проплывет мимо. Услышав смех Ансета, они сердито уставились на него.

— Чего вы волнуетесь? — спросил он. — Я же дал слово.

Охранники вздохнули с облегчением, и Ансет еще час плывал под осенним солнцем. Борьба с течением слегка отвлекла его от забот. Сейчас за ним приглядывал лишь один человек, остальные играли в полис, бросая четырнадцатигранную кость, — очень азартная игра, которая полнотью их захватила.

Время от времени Ансет плыл под водой, вслушиваясь в изменившиеся звуки перебранки и смеха. Солнце уже почти село, когда Ансет снова нырнул, собираясь доплыть до берега на одном дыхании. Он был уже на полпути к берегу, как вдруг услышал резкий, хотя и приглушенный водой, крик птицы.

И этот крик стал недостающим звеном, замкнувшим разорванную цепь в его сознании. Ансет вынырнул, кашляя и отплевываясь, по-собачьи подплыл к берегу, отряхнулся и натянул одежду на мокрое тело.

— Пора возвращаться во дворец, — сказал он высоким, требовательным голосом, стремясь вывести своих стражей из ленивой расслабленности, овладевшей ими после часа игры.

Они поднялись и вскоре нагнали мальчика.

— Куда ты? — спросил один из них.

— Я должен повидаться с Микалом.

— Нельзя! Нам приказано не пускать тебя к императору.

Однако Ансет даже не замедлил шага, не сомневаясь, что охранники не попытаются его остановить, пока он далеко от повелителя. Даже если сами они не видели случившегося утром в Большом зале, до них наверняка дошли слухи о том, что Певчая Птица способен за пару секунд убить двух человек.

Плавая под водой, мальчик услышал крик птицы и вспомнил, что в последнюю ночь своего плена он тоже слышал птичий крик, однако снаружи не доносилось других звуков. А ведь с того места, где был найден корабль, можно было слышать городской шум. Значит, даже если его держали именно на том судне, оно стояло не рядом с

домом и улики против бывшего капитана охраны были ложны. И теперь Ансет знал, кто из придворных захватил его, чтобы превратить в убийцу.

В коридоре им повстречался слуга.

— А, вот вы где. Господин Микал приказал как можно быстрее доставить к нему Певчую Птицу. Вот.

Он вручил приказ старшему охраннику, тот достал свой верификатор и провел им над печатью. Резкое жужжание подтвердило, что приказ подлинный.

— Все в порядке, Певчая Птица,— сказал охранник.— Пойдем.

Ансет бросился по лабиринту коридоров, охранники бежали следом. Для них это была почти игра, и мальчик услышал, как один из них сказал между двумя вдохами:

— Я и не знал, что туда можно попасть таким путем.

А другой охранник ответил:

— Ты никогда не сумеешь снова найти этой дороги.

И вот они оказались в апартаментах Микала. Волосы Ансета были все еще влажными, рубашка липла к телу.

— Ансет, сын мой, все в порядке.— Микал с улыбкой взмахом руки отпустил охранников.— Это было крайне глупое решение — отослать тебя подальше. Из заговорщиков только капитан мог подать тебе сигнал, и теперь, когда он мертв, никто не знает кода. Ты в безопасности — и я тоже!

Микал говорил весело, вид у императора был довольный, но Ансет, как никто другой, знал все мелодии его голоса. Мальчик услышал в них предостережение, ложь, предупреждение об опасности — и замер.

— Рассуждая здраво,— продолжал Микал,— ты будешь самым лучшим моим телохранителем. С виду ты маленький и слабый, но убить можешь быстрее, чем любой охранник с лазером, и ты всегда рядом.

Микал засмеялся, но Ансета не обманул этот смех — в нем не было радости.

Зато камергер и капитан Рикторс Ашен обманулись и рассмеялись вместе с Микалом. Ансет тоже заставил себя засмеяться, но одновременно вслушивался в смех других. Рикторс вроде бы веселился искренне, а камергер...

— Это стоит отпраздновать,— проговорил камергер.— Я принес вино. Ансет, почему бы тебе не налить императору?

Ансет резко вздрогнул, кое-что вспомнив.

— Мне? — удивленно переспросил он, но удивление тут же растаяло.

Камергер протягивал ему бутылку и пустой бокал.

— Для господина Микала,— сказал он.

Ансет бросил бутылку на пол.

— Заставьте его замолчать! — закричал он. При внезапном резком движении мальчика Рикторс выхватил из-за пояса лазерный пистолет.— Не позволяйте ему говорить!

— Почему? — спросил Микал, но Ансет знал, что недоумение императора неискреннее.

Почему-то Микал решил притвориться, что ничего не понимает. Камергер поверил в удивление императора, поверил, что у него есть шанс, и заговорил — быстро, настойчиво:

— Зачем ты это сделал? Ладно, у меня есть вторая бутылка. Милая Певчая Птица, напои Микала как следует!

Именно эти слова были запечатлены в сознании Ансета, и он рефлекторно повернулся к Микалу. Он понимал, что происходит, и все в нем восстало против этого. Однако вопреки его воле руки взлетели вверх, ноги согнулись в коленях, и он превратился во взведенную пружину, причем так быстро, что не успел остановиться. Он знал, что не пройдет и мгновения, как его рука врежется в лицо Микала, любимое лицо Микала, улыбающееся лицо Микала...

Микал улыбался — доброй улыбкой, без страха. Ансет остановился на середине прыжка, заставив себя свернуть в сторону, хотя затраченное на это усилие разрывало его мозг. Да, его можно было принудить убить, но только не этого человека. Он врезался рукой в пол, разорвал натянутое покрытие, и выплеснувшийся гель потек по комнате.

Ансет не замечал боли в разбитом кулаке и острого жжения там, где гель проник в рану. Он чувствовал лишь

боль в мозгу, он все еще сражался с принуждением, которое едва-едва одолел. Приказ все еще подталкивал его убить Микала, а он загонял это желание вглубь, туда, где оно таилось до сих пор.

Он рванулся вперед, его рука разнесла спинку кресла, на котором сидел Микал. Брызнула кровь, и Ансет с облегчением понял, что это его кровь, не Микала.

Он услышал донесший словно издалека голос императора:

— Не стрелять!

И так же внезапно, как нахлынула, жажда убивать исчезла. Перед глазами мальчика все завертелось, он услышал приглушенный голос камергера:

— Певчая Птица, что ты наделал!

Именно эти слова освободили его.

Измученный Ансет лежал на полу, его правая рука была в крови. Вот теперь он почувствовал боль и застонал, но этот стон был песней не столько боли, сколько восторга. Каким-то чудом он сумел выстоять и не убить Отца Микала.

В конце концов он перевернулся на бок и сел, придерживая раненую руку, с которой ручейками стекала кровь.

Микал до сих пор сидел в кресле, хотя спинка была разбита. Камергер стоял на прежнем месте, все с тем же нелепым бокалом в руке, под прицелом лазерного пистолета Рикторса.

— Вызови охрану, капитан,— велел Микал.

— Уже вызвал,— ответил Рикторс. Кнопка на его поясе мерцала, и вскоре в комнату вбежали охранники.— Отведите камергера в камеру,— распорядился Рикторс.— Если с ним что-нибудь случится, смерть ждет не только вас, но и ваши семьи. Вы поняли?

Да, охранники поняли.

Прибежавший доктор занялся рукой Ансета, и, пока врач не вышел, Микал и Рикторс молчали.

После ухода доктора первым заговорил Рикторс:

— Ты, конечно, знал, что это камергер, мой господин.

Микал улыбнулся бледной улыбкой.

— Поэтому и позволил ему убедить тебя, что нужно позвать Ансета.

Улыбка Микала стала шире.

— Ведь только ты, мой господин, мог знать, что Певчая Птица сумеет воспротивиться приказу, который заложили в его сознание пять месяцев назад.

Микал рассмеялся, и на сей раз в его смехе слышалась радость — Ансет сразу уловил это.

— Рикторс Ашен. Как тебя будут называть? Рикторсом Узурпатором? Или Рикторсом Великим?

Рикторсу понадобилось мгновение, чтобы осознать смысл этих слов. Всего одно мгновение. Но к тому времени, как его рука рванулась к лазерному пистолету, Микал уже целился ему в сердце.

— Ансет, сын мой, ты не забереешь у капитана пистолет?

Ансет встал и взял у капитана лазер. В голосе Микала отчетливо звучали торжествующие нотки. Однако у Ансета все еще кружилась голова, и он не понимал, почему между императором и его неподкупным капитаном дело дошло до пистолетов.

— Одна-единственная ошибка, Рикторс. Во всем остальном — великолепно проделано. И, по правде говоря, этой ошибки почти невозможно было избежать.

— Ты имеешь в виду то, что Ансет сумел воспротивиться приказу?

— Нет, даже я не рассчитывал на такое. Я был готов убить его, если потребуется, — ответил Микал.

Ансет вслушался в голос императора и понял, что тот не лжет. И с удивлением обнаружил, что это не причиняет ему боли. В конце концов, он всегда знал, что, хотя он нужен Микалу, император готов пожертвовать им ради цели, которую считает высшей.

— Значит, никакой ошибки я не сделал, — сказал Рикторс. — Как же ты догадался?

— Потому что мой камергер сам по себе никогда бы не осмелился предложить твою кандидатуру на должность капитана охраны. А без этого ты не занял бы поста, ко-

торый позволит тебе захватить власть после разоблачения камергера, верно? Отлично задумано. Охрана пошла бы за тобой, никто бы и не подумал заподозрить тебя в причастности к убийству. Конечно, империя сразу восстала бы, однако ты хороший тактик и еще лучший стратег, и твои люди остались бы тебе верны. Я готов поставить четыре против одного, что ты бы справился,— больше ни на кого я бы не поставил так много.

— Я бы поставил на себя столько же,— сказал Рикторс, но Ансет услышал мелодию страха в этих дерзких словах.

Неудивительно: смерть стояла за плечом капитана, а Ансет не знал людей — за исключением, может, таких старых, как Микал,— способных без страха посмотреть смерти в лицо. Тем более смерти, означавшей крушение всех надежд.

Однако Микал медлил нажать на кнопку лазерного пистолета.

— Убей меня и покончим с этим,— сказал Рикторс Ашен.

Микал отбросил пистолет.

— Этим? Он не заряжен. Камергер больше пятнадцати лет назад установил детекторы зарядов в дверях всех моих комнат. Он знал бы, если бы я был вооружен.

Рикторс тут же шагнул вперед, собираясь броситься на императора. Так же молниеносно Ансет вскочил, приготовившись, несмотря на раненую руку, убить другой рукой, убить ногой или головой. Рикторс замер.

— А! — сказал Микал.— Никто лучше тебя не знает, на что способен мой телохранитель.

И только тут до мальчика дошло: если лазер Микала не заряжен, император не смог бы остановить Ансета, если бы у того не хватило силы остановиться. Микал и вправду верил ему.

— Рикторс,— снова заговорил император,— ты совершил ничтожно малую ошибку и, надеюсь, извлечешь из нее урок. И когда другой, столь же умный, убийца попытается прикончить тебя, ты будешь знать наперечет всех своих врагов и всех союзников, которых можно будет по-

звать на помощь. Ты будешь знать, чего можно ожидать от каждого из них.

У Ансета задрожали руки.

— Позволь мне убить его, — попросил он.

Микал вздохнул.

— Нельзя убивать ради удовольствия, сын мой. Если когда-нибудь ты станешь убивать ради удовольствия, ты возненавидишь самого себя. И разве ты еще не понял? Я собираюсь провозгласить Рикторса Ашена своим наследником.

— Я не верю тебе, — сказал Рикторс, но Ансет услышал в его голосе надежду.

— Я позову всех моих сыновей — они всегда болтаются поблизости, надеясь оказаться рядом, когда я умру, — и заставлю их подписать клятву, что они согласны признать тебя моим наследником, — ответил Микал. — Конечно, они ее подпишут, и, конечно, взойдя на трон, ты прикажешь их убить. Давай прикинем, когда это произойдет: допустим, недели через три. Времени у нас достаточно. Я отрекусь в твою пользу, подпишу все бумаги. Несколько дней газеты только об этом и будут трубить. Представляю, как все потенциальные мятежники станут рвать волосы от ярости. С такими мыслями приятно уходить на покой.

Ансет ничего не понимал.

— Почему? Он же пытался тебя убить.

Микал лишь рассмеялся.

Ответил мальчику Рикторс:

— Он думает, что я сумею удержать его империю. Но я хочу знать, какова цена отречения.

Микал подался вперед.

— Цена ничтожная. Дом для меня и моей Певчей Птицы — пока я жив. А после моей смерти он будет свободен на всю оставшуюся жизнь и получит состояние, которое позволит ему жить безбедно. Мне кажется, это нетрудно?

— Согласен.

— Очень разумно с твоей стороны. — Микал снова засмеялся.

Документы были подписаны, отречение и коронация прошли с огромной помпой, столичные поставщики раз-

богатели. Все соперники нового императора были убиты, и в течение года Рикторс носился от одной звездной системы к другой, подавляя восстания, и подавляя жестоко.

После того как несколько планет сгорели дотла, мятежники уgomонились.

Спустя день после того, как в газетах появились сообщения о подавлении наиболее грозных восстаний, на пороге маленького дома в Бразилии, где жили Микал и Ансет, появились солдаты.

— Как он мог! — увидев их, с болью воскликнул Ансет. — Он же дал слово.

— Открой им дверь, сын мой, — сказал Микал.

— Они пришли, чтобы тебя убить?

— Год — это все, на что я рассчитывал. Этот год я получил. Неужели ты действительно думал, что Рикторс сдержит слово? В одной галактике нет места двоим, знающим, каково чувствовать на голове императорскую корону.

— Я могу убить большинство солдат, а ты тем временем успеешь скрыться...

— Никого не убивай, Ансет. Это не твоя песня. Танец твоих рук — ничто по сравнению с танцем твоего голоса, Певчая Птица.

Солдаты принялись колотить в дверь, но она была стальная и не поддавалась.

— Сейчас они ее взорвут, — сказал Микал. — Обещай мне никого не убивать. Никого, понимаешь? Пожалуйста. Не мсти за меня.

— Я буду мстить.

— Не мсти за меня. Обещай. Поклянись своей жизнью и любовью ко мне.

Ансет поклялся. Дверь взорвали.

Солдаты убили Микала из лазерных пистолетов и продолжали стрелять до тех пор, пока от него не осталось ничего, кроме пепла. Потом они собрали этот пепел.

Ансет, верный своей клятве, молча смотрел, что они делают, хотя от всего сердца желал, чтобы где-то в его сознании была стена, за которой он мог бы укрыться. К несчастью, он оставался в здравом уме.

Солдаты доставили двенадцатилетнего Ансета и пепел императора в столицу. Пепел положили в большую урну и, воздавая праху государственные почести, выставили на всеобщее обозрение. Ансета привели на поминки под сильной охраной — из страха перед тем, на что способны его руки.

После поминальной трапезы, во время которой все делали вид, как сильно они огорчены, Рикторс подозвал Ансета. Охранники последовали за мальчиком, но Рикторс остановил их взмахом руки.

— Я знаю, ты для меня не опасен,— сказал Рикторс. Его голову венчала корона.

— Ты — лживый ублюдок,— ответил Ансет,— и если бы не моя клятва, я разорвал бы тебя на куски.

Это казалось смешным — что двенадцатилетний мальчик так говорит с императором. Однако Рикторс не рассмехался.

— Не будь я лживым ублюдком, Микал никогда не передал бы мне империю.— Новый владыка встал.— Друзья мои,— заговорил он, и лъстцы разразились приветственными возгласами.— Отныне я буду называться не Рикторс Ашен, а Рикторс Микал. Имя Микал будут носить и все мои преемники — в честь того, кто создал эту империю и принес человечеству мир.

Рикторс сел; послышались аплодисменты и одобрительные возгласы, некоторые из них звучали вполне искренне. Как все импровизированные речи, эта явно удалась.

Рикторс велел Ансету петь.

— Я скорее умру,— ответил мальчик.

— Непременно умрешь — когда придет твое время,— сказал Рикторс.

И Ансет запел, стоя на столе, чтобы все могли его видеть,— точно так же, как пел в последнюю ночь своего плена на корабле, для людей, которых ненавидел. Песня была без слов, поскольку все, что он мог сказать, прозвучало бы как измена. Он выпевал лишь мелодию, без всякого аккомпанемента, легко переходя из одной тональности в другую. Каждый звук вылетал из его горла с болью,

каждый звук отзывался болью в ушах слушателей. Печаль, которую они до сей поры только изображали, сейчас по-настоящему разгоралась в их душах. На том званный обед и закончился. Многие расходились со слезами на глазах; все понимали, что смерть человека, чей прах покоится в урне,— огромная потеря.

Когда Ансет кончил петь, у стола остался только Рикторс.

— Теперь,— сказал Ансет,— они никогда не забудут Отца Микала.

— И Певчую Птицу Микала,— ответил Рикторс.— Но теперь я — Микал. То, что смогло его пережить, осталось со мной — его имя и его империя.

— В тебе нет ничего от Отца Микала,— холодно сказал Ансет.

— Разве? Неужели тебя ввела в заблуждение его показная жестокость? Нет, Певчая Птица,— в голосе сурового, надменного императора Ансет услышал нотки боли.— Останься и пой для меня,— почти умоляюще сказал Рикторс.

Ансет протянул руку и коснулся стоящей на столе урны.

— Я никогда не полюблю тебя,— ответил он, сознательно стараясь причинить собеседнику боль.

— А я — тебя,— ответил Рикторс.— И все же мы можем дать друг другу то, чего нам обоим не хватает. Микал спал с тобой?

— Он никогда не выражал такого желания, а я не предлагал.

— И я тоже не стану,— сказал Рикторс.— Все, что я хочу,— это слушать твоё пение.

У Ансета внезапно пропал голос — он не мог произнести вслух того, что собирался сказать, и поэтому просто кивнул. Рикторсу хватило такта не улыбнуться. Он тоже ответил лишь кивком и направился к двери. Однако Ансет остановил его словами:

— А что будет с этим?

Рикторс обернулся и увидел, что мальчик стоит, положив руку на урну.

— Эти мощи твои. Делай с ними, что хочешь,— и Рикторс удалился.

Ансет унес урну с пеплом к себе в комнату, где он и Отец Микал так часто пели друг другу. Мальчик долго стоял у огня, напевая свои воспоминания. Вернув все их общие песни Отцу Микалу, он высыпал содержимое урны в огонь.

Огонь погас, засыпанный пеплом.

— Один из этапов завершен,— сказал Учитель Пеня Онн Учителю Пеня Эсте, едва закрыв дверь.

— А я боялся.— Признание Эсте прозвучало как негромкая, вибрирующая мелодия.— Рикторс Ашен мудр. Однако пение Ансета сильнее мудрости.

Их озарял холодный солнечный свет, льющийся из окон Высокой Комнаты Дома Пеня.

Онн запел, и мелодия была полна любви к Эсте.

— Не хвали меня. И дар, и сила — все это принадлежало Ансету.

— И все же его учил ты, Эсте. В других руках Ансет мог бы стать орудием для завоевания власти и богатства. А в твоих руках...

— Нет, брат Онн. В самом Ансете слишком много любви и преданности. Он заставляет других желать стать такими же. Он — тот, кого невозможно использовать во зло.

— Он когда-нибудь узнает правду?

— Может быть; вряд ли он хотя бы подозревает, как могуч его дар. Будет лучше, если ему так и останется неизвестно, как сильно он отличается от других Певчих Птиц. А что касается последнего блока в его сознании... Мы установили его на совесть. Ансет никогда не узнает о существовании этого блока и потому никогда не попытается выяснить, кто на самом деле позаботился о смене императоров.

Дрожащим голосом Онн запел об искусно вплетенных в сознание пятилетнего ребенка планах заговора — планах, которые в любой момент могли оказаться расплетены. Но ткач был мудр, и ткань получилась прочной.

— Микал Завоеватель,— пел Эсте,— научился любить мир больше, чем самого себя, и то же самое случится с

Рикторсом Микалом. Вот и все. Мы выполнили свой долг перед человечеством. Теперь мы будем просто учить других маленьких Певчих Птиц.

— Только старым песням,— пропел Онн.

— Нет,— с улыбкой отозвался Эсте.— Мы будем учить их песне о Певчей Птице Микала.

— Ансет уже спел ее.

Когда они медленно покидали Высокую Комнату, Эсте прошептал:

— Постепенно мы всех приведем к согласию...

Их смех прозвучал, как музыка звездных сфер.



Книга четвертая

Жестокие чудеса

Повести о смерти, надежде и святости



Смертные боги

Первый контакт прошел мирно, почти обыденно: инопланетяне внезапно приземлились около правительственных зданий всех стран, и после кратких переговоров на местных языках с ними были заключены соглашения, дававшие чужакам право строить здания в специально оговоренных местах, — ничего из ряда вон выходящего. Пришельцы, со своей стороны, поделились с землянами кое-какими достижениями науки и техники, что улучшило жизнь почти каждого человека, однако до всех этих новшеств человечество через десять-двадцать лет неизбежно додумалось бы само. Что же касается самого большого дара пришельцев — космических путешествий, — людям он принес лишь разочарование. Корабли инопланетян не умели передвигаться быстрее света; больше того, у чужаков имелись убедительные доказательства, что путешествовать быстрее света просто невозможно. Жили пришельцы невероятно долго, обладали бесконечным терпением и неторопливо, словно улитки, ползали среди звезд. Такое положение дел их вполне устраивало, но человеческие экипажи умерли бы еще в самом начале самого короткого межзвездного перелета.

Прошло совсем немного времени, и все привыкли к присутствию инопланетян на Земле. Как и оговаривалось в соглашениях, никаких новых даров от них не ждали; они просто пользовались своим правом строить здания и время от времени их посещать.

Возведенные пришельцами дома сильно отличались друг от друга, но было у них и кое-что общее: все они очень походили на храмы... Храмы той религии, какую исповедовали местные жители. Мечети. Кафедральные соборы. Синагоги. Святилища. Словом, храмы.

Ни одну религиозную концессию туда не приглашали, но любого, кто случайно заходил в здание, хозяева встречали очень приветливо и тут же начинали с гостем душевную беседу о том, что интересовало его больше всего. С фермерами беседовали о сельском хозяйстве, с инженерами — о технике, с домохозяйками — о детях, с фантазерами — о фантазиях, с путешественниками — о путешествиях, с астрономами — о звездах. Гость неизменно уходил очень довольным, преисполненным сознания собственной важности, размышляя о том, что некие существа проделали путь в триллионы километров и вытерпели невероятную скуку подобного путешествия (пятисотлетнего, утверждали пришельцы) только ради того, чтобы увидеться с ним.

Постепенно жизнь на Земле вошла в обычную колею. Ученые продолжали совершать открытия, инженеры продолжали применять их на практике, развитие цивилизации шло своим чередом. Однако теперь люди твердо знали, что за углом их не поджидает великая научная революция и что даже звезды ничего принципиально нового и поразительного не принесут. Осознание этого заставило беспокойное человечество утомиться и просто наслаждаться жизнью. Что оказалось вовсе не так трудно, как считали некоторые.

Виллард Крейн был стар, но умел радоваться жизни — и радовался ей с тех пор, как вернулся домой с войны во Вьетнаме без ноги и узнал, что любимая девушка все равно его ждет. Теперь его жена уже умерла, но его не тяготило одиночество.

Всю свою совместную жизнь супруги прожили в Солт-Лейк-Сити. Когда они туда переехали, то был захудалый, пришедший в упадок старый городок, но теперь он превратился в роскошный памятник архитектуры прошлого столетия, который поддерживали в отличном состоянии. Виллард пребывал в идеальном равновесии между богат-

ством и бедностью: у него было достаточно денег, чтобы хватало на жизнь, но недостаточно, чтобы появилось искушение пускать пыль в глаза.

Каждый день он совершал короткую прогулку от своего дома до кладбища. Именно там, посреди кладбища, инопланетяне воздвигли одно из своих строений, в архитектурном отношении напоминавшее старый мормонский храм. В эпоху религиозных конфликтов такое здание могло бы показаться чудовищным, однако сейчас — возможно, благодаря созданной инопланетянами атмосфере искренности — оно выглядело почти прекрасным.

Виллард обычно сидел среди могильных плит, поглядывая на людей, которые время от времени заходили в святилище чужаков и выходили оттуда.

«Быть счастливым чертовски скучно», — подумалось ему в один прекрасный день. И чтобы внести немного разнообразия в свою унылую жизнь, он решил с кем-нибудь поругаться. К несчастью, все его знакомые были слишком милыми людьми, и тогда у него появилась мысль сцепиться с пришельцами.

Когда человек стар, ему все сойдет с рук.

Виллард подковылял к храму инопланетян и вошел внутрь.

Внутри храм напоминал скорее музей: стены украшали фрески, картины, карты, на возвышениях стояли статуи. Пришельцев нигде не было видно — что ж, не беда. Уже то, что Виллард решился затеять хорошую ссору, вносило в его жизнь известное разнообразие, к тому же его душу согревала гордость за прекрасные произведения земного искусства, которые чужаки отобрали, чтобы украсить свой храм.

Вскоре появился один из инопланетян.

— Доброе утро, мистер Крейн, — поздоровался он.

— Откуда ты знаешь мое имя, черт побери?

— Вы каждое утро сидите на надгробной плите и смотрите на людей, которые к нам приходят. Нас это очень тронуло, и мы постарались побольше о вас узнать.

Транслятор инопланетянина был прекрасно запрограммирован — из него доносился теплый, дружеский, проникновенный голос. А Виллард прожил много лет и по-

видал всякого, поэтому не особенно взволновался, когда пришелец, похожий на большой ком водорослей, заскользил по полу и шлепнулся на скамью рядом с ним.

— Мы мечтали о вашем визите.

— Что ж, вот я и пришел.

— А зачем?

Теперь, когда Вилларду задали прямой вопрос, причина, по которой он сюда явился, показалась ему глупой, и все же он решил довести игру до конца. Почему бы и нет, в конце концов?

— Чтобы с вами как следует разобраться.

— Господи! — в притворном ужасе воскликнул пришелец.

— У меня есть кое-какие вопросы, на которые я до сих пор не получил удовлетворительного ответа.

— Уверяю, мы готовы ответить на любой вопрос.

— Хорошо.

Итак, о чем же спросить чужеземца?

— Простите, я туго соображаю. Клетки мозга, знаете ли, начинают умирать в первую очередь.

— Это нам известно.

— Хорошо. Итак, зачем вы построили этот храм? С какой стати вы вообще возводите церкви?

— Но, мистер Крейн, мы уже тысячу раз отвечали на такие вопросы. Нам нравятся церкви. Среди всех архитектурных сооружений человечества они выделяются особым изяществом и красотой.

— Не верю! — заявил Виллард. — Вы увильваете от ответа. Ладно, поставим вопрос по-другому. Зачем вы тратите время на то, чтобы сидеть здесь и толковать с выжившими из ума стариками вроде меня? У вас что, не нашлось занятия поинтереснее?

— Человеческие существа необычайно приятные собеседники. Мы очень рады, что после многолетних поисков такой замечательный способ времяпрепровождения попал к нам... э-э-э... в руки.

Чужак зашевелил псевдоподиями. Это выглядело так забавно, что Виллард рассмеялся.

— Вы чертовски увертливые ублюдки, а? — сказал он, и пришелец засмеялся. — Ладно, задам еще один вопрос,

только давайте без уверток, не то я решу, что вы что-то скрываете. Вы во многом похожи на нас, верно? Вы достигли приблизительно того же уровня технологического развития, что и мы, только в отличие от нас способны совершать межзвездные путешествия, потому что живете сотни лет. А в остальном вы очень на нас похожи. Но...

— Всегда сыщется какое-нибудь «но», — вздохнул чужак.

— Но неужели вы черт те сколько лет тащились сюда только ради того, чтобы возвести по всей Земле церкви и точить в них ляды с любым, кто туда заглянет? Я не вижу в этом смысла. Ни малейшего!

Инопланетянин медленно скользнул по скамье ближе к Вилларду.

— Вы умеете хранить секреты?

— Моя старушка так и умерла в уверенности, что она была единственной женщиной, с которой я спал. Да, кое-какие секреты я умею хранить.

— Тогда сейчас вам представится возможность это доказать. Мы явились сюда, мистер Крейн, чтобы поклоняться.

— Поклоняться кому?

— В том числе вам.

Виллард рассмеялся — и смеялся долго и громко. Однако пришелец выглядел таким серьезным и искренним, какими умели выглядеть только инопланетяне.

— То есть вы хотите сказать, что поклоняетесь людям?

— О да! На моей родной планете любой, осмеливающийся мечтать, мечтает о том, чтобы попасть на Землю, встретиться хотя бы с парой людей и жить воспоминаниями об этих встречах всю оставшуюся жизнь.

Внезапно Вилларду стало совсем не до смеха. Он окинул взглядом окружающие его образцы человеческого искусства — их было предостаточно. И эти церкви...

— Похоже, вы говорите серьезно.

— Серьезно, мистер Крейн. Мы скитались по галактике несколько миллионов лет, открывали новые расы, встречались с уже известными. Эволюция похожа на наезженную колею: углеродные формы жизни развиваются

примерно одинаково, хотя мы и кажемся вам ужасно чуждыми...

— В этом нет ничего страшного, мистер. Да, вы слегка уродливы, но в этом нет ничего страшного...

— Мы прибыли сюда не с одной планеты, как полагают ваши ученые. В действительности мы населяем тысячи планет, на каждой из которых развитие шло обособленно — и все же неизменно приходило к той форме, какую вы видите сейчас перед собой. По всей галактике распространена именно такая форма жизни. Мы — естественный конечный продукт эволюции.

— Значит, мы из ряда вон выходящие.

— Можно и так сказать. В далеком прошлом, мистер Крейн, эволюция вашей планеты свернула с проторенного пути и создала нечто принципиально новое.

— Вы имеете в виду секс?

— У нас тоже есть секс, мистер Крейн. Разве раса может совершенствоваться без него? Нет. То, что появилось только на вашей планете, — смерть.

Вилларду было нелегко слышать это слово. Что ни говори, он очень любил свою жену, а еще больше любил себя самого. Смерть уже маячила перед ним — головокружения, одышка и постоянная усталость, которая не проходила даже после сна.

— Смерть?

— Мы не умираем, мистер Крейн. Мы воспроизводимся, отделяя часть своего тела с идентичными ДНК — вам известно о ДНК?

— Я закончил колледж.

— У нас, как и у всех других форм жизни во вселенной, носителем интеллекта является ДНК, а не мозг. Мозг — побочный продукт смерти, у нас его нет. Личность, со всеми ее воспоминаниями, живет в своих детях, которые в буквальном смысле плоть от плоти ее, понимаете? Я никогда не умру.

— Ну, я рад за вас, — сказал Виллард, чувствуя себя обманутым и удивляясь, как он сам не догадался, в чем тут дело.

— И вот мы прибыли сюда и обнаружили цивилизацию существ, чья жизнь имеет конец. Вы рождаетесь не име-

ющими воспоминаний, несформировавшимися личностями и спустя невероятно короткое время умираете.

— Но почему вы нам поклоняетесь? Эдак можно поклоняться и насекомым, умирающим спустя несколько минут после появления на свет.

Чужеземец засмеялся, и Вилларда рассердил его смех.

— Так вот зачем вы сюда явились — чтобы посмеяться над нами?

— Но кому же еще нам поклоняться, мистер Крейн? Мы допускали возможность существования неких невидимых богов, но не имели склонности их выдумывать. Мы не умираем, с какой стати нам грезить о бессмертии? А здесь мы обнаружили тех, кто достоин поклонения, и впервые в нас проснулось желание отдать дань уважения этим высшим существам.

Сердце Вилларда билось так часто, что могло в любой момент остановиться. А вот у чужака не было сердца, не было ничего, чему мог бы прийти конец.

— Высшим, черт возьми!

— Мы, — продолжал чужеземец, — помним все, от начала зарождения интеллекта на наших планетах вплоть до нынешних дней. С самого «рождения», если это слово можно к нам применить, мы не нуждаемся в учителях. Нам не нужно учиться писать — мы просто обмениваемся РНК. Мы никогда не учились создавать прекрасные творения, способные нас пережить, потому что нас ничто пережить не может. Все созданное нами разрушается, мистер Крейн, а мы все живем. Но здесь мы обнаружили тех, кто знает чистую радость созидания, творит прекрасное, пишет книги, придумывает персонажей, чтобы доставить удовольствие тем, кто знает, что автор лжет; мы нашли расу, которая изобретает бессмертных богов, чтобы поклоняться им, и с великой помпой празднует смерть себе подобных. В основе величия человеческого рода лежит смерть, мистер Крейн.

— Черта с два, — сказал Виллард. — Я на пороге смерти, и в этом нет никакого величия.

— На самом деле вы так не думаете, мистер Крейн, — ответил пришелец. — Ни вы лично, и никто из ваших соплеменников. Вся ваша жизнь построена на смерти и про-

славляет ее. Да, вы стремитесь отсрочить конец, насколько возможно, и все равно его прославляете. В древней литературе смерть героя — кульминационный момент. В самых великих ваших мифах говорится о смерти.

— Эти поэмы писали не старики с дряблыми телами и сердцами, а люди, которые ощущали биение своих сердец только в момент волнения.

— Ерунда. Все, что вы делаете, несет в себе привкус смерти. Ваши поэмы имеют начало и конец, любое ваше сооружение не вечно. Прелесть ваших картин именно в том и состоит, что они прославляют мимолетность красоты. Ваши скульпторы пытаются остановить время. Ваша музыка тоже имеет начало и конец. Все, что вы делаете, бременно. Все на этой планете рождается и умирает. И все же вы боретесь со своей смертностью и побеждаете ее, накапливая знания и передавая их друг другу с помощью недолговечных книг, использующих ограниченный запас слов. Все, что вы делаете, имеет определенные рамки и пределы.

— В таком случае все мы — безумцы. И все равно непонятно, чему вы поклоняетесь. Вам стоило бы высмеивать нас.

— Нет, мы вас не высмеиваем, мы вам завидуем.

— Так умрите. Наверняка эта протоплазма, или что там у вас, уязвима.

— Вы не понимаете. Если человек умирает — после того, как создаст что-то, — созданное им переживает его. Но если я умру, все будет кончено. Мои знания умрут вместе со мной. Ужасающая ответственность. Мы не можем позволить себе такого. Я — это картины, книги и песни миллиона поколений. Смерть для нас означает гибель цивилизации. Вы же, уходя из жизни, обретаете величие.

— И потому вы здесь.

— Если вообще существуют боги, если во вселенной есть могущество, то вы — эти боги, и вы имеете это могущество.

— Нет у нас никакого могущества.

— Мистер Крейн, вы прекрасны.

Старик покачал головой, с трудом встал, вышел из храма и медленно побрел вдоль могил.

— Ты сказал ему правду, — произнес чужак, обращаясь к будущим поколениям себя самого, которым предстояло запомнить эти слова, — но ничего хорошего из этого не вышло.

Прошло семь месяцев, весна сменилась осенью с ледяными ветрами, деревья потеряли последние листья, вместе с листьями исчезли краски лета. Виллард Крейн приковывался на кладбище, опираясь на металлические костыли, дающие ему четыре точки опоры вместо двух, которыми он обходился более девяноста лет. С неба лениво падали снежинки, временами ветер подхватывал их и кружил в безумном стихийном танце.

Виллард упрямо дотащился до храма и вошел.

Внутри его ждал пришелец.

— Я Виллард Крейн, — сказал старик.

— А я пришелец. Вы разговаривали со мной — или, если угодно, с моим отцом — несколько месяцев назад.

— Понятно.

— Мы знали, что вы вернетесь.

— Знали? Я поклялся, что ноги моей больше здесь не будет.

— И все равно мы вас ждали. Вы пользуетесь у нас огромной популярностью, мистер Крейн. На Земле есть миллиарды богов, достойных поклонения, но вы самый благородный из них.

— Я?

— Только вам пришло в голову преподнести нам величайший из даров. Только вы пожелали показать нам, как будете умирать.

Старик удивленно замигал, из уголка его глаза выкатилась слеза.

— Так вы решили, что я для этого сюда пришел?

— А для чего же еще?

— Для того чтобы проклясть ваши души, вот для чего. Ублюдки, собравшиеся, чтобы глумиться надо мной в последние часы моей жизни!

— И все-таки вы пришли.

— Я хотел показать вам, насколько отвратительна смерть.

— Пожалуйста. Покажите.

И, словно желая угодить пришельцам, сердце Вилларда остановилось, и старик рухнул на пол храма.

Чужаки сползались со всех сторон, подбирались поближе, глядя, как он с хрипом ловит ртом воздух.

— Я не умру! — прошептал Виллард, героически сражаясь за каждый вдох.

Его тело содрогнулось в последний раз, он затих.

Пришельцы застыли на несколько часов, пока тело землянина медленно сковывал могильный холод. А потом один из инопланетян произнес слова, которым они научились от своих земных богов (и слова эти следовало повторить, чтобы непременно запомнить):

— Как прекрасно, о, Христос, Бог мой!

Сердца чужаков разъедала печаль, потому что этот величайший из даров был для них недостижим.

Око за око

Просто рассказывай, Мик. Все подряд. Мы слушаем.

Ну, для начала... Я знаю, что делал ужасные вещи. Если у тебя в душе хоть что-то есть, ты не убиваешь людей вот так запросто. Даже если можешь сделать это, не дотрагиваясь до человека. Даже если никто никогда не догадается, что это убийство. Все равно надо стараться себя сдерживать.

Кто тебя этому научил?

Никто. В смысле, об этом просто не было в книжках, что нам читали в баптистской воскресной школе — они там все время долдонили, что, мол, нельзя лгать, нельзя работать по субботам, нельзя пить спиртное. Но ни слова про убийства. Я так понимаю, Господь и сам порой считал, что это дело полезное — как в тот раз, когда Самсон махнул ослиной челюстью, и готово: тысяча парней лежат замертво, но тут, мол, полный порядок, потому что они — филистимляне. Или как он лисам хвосты поджигал? Самсон, конечно, псих, однако свое место в Библии заработал.

Иисус в Библии, похоже, чуть не единственный, кто учил не убивать, хотя про него там тоже много написано. Да и то я помню, там было, как Господь поразил насмерть этого парня с женой, потому что они зажались и не дали ничего для христианской церкви. А уж как об этом проповедники по телевидению распинаются, боже! Короче, нет, я вовсе не из-за религии решил, что нельзя убивать людей.

Знаете, что я думаю? Наверно, все началось с Вондела Коуна. В баптистском приюте в Идене, в Северной Каролине, мы все время играли в баскетбол. Поле там было паршивое, в кочках, но мы считали, что так даже интереснее — никогда не знаешь, куда отскочит мяч. Как эти парни из НБА играют — на гладком ровном полу — так-то любой сосунок сможет...

А в баскетбол мы играли целыми днями, потому что в приюте больше нечего делать. По телевизору — одни проповедники. Там — только кабельное: Фолвелл из Линчберга, Джим и Тэмми из Шарлотта, модный этот тип Джими Свагарт, Эрнест Эйнгли — вечно как побитый, Билли Грэм — ну прямо как заместитель самого Господа Бога. Короче, кроме них наш телевизор ни черта не показывал, и ничего удивительного, что мы круглый год жили на баскетбольной площадке.

А этот Вондел Коун... Роста он был не очень большого, и не бог весть как часто попадал в корзину. Дриблинг вообще у всех получался кое-как. Но зато у него были локти. Другие парни, если и заденут кого, так всегда случайно. А Вондел делал это специально, да еще так, чтобы всю физиономию расквасить. Понятное дело, мы быстро приучились отваливать в сторону, когда он прет, и ему доставались все броски и все передачи.

Но мы в долгу не оставались — просто перестали засчитывать его очки. Кто-нибудь называет счет, а его бросков как будто не было. Он орет, спорит, а мы все стоим вокруг, киваем, соглашаемся, чтобы он кому-нибудь не съездил, а после очередного мяча объявляют счет, и опять без его бросков. Он просто из себя выходил — глаза выпучит, орет как ненормальный, а его броски все равно никто не засчитывает.

Вондел умер от лейкемии в возрасте четырнадцати лет. Дело в том, что он мне никогда не нравился.

Но кое-чему я от него все же научился. Я понял, как это мерзко — добиваться своего, когда тебя не волнует, сколько вреда при этом ты принесешь другим. И когда я наконец осознал, что более вредоносного существа, чем я сам, может, и на всем свете нет, мне сразу стало ясно, как это ужасно. Я имею в виду, что даже в Ветхом Завете

Моисей говорил: наказание, мол, должно отвечать преступлению. Око за око, зуб за зуб. Квиты, как говаривал старик Пелег до того, как я убил его затычным раком. Я и сбежал-то из приюта, когда Пелега забрали в больницу. Потому что я не Вондел, и меня действительно мучило, когда я делал людям зло.

Но это ничего не объясняет... Я не знаю, о чем вы хотите услышать.

Просто рассказывай, Мик. Говори, о чем хочешь.

Ладно, я в общем-то и не собирался рассказывать вам про всю свою жизнь. В смысле, по-настоящему я начал понимать, в чем дело, пожалуй что, когда сел на тот автобус в Роаноке, так что отсюда можно, видимо, и начать. Помню, я еще очень долго старался не разозлиться, когда у леди впереди меня не оказалось мелочи на проезд. Я даже не завелся, когда водитель развонялся и велел ей выходить. Оно просто не стоило того, чтобы за это убивать. Я всегда так себе говорю, когда начинаю злиться — мол, не за что тут убивать.

— И это помогает успокоиться. Короче, я протянул мимо нее руку и сунул в шель долларовую бумажку.

— Это за нас обоих,— говорю.

А он в ответ:

— У меня тут не разменная касса. Сдачи нет!

Надо было просто сказать: ладно, мол, оставь себе, но он так по-скотски себя вел, что мне захотелось поставить его на место. Я просунул в шель еще пять центов и сказал:

— Тридцать пять за меня, тридцать пять за нее и еще тридцать пять за следующего, у кого не окажется мелочи.

Может, я его и спровоцировал. Жаль, конечно, но я ведь тоже живой человек. Он совсем завелся.

— Ты у меня поостришь еще, сопляк. Возьму вот и вышвырну тебя из автобуса.

Строго говоря, он не имел на то права. Я — белый, пострижен был коротко, так что, если бы я пожаловался, его босс, возможно, устроил бы ему веселую жизнь. Можно было сказать ему это, и он бы, наверно, заткнулся. Только я бы тогда слишком завелся, а никто не заслуживает смерти, только потому что он свинья. Короче, я опус-

тил взгляд к полу и извинился — не «Извините, сэр» или что-нибудь этакое, вызывающее, а тихо так, даже искренне.

Если бы он на этом и замаял дело, все кончилось бы хорошо, понимаете? Да, я, конечно, здорово разозлился, но я уже приучил себя сдерживаться — вроде как затыкать злость и потом потихоньку ее сглаживать, чтобы никому не причинить вреда. Но едва я повернулся к сиденью, он так рванул автобус вперед, что я едва не полетел на пол и удержался на ногах, только потому что схватился за поручень на сиденье и чуть не раздавил сидевшую сзади женщину.

Несколько человек что-то крикнули, вроде как возмутились, и потом-то я понял, что кричали водителю, а не мне, потому что они все были за меня. Но в тот момент мне вдруг показалось, что кричат мне, да еще я испугался, оттого что чуть не упал, и уже здорово разозлился... Короче, я не сдержался. Ощущение возникает такое, будто у меня в крови искры, перетекающие по всему телу, и я метнул этот импульс прямо в водителя автобуса. Он был у меня за спиной, поэтому я не видел его самого, но почувствовал, как искры попали в него, перекорежив что-то внутри, а затем все прошло и это ощущение исчезло. Я больше не злился, но знал, что он уже конченный человек.

Даже знал почему. Печень. К тому времени я стал настоящим экспертом по раковым опухолям. Ведь почти все, кого я знал, умирали от рака на моих глазах. И кроме того, я прочел все, что было на эту тему в иденской библиотеке. Можно жить без почек, можно вырезать у человека легкое, можно вырезать даже толстую кишку, и человек будет ходить с мешком в штанах, но никто не может выжить без печени, а пересаживать ее тоже еще не умеют. Одним словом, ему конец. От силы два года осталось. Всего два года — и только потому, что из-за плохого настроения он решил дернуть автобус, чтобы сбить с ног мальчишку-остряка.

Я себя чувствовал полным дерьмом. Прошло уже почти восемь месяцев с тех пор, как я в последний раз кому-то навредил — это еще до Рождества случилось. Весь год

я держал себя в руках — дольше, чем когда бы то ни было, и мне начало казаться, что я справился с собой... Я пробрался мимо той леди, на которую меня швырнуло, и сел у окна, глядя наружу, но ничего не замечая. У меня только одна мысль крутилась в голове: мне жаль, что так вышло, мне жаль... Ведь у него, наверно, есть жена и дети, а из-за меня они очень скоро станут вдовой и сиротами. Даже со своего места я чувствовал, что происходит у водителя внутри: маленький искристый участок у него в животе, заставляющий опухоль разрастаться и мешающий естественному огню организма выжечь его насовсем. Мне с невероятной силой хотелось вернуть все назад, но я не мог. И как много раз раньше, мне подумалось, что, не будь я таким трусом, я бы давно покончил с собой. Не понятно только, почему я сам не умер от своего рака — ведь я себя ненавидел больше, чем кого бы то ни было в жизни.

Женщина, сидевшая рядом, заговорила:

— Такие люди могут кого угодно из себя вывести, верно?

Я не хотел ни с кем разговаривать, поэтому просто буркнул что-то и отвернулся.

— Я очень признательна вам за помощь.

Только тут я понял, что это та самая леди, у которой не оказалось мелочи.

— Не за что.

— Право же, не стоило...— Она тронула меня за джинсы.

Я повернулся и взглянул на нее: старше меня, лет двадцать пять, может быть, и очень даже ничего. Одета вполне прилично, так что, понятно, не бедная, и мелочи на дороге у нее не оказалось совсем не поэтому. Она так и не убрала руку с моей коленки, и мне стало немного не по себе, потому что зло, которое я способен сделать, гораздо сильнее, когда есть прямой контакт — обычно я стараюсь никого не трогать и нервничаю, когда дотрагиваются до меня. Быстрее всего, помню, я убил человека, когда один тип принялся лапать меня в туалете на остановке по шоссе 1-85. Буквально изорвал его всего внутри, и когда я выходил, он уже харкал кровью. Меня до сих пор, бывает, мучают кошмары: он меня шупает, а сам уже задыхается.

Короче, от всего от этого я немного нервничал тогда, в автобусе, хотя никакого вреда в ее прикосновении не было. Вернее, только наполовину от этого: рука ее касалась моей коленки совсем легко, и краем глаза я видел, как вздымается ее грудь, когда она дышит, а мне, в конце концов, семнадцать лет и во всем остальном я совершенно нормальный человек. Так что мне, наверно, не совсем хотелось, чтобы она убирала руку.

Но это лишь до тех пор, пока она не улыбнулась и не сказала:

— Мик, я хочу помочь тебе.

Я даже не сразу сообразил, что она назвала меня по имени. В Роаноке я мало кого знал и уж ее-то точно не помнил. Мне еще подумалось, что она, может быть, одна из заказчиц мистера Кайзера, но кто из них знает меня по имени?.. Конечно, она могла видеть, как я работаю на складе, расспросить обо мне мистера Кайзера или еще что, поэтому я поинтересовался:

— Вы что, бываете у мистера Кайзера?

А она отвечает:

— Мик Уингер, тебе досталось такое имя, потому что оно было написано на записке, приколотой к одеялу, когда тебя нашли у дверей станции по очистке канализационных стоков в Идене. А эту фамилию ты взял, сбежав из баптистского приюта, и выбрал именно эту, возможно, потому что первым фильмом, который ты посмотрел, оказался «Офицер и джентльмен». Тогда тебе было пятнадцать, а сейчас исполнилось семнадцать, и за всю свою жизнь ты убил больше людей, чем сам Аль Капоне.

Я здорово занервничал, когда она сказала про имя и фамилию и про то, как я их заполучил, потому что узнать все это она могла, только если следили за мной несколько лет. Но когда она сказала, что знает про людей, которых я убил, тут уж не до злости было, не до вины и не до всяких фантазий. Я дернул шнур, чтобы шофер остановил автобус, буквально перелез через нее к выходу и спустя три секунды уже неся по улице бегом. Я этого всю жизнь боялся — что кто-нибудь про меня узнает. Но тут было еще страшнее — она как будто знала про меня уже

давно. У меня возникло такое чувство, словно кто-то много лет подглядывал за мной через окошко в туалете, а я только сейчас это понял.

Бежал я довольно долго, а в Роаноке это не очень-то легко, потому что там сплошные холмы. Впрочем, больше получалось вниз, к центру города, где, я подумал, можно будет нырнуть в какое-нибудь здание и выскочить через черный ход. Я не знал, продолжает ли она следить, но, раз ей или кому-то еще удавалось следить за мной так долго и так незаметно, то откуда мне было знать, есть за мной хвост или нет?

И на бегу я попытался придумать, куда мне теперь деваться. Из города, понятно, надо сматываться. Вернуться на склад я не мог, даже попрощаться, и от этого мне стало немного грустно: мистер Кайзер подумает, что я убежал просто так, без причины, как будто мне нет дела до людей, которые, может быть, на меня рассчитывают. Может, он будет беспокоиться, поскольку я даже не забрал свою одежду из той комнаты, куда он пустил меня спать.

Я себя как-то странно чувствовал, представляя, что подумает обо мне мистер Кайзер, но Роанок — это совсем не приют, не Иден и не Северная Каролина. Оставляя те места позади, я ни о чем, в общем-то, не жалел. А вот мистер Кайзер... С ним всегда все было честь по чести, отличный старикан — никогда не строил из себя большого босса, никогда не старался показать, что я хуже его, даже вроде как заступался за меня, дав остальным понять, чтобы меня никто не дергал и не заводил. Он взял меня на работу года полтора назад, хотя я соврал, что мне уже шестнадцать, и он наверняка это понял. За все это время я ни разу не разозлился на работе, по крайней мере настолько, чтобы не сумев остановиться вовремя, причинить кому-нибудь зло. Вкалывать приходилось дай бог: я здорово накачался, нарастил мускулатуру — даже не думал никогда, что у меня такая будет, — и вырос дюймов на пять, должно быть: как ни куплю штаны, они спустя какое-то время опять коротки. Короче, я потел, и после работы, случалось, все мышцы болели, но свои деньги отработывал и вкалывал наравне с другими. Мистер Кайзер ни разу

не заставил меня почувствовать, что я там из милости, как это делали люди в приюте: мы, мол, должны быть благодарны, что нас не бросили где-нибудь подыхать с голода. В «Мебельном складе Кайзера» я впервые почувствовал какой-то покой в душе, и за то время, что я там проработал, никто из-за меня не умер.

Все это я знал и раньше, но только ударившись в бега, понял, как жалко мне оставлять Роанок. Тоскливо, будто умер кто-то из близких. И так мне стало плохо, что какое-то время я просто не видел, куда иду, хотя не плакал и вообще ничего такого.

Вскоре я очутился на Джефферсон-стрит, где она прорезает лесистый холм. Дальше улица расширяется, и там полно закусочных и пунктов проката автомобилей. Машины проносились мимо меня в обе стороны, но я думал в тот момент совсем о другом. Пытался понять, почему я ни разу не разозлился на мистера Кайзера. Мне и раньше встречались люди, которые обращались со мной по-человечески; меня вовсе не колотили каждую ночь, и в обносках я не ходил, и мне не приходилось выбирать между собачьими консервами или голодом, нет. Я вспоминал всех этих людей в приюте — они честно пытались сделать меня христианином и дать образование. Другое дело, что они попросту не научились делать добро без того, чтобы при этом не обидеть. Вот как старый Пелег, например, наш дворник, негр — нормальный старикан, он нам постоянно всякие истории травил, и я никому не позволял называть его «ниггером», даже за глаза. Но он и сам был расистом — я это понял еще с того раза, когда он застукал нас с Джоди Кейпелом: мы с ним мочились на стену и соревновались, кто за один заход сумеет больше раз остановиться. Мы ведь делали одно и то же, верно? Однако меня он просто прогнал, а Джоди устроил выволочку. Тот орал как резаный, а я все кричал, что это, мол, нечестно, что я делал то же самое, что он лупит Джоди, потому что тот черный, но Пелег не обращал на меня никакого внимания. Глупо, конечно, и мне совсем не хотелось получить трепку, но так я от всего этого разозлился, что у меня внутри опять заискрилось, и я уже не мог удержаться: в тот

момент я вцепился Пелегу в руку — хотел оттащить его от Джоди — и вlepил ему на всю катушку.

Что я мог ему сказать? Тогда или когда ходил к нему в больницу, где он лежал с капельницей и иногда с трубкой в носу. Пелег рассказывал мне разные истории, когда мог говорить, или просто держал за руку, когда не мог. Раньше у него было брюшко, но ближе к концу я, наверно, сумел бы его подбросить на руках как ребенка. И это сделал с ним я! Не хотел, не нарочно, но так уж вышло. Даже у людей, которых я любил, случались паршивые дни, и тогда помоги им бог, если я оказывался рядом, потому что я сам был как бог в плохом настроении, да-да, безжалостный бог — я ничего не мог им дать, зато мог отобрать. Отобрать все. Меня пытались убедить, что, мол, ни к чему — ходить и смотреть, как он утасает. Особенно старались удержать меня мистер Ховард и мистер Деннис, и каждый из них заработал по раковой опухоли. В те дни так много людей вокруг умирали от рака, что из округа приехали проверить воду на химикаты. Я-то знал, что химикаты тут ни при чем, но никому ничего не говорил — иначе меня просто заперли бы в психушку, и если бы это случилось, можете не сомневаться, там спустя неделю началась бы целая эпидемия.

На самом деле я очень долгое время просто не знал, что это происходит из-за меня. Люди вокруг продолжали умирать — все, кого я любил, и почему-то они всегда заболели после того, как я на кого-нибудь по-настоящему разозлюсь. Знаете, маленькие дети всегда чувствуют вину, если на кого-то накричат, а человек вскоре умирает. Воспитательница даже сказала мне, что это совершенно естественное чувство, и разумеется, мол, я ни в чем не виноват, но мне все равно казалось, что здесь что-то не так. В конце концов я начал понимать, что у других людей нет этого ощущения искристости, и чтобы узнать, как человек себя чувствует, им надо или посмотреть, или спросить. Я, например, еще раньше учительниц знал, когда у них начнутся месячные, и, сами понимаете, в эти склочные дни старался, если можно, держаться от них подальше. Я просто чувствовал это, как будто от них искры летели. А некоторые люди, к примеру, умели вроде как притяги-

вать тебя, что ли — без слов, без ничего. Ты просто идешь в комнату и не можешь оторвать от них взгляд, стремишься быть рядом. Я замечал, что другие ребята тоже что-то улавливают и просто слепо их любят, знаете? Мне же казалось что они будто горят, а сам я замерз и мне нужно согреться. Правда, если я что-то такое говорил, на меня смотрели как на ненормального, и в конце концов я понял, что никто, кроме меня, этого не чувствует.

А когда это стало понятно, все те смерти тоже вроде как получили объяснение. Все те раковые опухоли, все те дни, что люди провели на больничных койках, превращаясь перед смертью в мумии, вся боль, которую они испытывали, пока врачи не накачивали их наркотиками до беспамятства, чтобы они не раздирали себе кишки, пытаясь добраться до этой дикой боли. Искромсанные, изорванные, накачанные наркотиками, облученные, полысевшие, исхудавшие, молящие о смерти люди — и я знал, что все это из-за меня. Я начал понимать, что с ними будет, едва только срывался. Я знал что за рак, где, насколько это серьезно, и я никогда не ошибался.

Двадцать пять человек, о которых я знал, и возможно, еще больше, о которых не подозревал.

А когда я убежал, стало еще хуже. Я передвигался авто-стопом, потому что... как еще я мог добраться куда-нибудь? Но всегда боялся людей, которые меня подсаживали, и если они начинали цепляться или еще что, я их «искрил». Легавые, которые меня отовсюду гоняли, — им тоже перепало. Пока до меня не дошло, что я сама Смерть — брожу по свету с косой, в капюшоне, закрывающем глаза, и каждому, кто окажется рядом, уже не миновать кладбища. Да, так я про себя и думал — самое страшное существо на свете. Разрушенные семьи, дети-сироты, матери, рыдающие над мертвыми детьми — ходячее воплощение того, что люди ненавидят больше всего в жизни. Однажды я прыгнул с парашюта на шоссе вниз, но только повредил ногу. Старый Пелег всегда говорил, что я как кошка, и, чтобы меня убить, надо содрать с меня шкуру, поджарить и съесть мясо, затем выдубить кожу, сделать из нее шлепанцы, сносить их до дыр, сжечь, что

осталось, и перемешать пепел — вот тогда я точно умру. Наверно, он прав, потому что я все еще жив, и это просто чудо после того, что со мной случилось недавно.

Короче, я шел по Джефферсон-стрит и думал обо всем об этом, но тут заметил машину, что проехала в противоположную сторону и развернулась. Водитель догнал меня и, проехав чуть вперед, затормозил. Я был так напуган, что подумал, это опять та самая женщина из автобуса или кто-то еще — с ружьями, чтобы изрешетить меня насквозь, как в кино, — и уже собрался дернуть вверх по холму, когда понял, что это мистер Кайзер.

— Я как раз ехал в противоположную сторону. Хочешь, подброшу до работы, Мик?

Я не мог ему сказать, что задумал, и потому просто отказался:

— Как-нибудь в другой раз, мистер Кайзер.

Он наверно понял что-то по моему виду и спросил:

— Ты от меня уходишь, Мик?

А я стоял и думал про себя: «Только не спорьте со мной, мистер Кайзер, ничего не надо, просто оставьте меня в покое, я не хочу вам зла, но я так заряжен виной и ненавистью к самому себе, что я сейчас как ходячая смерть, ждущая кому бы приложить, неужели вы не видите эти искры, что сыплются с меня во все стороны, как брызги с вымокшей собаки...» Но вслух сказал:

— Я не хочу сейчас разговаривать, мистер Кайзер. Не хочу.

Вот тут бы ему и начать учить меня жизни. Прочсть лекцию о том, что мне нужно учиться ответственности; что, если я не хочу говорить с людьми о важном, то как же меня кто-нибудь поймет правильно; что жизнь — это не одно только сплошное удовольствие, и иногда, мол, приходится делать вещи, которые делать не хочется; что он относился ко мне лучше, чем я того заслуживаю; что его, мол, предупреждали: бродяга, мол, никчемный, неблагодарный и все такое...

Но он ничего этого не сказал, а просто спросил:

— У тебя какие-нибудь неприятности, Мик? Я могу одолжить тебе денег. Я знаю, ты потом отдашь.

— Не хочу ничего занимать.

— Если ты от кого-то бежишь, то давай лучше вернемся. Там ты будешь в безопасности.

Ну что я мог сказать? Это, мол, вы, мистер Кайзер, в опасности, а я тот человек, который, возможно, вас убьет? И я ничего не сказал. Он помолчал и просто кивнул, положив руку мне на плечо.

— Ладно, Мик. Но если тебе понадобится работа, возвращайся ко мне. Когда где-нибудь осядешь на время, напиши, и я вышлю тебе твои вещи.

— Просто отдайте их кому-нибудь, — говорю.

— Что? «Старый-жмот-еврей-сукин-сын» вроде меня отдаст кому-то что-то за просто так?

Я не выдержал и рассмеялся, потому что именно так называл мистера Кайзера бригадир грузчиков, когда думал, что старик его не слышит. И рассмеявшись, почувствовал, что остыл — словно я горел, и кто-то облил меня холодной водой.

— Береги себя, Мик. — Он протянул мне свою визитную карточку и двадцать долларов, а когда я отказался от денег, засунул бумажку мне в карман. Затем сел в машину, развернулся, как он иногда делает, прямо поперек движения и рванул к складу.

Как бы то ни было, он во всяком случае немного вправил мне мозги. А то я шлепал вдоль шоссе, где меня мог увидеть любой, как увидел мистер Кайзер. Пока я еще в пределах города, мне следовало держаться подальше от людских глаз. Короче, я как раз стоял между двумя холмами, довольно крутыми и поросшими зеленью, и решил, что надо забраться либо на тот, либо на этот. Однако холм через дорогу от меня почему-то показался мне лучше, чем-то привлекательнее, и я подумал, что это тоже довод — ничуть не хуже любого другого. Увертываясь от машин, я перебежал Джефферсон-стрит и полез вверх. Под деревьями лежала густая тень, но прохладней от этого не стало — наверно, потому, что я карабкался изо всех сил и здорово взмок. До вершины было еще далеко, и, когда я наконец добрался туда, земля вдруг затряслась. Я здорово струхнул — подумал, что началось землетрясение, но потом услышал гудок тепловоза и догадался, что это один

из тех тяжелых грузовых поездов с углем — от них так земля трясется, что выюнки со стен отрываются. Я стоял и слушал, как он грохочет в туннеле, а шум накатывал буквально со всех сторон. Потом выбрался из зарослей на поляну...

И увидел под деревом ее.

Я слишком устал, чтобы бежать, и слишком был напуган, когда наткнулся на нее вот так, неожиданно, думая, что мне удалось спрятаться от всех. Получилось, будто я шел прямо к ней, всю дорогу, пока карабкался вверх по склону — словно она потянула меня за веревочку через дорогу и дальше на холм. А раз уж она на такое способна, то как я мог убежать? Куда? Сверну где-нибудь за угол, а она тут как тут. Я остановился и спросил:

— Ладно, что тебе от меня нужно?

Она просто поманила меня рукой, и я подошел, но не очень близко, потому что не знал, что у нее на уме.

— Садись, Мик,— сказала она.— Нам нужно поговорить.

Мне, понятно, не хотелось ни расслаживаться там, ни говорить с ней — только смыться подальше и поскорее. И я попытался — вернее, мне показалось, что попытался. Я пошел прочь от нее — как будто бы — но, сделав три шага, обнаружил, что иду не от нее, а вокруг. Как про планету в научном классе, про это самое тяготение — вроде рвешься куда-то, а все равно крутишься вокруг. Как будто моими ногами уже не я командовал, а она.

Короче, я сел, и она сказала:

— Тебе не следовало от меня убегать.

В тот момент, сказать по правде, я почему-то больше думал, надето ли у нее что под рубашкой. Потом вдруг понял, как глупо об этом думать именно сейчас, но все равно продолжал думать.

— Пообещай мне, что никуда не уйдешь, пока мы не закончим разговор,— сказала она и чуть шевельнулась — на секунду ее одежда стала вроде как прозрачной, только не совсем.

Я просто глаз оторвать не мог и пообещал остаться.

В то же мгновение она вдруг превратилась в самую обычную женщину. Не уродину, конечно, но и не на-

столько уж красивую. Одни лишь глаза горели, как огонь. Я снова испугался, и мне захотелось уйти: теперь я начал понимать, что она что-то такое со мной делает. Однако я дал слово и поэтому остался на месте.

— Вот так это и началось,— сказала она.

— Что именно?

— То, что ты чувствовал. То, что я заставила тебя почувствовать. Это действует только на людей вроде тебя. Другие ничего не улавливают.

— Что я чувствовал? — Я догадывался, что она имеет в виду, но не знал наверняка, говорим ли мы об одном и том же. И меня здорово раздражало, что она понимает, как я о ней думал несколько минут назад.

— А вот что,— сказала она, и у меня снова не осталось в голове ни одной мысли, кроме как о ней. Это продолжалось всего несколько секунд, но я уже понял, кто на меня действует таким образом.

— Прекрати,— попросил я.

— Уже.

— Как ты это делаешь?

— Это все умеют — понемногу. Женщина глядит на мужчину, и, если он ей интересен, ее биоэлектрическая система срабатывает и меняет какие-то запахи — он их чувствует и обращает внимание.

— А наоборот?

— Мужчины свои запахи всегда издают, Мик. Погоды это не делает. Если женщине что-то приходит в голову, то отнюдь не из-за крепкого мужского духа. И как я говорила, это умеют все. Только на некоторых мужчин действует не запах женщины, а сама ее биоэлектрическая система. Запах — это ерунда. Ты чувствуешь тепло огня. И то же самое происходит, когда ты убиваешь людей, Мик. Если бы ты не мог этого делать, ты бы не мог воспринимать так сильно мои притягивающие импульсы.

Конечно, я не все понял сразу и, может быть, вспоминая теперь другими словами, которым она научила меня позже... Тогда я был напуган — да, потому что она все про меня знала и могла делать со мной, что захочет, но в то же время меня обрадовало, потому что она, похоже,

знала какие-то ответы на мучившие меня вопросы. Например, почему я убиваю людей, хотя совсем к этому не стремлюсь.

Однако когда я попросил ее объяснить про меня, она не смогла.

— Мы еще только начинаем познавать себя, Мик. В Швеции есть один ученый, который работает в этом направлении, и мы посылали к нему кое-кого из наших людей. Мы читали его книгу, и кто-то из нас, возможно, даже ее понял. Но я должна сказать тебе, Мик, что из-за одних только наших способностей мы не становимся умнее других или еще что. Никто из нас не заканчивает колледж быстрее — только преподаватели, которые срезают нас на экзаменах, умирают, как правило, несколько раньше других.

— Значит, ты такая же, как я! Ты тоже это умеешь! Она покачала головой.

— Нет, пожалуй. Если я очень на кого-то разозлюсь, если я буду ненавидеть этого человека и очень-очень стараться не одну неделю, тогда, может быть, он заработает у меня язву. Твои же способности совсем на другом уровне. Твои и твоих родственников.

— У меня нет никаких родственников.

— Есть, и именно поэтому я здесь, Мик. Эти люди с самого твоего рождения знали о том, на что ты способен. Они знали, что, не получив вовремя материнскую грудь, ты будешь не просто плакать — нет, ты будешь убивать. Сеять смерть прямо из колыбели. И они спланировали твою жизнь с самого начала. Поместили тебя в приют, позволив другим людям, всем этим доброхотам, болеть и умирать, с тем чтобы после, когда ты научишься обуздывать свои способности, разыскать тебя, рассказать, кто ты есть, и вернуть домой.

— Значит, ты тоже из моих родственников? — спросил я.

— Не то чтобы это было заметно, — ответила она. — Нет, я здесь потому, что должна *предупредить* тебя о них. Мы наблюдали за тобой долгие годы, и теперь пришло время.

— Пришло время? Теперь? Я пятнадцать лет провел в приюте, убивая всех, кто обо мне заботился! Если бы они — или ты, или кто-нибудь еще — если бы хоть кто-то пришел и сказал: Мик, ты должен сдерживаться, ты несешь людям страдания и смерть. Если кто-то просто сказал: Мик, мы твои родные, и с нами ты будешь в безопасности — тогда я, может быть, не боялся бы всего на свете так сильно и не убивал бы столько людей. Это вам не пришло в голову?

Впрочем, я, может, и не так сказал, но во всяком случае я все это чувствовал и наговорил много чего неприятного.

А потом вдруг заметил, как она напугана, потому что я весь «заискрился», и понял, что еще немного, и я метну весь этот смертоносный поток в нее. Я отпрыгнул назад и закричал ей, чтобы оставила меня в покое, а она вдруг, как ненормальная, потянулась ко мне, и я опять закричал: «Не смей меня трогать!» — потому что, прикоснись она ко мне, я бы уже не сдержался, и тогда мой заряд ненависти пронзил бы ее насквозь, превратив ее внутренности в искромсанное месиво. Но она тянулась ко мне, наклоняясь все ближе и ближе, а я отползал, упираясь локтями, за дерево, потом вцепился в него руками, и оно словно всосало все мои искры — я как будто сжег его изнутри. Может, убил, не знаю. А может, оно было слишком большое и ничего с ним не сделалось, но, так или иначе, дерево вытянуло из меня весь огонь, и в этот момент она до меня все-таки дотронулась — никто никогда так ко мне не притрагивался: ее рука лежала у меня за спиной и обнимала за плечо, а губы почти над самым ухом шептали: «Мик, ты ничего мне не сделал».

— Оставь меня в покое, — сказал я.

— Ты не такой, как они, разве тебе не понятно? Им нравится убивать, они делают это ради выгоды. Только им до тебя далеко. Им обязательно нужно дотронуться или быть очень близко. И воздействовать придется дольше. Они сильнее меня, но до тебя им далеко. Они непременно захотят прибрать тебя к рукам, Мик, но в то же время они будут настороже, и знаешь, что напугает их

больше всего? То, что ты не убил меня, и то, что ты способен сдерживать себя вот так.

— Не всегда. Этот водитель автобуса...

— Да, ты не совершенен. Но ты стараешься. Стараешься не убивать. Разве ты не видишь, Мик? Ты не такой, как они. Может, они твоя кровная родня, но ты не их породы, и они поймут это, а когда поймут...

Из всего, что она сказала, у меня в мыслях застряли только слова о кровной родне.

— Мама и папа... Ты хочешь сказать, что я их увижу?

— Они зовут тебя прямо сейчас, и поэтому я должна была тебя предупредить.

— Зовут?

— Да, так же, как я призвала тебя на этот холм. Только я не одна, конечно, это сделала, нас было много.

— Я просто решил забраться сюда, чтобы не торчать на дороге.

— Просто решил пересечь шоссе и влезть на этот холм, а не на тот, ближний? Короче, вот так оно и действует. У человечества всегда присутствовала эта способность, только мы о ней не догадывались. Группа людей может вроде как стармонизировать свои биоэлектрические системы, позвать кого-нибудь домой, и спустя какое-то время человек приходит. А иногда целые нации объединяются в своей ненависти к кому-то одному. Вроде как иранцы и шах или филиппинцы и Маркос.

— Их просто вышвырнули, — вставил я.

— Но они уже умирали, разве не так? Когда ненавидит вся нация, в биоэлектрической системе врага постоянно возникают помехи, непрерывный шум. Всем вместе, миллионам людей — им в конце концов удастся сделать то, на что ты способен в секундном порыве раздражения.

Я несколько минут обдумывал ее слова, и мне вдруг вспомнилось, как я все время считал, будто я вовсе и не человек. Выходило, что, может, я все-таки человек, но только в том смысле, что урод с тремя руками тоже, мол, человек, или кто-нибудь вроде этих типов из фильмов ужасов — страшные такие, все в шишках, вечно кромсают подростков, как только те парочками пристраиваются в каком-нибудь уединенном месте. В фильмах их всегда

стараятся прикончить, только это никак не удается: их режут, стреляют, жгут, а они все равно возвращаются. Ну прямо как про меня — я столько раз пытался покончить с собой, только ничего не получалось.

Нет. Подождите...

Я должен все рассказать начистоту, а то вы подумаете, что я или псих, или лгу. Я не прыгнул с того парапета, как говорил. Долго стоял, глядел, как проезжают внизу машины, и, когда подъезжал большой грузовик, говорил себе: «Все», но так и не прыгнул. А после мне снилось, будто я все-таки спрыгнул, и во всех этих снах я просто отскакивал от грузовика, поднимался на ноги и, хромая, уходил прочь. Как в тот раз, когда я был маленьким и заперся в туалете с садовыми ножницами в руках — такие бывают, подпружиненные, они еще открываются со шелчком — так вот я сидел и думал, как всажу их себе в живот и отпущу рукоятку, а они раскроются и разрежут мне сердце и будет огромная рана, и вообще... Я так долго там сидел, что уснул на толчке, а позже мне снилось, что я это сделал, только даже кровь не текла, потому что я не могу умереть.

Короче, я никогда не пытался покончить с собой. Но все время об этом думал — вроде какого-нибудь монстра из кино, который убивает людей, но втайне надеется, что кто-нибудь поймет, что происходит, и прикончит его раньше.

— Почему вы меня просто не убили? — спросил я.

А она спокойно так, словно у нас какой любовный разговор — и лицо ее близко-близко, — говорит:

— Я не один раз смотрела на тебя сквозь прищел, Мик, но так и не сделала этого. Потому что разглядела в тебе что-то особенное. Может быть, я поняла, что ты пытаешься бороться с собой. Что ты не хочешь использовать свою способность, чтобы убивать. И я оставила тебя в живых, думая, что однажды окажусь рядом — вот как сейчас — и, рассказав тебе, что знаю, подарю немного надежды.

Я подумал, что она, может, имеет в виду надежду узнать когда-нибудь, что родители живы и будут рады встрече со мной, и сказал:

— Я слишком долго надеялся, но теперь мне ничего не надо. После того как они бросили меня и оставили в приюте на столько лет, я не хочу их видеть. И тебя тоже — ни ты, ни кто другой даже пальцем не пошевелили, когда можно было предупредить меня, чтобы я не заводился на старого Пелега. Я не хотел его убивать, но просто ничего не мог с собой сделать! Мне никто не помог!

— Мы спорили об этом. Мы ведь знали, что ты убиваешь людей, пытаюсь разобраться в себе и укротить эту твою способность. Подростковый период еще хуже, чем младенчество, и мы понимали, что если тебя не убить, умрет много людей — в основном те, кого ты любишь. То же самое происходит с большинством подростков в твоем возрасте: больше всего они злятся на тех, кого любят, но ты при этом еще и убиваешь — да, против своей воли, но как это отражается на твоей психике? Что за человек из тебя вырастет? Некоторые из нас говорили, что мы не имеем права оставить тебя в живых, даже для изучения — это, мол, все равно что заполучить лекарство от рака и не давать его людям только из желания узнать, как скоро они умрут. Как тот эксперимент, когда правительственные чиновники распорядились не лечить нескольких больных сифилисом, чтобы выяснить в подробностях, как протекают последние стадии, хотя этих людей можно было вылечить в любой момент. Но другие говорили: Мик — не болезнь, и пуля — не пенициллин. Я сама говорила им, что ты особенный. Да, соглашались они, особенный, но он убивает больше, чем все те другие детишки. Тех мы стреляли, сбивали грузовиками, топили, а теперь нам попался самый страшный из них, а ты хочешь сохранить ему жизнь.

Я, ей-богу, даже заплакал, потому что лучше бы они меня убили, но не только поэтому: я впервые узнал, что есть люди, которые из-за меня спорят, и кто-то считает, что я должен жить. И хотя я не понял тогда — да и сейчас не понимаю до конца, — почему вы меня не убили, хочу сказать, что вот это меня, может, и проняло — что кто-то знал про меня и все же решил не нажимать на курок. Я тогда разревелся, как ребенок.

Короче, одно к другому — я плачу, а она меня обнимает и все такое — и до меня вскоре дошло, что она хочет, чтобы я ее сделал прямо там. Но когда понял это, мне даже стало как-то противно.

— Как ты можешь об этом думать? — говорю. — Мне нельзя ни жениться, ни иметь детей! Они будут такие же, как я!

Она не спорила, но ничего не сказала про то, что, мол, все в порядке, никаких детей не будет, и позже я решил, что, видимо, был прав: она действительно хотела от меня ребенка, и я подумал, что она совсем рехнулась. Я снова натянул штаны, застегнул рубашку и даже не повернулся к ней, пока она одевалась.

— Я могла бы заставить тебя, — сказала она. — Могла. Эта способность, что позволяет тебе убивать, делает тебя очень восприимчивым. Я могла бы заставить тебя совсем потерять голову от желания...

— Почему же ты этого не сделала? — спрашиваю.

— А почему ты не убиваешь, когда можешь с собой справиться?

— Потому что никто не имеет на это права.

— Вот именно.

— И потом, ты лет на десять старше меня.

— На пятнадцать. Я почти в два раза старше тебя. Но это не важно. — Или, может, она сказала «это не имеет значения». Она грамотнее меня говорит, и я не всегда помню точно. Короче, она говорит: — Это не имеет значения. Если ты уйдешь к своим, можешь не сомневаться, у них для тебя уже приготовлена какая-нибудь милашка, и уж она-то точно лучше меня знает, как это делается. Она тебя так накрутит, что ты сам из штанов выпрыгнешь, потому что именно этого они от тебя и хотят. Им нужны твои дети. Как можно больше. Ведь ты сильнее всех, кто у них был с тех пор, как дедуля Джейк понял, что способность напускать порчу передается по наследству и можно плодить таких людей, как собак или лошадей. Они тебя используют как племенного быка, но когда узнают, что тебе не нравится убивать, что ты не с ними и не собираешься выполнять их приказы, они тебя убьют. Вот поэто-

му я и появилась предупредить тебя. Мы почувствовали, что они уже зовут тебя. Мы знали, что пришло время, и вот я здесь.

Я еще много чего не понял тогда сразу. Сама мысль, что у меня есть какие-то родственники, уже казалась странной, и я даже как-то не беспокоился, убьют они меня, или будут использовать, или еще что. Больше всего я думал в тот момент о ней.

— Я ведь мог тебя убить,— говорю.

— Может, мне было все равно,— сказала она.— А может, это не так просто.

— А может, ты все-таки скажешь, как тебя зовут?

— Не могу.

— Почему это?

— Если ты станешь на их сторону и будешь знать, как меня зовут, тогда-то меня точно убьют.

— Я бы никому не позволил.

Она ничего на это не ответила, потом подумала и сказала:

— Мик, ты не знаешь, как меня зовут, но запомни одно: я надеюсь на тебя, верю в тебя, потому что знаю, ты хороший человек и никогда не хотел никого убивать. Я могла бы заставить тебя полюбить меня, но не сделала этого, потому что хочу, чтобы ты сам выбирал, как тебе поступить. А самое главное, если ты будешь на нашей стороне, у нас появится шанс узнать, какие у этой твоей способности есть хорошие стороны.

Понятное дело, я об этом тоже думал. Когда я увидел в кино, как Рэмбо косит всех этих маленьких коричневых солдат, мне пришло в голову, что и я так могу, только без всякого оружия. А если бы меня кто взял в заложники, как в том случае с Ахиллом Лауро, никому бы не пришлось беспокоиться, что террористы останутся безнаказанными: они бы у меня в два счета оказались в больнице.

— Ты на правительство работаешь? — спрашиваю.

— Нет.

Значит, подумал, в качестве солдата я им не нужен. Мне даже жаль стало: я думал, что мог бы оказаться полезным в таком деле. Но я не мог пойти добровольцем, потому что... Нельзя же в самом-то деле заявиться в вербо-

вочный пункт и сказать: я, мол, убил несколько десятков людей, испуская из себя искры, и, если вам нужно, могу сделать то же самое с Кастро или Каддафи. Если тебе поверят, значит, ты — убийца, а если нет, просто запрут в дурдом.

— Меня никто никуда не звал, между прочим, — говорю. — Если бы я не столкнулся с тобой в автобусе, я бы никуда не сбежал и остался у мистера Кайзера.

— Да? А зачем ты тогда снял со счета в банке все свои деньги? И когда ты сбежал от меня, почему ты рванул к шоссе, откуда можно добраться по крайней мере до Мадисона, а там подсесть к кому-нибудь до Идена?

Ответить мне было в общем-то нечего, потому что я и сам толком не знал, зачем взял все деньги. Разве что действительно, как она сказала, чтобы двинуть из города. Я как-то так сразу решил: закрою счет, и все тут — даже не думал об этом, а просто запихал три сотни в бумажник. И я действительно двигал к Идену, только совсем об этом не задумывался — ну точно так же, как я на тот холм влез.

— Они сильнее нас, — продолжила она. — Поэтому мы не можем тебя удержать. Тебе придется уйти и самому во всем разобраться. У нас только и вышло, что посадить тебя на автобус рядом со мной, а потом заманить на этот холм.

— Тогда почему тебе не пойти со мной?

— Меня убьют в два счета, прямо на твоих глазах — и без всяких там напусканий порчи, просто снесут голову мачете.

— Они о тебе знают?

— Они знают о нас. Мы — единственные, кому известно об их существовании, и кроме нас, их остановить некому. Не буду тебя обманывать, Мик: если ты встанешь на их сторону, ты сумеешь нас найти — этому не трудно научиться. И поскольку ты способен убивать на большом расстоянии, у нас не будет никаких шансов. Но если ты останешься с нами, тогда перевес окажется на нашей стороне.

— Может, я вообще не хочу участвовать в этой вашей войне, — говорю. — И может, я не поеду ни в какой Иден, а отправлюсь в Вашингтон и поступлю в ЦРУ.

— Может быть.

— И не вздумай меня останавливать.

— Не буду.

— Вот так-то. — Я просто встал и ушел. И на этот раз не ходил уже кругами, а сразу двинулся на север, мимо ее машины и вниз к железной дороге. Подсел к какому-то типу, что ехал в округ Колумбия, и дело с концом.

Только часов в шесть вечера я вдруг проснулся, машина остановилась, и я никак не мог понять, где нахожусь: должно быть, проспал целый день. А этот тип говорит:

— Ну вот, приехали. Иден, Северная Каролина.

Я чуть не обделался.

— Как Иден?!

— Мне почти по пути было, — говорит. — Я собирался в Берлингтон, а эти сельские дороги в общем-то лучше автострад. Хотя, сказать по правде, я не расстроюсь, если мне никогда больше не придется ездить по I-85.

И это тот самый тип, который сказал мне, что у него дела в округе Колумбия! Он двигал туда из самого Бристолла, хотел переговорить с человеком из какого-то правительственного комитета, а теперь вдруг Иден... Чепуха какая-то, разве что та леди была права: кто-то меня призывал, а когда я уперся, они просто усыпили меня и накинулись на водителя. Ну что ты будешь делать? Иден, Северная Каролина, и все тут. Я перепугался до смерти... Ну во всяком случае немного напугался. И в то же время подумал: если она права, то скоро появятся мои старики, скоро я их увижу.

За два года, с тех пор как я убежал из приюта, ничего в Идене особенно не изменилось. Там вообще никогда ничего не меняется, да и город-то сам не настоящий — просто три поселка объединились и скинулись, чтобы сэкономить на городских коммунальных службах. Люди до сих пор считают, что это и есть три маленьких поселка. Надо думать, никто мне там особенно не обрадовался бы, да я и сам никого не хотел встречать. Никого из живых, во всяком случае. Я понятия не имел, как меня отыщут мои родственники или как я их отыщу, но пока суд да дело, отправился навестить тех, кого действительно вспо-

минал. Оставалось только надеяться, что они не встанут из могил, чтобы поквитаться с их убийцей.

Дни тогда стояли еще длинные, но задувал резкий, порывистый ветер, а на юго-западе собирались огромные грозовые тучи — солнце уже садилось и скоро должно было спрятаться за тучами. Вечер обещался прохладный, и меня это вполне устраивало. Я чувствовал, что до сих пор весь в пыли после того, как влез на холм, и дождь бы был очень кстати. Я выпил кока-колы в придорожном кафе и двинулся повидать старого Пелега.

Его похоронили на маленьком кладбище у старой протестантской церкви, только не для белых баптистов, а для черных — ничего шикарного, никаких тебе классов, ни дома приходского священника; просто белое четырехугольное здание с невысоким шпилем и зеленой лужайкой, такой ровной, словно ее ножницами подстригали. И такое же аккуратное кладбище. Вокруг никого, да и темнеть начало из-за всех этих туч, но я ничего не боялся и прошел прямо к кресту старого Пелега. Раньше я даже не знал, что его фамилия Линдли. Как-то эта фамилия чернокожему не очень подходила, но потом я подумал, что ничего удивительного тут нет. Иден — городишко настолько старомодный, что старого чернокожего человека не часто называют тут по фамилии. Пелег и родился, и вырос в расистском штате, да так до конца жизни и не приучил никого называть себя мистером Линдли. Старый Пелег, и все тут. Нет, я не стану говорить, что он обнимал меня по-отцовски, или гулял со мной, или как-то заботился по-особому — ну, все эти вещи, от которых люди слезу пускают и говорят, как это, мол, замечательно, когда у тебя есть родители. Он никогда не строил из себя отца, ничего подобного. А если я вертелся под ногами слишком долго, так он мне еще и работу какую-нибудь подбрасывал, да смотрел, чтобы я все сделал как положено. Мы даже не говорили, считай, ни о чем другом, кроме работы, которую нужно сделать, но почему-то у его могилы мне хотелось плакать, и за старого Пелега я ненавидел себя больше, чем за любого другого, что лежали под землей в этом городке.

Я не видел и не слышал, как они подошли, и даже не уловил сразу запах маминых духов, но понял, что они приближаются, почувствовав, как пространство между нами словно наэлектризовалось. Я так и стоял, не оборачиваясь, но знал, где они и как далеко от меня, потому что заряжены они были дай бог! Я еще в жизни не видел, чтобы кто-то так «искрил» — кроме меня самого. Они ну прямо светились. Я будто со стороны себя увидел в первый раз в жизни. Даже когда эта леди в Роаноке напускала на меня всякие там желания, ей до них было далеко. А они оказались ну в точь как я.

Чудно, конечно, но это все и испортило. Мне не хотелось, чтобы они были как я. Я себя-то ненавидел за то, что «искрюсь», а тут еще они — решили показать мне, как выглядит убийца со стороны. Мне только спустя несколько секунд стало понятно, что они меня боятся. Я помнил, как меняет страх мою собственную биоэлектрическую систему, как это выглядит, и заметил что-то похожее у них. Понятное дело, я тогда не думал именно про биоэлектрическую систему или, может, думал, потому что они мне уже все объяснили, но вы понимаете, что я имею в виду. Они меня боялись. И я знал почему: когда я злюсь, «искры» с меня так и сыпятся. Я стоял у могилы Пелега и ненавидел себя страшно, так что в их глазах я, наверно, готов был прикончить полгорода. Откуда им знать, что я ненавидел себя? Естественно, они думали, что я, может, зол на них за то, что они бросили меня семнадцать лет назад в приюте. И поделом бы им было, если бы я взял да как следует перемесил им обоим кишки, но я теперь этого не делаю, честно, тем более что я стоял там над старым Пелегом, которого любил гораздо больше, чем этих двух, и разве мог я убить их, когда моя тень падала на его могилу?

Короче, я себя успокоил как мог, повернулся — и вот они: мои мама и папа. Хочу сказать, я тогда чуть не расхохотался. Все эти годы мы смотрели по ящику проповедников и просто животы надрывали от смеха, когда показывали Тэмми Баккера: он вечно появлялся с таким толстым слоем «штукатурки» на физиономии, что, даже будь это ниггер, никто б не догадался (тут старый Пелег не обижал-

ся, потому что он первым же это и сказал). В общем, я повернулся и увидел маму с таким же точно слоем косметики. А волосы были так основательно опрысканы лаком, что она могла запросто работать на стройке без каски. И та же слашавая липовая улыбка, и те же густые черные слезы, стекающие по щекам, и руки — она тянулась ко мне руками, и я прямо ждал, что сейчас услышу: «Слава Иисусу Христу, это мой мальчик», бросилась ко мне и облобызала своими слюнявыми губами, да так, что у меня на щеке слюни остались.

Я утерся рукавом и буквально почувствовал, как у отца мелькнула краткая вспышка раздражения; он подумал, что я вроде как оцениваю маму, и ему это не понравилось. Но, признаться, так оно и было. Духами от нее несло как от целого парфюмерного отдела. Сам-то отец был в хорошем синем костюме — вроде как бизнесмен, — волосы уложены феном, так что он, понятно, не хуже меня знал, как нормальным людям положено выглядеть. Может, он даже смущался, когда ему приходилось бывать на людях вместе с мамой. Мог бы просто взять и сказать ей, что она, мол, накладывает слишком много косметики. Я так и подумал, но только потом сообразил: женщине, которая, разозлившись, может запросто наслать на тебя рак, совсем ни к чему говорить, что лицо у нее выглядит, как будто она спала на мокрых опилках, или что от нее пахнет как от шлюхи. В общем, что называется, «белый мусор» — узнается с ходу, словно еще фабричный ярлык висит.

— Я тоже рад тебя видеть, сынок, — говорит отец.

А мне, признаться, и сказать было нечего. Я-то как раз радости никакой не почувствовал, когда их увидел: приютскому мальчишке родители представляются несколько иначе. Но я улыбнулся и снова взглянул на могилу Пелега.

— Ты, похоже, не очень удивлен встречей, — продолжает он.

Я бы мог сразу сказать им про ту леди в Роаноке, но ничего не сказал. Почему-то не хотелось.

— Я чувствовал, что кто-то зовет меня назад, — говорю, — а кроме вас, мне никогда не встречались такие же

«искристые» люди, как я. И раз вы говорите, что вы мои родители, стало быть, так оно и есть.

Мама захихикала и говорит ему:

— Слышишь, Джесс? Он называет это «искристый».

— У нас говорят «пыльный», сынок,— отвечает он.— Когда это кто-то из нас, мы говорим, что он «пыльный».

— И ты, когда родился, был очень «пыльный»,— говорит мама.— Мы сразу поняли, что не можем тебя оставить. Никто никогда не видел такого «пыльного» ребенка, и папаша Лем заставил нас пристроить тебя в приют — еще до того, как тебе первый раз дали грудь. Ты ни разу не сосал материнскую грудь...— И ее тушь потекла по лицу жирными ручьями.

— Ладно, Минни,— это опять отец,— вовсе ни к чему рассказывать ему все сразу прямо здесь.

Пыльный. Я ничего не понимал. На пыль это совсем не походило, скорее на маленькие светящиеся искры — такие яркие, что мне самому приходилось иногда шурить-ся, чтобы разглядеть собственные руки.

— При чем тут пыль? — спросил я его.

— А как, по-твоему, это выглядит?

— Как искры. Я потому и говорю «искристый».

— Мы тоже так видим, но всю жизнь говорили «пыльный», и видимо, одному человеку легче переучиться, чем п... чем всем остальным.

Из его слов я уяснил сразу несколько вещей. Во-первых, понял, что он лжет, когда говорит, будто они тоже видят это как искры. Ничего подобного. Для них это было, как он и сказал,— пыль. А значит, я видел все гораздо четче, ярче, и меня это обрадовало, потому что ясно было, папочка не хотел, чтобы я понял это, и прикидывался, будто ему поле видится так же, как мне. Короче, ему хотелось произвести впечатление, что он видит его не хуже меня. А значит, это вовсе не так. Кроме того, он не хотел, чтобы я знал, сколько у меня такой родни — он заппнулся на какой-то цифре, которая начиналась на «п», но вовремя спохватился. Пятнадцать? Пятьдесят? Пятьсот? Само число не так много для меня значило — важнее было то, что он хотел скрыть его от меня. Они мне не доверяли. Да и с чего, собственно? Как сказала та леди, способ-

ностей у меня было побольше, чем у них, и они не знали, насколько я зол из-за того, что оказался в приюте. Надо думать, меньше всего им хотелось, чтобы я остался теперь на свободе и продолжал убивать людей. Особенно их самих.

В общем, я стоял и думал обо всем этом, а они тем временем занервничали, и мама говорит:

— Ладно, папочка, пусть называет это, как ему хочется. Не надо его сердить.

Отец рассмеялся и сказал:

— А он и не сердится. Ты ведь не сердишься, сынок?

Я еще подумал: «Сами они не видят, что ли?» Хотя конечно, нет. Да оно и понятно: если для них поле выглядит как пыль, им трудно разглядеть всякие тонкости.

— Ты, похоже, не очень рад встрече,— говорит отец.

— Ладно тебе, Джесс, не приставай к нему. Папаша Лем ведь тебе сказал, чтобы ты на него не давил, а просто объяснил, почему пришлось вытолкать его из гнезда таким маленьким. Вот и объясняй, как велел папаша Лем.

Мне тогда в первый раз пришло в голову, что мои собственные родители не очень-то хотели идти на эту встречу. Они пошли, потому что их заставил папаша Лем. И понятное дело, они только поддакнули и сказали, да, мол, будет сделано, потому что папаша Лем мог... Хотя ладно, я до него еще доберусь: вы ведь хотели, чтобы я рассказывал все по порядку, как я и пытаюсь делать.

Короче, папуля объяснил мне все примерно так же, как та леди в Роаноке, только он ни словом не обмолвился про биоэлектрическое поле, а сказал, что я был «ясно отмечен» с самого рождения и что я, мол, «один из избранных». Еще из баптистской воскресной школы я помнил, что это значит «один из тех, кого спас Господь», хотя мне не доводилось слышать, чтобы Господь спасал кого-то в ту же самую минуту, когда они родились. В смысле, некрещеных и прочее. Они увидели, какой я «пыльный», и поняли, что я убью очень много людей, прежде чем научусь владеть своей способностью... Потом я спросил, часто ли они так делают — в смысле, оставляют детей на воспитание другим.

— Время от времени. Может, раз десять делали,— ответил отец.

— И всегда выходит, как задумано?

Тут он снова собрался врать — я это понял по всполохам идущего от него света. Никогда не думал, что вранье может быть так заметно, но тогда даже обрадовался, что они видят не «искры», а «пыль».

— Почти всегда.

— Я бы хотел встретиться с кем-нибудь из них,— говорю.— У нас, понятно, много общего, если мы все росли, думая, что родители нас ненавидят, а на самом деле они просто боялись своих собственных детей.

— Они все уже взрослые и разъехались кто куда,— отвечает он, но это опять ложь. И самое главное, как я думал, родители они паршивые: папаше даже нечего мне сказать, кроме как почему я не могу увидеть остальных «сирот». Понятное дело, он что-то скрывает и это «что-то» для них очень важно.

Но я не стал нажимать, просто посмотрел на могилу старого Пелега и подумал, что он, наверно, за всю свою жизнь ни разу не солгал.

Папуля, видимо, занервничал, решил переменить тему и спросил:

— Я совсем не удивлен, обнаружив тебя здесь. Он один из тех, кого ты «запылил»?

Запылил. Вот тут я по-настоящему завелся. Слово это... Выходило, что старого Пелега я «запылил»... Должно быть, когда я разозлился, что-то во мне изменилось, и они заметили. Только все равно ничего не поняли, потому что мама тут же сказала:

— Я, конечно, не собираюсь критиковать, сынок, но не гоже это — гордиться даром Господним. Потому-то мы тебя и отыскиали — мы хотим научить тебя истине, объяснить, почему Господь призвал тебя в число избранных. И не следует тебе восславлять себя, даже если ты способен поражать своих врагов насмерть. Восславь за это Господа нашего и благословляй имя его, ибо мы всего лишь слуги его.

Меня чуть не стошнило, ей-богу,— так я на них разозлился. Нет, ну надо же! Да старый Пелег стоил в десять

раз больше этих двоих лживых людишек, которые вышвырнули меня, когда я даже материнскую титьку еще не пробовал, а они считали, что за его ужасные страдания и смерть я должен восславить Господа! Я, может, не очень-то понимаю Бога: как-то он всегда представлялся мне таким же задавленным и серьезным, как миссис Бетел, что преподавала в воскресной школе, когда я был маленьким. Позже она умерла от лейкемии. По большей части мне нечего было сказать Богу, но если это он дал мне мою силу, чтобы сразить старого Пелега, если он хотел за это восхвалений, то я бы ему тогда сказал, что я о нем думаю... Только я ни на секунду им не поверил. Старый Пелег сам верил в Бога, и его Бог не мог убить старого чернокожего, только потому что какой-то сопливый мальчишка на него разозлился.

Однако я отвлекся... Именно в это мгновение отец впервые ко мне прикоснулся. Руки у него тряслись. И не без причин: я был настолько зол, что случись такое годом раньше, он бы еще руку не успел убрать, а уже истекал внутри кровью. Но с некоторых пор я приучил себя сдерживаться, не убивать всех, кто ко мне прикоснется, когда я на взводе, и — странное дело — эта дрожь в его руке вроде как меня успокоила. Я все думал, как я зол за то, что меня бросили, или за то, что они подумали, будто я горжусь способностью убивать, но потом вдруг понял, сколько им потребовалось силы духа, чтобы прийти на встречу со мной. Ведь в самом-то деле, откуда им знать, что я их не убью? Но они тем не менее пришли. Это уже кое-что. Даже если им приказал идти этот папаша Лем. Я понял, как смело поступила мама, сразу поцеловав меня в щеку: ведь если бы я собирался ее убить, она дала мне шанс сделать это, даже не попытавшись ничего объяснить. Может, конечно, это у нее такая стратегия была, чтобы перетянуть меня на свою сторону, но все равно поступок смелый. И она не одобряла, когда люди гордились убийствами, что тоже немного подняло ее в моих глазах. Она не побоялась сказать мне это прямо в глаза. Короче, я ей поставил сразу несколько плюсов. Может, она и выглядела как это пугало Тэмми Баккер, но при

встрече с сыном-убийцей поджилки у нее тряслись меньше, чем у папаша.

Затем он тронул меня за плечо, и мы пошли к машине. «Линкольн» — видимо, они решили, что это произведет на меня впечатление. Но я в тот момент думал только о том, как было бы в приюте, если бы детскому дому перепало столько денег, сколько стоит эта машина. Даже сколько она стоила пятнадцать лет назад. Может, у нас была бы тогда нормальная баскетбольная площадка. Или различные игрушки вместо тех поломанных, что люди просто отдают в приюты. Может, нормальные штаны, чтобы у них хоть коленки не вытягивались. Я никогда не чувствовал себя таким бедным, как в тот момент, когда сел на бархатное сиденье машины и прямо мне в ухо заиграло стерео.

В машине ждал еще один человек. Тоже, в общем-то, разумно. Если бы я убил их или еще что, кому-то надо было отогнать машину назад, верно? Хотя ничего особенного он из себя не представлял — в смысле «пыльности», или «искристости», или еще там как. Совсем еле-еле светился да еще и пульсировал от страха. Я сразу понял, почему это: у него в руках была повязка на глаза — явно для меня.

— Мистер Йоу, к сожалению, я должен завязать вам глаза, — сказал он.

Я несколько секунд молчал, отчего он еще больше испугался, потому что решил, будто я злюсь, хотя на самом деле до меня просто не сразу дошло, кто такой «мистер Йоу».

— Это твоя фамилия, сынок, — сказал отец. — Меня зовут Джесс Йоу, а твою маму — Минни Райт Йоу. Ну а ты сам, соответственно, Мик Йоу.

— Вот те на, — пошутил я, но они восприняли это так, словно я смеюсь над фамилией. Однако я так долго был Миком Уингером, что мне казалось, просто глупо называть себя теперь «Йоу», да и, сказать по правде, фамилия и в самом деле смешная. Мама так ее произнесла, словно я должен гордиться этой фамилией, что меня и рассмешило. Но для них Йоу — имя избранного народа. Ну прямо как в Библии, когда евреи называли себя «сынами

Израилевыми». Я еще тогда не понимал этого, но они прямо-таки гордились своей фамилией. Так что их здорово задело, когда мне вздумалось пошутить, и, чтобы они почувствовали себя немного лучше, я позволил Билли — так звали того человека в машине — завязать мне глаза.

Ехали мы долго, все по каким-то проселочным дорогам, и разговоры вертелись вокруг их родственников, которых я никогда не встречал, но которые мне, мол, непременно понравятся. Во что мне верилось все меньше и меньше, если вы понимаете что я имею в виду. Потерянный ребенок возвращается домой, а ему завязывают глаза! Я знал, что мы едем примерно на восток, потому что солнце по большей части светило в мое окно или мне в затылок, но точнее сказать не мог. Они лгали мне, постоянно что-то скрывали и просто боялись меня. Тут как ни смотри, не скажешь, что ждали с распростертыми объятиями. Мне определенно не доверяли. Скорее, они даже не знали, как со мной быть. Что, кстати, очень напоминает, как со мной обращаетесь вы сами, и мне это нравится не больше, чем тогда, — я уж, извините, заодно и пожалуюсь... Я хочу сказать, что рано или поздно вам придется все-таки решить, пристрелить меня или выпустить на свободу, потому что, сидя в этой камере, как крыса в коробке, я не смогу сдерживаться очень долго. Разница только в том, что в отличие от меня крыса не может отыскать вас мысленно и отправить на тот свет. Так что давайте решайте: или вы мне верите, или вы меня кончаете. По мне, так лучше, чтоб поверили, потому что пока я дал вам больше причин верить мне, чем у меня самого для доверия к вам.

Но короче, мы ехали около часа. За это время вполне можно было добраться до Уинстона, Гринсборо или Данвилла, и когда мы наконец прибыли, никто в машине уже не разговаривал, а Билли, судя по храпу, так и вообще заснул. Я-то, конечно, нет. Я смотрел. Поскольку «искры» я вижу не глазами, а чем-то еще — как если бы мои собственные «искры» сами чувствовали «искры» других, то, хоть повязка и мешала мне видеть дорогу, я даже с ней прекрасно видел всех, кто сидит в машине. Я знал, где они и что чувствуют. Надо сказать, что я всегда умел

угадывать про людей — даже когда у них ни «искр» и ничего такого, но тут я в первый раз оказался рядом с «искристыми». В общем, я сидел и просто наблюдал, как мама и отец «взаимодействуют», даже когда они не касаются друг друга и не разговаривают — маленькие всполохи злости, страха или... Я искал проявления любви, но так ничего и не увидел, а я знаю, как должно выглядеть это чувство, потому что оно мне знакомо. Они были как две армии, расположившиеся на холмах друг напротив друга и ждущие конца перемирия. Настороженные. Пытающиеся незаметно выяснить, что же предпримет противник.

И чем больше я понимал, что думает и чувствует моя родня, тем легче мне было понять, что из себя представляет Билли. Когда научишься читать большие буквы, с маленькими тоже все становится ясно, и мне, помню, пришло в голову, что я, наверно, смогу научиться понимать даже тех людей, у которых нет никаких «искр». Такая вот появилась у меня мысль, и со временем я понял, что это в общем-то правда. У меня теперь практики побольше, поэтому «искристых» я могу читать издалека, и обычных тоже могу — немного — даже сквозь стены и окна. Но все это я понял позже. И про то, кстати, что вы наблюдаете за мной с помощью зеркал. Я и ваши провода от микрофонов вижу в стенах.

Короче, именно тогда, в машине, я впервые начал видеть с закрытыми глазами по-настоящему — форму биологической системы, цвет, как она переплетена, скорость, ритм, течение и все такое. Я уж не знаю, верные ли слова использую, потому что на эту тему не так много написано. Может, у того шведского профессора есть какие-нибудь научные названия, а я могу только описать, как все это чувствую. За тот час, что мы ехали, я здорово наловчился и мог точно сказать, что Билли жутко боится, но не только меня, а больше маму с отцом. На меня он злился, завидовал. Боялся, конечно, тоже, но в основном злился. Я сначала подумал, он заводится от того, что я появился вдруг неизвестно откуда, да еще и более «искристый». Но потом до меня дошло, что ему, скорее всего, этого даже не разглядеть — для него это все «пыль»,

и у него просто не хватит способности отличить одного человека от другого. Тут вроде как чем больше от тебя света, тем лучше ты видишь чужой свет. Так что хоть они и завязали мне глаза, но видел я все равно лучше всех остальных в машине.

Минут десять мы ехали по насыпной дороге из гравия, потом свернули на грунтовую, сплошь из кочек, а затем снова выбрались на ровный асфальт, проехали около сотни ярдов и остановились. Я не стал ждать и в ту же секунду сорвал с глаз повязку.

Вокруг — целый городок, дома прямо среди деревьев, над крышами — ни одного просвета. Пятьдесят, может, шестьдесят домов, некоторые — очень большие, но за деревьями их почти не было видно: лето все-таки. Дети бегают — от маленьких чумазных сопляков до таких же, почти как я, возрастом. Надо сказать, в приюте мы и то чище были. Но здесь все «искрились». В основном как Билли, то есть чуть-чуть, но сразу стало понятно, почему они такие грязные: не каждая мать рискнет запихивать ребенка в ванну, если он, разозлившись, может наслать на нее какую-нибудь болезнь.

Времени было, наверно, уже половина девятого, но даже самые маленькие еще не спали. Они, видимо, разрешают своим детям играть до тех пор, пока те сами не свалятся с ног и не заснут. Я еще подумал тогда, что приют в каком-то смысле пошел мне на пользу: я по крайней мере знал, как себя вести на людях — не то что один из мальчишек, который расстегнул штаны и пустил струю прямо при всех. Я вышел из машины, а он стоит себе, дует и смотрит на меня как ни в чем не бывало. Ну прямо как собака у дерева. Ему приспичило — взял и сделал. Если бы я выкинул такой фортель в детском доме, мне бы здорово всыпали.

Я знаю, как вести себя, например, с незнакомцами, если нужно доехать куда-то автостопом, но в большой компании теряюсь: из детского дома не очень-то куда приглашают, так что опыта у меня никакого. Короче, «искры» там или нет, я все равно вел себя сдержанно. Отец хотел сразу отвести меня к папаше Лему, но мама решила что меня нужно привести в порядок с дороги и, может,

догадалась, что мне надо в туалет. Она потащила меня в дом и сразу отправила в душ, а когда я вышел, на столе меня ждал сэндвич с ветчиной. Рядом, на льняной салфетке, стоял высокий стакан с молоком, таким холодным, что аж стекло запотело... Примерно то самое, о чем мечтают приютские мальчишки, когда думают, как это здорово — жить с мамой. А то, что ей далеко до манекенщицы из каталога, так это бог с ним. Сам — чистый, сэндвич — вкусный, а когда я поел, она мне еще и печенья предложила.

Все это, конечно, было приятно, но в то же время я чувствовал себя словно обманутым. Опоздали, на много, черт побери, опоздали. Мне бы все это не в семнадцать лет, а в семь...

Но она старалась, и в общем-то, это не совсем ее вина. Я доел печенья, допил молоко и взглянул на часы: уже десятый час пошел. Снаружи стемнело, и большинство ребятшек все-таки отправились спать. Затем пришел отец и сказал:

— Папаша Лем говорит, что он не становится моложе.

Патриарх семейства ждал нас на улице, в большом кресле-качалке на лужайке перед домом. Толстым его не назовешь, но брюшко он отрастил. Старым тоже вряд ли бы кто назвал, однако макушка у него была лысая, а волосы по краям — жидкие, тонкие и почти белые. Вроде не противный, но губы мягкие, и мне не понравилось, как они шевелятся, когда он говорит.

Впрочем, какого черта? Толстый, старый и противный — я его возненавидел с первой же секунды. Мерзкий тип. Да и «искрил» он не больше, чем мой отец, — вышло, что главный тут вовсе не тот, у кого больше этих способностей, которые отличают нас от других людей. Я еще подумал: интересно, насколько он мне близкий родственник? Если у него были дети и они выглядели так же, как он, их просто из милосердия следовало утопить сразу же.

— Мик Йоу, — обратился он ко мне. — Дорогой мой Мик, мальчик мой дорогой...

— Добрый вечер, сэр, — сказал я.

— О! Он еще и воспитанный. Мы правильно поступили, жертвуя так много детскому дому. Они отлично о тебе позаботились.

— Вы переводили приюту деньги? — спросил я. Если они действительно переводили, то уж никак не «много».

— Да, кое-что. Достаточно, чтобы покрыть твоё довольствие, проживание и христианское воспитание. Но никаких излишеств, Мик. Ты не должен был вырасти размазней, нет — наоборот, сильным и твердым. И ты должен был познать лишения, чтобы уметь сострадать. Господь Бог наградил тебя чудесным даром, великой своей милостью, огромной Божьей силой, и мы обязаны были позаботиться, чтобы ты оказался достоин чести сидеть на Божьем пиру.

Я только что не обернулся — посмотреть, где тут телекамера. Ну прямо как проповедник телевизионный. А он продолжает:

— Ты уже сдал первый экзамен, Мик. Простил своих родителей за то, что они оставили тебя сиротой. Ты послушался святой заповеди. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Если бы ты поднял на них руку, Господь сразил бы тебя на месте. Истинно тебе говорю: все это время ты был под прицелом двух винтовок, и если бы родители ушли без тебя, ты бы пал замертво на этом кладбище черномазых, ибо Господь не терпит непослушания.

Я не знал, хочет ли он меня на что-то спровоцировать, или просто напугать, или еще что, но так или иначе, это подействовало.

— Господь выбрал тебя служить ему, Мик, — так же как и всех нас. Остальной мир этого не понимает. Но прадед Джейк узрел свет. Давно, еще в 1820-м, он увидел, что все, на кого обращена его ненависть, отправляются на тот свет, хотя он и пальцем о палец не ударяет. Поначалу он думал, что стал как те старые ведьмы, которые напускают на людей порчу, чтоб люди волей дьявола иссыхали и умирали. Но он чтит Господа нашего и не имел с Сатаной ничего общего. Жизнь его проходила в суровые вре-

мена, когда человека запросто могли убить в ссоре, но прадед Джейк никогда не убивал. Даже не ударил никого кулаком. Он был мирным человеком и всегда держал свою злость в себе, как и повелевал Господь в Новом Завете. Ясно, он не служил Сатане.

Папаша Лем говорил так громко, что его голос разносился над всем маленьким городком, и я заметил, как вокруг нас собираются люди. В основном взрослые и несколько подростков — может быть, послушать папашу Лема, но скорее всего, посмотреть на меня, потому что, как и говорила та леди в Роаноке, среди них не было ни одного даже наполовину такого «искристого». Не знаю, понимали ли это они, но я-то видел. По сравнению с обычными людьми, все они были достаточно «пыльные», но если сравнивать со мной — или даже с моими родителями, — они еле-еле светились.

— Он изучал Святое писание, чтобы понять, почему же его враги умирают от опухолей, кровотечений, чахотки и внутренней гнили, и нашел-таки стих в Книге Бытия, где Господь говорит Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И в сердце его воцарилось понимание, что Господь избрал его так же, как и Авраама. И когда Исаак передал благословение Божье Иакову, он сказал: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя — прокляты; благословляющие тебя — благословенны!» И заветы главы рода снова воплотились в прадеде Джейке, ибо кто проклинал его, был проклят Господом.

Надо сказать, когда он произносил эти слова из Библии, папаша Лем звучал как сам глас Господень. Меня прямо какой-то восторг охватил, я чувствовал, что да, мол, это Господь дал моей семье такую силу. И как сказал папаша Лем, всей семье, ибо ведь Господь обещал Аврааму, что детей у него будет столько же, сколько звезд на небе — явно больше, чем те, о которых Авраам знал, потому как телескопа у него не было. И теперь, мол, этот завет переходит к прадеду Джейку — так же как тот, в

котором говорится: «...и благословятся в тебе все племена земные». Ну а прадед Джейк засел изучать Бытие, чтобы исполнить Божьи заветы, как древние патриархи. Он увидел, как они старались жениться только на своих — ну, помните, Авраам женился на дочери своего брата, Саре, Исаак женился на двоюродной сестре Ревекке, Иаков — на сестрах Лии и Рахили... Прадед Джейк бросил свою первую жену, потому что она «была недостойна» — видимо, не особенно «пыльная», — и начал подкатывать к дочери своего брата, а когда тот пригрозил убить его, если прадед Джейк хоть пальцем ее тронет, они сбежали, а его брат умер от порчи, как случилось и с отцом Сары в Библии. Я хочу сказать, что все у него вышло как по Святому писанию. Своих сыновей он переженит на их сестрах, и у детей вдвое прибавилось «искристости» — ну прямо как когда породистых собак скрещивают, чтобы не мешать кровь с другими видами, и порода остается чистой.

Там еще много чего было про Лота и его дочерей, и если мы, мол, будем верны Господу, то своим смирением унаследуем всю Землю, потому что мы — избранный народ и Господь поразит всех, кто встанет на нашем пути. Но суть сводилась вот к чему: ты женишься, на ком скажет патриарх, а патриарх тут папаша Лем. Это он выдал маму за отца, хотя они росли вместе и никогда особенно друг другу не нравились. Тем не менее он видел, что они «особо избранные», а это означало, что более «искристых», чем они, просто не было. А я, когда родился, стал вроде подтверждения правоты папаши Лема, потому как Господь, мол, наградил их ребенком, который «пылил» сильнее, чем грузовик на грунтовой дороге.

Особенно его интересовало, не успел ли я уже кого трахнуть. Он так и спросил:

— Не проливал ли ты семя среди дочерей Измаила и Исава?

Я в общем-то знал, что такое «пролить семя», поскольку нам об этом говорили в детском доме, но не очень понимал, кто такие «дочери Измаила и Исава». Впрочем, у меня хоть и были свидания, но до дела ни разу не дошло, так что я решил сказать «нет». Однако я на секунду задумался.

мался, потому что вспомнил ту леди в Роаноке, которая так меня распалила одним своим желанием. Еще немного, наверно, и я бы все-таки, что называется, потерял невинность. Может, она как раз и есть одна из дочерей Исава?..

Папаша Лем заметил, что я ответил не сразу, и тут же прицепился:

— Не лги, сынок. Я вижу, когда мне лгут.

Ну, поскольку я сам это умею, у меня не было оснований ему не верить. Но с другой стороны, мне взрослые сто раз говорили, что, мол, запросто могут отличить вранье от правды — хотя в половине случаев, когда я говорил правду, меня обвиняли во лжи и столько же раз верили, когда я попросту вешал им лапшу на уши. Так что, кто его знает — может, он и видит, а может, и нет. Я решил, что буду говорить только то, что захочу.

— Я просто стеснялся сказать, что у меня не было женщины, — говорю.

— О, как же мир погряз в греховных заблуждениях! Распушенность считается теперь таким нормальным явлением, что юноша стыдится признать свое целомудрие. — Затем в его глазах блеснул хитрый огонек. — Я знаю, что дети Исава следили за тобой и стремились похитить твое право первородства. Разве нет?

— Я не знаю, кто такой Исав, — говорю.

В толпе собравшихся прокатился ропот.

— В смысле, я знаю, кто он в Библии, — брат Иакова, тот самый, что продал ему право первородства за чечевичную похлебку.

— Иаков был наследником по праву и воистину старшим сыном. А Исав покинул отца, ушел в пустыню, отказавшись от Бога, и погряз во лжи и грехах мира. Это Исав женился на чужой женщине не из избранного народа. Ты меня понимаешь?

К тому времени до меня уже дошло: видимо, по ходу дела кому-то осточертело жить под пятой папашы Лема — или его предшественника, — и вышел раскол.

— Остерегайся же, — добавил папаша Лем, — ибо дети Исава и Измаила по-прежнему жаждут прибрать к рукам наследие Иакова. Жаждут осквернить чистое семя праде-

да Джейка. У них хватает благословения Божьего, чтобы понять, насколько ты особенный — как Иосиф, которого продали в Египет, — и они явятся к тебе со своими паскудными планами — как явилась к Иосифу жена Потифара, — чтобы убедить тебя подарить им свое чистое неоскверненное семя и вернуть себе благословение Божье, которое отвергли их отцы.

Надо сказать, что мне не очень-то нравилось, как он то и дело говорит про мое семя, да еще при всех, но дальше было еще почише. Папаша Лем махнул рукой девушке, что стояла в толпе, и она подошла ближе. В общем-то, очень даже ничего для такой глуши. Волосы немного блеклые, слегка сутулится, и я бы не сказал, что слишком опрятная, но на лицо очень даже ничего, и улыбка хорошая. Короче, симпатичная девчонка, но не в моем вкусе, если вы меня понимаете.

Папаша Лем нас тут же и познакомил: оказалось, она — его дочь. Видимо, этого стоило ожидать. А потом он вдруг говорит:

— Пойдешь ли за этого мужчину?

Она посмотрела на меня, ответила: «Пойду», улыбнулась своей широкой улыбкой, и тут все это началось снова, как с той леди в Роаноке, только раза в два сильнее, потому что та вообще едва «искрила». Я стоял как вкопанный, а мысли все крутились вокруг одного: как, мол, мне хочется раздеть ее и сделать прямо тут, пусть даже на глазах у всех — настолько сильно я ее хотел, что мне просто плевать было на всех этих людей, пусть смотрят.

И самое главное, мне это ощущение нравилось. Я хочу сказать, от такого чувства не отмахнешься. Но какой-то частью своего сознания я все же не поддался, и как будто мое второе «я» говорит мне: «Мик Уингер, бестолочь ты этакая, в ней же нет ничего, она простая, как дверная ручка, а все эти люди стоят и смотрят, как она из тебя дурака делает». И вот этой самой частью сознания я начал заводить, потому что мне не нравилось, как она заставляет делать меня что-то против моей воли, да еще на глазах у всех, а больше всего меня допекло, что папаша Лем сидит и смотрит на свою дочь и на меня словно мы в каком грязном журнальчике.

Но тут такое дело: я, когда заводжусь, начинаю «искрить» еще сильнее, и чем больше заводжусь, тем больше вижу, как она это делает — будто магнит, который тянет меня к ней. И как только мне подумалось про магниты, я взял все эти свои «искры» и пустил в дело. Нет, не чтобы ей какую порчу устроить или еще что — на этот раз я сделал по-другому, не так, как с людьми, которых убивал. Я как бы развернул ее «искры», направил их назад. Она по-прежнему «искрила», но все шло обратно, и ее в ту же секунду словно вовсе не стало. В смысле, я, конечно, видел ее, но почти не замечал. Как будто и нет ее.

Папаша Лем вскочил, все остальные заохали. И понятное дело, эта девица перестала в меня «искрить», упала на колени, и ее тут же вывернуло. Должно быть, у нее желудок был слабый, или, может, я немного перестарался. Она «искрила» в меня изо всех сил, и когда я пустил все это обратно в нее, да еще и сделал наоборот... Короче, ее пришлось поднимать, потому что сама она едва держалась на ногах. Да еще и распахивалась, плакала и кричала, что я отвратительный урод, — может, мне бы даже обидно стало, но только в тот момент я больше испугался.

Папаша Лем выглядел как сам гнев Господень.

— Ты отверг святое таинство брака! Ты оттолкнул деву, уготованную тебе Господом!

Должен сказать, что я тогда еще не во всем разобрался, иначе я, может, и не боялся бы его так сильно. Но кто его знает, думал я, вдруг он прямо сейчас убьет меня раковой опухолью? А уж в том, что он может просто приказать людям забить меня насмерть или еще что, я даже не сомневался. Так что испугался я не зря. Нужно было срочно придумать что-то, чтобы он не злился, и, как оказалось, я не так уж плохо придумал: сработало ведь...

Спокойно так — изо всех сил сдерживаясь — я ему говорю:

— Эта дева меня не достойна. — Не зря же я смотрел всех этих проповедников по ящику: в памяти кое-что застряло, и я знал, как говорить словами из Библии. — Она недостаточно благословлена, чтобы стать мне женой. Даже до моей мамы ей далеко. Господь наверняка приготовил для меня кого-то получше.

Это его и в самом деле успокоило.

— Да, верно,— сказал папаша Лем, и теперь уже вовсе не как проповедник; теперь на проповедника больше походил я, а он говорил тихо и спокойно:

— Ты думаешь, я этого не знаю? Во всем виноваты проклятые дети Исава, Мик... У нас было пятеро девочек — и гораздо более «пыльных», чем она,— однако нам пришлось отдать их в другие семьи, потому что они были вроде тебя: даже не желая того, они просто убили бы своих родителей.

— Но меня-то вы вернули.

— Ты остался в живых, Мик, так что с тобой, согласишься, было гораздо легче.

— Вы имеете в виду, что никого из них уже нет?

— Дети Исава,— повторил он.— Трех они застрелили, одну задушили, а тело пятой мы так и не нашли. Ни одна из них не дожила до десяти лет.

Я сразу вспомнил, как та леди в Роаноке говорила, что не один раз смотрела на меня через перекрестье прицела. Однако она сохранила мне жизнь. Почему? Из-за этого моего семени? Но у девчонок ведь тоже есть — семя или еще там что. Тем не менее их убили, а меня оставили в живых. Я не знал зачем. И черт побери, до сих пор не знаю. Зачем, если вы собираетесь держать меня взаперти до конца жизни? С таким же успехом можно было прострелить мне башку лет в шесть, и я прямо сейчас могу назвать целый список людей, которые остались бы тогда жить. Короче, если вы меня не выпустите, благодарить мне вас не за что.

Но папаше Лему я сказал, что ничего не знал — жаль, мол, сочувствую.

— Мик,— сказал он,— ты вправе быть разочарованным, поскольку Господь облагодетельствовал тебя такой великой силой. Но клянусь тебе, из всех наших девушек брачного возраста моя дочь самая достойная. Я не пытался всучить ее тебе, потому что она моя дочь,— это было бы святотатством, а я неизменно служу Господу. Люди подтвердят, что я не предложил бы тебе свою дочь, не будь она самой достойной.

Если она у них самая лучшая, подумал я, то законы против кровосмешения не зря придумали. Но папаше Лему сказал:

— Тогда, может быть, стоит подождать: наверняка есть кто-то моложе, кому еще рано сейчас жениться.— Я вспомнил историю Иакова из воскресной школы и, поскольку они так на этом Иакове помешались, добавил: — Помните, Иаков ждал семь лет, прежде чем женился на Рахили. Я готов подождать.

Это на него уж точно произвело впечатление.

— У тебя воистину пророческая душа, Мик. Не сомневаюсь, что когда-нибудь, когда Господь заберет меня к себе, ты займешь мое место. Но я надеюсь, ты помнишь также, что перед Рахилью Иаков взял в жены ее старшую сестру Лию.

Уродину, подумал я, но промолчал. Просто улыбнулся и сказал, что запомню и что, мол, об этом вполне можно поговорить и завтра, а сейчас уже поздно, я устал, и со мной много чего случилось, что надо обдумать. Потом совсем уже разошелся — в смысле библейских дел — и добавил:

— Помните, Иаков, перед тем как увидеть во сне легиону, лег спать.— Все рассмеялись, но папаша Лем еще не успокоился. Он согласился, что со свадьбой можно несколько дней подождать, но один вопрос ему хотелось выяснить сразу. Он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Мик, тебе придется сделать выбор. Господь говорил, что кто не с ним, тот против него. Иисус говорил: сегодня избери, кому служить будешь. И Моисей говорил: «Во свидетели перед вами призываю небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое».

Я так думаю, что яснее и не скажешь. Мне предоставили выбирать: либо жить среди избранного народа, среди этих чумазых детишек, под властью мерзкого старика, который будет указывать, на ком мне жениться, и решать, буду ли я воспитывать своих детей, либо уйти, чтобы мне разнесли башку выстрелом из винтовки, или, может, напустить на меня рак — я не знал, как они решат: прикончить меня быстро или медленно. Хотя им, пожалуй,

лучше было сделать это быстро — чтобы я, значит, не успел пролить семя среди дочерей Исава.

Ну я и пообещал ему, как мог искренне, что буду, мол, служить Господу и жить среди них до конца своих дней. Я уже говорил, что не знал, чувствует ли он вранье на самом деле, но папаша Лем кивнул и улыбнулся — вроде как поверил. Однако я-то знал, что это ложь, а значит, он мне не поверил, то есть, как говорил сын мистера Кайзера, Грегги, я — в дерьме и по самые уши. Более того, я чувствовал, что папаша Лем зол как черт и сильно напуган, хотя он изо всех сил старался это скрыть, улыбался и внешне никак себя не выдавал. Он знал, что я вовсе не собираюсь жить с этими психами, которые засаживали своим сестрам и оставались такими же темными, как в прошлом веке. А это означало, что он уже планирует убить меня, и видимо, не когда-нибудь, а скоро.

Впрочем, ладно, я лучше скажу здесь правду: на самом деле я усомнился, что он мне поверил, только когда шел к дому. А когда мама отвела меня в чистую симпатичную комнату на втором этаже и, предложив чистую симпатичную пижаму, захотела забрать джинсы, рубашку и все остальное, чтобы привести их в порядок — только тут я подумал, что в эту ночь одежда мне, возможно, очень понадобится. Я здорово разозлился, пока она не отдала мне все назад — явно испугавшись, что я что-нибудь с ней сделаю. Потом мне, конечно, пришло в голову, что, не отдав им одежду, я сделал еще хуже: теперь они подумают, что я планирую смыться этой же ночью. Может, они раньше и не планировали меня убить, но теперь-то точно соберутся, так что я, возможно, сам себя заложил. Хотя с другой стороны, лучше ошибиться в одном и по крайней мере остаться с одеждой, чем ошибиться в другом, чтобы потом улепетывать в одной пижаме. Босиком и в пижаме по проселочной дороге не очень-то далеко убежишь, даже летом.

Мама вышла и спустилась вниз, я снова оделся, обулся и лег под одеяло. Мне приходилось в свое время ночевать на улице, так что спать в одежде было делом привычным. А вот то, что пришлось влезть на простыню в ботинках,

прямо-таки не давало мне покоя. В детском доме на меня бы так за это наорали, что на всю жизнь бы запомнилось.

Лежа в темноте, я пытался придумать, что делать дальше. Как выбраться из дома на дорогу, я знал, но что толку? Надо знать, где ты, куда выходит дорога, как далеко идти, а через лес в Северной Каролине ночью не очень-то срежешь: если не свалишься куда-нибудь в темноте, то нарвешься на самогонщиков или тайную плантацию марихуаны, где тебе башку отстрелят как нечего делать. Или же окажешься на табачных полях, и злющая фермерская собака просто перегрызет тебе глотку. Вот и получается, что оставалось бежать по дороге, ведущей неизвестно куда, где им ничего не стоит меня догнать — если они решат меня задавить, даже страх перед раком не остановит джип с четырехколесным приводом.

Я подумал, что можно бы угнать машину, но совершенно не представлял себе, как ее завести без ключа — этому, понятное дело, в детском доме не учат. Вернее, я представлял, но только в общих чертах, поскольку читал кое-что по электричеству в тех книгах, которые одолжил мне мистер Кайзер, чтобы я готовился сдать экзамены в среднюю школу, но там тоже, разумеется, не писали, как завести «линкольн» без ключа. В общем-то я и водить толком не умел: парни обычно усваивают такие вещи от отца или от друзей в школе, а я все это упустил.

Может, я задремал, может, нет, но вдруг понял, что вижу в темноте. Не глазами, разумеется, вижу, а чувствую, как передвигаются вокруг люди. Поначалу не очень далеко и не очень четко, но по крайней мере я ощущал ближних, тех, кто в доме, — разумеется, потому что они «искрили». Однако, лежа на постели и воспринимая их сигналы — то в ритмах сна, то движущиеся, — я неожиданно для себя начал понимать, что и всегда чувствовал людей, только не осознавал этого. Они не «искрили», но я всегда знал, где они — словно тени, плавающие где-то в мыслях на заднем плане. Я не осознавал, что это, но они постоянно были со мной. Как в тот раз, когда Диз Риддл в десять лет получил свои первые очки и вдруг начал прыгать и вопить от радости, потому что увидел столько всего нового. Вернее, он всегда видел разные вещи, но

в половине случаев не знал, что это такое. Например, рисунки на монетах: он чувствовал, что на монетах есть какой-то рельеф, но только в очках увидел, что это рисунки, надписи и все такое. Вот и со мной случилось примерно то же самое.

Я лежал и вдруг увидел у себя в голове словно целую картину, где тут и там обозначались люди; чем больше я старался, тем лучше видел. Скоро не только в своем доме, но и в других тоже, только слабее, не так четко. Однако я не видел стен и не понимал, где кто находится: на кухне, или в туалете, или еще где. Приходилось напряженно думать, и это отбирало все силы. Единственное, что помогало, это электропроводка под током, так что когда был включен свет, или электрические часы, или еще что-то, я видел такую тонкую линию, едва заметную, бледнее даже чем тени людей. Не бог весть что, но по крайней мере я мог иногда догадаться, где проходят стены.

И если я не мог сказать, кто есть кто, то во всяком случае мог угадать, кто что делает. Например, кто спит, а кто нет. Неясно было также, где взрослые, а где дети, потому что я ощущал не размер, а яркость, и только по яркости я определял, кто из них близко, а кто далеко.

Мне, можно сказать, повезло, что я выпался днем, когда тот тип вез меня от Роанока до Идена. Вернее, везение тут сомнительное, поскольку мне совсем не хотелось в Иден, но по крайней мере я отоспался, а значит, мог продержаться дольше и выждать, пока все улягутся.

В соседнем доме их было сразу несколько. Я не сразу разобрался, кто там кто — трое из них здорово «искрили», и поначалу мне показалось, что они просто ближе других, — но потом я сообразил, что это, наверно, родители и папаша Лем, плюс еще кто-то. Короче, они там посоветовались какое-то время, потом закончили, и все, кроме папаши Лема, перешли в мой дом. Я не знал, о чем шел разговор, но чувствовал, как они напуганы и злы. Впрочем, больше напуганы. Я тоже здорово испугался, но заставил себя успокоиться, чтобы ненароком кого-нибудь не убить. Таким образом я и держал себя в руках, чтобы не очень заряжаться и «искрить» — пусть думают, что сплю.

Они видели хуже меня, так что это могло помочь. Сначала я думал, все заявятся наверх и прикончат меня, но нет, они остались ждать внизу, и только один из них поднялся на второй этаж. Однако он даже не зашел ко мне — только прошелся по другим комнатам, разбудил тех, кто там спал, и заставил спуститься вниз, а потом выгнал из дома.

Это меня еще больше напугало. Тут уже никаких сомнений не оставалось: они не хотели, чтобы я «искрынул» кого-нибудь поблизости, когда на меня набросятся. Хотя с другой стороны, подумал я, это неплохой признак: бояться — и правильно. Я мог протянуться дальше их всех и ударить сильнее. Кроме того, когда я вернул дочери папаши Лема, что та на меня наслала, они поняли, что я способен отразить их удар, если им вздумается меня «запылить». Разумеется, они не знали, на что я еще способен.

Но я этого и сам тогда не знал.

Наконец все выбрались из дома, кроме той компании на первом этаже. Вокруг дома тоже стояли — может, кто следил за мной, может, просто так, но я решил, что выбираться через окно будет рискованно.

Затем кто-то один снова двинулся наверх. Сгонять вниз больше было некого, так что, понятно, шли по мою душу. Всего один человек, но легче от этого не становилось — любой взрослый, умеющий управляться с ножом, мог бы, наверно, со мной справиться. Я еще не совсем вырос — во всяком случае, надеюсь, — а драться мы в приюте особенно не дрались. Так, мутузили друг друга во дворе, конечно, но это не серьезно. Я даже пожалел на мгновение, что не занялся в свое время «кунгфу» вместо того, чтобы просиживать за учебниками, стараясь наверстать недоученное в приютской школе. Мертвому ни математика, ни другие науки уже не понадобятся.

Хуже всего было то, что я его не видел. Может, на самом деле они просто убрали из дома всех детей, чтобы, проснувшись утром, те меня не разбудили. Может, они хотели как лучше. А этот, на лестнице, поднимался, чтобы проверить, все ли у меня в порядке, или принести

чистую одежду, или еще что — кто его знает? Я ведь не знал наверняка, что он хочет меня убить, — как же я мог «искрануть» его, не будучи уверен? Но если это действительно так, тогда, конечно же, лучше было бы разделаться с ним, прежде чем он доберется до меня...

Так или иначе, решать мне не пришлось. Пока я лежал и думал, что делать, он поднялся по лестнице, подошел к двери, повернул ручку и вошел в комнату.

Я старался дышать мелко и ровно — как спящий. И старался не «искрить» слишком сильно. Если он просто проверяет, то сейчас уйдет.

Человек не ушел. Двигался он очень тихо — чтобы я случайно не проснулся. И напуган был — дальше некуда. Так напуган, что я сразу понял: он здесь отнюдь не для того, чтобы подоткнуть мне одеяло или пожелать спокойной ночи.

И я решил его «искрануть». Но оказалось, у меня нет никаких «искр»! В смысле, я не злился и ничего такого. Я никогда раньше не пробовал убить кого-нибудь специально, это всегда случалось, потому что я уже был на взводе и просто терял над собой контроль. И сейчас это стремление успокоиться так на меня подействовало, что я не мог ничего сделать. Ни одной лишней «искры» у меня не было, только обычная светящаяся тень, а он уже стоял рядом, и времени не осталось совсем, так что я просто скатился с кровати. В его сторону, что, может быть, глупо — я мог напороться на нож, — но ведь я еще не знал наверняка, что у него есть нож. Я думал, собою его с ног, толкну или еще что.

На полу оказался я один. Я его толкнул и грохнулся на пол, но он устоял и даже успел полоснуть меня по спине. Не очень сильно, больше рубашке досталось, но, поняв, что он с ножом, я был не то что напуган — в ужасе. Я вскарабкался на ноги и на четвереньках отполз в сторону. Света от окна считай что никакого не было, и мы ходили будто в большом темном шкафу. Я не видел его, он — меня. Вернее, я-то его видел — или по крайней мере чувствовал, где он, — и теперь сам «искрил» как ненормальный, так что этот человек тоже должен был меня

видеть, если только они не послали кого-то с совсем уж слабыми способностями.

Но оказалось, так оно и есть. Он просто топтался по комнате и, видимо, надеясь меня зацепить, размахивал ножом — я слышал свист. Меня он просто не видел.

А я все это время старался завестись, но ничего не выходило. По желанию никогда нельзя разозлиться. Может быть, у хорошего актера это получится, но я не актер. Короче, я был напуган и «искрил», но никак не мог послать импульс в него. И чем больше об этом думал, тем спокойнее становился.

Вроде как всю жизнь носишь с собой автомат и время от времени случайно отправляешь на тот свет людей, которым совсем не желаешь зла, а когда тебе в первый раз действительно нужно кого-нибудь пристрелить, автомат заедает.

Я перестал злиться. Просто сидел там, понимая, что скоро умру, и вот наконец научился держать себя в руках, не убивая людей направо и налево — мне уж совсем не хотелось покончить с собой, но как раз теперь-то меня и прикончат. Только у них не хватило духу сделать это в открытую, и они отправили человека перерезать мне глотку во сне. И мои дорогие любящие родители, которых я не видел столько лет, тоже были на том совещании, где все это решалось. Черт, папочка и сейчас стоял внизу, ждал, когда убийца спустится вниз и скажет, что со мной покончено. Будет ли он меня оплакивать? Нет, мол, больше на свете моего маленького мальчика... Лежит теперь Мик в сырой холодной земле...

И вот тут-то я завелся по-настоящему. Все очень просто. Не надо специально себя заводить, надо лишь подумать о чем-то таком, что тебя разозлит. Я и так уже весь «искрил» от страха, а тут еще и завелся, так что теперь во мне этого дела оказалось больше, чем нужно. Только, выпустив свой импульс, я послал его не в того типа, что топтался с ножом по комнате. Огненный шар во мне сам рванулся вниз, через пол и прямо в моего дорогого папочку. Я слышал, как он кричит. Он сразу все почувствовал. И я почувствовал. Я ведь не собирался этого делать. Мы впервые встретились всего за несколько часов до того, но

он ведь был моим отцом, а ему досталось больше, чем доставалось от меня кому-нибудь другому за всю мою жизнь. Я не собирался убивать отца, ей-богу. Это же дико.

Потом я вдруг словно ослеп. В первую секунду мне показалось что это ответный импульс, «искры», но я тут же понял, что включился верхний свет в комнате. До человека с ножом наконец дошло, что свет нельзя было включать лишь потому, что я спал, но раз я не сплю, ему же будет лучше, когда видно, что делаешь. К счастью, свет ослепил его так же, как и меня, иначе я бы и понять ничего не успел, а он уже всадил бы в меня нож. Пока он моргал, я успел перебраться в дальний угол комнаты.

Надо сказать, я никакой не герой. Но в тот момент я всерьез думал, что брошусь на этого типа. Может, он и убил бы меня, но ничего другого в голову не приходило.

Потом я вдруг сообразил. Идею подсказали провода в стенах с бегущим по ним током. Это ведь электричество, и та леди в Роаноке говорила про мою «биоэлектрическую систему», так что я подумал, вдруг тут что-то получится?

Сначала я хотел что-нибудь закоротить, устроить короткое замыкание, но во мне не настолько много электричества. Затем решил попробовать вроде как подключиться к сети, чтобы добавить силы своим импульсам, но вовремя одумался, потому как это все равно что сесть на электрический стул. Вернее, может, мне это и удалось бы, но тут если ошибешься, то уже точно конец.

Однако кое-что я все-таки мог. Рядом на столике стояла лампа. Я содрал с нее абажур и швырнул его в того типа — он все еще стоял у двери и соображал, видимо, что это за крик раздался внизу. Я схватил лампу, включил ее, а затем разбил лампочку о столик — посыпались искры, и она погасла.

Я держал лампу в руке, как дубину — чтобы он подумал, будто я именно так и собираюсь ею воспользоваться. Наверно, если бы мой план не сработал, я бы так и поступил — попытался выбить лампой нож или еще что. Но пока он смотрел на меня, готовясь броситься вперед, я вроде как ненамеренно опустил лампу разбитым концом

на кровать и воспользовался своими «искрами», скопившимися во мне зарядом злости. Я не мог метнуть заряд в того типа — вернее, мог, но это было бы как с водителем автобуса: смерть, например, от рака легкого через шесть месяцев. К тому времени я бы уже полгода как дал дуба от многочисленных ножевых ран.

Короче, я качал искры и гнал их по руке, а затем дальше, через всю лампу, словно растягивал свою тень. И получилось! Искры текли до конца лампы и накапливались там беспрерывно, а я тем временем думал о том, как папаша Лем решил убить меня, потому что я посчитал его дочь уродиной, и как он заставил меня убить отца, хотя и я знал-то его меньше чем полдня, и все это время заряжался, заряжался...

Наконец зарядился достаточно, и внутри разбитой лампочки начали проскакивать искры — прямо по простыне. Настоящие искры, которые я не только чувствовал, но и видел. Через две секунды постель вспыхнула, и вот тут-то я размахнулся лампой, вырвал шнур из розетки, и швырнул ее в этого типа. Он присел, а я в ту же секунду сгреб с постели горящее покрывало и бросился на него. Я не знал, на ком из нас раньше загорится одежда, но подумал, что это будет слишком для него неожиданно, и он не догадается ткнуть меня ножом через покрывало. Так и вышло: он выронил нож и попытался сбросить с себя покрывало, что ему не очень-то удалось, потому что я не отпускал. Затем он рванулся к двери, но я двинул его носком ботинка по лодыжке, и он растянулся на полу, все еще сражаясь с покрывалом.

Я схватил его нож и полоснул ему по ноге, сзади. Нож оказался острый, как бритва. Может, я, конечно, был здорово зол и испуган и потому полоснул сильнее, чем мне казалось, но получилось чуть не до самой кости. Он все еще боролся с горящим покрывалом и кричал, кровь хлестала, а огонь уже перекинулся на обои, и я подумал, что у меня будет больше шансов смыться, когда им придется тушить пожар.

Еще я подумал тогда, что не очень-то далеко убегу, если сгорю вместе с домом. И подумав о смерти в огне,

понял, что человек, который пришел меня убивать, уже горит, и это сделал с ним я, сделал что-то столь же ужасное, как рак. Но мне было все равно: я убил столько народа, что теперь это никак меня не задело, тем более что он сам пытался меня убить. И никакой жалости к нему я не испытывал, потому что старому Пелегу было ничуть не лучше. По правде сказать, мне даже стало легче — я вроде как поквитался с ними за смерть Пелега, хотя на самом деле обоих убил я сам. И если вы спросите, как можно сквитаться за Пелега, убив кого-то еще, то я скажу, что в этом все-таки есть какой-то смысл — я ведь по их вине рос в приюте, а не там, среди своих. А может, смысл был в том, что этот тип заслуживал смерти, а старый Пелег — нет, и тот, кто заслуживал, должен был умереть смертью такой же страшной. Не знаю. В общем-то, я тогда об этом и не раздумывал. Просто слышал, как он кричит, но даже не хотел ему помочь... Нет, я не злорадствовал, не думал: «Гори, сволочь, так тебе и надо» или еще что-нибудь в таком духе, но в то же время чувствовал, что я не человек — монстр, чудовище, как мне всегда и казалось. Вроде тех, что бывают в фильмах ужасов. А тут прямо как из фильма про какого-нибудь садиста-убийцу: человек катается по полу, горит и кричит, а чудовище стоит посреди огня, и ему хоть бы что.

Правда. Меня огонь даже не тронул. Все вокруг горит, но передо мной пламя словно отступает — столько во мне искр от ненависти к самому себе, что ему вроде как просто не подойти. Я с тех пор много об этом думал. В том смысле, что даже этот шведский ученый не знает о биоэлектрических делах все до конца. Может быть, когда я завожусь и начинаю сильно «искрить», получается так, что меня нельзя убить. Может, эти генералы в Гражданскую войну вот так и скакали по полю боя под пулями — или это про другого генерала, во Вторую мировую? — и ничего им не делалось. Может, когда ты слишком сильно заряжен, с тобой просто ничего не может случиться. В общем, не знаю. Но когда я решил двигаться и открыл дверь, горела уже вся комната и сама дверь. Однако я просто открыл ее и вышел в коридор. Сейчас вот у меня на руке повязка — это доказывает, что раскаленную дверную руч-

ку я без всякого вреда схватить все же не мог, но ни один человек не выжил бы там, а я вышел и хоть бы волосок пригорел.

Я не знал, кто есть в доме, но побежал вниз. Определять людей по искрам мне еще было непривычно, так что я даже не догадался проверить. Просто спустился вниз с этим окровавленным ножом в руке. Однако нож оказался не нужен: все убежали еще до того, как я спустился на первый этаж. Все, кроме отца. Он лежал посреди гостиной, сжавшись в комок — голова в луже блевотины, а зад в луже крови — и весь трясся словно от холода. Я его в самом деле убил, потому что внутри у него, наверно, ни одного живого места не осталось. Скорее всего, он меня даже не заметил. Но все-таки это был мой отец, и даже чудовище не оставляет своего отца в горящем доме. Я хотел его вытащить на улицу и схватил за руки.

Только я совсем забыл, что до предела заряжен. Едва я к нему прикоснулся, как все эти искры просто рванулись из меня и обволокли его целиком. Никогда раньше со мной такого не случалось — он весь засветился, как будто часть меня самого, и словно утонул в моем сиянии. Я совсем этого не хотел, но напрочь забыл, что мне нельзя его трогать. Я хотел спасти его — попытаться спасти, — а вместо этого всадил в него такой заряд, какого никогда никому еще не перепало. Тут я просто не выдержал и закричал.

Потом все-таки вытащил отца на улицу. Он весь обмяк, но даже если я его и убил, превратив ему все внутренности в желе, я не хотел, чтобы он оставался в горящем доме. Мне только про это и думалось, а еще, что я должен сам пойти в дом, подняться по лестнице, загореться и умереть.

Но как вы догадываетесь, я ничего такого не сделал. Вокруг все орали: «Пожар! Пожар!» и «Близко не подходить!», и я решил, что лучше будет, пока не поздно, смыться. Тело отца лежало на лужайке перед домом, и я рванул вокруг. Мне показалось, я слышал выстрелы, но может, это просто дерево трещало в огне — не знаю. Я обошел вокруг дома и бросился к дороге, а когда на пути

попадались люди, они просто разбегались в стороны, потому что даже самый последний балбес в этой деревне мог видеть мои искры — так я здорово завелся.

Бежал я, пока не кончился асфальт. Дальше шла грунтовая дорога. Луну заволокло облаками, так что я почти ничего не видел и то и дело натыкался на кусты. Один раз я свалился и, оглянувшись назад, увидел огонь. Горел уже весь дом и даже деревья над ним. Дождя и в самом деле давно не было, так что деревья стояли сухие, и я подумал, что сгорит, наверно не один только этот дом. У меня даже возникла надежда, что они за мной не погонятся.

Глупо, конечно, чего там говорить. Если уж они решились прикончить меня, только потому что я отверг дочку папаши Лема, то как они отреагируют, когда я, считай что, сжег их тайный городишко? Понятное дело, как только им станет ясно, что я сбежал, они бросятся в погоню, и мне еще повезет, если меня пристрелят сразу.

Я подумал, мол, была не была, срежу через лес и где-нибудь спрячусь, но потом решил, что лучше будет идти по дороге как можно дальше — пока не увижу свет фар.

И как раз когда я об этом подумал, дорога кончилась. Вокруг — одни кусты и деревья. Я двинулся назад и попытался отыскать развилку, где я свернул не туда. Долго плутал, как слепой в траве, то и дело теряя колеи грунтовой дороги, и тут увидел свет фар в той стороне, где горели дома — их уже горело по крайней мере три. Они наверняка поняли уже, что городку конец, и, оставив лишь несколько человек, чтобы вывести детей в безопасное место, бросились за мной в погоню. Во всяком случае, думалось мне, я бы именно так и поступил, и черт с ним, с раком; они ведь понимали, что всех сразу мне их не одолеть. А я тем временем даже не мог отыскать дорогу. Когда их машины окажутся достаточно близко, чтобы указать дорогу светом фар, смываться будет уже поздно...

Я только собрался рвануть в лес, как прямо передо мной, футах в двадцати, вспыхнули фары. Тут я чуть в штаны не напустил от испуга. «Все, — подумал, — теперь, Мик Уингер, тебе точно конец».

И вдруг слышу ее голос:

— Мик, идиот, что ты стоишь там, на свету, иди скорей сюда.

Да, та самая леди из Роанока. Я по-прежнему ее не видел, но узнал голос и рванул к машине. На самом деле дорога не кончилась, просто свернула в сторону, и она припарковалась как раз в том месте, где грунтовая дорога сходилась с насыпной. Я подскочил к двери машины — не знаю уж, что это была за машина, может, «блейзер» с четырехколесным приводом, потому что я помню, там был переключатель на четырехколесный привод — но дверь оказалась заперта. В общем, она кричит, чтобы я скорей садился, а я кричу, что никак не открою, но потом наконец дверь открылась, и я забрался внутрь. Она тут же подала назад и развернула машину так резко, что я, не успев закрыть дверь, едва не вывалился. А затем так резко рванула вперед, разбрасывая колесами гравий, что дверь закрылась сама.

— Ремень пристегни,— сказала она мне.

— Ты за мной следила? — спросил я.

— Нет, я просто устроила здесь пикник. И черт побери, пристегни наконец ремень!

Я пристегнул и обернулся назад. У поворота на насыпную дорогу подрагивали пять или шесть пар огоньков — мы оторвались всего на милю.

— Мы искали это место много лет,— сказала она.— Думали, они обосновались в округе Рокингом. Выходит, мы здорово ошибались.

— А где мы сейчас?

— Округ Аламанс.

И тут я словно сорвался:

— Черт бы все побрал! Я убил там своего отца!

— Мик, ты только не злись на меня, только не заводись. Извини. Успокойся.— Наверно, она больше ни о чем и думать не могла: лишь бы я не разозлился и не убил ее ненароком, но мне трудно ее осуждать, потому что справиться с собой в тот раз мне едва оказалось по силам. Если б я не сдержался, я бы ее точно прикончил. Еще и ладонь начала болеть — из-за того, что я схватился за

раскаленную дверную ручку,— и болело все сильнее и сильнее.

Машину она вела быстрее, чем в свете фар возникала дорога. Иногда мы вдруг вылетали на поворот так быстро, что ей приходилось ударять по тормозам,— мы скользили, и я каждый раз думал, что вот сейчас-то нам точно конец. Однако она всякий раз возвращала машину на дорогу. и мы неслись дальше.

У меня уже просто сил не осталось переживать. Я сидел с закрытыми глазами, стараясь успокоиться, но потом вдруг вспомнил отца, лежащего в крови и блевотине,— хотя я его и невзлюбил сразу, но это все равно был мой отец. И того типа вспомнил, что сгорел в моей комнате,— тогда меня это совсем не трогало, но сидя в машине, я снова испугался, разозлился и возненавидел себя пуше прежнего. Я едва сдерживался, но не мог выпустить эти искры, и мне очень хотелось умереть. Затем я вдруг понял, что эта банда, которая за нами гналась, уже близко, и теперь я их чувствую. Вернее, нет, дело не в том, что нас догоняли: просто они были так злы, что «искры» с них сыпались как никогда раньше. Ну я и решил: раз они так близко, значит, я могу разрядиться. Взял и метнул в них весь свой заряд. Не знаю уж, попал я там в кого или нет. Я даже не знаю, может ли моя биоэлектрическая система действовать на таком расстоянии. Однако я по крайней мере сбросил все свои «искры», ничуть не повредив эту леди, что вела машину.

Вскоре мы выехали на асфальт, и я только тут понял, что настоящей бешеной езды мне видеть еще не приходилось: все, что я видел раньше, это цветочки. Она жала на газ, смотрела на поворот дороги впереди и тут же выключала свет, не доехав даже до половины изгиба дороги — рехнуться можно, но смысл тут, конечно, был. Они следовали за светом наших фар, и когда мы их выключили, на какое-то время пропадали из вида. Кроме того, не зная, что впереди поворот, они могли слететь с дороги или по крайней мере замедлить ход. Мы, понятное дело, тоже могли гробануться, но эта леди явно знала, что де-
лает.

Потом мы вылетели на прямой участок дороги с перекрестком где-то через милю впереди. Я подумал, что она свернет, но нет, она гнала машину дальше, в крошечную тьму. Прямой участок казался длинным, но не бесконечным же он, и даже самый лучший водитель не может оценить точно, сколько промчал в полной темноте. Я уже начал думать, что мы вот-вот куда-нибудь вмажемся, но в этот момент она сбросила газ, высунула руку в окно и мигнула фонариком. Ехали мы довольно быстро, но короткой вспышки света хватило, чтобы дорожный знак впереди сверкнул отражающей поверхностью, так что мы знали, где следующий поворот — оказалось, дальше, чем я думал. Она, не сбавляя хода, миновала поворот, затем следующий — каждый раз лишь мигнув вперед фонариком — и только после этого снова включила фары.

Я оглянулся посмотреть, есть ли кто сзади.

— Мы их потеряли!

— Тебе лучше знать.

Протянувшись назад своим полем, я попытался понять, где преследователи, и хотя они были здорово заряжены, на этот раз я их едва почувствовал — где-то далеко, да и к тому же они еще и разделились.

— Они все движутся по разным дорогам.

— Значит, кого-то из них мы потеряли,— сказала она.— Но не всех. Сам понимаешь, они не отстанут.

— Понимаю.

— Ты сейчас — главный приз.

— А ты — дочь Исава.

— Черта с два. Я прапраправнучка Джекоба Йоу, которому случилось обнаружить в себе биоэлектрические способности. Это, знаешь, как если у тебя хороший рост и сила, значит, ты можешь играть в баскетбол. Просто природный талант, ничего больше. Но он свихнулся и занялся кровосмешением во всем своем семействе, и у них появились всякие дурацкие идеи насчет «избранного народа», хотя все это время они оставались самыми обыкновенными убийцами.

— А дальше? — спросил я.

— Ты ни в чем не виноват. Тебя некому было научить. И я тебя не виню.

Но дело все в том, что я сам себя винил.

— Они просто темные неграмотные люди,— продолжала она.— Но моему деду надоело читать Библию и убивать чиновников из налогового ведомства, шерифов и всех остальных, кто им мешал. Ему хотелось понять, почему мы такие. А кроме того, он не хотел жениться на той девочке, что для него выбрали, потому что он, мол, не особенно «пыльный». Пришлось скрываться. Они отыскиали его и пытались убить, но он снова сбежал. Потом женился. Выучился на врача, и его дети выросли с пониманием, что необходимо понять эту силу. Тут ведь все как в старых байках про ведьм, которые если разозлятся, могут напускать порчу или еще что-нибудь в таком духе. Может, они даже не знали, что делают это. Привораживать, приманивать — это худо-бедно все умеют, так же как любой может кинуть мяч и случайно попасть в кольцо, но одни хуже, другие лучше. Люди, которых возглавляет папаша Лем, делают это лучше всех, потому что они добивались результата направленной селекцией. И мы должны их остановить, понимаешь? Мы должны помешать им полностью овладеть своими способностями. Потому что теперь мы знаем о них больше. Тут все тесно связано с процессами самоисцеления. В Швеции уже пробовали лечить опухоли, меняя направления токов. Рак, понимаешь? Прямая противоположность тому, что делал ты, но принцип тот же самый. Ты понимаешь, что это значит? Если бы люди папаши Лема научились управлять своими способностями, то они могли бы стать не убийцами, а целителями. Может быть, нужно просто делать это не со злостью, а с любовью.

— А тех маленьких девчонок в приютах вы тоже убивали с любовью? — спросил я.

Она ничего не ответила и продолжала гнать машину вперед.

— Черт! — сказала она спустя какое-то время.— Дождь пошел.

Дорога буквально в два счета намокла, и мы чуть снизили скорость. Я оглянулся — позади снова маячили фары. Далеко, но я их все-таки видел.

- Они нас опять догоняют.
- Я не могу ехать по такой дороге быстрее.
- Их дождь тоже замедлит.
- Не при моем везении.
- Пожар, наверно, погаснет. Там, в городке.
- Это уже не имеет значения. Они переберутся на новое место. Ты с нами, и теперь они знают, что мы их засекли.

Я извинился за то, что причинил столько хлопот, а она говорит:

— Мы не могли допустить, чтобы ты погиб. Я просто должна была попытаться тебя спасти.

— Зачем? — спросил я. — Зачем вам это нужно?

— Если хочешь, могу и так сказать: если бы ты решил остаться с ними, я должна была тебя убить.

— Знаешь, — говорю, — ты прямо богиня милосердия. — Потом подумал немного и добавил: — А вообще, ты не лучше их. Ты, как и они, хочешь от меня ребенка. Я вам только на расплод и нужен — как племенной самец.

— Если бы нужен был *только* для этого, — сказала она, — я бы сделала все, что требуется, еще там, на холме, сегодня утром. В смысле, вчера. Вернее, ты бы сам все сделал. И вообще-то мне следовало тебя заставить: если бы ты решил остаться с ними, единственной нашей надеждой стал бы твой ребенок, которого мы вырастили бы приличным человеком. Однако оказалось, ты и сам приличный человек, так что убивать тебя не пришлось. Теперь мы сможем изучать тебя и узнаем много нового — ты ведь самый сильный из живущих обладателей этого дара. — Так прямо и сказала.

— А вам, — говорю, — не приходило в голову, что мне, может быть, не захочется, чтобы меня изучали?

А она мне в ответ:

— Может быть, то, что тебе хочется или не хочется, не имеет никакого значения.

И тут в нас стали стрелять. Дождь все еще поливал, но они все-таки нагнали нас настолько, что уже можно было стрелять. И у них неплохо получалось, надо сказать: первая же пуля, которую мы заметили, пробила заднее

стекло, просвистела между нами и оставила дыру в лобовом. Стекло пошло трещинами, и стало хуже видно дорогу — мы еще больше снизили скорость, и соответственно они подобрались еще ближе.

Однако спустя несколько секунд мы миновали еще один поворот, и я увидел в свете наших фар, как из машины впереди выскакивают люди с оружием. «Наконец-то», — сказала она. Я понял, что это люди из ее компании и мы почти спасены. Но тут кто-то из людей папаши Лема попал нам в колесо, или, может, она на мгновение отвлеклась, потому что через лобовое стекло почти что ничего не было видно, и машина потеряла управление. Мы заскользили, слетели с дороги и перевернулись, должно быть, раз пять — все как в замедленной съемке: машина переворачивается снова и снова, двери распахиваются и закрываются, лобовое стекло крошится и рассыпается на мелкие осколки, а мы висим на ремнях и молчим, только я бормочу «О боже, о боже...» или еще что-то такое. Потом мы наконец во что-то врезаемся, останавливаемся с чудовишным рывком, и все замирает.

Я слышу, как журчит вода, и думаю, что это, мол, наверно, ручей. Можно будет вымыться. Только это никакой не ручей, а вытекающий из бака бензин. А затем откуда-то издалека, с дороги, доносятся выстрелы. Неизвестно, кто в кого стреляет, но я понимаю: если победят *те*, поджарить нас в горящем бензине будет для них самое милое дело... Выбраться из машины было несложно: двери отлетели, так что ни через окно лезть, ни еще чего не нужно.

Машина завалилась на левый бок, и поскольку дверь с ее стороны придавило к земле, я говорю:

— Придется вылезать отсюда.

У меняхватило ума схватиться за крышу машины, когда я отстегивал ремень. Затем я подтянулся, выбрался наружу и сел на крыло, чтобы, протянув руку, помочь ей выбраться.

Только она продолжала сидеть на месте. Я закричал на нее, но она даже не ответила. Я было подумал, что ей конец, но тут заметил ее «искры». Странно, что я не видел их раньше, но наверно, просто не присматривался.

Зато теперь, хотя они едва светились, я их заметил сразу: свечение было слабое, но «искры» двигались быстро-быстро, словно она пыталась сама себя исцелить. Бак все еще булькал, и вокруг воняло бензином. На дороге по-прежнему стреляли. Но я видел достаточно аварий в кино и понимал: даже если нас никто не подожжет специально, машина все равно может загореться. Понятное дело, мне совсем не хотелось быть рядом, когда это случится, и не хотелось, чтобы она оставалась внутри. Только я не представлял, как сумею спуститься вниз и вытащить ее наружу. Я, в общем-то, не слабак, но и не мистер Вселенная тоже.

Казалось, я сидел целую минуту, прежде чем понял, что совсем не обязательно тащить ее через мою дверь: с таким же успехом я мог вытянуть ее вперед, потому что ветрового стекла не было вовсе, а крыша промялась всего чуть-чуть. Там под крышей стояла трубчатая рама, и нам здорово повезло, что кто-то до этого додумался. Я спрыгнул с машины. Дождь, наверно, только-только кончился, потому что под ногами было мокро и скользко. Впрочем, не знаю — может, это от пролившегося бензина. Я оббежал машину спереди, сбил ногой остатки лобового стекла и влез до пояса в машину. Протянул руку, отстегнул ремень и, ухватив ее под мышки, потянул к себе, но руль мешал вытащить ноги, и казалось, это тянется вечно. В общем, ужас. Я все время ждал, что она вот-вот задышит, а она по-прежнему не дышала, и мне стало страшно и обидно; я только и думал о том, что она должна жить, что ей нельзя умирать, что она спасла мне жизнь, а теперь погибнет, и этого не может быть; я вытащу ее из машины, даже если придется сломать ей ноги, но ничего такого делать не пришлось, потому что она в конце концов выскользнула из-под рулевого колеса, и я оттащил ее подальше. Машина, кстати, так и не загорелась, но кто мог знать, чем все кончится?

Да и не думал я в тот момент ни о чем другом — только о ней. Она лежала на траве, бездыханная, вся обмякшая, шея — как веревка гнется, а я держу ее и плачу, злой и испуганный. Я накрыл нас обоих «искрами», словно мы один человек, целиком накрыл, плачу и только твержу

«Живи, живи!..» Даже по имени не мог ее назвать, потому что до сих пор его не знаю. Меня всего трясло как в лихорадке, и ее тоже, но она вдруг задышала и тоненько так захныкала, будто кто-то наступил шенку на хвост, а «искры» все текли из меня и текли, и я чувствовал себя так, словно из меня все силы высосали — как мокрое полотенце, которое отжали и швырнули в угол,— а дальше уже я ничего не помню. Только вот как проснулся здесь...

На что это было похоже? Что ты с ней сделал?

Это вроде как... Когда я накрыл ее своим свечением, я словно взял на себя то, что должен был делать ее собственный организм. Я ее как бы лечил. Может, у меня возникла такая идея, потому что она говорила что-то об этом по дороге в машине, но когда я вытащил ее, она совсем не дышала, а потом вдруг начала дышать. Мне нужно знать, вылечил я ее или нет. Потому что, если вылечил, то может быть, я и отца своего не убил: перед тем как я вытащил его из дома, было примерно так же — во всяком случае, похоже.

Но я уже долго говорю, а вы еще ничего мне не сказали. Даже если вы считаете меня убийцей и собираетесь прикончить, уж про нее-то вы можете мне что-нибудь сказать? Она жива?

Да.

Тогда почему я ее не чувствую? Почему ее нет среди вас?

Она перенесла серьезную операцию и пока не может присутствовать.

Но я помог ей? Или наоборот? Вы должны мне сказать. Потому что, если нет, то я надеюсь, что я провалю все ваши тесты и вы меня прикончите. Мне незачем жить, если я умею только убивать.

Ты помог, Мик. Та последняя пуля попала ей в голову. Потому вы и слетели с дороги.

Но крови-то никакой не было...

Ты просто не разглядел в темноте. Твои руки и одежда — все было в крови. Но сейчас это не имеет значения. Пулю уже извлекли. Насколько мы можем судить, мозг не поврежден. Хотя это и удивительно. Она должна была умереть.

Значит, я ей все-таки помог.

Да. Но мы не понимаем как. Знаешь, есть много всяких историй про исцеления. Самовнушение, мануальная терапия... Может быть, ты сделал что-то в этом же духе, когда накрыл ее своим полем. Мы еще многого не знаем. Нам, например, не понятно, как крошечные сигналы в биоэлектрической системе могут влиять на кого-то за сотни миль, однако они позвали тебя, и ты явился. Нам нужно изучить тебя, Мик. У нас никогда не было объекта с такими сильными способностями. И может быть, все эти исцеления в Новом Завете...

Я не хочу слышать ни про какие Заветы. Я уже наслушался от папаши Лема больше чем надо.

Ты поможешь нам, Мик?

Каким образом?

Ты позволишь нам изучать тебя?

Валяйте.

Но возможно, изучения одной только твоей способности исцелять будет недостаточно.

Я не собираюсь никого убивать ради ваших опытов. Если вы будете заставлять меня, я сначала поубиваю вас, и тогда вам придется прикончить меня — просто чтобы спастись, понятно?

Успокойся, Мик. Не заводись. Времени, чтобы все обдумать, у нас достаточно. И на самом деле мы рады, что ты не хочешь никого убивать. Если бы это доставляло тебе удовольствие или даже если бы ты не научился сдерживаться и продолжал убивать всех, кто тебя разозлит, тебе вряд ли бы удалось дожить до семнадцати лет. Да, мы ученые — вернее, мы пытаемся понять явление и изучить его настолько, чтобы добиться права называться учеными. Но прежде всего мы просто люди, и идет война, в которой дети вроде тебя — оружие. Если им когда-нибудь удастся заполучить такого же, как ты, этот человек сможет найти нас и уничтожить. Именно для этого ты им и был нужен.

Верно. Папаша Лем так и говорил, только я не помню, упоминал ли уже об этом. Он говорил, дети Израиля, мол, должны убить всех мужчин, женщин и детей в Ханаане, чтобы очистить землю для детей Божьих.

Вот-вот, из-за этого наша часть семейства и откололась. Мы решили, что уничтожение человечества и замена его бандой убийц и обезумевших от кровосмешения религиозных фанатиков нас не очень-то привлекает. Последние двадцать лет им не удавалось заполучить кого-нибудь вроде тебя, потому что мы убивали всех детей, обладавших слишком сильными способностями — тех, что они боялись растить сами и помещали в приюты.

Кроме меня.

Это война, Мик. Нам тоже не нравится убивать детей. Но это все равно что разбомбить город, где твои враги готовят секретное оружие. Жизнь нескольких детей... Нет, не буду лгать. У нас самих из-за этого чуть не произошел раскол. Оставить тебя в живых было очень рискованно. Я каждый раз голосовал против. И я даже не прошу у тебя за это прощения, Мик. Теперь, когда ты знаешь, что представляют собой наши враги, и сам решил уйти от них, я рад, что оказался в меньшинстве. Но ведь могло произойти все, что угодно.

Теперь они не станут помешать детей в приюты. На это у них ума хватит.

Но теперь у нас есть ты. Может быть, мы научимся блокировать их влияние. Или лечить людей, которые могут пострадать от детей. Или выявлять «искры», как ты это называешь, на расстоянии. Теперь все возможно. Но когда-нибудь в будущем, Мик, может случиться так, что ты окажешься нашим единственным оружием.

Я не хочу этого.

Понимаю.

А вы хотели меня убить?

Я хотел защитить от тебя людей. Так казалось надежней, Мик. И я чертовски рад, что все вышло по-иному.

Не знаю, верить вам или нет, мистер Кайзер. Вы слишком ловко притворяетесь. Я-то думал, вы так хорошо ко мне относитесь, просто потому что вы славный старикан.

Так оно и есть, Мик. Он действительно славный старикан. И очень ловкий притвора. Для человека, чтобы притворяться за тобой, нужны были оба этих качества.

Но теперь-то все кончено?

Что кончено?

Вы больше не собираетесь меня убивать?

Все зависит от тебя, Мик. Если ты когда-нибудь начнешь злиться на нас или убивать людей, которые не имеют к этой войне никакого отношения...

Не начну!

Но помни, Мик: если это случится, убить тебя никогда не поздно.

Я могу ее увидеть?

Кого?

Ту леди из Роанока! И скажете вы мне наконец, как ее зовут?

Ладно, сейчас идем. Она сама тебе скажет.

Рассказ Святой Эми

Моя мама умела убивать голыми руками. Мой папа умел летать. Это прежде не считалось чудесами. Мама Элоиза учила меня, что раньше вовсе не было чудес.

Я — дитя Разрушителей, рожденное после того, как мои родители стали ангелами. Вот почему меня называют Святой Эми, хотя, по-моему, я ничем не святее других старых женщин. Однако и мама Элоиза отрицала, что прежде была ангелом, хотя, конечно же, им была.

Поройтесь в земле, вы, читающие мои слова. Возьмите свои железные лопаты и кирки. Копайте глубже — вы не найдете следов живших прежде людей. Потому что Разрушители прошлись по миру, и все суетное пожрал огонь, и вся гордыня разлетелась под ударом сияющей руки Господа.

Элоиза облокотилась на компьютерный столик. Вокруг работали приборы, на дисплеях высвечивалась информация. Элоиза чувствовала себя усталой. Она и облокотилась-то потому, что на мгновение почувствовала пугающее головокружение. Как будто мир внизу заскользил прочь, превращаясь в быстро удаляющуюся звезду, и им некуда будет приземлиться.

«В общем, так оно и есть, — подумала она. — Я никогда не смогу приземлиться — во всяком случае, в том мире, который знала».

— Неровно дышишь к старым компьютерам?

Элоиза резко повернулась в кресле и оказалась лицом к лицу со своим мужем Чарли. В следующий миг корабль накренился, но, подобно морякам, привыкшим к качке, оба машинально удержали равновесие.

— Уже полночь? — спросила она.

— Эквивалент полночи. Что-то я устал. Хорошо, что за пультом управления сейчас Билл.

— Хочешь есть?

Чарли покачал головой.

— Зато Эми наверняка хочет, — сказал он.

— Ты любитель эротических сцен!

Чарли и впрямь нравилось смотреть, как Элоиза кормит их дочь. Но что бы Элоиза ни говорила, она знала, что в этом нет ничего эротического. Чарли просто нравилось, что Элоиза — мать Эми. Ему нравилось, как Эми сосет — словно теленок, или овечка, или щенок.

— Это лучшее, что мы позаимствовали у животных, — сказал он.

— Лучше, чем секс? — спросила Элоиза, а Чарли лишь улыбнулся в ответ.

Эми играла с тряпичной куклой в единственном числе прибранном закутке корабля, неподалеку от выходной двери.

— Мама, мама, ма-а-ама, ма-а-а. — Она встала и потянулась вверх, чтобы мать взяла ее на руки, и тут заметила Чарли. — Папа, апа, апа.

— Эгей! — сказал Чарли.

— Эгей! — ответила Эми. — Эге-е-й!

Она только-только начала осваивать дифтонги и часто растягивала их. Когда Элоиза подняла девочку, та стала играть пуговицами на рубашке матери, пытаясь их растегнуть.

— Жадина, — смеясь, сказала Элоиза.

Чарли растегнул ей рубашку, и Эми со второго раза крепко вцепилась в сосок. Сосала она с шумом, слегка похлопывая ручкой по груди Элоизы.

— Я рада, что этому скоро придет конец, — сказала Элоиза. — Она уже слишком большая, чтобы кормить ее грудью.

— Правильно. Выбрось маленькую птичку из гнезда.

— Ложись-ка ты спать, — сказала Элоиза.

Эту фразу Эми уже понимала — и отшатнулась.

— Не, не,— замотала она головой.

— Не волнуйся. Это папа ложится спать.

Элоиза смотрела, как Чарли разделся и лег, улыбнувшись, повернулся к стене и мгновенно уснул. Он никогда не мучился бессонницей, но Элоиза знала, что он проснется ровно в шесть часов, когда снова придет его черед сесть за пульт управления.

Кормить Эми грудью было сомнительным удовольствием, хотя этот процесс был по-настоящему болезненным только в первые несколько месяцев и тогда, когда у девочки появились первые зубы: в ту пору Эми, к своему восторгу, поняла, что, укусив мать за сосок, можно заставить ее вскрикнуть. Но лучше уж сосать материнское молоко, чем питаться консервированным пюре — обычной едой всего экипажа. Элоиза с кривой улыбкой подумала, что это пюре даже хуже разогретой в микроволновке телятины, которой они пичкали пассажиров... Всего каких-то восемь лет назад. Их расчет оказался настолько точен, что они сожгут все заготовленное горючее и его не придется сливать на землю, однако запасы еды подходили к концу, и вскоре им придется отдаться на милость созданного ими же самими мира.

И все-таки работа была еще не закончена, предстояли последние проверки.

Держа Эми на руке, Элоиза потянулась второй рукой к клавиатуре, чтобы, как и положено командиру, напоследок войти в программу.

«От Элоизы, лично,— напечатала она.— Учитель, учитель, я видела, как у кой-кого из-под платья торчит нижняя юбка!»

На экране появилась надпись, которую она сама же и придумала: «Считаешь, что тебе крупно повезло, раз ты нашел эту программу? Однако если ты не знаешь волшебных слов, аварийная система вззоет на весь корабль и тебя застукуют. Тебе не отвертеться, сосунок. С любовью, Элоиза».

Конечно, Элоиза знала волшебные слова.

«Эйнштейн облажался»,— напечатала она. Надпись исчезла, аварийная система не включилась.

«Неисправности?» — спросила она.

«Нет», — ответил компьютер.

«Помехи?» — спросила она.

«Нет», — ответил компьютер.

«Отклонения от графика?» И тут на экране вспыхнуло: «Афсканп76655».

Элоиза испуганно подалась вперед, потревожив Эми, которая успела задремать.

— Не, не, не, — захныкала девочка.

Элоиза сперва терпеливо ублажала дочь, а потом уже вникла в то, что именно поймала ее защитная программа. Что же это такое? Ох, она знала ответ. Предательство. Она была уверена, что уж в ее-то группе, на ее корабле такого никогда не случится. В других группах Чистильщиков, или Разрушителей, как они себя называли, позаимствовав название, придуманное их врагами, — в других группах были шпионы или трусы, но только не Билл, только не Хизер, только не Угли-Бугли.

«Подробности», — напечатала она.

Компьютер сообщил подробности.

Когда корабль следовал тщательно выверенным курсом, находя и уничтожая все, сделанное из металла, стекла и пластика, где-то над северной Вирджинией его слегка отклонили к югу, а на обратном пути на том же самом месте слегка отклонили к северу. В результате в северной Вирджинии остался некий сделанный из весьма прочного материала артефакт, и если бы Элоиза не обратилась к своей программе, она никогда бы о нем не узнала.

А между тем она должна была узнать. Когда курс корабля изменился, должен был зазвучать сигнал тревоги. Кто-то сумел преодолеть первую линию защиты. Билл этого сделать не мог, не мог и Хизер — у них не хватило бы опыта взломать программу. Угли-Бугли?

Нет, только не верная старая Угли-Бугли. Только не она!

На экране сама собой вспыхнула надпись: «Обходной путь M5776, команда MO4, искажение TttT». Компьютер словно пытался оправдаться, показывая, каким образом некто из экипажа сумел обойти систему сигнализации, — и говоря, что он, компьютер, тут не виноват.

Элоиза заколебалась. Посмотрела на дочь, поправила упавший на глаза Эми рыжий локон. Рука Элоизы дрожала. Однако эта женщина была сделана из льда, теплое сострадание, свойственное другим представительницам слабого пола, давно вымерзло в ее душе. Она гордилась тем, что в ее душе не осталось тепла и что твердый характер не позволил ей колебаться дольше пары секунд. А потом она протянула руку к компьютеру и спросила, каким кодом пользовался предатель.

Компьютер вообще не знал, что такое сострадание, поэтому не колебался ни секунды. Он не стал подчеркивать или как-нибудь по-другому выделять ответ, буквы на экране были такими же, как всегда. Однако для Элоизы надпись прозвучала, как крик, и она сама закричала — молча.

«Чарли Эван Харди, 624ag61-Вашингтон».

Предателем оказался Чарли — ее дорогой, нежный, сильный муж Чарли. Именно он тайком пытался устроить конец света.

Бог и прежде разрушал мир. Однажды он послал потоп, тогда Ной спасся в своем ковчеге. Еще один конец света был, когда рухнула башня мировой гордыни и смешались все языки. Может, были и другие попытки, но они уже забылись.

Мир, скорее всего, погибнет снова, если мы не раскаемся. И не воображайте, что сможете спрятаться от ангелов. Поначалу они похожи на обычных людей, и никто даже не подозревает, кто они такие на самом деле. Но потом Бог дает им силу разрушать, и они разрушают. А когда все кончается, эти люди снова становятся самыми обыкновенными. Так было с моей матерью и с моим отцом.

Я не помню лица папы Чарли. Я была слишком маленькой, но мама часто рассказывала о нем. Он родился далеко на западе, в тех краях, где вода собирается в котлованах и почти никогда не падает с неба. Это земля была лишена благословения Божьего, обитавшие там люди верили, что их жизнь зависит только от них самих. Они рыли котлованы, не помнили о Боге и становились учеными. И мой

папа Чарли тоже стал ученым. Он работал с крошечными животными, вырывая их сердца и комбинируя по-новому. Там, где он работал, сердца разбивались слишком часто, а одно маленькое животное сбежало и начало убивать людей. Люди лежали огромными горами, словно рыба в трюме корабля.

Однако это еще не было концом света.

Ох, в те дни люди были великанами и забыли Господа, но, увидев горы разлагающейся плоти и хрупких костей, вспомнили, как они слабы.

Мать Элоиза говорила:

— Чарли плакал.

Вот так отец Чарли и стал ангелом. Он увидел, что наделали великаны, вообразившие себя могущественнее Бога. Поначалу от горя он впал в грех и перерезал себе горло. Чтобы спасти его, ему перелили кровь мамы Элоизы. Так они и встретились: папа Чарли очнулся в лесу, куда ушел, чтобы умереть в одиночестве, и увидел, что в палатке рядом с ним лежит женщина, а над ними обоими склонился доктор. Когда папа понял, что эта женщина отдала ему свою кровь, он забыл о желании умереть и полюбил ее навсегда. Мама Элоиза говорила, что он любил ее вплоть до того дня, когда она его убила.

Когда все кончилось, они устроили нечто вроде вечеринки.

— Слава Господу,— сказал Билл, с торжественным видом глотнув джина.— Аминь и еще раз аминь.

— Моя смена,— заявил Чарли, входя в кабину.

Увидев, что все сидят, распивая последнюю бутылку джина, припасенную специально для этого случая, он улыбнулся и сказал:

— Что ж, нас можно поздравить.

Билл встал из-за пульта, чтобы уступить место Чарли, и спросил:

— Где будем приземляться?

Остальные удивленно переглянулись.

— Господи, разве кто-нибудь из нас когда-нибудь об этом задумывался? — пожала плечами Угли-Бугли.

— Смелее! — сказала Хизер. — Каждый наверняка знает, где хотел бы жить.

— Я хочу жить спустя две тысячи лет, — сказала Угли-Бугли. — В том мире, каким он станет через две тысячи лет.

— Угли-Бугли выбирает воскрешение, — заметил Билл. — А я вот мечтаю о лоне Авраамовом.

— В Вирджинии, — сказала Элоиза, и все повернулись к ней.

Хизер рассмеялась.

— Воскрешение, — нараспев произнес Билл, — лоно Авраамово — и Вирджиния. Ты начисто лишена поэтической жилки, Элоиза.

— Вот координаты того места, где мы приземлимся, — Элоиза протянула бумагу Чарли.

Тот не отвел взгляда. Элоиза смотрела, как он читает координаты, — как будто видит их впервые. На мгновение в ней вспыхнула надежда, что все это дикая ошибка. Но нет! Она не примет желаемое за действительное.

— Почему именно Вирджиния? — спросила Хизер.

Чарли поднял глаза.

— Потому что это — центр.

— Вирджиния лежит на восточном побережье, — возразила Хизер.

— Центр района высокой степени выживаемости. Трудно выжить в западных горах или на равнинах. Вирджиния, конечно, не юг, где можно прокормиться охотой и собирательством, но и не север, где большинство людей не выдержит битвы с суровой природой.

— Разумно, — сказала Элоиза. — Вот и посади нас там, Чарли.

Задрожат ли у него руки, когда он прикоснется к клавишам управления? Элоиза пристально следила за ним, но не заметила дрожи. Больше того, он единственный никак не проявил своих чувств. Угли-Бугли внезапно разрыдалась, слезы закапали из ее здорового глаза и потекли по здоровой щеке.

«Слава богу, что она не плачет другой стороной», — подумала Элоиза и тут же рассердилась на себя, потому что всегда считала — изуродованное лицо Угли-Бугли ее

больше не волнует. Да, она на себя рассердилась, но от этого стала еще холоднее, а ее решимость лишь окрепла. Она выполнит свой долг, чего бы ей это ни стоило.

Внезапно Элоиза вздрогнула и, выйдя из задумчивости, обнаружила, что обе женщины уже покинули кабину — сейчас была их очередь отдыхать, хотя вряд ли им удастся уснуть. Чарли молча вел корабль, Билл сидел в кресле второго пилота, выцеживая последние капли из бутылки, и когда поглядел на Элоизу, та сказала:

— Твое здоровье!

Он печально улыбнулся в ответ:

— Аминь.

Откинулся на спинку кресла и негромко запел:

Славься, Господь, дарующий нам счастье.
Славься, Господь, создавший мир земной.
Славься, Господь, сражающийся с тьмою,
Славься, Отец, и Сын, и Дух Святой.

Потом потянулся к руке Элоизы. Она удивилась, но позволила Биллу нежно поцеловать ей руку.

— За тех, в чьих душах живут ангелы, пусть эти люди и не осознают этого, — сказал Билл.

Спустя несколько мгновений он уже спал. Чарли и Элоиза молчали. Корабль летел на юг, с востока его нагоняла тьма. Поначалу молчание было почти нежным, но чем дольше Элоиза сидела, не говоря ни слова, тем холоднее и ужаснее оно становилось. Впервые до женщины дошло, что, когда они приземлятся, Чарли, все последние годы бывший половинкой ее души, тот, кому она никогда не лгала и кто никогда не лгал ей, станет ее врагом.

Я видела, как маленькие дети танцуют танец под названием «Чарли-Ай». При этом они напевают вот что, если я правильно запомнила слова:

Я был сделан когда-то из стекла и костей,
Не заденьте меня, пропустите скорей!
Я был сделан из стали и из кирпича,
Не рубите плеча, не рубите плеча!
Я вчера был убит, мой окончился срок.
Помолитесь за то, чтоб простил меня Бог.
Ройте яму, чтоб смог обрести я покой.

Положите меня и засыпьте землей.
Попаду ли я в ад? Попаду ли я в рай?
Чарли-Ай. Чарли-Ай. Чарли-Ай.

Думаю, для нынешних детей эти строки лишены всякого смысла. Но впервые эти стихи разошлись по Ричмонду, когда я была еще маленькой и жила в доме папы Майкла. Дети не стремятся изобразить в танце то, о чем поется в песне, они просто поют и приплясывают. Песня всегда заканчивается тем, что дети со смехом падают на траву. Лучшего конца этой игры не придумаешь.

Чарли посадил корабль посреди поля, мощные горячие потоки воздуха били по земле, как бы отталкивая ее. Поле охватил огонь, но едва летательный аппарат опустился на все три колеса, из его нижней части хлынул поток пены и погасил пламя. Элоиза наблюдала за посадкой из кабины.

«Везде, куда попала эта пена, много лет не будет ничего расти», — подумала она.

Что ж, это было символично. Даже в самые последние моменты своего существования самый последний из механизмов отравлял землю. Элоиза держала Эми на коленях, думая, стоит ли попытаться объяснить ей, что происходит. Вряд ли — девочка слишком мала, чтобы что-то понять и запомнить.

— Кто последний оденется, тот копуша, — объявила Угли-Бугли своим хриплым, надтреснутым голосом.

Они одевались и раздевались друг перед другом много лет, однако сейчас, сбросив старую, оскверненную пластиковую одежду и достав простую, домотканую, чувствовали и вели себя, как дети, впервые оказавшиеся в гимнастическом зале. Эми моментально почувствовала общее настроение и завопила во все горло. Никто даже не попытался ее успокоить. Зачем? Это же праздник.

Однако Элоиза, давно привыкшая заниматься самоанализом, понимала, что веселится не слишком искренне. По-настоящему ей вовсе не было весело. Сегодняшний день не был днем счастья, и не только из-за того, что ждало ее впереди. В гибели последних в мире двигателей ощущалось что-то фатальное и непоправимое, но

Элоиза заставила себя выкинуть эту мысль из головы, и проблеск сожаления сменился привычной ледяной холодностью. Это просто немыслимо — чтобы ее пленила красота машины. Она должна помнить, что машины не принесли человечеству ничего, кроме зла.

Покинув корабль и остановившись на почерневшем поле, люди выглядели неуклюжими и чувствовали себя почти глупо. Они еще помнили о том, что такое модная одежда, и теперешняя домотканая казалась им бесформенной, неуклюжей и грубой. Ни на ком из них она хорошо не сидела.

Эми вцепилась в куклу, зачарованная и одновременно испуганная странным пейзажем. За свою короткую жизнь она всего лишь раз покидала корабль, когда была еще совсем младенцем. Она не сводила глаз с деревьев — их ветки шевелились порывисто и непредсказуемо. Девочка вздрагивала, когда ветер дул ей в лицо; она дотрагивалась до щеки, чувствуя, как ее касается ветер, как он раздувает волосы, и изо всех сил пыталась найти в своем скудном словаре слово, описывающее странное ощущение этого прикосновения невидимки.

— Мама... — пролепетала она. — Ух! Ух! Ух!

Элоиза поняла.

— Это ветер, — сказала она.

Девочка не пыталась повторить незнакомое слово, оно было для нее слишком трудным.

«Ветер», — подумала Элоиза, и в тот же миг ее мысли вернулись к Чарли.

Ее лучшие воспоминания о Чарли были связаны с ветром. Это случилось вскоре после того, как он попытался покончить с собой. Тогда он все еще желал умереть и рвался в горы, и Элоиза знала, что он хочет броситься в пропасть, поэтому пошла с ним, несмотря на надвигающуюся бурю. Всю дорогу Чарли был очень зол. Она вспомнила тот ужасный час, который они провели на отвесной скале, где их удерживали лишь маленькие металлические клинья, вбитые в трещины. Она настояла на том, чтобы остаться в связке с Чарли.

— Если один из нас упадет, погибнет и второй, — снова и снова повторял он.

— Знаю, — неизменно отвечала она.

В итоге Чарли не упал, и они впервые занялись любовью в неглубокой горной пещере: снаружи завывал ветер, время от времени в их убежище хлестали струи дождя. Им было на это плевать.

Ветер...

Будь все проклято!

Элоиза почувствовала, как ее эмоции умирают, как на смену им возвращается холод.

Они стояли на краю поля в тени деревьев. Элоиза оставила очиститель возле корабля; через несколько минут механизм сработает, и они наконец увидят плоды своих трудов.

Внезапно Билл посмотрел на запястье и вскрикнул:

— Часы! Мои часы!

— Давай быстрее, — сказал Чарли. — У тебя еще есть время.

Билл побежал к очистителю и швырнул часы, которые упали в нескольких метрах от маленького механизма. Билл вернулся к остальным, вздрагивая и качая головой.

— Иисус, ну что я за идиот! Три года уничтожал все механизмы к востоку от Миссисипи, а теперь едва не сохранил цифровой хронограф.

— Небось, марки «Дикси»? — спросила Хизер.

— Ага.

— Тогда они не относятся к продуктам высокой технологии, — заметила она, и все засмеялись.

Потом люди разом замолчали, и Элоиза спросила себя, думают ли они о том же, о чем она: что шутки насчет названий марок утратят всякий смысл уже спустя одно поколение — если тогда вообще еще кто-то будет шутить. Они молча наблюдали за очистителем, ожидая, пока сработает таймер. Внезапно в воздухе вспыхнул ослепительный свет, заставивший всех прищуриться. Они уже много раз видели это странное сияние, которое на самом деле не было светом, — видели и с воздуха, и с земли, но сейчас оно вспыхнуло в последний раз, поэтому воспринималось совсем иначе.

Корабль ржавел прямо на глазах, будто тысячелетия спрессовались в секунды. Однако то была не коррозия,

не ржавчина — самолет просто таял, теряя частицы, погружающиеся в разрыхленную землю. Стекло превращалось в песок; пластик — в масло; металл тоже уходил в землю и рассыпался по трещинкам в поле. Какие бы будущие геологи ни обнаружили этот металл, ничто не выдаст его искусственного происхождения. Просто обычное железо. Теперь по всему некогда цивилизованному миру разбросано много подобных залежей железа, меди, алюминия и олова, и вряд ли кому-нибудь придет в голову, что это дело рук человеческих. Элоизу забавляла мысль о том, какие научные труды будут написаны после о двух вариантах состояния металла: рудном и чистометаллическом. Она надеялась, что подобная неразбериха немного затормозит прогресс.

Наконец от корабля не осталось ничего, и от самого очистителя тоже.

— Аминь,— с чувством проговорил Билл.— Вот и все.

Элоиза лишь улыбнулась, даже не заикнувшись о втором очистителе в своем рюкзаке. Пусть остальные думают, что работа закончена.

Эми ткнула пальцем Чарли в глаз, тот выругался и поставил ее на землю. Девочка заплакала, и Чарли, опустившись на колени, обнял ее. Эми крепко обхватила его за шею.

— Поцелуй папочку,— сказала Элоиза.

— Ну, пора в путь,— прохрипела Угли-Бугли.— Какого дьявола ты выбрала именно это место?

Элоиза наклонила голову к плечу.

— Спроси у Чарли.

Чарли покраснел. Мрачная Элоиза не сводила с него глаз.

— Мы с Элоизой когда-то здесь бывали,— проговорил он.— Еще до того, как началась очистка. Ностальгия, знаешь ли.

Чарли смущенно улыбнулся, а остальные засмеялись. Все, кроме Элоизы. Помогая Эми пописать и ощущая вес маленького очистителя в своем рюкзаке, она не сказала, что ни разу в жизни не была в Вирджинии.

— Это место не хуже любого другого,— заметила Хизер.— Ну, пока!

«Ну, пока».

Вот и все, это был конец, и Хизер двинулась на запад, в сторону долины Шенандоа.

— Увидимся,— сказал Билл.

— Черта с два,— откликнулась Угли-Бугли.

Она порывисто обняла Элоизу, Билл заплакал, а потом они ушли на северо-восток, к Потوماку, где, без сомнения, найдут общину, основанную рядом с чистой, полной рыбы рекой.

На почерневшем поле, где только что был уничтожен корабль, остались лишь Чарли, Эми и Элоиза. Элоизе хотелось почувствовать пустоту в душе после расставания с товарищами, но у нее ничего не вышло. Они были вместе много лет, переходя от одной мусорной свалки к другой, круша города и деревни, уничтожая искусственный, созданный руками человека мир. Но стали ли они друзьями? Если бы их не свело общее дело, они никогда бы не подружились, слишком разными они были людьми.

Но потом Элоиза устыдилась своих чувств. Слишком разными? Потому что Хизер нравилась марихуана и она никогда в жизни не имела автомобиля и водительских прав? Потому что лицо Угли-Бугли было так ужасно изуродовано хирургической операцией, спасшей ее от рака? Потому что Билл в разговорах всегда упоминал Иисуса, хотя полжизни прожил атеистом? Потому что они происходили из разных социальных кругов? Теперь нет никаких социальных кругов. Есть только люди, пытающиеся выжить в суровом мире, для которого не были рождены. Теперь есть лишь два класса: те, кому удастся это сделать, и те, кому не удастся.

«А к какому классу принадлежу я?» — подумала Элоиза.

— Куда пойдем? — спросил Чарли.

Элоиза подняла Эми и передала ее Чарли со словами:

— Где капсула?

— Эй, Эми, детка! — сказал тот. — Спорю, между этим полем и Рапаханноком мы найдем какую-нибудь крестьянскую общину.

— Не важно, ответишь ты или нет, Чарли. Приборы засекли капсулу еще до того, как мы приземлились. Ты очень хорошо потрудились, взламывая компьютерную программу.

Это была неправда — на самом деле он потрудились не слишком хорошо.

Чарли криво улыбнулся.

— А я-то надеялся, что ты хоть здесь проявишь небрежность. — Он дотронулся до ее рюкзака, и его улыбка угасла, когда Элоиза резко отпрянула. — Неужели ты так плохо меня знаешь?

Нет, он не будет пытаться отнять у нее очиститель силой. Пока нет. Хотя... Речь ведь шла о последнем искусственном творении человеческих рук. Мог ли кто-нибудь предсказать, что наступит такой момент? Элоиза в этом сомневалась. Раньше она думала, что хорошо знает Чарли, но само существование капсулы времени доказывало, что она никогда не понимала мужа до конца.

— Я знаю тебя, Чарли, — ответила она, — но не так хорошо, как мне казалось. Какое это имеет значение? Не пытайся меня остановить.

— Надеюсь, ты не очень рассердилась, — сказал он.

На это у Элоизы не нашлось ответа.

«Любого может обмануть предатель, но только я обманулась настолько, что вышла за предателя замуж».

Она отвернулась и зашагала в лес. С Эми на руках Чарли двинулся следом.

Пока они шли через подлесок, Элоиза ожидала, когда же он заговорит. Скажем, начнет угрожать: «Тебе придется убить меня, чтобы уничтожить капсулу времени».

Или умолять: «Брось это, Элоиза, пожалуйста, пожалуйста».

Спорить, приводить какие-то доводы, сердиться — да что угодно!

Однако все, что она слышала у себя за спиной, — его шаги и время от времени его болтовню с Эми. И пение, когда он убаюкивал Эми, задремавшую у него на плече.

Капсула оказалась хорошо спрятана, все следы были тщательно замечены. И все же, судя по реакции очистителя, капсула оказалась не маленькая. Чтобы доставить ее, требовалась тяжелая техника. Или все было сделано вручную?

— Как тебе удавалось выкроить время? — спросила Элоиза, когда они пришли на место.

— Я позже возвращался с обеда, — ответил Чарли.

Она опустила рюкзак на землю и остановилась, в упор глядя на него.

Словно осужденный, старающийся быть смелым до конца, Чарли криво улыбнулся и сказал:

— Кончай побыстрее, пожалуйста.

После того как папа Чарли умер, мама Элоиза принесла меня в Ричмонд. Она никому не сказала, что была Разрушительницей. Ангел уже оставил ее, и она хотела затеряться в городе и стать самым обычным человеком в мире, созданном ею и другими ангелами.

Но затеряться она не смогла. Стоит тебе сделаться ангелом, и ты становишься другим и остаешься таким даже после того, как работа ангела закончена. Сначала мама Элоиза привлекла к себе внимание тем, что выступила против укреплений. Когда в Ричмонде жили всего тысяча человек, вокруг него были возведены укрепления — ясно, с какой целью. Люди все еще не привыкли выполнять трудную работу без помощи машин, все еще не научились полагаться на чудо Христово. Они по-прежнему доверяли только своим рукам, хотя их руки больше не могли творить чудеса. Поэтому зимой некоторым племенам пришлось трудно — они не умели находить дичь, не умели делать запасы зерна и отыскивать убежища, где можно было бы поддерживать негаснущий огонь.

— Пусть все приходят сюда, — говорила мама Элоиза. — Места хватит для всех. Еды тоже на всех хватит. Научите их строить корабли, делать орудия, ходить под парусами и пахать землю, и все мы станем богаче.

Однако папа Майкл и дядя Авраам понимали больше мамы Элоизы. До Разрушения папа Майкл был католическим священником, а дядя Авраам — профессором университета. Теперь они стали никем, но когда ангелы разрушения закончили свою работу, в сердцах людей начали работу ангелы жизни. Папа Майкл забыл о своей прежней преданности Риму и рассказывал людям о Христе так, как ему запомнилось из Святой Книги. Дядя Авраам постарался вспомнить все, что знал о древней металлургии, и учил собравшихся в Ричмонде людей, как обрабатывать железо, чтобы из него можно было делать орудия. И оружие.

Папа Майкл запрещал делать ружья и даже рассказы-
вать детям о том, что они когда-то были. Однако для охот-
ты нужны стрелы, а то, что может убить оленя, может
убить и человека.

Многие люди соглашались с мамой Элоизой, которая
предлагала снести городские стены, но потом, в одну из
самых тяжелых зим, с гор спустилось племя и стало жечь
укрепления и корабли, а ведь только благодаря кораблям
на всем побережье продолжалась торговля. Лучники Рич-
монда убили большинство из чужаков, и люди сказали
маме Элоизе:

— Теперь ты должна согласиться, что без укреплений
не обойтись.

Мама Элоиза ответила:

— Может, они не пришли бы с огнем, если бы вокруг
города не было стен?

Кто может судить, что в жизни важнее? Как ангелы
смерти пришли, чтобы посеять семена лучшей жизни,
так и ангелы жизни должны были проявить твердость и
примириться со своей смертью ради блага большинства.
Папа Майкл и дядя Авраам придерживались заповедей
Христа, на свой лад переиначивая Святую Книгу: «Лю-
бите врагов ваших и наказывайте их, только когда они на
вас нападают; не прогоняйте их в леса, а позволяйте жить
рядом, пока они вас не трогают».

Я помню эту зиму. Помню, как хоронили трупы напад-
ших на город людей. Их тела быстро окоченели, но мама
Элоиза приводила меня посмотреть на них, повторяя:

— Это смерть, запомни ее, запомни.

Что знала мама Элоиза о смерти? Смерть — это переход
от плоти к живому ветру, если Христос не решит дать
нам новое воплощение. Мама Элоиза еще встретится с
папой Чарли, и все раны заживут.

Элоиза опустилась на колени рядом с очистителем и
настроила его так, чтобы он сработал через полчаса, унич-
тожив себя и капсулу времени, зарытую на глубине три-
дцати метров. Чарли стоял рядом, почти безучастно, со
слабой улыбкой на губах. Он все еще держал на руках
Эми, а она смеялась и пыталась уцепиться за нос.

— Этот очиститель реагирует только на меня,— сказала Элоиза.— И только пока я жива. Если ты попытаешься сдвинуть его с места, он сработает раньше времени и убьет нас всех.

— Я не стану его сдвигать,— ответил Чарли.

Элоиза закончила работу, встала и протянула руки к Эми. Девочка тоже потянулась к ней.

— Мамочка,— сказала она.

Из-за того, что я не могла вспомнить лицо папы Чарли, мама Элоиза думала, что я совсем забыла его, но это не так. Я очень ясно помню одну «картинку» с ним, хотя его на этой «картинке» нет.

Это очень трудно объяснить. Я вижу маленькую полянку среди деревьев и маму Элоизу, она передо мной. Ее лицо на уровне моих глаз, значит, меня держат на руках. Я не вижу папы Чарли, но знаю, что это он держит меня. Я чувствую, как его руки обнимают меня, но не вижу его лица.

Эта «картинка» часто всплывает в моей памяти, непохожая на другие. Она очень четкая и всегда сильно меня пугает, сама не знаю почему. Мои родители разговаривают, но я не понимаю слов. Мама Элоиза тянется ко мне, но папа Чарли меня не отпускает. Я боюсь, что он не отдаст меня маме Элоизе. Но почему я этого боюсь? Я люблю папу Чарли и ничего не имею против того, чтобы остаться с ним. Но все же я тянусь, тянусь, тянусь к маме, а его руки удерживают меня, и я не могу вырваться.

Мама Элоиза плачет. Я вижу ее искаженное мукой лицо и хочу ее успокоить.

— Мамочке больно,— повторяю я снова и снова.

А потом, в конце «картинки», я внезапно оказываюсь на руках у мамы, и она бежит, бежит со мной вверх по холму, в лес. Я оглядываюсь через ее плечо и вижу папу Чарли. Я вижу его и в то же время не вижу. Я знаю точно, где он, могу сказать, какого он роста, где его левая нога, а где правая, и все же не вижу его. У него нет ни лица, ни цвета; он просто пустота, принявшая человеческую форму, а потом его заслоняют деревья, и он исчезает.

Элоиза недолго мчалась среди деревьев, потом остановилась. Она повернулась, словно решив вернуться к Чарли, но вернуться она не могла. Если бы она вернулась, это отключило бы очиститель. По-другому отключить его было нельзя.

— Чарли, сукин ты сын! — закричала она.

Ответа не было. Она стояла и ждала. Конечно, он придет. Поймет, что она не вернется, чтобы отключить механизм, осознает неизбежность того, что должно произойти, и бросится бежать — в лес, на поляну, где приземлился корабль. Не захочет же он так бессмысленно загубить свою жизнь? Что такого хранится в этой капсуле времени, в конце концов? Просто история — ведь он сам так сказал, разве нет? Просто история, фильмы и металлические пластины с выгравированным на них текстом — чтобы сохранить историю человечества.

— Как они узнают о наших ошибках, если мы сами о них не расскажем? — спросил Чарли.

Милый, простодушный, наивный Чарли. Одно дело — сохранить ненависть к убивающим машинам, разрушающим души машинам, создающим отбросы машинам. И совсем другое — оставить детальные, точные, неоспоримые описания. Знание истории не спасет от повторения ошибок. Оно как раз гарантирует их повторение. Ведь так?

Она повернулась и пошла дальше с Эми на руках, не очень быстро, но все-таки желая оказаться за пределами радиуса действия очистителя и напряженно вслушиваясь, не раздадутся ли сзади шаги Чарли.

Какой была мама Элоиза? Женщиной, сотканной из противоречий. Она была такой даже для меня. Она помогала мне лепить таблички из глины и часами учила писать на них заостренной палочкой. А потом, когда я писала слова, которым она меня учила, она могла стереть их и сказать:

— Обман, все обман!

Иногда она разбивала сделанные мной таблички, а потом заставляла меня писать снова.

Она называла эти записи Книгой Золотого Века, а я называла их Книгой Обманов Ангела Элоизы, поскольку это

важно — знать, что величайшие для нас истины кажутся ложью тем, кто когда-то был ангелом.

Мама Элоиза рассказывала мне множество историй, и часто я спрашивала ее, зачем их нужно записывать.

— Ради твоего папы Чарли, — всегда отвечала она.

— Значит, он вернется? — допытывалась я.

Но она качала головой и однажды сказала:

— Это не ради того, чтобы папа их прочел. Просто Чарли хотел, чтобы эти истории были записаны.

— Тогда почему он сам их не записал? — спросила я.

И мама Элоиза холодно ответила:

— Папа Чарли купил эти истории и так дорого за них заплатил, что я не хочу, чтобы они пропали.

Мне стало интересно — неужели папа Чарли был настолько богат? Однако из других маминых слов я сделала вывод, что ничего подобного. В общем, толком я поняла одно: мама Элоиза не хочет рассказывать эти истории, но папа Чарли ее заставляет, хотя его самого здесь нет.

Мне нравились многие Обманы Элоизы, но сейчас я перескажу только те из них, которые она считала самыми важными.

1. В Золотом Веке, длившемся десять раз по тысяче лет, люди жили в мире, любви и радости, и никто никому не причинял зла. У людей все было общее, и никто не голодал, если у другого была еда, и никто не мок под дождем, если у другого был дом, и ни одна жена не оплакивала убитого мужа.
2. Потом пришел огромный и могучий змей, у которого было много имен: Сатана, Гитлер, Люцифер, Нимрод, Наполеон. Он казался прекрасным, он обещал власть своим друзьям и смерть врагам. Говорил, что принесет миру справедливость. Но на самом деле, если люди не верили в него и не отдавали ему свою силу, он становился слаб. Если бы все отказались верить в змея и никто бы ему не служил, он бы просто исчез.
3. Так повторялось много раз: много раз появлялся огромный змей, и прежний мир погибал, расчищая путь для Золотого Века. И Христос тоже каждый раз приходил снова. Однажды случится так, что люди поверят в Хрис-

та, а не в огромного змея, и тогда Золотому Веку не будет конца, и Бог навсегда останется среди людей. И все ангелы скажут: «Будем жить не на небесах, а на земле, потому что земля отныне — это и есть небеса».

Это самые важные из Обманов матери Элоизы. Верьте в них, помните их, потому что они истинны.

Направляясь к поляне, где опустился корабль, Элоиза старательно обламывала ветки: они должны были указать Чарли, куда бежать, чтобы как можно скорее оказаться вне радиуса действия очистителя, даже если он до последнего мгновения задержится около механизма. Она была уверена, что Чарли, покладистый и уступчивый, последует за ней, послушается ее, как и всегда. Он любил Элоизу, а еще больше — Эми. Разве мог металл, спрятанный в земле под ногами, быть сильнее такой любви?

Наконец Элоиза обломала последнюю ветку, вышла на поляну, села и позволила Эми поиграть с уцелевшей здесь травой. Она ждала.

«Чарли сдастся,— говорила она себе,— потому что я ни за что не сдамся. Потом я помогу ему примириться со случившимся, но он должен понять, что здесь я не уступлю».

В ожидании звука шагов в подлеске она выгорала изнутри, и в ее душе становилось все холодней. Черт бы побрал этих птиц! Своим пением они заглушали звук шагов.

Мама Элоиза, насколько я знаю, никогда не была ни меня, ни кого-нибудь другого. Она сражалась только словами и тем влиянием, какое оказывала на людей, хотя легко могла убить голыми руками. Лишь один раз я видела, как она применила физическую силу. Мы с ней собирали в лесу дрова на растопку и наткнулись на дикого кабана. Наверное, кабан решил, что дела его плохи, хотя мы были не вооружены; а может, он просто был такой гадкий. Я плохо знакома с повадками диких кабанов. Он бросился в атаку, но выбрал не маму Элоизу, а меня. Мне в то время было пять лет, я ужасно испугалась, бросилась к маме, вцепилась в нее, но она отшвырнула меня в сторону и слегка пригнулась. Я закричала, но она не обратила внима-

ния на мой крик. Увидев, что я лежу, а мама Элоиза стоит, кабан свернул к ней. Когда он очутился совсем рядом, она отпрыгнула, и у него не хватило проворства быстро развернуться. Он промчался мимо, а мама Элоиза ударила его у основания черепа. Удар был настолько силен, что сломал ему шею. Зверь упал, покатился по земле, а когда замер, был уже мертв.

Мама Элоиза не должна была умереть.

Это случилось той зимой, когда мне исполнилось семь. Я должна рассказать, какой была тогда жизнь в Ричмонде. Нас было всего две тысячи душ, а не десять тысяч, как сейчас. И у нас имелось всего шесть кораблей для торговли на побережье, и они не заходили на север дальше Манхэттена, хотя на юге добирались до самой Саванны. Ричмонд уже тогда верховодил от Потомака до Уньюлой Трясины, однако зима выдалась очень тяжелой, и городские лидеры настояли на том, что надо свезти все запасы зерна, фруктов, овощей и мяса в наш хорошо защищенный город, а племена пусть торгуют с кем хотят и кочуют где хотят, потому что еды из Ричмонда они не получают.

И тогда моя мать, утверждавшая, что не верит в Бога, и дядя Авраам — иудей, и папа Майкл, священник, согласились друг с другом в одном. Лучше накормить, чем убить, вот что они говорили. Но когда племена, обитающие в западных горах и к северу от Потомака, пришли в Ричмонд, умоляя о помощи, городские лидеры прогнали их и заперли ворота. Из города вышла армия, чтобы вселить страх Божий, как они говорили, в сердца своих голодных соплеменников. Однако они не знали, на чьей стороне Бог.

Папа Майкл возражал против этого, дядя Авраам бушевал и кипел от злости, а мама Элоиза однажды ночью, когда взошла луна, молча подошла к воротам и в одиночку одолела всех стражников. Так же молча она связала их, заткнула им рты и открыла ворота голодающим. По ее настоянию они вступили в город без оружия, тихо прошли к складам и унесли столько еды, сколько смогли. Последние из голодающих уже успели скрыться, когда стало ясно, что произошло. Никто не погиб.

Какой поднялся шум: измена, расследование, казнь! Было принято решение отрубить маме голову; людям каза-

лось, что это будет быстрая и милосердная смерть. Они никогда не видели, как это происходит на самом деле.

Топор держал Джек Вудс. До этого он весь день практиковался на тыквах. У тыкв нет костей.

Наступил вечер, и все собрались, чтобы посмотреть на казнь — одни, потому что ненавидели мама Элоизу, другие, потому что любили ее, а все прочие потому, что не могли остаться в стороне. Я тоже пошла, и папа Майкл держал мою голову, не позволяя смотреть. Но я все слышала.

Папа Майкл помолился за маму Элоизу, а мама прокляла его и всех остальных. Она сказала:

— Если вы убьете меня за то, что я помогла людям жить, вы лишь накличете смерть на свои головы.

— Это правда, — заговорили вокруг. — Мы все умрем. Но ты умрешь первой.

— Тогда мне повезло больше, чем вам, — ответила мама Элоиза.

Это был ее последний Обман, ведь она говорила правду, но сама не верила в нее, а потом я услышала, как она плачет. В последний раз глубоко вдохнув, она закричала голосом, в котором слышались слезы:

— Чарли! Чарли!

Некоторые говорили, будто ей явилось видение — Чарли, ожидающий ее одесную от Господа; но я в этом сомневаюсь. Тогда бы она так и сказала. Думаю, она закричала лишь потому, что очень хотела его увидеть. Или хотела, чтобы он ее простил. Какая разница? Ангел давным-давно покинул ее, предоставив самой себе.

Джек взмахнул топором, и тот издал чмоканье, а не глухой стук. Джек не попал по шее, а рассек маме спину и плечо. Она закричала, он ударил снова, и тогда она смолкла. Однако только с третьего удара он сломал ей позвоночник. Потом, весь в крови, он отвернулся, и его вырвало. Он заплакал, умоляя папу Майкла простить его.

Эми стояла в нескольких метрах от Элоизы, которая, сидя на траве, не сводила взгляда со свисающей с дерева обломанной ветки.

— Мамочка! Мамочка! — позвала Эми, а потом запрыгала по траве. — Папа! Папа! Ла, ла, ла, ла, ла!

Она танцевала и хотела, чтобы мама пела и танцевала тоже. Однако Элоиза все глядела на ветку, ожидая появления Чарли.

«Вот сейчас, — думала она. — Он будет злиться. Будет чувствовать себя пристыженным. Но останется жив».

И тут снова вспыхнуло сияние, Элоиза ясно увидела его, потому что очиститель был не так уж далеко. Свет мерцал среди деревьев, не причиняя им вреда, но совсем по-другому дело обстояло с животными, оказавшимися в поле действия механизма. Все существа, по нервам которых прошли электрические разряды, мгновенно погибли, им выжгло мозг. Птицы попадали с деревьев. Только насекомые продолжали жужжать.

Очиститель работал всего несколько минут.

Эми заметила сияние — словно с ней затанцевало само небо — и была зачарована зрелищем. Вскоре она позабудет корабль, и лицо отца изгладится из ее памяти. Но сияние Эми запомнит, и оно будет являться ей во сне. Как будто воздух внезапно сгустился, завибрировал и начал приплясывать — вверх-вниз, вверх-вниз. Во сне она всегда будет видеть одно и то же — это ужасное сияние, становящееся все ярче, ярче, ярче, все сильнее вдавливающее ее в постель. И всегда вслед за тем будет слышаться голос, который она так любила, повторяющий:

— Иисус. Иисус. Иисус.

Когда ей исполнилось двенадцать, этот сон по-прежнему был очень четким, и она рассказала о нем своему приемному отцу, священнику по имени Майкл. Тот объяснил, что она слышит голос ангела, называющего имя того, от кого исходит любой свет.

— Не нужно бояться этого света, — сказал он. — Нужно его принимать.

Объяснение удовлетворило Эми.

Однако когда она услышала это слово наяву, а не во сне, она без труда узнала голос — ведь это ее мама произнесла:

— Иисус!

Ее голос был полон печали, понять которую ребенку не дано. Эми и не поняла, а только попыталась повторить слово:

— Диин-зус.

— Боже,— сказала Элоиза, раскачиваясь взад-вперед и устремив взгляд на небеса, где, как она всегда считала, никого нет.

— Боге,— на свой лад повторила Эми.— Боге, боге, богги.

— Чарли! — закричала Элоиза, а свет очистителя уже угасал.

— Папочка!

Увидев слезы матери, Эми тоже расплакалась. Элоиза обняла дочь, прижала к себе, продолжая раскачиваться, и вдруг почувствовала, что не все в ней превратилось в лед. Кое-что из того, чему полагалось сгореть, уцелело: солнечный свет, и молния, и вечное, неумирающее сожаление.

Мама Элоиза часто рассказывала мне об отце. Она подробно описывала папу Чарли, чтобы я его не забыла. Она хотела, чтобы я помнила все.

— Это то, за что умер твой папа,— снова и снова повторяла она.— Он умер, чтобы ты помнила. Даже не вздумай забыть!

Что ж, я все еще помню каждое слово из того, что она о нем рассказывала. Волосы у него были рыжими, как и у меня. Он был худощавый и сильный. Он так же любил улыбаться, как я, и имел нежные руки. Если он потел, его длинные волосы спутывались на лбу, возле ушей и на шее. Руки его были так искусны, что он мог разрезать пополам существо, которое нельзя увидеть без специальной машины; он обладал такой душой, что мог летать... По словам мамы Элоизы, полеты как раз не были чудом, этим искусством владели многие великаны Золотого Века, и они брали в полет тех, кто летать не мог. У Чарли был к полетам особый дар, говорила мама Элоиза. А еще она говорила, что я очень любила его.

Однако все эти слова не помогают мне вызвать в памяти образ отца. Наоборот, как это часто бывает, они как будто вытесняют его образ.

И все же у меня сохранилось одно воспоминание об отце, настолько глубоко упрятанное, что я не могу ни утратить его, ни полностью возродить. Иногда я просыпаюсь в слезах. Иногда я просыпаюсь с согнутыми руками: я только что видела сон, в котором обнимала большого человека и знала, что он любит меня. Мои руки помнят, как, крепко обхватив папу Чарли за шею, я прижималась к нему, несущему свое дитя. И если я не в силах уснуть и никак не могу удобно уложить подушку, это потому, что пытаюсь придать ей форму плеча папы Чарли; мое сердце помнит его, пусть даже разум забыл.

Бог заставил ангелов вселиться в маму Элоизу и папу Чарли, и они уничтожили мир, поскольку чаша Божьего терпения переполнилась. И все дела рук человеческих обратились в прах, но из праха Бог создает людей, а из людей — ангелов.

Королевский обед

Узнав его, привратник распахнул ворота. Пастух убрал топор и посох в мешок на поясе и шагнул на мост. Как всегда, проходя под нешироким сводом надо рвом, в котором пенилась кислота, он почувствовал легкое головокружение. Наконец он оказался на той стороне, на дороге, ведущей к деревне.

На травянистом склоне холма мальчишка играл с собакой. Встретившись со светлыми глазами Пастуха, ярко выделяющимися на прекрасном смуглом лице, мальчик отпрянул, и Пастух услышал, как женщина вдалеке закричала:

— Иди скорей сюда, Дерри, дурак ты этакий!

Мальчишка помчался среди стогов сена, а Пастух двинулся по дороге. Женщина продолжала выговаривать сыну:

— Если будешь играть около замка, тебя подадут королю на обед.

«Королю на обед», — подумал Пастух. И так, король голоден. Сообщение об этом быстро передается с помощью сигналов — от управляющего к повару, от повара к капитану, от капитана к стражнику и, наконец, к Пастуху. А тот одевается и выходит за дверь уже спустя несколько минут после того, как король проворчит:

— Что бы такое съесть?

А королева, замахав всеми руками, ответит:

— Только не тушеное мясо, надеюсь.

А король буркнет, проглядывая сегодняшние компьютерные распечатки:

— Груды в масле.

И — пожалуйста, Пастух уже здесь, чтобы получить со своего стада то, что причитается королю и королеве.

Деревня была еще далеко, когда Пастуху начали попадаться люди. Он помнил, что в те дни, когда впервые стали известны королевские вкусы, деревенские жители пытались уклониться от своих обязанностей по отношению к королю. Теперь же они лишь смотрели на Пастуха; иногда прятали самых «целых» членов паствы, иногда, напротив, выгаликивали их вперед, не в силах вынести тревогу ожидания. Но по большей части Пастуху попадались безногие, безглазые или безрукие мужчины и женщины, ковыляющие по своим делам на уцелевших конечностях.

Те, у кого сохранились пальцы, плели что-то из соломы или ткали; те, у кого сохранились глаза, вели тех, у кого их больше не было; те, у кого сохранились ноги, тащили на спинах тех, у кого уцелели руки. И эти несчастные, единственным утешением которых были продавленные постели, то и дело производили на свет детей, чья чудесная целостность делала их богами в глазах потрясенной матери и ненавистным напоминанием для отца, у которого язык вываливался изо рта, или отсутствовали пальцы на ногах, или ягодицы были покрыты шрамами.

— Ах, какой он красивый... — пробормотала женщина, раздувая мехами огонь, на котором выпекался хлеб.

Ей вторило утрюмое ворчание безногого, переворачивающего выпечку деревянным совком. Пастух и вправду был красив, поскольку никто его и пальцем не тронул. (Да, не тронул, прозвучало эхо полночных костров Нечестивых Ночей, когда жуткие рассказы едва не сводили с ума детей, а взрослых заставляли съезживаться от страха, потому что они знали, что это правда, что это неизбежно, что это случится завтра.) У Пастуха были длинные темные волосы, твердые, но добрые губы, мягкие от частого мытья руки, а свет его глаз, казалось, сиял даже во тьме. Он был большой, сильный, смуглый, спокойный и бесстрашный.

И вот Пастух вошел в деревню, направляясь к дому, который наметил в свой последний приход. Он подошел к двери и услышал, как во всех остальных домах вздохнули с облегчением, а в этом воцарилась тишина.

Он вскинул руку, и дверь открылась, как и было положено: все, способное открываться, подчинялось воле

Пастуха, или, вернее, воздействию блестящего металлического шарика, вживленного королем в его руку. В доме было темно, но не настолько, чтобы не разглядеть белые глаза лежащего в гамаке старика со свисающими, будто бескостными, ногами. Этому человеку показалось, будто в глазах Пастуха он прочел свою судьбу, но Пастух прошел мимо него на кухню.

Юная девушка, не старше пятнадцати, стояла перед буфетом, с силой давя на его дверцу. Однако Пастух лишь покачал головой, вскинул руку, и буфет открылся, хотя женщина продолжала попытки его закрыть. Внутри лежал лепечущий младенец, завернутый в одеяла из звукопроницаемой ткани. Пастух улыбнулся. Его улыбка была доброй и прекрасной, и женщине захотелось умереть.

Пастух погладил ее по щеке, она вздохнула и негромко застонала. Он достал из мешка свой пастушеский посох, приложил маленький диск к ее виску, и она улыбнулась. Глаза ее были мертвы, но губы шевельнулись, обнажив зубы. Он уложил ее на пол, бережно расстегнул блузку и достал из мешка топор.

Провел пальцем по длинному, узкому цилиндру, на конце орудия вспыхнул крошечный огонек. Пастух прикоснулся мерцающим кончиком топора к нижней части одной из ее грудей и описал им широкий круг. Топор провел на коже тонкую красную линию, Пастух ухватился за грудь, и она осталась у него в руке. Отложив добычу в сторону, он провел рукой по топору, и свет стал тускло-голубым. Пастух провел топором над алой раной, кровь загустела, высохла, рана начала заживать.

Он положил грудь в свой мешок и проделал то же самое с другой грудью. Женщина наблюдала за происходящим со смутным удивлением, улыбка по-прежнему играла на ее губах. Она будет улыбаться так еще несколько дней и лишь потом осознает свою беду.

Когда и вторая грудь оказалась в мешке, Пастух отложил топор, посох и аккуратно застегнул на женщине блузку. Помог ей встать и снова провел мягкой рукой по ее щеке. словно младенец, ищущий сосок, она потянулась губами к его пальцам, но он отдернул руку.

Когда Пастух ушел, женщина достала ребенка из шкафа и обняла его, нежно воркуя. Он тыкался носом в

странно плоскую грудь, а женщина улыбалась и напевала колыбельную.

Пастух прошел по улицам, свисающий с пояса мешок подпрыгивал в такт его шагам. Люди смотрели на мешок, задаваясь вопросом, что там. Однако не успел Пастух покинуть деревню, как все уже знали ответ и теперь смотрели не столько на мешок, сколько на Пастуха. Он же не глядел ни влево, ни вправо, но чувствовал на себе взгляды людей, и в глазах его были нежность и печаль.

И потом он снова пересек ров по узкому мосту, миновал ворота и по темным переходам с высокими потолками зашагал к замку.

Он отнес свою добычу повару, который утрюмо посмотрел на мешок. Пастух лишь улыбнулся и достал оттуда посох. Мгновенье — и повар успокоился, разрезал мясо на куски, обвалил их в муке и положил на сковородку с разогретым маслом. Запах был сильный, приятный, на готовящейся пище проступили капли молока.

Пока повар занимался королевским обедом, Пастух оставался на кухне. Когда управляющий понес на подносе еду в королевский обеденный зал, Пастух последовал за ним, но остановился у двери. Король и королева ели молча, с соблюдением строгих, но изяшных ритуалов, делясь самыми лакомыми кусочками.

В конце еды король что-то сказал управляющему, и тот поманил повара и Пастуха.

Повар, управляющий и Пастух преклонили перед королем колени, а тот протянул три руки и прикоснулся к их головам. Имевшие за спиной большой опыт подданные вытерпели это прикосновение, не отпрянув, даже не мигнув, поскольку знали, что в противном случае король будет недоволен. В конце концов, то, что они могли служить королю, было величайшим даром судьбы: не будь этого служения, их плоть стала бы королевским обедом, а кожа украсила бы увешанные гобеленами стены замка или послужила отделкой охотничьего плаща.

Королевские руки все еще касались голов трех слуг, когда замок содрогнулся и завыл низкий сигнал тревоги.

Король и королева встали из-за стола, с подчеркнутым достоинством отошли к своим пультам, сели и нажали кнопки, включив невидимую защиту.

Спустя час изнурительной, сосредоточенной работы они признали свое поражение и прекратили сопротивление. Силовые поля, так долго удерживающие тонкие, высокие стены замка, лопнули, стены рухнули, и сверкающий металлический корабль опустился среди руин.

Борт воздушного судна раскололся, оттуда вышли четыре человека с оружием в руках и яростью в глазах. При виде них король и королева с грустью посмотрели друг на друга, достали из потайных мест на затылке ритуальные ножи и одновременно вонзили их друг другу между глаз. Они умерли мгновенно, и двадцатидвухлетнему рабству колонии на Аббатстве пришел конец.

Мертвые король и королева напоминали жутких плоских кальмаров, валяющихся на палубе рыбацкого судна, а вовсе не завоевателей планет и людоедов. Люди, высадившиеся из корабля, подошли к трупам и убедились, что враги мертвы. Потом огляделись по сторонам и только тогда поняли, что они не одни.

Среди руин, недоверчиво глядя на них, стояли Пастух, управляющий и повар.

Один из мужчин с корабля поднял руку.

— Как вам удалось выжить? — спросил он.

Они не ответили — смысл вопроса до них не дошел.

— Как вы уцелели здесь, когда...

Человек смолк, устремив взгляд поверх руин на толпу колонистов и детей колонистов, которые смотрели на них с той стороны рва. Увидев, что у многих из людей нет рук, или ног, или глаз, или грудей, или губ, члены экипажа корабля бросили оружие, зарыдали и побежали по мосту, чтобы разделить радость и горе освобожденных.

Не было нужды что-либо объяснять; колонисты поползли и заковыляли по мосту к разрушенному дворцу и окружили тела короля и королевы. Потом они занялись тем, о чем давно уже мечтали, и спустя час трупы лежали в яме у подножья замка, залитые мочой, забросанные фекалиями и испускающие зловоние разложения.

Тогда колонисты обратили взоры на слуг короля и королевы.

Экипаж корабля тщательно отбирали, прежде чем отправить в далекие миры; они обладали множеством на-

выков и умели быстро ориентироваться в обстановке. Прежде чем толпа успела что-то предпринять, прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, вокруг управляющего, повара, привратника и стражников возник силовой барьер. Даже Пастух оказался внутри, хотя толпа негодуя забормотала. Один из людей с корабля терпеливо, ровным тоном объяснил, что все преступники понесут заслуженное наказание в соответствии с законами империи.

Барьер не исчезал неделю, пока экипаж наводил порядок в колонии, стремясь пробудить интерес к самостоятельной жизни у людей, снова способных решать собственную судьбу. Наконец стало ясно, что это может затянуться надолго, а справедливость не может ждать. Тогда с корабля принесли электронного судью, созвали всех и начали разбирательство.

За правым ухом каждого колониста закрепили металлическую пластинку, такими же пластинками снабдили королевских слуг и людей с корабля, а потом началось расследование: воспоминания каждого передавались в сознание всех остальных.

Сперва судья заслушал свидетельства экипажа корабля. Колонисты увидели, как их освободители нажимали на кнопки и беседовали с компьютерами огромного звездолета, потом ощутили облегчение этих людей, когда четверо из них перешли в челнок, чтобы высадиться на долгожданной планете.

Но планета оказалась мертва, там не нашлось уцелевших. Люди с корабля нашли лишь замок, а в нем — короля с королевой, а когда хозяева замка были убиты, на планете остались только заросшие сорняками поля да развалины давным-давно опустевшей деревни.

Это повторялось снова и снова, и лишь в колонии на Аббатстве людям удалось выжить.

Потом все присутствующие на суде смотрели, как на других планетах вскрывали тела убитых королей и королев. Внутри одной королевы обнаружили тысячи крошечных многоруких плодов, истекающих кровью на холодном воздухе, проникшем во вскрытую матку. Тридцать лет беременности — а потом пара за парой они начали бы являться на свет, чтобы завоевывать и осквернять все новые миры,

неумолимо, словно болезнь, распространяясь по всей галактике.

Но этим тварям не суждено было родиться: плоды обрызгали химикалиями, они перестали шевелиться и высохли, превратившись в сморщенные серые комочки.

На этом показания экипажа корабля закончились, и судья принялся исследовать память колонистов.

Вой с неба и вспышка света, и — без всяких космических кораблей — на планету опустились король и королева. Однако вслед за их появлением тут же возникли всевозможные устройства. Людей избивали невидимыми кнутами, сгоняя в загон, выросший словно из пустоты, — в темное, тесное пространство, где пленники едва поместились вплотную друг к другу.

Спертый воздух, нечем дышать.

Женщины первыми теряют сознание, за ними — мужчины, постепенно крики стихают. Пот течет, пока не высыхает; жар сжигает, пока мертвецы не остывают... А потом весь загон внезапно начинает вибрировать.

Открывается дверь, и появляется король, невообразимо огромный, со множеством отвратительных шупалец-рук. Того, кто стоит позади тебя, вырвало, вот и тебя самого начинает выворачивать наизнанку, и от страха срывает мочевой пузырь. «Руки» короля тянутся к пленникам, и все вокруг кричат, кричат и кричат — но наконец голоса смолкают. Одного корчащегося человека выдергивают из толпы, дверь снова закрывается, вновь воцаряется тьма, и снова вонь, и ужас, и жара, еще сильнее, чем прежде.

Тишина. И далекий крик боли.

Тишина. Бесконечно тянущиеся часы. И вновь дверь открывается, появляется король, снова раздаются крики.

Как только король входит в загон в третий раз, из толпы выходит человек, который не кричит. Его одежда заскорузла от чужой блевотины, но самого его явно не рвало, его взгляд спокоен, губы не кривятся, глаза сияют. Это Пастух, хотя пока он известен людям под другим именем.

Он подходит к королю и протягивает руку. Его не выдергивают, а выводят наружу, и дверь опять закрывается.

Тишина. Медленно ползут минуты. Но крика не слышно.

А потом загон исчезает, словно его и не бывало, вокруг опять чистый воздух, зеленая трава, в небе, как прежде, сияет солнце. Только одно изменилось: появился уходящий под небеса замок, изящный, с безумным нагромождением шпилей и куполов. Его окружает заполненный кислотой ров, через который перекинут узкий мост.

Люди возвращаются в деревню. Их дома целы, кажется, можно про все позабыть.

Но потом появляется Пастух, которого все еще называют старым именем... как бишь его звали? И все говорят с ним, расспрашивают его — что там, в замке, чего хотят король и королева, зачем людей держали в заточении и почему освободили.

Однако Пастух, не отвечая на вопросы, указывает на булочника. Тот выходит вперед, Пастух прикасается к его виску своим посохом, и булочник улыбается и идет к замку.

После того как в замок зашагали еще четверо сильных мужчин и мальчик, а после — еще один мужчина, люди заворчали и отпрянули от Пастуха. Его лицо по-прежнему прекрасно, но все помнят крики, которые слышали из загона, и не хотят идти в замок. Их настораживают бездумные улыбки тех, кто только что туда ушел.

Дни тянутся своим чередом, Пастух является в деревню снова и снова, и люди теряют конечности. Они вынашивают планы мести, но посох Пастуха и его невидимый кнут пресекают попытки напасть. Те, кого он отсылает в замок, возвращаются домой калеками. Люди ждут. И ненавидят.

И многие, очень многие из них жалеют, что не погибли в первые ужасные мгновенья после завоевания планеты. Но больше никто не пытается убить Пастуха.

Колонисты кончили «давать показания», и судья сделал паузу, прежде чем продолжить расследование. Воспоминания были слишком живыми, людям требовалось время, чтобы осушить слезы.

А потом они увидели показания Пастуха. На этот раз не было множества разных «картинок»; все видели прошлое лишь его глазами.

Снова загон, люди съезжились от ужаса. Как и раньше, открывается дверь. Только на этот раз каждый из присутствующих на суде «вспоминает», как выходит вперед, как протягивает королю руку, как к нему прикасается холодное щупальце, как его выводят из загона.

Замок все ближе, нарастает страх. Однако одновременно возникает ощущение мира — и оно помогает тебе сохранить спокойное выражение лица и заставляет сердце биться в нормальном ритме.

Замок. Узкий мост, заполненный кислотой ров. Ворота открываются. На мосту начинает кружиться голова — кажется, что король в любой момент может столкнуть свою жертву в ров.

А потом — просторный обеденный зал, королева за пультом создает мир, в котором появятся на свет ее дети.

Ты стоишь около стола, король и королевой наблюдают за тобой с высоких сидений. Ты бросаешь взгляд на стол и понимаешь, почему раздавались те крики. Чувствуешь, как вопль поднимается к горлу, когда осознаешь, что ты, а потом и все остальные люди будут вот так же разорваны, полуобглоданы, превратятся в груды хрящей и костей.

И потом ты справляешься со страхом и просто стоишь и смотришь.

Король и королева волнообразными движениями поднимают и опускают «руки». Кажется, так они разговаривают. Должен ведь быть какой-то смысл в этих движениях?

Ты должен понять. Ты тоже вытягиваешь руку и пытаешься изобразить похожие жесты.

Они перестают двигаться и следят за тобой.

На мгновение ты неуверенно останавливаешься, потом снова начинаешь делать волнообразные движения руками.

Их «руки» взволнованно мечутся, слышны негромкие звуки. Ты пытаешься повторить и их.

А потом король и королева приближаются к тебе, и ты стараешься успокоиться, клянешься, что не закричишь, хотя в глубине души понимаешь, что не сможешь удержаться.

Холодное щупальце прикасается к тебе, ты чувствуешь нарастающую слабость. Тебя выводят из комнаты, и сознание застилает тьма.

Проходят недели, а ты все еще жив — ради того, чтобы забавлять их, когда они устают от своих трудов. Однако, подражая им, ты учишься, а они учат тебя, и вскоре вам удастся вести нечто вроде примитивного диалога. Они обращаются к тебе, медленно шевеля всеми гибкими конечностями, издавая негромкие звуки, а ты с помощью двух рук, а потом и с помощью голоса пытаешься ответить. Это убийственно трудно, но наконец ты сообщаем, что должен кое-что им сказать, прежде чем им надоест с тобой забавляться и они снова увидят в тебе всего лишь еду.

Ты объясняешь им, как сохранить стадо.

И тогда они делают тебя пастухом, в обязанности которого входит лишь одно: снабжать их едой, да так, чтобы припасы никогда не кончались. Ты сумел убедить их, что благодаря тебе они получают вечный источник пищи, и они заинтересовались.

Среди своих хирургических инструментов они находят и вручают тебе тот, который будет служить тебе посохом. Отныне твоё стадо будет подчиняться тебе без борьбы, даже без боли. Еще тебе дают топор для отсечения и исцеления, и на куске разлагающейся плоти показывают, как его использовать. В твою ладонь они вживляют имплантат, которому подчиняются любые двери. И вот ты идешь в колонию и медленно убиваешь своих товарищей, отрезая от них кусок за куском, — чтобы все они оставались живы.

Ты ни с кем не разговариваешь. Ты прячешься от их ненависти за стеной молчания. Ты страстно желаешь смерти, но она не приходит, потому что это невозможно. Если ты умрешь, умрет и колония. Чтобы сохранить людям жизнь, ты сам ведешь жизнь, которая хуже смерти.

А потом замок рушится. Твое дело закончено. Ты зарываешь топор и посох и ждешь, когда тебя убьют.

Расследование подошло к концу.

Люди сняли пластинки и удивленно заморгали, шурясь от солнечного света. Он смотрели на прекрасное лицо Пастуха с выражением, смысл которого невозможно было угадать.

— Вердикт суда гласит,— принялся зачитывать человек с корабля, в то время как его товарищи пошли в толпу, собирая свидетельские пластинки,— что человек, именуемый Пастухом, виновен в совершении чудовищных преступлений. Однако преступления эти были единственным способом сохранить жизнь тем, против кого они совершались. Поэтому человек, именуемый Пастухом, оправдан по всем статьям. Жители колонии Аббатства должны по крайней мере раз в год чествовать его и помочь ему прожить так долго, сколько может прожить человек благодаря науке и бережному обращению.

Таков был вердикт суда, и хотя колонисты Аббатства двадцать два года были отрезаны от остального мира, они ни за что не нарушили бы законов империи.

Спустя неделю экипаж закончил свои дела на планете и корабль стартовал; отныне колонисты, как и прежде, будут сами вершить свои дела.

Корабль был уже далеко среди звезд, когда после ужина трое членов экипажа завели беседу об оставленной планете.

— Ну и штука этот Пастух,— сказал один.

— И все-таки он чертовски добрый человек,— отозвался второй.

Им казалось, что третий их товарищ задремал, но вдруг он резко выпрямился и воскликнул:

— Боже, что мы наделали!

Шли годы, колония Аббатства процветала, подрастало новое поколение сильных, неискалеченных людей. Они рассказывали детям своих детей историю долгого порабощения планеты. Свободу хранили как великое сокровище; так же бережно хранили силу, здоровье и жизнь.

И каждый год, согласно вердикту суда, все устремлялись к одному из домов в деревне, неся дары: зерно, молоко и мясо. Колонисты выстраивались в очередь у двери, а потом по одному входили внутрь, дабы почтить Пастуха.

Они вереницей проходили мимо его лежанки, чтобы он мог их разглядеть. Каждый всматривался в прекрасное лицо с мягкими губами и ласковыми глазами. Сильных рук, однако, больше не было — только голова, шея, по-

звоночник, ребра и рыхлый мешок плоти, пульсирующий жизнью. Глядя на то, что осталось от тела Пастуха, люди всматривались в зажившие шрамы. Когда-то вон там были ноги и бедра, верно? Да, и еще гениталии, и плечи, и предплечья.

— Как же он живет? — недоумевали малыши.

— Мы поддерживаем в нем жизнь, — отвечали им взрослые.

— Таков вердикт суда, — повторяли они год за годом. — Мы должны помочь ему прожить так долго, сколько может прожить человек благодаря науке и бережному обращению.

Потом они оставляли свои дары и уходили, и в конце дня Пастуха снова переносили в его гамак, откуда сквозь окно год за годом он видел небо. Они, возможно, отрезали бы ему и язык, но это никому не пришло в голову, поскольку он всегда молчал. Они, возможно, выкололи бы ему глаза, если бы не хотели, чтобы он видел, как они улыбаются.

То, что свято

— У тебя есть оружие, которое может их остановить,— сказал Кроуф, и внезапно я почувствовал тяжесть игольчатого пистолета на своем поясе.

— Мне запрещено применять оружие,— ответил я.— Даже игольчатый пистолет. И уж тем более осколочные гранаты.

Кроуфа мои слова, похоже, не удивили, не то что остальных. Я разозлился: с какой стати Кроуф ставит меня в такое положение? Стоун, сидевший с луком на коленях, мрачно уставился на меня, а Фоул довольно внятно проворчал глубоким, звучным голосом:

— Мы друзья или нет? Вроде тут шла речь о друзьях.

— Таков закон,— сказал я.— Я могу использовать оружие только в целях самозащиты.

— Их стрелы летят не только в нас, но и в тебя! — воскликнул Стоун.

— Пока я с вами, закон считает, что нападают на вас, а не на меня. Если я пушу в ход оружие, я тем самым приму чью-то сторону. И тогда вся корпорация как бы примет вашу сторону. Если дело до такого дойдет, корпорация откажется сотрудничать с вами.

— По-моему, это как раз хорошо,— пробормотал Фоул.— Много нам проку от корпорации!

Я не стал говорить, что, если дело примет такой оборот, меня казнят. Йалимини не нужны люди, которые боятся смерти.

Вдалеке послышался крик. Я взглянул на остальных — никто из них, похоже, не встревожился. Однако вскоре в круг камней вбежал запыхавшийся Да.

— Они нашли обходной путь, — выдохнул он. — Мы ничего не смогли поделывать, сумели только убить одного голони.

Кроуф встал и издал гортанный крик — стаккато отрывистых звуков, разбудивших эхо в скалах. Потом он кивнул остальным, и Фоул схватил меня за руку.

— Пошли, — прошептал он.

Однако я уперся, не желая двигаться с места, пока не пойму, что происходит.

— В чем дело? — спросил я.

Кроуф усмехнулся. Я видел его черные зубы далеко не впервые, и все-таки они выглядели жутковато, особенно по контрасту с бледным лицом.

— Мы хотим выбраться из переделки живыми. Замакнуть их в ловушку. К югу отсюда есть узкое ущелье, где ждет сотня моих людей, чтобы начать игру. — Пока он говорил, в круге из камней появились еще четверо, и Кроуф повернулся к ним. — Гококо? — спросил он. Они пожали плечами, и он смерил их сердитым взглядом. — Мы не бросим Гококо!

Все закивали, а четверо воинов вновь растаяли среди скал.

Фоул опять потянул меня за руку, уже настойчивей, а Стоун жалобно сказал:

— Надо идти, Кроуф.

— Мы никуда не пойдем без Гококо.

Послышались скорбные стенания, словно застонала сама земля. Невозможно было различить, где сам стон, где его эхо. Кроуф наклонил голову, присел на корточки, ритуальным жестом прикрыл руками глаза и негромко нараспев заговорил. Остальные последовали его примеру; Фоул даже отпустил мою руку, чтобы тоже прикрыть лицо. Я подумал, что такая набожность может произвести впечатление, и все же вряд ли разумно закрывать глаза, когда вокруг кипит битва. Это против законов эволюции! Время от времени во мне просыпался старый антрополог, а антрополог, как известно, не профессия, а диагноз.

Все эти мысли, однако, вылетели у меня из головы, когда из-за скал выскочил воин голони. Размахивая двумя длинными ножами, он бросился к Кроуфу. Никто из йалимини даже не шелохнулся, чтобы защитить сородича.

Что делать? Мне запретили убивать; однако Кроуф был самым влиятельным военачальником йалимини, к тому же дружелюбно настроенным, нельзя было допустить, чтобы он погиб. Без него невозможно будет торговать с людьми островов, а кроме того, я не хотел смотреть, как убивают человека, закрывшего глаза ради свершения религиозного обряда, как бы глупо ни выглядел этот обряд. Все же я решился обойти закон, если уж не нарушить, и в тот миг, когда нож голони, нацеленный в шею Кроуфа, устремился вниз, я вмазал воину ногой в пах.

Тот взвыл и, забыв про нож, схватился за больное место, а потом бросился на меня. К моему удивлению, остальные продолжали причитать, словно понятия не имели, что я с риском для жизни защищаю их вождя.

Я мог быстро убить голони, но не хотел этого делать, поэтому сражался с ним три или четыре бесконечные минуты. Наконец я разоружил его, но так и не осмелился нанести слишком сильный удар, чтобы ненароком не убить. Вместо этого я сломал ему руку; но он, казалось, не заметил боли и продолжал бросаться на меня, действуя при этом двумя руками.

«Что они за люди? — недоумевал я, блокируя страшный удар не менее страшным ударом тяжелого сапога. — Они что, не чувствуют боли?!»

Наконец причитания смолкли, и в тот же миг одним мощным ударом Фоул сломал голони шею.

— Джасс! — прошипел он, поглаживая ноющую руку. — Ну и крепкая же у него шея!

— Какого черта вы раньше мне не помогли? — взорвался я.

Они будто не слышали моих слов. Очевидно, чужаку таких тонкостей не понять. Те четверо, которые недавно ушли за Гококо, вскоре вернулись, с красными от засыхающей крови руками. Они вытянули руки, и Кроуф, Фоул, Стоун и Да с печальными лицами полизали кровь. Кроуф дважды шелкнул языком, и Фоул снова потянул

меня прочь из круга камней. На этот раз, однако, за нами последовали остальные.

Кроуф стремглав помчался впереди всех по тропе, которой испугался бы даже горный козел. Я попытался сказать Фоулу, что буду двигаться быстрее, если он отпустит меня, но стоило мне подать голос, как Стоун обогнал нас и со всей силы врезал мне в лицо. Я молча проглотил кровь, и мы продолжали путь.

Тропа закончилась на вершине горы, которая, казалось, уходила в небо на краю мира. Далеко внизу раскинулся остров Йалимин: у горизонта равнина казалась голубоватой, но я знал, что океан слишком далеко отсюда, чтобы его можно было увидеть. Между вершиной горы и землей здесь и там плыли облака; среди протянувшихся на много миль джунглей виднелись пятна крестьянских полей и ярко-белые пятна городов, и все это очень напоминало картину, которую мы видели из космического корабля, когда много месяцев назад кружили над этой планетой.

После секундной остановки мои спутники кинулись к обрыву и, казалось, нырнули прямо в пустоту. Я прыгнул за ними — ничего другого мне не оставалось, ведь Фоул держал мою руку железной хваткой — и заскользил по крутому склону, не видя внизу ничего, что могло бы задержать мой стремительный спуск. Я едва не закричал, удержавшись от вопля лишь из-за крошечной надежды, что это все-таки не массовое самоубийство, а еще из-за опасения, что мой крик привлечет внимание голони.

А потом склон подо мной вдруг исчез. Я падал, казалось, целую вечность и наконец, дрожа, очутился на уступе едва ли в метр шириной. Остальные были уже там, и Фоул слегка придержал меня, видимо, помня о моей неопытности. Я заставил себя посмотреть вниз и увидел там другие горы: отсюда они казались невысокими холмами, но я знал, что они такие же высокие, как эта. Мысль о том, что если я упаду, мне придется лететь всего несколько сот метров, а не пять или шесть километров, почему-то не слишком успокаивала.

Кроуф снова побежал, мы бросились следом. Вскоре метровой ширины выступ сузился втрое; однако никто не замедлил бега, и Фоул по-прежнему тащил меня за собой.

Наконец мы оказались перед узкой седловиной между нашим пиком и соседним, который казался просто грудой камней неправильной формы. Возможно, среди этих камней мы могли бы хорошо спрятаться и ускользнуть от преследования.

Теперь нас вел не Кроуф, а Да. Он молниеносно пересек седловину, повернулся, оглядел скалы над нами и махнул рукой. Фоул последовал за ним, сжимая мою руку, — он бежал так быстро, что мне оставалось лишь мечтать не свалиться с узкой тропы.

Потом я наблюдал, как седловину пересекают остальные. Кроуф был последним, и в тот миг, когда он сделал первый шаг, на скалы за его спиной высыпали голони.

Они молчали. Единственная война, в которой мне доводилось участвовать прежде, шла под оглушительные крики и взрывы, и здешняя безмолвная война казалась куда ужаснее. Люди вокруг меня вскинули луки и начали стрелять; голони падали, но упал и Кроуф — стрела угодила ему в затылок.

Неужели он погиб? Наверняка. Однако, упав, он уперся ногами в узкий гребень, и это помешало ему скатиться вниз. Еще одна стрела вонзилась Кроуфу в спину, а потом, так быстро, что враги не успели выстрелить, Фоул спустился со скалы, взвалил соплеменника на плечи и бросился обратно. Голони снова начали стрелять, но даже сейчас, казалось, целились не в Фоула, а в Кроуфа.

Мы скрылись в скалах, оставив двух дозорных, чтобы охранять седловину. Голони понадобятся часы, чтобы найти обходной путь, поэтому мы почувствовали себя в относительно безопасной обстановке и смогли заняться Кроуфом.

Он все еще дышал, глаза его были открыты, и, глядя прямо перед собой, он силился заговорить. Стоун держал его за плечи, пока Да проталкивал стрелу глубже в голову. Наконец ее окровавленный наконечник показался из лба, Да наклонился, зажал кремень зубами, потянул, сплюнул его, а потом вытащил древко. Пока он проделывал все это, Кроуф не издал ни звука. Когда Да закончил, Кроуф умер.

На этот раз не было ритуала с закрытыми глазами и причитаниями. Люди вокруг меня плакали открыто — от-

крыто, но молча. Их сотрясали рыдания, слезы струились из глаз, лица исказились от душевной боли. Но не было слышно даже тяжелого дыхания.

Всеобщая неприкрытая печаль не оставила меня равнодушным. Я мало знал остальных, но с Кроуфом был знаком неплохо. Нельзя сказать, что мы были близки, нас не связывала дружба — слишком высокие барьеры нас разделяли, — однако я видел, как он управляет своими людьми, а сильного, твердого человека узнаешь всегда, к какой бы цивилизации он ни принадлежал. В Кроуфе была и сила, и твердость. Во время наших первых встреч, когда корпорация только-только подала ходатайство о праве на торговлю, Кроуф заставил своих людей не вводить никаких ограничений и запретов на торговые операции. В ту пору мне показалось, что он один выступает против всех; правда, позднее выяснилось, что у него было много сильных сторонников, просто он предпочитал не афишировать это. И все равно, он как будто придержал ногой дверь, не дав ей закрыться. Позже Кроуф отвел меня в сторону и заявил, что запрещает поставлять йалимини товары, не сообщив сперва об этом ему и не получив на сделку его одобрения.

И вот теперь он погиб, даже не в большой битве, и я не мог ничего поделать — только удивляться, почему йалимини, удивительно практичные люди, позволяют своим лучшим предводителям гибнуть во время бессмысленных набегов на пограничные области и высокогорье.

Как ни странно, гибель Кроуфа искренне меня опечалила. Корпорация, конечно, будет и дальше развивать торговые отношения с йалимини, никаких особых трудностей здесь не возникнет, однако Кроуф был очень ценным деловым партнером. Нам обоим нравилась эта игра — переговоры, заключение сделок, — и только многочисленные обоюдные недопонимания обеих сторон мешали нам как следует поладить.

Люди Кроуфа раздели труп и закопали одежду под скалами. Потом вскрыли тело, вытащили внутренности и разрезали кишки вдоль. От вони меня чуть не вырвало. Они трудились изо всех сил, очищая кишки от содержи-

мого и складывая найденное в небольшой кожаный мешок. Когда кишки были очищены так тщательно, как только можно было проделать с помощью каменных ножей, мешок завязали, и Да повесил его на веревке себе на шею. Слезы все еще текли по его лицу, когда он обвел товарищей взглядом.

— Я поднимусь на гору, — прошептал он. Остальные закивали, рыдания стали громче. — И отдам его душу небу.

Остальные один за другим стали подходить к Да, прикасаться к мешку и шептать:

— Я с тобой.

— И я.

— Клянусь.

Услышав эти негромкие голоса, лучники, охраняющие седловину, пришли в наше убежище среди скал, явно собираясь тоже дать клятву, однако Да предостерегающе поднял руку.

— Оставайтесь здесь, задержите преследователей. Они наверняка поняли, что мы задумали.

Лучники грустно кивнули и вернулись на пост. Фоул снова сжал мою руку, и мы начали спуск с горы.

— Куда мы? — прошептал я.

— Отдать долг душе Кроуфа, — ответил Стоун.

— А если там засада?

— Не важно.

Религию йалимини можно, пожалуй, назвать поклонением небу; я изучал ее в городе, возле которого впервые приземлился.

— Стоун, — тихо окликнул я, — враги знают, что у нас на уме?

— Конечно, — прошептал он в ответ. — Может, они и неверные, но понимают законы чести. Они попытаются устроить засаду по дороге и перебить нас, помешать отдать погибшему последний долг.

Да шикнул, призывая к молчанию, и дальше мы спустились вниз по склону уже в тишине. Услышав неподалеку крик, мы не обратили на него внимания — я лично думал только о том, как найти опору для ног и зацепки для рук и как не отстать от остальных, которые были куда сильнее и быстрее меня.

Наконец мы остановились на пологом склоне. Дальше был крутой обрыв, и оттуда, где мы стояли, был хорошо виден большой отряд голони — они спускались тем же путем, каким только что прошли мы.

Сперва я не заглядывал за край, но когда увидел, что мои товарищи связывают все веревки, которые у них были, подошел к обрыву и увидел внизу небольшую долину — она вела в глубокий каньон, прорезающий толщу горы и спускающийся к широкой равнине. Там, на равнине, мы будем в безопасности.

Однако сперва нужно было спуститься отсюда, а обрыв был высотой около сотни метров. Я не представлял, как мы управимся. Даже если мы один за другим будем скользить вниз по веревке, в чем у меня совсем не было опыта, что помешает врагам последовать за нами?

Эту проблему решил Фоул: он сел на землю в нескольких метрах от края, ногами уперся в камень и натянул перчатки. Потом взял в левую руку короткий конец веревки, спустил длинный конец с обрыва, перекинул его себе за спину и намотал на правую руку.

Теперь он сумеет удерживать веревку, пока остальные будут спускаться, а если на него нападут или убьют, он просто отпустит веревку, и враг нас не настигнет.

Для самого Фоула это была верная гибель.

Наверное, следовало что-нибудь сказать ему на прощание, но у нас не было времени. Да быстро объяснил мне, как спускаться по веревке, — я должен был либо хорошо усвоить его урок, либо погибнуть: как раз в этом-то случае единственная ошибка могла стоить жизни. А потом Да с мешком на шее, где лежало содержимое кишечника Кроуфа, начал быстро спускаться.

Фоул стойко и без особых усилий удерживал веревку, потом она провисла, и тут же Стоун заставил меня сесть на нее, как это только что делал Да. В следующий миг он толкнул меня с утеса, я шагнул в пустоту и быстро полетел вниз, от ужаса хватая ртом воздух и раскачиваясь, словно маятник. Скала мелькала передо мной, то удаляясь, то приближаясь, один раз веревка крутнулась, и я увидел равнину далеко внизу. Тогда меня вырвало, хотя я ничего не ел с утра, и горечь во рту была такой едкой,

что я забыл об ужасе и замедлил спуск, крепко вцепившись в веревку, которая даже сквозь перчатки жгла руки и резала ноги.

Земля быстро приближалась, я уже видел внизу нетерпеливо машущего рукой Да. Я стал спускаться быстрее, не обращая внимания на боль, наконец ударился ногами о землю и растянулся ничком на траве.

Перевернувшись на спину, я зачарованно уставился на того, кто начал спускаться вслед за мной: теперь, когда суровое испытание осталось позади, я смог оценить красоту этого зрелища — одинокий человек над пропастью, бесстрашно встречающий опасность. Такие переживания давным-давно позабыли на моей ласковой родине Сад, где склоны холмов пологи, где прибой нежно лижет песок, а не бьется о прибрежные скалы, где люди такие же мягкие, как мир, в котором они живут. Я и сам мягкий человек, что доставляло мне большие неприятности в начале военной карьеры, но в то же время позволило пережить войну и оставить армию, шеголяя всего лишь несколькими шрамами.

Пока я лежал, размышляя о контрасте моего воспитания с суровой жизнью в этом мире, к нам присоединился Стоун, и спуск начал следующий йалимини.

Он одолел всего половину пути, когда кто-то показался наверху обрыва. Я не сразу понял, что происходит, а как только осознал, что это голони, Да и Стоун потянули меня под прикрытие утеса, чтобы нас не задела падающая тела.

Тот, кто спускался, наконец коснулся ногами земли; его звали Пан, он был свирепым с виду, однако горше других оплакивал смерть Кроуфа. Но последовавший за Паном был еще в дюжине метров от земли, когда веревка вдруг задрожала, и он полетел вниз и ударился о землю. Я хотел броситься ему на помощь, но меня удержали.

Все уставились вверх, и я вскоре понял почему: великан Фоул, казавшийся отсюда совсем маленьким, прыгнул с обрыва, прихватив с собой двух голони. Спустя мгновение рухнул третий голони, по-видимому не удержавшийся на краю во время драки.

Фоул ударился о землю со страшной силой, но и головы превратились в груды сломанных костей. И опять я рванулся, чтобы попытаться как-то помочь, и опять меня удержали, и опять я понял, что они знают свой мир куда лучше, чем я, чужеземец, могу когда-либо его узнать. Вокруг нас начали со стуком падать камни, один угодил в голову тому, кто спустился после Пана. Этот йалимини упал со сравнительно небольшой высоты и был еще жив, но камень пробил ему череп.

Мы прятались в тени утеса почти до темноты, а едва стало смеркаться, Да и Пан выскочили из укрытия и притащили тело погибшего. Возвращались они уже под градом камней, некоторые из которых рикошетом отлетали туда, где ждали мы со Стоуном. Один камень больно ударил меня по предплечью, оставив синяк.

Когда совсем стемнело, мы с Да, Стоуном и Паном вышли, отыскиали тело Фоула и тоже оттащили в укрытие.

Потом йалимини разожгли костер, рассекли мертвецам глотки и перевернули тела, чтобы стекла кровь. Смочив руки в алой жидкости, они слизали ее, как делали в честь Гококо, закрыли глаза и затянули свой речитатив.

Пока шел похоронный обряд, я смотрел на равнину. Сверху казалось, что она почти на одном уровне с нашим лагерем, но на самом деле она лежала куда ниже, и я хорошо видел неяркие огни затерянных в джунглях городов. Но все они горели очень далеко.

«Интересно,— подумал я,— сколько отсюда до аванпоста в предгорьях, где мы оставили коней?»

И еще я размышлял, какого черта вообще согласился принять участие в этой экспедиции.

«Обычное путешествие»,— сказал тогда Кроуф.

Наверно, я просто не осознавал, насколько плохо улавливаю смысловые оттенки его языка. К тому же мне не верилось, что война между голони и йалимини настолько серьезна. В конце концов, она тянулась уже больше трехсот лет; просто удивительно, что страсти могли не остыть за такой долгий срок.

— Ты смотришь на равнину,— прошипел Стоун.

Поразительно, но за те несколько часов, что мы провели вместе у подножья утеса, это были первые слова,

если не считать ритуальных причитаний. Йалимини в городах ужасно любят сплетничать и вообще болтать, но здесь предпочитают помалкивать.

— Я прикидывал, сколько понадобится дней, чтоб добраться до города.

— До города? — недоумевающе проворчал Стоун.

Такой ответ меня удивил.

— А куда же еще мы направляемся?

— Мы дали клятву, — в голосе Стоуна прозвучало отращение, как бывало всякий раз, когда я ляпал что-то невпопад. — Клятву доставить душу Кроуфа на Небо.

— Куда? — Я и в самом деле не понимал. — Как вы доберетесь до неба?

Стоун передернул плечами — его терпение было на исходе.

— На Небо, — повторил он, и тут до меня, наконец, дошло.

Небом называлась еще и самая высокая гора на острове Йалимин.

— Ты шутишь, да? — спросил я. — Чтобы туда попасть, нам придется вернуться.

— Есть и обходные пути.

— Голони тоже о них знают!

— Ты считаешь, что у нас нет чести? — зарычал Стоун. Да услышал и подошел.

— В чем дело? — прошептал он.

— Этот мерзавец-чужак оскорбляет нас, подозревая в трусости, — прошипел Стоун.

Да погладил висящий у него на груди мешок.

— Это правда? — спросил он.

— Ничего подобного, — ответил я. — Понятия не имею, почему он обиделся. Я всего лишь предположил, что лезть на самую высокую гору острова не слишком благоразумно. Нас всего четверо, и голони наверняка успеют туда раньше. Разве не так?

— Конечно, — сказал Да. — Выполнить то, что мы задумали, нелегко. Но Кроуф был нашим другом.

— И что мы станем делать, если нарвемся, например, на засаду в сто человек?

Да удивленно посмотрел на меня, Стоун просто за-
трясся от злости.

— Мы были рядом с Кроуфом, когда он умирал. А они нет,— ответил Да.

— Ты что, трус? — спросил Стоун.

И тут до меня дошло: с его точки зрения трусость за-
служивает не просто отвращения. За нее можно изгнать,
за нее можно убить. Его рука потянулась к ножу, и я
понял, что передо мной непростая дилемма. Если я опро-
вергну обвинение в трусости под угрозой смерти, не будет
ли это само по себе трусостью? Выбором между огнем и
полымем?

Я решил держаться твердо.

— Если ты спрашиваешь, боюсь ли я вас — нет, не
боюсь.

Некоторое время Стоун удивленно смотрел на меня,
потом мрачно улыбнулся и убрал нож в ножны. К нам
подошел Пан, и Да предложил устроить совет.

Совет длился недолго; мы решали, какой путь выбрать.
Я плохо знал здешние края, но после совета у меня появи-
лось еще больше поводов для сомнений.

— Почему мы делаем это для Кроуфа, но не сделали
ничего подобного для Фоула или Гококо?

— Потому что Кроуф — Лёд,— ответил Да, и я запо-
нил этот странный ответ, чтобы позже поломать над ним
голову.

— А что мы будем делать, когда заберемся на Небо?

Стоун, который словно бы задремал, вдруг встре-
нулся и прошипел:

— Об этом не принято говорить!

— Может, только чужак и доберется до Неба,— воз-
разил Да.— Он должен знать, что ему делать, если это про-
изойдет.

— Если туда доберется он один, можно считать, что
все пропало,— злобно ответил Стоун.

Да не обратил внимания на эти слова.

— Тут, в мешке, последнее, что стало бы частью Кро-
уфа, если бы он выжил,— объяснил он.— Можно сказать,
его будущее. Все это нужно выложить на высокий алтарь,

чтобы Джасс знал: Лёд вернулся к нему, явился туда, где Джасс сможет снова сделать его целым.

— И все? Просто выложить то, что в мешке, на алтарь?

— Сам ритуал, конечно, не трудный, — ответил Да. — Самое трудное — добраться туда. А еще ты должен попроситься с душой Кроуфа, и отломить кусок льда, и сосать его, пока он не растает, а потом окропить алтарь своей кровью. Однако важнее всего — туда попасть. На вершину самой высокой горы мира.

Я не стал говорить, что далеко на севере, на одном из континентов, возвышаются горы, по сравнению с которыми Небо — просто карлик. Вместо этого я просто кивнул, лег на траву и задремал, но мой разум антрополога не унимался, пытаюсь разгадать смысл этих магических ритуалов. В них явно было много самовнушения; при чем тут лед, я никак не мог понять; а использование экскрементов как «последней части» тела вообще никогда и нигде мне раньше не встречалось. Но, как часто говаривал один мой знакомый старый профессор: «Сколь своеобразным ни кажется чье-либо поведение, рано или поздно обнаружится, что есть место, где оно является нормой для представителей славной гуманоидной расы».

Мешок на шее Да сильно вонял.

Я заснул.

Вчетвером (неужели еще вчера утром нас было десять?) мы двинулись в путь еще до рассвета, направляясь к каньону. Мы знали, что враги до сих пор наверху, но некоторые из них наверняка срезали путь и теперь притаились впереди. Мы взяли с собой только еду на несколько дней, веревку и оружие. Я предпочел бы взять побольше, но промолчал.

День прошел без происшествий. Мы шли по каньону вдоль ручья, которому, несомненно, случалось разливать-ся в полноводную реку: повсюду были разбросаны валуны размером с добрый дом, и внизу на стенах каньона не росло ничего, кроме травы, хотя выше здесь и там сражались за жизнь деревья.

Еще два дня мы шагали через каньон и наконец добрались до истоков ручья в долине. Потом поднялись на холм и увидели другие холмы: они казались невысокими, но над ними возвышались пики самой дикой на вид горной гряды, которую мне когда-либо приходилось видеть.

Лишь немногие горы были выше нашего холма, одна из них и называлась Небо. Единственное, что ее отличало от остальных, — это высота; многие другие горы имели куда более впечатляющий вид, изобилуя крутыми обрывами и отвесными скалами. Небо же — по крайней мере, издалека — смахивало на очень высокий холм, и я подумал, что восхождение не будет трудным.

Когда я сказал об этом Да, тот с мрачной улыбкой ответил:

— Подняться легче, чем добраться до горы живыми.

И тут я вспомнил о голони, которые поджидали нас где-то впереди. Интересно, почему они не напали, пока мы шли по каньону?

— Если ночью пойдет дождь, сам увидишь, — ответил Стоун.

Ночью и вправду пошел дождь, и я действительно увидел. Или, вернее, услышал, потому что ночь выдалась очень темной. Мы сгрудились под нависшей скалой и все равно промокли насквозь. По склону холма, возле которого мы разбили лагерь (холм был не выше сорока метров), стекали бурные, полноводные потоки. Еще никогда я не видел такого ливня! Потом послышался отдаленный рев, и я понял, почему голони не потрудились на нас напасть. По дну каньона с ревом текла целая река, которую питали тысячи потоков вроде тех, что заливали сейчас наш лагерь.

— А вдруг, пока мы будем подниматься на Небо, тоже пойдет дождь? — спросил я.

— Небо не станет мешать нам выполнить долг, — ответил Да.

Меня это не слишком успокоило. Разве мог я предвидеть, отправляясь в трехдневную деловую поездку, что окажусь в ловушке суеверий и что моя жизнь, как и жизнь моих спутников, будет зависеть от какого-то неведомого несуществующего бога?

Утром я проснулся, едва рассвело, и обнаружил, что остальные уже вооружены до зубов и готовы к бою. Я потянулся, разминая затекшие мускулы, и только тут понял, что означает полная боевая готовность.

— Они уже здесь?

Мне никто не ответил.

Убедившись, что я проснулся и готов выступить, йалимини двинулись в путь. Мы держались в тени скал и перед каждым поворотом проверяли, что ждет впереди. Деревьев здесь не было, из растительности встречалась лишь трава, увядающая под вечер и снова прорастающая к утру. Единственным укрытием служили скалы; они почти не давали тени, но в ней и не было особой нужды. Из-за недостатка кислорода мы тяжело дышали, но, по крайней мере, на такой высоте нас не донимала жара, хотя остров Йалимин считается одним из самых жарких мест на этой маленькой планете.

Два дня мы упорно продвигались к Небу, но гора как будто не становилась ближе, она все так же маячила вдалеке. Однако хуже всего было то, что все время приходилось держаться начеку, хотя голони так и не появились.

— Может, они решили не преследовать нас? — в какой-то момент прошептал я.

Стоун лишь усмехнулся в ответ, а Да покачал головой. Зато Пан шепнул, что враги больше всего ненавидят йалимини за чувство чести, потому что праведность йалимини убедила богов принять их сторону и возвысить над всеми прочими людьми.

— Некоторые другие народы тоже иногда становятся праведными, — продолжал Пан. — Тогда они склоняются перед богами, вручают им свои души и присоединяются к нам. Но есть и такие, которые ненавидят добро и ведут бессмысленную войну с праведными людьми. Голони из их числа. Все порядочные люди убивают голони, чтобы защитить все, что свято.

Он многозначительно посмотрел на мои осколочные гранаты и игольчатый пистолет. Я не менее многозначительно взглянул на свисающий с шеи Да мешок с экскрементами Кроуфа.

— Порядочные люди делают то, что от них требуют их законы,— сказал я.

Даже для меня самого эти слова прозвучали банально, но, по-видимому, произвели впечатление на Пана.

Он широко распахнул глаза и уважительно кивнул. Может, я слегка перегнул палку, но он явно понял: так же, как его соплеменники совершают определенные обряды, так и я должен следовать принятым у нас табу — в частности, не принимать участия в мелких войнах между народами примитивных планет. И хотя Пан руководствовался глупыми суевериями, а я — многолетним опытом контактов с иными культурами, вряд ли можно было рассчитывать, что он поймет эту тонкую разницу, потому я больше не распространялся на данную тему. Как бы то ни было, он стал обращаться со мной куда уважительнее, я бы даже сказал — с благоговением.

От Стоуна это не укрылось, и на следующий день он спросил:

— Что ты сделал с нашим юным воином?

— Внушил ему божеский страх,— пошутил я.

Странно — человек может быть крайне осторожен в своих высказываниях, но когда ему на ум приходит шутка, он выпаливает ее, не считаясь с последствиями.

Стоуна мой ответ привел в ярость. Только вмешательство Да и Пана помешало ему наброситься на меня, что, конечно, окончилось бы для него очень плохо. Я не умел спускаться по веревкам, зато умел убивать всевозможными способами, хоть это и не доставляло мне удовольствия. Я попытался исправить свою оплошность, сказав, что, дескать, не подумал, как моя реплика прозвучит на их языке, что при переводе некоторые слова меняют свой смысл,— и так далее, и тому подобное. Мы все еще спорили, когда нашу беседу прервала стрела. Все бросились в укрытие. Все, кроме Пана — стрела попала в него, и он умер у нас на глазах.

Я не мог избавиться от чувства вины за его смерть. И когда Да и Стоун после недолгого совещания решили, что придется оставить тело, совершив этот грех во имя выполнения клятвы, данной после смерти Кроуфа, это решение потрясло меня почти так же сильно, как гибель

Пана. Я не слишком верю в бессмертие; вера в то, что умерший задерживается подле своих останков, желая увидеть, что с ними произойдет, кажется мне нелепой. Однако, по моему убеждению, понимание того, что человек мертв, в чисто эмоциональном плане не разрушает систему взаимоотношений, в которую он входил. Пан — внешне непривлекательный, жестокий парень, нравился мне больше всех его товарищей.

Мне вдруг подумалось, что из десяти человек, неделю назад отправившихся в путь, остались всего трое: я, лишенный возможности пустить в ход оружие, пока нахожусь среди йалимини, и двое йалимини, из-за меня вынужденные передвигаться куда медленнее и тем самым подвергающие себя еще большему риску.

— Оставьте меня,— сказал я.— Если я буду один, я смогу защищаться, а вы сможете идти гораздо быстрее.

Стоун просиял, услышав это предложение, но Да решительно помотал головой.

— Ни за что. Кроуф велел, чтобы мы ни в коем случае тебя не бросали.

— Он не знал, в какой сложной ситуации мы окажемся.

— Кроуф все знал,— прошептал Да.— Человек без здравого смысла не проживет здесь и двух дней. А у тебя нет здравого смысла.

Если он имел в виду мою неспособность отличить съедобное от несъедобного, это соответствовало действительности. Уяснив, что Да не собирается меня бросать, я решил идти с ними дальше. Лучше куда-то двигаться, чем просто сидеть и ничего не делать. Однако прежде чем мы покинули свое временное убежище (и медленно остывающий труп Пана), я научил Стоуна и Да пользоваться осколочными гранатами и игольчатым пистолетом, на тот случай, если погибну. Если они пустят оружие в ход после моей смерти и потом вернут его корпорации, закон не будет нарушен. Впервые за все время нашего знакомства Стоун одобрил мои действия.

Теперь мы передвигались еще медленней, и все-таки Небо наконец-то стало приближаться. Мы уже достигли горной цепи, и с каждой новой горой, мимо которой мы

проходили, Небо становилось все выше, а вместе с тем росло ощущение надвигающейся смерти.

Ночью я остался стоять на страже. Формально это можно было рассматривать как нарушение закона — я вроде бы как помогал йалимини в войне. Однако мне приходилось заботиться о своей жизни, ведь голони было наплевать, иноземец я или нет, — корпорация предприняла уже четыре попытки наладить взаимоотношения с этим народом, но они ни о чем подобном и слышать не желали. Было бы чистейшим безумием иметь возможность спасти себя и других, но отказаться от такой возможности ради неких высоких абстрактных идей.

Когда моя вахта закончилась, я разбудил Да, однако вместо того, чтобы дать мне поспать, он тут же растолкал Стоуна, и мы под покровом темноты бесшумно двинулись в путь. Причем шли мы не к горе, а параллельно ее склону, выбирая дорогу при свете звезд (если это можно назвать светом). Я подумал, что Да хочет проскользнуть мимо врагов и подняться на вершину каким-то другим путем.

Даже не знаю, проскользнули мы мимо них или нет; на рассвете Да вдруг бросился бегом, и мы со Стоуном припустили следом. Ходить по горам непросто, но постепенно я начал привыкать к этому, однако бежать было куда трудней, чем идти. Нам приходилось перебираться через разбросанные повсюду валуны, пересекать небольшие ущелья, подниматься на холмы и перепрыгивать через ручьи. К полудню я совсем вымотался, а йалимини все не останавливались.

— Пока мы впереди них, — «утешил» меня Да. — И должны оставаться впереди!

Пока мы бежали, мне в голову пришла идея, одна из тех, что заставляют удивляться — как можно было не подумать об этом раньше? Мне не разрешалось вызывать подмогу, которая могла бы способствовать эскалации военных действий, однако восхождение на гору не имело никакого отношения к военным действиям. Наш «шаттл» никогда не стал бы приземляться под огнем, но теперь мы оторвались от противника — значит, он мог подобрать нас и доставить на вершину горы прежде, чем враги поняли бы, что к чему.

Я поделился с остальными своей идеей. Стоун лишь сплюнул (а плевок здесь считался недостойным поступком, ведь воду тут боготворили, непонятно почему — ее было полным-полно везде, кроме Великой пустыни далеко на севере Йалимина). Да покачал головой.

— Только духи взлетают на Небо, а люди поднимаются на него,— сказал он.

В очередной раз религия поставила мне шах и мат.

Суеверия когда-нибудь нас убьют — бессмысленные правила, которые просто обязаны изменяться, если это становится необходимо!

К ночи мы добрались до подножия, и мне стало ясно, что вопреки моим надеждам подъем будет нелегким. У Стоуна тоже был удивленный вид.

— Это не тот склон,— сказал он.

Да кивнул.

— Да. Это западная сторона, здесь никто никогда не поднимается.

— Ты имеешь в виду, что подняться тут нельзя? — спросил я.

— Кто знает? — ответил Да. — Другие пути не намного легче, но отсюда и впрямь никто никогда не поднимался. Зато если мы испробуем этот, нас не увидят, а потом можно будет свернуть к северу или к югу, где подъем полегче.

С этими словами он начал карабкаться вверх.

— Солнце уже село,— запротестовал я.

— Вот и хорошо,— ответил он. — Враги не увидят, как мы поднимаемся.

Так началось наше восхождение на Небо.

Подъем был очень трудным, и теперь йалимини не спешили, терпеливо поджидая меня, если я отставал. Им тоже нелегко было двигаться в темноте, по незнакомым местам: мы наконец-то были на равных. Толку от этого равенства, однако, было немного.

Трижды Да шептал, что дальше пути нет, и нам приходилось возвращаться. Спускаться вниз с горы куда труднее, чем подниматься: поднимаясь, ты видишь, что впереди, и находишь зацепки для рук, а спускаясь, в основном полагаешься на ноги, на мне же были тяжелые сапоги.

Мы карабкались вверх, пока не взошло солнце. Я совершенно вымотался, и даже Да со Стоуном явно устали. Когда стало совсем светло, мы добрались до места, где склон на несколько сотен метров был довольно пологим, повалились на землю и уснули.

Проснулся я от жжения в руках, на которых запеклась кровь, все еще сочившаяся из волдырей и ссадин. Да и Стоун еще спали. Они ободрали руки не так сильно, как я, потому что больше привыкли к тяжелой работе. Даже когда мне приходилось таскать солидные грузы, ручки у тары были обиты чем-нибудь мягким.

Я сел и оглядел пустынный склон. Потом посмотрел вниз, туда, откуда началось наше восхождение. Большую часть пути мы проделали в темноте, и я поразился, как высоко нам удалось подняться и какое большое расстояние отделяет нас от предгорий, которые мы покинули только вчера. По моим прикидкам, до вершины оставалась еще треть пути.

Я поднял глаза на вершину и немедленно толкнул ногой спящего Да.

Он мутным взглядом посмотрел туда, куда я показал, — и тоже понял, что все наши ночные усилия пошли прахом. Да, поблизости не было голони, но они прекрасно видели нас, взобравшись на выступы скал. Они не стали догонять нас на западном склоне, а просто перерезали нам путь, лишив возможности свернуть на более легкую дорогу. И, кто знает, может, они уже успели обследовать западный склон и поняли, что подняться там на Небо просто невозможно.

Да вздохнул, Стоун молча покачал головой и достал последние съестные припасы, которые мы растягивали, как могли.

— И что теперь будем делать? — шепотом спросил я.

Удивительно, но стоит привыкнуть шептать, и потом трудно заставить себя говорить нормальным голосом.

— А что мы можем сделать? — отозвался Да. — Только продолжать подъем. Лучше возможная опасность, чем неизбежная.

Я взглянул на долину и холмы внизу. Стоун снова сплюнул.

— Чужеземец,— сказал он,— даже если бы мы могли нарушить клятву, они встретили бы нас внизу и убили, как только мы спустились бы с горы.

— Тогда давайте вызовем мое летающее судно. Ведь когда появилось правило, запрещающее людям подниматься на Небо, никто из вашего племени даже понятия не имел о летающих машинах.

Да засмеялся.

— Мы всегда знали о летающих машинах, просто у нас их никогда не было. И все же мы знаем, что эти машины не должны доставлять на Небо грешников, просителей и тех, кто дал клятву.

Мне оставалось ухватиться за соломинку.

— А что будет, когда мы туда доберемся?

— Тогда мы выполним то, в чем поклялись.

— И после этого я смогу вызвать корабль, чтобы он увез нас с вершины?

Они переглянулись, и Да кивнул. Я тут же зашарил по карманам в поисках рации; с городом отсюда связаться было невозможно, однако меньше чем через час над нами пролетит орбитальный корабль и передаст мое сообщение. Надеюсь, что корабль уже над горизонтом, я попытался его вызвать, но ответа не получил, и мы снова начали карабкаться вверх.

Теперь подъем стал еще труднее, ведь мы дьявольски устали. У меня болели пальцы и ладони — каждый раз, когда я хватался за скалу, их жгло, точно огнем. И все же мы упорно двигались вверх; похоже, западный склон все-таки не был неприступным. Нередко нам помогали выступы скалы, образующие нечто вроде лестницы, кое-где эти каменные «ступеньки» были настолько широки, что на них можно было отдохнуть... Но в конце концов очередной выступ преградил нам путь.

В этом не знающем металлов мире не существовало инструмента, который помог бы нам проползти по нижней стороне выступа. А пути назад не было — и только тут я понял, на что рассчитывали наши хитрые враги. Теперь нам придется свернуть влево или вправо, к северу или к югу, и там они нас перехватят.

Но выбора у нас не было, и, пройдя под нависающим скальным козырьком, мы повернули на юг. Теперь впереди шел Стоун: он холодно объяснил, что Да несет душу Кроуфа, которому они поклялись присмотреть за мной, поэтому именно он, Стоун, должен взять на себя главный риск. Да с мрачным видом кивнул, с моей стороны возражений тоже не последовало. Я хотел жить, а за любым поворотом и любым большим камнем можно было схлопотать стрелу.

Я удивился, что кое-где под скалами лежал снег, которого мы не заметили снизу; летом в здешнем климате снег мог уцелеть только на такой высоте.

Сгущались сумерки, и я предложил остановиться на ночлег. Да согласился, и мы устроились у скалы, скорчившись под нависающим над нашими головами выступом, в двух метрах от края обрыва, за которым была пустота. Я лежал, глядя на единственную мигающую в небе звезду... Но вымотался настолько, что ни тогда, ни утром не осознал, что она означает.

Наутро Да объяснил, что мы уже близко от цели и либо доберемся сегодня до Неба, либо умрем. Корабль совершал третий виток с тех пор, как я сумел-таки с ним связаться, попросив прислать «шаттл». Теперь я снова вышел на связь и коротко объяснил, когда мы будем на месте.

Однако на сей раз менеджер корпорации Тэк, отвечающий за связи с этой планетой, подключился из города к нашему разговору и принялся бранить меня за тупость.

— Так-то ты, черт побери, исполняешь свои обязанности! — сквозь помехи кричал он. — В угоду мерзким религиозным предрассудкам тащишься неизвестно куда в компании первобытных дикарей, рискуя погибнуть!

Почти пять минут он продолжал в том же духе, а потом я снова окликнул корабль и напомнил, что, согласно условиям моего контракта, они обязаны оказывать мне любую необходимую помощь, включая эвакуацию с вершины горы, а менеджер может взять свои возражения и засунуть их в...

На корабле выслушали меня и согласились выполнить мою просьбу.

Некоторое время я лежал, пытаясь успокоиться. Тэк просто не понимает, не может понять. Он не смотрел в лицо Фоулу, который по доброй воле пошел на смерть, чтобы остальные могли спуститься с утеса; не видел, как-ково было Стоуну и Да решиться бросить тело Пана. Он просто не может понять, почему ради Кроуфа я поднимаюсь на вершину Неба...

Не ради Кроуфа, черт побери! Ради самого себя, ради нас. Кроуф мертв, этого не изменить, сколько ни размазывай по скале его экскременты. Внезапно вспомнив, чем именно мы займемся, добравшись до вершины — если, конечно, нам удастся до нее добраться, — я расхохотался. Такие муки, и все ради того, чтобы разложить на камне дермо умершего человека!

Стоун схватил меня за горло и сделал движение, словно собираясь швырнуть меня в пропасть. Да пожал плечами, но в глазах Стоуна я увидел смерть.

— Ты поклялся, — прошептал ему Да, и Стоун наконец отпустил меня.

— О чем ты там болтал на своем дьявольском языке? — напористо спросил он.

Я вспомнил, как все это выглядело: я поговорил с космическим кораблем и после паузы вдруг рассмеялся. Что ж, я пересказал им, конечно, смягчая выражения, все, что наговорил Тэк.

Пока я рассказывал, Да сердито смотрел на Стоуна. Потом, после долгих раздумий, подал голос:

— По-моему, это правда — что мы суеверны.

Я промолчал, промолчал и Стоун, хотя для этого ему пришлось призвать на помощь всю свою выдержку.

— Однако правда и ложь не имеют никакого отношения к любви и ненависти, — продолжал Да. — Я любил Кроуфа и выполняю свою клятву; он сделал бы то же самое для любого другого Льда, а может, даже для меня, хоть я не Лёд.

Уладив проблему так легко (а следовательно, не уладив ее вообще и даже не вникнув в нее), мы уснули, и я больше не думал о звезде, мигающей над головой.

Наступило унылое утро; у нас под ногами плыли на юг облака. Похоже, собиралась гроза. Да предупредил, что

если облака поднимутся, мы попадем в туман. Нужно было спешить.

Но мы прошли совсем немного, когда за очередным выступом, позади которого открылся пологий склон, увидели три или четыре дюжины голони. Они явно только что проснулись и не заметили нас, но не было ни малейшего шанса пройти незамеченными те десять шагов, что отделяли нас от склона. И каким бы он ни был пологим, чтобы добраться по нему до вершины, требовалось одолеть четыреста-пятьсот метров, по словам Да.

— Что же делать? — прошептал я. — Они запросто нас убьют.

Да заколебался.

Мы смотрели, как голони достали свои припасы и принялись за еду; как потом они боролись друг с другом и собирали ветки для костра. Они вели себя так, как всегда ведут себя мужчины в отсутствие женщин: шумели и развлекались в ожидании серьезного дела. И смеялись они точно так же, как все, и шутили, и боролись — конечно, не всерьез. Я совсем забылся и с удивлением понял, что мысленно ставлю на того или иного борца, представляя, каким приемом на его месте сумел бы победить противника. Так прошел час, за который мы ни на шаг не приблизились к вершине.

Стоун все больше мрачнел; выражение лица Да становилось все более отчаянным; не знаю, как выглядел я сам, но подозреваю, что, увлекшись играми голони, отчасти забыл о своих товарищах. Может, поэтому Стоун наконец схватил меня за рукав и грубо развернул к себе.

— Игра и только! Для тебя все это просто игра!

Он так внезапно отвлек меня от сосредоточенного созерцания, что я не сразу понял, о чем он.

— Кроуф был великим человеком! Такой рождается раз в сто поколений! — прошипел Стоун. — А тебе наплевать, попадет он на небеса или нет!

— Стоун, — шикнул Да.

— Этот мерзавец ведет себя так, будто Кроуф не был ему другом!

— Я едва был с ним знаком, — сделал я честное, но неблагодарное признание.

— Разве это так важно для дружбы? — взъярился Стоун. — Он столько раз спасал тебе жизнь, он даже заставил нас признать в тебе человека, хотя ты не подчиняешься закону!

Я хотел возразить, что подчиняюсь закону, но Стоуна так разгневала наша неудача и все мы так устали, что начали говорить громче, чем следовало, — и голони, схватившись за оружие, бросились к нам.

«Неужели, сумев обойти самые хитроумные ловушки врагов, мы теперь так глупо погибнем?» — в отчаянии подумал я.

Однако некая часть моего сознания, время от времени выдающая умные мысли, вдруг напомнила о звезде, которую я видел прошлой ночью, лежа под нависающим выступом. Из-за этого выступа я вообще не должен был видеть неба, но все-таки видел звезду. А это означало, что в выступе есть брешь или даже расщелина, по которой, чем черт не шутит, мы можем вскарабкаться вверх.

Я быстро рассказал обо всем Да и Стоуну.

Споры тут же были забыты, Стоун без единого слова взял лук, все стрелы — и свои, и Да — и уселся в ожидании врага.

— Ступайте, — сказал он, — поднимитесь на вершину, если сможете.

Это тяжело — видеть, как человек, который тебя ненавидит, без колебаний собирается отдать за тебя жизнь. Я, конечно, не заблуждался насчет того, как ко мне относится Стоун, и все-таки благодаря ему мне суждено было прожить дольше.

Совершенно неожиданно на меня нахлынуло чувство, которое я не могу назвать иначе чем «любовь». Я любил не только Стоуна, но и Да, и Пана; к Кроуфу я относился только как к бизнесмену, с которым приятно иметь дело, но эти люди стали моими друзьями. Мысль о том, что я могу испытывать к варварам подобные чувства, что я могу любить их, ошеломляла, но и приносила странное удовлетворение. (Да, в слове «варвар» есть оттенок снисходительности, но я не знал ни одного антрополога, чьи слова и поступки не подтверждали бы, что он относится к объектам своего исследования без некоего оттенка пре-

зрения.) Я, конечно, понимал: Стоун и Да стараются сохранить мне жизнь только из чувства долга перед погибшим другом и следуя своим религиозным предрассудкам, но это почему-то не обижало меня.

Все эти мысли промелькнули у меня в голове с быстротой молнии, а потом я повернулся и вместе с Да пошел туда, где мы провели ночь. Боясь пропустить нужное место, я постепенно замедлял бег, однако сразу узнал нужный выступ... И в нем действительно оказалась расщелина — узкая, почти вертикальная; возможно, она могла вывести нас к самой вершине Неба. Этот путь враги проглядели.

Мы бросили все лишнее — одеяла, оружие, брезент, веревку, от которой все равно не было пользы, раз Фоул погиб. Осколочные гранаты и игольчатый пистолет я оставил — их должны найти на моем трупe, если я погибну, как доказательство того, что я не нарушил закон, иначе имя мое будет обесчещено и мои друзья и боевые товарищи узнают, что я не оправдал оказанного доверия. Хотя я не обязательно умру — благодаря Да и «шаттлу», который вот-вот покажется над вершиной...

Среди скал прокатился торжествующий рев, и мы поняли, что Стоун мертв, что враги добрались до него и самое большее через десять минут нас догонят. Да принялся сбрасывать снаряжение в пропасть, я помогал ему. Зоркий глаз все же мог заметить следы нашего пребывания, однако мы надеялись, что это только собьет голони с толку и еще немного их задержит.

Потом мы полезли вверх. Да настоял, чтобы я двинулся первым; он поднял меня к расщелине, и я начал карабкаться, упираясь спиной в одну стену, а руками и ногами — в другую. Потом я приостановился, и Да, ухватившись за мою ногу, тоже влез в трещину в скале.

Она оказалась выше, чем мы думали, а вершина оказалась дальше. Продвигались мы очень медленно, то и дело сшибая застрявшие в расщелине мелкие камушки. Этого мы не ожидали — голони наверняка заметят падающие камни и сообразят, где мы, а ведь нам еще лезть и лезть до той высоты, куда стрелам не долететь.

Так и случилось; внизу что-то быстро мелькнуло: без сомнения, нас обнаружили. Мы стали подниматься быстрее. А что еще нам оставалось делать?

Взмыла первая стрела. Стрелять прямо вверх нелегко, это целая наука, однако лучник оказался отличным, и уже третья стрела вонзилась в икру Да.

— Можешь двигаться дальше? — спросил я.

— Да, — ответил он, и я продолжил подъем, а он поднимался за мной, не отставая.

Однако лучник не сдавался, и с седьмого выстрела стрела, судя по звуку, угодила не в камень, а в человеческое тело. Да невольно вскрикнул. С того места, где я находился, мне не удалось разглядеть, насколько плохи его дела.

— В тебя попали?

— Да, — ответил он. — В пах. По-моему, задета артерия. Кровь так и хлещет.

— Можешь лезть дальше?

— Нет.

И, потратив последние силы, чтобы окровавленными ногами упереться в стены, он снял с шеи мешок с экскрементами Кроуфа и бережно повесил его на мою ступню. По-другому в эдакой тесноте он не мог передать мне свою ношу.

— Я поручаю тебе доставить его к алтарю, — сказал он голосом, полным боли.

— Я могу его уронить, — честно признался я.

— Этого не случится, если ты дашь клятву доставить его на Небо.

Да умирал от стрелы, которая могла вонзиться в меня; а перед этим умерли Стоун, и Пан, и Фоул. Разве у меня был выбор? И я поклялся, что сделаю все, как надо. Едва я закончил говорить, Да упал.

Я поднимался как можно быстрее, понимая, что стрелы вот-вот полетят снова. Так и случилось, однако я успел подняться так высоко, что даже самый лучший лучник теперь не мог в меня попасть.

Меня отделяла от вершины всего дюжина метров, когда меня словно ударило — Да мертв, и все остальные тоже! Кто помешает мне сбросить мешок, который болтается у

меня на ступне и от попыток удержать который мою ногу сводит боль? Сбросить, а потом быстро подняться на вершину, просигналить «шаттлу» и оказаться в безопасности на борту? Хранить как зеницу ока содержимое кишечника умершего человека и, рискуя жизнью, совершать некий бессмысленный ритуал? Бред. Никому не будет хуже, если я не выполню обещание. Никто даже не узнает, что я поклялся что-то исполнить. Больше того, исполнение клятвы легко можно расценить как незаконное вмешательство в дела другой планеты.

Почему же я все-таки не бросил мешок?

Некоторые утверждают, что я был не в себе, что я испытал внезапный приступ религиозного помешательства, от которого так и не оправился. Они ошибаются. Умом я понимал, что умершие не следят за поступками живых, что клятвы, данные покойникам, ни к чему не обязывают, что у меня есть долг только перед самим собой и перед корпорацией, но уж никак не перед Кроуфом и Да.

И все же никакие логические выкладки не могли побороть чувство, что если я брошу мешок, я поступлю скверно и после этого не смогу остаться самим собой. Возможно, это мистика, но меня не покидало ощущение, что, нарушив клятву, я просто не смогу жить дальше. Мне не раз случалось нарушать слово ради выгоды — в конце концов, я современный человек. Но на сей раз, хотя мне очень хотелось выжить, я не мог сбросить мешок со ступни.

Некоторое время я колебался и все же не сделал этого.

До вершины я добрался совершенно измотанный, но, усевшись на краю расщелины, первым делом потянулся вниз и подхватил мешок. Наклонившись вперед, я почувствовал сильное головокружение и едва не выронил ношу, но сумел подхватить ее носком ноги, подтянул вверх и, дрожа, положил себе на колени. Мешок был легкий, удивительно легкий. Я опустил его на землю, с трудом отполз на метр-другой от расщелины и огляделся.

До вершины оставалось метров сто. И на вершине действительно возвышался алтарь, вытесанный из камня. Форма его показалась мне непривычной, но он вполне годился для исполнения религиозных ритуалов и к тому

же был единственным рукотворным предметом, который я тут заметил.

Однако прежде чем до него добраться, мне предстояло одолеть пологий склон, переходивший потом в другой. Оба склона не были крутыми, однако скалы вокруг покрывал тонкий слой льда. Я не понимал, откуда он взялся. Потом люди в «шаттле» говорили, что, пока я был в расщелине, туман затянул вершину и рассеялся всего за несколько минут до того, как я закончил подъем; этот туман и оставил ледяную пленку.

Что ж, лед входил в ритуал и упоминался в моей клятве. Я наскреб немного, разбив хрупкую корку рукояткой пистолета, и сунул крошево в рот.

Лед был грязный, очень холодный, но, растаяв, превратился в воду. Я проглотил ее и почувствовал себя лучше. И еще мне стало легче оттого, что я уже выполнил часть клятвы... В тот момент она уже не казалась мне нелепой, словно меня заворожила некая магия.

Я с трудом встал и с мешком в руках потащился к вершине, часто оскальзываясь на покрытых льдом скалах.

Внизу слышались крики, и я увидел голони на южном склоне, в сотнях метров отсюда. Раньше меня они до вершины не доберутся. Это успокаивало, хотя в мою сторону полетели стрелы.

Только что мне казалось, что идти быстрее я уже не могу, но теперь мне пришлось пуститься бегом. Я стал чаще поскользываться, поэтому вряд ли продвигался быстрее, чем прежде, однако, возможно, именно бег спас мне жизнь: я бежал, падал, поднимался, снова бежал, снова падал, и это мешало лучникам как следует прицелиться.

Пока я одолевал последние метры до алтаря, на меня дважды упала тень; не помню, осознал ли я тогда, что это «шаттл». Даже сейчас я мог бы все бросить и сбежать. Я снова упал, уронив мешок, который заскользил вниз по склону и наконец остановился в паре десятков метров от меня и недалеко от голони; к тому же враги бежали в мою сторону, хотя тоже оскальзывались на льду.

Что ж, я бросился навстречу летящим стрелам и подхватил мешок. И тут меня ранили — в бедро и в бок. Боль была такой, что я едва не потерял сознание, но удив-

ление оказалось почти таким же сильным, как боль. Как столь примитивное оружие может так жестоко ранить современного человека?

Несмотря на боль, я все же не потерял сознания, поднялся и заковылял вверх по склону.

Вот до алтаря осталось всего несколько метров... вот всего несколько шагов... и, наконец, я упал на него, орошая кровью и камень и землю вокруг. Это означало, смутно осознал я, что еще одна часть ритуала выполнена.

За моей спиной уже опустился «шаттл», когда я открыл мешок, высыпал его содержимое на алтарь и разбросал по камню.

Три сотрудника корпорации подбежали ко мне и первым делом проверили, целы ли мои осколочные гранаты и пистолет. Только убедившись, что я не воспользовался оружием, они повернулись к голони и швырнули свои гранаты. Те взорвались неподалеку от моих преследователей, которые с криками ужаса повернулись и бросились бежать вниз. Никто из них не погиб, хотя, откровенно признаться, я лелеял надежду, что хотя бы один из них сверзится со скалы и сломает себе шею. Раньше представители корпорации не давали голони прочувствовать, что такое современная война, а теперь для этого хватило простой демонстрации силы.

Если бы выяснилось, что я стрелял из пистолета или что у меня не хватает гранат, люди из корпорации убили бы меня на месте. Закон есть закон. Однако оружие оказалось неиспользованным, и меня подняли и понесли к «шаттлу». Но я не забыл про последнюю часть ритуала.

— Прощай, Кроуф,— сказал я.

Позже мне рассказывали, что, пока «шаттл» уносил меня в город, я в бреду прощался со всеми остальными, с каждым отдельно, снова и снова, без конца.

Спустя две недели я уже оправился настолько, что мог принимать гостей, и первым из них оказался Пру, титулованный глава собрания Йалимина. Он был очень чуток и добр.

По его словам, спустя три дня после моего спасения корпорация наконец обнародовала то, о чем я рассказал

во время сеансов связи с «шаттлом». Йалимини послали по нашим следам внушительный отряд, нашли изуродованные трупы Фоула и воина, который упал до него; потом нашли замерзший труп Пана; не обнаружили никаких следов Да и Стоуна и, наконец, добравшись до алтаря, увидели на нем пятна крови и сравнительно свежие экскременты. Потому Пру и явился — чтобы, сидя на корточках рядом с моей постелью, спросить меня кое о чем.

— Спрашивай,— сказал я.

— Ты попрощался с Кроуфом?

Я не стал спрашивать, как они узнали, что именно ради Кроуфа затевался весь этот поход чести к вершине Неба — очевидно, только Кроуф, будучи Льдом, считался достойным такого ритуала.

— Да,— ответил я.

На глаза старика навернулись слезы, челюсть его задрожала; продолжая сидеть на корточках, он взял мою руку, и на нее закапали слезы.

— А ты...— его голос сорвался, ему пришлось начать снова.— Ты не забыл о его товарищах?

Я не стал уточнять, что именно он имеет в виду; к тому времени я уже достаточно хорошо их понимал.

— Да, я попрощался и с остальными.

Я назвал всех по именам, и он заплакал громче, и поцеловал мне руку, и некоторое время говорил что-то нараспев, закрыв руками глаза.

Потом коснулся моих глаз.

— Теперь твои глаза всегда будут видеть сквозь лес и горы,— сказал он.

Вслед за чем прикоснулся к моим губам, к моим ушам, к моему пупку, к моему паху, произнося соответствующие слова.

А потом он ушел, и я снова уснул.

Спустя три недели ко мне явился Тэк. Я не спал, а никаких других предлогов, чтобы отказаться увидеться с ним, придумать не сумел. Я ожидал, что он по меньшей мере начнет меня распекать, но вместо этого он просиял и протянул мне руку, которую я с благодарностью пожал. В конце концов, мне не за что было на него обижаться.

— Милый мой, — сказал он, — милый мой, я не мог больше ждать. Сколько раз я пытался с тобой увидеться, а мне говорили, что ты спишь, или занят, или еще что-нибудь в том же духе. Но, черт возьми, есть же конец терпению человека, который хочет признать свою ошибку?

Он, конечно, хватил через край, как обычно, но слышать его разглагольствования все равно было приятно. Я не обесчещен, а, напротив, достоин всяческих похвал; я должен получить орден и солидную прибавку к жалованью; меня следует назначить главным специалистом по торговым связям с этой планетой; будь в его силах, меня объявили бы богом.

По его словам, туземцы практически так и сделали.

— Объявили меня богом? — переспросил я.

— Они целую неделю празднуют, и молятся, и все такое прочее. Не знаю, о чем вы толковали со стариком Пру, но теперь он считает тебя бесценным сокровищем. Если ты прикажешь туземцам утопиться в океане, клянусь, они это сделают. Понимаешь, какие тут открываются возможности? Ты запросто мог облажаться там, на горе. Одно неверное движение, и все пошло бы прахом. Однако ты превратил возможную большую беду — готов признать, она была делом не только твоих рук, — в чертовски хороший ксеноконтакт. Лучшего мне просто не доводилось видеть. Понимаешь, что это значит? Теперь, пока не иссяк всеобщий энтузиазм, ты должен как можно быстрее приступить к делу и подписать все мыслимые и немыслимые контракты. Индейцы приняли Кортеса за дух Белого Мессии — но все это в прошлом, а сейчас ты творишь будущее.

И он продолжал в том же духе до тех пор, пока я не выдержал и не попытался (вообще-то я предпринимаю такие попытки и по сей день) объяснить, что то, что я сделал на горе, я сделал вовсе не в интересах корпорации.

— Чепуха, — отмахнулся он. — Даже если бы ты целую неделю думал, как удачнее поступить в интересах корпорации, ты и тогда не справился бы лучше.

Я попытался еще раз, рассказав о погибших и о клятве, которую они дали Кроуфу.

— Это все сентименты. Хорошо, когда человек способен на такие чувства — они, конечно, не стоят того, чтобы рисковать жизнью, но ты тогда, наверно, был совсем на пределе.

Я, как дурак, сделал еще один заход. Рассказал ему о своей клятве и о том, что испытывал, когда решил довести дело до конца. И тогда Тэк наконец умолк, задумался, а потом ушел.

После этого ко мне зачастили психологи. Они, естественно, заключили, что я в здравом уме, вызвав, как и следовало ожидать, бурную реакцию Тэка. И все же, когда я попросил, чтобы меня перевели куда-нибудь с этой планеты, психологи нашли лазейку, позволившую мне уйти без расторжения контракта и потери жалования.

Однако по корпорации прошел слух, что я славы ради перенял обычаи и образ жизни туземцев и совершил тайный обряд, в который входили кровь, лед, горный пик и полуразложившийся обед мертвеца. Слухи о безумии еще можно было вынести, но насмешки оказались просто непереносимыми. А что еще, кроме насмешек, остается тем, кто даже думать не мог подняться на Небо, кто не знал людей, умерших ради меня и Кроуфа? И что остается мне, кроме ненависти к таким насмешникам?

Вот почему я в очередной раз настаиваю на увольнении из корпорации. Я готов уйти на половинную пенсию, если придется. Я готов уйти вообще без пенсии, только бы в моем личном деле все было чисто. Я не приму отставку, если она будет дана на основании заключения о моей умственной неполноценности. И я не приму отставку, если мне придется жить в любом другом месте, кроме острова Йалимин.

Знаю, это запрещено, но обстоятельства исключительные. Меня, конечно, здесь примут; моя честь не пострадает, а все, чего я хочу, — это прожить остаток дней с людьми, которые лучше других понимают, что такое честь.

Знаю, это звучит абсурдно. Знаю, вы скорее всего отвергнете мою просьбу, как делали уже сотню раз. Однако надеюсь, что, услышав мою историю, узнав, почему я решил покинуть корпорацию, вы поймете, почему я не могу забыть слова Пру: «Теперь ты тоже Лёд; и твоя душа

тоже обретет свободу на Небе». Дело не в том, что я надеюсь на жизнь после смерти; в это я не верю. Я надеюсь лишь, что после моей смерти достойные люди будут готовы преодолеть те же трудности только ради того, чтобы сказать мне: «Прощай».

В действительности это даже не надежда, а уверенность. Как любой современный человек, я с детства стремлюсь придерживаться нравственного закона, помогающего обрести цель в жизни. Все законы рациональны, все они ставят перед собой ту или иную цель. Однако на Йалимине, где законы иррациональны, а цели бессмысленны, я нашел нечто, стоящее выше закона, нечто, имеющее ценность само по себе, а не благодаря закону, нечто, способное сделать священным даже самый безумный закон. И из уважения к тому, что для вас свято, позвольте мне остаться здесь и снова обрести смысл жизни.

Игра Эндера

— Подходя к двери, вы должны помнить одно — вражеские ворота внизу. Если вы выйдете так, словно собрались на прогулку, вы будете отличной мишенью и вам тут же нанесут удар.

Эндер Виггинс замолчал и оглядел свое воинство. Большинство явно нервничали. Некоторые смотрели на него понимающе. Другие — утрюмо и недовольно.

То был первый день занятий с новой армией, составленной исключительно из учебных групп, только-только со школьной скамьи. Эндер уже успел позабыть, какими маленькими могут быть такие ребята. Он занимался в Боевой Школе уже три года, они — всего шесть месяцев, и в их группе не было никого старше девяти лет. А теперь он — их командир, назначенный на полгода раньше обычного срока, ведь ему самому всего одиннадцать с половиной. Да, он командовал взводом и знал несколько полезных трюков, но в его новой армии было сорок солдат. Неопытных. Все они меткие стрелки, все в прекрасной форме — иначе они бы здесь и не очутились,— однако они еще никогда не участвовали в боевых сражениях.

— Помните,— продолжал Эндер,— вас не увидят, пока вы не выйдете за дверь. Но стоит вам появиться, и на вас нападут. Поэтому, выходя, вы должны принять самую удобную позу. Лучше всего вниз головой.— Он указал на утрюмого мальчика, которому на вид было не больше семи, самого младшего из всех.— А почему вниз головой, новобранец?

— Потому что вражеские ворота внизу,— последовал быстрый ответ.

У-у, какой сердитый.

— Имя, парень?

— Боб.

— Тебя так прозвали за маленький рост или за маленькие мозги?

Боб не ответил, остальные сдержанно засмеялись. Эндер сделал правильный выбор. Парнишка был младше остальных и все же оказался здесь, значит, башковитый. Остальные не питают к нему нежных чувств и счастливы увидеть, как его шпыняют. В точности так, как Эндера шпынял его первый командир — не слишком сильно.

— Что ж, Боб, ты все правильно понял. Теперь вот что. Любой, выходя из двери, имеет крупный шанс схлопотать удар. И что тогда случится? Тогда та часть тела, на которую пришелся удар, замерзнет, потеряет чувствительность — вот что. Хорошо, если это будут ноги. Если удар придется по ногам и они замерзнут, при нулевой гравитации это не страшно.— Эндер повернулся к одному из ошеломленных новичков.— Скажи, для чего нужны ноги? А?

Непонимающий взгляд. Смятение в глазах. Ни бе, ни ме...

— Ладно, не мучайся. А что ответит на мой вопрос Боб?

— Ноги нужны, чтобы отталкиваться от стены,— со скучающим видом ответил тот.

— Спасибо, Боб. Все усвоили? — Похоже, усвоили, и не только из ответа Боба.— Все верно. Вы не можете видеть ногами, вы не можете стрелять ногами, по большей части они только помеха. Но если они будут торчать на виду и замерзнут, вы превратитесь в дирижабль, не сможете скрыться. Ну, так куда нужно девать ноги?

На этот раз ответили сразу несколько человек, явно торопясь показать, что не один Боб тут что-то сечет.

— Их надо поджать.

— Согнуть.

— Правильно. Это — шит. Вы сгибаете колени, и тогда ваши ноги служат шитом. А теперь усвойте вот что: даже

если ваши ноги замерзли, вы все равно можете уйти. Никто не знает этого трюка, кроме меня,— но я вас научу.

Эндер Виггинс достал «пистолет»; конечно, никакой это был не пистолет, а нечто вроде фонарика, который вспыхнул бледно-зеленым светом. Потом Эндер всплыл вверх в невесомости Боевого зала, подогнув ноги так, словно стоял на коленях, и выстрелил в них из «пистолета». Луч заставил задеревенеть его штанины от ступней до колен; теперь он не мог разогнуть ноги.

— О'кей, я заморожен, видите?

Эндер проплыл над головами своих учеников, которые в замешательстве смотрели на него. Потом ухватился за поручень за своей спиной и подтянулся к стене.

— Я прижался к стене, видите? Если бы у меня работали ноги, я бы выстрелил собой, как бобом из духовой трубки, верно?

Ребята засмеялись.

— Однако ног у меня сейчас все равно что нет, и это даже к лучшему, понимаете? Сейчас покажу почему.— Эндер согнулся, с силой выпрямился, мгновенно перелетел через весь Боевой зал и обратился к ним уже от противоположной стены.— Дошло? Руки у меня в порядке, поэтому я могу стрелять. И ноги не тащатся за мной, растянувшись на пять футов. Посмотрите еще раз.

Он проделал все заново и ухватился за поручень на стене рядом с учениками.

— И я хочу, чтобы вы делали это не только тогда, когда у вас не действуют ноги. Я хочу, чтобы вы делали это, даже когда с ногами у вас все в порядке. Потому что так удобнее. И потому что враги этого не ожидают. Давайте, взлетайте и сгибайте колени.

Большинство взлетели спустя несколько секунд, замешкавшихся Эндер заморозил, и те беспомощно повисли в воздухе. Остальные рассмеялись.

— Если я отдаю приказ, его нужно выполнять немедленно, ясно? Когда настанет пора выходить за дверь, я буду отдавать приказы каждые две секунды. И когда вы услышите приказ, вам лучше тут же очутиться снаружи, ведь тот, кто окажется первым, победит, если он, конечно, не дурак. Я, например, не дурак. И вам лучше не

быть дураками, не то я отправлю вас обратно в учебные классы.— Некоторые нервно сглотнули, замороженные испуганно смотрели на него.— Я обращаюсь к тем, кто сейчас висит и не может двинуться. Внимание! Вы разморозитесь через пятнадцать минут, и тогда посмотрим, сможете ли вы догнать остальных.

Следующие полчаса ученики тренировались сгибаться и отталкиваться от стены. Эндер остановил их, когда увидел, что они ухватили идею. Кажется, ему досталась неплохая группа. А со временем она станет еще лучше.

— Разминка закончена,— объявил он.— Приступаем к работе.

После занятий Эндер вышел последним: он задержался, помогая отрабатывать технику самым нерасторопным. Его бойцы прошли хорошую школу, но, как и бойцы всех других армий, имели разные способности. Некоторые могли стать в сражении настоящей помехой.

А ведь никто не мог сказать, когда будет их первый бой — может, через несколько недель, а может, завтра. Расписания никто никогда не знал, командир просто просыпался поутру и находил у своей койки записку, где указывалось время сражения и имя противника. Поэтому первое время Эндеру придется гонять своих парней и в хвост и в гриву, пока они не придут в форму, причем все до единого. Они должны быть готовы ко всему и в любое время суток. Стратегия — штука хорошая, но грош ей цена, если бойцы не могут вынести тягот войны.

Направляясь в жилой отсек, Эндер столкнулся с Бобом, тем самым семилетним парнишкой, которого успел приметить сегодня. Похоже, с ним будет непросто, а сейчас Эндер был не в настроении разбираться с проблемами.

— Привет, Боб.

— Привет, Эндер!

Пауза.

— Сэр,— мягко поправил Эндер.

— Сейчас мы не на службе.

— В моей армии, Боб, все и всегда на службе,— с этими словами Эндер прошел мимо.

За его спиной прозвенел тонкий голосок Боба:
— Я знаю, чего вы добиваетесь, Эндер... сэр, и хочу вас предостеречь.

Эндер медленно повернулся.

— Предостеречь меня?

— Я самый лучший солдат вашей армии, поэтому и обращаться со мной нужно лучше.

— Не то — что? — в улыбке Эндера появилась угроза.

— Не то я стану самым худшим вашим солдатом. Третьего не дано.

— И чего ты от меня ждешь? Любви и поцелуев? — Эндер начал злиться.

Боба, похоже, ничуть это не взволновало.

— Я хочу получить под командование взвод.

Эндер подошел к нему и заглянул в глаза.

— Я дам под командование взвод тому, кто докажет, что он чего-то стоит, — сказал он. — Тому, кто будет хорошим солдатом, сумеет выполнять приказы, в сложной ситуации будет думать самостоятельно и завоеует уважение остальных. Именно так я сам и сделался командиром. И именно так ты получишь под командование взвод, и никак иначе. Тебе понятно?

Боб улыбнулся.

— Это справедливо. Если вы сдержите слово, я буду командовать взводом не позже чем через месяц.

Эндер ухватил его за форму и прижал к стене.

— Если я говорю «да», Боб, это значит «да».

Боб только улыбнулся.

Эндер отпустил его и ушел не оглядываясь. Он и без того знал, что Боб смотрит ему вслед со слегка пренебрежительной улыбкой. Может, из парня и впрямь получится хороший взводный, с этого дня Эндер будет очень внимательно за ним следить.

Капитан Графф, шести футов ростом, склонный к полноте, откинулся в кресле, поглаживая живот. Напротив него сидел лейтенант Андерсон, стараясь привлечь внимание капитана к пикам диаграммы.

— Вот, смотрите, капитан, — говорил Андерсон. — Эндер уже использует тактику, которая позволит ему одолеть

любого противника. Он добился того, что его солдаты передвигаются вдвое быстрее.

Графф кивнул.

— И вам известны результаты его теста — он отлично соображает.

Графф улыбнулся.

— Верно, верно, Андерсон. Он прекрасный, многообещающий ученик.

Они помолчали.

Графф вздохнул.

— И чего же вы от меня хотите?

— Эндер именно тот, кто нам нужен. Наверняка.

— Ему всего одиннадцать лет, лейтенант. Ради бога, чего вы хотите — чуда?

— Я хочу, чтобы начиная с завтрашнего дня он сражался каждый божий день. Я хочу, чтобы за месяц он приобрел такой опыт сражений, какой обычно приобретают за год.

Графф покачал головой.

— Его солдаты лягут.

— Нет, сэр. Они в прекрасной форме. И нам нужен Эндер.

— Позвольте поправить вас, лейтенант. Вы думаете, что Эндер — тот, кто нам нужен.

— Хорошо, я думаю именно так. Но кто же еще, если не он?

— Не знаю, лейтенант. — Графф провел рукой по почти лысой, покрытой редким пушком голове. — Они ведь дети, Андерсон. Вы отдаете себе в этом отчет? В армии Эндера нет ни одного солдата старше девяти лет. И вы хотите бросить их против старших? И целый месяц гонять через ад?

Лейтенант Андерсон еще ниже согнулся над столом.

— Вспомните о результатах тестов Эндера, капитан!

— Да видел я эти проклятые результаты, черт побери! Я наблюдал его в сражении, прослушивал записи его занятий. Я даже следил, как он спит, слушал записи его разговоров в коридорах и душевых. Я знаю об Эндере Виггинсе больше, чем вы можете себе вообразить! И всем накопленным фактам, свидетельствующим о его несом-

ненных талантах, могу противопоставить лишь одно соображение. Как вы думаете, каким будет Эндер через год, если я с вами соглашусь? Мне сдается, он полностью выдохнется и станет ни на что не годен, потому что ему придется выкладываться больше, чем любому из его солдат. Однако это не довод, лейтенант, ведь война продолжается, мы потеряли самого талантливого нашего командующего, и самые тяжелые бои еще впереди. Поэтому я даю согласие на то, чтобы Эндер сражался каждый день всю следующую неделю. Потом доложите мне, что из этого вышло.

Андерсон встал и отдал честь.

— Спасибо, сэр.

Он был уже у двери, когда услышал оклик Граффа, и обернулся.

— Андерсон,— сказал Графф,— вы выходили наружу? В последнее время, я имею в виду?

— Нет, с тех пор, как вернулся из отпуска полгода назад, не выходил.

— Да? Странно. Впрочем, не важно. Вы бывали в Би-мен-парке, здесь, в этом городе? А? Прекрасный парк. Деревья. Трава. Никакой нулевой гравитации, никаких сражений, никаких тревог. И знаете, что еще есть в Би-мен-парке?

— Что, сэр? — спросил лейтенант Андерсон.

— Дети.

— Это само собой.

— Я имею в виду ребяташек, которых матери будят каждое утро. Эти дети встают, отправляются в школу, а после идут в Би-мен-парк и играют. Они счастливы, они часто улыбаются, смеются, забавляются. Так?

— Ясное дело, сэр.

— Это все, что вы можете сказать, Андерсон?

Лейтенант откашлялся.

— Хорошо, когда дети имеют возможность забавляться, сэр. Я сам так делал, когда был ребенком. Однако сейчас миру нужны солдаты. И другого способа получить их у нас нет.

Графф кивнул и закрыл глаза.

— Вы правы — если судить по статистическим выкладам и умным теориям. Они, черт побери, срабатывают, и с системой тоже все в порядке, но ведь Эндер старше меня! Он уже больше не ребенок. Он теперь вряд ли даже человек.

— Если это правда, сэр, то, по крайней мере, у нас нет никаких сомнений — Эндер делает все возможное, чтобы его сверстники могли играть в парке.

— Конечно, Иисус тоже умер, чтобы спасти человечество... — Графф выпрямился и грустно посмотрел на Андерсона. — Но мы... Мы ведь те, кто забивает гвозди в крест.

Эндер Виггинс лежал, глядя в потолок. Он никогда не спал больше пяти часов, хотя лампы выключали в 22.00 и не включали до 06.00. Он просто смотрел в потолок и думал.

Он занимался со своей армией уже три с половиной недели. Армия Драконов — такое название она получила, не слишком удачное. Судя по отчетам, девять лет назад какая-то Армия Драконов выступила довольно успешно, однако все последующие годы армии с таким названием оказывались самыми слабыми, и в конце концов, просто из суеверия, армии перестали так называть. До недавнего времени.

«Однако теперь, — с улыбкой подумал Эндер, — Армия Драконов удивит всех».

Дверь открылась.

Эндер не шевельнулся.

Он слышал, как кто-то вошел, как дверь снова закрылась, когда посетитель покинул комнату. Едва негромкие шаги в коридоре стихли, Эндер повернулся на бок и, увидев на полу листок бумаги, поднял его.

«Армия Драконов против Армии Кроликов, Эндер Виггинс и Карн Карби, 07.00».

Первое сражение.

Эндер выбрался из постели и быстро оделся. Пройдя по комнатам взводных, он велел им поднять ребят, и через пять минут все собрались в коридоре, сонные и вялые.

— Первое сражение будет с Армией Кроликов в 07.00, — негромко заговорил Эндер. — Я уже дважды с ними сражался, но теперь у них новый командир, о котором я ничего не знаю. Они старше нас, зато мне известны кое-какие их уловки. Вzbодритесь. Побегайте, вдвое быстрее, чем обычно. Разогреваться будем в Третьем Боевом зале.

Полтора часа они вкалывали как проклятые. Провели три учебных сражения, позанимались гимнастикой в коридоре, вне зоны нулевой силы тяжести. Потом пятнадцать минут полежали в невесомости, отдыхая.

В 06.50 Эндер всех поднял, ребята высыпали в коридор. Эндер побежал во главе своей армии, время от времени подпрыгивая и дотрагиваясь до световой панели на потолке. Мальчишки повторяли его движения.

В 06.58 они собрались у своих ворот в Боевом зале.

Взводы С и D ухватились за первые восемь поручней на потолке коридора. Взводы А, В и Е припали к полу. Эндер сунул ноги под два поручня в центре потолка, чтобы никому не мешать.

— Где вражеские ворота? — прошипел он.

— Внизу! — прошептали все в ответ и засмеялись.

— Включить оружие!

«Пистолеты» вспыхнули зеленым. Им пришлось подождать еще несколько минут, а потом серая стена впереди растаяла, и перед ними открылся Боевой зал.

Эндер мгновенно оценил обстановку. Сейчас зал смахивал на знакомую по ранним играм крупноячеистую решетку с разбросанными по ней семью-восемью большими кубами, так называемыми «звездами». Позиции перед ними были очень удобны.

— Летите к ближайшим «звездам», — прошептал Эндер, мгновенно приняв решение. — Взвод Е — за мной!

Четыре взвода ворвались в Боевой зал через силовое поле дверного проема. Враги еще не успели появиться из ворот на противоположной стене, а армия Эндера уже летела от своей двери к ближайшим «звездам».

В зале показались вражеские солдаты, и им сразу пришлось круто, поскольку они еще не успели сориентироваться, к тому же пролетали сквозь дверной проем стоя, представляя собой отличные мишени.

— Взвод Е, огоны! — прошипел Эндер, стреляя из «пистолета», зажатого между коленями согнутых ног.

Пока взвод Эндера плыл по комнате, остальная Армия Драконов поливала врагов заградительным огнем, в результате чего взвод Е вырвался на передовую позицию, потеряв лишь одного солдата — его полностью заморозили, в то время как остальным ничуть не мешали передвигаться замороженные ноги.

Потом наступила недолгая передышка, пока Эндер и его противник, Карн Карби, оценивали положение. Если не считать тех, кого вывели из строя возле дверей, у Кроликов было мало пострадавших, и обе армии сохраняли боевую готовность. Однако Карн не отличался оригинальностью мышления — он просто расставил своих солдат по всем четырем углам зала, до чего додумался бы любой пятилетка в учебных классах. Эндер отлично знал, как нанести поражение при такой расстановке сил.

— Взвод Е прикрывает, — громко скомандовал он. — Взводы А и С — вниз. Взводы В и D — к восточной стене.

Под прикрытием взвода Е взводы В и D ринулись прочь от своих «звезд». Взводы А и С тоже оставили позиции и переместились к ближайшей стене. Достигнув цели, обе группы одновременно проделали трюк с отталкиванием от стены. Летя вдвое быстрее обычного, они неожиданно возникли позади вражеских «звезд» и открыли огонь. Спустя несколько секунд сражение было закончено — почти все враги оказались заморожены, включая командира, а остальные разбежались по углам. В течение следующих пяти минут, разбившись группами по четыре человека, Армия Драконов очистила темные углы Боевого зала от врагов и согнала пленных в центр, где те плавали, сталкиваясь друг с другом, замороженные в самых невероятных позах.

Потом Эндер с тремя мальчиками подлетел к вражеским воротам. Они одновременно прижали свои шлемы к четырем углам ворот противника, что привело к одностороннему реверсированию поля и дало сигнал к формальному завершению боя.

Наконец Эндер собрал своих бойцов возле замороженных солдат Армии Кроликов.

У Драконов только трое бойцов оказались полностью выведены из строя. Конечный счет — тридцать восемь — ноль — был таким ошеломляющим, что Эндер расхохотался. Армия Драконов присоединилась к его смеху и хохотала громко и долго. Мальчики все еще веселились, когда из учительских ворот на южном конце Боевого зала появились лейтенанты Андерсон и Моррис.

Лейтенант Андерсон не улыбался, но Эндер заметил, как тот подмигнул, сохраняя обычное строгое выражение лица и протягивая руку, чтобы, как всегда, поздравить победителя.

Моррис нашел Карна Карби и разморозил его. Тринадцатилетний мальчик подошел к Эндеру, который беззлобно рассмеялся и протянул руку. Карн, склонив голову, пожал руку своему победителю; если бы он этого не сделал, его заморозили бы снова.

Лейтенант Андерсон отпустил Драконов, и они молча покинули Боевой зал через вражеские ворота; это тоже было частью ритуала. На северной стороне квадратных ворот замигал свет, показывая, где в расположенном за ними коридоре находится «низ».

Эндер первым перевернулся и прошел, а не пролетел через силовое поле. Его солдаты поступили точно так же и бегом вернулись в тренировочный зал. Там они построились по отделениям, а Эндер повис в воздухе, разглядывая их.

— Для первой битвы неплохо, — сказал он. В ответ раздалась радостные возгласы, но он быстро восстановил тишину. — Армия Драконов действовала правильно. Однако враг не всегда будет таким слабым, как сегодня. Если бы против нас сражалась сильная армия, мы бы не отделались так легко. Да, мы бы все-таки победили, но понесли бы куда большие потери. Теперь давайте посмотрим, как действовали взводы В и D. Вы летели от «звезд» слишком медленно. Если бы Кролики умели как следует стрелять, вас заморозили бы еще до того, как взводы А и С добрались бы до стены...

Весь остаток дня они тренировались.

Этим вечером Эндер впервые пошел в командирскую столовую. Туда позволялось ходить только тем, кто одер-

жал хотя бы одну победу, и Эндер оказался самым молодым командиром, добившимся такой чести. Поначалу на его появление мало кто обратил внимание, но потом некоторые заметили на его нагрудном кармане изображение Дракона и принялись разглядывать новичка. Когда Эндер получил свой поднос и сел за пустой столик, в столовой стояла тишина, все смотрели на него.

Он взглянул на дверь, через которую только что вошел: над ней во всю стену висело огромное табло рейтингов. Табло показывало, с каким счетом проиграл или победил каждый командир; сражения сегодняшнего дня светились красным. Их было всего четыре. Остальные армии одержали победу с огромным трудом — лучший из командиров к концу игры сохранил только двух не замороженных вовсе и лишь одиннадцать замороженных частично. Счет армии Драконов — тридцать восемь полностью боеспособных солдат — выглядел блистательным до неправдоподобия.

Других новеньких встречали в командирской столовой приветственными криками и поздравлениями. Но другие новенькие не победили со счетом тридцать восемь—ноль.

Эндер нашел на доске Армию Кроликов — и с удивлением выяснил, что к сегодняшнему дню Карн Карби одержал восемь побед и потерпел всего три поражения. Был ли он и в самом деле хорошим полководцем или просто сражался против более слабого противника? Как бы то ни было, кроме сегодняшнего у Карна бывали и другие поражения, после которых весь его состав оказывался замороженным, и Эндер, усмехаясь, опустил глаза.

Никто не улыбнулся в ответ, и Эндер понял, что здесь его боятся, а следовательно, ненавидят. Что ж, значит, все, кому впредь придется сражаться с Армией Драконов, будут напуганы, злы и, стало быть, более уязвимы.

Эндер поискал глазами Карна Карби и увидел его в толпе неподалеку. Он не сводил с Карби пристального взгляда, и в конце концов другие мальчики стали подталкивать командира Кроликов, указывая на Эндера. Эндер снова улыбнулся и помахал рукой, а когда Карби покраснел, с довольным видом склонился над столом и стал есть.

К концу недели Армия Драконов имела на счету семь сражений и столько же побед. Ни в одной игре у Эндера не заморозили больше пяти человек. Остальные командиры уже не могли делать вид, что не замечают новенького; некоторые подсаживались к его столу и спокойно обсуждали стратегию его противников, другие — большинство — предпочитали разговаривать с побежденными, пытаясь выведать, что такого особенного в тактике Эндера.

Однажды во время обеда учительская дверь распахнулась, и все смолкли, когда в комнату вошел лейтенант Андерсон. Оглядев собравшихся и заметив Эндера, он быстрым шагом пересек комнату и что-то прошептал мальчику на ухо. Эндер кивнул, допил воду и ушел вместе с лейтенантом, который мимоходом вручил одному из старших листок бумаги. Едва Андерсон и Эндер покинули комнату, все снова зашумели.

Эндера провели по коридорам, где он еще никогда не бывал. Их, в отличие от солдатских коридоров, не озарял мерцающий голубой свет; на полу лежали ковры, стены были обшиты деревянными панелями. Двери тоже оказались деревянными, на каждой висела табличка, и табличка на той, перед которой они остановились, гласила: «Капитан Графф, инспектор».

Андерсон негромко постучал, низкий голос изнутри ответил:

— Войдите.

Они вошли. Капитан Графф сидел за письменным столом, сложив руки на объемистом животе. Он кивнул, а когда Андерсон сел, откашлялся и сказал:

— Со времени твоего первого сражения, Эндер, прошло семь дней.

Эндер промолчал.

— И ты одержал семь побед, по одной каждый день. Эндер кивнул.

— Ты одержал эти победы с необычайно высоким счетом.

Эндер сощурился.

— Как ты добиваешься такого результата? — спросил Графф.

Эндер покосился на Андерсона и ответил:

— Я придумал два новых тактических приема, сэр. Ногигибаются в коленях и служат щитом, поэтому в случае попадания только они и теряют подвижность. Второй трюк — умение отталкиваться от стены. Высшая стратегия, как учил лейтенант Андерсон, состоит в том, чтобы думать о месте, а не о расстоянии. У меня пять взводов по восемь человек вместо четырех по десять. Прекрасные взводные, хорошие солдаты. К тому же некомпетентные противники.

Графф бесстрастно смотрел на Эндера.

«Чего он ждет?» — удивился Эндер.

— Эндер, в каком состоянии сейчас твоя армия? — спросил лейтенант Андерсон.

«Они хотят, чтобы я попросил передышку? — подумал Эндер. — Не дождутся!»

— Немного устали, но моральное состояние высокое, и учатся они быстро. Жаждают сразиться снова.

Андерсон посмотрел на Граффа, тот слегка пожал плечами и перевел взгляд на Эндера.

— Ты ни о чем не хочешь спросить?

— Когда вы выставите против нас сильную армию?

Смех Граффа раскатился по всей комнате. Отсмеявшись, капитан вручил Эндеру листок бумаги.

— Прямо сейчас, — ответил он.

Эндер прочел на листке: «Армия Драконов против Армии Леопардов, Эндер Виггинс и Пол Слейтери, 20.00».

Эндер поднял глаза на капитана.

— Осталось всего десять минут, сэр.

— В таком случае тебе лучше поторопиться, мальчик, — улыбнулся Графф.

На обратном пути Эндер вспомнил, что Пол Слейтери — тот самый парень, которому лейтенант вручил предписание, уходя из командирской столовой.

Спустя пять минут Эндер был у себя в казармах. Трое взводных уже легли, он поднял их и послал будить остальных. Некоторые мальчики продолжали на ходу одеваться, когда все собрались в коридоре.

— Бой будет жарким, — обратился к своим солдатам Эндер, — а времени у нас мало. Когда мы доберемся до

выхода, они уже успеют развернуться перед нашими воротами. Иначе чем засадой это не назовешь. Никогда не слышал, чтобы так поступали прежде. Значит, мы должны наверстать упущенное время. Взводы А и В, слегка распустили пояса и отдайте «пистолеты» другим взводам.

Солдаты подчинились, хотя явно не понимали, что он задумал. Потом Эндер повел всех к воротам. Когда они рысцой прибыли на место, ворота были уже открыты, а некоторые солдаты Эндера дышали часто и тяжело. Они уже вынесли сегодня одно сражение, остаток дня тренировались и сильно устали.

Остановившись у выхода, Эндер оценил позиции противника. Несколько Леопардов ждали всего в двадцати футах от ворот Драконов. Не было ни решетки, ни «звезд», просто большое пустое пространство. Где же остальные враги? Их должно быть еще человек тридцать.

— Они распластались у той стены,— сказал Эндер,— где мы не можем их видеть.

Он велел взводам А и В встать на колени, положив руки на бедра, и полностью заморозил мальчиков.

— Вы — наши щиты,— пояснил он.

Потом солдаты взводов С и D устроились позади замороженных, просунув руки под их пояса и держа в каждой руке по «пистолету». Так, парами, Эндер и бойцы взвода Е начали поднимать своих товарищей и швырять в Боевой зал.

Конечно, враги немедленно открыли огонь, но чаще всего попадали в тех, кто был уже заморожен, и спустя несколько мгновений Боевой зал превратился в ад крошечный. Все солдаты Армии Леопардов, распластавшись у стены или паря в центре комнаты, представляли собой хорошие мишени, и солдаты Эндера, каждый из которых был вооружен двумя «пистолетами», легко расправлялись с ними. Пол Слейтери среагировал быстро, приказав своим людям отойти от стены... И все же недостаточно быстро. Немногие из Леопардов все еще могли двигаться, и не успели они пересечь и четверти Боевого зала, как тоже оказались заморожены.

К концу сражения в Армии Драконов уцелело всего двенадцать мальчиков, что было для них самым низким

счетом. И во время формальной капитуляции Пол Слейтери нарушил привычный ритуал — пожимая противнику руку, спросил:

— Почему вы так долго не появлялись?

Эндер искоса взглянул на Андерсона, парящего неподалеку.

— Мне слишком поздно сообщили о сражении, — сказал он. — Наверняка намеренно.

Слейтери ухмыльнулся и снова пожал руку Эндеру.

— Это была отличная игра.

Эндер без улыбки посмотрел на Андерсона. Он уже понял, что теперь расстановка сил будет не в его пользу, даже наоборот — ему станут мешать победить. И это ему не нравилось.

Было 21.50, вскоре должны были выключить свет, когда Эндер постучал в дверь комнаты, где жили Боб и еще три солдата. Ему распахнули дверь, и Эндер, помедлив, спросил, можно ли войти. Получив ответ — дескать, входи, конечно! — он приблизился к верхней кровати, с которой, отложив книгу, на него смотрел Боб.

— Боб, можешь уделить мне двадцать минут?

— Скоро погасят свет, — ответил тот.

— Поговорим у меня в комнате, — сказал Эндер. — Я тебя прикрою.

Боб соскользнул с койки, они бесшумно зашагали по коридору, и, первым войдя в свою комнату, Эндер закрыл за гостем дверь.

— Присядем, — пригласил он, и оба мальчика уселись на постель.

— Помнишь, четыре недели назад ты уговаривал меня назначить тебя командиром взвода, Боб?

— Да.

— С тех пор я назначил пятерых взводных, так? И тебя среди них не было.

Боб спокойно встретил его взгляд.

— Как думаешь, я правильно поступил?

— Да, сэр.

Эндер кивнул.

— Расскажи, как ты действовал в минувших сражениях.

Боб склонил голову набок.

— Меня ни разу не заморозили, сэр, а я вывел из строя сорок три врага. Я всегда быстро исполнял приказы, командовал отделением, очищающим захваченную территорию от противника, и не потерял при этом ни одного солдата.

— Тогда ты меня поймешь.— Эндер помолчал и решил сперва испробовать обходной путь.— Ты сам знаешь, Боб, что по возрасту не дотягиваешь до установленного срока добрых полгода. Со мной тоже так было, я стал командиром на полгода раньше, чем следует. А теперь они каждый день посылают меня сражаться, хотя за спиной моих солдат всего три недели учений. Восемь сражений за семь дней. У меня на счету уже больше битв, чем у мальчиков, ставших командирами четыре месяца назад. Я выиграл больше сражений, чем многие командиры с годовым стажем. А сражение, в котором мы победили этим вечером... Ты знаешь, как все было.

Боб кивнул.

— Они слишком поздно дали тебе знать.

— Я понятия не имею, что задумали учителя. Но моя армия устала, я сам устал, а они вдруг изменяют правила игры. Послушай, Боб, я видел старые отчеты. За всю историю игры никто не уничтожил столько врагов и не сохранил столько своих солдат. Я не такой, как все, и со мной обращаются не как со всеми.

Боб улыбнулся.

— Ты самый лучший, Эндер.

Эндер покачал головой.

— Может быть. Но я не случайно получил именно этих солдат. Самые слабые из моих бойцов могут стать взводными в любой другой армии. Мне дали лучших. Они снарядили меня с учетом моих возможностей — а теперь собираются сломать. Не знаю почему. Но знаю, что должен быть готов ко всему. И мне нужна твоя помощь.

— Почему именно моя?

— Потому что в Армии Драконов есть солдаты и лучше — немного, но есть, — но думать быстрее и лучше тебя не может никто.

Боб промолчал. Они оба знали, что это правда.

— Я должен быть готов ко всему, но не могу обучить всю армию,— продолжал Эндер.— Поэтому собираюсь взять по солдату из каждого взвода, включая твой, и составить новое подразделение, командовать которым будешь ты. Это будет особый отряд, и я научу его кое-чему новому. Большую часть времени вы будете в своих обычных взводах, в тех же, что и сейчас. Но в любой момент сможете мне понадобиться. Понимаешь?

Боб улыбнулся и кивнул.

— Да, хорошо. Только могу я отобрать людей сам?

— Бери по одному из каждого взвода, только не трогай взводных. И человека в твоём собственном отделении выберу я.

— Чем мы станем заниматься?

— Боб, я не знаю. Понятия не имею, что еще они выдумают. Вдруг все наши «пистолеты» внезапно выйдут из строя, а вражеские нет? Вдруг на нас пошлют две армии вместо одной? Я знаю одно — нас могут поставить в такие условия, когда победа станет просто невозможна. Тогда нам придется пойти в атаку на вражеские ворота. Это называется «техническая победа» — четыре шлема по углам ворот. Я хочу, чтобы вы в любой момент были готовы и к такому варианту. Понимаешь? Ты будешь ежедневно по два часа тренировать отобранных тобой людей, но только не во время обычных тренировок. А потом мы с твоими солдатами будем работать еще и вечером, после ужина.

— Мы выдохнемся.

— Похоже, мы с тобой не знаем, что такое усталость.— Эндер сжал руку младшего мальчика.— Даже если против нас будут играть нечестно, Боб, мы победим.

Не сказав больше ни слова, Боб вышел из комнаты и на цыпочках двинулся по коридору.

Теперь не только Армия Драконов тренировалась больше положенного. В конце концов и другие командиры поняли, что им нужно осваивать новые приемы. С раннего утра и пока не зажигался свет, солдаты, среди которых не было ни одного старше четырнадцати, учились оттачивать от стен и использовать друг друга как живые щиты.

Однако пока остальные командиры отрабатывали тактику, которую прежде использовал против них Эндер, он сам вместе с Бобом думал, как справиться с еще не встречавшимися раньше проблемами.

Ежедневные сражения продолжались, и некоторое время все было, как обычно: решетки, «звезды», внезапное выскакивание из ворот. А после битв Эндер, Боб и еще четыре солдата покидали основную группу и упражнялись в очень странных маневрах. Они нападали без «пистолетов», часто используя ноги, чтобы разоружить или ошеломить противника. Прикрываясь четырьмя замороженными солдатами, учились меньше чем за две секунды захватывать вражеские ворота. А однажды Боб пришел на тренировку с огромным мотком веревки.

— Зачем тебе это?

— Пока не знаю.

Боб рассеянно вертел конец шнура, который был не толще одной восьмой дюйма, но мог выдержать вес десяти взрослых людей.

— Где ты это взял?

— На складе. Они спросили, зачем он мне нужен. Я сказал — чтобы учиться вязать узлы. — Боб сделал петлю на конце веревки и просунул в нее руку по плечо. — Эй, вы, двое, повисните вон там на стене! Теперь держите конец веревки, да покрепче.

Они так и сделали. Боб обмотал второй конец вокруг пояса, оттолкнулся от стены и полетел вперед. Наконец шнур рывком натянулся. Он был настолько тонок, что его трудно было заметить, но спружинил так, что Боб согнулся пополам и направление его полета изменилось почти под прямым углом. Мальчик описал великолепную дугу, пролетел через весь зал и врезался в стену. Не успел никто понять, что же произошло, как Боб, словно мячик, отскочил от стены и полетел туда, где его ждали Эндер и остальные.

Солдаты не заметили шнура; со всех сторон посыпались требования объяснить, как Боб проделал эдакий трюк, ведь в невесомости так резко изменять направление движения невозможно. Боб только рассмеялся.

— Подождите, пока не начнется очередная игра без решетки! Враги в жизни не догадуются, как мы их победили.

Враги и вправду не догадались. Следующее сражение началось всего через пару часов, однако Боб и еще двое солдат успели здорово наловчиться целиться и стрелять, совершая невероятные маневры на конце шнура. Как только Эндеру доставили листок с вызовом, Армия Драконов бросилась к воротам, чтобы сразиться с Армией Грифонов; по дороге Боб сматывал веревку.

Едва ворота открылись, все увидели большую коричневую «звезду» на расстоянии всего пятнадцати футов, полностью загораживающую вражеские ворота.

Эндер немедленно принял решение.

— Боб, отмотай футов пятьдесят шнура и лети вокруг «звезды».

Боб и четыре его солдата вырвались из ворот, и спустя мгновение Боб уже летел к «звезде». Шнур натянулся, Боб обогнул «звезду», и, когда достиг дальней грани куба, направление его движения снова изменилось. По мере того как шнур наматывался на «звезду», круги, по которым летал Боб, становились все меньше, а скорость выше. В конце концов он врезался в стену всего в нескольких футах от ворот, позади куба, и тут же замахал руками и зашевелил ногами, показывая остальным, что враг его не заморозил.

Эндер подлетел к нему, и Боб быстро описал позицию Армии Грифонов.

— У них восемь «звезд», расставленных вокруг ворот. Все солдаты прячутся за «звездами», и подстрелить кого-то из них невозможно, пока мы не прорвемся к нижней части стены. Но на это у нас нет никаких шансов.

— Они передвигаются? — спросил Эндер.

— Зачем?

— По-моему, глупо торчать на одном месте.— Эндер задумался.— Круто. Придется захватить ворота, Боб.

Грифоны принялась дразнить Драконов.

— Эй, есть здесь кто-нибудь?

— Проснитесь, у нас идет война!

— Идите сюда, мы вас живо слопаем!

Они все еще выкрикивали дразнилки, когда армия Эндера появилась из-за своей «звезды», выставив перед собой щит из четырнадцати замороженных солдат. Вильям Би, командир Армии Грифонов, не отдавал приказа стрелять, пока враги приближались, — его люди ждали момента, когда можно будет разглядеть тех, кто прячется за живым щитом. На расстоянии около десяти ярдов от противника щит внезапно рассыпался, и прятавшиеся за ним полетели вперед вдвое быстрее, открыв ураганный огонь. В тот же миг часть Армии Драконов вырвалась из-за своей «звезды» и бросилась в атаку, тоже бешено стреляя.

Остальные мальчики Вильяма Би, конечно, тут же включились в битву, но сам он гораздо больше интересовался солдатами противника, которых увидел, когда щит распался. Четверо замороженных бойцов Армии Драконов по инерции летели головой вперед к воротам Армии Грифонов; они держались вместе потому, что еще один замороженный солдат просунул ноги и руки под их пояса. Шестой солдат уцепился за пояс последнего и летел за остальными, как хвост воздушного змея. Полагая, что Армия Грифонов легко выиграет сражение, Вильям Би стал рассматривать эту приближающуюся к воротам группу.

Внезапно солдат, который тащился сзади, шевельнулся — оказывается, он вовсе не был заморожен! Вильям Би тут же «застрелил» его, но время было уже упущено. Остальные солдаты тоже только притворялись выведенными из строя, и, подплыв к воротам Армии Грифонов, четверо из них одновременно коснулись шлемами углов ворот. Послышался вой зуммера, ворота опрокинулись, и находившийся в центре группы и впрямь замороженный солдат влетел прямо в них. Оружие перестало работать, игра закончилась.

Открылись учительские ворота, из них появился лейтенант Андерсон. В центре Боевого зала он остановился и, нарушая протокол, позвал:

— Эндер!

Один из замороженных солдат попытался что-то сказать, но не смог разжать челюсти. Андерсон подплыл к нему и разморозил.

— Я снова побил вас, сэр,— с улыбкой сказал Эндер.

— Глупости, Эндер,— негромко ответил Андерсон.— Ты сражался с Армией Грифонов Вильяма Би.

Эндер поднял бровь.

— Отныне правила изменяются,— продолжал лейтенант.— Ворота противника будут считаться захваченными только в том случае, если все солдаты побежденной армии не смогут шевелиться.

— Ясно,— сказал Эндер.— Такое могло сработать только один раз.

Андерсон кивнул и уже отвернулся, собираясь двинуться прочь, когда Эндер добавил:

— А вы не собираетесь ввести еще одно новое правило — чтобы армии начинали бой с равными шансами?

Андерсон снова посмотрел на него.

— Та армия, которой командуешь ты, всегда будет иметь преимущество. Так о каких равных шансах ты говоришь?

Подсчитывая уцелевших и выведенных из строя бойцов, Вильям Би недоумевал — как он мог проиграть, если ни один из его солдат не был заморожен, а у Эндера уцелели только четверо?

Тем вечером, стоило Эндеру появиться в командирской столовой, его встретили приветственными возгласами и аплодисментами. Его столик обступили полные уважения командиры, многие из которых были на два-три года старше него. Он дружески ответил на приветствия, но во время еды все гадал, что же учителя придумают в следующий раз. Однако он зря беспокоился. Следующие два сражения он выиграл легко и после этого навсегда распрощался с Боевым залом.

Было уже 21.00, и Эндер ощутил легкую досаду, услышав стук в дверь. Его солдаты вымотались до предела, и он велел им лечь спать в 20.30. Последние два сражения были самыми обычными, и Эндер ожидал, что на следующий день их ждет что-нибудь похуже.

Оказалось, явился Боб. Он смущенно вошел и отдал честь.

Эндер тоже отдал честь и сердито сказал:

— Боб, всем уже полагается быть в постели.

Боб только кивнул. Эндер подумал — а не приказать ли ему выйти? Однако, посмотрев на Боба, он впервые за несколько недель вспомнил, какой тот еще малыш. Неделю назад мальчику исполнилось восемь, но он по-прежнему был очень невысоким и... «Нет, — подумал Эндер, — только не маленьким». Никого из них нельзя было назвать маленьким. Боб вдоволь навоевался, бывали случаи, когда от него зависела судьба всей армии, но он всегда побеждал. Да, он мелковат, но Эндер больше никогда не сможет думать о нем как о юнце.

Боб сел на край кровати и некоторое время молча разглядывал свои руки. В конце концов у Эндера лопнуло терпение.

— Ну, в чем дело? — спросил он.

— Меня переводят. Только что принесли приказ.

Эндер на мгновение закрыл глаза.

— Так и знал, что они что-нибудь придумают. Вот, значит, как... И куда тебя переводят?

— В Армию Кроликов.

— Да как им только в голову могло прийти отдать тебя под начало этого идиота Карна Карби!

— Карна тоже переводят. В Школу Снабжения.

Эндер поднял на него глаза.

— Кто же возглавит Армию Кроликов?

Боб беспомощно вскинул руки.

— Я.

Эндер с улыбкой кивнул.

— Понятно. В конце концов, ты всего на четыре года младше того возраста, когда уже можно производить в командиры.

— Ничего смешного, — ответил Боб. — Я не понимаю, что происходит. Сперва то и дело меняли правила. А теперь еще это. И не только меня переводят. Рен, Педер, Бриан, Винс, Уонгер — все они теперь командиры.

Эндер вскочил и сердито зашагал по комнате.

— Все мои взводные! — Он круто развернулся к Бобу. — Если в их планы входит развалить мою армию, зачем они потратили столько сил, чтобы сделать из меня командира?

Боб покачал головой.

— Не знаю. Ты лучше всех, Эндер. Никто никогда раньше не делал того, что делаешь ты. Девятнадцать сражений за пятнадцать дней, и каждый раз ты побеждал, что бы они ни придумывали.

— А теперь ты и остальные мои взводные стали командирами. Вы знаете все мои трюки, я сам научил вас всему. И кем, спрашивается, я вас заменяю? Они подсунут мне шесть новичков?

— Дела, конечно, плохи, но ты же знаешь, Эндер, — даже если тебе дадут пять увечных карликов и вооружат твою армию рулонами туалетной бумаги, ты все равно победишь.

Они рассмеялись — и тут дверь открылась, и в комнату вошли лейтенант Андерсон и капитан Графф.

— Эндер Виггинс. — Графф остановился, сложив на животе руки.

— Да, сэр.

— Получи приказ.

Андерсон протянул Эндеру листок бумаги, тот быстро прочитал его и скомкал, глядя в пустоту.

— Могу я рассказать своей армии? — спустя несколько мгновений спросил он.

— Они и так узнают, — ответил Графф. — Не стоит говорить с ними после получения приказа. Так будет легче.

— Легче для вас или для меня? — спросил Эндер.

Он не стал дожидаться ответа, повернулся к Бобу, быстро сжал его руку, а потом зашагал к двери.

— Постой! — окликнул Боб. — В какую школу тебя направляют? В Тактическую или Снабжения?

— В Школу Командиров, — ответил Эндер.

Андерсон вышел вслед за ним и закрыл дверь.

«Школа Командиров», — подумал Боб.

Никто не попадал в эту школу без трех лет обучения в Тактической. С другой стороны, никто не попадал в Тактическую без того, чтобы проучиться как минимум пять лет в Боевой. Эндер пробыл в ней всего три года.

Боб ясно видел — привычная система ломается. Либо кто-то наверху сошел с ума, либо война очень круто пошла не туда — настоящая война, ради которой их и обуча-

ли. Что могло разрушить систему настолько, чтобы даже такого достойного, как Эндер, лидера отправили прямо-ком в Школу Командиров? Или, если уж на то пошло, чтобы восьмилетнего новичка Боба назначили командиром армии?

Боб долго об этом раздумывал. В конце концов он лег в постель Эндера и вдруг понял, что, скорее всего, никогда больше его не увидит. Ему почему-то захотелось плакать, но он, конечно, сдержался. Еще дошкольником его научили подавлять подобные порывы... Он вспомнил, как расстроился его первый учитель, увидев, что у трехлетнего Боба дрожат губы и глаза полны слез.

Боб постарался расслабиться, в конце концов желание плакать прошло, и он уснул. Его рука так и осталась лежать на подушке у подбородка, как будто Боб не решил — хочет ли он грызть ногти или сосать палец. Он хмурился, но дышал он быстро и легко. Он был солдатом, и если бы кто-нибудь спросил мальчика, кем он хочет стать, когда вырастет, он бы не понял вопроса.

«Война продолжается, — сказали ему, — поэтому все колеса вертятся быстрее».

Командиры твердили это как пароль, перебрасывая Эндера Виггинса с места на место так быстро, что у него не было времени ни в чем разобраться. Зато он впервые в жизни увидел деревья. Увидел мужчин, не одетых в военную форму. Увидел женщин. Увидел странных животных, которые безмолвно и послушно следовали за женщинами и маленькими детьми. Увидел небольшие плоские чемоданы, и ленточные транспортеры, и говорящие вывески, произносящие слова, которых он в жизни не слышал. Когда-нибудь он спросит, что означают эти слова... только, конечно, не у тех целеустремленных, властных офицеров высокого ранга, которые теперь его окружали и почти никогда не разговаривали ни с ним, ни друг с другом.

Эндер Виггинс чувствовал себя чужим в мире, который его обучали спасти. Он не помнил, чтобы когда-нибудь покидал Боевую Школу. Его самые ранние воспоминания относились к военным играм под надзором учителя и обе-

дам в компании других мальчиков в серо-зеленой форме. Он не знал, что небо серого цвета, а безбрежные леса планеты — зеленого. Все его смутные представления о мире сводились к понятию «снаружи».

И прежде чем Эндер сумел хоть как-то разобраться в непривычном для него новом мире, его снова отправили туда, где люди ни на мгновение не забывали о войне. Эндера посадили на космический корабль, и вскоре он очутился на огромном искусственном спутнике, кружившем над планетой.

Эта космическая станция и была Школой Командиров. А в Школе имелся ансамбль.

В первый же день пребывания Эндера Виггинса на спутнике ему объяснили, что такое ансамбль и какую роль он играет в современной войне. Космические корабли, участвующие в сегодняшних сражениях, стартовали с Земли сто лет назад, и теперь ими командовали с помощью ансамбля, посылая световые сообщения компьютерам и немногочисленным экипажам кораблей. С помощью ансамбля велись разговоры, передавались приказы и боевые планы.

В течение двух месяцев Эндер Виггинс ни с кем не познакомился. К нему приходили безымянные люди, учили тому, что знали, и передавали следующим учителям. У него не было времени скучать по друзьям из Боевой Школы, он едва успевал осваивать имитатор, воссоздающий обстановку, какая бывает в гуще сражения. Эндер учился управлять ненастоящими кораблями в ненастоящих сражениях, манипулируя клавишами имитатора и произнося слова в ансамбль. Учился по силуэту мгновенно распознавать вражеский корабль и знать, какое оружие он несет на борту. И учился использовать в битвах космических кораблей Школы Командиров опыт, накопленный в Боевой Школе во время сражений в невесомости.

Эндера и раньше поражала серьезность, с какой его командиры относились к игре, но здесь его подгоняли буквально на каждом шагу; то и дело непонятно почему сердились; волновались всякий раз, когда он забывал что-либо или совершал ошибку. Но он работал так же усердно, как всегда, и так же старательно учился. И со време-

нем Эндер перестал ошибаться и начал обращаться с имитатором так, будто тот стал частью его самого. Тогда командиры перестали беспокоиться и прислали ему нового учителя.

Когда Эндер проснулся, на полу его комнаты, скрестив ноги, сидел Мейзер. Пока Эндер принимал душ и одевался, тот не произнес ни слова, а мальчик не задавал никаких вопросов. Он давно уже усвоил, что гораздо больше можно узнать, выжидая, а не расспрашивая.

Мейзер все еще молчал, когда, наконец, Эндер подошел к двери, собираясь выйти. Дверь не открывалась.

Эндер повернулся к сидящему на полу человеку. Тому было по меньшей мере сорок, он был старше всех, с кем Эндеру до сих пор приходилось встречаться, и показался мальчику стариком. У Мейзера были небольшие, черные с проседью усы и короткая стрижка, лицо слегка обрюзгшее, глаза окружены сеточкой морщин; он без всякого интереса смотрел на хозяина комнаты.

Эндер повернулся к двери и снова попытался ее открыть.

— Ладно,— наконец признал он свое поражение.— Почему она не открывается?

Мейзер продолжал безучастно глядеть на него.

Эндер начал терять терпение.

— Я, наверное, уже опоздал. Если мне не нужно сегодня никуда идти, так и скажите, тогда я вернусь досыпать.

Ответа опять не последовало.

— Это что, игра в «угадай-ка»?

По-прежнему молчание.

Эндер решил, что его нарочно пытаются разозлить. Прислонившись к двери, он проделал специальное упражнение, чтобы расслабиться и успокоиться, и это ему удалось.

Мейзер все еще не сводил с него глаз.

Следующие два часа прошли в молчании. Мейзер неотрывно наблюдал за Эндером, а тот пытался делать вид, что этого не замечает. Однако мальчик нервничал все больше и в конце концов начал метаться по комнате.

Когда он в очередной раз проходил мимо Мейзера, тот внезапно и сильно толкнул Эндера в ногу.

Мальчик упал и тут же снова вскочил, кипя от злости.

Мейзер сидел как ни в чем не бывало, словно это не он только что сделал такое резкое движение. Эндер встал в боевую стойку, однако не смог броситься на неподвижного старика. У мальчика даже мелькнула мысль: может, ему только почудилось, будто его мгновение назад опрокинули на пол?

Эндер метался по комнате еще час, время от времени проверяя, не открылась ли дверь. Наконец сдался, снял форму и пошел к кровати.

Но едва он наклонился, чтобы откинуть покрывало, его снова толкнули и тут же грубо схватили за волосы. В следующий миг его перевернули вверх тормашками и бросили лицом вниз. Прижав коленом плечи Эндера к полу, старик поднял его ноги вверх, заставив его болезненно изогнуться. Эндер не мог ни пинаться, ни нанести удар кулаком; буквально за несколько секунд старик полностью лишил его возможности сопротивляться.

— Ваша взяла, — тяжело дыша, сказал Эндер. — Вы победили.

Колено Мейзера надавило еще сильнее.

— С каких это пор, — спросил Мейзер негромким, безжащим голосом, — ты признаешь, что враг тебя победил?

Эндер не ответил.

— Ты удивил меня, Эндер Виггинс. Почему ты сразу не бросился на меня? Только потому, что я выглядел миролюбивым? Больше того — ты повернулся ко мне спиной. Глупо. Ты ничему не научился. У тебя никогда не было настоящего учителя.

Вот теперь Эндер разозлился.

— У меня было слишком много треклятых учителей. Откуда я мог знать, что вы поведете себя как...

Эндер замолчал, подыскивая нужное слово.

— Как враг, Эндер Виггинс, — шепотом подсказал Мейзер. — Я первый из твоих врагов, который оказался ловчее тебя. Только враг может стать настоящим учителем, Эндер Виггинс. Никто, кроме врага, не расскажет тебе, что

собирается делать враг. Никто, кроме врага, не научит тебя уничтожать и завоевывать. Отныне я — твой враг. И твой учитель.

Мейзер отпустил ноги Эндера. Поскольку старик все еще прижимал его к полу, мальчик не смог смягчить удар, когда его ноги с глухим стуком шмякнулись об пол. Боль заставила Эндера вздрогнуть. Мейзер встал и позволил ему подняться.

Мальчик медленно, с негромким стоном подтянул ноги и встал на четвереньки, приходя в себя. Потом его правая рука метнулась в сторону. Мейзер молниеносно отскочил, рука Эндера схватила только воздух, а учитель попытался пнуть мальчика в подбородок.

Но того на месте не оказалось; Эндер перекатился на спину и врезал Мейзеру носком в то мгновение, когда тот после пинка оказался в неустойчивом положении. Старик мешком рухнул на пол.

То, что выглядело мешком, на деле оказалось осиным гнездом. Молниеносные удары обрушились на спину и руки Эндера, а все его попытки ответить тем же не увенчались успехом. Старик молотил его, как хотел, а у Эндера в прямом смысле слова руки были коротки — как, впрочем, и ноги.

Поэтому он вскочил и бросился к двери.

Старик снова сел на пол и засмеялся.

— На этот раз уже лучше, мальчик. Но слишком медленно. С космическим флотом нужно управляться лучше, чем ты пока управляешься с собственным телом, иначе ни один солдат под твоим командованием не будет чувствовать себя в безопасности. Усвоил?

Эндер медленно кивнул.

Мейзер улыбнулся.

— Хорошо. Тогда не будем больше тратить время на такие сражения, а перейдем к имитатору. Я стану программировать твои битвы, продумывать стратегию врага, а ты будешь запоминать все вражеские трюки. Отныне противник будет всегда сильнее и хитрее тебя и ты всегда будешь на грани поражения. — Лицо Мейзера снова стало серьезным. — Да, на грани поражения, Эндер, и все же ты побе-

дишь. Ты поймешь, как разбивать врага, потому что он сам научит тебя этому.

Мейзер встал и направился к двери. Эндер отошел в сторону, уступая ему дорогу, но, едва старик прикоснулся к дверной ручке, высоко подпрыгнул и изо всех сил ударил учителя обеими ногами в поясницу. От удара он сам отлетел в сторону, а Мейзер вскрикнул и упал.

Он поднимался медленно, держась за дверь, с искаженным от боли лицом. Казалось, сейчас он не в состоянии напасть, но Эндер держался настороже. И все-таки Мейзеру удалось застать его врасплох, настолько быстро двигался старик. Мгновение спустя Эндер уже лежал у дальней стены, с его разбитых губ и носа текла кровь. Однако он сумел повернуть голову и увидел, как Мейзер медленно открывает дверь и, слегка прихрамывая, уходит.

Несмотря на боль, Эндер улыбнулся. Он перекатился на спину и смеялся до тех пор, пока чуть не захлебнулся кровью. Потом встал, чувствуя боль во всем теле, доковылял до кровати и лег. Спустя несколько минут пришел врач, чтобы заняться его ссадинами и ушибами.

Когда лекарство подействовало и Эндер начал засыпать, он вспомнил, как Мейзер прихрамывал, покидая комнату,— и снова негромко рассмеялся. Он так и уснул, смеясь, а врач укрыв его одеялом и погасил свет.

Утром Эндер проснулся от боли. Ему снилось, что он дерется с Мейзером и побеждает.

На следующий день Эндер явился в игровой зал с нашлапкой из пластыря на носу, с распухшими губами. Мейзера на месте не оказалось, а капитан, работавший с Эндером и раньше, показал ему новую приставку к имитатору, похожую на трубку с витком проволоки на конце.

— Рация. Примитивная, конечно. Теперь наденем петлю тебе на ухо, а другой конец трубки сунем в рот. Вот так.

— Осторожно! — пробормотал Эндер, когда капитан вставил конец трубки между его распухшими губами.

— Прости. А теперь говори.

— Хорошо. С кем?

— Скажи что-нибудь и сам поймешь,— улыбнулся капитан.

Эндер пожал плечами и повернулся к имитатору. В тот же миг в его голове зазвучал голос, такой громкий, что невозможно было разобрать слова. Эндер сорвал с себя рацию.

— Вы хотите, чтобы я оглох?

Капитан покачал головой и слегка повернул круговую шкалу на маленьком пульте на столе неподалеку. Эндер снова нацепил на себя устройство.

— Командир,— раздался знакомый голос.

— Да,— ответил Эндер.

— Какие будут инструкции, сэр?

Голос явно был очень знакомый!

— Это ты, Боб? — спросил Эндер.

— Да, сэр.

— Боб, это Эндер.

Молчание, потом — взрыв смеха. Эндер различил шесть или семь смеющихся голосов. Когда смех умолк, он спросил:

— Кто там еще с тобой?

Несколько голосов заговорили сразу, однако Боб перекричал всех:

— Я, то есть Боб, а еще Педер, Винс, Уонгер, Ли, Влад.

Эндер на мгновение задумался и спросил, какого черта они тут делают. Парни снова расхохотались.

— Им слабо расформировать нашу группу,— ответил Боб.— Мы командовали армиями от силы две недели — и вот очутились здесь, в Школе Командиров, где нас стали учить работе с имитатором. И вдруг сказали, что под начальством нового командира мы должны сформировать флот. И этим командиром оказался ты.

Эндер улыбнулся.

— Так как, ребята, вы справитесь?

— Вот увидишь!

Эндер усмехнулся.

— Тогда за работу. Итак, нам предстоит формировать флот?

Ближайшие десять дней Эндер натаскивал своих взводных и в конце концов добился того, что они управляли кораблями, как искусный танцор — своими ногами. Это немного напоминало занятия в Боевой Школе, вот только теперь Эндер всегда видел, чем занимаются его взводные, мог разговаривать с ними и в любой момент отменить или изменить их приказы.

Однажды, когда Эндер сидел за пультом управления имитатора, загорелись яркие зеленые огни. Приближался враг.

— Значит, так, — сказал Эндер. — X, Y — группируйтесь, C и D — на резервный экран, E — южный виток, Боб — на север.

Вражеская флотилия, построившаяся в виде сферы, числом вдвое превосходила силы Эндера. Половина его кораблей составила компактное соединение, по форме напоминавшее пулю, а боевой порядок остальных походил на плоский круглый щит. Кроме того, у него имелось совсем маленькое соединение под командой Боба — оно вышло за пределы экрана имитатора, обходя врага сзади.

Эндер быстро понял стратегию противника: как только к нему приближались достаточно близко, тот отступал, надеясь заманить чужие корабли внутрь своей сферы и окружить. Эндер услужливо «попался» в эту ловушку.

Враг медленно стягивал к нему свои силы, боясь оказаться в зоне поражения прежде, чем сможет обрушить на Эндера мощь своих орудий. Тогда Эндер перешел к следующему этапу: его «щит» приблизился к сфере, и враг начал перебрасывать силы туда. Потом с противоположной стороны появился Боб, и противник перебросил еще часть кораблей, чтобы его встретить.

И такие маневры делали сферу очень уязвимой. «Пуля» Эндера ринулась в атаку, а поскольку на этом направлении он обладал численным превосходством, ему удалось проделать брешь во вражеской позиции. Враг попытался заткнуть дыру, но под шумок «щит» и небольшие силы Боба напали одновременно, в то время как «пуля» устремилась к другой части сферы. Прошло всего несколько минут — и вражеский строй распался, большинство ко-

раблей были уничтожены, а немногие уцелевшие поспешно скрылись.

Эндер выключил имитатор. Огни погасли. Рядом с Эндером, засунув руки в карманы, в напряженной позе стоял Мейзер. Эндер поднял на него глаза.

— Вы, кажется, говорили, что враг будет хитрее меня,— сказал он.

Лицо Мейзера осталось безучастным.

— Что ты выяснил в ходе боя?

— Выяснил, что их боевой порядок оправдал бы себя только в том случае, если бы их противник был глуп. Они так рассредоточили свои силы, что на любом направлении мои корабли превосходили их числом.

— А еще что?

— Еще то,— ответил Эндер,— что не следует всегда придерживаться одной и той же тактики. Это делает тебя слишком предсказуемым.

— И все?

Эндер снял рацию.

— Враг мог бы одержать победу, если бы раньше решился сломать свой строй.

Мейзер кивнул.

— У тебя было преимущество, которое сделало сражение неравным.

Эндер холодно взглянул на него.

— Они превосходили меня числом вдвое.

Мейзер покачал головой.

— У тебя есть ансамбль, а у врага его нет. Это обстоятельство тоже учитывается в учебных сражениях. Их сообщения не могут передаваться так быстро.

Эндер посмотрел на имитатор.

— Неужели расстояния настолько велики, что это имеет существенное значение?

— А ты разве не знал? — спросил Мейзер. — Ни один корабль во время боя не приближался к другому больше чем на тридцать тысяч километров.

Эндер попытался прикинуть размеры вражеской эскадры. Он плохо разбирался в астрономии, но сейчас в нем проснулось любопытство.

— Какое оружие способно наносить такие молниеносные удары?

Мейзер покачал головой.

— Эта наука тебе не по зубам. Чтобы понять хотя бы ее основы, нужно больше лет, чем ты успел прожить на свете. Все, что ты должен усвоить,— это что оружие отлично работает.

— Почему мы должны подходить так близко, чтобы нанести удар?

— Потому что их корабли защищены силовыми полями и надо подойти на определенное расстояние, чтобы пробиться сквозь защиту. Чем ближе друг к другу противники, тем сильнее действует оружие. За этим следят компьютеры: они находят цель, заботятся, чтобы наши корабли не пострадали, учитывают многие другие детали. Твоя задача — подсказать им, какая позиция самая выигрышная, и дать приказ стрелять на поражение.

— Нет.— Эндер стоял, наматывая на пальцы трубку рации.— Я должен знать, каким образом действует оружие.

— Я же сказал, это не твоя забота...

— Я не могу командовать флотом, пусть даже на имитаторе, если не буду этого знать.— Эндер помолчал.— Хотя бы в общих чертах.

Мейзер отошел на пару шагов.

— Ладно, Эндер. Не понимаю, зачем тебе это, но попробую объяснить как можно проще.— Он сунул руки в карманы.— Итак, все в мире состоит из атомов — крошечных частиц, настолько маленьких, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Эти атомы, а их несколько типов, в свою очередь состоят из еще более маленьких частиц. Если связь этих частиц разрушить, атомы перестанут быть атомами. Например, металл перестанет быть металлом. Или пластик этого пола — пластиком. Или твоё тело. Или даже воздух. Если разрушить атомы, все это распадется на части, и частицы разлетятся во все стороны, разрушая все новые атомы. Так вот, оружие как раз уничтожает связь, удерживающую частицы вместе, в результате чего все в радиусе его поражения исчезает.

Эндер кивнул.

— Вы были правы, это трудно понять. Можно ли нейтрализовать действие такого оружия?

— Вблизи — нет. Но чем дальше вражеский корабль, тем слабее становится это действие, а на определенном расстоянии силовое поле просто заблокирует его. Понятно? И чтобы поле, разрушающее связь в атомах, сработало, его требуется сфокусировать, поэтому корабль способен стрелять на поражение только в трех-четыре направления одновременно.

Эндер снова кивнул, хотя, по правде сказать, все еще многого не понимал.

— Если частицы разрушенных атомов разрушают другие атомы, почему в радиусе действия оружия не исчезает все подчистую?

— Космос. Корабли разделяют тысячи километров пустоты, где практически нет атомов, значит, нечего и разрушать. А когда частицы наконец встречаются с веществом, они успевают разлететься так далеко друг от друга, что уже не могут причинить вреда. — Мейзер склонил к плечу голову и вопросительно посмотрел на Эндера. — Что еще ты хочешь узнать?

— Оружие может уничтожать что-то кроме кораблей противника?

Шагнув к Эндеру, Мейзер твердо сказал:

— Мы используем его только против кораблей. Если мы обратим его против чего-то другого, враг поступит так же. Понимаешь?

Мейзер пошел к двери, но у самого порога Эндер вежливо окликнул его:

— Я не знаю вашего имени.

— Мейзер Ракхейм.

— Мейзер Ракхейм, — повторил Эндер. — Я только что вас победил.

Мейзер засмеялся.

— Эндер, сегодня ты сражался не со мной. Ты сражался с самым тупым компьютером Школы Командиров, оснащенным программой десятилетней давности. Ты ведь понимаешь — я не стал бы прибегать к сферическому построению кораблей!

Мейзер покачал головой.

— Эндер, мой милый маленький друг, ты сразу поймешь, что сражался именно со мной, потому что ту битву ты проиграешь.

С этими словами он вышел.

Эндер по-прежнему по десять часов в день тренировался со своими взводными. Но он так ни разу и не повидался с ними, а только слышал по радио их голоса. Раз в два-три дня происходили учебные битвы. Каждый раз враг изобретал что-нибудь новое, иногда очень заковыристое — но Эндер каждый раз оказывался умнее. И побеждал. После каждого сражения Мейзер указывал Эндеру на его ошибки, и из слов учителя следовало, что на самом деле тот не победил, а проиграл. Мейзер не вмешивался в игру только ради того, чтобы Эндер научился заканчивать все сам.

Однако настал тот день, когда Мейзер торжественно пожал своему ученику руку и объявил:

— Ну, парень, то было хорошее сражение.

Эндер испытал от этой долгожданной похвалы неслыханное наслаждение, хотя в душе негодовал, что ему пришлось так долго ждать.

— Отныне у тебя впереди только трудные бои,— закончил Мейзер.

С этого дня жизнь Эндера превратилась в ад крошечный.

Он сражался ежедневно по два раза, и каждый бой был сложнее предыдущего. Всю жизнь мальчик обучался этой игре, однако сейчас игра пожирала его.

Утром он просыпался, обдумывая новые стратегические планы, вечером погружался в беспокойный сон, мучаясь из-за совершенных днем ошибок. Иногда посреди ночи он просыпался в слезах, сам не помня почему. Иногда пробуждался с окровавленными, искусанными костяшками пальцев.

Однако каждый день он невозмутимо подходил к имитатору и тренировал своих взводных до тех пор, пока не начиналось сражение; после боя снова тренировал их, а

напоследок выслушивал резкую критику Мейзера Ракхейма, стараясь понять, что ему говорят. Он заметил, что Ракхейм особенно сильно разносит его после самых трудных сражений. Он заметил, что стоит ему придумать новую стратегию, как враг вскоре прибегает к точно таким же приемам. И еще заметил, что, хотя его флот остается прежним, вражеский увеличивается с каждым днем.

Он спросил об этом учителя.

— Мы хотим показать, каково тебе придется, когда ты будешь и впрямь командовать флотом. Хотим показать, насколько враг превосходит нас числом.

— Почему их настолько больше?

Мейзер на мгновение склонил седую голову, как буд-то решая, отвечать или нет. В конце концов поднял глаза и дотронулся до плеча Эндера.

— Я объясню, хотя информация вообще-то секретна. Видишь ли, они напали первыми. Для нападения были веские причины, но это проблема политиков, и кто бы ни был виноват в конфликте, мы не могли допустить, чтобы нас победили. Поэтому мы бросили в бой все свои силы. Самые лучшие молодые люди пошли служить в космический флот, многие из них погибли. И все-таки мы победили, и враг отступил. — Мейзер грустно улыбнулся. — Однако его поражение еще не означало полного разгрома, мальчик, ведь противник так и не был уничтожен. Наши враги вернулись, на этот раз их было куда больше, и еще одно поколение юных пошло на войну. Выжили очень немногие. Тогда был разработан план... в высших эшелонах власти. Стало ясно — врага надо уничтожить раз и навсегда, целиком и полностью, чтобы исключить всякую возможность нового нападения. Чтобы это сделать, нужно напасть на его миры — вернее, его мир, поскольку все вражеские колонии тесно связаны с метрополией.

— И что случилось потом?

— Потом мы создали сильный флот. Мы построили столько кораблей, сколько у врага никогда не было: против каждого их корабля выступала сотня наших. И мы послали этот флот туда, где находилось двадцать восемь

вражеских планет. Корабли стартовали с Земли сотню лет назад, на каждом из них есть ансамбль, но экипажи их очень немногочисленны. Короче, все делалось с тем расчетом, чтобы будущий командующий флотом смог, находясь очень далеко от места сражения, отдавать оттуда приказы и чтобы лучшие наши люди не были снова уничтожены врагом.

Эндер так и не получил ответа на свой вопрос.

— Так почему же они превосходят нас числом?

Мейзер засмеялся.

— Потому что кораблям нужна сотня лет, чтобы преодолеть расстояние между нашими и их мирами. То есть у врага есть сотня лет, чтобы подготовиться к встрече нашего флота. Наши противники не дураки, понимаешь, мальчик? Они не будут сидеть сложа руки, надеясь отразить наше вторжение с помощью устаревших кораблей. Они построили новые огромные корабли, целые сотни. Но нам на руку играет ансамбль... А еще то, что во главе каждого вражеского флота стоит командир, и когда эти командиры начнут гибнуть — а они обязательно начнут гибнуть, — наши противники станут терять свои лучшие умы.

Эндер открыл рот, чтобы задать следующий вопрос.

— Хватит, Эндер Виггинс. Я и так рассказал больше, чем следовало.

Эндер сердито отвернулся.

— Я имею право знать. Вы что, хотите вечно перебрасывать меня из одной школы в другую, не объясняя, ради чего это все? Вы просто используете меня и остальных ребят, но когда-нибудь мы будем командовать вашими кораблями и, возможно, спасем вам жизнь. Но я не компьютер, и я должен знать!

— В таком случае спрашивай, мальчик, — сказал Мейзер. — И я отвечу тебе — если смогу.

— Если вы способны командовать флотами без риска потерять лучшие умы, тогда зачем вам я? Если все они уже там, кого я смогу заместить в случае необходимости?

Мейзер покачал головой.

— На этот вопрос я не могу ответить, Эндер. Удовольствуйся тем, что ты будешь нужен, и довольно скоро. А те-

перь ложись спать — уже поздно, а утром у тебя сражение.

Эндер покинул зал, но подождал Мейзера в коридоре.

— Ну что еще, парень? — нетерпеливо спросил учитель. — Я не могу потратить на тебя всю ночь, да и тебе пора спать.

Эндеру было трудно сформулировать свой вопрос, но Мейзер ждал, и наконец мальчик спросил:

— Они живы?

— Кто?

— Другие командиры. Нынешние и те, что были до меня.

Мейзер фыркнул.

— Конечно, живы. Что за вопрос?

Посмеиваясь, старик пошел по коридору. Эндер еще немного постоял, но наконец усталость взяла свое и он отправился спать.

«Они живы, — думал он. — Живы, но он не может рассказать, что с ними происходит».

Этой ночью Эндер не просыпался в слезах. Но несколько раз просыпался с искусанными в кровь руками.

Медленно тянулись месяцы, полные ежедневных сражений, и в конце концов Эндер втянулся в этот убийственный режим. По ночам он не столько спал, сколько дремал, у него появились ужасные рези в животе. Его посадили на мягкую диету, но вскоре у него напрочь пропал аппетит.

— Ешь, — говорил Мейзер, и Эндер чисто механически клал еду в рот.

Если бы за ним не присматривали, он бы вообще ничего не ел.

Однажды во время тренировки он вдруг провалился во тьму и очнулся на полу, с лицом, разбитым в кровь о пульт управления.

Его уложили в постель, три дня ему было очень плохо. Во сне он видел лица, но понимал, что на самом деле этих людей здесь нет. Иногда ему казалось, что он видит Боба, иногда — что перед ним лейтенант Андерсон и капитан Графф. А потом он все-таки очнулся и оказался ли-

цом к лицу со своим единственным врагом, Мейзером Ракхеймом.

— Я проснулся,— сказал Эндер.

— Вижу,— ответил Мейзер.— Хватит валяться. У тебя сегодня битва.

Эндер встал, пошел сражаться и победил. Однако второй битвы в этот день не было, и ему позволили лечь пораньше. Раздеваясь, он увидел, что у него дрожат руки.

Ночью он почувствовал чье-то прикосновение и услышал голос, который спросил:

— Сколько еще он выдержит?

— Сколько потребуется.

— Когда же этому наступит конец?

— Через несколько дней.

— Справится ли он?

— Отлично справится. Даже сегодня он был великолепен.

Один из голосов, понял Эндер, принадлежал Мейзеру. Он не мог оставить своего ученика в покое даже во сне, и это ужасно разозлило Эндера.

Проснувшись, он снова пошел сражаться и снова победил.

После чего отправился в постель.

Проснулся и победил снова.

Следующий день должен был стать его последним днем в Школе Командиров, хотя он об этом и не подозревал. Поднявшись поутру, Эндер приготовился к битве.

В зале его ждал Мейзер. Эндер, волоча ноги, медленно подошел к имитатору, вид у мальчика был усталый и понурый. Мейзер нахмурился.

— Ты что, еще не проснулся?

Если бы Эндер был в форме, его обеспокоили бы тревожные нотки в голосе учителя. Но сейчас он просто безучастно сел за пульт управления.

— Сегодняшняя игра требует небольшого пояснения, Эндер Виггинс,— сказал Мейзер.— Пожалуйста, обернись.

Эндер обернулся — и только тогда заметил, что в креслах у дальней стены сидят люди. Он узнал среди них Граффа и Андерсона из Боевой Школы, смутно вспомнил не-

которых своих учителей из Школы Командиров. Однако большинство были ему незнакомы.

— Кто они?

Мейзер покачал головой.

— Наблюдатели. Отныне мы решили позволить наблюдателям следить за ходом сражения. Если тебе мешает их присутствие, мы их отошлем.

Эндер пожал плечами.

— Сегодняшняя игра, мальчик,— принялся объяснять Мейзер.— будет несколько необычна. Сражение состоится вблизи от некоей планеты, что вдвое усложнит ситуацию. По нашим меркам эта планета невелика, но ансибль не может ничего обнаружить на другой ее стороне — там своего рода слепое пятно. Кроме того, использовать оружие против самой планеты считается нарушением правил. Понятно?

— А почему нельзя использовать оружие против планет?

— Потому что существуют правила ведения войн, Эндер,— холодно ответил Мейзер,— которые должны соблюдаться даже во время игры.

Эндер медленно покачал головой.

— А с планеты меня могут атаковать?

Вопрос, казалось, озадачил Мейзера. Потом он улыбнулся.

— С этой — вряд ли. И еще одно, Эндер. Сегодня твоим противником будет не компьютер. Твоим противником буду я, и легко ты не отделаешься. Сражаться будем до последнего, и я пушу в ход любые средства, чтобы тебя разбить.

Потом Мейзер ушел, а Эндер почти равнодушно приступил к маневрам, связавшись со своими взводными. Мальчик действовал как всегда успешно, но некоторые наблюдатели качали головами, а Графф беспокойно сжимал и разжимал руки и ерзал в своем кресле. Эндер чувствовал себя вялым и медлительным, но сегодня он не мог позволить себе слабости.

Зазвучал предупредительный гудок, и Эндер очистил дисплей, ожидая начала игры. Голова у него была тяже-

лой, он недоумевал, с какой стати собрались здесь все эти наблюдатели. Может, они будут его оценивать и решать, годится ли он для более сложных дел? Для следующей пары лет изнурительной учебы, для попыток прыгнуть выше своей головы? Эндеру было двенадцать, но он чувствовал себя стариком. И, ожидая начала игры, он желал одного — проиграть сражение, проиграть вчистую и так бездарно, чтобы его сняли с программы. Пусть его накажут как угодно, плевать, только бы дали отоспаться.

Потом на экране появился неприятель, и усталость Эндера сменилась отчаянием.

Численное превосходство врага составляло тысячу к одному, от скопления кораблей противника имитатор мерцал зеленым, и Эндер понял, что ему не победить.

К тому же враг был далеко не глуп. Он даже не построился в порядок, который можно было бы проанализировать и атаковать. Эндер видел огромный рой кораблей, постоянно перелетающих с места на место; их временные соединения исчезали в одной точке экрана и возникали в другой; там, где только что ничего не было, спустя мгновение появлялись огромные вражеские силы. И хотя Эндер никогда не располагал таким огромным флотом, какой был у него сейчас, он не мог развернуть свои корабли так, чтобы хоть на одном участке они численно превосходили врага. А без такого превосходства все его усилия будут тщетными.

Позади невероятного скопления вражеских кораблей виднелась планета, та самая, о которой говорил Мейзер. Хотя какая разница — есть там планета или нет, если Эндеру к ней не приблизиться? Мальчик терпеливо ждал озарения, молниеносной догадки, которая поможет ему уничтожить врага. И пока он ждал, он слышал, как ерзают наблюдатели за его спиной, гадая, что он предпримет. В конце концов все поняли — он не знает, что делать, да и поделаться тут ничего нельзя; Эндер услышал взволнованное покашливание наблюдателей.

Потом раздался голос Боба, который, хихикнув, сказал:

— Помнишь: «Вражеские ворота внизу!»

Остальные взводные рассмеялись, а Эндер мысленно вернулся во времена Боевой Школы, к простым играм, в которых он одерживал победы. Тогда ему тоже приходилось сражаться в самых безнадежных ситуациях, но он все равно выигрывал. И будь он проклят, если позволит Мейзеру Ракхейму победить себя с помощью дешевых трюков вроде численного превосходства тысяча к одному. В Боевой Школе он побеждал, заставляя врага врасплох, иногда даже нарушая правила; побеждал, потому что всегда был нацелен на вражеские ворота.

А вражеские ворота были внизу.

Эндер улыбнулся, осознав, что если он нарушит это правило, его, скорее всего, вышвырнут из школы. Это и будет самой настоящей победой: никогда больше ему не придется играть в их игры!

Он прошептал что-то в микрофон, все шесть его командиров повели свои корабли на врага. Корабли двигались хаотически, кидаясь то в одну сторону, то в другую. Противник тут же прекратил свое бесцельное маневрирование и начал собираться вокруг шести флотов Эндера.

Мальчик откинулся на спинку кресла, выжидая; наблюдатели снова забормотали за его спиной, теперь громко. Эндер ничего не делал — он как будто просто вышел из игры.

Однако вскоре стало ясно, что в основе его стремительной атаки лежит некий план. Шесть флотов Эндера то и дело теряли корабли в небольших столкновениях с врагом, но в решительный бой не вступали, даже когда могли одержать небольшую тактическую победу. Вместо этого они продолжали свое, на первый взгляд, беспорядочное движение, которое тем не менее было устремлено вниз. К вражеской планете.

Именно якобы случайные броски помешали врагу разгадать замысел Эндера — до тех пор, пока он одновременно с наблюдателями не понял, что происходит. Но тогда было уже поздно, так же как для Вильяма Би оказалось слишком поздно помешать солдатам Эндера захватить ворота. Корабли Эндера гибли один за другим, до цели смогли добраться только два флота, да и те заметно поре-

дели. И все-таки отдельные небольшие группки прорвались к планете и открыли по ней огонь.

Теперь Эндер подался вперед, сомневаясь, правильным ли оказался его расчет. Он почти не сомневался, что вот-вот раздастся гудок и игру остановят из-за нарушения правил. Однако он готов был поспорить на что угодно, что имитатор сделает все, как надо. Если он мог смоделировать планету, то сможет смоделировать и то, что случится с ней в случае атаки.

Так и произошло.

Сперва оружие, предназначенное для уничтожения сравнительно небольших кораблей, оказалось не в состоянии разрушить целую планету. Взрывы, однако, выглядели ужасающе, к тому же планета — не космос, где цепная реакция могла постепенно угаснуть. На планете цепная реакция находила все новое и новое горючее.

Казалось, вся поверхность планеты пришла в движение, но это длилось недолго: ее потряс невероятно мощный взрыв, поглотивший последние корабли Эндера. Однако потом взрыв добрался и до вражеских кораблей, и первые из них просто исчезли. По мере того как адская стихия разрушения уходила все дальше и постепенно тускнела, все отчетливей можно было разглядеть судьбу каждого корабля. Когда сияющее облако добиралось до них, они на мгновение ярко вспыхивали и исчезали, питая собой бушующий в космосе пожар.

Спустя три минуты сияние почти угасло, все корабли погибли, а если некоторым из них и удалось уйти, их было так мало, что беспокоиться о них не стоило.

Эндер победил врага, пожертвовав всем своим флотом и уничтожив вражескую планету вразрез с правилами войны. Он не мог понять, кем себя ощущал — победителем или дерзким ослушником, которого ждет наказание. Скорее всего, он не чувствовал ничего. Он так безумно устал, что желал одного — лечь в постель и уснуть.

Эндер выключил имитатор и только тогда услышал позади дикий шум.

У дальней стены больше не было осанистых военных наблюдателей, там царил хаос. Одни люди хлопали друг

друга по плечам; другие стояли, опустив голову и закрыв лицо руками: третьи плакали, не стыдясь.

К Эндеру подошел капитан Графф — слезы текли по его щекам, но он улыбался. К огромному удивлению Эндера, капитан обнял его, крепко прижал к себе и зашептал:

— Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе, Эндер!

А потом и все остальные собрались вокруг ошарашенного мальчика, благодаря его, похлопывая по плечу, пожимая ему руку. Эндер пытался понять, о чем они толкуют. Он выдержал испытание? Но почему это для них так важно?

Потом толпа расступилась, пропуская Мейзера Ракхейма, который подошел к Эндеру Виггинсу и протянул ему руку.

— Перед тобой стоял трудный выбор, мальчик. Бог знает, мог ли ты поступить иначе? Прими мои поздравления. Ты разбил их, теперь все кончено.

Все кончено. Он разбил их.

— Я разбил вас, Мейзер Ракхейм.

Мейзер рассмеялся — его смех прозвучал очень громко во внезапно наступившей тишине.

— Эндер Виггинс, ты никогда не играл со мной. С тех пор как я стал твоим учителем, ты вообще ни разу не играл.

Что это, шутка? Если так, Эндер ее не понимал. Он играл бесчисленное множество раз, расплачиваясь за победы своим здоровьем. В душе его стал закипать гнев.

Мейзер положил руку ему на плечо, но Эндер стянул ее. Снова сделавшись серьезным, Мейзер проговорил:

— Эндер Виггинс, вот уже несколько месяцев ты командовал всем нашим флотом. Это были не игры, а настоящие сражения. Твоим единственным противником были наши враги. Ты выиграл все сражения, а сегодня сражался с врагами в их родном мире и уничтожил их планету и их флот — полностью уничтожил. Никогда больше они на нас не нападут. Ты разбил их начисто. Вот что ты сделал.

Это были настоящие сражения. Не игра.

Эндер слишком устал, чтобы как следует осознать случившееся.

Он молча двинулся сквозь толпу, бормочущую слова благодарности и поздравления, покинул зал, добрался до своей комнаты и закрыл за собой дверь.

Когда к нему в комнату явились Графф и Мейзер Ракхейм, Эндер спал. Они разбудили его, мальчик медленно страхнул с себя сон, узнал их и отвернулся, чтобы уснуть снова.

— Эндер,— заговорил Графф.— Нам нужно с тобой побеседовать.

Эндер перевернулся на бок, лицом к ним, но не сказал ни слова.

Графф улыбнулся.

— Я понимаю, то, что вчера случилось,— огромное потрясение. Но, думаю, тебе приятно будет узнать, что ты выиграл войну.

Эндер медленно кивнул.

— Мейзер Ракхейм никогда не играл против тебя, он лишь анализировал твои сражения, отыскивая слабые места, чтобы помочь тебе стать более искусным. И это сработало, верно?

Эндер крепко зажмурил глаза. Его посетители ждали.

— Почему вы не рассказали мне раньше? — спросил мальчик.

Мейзер улыбнулся.

— Еще сто лет назад, Эндер, выяснилось, что если жизнь командира в опасности, он начинает бояться и тогда медленней думает и медленней принимает решения. И когда командир знает, что его приказы могут погубить людей, он становится чрезмерно осторожным или, напротив, слишком безрассудным, что тоже вредит делу. А если он взрослый и у него есть чувство ответственности и понимание мира, он опять-таки становится чересчур осторожным, медлительным и хуже выполняет свою работу. Поэтому мы стали обучать детей, которые не знали ничего, кроме игры, и понятия не имели, что однажды она станет реальной. Теория утверждала, что такие дети будут куда способнее взрослых, и ты доказал, что так оно

и есть.— Графф положил руку на плечо Эндера.— Мы точно рассчитали, когда корабли должны прибыть к месту назначения, и строили стратегию на том, что, скорее всего, у нас будет лишь один выдающийся командир, и то если очень повезет. Как показала история, во время любой войны редко появляется больше одного военного гения. Мы надеялись найти такого гения, хотя делать на это ставку было рискованно. Но появился ты, и мы победили.

Эндер открыл глаза, и все поняли, что он кипит от ярости.

— Да, вы победили.

Графф и Мейзер переглянулись.

— Он не понимает,— прошептал Графф.

— Я все понимаю,— возразил Эндер.— Вам требовалось оружие, и вы его нашли — в моем лице.

— Правильно,— подтвердил Мейзер.

— А теперь скажите,— продолжал Эндер,— сколько жителей было на планете, которую я уничтожил?

Последовала пауза, потом Графф сказал:

— Оружью не надо понимать, на что оно нацелено, Эндер. Целились мы, значит, мы в ответе за все. А ты просто выполнял свою работу.

— Конечно, Эндер, о тебе позаботятся,— улыбнулся Мейзер.— Правительство тебя не забудет. Ты отлично нам послужил.

Эндер отвернулся к стене и перестал отвечать, как его ни пытались втянуть в разговор. В конце концов гости ушли.

Довольно долго никто его не беспокоил, но вот дверь открылась снова. Эндер не шевельнулся.

— Эндер, это я, Боб.

Услышав этот голос и почувствовав прикосновение к своему плечу, Эндер повернулся и посмотрел на стоящего у постели маленького мальчика.

— Садись,— сказал он.

Боб сел.

— Это последнее сражение, Эндер. Не знаю, как тебе удалось его выиграть.

Эндер улыбнулся.

— Я сжульничал. Рассчитывал, что за нарушение правил меня вышвырнут вон.

— Просто не верится! Мы победили. Война закончилась. А нам-то казалось, что настоящие сражения начнутся, только когда мы вырастем, а на самом деле мы сражались уже давно. Хотя мы еще маленькие, Эндер. Я, во всяком случае, еще маленький.

Боб засмеялся, и Эндер улыбнулся в ответ. Они помолчали. Боб сидел на краю постели, а Эндер наблюдал за ним, полузакрыв глаза.

В конце концов Боб спросил:

— Что мы будем делать теперь, когда война закончилась?

Эндер закрыл глаза.

— Я хочу спать, Боб.

Боб поднялся и ушел, а Эндер уснул.

Графф и Андерсон вошли в ворота парка; дул легкий ветерок, но солнце припекало плечи.

— Собираешься преподавать технические науки? В столице? — переспросил Графф.

— Нет, в округе Биггок. Учебное подразделение. Им кажется, что моя работа с детьми — неплохая подготовка. А вы что будете делать?

Графф улыбнулся и покачал головой.

— Пока у меня никаких планов. Останусь здесь еще как минимум на несколько месяцев — отчеты, всякая прочая бумажная волокита. Хотя варианты у меня есть. Мне предлагали готовить персонал для МКФ или стать исполнительным вице-президентом университета, но я сказал — нет. Издатель хочет, чтобы я написал воспоминания о войне. Даже не знаю...

Они сели на скамью, глядя, как ветер шевелит листья. Дети у клеток с обезьянами смеялись и что-то выкрикивали, но ветер и расстояние не позволяли расслышать слова.

— Смотрите! — Графф указал на маленького мальчика, который побежал к их скамье.

Следом за этим мальчуганом мчался второй, держа руку так, как будто в ней был пистолет, и выкрикивая: «Паф! Паф!» Парнишка, в которого он целился, не останавливался, и, «выстрелив» еще раз, мальчишка закричал:

— Я попал в тебя! Стой!

Но его «противник» уже скрылся из виду.

— Ты погиб, не понимаешь, что ли?

Мальчик вытащил из кармана камень и кинул в клетку с обезьянами.

Андерсон с улыбкой покачал головой.

— Дети,— сказал он.

Они с Граффом поднялись и направились к выходу из парка.

Содержание

Книга первая

Карта Висельника **Повести о страхе**

Эвмениды из общественной уборной (Перевод Л. Шведовой)	7
Конец (Перевод Л. Шведовой)	28
Упражнения на дыхание (Перевод Л. Шведовой)	45
Жиртрест (Перевод Л. Шведовой)	55
Крышка времени (Перевод Л. Шведовой)	70
Игры на скоростном шоссе (Перевод Л. Шведовой)	88
Гробница песен (Перевод Л. Шведовой)	104
Предварительный запрет (Перевод Л. Шведовой)	135
Изменившийся и Король Слов (Перевод И. Иванова)	150
Воспоминания моей головы (Перевод Л. Шведовой)	197
Пропавшие дети (Перевод Л. Шведовой)	205

Книга вторая

Поток вечности **Повести о будущем**

Тысяча смертей (Перевод В. Постникова)	231
Пой и хлопай в ладоши (Перевод И. Иванова)	251
Гастролер (Перевод А. Жикаренцева)	268
Из лучших побуждений (Перевод И. Иванова)	307

Игры с ДНК: финал (Перевод И. Иванова)	331
В конуре (Перевод И. Иванова)	358
Тот, кто ходит по пятам (Перевод Б. Жужунавы)	386

Книга третья

Карты в зеркале

Сказки и фантазии

Соната без сопровождения (Перевод В. Постникова)	417
Фарфоровая саламандра (Перевод И. Иванова)	440
Обычная женщина (Перевод И. Иванова)	452
Задира и Дракон (Перевод И. Иванова)	457
Принцесса и Медведь (Перевод И. Иванова)	523
Песчаная магия (Перевод И. Иванова)	562
Проклятие бессмертия (Перевод И. Иванова)	584
Рай на сто лет (Перевод И. Иванова)	611
Певчая Птица Микала (Перевод Б. Жужунавы)	673

Книга четвертая

Жестокие чудеса

Повести о смерти, надежде и святости

Смертные боги (Перевод Б. Жужунавы)	715
Око за око (Перевод А. Корженевского)	725
Рассказ Святой Эми (Перевод Б. Жужунавы)	790
Королевский обед (Перевод Б. Жужунавы)	815
То, что свято (Перевод Б. Жужунавы)	827
Игра Эндера (Перевод Б. Жужунавы)	861

ДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ Ф

Орсон Скотт

КАРД



Orson Scott Card

ISBN 5-699-11217-0



9 785699 112173 >

ДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ ФАНТАСТИКИ ШЕДЕВРЫ Ф